ИЛЬЯ
ЭРЕНБУРГ

2

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

СОЧИНЕНИЯ

В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ
ВТОРОЙ

БУРЯ

РОМАН

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1953

Постановлением
Совета Министров Союза ССР
от 1 апреля 1948 года
ИЛЬЕ ГРИГОРЬЕВИЧУ
ЭРЕНБУРГУ
присуждена
СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ
первой степени за роман
«Буря».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Швецов сказал Влахову:

— Сергей Петрович, это не по вашей части, но я вас очень прошу, займитесь «Рош-энэ». Нужно поговорить с Лансье вплотную. Здесь что-то неладное — торопил нас, а теперь тянет.

Влахов был новичком — в Париж он приехал четыре месяца тому назад, но французским языком владел в совершенстве; когда товарищи удивлялись его произношению, смеялся: «Я ведь парижанин...» Родители его прожили много лет в Париже, здесь познакомились и поженились; в Москву они вернулись после революции, Сереже тогда было семь лет.

Нина Георгиевна не хотела, чтобы мальчик забыл французский язык, и часто с ним разговаривала по-французски. Почему-то ей казалось, что ее первенец будет поэтом. Сергей увлекался многим — и путешествиями, и машиностроением, и театрами, но стихов не писал. А была в нем стихия поэзии, работал он страстно, отличался редкой впечатлительностью, бурно дружил, бурно расходился, восторгался тем, чего другие не замечали, осуждал то, что другие находили естественным. Он не был честолюбив, никогда не жаждал выделиться и все же выделялся на любом фоне. Когда он еще был подростком, Нина Георгиевна шутя называла его «мой французик», видимо, чем-то он

напоминал матери город ее молодости; но не было в Сергее того внутреннего спокойствия, которое скрывается под шумливостью и блеском французов. Он часто поступал опрометчиво, кидался из одной крайности в другую; его справедливо упрекали в легкомыслии, но переживал он свои ошибки мучительно и не знал к себе снисхождения; в двадцать восемь лет он сохранил наивность и взыскательность отрочества.

Романтическая пора его жизни совпала с годами коллективизации. Он был тогда вихрастым комсомольцем; его послали на Украину; он говорил до хрипоты, трясся на ухабах, бредил десятизначными цифрами и тихонько делил на две части четвертку хлеба. Шрам повыше локтя был памятью о тех годах — осенней ночью его обстреляли. Потом был вуз, но и там не было спокойствия — все торопились; и сразу — землянка в Кузнецке, грязь по пояс, котлованы, вши, пудовый сон без снов и явь, которая казалась сном — с дерзостью замыслов, с пестротой и едкостью человеческого горя, с городами, которые вырастали среди степи, как огненные рощи.

Сергей бережно хранил маленькую фотографию — девушка с тяжелой косой вокруг головы, с ласковыми, и однако суровыми, глазами, героиня Тургенева или подруга Софьи Перовской. Это была фотография Нины Георгиевны в ту пору, когда она вышла из тюрьмы. В подполье она показала себя смелой и беззаветно преданной. Потом на ее плечи легли заботы о больном муже, о детях. Муж ее, по профессии экономист, был человеком отвлеченным; жизнь ему представлялась стройным зданием, и он терялся, когда та или иная деталь, на которую он случайно нападал, не соответствовала высоким принципам. Он бормотал: «Кроили мы, старались. А молодые как шьют? Прямо для витрины брака»... Умер он пятнадцать лет тому назад от туберкулеза; Нине Георгиевне пришлось много работать, чтобы поставить детей на ноги — младшему сыну Васе было тогда одиннадцать лет, а Ольге — шесть. Нина Георгиевна преподавала французский язык в институте и в школе, а по ночам сидела над переводами.

Не было в ее жизни ничего драматического, с покойным мужем жили они хорошо, работу свою она любила, и все же она не испытывала удовлетворения; в пятьдесят

три года она продолжала о чем-то мечтать. Сергей был для нее не только сыном, но и другом, с ним она вела долгие откровенные беседы. Вася казался ей чересчур прямолинейным, а дочь пугала расчетливостью. В Сергее Нина Георгиевна находила воплощение своих затаенных чувств. Никогда не ревновавшая мужа, она с тоской думала, что Сергей, полюбив молодую и, как ей казалось, ветреную женщину, охладеет к матери. Она радовалась, когда мимолетные увлечения сына проходили стороной, как неразразившаяся гроза.

Узнав, что Сергея посылают в Париж, она взволновалась: то, что он увидит город, где прошли ее лучшие годы, должно было еще больше сблизить их; но смутно она ревновала его к Парижу. Прощаясь, она сказала: «В Монсури посмотри на скамейку у пруда, вторая от входа, под платаном, там мы часто сиживали с папой, когда познакомились»... Сергей про себя улыбнулся — мама забывает, что прошло тридцать лет...

Приехав в Париж, он изумился: перед ним был тот самый город, о котором ему рассказывала мать. Наверно, и скамейка на месте... За свою короткую жизнь Сергей столько пережил, такого насмотрелся, что не верил в возможность покоя. Давно ли он глядел, как на улице Горького бесцеремонно перетаскивали дома? Здесь и человека не сдвинешь с места. Столетние старухи сидят на скамейках в шлепанцах. А этот господин с моноклем, ведь о нем писал Мопассан!.. Все было слишком знакомым и поэтому неправдоподобным.

Он приехал в Париж из Москвы жестких лет, с сединой в волосах, требовательный и недоверчивый. Москва жила в ощущении надвигающейся бури; и если парижане мало думали об агонии соседнего Мадрида, то еще недавно на Пушкинской площади перед картой Испании в морозный метельный вечер молча толпились люди, за их молчанием чувствовались тревога, гнев, вера. Прошли один за другим громкие процессы: судили за измену; и отчеты о судебных заседаниях сливались с топотом немецких дивизий на Ринге, с воплями Барселоны, с закулисными переговорами, с военными маневрами. Потом был Мюнхен... Москвичи жили в те годы напряженно и неуютно, надвигалась развязка. И вот после суровых

московских ночей Сергей увидел жизнь, похожую на карусель ярмарки — кружится, мелькает, блестит до рези в глазах, до одури. Город сиял, как дом, где справляют свадьбу; казалось, люди не замечают, что под их окна забралась смерть. Так же рыболовы дремали на берегу Сены, любители Горация чихали, роясь в ящиках букинистов, так же на перекрестках улиц певцы пели про любовь Кики, которая неотразима и покладиста. Погоди, Сергей, правда ли, что на дворе тысяча девятьсот тридцать девятый, что за Пиренеями развалины и могилы, что мечется, зовет друзей обреченная Прага, что на Рейне устанавливают орудия? Может быть, Париж сошел с ума, забыл завести часы, давно не отрывал листков календаря? Может быть, сейчас из соседней кофейни выйдет волосатый трибун и предложит романтикам Баденского герцогства вместе с блузниками предместья Сент-Антуан посадить дерево свободы? Может быть, Гитлер приснился десятку безработных карикатуристов?

Потом Сергей осмотрелся; за внешней беспечностью разглядел грусть; был привкус горя в самом веселье города; а в шутках, в куплетах, даже в шопоте влюбленных чувствовались путевые сборы, бог весть перед какой дорогой. Париж лихорадочно дремал, он хотел доспать свое, а там будь что будет!..

С каждым днем этот город все сильнее и сильнее притягивал Сергея к себе; он влюбился в тусклую загадочную Сену, в тротуары, то сизо-синие, то фиолетовые, обмываемые частыми дождями, отражающие рой неспокойных огней, в прохладу узких улиц, в морскую сырость, в избыток цветов, бус, слез, в печальное веселье толпы, которая и на краю смерти отшучивается, влюбился не в тот прекрасный, блистательный Париж, который днем и ночью осматривают караваны разноплеменных туристов, а в серый, будничный, обычный и необыкновенный.

Работа оставляла ему досуги; он много бродил по городу; да и работая, приходилось посещать заводы, встречаться с различными людьми, залезать в трущобы душ, разглядывать изнанку вежливого парижского общества. Многое его возмущало; он ощущал раздельность судеб, свою кровную связь с иной, непонятной этим людям жизнью. Последние годы придали доверчивому и легко

загоравшемуся Сергею некоторую замкнутость, даже мрачность. А здесь приходилось встречаться с людьми не только чуждыми, но и враждебными. Он писал Нине Георгиевне: «Ты не поверишь, но я стал настоящим дипломатом! Улыбаюсь, когда хочется отвесить пощечину, пью за здоровье тех, кого следовало бы повесить. Много здесь дряни, а город чудесный, и народ мне понравился...»

В кабинет Сергея вошел человек лет пятидесяти, с лицом красивым, но дряблым, похожий на старого актера. Лансье мялся, а потом, смущенно улыбаясь, сказал:

— Вы не должны обижаться — фирма «Рош-энэ» переживает период реорганизации, но я приму все меры, чтобы поправить положение.

Два дня спустя они снова встретились. Лансье перед этим хорошо позавтракал, выпил бутылку бургундского. Неожиданно он предался воспоминаниям:

— В студенческие годы я встречался с русскими эмигрантами. Очень симпатичные люди! Однажды меня позвали на вечеринку. Там был господин Луначарский и еще один, скульптор с очень трудной фамилией...

Напрасно Сергей попытался вернуть разговор к заказам. Лансье обиделся:

— Вы думаете, что я делец? Это случайность, трезвый плод ранних безумств. Ведь я мечтал стать поэтом, писал стихи, и однажды...

Сергей поморщился; Лансье пробормотал:

— Простите, я, кажется, увлекся...

Но Сергей уже снова приветливо улыбался.

— Значит, вы любитель стихов? Очень приятно. Я мечтал познакомиться с человеком, знающим французскую поэзию.

После этого трудно было отказаться от приглашения: господин Влахов обязательно должен притти в четверг — будут люди искусства, хотя искусства теперь нет — другая эпоха... Притом Лансье будет счастлив представить русского гостя своей семье.

— Нам нужно получше узнать друг друга, ведь наши народы почти союзники. Мой компаньон — полурусский, полуфранцуз, то есть теперь он француз, но родился

в Киеве. Его зовут Лео Альпер, исключительно одаренный инженер. Он покинул вашу страну еще до революции, мальчиком, а русский язык помнит. Жалко, что его сейчас нет в Париже. Моя фирма работает с русскими уже восемь лет, и никогда мы друг на друга не жаловались. Господин Петренко часто бывал у меня, он теперь в Москве, господин Швецов мне сказал, что он получил высокое назначение. Я прошу вас, дайте мне еще неделю — это только маленькая реорганизация...

Морис Лансье был одним из живописных представителей так называемого «всего Парижа». Мало кто слышал о «Рош-энэ», но Лансье все знали — он не пропускал ни одной театральной премьеры, ни одного вернисажа. Он обожал искусство, и его загородный дом «Корбей» походил на музей в захолустье — негритянские божки, старинные пистолеты, горки с фарфором. Жил Лансье широко, устраивал в «Корбей» ужины при свечах; у него бывали и сюрреалисты, и профессора, даже один сенатор. Лансье любил говорить о прелестях сельской жизни, но в деревенском уединении скучал — ему были нужны огни города, приятели, споры. Он весил восемьдесят кило, и все же метко прозвал его домашний врач Морило «двуногим мотыльком».

Сын скромного провинциала, торговавшего галантереей, Морис Лансье юношей приехал из тихого Ниора в Париж: отец хотел вывести его в люди. Морис поступил в Политехническую школу, кое-как сдавал зачеты, а все свободное время посвящал поэзии. Он купил шляпу с непомерно широкими полями и, презрев галстуки, обматывал шею турецким фуляром. На деньги, полученные от отца, озабоченного гардеробом Мориса, он отпечатал первый и последний номер журнала «Клевер Гермеса», где, кроме его поэмы, была помещена статья молодого анархиста, ставшего впоследствии крупным импортером хлопка. Морис нравился девушкам, но был застенчив и дальше стихов или беглых поцелуев не шел.

На балу у некоей госпожи Лефор, слывшей меценаткой, он познакомился с дочерью промышленника Роша. Нельзя было назвать Марселину красавицей, но была в ней прелесть непосредственности, своеобразие. Она презирала знакомых отца, родню, сверстниц за их преклонение

перед деньгами; одинокая, она жила в мире вымысла. Лансье ее тронул поверхностными, но искренними фантазиями, любовью к поэзии, бескорыстностью; она его полюбила. Рош решительно восстал против брака; не ограничиваясь увещеваниями и проклятьями, он запер дочь в загородной вилле. Вскоре после этого среди ночи в скромную комнатушку, где проживал Морис, ворвалась Марселина без шляпы, растрепанная, одетая в чужое, чересчур длинное платье. Морис был и обрадован и перепуган; он целовал девушку и, целуя, уговаривал вернуться к родителям — это был человек чувствительный, но слабовольный. Решила все Марселина: она повесила свое платье на гвоздик и осталась; утром она побежала за хлебом и молоком, как будто делала это всю жизнь. Рошу пришлось в конце концов уступить — дочка у него была одна, и, когда жена сказала, что вскоре он станет дедушкой, старик, расчувствовавшись, примирился с «шелопаем».

Закончив институт, Лансье стал работать на заводе тестя, стихов больше не писал и постепенно втянулся в дело. Год спустя началась война. Лансье считал себя малодушным — боялся тестя, пересудов, клиентов. Но воевал он неплохо, получил «боевой крест». Война осталась в его воспоминаниях чем-то возвышенным; он забыл не только грязь, вшей, свист немецких «чемоданов», но даже смерть товарищей; в памяти остались прекрасные минуты — его полк входит в Лилль, девушки кидают цветы, целуют солдат, в «Ля пресс» — портрет отважного сержанта Мориса Лансье, за четверть часа до атаки в поле поет жаворонок... Лансье был уверен, что война не может повториться, так же как он был уверен, что никто теперь не умеет ни писать стихи, ни безрассудно влюбляться — все пережитое им он считал неповторимым.

Вскоре после перемирия Рош умер. Морис стал хозяином «Рош-энэ». Он сознавал свою ответственность перед женой, детьми и старался быть благоразумным. Однако он не мог отказаться от беспечности, от любви к веселой, нарядной жизни, от множества причуд. А «Рош-энэ» держалась — как прежде, грохотали станки, в конторе кудрявые машинистки переписывали накладные, и клиенты почтительно говорили: «Старая, солидная фирма».

В годы кризиса «Рош-энэ» грозило банкротство; выручил Лео Альпер, разбогатевший в Америке на патенте; он сделался компаньоном Лансье. Новые затруднения начались незадолго до встречи с Влаховым — лопнула «Шими нор», и Лансье потерял изрядную сумму. Нужно было на что-то решиться — продать поместье Марселины «Желинот» или принять предложение некоего Гастона Руа. Лансье возмущался: как впустить в свой дом незнакомца? Не станет ли такая «реорганизация» самоубийством? Впрочем, быстро он отгонял неприятные мысли — умел себя успокаивать. Почему самоубийством?.. Пирог достаточно велик, даже если его разрезать на три части. Альпер меня не съел, почему меня должен съесть этот Руа? Альпер — инженер, а этот Руа ничего не смыслит в производстве... Продать «Желинот» глупо — что ни говори, земля — это земля. Луара, виноградники... И какой парк! Какие груши! Потом ведь это значит ограбить бедную Марселину...

Лансье не мог долго думать об одном; вдруг он вспоминал — Мадо написала чудесный пейзаж, у нее настоящий талант, вот и Самба ее похвалил... А с Луи беда — мальчишка решил стать летчиком. Удивительное поколение — мы летали на Пегасе, а им подавай мотор... Материалисты! Впрочем, Луи еще десять раз переменит планы... Хорошо, что Марселина поправилась, воды ей помогли, она замечательно выглядит... И, забыв про все неприятности, Лансье улыбался.

Это был примерный семьянин; порой увлекала его та или иная женщина, но он быстро себя осаживал, боясь огорчить Марселину. Детей он обожал — красавицу Мадо, унаследовавшую от отца пристрастие к искусству, а от матери своенравие, и сына Луи, высокого юношу, непритязательного, веселого, увлекавшегося спортом, который не мог дочитать до конца ни одной книги.

За эксцентричностью «Корбей», бросавшейся в глаза посетителям, скрывалась обыкновенная семья, счастливая и несчастная. Марселина давно замкнулась в себе; радости мужа казались ей ничтожными, порой смешными. Луи был слишком подвижен, слишком честолюбив для игрушечного рая «Корбей». Мадо жила вымыслами, а когда какая-нибудь мелочь жизни, уродливая деталь оста-

навливала ее внимание, она говорила себе: хоть бы уехать, уйти, убежать!.. Но любовь связывала этих внутренне чуждых друг другу людей, и, встречаясь за обеденным столом, они были уступчивыми, участливыми. Семья держалась на Морисе Лансье, на его мягкости, доброте, неистребимой жизнерадостности. Был он вспыльчив, но быстро отходил и сам над собой смеялся: «погорячился»... Политики он не любил и никогда не допускал в своем доме споров, которые омрачают встречи друзей. Когда приятель пытался раскрыть перед ним трагическое столкновение классов, партий, государств, Лансье отвечал: «Все это так, но не забывайте, что мы — страна разума. У нас и безумцы логичны. Я вас уверяю, даже наши сумасшедшие — это типичные картезианцы. Нас этот ужас никогда не затронет. Верьте мне, дорогой друг, никогда...»

После разговора с Влаховым Лансье задумался. Нужно сдать русским заказ. Я не понимаю этого Руа... Нельзя в две недели все перестроить! И потом почему он вмешивается? Ведь я еще не дал окончательного ответа. Обидно, что Альпер в такое время уехал... Впрочем, Альпер ничего не понимает в финансах, хороший инженер и только... А этот Руа даже не инженер. Откуда он взялся?.. Физиономия у него несимпатичная... Но ведь это не жених Мадо. Какое мне дело до его физиономии? Главное — спокойствие. А русский очень симпатичный, я даже не думал, что бывают такие большевики... Может быть, люди повсюду люди? Разве я создан для «Рош-энэ»? Если раздеть человека, не узнаешь ни его происхождения, ни профессии, ни образа мыслей. Вот и на войне так было... В одной роте — Шале из банка «Эндошин» и бедняга Жако, который подбирал на бульварах окурки. А какими друзьями они были, водой не разлить! Потом, наверно, один вернулся к своим акциям, другой — к окуркам... Война такая была, что все позабыли, кто ты, откуда... И зачем этот Руа все время говорит о новой войне? Луи попадет в авиацию... Сумасшествие!.. Войны не будет, никто такого не выдержит. Люди хотят спокойствия. Конечно, реорганизация — это только красивое слово, придется потесниться, уступить. Но что я могу сделать? Мне пятьдесят четыре года, я устал. Пусть будет этот Руа... Одного у меня никто не отнимет — спокойствия.

2

Лансье обдумывал, кого пригласить на обед с Влаховым. Ему хотелось позвать Нивеля — это придаст вечеру поэтический характер, но он боялся столкновений. Нивель — националист и коммунистов не жалует...

Нивель был худым, желчным человеком. Его знали в узком кругу ценителей чистой поэзии как автора книги «Маска Цирцеи». Он занимал довольно крупный пост в префектуре полиции; многие из его сослуживцев не подозревали, что начальник паспортного отдела по ночам глядит в одну точку, шевелит губами и что-то записывает на клочках бумаги. Нивель тяготился службой, но у него не было других средств к существованию — книги его не продавались, а тетушка, которая должна была оставить ему небольшое наследство, в свои семьдесят лет была весела, бодра и не болела даже насморком.

Нивель мог украсить любой обед. Все же Лансье колебался. Есть же на свете эта проклятая политика! Он даже пошел за советом к жене; та ответила:

— Лучше позови их в разные дни.

Но Лансье заупрямился:

— Нивель — поэт. Пусть этот русский видит, что я не левый и не правый, я — обыкновенный француз. Пожалуйста, я позову Лежана. Это не просто коммунист, это сверхкоммунист. Как будто я не знаю, кто в тридцать шестом устроил у меня забастовку! Но для меня Лежан — прекрасный инженер и культурный человек. Если все сошли с ума, значит, и я должен взбеситься? Нет и нет! Мне пятьдесят четыре года, меня они не переделают. Кого еще позвать? Профессора Дюма. Конечно, Самба. Хватит... Погоди, я давно обещал профессору пригласить как-нибудь его протеже... Сейчас, сейчас, я записал... Госпожа Анна Рот... Кажется, чешка. Или из Венгрии, не помню. Она сражалась в Испании, но ты можешь не беспокоиться — очень милая особа, я ее видел несколько раз у Дюма. А русскому будет приятно с ней встретиться...

В дверях он остановился:

— Может быть, слишком много коммунистов?— И рассмеялся.— Видишь, Марселина, они и меня заразили. Что

за дозировка? Можно подумать, что я составляю правительство, а ведь это только скромный обед...

Лансье любил показывать достопримечательности «Корбей», разрывал шкафы, вытаскивая старинное оружие, гравюры, табакерки, освещал картины на стенах, потом водил гостя по парку, приговаривая: «Американский вяз... Розы де Ноай... Козел из Судана...» Он обрадовался новичку; и бубен негритянского царька, и автограф Талейрана были предложены вниманию Сергея. Даже дождь не остановил Лансье — как не показать русскому суданского козла?

Пришлось и другим гостям восхищаться вещами, хорошо им знакомыми. Впрочем, Лансье охотно прощали его слабости, ведь не так часто попадаются хорошие люди, которые умеют принимать друзей. Лансье часто говорил: «Госпожа Кюри или Ренуар могли кормить приглашенных хотя бы вываренной говядиной с сухой картошкой. Но что такое Морис Лансье?.. Одним моим присутствием я никого не могу порадовать. Разве что Марселину»... У изголовья, где стояли любимые книги Лансье, между томиками стихов можно было увидеть поваренную книгу, испещренную пометками, а обеды, которыми хозяин потчевал гостей, показывали, что он не зря изучал кулинарное искусство.

Была еще одна причина, по которой вилла «Корбей» казалась оазисом: спокойствие хозяина передавалось гостям. А в тот год только и говорили, что о близкой войне; и хотя мало кто этим разговорам верил, постоянная присказка «скоро начнется» выводила из себя самых невозмутимых.

Опять дождь, дождь,— думал художник Роже Самба, отряхиваясь и с тоской глядя на длинные полосы воды; потом он брал газету и сердито бормотал: «Опять про войну... Немцы пугают, а наши делают вид, что им не страшно. Если мы не воевали за Прагу, кто пойдет воевать за Данциг? Болтовня!..»

Чудак Альпер (это было еще до его отъезда) сказал: «Вы хотите знать, что волновало Париж за последние двадцать лет? Сначала «кончилась последняя война», «мир навеки», мужские костюмы с бюстом и в талью, фокстрот, новеллы Поля Морана «Открыто ночью», боль-

шевик — «человек с ножом в зубах». Потом появляются кроссворды, репарации, мулатка Жозефина Беккер сводит с ума сенаторов, Ситроен расписывается на Эйфелевой башне, ювелир Месторино зарезал маклера, афера Устрика. Потом кризис, парфюмер Коти — «друг народа», таксигерлс, девица Виолета Нозьер отравила папашу, афера Ставиского, молодые шелопаи на площади Конкорд жгут автобусы, дамы красят волосы в фиолетовый цвет, торжественно открыли публичный дом-модерн с древним названием «Сфинкс», психоанализ, сюрреалисты, забастовки, бастуют даже могильщики. Потом разговоры о войне, премьера Жироду «Троянской войны не будет», пробные затемнения, Мюнхен, иллюминация. И снова разговоры о войне... Пора менять тему, лучше уж сверхсюрреалисты или новая Виолета с мышьяком...»

Газетчики, видимо, придерживались другого мнения: каждый день можно было прочесть о надвигающейся войне. Приятно было отдохнуть от карканья газет в «Корбей», где если спорили, то о том, кто тоньше — Поль Клодель или Поль Валери; если расходились, то только в оценке различных способов приготовления свиных ножек. Стоило гостю заикнуться о чехах, о поляках, о переговорах в Москве, как Лансье деликатно, но настойчиво переводил разговор на театральную премьеру, на красоты Савойи или на погоду — когда же кончатся эти несносные дожди?.. Войны не будет, но никто не торопится в горы, на взморье — скучно сидеть в гостинице и глядеть, как бесстрашные спортсмены купаются под проливным дождем....

— Вы не боитесь дождя, дорогой друг? — спросил Лансье.

Сергей, улыбаясь, ответил:

— Я люблю дождь. Весело!.. Конечно, если он летний — с шумом, с пузырями.

Тогда Мадо, с раздражением, для нее самой неожиданным, сказала:

— Значит, и в Москве есть снобы?

Лансье поглядел на нее с укором: как можно обижать гостя?

Сергей ничего не ответил. Мадо его заинтересовала и лицом, и манерой держаться. Глаза их встретились. Когда

Сергей удивлялся, он закидывал вверх голову и щурил свои большие серые глаза; лицо его, обычно задумчивое и мягкое, казалось в такие минуты надменным. Почему он глядит на меня свысока? — подумала Мадо.— Презирает? Но за что? Ведь он со мной и не разговаривал... Должно быть, они презирают всех. Лежан недавно сказал: «Здесь слишком много гнили»... Что же, презирать и я могу! А лицо у него хорошее... Или это — маска?..

Мадо старалась не глядеть на Сергея и все же глядела. Как нарочно, глаза их то и дело сталкивались. Мадо тогда краснела и говорила что-нибудь колкое. Отец хотел показать гостю ее натюрморты, она запротестовала:

— Зачем утруждать господина Влахова гнилью?

Лансье начал показывать коллекцию старых выцветших фотографий — Верлен за стаканом абсента, Золя в допотопном автомобиле. Сергей сказал:

— А у вас нет вашей фотографии в студенческие годы?

Он издевается над отцом,— подумала Мадо. Лансье обрадовался, как ребенок; он притащил целую пачку фотографий; с них глядел вдохновенный юнец, закутанный в плащ и снятый на фоне какой-то руины. Сергей невольно взглянул на хозяина. Лансье улыбнулся:

— Нет, не похож. Тридцать лет — это не шутка.

В начале обеда Лансье с опаской поглядывал на бледного, молчаливого Нивеля. Но пулярка действительно удалась, и, сопровождаемая старым бургундским, она сделала свое: Нивель оживился, порозовел. Лансье с удовлетворением прислушивался к нестройному шуму, который бывает в конце удавшихся обедов.

Говорил Нивель:

— Искусство живет исключительностью событий, образов, чувств. Если я чувствую то, что чувствуют миллионы других, это прежде всего неинтересно.

— По-моему, в искусстве не должно быть ничего исключительного,— возразил Роже Самба.— Кажется, Флобер собирался написать роман, где ничего не происходит. Жаль, что не написал. Боннар пишет беседку, Марке — речку с пескарями, Утрилло — уличку предместья. А вот в Швейцарии художнику нечего делать — глетчеры не для искусства. Ваши «исключительные чувства» — это те же Альпы. Если человечество когда-нибудь

поумнеет, оно перестанет интересоваться исключениями. Возьмите газеты — о чем они пишут? Скандалы, убийства. Теперь какой-то Гитлер, исключительный психопат. А куда интереснее, что зацвели глицинии, что моя молочница Люси вышла замуж, что есть молоко, поля, Ренуар...

— В таком случае, вам должно нравиться советское общество, там ведь не может быть ничего исключительного. Для коллектива гений — это недопустимая опечатка. А корректоры у них образцовые...

Вмешался Лежан:

— Вы слишком доверяете упрощенным формулам, господин Нивель. Возьмите Германию. Там культ Ницше. А если разглядеть их «горные вершины»? Где они? Стадо баранов — и только. Вас отпугивает слово «коллектив»? Я в России не был, но я убежден, что коллективу нужны настоящие люди, а не нули.

— Коллектив — это стриженый газон. Красиво, но однообразно. Все выдающееся уравнивается. Флобер, о котором говорил господин Самба, хотел писать об обычном, но писал он необычно. А в Советской России пишут об обычном обычно. Там нет и не может быть ни Флобера, ни хотя бы четверти Флобера. Вы скажете...

— Я скажу прежде всего, что во Франции теперь нет и восьмушки Флобера.

— Да, но Франция, по вашим словам, гниет, а Россия в полном цветении.

— Когда дерево цветет, на нем еще нет плодов.

— Боюсь, что плоды есть, только скверные, дички. Может быть, я неправ. Если наш русский гость меня поправит, я буду рад признать свою ошибку.

Нивель сказал это чрезмерно учтиво, едва скрывая насмешку. Сергей, однако, сохранил спокойствие.

— Я в этом профан. Вы — люди искусства, а я инженер. Как господин Лансье. Только стихов я никогда не писал... Может быть, вы правы, говоря, что мы еще не потрясаем мир искусством. Времени у нас не было... Потрясаем мы другим — тем, что существуем. Вы ведь не спорите об английском искусстве или о немецком, спорите о нашем, и мне кажется, что вы спорите не об искусстве, а о нашем существовании. Я здесь часто замечаю, что люди, и умные люди, не выражают своих чувств, а повто-

ряют заученные фразы — культура цитат. Вам это может показаться смешным, но у нас есть Джульетты, только они не умеют сказать про свою любовь. Судите сами, что лучше — когда у настоящей Джульетты нет слов или когда бесчувственная тень повторяет монологи из старой трагедии?

Мадо приподняла свои тонкие брови, громко сказала:

— Нам остается преклониться перед немыми Джульеттами и отложить искусство до тридцатого века.

— Погоди, Мадо,— Лансье забеспокоился,— почему ты так говоришь? Русские показали, что они умеют очень быстро строить...

Профессор Дюма поддержал:

— И не только строить. Я встречал молодых людей из России. Это дети крестьян. Может быть, они и не умеют писать, как наш друг Нивель, но думать они умеют. Они умеют...

Его перебила красивая болезненная женщина, которая до этой минуты не произнесла ни одного слова.

— Они умеют умирать. Я это видела...

— Где?

— В Испании.

На минуту все замолкли. Потом Нивель сказал:

— Умирать умеют и французы. Господин Лансье может это подтвердить — он помнит Верден.

— Нельзя жить историей,— возразил Лежан.— Я вам скажу самое горькое: иногда мне кажется, что французы разучились умирать. Не хотят ничем пожертвовать, боятся потерять покой. Я вспоминаю вечер, когда сообщили о Мюнхене. Это ликование...

Нивель встал, скомкал салфетку.

— Я не люблю демагогии. Только трусы или идиоты могли тогда радоваться. Мюнхен был величайшей трагедией. Но если бы у власти были коммунисты, они сделали бы то же самое. Вы думаете, что русские будут воевать? Демагогия! Да они и не могут — никто еще не останавливал листовками танков. Большевики отдадут Гитлеру половину России, лишь бы спастись...

Лансье видел, как рухнуло спокойствие. Все кричали, никто не слушал собеседника, не слушали и хозяина,

пытавшегося умерить страсти. Но когда заговорил Сергей, спорщики притихли.

— Воевать никому не хочется. Разве что немцам... Но это вы напрасно сказали, господин Нивель... Может быть, я не знаю искусства, народ свой я знаю. У нас люди не сдадутся. Если на нас нападут, будем воевать, и так воевать, что подумать страшно...

Он отошел в сторону, стал у окна. Дождь не утихал. Гости перебрались в гостиную; там Лансье удалось переменить тему разговора, и до Сергея донеслось: «у Жироду блистательный диалог...»

Мадо подошла к Сергею, тихо спросила:

— Вы думаете о вашей стране?

— Нет, сейчас я думал о другом. Я недавно читал историю Византии. Знаете, чем были заняты византийцы, когда турки подошли к городу? Они спорили, какая колесница победит на состязании — красная или синяя.

— Что вам наша судьба?..

— У нас общий враг. И потом...— Помолчав, Сергей добавил: — Я здесь недавно, но я полюбил Париж...

Она была растрогана, ей хотелось взять за руку этого человека, сказать ему, что есть и здесь настоящие люди, что не нужно ее судить по злым и глупым словам, что ей очень грустно, еще немного — и она расплачется... Но вместо этого она холодно сказала:

— Вас ждут в гостиной, кофе подали туда.

В это время лакей доложил:

— Господин Гастон Руа.

Лансье скрыл от жены, что пригласил в «Корбей» человека, о котором неустанно думал: боялся посвятить Марселину в свои неурядицы. А ему хотелось проверить, какое впечатление произведет на друзей предполагаемый совладелец «Рош-энэ». Неприязнь к Руа выразилась в том, что позвал он его после обеда — «на чашку кофе».

В гостиную вошел невысокий человек с коротко подстриженными и бледными, как бы выцветшими усиками; аккуратно зачесанная прядь волос не могла скрыть плеши. Лансье начал представлять вновь пришедшего; когда очередь дошла до Анны Рот, она сказала:

— Я знакома с господином Руа.

Гость как будто не расслышал этих достаточно громко сказанных слов и назвал себя. Он отпустил неудачный комплимент Мадо, попробовал заговорить о Морисе Шевалье, потом о финансовой политике, но никто его не поддержал. В разговоре начали проступать те паузы, которые показывают, что время расходиться; и Гастон Руа едва успел выпить чашечку кофе, как поднялся Самба; его примеру скоро последовали другие.

Дюма ушел с Лежаном. Сергей предложил госпоже Рот отвезти ее домой. Последним простился Гастон Руа. Когда он ушел, Лансье почувствовал облегчение. Но Луи, сам того не зная, расстроил отца:

— Русский мне понравился, я ведь еще не видел живого большевика. В политике я ничего не смыслю, но, видно, они покрепче наших радикалов. А этот Руа — отчаянный пошляк. Откуда ты его выкопал?

Лансье поразило, что Луи задал ему вопрос, который давно его преследует — действительно, откуда взялся этот Руа?.. Он проворчал:

— У меня с ним деловые отношения, это — «Агентство экономической информации»...

Больше о Руа не говорили. Но Лансье продолжал о нем думать. Будущий компаньон явно не пришелся по вкусу, гостей он разогнал за час до положенного. Действительно, пошляк... Но что тут поделаешь?.. Компаньонов выбирают, когда есть выбор. Может быть, рассказать про все Марселине? Она скажет: «Продай Желинот», а если уж Марселина что-нибудь скажет, она поставит на своем. Все разрешится очень просто. Разве обязательно иметь свое поместье? Можно летом поехать в Нормандию. Да, но это значит ограбить Марселину, лишить детей наследства. «Рош-энэ» может лопнуть. А недвижимость — это недвижимость. Зачем поддаваться минутной слабости? Пошляк? Что из того? Можно не знаться домами. На работе все пошляки. Зато останется «Желинот»... Он с первого слова оценил этого русского. И все хорошо кончилось, даже Нивель признал, что Влахов производит выгодное впечатление. А пулярдка Нивеля потрясла... Удивительный рецепт! И, забыв про Гастона Руа, Лансье сказал Марселине:

— Обед, кажется, удался?

Марселина улыбнулась грустной улыбкой, которая всегда придавала ей очарование; она вспомнила, как молодой Морис с такой же наивной гордостью спрашивал: «Поэма, кажется, удалась?»

Лансье подошел к Мадо:

— Тебе не понравился русский? По-моему, он мил и хорошо держится...

— Не нахожу. Я, кажется, не встречала такого самодовольства. Упоен своими Джульеттами...

— Напротив, он очень сдержанно говорил. Но почему ты так горячишься?

— И не думаю... В конечном счете мне это безразлично — Влахов или Руа — твои деловые знакомства. Я пойду спать — разболелась голова...

3

Среди пестрых гостей «Корбей» Сергей и Анна сразу почувствовали обоюдную симпатию: так встречаются в открытом море два корабля, идущие под одним флагом. Они понимали друг друга с полуслова, и, однако, им трудно было друг друга понять, настолько различной была их жизнь.

Шофер такси остановился, спросил, куда повернуть: это было на площади Фальгиер, неподалеку от маленькой гостиницы, где жила Анна. Она сказала:

— Если вы не устали, мы можем посидеть...

Они зашли в маленькое кафе, посещаемое только обитателями соседних улиц, с неизменной в таких заведениях толстой усатой хозяйкой, с котом на конторке и с двумя чудаками, готовыми до полуночи спорить, где лучше клюет рыба — на Сене или на Марне, и какая водка ароматичней — бургундская или савойская.

Сначала Сергей и Анна говорили несвязно, каждый о своем; путались московское метро и парижские демонстрации, сельскохозяйственная выставка и террор в Праге. Потом Анна начала рассказывать про Испанию:

— В нашей бригаде был замечательный болгарин. Когда окружили, он вывел нас к морю. Хорошо пел... Немцы были, французы, югославы, чехи, венгры. Когда

шли в бой, пели «Интернационал» на десяти языках. Разве не замечательно? Иногда Испания мне кажется эпилогом...

— Почему? Это — пролог.

— Там было похоже на старое — на рассказы о революциях в прошлом веке. Наивности было много, чистоты, ну и глупости тоже. Может ли такое повториться?

— Нет. Будет суше, серьезнее.

— Один ваш часто мне говорил, что борьба неравная, романтики мало. А все-таки сколько держалась Испания! Значит, дело не только в технике... Я не знаю его имени, мы его называли просто «русо»... Он нас ругал за романтизм, а он сам был романтиком. Испанию он полюбил именно за чистоту сердца...

— Я мечтал попасть туда... У меня был товарищ по институту, он там погиб...

— Мы нашего «русо» похоронили под оливой, а памятника не поставили, чтобы те не надругались. Я знаю, где могила. Если вернемся... Но не верится...

— Вернемся! Только другим путем. Через Берлин.

— Как хорошо, что вы это говорите! Здесь все слишком грустно... Люди боятся Гитлера. А Германия — это страшная сила. Я знаю, как они готовятся... Они должны напасть на Советский Союз — без этого им не удержаться.

— Наша сила в том, что мы это знаем. Возьмите меня — я ведь с детства слышал одно: «Это неизбежно»... Вначале говорили «окружение», потом пришел фашизм, как магнит притянул к себе всех наших врагов. И мы знаем, что от схватки не уйти. Когда я был мальчишкой, помню — мы смотрели с надеждой на Запад. Думали о революции...

— И разуверились?..

— Нет... Но, поймите, история петляет. Это на десятки лет... Теперь мы должны надеяться прежде всего на себя.

— На что же нам надеяться?

— На себя. И на нас.

— Когда я сидела в концлагере, я много думала о Москве, старалась представить, как там живут... Трудно... В журналах русские девушки всегда улыбаются...

— Они улыбаются, и хорошо улыбаются. Только реже, чем им хотелось бы...— Сергей рассмеялся,— и реже, чем

хотелось бы мне. У нас трудная жизнь. Кажется, мы так и состаримся — на лесах, а уютной квартиры не увидим. Не подумайте, что я жалуюсь, я этой известки не променяю ни на что. Мы сложнее, чем о нас думают. Ад и рай — это у Диккенса. А у нас — жизнь, все вперемежку...

— Я встретила как-то одного товарища из Москвы, я тогда только приехала из Аржелеса. Вы ведь читали про Аржелес? Там каждый день умирали... Он меня расспрашивал об Испании, я рассказывала, а потом он начал спрашивать, где лучше купить отрез, в «Лаффайет» или «Прэнтан», какой марки чулки. Я здесь чего-то не понимаю...

— А я понимаю. Не бойтесь, я вас не буду спрашивать, где купить чулки, жены у меня нет, да я и не люблю ходить по магазинам. Сейчас я вам объясню... Здесь таким людям, как вы, трудно — они борются, сидят в тюрьмах, гибнут, а костюмы для них не такая уж проблема... Думали ли вы о том, какими лишениями оплачены наши заводы? Понятно, что такой попал в магазин, и у него глаза разбегаются, жена молодая, хочется ей приодеться... Здесь нечем восхищаться, но и осуждать это нельзя. Он у вас спрашивал про чулки, а придется — сядет в танк и погибнет как герой. Все это очень сложно... Я, например, когда читаю, что у нас изготовлено столько-то пар чулок, радуюсь, как победе. А что мне чулки? Но это — наше...

— Как я вам завидую! У вас есть свой народ.

— Народ есть и у вас.

— Не знаю... Вы говорили о сложности, а у вас все просто. Вы можете радоваться тому, что у вас свои чулки. Я смотрю на каждого советского, как на учителя: он больше знает, больше может. Но в чувствах другое... Когда вы говорите, мне кажется, что я старуха, которая прожила долгую и страшную жизнь. Для меня все сложнее... Забудьте на минуту про свое, постарайтесь понять... Это совсем другой мир. Я была замужем за евреем, то есть Генрих всегда считал себя немцем, друзья у него были немцы, женился на немке — я дочь пастора, работал, как все, он был химиком. Он давно увлекался политикой, а за год до Гитлера стал коммунистом. Как раз тогда мы

познакомились. Была я совсем девчонкой. Не удивляйтесь, мне теперь всего двадцать пять... Не знаю, как любят другие, то есть знаю из книг, но я его любила так, что вечером боялась уснуть — вдруг утром не увижу? Мы провели с ним две недели в деревне возле Штуттгарта. Тогда я поняла, что такое счастье... Потом — Гитлер. Ко мне пришли, предложили отказаться от мужа, говорили: «дочь таких почтенных родителей», я им улыбалась, потому что муж был тогда у моей матери, она его прятала. Мы должны были скрываться. Генрих работал в Гамбурге, там еще держалась подпольная организация. Ужасно было, как некоторые изменились, встречаешь, а он уже говорит другое. У меня были чужие документы. Виделись мы с мужем редко, на людях. А в августе тридцать четвертого его забрали. Они его мучили восемь дней, хотели, чтобы он назвал товарищей. Я знала, что его пытают,— там был один штурмовик, он мне сказал: «Я вас не выдам, потому что уважаю вашего отца. А про мужа забудьте, мы из него приготовим иудейскую ветчину»... Его звали Генрих, как мужа... Я думала, что сойду с ума, на себе чувствовала все пытки. Генрих не сказал... Они его отправили полумертвого в Дахау. Я почему-то еще надеялась, мечтала о побеге, а его уже не было в живых. В Испании мне было легче с испанцами или с французами, немцев я избегала. Это страшно, потому что немцы там были замечательные, такие же, как муж, может быть, его друзья. Вы меня не поймете, а объяснить я не умею. Будет война. Понимаете ли вы, что это означает для меня? Для вас все ясно. А я и ненавижу Германию, и люблю ее. Мама умерла, отец там, но я боюсь спросить, что с ним, даже не того боюсь, что арестовали, конечно, могли арестовать, боюсь — вдруг он поверил Гитлеру? Тогда и отца нет... Я отвыкла говорить по-немецки, недавно услышала, как выступал Гитлер, и мне язык показался отвратительным. А ведь на этом языке я слышала самое хорошее, что можно услышать в жизни... Ну, а та деревушка, где я была с Генрихом? Обыкновенная немецкая деревушка, липы, зеленые кислые яблоки, мальчишки в клеенчатых картузиках, старики возле кегельбана... Разве я могу хотеть, чтобы все это погибло?.. Я убегала в Испании от товарищей-немцев, но когда одного из них убивали, сердце

разрывалось, ведь они все-таки свои, и так же мучились, как я. Я с вами говорю и вдруг думаю — если немцы с Гитлером, вы должны ненавидеть всех немцев, и язык, и ту деревушку, все, все... Такая тоска, такое одиночество...

Сергей молчал, он был потрясен глубиной чужого горя, чувствовал, что нет у него слов, которые могут утешить Анну, да и не слова ей нужны. Он только пожал ее руку и медленно проговорил, обращаясь не к ней, а к себе:

— Тех я ненавижу. Но всех?.. Мы не фашисты! Даже если все пойдут за Гитлером, я вспомню вас — значит, не все...

За соседним столиком сидели двое; видно было, что они опрокинули немало рюмок — говорили они, не повышая голоса, но с надрывом, как актеры, и руками что-то рисовали в воздухе.

— Мортье говорит «это потому, что будет война». А я знаю, это потому, что он хочет выдать свою хромую дочку за Дежана. И будет не война, а будет еще по одной. Хозяйка!

— Согласен — еще по одной. Этот хромой Мортье вообще сволочь. Он взял прошлой осенью моего пойнтера на два дня, а потом сказал, что кобель увязался за перепелками и убежал в Америку. Но одно я тебе скажу, старина, хромой Мортье прав, и война непременно будет, потому что...

— Потому что?

— Потому что я тебе говорю, что она будет.

— Это говоришь не ты, это говорит хромой Мортье. А войны не будет, потому что война уже была.

Анна сказала:

— Вы видели, как они настроены. Они не понимают опасности...

— Такой Лансье убежден, что если война и будет, то за тридевять земель от его «Корбей».

— Глупый человек, но, кажется, порядочный...

— А дочь?..— Сергей смутился: что за дурацкий вопрос!

— Она мне понравилась, хотя говорит глупости. Трудно ее винить — их так воспитали. Они не видят, что

смерть рядом. Мне вспомнилась пьеса, кажется, это Метерлинка. Там на сцене — дом, уют, ужинают, а под окном люди шепчутся — они притащили труп дочки, которая утонула, минута, и они постучатся... В действительности это еще страшнее. Вы обратили внимание на человека, который пришел после обеда? С усиками. Я сейчас вам расскажу... Когда я приехала в Париж, мне поручили одно дело. Наци хотели обманом направить в Германию товарищей из интербригад. Я четыре месяца работала машинисткой в бюро путешествий «Европа», там у них пункт. Узнать историю с интербригадовцами мне не удалось, но кое-что я узнала. Там я видела этого Руа. Он два раза приходил, спрашивал о билете в Аргентину, потом говорил, что хочет заказать каюту-люкс, и шел наверх к Ширке... Лансье, наверно, и не подозревает, жужжит про поэзию, думает, что вокруг — кружева, а вокруг — паутина... Хорошо, что я вас встретила, а то нервы издерганы, не сплю, порой дохожу до малодушия. Вы меня успокоили...

Он ласково сказал, прощаясь:

— Спокойной ночи, товарищ!

Потом он шел по ночным улицам, блестевшим после дождя. Бесшумно скользили машины. Бесшумно проходили одинокие девушки с чересчур красными губами на синих лицах. И все путалось в голове: горе Анны, какое-то бюро путешествий, хлам «Корбей», стихи, улицы, запахи моря и перегоревшего бензина. А когда он зашел в свой тупик «сите», где не было фонарей, проступили звезды — много, очень много звезд. Он прежде любил разглядывать звездное небо, находил там своих любимиц, знал их по именам... Впрочем, здесь и небо другое — юг. Вот эта большая, зеленая — как ее зовут?.. Будь я поэтом, я писал бы о звездах. О звездах и о любви, такой сильной, как любовь этой маленькой, хрупкой женщины к мужу. Все сложно и непоправимо... Анна теряет Генриха. А Нивель пишет стихи. Он ведь не знает ни такой любви, ни этих звезд... Слова! Что в них хорошего? Какая большая и горькая ночь! Ту, с печальными зелеными глазами, с улыбкой обиженного ребенка, зовут Мадо. Она в Париже. И я сейчас в Париже. А что будет через год?.. Звезда останется, большая и зеленая...

4

Лансье горько усмехнулся: прежде он читал про «черные среды» и «черные пятницы»; на его долю выпал «черный четверг». Всего неделю назад он безмятежно колдовал над пулярдкой... События развернулись слишком быстро, а Лансье ненавидел торопливость. Когда ему пришлось однажды вернуться из Лондона на самолете, он долго потом ворчал: «Ничего не видишь, кроме облаков и собственного ничтожества! Люди помешались на скорости, как будто впереди не смерть, а приз — чаша с бессмертьем. Быстро пообедать, быстро переменить любовницу, быстро прочитать книжку, быстро умереть...» И вот этому сибариту пришлось пережить за один день больше, чем он пережил за всю жизнь.

Нужно было дать ответ Гастону Руа: истекли все сроки платежей. Лансье собрался с силами и сказал: «Хорошо». Утром они были у нотариуса, оформили все. А час спустя позвонили от Влахова. Лансье понимал, что русский теряет терпение. Но Руа, когда Лансье в начале переговоров ознакомил его с текущими делами «Рош-энэ», решительно заявил: «Договор с русскими нужно порвать. Это клиенты на час. Пускай судятся, все равно они проиграют. А заказчиков достаточно, притом с будущим. Эту партию возьмет Бильбао»... Лансье долго спорил, но Руа стоял на своем. Тогда Лансье решил тянуть дело с русскими. И вот Влахову надоело. Как обидно, что придется с ними порвать! Руа — неопытен, для него какие-то проходимцы из Бильбао солиднее, чем большое государство. А Лансье работает с русскими восемь лет... Да, но сдать заказ — это значит поссориться с Руа. Почему нет Альпера, он придумал бы что-нибудь...

Лансье решил снова отсрочить развязку: может быть, вернется Альпер. Но Влахов был сух, настойчив. Тогда Лансье сказал:

— Помните, я вам говорил о реорганизации «Рош-энэ»? Теперь проект осуществился. У меня и у господина Альпера новый компаньон, вы с ним познакомились в прошлый четверг — господин Гастон Руа...

— Понятно,— сказал Влахов.— Заказ вам все-таки придется сдать, я говорил с нашим юрисконсультом.

А новых заказов не будет. Если мы захотим иметь дело с немецкими фирмами, мы разместим заказы в Германии. Работать с французами, за спиной которых немцы, мы не собираемся.

Лансье вспылил:

— У меня могут быть финансовые затруднения, но я — француз, я не мальчишка! Почему вы со мною так разговариваете?

— Потому что ваш Руа — подставное лицо.

Лансье протестовал, горячился. Сергей усмехнулся:

— А бюро путешествий «Европа»?..

Лансье, не прощаясь, выбежал прочь: русский сошел с ума! У них мания преследования: повсюду видят шпионов. Руа вовсе не скрывает, откуда у него деньги: «Агентство экономической информации». При чем тут немцы? И нужно быть сумасшедшим, чтобы припутать какое-то бюро путешествий!..

Обдумав все, Лансье решил, что не следует придавать значения словам Влахова. Но что-то внутри сосало... Он не мог есть, едва отвечал на вопросы встревоженной Марселины; лег отдохнуть и вдруг, вскочив, побежал к телефону. Руа не оказалось дома. Лансье томился: что, если есть доля правды в словах этого русского? Конечно, я проверял... Но что? Только одно — платежеспособность. Деньги у него есть. А откуда эти деньги? Ведь еще недавно «Агентство экономической информации» влачило жалкое существование.

Так часто бывает — одни тонут, другие всплывают наверх,— успокаивал себя Лансье, но не мог успокоиться. Под вечер он нашел Руа: он должен с ним повидаться сегодня, сейчас же... Руа предложил перенести беседу на завтра, но Лансье настаивал.

— Хорошо, я переставлю другое свидание. Приезжайте в «Сигонь», пообедаем вместе.

У Гастона Руа была своя житейская мудрость, позволявшая ему сохранять присутствие духа при всех обстоятельствах: он был убежден, что жизнь — это скучная, пренеприятная история, в которой имеются восхитительные отступления. Трудно было лишить его аппетита или сна. Он нашел и теперь кухню «Сигонь» безупречной, несмотря на тяжесть обстановки. Лансье показался ему невменяе-

мым: может быть, он пьян? Ведь утром они были у нотариуса, дружески разговаривали, Лансье даже попросил Гастона Руа представить его супруге... А сейчас, войдя в ресторан, он не поздоровался со своим компаньоном, не заметил метрдотеля, который стоял, изогнувшись, с карточкой, и сразу начал выкрикивать:

— Покойный Рош оставил чистое имя!.. Я не позволю над собой издеваться!.. Я — француз, кавалер Почетного легиона!.. Я был у Вердена!..

Руа поморщился, но все же приветливо сказал:

— Прежде всего, дорогой друг, скажите, с чего мы начнем? Я предлагаю начать раками.

Лансье тупо посмотрел на него, салфеткой отмахнулся от метрдотеля и продолжал выкрикивать несвязные фразы.

— Что вас так разволновало? — осмелился спросить Руа.

— Вы.

— Я?..

— Да, вы. Я хочу, наконец, установить, откуда вы взялись.

Это было бессмысленно и бесцеремонно. Гастон Руа вздохнул и начал задумчиво обсасывать рачьи лапки, ожидая, когда Лансье успокоится. Так продолжалось добрых полчаса. Наконец Лансье притих.

— Может быть, вы выпьете стакан рислинга?

— Спасибо. Я себя плохо чувствую. Я, кажется, наговорил лишнего... Вы не обижайтесь, но я выбит из колеи. Вы один можете помочь мне. Вы — мой компаньон, между нами не должно быть тайн. Я вас посвятил во все дела «Рош-энэ». Почему вы не хотите раскрыть мне самое главное?

— Не понимаю...

— Я хочу, наконец, знать, что такое ваше «Агентство»?

— Бог ты мой, я вам много раз объяснял! Мы собираем документацию, анализируем состояние главных отраслей французской промышленности.

— Но для чего?

— Для бюллетеней. Вы их, кстати, получаете.

— Тираж шестьсот экземпляров, подписка триста

франков. Почему вы надо мной смеетесь? — Лансье снова повысил голос.

— Вы это знали прежде.

— Прежде я старался не думать.

Водворилось молчание, и Руа обрадовался: кажется, второго приступа не будет. Он заказал копченое мясо, которое было превосходно приготовлено. Подошла девушка, протянула букет; нарциссы казались звездами. В соседнем зале начались танцы, и саксофон требовал любви. Вдруг Лансье, перегнувшись через столик, тяжело дыша в лицо Руа, шопотом спросил:

— А бюро «Европа»?..

Как ни был хладнокровен Гастон Руа, он все же смутился; вилка застыла где-то между тарелкой и губами. Теперь Руа понял, что означали крики Лансье. Положение было нелегким. Руа не чувствовал себя уличенным в чем-то низком, но он растерялся, видя, что партнер знает его карты.

— Если это — немецкие деньги, я не хочу, вы понимаете — не хочу!

Гастон Руа знал, что перед ним счастливчик, проживший жизнь в душевном уюте, ребенок, заброшенный в мир жадности и коварства. Такому человеку трудно объяснить то простейшее, что, по мнению Руа, было законом жизни. Сын разорившегося финансиста, по образованию юрист, Гастон Руа занимался делами не из любви к делам — так сложилась его жизнь. Он не гнался за роскошью, но хотел жить прилично, не отказывая жене и детям в том комфорте, который им казался естественным. Поведение Лансье его оскорбляло. Чем лучше его этот дурак с африканским козлом?.. Да, у Гастона Руа не было богатого тестя, он женился на ровне, трудился как мог... Руа был в частной жизни добропорядочным, аккуратно платил долги, не сплетничал, помогал бедным племянникам и детей своих воспитывал так, чтобы они не свихнулись, не стали ворами или шантажистами. А занимаясь делами, Руа забывал про мораль, он часто говорил, что смешно нюхать сыр, ибо сыр должен вонять. С Ширке он работал, как работал с другими,— без увлечения и без стыда. Он следил за различными предприятиями, и когда они попадали в затруднительное положение, докладывал

Ширке. Так было и с «Рош-энэ». Ширке предложил ему финансировать Лансье. Руа — посредник, и только. Все это просто, буднично, даже скучно. Но как объяснить это человеку, который думает, что жизнь состоит из красивых стихов и безмятежных доходов?..

— Я не понимаю, почему вы нервничаете, деньги — это деньги. Здесь нет ни темной аферы, ни чеков без покрытия. В наше время интересы переплетаются... Не думаю, чтобы вы осуждали де Венделя... Я действительно нахожусь в деловом контакте с «Европой». Что тут плохого?

— Но это,— Лансье от волнения терял голос,— это — немцы!

— Я уже сказал вам, что в деловом мире нет границ. Это прежде всего честные люди. Какое мне дело до их национальности?

— То есть, вы сами признаете, что это — немцы?

— Насколько я знаю, мы с Германией не воюем...

— Сегодня не воюем, а завтра...

— Вы сами смеялись над паникерами, говорили, что будет найден компромисс.

— Конечно. И очень хорошо, если Бонне договорится с Риббентропом. Но здесь другое, личное дело... Француз я или не француз?

— С вами сегодня очень трудно разговаривать, вы вносите в сухой прозаический вопрос слишком много страсти. Если будет война, я тоже пойду воевать, можете быть уверены, я ведь лейтенант запаса. Но войны нет, и я убежден, что ее не будет. Это — во-первых. Во-вторых, с «Европой» связан только я. «Рош-энэ» остается французской фирмой. Никто не оказывает давления... Вы сомневаетесь? А один факт присутствия господина Альпера?.. Вы понимаете, что я далек от предрассудков, еврей, католик или буддист, мне все равно. Но в Германии они другого мнения. Если бы Ширке хотел вмешиваться в дела «Рош-энэ», он прежде всего потребовал бы удаления господина Альпера.

— Еще что? Может быть, эти господа потребуют моего удаления?

— Не горячитесь, дорогой господин Лансье, я повторяю — никто не собирается вмешиваться в наши дела.

— Стоп! А что означает история с русскими заказами?

— Ширке тут ни при чем, беру все на себя. Вы знаете, что я не политик, менее всего я собираюсь вносить идеологию в дела. Но я считаю ваш договор с русскими невыгодным. Я вам предложил «Электру» Бильбао. Можно спорить, прав я или не прав, но к «Европе» это не имеет никакого отношения. Если вы не заражены политической горячкой, вы первый признаете, что немцы вообще мало интересуются нашими внутренними делами. Они хотят вернуть себе Данциг, а какое у нас правительство, это их мало трогает. Учтите, что я не поклонник Гитлера, может быть, он и хорош для Германии, но у нас такой режим не продержится и недели. Я только хочу подчеркнуть, что Гитлер вовсе не хочет экспортировать свои идеи, напротив, он их монополизирует, это, если угодно, изоляционист. Возьмите название их партии — «Национальная», то есть чисто немецкая. Их идеи называют чумой. Не знаю... Во всяком случае, этой чумой заболевают только немцы. Другое дело — Москва... Коммунисты имеются повсюду, даже в Патагонии. И русские не довольствуются своей территорией. Вы слышали, как четырнадцатого июля наши дурачки кричали «Советы повсюду», — вот где опасность...

Руа долго говорил о кознях врагов, о том мире, который Франция заслужила. Он чувствовал, что гроза миновала. Лансье притих, он даже съел через силу кусок говядины. Конец обеда выглядел мирно. Саксофон теперь лирически плакал, а нарциссы на столе, увядая, особенно сладко пахли.

Когда Руа подозвал официанта, чтобы расплатиться, Лансье вынул из кармана бумажник, и здесь-то произошло нечто непредвиденное — все снова ожило в его сознании, он прошептал с отвращением «немецкие» и почувствовал острый приступ тошноты. В уборной его вырвало. Он едва доехал до «Корбей». Когда Марселина увидала его очень бледного, с крупными каплями пота на лбу, она испугалась. Он отвечал с трудом:

— Ничего... Не волнуйся... Обедал в «Сигонь» с Руа... Меня тошнит...

— Ты отравился? Что вы ели?

— Нет... Это нервное... Я очень устал...

Он долго лежал с головой, обвязанной мокрым полотенцем. Тень Марселины колыхалась на белой стене. Никогда он не думал, что часы могут так громко тикать. А когда жена в тревоге шепнула: «Морис», он не выдержал:

— Марселина, прости меня!.. Я все погубил, все... Мы должны продать «Желинот». Это ужасно!.. Я не хотел, я сделал все... Утром я подписал с Руа. Но это невозможно. Юридически он прав. Но ты знаешь, Марселина, какие это деньги?

Она в ужасе поглядела на него:

— Краденые?

— Нет. Немецкие.

Он сказал это и сразу подумал: зачем говорю?.. Что Марселине немцы?.. Она живет в другом мире... Да и вообще я, кажется, преувеличиваю?.. Этот Руа рассуждал логично, трудно что-либо возразить. Действительно, де Венделя все уважают... Но я не могу, вот так я устроен... А Марселина?..

Заслонив широким рукавом лицо, Марселина беззвучно плакала. В ее голове проносились обрывки образов, отдельные слова, как проносятся в холодную ветреную ночь облака по зеленому лунному небу. Война... Морис в длинной синей шинели, небритый... Говорят, что боши возьмут Париж... Господи, только бы не это!.. Неужели Морис мог?.. И, совладав со слезами, она сказала:

— Лучше все продать — и «Корбей», и книги... Морис, ты помнишь Нуази?

Как давно это было! Морис тогда приехал в отпуск. Они хотели отдохнуть, но пришла телеграмма из Нуази. Там лежал в госпитале младший брат Мориса — девятнадцатилетний Рене. Он был тяжело ранен, мучился. Четыре дня они не спали, не разговаривали друг с другом. Потом Рене умер, а Морис уехал в Верден. Говорят, что сердце могут потрясти несколько тактов старого марша, или плеск простреленных знамен, или полустертое имя на памятнике. Лансье и Марселина стояли, потрясенные тенью,— это метался в горячке Рене. Они держали друг друга за руки, у них были глаза лунатиков, широко раскрытые, невидящие...

Потом Лансье прилег на диван, подложил под щеку ледяную ладонь и сразу уснул. А Марселина не спала. Она смутно думала о чем-то большом. Вот и прошла жизнь, была она теплой, хорошей, но не было в ней главного, того, о чем когда-то мечтала строптивая девочка. Ей хотелось понять, в чем это главное, и она не могла, мысли разбредались. А Рене продолжал метаться... И вдруг Марселина подумала о Франции, подумала строго и вместе с тем по-домашнему, как о женщине. Что станет с Францией? Ведь не одного Мориса они обманули... Все говорят, что будет война... Марселина едва сдержала себя, чтобы не разбудить Мориса,— так ей было страшно. Потом закричал петух, и этот сельский звук, обычно радующий сердце, показался ей зловещим. Все, что может перечувствовать человек, она перечувствовала за короткую летнюю ночь и наутро выглядела слабой, постаревшей.

Лансье проснулся, как после попойки, с тяжелой головой. Он начал вспоминать события вчерашнего дня и вдруг увидел в окно Мадо; она шла со складным мольбертом и показалась отцу особенно красивой. Было очень яркое утро, свет дрожал. Лансье пошел в ванную, вода была теплой, пахла хвоей. Лансье брился, и кисточка с пеной ласково гладила его щеки. Любимица Лансье, овчарка Альма, сидела у двери ванной, поджидая хозяина, и стучала хвостом об пол. «Эх ты, барабанщица»,— сказал Лансье и окончательно успокоился: он понял, что «черный четверг» миновал. Все-таки вчера он погорячился... Нужно порвать с Руа, но не сразу, чтобы не было скандала. Лучше всего дождаться Альпера — пусть он решает. Альпер приедет не позднее, чем в августе. А сейчас можно позавтракать...

Он вдыхал бодрящий запах кофе. В столовую вошла Марселина. Лансье упрекнул себя: не нужно было ей говорить, вот как на нее это подействовало...

— Я тебя очень прошу, Морис, поезжай сейчас же к Шозару, он сможет быстро продать «Желинот».

Лансье поцеловал ее руку.

— Хорошо, хорошо... Только не огорчайся. Все образуется... Я пошлю телеграмму Альперу.

5

Телеграмма застала Лео Альпера в Киеве. Лансье сообщал: «После соглашения с Руа произошли существенные изменения. Реноме фирмы под угрозой. Прошу ускорить приезд». Это могло взволновать любого, но Альпер улыбнулся и занялся своим туалетом. Не затем он двадцать лет мечтал о поездке в Киев, чтобы сразу отсюда уехать. Подумаешь — реноме!.. Как будто идет речь о девушке. Лансье любит преувеличивать...

Трудно было обескуражить Альпера, он верил, что все складывается к лучшему. Можно было подумать, что это — баловень судьбы; а жизнь его была необычной и бурной.

Много времени тому назад в Слободке под Киевом проживал портной Наум Альпер, которого называли «сумасшедшим», хотя был он хорошим закройщиком и тишайшим человеком. У портного была одна странность — он любил фантазировать: то он говорил: «Будь я генерал-губернатором, я построил бы в Слободке сто высоких домов», то рассказывал про Нью-Йорк, как будто прожил там свою жизнь. Ну и нализался,— думали заказчики, приходившие к Альперу впервые, а он никогда не пил водки, признавал только крепкий сладкий чай.

Однажды Альпер получил письмо из Парижа от своего дальнего родственника Хишина, который сообщал, что у него галантерейная торговля, что он натурализовался и благословляет жизнь. Это письмо погубило Альпера; он решил перекочевать из Слободки в Париж. Жена возмутилась: «Как я оставлю маму? И что мы будем делать в чужом краю, где не с кем поговорить? Этот Хишин — десятая вода на киселе. Я не скажу, что мне здесь хорошо, но здесь по крайней мере меня понимают, когда я говорю, что нельзя жить с таким сумасшедшим»... Зато двенадцатилетнему Леве проект отца показался заманчивым, он ходил и хвастал: «Знаешь, куда я еду? В Париж!» Супруги проспорили несколько месяцев, а потом произошло событие, потрясшее обитателей Слободки: «сумасшедший» уехал, взяв с собой Леву; маленький Ося остался с матерью. При расставании было пролито много слез. Наум обещал жене вернуться, если Париж окажется не тем раем, о котором писал Хишин, а Хана согласилась,

если муж устроится на новом месте, оставить мать, распродать вещи и двинуться в путь.

Портному из Слободки Париж действительно показался раем: много огней, много добротного английского материала, никто не спрашивает о правожительстве. Но в раю не оказалось для него места. Хишины угостили Альпера обедом, дали ряд советов, как вести себя в Париже; сын старика говорил только по-французски, и портному казалось, что делает он это нарочно, желая показать свое превосходство.

Альпер снял темную лавчонку на одной из самых грязных улиц и начал латать одежду парижской голытьбы. Он очень скучал, говорил, что в Париже «нет ни настоящего чая, ни настоящих людей», постаревший, он напоминал дерево, которое неудачно пересадили. А Лева быстро научился говорить по-французски, завел приятелей и, когда отец мечтал о стакане «доброго русского чая», возражал: «Настоящие люди пьют кофе».

Трудно было портному признаться, что он и впрямь сумасшедший, но жить на чужбине было еще труднее, и он стал помышлять о возвращении в Киев.

Помешала война. Перестали приходить письма от Ханы, Киев стал недосягаемым. А Париж помрачнел, осунулся; богатые его кварталы опустели. Соседи Альпера были на фронте, их жены начали попрекать портного, что он ест чужой хлеб, а защищать Францию не хочет. Альпер плохо разбирался в мировой политике, но был человеком с самолюбием. Когда булочница, у которой он всегда покупал хлеб, обливаясь слезами, сказала: «Мой Жак убит, у Шарля отняли ногу, а в Париже остались только трусы, как вы», он направился к Хишиным. «Меня попрекают тем, что я живу и что у меня две ноги, и мне это надоело. Я хочу, чтобы вы взяли Леву, во-первых, вы — родственники, а во-вторых, я иду защищать вашу Францию».

Четыре месяца спустя солдат «иностранного легиона» Наум Альпер погиб в Шампани.

Нельзя было назвать Хишиных злыми людьми, но никогда Лева не слышал от них ласкового слова. Когда пришло извещение о смерти Наума Альпера, старый Хишин сказал: «Твой отец умер как герой,—и добавил:—На улицу мы тебя не выкинем». Лева не мог себе представить, что

отец умер; только много дней спустя, услыхав, как Хишин попросил заварить чай, Лева убежал в свою каморку и горько заплакал.

Беда пришла и к Хишиным: в Вердене погиб их сын. Старик перестал разговаривать, а Хишина сидела за прилавком с лицом, распухшим от слез, и рассказывала каждому приходившему о детских привычках Виктора; через год она умерла.

Кончится война, поеду в Киев,— думал Лева. Но шли дни, месяцы, годы. Давно кончилась война, а Лева не поехал в Киев. Левы больше не было — франтоватый студент Лео Альпер изучал математику и мечтал о славе. Сдав экзамены, он вздумал писать лирические комедии. Хишин успел к этому времени разориться и тихо умереть. Несколько лет Лео прожил без профессии, без пристанища, случалось и без обеда. Но никогда не покидала его прирожденная веселость, и даже в самые трудные минуты он напевал с детства запомнившуюся песенку:

Когда весна вернется,
Фортуна улыбнется...

Потом он женился на хорошенькой модистке, которую по прихоти судьбы звали Леонтиной, и решил заняться делом. Неудачливый драматург оказался талантливым инженером. Одно из своих изобретений он продал в Америку. Случай свел его с Лансье; чем-то они походили друг на друга, может быть, беспечностью. Они подружились, и Лео Альпер стал совладельцем старой французской фирмы «Рош-энэ».

Он давно мечтал съездить в Киев, но только теперь мог, не стыдясь, предстать перед матерью и братом.

Побрившись, Лео Альпер составил ответ Лансье: «Всецело доверяю разрешение всех вопросов. Заранее выражаю согласие. Прошу вас не волноваться и беречь свое здоровье. Вернусь в начале августа».

С удивлением он глядел на улицу, на дома, на людей. Может быть, изменился Киев? Или так устроен человек, что картины детства в его памяти постепенно меняются, становятся вымыслом? Лео не узнавал города. Он не узнал и матери; он помнил по фотографии молодую женщину в очень широкой шляпе, а в гостиницу пришла крохотная

старушка, похожая на птицу. Она сказала «Лева» и заплакала. Он целовал ее высохшие руки и, путая русские слова с французскими, приговаривал: «Мамочка, все будет хорошо!..»

Встретившись с братом, Лео смутился — не знал, что сказать. Молчал и Осип. Взглянув на них, трудно было поверить, что это — родные братья, настолько не походили они друг на друга. Лео был полным курчавым блондином, с лицом цветущего ребенка; по его глазам сразу было видно, что он всем доверяет и никого не склонен осуждать. У Осипа были черные, очень жесткие волосы, жестким было и выражение лица, острый нос, тесно сжатые губы; будучи душевно неловким, он казался сухим, говорил даже с близкими газетными фразами, отличался прямолинейностью, той глубокой честностью, которая способна и восхитить, и возмутить, так она хороша, так порой бесчеловечна. Ступал он по жизни ровным, тяжелым шагом, казалось, видишь, что будет с ним завтра, через год, через двадцать лет.

Братья помолчали, покурили, а потом начали разговаривать, как незнакомые люди, случайно оказавшиеся в одной комнате. Лео это злило. Он легко сходился с любым встречным, неужели он не может поговорить по душам с братом? Несколько раз он пытался взять дружеский тон, но Осип был сух, почти неприветлив, отвечал коротко, сбивался на «вы».

— Слушай, Ося, почему ты со мной держишься, как дипломат? Я знаю, что ты — коммунист, но меня это не касается. Для меня ты — родной брат, и только. И не гляди на меня с опаской, как на страшного капиталиста! У нас был, кажется, один отец, и Наум Альпер не был ни Ротшильдом, ни Детердингом. Если я теперь фабрикант, то не по призванию, а по счастливой оплошности судьбы. Я тебя не съем и не устрою здесь буржуазного заговора.

Осип улыбнулся, на одну минуту его лицо смягчилось.

— Я этого и не думаю, просто мне трудно с тобой говорить — мы очень разные. Я за границей не был, это совсем другой мир. Мы здесь иначе живем, иначе чувствуем.

— Ну, это еще вопрос! По-моему, чувствуют все одинаково. Болит — кричат, а если щекочут — смеются. Я затем и приехал, чтобы посмотреть, как вы живете.

Лео обязательно хотел тотчас поехать к матери и брату; но Осип сказал: «Поздно... Мы тебя ждем завтра».

С раннего утра Хана Альпер начала прибирать две комнаты; в одной жила она с внучкой Алей, в другой — Осип и его жена Рая. Хана достала из сундука старую скатерть, убивалась, что нет салфеток, сказала Рае: «Неудобно... Все-таки иностранец», и вытерла фартуком глаза — ей было грустно, что она называет Леву «иностранцем». А Рая про себя подумала: «Ни за что не пустила бы его сюда!»

Рая хотела помочь Хане, но та прикрикнула,— Рая в семье считалась слабой и хрупкой, ей не позволяли ни готовить, ни ходить на базар. Это была невысокая миловидная блондинка с темными глазами и очень большими ресницами. Она служила в горсовете, увлекалась музыкой и мечтала о другой, красивой жизни. Ей было двадцать пять лет, но она сохранила много детского; муж ей казался старым; она знала, что он умнее, опытнее, верила его словам, но втихомолку вздыхала — он не понимает, как мне хочется жить! Ведь построим все, а второй молодости у меня не будет... Увидав американскую кинокартину, она искренно возмутилась: «Какая дурацкая история»; а потом плохо спала — всю ночь ей мерещились пляж Миами, девушки под пальмами и влюбленные бездельники. Осипа она полюбила за то, что он был другим, полюбила за внутреннюю прямоту, даже за резкость, чувствовала, что с таким не свихнешься. А он не смог бы объяснить, почему выбрал Раю. Скупой на слова, он не говорил о своей любви, говорил о другом, но так глядел, так молчал, что Рая не выдержала, и первая его поцеловала. Когда они пришли из загса, Осип сказал: «Мама, полюбуйся — медведь и роза!» Хана боялась, что брак этот недолговечен — Рая бросит Осипа... Но родилась дочка; Рая флиртовала, ходила часто на вечеринки и оставалась верной мужу.

В этот день Рая не походила на себя; обычно веселая и кокетливая, она разговаривала с Лео сухо, даже враждебно. Он привез ей парижские духи; она злобно посмотрела на флакон и сказала:

— Спасибо. Но я предпочитаю «Красный мак».

Хана постаралась, накормила Лео наславу; он не подозревал, сколько усилий, находчивости, труда стоил этот обед. Глядя на Лео, Хана думала о своей молодости, о покойном муже — вылитый Наум!.. Когда Лео вспомнил, как отец любил крепкий сладкий чай, она всплакнула. И это было единственной минутой той сердечной теплоты, о которой Лео мечтал в Париже.

Пришла Валя Стешенко, крикнула:

— Раечка, можешь меня поздравить! Уезжаю в Москву...

Увидав незнакомца, она растерялась. Осип представил: «Господин Лев Альпер», он сделал ударение на слове «господин», потом добавил: «мой старший брат».

Лео обиделся, и конец обеда прошел невесело. Рая ушла с Валей. Хана спросила Лео:

— У тебя нет портрета твоей жены?

Лео показал фотографию: он был снят на пляже с молодой элегантной женщиной. Хана вздохнула:

— Никогда не думала, что у меня будет такая невестка...

Он не понял — восхищена она или осуждает.

Пришла маленькая девочка, недоверчиво посмотрела на Лео.

— Аленька, поздоровайся. Глупая, что же ты боишься? Это твой дядя, дядя Лева.

Лео приподнял девочку и, смеясь, сунул ей в руки большой сверток. Аля не посмотрела, что в нем — стеснялась; выждав немного, она проскользнула в соседнюю комнату, там развернула пакет и заулыбалась.

Хана, усталая, прилегла. Братья молча сидели друг против друга.

— Скажи, Ося, у тебя могут быть из-за меня неприятности?

— Нет.

— Тогда я не понимаю, почему ты сказал той даме «господин Альпер».

— Не знаю, так вышло... Наверно, хотел подчеркнуть, что ты — не наш.

— Но если брат — чужой, где же свои? Не понимаю. Или у вас нет семьи?

— Есть. У нас есть и другое — родина. А в этом ты чужой. Ты выбрал... То есть не ты выбрал — отец, но так случилось...

— Значит, по-твоему, если один брат живет в Париже, а другой в Брюсселе, они — чужие.

— Ты не хочешь понять... Париж, или Брюссель, или Нью-Йорк — это одно и то же, а здесь — другое, и разделяют нас не километры... Разве я могу себе представить, как ты живешь?..

— Я тебе расскажу, как я живу, как прежде жил. А потом ты мне расскажешь про себя. Хорошо?

Рассказ Лео показался Осипу авантюрным романом, он слушал с интересом и с недоверием, знал, что брат говорит правду, но жизнь, о которой тот говорил, походила на выдумку. А когда пришел черед рассказывать Осипу, он ограничился сухой справкой: тогда-то женился, там-то работает. Его жизнь походила на жизни миллионов. Учился, работал на заводе, снова учился, экономист-плановик, работы много... Чувствуя, что брат неудовлетворен, он рассказал, как приходили петлюровцы:

— Мы с мамой четыре дня прятались в сене...

— А потом?..

Осип молчал. Не рассказывать же этому иностранцу о голоде, о субботниках, о высоких порывах и морозных комнатах, о раскулачивании, строительстве, об ежечасной борьбе! Об этом никому не расскажешь — свои знают, а чужой не поймет.

— Это все? — спросил Лео.

— Не знаю, что тебе сказать... Живем еще бедно, но я жизнью доволен.

— Ты думаешь, что меня бедность пугает? Я сам три года прожил, как бродяга. Мало, что ли, в Париже людей, которые могут тебе позавидовать? Сколько угодно! Меня пугает другое — вы какие-то суровые... У нас бродяга, спит под мостом — и тот умеет повеселиться. В чем разгадка счастья? Вот в этой возможности позабыть все трудности, просто подурачиться, потому и говорят: «счастлив, как ребенок». А вы все время думаете о будущем. Вы и живете для будущего. Ну скажи, можно ли постоянно говорить о счастье в будущем времени?

Осип пожал плечами:

— Я счастлив сейчас, вот в эту минуту. Разве счастье только в отдыхе или в веселье? Борьба — это еще бóльшее счастье...

Лео ушел. Осип почувствовал смертельную усталость, как будто таскал пудовые мешки. Его вывела из оцепенения Аля — прижимая к груди розового верблюжонка, она весело щебетала: «Ушел. Ушел».

Потом пришла Рая, задумчивая, рассеянная. Осип спросил, когда уезжает Валя, она не ответила. Не стала играть с Алей. А когда Осип сел за работу, позабыв о тяжелом разговоре, Рая стала обличать Лео:

— Почему он такой самодовольный? «Это парижское», «у нас в Париже»... Противно слушать! Хорошо, что Валя пришла...— Вдруг другим голосом, нараспев, Рая сказала: — Неужели я никогда не увижу Парижа? Елисейские поля, Тюильри... Это ужасно—про все только читать!..

А Хана лежала за ширмой и тихо всхлипывала: «Бедный Лева, он так переменился!»

Лео шел угрюмый: иначе он представлял себе встречу с родными. Может быть, Ося и прав, но это не люди, а камни... С тоской подумал он о Париже, об его огнях, песенках, об его легкости, именно легкости — кажется, и горе там пушинка... Увидев каштан, Лео улыбнулся: вот я и встретил друга! Единственный друг в родном городе — это каштан, такой же, как в Париже... Нужно скорее уезжать. Да и Лансье нервничает...

Накануне отъезда Лео попросил брата пойти с ним в Слободку, хотел поглядеть дом, где провел детство. На той улице мало что переменилось. Женщина развешивала белье; с недоверием поглядела она на незнакомых; злобно залаяла собачонка. Они сели на скамейку возле дома. Лео сказал:

— Здесь любил сидеть отец. Его почему-то называли «сумасшедшим». Он мечтал вслух, мечтал, что куда-то уедет или что Слободка будет, как Нью-Йорк, говорил, что люди перестанут воевать, что не будет погромов. А погиб на войне. Мне рассказывали, что он бежал впереди, что-то пел. Пуля попала в грудь...

— Обидно, что он уехал почти накануне революции. Он понял бы... У нас никто не зовет таких людей сумасшедшими.

— А я не думаю, чтобы отцу пришлась по душе эта жизнь. Он был ребенком. Вы не такие... Вы — прокуроры, честное слово! Ося, завтра я уезжаю. Я хочу тебя спросить об одном... На этой скамейке я сидел с тобой. Ты не помнишь, ты тогда еще в штаны делал... Это связывает или нет? Почему ты все время хочешь от меня отгородиться?

— Я не отгораживаюсь, это выходит само собой. Поверь, мне самому больно... Когда ты написал, что приедешь, я обрадовался. Ведь это счастье — найти брата! А когда ты приехал, я понял, что ты — чужой, и связывает нас только мама. Зачем лгать? Если бы ты приехал несчастный, может быть, вышло бы иначе... Но тебе ничего не нужно...

— Только ласка.

— Разве можно это заказать? Я тебе скажу просто, и ты не расспрашивай — мы очень много пережили. Было тяжело. Наверно, еще будет... Но это — наше. А ты пришел со стороны и хочешь, чтобы я раскрыл перед тобой душу.

— Я хочу повалить стенку, а ты все время ее подпираешь.

Осип помолчал, потом тихо ответил:

— Мы оба бессильны — стенка в нас.

Из Варшавы Лео ехал в одном купе с депутатом Шомье. Депутат расспрашивал о России.

— Я счастлив, что там побывал,— говорил Лео.— Это удивительная страна. За двадцать лет они сделали больше, чем мы за сто. Если будет война, они побьют немцев, будьте уверены. Это даже не люди, это камни...

Шомье недоверчиво усмехался:

— Такими камнями танки не пробьешь. Я читал отчет военной комиссии... Вам показали фасад. Воевать они не могут — у них нет ни кадров, ни дисциплины, ни транспорта.

Лео вышел на какой-то французской станции, чтобы размять ноги. Прошел дождь; пахло глициниями. Полураздетый телефонист пел: «Мими, Мими, меня возьми»... Кто-то сказал: «В газетах пишут, что через месяц война.

Тогда и меня возьмут... Пойдем пока что опрокинем стаканчик»... Девушка, глядя в зеркальце, задумчиво водила помадой по губам. Было тихо, грустно и приятно. Лео с облегчением подумал: «Вот я и дома».

6

— Спасибо, что ты меня вытащила,— говорила Рая.— Ты видела это явление?

— Противный?

— Нет. Почему противный? Кажется, симпатичный. Привез мне чудесные духи, трогательно. Но о чем мне с ним говорить?.. Валя, какая ты счастливая — едешь в Москву!..

У Стешенко часто собиралась молодежь. Алексей Николаевич с несколько старомодной любезностью ухаживал за подругами дочери и во-время уходил к себе. Жена его, Антонина Петровна, отличалась хлебосольством: даже в трудные времена она потчевала гостей Вали пирожками с повидлом или пышками. Сегодня она хлопотала с утра: было что отпраздновать — Валя давно мечтала попасть в московский киноинститут, наконец-то сбылись ее желания. Антонине Петровне страшно было расставаться с единственной дочкой, но она утешала себя: кто знает, может быть у Вали вправду талант?..

Валя не была ни красавицей, ни дурнушкой; ее лицо, самое что ни на есть обыкновенное, преображала смутная, едва заметная улыбка, и в такие минуты Валя казалась привлекательной. Все в ней было смутным; она не любила ни резких жестов, ни точных определений. Мать говорила: «Ты у меня какая-то сонная, не знаю только, когда проснешься». В Валю влюблялись, но не серьезно— на вечер, на неделю; она не отстраняла и не подпускала ближе, оставаясь для случайных поклонников милым расплывчатым воспоминанием. Как-то она сказала Рае: «Говорят, что крупные натуры не годятся для семейного счастья, а я останусь одна не потому, что большая, а потому, что другой, неудобной формы»...

Вот и Валя уезжает. Скоро не останется никого из старых друзей. В школьные годы они шутя прозвали себя

«Пиквикским клубом» — в честь Бори Пики. Алексей Николаевич шутил: «Четыре девицы и один кавалер». Девочки в ответ прыскали: смешно подумать, что Боря может ухаживать... Лицо его напоминало ком глины, над которым скульптор только начал работать; все выпирало — мясистый нос, скулы, растрепанные брови; а среди этого хаоса чудесно светились большие серые глаза. Боря был механиком, писал стихи, но никому их не показывал. Он жил с матерью на окраине города. Вера Платоновна Пика рано овдовела — муж ее погиб на гражданской войне; всю свою жизнь она вложила в сына. Это была скромная женщина, малограмотная, но с большим знанием человеческих чувств. Когда «Пиквикский клуб» собирался в бедной комнатке, где жила она с Борей, девушки каждый раз поражались уму и чуткости Веры Платоновны. Валя однажды сказала Рае: «Учимся, читаем, хотим что-то понять, а ведь Вера Платоновна и не читала ничего, а все понимает, абсолютно все...»

— Валя, какое тебе выпало счастье!..

Антонина Петровна принесла бутылку малаги.

— А Зиночка где?

— Наверно, сейчас придет.

Зина Митрофанова была натурой страстной, но скрытной, и люди, которые ее мало знали, говорили — «гордячка». А подруги удивлялись ее внутренней самостоятельности, воле, своеобразию. Теперь она готовила дипломную работу. И какую же странную тему она выбрала: «Преодоление смерти в древнем эпосе»! Она снимала крохотную комнатушку на окраине города, жила плохо, но никогда не жаловалась. Ну и характер,— думала Антонина Петровна, когда голодная Зина ни за что не хотела притронуться к вкусному пирогу, весело отвечая: «Вы не сердитесь, я только-только пообедала»... Была она одинока: мать умерла четыре года тому назад, отца Зина не знала, он разошелся с матерью, когда девочка едва научилась выговаривать слово «папа». Рассказывали, будто у нее был жених, который не вернулся из Испании; может быть, это и выдумали,— Зина охотно выслушивала признания подруг, умела подбодрить, утешить, но своих тайн никому не поверяла.

— Вот она!..

Вместо Зины пришла Галочка, прозванная «хохотушей». Но сегодня Галочка не смеялась:

— С Зиной что-то жуткое. Вы ведь знаете — у нее были неприятности из-за отца. Все вокруг этого... Комсорг сказал, что нужно написать объяснение. Она тогда написала, что отца не знает, поэтому ничего не может добавить, не помню точно, но смысл такой. Наверно, неудачно сформулировала, потому что опять попросили написать. Какой-то подлец на нее капал. Конечно, она не права — ведь свои, товарищи, можно объяснить, но характер у нее, сами знаете... Назначили собрание, там один — не понял или не расслышал, говорит «враг»... Она вскипела: «Билет можете отобрать, а коммунисткой была и буду», и все в том же духе...

— Галочка, а теперь как?

— Никак. Молчит. Я зашла за ней — «идем к Вале», она отвечает: «Не пойду». Я начала уговаривать, она говорит: «Не нужно. Так и мне, и вам лучше». Потом рассказала, что Никитин с ней не поздоровался. Меня она выставила — «мне работать нужно». Одним словом, психует...

— Я завтра зайду к ней,— сказала Рая.— Только боюсь, как бы ее не обидеть... Она мне говорила, что не понимает людей, которые любят, чтобы их жалели.

Все помрачнели. Пришел Боря, тоже мрачный. Галочке пришлось повторить свой рассказ. Боря слушал очень внимательно, чуть приоткрыв непомерно большой рот, но ничего не сказал. Потом он застегнул на одну пуговку потрепанный пиджачок, взял рюмку и торжественно обратился к Вале:

— Я тебя поздравить пришел. А теперь я пойду...

Он даже не пригубил рюмки и молча вышел. Как ни была Галочка огорчена, она не выдержала, прыснула. Валя сказала:

— Ничего нет смешного. Я удивилась, что он пришел: его Тося ужасно обидела. Она сама мне рассказала... Два года он с ума сходил, наконец решил объясниться...

— Я ему говорила, чтобы он ее оставил. Он слышать не хочет. Она его видом берет, вид у нее действительно ангельский...

— Нет, ты послушай, что этот «ангел» ему ответил: «У тебя нет ни славы, ни денег, ни квартиры, и ты смеешь такое говорить? Посмотри на себя лучше в зеркало. С такой физиономией не объясняются, а выбирают крюк покрепче». Грубо как!

— Отвратительно!..

Родители Вали давно ушли. Они сидели втроем — Валя, Рая, Галочка. И может быть, от горя Зины, или от обиды Бори, или от близкой разлуки, только было им невыразимо грустно; даже приторно сладкая малага оставила привкус горечи. Вся жизнь была перед ними, но сейчас она пугала их, как лес ночью. Галочка попробовала утешить себя:

— Я убеждена, что с Зиной уладится. А за Борю я даже рада — по крайней мере теперь он увидел, что такое Тося... Он ведь очень хороший. Мне почему-то кажется, что у него настоящий талант... Знаешь, Валя, я обязательно прочитаю на афише: «В главной роли Валентина Стешенко». Пойду в кино глядеть Валю. А ты забудешь про «Пиквикский клуб». Ты, пожалуйста, хоть разок вспомни, что есть такая «хохотуша» в Главхлопроме...

— Какие мы все глупые!..— У Вали на глазах были слезы.— А молодость кончилась. Хорошая была — в тучах и все-таки «безоблачная». Рая, ты знаешь это чувство — засыпаешь, и вдруг сердце начинает ужасно биться, страшно, страшно?.. Мне все кажется — еще минута и разобьется...

— Что? — это Галочка спросила.

— Не знаю. Сердце... Счастье...

Галочка так напряженно слушала, желая понять, о чем говорит Валя, что столкнула локтем рюмку. Она чуть не расплакалась:

— Боже, что я наделала!

А Валя и Рая смеялись — до того уморительной была сконфуженная Галочка.

Они вскоре разошлись, не грустные и не веселые, с тем ощущением избытка жизни и легкой, почти неуловимой тревоги, которое может пройти от первой страницы книги, от первого слова и которое может остаться, сгуститься, стать душевной грозой.

7

Боря прямо от Вали пошел на Подол, где жила Зина. Он остановился, увидав сверху Днепр; это зрелище всякий раз его волновало: река была величественной и простой, как судьба. Так стояли и глядели другие,— подумал он,— много лет тому назад — и влюбленные, и герои, и никому неведомые чудаки...

Он забыл номер дома, в котором жила Зина, долго искал. Зина удивилась, но не подала виду.

— Я случайно — мимо проходил.

— Мимо? Откуда же ты шел?.. Ладно, садись.

Они долго молчали. Наконец Боря сказал:

— Зина, ты веришь в счастье?

— Верю.

— Я тоже. Мне одна женщина недавно сказала, что она «добьется счастья». Я спрашиваю — как? Она объяснила — нужно найти известного драматурга или ответственного работника, тогда и квартира будет хорошая, и она поедет в Сочи...

— Противно.

— И глупо. Сегодня у тебя есть квартира, завтра нет... Как будто счастье можно выдать или отобрать. Счастье, оно — твое.

— И от него больно; чем оно больше, тем больнее.

— Я зимой читал Багрицкого:

> Ты глядел в глаза винтовке,
> Ты погиб, как надо...

Читал и думал: почему я не родился на двадцать лет раньше? А дело не в этом. Каждая эпоха проверяет сердце по-своему, важно не то, какая эпоха, а какое сердце. Я это теперь понимаю... Может быть, наше поколение и балованое — учимся, в театры ходим, спорим, какая пьеса хуже, влюбляемся, даже любовные трагедии разыгрываем — не очень удачно, но все-таки... Глядим не в глаза винтовке, а в глаза девушек. Но разве мы хуже?.. В одну минуту может все измениться...

— Ты это про войну?

— Про все. Если хочешь, и про войну. Поют весело: «Если завтра война»... А она не «если», и потом это неве-

село... Вчера я поглядел на ребят и думаю — сколько из нас меченых? Ты не думай, что я боюсь, чем все кончится,— люди у нас крепкие,— я говорю о сердце. Ты вот замечательно озаглавила свою диссертацию, именно — преодоление смерти! Звучит как поэзия...

— Боря, а я боюсь смерти.

— Все боятся. Герои — и то боятся, мне Ершов рассказывал, он на Хасане был... Боятся, а когда нужно, умирают. И как!.. Ведь это — эпос, потом будет сидеть Зина — не ты, другая — в тридцатом веке и напишет новую работу. А ты, Зина, смелая. Нет, ты, пожалуйста, не спорь, я это твердо знаю, очень смелая, и главное — ты настоящая коммунистка.

Он сказал это настолько убежденно, что Зина смутилась. Они замолкли. За тонкой стеной раздавался детский голосок: «Если наложить треугольник А на треугольник Б»... Пошел дождь, косой и сильный. Зина, которая сидела у окна, улыбаясь, вытерла лицо, но не отодвинулась. И вот приключилось чудо: Боря прочитал ей свои стихи. Никому не читал, сердился, когда спрашивали, правда ли, что пишет, а сейчас сам предложил: «Зина, послушай!..»

Он читал неуклюже, строптивые строки, полные того чудесного света, который исходил из его глаз. Зина потом старалась вспомнить — о чем он читал? Кажется, о деревьях, больших, живых, раненных топором, но не сдавшихся, о соснах, липах, о киевских каштанах... А может быть, о войне? Или о любви?.. Нет, всё не то. О чем? О счастье? Не знаю... А пока он читал, она не думала, она отдавалась водовороту слов, ощущению ритма, похожего на ветер в степи или на дождь, который все еще бродил по стеклам, по улицам, по огромному ночному миру. И, прощаясь с Борей, она крепко сжала его горячую, шершавую руку.

8

Ященко сказал:

— Видите, положение какое сложное!.. Москва ведь еще весной настаивала. Теперь сговорились на том, что отпустим временно, а там видно будет. Я намечал Игнатюка, но он говорит, что у него осложнения с семьей,

потом человеку за сорок, а климат там сложный. Я вот о вас подумал, если только вы...

Осип не дал ему досказать:

— Хорошо, поеду. Игнатюку действительно тяжело.

— У вас ведь жена?

— Мать старая, так что перебросить нельзя...

— Если старая, это, конечно, сложнее...— Ященко вздохнул.— Но вы насчет бытовых условий не беспокойтесь, мы их здесь обставим...

Осип поглядел на карту, она висела высоко, и место, которое он разыскивал, было на самом верху — среди большого зеленого пятна; пришлось задрать голову. Он нахмурился — туда и письмо не скоро дойдет... Потом он занялся делами и больше не думал о предстоящем отъезде.

Длинные ресницы Раи задрожали.

— Я поеду с тобой.

— С ума сошла! Туда Игнатюка не пускают, а ты бы поглядела, как он в Святошине машину толкал... Да ты не представляешь себе, где это! Зимой там дышать трудно.

— Как-то дышат... А я не могу одна!

— Ященко обещал все обставить.

— Я не про то...

Он поглядел на нее и смутился; нежность, как кровь, прилила к его лицу. Он поцеловал ее маленькую руку. Нужно ее успокоить... И вдруг вспомнил: в восемь заседание! Он быстро проглотил котлету и убежал.

Почему он должен ехать куда-то на север,— думала Рая.— Если бы в Грузию... Она поехала бы с ним. Жалко, конечно, оставлять Киев, но раз он говорит, что нужно... Да, но ведь это не в Грузию!.. Как же можно ехать в такое место по своей воле? Он все-таки сумасшедший! Разве нельзя быть честным и не делать таких глупостей? Никто этого не требует, да никто этого и не ценит, напротив, ценят людей, которые умеют когда нужно отказаться. Почему они не посылают Игнатюка? Или Короткова? А на Осипа они смотрят, как на мальчишку, стоит сказать, и он побежит. Про меня он не думает. Ну, что я буду делать одна? Как Зина... Ведь я и так схожу с ума — поел, убежал, придет поздно ночью, а начну его спрашивать,

скажет: «Я, Раечка, что-то плохо соображаю», и уснет, и так — каждый день, пять лет подряд! И самое страшное, что его не заставляют, ему самому это нравится. Он не хочет понять, каково мне, а думает, что любит... Не пущу! Скажу, что умираю. Осип, ты слышишь — уми-ра-ю!

Но Осипа не было; Рая лежала, повернувшись лицом к стене. Хана приговаривала внучке: «А ручки надо помыть, ручки у нас грязные...» Хоть бы поскорее пришел Осип! Но заседание было длинным, и он не понимал, как он нужен сейчас Рае.

Он не понял этого и ночью. Он многое понимал. Рая ошибалась: его ценили как энергичного и опытного работника. Он умел преодолевать трудности, не есть, не спать, не жить для себя. Когда Рая изумлялась, он пожимал плечами: «Как же иначе? Ведь это — важная отрасль...» Он знал, что надвигается гроза: об этом он слушал, читал, думал с детства. Он понимал свое время, его требовательность, его жесткий язык. А вот Раю он не мог понять, хотя не был сложным душевный мир этой женщины; он не различал сплетений чувств, его сбивали с толку внезапные переходы от тоски к радости, от радости к отчаянию. Почему Рая то и дело спрашивает: «любишь?» Откуда такое недоверие? Ведь все ясно: она — его жена, у них дочка. Когда Рая жаловалась, что ей нехватает сердечной теплоты, он целовал ее руки, стриженый затылок, пряди волос и думал, иногда с умилением, иногда с досадой: прямо как в романе!.. В школьные годы он прочитал десяток-другой романов и давно забыл их; а теперь ему было не до книжек — выспаться, и то нет времени; с понятием «роман» у него было связано ощущение чего-то приятного, но загадочного и утомительного. Он сам не осознавал своего чувства к Рае, оно напоминало золото, скрытое в горной породе.

— Мне двадцать пять лет, Осип, это страшно! Еще год, два — и старость...

— Глупости! Мне тридцать, а я себя еще не чувствую стариком.

— Ты — мужчина.

— При чем тут пол? Не понимаю...

— Ты ничего не понимаешь. Погоди, дай мне сказать!.. Ты всегда делаешь, как ты хочешь, хоть раз послу-

шайся меня — не уезжай один! Если ты обязательно должен ехать, возьми меня с собой.

— Раечка, это невозможно. Если ты мне не веришь, спроси Ященко.

— О чем ты хочешь, чтобы я его спрашивала? Как любят?.. Не могу же я объяснить чужому человеку, что у меня в сердце. Мне все равно, что там холодно, одной будет холодней...

Она заплакала, и Осип почувствовал в груди острую боль. Так бывало всякий раз; напрасно он убеждал себя, что Рая способна плакать из-за пустяков; стоило ему увидеть ее слезы, как он терял голову. Он обнял ее, хотел утешить и не мог; перед его глазами стояло большое зеленое пятно. Что же он может сделать? Рая там не выдержит, а ехать нужно.

— Может быть, удастся вернуться раньше, весной.

Она не ответила, не могла больше говорить, чувствовала, как ее слова тонут в огромном глухом пространстве; и в отчаянии, уже ничего не соображая, она крикнула:

— Ненавижу твою работу!

Они шли по одной из горбатых улиц старого Киева, от которых теряешь дыхание — так круты они, так хороши, с садами, где уже золотятся каштаны, клены, липы, с невысокими домиками, где идет своя жизнь, невидимая, но понятная прохожему, до которого доходят и смех девушки, и гам ребятишек, и старческое покашливание,— это, наверно, пенсионер сейчас вспоминает, как полвека назад он шел с любимой по такой же крутой улице и терял дыхание.

Здесь они встретились в тот самый день, когда решилась судьба Раи; Осип тогда принес фиалки и стеснялся, прятал букетик в рукаве, как школьник папиросу. Рая вспомнила и задумчиво сказала:

— А может быть, и мечтать не о чем? Может быть, мы с тобой уже были счастливы?..

— Очень. По крайней мере, я...

Он хотел этими словами выразить благодарность, любовь; но Рая вся съежилась. Значит, все позади, даже та приподнятость первых недель, которую и не назовешь счастьем. А дальше что?.. Валя может мечтать о славе, Рае нечего ждать. Через год приедет Осип, поздоровается, как

будто пришел со службы, и убежит на заседание. Валя говорила: «У тебя музыка». Есть люди, для которых музыка — жизнь, для нее это только средство, чтобы забыться. Разве можно жить снами? Тогда уж лучше наглотаться снотворного и не проснуться... От этой мысли ей стало холодно. Она невольно прижалась к мужу. Нет, все это вздор! Нужно жить! Только не хочется жить. А умереть страшно...

— Рая, мне очень тяжело с тобою расставаться...

Ей стало сразу легче: может быть, она его не понимает, и он тоже мучается?.. А вечер чудесный! И Киев чудесный... Неправда, что не хочется жить, хочется, только очень, очень трудно...

Они дошли до обрыва; вдалеке показались огоньки. Ветер донес запах свежего сена. Они говорили о житейском:

— Туфельки Але ты обязательно купи, это в первую очередь...

— Я забыла положить тебе синий свитер, а ты говоришь, что там очень холодно...

— Письма иногда пропадают, так что не волнуйся, если будут перерывы.

Рая смутно подумала: хорошо, пропадет письмо, а любовь?..

На следующее утро Осип уехал.

Первые часы дороги были грустными: он видел Раю, гадал, что она сейчас делает, вспоминал ее шутки, капризы, обиды. В Киеве у него не было времени, чтобы призадуматься; теперь, расставшись с Раей, он как будто с нею встретился.

Потом он отвлекся — глядел в окно, разговаривал с попутчиками, выбегал на остановках. Все казалось ему интересным: и поля, и рассказ агронома о новых сортах яблонь, и спор, выйдет ли соглашение с Парижем и с Лондоном, и матовые сливы в лукошке, и корпуса завода, которые светились множеством огней.

Москва потрясла его потоком людей, светом, шумом. Он долго бродил по длинным коридорам наркомата; и все его радовало: сутолока, даже сухость, с которой заместитель наркома сказал: «Имейте в виду — задание ответственное...»

И снова замелькали леса, реки, заводы, встречные поезда, суматоха узловых станций. Он подумал: вот она, карта — не на стене, в действительности! Его приподымали размеры страны, впервые он их ощущал глазами, ушами, легкими — все здесь другое, даже воздух... Засыпая,— была это четвертая или пятая ночь,— он вспомнил Раю, и стало грустно, что нет ее рядом. Но поезд быстро его убаюкал. А утром снова начались чудеса, и были уже не клены, но березы, осина, ельник, и, вместо агронома, инженер рассказывал о каком-то новом кране, и другие люди спорили, будут немцы воевать или не будут. И Осип продолжал радоваться: какой у него большой, хороший дом!

Он решил написать Рае — ведь приедешь, не будет минуты... Писал несвязно, шумели соседи, подпрыгивал карандаш.

«Поездка замечательная. Я вспоминаю маму, как она приходила, каждый раз радовалась, что Липки нельзя узнать, где-то достроили дом, открыли магазин пластмассы и так далее. Мама говорила, что когда-то она так же обходила двор и сад дедушки, смотрела, как идет в хозяйстве. Я тоже смотрю и радуюсь. Рая, ты скажешь, что это опять доклад о текущем моменте, но я пишу от всего сердца, и хочется, чтобы ты в это включилась. Обо мне не беспокойся, я видел людей, которые здесь зимовали, в Киеве о здешнем климате преувеличивали. Очень беспокоюсь, как у вас в бытовом отношении и купила ли ты туфельки Але? Скажи маме, чтобы берегла себя, и не скучай! Я вспомнил, как ты спрашивала, был ли я с тобой счастлив, и захотелось вернуться, чтобы тебя обнять, видишь, какие фантазии у человека, лишенного фантазии, как я! Пиши, дорогая моя, чаще».

Когда Рая прочитала это письмо, ей стало вдруг жалко Осипа: вовсе он не старый — он ребенок, глупее Али... А потом взяла досада: захотел обнять и сам удивился! Нет, не любит он, не может любить, нет у него этого в натуре, «бытовое отношение» — вот и все... А может быть, это и есть любовь взрослого человека? Он ведь заботится... Только мечтала она о другом... А жизнь не «Пиквикский клуб», пора понять, стать сухой, деловой — так будет легче...

В тот самый вечер Осип думал о Рае: какая она нежная! И как это далеко — на другой планете! Его охватила грусть, он вспомнил Киев, огни Крещатика, уютного, как обжитая, надышанная долина, сады, черное небо с крупными звездами. Тут все чужое: и деревья, и говор, и ночь. Он рассердился на себя: что это я раскис? Прямо как в романе... Разве я здесь чужой? Все мое — и Москва, и это болото, и мастер, который давеча смешно кричал: «В голове затункало»... Все мое! И Рая,— это он досказал вполголоса, с суеверной грустью.

— Раиса Михайловна, я достал билеты на «Каренину».

Хана вздохнула. Слов нет, Фомичев мил, не позволяет себе ничего лишнего, всегда хочет порадовать Раю. Ей скучно... Хана знает, что значит остаться без мужа. Когда Наум уехал, она готова была на все, только другие времена были, в театр она не ходила, тогда ведь боялись бога. Может быть, это глупо, но боялись. А что удержит Раю? Фомичев ей нравится, ведь как вчера она волновалась: «Никто мне не звонил?» А четверть часа спустя позвонил Фомичев. Он, кажется, порядочный, но молод, как Раечка... Хана попробовала сказать Осе, что нельзя оставлять на год молодую жену, но он рассердился. Конечно, Ося сам все понимает, он умный, а это — государственное дело, поважнее Раечки... Вот только Ося к ней привязался, и Аленька у них, а без семьи плохо... Нужно быть сумасшедшим, как Наум, чтобы бросить все, уехать неизвестно куда и еще пойти на чужую войну... Бедный Наум, он не жил, он придумывал. Лева в отца, только Леве везет, он родился в рубашке. А Ося спокойный... Но кто знает, что у него на сердце? Раечка говорит, что он сумасшедший, если сам захотел поехать на север... Может быть, и Ося, как Наум?.. Они все говорят, что нет бога, но кто, кроме бога, может понять мужское сердце?

Вздыхая, Хана укладывала спать Алю.

Анна Каренина очень страдала, и, позабыв про своего спутника, Рая плакала.

9

Лансье оттягивал решительное объяснение с Руа, хотя и сказал Марселине: «Все в порядке, честь покойного Роша спасена». Он сдал заказ русским — это было вопросом престижа («я не марионетка!»), но порвать с Руа не решался. Выяснилось, что продажа «Желинот» не спасет положения; узнав об этом, Лансье обрадовался: очень хорошо! Как я мог ограбить Марселину?.. Надежды на чудо тускнели, Лансье постепенно привыкал к мысли, что ему придется работать с Руа. Что тут позорного?.. Он погорячился, сгустил краски. Если немцы вкладывают капиталы в нашу промышленность, значит, они не собираются против нас воевать. Конечно, немец — это немец... Но ведь не обязан он приглашать какого-то Ширке в «Корбей». А дела всегда скверно пахнут...

Так утешал себя Лансье; но сердце сопротивлялось. Он все еще искал выхода, обращался то к одному, то к другому. Наконец он решил посоветоваться с Жозефом Берти, хотя и был на него обижен. Берти прежде частенько бывал у Лансье, считался другом и вдруг исчез. Лансье все же решил поехать к нему: это умница, к его голосу прислушиваются. Можно говорить о нем что угодно — для Нивеля он «ловкий демагог», для Лежана — «замаскированный фашист», но это прежде всего талантливый человек. Достаточно вспомнить жалкий завод, доставшийся ему в наследство; теперь это одно из крупнейших предприятий Франции. Такой человек может придумать, как развязаться с этим Руа... Тем паче, что Берти — настоящий француз, история с бюро «Европа» возмутит его не меньше, чем Марселину.

Берти был и впрямь умен; его резко очерченное, удлиненное лицо, напоминавшее портреты Фуке, выражало волю; он умел владеть собой, и только легкое движение верхней губы порой выдавало досаду. Одинокий, он жил в доме, который казался пустым — так мало там было мебели; Берти не любил вещей, он называл «Корбей» (конечно, не при Лансье) «блошиным рынком». Увлекала его работа. Вокруг завода он построил для рабочих хорошие домики, школу, больницу. Один депутат, осмотрев рабочий поселок, сказал: «Так, чего доброго, вы сделаетесь

коммунистом»... Берти рассмеялся: «Вряд ли. Я прежде всего капиталист. Но те, что хотят все сохранить, рискуют все потерять — надо считаться с эпохой». Он родился первого января тысяча девятисотого года и шутя, но не без гордости говорил: «Мы с двадцатым веком сверстники». Знали Берти все, но настоящих друзей у него не было, да он и не старался ими обзавестись. Это был человек замкнутый; многим он казался загадочной натурой, хотя был в поступках логичен и сух.

Вот почему его так возмутила одна обнаруженная им странность — чувство к Мадо. Когда он понял, почему зачастил к Лансье, он стал упрекать себя. Что за блажь? Неравнодушен я к ней только потому, что она равнодушна ко мне. Она красива и неглупа, это бесспорно, но мало ли других, не хуже, не глупее. А если есть в ней нечто оригинальное, то это дурные черты, унаследованные от отца и от матери — эксцентрична, взбалмошна, беспечна, как стрекоза из басни. Такие становятся бездушными бабенками, которые разоряют мужей, или истеричками, способными пустить в ход револьвер. Все это казалось Берти убедительным, и, однако, не могло его убедить; он продолжал настойчиво, угрюмо, страстно думать о Мадо. Никогда он не говорил ей о своем влечении, и у Лансье перестал бывать не потому, что она его обидела или отвергла: хотел доказать себе, что может прожить без Мадо.

Будь Лансье в другом состоянии, он, наверно, заметил бы, как, слывши непроницаемым, Берти смутился, когда он сказал: «Мы все обижены, что вы нас позабыли — Марселина, Мадо»... Но Лансье было не до наблюдений: предстоящий разговор угнетал его. Пришлось начать с начала, то есть с денежных затруднений. Когда Лансье остановился, чтобы передохнуть перед самой неприятной частью своей исповеди, Берти сказал:

— До меня доходили слухи... Видите ли, дорогой друг, вы слишком поздно родились. Вы знаете, как я вас ценю, но теперь другое время... Вы мне как-то показали старинное ружье, если не ошибаюсь, Людовика Шестнадцатого. Очаровательная вещица. Но оно не стреляет... Вы хотите сохранить навыки прошлого века, а теперь середина двадцатого. Для вас «Рош-энэ» приложение, притом неприят-

ное, к «Корбей». Вот и результаты... Теперь нельзя поддерживать дело на одном уровне, нужно или распространяться, или погибнуть.

При слове «погибнуть» Лансье вздрогнул. Начало разговора не предвещало ничего хорошего. Да и на что он мог надеяться? Как ни умен Берти, он тоже отделывается прописной моралью. Все же Лансье пересилил себя и досказал свою печальную историю. Он был уверен, что происки немцев поразят Берти, но тот кивал головой, а время от времени улыбался.

— Вы могли вообразить нечто подобное?..

— Но, дорогой господин Лансье, я не вижу здесь ничего удивительного. Они так действуют и в других отраслях. Это естественно, я даже не берусь их обвинять — они хотят жить, не их вина, если мы спим.

— Я не знал, что вы сторонник сближения...

— Разве я вам сказал, что я сторонник сближения? Я готов работать с немцами, с русскими, даже с папуасами, если только папуасы захотят и смогут со мной работать. Дело не в этом... Мы — на краю гибели, не оттого, что немцы просачиваются, а оттого, что мы лишены единства, надежд, стимулов. Возьмите Россию. Большевики поддерживают свой народ надеждой на торжество коммунизма, там нет нас с вами, и человеку, который обижен, не на кого обижаться — довольно остроумное изобретение. В Америке поддерживают мораль другим: если после благоденствия наступает кризис, то после кризиса приходит благоденствие; ты голоден, но уже откармливают индюка, которого ты съешь; ты шлепаешь по грязи, но уже изготовляют автомобиль, в котором ты будешь носиться по сорока восьми штатам. Это, разумеется, меньше по размаху, чем рай на земле, зато конкретнее. Гитлер нашел третий рецепт, он говорит: «Нужно завоевать Европу, тогда у каждого немецкого бедняка будет в горшке...» Вы думаете — курица по Генриху Четвертому? Нет, там все «колоссально». В горшке будет целый гусь. Причем наци своевременно напоминают: «А если Германию побьют, то не будет и пустого горшка». Вот вам наши соперники. Что мы им противопоставляем? Министерские кризисы, биржевые скандалы, правительство, которое устраивает забастовки. Подписывают соглашения и знают, что не

могут их выполнить, бряцают несуществующим оружием, как ярмарочные шарлатаны. Чему же вы удивляетесь?

Лансье чувствовал, что Берти не прав. Но как ему возразить? У этого человека убийственная логика...

— По-моему, вы сгустили краски. Если французов рассердить, они будут драться. Я помню Верден... Нет, Франция не погибнет!

Он замолк. Молчал и Берти. Лансье спохватился: я пришел не затем, чтобы вести политические дебаты... О моем деле он не сказал ни слова. Должно быть, так лучше — что он может сказать? Придется работать с этим Руа... Лансье поднялся. Берти его удержал:

— Мы с вами не договорили... Вернемся к «Рош-энэ». Как же вы думаете выйти из положения?

— Не знаю. Я хотел продать «Желинот», но этого недостаточно. Притом я морально не вправе располагать имуществом Марселины. Откровенно говоря, я не вижу выхода.

Ему показалось, что он ослышался,— Берти сказал:

— Здесь как раз есть выход. Я готов помочь вам и без обязательств с вашей стороны. Закон дружбы...

Лансье схватил обеими руками холодную узкую руку Берти и долго ее не отпускал. Он даже не думал в ту минуту о «Рош-энэ», он был растроган, восхищен жестом Берти. А еще говорят, что Франция выродилась, что нет больше ни верных жен, ни преданных друзей!..

10

Лео Альпер осторожно осведомился у Марселины, как здоровье мужа. Она не успела ответить — в гостиную с веселым смехом вошел Лансье.

— Наконец-то! Я уж думал, что ты никогда не приедешь... Но ты замечательно выглядишь. Вот что значит родной воздух... Хотя, по-моему, ты больше француз, чем все французы, взятые вместе. Ты доволен поездкой? Наверно, это удивительная страна. Я здесь подружился с одним русским инженером. Очень тонкая натура. Я показал ему мою коллекцию миниатюр, и, представь себе, он сразу

отметил самую ценную, ты, конечно, помнишь — дама в зеленом капоре... Фанатик и в то же время мягкий, прямо-таки деликатный человек. Страна чудес! Почему ты не рассказываешь? Что ты там видел?

— Всего сразу не расскажешь. Видал брата. Тоже фанатик, это ты правильно сказал. Симпатичный, работяга. Жена у него красивая, дочка. И все-таки фанатик. Нас не понимает, да и не хочет понять... Но почему ты не говоришь, Морис, какие здесь происшествия?..

— Луи — младший лейтенант авиации. Мальчишка счастлив. Меня это мало радует, в особенности теперь... А помимо этого никаких перемен...

Увидев изумленное лицо Альпера, он рассмеялся:

— Не сердись, Лео, я забыл рассказать самое главное — все уладилось. Это почти восточная сказка — Берти пошел навстречу. И без обязательств, в порядке дружбы...

— Удивительно! Я его мало знаю, но все говорят, что он сухой человек.

— Это потому, что у него убийственная логика. Он мне доказал, во-первых, что «Рош-энэ» годится на слом, и я, Морис Лансье, дожил свой век, во-вторых, что вся Франция вроде меня и скоро нам крышка, потому что американцы и русские работают, немцы вооружаются, а мы сидим в кафе, пьем аперитивы и ругаем правительство. Я тебе скажу, что такое Берти,— это добряк, который прикидывается людоедом. Он любит парадоксы.

— Не такие уж это парадоксы. Мы с тобой действительно устарели. Я поездил по Европе, и я это почувствовал. Ты ведь знаешь, что за жизнь я прожил — валял дурака, марал бумагу, мечтал бог знает о чем. Как отец... Ты в том же духе — стихи, коллекции, ужины. А там не чудаки... Это скорее математики. Что нам с тобой нужно, давай говорить откровенно? Немножко денег и много спокойствия. Боюсь, как бы Берти не оказался прав — отберут у нас и денежки, и спокойствие.

— Коммунисты?

— Не знаю... Может быть, немцы. Игра идет крупная, а мы с тобой мелкие жетоны. Меня русские так настроили, что я Леонтину напугал. Она встретила приятными известиями — наш домик в Бидаре почти готов, осенью можно

будет поехать. А я ей отвечаю: «Хорошо, если доживем до осени». Глупо, тем более что она последнее время нервничает... Слушай, Морис, вы должны обязательно приехать в Бидар. Это простой домишко, баскский стиль — у самого моря.

Он рассказал о Бидаре. Потом Лансье рассказал о новой пьесе Кокто. Потом они пили вермут с сельтерской и улыбались, не вспоминая больше о каркающем Берти.

Вечером Лансье заговорил с Марселиной:

— Я хотел тебе еще вчера сказать... Одно условие — никому ни слова! Деньги мне дал Берти, закон дружбы — это его собственное выражение. Он меня очень разозлил своими рассуждениями, но все-таки это благородный человек. Он больше француз, чем он сам думает. Только я тебя умоляю — не проговорись, я ему обещал, что это останется между нами. И Мадо не говори...

Марселина отнеслась к рассказу мужа безразлично; после того как муж сказал ей, что порвал с Руа, она перестала интересоваться делами «Рош-энэ». Она была поглощена своими мыслями.

— Почему я вдруг стану посвящать Мадо в твои дела? С ней вообще теперь трудно разговаривать...

Лансье всполошился:

— Что с ней? Больна?

— Нет, не больна... Не знаю... Такое у нее настроение.

— А ты ее спрашивала?

— Я тебе говорю — она молчит. Когда я спросила, сказала, что ничего нет...

Марселина почему-то вспомнила свою молодость, летнюю ночь, когда под проливным дождем, в длинном платье старой экономки, она бежала к Морису. А Лансье разделся, завел часы и, сладко зевая, начал успокаивать жену:

— Ты, Марселина, напрасно себя расстраиваешь. Ну, что может случиться с Мадо? От таких передряг, как у меня были, она, слава богу, застрахована. Это еще девочка... Значит, или влюбилась, или с кем-то поссорилась, или у нее не вышел пейзаж, и она решила, что бездарна. Легкая зыбь, и только. Сегодня грустная, завтра развеселится. В ее годы всегда кажется, что много туч, а бурь

не бывает. Бури приходят потом, когда человек, наконец-то, жаждет спокойствия. Марселина, мы с тобой прожили хорошую жизнь, и теперь у нас настоящее бабье лето. Только бы не было бури!

11

Роже Самба прибирал мастерскую; делал он это неумело, разбил миску, вымазал красками диван, а потом, смочив скипидаром носок, яростно тер обивку, пыль замел под тот же диван, который был единственной мебелью, если не считать чересчур высокого стола, заваленного рухлядью, и табуретки. Пыль крепкою бронею покрывала холсты, полки, висевшую на гвоздиках старую одежду. Самба зачем-то осторожно сдунул с дивана перышко и рассмеялся. Глупо — как в старой мелодраме: художник поджидает принцессу...

С удивлением он оглядел мастерскую, как будто прежде не замечал, где живет; а прожил он здесь много лет, знал каждое пятнышко на стене; эти пятна то радовали его, то злили, когда он сажал модель на табурет и стена оживала или, упорствуя, оставалась пустым местом. Но сейчас, оглядев мастерскую, он задумался над своей жизнью — до чего же она неуютная, запущенная, пустая! Не обзавелся он семьей, как другие, не за кем ему ухаживать, да и о нем никто не позаботится. Отчего так случилось?.. Ведь не от внутреннего холода — он обладал нежным, привязчивым сердцем, не от презрения к будням — стоило поглядеть на Самба, чтобы понять — это не аскет, был он рослым, плечистым, с предрасположением к полноте, и движения у него были широкие, так что, когда он входил куда-либо, сразу становилось тесно, как будто своим присутствием он заполнял мир; он медленно, со вкусом ел, громко смеялся. Если остался он одиноким, то только потому, что одна страсть вытесняла все другие,— так горячо, так самозабвенно любил он искусство, так презирал богатство и славу, так подлинно жил второй, вымышленной жизнью.

Много лет тому назад он влюбился, казалось, крепко; девушке он тоже нравился; друзья уже напрашивались на свадьбу. Но свадьба не состоялась, и произошло все

оттого, что тогда он писал портрет другой женщины, не мог оторваться от ее рыжих волос и чрезмерно бледной кожи, пропускал свидания и дождался того, что любимая нашла другого. Всю ночь терзаясь, он спрашивал себя, как же это вышло, а наутро начал новый портрет той, рыжей, которую в душе возненавидел.

Его знали в художественных кругах Парижа как своеобразного и серьезного мастера, но широкой публике он был неизвестен,— он не гонялся за успехом, не пускал к себе критиков, да и работал слишком медленно, чтобы запомниться посетителям выставок. Иногда он делился своими мыслями с Мадо, говорил: «Вы только не думайте, что художник изображает мир так, как он его видит, что нужно увековечить свои ощущения. Нет, Мадо, художник — это прежде всего философ. Не хмурьтесь, вы тоже должны стать философом, наши мысли конкретизируются в цвете. Глядя на мир, мы его изучаем, осмысливаем и даем не отображение существующего, а нечто новое. Конечно, скульпторы Греции лепили своих современников, жили их идеями, их предрассудками, а вот создали они новое мраморное племя. Может быть, Платон устарел, статуя Афродиты не устарела и не может устареть... Поймите, мы не отображаем мир, мы его заселяем»...

Самба как будто не замечал гражданских бурь, которые потрясали в те годы Париж. Иногда он удивленно спрашивал первого встречного: «Кто это стреляет?» или: «По какому случаю забастовка?»

Однажды к нему пришел Лежан, говорил, что во Франции идет скрытая война, не сегодня завтра она перекинется на улицу, Самба должен выбрать, где его место. Самба внимательно выслушал, а потом начал показывать Лежану свои последние работы.

— Прекрасная живопись. Но я с тобой говорил о судьбе народа.

— Именно об этом я думаю. По-моему, живопись, которая занята другим, это не живопись, а драпировки. Вероятно, я делаю то же, что ты, только по-другому. Я прежде всего художник... А если дело дойдет до драки, кто знает...

Для Мадо он был совестью, она рвалась к нему от блеска и ничтожества «Корбей». Она чувствовала, какое

сердце у этого человека, и поверяла ему свои душевные невзгоды. Но порой она спрашивала себя: слушает он или думает, что хорошо бы меня написать в этом платье?..

Могла ли Мадо догадаться, что только она способна отвлечь Самба от мысли о живописи? Он сам лишь недавно понял, какое место она занимает в его жизни. Он знал ее девочкой, когда она еще ходила в коллеж, следил за ее первыми живописными этюдами... Его чувство медленно созревало. Как-то он не видел Мадо несколько месяцев — Лансье были в «Желинот», жизнь показалась ему скучной, даже утомительной. Когда он понял причину своей хандры, он растерялся: что за наваждение? Если для Мадо он слишком стар, то все же не старик он, чтобы вздыхать и рисовать вензели! Хватит! Но сердце оказалось упрямым. Прежде бывали у него случайные связи с женщинами, одинокими, как он, готовыми легко сойтись и безропотно исчезнуть. Теперь ему были противны все женщины, кроме Мадо. Он не раз задумывался над странностями любви. Ему тридцать девять лет, Мадо двадцать четыре или двадцать пять. Она любит хорошо одеваться, наверно любит успех. Это дочь богатого промышленника, балованая, к тому же красивая. Чем он увлекся? О чем мечтает?

Он сказал Мадо, что любит одну испанку, с которой познакомился в Бретани, сказал, потому что боялся — еще минута, и он выдаст свои чувства. Теперь Мадо иногда его спрашивала про ту испанку. Он не знал, что ответить, и злился.

Она обещала притти в пять часов. С утра он был сам не свой и мастерскую решил прибрать, чтобы чем-нибудь себя успокоить. Разрывая хлам на столе, он вдруг увидел перчатку Мадо — она ее потеряла еще зимой, когда приходила позировать. Он погладил замшу и рассердился: что за комедия! Нужно кончать!.. А что, если и она?.. Разве разберешься в чужом сердце? Сказала же она под Новый год: «Вы для меня больше, чем друг...» Конечно, четырнадцать лет — это не шутка. Но сколько раз он слыхал про такие браки. Глупо? Может быть. Только в этом деле все дураки...

Так размышлял Самба до прихода Мадо; а когда она пришла, он не думал, он только любовался ею, ощущал

ее присутствие, ею жил. Мадо была непривычно возбуждена, переставляла книги, подымая облака пыли, садилась и сразу вскакивала, переходила в разговоре с домашних новостей на выставку Боннара, а с Боннара на войну. Самба никогда не видал ее такой. Волнение Мадо передалось ему, он нервничал. Сейчас скажу!..

— Мадо, вы понимаете, что это значит, когда другой человек тебя захватывает? Ты берешь какую-то дурацкую вещицу, связанную с ним, и теряешь дыхание...

Она прервала его:

— Перестаньте! Я не хочу об этом слышать. Понимаете — не хочу!..

Он отвернулся. Они долго молчали. Заговорила Мадо:

— Не сердитесь, Роже, я сегодня сумасшедшая. Или выругайте меня, как вы делали когда-то, скажите, что я мазилка, что я дочка богача, от скуки рисую букетики. Помните?.. Ах, как тогда было легко!.. Только не сердитесь! Вы знаете, я вчера вас вспоминала, смотрела Боннара и думала — как это замечательно!..

Самба успокоился, начал говорить о Боннаре:

— Когда смотришь, забываешь, что есть время, в этом отличие живописи от поэзии...— Он улыбнулся: — Вы заметили, Мадо, что даже внешность другая — поэты похожи на птиц, а художники на деревья...

Она не слушала.

— Мадо, что с вами?

— Со мной?

— Ну да с вами.

— Не знаю. Знаю, но это неважно. Это мелочь, все равно, как потерять браслетку... Ведь это глупо, плакать оттого, что потеряла браслетку? Скажите скорее, что глупо! Я вас умоляю — обругайте меня! Я не браслетку потеряла...—В голосе ее почувствовались слезы, но быстро она с ними совладала.—Роже, помогите мне, я схожу с ума! Это так страшно, это — вот здесь, и ничего нельзя поделать. А когда я встречаюсь, я говорю глупости...

Самба вздрогнул: значит, и она!.. Он подошел к Мадо и неуклюже погладил ее руку, как раньше гладил перчатку. Несколько раз он порывался что-то сказать и не мог, наконец с трудом выговорил:

— Мадо, я тоже схожу с ума...

Она доверчиво улыбнулась:

— Я потому и решилась... Вы мне рассказали, что с вами было в Бретани, вы поймете. Вы один можете мне помочь, вы — друг, старый, хороший друг. Я вам скажу все, никому не скажу, только вам. Я думала, что это в романах, когда человек сразу потрясает тебя, думала — нужно долго знать, много говорить. А на деле иначе... Я в первый же вечер почувствовала, что это — судьба. Вы ведь тогда были... Помните, как я глупо себя вела? Мне хотелось говорить ему неприятности, обидеть его, нет, больше — ранить. А что я для него? Взбалмошная девчонка, француженка — для них ведь если француженка, значит, кукла. И не раны то были для него, а булавочные уколы, он и не заметил. Так и вчера. Я его встретила на выставке. Я вам говорила, что думала о Боннаре. Неправда! Я говорила с ним о Боннаре, а думала о другом — мне страшно, что он скоро уедет. Я вас умоляю — позовите его сюда, я должна с ним встретиться.

— Как же это, Мадо, как я позову? — Он хотел сказать не то и, разозлившись на себя, проворчал: — Я тут при чем?..

Но она его не слушала.

— Я должна с ним поговорить, просто, без глупых выходок. Вы знаете, что я ему вчера сказала? Я сказала, что можно полюбить русских, но полюбить русского нельзя, потому что у них все оптом — и степь, и леса, и люди. Как это глупо! Я должна с ним поговорить. Он может ничего не чувствовать, но я не хочу, чтобы он меня презирал. Если вы его не позовете, я пойду к нему.

Самба подумал: нужно отговорить, сказать про гордость. Русский сможет это понять по-другому... Но, взглянув на Мадо, на ее лихорадочные глаза, на губы, которые продолжали шевелиться, хотя она теперь ничего не говорила, он тихо ответил:

— Хорошо, позову.

Один сумасшедший не может лечить другого. Да это и неизлечимо... Разве он разлюбил Мадо? Он сейчас боится одного — скоро она уйдет...

И Мадо встала. Ушла она такая же взволнованная, Самба, стоя у окна, видел, как дошла она до угла, скры-

лась, потом вернулась, постояла, снова пошла, будто не знала, куда ей деться.

Он долго стоял у окна, охваченный большой ровной грустью. Вот и досказано все, можно забыть про испанку... Русский моложе, а главное, он живой человек, не захвачен этим... И Самба в ужасе посмотрел на свои картины. Одна из них остановила его внимание, он подошел ближе. Этот пейзаж он написал прошлым летом, когда Мадо уехала в «Желинот»... Но как плохо!.. Дерево не написано... Почему она сказала русскому про лес?.. Дерево старое, бог знает сколько ему лет, а стоит... У них крепкие корни... Только и дерево рубят... Нужно снова написать это дерево, не так, по-настоящему...

Стемнело. Под окном кричали продавцы газет, потом шушукались влюбленные парочки, потом улица опустела. И с горечью, но спокойно Самба подумал: в сорок лет от несчастной любви не стреляются. А если и выталкивают его из жизни, есть другая жизнь, там не нужно объясняться и не встретишь отказа, та жизнь не дана, она сделана — горением, муками, мудростью, это — искусство.

12

Самба и Сергей как-то сразу подружились. Сергей сидел, расставив ноги, на слишком низкой для него табуретке и, когда картина ему нравилась, молча улыбался.

Самба спросил, какая природа в России. Сергей стал рассказывать про степь, про леса.

— Нашу природу хочется не изображать, а петь, она течет и, как музыка, неуловима. Смотришь — и как будто ничего нет, но вдруг пробьется солнце сквозь облако и осветит одну полосу поля, или пройдет по тропинке девочка, или почернеет все перед грозой — и такое очарование! А метель! А тишина — это ведь тоже музыка...

— Я смотрю на вас,— сказал Самба,— и все время думаю, отчего так трудно вас написать? Вы сейчас сами объяснили — у вас лицо, как ваша природа, все время меняется, я вижу не форму, а выражение. Чертовски трудно сделать ваш портрет, а хотелось бы... Вы долго пробудете в Париже?

Сергей не успел ответить: постучали. Это была Мадо. Она сказала удивленно:

— У вас гости, Самба?

С Сергеем она поздоровалась приветливо, но сдержанно. Вначале и Сергей смущался. Потом стесненность первых минут исчезла, начался оживленный разговор. О чем только они не говорили! Об ярмарках в Бретани и о тихих реках России, по которым плывут стволы срубленных деревьев, о сонетах Ронсара, полных счастья, с легкой примесью грусти, и о сладком вине, в котором привкус горечи, о том, что французы говорят про человека, который, выпив, загрустит, «у него печальное вино», и о том, что на севере летом белые ночи.

— Вот где бы я хотела жить,— сказала Мадо.— Там можно помечтать... Не глядите так на меня! Я знаю, что у вас все работают. Я тоже работала бы — днем. А ночью... Это замечательно — увидеть мир не таким, как днем! Наверно, в белую ночь все другое — дома, небо, люди.

— А потом — зима.

— Это все равно... Счастье — хотя бы один час прожить в другом мире...

— Вы в нем живете,— сказал Самба,— когда работаете.

— Что я в живописи? Ученица. Еще десять лет я буду биться над азами. А мне хочется теперь, не дожидаясь, создать что-то свое, пусть хрупкое, ненадежное, но такое, чтобы все в него вложить...

Самба глядел и дивился: такой он знал Мадо когда-то. Он вспомнил смешную историю из ее школьных лет. Девочкам дали тему: «Чувство долга в сочинениях Корнеля». Мадо написала про звезду, которая, заметив влюбленного астронома, упала в обморок, и ей подарили бальное платье со шлейфом, потому что удобнее падать в обморок, когда на тебе длинное платье, но портной напрасно искал звезду, она давно стала золотой пылью, и только астроном помнил, как по небу пронеслась комета... «Что за вздор!» — негодовал учитель. Мадо объяснила: «Я прочитала у Корнеля про падучую звезду»... С тех пор прошло одиннадцать лет, а Мадо все такая же...

На столе стоял букет из полевых цветов. Она спросила:

— У вас гадают по ромашкам?

— Конечно. «Любит — не любит, к сердцу прижмет — к чорту пошлет».

— Это лучше, чем у нас. Французские девушки пробуют поторговаться с сердцем: «немного, сильно, безумно». «Немного»... По-моему, лучше «к чорту пошлет». Скажите мне эти слова по-русски.

— Мадо, не обрывайте цветов, вы мне испортите натюрморт.

Она спела старую руссильонскую песню. У нее был низкий, слабый голос.

Солдат воевал десять лет,
Солдат обошел весь свет,
Он вернулся ночью домой.
И жена поглядела — чужой.
И жене приглянулся чужой,
Жена целует его горячо,
Ему и горько и хорошо.
Солдат, ты счастье свое отыскал!
Солдат, ты счастье свое потерял!
Жена смеется сейчас над тобой,
Жена изменяет тебе с тобой.
Убить не может — он любит ее.
Простить не может — он помнит все.
Солдат под утро...

— Не хочу больше петь.

— А что сделал солдат?

— Ушел. Может быть, он и не был у жены, а обнимал чужую женщину, может быть, он до сих пор бродит по свету...

Мадо теперь думала об одном: хоть бы Самба вышел! На минутку!.. Неужели он не догадается? Ведь ей нужно сказать Сергею... Что сказать, она не знала, но знала — необходимо что-то сказать.

— Самба, дорогой, если вы вскипятите воду, я сделаю кофе. Хорошо?

Самба, наконец-то, понял, он ушел в маленькую кухню. Мадо спросила Сергея:

— Когда вы уезжаете?

— Не знаю. Думаю, что скоро.

Ей показалось, что это не она говорит — голос был чужой:

— Хорошо, что скоро. А то ваши друзья подумают, что вы влюбились в Париж.

Он пожал плечами. Какая она несносная! И милая... Чем она его покорила? Может быть, отрешенностью, тем печальным весельем, которое стоит над Парижем, как легкий летний туман?

— Я вас обидел?

— Что вы! Вы так интересно рассказывали о вашей стране. Я вам очень благодарна, очень...— Она встала.— Самба, где же вы запропастились?

В дверях кухни, повернувшись к Сергею, она с веселой гримасой повторила заученные русские слова: «К чорту пошлет».

— Самба, где чайник? Что вы здесь делали?

— Я думал, что вы хотите...

— Я хочу кофе. Идите к вашему гостю, я сделаю все сама.

Прошло полчаса: Самба решил посмотреть, что с кофе. Он нашел Мадо плачущей.

— Уходите! Нет, постойте... Скажите ему, что мне стало дурно, что у меня больное сердце. Придумайте что-нибудь. Я не могу выйти к нему. Не могу...

В ту ночь Сергей плохо спал: он думал о Мадо. Чем он ее оттолкнул? А может быть, она над ним смеется? Нет, так не играют... Но почему он все время думает о ней? Эта девушка, без спросу, без тех прав, которые дает давность дружбы, без задушевных бесед, без горячих объятий, чужая, вот уж воистину чужая, вошла в его жизнь, стала такой близкой, такой своей, что он с нею беседует, спрашивает ее, утешает... Он ворочался, злился на себя и все-таки думал о Мадо. И вдруг рассмеялся: вспомнил, как она смешно сказала по-русски «к тшорту».

Утром ему подали маленький синий конверт.

«Вчера я снова дурно вела себя. Не сердитесь, я от этого страдаю. Вы говорили, что в вашей стране есть Джульетты, которым нехватает слов. Я тоже немая Джульетта, только французская. Я не могу и не хочу

войти в вашу жизнь, все, о чем я вас прошу — встретиться со мной, может быть, я смогу вам сказать то, что хочу. Я буду вас ждать сегодня вечером в восемь часов на набережной Вольтера, возле памятника. Если вы не сможете или не захотите притти, я не обижусь, а буду говорить с вами издалека. Место это я выбрала потому, что там в этот час мало прохожих, мы сможем разговаривать. Простите каракули, я тороплюсь и не решаюсь переписать. Мадо».

Накрапывал мелкий дождь. Сергей пришел на набережную до времени; Мадо его ждала. Они быстро заговорили о дожде, о Вольтере, о картинах Самба — оба хотели скрыть свое волнение. Они шли то очень медленно, останавливаясь, как будто не знали дороги, то быстро, и тогда со стороны можно было подумать, что они куда-то торопятся; но они не знали, куда идут. Они перешли на правый берег, дошли до площади Конкорд, которая сверкала, как бальная зала; поднялись по Елисейским полям, жмурясь от огней и не замечая прохожих; потом они очутились в Булонском лесу. Обычно здесь бывало много гуляющих, но дождь всех разогнал. Они шли по пустой аллее; пахло мокрой травой, осенью. Они, кажется, успели рассказать друг другу все, но ни одним словом не обмолвились о том, чем были переполнены их сердца. Слова были нужны, потому что они боялись замолчать; но и слова иссякли; только дождик шумел в листве.

Мадо остановилась, взглянула на Сергея, молча попятилась назад, как будто увидела она в его глазах что-то страшное, все так же молча подбежала, руками обхватила его шею, начала целовать. Он ничего не помнил, он только тихо повторял: «Мадо... Мадо...» А на ее лице слезы мешались с каплями дождя.

— Я так и не сказала того, что хотела...

— Что?..

— То, что я сейчас сказала...

Так началась их любовь. Теперь они встречались почти каждый вечер. Никто об этом не знал. Они часто обижались друг на друга, ссорились, потом мирились, но даже эти размолвки были частицей большого и полного счастья.

13

Для Ширке не было мелких дел — все он выполнял со рвением. Издание французского путеводителя по старинным городам Германии должно было укрепить реноме бюро путешествий «Европа» и показать французам, что немцы не помышляют о войне. Ширке решил, что путеводитель будет выглядеть солиднее, если предисловие к нему напишет француз. Он остановился на Ниведе — французский националист, человек с незапятнанной репутацией, ко всему — изысканный поэт.

Ширке попробовал одолеть «Маску Цирцеи».

Света не увидеть Персефоне.
Голоса сирены не унять.
К солнцу ломкие, как лед, ладони
В золотое утро не поднять...

Он откинул книгу со смешанным чувством зависти и презрения. Это двойственное чувство не покидало его во Франции. Четыре года прожил он в Париже, заведуя бюро путешествий и выполняя ряд особых поручений. Он изучил Францию и не раз говорил своим соотечественникам, что она заслуживает презрения. Какая отсталость, расслабленность! Близорукие, ничтожные люди, которые поглощены наживой или своими мелкими удовольствиями, продажные газеты, эфемерные правительства, беспечность, превращенная в культ. Однако в глубине души Ширке завидовал французам, он восхищался живостью реплик, шиком парижской мастерицы, веселостью толпы и, конечно, кухней. Да, эти люди умеют жить! И, восхищаясь, он непрестанно доказывал себе, что любой немец выше этих знатоков и привередников.

Красиво,— подумал он о стихах Ниведя,— но глупо и ни к чему...

Рудольф Ширке не доверял свежим адептам партии; он стал наци десять лет тому назад, когда исход борьбы еще не был ясен, и с нежностью вспоминал те времена — побег из участка, фальшивые документы, перестрелки с коммунистами, накуренные пивнушки, где между стойкой и бильярдом обсуждался грядущий передел мира.

Молодость Ширке была беспорядочной. Он мечтал о карьере адвоката; вместо этого ему пришлось, в качестве представителя фирмы «Прима», уговаривать обнищавших коммерсантов обзавестись арифмометрами. Вечерами он зачитывался Достоевским, Ницше, Шпенглером, говорил себе, что одиночество — удел избранных, и вымаливал руку толстушки Эммы, которая вскоре вышла замуж за богатого шведа. Ширке попробовал заняться журналистикой, писал в вечерней газете о театральных премьерах, но полгода спустя появился рыжий веснущатый Кац и вытеснил его. Один депутат ландтага нанял Ширке как секретаря. Депутат покрикивал: «Рудольф, сбегайте за сигарами»... Ширке женился на уродке, у ее отца был бельевой магазин. И снова судьба над ним посмеялась — тесть разорился, не выдержав конкуренции с универсальными магазинами, а жена оказалась жадной, скупой, сварливой. Ширке готов был отчаяться, когда школьный товарищ Гримм, которого он случайно встретил, сказал ему: «Вся Германия, как ты, на краю пропасти... Нужно вернуть людям веру. Это может сделать один человек, я тебе его покажу».

Хотя в помещении было не больше сотни приверженцев, Гитлер говорил очень громко, выбрасывая вперед руки, глядел он поверх людей, как будто видел нечто скрытое от других. Слушая его, Ширке понял, что жил плохо не потому, что глуп или ленив. Он вспомнил, как, будучи мальчишкой, отмечал на карте захваченные французские города и как потом, когда побежденная армия возвращалась на родину, контуженный солдат кричал: «Позор! Нас предали тыловики». Вспомнил он и те годы, когда по Курфюрстендамму прогуливались нарядные иностранцы, скупая картины, меха, драгоценности. У Ширке тогда не было на кружку пива... Он мог стать блестящим журналистом, но на его место пролез пронырливый еврей. Депутат обращался с ним, как с лакеем. «Германия, проснись!» — кричал Гитлер. И Ширке показалось, что он действительно проснулся после ночи, полной кошмаров. Он стал одним из самых яростных сторонников нацистского движения.

Когда Гитлер победил, Ширке, в отличие от многих других, не стал помышлять о теплом местечке: борьба для

него продолжалась; он обрадовался, когда ему поручили важную работу за границей. Будучи человеком неглупым, он быстро научился разговаривать с французами: в Париже его считали плохим нацистом и другом Франции. Таким отрекомендовали его и Нивелю.

— Я вам объясню, почему я придаю такое значение этой маленькой книжке. Мы живем в тревожное время, политики делают много неосторожных жестов — и наши, и ваши. Нужно показать, что для людей искусства нет границ. Я не знаю, почему в Нюрнберге устраивают партийные съезды... Ведь это город-музей, жемчужина готики! Я помню вашу поэму о Руане, я убежден, что вы чувствуете душу Нюрнберга. А Веймар! Вот вам лучший ответ тем, кто хочет представить Германию, как страну рóботов! Мы все сойдемся на одном: на культе Гете. Кто лучше вас введет французов в мир Вертера?..

— Теперь люди не решаются отправиться даже в Довиль. Кто же поедет в Германию?

— Дорогой мэтр, это — туман, он скоро рассеется. А книга не газета... Я убежден, что в будущем году тысячи ваших соотечественников захотят посетить старые немецкие города.

— Я сам не верил в возможность войны, но люди, которые приезжают из Германии, говорят, что там воинственные настроения...

— Так может показаться поверхностному наблюдателю... Ведь по сравнению с французами мы неотесанны, грубоваты. У нас любят кричать, маршировать, играть в солдатики.

— Опасная игра! Мы очень миролюбиво настроены, и мы не любим маршировать, даже на парадах. Но если у вас возьмут верх сумасшедшие... Французы драться умеют.

— Мы это знаем и ценим. Конечно, у нас имеются горячие головы. Фюреру приходится считаться с крикунами. Но он — бывший фронтовик, он знает, что такое война, он не допустит войны. Я в эти тревожные дни перечел «Маску Цирцеи». Нужны века и века культуры, чтобы страна рождала таких поэтов. Мы можем об этом только мечтать... Вашим предисловием вы поможете тем немцам, которые отстаивают идею единства нашей западной циви-

лизации. Пусть сумасшедшие бряцают оружием, а французский поэт Нивель пишет о разуме Гете, о старом домике Дюрера, о причудах Гофмана.

Проводив Нивеля, Ширке усмехнулся. Изысканный карась, и только... Слов нет, лоск... Что тут удивительного — им чертовски везло, это маменькины сынки истории — виноградники, Ницца, золотой запас, Лувр, чуть ли не половина Африки... Скоро будет иначе. Страна, конечно, прелестная, никто не думает ее уничтожить, избави бог! Только не мы здесь будем кланяться, а нам будут кланяться, вот как!..

Нивель посмотрел на часы, в префектуру еще рано... Он сел на террасе кафе и задумался. Ширке любезен, но глуповат. Они наивны, как дети, в этом секрет успеха Гитлера. Да и в Гитлере что-то детское — испорченный ребенок... Конечно, опасно, когда у детей спички... Немцам нехватает чувства меры, Ширке правильно сказал — они неотесанны. Все же это не большевики, это люди нашей культуры. Он вспомнил Влахова и поморщился. Такому ничего не стоит сжечь всю Европу. Без всякой иронии он называл своих коммунисток «Джульеттами». Во время Коммуны такие «Джульетты» обливали керосином сокровищницы прошлого. Неужели они могут победить? Тогда конец всему — и Гете, и Расину, и нам...

— Здравствуйте, господин Нивель!

Нужно было ему сесть за этот столик! — рядом оказался Лежан. Нивель отвечал нехотя, да и разговор был безразличным. Только под конец его прорвало — когда Лежан упомянул о московских переговорах.

— Русские хотят нас втянуть в войну, чтобы остаться в стороне. Но мы не дети.

— По-моему, как раз наоборот — англичане тянут, мы тянем... А русские тоже не дети, воевать за нас они не собираются.

Оба замолкли. Лежан вертел голубой сифон, и сифон хрипел, как человек. Нивель чувствовал, что спокойствие его оставляет. Хорошо, Влахов — русский, но ведь этот — француз, а он рассуждает, как Влахов, смотрит только на Москву, верит только русским. Какой ужас! Они рассекли нацию надвое. Да это во сто раз хуже, чем немцы! Ну что может Гитлер? Захватит Данциг, еще какой-нибудь клок

земли... А эти покушаются на самое главное — на душу, на Францию, на искусство.

Прощаясь, Лежан примирительно сказал:

— Посмотрим, кто из нас окажется прав. Все ждут, чем это кончится... Жена не уехала в Бретань — боится, что будет война...

Сдерживая себя, Нивель спокойно ответил:

— Войны не будет. Война уже идет, она началась в тридцать четвертом, не знаю, сколько продлится, ведь были семилетняя война, столетняя. Ясно одно — французы не могут воевать с немцами, потому что французы воюют с французами. Так что госпожа Лежан может спокойно ехать к морю. Погода как будто установилась...

14

Из метро вырывались толпы; люди спешили в театры, в кино; толпились зеваки; иностранцы — англичане, чехи, шведы — дивились людям, домам, огням; сновали продавцы газет, планов города, скабрезных открыток. Сергей не заметил, как рядом с ним оказалась Мадо. Они шли молча, а вокруг все блестело, вертелось — огненные буквы реклам, трости, шляпы, мелкие пунцовые розы.

Они дошли до широкого тихого бульвара, и как будто ждала их пустая скамейка — приют старух, которые днем вяжут, влюбленных, которые часами повторяют друг другу скучные и все же увлекательные глупости, обыкновенная скамейка под обыкновенным каштаном.

— Сергей, когда ты уезжаешь?

— Почему ты все время об этом спрашиваешь?

— Ты сам знаешь почему. Но тебе все равно...

— У тебя это стало игрой — говорить, что мне все равно.

— А у тебя стало игрой молчать.

— Я могу уйти, если я тебе надоел.

— Сергей!

— Что?

— Ничего...

Из открытого окна доносилось радио; кто-то в тысячный раз хрипел:

Все благополучно, госпожа маркиза...

— Не могу слышать про маркизу!..
— А у вас, наверно, поют: «Все благополучно, товарищ трактористка»... Это лучше?
— Почему ты хочешь ссориться?
— Я?
— Да, ты. Ты просишь, чтобы я тебе рассказывал про Москву, а потом сердишься.
— Вероятно, ревную. Я ведь только глупая девчонка... А когда ты рассказываешь, я тебе верю. У вас, наверно, много хорошего — заводы, дома, скамейки, ботинки...
— Ничего подобного, ботинки плохие.
— Погоди, ты не даешь сказать... У вас нет одного — искусства. Это потому, что вы хотите все вместить в жизнь. У вас вместо искусства справка — столько-то картин, столько-то книг.
— Ты говоришь, а сама не знаешь...
— Знаю. Ты и любовь хочешь обязательно засунуть в жизнь.
— Я ничего не хочу... Это ты все время спрашиваешь: «а дальше?»...
— Почему ты не доверяешь мне?
— Я себе не доверяю. Знаешь, Мадо, отчего Франция расползается? Вы слишком мягки к себе.
— Можешь ругать Францию, сколько тебе вздумается, я не обижусь. О себе ты говоришь просто, а стоит упомянуть твою страну, как ты взбираешься на ходули. Хочешь знать, что меня отталкивает от советских? Самодовольство.
— Неправда. Мы собой не довольны, но мы верим в себя. А вот вы в себя не верите.
— Верить? Зачем?
— Чтобы жить.
Мадо вдруг другим голосом, очень тихо, сказала:
— А если нельзя жить? Сергей, ты меня возьмешь с собой?

Он не ответил. Они встали, быстро пошли, как будто боялись опоздать. А прошли сто шагов — и снова скамейка, и другой каштан, который отгородил их листвой от яркого фонаря; Мадо была ему признательна — не хотела, чтобы Сергей видел сейчас ее глаза.

— Мадо, у меня две жизни, одна — моя, настоящая, а другая — ты.

— Я не хочу войти в твою жизнь, не хочу тебе мешать. Но если ты уедешь...

Женщина остановилась возле них и хрипло выкрикнула: «Пари суар»! Сергей подбежал с газетой к фонарю.

— Прости, но сейчас все так быстро разворачивается...

Она невесело засмеялась:

— Бог ты мой, какие мы разные! Это действительно катастрофа — дерево и ветер... Ты не смотри, что я смеюсь, мне хочется плакать. Но это смешно, ужасно смешно — дерево и ветер... Неужели ты родился в Париже? Ты совсем другой, как будто ты родился на Марсе.

— Почему на Марсе?

— Не знаю. Название военное...

— А война будет, и скоро.

— Я стараюсь об этом не думать.

— «Все благополучно, госпожа маркиза»... А потом упадет бомба на госпожу маркизу, на эту скамейку...

— Тебя это радует?

— Мне страшно — за Париж, за тебя. Ты — как Париж — чужая и моя, веселая и несчастная, очень умная и очень глупая. Что с тобой будет?.. Такая ты... незащищенная...

— А ты?

— Я?.. У нас жизнь другая. Мы ко многому привыкли. Выдержим.

— Что выдержите?

— Все.

— А я не выдержу разлуки с тобой...

Они встали, пошли наверх по крутым улицам Монмартра. Они держались за руки, как маленькие дети. Порой яркий свет витрин, ресторанов освещал их напряжен-

ные, как бы затвердевшие лица. Потом город стал тихим, провинциальным; кто-то плакал впотьмах; девушка поправила чулок и убежала; на мостовой сидел бродяга, прижимая к груди пустую бутыль. Стали зримыми звезды. Мадо тяжело дышала; ладонь ее была холодной. И наконец открылся Париж, весь в оранжевом тумане; он ворочался, шумел, как море.

Сергей почувствовал на лице холод ладони; Мадо тихо спросила:

— Почему ты не хочешь счастья?

Он не ответил, только бережно, суеверно сжал руку, поцеловал ладонь. Кричала кошка. Забулдыга пел в темноте:

Любимая, теперь не нужно петь...

Сергей начал говорить глухо, медленно, неуверенно, как будто читал неразборчивое письмо:

— Я тебе расскажу о старом Париже, как если бы я тогда жил... Город был тот же — и другой, те же дома, кафе, а люди иначе смеялись — веселее. И было много поэтов. Фиакры — опускали шторку и целовались... Жорес говорил, что скоро настанет братство... А настал Верден... Я сбился, я не о том хочу рассказать... Вот в этот Париж приехала русская девушка, она перед тем просидела год в тюрьме. Ты представляешь переход — тюрьма, жандармы, сугробы, и вдруг Париж... А девушка была скромная... Не знаю, как случилось, но она познакомилась с молодым французом, он был студентом, писал стихи. Они шли по улице, как мы с тобой, только — масленица, карнавал, столько конфетти, что ноги вязли, как в снегу, Арлекины, Пьеро... На следующий день девушка должна была уехать — ее посылали в Россию провезти «литературу». Он ее любил или думал, что любит, это все равно, хотел удержать. Он сказал: «Зачем вы отрекаетесь от счастья», она ответила: «Счастье — разное, у одного — одно, у другого — другое». Вот и вся история.

— Она уехала?

— На следующий день... Вернулась год спустя, но больше они не встретились.

Мадо вся дрожала, говорила запинаясь, теряя дыхание:

— Ты сошел с ума, Сергей! Скажи просто, что завтра уезжаешь! Не нужно меня мучить!.. Зачем ты все это придумал?

— Я ничего не придумал. Мне это рассказала мать...

Они не могли больше говорить. А пьяный снова затянул:

Не нужно петь, все ясно и без песен...

Париж исчез в тумане. Казалось, исчезла и любовь. А потом Мадо поцеловала Сергея и вдруг ими овладело ребяческое веселье. Они побежали вниз — на улицы, где еще слабо светились последние бары. Пили у стойки кофе, среди кутил, шоферов, рабочих,— светало. Сергей сказал:

— Ты очень бледная. А глаза горят, глаза живут отдельно, они из другой пьесы...

Она в ответ рассмеялась. Он купил левкои, и цветы пахли летом, детством, счастьем. Они расстались, как будто не было мучительной ночи. Только когда Мадо легла, еще недумающая, счастливая, слезы хлынули из глаз — он уедет, а меня не возьмет... И, засыпая, она утешала себя: упадет бомба — на Париж, на ту скамейку, на меня...

15

Прислуга профессора Дюма, краснощекая Мари, была болтлива: в зеленной лавке или у консьержки она рассказывала:

— Когда я нанималась, говорили: человек он рассеянный, занят своими мыслями, как готовить — неважно, ты от него и слова не услышишь. И что же вы думаете? Гости не заметят, а он, чуть пережаришь баранину, обязательно шепнет: «Ну, Мари, осрамились мы...» Нальет вина, повертит стакан, погладит и пьет, будто рот полощет. Шестьдесят четыре года, а поглядели бы, как танцует! На охоту ходил, принес двух куропаток, весь в грязи измазался, я три дня чистила. У нас в деревне был такой — неугомонный, в шестьдесят семь лет взял молодую жену и на свадьбе всех гостей перепил. Так то — деревенский, а чтобы мой ученым был — никогда не поверю!..

В душе Мари обожала профессора: веселый, никогда не обидит, а придут гости, позовет ее и скажет: «Выпьем за нашу кудесницу, ведь один соус чего стоит»... Сегодня она тушила мясо в красном вине — профессор сказал: «Придут иностранцы, постарайтесь лицом в грязь не ударить»...

Хотя Мари уверяла, что ее хозяин «не ученый, а балагур», имя профессора Дюма было известно и за пределами Франции. Понятно, как обрадовался Иоганн Келлер, когда Дюма сказал ему: «Работу вашу я прочитал. Есть о чем поспорить. Но вы молодец!.. Вы здесь один? С женой? Вот и чудесно, приходите с ней в пятницу — пообедаете у меня».

Увидав Дюма в домашней обстановке, Келлер смутился: не так он представлял себе жизнь большого ученого. За обедом хозяин восторженно говорил о Чаплине, потом стал поучать, как готовить луковый суп, призвав на консультацию Мари, вдруг перешел на марсельские анекдоты, причем сам хохотал, вытирая салфеткой глаза. Келлер отнесся ко всему почтительно, он настолько уважал Дюма, что даже анекдоты показались ему умными.

Это был белокурый человек в больших черных очках, корректный и застенчивый; напрасно Дюма подливал ему шабли, надеясь, что гость разойдется — Келлер всегда был таким. Он и в детстве не проказничал; вид поломанной чашки или разодранных штанишек его оскорблял, шумным играм он предпочитал книги. Да и потом, юношей, он держался в стороне от товарищей; одни студенты кутили, резались в карты, отбивали друг у друга краснощеких кельнерш; другие увлекались политикой, кричали, что нужно перерезать коммунистов и евреев, отобрать «коридор», Эльзас, еще что-то; а Келлер мечтал о тихой жизни ученого в опрятном городке, где цветут липы, девушки смущенно улыбаются над горшками герани и старики не спеша докуривают свои последние трубки. Вскоре пришли к власти наци; Келлер отнесся к этому равнодушно: какое дело антропологу до борьбы партий? Брюнинг или Гитлер, все равно... У него свое дело, книги.

Четыре года Герта считалась невестой Келлера; они встречались в кондитерских, гуляли в парке, иногда целовались. Он не торопился с браком: хотел стать на ноги,

да и проверить прочность чувств. Ему казалось, что он изучил Герту, но он ошибся. Будучи девушкой, она отличалась мечтательностью, была худой и робкой, вздыхала от радости или от умиления. А сделавшись госпожой Келлер и родив двух детей, Герта растолстела, характер ее изменился — появилась властность. Она считала мужа не приспособленным к жизни, была убеждена, что все его обманывают, и, сознавая свою ответственность за будущее детей, изводила Келлера; он не мог выйти на улицу без шерстяного шарфа, должен был справляться у декана о здоровье его тетушки и первым вносить деньги на «Зимнюю помощь».

Когда Келлер засел за работу «О некоторых расовых особенностях индейцев Южной Америки», Браун сказал: «По нынешним временам это скользкая тема»... Герта всполошилась, стала уговаривать мужа переменить тему; но он заупрямился — был увлечен работой.

Профессор Дюма прочитал книгу Келлера с интересом, украсив ее поля вопросительными и восклицательными знаками.

Голубоглазая и полногрудая Герта невольно сравнивала профессора Дюма с мужем. До чего молод этот француз! А ведь он на тридцать с лишним лет старше Иоганна! Иоганн слишком много работает, он не умеет отдыхать... Вот и теперь... Разве можно приехать в Париж и целыми днями разговаривать о каких-то индейцах!.. Ведь не каждый год выпадает такое счастье! Сколько она просила Иоганна пойти в «Фоли-бержер», он все откладывает. Через неделю они уедут. Стыдно сказать, он даже не поднялся с нею на Эйфелеву башню!.. А француз очень гостеприимный, только производит несолидное впечатление. Может быть, он и не такой крупный ученый, как это кажется Иоганну? Обед вкусный, но мизерная обстановка, да и посуда дешевенькая... У нас простой учитель живет лучше. Странно, как может ученый рассказывать такие глупые анекдоты? Впрочем, они все такие, несолидный народ! А ведь у них был Наполеон... Наверно, выродились, как этот профессор... В его годы и с таким именем гоготать, как бурш...

— Понравился ли вам Париж, госпожа Келлер?

Она задвигала большой грудью.

— О господин Дюма, как может не понравиться Париж! Это, кажется, самый веселый город мира.

Тогда, будто угадав ее мысли, Дюма сказал:

— Это правда, что веселый. Но не только веселый — господин Келлер знает, что мы и поработать можем. Не понимаю, почему у вас некоторые людишки говорят о нас этак пренебрежительно, посмотрят Монмартр, и уже мнение у них готово — «выродились»...

Дюма засмеялся. Как он противно смеется — хрюкает,— подумала госпожа Келлер. А муж ее покраснел и, покашляв, сказал:

— Не нужно обращать внимания на все, что у нас пишут. Политика...

— Знаю, знаю! Я эту политику не пускаю на порог. У нас тоже возьмешь иногда газету, и плюнуть хочется — такая мразь!.. Только у нас можно плюнуть, а вот в Германии... У вас как будто и плевательницы зарегистрированы — куда плевать и по какому случаю.

— Я вас уверяю, господин Дюма, что у нас достаточно людей, которым противны такие глупости... Что должен чувствовать я, когда некоторые, в угоду политике, пытаются принизить французскую культуру? Ведь я стольким обязан вам...

— И вы можете открыто сказать, что они пишут вздор?

— Разумеется. Я это говорю в своем кругу.

— То есть, как это «в своем кругу»? Госпоже Келлер?.. Ну, знаете, это даже унизительно...

— Вы должны понять, господин Дюма, что в Германии другие условия... Наш народ привык к внутренней дисциплине, ему нужны моральные шоры. Мне эти шоры мешают, но мой домохозяин в восторге, и мой булочник, и все соседи. Для них новый режим — это прежде всего порядок. Я сам не принадлежу к партии, я не согласен с их идеологией. Но нужно быть справедливым — они уничтожили безработицу... Что касается нашей области, то, хотя она соприкасается с основной доктриной партии, мы можем работать свободно, как прежде.

Дюма побежал в кабинет и вернулся с книгой Келлера.

— Сейчас, сейчас!.. Вы говорите, что можете свободно работать? Посмотрим... Сейчас найду эту страницу...

Здесь!.. Вы даете группы крови индейцев по данным, опубликованным в Сант-Яго. Очень интересно и назидательно! Получается, что группа О, которую ваши дурачки прославляют, дает девяносто один процент у индейцев. Но, дорогой друг, вы не договариваете! Я не говорю о выводах, только о цифрах. Это на следующей странице, где вы приводите общие данные. Вы воспользовались Раммом и Сокаррасом, а Липшуца почему-то пропустили. Если вы подводите общие итоги, то как обойти молчанием следующий факт: видите, я приписал— группа О — пятьдесят шесть у архинордических исландцев и столько же, тютелька в тютельку, у йеменских евреев!

— Я знаю эти цифры, но вы сами понимаете, что я не мог на них сослаться...

— То есть как это не могли? А Галилею — что, приятно было в тюрьме? Нет, уж если взялись за науку, нужно держаться до конца! Это вам не картишки, сказал пас...

Увидав огорченное лицо Келлера, он замолк. Чорт меня дернул!.. Накормил, а теперь пищеварение порчу...

— Ну, хорошо... Оставим это,— госпоже Келлер, наверно, надоели такие споры. Книга у вас все-таки интересная. А с кофе рекомендую вот этот арманьяк...

И Дюма превзошел себя: он был так добродушен, сердечен, что обворожил даже госпожу Келлер. Она показала профессору фотографию своих детей, и Дюма сказал о пятилетнем Рудди:

— Этот капитаном будет. Вы посмотрите — настоящий морской волк!

Госпожа Келлер умилилась. Все было бы хорошо, не приди Анна Рот. Увидав гостей, она смутилась:

— Я к вам на одну минуту, господин Дюма. Вы хотели дать мне книгу...

Дюма заставил ее выпить кофе. Она молчала. Молчали и Келлеры. Дюма, желая растопить лед, сказал:

— Анна, это очень одаренный ученый. И не думайте, пожалуйста, что он нацист! Он мне сам сказал, что в Германии теперь много дураков. Представьте, он скован даже в своей специальности! Так что вам нечего опасаться...— И, обратившись к Келлеру, Дюма пояснил: — Я это говорю потому, что госпожа Рот в ссоре с вашими

крикунами. Она — коммунистка, была в Испании. При ней вы можете говорить откровенно...

Снова наступило молчание. Келлер, наконец, выдавил из себя:

— Говорят, что в Испании летом невыносимо жарко.

— Да, летом там очень жарко.

Госпожа Келлер поднялась:

— Вы нас простите... Но уже половина пятого, а мы обещали быть дома в четыре.

До гостиницы они доехали молча; в номере произошел тяжелый разговор.

— Ты наивен, как мальчишка! Я тебе говорила, что нужно спросить доктора Кенига прежде, чем принять приглашение. Этот старый дурак...

— Что ты говоришь, Герта? Это большой ученый.

— И большой дурак. Теперь он будет повсюду рассказывать, что ты против режима. Как будто ты не знаешь, что все французы отчаянные болтуны! Он нарочно позвал эту немецкую коммунистку. Он хочет нас втравить в какую-нибудь пакость. Мало у тебя и так врагов? После твоей книги они только ждут случая...

— Ты преувеличиваешь. Профессор Боргардт очень хорошо о ней отозвался.

— Боргардт не делает погоды. А ты великолепно знаешь, что Клитч написал очень резко. Если его статью не напечатали, это не значит, что ее не напечатают. Стоит им пронюхать, как ты себя вел в Париже... Когда имеют детей, ведут себя осторожнее. Ты можешь потерять все.

— Я не думал, что Дюма заговорит о политике.

— Ты наивен, как Рудди. Они все ненавидят нас. Удивительно, как ты этого не чувствуешь! Здесь повсюду можно ждать подвоха. Встретиться с немецкой коммунисткой!.. Откуда ты знаешь, что она не замешана в убийстве советника?

— Герта, кто же мог предполагать?..

Госпожа Келлер сидела в темном углу и плакала. Вместо того чтобы развлечь себя и ее, Иоганн завел ужасные знакомства. За одни такие разговоры могут посадить. И вдруг эта коммунистка... Доктор Кениг предупредил Иоганна, что здесь нужно быть на-чеку... Что станет

с детьми, если Иоганна выкинут на улицу? Она вспомнила, как Дюма сказал, что Рудди будет капитаном. Теперь это не растрогало, но возмутило ее,— старый шут! Он заманил доверчивого Иоганна в западню!..

— Слушай, Иоганн, ты должен рассказать доктору Кенигу, что встретил у Дюма эту Анну Рот.

— Наверно, она не Рот и не Анна...

— Все равно, опиши, как она выглядит. Она бывает у Дюма, они смогут легко установить... Если в тебе осталась хоть крупица здравого смысла, ты сейчас же поедешь в посольство. Доктор Кениг там до шести...

Келлер долго сидел в большой, неуютной приемной. Он злился на жену, на Дюма, на доктора Кенига, на весь мир. Как это глупо и унизительно! Он — ученый, его работу оценили и Боргардт и Дюма, а он должен доносить, как филер... Отвратительно! Но ничего не поделаешь... С наци нельзя связываться... Клитч ждет удобного случая. Он ведь уверяет, что я «ламаркист». Завтра, чего доброго, я стану для них марксистом... Достаточно ночей я провел без сна — ждал гестаповцев... Герта права... Но до чего это противно!.. Дюма может болтать все, что ему вздумается, и он еще смеет говорить о Галилее! Пожил бы у нас!.. Почему французы так устроились? Ведь немцы не хуже, не глупее. Это французы довели Германию до отчаяния своим «диктатом». Французы виноваты в том, что у нас Гитлер... А сами счастливы, едят, пьют и еще издеваются над нами... Что он сказал, Дюма? Да ничего страшного. Он даже подчеркнул, что для Германии этот режим подходит... Конечно, передернуть могут всегда... Как Клитч с книгой... И ко всему эта проклятая коммунистка!.. Нужно рассказать, а то могут такое пришить... И все-таки унизительно!..

Рассказав все доктору Кенигу, Келлер почувствовал облегчение: слава богу, кончилось!.. Доктор Кениг крепко пожал ему руку:

— Спасибо! Вы поступили, как настоящий немец. Все это чрезвычайно важно...

Келлер вышел из посольства успокоенный. Можно говорить что угодно, но он служит родине. А Германия — это Германия... Почему это ему казалось унизительным? Предрассудки! Ведь это не семейные делишки, может

быть, та женщина действительно террористка... Он только выполнил свой долг...

И Келлер пришел в столь хорошее настроение, что наконец-то исполнилась мечта Гертруды: они направились в «Фоли-бержер». Глядя на полураздетых девушек, госпожа Келлер то восторгалась, то иронизировала. Они изящно танцуют, умеют подать себя. Но нужно действительно выродиться, чтобы полюбить женщину, которую даже нельзя похлопать по ляжкам... Линия и снова линия, а где же грудь, бока?.. Долго такие не протянут... Но все-таки весело и удивительно грациозно. У нас все грубее... Будет о чем рассказать в Гейдельберге. Хорошо, что бедный Иоганн немного развлечется. Он столько работает, и ко всему эта история...

Но Келлер, глядя на красоток, не развлекался. Все проплывало в тумане: Дюма, вино, слезы Герты, доктор Кениг... Он не думал о том, хорошо или плохо поступил, он только чувствовал, что он измучен, не хочет ни музыки, ни женщин, ни вина.

Вечером Дюма вспомнил обиженное лицо Келлера. И как меня угораздило?.. Ему и без моих слов тяжело. Режим, что и говорить, очаровательный! Он не может даже привести всех данных по группе О. У нас никто этого не стерпел бы... А Келлера жалко — способный человек, да и честный, это сразу видно.

Мари ворчала:

— Стоило мне возиться! Рагу, бешамель... Вы видали, господин Дюма, как он ел? Он и не почувствовал, что глотает. А она сущая корова. И злая. Когда они придут в следующий раз, я наварю картошки, пусть жрут.

Дюма улыбнулся:

— Напрасно, Мари, вы их обижаете, это хорошие люди. Только обедать с ними скучно...

16

Еще накануне Мадо была счастлива; весь вечер они пробродили с Сергеем по окраине Парижа, забирались в улички, похожие на щели, выбегали к огням площадей, побывали на ярмарке, слушали старую шарманку, и со-

рока нагадала Мадо счастье, вытянула розовый билетик: «Пусть успокоится твое сердце, предмет любви тебя не оставит». И хотя Мадо смеялась над словами «предмет любви», ей стало спокойно. Может быть поэтому, может быть потому, что весь вечер был таким прозрачным — ни обиды, ни легкой размолвки, она даже не спросила Сергея, скоро ли он уезжает, как спрашивала при каждой встрече.

И вот он уезжает. Сейчас она увидит его в последний раз...

Сергей знал, что скоро уедет, и все же не был подготовлен к разлуке. Он часто задумывался над своим чувством, старался понять, что притягивает его к этой девушке с ее сложными, зачастую противоречивыми движениями души, и не мог. Он знал только, что жизнь, которая прежде была наполненной до краев, теперь, когда Мадо уходила, казалась темной и пустой. И вместе с тем Мадо была вне его жизни, никогда он с ней не разговаривал о своей работе, не делился надеждами и тревогами; не расспрашивал ее о «Корбей», о друзьях, о чужом и непонятном быте. Может быть, все это вымысел? И тотчас Сергей возражал себе: нет, он любит живую женщину, знает ее, как будто прожил с нею долгие годы, хотя и не знает ни ее забот, ни ее друзей.

И все же ни разу не подумал он, что может ввести Мадо в свою жизнь. Чувствуя, что разлука надвигается, он смутно утешал себя: не может быть, чтобы они снова не встретились!

Только сейчас он спохватился: что он делает? Сколько раз Мадо повторяла: «возьми меня с собой». Почему он не слушал, не хотел слушать? Ведь такое не повторится... Мадо права — почему он отказывается от счастья?..

Но что станет с Мадо в чужой для нее стране, без друзей, без тех мелочей жизни, которые замечаешь только, когда их нет и когда они становятся необходимыми? Он это знает, он тосковал в Париже по московским переулкам, по фонарям у памятника Пушкина, по песне, по слову, по пустяку... Как сможет жить Мадо, связанная с жизнью только Сергеем? Пошлют его куда-нибудь, и ниточка оборвется... Он знает жизнь не такой,

какой она кажется, когда слушаешь шарманку на парижской ярмарке. Он старше, больше пережил, он должен рассуждать за двоих. Как оторвать Мадо от этих огней, от ее картин, от веселья и грусти Парижа?.. Самба рассказывал, что каштаны нельзя пересаживать — они сохнут...

Сергей и себе не договаривал самого главного. Лет десять назад он много читал, увлекался Толстым, Диккенсом, Стендалем; герои романов казались ему живыми, он знал их лучше, чем своих сотоварищей; в течение дня он то и дело возвращался к миру вымышленному, но реальному. Может быть, и Мадо была для него чудесной книгой? Ведь их не связывали будни, подобные кровеносным сосудам. Он любил Мадо, при виде ее менялся в лице, но даже в мечтах не мог объединить эту женщину и свою жизнь: Мадо всегда оставалась в стороне. Происходило это не от слабости чувства, а от душевной природы Мадо; он как-то сказал ей: «Мне иногда кажется, что когда я говорю «да», ты слышишь «нет». Ты сделана из другого теста...» Она была теплой, живой, любимой, и все же оставалась сном.

И он не сказал ей слова, которого она все еще ждала. Она старалась быть сильной, не заплакала, ни о чем не спросила. Они дошли до той аллеи, где родилась их любовь, постояли среди раннего золота деревьев и пошли дальше; долго они бродили по улицам своего счастья, улыбаясь деревьям, фонарям и двум теням на синеватом тротуаре; они узнавали скамейки — здесь прошли недели, годы, жизнь... И у знакомой цветочницы Сергей купил Мадо последние цветы, маленькие чайные розы.

Все же под конец они не выдержали, попытались обмануть друг друга словами надежды.

— Может быть, весной я снова приеду...

— Я буду ждать. А если ты увидишь, что тебе слишком грустно, напиши одно слово, я приеду. Обещай, что напишешь...

— Конечно, напишу. Я и теперь знаю, что будет тяжело...

— Тогда — почему?..

— Не знаю... Мадо, я не могу иначе... Поверь мне, я старше, лучше знаю жизнь... Может быть, я не умею

сказать, но это так... Сейчас это невозможно... Весной я, наверно, приеду... И будут каштаны в цвету, и вдруг я увижу — идет Мадо в зеленом платье, почему-то мне кажется, именно в зеленом... Я убежден, что мы скоро встретимся...

Она покачала головой.

— Зачем играть в прятки?.. Сергей, я хочу тебе сказать что-то очень важное. Это правда, что ты старше и умнее, я готова тебя слушаться, ты все знаешь. Я ведь жила, как в оранжерее, а ты работал, боролся. Но одно я знаю лучше. Ты не спорь, я ведь женщина... И это я знаю лучше тебя... Может быть, мы никогда больше не увидимся. У тебя будет своя жизнь. Не думай, что я ревную, я это говорю просто, как то, что ты будешь дышать, ходить, разговаривать. Другая женщина... И она будет жить рядом с тобой, знать все твои дела, радоваться с тобой, огорчаться. Ты все-таки помни, что есть Мадо. Кто знает, может быть, никто тебе не будет ближе, чем я была? А тогда ты это почувствуешь и через год, и через десять лет. Ты не упрекай себя, что меня оставил, а помни все, и тебе будет легче... Я тебе не даю никаких клятв. Откуда я знаю, что со мной станет завтра? Может быть, и у меня будет другая жизнь... Но слушай, Сергей, если я начну сходить с ума от тоски, прятаться от самой себя, кусать по ночам подушку, я скажу: есть Сергей! Ты меня понял? Мы столько сердца вложили в это!.. И если что-нибудь в жизни не умирает...

Она не досказала, почувствовала, что силы изменяют ей; спросила, когда отходит поезд.

На вокзале было шумно и тревожно от высоких закопченных сводов, от свистков, тележек с чемоданами, от чужой суеты, расставаний, бутербродов, платочков, криков.

— В купе много народу?

— Много.

— Как ты будешь спать?

— Ничего...

— Сергей, помнишь: «к сердцу прижмет»... Тебе нужно садиться... Дай я тебя обниму!..

— Мадо!..

И вот уже понеслись огни вокзала, заводов, пригородов. А он у окна все повторял: «Мадо!» Потом показалась ночь, такая, какой не увидишь в городе, она перебила дым запахом мокрого поля, оглушила чернотой. Сергей попробовал задремать, но не смог, он подбирал под стук колес слова, ласковые прозвища, обрывки фраз. «К сердцу прижмет, к чорту пошлет»... А колеса не замолкали. Под утро он уснул, чтобы час спустя проснуться в испуге: что случилось?.. И сразу вспомнил: нет Мадо!

Он знал, что нельзя рассчитывать на целительные свойства времени — нужно жить с этой раной; разговаривал; волнуясь, разворачивал газету — что с московскими переговорами? Глядел на опрятные скучные виды Германии. Потом потянулись щемящие сердце поля Польши, предвестники России. Скоро избы, леса, ромашки и колокольчики, белокурые девчонки!.. В Негорелом он чуть не обнял курносого красноармейца, который сказал, прочитав «Правду»: «Монолитности у французов нет»...

Вот и Москва, духота лета, пахнет асфальтом, люди в летних пиджачках с портфелями, мальчишка, вымазавшийся вишневым соком, дом со львами, тот, что у Пушкина... Сергей не солгал, сказав матери: «Ты не представляешь себе, как я счастлив, что вернулся...» Он только не договорил, что сердце — большое и что в его сердце надолго, кто знает, не навсегда ли, поселилась тень отлученной любви.

17

Хотя Сергей сказал Анне Рот, что не любит ходить по магазинам, как мог он вернуться из Парижа без гостинца для Ольги? Сестра казалась ему девочкой. Когда Нина Георгиевна смеялась: что ты с ней, как с маленькой, разговариваешь, она меня умнее,— Сергей задирал вверх голову, удивленно осматривал сестру и отвечал: «Выросла. А все-таки маленькая»...

Ольга незаметно перешла от отрочества к той трезвости помыслов и чувств, которая обычно приходит вместе с сединой. Была она хорошо сложена, высокая, с правильными чертами лица; такими на старых чайницах или

портсигарах изображали боярышень. Одного нехватало ей, чтобы очаровывать,— внутреннего огня; глаза у нее были большие, светлые и неподвижные. Вероятно поэтому она многим казалась неумной, хотя не терялась в разговоре и быстро схватывала мысли собеседника. Жила она с матерью в маленькой комнате; квартира была коммунальная, и соседи попались недоброжелательные; не будь Ольги, они заклевали бы Нину Георгиевну, которая ночь не спала от обиды, услышав от соседки: «Интересно, откуда у вашей дочки заграничное платье? Может быть, за вашу стрекотню?..» Ольга умела отразить любое нападение. Когда мать вздыхала над грубостью нравов, она пожимала плечами: «Ругань меня мало трогает. Но электрического чайника ты им больше не давай, сейчас такого не купишь...»

Ольга работала в редакции одной ведомственной газеты. Службу она выбрала после долгих размышлений — ходила, расспрашивала, сравнивала. А работала превосходно, все были ею довольны.

Все, кроме матери... Но кто смог бы понять, чего хотелось Нине Георгиевне?.. Ведь не горя дочери. А смущало ее в Ольге именно отсутствие терзаний, глубокое благополучие. Никогда они не ссорились; все говорили о Нине Георгиевне, как о примерной матери, а об Ольге, как о нежной, заботливой дочери. Между ними была большая любовь и большая отчужденность.

Пытаясь понять Ольгу, Нина Георгиевна вспоминала свою молодость, но ключ не подходил к замку. Да и слишком разными они были — страстная, готовая к любой жертве, душевно хрупкая мать и уравновешенная Ольга, защищенная от ударов жизни если не равнодушием, то спокойствием. В двадцать лет Нина Георгиевна жаждала отдать жизнь за дело свободы, считала высокой честью отнести пачку прокламаций, выписывала в тетрадку цитаты из «Капитала» и стихи Некрасова. Как могла она понять Ольгу, которая мечтала о нарядном платье, а прочитав книгу, говорила: «интересно» или «скучно» и тотчас забывала прочитанное. Нина Георгиевна возражала себе: другое время, им не приходится бороться... Ольга не злая, она может и пожалеть и помочь, никогда не сделает ничего низкого, да и работает

не только ради денег, сама говорит, если взялась, нужно сделать как следует... Почему же она обижается на дочь? Может быть, она окаменела, не хочет понять чужую молодость?

Ольга как-то попыталась объяснить Сергею, почему ей так трудно с матерью: «Она говорит, как в старых романах... Даже словарь у нее такой. Вчера она заговорила о литературе. Я, конечно, сохраняю абсолютное хладнокровие, а мама горячится: «Вдохновения нет». Ну что можно на это ответить? Я сама невысокого мнения о многих книгах. Скажи, что не умеют писать или что тема неинтересная, но когда слышишь такие слова, пропадает охота говорить»... Сергей не понял сестры, а может быть, даже не слушал, что она говорит; но Ольга была права — она и мать разговаривали на различных языках.

— Тряпки — это Оле,— сказал Сергей.

— Вот и хорошо — к свадьбе... Ведь Олечка замуж выходит. Ты и не думал?.. За своего начальника...

Нина Георгиевна, улыбаясь, подвела Сергея к сестре. Он расцеловал Ольгу. Вот это сюрприз!.. Оля — и вдруг замуж!.. Ну да, это только он считал, что она — маленькая...

— Мама, почему ты мне не написала?

— Да я сама только третьего дня узнала. Оля не говорила...

Нина Георгиевна приготовила праздничный обед, убрала стол, купила цветы. Они пили мускат, улыбались. Сергей поглядел со стороны и подумал: хорошо, начинает все налаживаться!.. Лишь бы войны не было.

Он много рассказывал про Париж. Мать не пропустила ни одного слова; она узнавала город своей молодости, и вместе с тем это был другой Париж, прекрасный, но тревожный, как будто глядела она на него сквозь красное стеклышко, все горело: улицы, дома, люди... Неужели и там думают, что будет война?.. Какой это ужас! Ведь только-только здесь немного вздохнули... Может быть, Сергей горячится?..

— Сереженька, французы-то собираются воевать?

— На словах — да. Но очень не хотят...

— Кто же хочет воевать...

— Видишь, мама, никто не хочет, но мы не хотим и будем, а они не хотят и не будут. Если будут, то так — ради приличия...

— Я во Францию не верю,— сказала Ольга.— У них все в прошлом, разве только моды в настоящем... Я тебя слушала и думала — до чего они отстали! Посмотреть, конечно, все интересно, но если бы мне сказали — поезжай куда хочешь, я съездила бы в Германию или в Америку. Там по крайней мере техника, удобства... А французы кончились.

— Что ты говоришь, Оля? — Нина Георгиевна всполошилась.— Как может такой народ вдруг кончиться? Ты знаешь, я вчера читала моим ученикам Гюго. Если бы ты видела, как они чувствуют каждое слово!

Ольга засмеялась:

— Но когда он жил, Гюго? Все в прошлом.

— Почему только в прошлом? Ромэн Роллан и теперь пишет. Напрасно ты не хочешь почитать его. Это благородное сердце.

— Тоже старик. Все у них в прошлом. И потом дело не в писателях, техника отсталая, государство распадается, а Сережа говорит, что защищаться не будут. Чем же тут восторгаться? Воспоминаниями?

— Сереженька, да объясни ты ей... Ты видел...

Нина Георгиевна, волнуясь, всегда много курила. Теперь она закуривала папиросу о папиросу.

— Конечно, видел. Народ чудесный... Я там на одном заводе был, ко мне подходит мастер, еще мальчишка: «Русский? Так вы скажите товарищу Сталину, что у него здесь очень много друзей, пусть он газетам не верит». Такой, конечно, на смерть пойдет... Талантливый народ, смастерят сразу, у них все изобретатели... Веселые, кажется и мертвого рассмешат. Только, мама, страшно мне за них. Франция, как будто ее замуж выдали за нелюбимого — уйти не может и не может с ним жить, а живет, и при этом так живет, что немцы облизываются. А она какая-то незащищенная...

Он оборвал себя: слишком взволнованными были последние слова — перед ним прошла тень Мадо. Он повернулся к сестре:

— Ну вот, Олечка, а тебя не выдают, сама выходишь...

Давай выпьем за твое счастье! Смешно, давно ль я тебе куклу покупал?..

— Сережа, милый, как хорошо, что приехал! Как будто почувствовал... А свадьбу мы будем справлять уж на новой квартире. Ты должен поскорее познакомиться с Семеном Ивановичем, он тебе понравится. А теперь я хочу, чтобы ты меня поддержал. Это насчет мамы... Доктор сказал, что у нее повышенное давление, нужно беречь себя. Во-первых, она слишком много курит...

Нина Георгиевна виновато улыбнулась, погасила папиросу.

— Это только сегодня, взволновалась... Ты знаешь, Сережа, я теперь сама набиваю, выходит куда меньше.

— Но папиросы еще полбеды,— продолжала Ольга,— главное — работа. Она должна бросить школу, хватит института. За какие-то гроши и у чорта на куличках...

— Оля!.. Да разве можно подходить к этому с оплатой? У меня там замечательные ученики! Это такое счастье! Я вижу, как они растут, начинают понимать. Ты, Сереженька, не представляешь себе, что за поколение растет! Лучше вашего... Им, правда, легче. Но они как-то живее, душа у них раскрытая... Помню, раньше некоторые смеялись: «старье». А эти пьют каждое слово. Вырастут настоящие люди. Вот почему так страшно, когда ты говоришь о войне... А школы я никогда не брошу.

— Ты лучше скажи Сереже, сколько ты получаешь. И при этом, полтора часа в жутком трамвае... Доктор сказал, что нужно беречь себя.

Сергей понял, что матери тяжел этот разговор; он спросил про Васю.

Ольга ушла в редакцию. Нина Георгиевна хотела оправдать дочь перед Сергеем:

— Ты не думай — она не жадная. Она мне деньги предлагала, ей теперь повысили... Это она только на словах... Обо мне заботится, трогательная девочка!..

— Мама, ты одобряешь ее выбор?

— Семен Иванович?.. Да я его мало знаю. Оля счастлива, это — главное... Расскажи мне еще про Париж.

Сергей долго рассказывал — о набережных Сены и о фашистах, о картинах Самба, о заводах, о рабочих, о деревьях. Рассказал он и про ночь на вышке Мон-

мартра, когда Париж внизу шумел, как огромное море. Он только умолчал, что был там не один. Нина Георгиевна чувствовала: что-то он скрывает...

— Ты там никем не увлекся, Сережа?

— Увлекся?.. Парижем.

Когда он ушел, Нина Георгиевна подумала: вот и Сережа затаился... Вася, тот никогда слова не скажет... А Оля...

Когда Сергей спросил: «ты одобряешь ее выбор?», Нина Георгиевна напрягла все свои силы, чтобы не сказать правды.

Это было позавчера. Ольга пришла спокойная, села обедать, и только тогда Нина Георгиевна заметила, что Оля сама не своя, отодвинула тарелку, шевелит губами.

— Что с тобой, Оля?

— Ничего особенного.

А несколько минут спустя Ольга сказала:

— Мы с Семеном Ивановичем решили расписаться... Так что в октябре я перееду к нему. Я, мамочка, боюсь, как ты будешь одна?.. Но я буду часто приходить...

Нина Георгиевна отвернулась; она не могла скрыть волнения.

— Мама, ты против?..

— Почему ты мне ничего не говорила?

— Я и сама не знала...

— Олечка... Ты его любишь?

— Мама, мне и так трудно говорить, а ты, как в анкете... По-моему, Лабазов — хороший человек. Исключительных чувств у меня нет, это и не обязательно. Но о нем все хорошо отзываются. Я сама вижу — я ведь год там работаю... Фактически мы с ним уже давно встречаемся так, как если бы расписались. А позавчера у него выяснилось с квартирой, это в новом доме на Можайке. Он предложил оформить...

Нина Георгиевна больше не спрашивала, сдержалась, чтобы не расстроить Ольгу, поздравила ее.

Заплакала она только теперь, когда ушел Сережа. Она вспомнила Семена Ивановича, его отвисшие зеленоватые щеки, маленькие сонные глаза, и ей стало невыносимо жалко Олю. Потом она начала урезонивать себя: Ольга не девочка, она знает Лабазова. Нельзя судить по

наружности... А что спокойный — лучше, и Оля такая... Может быть, она его любит, только не хотела сказать — она ведь гордая. Но как страшно она сказала: «оформить»!.. Или это только мне кажется, потому что я состарилась, ничего больше не понимаю?..

Теперь Нина Георгиевна плакала над собой, над своими мечтами. Вот и одиночество... Ночь грозила раздавить сердце. Тогда Нина Георгиевна принудила себя сесть за стол, вынула тетради. Гюго приветствует свободу... И она улыбнулась, вся заплаканная — не пуста, не холодна ее осень!

18

При расставании с Сергеем Мадо говорила, что любовь будет опорой, вышло иначе — любовь оказалась камнем на шее. Мадо не могла ни возвратиться к прежней жизни, ни мечтать о встрече с Сергеем. Целыми днями она сидела в своей комнате, безразличная ко всему.

— Почему вы не работаете? — говорил ей Самба.— Может быть, и мне грустно, но я работаю.

— Мне не грустно. Меня нет.

Самба проворчал:

— Да он скоро вернется...

Она покачала головой:

— Я о нем не думаю.

Это было правдой. Удар был таким сильным, что она не могла ни о чем думать. Порой удивленно оглядывала она хорошо знакомые вещи — флаконы, коврик, мольберт с давно брошенным этюдом. Сергей увел ее от прежней жизни. А нового не оказалось.

Марселина в тревоге спрашивала себя: что с Мадо? Еще недавно она была в приподнятом состоянии, смеялась, куда-то уходила. А теперь не говорит ни слова, смотрит в одну точку... Не хочет признаться матери, скрытная... Марселина пыталась поговорить с мужем, но тот ответил:

— Ты не суди по себе, это — другое поколение, теперь так не переживают. А Мадо действительно плохо выглядит, нужно пригласить Морило. Жаль, что нельзя

уехать в «Желинот», там она сразу поправилась бы... Но что ты хочешь, все говорят о войне...

Доктор Морило издавна лечил семью Лансье, он знал напамять, какое давление у Марселины и где что «шалит» у Мориса. Это был добродушный циник, обсыпанный пеплом; крохотное пенсне забавно подпрыгивало на его огромном мясистом лице. Морило сказал:

— Милый мой, если бы доктора лечили от таких болезней, о чем бы писал Нивель? Очень она впечатлительная... У таких людей, как вы, дети всегда с вывихом. Вы в жизни порхали, да и теперь порхаете, не спорьте! Табакерки, ужины, то, се... А им это противно. Благодарите судьбу, что Луи увлекся авиацией, а не курит опиум и не стреляет в любовниц.

— Но теперь авиация — это самое опасное... Конечно, лично я не верю в войну.

— А по-моему, дело дрянь. В Москве ни с места... Боюсь, как бы не кончилось катастрофой.

Это было в столовой за утренним кофе, Лансье развернул газету и вдруг с необычным для него волнением закричал:

— Русские нас предали!

Марселина испугалась, никогда прежде она не видала, чтобы газета вывела из себя мужа; если он и делился с другими членами семьи новостями, то были это театральные сплетни или забавные истории о том, как плодовитая канадка родила пятерню. А теперь Лансье был чрезвычайно возбужден. Марселина хорошо знала, что означает этот тонкий голос, переходящий в визг.

Мадо подошла к отцу:

— Что ты сказал?

— То, что сказал. Они сговорились с немцами.

— Этого не может быть...

— Пожалуйста... Телеграмма Гаваса из Москвы.

Мадо молча ушла к себе. Она еще слышала визг отца, возмущенный голос Луи: «Я этого от них не ожидал. Во всяком случае, это не поступок спортсмена»... Мадо казалось, что они говорят о Сергее. Неправда, этого не может быть! Он отверг любовь во имя своей идеи, разговаривал с Мадо и вдруг кидался к газете... А сколько раз он говорил, что будет война, нужно разбить фашистов...

Неужели и это приснилось? Изменил ли Сергей своей мечте? Или, может быть, Сергей сейчас мечется, не знает, как жить? Может быть, мечта изменила Сергею?.. Нужно с кем-нибудь поговорить, понять. То, что Мадо, вслед за отцом, называла «политикой», ворвалось в ее жизнь, слилось с ее личным горем.

Она пошла к Самба. Он был взбудоражен:

— Чорт бы их всех побрал! Теперь обязательно будет война. А с немцами не так легко справиться. Если в четырнадцатом мы провоевали четыре года, теперь придется воевать восемь лет...

— Самба, но что сделали русские?

— Очень просто, договорились с немцами...

— Но этого не может быть!

— Ничего нет удивительного. Мы хотели перехитрить их, они перехитрили нас, вот и все...

Мадо говорила себе: Самба тоже не понимает. Он знает одно — свою живопись. Они все читают газеты и верят... Да, но это — телеграмма из Москвы... Кто же ей сможет объяснить? И вдруг вспомнила: Лежан. Как это она раньше не подумала? Несколько раз Сергей ей говорил: «Лежан нас понимает... Это настоящий друг»... Если он понимал Сергея, он сможет ей все объяснить...

Редко внешность так расходится с душевными свойствами, как то было у Анри Лежана; ни добрые, несколько растерянные глаза, ни мягкие движения не выдавали железной воли этого человека. Лансье им не зря гордился: Лежан был одним из самых одаренных инженеров Парижа; если он застрял на небольшом заводе «Рош-энэ», то только потому, что его имя выводило из себя крупных промышленников; мало о ком говорили с такой ненавистью. Правых раздражало его умение держаться в любой обстановке, сдержанность, эрудиция. Нивель как-то сказал: «Я могу понять голодранца, который читает «Юманите», но коммунист, который читает Данте,— это нечто неестественное и отвратительное»... Сын адвоката, одного из первых социалистов Лилля, и внук врача, в молодости чуть было не поплатившегося жизнью за то, что он прятал раненых коммунаров, Анри Лежан был потомственным интеллигентом; к коммунизму

он пришел путем долгих размышлений, а сделав выводы, с головой окунулся в повседневную политическую работу. Рабочие говорили: «Наш Анри словами не бросается»... Его любили за суровость, преданность, за большую душевную чистоту. Да и не такой обманчивой была его внешность: жесткий с врагами, он был отзывчив, внимателен к товарищам. В одной правой газете Лежана назвали лицемером, уверяли, будто он любит роскошь, элегантных любовниц, дорогие притоны. А Лежан жил с женой и двумя детьми, из которых старшему исполнилось недавно шестнадцать лет, в маленькой квартире, где единственной роскошью был рояль — жена Лежана, Жозет, любила музыку.

Мадо порой приходила к Лежанам. После «Корбей» эти обыкновенные стулья с соломенными сиденьями, старенький буфетик, скромный обед, за которым домочадцы говорили о простых, понятных вещах, казались ей счастьем. Для нее Лежан был не грозным трибуном, не блистательным инженером, а спокойным и милым человеком, который играет с семилетней Мими в прятки и помогает Полю решать задачи. Часто она завидовала судьбе Жозет.

Жозет жила не в игрушечном раю, а на черной черствой земле. Дочь рабочего, она «выбилась» — стала учительницей в шахтерском поселке, где копоть на всем — на лицах, на домах, на деревьях. Веселая по характеру, она узнала горе, голод, обиды. Было нечто детское в ее лице, но морщины вокруг глаз, да и сами глаза, усталые, порой угрюмые, говорили о жизненном опыте. Лежан восемнадцать лет тому назад встретил смешливую и вместе с тем печальную девушку; он дал ей веру — до него она думала, что жизнь — это жестокая борьба за хлеб, за деньги, за положение, с Анри борьба стала для нее жизнью. Несколько лет Лежан не мог получить работы, тогда они жили на скромный оклад Жозет; но она не падала духом — знала, зачем живет.

Как было ей понять сумасбродку Мадо? И Мадо ее побаивалась. Однажды она сказала Лежану: «Ваша жена очень суровая». Он рассмеялся: «Что вы... Вы привыкли к тепличным растениям, поэтому вам так кажется, а Жозет росла на морозе».

7*

Лежан, как и все, был потрясен короткой телеграммой из Москвы. Приход Мадо его озадачил и раздражил — не до гостей!.. Но сразу он почувствовал, что у Мадо какое-то горе, и был с нею особенно мягок.

— Только вы можете мне объяснить... Другим я не верю, они все ненавидят русских... А я знаю, что вы — с ними. Я не могу понять... Скажите, это правда, что они нам изменили?

— Изменили нам?..— Лежан усмехнулся, и его печальное лицо стало еще печальнее.— Как они могли нам изменить? Ведь мы их давно бросили. Я говорю не о нас, а о тех, кто правит Францией. Мюнхен, потом пакт с Риббентропом... Они хотели, чтобы немцы накинулись на Россию.

— А миссия в Москве?..

— Чтоб отвести глаза... Они думали провести русских. Вот почитайте интервью с Ворошиловым. Видите, «агрессор» — это о фашистах. Поляки отказывались пропустить Красную Армию, а французы и англичане поддерживали Бека. У русских не было выхода.

— Но я столько раз слыхала от него...— Мадо спохватилась.— Я столько раз слыхала, что главный враг — фашисты. Как же они могли сговориться? И против нас... Ведь здесь не только Бонне, не только Нивель, здесь вы, Самба, рабочие, народ...

Стемнело. Лежан хотел зажечь свет, но не зажег. Жозет ушла с дочкой. Лежан сказал:

— Приходится расплачиваться за чужие грехи. Вы не думайте, что я говорю со стороны, я француз... Веселого ничего не предстоит... Но русские товарищи поступили правильно — они копят силы. Если Москва удержится, значит, и Франция будет жить. А от испытаний нам не уйти, тяжелых, очень тяжелых... Вы не отчаивайтесь. Когда вам говорят, что русские изменили, знайте — это говорят изменники. Нас теперь будут травить, сажать в тюрьмы, убивать. Идет проверка — не словами — железом.

В разговор неожиданно вмешался Поль, пробасил — у него ломался голос:

— Теперь самое главное — верность...

Лежан улыбнулся:

— Видите, если нас перебьют, эти довоюют...

Мадо ушла в глубоком смятении. Игра, страшная игра... Этот мальчик сказал «верность». Но верность чему?.. Верности нет, это сказки для детей, потом дети растут, и взрослым не до сказок, их мобилизуют, гонят в могилу, а они упираются, хитрят, прячутся в кусты. Но Лежан не трус, он не спрячется. Я чего-то не понимаю... Неужели маленький Поль видит лучше?.. Они — другие, крепкие. Это обо мне Лежан сказал: «тепличное растение», теперь стекла побиты, мороз, вот и замерзаю... Как я хотела бы поменяться с Жозет! У нее Лежан. А Сергей от меня уехал... Нет, не то... У нее Лежан, это правда, но что-то в ней самой. А я пустая. Когда я думаю о Сергее, мне не легче. И вот что самое страшное — у меня больше нет Сергея, он теперь у Лежана, у Жозет, у этого смешного мальчика, у всех, только не у меня...

19

События разворачивались так быстро, что Лансье не успевал задуматься. Война, погасли огни, женщины плачут на вокзалах. Уехал Луи, плачет и Марселина. А газеты приносят дурные вести — немцы под Варшавой. Из-за поляков мы полезли в драку, а они и воевать не умеют! Где же польская Марна? Нет, это не французы!.. Лансье кипел. Он забыл про свои табакерки, а, поглядев на суданского козла, обругал себя: старый дурак, о чем я думал? Ведь не сегодня завтра они бросят бомбу на «Корбей»... Знакомые не узнавали его, он стал раздражительным, затевал споры.

Когда Лежан зашел к нему, чтобы спросить о замене двух мобилизованных мастеров, Лансье вдруг взвизгнул:

— Значит, ваши друзья за Гитлера?

— Я думаю, что за Гитлера наши фашисты.

— А коммунисты? Французы воюют...

— Я не вижу, чтобы французы воевали. Воюют поляки... Французская армия делает все что угодно, только не воюет.

— Конокрад всегда может перекрасить коня. Я вас спрашиваю, как вы можете не отречься от московского

пакта? Вы — француз, чорт возьми, или, может быть, вы татарин?

— Француз. Но не такой, как вы... Из другой Франции.

— Вы за Гитлера или против?

— Глупый вопрос! Мы против Гитлера и против французских фашистов.

— Слушайте, Лежан, такими разговорами вы дурачите мальчишек. Но мне пятьдесят четыре года... Я могу понять, что русские поступили неглупо. Это настоящие эгоисты. Но как можете вы, француз, их оправдывать? Ага, теперь вы молчите, не знаете, что сказать! Я вас спрашиваю по-дружески, может быть, мы по разные стороны баррикады, но ведь это французская баррикада, а не сибирская!

— Хорошо, я вам отвечу, только вряд ли мой ответ вам понравится. Зато каждый французский рабочий со мной согласится. Советский Союз для нас не утопия. Там могут быть свои недостатки, люди — это люди, но там осуществлено то, о чем мечтал мой дедушка, за что сражались федераты. Если Москва победит, значит, у нас будет родина, настоящая Франция. А погибнет Москва, и мы погибнем, придет Гитлер — немецкий или французский, это все равно. Вы говорите, что русские — эгоисты, а я вам отвечу, что от их судьбы зависит и судьба Франции.

— Уезжайте к вашим татарам, сударь! — Лансье не помнил себя.— Мы этого не простим! Мы не остановимся в Берлине, мы пойдем на Москву!..

— На вас трудно сердиться, господин Лансье, вы ничего не понимаете и не хотите понять, повторяете глупости из «Пари суар».

В коридоре Лежана остановил Миле:

— Анри, мне нужно с тобой поговорить. Ребята не все понимают тактику партии. Понимаешь, говорят ерунду, будто Тельман теперь вместе с Гитлером. Я отругиваюсь, но этого мало, понимаешь?..

Миле было двадцать два года, на вид ему трудно было дать больше семнадцати — худенький подросток; в нем клокотал восторг, что бы он ни делал — расклеивал ли-

стовки, или собирал на испанцев, или убеждал старого Жака, что с Блюмом нам не по пути.

— Фашисты — это фашисты,— ответил Лежан.— Так и говори. Тельмана они ни за что не выпустят. Если французы будут вправду воевать против Гитлера, русские помогут. Испанцам кто помогал?.. Правительство закрыло «Юма», а «Же сюи парту» преспокойно выходит — на немецкие деньги... Значит, они и не думают воевать против Гитлера. Воевать они будут, но против нас.

Миле потряс руку Лежана.

— Ясно. А то, понимаешь, тяжело... У меня старуха мать, так даже она пилит: «Как же вы с бошами?..» Я-то понимаю, что партия не может быть с Гитлером, так им и говорю... А нас, Анри, они не сломят... Знаешь, хотел бы я на одну минутку очутиться в Кремле, послушать, что сейчас Сталин говорит. Понимаешь?..

Под вечер к Лансье пришел Нивель.

— Простите, что без предупреждения... Но я счел своим долгом. Я узнал на службе, что Лежан в списках лиц, подлежащих задержанию. Я не стану обсуждать, правильно ли это, но я знаю, какую роль он играет в «Рош-энэ», и я не хотел, чтобы это вас застало врасплох...

Марселина возмущенно вскрикнула:

— Бог знает что — воюют против немцев, а в тюрьму сажают своих! Никогда не поверю, что Лежан — шпион. У него могут быть свои идеи, но он честнейший человек.

Нивель ответил:

— Я думаю, что никто не сомневается в личной порядочности господина Лежана. Дело в другом — совместимы ли его идеи с безопасностью Франции. Впрочем, не я решаю такие вопросы и не мне защищать политику Даладье. Я только хотел дружески предупредить вас...

Нивель вышел. Фонариком он осветил улицу и увидел Мадо. Она с ним не попрощалась и скрылась за углом. Она спешила: дорога каждая минута! Сейчас она вправе думать не о себе, не о своей бесцельной жизни. На один час ее существование оправдано...

Ей открыла дверь Жозет. И Мадо сразу поняла: слишком поздно — на полу валялись книги, одежда, подушки.

— Я думала, что успею предупредить...

Тогда Жозет ее порывисто обняла и поцеловала. Такой необычной была эта ласка, что на глазах у Мадо показались слезы.

— Они его увели в шесть часов. Я не успела прибрать.

Поль пожал Мадо руку:

— Спасибо, товарищ.

Когда Мадо вернулась домой, отец еще негодовал:

— Я уж не говорю, какой это удар для «Рош-энэ», на Лежане все держалось... Но это действительно честнейший человек. Я с ним вчера поспорил, погорячился... Все окончательно сошли с ума. Зачем они хотят озлобить рабочих? У нас нет единства. А немцы, те идут за Гитлером... Конечно, мы богаче, сильнее, но все-таки страшно. Страшно за Францию. А Лежана жаль...

Неожиданно для отца Мадо возразила:

— Жалеть его нечего, таким людям можно позавидовать... Они верят, им вѐрят. А что мы? Всего боимся, во всем сомневаемся...

Она вспомнила, как Поль назвал ее «товарищем», и покраснела.

Нивель шел по длинному коридору префектуры и вдруг столкнулся с Лежаном, которого вели полицейские. Лежан насмешливо поздоровался:

— Вы, кажется, меня не узнаете, господин Нивель?

— Простите... Здесь темно...— И вдруг рассердившись, он добавил: — Вы видите, что сделали ваши русские?

— Русские еще спасут Францию.

С первого дня войны Нивель начал вести дневник; он хотел сохранить, если не для себя, то для других, переживания грозного времени. После встречи с Лежаном он записал:

«На фронте тишина. Продолжается война внутри. Арестовали Лежана. Я его встретил, это было очень неприятно. Конечно, я понимаю, что коммунисты поставили себя вне нации. Но это тяжело и безвыходно. Не знаю, кому нужна эта война, во всяком случае не нам, думаю — и не немцам. Впрочем, выбирать поздно, выбрал Гитлер, он пошел на все, даже на пакт с большевиками. Меня поражает его слепота, это азартный игрок, готовый

бросить все на зеленое сукно — близких, родину, честь, чтобы, продувшись, застрелиться. Колода карт, бледный огарок свечи на рассвете и развалины — вот конец Европы. Вспоминаю беседу с Ширке, он говорил об органическом единстве западной цивилизации. Может быть, Ширке теперь мобилизован и стоит у нашей границы... Мы воюем именно за торжество западной цивилизации, за их Веймар против нацистско-коммунистической империи. Завтра подаю заявление, хочу, чтобы меня отправили на фронт. В блиндаже сейчас легче, чем в рабочем кабинете. Тоска. В Европе темно, как в этом городе. Темно и в сознании. Похищенная Персефона плачет в бомбоубежище, и нет у меня дара, чтобы перевести эти слезы на язык людей»...

Он хотел было лечь, но раздумал, шагал из угла в угол. Перед ним реяли, кружились слова, он их ловил, а они улетали. Одна строка торчала, как обломанная ветка. Потом мир, черный и пустой, зазвучал; Нивеля заполнили слова, звуки, щебет, вибрация. Он писал до утра, и ему казалось, что никогда он не писал так вдохновенно.

Вот и день... Он побрился, собрался уходить, хотел прочитать написанное, и что-то его удерживало; все же прочитал. Как плохо, натянуто! Ни звучания, ни сердца... Вероятно, сейчас нельзя писать стихи. Он скомкал тонкие листочки и вдруг вспомнил усмешку Лежана в полутемном коридоре префектуры. Он поморщился от вспышки гнева. Теперь нужно воевать, вот что, мы вас победим, господин Лежан!

20

Заседание было бурным. Против проекта Сергея выступил Бельчев, утверждая, во-первых, что «товарищ Влахов не реалист и преувеличивает возможности стандартного строительства частей», во-вторых, что он «барахтается в болоте старых формул и оттирает местные ресурсы», наконец, что «бесконечно прав товарищ Григорьев». Бельчев говорил горячо и верил в то, что говорит, хотя вчера он соглашался с Сергеем. Переубедило его выступление Григорьева. Так бывало всегда: стоило кому-нибудь, занимавшему более высокое положение, сказать

слово, как Бельчев вполне искренно забывал, что говорил за день или за час до того. Он не понимал Сергея: если Григорьев сказал, значит, это так... Сергей, однако, упорствовал. Решили еще раз рассмотреть предложенный им проект. Сергей в душе обругал Бельчева; итогами заседания он остался доволен.

Был яркий закат октября. На бульваре играли дети. Гуляли парочки. Женщина в пестром платочке говорила красноармейцу: «А какие рюмочки я достала! Тонюсенькие...» Воздух был свежим и звонким, небо едва окрашенным. Сергей подумал: счастье, что мы не воюем!.. Он захотел представить себе Париж затемненным и не мог — в памяти вставали огни веселья.

А Мадо?.. Что с ней? Почувствовав острый приступ тоски, он грузно опустился на пустую скамейку, закрыл глаза. Мадо шла навстречу в зеленом платье и улыбалась... Никогда больше он ее не увидит! Даже письма не получит... Между ними война. Париж исчез, закрыт, как туманом, телеграммами, декларациями, сводками. Где теперь Мадо?.. Это правда — с судьбой не сыграешь в прятки...

Порой Сергею казалось, что он начинает забывать Мадо, и тогда он испытывал не облегчение, а ужас, как будто терял себя; потом печаль возвращалась, и он успокаивался. Он был неправ, обвиняя себя в легкомыслии: он мог радоваться, даже веселиться, но в глубине его сердца жила Мадо.

Он окунулся с головой в московскую жизнь; его волновала здесь каждая мелочь. Сидя на скамье бульвара, он продолжал спорить с Бельчевым. Почему нельзя наладить стандартное производство?.. Григорьев — хороший работник, но он может ошибаться. А Бельчев повторяет, как попугай... Здесь в прошлом году был жалкий домишко, а вот что построили. Москва похорошела. На Западе не верят, что мы научились строить. Они ничему не верят. Хотели подставить нас под удар. Чем они заслонятся от немцев? Зонтиком Чемберлена? Они не Гитлера хотят повалить — нас. Достаточно послушать Ниверя... Нам бы только выиграть несколько лет... Григорьев судит по шаблону. Какая-то кустарщина... Конечно, немцы — это сила, но теперь легче — границу отодвинули...

Он вспомнил поля Польши. Там пепел, кровь... Что будет с Парижем? Скамейка под каштаном... Нет, Мадо не отделить от Парижа!.. Разве мог бы он сидеть с ней на этой скамейке? Никогда!..

Рядом теперь сидели две девушки, крепкие, загорелые; одна, смеясь, рассказывала: «Он, как увидел, сразу тон изменил»... Сергей улыбнулся. Девушки ушли. Та, что смеялась, похожа на Олю... Ольга хорошая, только еще маленькая, у нее и практичность детская. Маме нужно лечиться, она очень плохо выглядит... Как Вася съездил?..

Сергей посмотрел на часы, заторопился и, как мальчишка, вскочил в трамвай.

Лабазовы справляли и свадьбу и новоселье. Ольга настояла, чтобы дождались Васи — он был в командировке. Кроме родных, она позвала свою школьную подругу Наташу Крылову. Лабазов пригласил двух работников редакции: секретаря Петю Дроздова и специалиста по иностранной политике шестидесятилетнего Замкова.

Хозяин прежде всего показал гостям квартиру, была она невелика — две комнаты, но Семен Иванович обстоятельно знакомил с каждой деталью; возле уборной он полушопотом сказал: «Там принадлежность».

Лабазову было тридцать два года; тучный, с нездоровым цветом лица, он выглядел старше, казался всегда заспанным, его маленькие глаза оживлялись только, когда он думал, что кого-нибудь перехитрил. Редактором его назначили два года назад, до того он работал в профсоюзной организации. Газету он не любил, но рвения не жалел и ночью раз десять перечитывал полосу, всегда находя что-нибудь, по его словам, «сомнительное». Стоило ему увидеть свежее сравнение или незатасканный эпитет, как он судорожно хватался за красный карандаш. Он говорил сотрудникам: «Фокус в одном — не ошибиться», а Ольге признался: «Кажется, все хорошо, и вдруг... Легче блоху поймать в поле!» Положением своим он был удовлетворен и посмеивался над Петей Дроздовым, который всегда старался выскочить вперед: «Вот наградят тебя... подзатыльником!»

Маленькая квартира, заставленная вещами, походила на комиссионный магазин. Семен Иванович с гордостью показал гостям и радиолу, и кровати из красного дерева, и кушетку с десятком атласных подушечек, и бронзовые часы, изображавшие земной шар.

Сергей сказал сестре:

— Вазочек сколько! А я, как бегемот в посудной лавке...

Ольга засмеялась:

— Ничего, если разобьешь. Только стаканов не бей, у меня мало...

— Прежде и у меня ничего не было,— сказал Семен Иванович,— но время такое — теперь все обзаводятся — становление.

Обычно молчаливый Вася вдруг высказался и, как нашла Нина Георгиевна, бестактно:

— А я барахло терпеть не могу, без него куда свободнее.

Ужин был роскошным: кулебяка, крабы, винегрет, лососина, того девственного тона, который как нельзя лучше подходит к свадьбе, поросенок, украшенный бумажной розой; потом торт, такой розовый, что перед ним поблекли и лососина и роза на поросенке; водка, настоенная и чистая, четыре сорта вина, шампанское. Семен Иванович ел много, поспешно, но как-то безразлично, казалось, он выполняет обязанность. Зато Ольга кушала медленно, смакуя каждый кусок, так что, глядя на нее, Петя, уже сытый и полупьяный, не выдержал и после торта вернулся к поросенку. Замков не замечал яств, как будто он обедал в столовой. Вася, выпив, оживился, рассказал сидевшей рядом с ним Наташе, как он был в цирке на сеансе гипнотизера, который клялся, что видит людей насквозь; кто-то стащил у гипнотизера часы, тот вопил: «Где же милиция?», а из публики отвечали: «Если видишь насквозь, зачем тебе милиция?» Наташа смеялась так заразительно, что рассмеялись все, даже Замков, хотя никто не слышал истории с гипнотизером.

Сергея заставили рассказать про Париж; слушали его внимательно и отчужденно, как если бы он рассказывал о нравах средневековья или о звездных скоплениях. Только Нина Георгиевна волновалась: она хотела понять, что при-

ключилось с Сергеем в Париже. Замков вытащил записную книжку и спросил:

— На кого теперь ставит крупный финансовый капитал?

А Наташу развеселило, что в Париже на террасах кафе зимой стоят печки; смеясь, она повторяла: «Улицу топят, ну и чудаки!»

Вася спросил, много ли строили в Париже перед войной; он был архитектором и бредил городами будущего — белыми, зелеными, тихими. Потом он сказал:

— Минск узнать нельзя, большой европейский город...

Все оживились. И Сергей почувствовал, что Минск, в котором он никогда не был, интересует его больше, чем Париж. Одно было сном, пусть и прекрасным, другое — жизнью, как бас коренастого Васи, как смех Наташи, как скрипучий голос Замкова. Ведь от домов Минска, от его проекта — Григорьев все-таки ошибается! — от тысячи других деталей зависит судьба каждого из сидящих за этим столом.

Вася упомянул о школах, и разговор перешел с архитектуры на воспитание.

— Распустили детишек,— заявил Лабазов.— Меня папаша порол, и вреда от этого не было.

Нина Георгиевна возмутилась:

— Так можно дойти и до «Домостроя»! Нужно, чтобы педагоги были чуткими, им нехватает культуры, а ребенок — деревце, его легко сломить...

Семен Иванович открыл радио:

— Послушаем, что на свете делается...

Диктор сообщил о митинге в Барановичах, потом о тыкве небывалого веса; говорил он с таким пафосом, что казалось, будто эту тыкву вырастил он и тем спас человечество... «Переходим к сообщениям из-за границы...» И диктор стал подсчитывать, сколько брутто-тонн потопили за день немцы.

Лабазов хмыкнул:

— Все-таки щиплют они тех, ничего не скажешь — воюют хорошо...

Сергей рассердился. Немцы действительно умеют воевать. А от Чемберлена с Даладье ждать нечего... Но почему Лабазов радуется?

— Я думаю, что особенно радоваться успехам фашистов нам не приходится...

— Э, э! Терминология у вас устаревшая.— Семен Иванович всегда говорил «э, э», хватаясь в редакции за красный карандаш.

— Я не дипломат. А черное — это черное...

— Как сказать,— заскрипел Замков,— на данном отрезке времени... Я недавно слышал на собрании пищевиков одного докладчика, он по-новому осветил проблему.

— Бывает, что и докладчик ошибается. Я в Германии был только проездом. А вот в Париже я встретил одну немецкую коммунистку...

И Сергей рассказал про горе Анны.

— Негодяи! — воскликнула Наташа.

На глазах у Нины Георгиевны были слезы. Вася сказал:

— Воевать с ними придется, рано или поздно. Лучше поздно — соберемся с силами...

Петя Дроздов жаждал вставить слово; все думали, что он подольет масла в огонь, но он сказал:

— Знаете, как в народе теперь зовут немцев? Наши заклятые друзья.

Это развеселило всех. Семен Иванович завел патефон. Петя танцовал с Ольгой, Вася с Наташей.

— Что француженки — интересные? — спросил Сергея Лабазов.

Сергей улыбнулся:

— Разные. И потом, на чей вкус?..

Петя мечтательно улыбнулся:

— Судя по кино, исключительно интересные... Только, наверно, продажные...

Сергей пожал плечами. Нина Георгиевна увидала на его лице гримасу, а может быть, это ей показалось. Семен Иванович вдруг очень громко засмеялся:

— Продажные и у нас попадаются!..

Все замолкли. Все-таки он противный,— подумал Сергей. Наташа взяла газеты, сделала вид, что читает. Ольга ушла на кухню и вернулась с чайником.

— Сейчас настоится, будем чай пить.

Замков взял варенья, облизал ложечку и сказал:

— Хорошо вы устроились, Семен Иванович. И жену

хорошую нашли. Это большое счастье. Вы, может быть, и не понимаете, какое это счастье.

Замков два года тому назад потерял жену, с которой прожил свыше тридцати лет; выглядел он грустным и запущенным; когда он работал или разговаривал о политике, он чувствовал себя бодрым; но сейчас, глядя на руки Ольги, которая разливала чай, он сразу постарел и по-старчески еще раз пробормотал:

— Большое счастье...

Лабазов ответил:

— Да, жена у меня что надо... Жалко, что отпуск мы раньше взяли... Будущим летом поедем в Сочи — Ольге именно в Сочи хочется. Так ведь, Оля?

Она не ответила. Лабазов продолжал:

— Я-то люблю другое — с удочкой засесть... Работа у меня ночная, ответственность — легко ведь что-нибудь пропустить, трепка нервов... А когда закинешь, это такой отдых!..

Сергей улыбнулся: может быть, он и не плохой?.. Просто внешность нерасполагающая... А Ольгу он любит...

— Не понимаю я этого удовольствия,— сказал Петя,— сидеть на одном месте и потом хвастать какими-то пескарями.

Петя был очень подвижным, даже суетливым, носился с грандиозными планами, в двадцать шесть лет успел дважды жениться и дважды развестись, часто менял комнаты, прибегая к сложным комбинациям, менял и занятия — до газеты работал в наркомлесе, а еще раньше на кинофабрике. Каждую неделю он пугал Семена Ивановича предложениями «оживить газету». И Лабазов, вспомнив последний из его проектов, сказал:

— Да ты и пескаря не поймал бы! Он так шумит, что его к рыбе подпускать нельзя. Какая-то динамо, право!.. Вы знаете, что он мне вчера предложил? Давать вот этакие «шапки», представляете?.. Что у нас — желтая пресса? Да если бы я послушал... А все от честолюбия. Обязательно ему надо вперед выскочить...

— Это каждому хочется,— возразил Петя,— и совсем это не честолюбие, а просто искания...

— Ну, ну, не рассказывай! Я вот толстый, так я себя за стройного не выдаю. Мне фотокорреспондент рассказывал:

снимают, все равно кого, Петя тут как тут — надеется, что и он попадет. Весной заболел он, ничего не кушает, врач говорит — может быть, язва, пять кило потерял. Что же вы думаете?.. Никакая не язва, а Гудалову дали «Знак Почета», вот Петя и зачах, еле я его вылечил.

— Насчет Гудалова это неправда! Я, конечно, переживал... Обидно было. Но Гудалову дали правильно... А с «шапками» это совсем другое... Какое тут честолюбие? Я ведь знаю, что за это не наградят. Выгнать могут... Но хочется хоть разок дерзнуть! Как Маяковский писал: «Наш бог бег, сердце наш барабан»...

Лабазов сказал, что стихи он читает только в порядке служебных обязанностей. Сергей молчал. Наташа робко призналась: она предпочитает Лермонтова. Один Вася поддержал Петю:

— Я, правда, в стихах не разбираюсь, но Маяковский — это замечательно...

О чем они еще говорили за круглым столом под большой лампой? О пьесе Погодина, о шахматном турнире, о том, что на выставке можно достать чудесные лимоны, о квартирах, свадьбах, разводах, и снова о детях — когда их научат быть вежливыми, и снова о войне — что крепче — линия Мажино или линия Зигфрида. И был вокруг них глубокий мир, на столе ароматное малиновое варенье, спокойные светлые глаза Ольги. Никто не подумал бы, что где-то бомбы крошат жилые дома и остатки потопленных «брутто-тонн», о которых говорил диктор,— живые люди в шлюпках, на плотах, на досках борются с растущими волнами.

Потом, усталые, они замолкли, и тогда стало слышно, как часы, изображавшие земной шар, тихо говорят о долготе и размеренности существования.

Гости разошлись. Ольга молча прибирала. Семен Иванович снял пиджак, расстегнул воротничок и стал сразу походить на того дачного Лабазова, который обожает сидеть с удочкой. Был он в хорошем настроении — вечер прошел удачно. А Ольга — это действительно счастье, старик Замков прав... И вдруг Ольга, глядя на него в упор, сказала:

— Если ты думаешь, что я соблазнилась твоим положением, ошибаешься. Я могу завтра вернуться к маме.

— Почему ты устраиваешь сцену?

— Потому, что мне противно. Ты, может быть, думаешь, что ты меня купил?

Никто не узнал бы в эту минуту Ольгу: ее светлые глаза почернели, красивое, но безжизненное лицо стало жестким. А говорила она шопотом.

— Напрасно ты думаешь!..

Семен Иванович не впервые видел Ольгу в таком состоянии. Он знал, что стоит ее обнять, как сразу она притихнет, станет слабой, послушной. Уверенно подошел он к ней, взял ее за плечи. Она вырвалась.

— Не трогай! И сейчас я спать буду. Не смей будить.

Она быстро легла и натянула одеяло на голову. Семен Иванович уныло почесал свою отвисшую щеку. Пила она мало... Характер тяжелый. А на людях спокойная. Дразнить не стоит — может вправду съехать... Петька растрезвонит по всему городу...

Ольга терзалась: почему я переехала? Теперь он думает, что купил меня... Уж если бы выбирала, могла найти получше... Самое ужасное, что он прав. Конечно, не за деньги, но купил... Сейчас выдержала характер, а завтра?.. Теперь он — муж, не так, чтобы бегать к нему — жить вместе... Тяжело, ох, как тяжело! Работаю лучше, чем он, а все-таки — баба, захотелось уюта, счастья, оттого и мучаюсь...

Вася спросил Наташу, где она живет.

— В Чистом переулке, на Кропоткинской.

— Мне почти по дороге... Не совсем, но после такой ночи хорошо проветриться...

Он шел рядом и молчал. Он только вчера вернулся в Москву из Минска, и все ему было приятно: знакомые улицы, огни, а особенно то, что рядом идет Наташа. Он несколько раз сказал себе: хорошая девушка.

Наташа была смущена: почему он молчит? Пошел проводить и не разговаривает... Может быть, он думает, что я ничего не понимаю? Конечно, там я говорила глупости,— пили шампанское, танцовали. С горечью Наташа подумала: специальность у меня узкая, мало кого интересует. А потом решила, все равно, пусть видит, что я не только танцовать могу! И без всякого вступления она начала рассказывать о работах профессора Бубнова: все растения

голодают — им недостает влаги, если повысить питание, мир зацветет... Она говорила, не останавливаясь, чуть ли не до самого дома; боялась посмотреть на спутника — вдруг он смеется?.. И замолкла так же внезапно, как начала. Вася сказал:

— Интересно! И рассказываете вы хорошо.

Он хотел что-то добавить, но не вышло; прощаясь, он крепко пожал ей руку; и Наташа поняла, что он ее не презирает. Раздеваясь, она даже подумала: кажется, я ему понравилась... Но тотчас прикрикнула на себя: нечего! Сейчас же спать!

А Вася шел через весь город к себе и улыбался: хорошая девушка! С растениями она что-то напутала... Но очень хорошая!

Сергей провожал Нину Георгиевну. Она говорила:

— Олечка счастлива. Может быть, так и лучше — без бурных чувств. Мне это трудно понять... А Оля спокойная, и любовь у нее ровная. Правда, Сережа?..

Он плохо слушал и ответил невпопад:

— Мне понравилось, что он рыбу удит...

Проводив мать, Сергей пошел бродить по городу. Над ним были звезды осени, но он не замечал их. Он не вспоминал ни ночей Парижа, ни Мадо. События дня исчезли: проект, споры с Григорьевым, вечер у Ольги. Бывает, что человек думает о чем-то важном, и мысли его так смутны, так величественны, что он не осознает, о чем думает, а слова и образы проносятся мимо. Так было в ту ночь с Сергеем. Он всем своим существом чувствовал глубокий мир Москвы — игры детей, смех курносой Наташи, тяжелое, как свинец, сердце Ольги, одиночество матери, дыхание тысячи домов, где люди сходятся, расходятся, ворочаются старики, плачут новорожденные, мир древний, как земля, как ее зелень, как снег. И Сергей уже чувствовал войну; не радио хрипело, а люди, и ночь — без огней, без любви, без счастья, ужасная ночь надвигалась.

Он дошел до реки, и вдруг в холодной зелени рассвета встал перед ним Кремль — крепость, красота, воля. Тогда Сергей улыбнулся, почему-то махнул рукой и, больше ни о чем не думая, смертельно усталый, но успокоенный, поплелся к себе на Кудринскую.

21

Отца Наташи, Дмитрия Алексеевича Крылова, кто-то шутя назвал «Дон-Кихотом из Липецка», хотя он не напоминал рыцаря печального образа — был румян, закруглен и неизменно весел. Дон-Кихотом его обозвали за отзывчивость к чужой беде. «Что ты, депутат?» — ворчала Варвара Ильинична, озабоченная здоровьем своего мужа, который недоедал, недосыпал и в пятьдесят лет мотался с утра до ночи. Дмитрий Алексеевич отвечал: «Я, милая моя, коммунист, это тоже к чему-нибудь да обязывает».

Был он врачом, работал в больнице, но обращались к нему люди с делами, никак не относящимися к горлу и носу,— шла молва, что Крылов может помочь. Однажды парторг сказал ему:

— Дмитрий Алексеевич, нужно и о себе подумать, вы не юноша. Почему она идет к вам с жилплощадью?.. Для этого есть свои органы...

Дмитрий Алексеевич вскипел:

— Удивляюсь, как член партии говорит такое! Органы — органами, а человек — человеком. Как вы хотите, чтобы я лечил полип этой гражданки, когда у нее неправильно отобрали квартиру? Она сейчас живет у сестры, и у этой сестры туберкулез, понимаете? Приходится совать свой нос не только в чужие носы. Мало, дорогой товарищ, открыть метод лечения болезни, нужно умеючи его применять. Методы устанавливают гении, слышите вы меня — ге-нии! А если врач — сапог, он со всеми гениальными открытиями отправит пациента на тот свет. Коммунизм вы не построите без коммунистов! Болезнь одна, а вариантов миллионы, это и есть подход к человеку, а вы прочитали и ничего не поняли! Если я коммунист, меня касается абсолютно все. Или вы думаете, что я повешу на грудь дощечку: «занят исключительно носоглоткой»? Одним словом, если вы не хотите помочь, я сам займусь, сегодня же пойду в райсовет, вот что!..

Дмитрий Алексеевич был жаден до жизни. Стоило Наташе заговорить о черенках или о грунтах, как он раскрывал рот, слушал зачарованный. Жена его была библиотекаршей; прочитав какую-либо книгу, Крылов кричал: «Варя, что читатели говорят? По-моему, героиня большая

дура!..» Неделю он мог рассуждать — прав герой или нет; а если роман ему не нравился, допекал автора, как будто тот сидит перед ним: «И зачем такое придумывать? Человек все-таки не инфузория и не прокатный станок — посложнее! Ты или залезь внутрь, или не пиши, никто тебя не обязывает, бумагу лучше изготовляй — Толстого напечатают. Вы подумайте — бумаги мало, времени тоже в обрез,— чтобы прочитать все хорошие книги, десяти жизней нехватит, а он подсовывает такую ерундистику!» Когда Наташа ходила с отцом в театр, она и смеялась и конфузилась — Дмитрий Алексеевич волновался, как ребенок, во время действия спрашивал: «По-твоему, она понимает?..» Он боялся, что героиня слишком поздно раскроет коварство злодея или что потерявший голову ревнивец во-время не опомнится. Когда Крылов куда-нибудь выезжал, он беседовал со всеми, восхищался, негодовал — «Яблоки-то какие!», «И это школа? Что за безобразие!»; часами калякал со старожилами; не мог отойти от машины, не поняв ее хода. Облизываясь, он ел вареники или пельмени и восторженно бормотал: «Ух, и страна у нас!..»

Вот почему пришла к доктору Крылову Валя Стешенко, у которой не болели ни нос, ни горло и которая попрежнему мечтала стать кинозвездой, хотя в институте никто не обнаружил у нее особых талантов. Увидав Дмитрия Алексеевича, Валя смутилась: Крылов представлялся ей маленьким, тихим, в очках; а перед нею стоял здоровенный человек, который яростно продувал мундштук. Доктор рявкнул:

— Что у вас там? Выкладывайте, только покороче — я в больницу опаздываю.

— Мне Голубева посоветовала к вам обратиться, может быть, вы помните — Антонина Васильевна...

— Не помню. Почему вы хотите, чтобы я помнил? Голубева так Голубева. А если покороче?..

Валя заранее обдумала, что ей сказать, но теперь растерялась.

— Вы ее лечили, у нее синузит был, и прописку вы ей устроили...

— Не помню! Голубевых на свете сто тысяч, с синузитом столько же, а без прописки милли-он, ясно? Ну? Не хотят возобновить?..

— Нет, у нее все в порядке, это она мне посоветовала... Вы не думайте, что я сразу решилась, я в газету писала, а мне ответили из отдела писем, что пересылают, и переслали опять к Семипалову...

— Вы мне скажите на милость — предисловие вы к вечеру закончите или нет? Вы, может быть, вместо меня будете больных принимать? Говорите прямо, что с вами стряслось сверхъестественного?

— Я не о себе... Вы только выслушайте до конца! Она ни в коем случае невиновна! Глазков ей приказал отпустить со склада шестьдесят метров, она хотела взять расписку, а он на нее кричал: «Заведующему не доверяете!..» Она перед этим всего два месяца работала. Ей девятнадцать лет, мать — инвалид. Ему все сошло, у него шурин прокурор. А ей три года дали. Мать жутко настроена...

— Ничего не понимаю!

— А это понятно, если исковеркать всю жизнь...

— Молчите! Отвечайте только на вопросы! Как зовут гражданку, которая материю стибрила?

— Украл заведующий, Глазков, а она абсолютно невинная.

— Отвечайте на вопросы! Как зовут, ту, ну, невинную?..

— Карнаухова Надя.

— Сестра?

— Нет, что вы! Я из Киева. Это соседка, меня там на квартире устроили. Я иногда ее матери помогала, она абсолютный инвалид. А Надя у меня книжки брала читать...

Валя виновато улыбнулась, и ее обычное, маловыразительное лицо стало сразу таким привлекательным, что Дмитрий Алексеевич перестал рычать.

— Значит, и не родственница?.. А почему вы так уверены, что ваша Надя не замешана в эту паршивую историю?

— Она пришла тогда ко мне в отчаянии, что отпустила без расписки. Я ее еще больше напугала, я ей посоветовала сейчас же заявить. Мы с ней вместе составили... А Семипалов переслал бумажку Глазкову. Тот решил ее потопить, раз у него шурин — прокурор. Я вам все документы принесла... Защитник мне несколько раз говорил,

что она абсолютно невинная, но ужасное сочетание — у него шурин...

— Подумаешь, тоже птица, районный прокурор! Что у нас — джунгли? А вы раскисли, стыдно! В вашем возрасте штурмовать полагается... Хорошо, займусь. Теперь убирайтесь! Мне еще переодеться нужно, ясно?

Два месяца Крылов положил на эту, как он сам говорил, «треклятую Карнаухову». Варвара Ильинична ворчала: «Убеждена, что она стащила, все они тащат... А тебе лишь бы волноваться! Превратил кладовщицу в Дрейфуса!..» Но муж не слушал. Он направился к Лабазову, с которым познакомился у Наташи.

— Вопиющий случай, Семен Иванович! Требуется экстренно ваша помощь — голос печати!

Он стал подробно рассказывать Лабазову все обстоятельства дела. Семен Иванович уныло слушал, потом поглядел на Крылова своими сонными глазами и сказал:

— Напрасно, Дмитрий Алексеевич, вы принимаете это близко к сердцу. Три годика ей дали? Дали. Значит, было за что... И ничего тут нет страшного, отработает — и в люди выйдет. Давайте-ка оставим мы это!

Крылов ушел от него в бешенстве; сказал Наташе: «Твоя Ольга вышла за мороженого судака, ясно?»

Не таким был человеком Дмитрий Алексеевич, чтобы отступить. Он был убежден, что Карнаухова невинна, и добился своего: прокурор республики приказал пересмотреть дело. Вскоре после этого Карнаухову освободили, Глазкова привлекли, а контрольная комиссия занялась Семипаловым. Крылов сиял, он даже спокойно выслушал вздохи Варвары Ильиничны: «Все это хорошо, а себя ты не бережешь»...

— Ты подумай, Варя, родить человека трудно, сама знаешь, девять месяцев Наташу носила, кричала, как зарезанная. А потом? Сколько лет ты на нее ухлопала? То зубки, то корь, то фантазии, то специальность не может выбрать. Ну, а погубить человека — это плевое дело, три минуты, перо обмакнуть. Ты думаешь, у нас населения много, так мы можем людьми швыряться? Время, конечно, трудное. Эти белофинны — разведка, пробуют, какие у нас мускулы... Я понимаю — материю береги, ясно. С голым пупом некоторые ходят... Я этому Глазкову дал бы десять

лет, пусть, подлец, землю роет или лес рубит. Но ты мне скажи — девушку разве не стоит сберечь? Что она — хуже материи?

Валя пришла его поблагодарить, принесла горшок с тепличной сиренью, едва донесла — казалось, кустик больше ее самой.

— Надя, как вернется в Москву, придет к вам. И мама ее благодарит. А цветы это от меня.

— Еще что? Вы бы мальчишке лучше поднесли, этакому с фантазией... Ух, как пахнет! Стойте! Обедать с нами будете. Варя, вот она самая... Валя. Как фамилия? Стешенко? Хорошо, Стешенко не так много, запомню. Наташа! Прошу любить и жаловать. Она за соседку заступилась, понятно? Пусть они пишут что угодно, за границей, а мы все-таки вырастим, выпестуем...

22

Лансье развеселился, увидев Лео в военной форме:

— Ты знаешь, на кого ты похож? На актера из фарса.

— Значит, все в порядке — это настоящий фарс с переодеваниями.

— Да, удивительное дело — пятый месяц воюем и не чувствуется. В четырнадцатом было иначе...

Лео улыбнулся:

— Жертвы все-таки имеются — на передовой один разведчик повесился от скуки.

— Ха-ха! Здорово!.. Но ты в форме — это еще смешнее!.. Когда ты уезжаешь?

— Завтра. На бельгийскую границу. Ты представляешь себе эту скуку!

— Придется изучать китайский язык или раскладывать пасьянсы. Луи пишет, что они не знают, как убить время. Я ему послал десять полицейских романов.

— Кажется, только Леонтина воображает, что это — настоящая война. Тяжело ее оставлять. Ты ведь знаешь, что она в положении...

— О ней не беспокойся, мы ее не оставим... Сколько это может продолжаться? Говорят, что летом мы прорвем линию Зигфрида.

— Я слышал, что не раньше весны сорок первого. Если только не будет сюрпризов...

— По-моему, сюрпризы будут. Полковник Финело сказал мне, что если финны еще продержатся, операции начнутся на севере. Говорят, что Вейган собирается ударить по Баку.

— Идиоты! Мало нам немцев! Зачем связываться с русскими?

— Это в тебе кровь заговорила...— Лансье похлопал Лео по коленке.— Я шучу. Ты больше француз, чем я. А русских действительно лучше не трогать, их много, и это фанатики. Но понимаешь, Лео, всюду политика. Можно подумать, что у нас не война, а предвыборная кампания. Надоело!

— Мне-то вдвойне. Изволь носить этот балахон и козырять каждому унтеру. Я уже мечтаю об отпуске — в июне или в июле. А вдруг к лету все кончится?.. Леонтина после родов уедет в Бидар. Морис, приезжайте туда на лето. Леонтине будет веселее. Может быть, и мне удастся вырваться. Ты увидишь — это настоящий рай. Правда, «Желинот» роскошнее, зато у меня море. Попробуешь тамошнее вино. Я знаю, что ты любишь «мюскаде». Но «жюрансон» горячит, это — солнце в стакане. А Мадо сможет поработать, там горы удивительного цвета, лиловые, но не как сирень и не как фиалки... Как полевые гиацинты.

«Удивительно,— думал Лансье,— теперь куда спокойнее, чем до войны. Тогда ждали бог весть чего, от одного слова «война» теряли голову. Да и в первые дни волновались, не выходили без противогаза, уезжали в горы. Нивель требовал, чтобы его послали на фронт. Смешно вспомнить... Оказалось, можно жить и с войной. Правда, Париж по вечерам темный, но в этом своя прелесть, должно быть таким он был во времена Вийона. Приходится много работать. Лежана они все еще держат в тюрьме. Теперь призвали Лео. Как будто без него мало солдат!.. Впрочем, роптать грех — хоть и дурацкая, все-таки война. Плохо, что Марселина волнуется, ей кажется, что Луи могут убить. Она очень постарела, прежде ходила в церковь только по большим праздникам, а теперь зачастила. Нет, когда мы воевали, было иначе... Наступали, отступали, снаряды, пулеметы, ад... А теперь немцы раз-

влекают наших солдат музыкой. Раскроешь газету, и непонятно — против кого война? Несколько строк о немцах, а все остальное — о русских. Парадокс!.. Когда-то Вийон смешно сказал:

> На помощь только враг придет,
> Лишь о святом дурная слава,
> Всего на свете горче мед,
> И лишь влюбленный мыслит здраво.

Впрочем, не всегда влюбленные мыслят здраво. Держу пари, что Берти неравнодушен к Мадо. Достаточно на него поглядеть, когда он справляется об ее здоровье... А зову, отказывается... Вот и сегодня напрасно ему звонил, говорит, что занят. Бедняжка Мадо, она побледнела, похудела, но это ей идет, она стала еще привлекательнее. Могла бы вскружить голову всем, а живет, как монахиня...»

Смеркалось. Мадо хотела зажечь свет и вздрогнула: ей показалось, что рядом Сергей. Впервые после отъезда Сергея Мадо вслух произнесла его имя. В тоске она подумала: не с кем о нем поговорить. Самба почему-то решил, что он в меня влюблен. Не могу же я с ним заговорить о Сергее...

Никогда еще так не угнетал ее родительский дом, как в эту зиму. Мать или молится, или плачет. Отец кричит, что победит тяжелая артиллерия, потом сам себя успокаивает — никакой войны нет и, как заклинание, повторяет кулинарные рецепты: «вымочив в белом вине с эстрагоном, обильно нашпиговать...» Ни человека вокруг! Газеты пишут, что русским трудно в Финляндии, суровая зима, люди замерзают. Может быть, Сергей там?.. Он воюет и знает за что. Жозет тоже знает...

Она почувствовала, что не может дольше оставаться в комнате, оделась и быстро вышла, не зная, куда ей итти. Отец крикнул вдогонку:

— Мадо, не опоздай к обеду — сегодня гости. Я приготовил кнели и утку по-руански...

Гости долго обсуждали военные перспективы — все были стратегами, и спички на столе иллюстрировали самые дерзкие планы. Только профессор Дюма не принимал участия в спорах. Когда Лансье спросил, что он думает о прорыве линии Зигфрида, Дюма ответил:

— Зря спички расходуете.

— Ударяют по слабому месту,— говорил Нивель.— Следовательно, наиболее разумный вариант — Финляндия, потом Ленинград.

Доктор Морило загрохотал:

— Вот куда махнули!.. А вы знаете, что мы стали под Саарбрюкеном и, не выпустив ни одного снаряда, повернули назад. Это не война, а фарс!

Лансье был огорчен невнимательностью Мадо — он ведь предупредил ее, что вложил в этот обед немало фантазии, а она не пришла... На кулинарных возможностях Лансье война не отразилась; взыскательный Нивель не нашел слов, чтобы прославить кнели из щуки. Нужно же было доктору Морило испортить хороший вечер! Впрочем, он сделал это без злого умысла. Морило любил порой дразнить людей, говорил правду в лицо; но сегодня он был в прекрасном настроении и развлекал всех различными сенсациями. Лечил он и бедноту и людей с положением, был всегда начинен анекдотами, сплетнями, слухами. Когда Нивель упомянул о новом типе бомбардировщиков, Морило сказал:

— Кстати, наши правители решили обновить аппарат. Контроль над авиационной промышленностью собираются поручить новичку...

Лансье был занят уткой и без всякого интереса, только чтобы соблюсти вежливость, спросил:

— Кого же назначают?

— Я его не знаю, даже не помню, встречал ли это имя... Некто Гастон Руа.

Лансье нашел в себе силы, чтобы удержать возглас изумления; он только отодвинул тарелку и вытер салфеткой лоб. Но случилось нечто непредвиденное... Доктор Морило лечил госпожу Лансье свыше двадцати лет, частенько бывал в «Корбей», и никогда он не видел, чтобы Марселина принимала участие в разговоре о политике. А сейчас она крикнула:

— Зачем же держат Луи на фронте? Если военные дела поручают шпиону, нужно отпустить Луи. Сколько молодых они подставляют под удар!..

Морило, смущенный эффектом своих слов и не понимая, что именно так взволновало госпожу Лансье, проворчал:

— Не удивляюсь — у них нет головы.

Марселина ответила:

— У них нет совести...

Она ушла. Все молчали. Лансье не мог объяснить друзьям, почему Марселина разволновалась. Он спрашивал себя, может быть, я тогда погорячился? Ведь если этому Руа доверяют такое ответственное дело, значит, он — честный человек и хороший француз. Конечно, он работал с немцами, но в то время не было войны... И Лансье сказал:

— Марселина последнее время очень нервничает. Что вы хотите — она прежде всего мать... Конечно, сейчас боев нет, но как только фронт двинется... Ведь Луи в истребительной авиации...

— Глупая история, пора ее кончать,— сказал Дюма. И, видя, что Лансье не понял, объяснил: — Я говорю, что пора кончать войну, если мы не собираемся ее начинать.

Доктору Морило пришлось подняться к госпоже Лансье: с ней сделался припадок. Гости разошлись. Только Дюма остался — ждал Морило.

Придя домой, Нивель записал в тетрадь:

«Трагический фарс продолжается. Война, но войны нет. Каждый ждет гибели, но говорит о прорыве линии Зигфрида. Были войны страшнее, а такой глупой, кажется, еще не было. У Лансье разыгралась тяжелая сцена. Когда Морило рассказал о назначении какого-то Руа, госпожа Лансье крикнула, что это — шпион, и чуть не лишилась чувств. Шпиономания продолжается. Руа я не знаю, но допускаю, что он придерживается немецкой ориентации, все теперь перепуталось. Ширке — немец французской ориентации. Может быть, ему тоже поручили ответственную работу. Есть только одна возможность придать войне душу — повернуться против большевиков. Говорят, что дуче это понимает. Но, увы, Гитлер неумен, по-своему велик, и все же неумен. Кончится общим крахом, и через тысячу лет раскопают статую Майоля, как раскопали на Милосе мою безрукую любовь. Стихи я забросил. А в префектуре — вереницы арестованных, холод, табачный дым, тоска».

23

У Жозет сидел Миле: он привел с собой бледную худенькую девушку, похожую на подростка:

— Это — Мари. Я тебе говорил... Вчера она всю ночь клеила листовки. Я утром видел — стоят и читают, понимаешь? Хотят знать, что думает наша партия... Ты не обращай внимания, что она выглядит, как девчонка, она решительно все понимает...

Было в Мари то печальное веселье, которое напомнило Жозет ее молодость. Жозет видела, как смотрит Миле на девушку, как та в ответ улыбается— радостно и стесненно, и эта робкая любовь, среди разговоров об обысках, среди клеветы, травли, щемила сердце.

Они говорили о передачах для арестованных, когда позвонила Мадо. Она сразу почувствовала себя лишней, чужой. Зачем я пришла?.. Этим людям не до меня... Мадо показалось, что она принесла с собой скуку, ложь «Корбей». Они должны меня ненавидеть.

Миле и Мари прошли в соседнюю комнату. Мадо спросила:

— У вас есть вести от Анри?

— Конечно. Осенью он хворал, теперь все хорошо. Хотя условия тяжелые...

Мадо не знала, что еще сказать, встала. У нее был такой растерянный вид, что Жозет ее пожалела.

— Вы ведь любите музыку?.. Я вам что-нибудь сыграю.

Что она играет? — подумала Мадо.— Торжественно и просто. Так деревья шумят, дождь... Значит, и Жозет любит искусство? Жить двойной жизнью?.. Но Жозет не такая... Музыка самое высокое — не нужно ни описывать, ни изображать. В музыке — время. Сначала предчувствие, потом аллея, дождь, жизнь, теперь все замирает. Сейчас уйдет поезд. Глуше. Оборвалось...

— Спасибо.

И Мадо простилась.

— На улице очень темно,— сказала Жозет.— У Миле фонарик, он вас доведет до метро.

Фонари прохожих казались светляками. Миле ревностно освещал путь — он все делал ревностно. И вдруг Мадо сказала:

— Пожалуйста, передайте госпоже Лежан, что ей кланяется Влахов, ей и Анри. Я забыла сказать... Глупо — ведь я затем и пришла.

Почему я так отвратительно лгу? — спрашивала себя Мадо.— Самолюбие? Нет!.. Я не могла иначе, должна была сказать «Влахов», хотя бы этому мальчику. И хорошо, что темно. А я его никогда больше не увижу...

— Обязательно передам. Я знаю товарища Влахова, он осматривал наш цех. Он решительно все понимает, я с ним разговаривал... Они могут врать, сколько им вздумается, я-то понимаю, что русские с нами. У меня в комнате висит фотография, я вырезал из «Регар» — Кремль... А вы знаете, кто там живет?..

Лансье едва дождался Мадо. Он видел, как страдает Марселина, и терял голову — чувствовал, что не может ей помочь, приписывал это своей мужской неловкости. Со слезами в голосе он сказал Мадо:

— Маме очень плохо. Тише, она, кажется, задремала. Было ужасно... Доктор Морило сказал, что это — нервы, но, может быть, он хотел меня успокоить?..

Марселина не спала, она постаралась улыбнуться дочери. Припадок прошел. Она теперь думала, почему ей было так страшно? Неужели она боится смерти? Нет... Тяжело оставить живых. Морис — беспомощный, как ребенок, его может каждый обмануть, обидеть, толкнуть на самое страшное. Луи на фронте. А Мадо свихнулась, не находит себе места. Она любила мужа, нянчилась с детьми, жизнь вложила в семью, и вот все готово разлететься...

Под утро Лансье решил отдохнуть — Марселина спала; он сказал Мадо:

— Я так перепугался. Ведь мама попросила позвать священника.

Мадо сидела у кровати матери. Какое счастье верить! Можно позвать священника, и сразу станет легче... Сергей сказал. «Нужно верить». Конечно, он верит в другое... И Миле верит. Это очень много — верить, это больше, чем знать, это — знать, и еще что-то... Если не верить, страшно... А Луи?.. Не знаю, верит ли он во что-нибудь. Он очень суеверный, скажет слово — и схватится за дерево, не сядет тринадцатым за стол. Может быть, потому, что летчик?.. Он смелый, но пишет грустные письма. Они

не знают, зачем эта война... Если Сергей в Финляндии, он знает... Он не боится смерти. И мама не боится... Но ведь они такие разные. Я что-то путаю...

Она подошла к окну. Была лунная ночь, и луна была большая, очень светлая, очень холодная. Почему луну отдали влюбленным? От нее хочется выть... Луна — это чтобы умереть, и все под ее светом отравлено, заморожено, неживое. Что, если мама умрет?..

Рассвело. Глаза Мадо были раскрыты, но она не глядела, не думала, только машинально прислушивалась к слабому дыханию матери.

Миле прибежал к Жозет в таком волнении, что не мог сказать слова. Он обнял Жозет, хотел обнять Мари, но постеснялся и, наконец, выпалил:

— Влахов тебе шлет привет. И Анри. Понимаешь? Ты это можешь представить — помнит!.. Замечательно! Вот какие у нас друзья!

Он задумался и вдруг тихо спросил:

— Жозет, эта женщина наша?

— Нет.

— А я думал, что наша. Не понимал, почему она как в воду опущенная... Жозет, у тебя остались еще листовки?

— Поль отнес пачку в Иври.

— Хорошо, дай мне сотню, я пойду в Монруж, а Мари пойдет домой, ей нужно выспаться...

Они ушли, держась за руки.

Жозет вспомнила приход Мадо. Почему она сразу не сказала про письмо от Влахова?.. Странная девушка, все в ней искренно, от сердца, и все выдуманное... Нужно передать Анри, что русский написал... Поздно, где застрял Поль? Жозет напрасно пыталась удержать сына от нелегальной работы: «слишком молод, погоди...» Он в ответ улыбался: «Если ты не хочешь, я пойду к моим комсомольцам». Ведь он еще мальчуган... Как смешно расхваливал Миле свою девушку — «решительно все понимает»... Дети! Им бы танцовать, кататься на лодке, шалить. А время суровое... Анри пишет, что все хорошо, но товарищи рассказывают — унижают, мучают, стараются извести. Не сломят... Сколько силы в этих детях!.. И много нас... Наверно

сейчас на другом конце города другой Миле клеит листовки. И в Лионе, и в Ницце, и в Лондоне. Может быть, и в Берлине... От этой мысли Жозет стало спокойно, она почувствовала теплоту дружеских рук. Усталая, она прилегла на кушетку. Скоро должен притти Поль... Анри любил отдыхать, подложив три подушки под голову, говорил: «мечтаю»... Как ему сейчас?.. Она подумала о нем нежно, по-матерински — о тюремной койке, о холоде, болезнях, одиночестве. Редко она заглядывала в себя, а сейчас необычно торжественно пронеслось в голове: любим и крепко — до конца, до смерти.

24

— Действительно, нервы? — спросил профессор Дюма доктора, когда они вышли из «Корбей».

— Грудная жаба. Первая повестка.

Они долго молчали, обоим было жалко госпожу Лансье, и оба были в том возрасте, когда смерть легка на помине. Да и сцена за ужином их расстроила, от Марселины они невольно перенеслись мыслями к Франции.

Трудно сказать, на чем покоилась дружба этих двух людей; они не походили друг на друга и не подходили друг другу. Дюма был крупным ученым, а доктор Морило заурядным районным врачом, который не гнался за медицинскими новинками, твердо знал, что его возможности ограниченны, и к науке относился, как к тяжелому ремеслу. Дюма можно было назвать жизнерадостным энтузиастом, Морило же над всем посмеивался, не верил ни в открытия, ни в реформы, говорил: «Чем больше все меняется, тем больше все остается попрежнему». И все же они нравились друг другу. Холостяк Дюма у доктора чувствовал себя, как дома. В свое время он каждое воскресенье возил на спине сыновей Морило — Пьера и Рене. Давно это было.

— От Рене вчера пришло длинное письмо,— сказал доктор.— Он на линии Мажино. Острит: «у нас здесь такое состояние, как будто мы воюем сто лет и жаждем мира — похмелье, а выпивки-то не было...» Говорят, что в апреле призовут Пьера. Если, конечно, эта музыка затянется...

Они снова шли и молча думали о том же.

Морило, наконец, заговорил:

— Ужасно глупо вышло... Но кто мог подумать?.. Я так и не понял, откуда они знают Руа. А если разобраться, то ничего нет удивительного — теперь если когонибудь назначают, значит, или круглый дурак, или настоящий подлец. Может быть, Марселина права — шпион... Как же вы хотите воевать при таких условиях?..

Дюма ни спорил, ни соглашался. Они медленно шли в темноте, ногами недоверчиво проверяя тротуары.

— Ничего, выкарабкаемся,— вдруг прорычал Дюма.

— Сомневаюсь. Франция, слов нет, хороший дом, но никто не хочет его защищать. Вероятно, потому, что никто не чувствует себя хозяином. Позавчера меня вызвали к больному: рабочий с завода Берти, гнойный плеврит. Там был его товарищ. Разговорились. Оба, разумеется, коммунисты или вроде. Вы представить не можете, как они раздражены, не верят ни слову, говорят — все это издевательство, чем кагуляры лучше наци, и так далее. Я с Берти давно не встречался, но убежден, что он предпочитает немцев вот таким соотечественникам. Страна расползлась по ниткам. В общем ничего тут нет удивительного — народы дряхлеют, как люди. Выскочат вперед американцы. Корнеля у них нет, только жевательная резинка, зато чертовски молоды. А мы свой век прожили. Так что хорошего ждать не приходится... Вы говорили, что мы не отдадим Праги, что договоримся с русскими, что Гитлер не посмеет начать... Интересно, когда вы расстанетесь с вашим оптимизмом — без пяти двенадцать или в пять минут первого?

Дюма так запыхтел трубкой, что искры посыпались в ночь.

— А зачем мне с ним расставаться? Язвы на поверхности. Что такое Руа? Я вас спрашиваю, что такое Нивель? Прыщи, и только! Разве народ может вдруг застрелиться? Что это вам, школьник? Или маклер? Народ — это хлеб, пот, гений. Я не знаю, что сделает народ, когда он, наконец, вмешается в эту пакость. Но не может, чорт побери, Франция кончиться на пьянчужке Даладье, на носатом прохвосте Бонне — извольте получить такое после Робеспьера и Сен-Жюста! Когда я вижу, как маляр красит стену, как сапожник набивает подметки, как монтер прокладывает провода, я сразу прихожу в чудесное настрое-

ние — есть еще Франция. Послушайте, доктор, может быть, мы не дотянем до рассвета, но нельзя поверить в такую окаянную ночь...

Кругом была воистину ночь, ни огонька, ни даже того ватного темносерого тумана, который порой смягчает мрак; затемненные дома отсутствовали, город казался лесом. Вдруг из темноты донесся плач грудного ребенка. Доктор Морило развеселился:

— Смена, дорогой профессор,— антрополог двадцать первого века. Вы представляете себе, как он будет вам завидовать — вашей Мари с ее соусами, вашей трубке, вашему оптимизму. Я убежден, что через шестьдесят лет наше время будет казаться идиллией, буколикой, раем...

Дюма в ответ насмешливо засвистел.

— Эх, вы... Анатоль Франс!.. Не понимаю, как вы лечите больных, вы и здорового можете загнать в могилу такими тирадами... Когда идешь в гору, всегда кажется, что лучше бы не подыматься. До перевала... А идешь, значит, нужно дойти...

— И не шлепнуться. Осторожно, здесь, кажется, ступенька.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Валя была на четыре года старше Наташи, несмотря на это, девушки быстро подружились. Наташе нравилось, что Валя никогда не заостряла ни мысли, ни слов. Какая-то неуловимая,— думала про нее Наташа,— такие, наверно, все актрисы... Валя чувствовала себя в Москве одинокой, тосковала по друзьям из «Пиквикского клуба», ей становилось легче с веселой, разговорчивой Наташей.

Наташа праздновала день рождения — ей исполнилось двадцать лет. Отец подарил ей чудесные часики. Наташа то и дело подносила руку к уху и удивленно говорила «идут» — ей казалось, что на ее большой красной руке крохотные часики обязательно остановятся.

День был чудесный, начиналась весна, яркая, шумная. Вечером пришли гости: Валя Стешенко, Ольга, конечно Вася. Когда знакомые теперь считали, кого позвать, всегда говорили «Наташу с Васей» — нельзя было их представить врозь. Они часто встречались, не задумываясь, почему их тянет друг к другу. Обычно Наташа говорила, Вася молчал и улыбался. Как и в первый день знакомства, думая о Наташе, он говорил себе: хорошая девушка! Дмитрий Алексеевич как-то сказал дочери: «Твой Влахов мне нравится. Понятно?» Наташа без тени смущения ответила: «Понятно. Мне тоже...»

Наташа позвала и Сергея. Долго она раздумывала — не обидится ли Ольга, если ее позвать без мужа? Лабазов

не нравился Дмитрию Алексеевичу. Да и Наташа не могла к нему привыкнуть: какой-то он неживой... Она не позвала Лабазова. Ольга обиделась, но обиду скрыла, только рассказала, что Семен Иванович написал хорошую статью о чутком подходе к человеку.

Молодежь веселилась, но, кажется, больше всех веселился Дмитрий Алексеевич. Он первым пошел танцовать, танцовал он вальс, и по старинке — подпрыгивая, но танцовал так, что Валя взмолилась: «Дмитрий Алексеевич, голова кружится...» Потом затеяли игры, загадывали слова, сочиняли чепуховые стихи и опять-таки Дмитрий Алексеевич забил всех. Ему выпал фант: гадать. Он повязал себе голову мохнатым полотенцем и отправился в комнату Наташи, разложил колоду карт, начал мучительно вспоминать: что выше — дама или король? Первой пришла Наташа. Отец крикнул:

— И ты сюда же? Киш! Сама все знаешь! Ты лучше его пришли...

Но когда пришел Вася, Дмитрий Алексеевич забыл про гадание — он взял с полки томик стихов, увлекся и стал кричать, потрясая книжкой:

— Удивительное дело! Набор слов, а, знаете, пот-ря-са-юще!

За твоими тихими плечами
Слышу трепет крыл...
Бьет в меня светящими глазами
Ангел бури — Азраил!..

...Вот это — поэзия! Не то что Лабазов по телефону кричал: «Тридцать две строчки к Женскому дню!..»

Наташа спросила:

— Что тебе папа нагадал?

— Очень хорошо! И в точку,— ответил Вася.

Поглядев в спокойные глаза Ольги, Дмитрий Алексеевич засуетился:

— Сейчас, сейчас все вам расскажу. Матушка моя гадала — «чем успокоится сердце?» А оно обязательно успокоится! Я вам могу всю музыку продемонстрировать: хлопоты, потом черви — сами понимаете, какой предмет изображен, ну, а потом счастливая дорога, я уж не знаю, что вы предпочитаете — Анапу или Малаховку...

Сергею Крылов не стал гадать — надоело.

— Раскажите, как в Париже народ развлекается? Танцуют, наверно, так, что полы ломятся...

Он долго слушал рассказ Сергея. Потом вдруг помрачнел:

— Боюсь я за них. Беспорядок там, наверно, страшнейший. Немцы ведь всю зиму готовились. Это хорошо, что веселые. Мы тоже не монахи... Но только надо уметь и покряхтеть, помучиться...

Валя нетерпеливо ждала у двери: ей очень хотелось, чтобы Дмитрий Алексеевич ей погадал. А он забыл, что гадает, и, когда она вошла, чуть было не рявкнул, как на пациентку. Потом спохватился, вспомнил, что он — факир, смел рукавом карты и начал вещать:

— Барды, аласагарды, балласагарды... Я вижу все... Она пришла. Он пришел. Она поглядела. Он поглядел. Алассабарды... Понятно? Кстати, он о Париже замечательно рассказывает, вы его спросите. А теперь — марш танцовать! Он вас так закружит, что не раскружитесь...

Валя ломала голову: как Дмитрий Алексеевич заметил, что он мне нравится? Непонятно. Ведь я ничем этого не показала... Правда, что нравится. Брат у него обыкновенный. А он нет... Странно даже, что инженер похож на поэта или на актера... Хорошо бы подружиться с таким человеком.

— До свидания! — Сергей улыбнулся.— Отчества вашего я не знаю.

— Алексеевна.

— Валентина Алексеевна. А можно просто, как Дмитрий Алексеевич — Валя?..

Она долго потом вспоминала: он так выговорил «Валя», как будто признал меня...

Возвращаясь от Наташи, Сергей встретил Замкова. Они пошли вместе. Замков долго говорил о военном положении — вскоре начнутся бои на Западе. Может быть, немцы и одолеют, но после таких битв они не будут страшны... Сергей был рассеян, думал о Париже, о Мадо. Замков смолк, потом сказал:

— Помните Петю? На свадьбе у Лабазова... Тогда Лабазов дразнил, что он повсюду вперед лезет... Убили

его. Мы только вчера узнали. Еще Новый год с нами встречал. А потом начал проситься в Финляндию. Мы-то все его считали болтуном... Оказалось, герой. При штурме линии Маннергейма... Приказ есть о награждении. Мать приходила... А если вернуться к международному положению...

Сергей простился, завернул в переулок. Он смутно припоминал лицо Пети. Война как-то сразу стала ближе... Танцовал, смеялся, говорил, что пишет очерки... Вот так и с нами будет... Не знаю, как французы... Это верно доктор сказал — надо уметь и помучиться...

2

Роды были долгими и тяжелыми. Все потеряли надежду; даже профессор Рише, известный своим хладнокровием, считал, что Леонтина не выживет.

Она выжила, и в ослепительные дни парижской весны любовалась сыном; подолгу она разглядывала его ясные глаза: похожие на две капли бледноголубой финифти; эти глаза казались ей полными глубокого смысла. Она находила в младенце не только черты Лео, но даже его выражение; гордилась крохотными ручками; рассказывала ему длинные истории, замирала, когда он припадал к ее груди. Сын освободил ее от острого, невыносимого страха за Лео.

До этих дней она жила только мужем. Он нашел ее, маленькую мастерицу, похожую на десятки тысяч других, в пыльном сквере парижского пригорода и дал ей счастье. Был он старше Леонтины на двенадцать лет; водил ее в театры, объяснял тайны искусства, пересказывал книги, смешил историями своей бурной молодости. Он вложил в нее свою душу неудавшегося драматурга, искателя золота, брошенного в мир вековых условностей. Когда он уезжал в Лион, в Америку или — прошлым летом — в Киев, она погружалась в спячку, как лес зимой. Восемь лет они прожили вместе, но любовь ее была такой же острой и безрассудной, как в те первые дни знакомства, когда, будучи глупой девчонкой, она отдавалась Лео, не задумываясь над будущим.

Она давно мечтала о ребенке. Судьба оказалась жестокой: на третий месяц ее беременности началась война. Увидев Лео в военной шинели, она горько расплакалась: она представила его раненым среди огромного пустого поля. Напрасно муж объяснял ей, что на границе нейтральной Бельгии ему грозят не вражеские пули, а всего-навсего скучные зимние вечера; она не могла успокоиться. Когда Лео уехал, она дала волю слезам. Несколько дней без писем были для нее пыткой, и только теперь настало успокоение: сын был порукой близкой встречи; в крохотном, то невинном, то по-старчески мудром личике она узнавала Лео и, глядя на цветущие под окном каштаны, улыбалась возвращенному счастью. Она настолько повеселела, что стала готовиться к отъезду в Бидар.

Телеграмма пропала, и Лео узнал о рождении сына только две недели спустя. Шумный в своем счастье, он читал письмо Леонтины всем: и товарищам по взводу, и лейтенанту Гарше, и трактирщице, и жителям поселка, где они стояли; по многу раз он пересказывал самые важные места: у мальчика нормальный вес, он очень веселый, мать уверяет, что он похож на отца, и госпожа Шардонне — Лео никак не мог вспомнить, кто эта прелестная особа,— сказала: «В жизни не видела такого удачного ребенка...»

Одно только огорчило Лео: сына назвали Робером. Ничего в этом не было неожиданного: еще осенью они решили, если у них будет сын, назвать его Робером. Лео понимал, что парижанин не может быть Наумом, но теперь он часто вспоминал отца, и ему хотелось бы в звучании имени оживить тень сумасшедшего портного из Слободки. Да и старухе-матери обидно будет, что внука не назвали именем ее покойного мужа... Но ничего не поделаешь: сын — француз... И Лео сказал товарищам: «По-моему, Робер хорошее имя»...

На следующий день он решил написать Леонтине; это был длинный рапорт об отцовском счастье. Он не успел кончить письмо — прибежал сержант Дюбле сам не свой:

— Немцы прорвались!..

Это было настолько нелепо, что Лео выругался: Дюбле нализался с утра!.. Он дописал письмо, аккуратно заклеил конверт и пошел в поселок. Здесь сразу он понял

все. Дорога текла, как расплавленная лава: женщины с ручными тележками, штабные машины, автобусы, набитые бельгийцами, монахини, артиллеристы, таможенники, дети, потерявшие родителей, обозники, солдаты без офицеров и офицеры без солдат, подводы с мебелью, танки, стада — все перепуталось, все неслось к югу. На обочинах валялись опрокинутые машины, кресла, ящики. Паника родилась внезапно, и никакие приказы уже не могли остановить этого потока. Никто не знал, что именно случилось; говорили, что прорвались в тыл немецкие танки, что саперы не успели взорвать мосты, что генералы подкуплены; говорили о капитуляции двух армий, о горящих городах, о силе немцев; слухи росли, как росли толпы убегающих. Шедшие с юга войска столкнулись с этой массой обезумевших людей, с перепуганными префектами, с бледными денщиками, которые разыскивали своих генералов, с женщинами, которые истерически метались среди телег, машин, тягачей, в облаках едкой горячей пыли; и солдаты, которые шли к переднему краю, повернули назад, еще увеличив панический поток.

Кто-то закричал, что убегать бесполезно: немцы — впереди. Но люди только ускорили шаг. Лео отдался общему движению. Удар был слишком внезапным, еще утром он видел как бы перед собой Леонтину, розовую и теплую; она давала грудь сыну. Война была за тридевять земель, в Норвегии... Что же случилось? Откуда немцы?.. Ведь Франция сильнее,— тупо сказал он себе и в злобе засмеялся: — как нас обманывали!.. Ему хотелось порвать газету, ударить Нивеля, вбежать в палату и долго, скверно ругаться.

Ночью, почувствовав невыносимую усталость, он свалился неподалеку от дороги. Когда он проснулся, светало. Он поглядел на дорогу, забитую машинами, и сразу вспомнил все. Какая пакость!.. Страха больше не было, только злоба. Когда он обругал двух обозников, истошно вопивших: «Немцы!», ему стало легче. Он помылся. Среди овса пела пичуга. И в ответ Лео запел; таков был этот человек, трудно было его обескуражить; он пел свою излюбленную песенку:

Когда весна вернется,
Фортуна улыбнется...

К вечеру ему удалось найти несколько человек из своей роты. Лейтенант Гарше собрал полсотни солдат из разных частей. Они переночевали в пустой деревне. На следующий день их влили в запасной полк; приказали окопаться. Кое-где начинали оказывать сопротивление врагу. Лео усердно работал лопатой, лежал на брюхе — показались немецкие бомбардировщики, снова взялся за лопату — хоронили товарищей, убитых бомбой. Командир полка уехал к генералу и не вернулся. Лейтенант Гарше напрасно пытался связаться со штабом дивизии. По шоссе прошло несколько немецких танков. Солдаты зашумели:

— Что мы здесь делаем?

— Это ловушка!..

— Чорт бы их всех побрал! Генерал уж, наверно, в Париже...

Они двинулись на юг, стараясь держаться подальше от дороги. У реки они залегли; мостов не было; Гарше сказал, что здесь легко задержать неприятеля. Под утро показались немецкие разведчики. Лео уложил одного, стрелял он неплохо. Он обрадовался, как ребенок: кошмар кончился, немцев можно остановить!.. Утро прошло спокойно, солдаты приободрились, позавтракали. А в полдень подъехал майор, не вылезая из машины, он выслушал Гарше, потом сказал:

— Поздравляю. Доложу генералу. Обстановка тяжелая, приказ — оставить позиции, закрепиться на Уазе.

Так продолжалось месяц. Лео теперь знал правила этой ужасной игры: они отходили от речки до речки, от холма до холма, лежали под немецкими бомбами, пробирались в темноте по проселкам, по тропинкам, и всегда немцы оказывались впереди; офицеры напрасно запрашивали штабы: иногда приносили пакет — приказ о новом отходе; иногда кто-то в отчаянии кричал обозникам: «Стойте, канальи»; полковник сказал капитану: «Все погибло!» и переоделся в гражданский костюм; священник уверял, что немецкие танки — это кара за Народный фронт; и ничего нельзя было поделать — они отступали, отступали, каждый день отступали; с ними убегали жители; и месяц Лео видел ту же дорогу позора

с брошенными орудиями, противогазами, соломенными шляпами, креслами.

Это уж не люди бежали, не полк, не город, бежала Франция, потерявшая рассудок, еще живая, разъяренная и перепуганная, готовая умереть, но спасающая сундук, бальное платье, теннисную ракетку. Нельзя было узнать страну: разоренная, брошенная, горевшая, она походила на огромную пустыню, которой не пересечь и за сорок лет.

Вот и Сена позади!.. Они повернули на юго-запад. И снова лопаты, снова бомбы, снова отступление. Страшнее развалин были мирные дома, похожие на дом в Бидаре, стены, обвитые пахучими глициниями, сады с розами и с левкоем, раскрытые окна, выдававшие простую тайну последних минут — опрокинутую чашку перед детским стульчиком, книгу, упавшую на пол, кисточку для бритья с засохшим мылом.

— Это моя деревня,— сказал солдат, который шел рядом с Лео, и слишком громко рассмеялся. Товарищи оглянулись, никто не произнес ни слова. Деревня была пустая, только во дворах раздирающе мычали недоенные коровы.

Солдаты больше не рассуждали, даже не ругались; изредка они обменивались короткими фразами: «немецкие танки», «Маре не дойдет до деревни», «дай закурить»...

Среди развалин Лео увидел синюю указку: «Орлеан». Он остановился здесь с Леонтиной, когда они возвращались в Париж из Бидара. Леонтину поразили старые дома, она сказала: «Как странно, жили люди, давно все о них забыли, а дома стоят, и красивые, красивее новых...» Потом они сидели в кафе на берегу Луары, пили бледное душистое вино, и Леонтина говорила: «Я так хочу тебя, как в первый вечер!..»

Лео зажал нос — смердило; день был знойным; кругом лежали сотни трупов, вперемежку — женщины, дети, солдаты, лошади, толстый священник и рядом яркобелая собачонка, как из плюша...

На стене Лео увидел надписи: «Жан, я была здесь 6/VI утром. Роже жив!», «Лассе с семьей уехали в Ангулем», «Того, кто увидит капитана Деломбара, прошу передать, что я с ребенком была здесь в среду», «Пьер, я не могу ждать»... Лео почувствовал спазму в горле. Наверно,

и Леонтина была здесь, только не успела написать: «Лео, я еще жива и Робер жив...» Сейчас она с сыном лежит под обломками этого дома. А он зажимает нос — воняет...

— Воняет,— сказал товарищ,— сил нет! Идем скорей!..

Лео покорно пошел; он только внимательно поглядел на лицо женщины, которая лежала возле стены. Наверно, и она расписалась...

Во всех городах и селах, через которые он проходил, он жадно смотрел на стены, на белые, серые, охровые стены церквей, мэрий, школ. Были — Жанна, Луиза, Дениз, Люси, Тереза, Мари, Франсуаз — Леонтины не было...

Он сам смеялся над собой: как можно найти человека среди миллионов! И все же искал.

3

В тот страшный день, когда Париж, обезумев, уходил из Парижа, к Леонтине пришла Мадо. Закусив губу, Леонтина глядела большими невидящими глазами. События последних недель ее сломили. Раз десять в день она брала газету, пытаясь понять, что в ней написано, бежала к приемнику, и ее плач заглушал голос диктора, который рассказывал о боях в Норвегии. Она не знала, кого спросить — что случилось? Где Франция? Где армия? Где Лео? Перед ней стояла ужасная картина: пустое огромное поле и посередине лежит Лео, на лице у него кровь, яркая и густая, как краска. Она прижимала к себе ребенка и часами повторяла: «Роб!.. Роб!..»

В Мадо было спокойствие большого, непоправимого несчастья. Она не удивлялась, не спрашивала; из всех людей, с которыми ей приходилось встречаться, она одна ни на что не надеялась. Может быть, к катастрофе ее подготовили страшные слова Сергея?.. Лансье все еще метался в лихорадке. Когда Морило сказал ему, что немцы в Руане, он вытащил чемодан и стал судорожно пихать туда ненужные безделушки. Час спустя прибежал Самба: «Поздравляю! Россия объявила войну Италии»... Лансье поверил, обнимал Мадо: «Я всегда говорил, что не нужно ссориться с русскими». Бросив раскрытый чемодан, он

кинулся к радио, час бился, стараясь поймать Москву, и, наконец, услышал передачу на английском языке; Москва рассказывала о сельскохозяйственной выставке. Лансье кричал: «Опять нас обманывают!.. Едем!..»

Мадо должна была быть рассудительной, спокойной, думать за всю семью. Две недели назад с матерью случился новый припадок. Профессора сказали: «Главное — абсолютный покой». Конечно, в мирное время легко скрыть от больного денежные затруднения или семейные неприятности, но где теперь найти спокойствие?.. Город обезумел. Кажется, еще минута — и бронзовые статуи спрыгнут с цоколей, понесутся за Луару... И все же Мадо успокаивала мать, говорила, что происходит планомерная эвакуация столицы, что немцев остановят, как в четырнадцатом, неподалеку от Парижа, что есть вести от Луи — он жив и в тылу. Лансье не мог слышать этих рассказов, он хватался за голову, убегал — его душили слезы.

Когда отпали последние сомнения и Лансье решил уезжать, Мадо отправилась за Леонтиной. Она тихо сказала:

— Вы знаете, что случилось?

Леонтина вскрикнула:

— Лео?

— Нет, нет, успокойтесь! С вашим мужем ничего не случилось. Вы можете верить, я вам даю слово. Ничего!.. Но вы должны сейчас же одеться. Я едва добралась до вас — все улицы забиты машинами. Маме очень плохо, но ничего нельзя сделать... Завтра, может быть, будет слишком поздно. Немцы перешли Сену...

Леонтина вбила себе в голову, что Лео обязательно приедет за нею. Как может она уехать? Он придет и увидит брошенную квартиру... Она никогда его не найдет, ведь больше нет ни армии, ни Франции. Если он жив, он приедет за нею. А если правда, и он лежит посредине поля?.. Что же, пусть тогда придут немцы, пусть убьют ее и мальчика... Она должна ждать Лео в Париже.

Она понимала, что никто не согласится с ее доводами, и солгала Мадо — спокойно, очень спокойно объяснила, что через два часа придет доктор к ребенку — мальчик болен, а потом она уедет в Бордо, ее берут соседи — профессор Соже.

Мадо уговаривала, настаивала — Леонтина не может рисковать жизнью сына. Но Леонтина, обычно слабохарактерная и послушная, не сдавалась. Была такая сила упорства в ее больших блестящих глазах, что Мадо замолкла, порывисто поцеловала Леонтину и ушла.

Весь день Леонтина сидела не двигаясь и ждала Лео. Улица не замолкала — это уезжал, уходил, убегал Париж; старались обогнать друг друга грузовики с детьми в кузовах, велосипедисты, люди с ручными тележками, с тачками. Трудно сказать, что лучше передавало отчаяние — гудки санитарных машин или детский плач: «Мама!..» Ночью не было видно ни зги, люди боялись выдать себя крохотной спичкой; никогда этот город не знал такой тьмы... И ни на минуту не прекращались гудки, топот, крики. А Леонтина прислушивалась к мертвой лестнице, по которой никто не подымался,— из дома все уехали, она ждала Лео.

На следующее утро она вдруг поняла, что Лео не придет; она схватила ребенка и кинулась на улицу. Она бежала по длинному бульвару, к Орлеанской заставе, боялась, что не успеет уйти от немцев. Теперь она думала, что стоит добраться до Луары, и она спасена — Лео там... Вскоре силы ее оставили; она села на выброшенный из дома стул. Машин не было: все, у кого имелся автомобиль, уже уехали из города. Шли люди, некоторые несли на плечах детей. Леонтина увидала маленькую машину, которая пробиралась сквозь толпу, и махнула рукой. У руля сидел человек в кепке. Машина остановилась. Человек в кепке не спросил, что ей нужно, все было понятно без слов. Сзади сидели две женщины и девочка, они что-то кричали. Человек в кепке молча вынул большой чемодан, который стоял рядом с ним, и сказал Леонтине:

— Садитесь.

Они проехали сорок километров, приходилось ползти — машина за машиной; потом приключилась авария, простояли до утра. Женщины ухаживали за Робом. Леонтина плохо понимала, о чем они говорят, но, жалко улыбаясь, говорила: «Спасибо! Тысячу раз спасибо!..» А человек в кепке молчал.

На третий день они увидели широкую Луару; моста не было; они поехали по правому берегу. Вскоре пришлось

остановиться: скопилось очень много машин, говорили, что два грузовика, столкнувшись, загородили путь. Вдруг небо загудело. Человек в кепке крикнул: «Бегите и ложитесь!» Леонтина добежала до поля с картофелем; легла. Больше всего она боялась, как бы не наступили на ребенка. Взрыв был страшный; Леонтину засыпало землей. Она думала, что это — смерть, сначала даже обрадовалась — не нужно больше итти, а потом испугалась: ведь могло убить!.. Роб кричал, и она успокоилась. Но напрасно она искала человека в кепке и двух женщин, их не было — убило их или куда-нибудь убежали?..

Леонтина пролежала несколько часов, потом пошла. Поздно вечером она постучалась в дом; попросила пустить ее на ночь. Она протягивала деньги. Хозяин сказал «не нужно», а жена его поспешно взяла бумажку и стала приговаривать: «Вот ведь какая беда!..» Она накормила Леонтину, потом повела ее наверх: «Отдохните»... Леонтина не спала две ночи; она легла на высокую крестьянскую кровать и сразу уснула.

Проснулась она от грохота, ей показалось, что кто-то ломает дверь. Вскочив, она увидела огонь. Она прижала к себе ребенка и вырвалась из дома. От дыма текли слезы; она ничего не соображала: отбежав в сторону, она села на камень. Огонь расползался по небу, черному и рыжему. Она расстегнула блузку, хотела кормить Роба. И вдруг закричала, закричала так, что, кажется, слышно было за десять лье. Но никто не услышал: люди пытались спасти добро из горевших домов.

Когда рассвело, к Леонтине подошел крестьянин, который вечером приютил ее; он поглядел и отошел, не сказав ни слова. Прибежали женщины, плакали, говорили: «Почему вы ему голову не завернули?..»

Леонтина судорожно прижимала мертвого ребенка к груди. Ее губы шевелились, а глаза были широко раскрыты, казалось, что она не моргает. Она баюкала Роба, беззвучно повторяя ту колыбельную, которую когда-то пела ее мать:

Спи, младенчик,
Спи, мой птенчик,
Спи, ребенок,
Спи, цыпленок!..

В полдень пришли четыре немца; поглядев на Леонтину, они отвернулись. Она просидела на том же камне день, вечер, ночь. На следующее утро возле нее остановился немецкий солдат; на рукаве у него была повязка Красного Креста. Он хотел взять ребенка. Она не давала; билась. Тогда он подозвал своих товарищей; один из них говорил по-французски; он сказал:

— Мадам, его нужно похоронить.

Они привели священника; это был немец в военной форме; он вынул из ранца кружевную накидку и молитвенник, что-то забормотал. Солдатам было жарко, и могилу они вырыли крохотную, как будто сажали цветок. Леонтину держали — она все время порывалась отобрать тело сына. Немец, говоривший по-французски, пытался ее успокоить:

— Не нужно огорчаться, мадам, вы молодая, у вас еще будет много детей.

Офицер долго изучал ее документы, наконец, сказал:

— Шмидт, отведите ее на сборный пункт. Это — парижанка...

Леонтину отвели в маленький лесок; там уже было несколько сот человек — женщины с детьми, старики. Леонтина не плакала; она была безучастна ко всему; даже крики маленьких детей не выводили ее из оцепенения. Старая женщина дала ей хлеба и шоколада. Леонтина поблагодарила.

Женщин с детьми повезли на грузовиках. Леонтина прошла несколько километров по знойной белой дороге. Ее подсадили на грузовик. В Париже она машинально дошла до дома; дверь в квартиру была раскрыта. Леонтина подумала: я ведь не заперла уходя... В комнатах был беспорядок; видимо, что-то искали в шкафах. Валялись платья, костюмы Лео, галстуки, купальный костюм. Увидев детские пеленки, Леонтина, наконец-то, заплакала. А под окном до поздней ночи немцы пели:

Велери-валера!
Тирари-тарара!

4

С ужасом вспоминала Мадо вечер возле Тура. Это был один из тех светлых вечеров раннего лета, когда цветет жасмин и земля, еще не обожженная солнцем июля, доверчиво зелена. Кругом были виноградники, аспид крыш, петушок на колокольне. Лансье стоял у дороги, рядом с цветущим кустом черемухи. На притоптанной траве лежала Марселина; лицо ее было искажено болью, она чувствовала — кто-то придавил ей грудь камнем. Хоронят живой,— подумала она.

Горючего больше не было; они стояли уже три часа. Сержант, проехавший на мотоциклетке, сказал, что немцы в двадцати километрах. Лансье повторял: «Они возле Тура! Ты слышишь, Мадо, возле Тура!..» По его лицу текли слезы. А Мадо глядела на мать и не знала, чем ей помочь.

Их спас Берти. Лансье счел его появление чудом; но Берти признался Мадо, что все время следовал за ними и, когда их машина застряла, раздобыл в Туре поместительный автомобиль; госпожа Лансье сможет совершить путешествие с наименьшими для нее трудностями; горючего хватит до Бордо. Все это Берти рассказал впоследствии. Тогда он только поспешил успокоить Лансье: передовые части немцев в полутораста километрах, и госпожа Лансье сможет переночевать спокойно в Туре; он добавил, что с трудом достал комнату, которую, разумеется, предоставит больной.

— Вы спасли Марселину,— сказал растроганный Лансье.— Второй раз вы меня выручаете. Но деньги — это не то, а в такие минуты действительно распознаешь друзей...

Зачем виноградники? — думала Мадо. Вот замок. Поэты писали стихи, сторож показывал туристам залы с резными потолками, в саду били фонтаны... Хрупкий, выдуманный мир, он распался! Отдают лимузин за бачок с горючим. Люди бросают все — лавки, дома, картины. А поэт ругается из-за стакана воды. Все как будто разделись, Франция — голая. И неважно, что был Пуссэн, что в этом парке глухой Ронсар прислушивался к звучанию

стихов. Все это побрякушки. Люди живы другим — хлебом, может быть еще кровью...

Благодаря Берти они добрались благополучно до Бордо. Здесь Лансье несколько оживился: вдруг немцев остановят?.. Успокаивали его знакомые лица,— на каждом шагу он встречал парижских друзей; хотя все говорили «выхода нет», присутствие людей, связанных с годами благополучия, казалось Лансье порукой, что Франция не погибла. Он и сам говорил, что положение безнадежное, но эти горькие слова он произносил с едва различимой улыбкой, в душе надеясь, что он, как это часто бывало, горячится и преувеличивает. Марселина чувствовала себя лучше. Кто-то рассказал, будто Луи жив и здоров — его видали возле швейцарской границы. Лансье стал подумывать о Бидаре — туда немцы уж никак не доберутся. Леонтина, наверно, там, может быть, и Лео приедет... А горючее достанет Берти.

Бордо не походил на себя, его коренные жители терялись среди шумливых, растерянных и все же самонадеянных парижан; никто еще не чувствовал себя беженцем; люди жили, как на палубе парохода, спали в кафе, толпились возле редакций газет, разыскивая родных, ожидая сводку, передавая друг другу всевозможные слухи — о вмешательстве Америки, о правительственном кризисе, о мирных переговорах.

Лансье рассуждал:

— Придется пойти на мир вничью — положение действительно безвыходное...

Два дня спустя паника охватила и Бордо. Город бомбили; было много жертв. Люди увидели носилки, трупы, кровь на асфальте. Нахлынули толпы солдат, давно не бритых, грязных, голодных. Солдаты рассказывали, что немцы несутся как наперегонки; нет противотанковых орудий; связь потеряна. Наиболее впечатлительные уезжали к испанской границе. Нехватало хлеба. Люди открыто слушали немецкие радиопередачи. Штуттгарт заверял, что Бордо доживает последние часы.

Лансье говорил:

— Я не могу понять, Мадо, что случилось?.. Я был у Вердена, пусть молодые говорят, что им вздумается, я-то знаю, что французы не трусы. А теперь немцы едут,

как будто это пикник. Вчера они снова продвинулись на сто километров. Где же наша противотанковая артиллерия? Нет, ты мне скажи, что происходит?

— Ты меня спрашиваешь? Но я ведь даже не знаю, как стреляют... Все было непрочным. Карточный домик. А мы были уверены, что мыльные пузыри навсегда... Уверены, верить не верили — ни во что...

Мадо подумала: я повторяю слова Сергея. Я так редко о нем вспоминаю, а он за меня говорит... Глупо — во что я могла верить, взбалмошная девчонка?.. Я только теперь вижу жизнь...

Лансье кричал:

— Нет, милая, Франция не мыльный пузырь. Осторожно! Дело в другом — слишком много политики. Говорят, что виноваты генералы — не знаю, а вот политики во всяком случае виноваты. Нужны были самолеты, а они устраивали прения, кризисы, забастовки... Если Петэн согласится стать во главе Франции, это будет спасением. Он остановит немцев — это не политик, а старый солдат.

Семья Лансье приютилась в маленькой гостинице возле порта; прежде здесь останавливались мелкие колониальные чиновники, матросы, солдаты, пропивавшие свои сбережения в окрестных кабачках и домах терпимости. Все говорило о попойках, драках — поломанное зеркало, замызганный столик, пятна на стенах. Обстановка вполне соответствовала душевному состоянию Мориса Лансье; он чувствовал себя одиноким и нищим — у него украли Францию... Еще недавно вся его жизнь казалась цельной, гармоничной: юность в Латинском квартале, Марселина, Верден, работа, семья, коллекции «Корбей»... Теперь, вспоминая прошлое, он понимал его ничтожность: сон, пусть приятный, но только сон... Столько было друзей, а теперь не с кем поговорить о самом главном. Все заняты поисками ночлега, еды, бензина, нервничают, ругаются. Берти, тот спокоен; но с ним не поговоришь — он, как всегда, чертовски логичен, а бывают времена, когда логика нестерпима...

И вот в эту отвратительную комнату вошел Лео. Они молча обнялись — у обоих не было слов. Лео был в штатском, худой, измученный; но загар его молодил; Лансье подумал — удивительно, он неплохо выглядит...

— Лео, откуда ты?..
— Из Бидара. Где Леонтина?
— Она поехала с Соже.
— Я видел Соже, они ничего не знают...
— Я думаю, что она осталась в Париже,— сказала Мадо.
Лансье хотел утешить Лео:
— Если осталась, то хорошо сделала. Ты не можешь себе представить, что это была за дорога!..
— Я видел...
— Как ты нас нашел?
— Я был убежден, что ты в Бордо. Где же тебе еще быть, ведь здесь весь Париж. Вчера искал тебя целый день, все тебя видели — и никто не знает, где ты. Хорошо, что мне пришло в голову спросить Берти. О Луи ты что-нибудь знаешь?
— Говорят, он на швейцарской границе, это самое спокойное место, сможет перебраться в Женеву, там ведь наши друзья — старики Сержан. Скажи, Лео, ты понимаешь, что случилось?
— Нет, не понимаю. Или боюсь, что слишком хорошо понимаю. Это издевательство! Мы хотели драться. Даже самые трусливые... Это ведь сомнительное удовольствие — все время удирать, да еще под бомбежкой... Но я не знаю, что это за командование? Никто ничего не знает. Генералы сами лезут в плен. Офицеры переодеваются в штатское и говорят — все равно дело пропащее... Сколько раз мы задерживали немцев — и приказ «отходите». Ничего не было подготовлено — ни противотанковых орудий, ни авиации. Ты мне часто говорил, что я — настоящий француз. Должно быть, это правда, потому что сейчас мне хочется повеситься. Эти господа играли и переиграли. Если устроят революцию, я первый пойду. Да лучше умереть, чем видеть такое!..
Лансье в душе соглашался с Лео, но громкий голос, резкость слов ему не нравились.
— Революция во всяком случае не выход, страна и так разорена, новых потрясений никто не выдержит. Ты, что же, кончил воевать?
— Ничего подобного. Генералы, те кончили... Я этот костюм надел, чтобы тебя не напугать — все изодралось...

Части моей нет. Я сейчас был у коменданта, просил направить меня в другой полк. А там говорят, что пора закрывать лавочку... Негодяи! Где Леонтина? Сын? Ничего не осталось!.. Продулись вправ!

Вечером они вместе пообедали в ресторане. На минуту обоим показалось, что они в Париже, нет ни немцев, ни разгрома — белые скатерти, веселые лица девушек, услужливые официанты... Они молча курили. Вдруг все кругом затихло — выступал по радио Петэн. У него был надтреснутый старческий голос. Он сказал, что дальнейшее сопротивление бесполезно, он обратился к противнику с просьбой о перемирии.

В глазах Лансье показались слезы.

— Ты слышал, Лео?.. Это настоящий француз! И не политик — солдат!..

— Позор! — закричал Лео.— Отвратительно!.. Я тебе говорил, что мой брат — фанатик, я не понимал, как они могут так жить... А сейчас я жалею, что я не фанатик, понимаешь? Я вышел бы на улицу, закричал бы товарищам... Мы с ними вместе шлялись по этим проклятым полям... Я закричал бы: огонь! Огонь по немцам, огонь по этому старикашке!..

Лансье вспылил: как смеет Лео оскорблять героя Вердена? Не помня себя, тонким голосом он завопил:

— Ты так говоришь, потому что ты не француз! Твой отец, твой дед не жили здесь. Они не строили этих городов, не работали на этих полях. Тебе все равно, что станет с Францией, тебе нужны идеи, политика. А маршалу нужна Франция. Он хочет спасти французские города, французских детей. Ты меня понимаешь или ты этого не можешь понять — французских!..

Лео швырнул салфетку и молча вышел.

Опомнившись, Лансье обругал себя: как мог он обидеть Лео? Конечно, Петэн — единственный выход. Но нельзя из-за политики ссориться с лучшим другом! А Лео, конечно, настоящий француз, просто он нервничает наверно, был с коммунистами, они его так настроили... Поздно вечером, с помощью Берти, Лансье разыскал Лео.

— Я был неправ, погорячился. Мы все изнервничались, это вполне естественно. Ко всему Марселина...

А дружба — это дружба. Обними меня, покажи, что ты не сердишься...

Лео улыбнулся. Но показалось это Лансье или Лео вправду не мог забыть обиду, только они чувствовали себя стесненными, подбирали слова, подолгу молчали.

Два дня спустя Лео сказал:

— Еду в Париж, наверно Леонтина там.

Лансье подумал: рискованно, ведь немцы сразу увидят, что Лео еврей. Но как ему сказать? Он может снова разобидеться...

— Ты не считаешь, что это преждевременно?

— Сотни тысяч возвращаются. Конечно, я ни за что не поехал бы. Но Леонтина...

— Нужно все взвесить. Ты сам знаешь, какие у немцев предрассудки...

— Может быть, не только у немцев,— жестко ответил Лео.— Но в Париже Леонтина, сын. Это все, что у меня осталось...

После отъезда Лео Лансье снова почувствовал себя одиноким. Берти подыскал для Лансье две пристойных комнаты; он был заботлив, но молчалив и оживлялся только, когда видел Мадо.

На мутной заре дождливого дня скончалась Марселина. Умирала она мучительно, сознавала все. В какие часы она оставляет близких!.. Луи пропал, может быть убит; Мадо давно не живет; а Морис превратился в старика. Франция лежит и умирает, как она... И ни причастие, ни глаза Мадо, полные любви, не могли смягчить ее страданий.

— Если Луи вернется, скажи ему...

Она не смогла договорить; это были ее последние слова.

Трудно представить более мрачные похороны, хотя Берти сделал все, что мог. Ветер подымал пыль, слепил. Впереди шел Лансье. Вдруг катафалк остановился — дорогу пересекли немецкие танки; немцы не хотели пропустить процессию. Больше часа простоял катафалк у перекрестка. Крутилась пыль. Немцы пели. А Лансье громко плакал, он походил на старую женщину.

Когда Мадо дали лопаточку, чтобы она кинула горсть земли на гроб, она почувствовала, что хоронит все —

рвалась последняя нить, которая привязывала ее к жизни.

Берти стоял в стороне; потом он отвез Лансье и Мадо. Лансье всхлипывал:

— Я был здесь с Марселиной во время свадебного путешествия и потом еще два раза. Она любила Бордо, говорила, что здесь все пахнет ванилью и бананами... Почему меня не убила немецкая бомба...

5

В последние свои дни Марселина неустанно вспоминала сына; Луи был в Бордо, он не знал, что рядом умирает мать. Мадо он встретил случайно на почте. Они сразу поехали на кладбище.

— Мама хотела что-то передать тебе, но не успела...

Луи обожал мать: шумливый, всегда чем-то поглощенный, честолюбивый, он любил в матери ее отрешенность, наивность, мягкость. Он долго стоял возле свеженасыпанного холмика с венком из завядших роз, потом бережно завернул в платок горсть земли:

— Это не сентиментальность... Потом ты поймешь...

Лансье обиделся — почему его не взяли на кладбище, но быстро отошел, слишком велика была радость: Луи жив, даже не в плену. Он относился к сыну, как к ребенку, говорил: «разве такие могут воевать?..» И теперь он слушал его со снисходительной улыбкой — что он понимает?.. Счастье, что мальчик выпутался!..

Вечером он сказал:

— Вот и Луи с нами. Только бедной мамы нет... Мне очень тяжело, но нужно подумать о будущем...

Он не искал у детей совета, просто вслух разговаривал сам с собой.

— Альпер, наверно, уже в Париже, но трудно рассчитывать, что ему удастся спасти «Рош-энэ», ведь для немцев он не француз... Конечно, мне лично Париж не улыбается, но нужно жить. Если я не вернусь, немцы могут отобрать и завод и «Корбей»...

Неожиданно Луи его прервал:

— Ты, что же, собираешься работать на немцев?

Лансье обиделся:

— Не понимаю, что за тон?.. Я слишком потрясен смертью мамы, чтобы заниматься делами. Я сейчас впервые об этом подумал... И, может быть, именно потому, что ты нашелся. Я не имею права бросить Мадо и тебя без средств.

— Мне ничего не нужно,— сказала Мадо.— И я не хочу в Париж...

А Луи повысил голос:

— Обо мне можешь не заботиться. Я на военной службе...

— Теперь демобилизация.

— Я не собираюсь подчиняться предателю.

— О ком ты так говоришь?

— О Петэне.

— Луи!

— Что?..

— Ты слишком молод, чтобы судить героя Вердена. И потом ты — младший лейтенант, как ты смеешь так отзываться о маршале? Где же дисциплина, о которой ты только что говорил?

— Я говорил о честных командирах. А Петэн — изменник. Я, маленький лейтенантик, вправе сорвать с него погоны! Я был на фронте. Мы могли бы еще продержаться... Да и потом... Можно было уйти в Алжир, в Конго, куда угодно! Все лучше, чем этот позор!

— Ты так рассуждаешь потому, что тебе двадцать лет. Счастье, что судьбу страны решают не молокососы! Разве ты можешь понять, что чувствует мать?

— Зависит, какая... У подлецов тоже матери... А будь жива мама, она поняла бы, почему я так говорю...

— Ты хочешь сказать, что я думаю иначе, чем мама? Ты, может быть, считаешь меня бесчестным? — Лансье уже не помнил, что говорит.— Это легко бряцать оружием, когда подписано перемирие. Ты сам говорил, что не сделал ни одного боевого вылета. Кто тебе дал право судить маршала? Он был в Вердене. Я тоже был в Вердене, я знаю, что это значит... А ты, мальчишка, бросаешь камень...

Он замолк, вытер потное лицо. Луи долго молчал, потом ответил:

— Зачем нужен был Верден, если четверть века спустя тот же Петэн разбазаривает Францию? Я не хотел спорить, ты меня сам заставляешь... Ты заботишься о том, оставишь ли мне в наследство «Рош-энэ». А скажи, ты подумал: что вы нам оставите — Францию или немецкий шантан? Ни о чем ты не думал. И нас растили такими — недумающими... Теперь придется все начинать сначала...

Покойная Марселина часто вспоминала пословицу: беда приводит своего брата. Несколько дней спустя Мадо сказала отцу:

— Вчера я проводила Луи.

— То есть, как «проводила»? Куда он мог уехать?

— Не знаю. Наверно, воевать...

Лансье сел, закрыл руками лицо, так просидел он до ночи. Он проклинал сына и восхищался им; но больше, чем о сыне, он думал о себе, жалел себя — семья расползлась, разлетелась, как Франция... Неизвестно, зачем теперь жить, заниматься скучными делами, пробираться в Париж, по которому ходят грубые, заносчивые чужестранцы...

Мадо вспоминала, как простилась с братом, он торопился, повторял «уходи». Она его обняла.

— Мадо, ты меня не осуждаешь?

— Я тебе завидую.

— Почему? Ты тоже можешь...

— Нет, не могу. Я, Луи, ни во что не верю. Понимаешь? Пустая. Наверно, такой родилась. А тебя люблю. Хочу, чтобы ты был счастлив. Я знаю, нужно сказать иначе... Хочу, чтобы вы победили...

Было это вечером на темной улице, и Луи не видел, как Мадо плакала.

6

Все последние месяцы Сергей много разъезжал — был в Ярославле, в Ростове, в Горьком. Он погрузился в свою стихию; подтрунивал над собой, рассказывая Нине Георгиевне: «Когда я работаю, для меня ничего не существует, мне кажется, что от одного мостика зависит судьба человечества...»

Однако это было неправдой: угрюмо, тоскливо следил он за событиями на Западе. Каждое утро поспешно

хватал газету — остановили ли немцев?.. И вот короткая телеграмма на четвертой странице: «Германские войска заняли Париж».

Мадо!.. Его сердце сжалось. Он не часто вспоминал Мадо — дни были заполнены чертежами, планами, цифрами. Он знал теперь, что прошлое не повторится; упрекал себя — почему не подавил сердечного влечения? Он повинен в слезах Мадо. А может быть, она его забыла? Ведь говорила она «это — вне жизни»... И все-таки он виноват... Только очень редко, среди ночи, перед ним вставала Мадо; тогда он признавался себе, что никогда больше не сможет так любить; ей он отдал самое большое — жар сердца, мечту. А утром он не помнил про те признания — жизнь брала свое.

Сейчас как будто опустился занавес. И от всех противоречивых чувств, от душевной сложности и разлада осталось одно: Мадо очень плохо. Ей — как Парижу...

Немцы в Париже!.. Он старался понять совершившееся и не мог. Сколько раз он говорил и Мадо и матери, что Франция, которой правят мелкие бесчестные люди, раздираемая внутренней борьбой, беспечная, беззащитная, рухнет, как только двинутся на нее хорошо вооруженные армии Гитлера. Все же не представлял он себе такой развязки. Он ждал борьбы, может быть, короткой, но отчаянной, героизма, подвигов. Его потрясло, что Париж пал без единого выстрела. Он ругался, как будто перед ним тот самый генерал, который посмел объявить город четырех революций «открытым». Негодяи, впустили, как в гостиницу!..

Он подумал о Лежане, о молодом рабочем, с которым говорил на заводе «Рош-энэ», о людях Бильянкура, Сюренн, Иври. Такие не сдались бы... Но их арестовывали, сажали в лагеря, травили. Низкие души!.. Они хотели Францию без коммунистов, Францию без народа. И получили — на площади Бастилии немцы.

Потом он задумался над тем, что было его жизнью: над Москвой, над проектами, над матерью, над туманной улыбкой Вали (он с ней часто встречался, видимо, чем-то она его привлекала, вот и сейчас вспомнил), над этой землей, деревьями, цветами. Еще все здесь спокойно, еще девушки гадают по ромашке, как гадала Мадо, еще

он думает — позвонит ли ему сегодня Валя, еще матери тихо нянчат детей, дети учат спряжения, еще строят дома, обсуждают, где поставить перегородку, чем обить диван, еще мир, голубой, с легкими перистыми облаками, как июньский день, стоит над этой землей. А там... Как быстро они справились с Францией!.. Жгут, грабят, убивают... Сергей вспомнил рассказ Анны. Такие кинутся и на нас... Стоит им переварить Францию, и через два-три года обязательно кинутся...

За обедом Сергей поспорил с Бельчевым. Развернув газету, Бельчев удовлетворенно ухмыльнулся, дожевал кусок жесткой говядины и сказал:

— Здорово они французов побили!..

Сергей рассердился. Бельчев может не любить Парижа, это его дело, он там не был, да и читает он мало. Работник хороший, но человек ограниченный. И все же!.. Париж, даже в прошлом, это — том истории, и той истории, которая нам дорога! Потом победа фашистов — угроза, да еще такая легкая победа. Вскружится голова... Это уж не спор о том, хорош Париж или нет, это — наше... Всякий понимает. Но Бельчев не хотел понять:

— Чего ты волнуешься? Побили их артистически...

Сергея возмутило благодушие, с которым были сказаны эти слова. А благодушие являлось отличительной чертой Бельчева, причем он считал необходимым ежедневно, даже ежечасно высказывать свое удовлетворение всем: если ему говорили «ну и холодище», он отвечал: «морозец, это полезно, сырости нет», но и в дождливый, гнилой день он радовался: «нехолодно»... При этом он ухмылялся и проводил ладонью по щекам или по крупному мясистому носу. Сегодня он был верен себе — так же ухмылялся, так же говорил: «Волноваться-то почему?..»

Сергей настаивал. Тогда Бельчев перешел в наступление: обвинил Сергея в «отсутствии диалектики» и в «нюнях». Утомившись и выпив мутный сироп компота, он сказал:

— А ну их!.. Не верю я, что там есть сознательные люди...

— Забыл про коммунистов? Про рабочих забыл, про народ?.. Какой же ты большевик?..

— У нас своих дел много...

В разговор неожиданно вмешался Павел Сергеевич Лукутин, никогда не принимавший участия в спорах. Его считали полезным работником, но человеком политически неразвитым. Он был застенчив, замкнут, так что люди, проработавшие с ним ряд лет, ничего не знали об его частной жизни. Было ему сорок лет, но все в нем казалось старомодным — и манеры, и выражения. Когда Бельчев заявил « у нас своих дел много», Павел Сергеевич, который, казалось, не слушал спора, сказал:

— Простите, что я вмешиваюсь, но должен вам возразить. Нашим делом мы все заняты, а рассуждения ваши мне кажутся ошибочными. Я не думал, что у нас могут быть... Я не нахожу иного слова, нежели изоляционисты. Возьмите этот ножик, обыкновенный ножик, наш, как теперь говорят, отечественного производства. Я осмелюсь сказать, что производство такого ножика — дело общечеловеческого значения. Одни восхищаются, потому что от нас ждут спасения, а другие нас ненавидят — за то, что мы изготовляем столовые ножики, да не только ножики, за то, что мы существуем. Это потому, что невозможно отделить нашу судьбу от судьбы всего человечества. Если мы победим, все победят. Не знаю, сумел ли я вам высказать, что хотел? Но только, когда другой народ ранят, мы это чувствуем — вот здесь...

Он показал на сердце.

Бельчев встал:

— С вами я спорить не стану. Вы лучше почитайте литературу, прежде чем поучать других...

Вечером Сергей пошел к матери, знал, что она огорчена известиями. Нина Георгиевна встретила его словами:

— Сереженька, как же это?..

Она задала тот вопрос, который он утром ставил себе, вопрос, который ставили миллионы и миллионы.

— Сдать Париж!.. А народ, рабочие?..

— Рабочие слишком сильны, чтобы буржуазия решилась всерьез воевать против Гитлера, и рабочие слишком слабы, чтобы захватить власть. А обыватели, средние французы, те ровно ничего не понимают. Пять лет им доказывали, что лучше Гитлер, чем Народный фронт, говорили, что коммунисты отберут садик с душистым горошком, запретят пить аперо, может быть национали-

зируют жен. Ты не можешь себе представить, как легко околпачить среднего француза. Они себя считают скептиками, стреляными воробьями, а на самом деле — дети, сущие дети... Теперь-то они увидят, что такое фашизм. Последнее слово еще не сказано...

— Я знаю, что победит народ, мне только страшно, что он победит, когда там ничего не останется. Я говорю не о Нотрдам или Лувре, я хочу, чтобы уцелели французы с их традициями, с их тонкостью, с их легкостью и с их сложностью. Это нужно всем... А если фашисты там продержатся двадцать лет... Погляди, что стало с Германией... Мне грустно, Сережа.

Сергей молчал, он снова вспомнил Мадо. И, кажется, Нина Георгиевна разгадала его мысли, горячо, неловко, она пожала его руку. Был так необычен этот жест для матери, что Сергей, растроганный, отвернулся.

Они долго сидели молча. Потом Нина Георгиевна вспомнила:

— Сегодня в институте один студент сказал: «Париж они взяли, а знамя Коммуны у нас — в мавзолее...»

— Вот лучший ответ Бельчеву! Ты знаешь, мама, кто спасет Париж? Наши!.. Я в этом убежден. Сегодня я шел по Каляевской, навстречу — красноармейцы, в баню шли, пели... Вот она — надежда!.. На них весь мир сейчас смотрит!..— Он улыбнулся и другим голосом, задумчиво сказал: — Если бы существовал такой чудодейственный телеграф — прямо от сердца к сердцу, я послал бы телеграмму в Париж: как шли красноармейцы по Каляевской и пели...

Шутливо, нежно Нина Георгиевна спросила:

— Девушке?

Он покачал головой.

— Нет... Одному парнишке с «Рош-энэ».

Когда он возвращался ночью к себе, он подумал о Вале и прикрикнул на себя: будет война! Если не теперь, так через несколько лет... Сергей смутно помнил, как играл с мальчишками «в Перекоп»; дитя мирных лет, он не понимал, что люди между двумя бомбежками выдувают тончайшее стекло, строят дома, сажают розы. Если бы ему сказали в ту ночь, что можно поцеловать девушку за час до боя, он не поверил бы.

А наутро голубело небо мира с легкими перистыми облаками. Сергей думал о надвигающейся грозе чаще, чем многие его сверстники — он побывал в другом лагере, и фашисты для него были не только словами газет; но, думая о войне, он не мог ее почувствовать. Торжествуя, он говорил Григорьеву: «Видите — совсем не утопия. Наладим все раньше срока»... Вечером он позвонил Вале.

7

Сентябрь был дождливым, неприветливым; и вот выпал хороший день. Большое очарование в русской осени; кажется, что, предчувствуя долгую зиму, и деревья, еще сохранившие часть убора, и солнце, еще теплое, стараются утешить, приподнять человека — ведь весною снова зазеленеют сады и солнце прорвется сквозь двойные рамы.

Павел Сергеевич Лукутин позвонил жене, что не придет к обеду. Выйдя на улицу и увидев Александровский сад, весь в золоте, розовые, теплые стены Кремля, он доверчиво улыбнулся.

Жизнь Лукутина осложняли не внешние события, а душевные наклонности. Отец его, профессор ботаники, впитал в себя идеи прошлого века, деля свои симпатии между проповедью Толстого о непротивлении злу и мечтами о либеральной конституции. Революции он обрадовался, но вскоре смутился: «Снова кровь!..» Он начал хворать, редко выходил из дому и читал Платона. Когда один приятель спросил его: «Саботируете?», профессор в ответ заревел: «Я, батенька, не саботирую, я возмущаюсь...» Вскоре он умер.

Павел Сергеевич как будто принял на себя продолжение того спора с историей, который затеял отец. «Против течения» написал он подростком в тетрадке. Увлекался он литературой, романтиками, читал в подлиннике Байрона и Ленау, но изучать решил строительство, говоря себе, что народ всегда прав и служить нужно народу. Закончив институт, он работал в Казани, в Березняках, в Кузнецке, а последние годы в Москве. Работой он был удовлетворен, но часто его терзали сомнения в правоте

того дела, которому он отдавал и годы и душу. Его возмущали грубость нравов, бездушие того или иного чиновника. Он возражал себе: это оттого, что мы — пионеры, через двадцать лет люди будут другими... Но, бывало, он в отчаянии думал: таких не переделаешь... Как отец, он возмущался любой несправедливостью, только характер у него был не отцовский: профессор, хоть и увлекался толстовством, охотно лез в драку, а Павел Сергеевич был молчалив, никогда не выходил из себя. Он сам над собой издевался: хорош, протестую в четырех стенах. Это не было малодушием, связывала его внутренняя раздвоенность — может быть, последствие воспитания, может быть, удел некоторых чересчур замкнутых натур.

Кто знает, сколько он передумал за двадцать лет — в общежитиях, в бараках, в дальних российских поездах, как бы созданных для раздумий! К своему веку он приближался медленно, мучительно, не доверяя ни окружавшим его людям, ни себе. Напрасно его считали человеком безразличным к общественной жизни, он не только много читал, он старался связать прочитанное с тем, что видел, своей работы не отделял от мыслей о развитии культуры. Фашизм его потряс: если он долго сомневался в природе добра, то зло распознал сразу, и ненависть к злу помогла ему освободиться от многих противоречий; он реже колебался, увереннее думал о будущем — знал, что предстоит поединок, который многое решит.

Несколько раз в жизни он влюблялся, но прирожденная застенчивость мешала ему признаться в своих чувствах. Женился он поздно; нельзя даже сказать, что он женился — решила все Катя. Это была девушка с небесными глазами (так по крайней мере казалось Лукутину), но на редкость практичная, называвшая чувства «пустяками». Ей не хотелось уезжать в провинцию. Лукутин был к тому времени обеспечен. Катя, заметив, что он краснеет, когда она с ним заговаривает, позвала его к себе и отослала подругу. Неделю спустя она деловито сказала: «Теперь можем расписаться»... Она родила дочку и придала более жилой вид его комнате. Лукутин принимал ее как одно из неизбежных бедствий: она требовала,

чтобы он больше зарабатывал, и докучала ему сплетнями или рассказами о комиссионных магазинах.

Он обрадовался, что не поедет домой; решил перекусить в кафе. Он выбрал столик возле окна и долго глядел на осенний закат; не заметил, как подошел высокий человек в клетчатом спортивном костюме. Лукутин удивленно поглядел — светлые, чуть растерянные глаза, редкие волнистые волосы... Кажется, знакомый, а кто — не помню... Подошедший обратился к нему по-немецки:

— Не узнаете? А я вас сразу узнал. Помните — Кузнецк, июль тридцать второго года...

Восемь лет тому назад в Кузнецк приехала группа немцев; среди них был и молодой берлинский архитектор Курт Рихтер. Он выделялся как поэтической внешностью, так и экспансивностью, восторгаясь решительно всем — и котлованами, и смелостью инженеров, и тайгой, и живописной одеждой казахов; то и дело он восклицал: «Колоссально!» После чистой, аккуратной и скучной Германии все ему казалось сказочным. Я становлюсь коммунистом, говорил он себе.

Он провел в Кузнецке неделю и там познакомился с Лукутиным, который хорошо владел немецким языком. Павлу Сергеевичу поневоле пришлось быть проводником; это его тяготило. Когда Рихтер показал на землянки, Лукутин стал объяснять: «Здесь недавно живой души не было»... А немец, не слушая его, восклицал: «Колоссально! И сколько в этом живописности!..» Рихтер, решивший было примкнуть к коммунистам, сказал Павлу Сергеевичу: «Вы ведь давно в партии?..» Лукутин покраснел, как будто его уличили в преступлении, и ответил: «Я беспартийный».

Это было так давно, и столько они с тех пор пережили, что удивительно, как Рихтер узнал Лукутина и как Павел Сергеевич вспомнил их встречу.

Рихтер мало изменился, стал, пожалуй, несколько сдержаннее. Глядя на русского, он вспоминал свою молодость, восторги, заблуждения. А Лукутин пытался разгадать, как Рихтер очутился в Москве: горемыка, из тех, что бродят по миру, или фашист с положением?..

В тридцать втором году Рихтер все же не стал коммунистом. Вернувшись на родину, он решил в политику

не вмешиваться. Мало ли на свете других страстей? Он встретился с Гильдой. Это была маленькая девушка с головой в кудряшках, похожая на белую негритянку. Рихтер потерял голову; два года он добивался руки Гильды, ревновал ее ко всем, даже к старому учителю английского языка. Когда, наконец, он добился своего и женился, его муки возросли: ему казалось, что Гильда его не любит и если не на деле, то в мыслях ежечасно ему изменяет. Ночью он боялся уснуть,— несколько раз он слышал, как жена что-то говорила со сна; он ждал, что она назовет неведомого соперника. Гильда казалась тихоней, но, глядя в ее детские и вместе с тем загадочные, как у кошки, глаза, он знал, что сердце этой женщины — омут.

Зачем ему политика? Он хорошо зарабатывал, ходил с Гильдой в театр, увлекался психоанализом. А политика, непрошенная, сама начала наведываться. К власти пришли наци. Рихтер полагал, что если «новый режим» и полезен для Германии — кто знает? — то для культурных немцев он стеснителен. Как многие слабовольные люди, он считал себя человеком с характером и, повторяя чужие слова, думал, что выражает свои сокровенные мысли. Друзья шопотом рассказывали ему анекдоты, в которых высмеивались главари Третьего рейха. Гильда говорила: «Я боюсь выйти на улицу... Вчера штурмовики таскали по улицам какую-то молодую женщину. Говорили, что она жила с евреем... Ей плевали в лицо. Это отвратительно! Кому какое дело, с кем она жила?.. Государство может залезать в постель!.. А дети?.. Ты видал, что они делают? Они заставляют маленьких детей маршировать, как солдат! Ничего хорошего из этого не выйдет!..» Рихтер думал: она сочувствует той женщине, потому что ей хочется изменить мне, с кем угодно, даже с евреем!.. Все же он понимал, что Гильда права — как могут штурмовики управлять государством?..

Однако, когда Гитлер присоединил Австрию, Рихтер сказал: «Можно говорить что угодно, но у этого человека гениальный нюх!.. Подумай, без капли крови осуществить старую немецкую мечту!..» Гильда не стала спорить. Несколько лет тому назад она была с отцом в Вене, и ее обольстила грация этого старого города, Ринг, изя-

щество женщин. Без войны получить Вену! Может быть, правы мальчуганы, которые горланят под окнами?.. Только и Вена теперь станет грубой, как Берлин...

За Веной последовала Прага. Рихтер считал, что нужно остановиться, он вспоминал рассказы отца о восемнадцатом годе. Вдруг фюрер снервничает?.. Рихтер боялся войны — боялся и поражения и того, что придется воевать. Это должно быть ужасно — сидеть в окопе и ждать, когда тебя разорвет снаряд!.. А Гильда?.. Как сможет он оставить Гильду?.. Шесть лет совместной жизни, мелочи быта, обеды, счета прислуги, лекарства, обжитая надышанная квартира — все это не могло вылечить Рихтера от жестокой ревности. Он боялся уехать на три дня в Бремен, возвращался со службы в неурочное время, заставлял себя слушать симфоническую музыку, чтобы Гильда не пошла без него на концерт. Он был убежден, что жена, которая из забавной девчонки превратилась в красивую женщину, только и ждет случая, чтобы наверстать потерянное.

Началась война. Рихтеру дали отсрочку. Всю зиму он томился: скоро дойдет черед и до меня... Отец ему когда-то рассказывал о меткости французской артиллерии, о штыковых атаках сенегальцев. Неужели придется это пережить?.. И вдруг пала Франция. Рихтер до хрипоты кричал с другими: «Sieg Heil!» Но что-то внутри сосало... Вдруг все кончится катастрофой? Никто не знает, что задумала Америка. А Россия?.. Что скажет Россия? Главное, нельзя понять, когда остановится фюрер и остановится ли он...

После разговора с приятелем-наци (все теперь перепуталось) Рихтер начинал верить, что на Германию возложена высокая миссия — организовать Европу. Он перечел Ницше — и ему показалось, что он может стать сильным, одиноким, гордым. Он вдруг стучал кулаком по столу и, пугая Гильду, говорил: «Мы, немцы, должны жить беспокойно!..» Она глядела на него в изумлении своими круглыми кошачьими глазами и отвечала: «Я больше всего жажду покоя. Кому нужны эти завоевания?.. Тебя могут каждую минуту послать на фронт...» И Рихтер думал: она права. Нельзя превратить жизнь в азартную игру! Лучше всего жилось при кайзерах,

можно было вольнодумствовать, строили удобные дома, да и сила была настоящая... Они стащили Париж, как яблоко с лотка, придется отвечать — через год или через десять лет...

Брат привез Гильде из Франции духи, чулки, шоколад; она радовалась, как девочка на елке; но, узнав, что брата посылают завоевывать Англию, расплакалась, кусок шоколада растаял у нее в руке. А брат сказал: «Чепуха! С ними мы покончим в три-четыре месяца. Нужно только переправиться, а там... Ничто не может выстоять перед нашими танками». Эти слова потрясли Рихтера. Может быть, у фюрера были ошибки, но он на голову выше всех. Конечно, жаль, что приходится калечить старинные города вроде Руана, но без жертв ничего не делается, а теперь рождается новая Европа.

Ночью Гильда ему говорила: «Тебя могут тоже послать в Англию...» Он отвечал: «Я знаю. Это ужасно, мы попали в шквал, с людьми не считаются... Ты только обещай мне, что будешь ждать...»

Когда фирма, где работал Рихтер, объявила ему, что он должен поехать на три недели в Москву, он обрадовался — с нежностью вспоминал он страну чудес. Но как оставить Гильду?.. Он потребовал от нее клятв, извел ее, она говорила: «Ты сумасшедший. В такое время!..» Он отвечал: «Именно в такое время».

Перед отъездом его вызвал к себе полковник Вильке, сказал, что Россия — сфинкс, и хорошо будет, если Рихтер постарается разгадать русскую загадку. Рихтер уже бывал в Москве, наверно он встретит кого-либо из старых знакомых; интересно проверить, как относятся русские к большевикам, известны ли там преимущества немецкого режима, имеются ли перспективы «для мирного или полумирного проникновения» — так он выразился. Рихтер скрыл от Гильды этот разговор, он только сказал: «Прежде ездить было куда приятнее! Я больше не чувствую себя свободным...» Помолчав, он добавил: «Ты знаешь, что я никогда к ним не подлизывался. Может быть, поэтому они мне доверяют...»

Подойдя в кафе к Лукутину, Рихтер не думал о наставлениях полковника; он растрогался, вспомнив давние времена, говорил непринужденно, шутил. Каким он был

в молодости горячим и наивным! В Кузнецке он сказал этому русскому, что хочет стать коммунистом. А Лукутин тогда признался, что он — беспартийный... И вдруг Рихтера осенило: вот кто может помочь! Судьба пришла ему на выручку, он услышит мнение русской оппозиции, утрет нос и журналистам и наемным информаторам.

Желая расположить к себе собеседника, Рихтер стал рассказывать, как он сомневался в торжестве «наци». Он увлекся и на минуту позабыл о своем намерении что-то выведать.

— Человеку, привыкшему самостоятельно думать, у нас нелегко, все подается в готовом виде — истины, линия поведения, даже фантазии. Я долго не верил им, критиковал решительно все. А теперь... Нужно иметь мужество признать свои ошибки. Я не скажу, что я был всегда неправ, но я перегибал. У нас многие смеялись, когда Геринг сказал, что пушки лучше сливочного масла, а ведь если у нас теперь бутерброды с маслом, то помогли пушки. Германия была обижена в Версале, вы это сами знаете... Какая-то жалкая Голландия жила во сто раз лучше. Теперь происходит исправление исторической несправедливости. Но я не скрою, отдельные детали мне не по вкусу... Конечно, евреи — это опухоль, но то, что делается в Польше... Может быть, я отстал, я этого не могу принять. И все-таки это — мелочи. Рождается новая Европа. Вы не можете себе представить, как я рад, что мы не воюем против вас. Есть отличия в идеологии, но враг у нас тот же. Вы тоже не цепляетесь за прошлое. А многое... Не обижайтесь, я говорю это, потому что уважаю вас... Я знаю, что вы думаете самостоятельно. Многое у вас устарело... Возьмите хотя бы интернационализм...

Он остановился: говорю только я, так я ничего не узнаю...

— Почему вы молчите, господин Лукутин?

— Слушал вас. Ведь это в первый раз я встречаю живого фашиста. Интересно...

— Какой же я фашист? Фашисты — это итальянцы, у нас их, кстати, презирают. А если вы думаете, что я — наци, вы ошибаетесь. Я расхожусь с ними в ряде вопросов. Вы можете со мной говорить откровенно, я не

тупица-штурмовик. Что вы думаете о нашем сближении?

— Внешняя политика — дело сложное. А лично я фашизм... Простите, я привык к этому термину... Лично я фашизм ненавижу. Это нужно выжечь, не то все погибнет... Простите, я тороплюсь.

Он расплатился и, не подав Рихтеру руки, вышел.

«Может быть, я говорил слишком резко? Но ведь я не дипломат... Хорош! И еще пробует сохранять достоинство... Придется с ними воевать, и жестокая будет война — Гитлер их выдрессировал. Такой Рихтер прежде что-то думал, а теперь он от всего освободился — от мыслей, от совести, от простой порядочности. Ай-ай, а еще страна философов!»

Он шел по улице Горького. Высокие дома четко выделялись на небе вечера; эти дома ему не нравились, но сейчас он почувствовал к ним нежность, как будто и на них замахнулся убийца с глазами рассеянного мечтателя. Нужно жить, говорил себе Лукутин, хотя бы для того, чтобы не пустить сюда Рихтера...

Встретив на заседании Сергея, он вспомнил спор с Бельчевым. Ему захотелось рассказать про встречу в кафе, но он не рассказал, только, прощаясь с Сергеем, крепко пожал его руку — и к нему он почувствовал нежность, как к домам, к городу, к проектам новых заводов, к этой суровой, ясной и все же горячей, путаной, страстной жизни.

8

Вскоре после разговора с Лукутиным Рихтер покинул Москву. Увидев Гильду, он растерялся: как эта женщина может хорошеть! Он впился в нее глазами и с деланной развязностью сказал:

— В Москве много красивых девушек.

Она равнодушно ответила:

— Да?..

Он подумал: увлечена другим... И никогда он не узнает, что в сердце этой женщины!

Гильда стала расспрашивать, что он видел.

— Город очень изменился, они много настроили.

Одеты плохо. Еды много, я съедал по пяти пирожных. Люди довольно веселые. Самое страшное — размеры, уж до Москвы далеко, а я вспоминаю, как ехал в Сибирь... И сколько народу! Кишит на улицах... Ты знаешь, Гильда, все-таки неуютно от мысли, что это существует... Фюреру виднее, но, с человеческой точки зрения, лучше опереться на Запад. Ведь Францию или Англию нельзя колонизировать, это понимают даже сопляки из гитлерюгенд. А Россия — пустое место. Я там встретил одного знакомого, не коммунист, образованный человек, хорошо говорит по-немецки. А рассуждает... Так говорили наши коммунисты до тридцать третьего. Русские — неплохие люди, но они нуждаются в руководстве, мы должны им дать не только фельдмаршалов мысли — правителей, ученых, но и духовных фельдфебелей — народного учителя, фельдшера, даже полицейского на перекрестке — они абсолютно не умеют переходить улицу... Это колоссальная задача, но без этого немыслима новая Европа.

— Курт, я ничего не понимаю. Неужели мы будем воевать с русскими? Это безумие! Сколько же можно воевать?

— Войны в обычном смысле слова может не быть. Мне сказал один авторитетный человек, что будет мирное или полумирное проникновение. Я сам не понимаю, что он хотел этим сказать... Вероятно, русские сдадутся еще быстрее, чем французы. По-моему, трудности встанут потом — освоить такую страну... Я тебе рассказал про этого знакомого из Кузнецка. Может быть, он разыгрывал непримиримого, потому что боится гепеу, а когда сила окажется на нашей стороне, перекинется... Не знаю. Во всяком случае, предстоят исторические события, это в воздухе...

Он пошел прогуляться. Берлин восхитил его своей четкостью: длинные прямые улицы с одинаковыми домами. Он подумал: в этом отсутствии фантазии самая прекрасная фантастика.

В Тиргартене играли дети. Статуи нежились на солнце последних теплых дней. Старики медленно курили бледные сигары. Было много военных; в том, как властно они прижимали к себе девушек, чувствовалось — это победители.

Рихтер прислушался к разговорам.

— Франц пишет, что у них все готово для десанта...

— В Вильмерсдорфе, пять комнат и большая ванная...

— С понедельника выдают голландский сыр и, знаете, настоящий — оттуда...

— Шмидт говорит, что все кончится к первому мая...

Рихтер радовался: какое спокойствие! Сейчас лондонцы трясутся — куда запрятаться — в метро, в щель?.. А здесь — уверенность, сознание своей силы. Стоит привести Лукутина в этот сад, к этим статуям, к этим детям, и он поймет, что никогда его мужики не выстоят перед такой организацией. В Россию приятно съездить, жить там нельзя. Роберт хорошо сказал: это «полярная Африка»... Почему Роберт приходил два раза к Гильде?.. С чертежами он мог подождать... Может быть, это он увлек Гильду? Сумасшедшая женщина... Рихтер вдруг поглядел на себя со стороны и усмехнулся: Отелло!.. Но что поделаешь, такая у него натура. На людях он себя сдерживает, а Гильда знает, какой он бешеный. Вот тайна немецкого характера — вечный динамизм. Французы рассуждают, англичане — дельцы, русские — фантазеры, а мы несемся, мы — это движение. Фюрер понял немецкую сущность, он дал нам цель, теперь мы соединяем душевный динамит с замечательной организацией. Почему я так боялся бури? Даже Гильду пугал... Пусть боятся другие, нам нечего бояться, буря — это мы.

9

Когда в театре падает занавес, героиня уже отстрадала, герой победил; когда актеры перестают выходить на последние жидкие хлопки, а у вешалки люди, толкаясь, говорят о своих повседневных заботах, можно увидеть в опустевшем зале девушку с глазами еще невидящими, которая живет отшумевшими страстями трагедии. Не та ли самая девушка в картинной галлерее подолгу стоит у старого портрета, ничем не примечательного, пытаясь разгадать тайну былой жизни? И не она

ли, когда подруги бойко судачат о Жене или о Маше, вдруг беззвучно шевелит губами и про себя повторяет:

> Любовь, любовь,— гласит преданье,—
> Союз души с душой родной,
> Их съединенье, сочетанье,
> И роковое их слиянье.
> И поединок роковой...

Такой была Валя. Мечтала она стать актрисой, а таланта не оказалось, только та высокая настроенность, которая принуждает жить искусством. Однажды с ней разговорился старый режиссер; он почувствовал нежность к этой трогательной и, как ему казалось, глупой девушке: «Выберите другое занятие. Что вам кино?..— Это — искусство для тех, кто смотрит, еще для сотни-другой избранных. Для вас это будет просто тяжелой работой. Будете весь день мерзнуть или потеть, потом снимут в толпе и никто вас не заметит. А повезет — лет через десять дадут роль,— вы покажете поросенка председателю райсовета и многозначительно произнесете: «В Москву пошлем. На выставку»... Вот и все... Зачем вам это? Глаза испортите, да и себя испортите»... Валя от этих слов загрустила, но с мечтой не рассталась: у муз она готова была служить и судомойкой.

Ей было двадцать шесть лет, а жизнь ее оставалась туманной, как рассвет. Готовая обежать весь город, чтобы помочь подруге, она была неспособна что-либо сделать для себя, недаром мать называла ее «сонной». Глядя на Валю, доктор Крылов удивлялся: эта девушка казалась то некрасивой, то очаровательной, то живой и веселой, то отсутствующей.

Лето Валя провела в Киеве; радовалась, что увидит друзей из «Пиквикского клуба» — ее измучило одиночество. Мать закормила Валю. Отец робко спрашивал: «Как они в Москве говорят — выйдет из тебя что-нибудь?..» Валя в ответ молчала.

Раю она не узнала — капризная, растерянная, недоверчивая. Осип все еще был на Печоре, и Рая сказала Вале: «Ясно, что забыл... Я больше его не жду». Зину Валя не разыскала: со старой квартиры она съехала, никто толком не знал, где она. Галочка каждый вечер прибегала к Вале, расспрашивала про Москву, про

Красную площадь, про театры. Но Валя, как все, относилась к Галочке снисходительно: хохотуша...

В один из первых киевских дней Валя пошла к Боре. Открыла дверь Вера Платоновна:

— Нет его, милая, услали. Город Тарнополь...

Она вытерла фартуком глаза, потом засуетилась:

— Садись! Вот какая стала, московская... Хорошо тебе там?

И Валя не выдержала — расплакалась. Вере Платоновне она доверила то, что не могла сказать матери:

— Бездарная я. Ничего из меня не выйдет...

— Зачем такое говоришь? «Не выйдет»... Человек из тебя выйдет. А без муки ничего не дается. Погоди, чай будем пить, все расскажешь...

Перед отъездом в Москву Валя каталась на лодке. Что-то екнуло в груди — берег был белым, зеленым, золотым, встало отрочество с его мечтаниями. Может, остаться? Здесь Рая, Галочка, вернется Боря... Можно пожаловаться Вере Платоновне... А главное — Киев! Кто здесь вырос, не будет счастлив в другом городе... Но было это минутной слабостью: в Москве институт, искусство. И Валя вернулась в Москву.

К Сергею она привязалась страстно, самозабвенно; после второй или третьей встречи знала, что любит его. Прежде она отгоняла призрак любви, люди, которые пытались за нею ухаживать, казались ей мелкими, пошлыми. Она боялась беглой нежности, как иные боятся пригубить стакан с вином — вдруг потеряю голову? Лучше быть одинокой. И разве это — любовь?.. Такие люди не могут глубоко чувствовать, для них любовь — забава. Чем же обольстил ее Сергей? Ведь не был он ни актером, ни поэтом. Может быть, мягкими серыми глазами на смуглом лице, порывистостью движений? Или тем, как вдохновенно рассказывал о вещах, которые прежде казались Вале скучными? Или просто так случилось — пришла наконец любовь?.. Встречи с Сергеем заполнили ее жизнь; теперь, просыпаясь, она знала, зачем день, с нею разговаривали номера трамваев, ее сводила с ума часовая стрелка.

Настала весна; и в ветреный солнечный день Москва зашумела; отовсюду капало, в переулках бурлили по-

токи, с крыш скидывали снег; ожили шаги на высохших сразу тротуарах; люди громко смеялись. Продавали мимозы, они больше не зябли, не ежились, были счастливыми и пушистыми. Счастливыми и пушистыми были глаза Вали, когда она пришла к Сергею. Уже смеркалось, и в комнате жили сумерки, они все меняли, из шкафа делали дерево, из коврика — лужайку; студентку Валю они припудрили, растрепали, пустили белладонну в глаза, и она глядела на Сергея огромными зрачками судьбы.

Ей было тревожно и радостно.

— Ничего из меня не выйдет. Хотела быть актрисой... Да мало что хочется!.. Для этого нужно родиться другой.

— Нужно много жить — в одну жизнь прожить сто, больше...

— Лермонтов умер совсем молодым... Как он успел? Может быть, он не чувствовал, а предчувствовал?..

— Это странное состояние, когда предчувствуешь... Вы знаете, Валя...

— Нет, не знаю! Только не говорите!..

— Сегодня в Москве, как на море перед бурей.

— Я не видала моря... Но это правда... Сережа!..

Она ему отдала себя, свои еще неопытные губы, скрытую страсть, что долго хоронится, молчит, а прорвется — и такая в ней сила, такая тяжесть, что глаза тускнеют, пропадает дыхание. Валя сразу, как в сказке, стала женщиной, мудрой каждым движением своего тела, капризной и послушной, нежной, сумасшедшей, уж не той Валей, которая в стеснении думала, может ли она пойти к Сергею,— искушенной, понимающей. Она чувствовала за спиной Сергея годы, его былые увлечения, мужское непостоянство, мысли о другом,— может быть, о Париже или о мостах, или о звездах, все равно, только не о ней. Он — рядом, он еще порывисто дышит, не попадая в привычный ритм, еще принадлежит ей, всклокоченный, горячий, слабый,— такой не выйдет на улицу, даже не заговорит; но стрелка, ведь есть часовая стрелка!.. Вот и я схожу с ума, как Рая!.. Нет, не нужно думать, строить планы, проверять!

И Валя снова обнимала Сергея, находила его губы. Когда он зажег свет, он изумился — никогда прежде он

не видел ее такою, лицо стало прекрасным от счастья. Иногда вода глубокой реки бывает особенно прозрачной, и человек на лодке, припав к глади, видит дно; так можно в минуты большого и полного счастья увидеть душу любимой. А Валя, очнувшись, закричала:

— Ты сошел с ума! Погаси свет!

Сложными путями движется жизнь в часы острых чувствований. Почему чужая тень прошла украдкой по этой темной комнате? Листва аллеи, серая рябь далекой реки, запах роз и бензина, мастерская, заваленная холстами... Сергей вспомнил все; еще горячий от объятий, усомнился, упрекнул себя в легкомыслии. Он ничего не сказал, но настолько все было обнажено в Вале, что она почувствовала, как он отделяется от нее, не спросила, не стала укорять или упрашивать.

— Ты меня не любишь ни чуточки. Но это все равно... Я такая счастливая, такая счастливая...

И с поцелуями смешивалась соль слез.

Живая победила: теперь, когда Валя думала, что Сергей далеко, он был с нею, побежден, предан ей, целовал ее слабые руки, говорил:

— Неправда! Люблю! И сразу полюбил... Еще осенью, когда встретил у Наташи...

— Мне тогда Дмитрий Алексеевич гадал. Нагадал про тебя... Сережа, я такая счастливая, что мне стыдно! Я тебя прошу, не гляди на меня, я тебя умоляю!..

И она смеялась. Она начала говорить о лете — они вдвоем у моря, конечно у моря, ведь она никогда не видала моря!.. Она вспомнила, как Сергей сказал про бурю, и стало снова тревожно.

— Сережа, мы ведь не расстанемся?

— Нет.

— Это правда?

— Ну, конечно.

— А войны не будет?

— Нет.

Он ответил искренно. Почему? Ведь Мадо он говорил другое, знал, что войны не избежать. Но сейчас он верил, что все обойдется,— так хотелось ему счастья, не мечты, не Парижа, похожего на призрак, не Мадо, которая бродила по аллее Булонского леса, среди золота и пепла,

нет, обыкновенного счастья, теплого, своего, как сад утром, как детство. Глядя на помятое платье Вали, он смутно подумал — ситцевого счастья... Он не мог себе представить войну — бессмыслица, страшные слова, барахтающиеся в эфире... А щека Вали, ее грудь, руки — это и есть счастье.

Они вышли вместе. Вечер был холодным, ветер прорвался в Москву, он дул как-то внезапно, порывами, дул в ярости, будто хотел опрокинуть деревья, задуть фонари. Сергей вспомнил — буря... И новое чувство он испытал: жалость, жалость к мирным будням, к теплым пятнам еще светящихся окон, а больше всего к Вале, которая доверчиво держалась за его руку. Заслонить, не дать в обиду, спасти!..

10

Морис Лансье очень изменился, сгорбился, полысел. Когда его спрашивали, как здоровье, отвечал: «Спасибо, тяну...» Он долго колебался — возвращаться ли в Париж? Он не любил немцев, и было обидно на старости лет жить по указке чужих, к тому же грубых людей. Однако безделье, которое он так ценил в счастливые времена, теперь его тяготило — с утра до ночи он вспоминал Марселину.

Берти приехал из Парижа, рассказал, что немцы ведут себя корректно, жизнь мало-помалу входит в колею. Берти удалось спасти «Корбей» от реквизиции. С «Рош-энэ» — трудности, немцы придираются к происхождению Альпера. Но если Лансье приедет, он сможет рассеять все недоразумения.

Лансье обрадовался: судьба освобождала его от выбора. Он сказал Мадо:

— Делать нечего — Берти нас увозит в Париж.

Увидев в ста шагах от «Корбей» немецкую надпись «Казино для офицеров», Лансье горько вздохнул: «Мама умерла во-время»... Может быть, бросить все, уехать в Лион или в Марсель? Там по крайней мере нет немцев... Но он вспомнил города, переполненные беженцами, загаженные гостиницы, длинные дни без дела. Зачем бессмысленно фрондировать? Даже герой Вердена

поехал в Монтуар, чтобы договориться с Гитлером. Ничего не поделаешь — мы проиграли войну. Теперь немцы воюют не с нами, а с англичанами. Мы ни при чем... Чем англичане лучше немцев? Хотели потопить наш флот... Господа-эмигранты защищают не нас, а своих новых хозяев. Мой завод будет кормить французов. Да, судари, французские рабочие не понимают ваших призывов к саботажу! Для вас главное политика, опять политика, вечно политика. А у рабочего дети, они хотят есть... Произнося про себя эти филиппики, Лансье думал о Луи. Мальчишка, куда он уехал? Им руководили благородные побуждения — начитался стихов. Романтика... Таким сыном можно гордиться... Но что он понимает в политике? Другие произносят речи, получают ордена, зарабатывают деньги, а мальчика убьют... Глупая и преступная авантюра! Ясно, что победят немцы. Нельзя связать судьбу Франции с развалинами Лондона.

Вернувшись из комендатуры, Лансье сказал дочери:

— Конечно, я предпочел бы, чтобы они убрались во-свояси, но нужно быть справедливым — они вежливы и превосходно разбираются в наших делах. Как только я назвал свое имя, они начали говорить о «Рош-энэ». Обещают содействие... Жаль, что у нас не было таких энергичных и живых людей.

Лансье начал работать. По вечерам он перебирал табакерки или книги, порой собирал друзей. Ему хотелось воскресить прежнюю жизнь, но во всем был горький привкус. Лансье казалось, что рабочие глядят на него неприязненно; один как-то сказал: «Значит, служим Гитлеру...» Лансье вспылил: «Начитались листовок. Мне наплевать на политику. Я служу Франции». Рабочий усмехнулся: «Да я пошутил...» И это показалось Лансье самым обидным: боятся, не доверяют... В «Корбей» любая мелочь напоминала о Марселине. Не радовали Лансье и друзья — все разговаривали вяло, нехотя. Изредка кто-нибудь спрашивал, скоро ли немцы высадятся в Англии, и так как люди, даже в тесном кругу, соблюдали осторожность, нельзя было понять, мечтает ли задавший вопрос о победе Германии или хочет ее поражения. «Стихи» Поля Валери прекрасны, но в них холодок»,— говорил Лансье; никто не возражал; разговор

быстро сползал на другие, более низменные темы — о родственниках, которые присылают из Нормандии восхитительное масло, о какой-то Тони, способной раздобыть кило натурального кофе. Ни миниатюры, ни выцветшие фотографии не могли оживить Лансье; он вдруг откладывал любимую безделку и протяжно зевал. До чего неинтересно!.. А ведь прежде он этим жил...

Гордость «Корбей», суданского козла, съели. Лансье хотел превратить это печальное событие в праздник, он собрал старых друзей и приготовил сверхпикантный соус, способный придать старому козлу вкус нежнейшего барашка. Пришли Самба, Нивель, доктор Морило, Дюма. Увидев профессора, Лансье обрадовался — ведь Дюма стал отшельником, говорил: «Не выхожу — все улицы ими провоняли...» Лео не пришел, хотя Лансье его позвал. Когда при Лансье заговаривали об его бывшем компаньоне, он вспыхивал: «Это ужасно!..» За что страдает Лео? Немцы толковые люди, у них передовая наука, но в этом пункте они сумасшедшие... Почему они привязались именно к евреям? Нет, лучше об этом не думать. А Дюма, как нарочно, спросил:

— Альпер придет?

— Можете поверить — я его звал. Но он предпочитает одиночество.

— Хорошо делает,— прорычал Дюма.— Меньше подлецов видит.

Нивель, желая разрядить атмосферу, сказал что-то о величии анахоретов. Молча съели суданского козла. Лансье попытался заговорить о музыке. Нивель ответил: «Что касается Вагнера...» Дюма встал, выбил на ковер пепел из трубки и сказал:

— Покушали, потолковали, можно по домам... Знаешь, Морис, все это смахивает на пародию...

Такой пародийной жизнью жил город. Выходили газеты с прежними названиями — «Пари суар», «Пти паризьен», «Матэн», в них мелькали хорошо знакомые подписи. Еще недавно эти газеты обличали немцев, теперь они прославляли Гитлера. Никого это не удивляло. Перестали удивлять и элегантные парижанки, которые прогуливались по Елисейским полям с немецкими офицерами. Работали на немцев, продавали нем-

цам, покупали у немцев. Актеры, выходя на аплодисменты, поворачивались к ложе, где сидел немецкий генерал. Ширке, вернувшись в Париж как победитель, скромно заявил: «Мы ничего не хотим навязывать, мы будем вдохновлять...» И в светских салонах начали говорить о расовой чистоте, о возвращении к здоровым сельским нравам, осуждали свободомыслие, погубившее Францию, прославляли духовную иерархию и суровое воспитание. Были открыты и театры, и ателье мод, и банки, и дома терпимости; не было только той воли, которая придает разрозненным сокращениям мышц единство жизни. Подделка никого не обманывала. Замысловатые прически должны были заменить новые платья, но по-модному причесанные красотки выглядели печально — их лица выдавали тоску, лишения, страх. Разговоры о театральной премьере или о вернисаже неожиданно прерывались восклицанием:

— Роже достал литр прованского масла!..

Немцы старались быть изысканными, уступали в метро место дамам, говорили «пожалуйста», «простите», «спасибо». Арестовывали только по ночам; и ночью люди прислушивались к гудкам машин, к шагам на лестнице.

Писатели, чьи книги красовались в витринах книжных лавок, возмущались француженками, которые стали любовницами немцев. А проститутки брезгливо отворачивались, проходя мимо книжных магазинов. Где-то в подполье смелые собирались, тискали на самодельных ротаторах крохотные листовки, звали к борьбе, к подвигам, к жертвам; но их было мало, и человеческие слова терялись среди шопота, шушукания, гогота, топота. Люди презирали друг друга, и пуще голода презрение к себе сосало сердце Парижа.

Лансье, наконец-то, решился поговорить с Лео о ликвидации деловых взаимоотношений. Берти спас «Рош-энэ». Будь другое время, Лансье смог бы компенсировать совладельца. Сейчас это слишком трудно... Лансье говорил себе: конечно, это не очень красиво с моей стороны, но другого выхода нет... Почему я должен ради Лео ограбить Мадо?..

Лансье давно не был у своего друга. Наверно, Лео

мрачнее ночи... Все будет, как на похоронах... А Лео встретил его веселым криком:

— Эге, полысел! Ты знаешь, на кого ты теперь похож? На римского сенатора.

Леонтина была бледная, худая, она никак не могла поправиться после смерти ребенка. А Лео не унывал — что-то выпиливал, поливал цветы, насвистывал. Лансье начал издалека — о безумии немецких постановлений. У дружбы свои права... Но приходится жить... Мадо... Лео его прервал:

— Морис, можешь не стараться, я не маленький. Я ни на что не рассчитывал и не в претензии...

Лансье обрадовался — тяжелое позади. Теперь перед ним старый друг, можно поговорить по душам. Интересно, что думает Лео о войне? Есть ли у англичан какие-нибудь шансы? Там как-никак Луи. И потом, даже если признать, что немцы лучше англичан, все-таки приятно — вдруг их выгонят?.. Впрочем, хватит этой проклятой политики! За Мадо ухаживает Берти, у этого человека золотое сердце, но она как будто равнодушна — капризы балованой девочки... Дюма — непримирим, на все смотрит принципиально, с ним теперь скучно... Нивель все такой же, выпустил новую книгу. Смешно — где-то падают бомбы, тонут корабли, умирают греки, а в Париже все понемногу налаживается... Суданский козел оказался очень сочным, но мясо жесткое, его мочили в уксусе, потом долго тушили.

— Мы так жалели, что тебя не было. Даже Дюма выполз из своей норы... Обещай, что в следующий раз ты придешь.

— Нет, Морис, не приду. И ты меня не зови. Я знаю, что ты — верный друг. Но теперь мы — две касты... Зачем я буду тебя компрометировать? Ты — ариец, так они говорят. Ну и хорошо, я рад за тебя, по крайней мере с тобой они немного церемонятся. Меня они решили уничтожить своим презрением. Не удастся — нервы у меня крепкие. Но пока что паршиво...

— Ты думаешь, мне весело?

— Нет, этого я не думаю. До немцев тебе было веселее. Только тебя они оставили без трюфелей, а меня топчут сапогами.

Лансье обиделся — Лео считает, что все дело в трюфелях, в былых удобствах. Как-никак я француз!

— Может быть, они тебя оскорбляют больше, это их конек... Но дело не в частных обидах. Я — француз! Понимаешь? Если Франция исчезнет с лица земли, ты сможешь уехать в Киев, в Америку, не знаю куда. А что я буду делать? Я, Морис Лансье из Ниора?..

Лео громко зевнул:

— Брось! Все это я знаю из немецких газет. Ты оказался восприимчивым, подаешь надежды... Лучше расскажи, как вы сожрали этого африканского буйвола?

Лансье кипел. Он еле сдержал себя, чтобы любезно проститься с Леонтиной. Уходя, он думал: ноги моей здесь больше не будет! А спустившись вниз, поднялся назад — все в нем мешалось: раскаянье, злоба, обида, жалость. Он сказал Лео:

— Мне показалось, что я забыл перчатки, а они в кармане. Я стал ужасно рассеянным... Слушай, Лео, мы не должны ссориться. Можешь не приходить, это твое дело. Но если тебе понадобится моя помощь, помни — я не остановлюсь ни перед чем...

Лео был растроган. Когда Лансье ушел, он сказал Леонтине:

— Если что-нибудь случится, Лансье выручит. Не нужно падать духом! Есть много хороших исходов...

— Я их не вижу, Лео.

— Пожалуйста! Англичане могут разозлиться и высадиться где-нибудь в Гамбурге. Или американцы объявят войну. А русские? Ты забыла? Это особая статья, я их видел — фанатики! Они не будут сдаваться в плен и делать гамбургские бифштексы из суданского козла. Или вдруг Гитлер умрет. Или его убьют. Почему среди немцев не найдется человек с башкой? Или...

Он замолк. Печально улыбаясь, Леонтина спросила:

— Или?..

— Мы можем вечером уснуть и проснуться в раю. Вдвоем. Море, оливы, чайки. И ни одного человека... Любовь моя, жизнь, мой рай!..

И Леонтина все с той же улыбкой уснула, положив голову на руку Лео.

Лансье не мог успокоиться, сильнее всего его взволновала деловая часть разговора, к которой Лео отнесся равнодушно. Лансье было стыдно, поэтому он обвинял Лео. Ночью ему показалось, что у него сердечный припадок, как у покойной Марселины. Он едва дождался утра, чтобы позвонить Морило.

Доктор его выслушал и улыбнулся:

— Продовольственные затруднения хорошо отразились на вашей печени. А сердце, как у юноши...

— Но что со мной было ночью? Я задыхался, не мог уснуть...

— Нервы. Мировая тоска. Должно быть, вас что-нибудь взволновало.

— Это правда, у меня был неприятный разговор с Альпером. Я, кажется, погорячился... Вы знаете, как я за него страдаю... Но приходится считаться с их постановлениями, в этом пункте они непримиримы. Я ему выложил все. А он начал доказывать, что я ничего не чувствую. Согласитесь, что это обидно. Я, кажется, был у Вердена... И кто мне дает уроки патриотизма? Он может завтра куда-нибудь уехать... Слов нет, это талантливые люди, но они устраиваются повсюду. И если хорошенько задуматься...

Морило загрохотал — он нестерпимо громко смеялся.

— Видите, как быстро ваш организм справляется с любой угрозой. Только-только вы собирались заболеть меланхолией, и уже найден выход — «если хорошенько задуматься»... Ну, я спешу, меня ждет один пациент, к сожалению, у него не мировая тоска, а вульгарный рак.

11

Мадо внешне жила, как все. На ее руках оказался привередливый отец, который хотел, чтобы она была образцовой хозяйкой дома. Она ходила на рынки, разговаривала с женщинами о мелких невзгодах; старалась помочь другим; часто бывала у Альперов, развлекала Леонтину.

Когда Мадо задумывалась над встречами, разговорами, ей казалось, что все вокруг умерли и, мертвые,

зачем-то разыгрывают комедию прошлой жизни. Лучше бы сожгли Париж!.. Да, во сто крат лучше смерть, чем эта подделка под человеческое существование. Но люди с такой настойчивостью цеплялись за видимость жизни, за плитку шоколада, за пару чулок, что Мадо спрашивала себя: может быть, они правы?..

Она спросила Самба:

— Что теперь делать?

Самба смутился. Как все, он пошумел, поругался и вернулся к своей работе. Вопрос Мадо его взволновал.

— Не меня спрашивать, Мадо. Я не герой... До войны меня упрекал Лежан, что я отгораживаюсь от жизни. Я ему ответил: будет драка — полезу... Не знаю, может быть, если бы на улице стреляли, я пошел бы... Но где эта драка?.. В искусстве я не поступлюсь ничем. А лезть на рожон?.. Не умею.

Мадо подумала: и он, как все... Пишет картины, другой дорожит службой, третий получил еврейский магазин и радуется. Самба сказал о Лежане. Не раз Мадо думала о нем, о Жозет, о молодом рабочем на черной улице. Что они делают? Наверно, не сдались, верят, борются... Жозет не найти — уехала, может быть скрывается под другим именем...

Однажды Мадо была у доктора Морило. Он нервничал, то и дело глядел на часы. Она думала, что ему нужно к больному. Но он вдруг бросился к приемнику, зашипел «тсс». Раздался стук, как будто кто-то стучал в дверь. Потом диктор начал рассказывать, что взята Асмара. Морило шепнул «здорово!» Мадо не знала, где Асмара. Диктор говорил, что настоящие французы продолжают бороться вместе с Англией. Это о Луи,— подумала Мадо... Но и Луи далеко, как Асмара, как Жозет... Когда радио смолкло, Мадо спросила Морило:

— Вы верите, что немцев прогонят?

— Не знаю... Во всяком случае, их прогонят не французы. Мы были большим государством, теперь мы немецкая база и возможный театр военных действий...

И Морило ни во что не верит!..

Вечером Лансье сказал Мадо:

— Я себе представляю, как радуются русские нашему унижению...

— Откуда ты знаешь?

Отец работает на немцев, ему противно, он хочет, чтобы весь мир был низким — тогда ему легче... Что сейчас думает Сергей? Она не знает, не узнает никогда.

Вокруг Мадо была пустота. Только один человек не сводил с нее глаз, следовал за нею, ею жил — это был Берти, которого считали сухим и бесчувственным.

Был один из первых вечеров весны. Каштаны — что им немцы? — уже протягивали к небу свои белые свечи. Мадо и Берти шли по аллее. Мадо смутно подумала: и это подделка... Берти говорил:

— Можете ли вы представить себе сердце сорокалетнего мужчины, который занят рудой, цехами, поставками, акциями? Пустыня, и та зеленее. Я хочу вам сказать, что чудеса бывают. Я пробовал бороться. Два года я проверял себя. Теперь я твердо знаю — я не могу жить без вас. Вы недавно сказали, что цените мою дружбу. Мадо, это не дружба, это бешенство... Зачем мне скрывать? Я не школьник и не боюсь показаться смешным. Вы должны стать моей женой.

Она растерялась — так это было неожиданно и столько воли было в голосе Берти.

— Но это невозможно...— Она подыскивала слова.— Вы не должны меня осуждать, но это невозможно... Я очень ценю ваше отношение ко мне. Вы столько сделали для отца, для покойной матери... Я никогда не думала... Нет, это невозможно...

— Почему?

— Вы не знаете, что со мной...

— Вы изранены...

— Нет, убита.

— Я верну вам жизнь. Вы должны стать моей женой.

— Но это невозможно... Я вас не люблю.

— Я это знаю, и я знаю, что вы меня полюбите. Вы должны стать моей женой.

Она не выдержала, убежала. А на следующий день он оказался снова рядом и тем же сдержанным, но властным голосом повторял: «Вы должны стать...» И через день снова. И так каждый день. Он писал ей длинные письма, полные жестокой логики, и короткие записки со словами, недописанными в ярости. Он умолял, настаи-

вал, требовал. Он звонил по телефону, ждал у дверей, заполнял ее комнату душистыми цветами, письмами, шопотом. Днем и ночью она слышала: «Вы должны...» Он был безрассуден в своей страсти. А она?.. Что могла она противопоставить его чувству, воле, упорству? Только тихое отчаяние, притупившуюся боль, безразличие.

И вот растроганный Лансье закричал:

— Для такого события найдется хорошее шампанское, я сам от себя спрятал целый ящик. Как будто предчувствовал...

Мадо решила покориться. Ее поздравляли; одни, восхищенные, говорили об уме, красоте, талантах господина Берти; другие, завидуя, подчеркивали, что в наш век «купидон обзавелся золотыми стрелами». Она всем улыбалась, благодарила. Лансье был в упоении:

— Ужасно, что мама не дожила... Теперь я тебе могу сказать: когда у меня было критическое положение, он нас спас. Он столько сделал для нашей семьи! И потом это — настоящий француз. Я слышал, как он разговаривал с немцами — если бы все сохраняли столько достоинства...

Нивель поднес Мадо книгу своих стихов с надписью:

Если можешь умереть, умри,
Не гляди, не плачь, не говори.

Мадо подумала: он издевается и прав. Впрочем, и он такой — пишет стихи о Персефоне и остался в префектуре, служит немцам. Не ему меня судить...

Только Самба вывел ее из спокойствия:

— Всего от вас ожидал. Могли отравиться, или выйти замуж за сиамского короля, или погибнуть где-нибудь в Мадриде. Но стать госпожой Берти... Право, не стоило огород городить...

Она закрыла лицо руками, как будто ее ударили. Нужно стерпеть и это... Я знала, на что иду. Послушно она надела подвенечное платье, послушно ответила «да». А когда они оказались вдвоем в огромном пустом доме Берти, она погрузилась в небытие. Все, что в ней оставалось живого, была воля — не вскрикнуть, не выдать себя.

Рассвело. Она поглядела на Берти, он спал; его длинное лицо на подушке напоминало старинный рисунок —

восковые щеки, черные волосы, нос с горбинкой, тонкие бесцветные губы. Она не чувствовала ни возмущения, ни обиды, ее мучила тошнота, как будто вся грязь Парижа, ночи с немцами, блудливые улыбки, расточаемые победителям, доносы, гестаповцы, надушенные духами «Шанель», очереди в венерических диспансерах, спекулянты, отрыгивающие в дорогих ресторанах, рагу из кошатины в котелке бедняка, пот танцулек, где эсэсовцы танцуют с дочками поставщиков, чужие обсосанные окурки, зловоние толкучек, все нечистоты, весь смрад города заполнили эту чересчур чистую, пустую комнату. Теперь и я такая... Какое сегодня число? Двенадцатое... Год назад пал Париж. Чего мне кривляться — с этим или с другим — все равно... Еще хорошо, что не с немцем...

Она стояла у окна, оно выходило на бульвар. Было раннее утро, и присутствие людей не оскверняло торжественности часа. На деревьях пели птицы. Окна чердаков розовели, как горные ледники. Почему именно в эту минуту Мадо вспомнила Сергея, о котором давно не думала, вспомнила их последнюю встречу, слова о спасительной силе любви? Ощущение было настолько сильным, что, молча перенесшая жестокую ночь, она вскрикнула. Берти не проснулся, а если бы и проснулся, он не добился бы от нее ни слова. Дыша свежестью утра, она говорила с Сергеем, обещала ему очиститься от этого ужаса, звала на помощь любовь, может быть и поздно, но страстно, сурово звала, готовая на подвиг, на жертву.

В те часы она чувствовала себя сильной, полной решимости; а на следующий день вернулись растерянность, ощущение обреченности. Она сказала Берти:

— Вы видите, что мы не можем жить вместе...

Ее голос выдавал слабость. Берти спокойно ответил:

— Я от вас ничего не требую. Вы можете жить здесь своей жизнью. Неужели вас тянет в «Корбей»?..

И как будто нарочно вбежал в комнату сияющий Лансье.

— Я так счастлив за тебя, Мадо!.. Я решил устроить небольшой вечер в честь Нивеля по поводу его новой книги. Вы, конечно, будете у меня. Я постараюсь приготовить настоящий довоенный ужин...

И Мадо подумала: чем вправду «Корбей» лучше?..

Молодые супруги жили рядом как чужие. Мадо казалась спокойной, даже равнодушной. Берти едва сдерживал себя. Он готов был на все, чтобы выклянчить ласку. Прежде он надеялся, что время сгладит все, теперь он понимал, что никогда не завладеет сердцем Мадо, и терял голову от неразделенного чувства.

Мадо часто уходила куда-то. Берти ревновал, терялся в догадках. А она бродила по серым окраинам города. От ветра, который дул с Ламанша, ей становилось легче, как будто до нее доходила чужая жизнь. Этот ветер был слабым замирающим голосом океанских штормов. Мадо шла ему навстречу, и легкая улыбка освещала ее измученное, но все еще прекрасное лицо. Она сама не знала, что это — начало выздоровления или агония?

12

В трактирах Дижона хорошо знали ефрейтора Келлера, который, изъясняясь по-французски, не путал звуков «б» и «п», как другие немцы, и даже умел отличить старое бургундское от скверного алжирского винца, вполне удовлетворявшего его сотоварищей. Келлер был известен также тем, что похитил сердце трактирной служанки Мими, которая открыто говорила, что ни на кого не променяет своего немца. Полк стоял в городе с прошлого лета, и Келлер чувствовал себя старожилом.

Если бы три года тому назад скромному гейдельбергскому доценту сказали, что он станет бравым солдатом, завсегдатаем кабаков, любовником распутной француженки, он не поверил бы. Прежде, когда он думал о войне, она представлялась ему жестоким и бессмысленным делом. Прочитав в студенческие годы роман Ремарка, он понял, что человек не может существовать среди рвущихся снарядов; он считал, что это поняли все, и когда при нем заговаривали о возможности близкой войны, он усмехался — глупости, дипломатические маневры...

Он не успел опомниться, как очутился в Бельгии. Он очень боялся предстоящих боев, стыдился своего мало-

душия и в разговорах с товарищами бравировал: «Какая же это война!..» А его поташнивало от далекого грохота корпусной артиллерии. Его полк не принял участия в первых сражениях, их двинули, когда фронт был прорван. Офицеры говорили, что предстоит приятная экскурсия по винным погребам Шампани. Однако возле Эперне они неожиданно натолкнулись на сопротивление — полсотни французов засели в рощице. Грузовик, на котором ехал Келлер, обстреляли, убили двух его товарищей, четырех ранили. Келлер от ужаса окаменел, вместо того чтобы лечь, он выпрямился и стал зачем-то протирать стекла очков. Его привела в себя команда офицера; он лег и стрелял, как другие. Час спустя они очистили рощу от неприятеля. Когда Келлер увидел десяток французов с поднятыми руками, им овладело веселье, он понял, что жив, и возвращенная жизнь была слаще прежней. В тот вечер, отступив от своих привычек, он напился в прохладном погребе, который пахнул вином, потом спал с какой-то девушкой. Подумав утром о Герте, он не испытал угрызений: на то война, днем рискуешь жизнью, ночью развлекаешься...

Война вскоре закончилась, а развлечения остались, осталась и вновь обретенная уверенность в себе. Когда Келлер зимою приехал в отпуск, Герта его не узнала: смешно сказать, но Иоганн в тридцать два года стал мужчиной! Он очень громко разговаривал, пил кирш, а когда она сказала, что нужно сделать первый визит декану, прикрикнул: «Не твое дело!» Она обиделась и обрадовалась: таким Иоганн ей нравился больше прежнего. Вечером он ее целовал и дразнил; она вспоминала изящных француженок из «Фоли-бержер» и растерянно вздыхала, как в годы девичества. Конечно, Иоганн изменяет ей, глупо его упрекать — война.

Когда она спросила мужа, страшно ли на войне, он ответил:

— Страшно. И захватывает... Вероятно, в человеке остается что-то детское, а это — игра, жестокая, но увлекательная.

Он понимал, что судил о многом только по книгам. Конечно, он не участвовал в настоящей битве, но все же он повоевал, его рота потеряла шесть человек. Он вправе

говорить о войне, как фронтовик. Страшно, пожалуй, всем, но страх это как аппетитные капли перед обедом, он разжигает вкус к жизни. Когда Келлер сидел у себя дома в ночных туфлях и ждал гестаповцев, было страшнее... Есть в войне нечто отвечающее человеческой природе. Писатели этого не поняли, отделывались гуманными рассуждениями и слезами. А вот Гитлер понял. Не здесь ли причина его успеха? Он нас объединил, разбудил воинственные инстинкты, повел в драку, теперь мы связаны общей порукой. Разве я наци?.. Я вижу, как они исказили антропологию... Но сейчас я за Гитлера — нужно взять Лондон, не то всем нам придется расплачиваться за Париж...

Когда он вернулся в Дижон, Мими показалась ему еще более обворожительной. Она говорила:

— Ты знаешь, почему я тебя люблю? Ты — животное, да, да, не спорь, именно животное! Хотя ты — профессор, но я тебя уверяю, ты настоящее животное. Французы много говорят про любовь, а они никогда не теряют голову. Они все время смеются... А тебе стоит снять очки, как ты превращаешься в быка...

Он не понимал этой девушки, она вдруг начинала плакать, ругала себя, говорила ему, что очень счастлива, и в самые нежные минуты шептала: «Бык! Проклятый бык!..» Глядя в ее глаза, нежные и порочные, он думал: какая в ней грация и бесстыдство!..

Он не забывал семьи, посылал шоколад, колбасу, мыло; аккуратно через день писал Герте и в конце каждого письма ставил: «Тысяча поцелуев».

Ему нравилась Франция, ее холмы с виноградниками, готика церквей, узкие крутые улицы со ступенями, наглухо закрытые ставни домов, женщины в черном, звонкая речь, меткость выражений, живость глаз. Он чувствовал себя туристом, освобожденным от скучной обязанности на каждом шагу вытаскивать бумажник. Знание языка облегчало ему жизнь; он подчеркивал, что понимает и любит эту страну. Когда он замечал в глазах или в голосе недоброжелательство, он дружелюбно говорил: «Вы не должны на меня сердиться, я здесь не по своей воле. Война ужасная вещь!..» Бывало это не часто, и Келлер считал, что французы, хотя они и стеснены

присутствием иностранных гарнизонов, не питают к немцам никакой неприязни.

Две недели он не видел Мими, скучал и злился. Наконец она пришла. Он заметил на ее теле синяки.

— Что это?

— Упала.

— Ты врешь и притом глупо...

— А ты не приставай. Тебя это не касается...

Он понял, что глупо устраивать сцену ревности; да и был он в благодушном настроении. Насытившись поцелуями, он хотел поговорить, подумать вслух. Конечно, Мими плохой собеседник... Но она рядом, а приятелей у него нет, товарищи спят, пьянствуют или, как он, пропадают у девушек.

— Я к тебе привязался, Мими, а ведь ты — настоящая француженка. Удивительно, как эта война сблизила всех! В моей роте славные ребята, они не имели никакого представления о Франции, а теперь говорят: «Хорошие люди и живут хорошо...» Конечно, бывают трения, мы ведь непрошенные гости... Но, по-моему, и французы нас поняли, даже полюбили. Ты встречаешься с разными людьми, интересно, что говорят в городе?

Мими громко засмеялась.

— Меня так излупили, что еле домой добралась.

— Кто?

— Не знаю кто... Французы.

— Ничего не понимаю... За что?

— А я понимаю... Я тебя люблю, но я знаю, что это — огромное свинство. Когда вы отсюда уберетесь, меня прирежут, можешь быть уверен...

Келлер подумал: все-таки в них много коварства. Улыбаются, а за спиной... Герта права — я чересчур наивен.

Он зашел в незнакомое кафе, у стойки выпил большой стакан коньяку. Ему было очень тоскливо, а, будучи человеком уравновешенным, он плохо переносил редкие приступы душевного смятения. Ему хотелось поговорить, объяснить, что он любит Францию, обличить скрытых врагов. На беду, в кафе никого не было, кроме старичка, бедно, но опрятно одетого, с ленточкой в петлице — отставной профессор лицея или общипанный войною

рантье?.. Келлер попробовал заговорить с толстой, сонной хозяйкой:

— Хороший вечер, сударыня, настоящая весна.

— Неудивительно, сударь, ведь конец мая...

— Может быть, вы закрываете и я вас задерживаю?

— Нет, сударь, у вас еще час времени.

Она вышла в заднюю комнату. Старичок приветливо улыбался. Келлер подошел к нему, вежливо спросил:

— Разрешите подсесть?

Старичок не ответил; это вывело Келлера из себя; в его дальнейшем поведении сказались и разговор с Мими и коньяк. Он сел верхом на стул, широко расставил ноги.

— Вы что, разговаривать не хотите?

Старичок попрежнему молча улыбался.

— Пора бросить эти повадки! Я вас заставлю разговаривать... И напрасно вы улыбаетесь. Верден — это древняя история, а я видел, как ваши генералы сдавались. Вы, что же, думаете сразить меня молчанием? Это хамство!..

— Сударь, вы напрасно сердитесь, господин Шампильо глухонемой, его все знают, у него живет ваш офицер...

Келлер выругался и в злобе хлопнул дверью. Чорт бы их побрал, все они прикидываются глухонемыми!.. Ночью он не спал, болела голова, лез в голову розовый старичок с отвратительной улыбкой, синяки на спине Мими... Гадость! Все гадость — и французы, и война, и я — хорош ученый, устраиваю скандалы...

Неделю спустя Келлер узнал, что его полк направляют в Германию. Он обрадовался встрече с Гертой, с детьми. А потом огорчился, значит, война для него закончена. Впереди — пресная жизнь, разговоры Герты о карточках, о талонах, интриги Клитча. Через год все забудут, что он — фронтовик, будут смеяться над его рассказами. Ничего не поделаешь, это жизнь...

Грустно было расставаться с Мими, для него она олицетворяла Францию, грешную и милую. Он думал, что она будет плакать, попросит взять ее с собой. Но Мими, узнав, что Келлер уезжает, спокойно сказала:

— Наверно, тебя пошлют в Египет или еще куда-нибудь. Я убеждена, что вас всех перебьют. Мне тебя жалко, это потому, что я — дура. А других мне не жалко и себя не жалко. Меня-то обязательно прирежут, и за дело...

13

Берти находил в работе некоторое успокоение. Кроме Мадо, у него была другая страсть — честолюбие. Прежде он называл себя сверстником двадцатого века; теперь, усмехаясь, он говорил: «победил мой век». В его представлении победили не чужеземцы, а новые идеи, нормы, навыки. Разговаривая с немцами, он видел, что они повторяют его мысли; соглашаясь с ними в душе, он умно и язвительно спорил — хотел подчеркнуть свою независимость. Пусть немцы видят, что меня не возьмешь комплиментами. Кто к ним пошел? Отбросы: десять глупых фанатиков и десять тысяч мошенников. Я им нужен, это бесспорно. А я не выживший из ума Петэн. У меня есть идеи, амбиция, воля. Никогда я не стану прислужником немцев. Но если они окажутся достаточно умными и гибкими, я могу стать их союзником. Это будет настоящим патриотизмом — не только отстоять свое место во Франции, но и отстоять также место Франции в новой Европе.

Заводы Берти работали на полном ходу — изготовляли грузовики для немецкой армии; и Берти чувствовал себя причастным к грандиозной эпопее — его машины проходят по всем дорогам Европы — от норвежских фиордов до Фермопил. Они и в Африке... Они будут в Англии. Берти был уверен в победе Германии и, когда Мадо однажды спросила его, что будет с Францией, он ответил: «Лучше быть простым солдатом в армии победителей, чем маршалом армии побежденных...» Как-то пришел проведать Мадо доктор Морило, он выслушал Берти, который говорил о победе новых принципов, а потом с грубоватой веселостью спросил:

— Вы не боитесь, что англичане скрошат ваши заводы?

Берти усмехнулся:

— Это исключено...

Морило был настолько изумлен его ответом, что потом сказал своей жене: «Вероятно, Берти связан с англичанами, слишком он уверен».

А Берти был уверен в близком разгроме Англии.

Он добился того, что немцы с ним держались почтительно. «Ни один немец без моего разрешения не войдет ко мне»,— заявил он еще в начале оккупации, и действительно немцы относились к его заводам, как к небольшому государству.

Среди влиятельных немцев, с которыми ему приходилось встречаться, был Рудольф Ширке. Бывший владелец бюро «Европа» занимался различными делами — и прессой, и культурной жизнью Франции, и беседами с крупными фигурами парижского общества (Ширке называл такие беседы «несентиментальным воспитанием»). Берти ценил в Ширке знание Франции, разносторонность, а главное смелость — другие немцы сплошь да рядом отмалчивались, оттягивали решение, запрашивали Берлин, а Ширке сразу отвечал «да» или «нет».

Был один из первых знойных дней, когда Берти сказал Мадо:

— Сегодня у нас обедает господин Ширке. Я понимаю, что это вам неприятно. Это неприятно и мне. Но приходится многое терпеть... Я не связан делами с этим немцем и пригласил его только для того, чтобы указать на недопустимость ряда мер оккупационных властей...

Ширке был чрезвычайно любезен, отпустил несколько комплиментов хозяйке дома, восторженно отозвался об обстановке — «у вас северный вкус». Берти говорил о тупости и бесцеремонности немцев. Ширке внимательно слушал, иногда что-то записывал в книжечку, говорил мягко, даже виновато: «увы, у нас много солдафонов...»

Потом разговор перешел на общие темы. Всех в те дни занимал один вопрос: куда двинется германская армия после блистательного завершения операций на Балканах? Берти заметил, что Ширке возбужден, и приписал это старому «шато-неф-дю-пап» — он ведь следил за бокалом гостя. Ширке сказал:

— Я не выдам военной тайны, если скажу, что мы на пороге последней кампании. Судьба Британской империи решится на Востоке...

— Я с первого дня был уверен, что вы повернетесь, рано или поздно, против коммунизма. Но борьба будет трудной, очень трудной. От вас зависит, будем ли мы в этой борьбе с вами. Прошел год, а вы ничего не сделали, чтобы сблизить наши народы. Если вы хотите запугать или одурачить французов, вы ошибаетесь. Вопрос поставлен прямо — какое место должна занять Франция в новой Европе?

Может быть, действительно потому, что вино было отменным и Ширке не рассчитал своих сил, может быть потому, что за час до обеда он узнал о решении фюрера, но на одну минуту он потерял душевное равновесие, вытер лоб салфеткой и сказал:

— Место Франции в новой Европе? У вас есть хорошая пословица — коза щиплет траву там, где ее привязали.

Мадо встала и, не говоря ни слова, ушла. Ширке сразу понял, что он совершил бестактность. С подчеркнутой любезностью он возвратился к претензиям Берти, обещал принять меры, говорил о том, что в предстоящей войне Германия и Франция будут союзниками, несколько раз повторил: «нас свяжет солдатская дружба».

Все же у Берти остался после этого разговора отвратительный привкус. Вечер был душным, болела голова. Берти долго ходил по большим и пустым комнатам своего дома. Наконец он робко постучался в комнату Мадо. Она не ответила. Он приоткрыл дверь. Мадо сидела в кресле возле окна. Он ее окликнул, она не отозвалась. Он осторожно подошел к ней, сказал: «вы должны меня простить», хотел поцеловать ее руку. Она отняла руку и тихо, почти шопотом сказала:

— Не нужно меня трогать... Я боюсь, что я вас убью...

14

Перед отъездом из Франции Келлеру удалось побывать в Париже. Он давно мечтал снова увидеть город, который перед войной показался ему сказочным. Тогда он чувствовал себя связанным и заботливостью Герты, и наставлениями доктора Кенига, и недружелюбием

французов. Теперь он проходил по улицам Парижа одинокий, свободный, гордый — не было в нем ни страха, ни былой приниженности, и хотя город потускнел, полинял, он пленял Келлера.

В первый же день он решил навестить профессора Дюма. Правда, за год я сильно отстал от науки, но профессор понимает, что война не рабочий кабинет. Приятно встретить знакомого француза. Да и Дюма обрадуется, что немецкий ученый пришел засвидетельствовать ему свое уважение... Келлер не договаривал себе главного: он не любил вспоминать встречу с Дюма — он вел себя тогда, как мальчишка, он хотел теперь предстать перед французским ученым в более выгодном свете.

Когда он подымался по крутой лестнице, ему пришло в голову: вдруг Дюма не захочет со мной разговаривать? Ведь есть среди них непримиримые... Нет, не может быть — он и Дюма прежде всего люди науки, между ними не может быть рва.

Дверь открыла Мари; она не признала в немецком солдате гостя, который отнесся равнодушно к ее кулинарным талантам, прибежала к профессору с криком:

— Немцы!..

Дюма спокойно сказал:

— Пускай обыскивают. А может быть, они за мной?..

Он застегнул пиджак и, выйдя в переднюю, прорычал:

— Если за мной, не буду вас задерживать.

— Вы меня не узнаете, господин профессор? Иоганн Келлер. Перед войной вы оказали мне высокую честь...

— Ах, это вы!.. Индеец... Хорошо, заходите. Теперь ведь такой маскарад, что не разберешь... Садитесь, не стесняйтесь, здесь и так все перепачкано... Угостить, к сожалению, нечем, все ваши соотечественники вылакали. Погодите, есть — на донышке, зато нечто замечательное! Старый кальвадос. Над чем изволите работать?

— Я уж больше года как оторван от работы.

— Города берете? Паршивое занятие! Сначала вы берете, потом у вас будут отбирать, мало что останется от городов. Да и от вас... Помню, один ваш профессор жаловался на переизбыток населения. Как бы вас не сократили... Вы меня простите, что я на вас налетел. Живу

в одиночестве... Я ведь понимаю, что вы к этой пакости непричастны.

— Я господин профессор, как прежде, избегаю политики.

— Я ее тоже избегал. А она, знаете, сама явилась... Пейте кальвадос, это теперь редкость. Жалко, что вы в этаком одеянии, ведь порядочный человек, ученый, подающий надежды, и в таком поганом виде, глядеть противно!.. Вам что — нельзя ходить по городу в цивильном?..

— Но, господин профессор, почему вы все так заостряете? Я думаю, что за это трудное время наши народы сблизились, научились понимать друг друга...

— Как вы сказали: «Сблизились»? — Дюма вскочил и захохотал.— Мари, идите сюда! Поглядите на этого господина — он говорит, что мы теперь «сблизились» с немцами!.. Значит, если бандит повалит человека и заткнет ему тряпкой рот, выходит, что он «сближается»?..

Келлер все время сдерживал себя, помнил, что перед ним знаменитый ученый; но сейчас он больше не владел собой:

— Я думал, что события чему-то научили французов, хотя бы скромности...

Дюма покраснел и крикнул:

— А ну-ка, убирайтесь! Приведите сюда ваших гестаповцев. А гостем нечего прикидываться! Мари, проводите. Да вы поживее!..

Келлер молча вышел. Мари плакала:

— Что вы наделали, господин Дюма!.. Теперь они придут за вами...

Он взял ее шершавую руку.

— Эх, Мари!.. Нужно уметь жить по-настоящему — весело, петь, танцовать, пить, если есть что... А умереть нужно тоже умеючи, по-человечески. Если зайца подстрелить, он плачет, как малый ребенок. А подруби дерево, оно молча падает... Смерти нечего бояться, это тоже благородное дело, если только ты — человек, а не тряпка... Откройте окно, чтобы его духа здесь не осталось...

Так были испорчены последние дни пребывания Келлера во Франции. В Аахене он нагнал свою часть. Их

повезли в Польшу. Солдаты гадали, где начнется новая война.

— Говорят, что в России,— сказал фельдфебель.— Русские нас не любят...

Келлер уныло усмехнулся:

— Теперь война повсюду. Вы думаете, нас любят во Франции? Они только и ждут удобного случая, чтобы на нас накинуться... Мне жалко, что я не отвел в комендатуру одного негодяя, не хотелось марать рук... Мы, немцы, чересчур доверчивы, да и чересчур благородны.

15

Рая танцовала с Полонским. Перед этим она выпила стакан муската, ей хотелось быть веселой; когда она пошла танцовать, она улыбнулась; сейчас ей было страшно, но она продолжала улыбаться — лицо застыло. А тело подчинялось ритму танца. Была в этом ритме настойчивость судьбы. Саксофон выл, как брошенная собака; барабан считал, подсчитывал; и среди свиста, воя, грохота по-детски всхлипывала скрипка. Вдруг все оборвалось: пустота, яма, тишина, от которой голова кружится. Что мне делать? — подумала Рая. И сразу ожил саксофон, завыл: нужно нестись, качаться, кружиться!..

В «Континентале» было людно, несмотря на жаркую погоду. Ведь завтра воскресенье, не лучше ли было поехать в Святошин, в Дарницу, в Пущу-Водицу, где пахучая смола или свежескошенное сено?

— Завтра по календарю начинается лето...

На дворе давно лето. Жарко. Почему не катаются на лодках, почему пришли сюда?.. Ведь от музыки, от вина, от слов еще жарче...

— Петя, как ты думаешь, будет война?

Кто это спросил? Кажется, молоденький лейтенант. А может быть, тот, в сером клетчатом костюме? Или Ященко?

На базарах говорили, что немцы скоро нападут. Старая Хана утром пришла перепуганная:

— Раечка, говорят, будет война...

Каждый в глубине души думал: не может быть!.. Молоденький лейтенант вчера только женился, танцовал со своей Варенькой. Как мог он поверить в войну? Как мог поверить в войну тот — в сером клетчатом костюме? Он пришел, чтобы отпраздновать победу — перевыполнили, скоро завалим все магазины чашками с розанами, с васильками, с золотым ободком. Девушка, с которой он танцовал, должна была через три дня защищать диссертацию об азотном питании растений. Война?.. Нет, этого не может быть! А Петя, которого спросили, будет ли война?.. Он изобрел новый способ цветной штукатурки, говорят, что его выдвинут на премию. Сегодня он справляет день рождения. И вдруг война?.. Нет!

— Нет,— сказала утром Хана,— этого не может быть! Ведь люди только-только вздохнули...

Хане казалось, что война началась очень давно, вскоре после отъезда ее мужа. Наума убили. Убили брата Ханы — у Перемышля. Другой брат погиб четыре года спустя на Кавказе. Говорили, что будет мир, а стреляли на улицах... Какие-то петлюровцы, поляки, бог знает кто... Потом начались карточки, хвосты... Хана успела состариться. Вдруг белофинны... Теперь, слава богу, жизнь налаживается, строят дома, зайдешь в магазин — можно все купить... И вот говорят — война... Но ведь война только кончилась. Нет, этого не может быть!

— Этого не может быть,— бормотал учитель географии Стешенко, мечтая в душной комнате о даче, о садике с петуньями, о гамаке.

— Этого не может быть,— говорила Зина. В ее голове жили подвиги юнаков, но то — литература... А в соседней комнате спит сын дворничихи, годовалый Шурик, он должен расти, играть, учиться...

Не верили в войну, и все-таки было тревожно. Кто знает, что выкинут немцы?.. Но завтра — воскресенье, молодые могут вволю потанцовать.

Среди тревоги мира какой маленькой была драма Раи! Она сама это понимала; но сердце не хотело считаться с событиями. Полонский не просто «увлечение», каких у нее было много — пококетничала, потанцовала и забыла. Нет, Полонский — это счастье. Счастье или гибель...

Осип пробыл на севере больше года. Он радовался, как ребенок, когда увидел белые пески у Днепра, а потом крутую улицу и длинные ресницы Раи; ему хотелось бить в ладоши, кружиться по комнате. Но он только сказал: «Раечка, я очень рад, что приехал»... И в тот же вечер убежал: «Нужно поговорить с Ященко». Ночью Рая шептала: «Я так тебя ждала! Ты знаешь — я верная»... Он не удивился. Рая возмутилась: я для него, как ящик,— уехал, запер, теперь вернулся — все на месте... А молодость проходит, последние ее дни...

Ей было еще труднее с мужем, чем до его отъезда. Он говорил только о своей работе или о том, что греки взяли какую-то Корчу. Не спрашивал, о чем она думает, чем живет. Она ему сказала: «Музыку я теперь совсем забросила». Он ответил: «Жалко» и развернул газету. Иногда он начинал жарко, почти богомольно целовать ее маленькие руки, приговаривая: «Рая! Раечка!..» И уходил. Службой она тяготилась. Начальник глядел на нее стеклянными глазами и говорил: «Разве вы не видите, что я занят?» Аленька все время была с бабушкой; так уж вышло — раньше Рая мало занималась дочкой, хотелось пойти в театр, потанцовать, а теперь Аля любила бабушку больше, чем мать. Рая никому не нужна, она может хоть сейчас умереть, никто не огорчится...

Неправда, Осип ее любит. Но странная это любовь! Может быть, так любят на другой планете... В мае его снова послали на Печору. Он обрадовался: «Интересно, как у них там двигается... Ты, Рая, не огорчайся, теперь это твердо на один месяц». Может быть, он скоро вернется, как обещал, может быть, застрянет на год, он ведь сам не знает... Разве это человек? И все-таки он ее любит, незадолго до отъезда признался: «Знаешь, Рая, я как-то там вышел... Зима, темно. И вдруг подумал, что тебя нет — забыла, ушла... Мне показалось, что я ослеп, никогда не увижу ни Киева, ни жизни. Прямо, как в романах, глупо звучит, но не могу себе представить жизнь без тебя...»

— А я?.. Кажется, я тоже люблю, думаю, страдаю из-за него. Может быть, это только привычка?.. Не знаю. А с Полонским совсем другое — когда он смотрит, мне хорошо и так страшно, что, кажется, сейчас умру... Пойду

с ним снова танцовать, только нужно все время улыбаться, тогда он не видит, что со мной...

Полонский был выше Раи и, танцуя, глядел на нее сверху; он не улыбался; лицо у него всегда было печальным, слегка обиженным — от формы рта, может быть от глаз. А он не был ни грустным, ни обиженным, радовался, что весь вечер с Раей. Влюбился он не на шутку, пропала путевка в Сочи: не мог расстаться. Встречи были нечастыми и всегда на людях. Он видел, что Рая к нему тянется и боится... Он не гадал, что будет дальше, жил от встречи до встречи. Разговаривали они как-то случайно, часто о пустяках, но пустяки казались им значительными, они переспрашивали друг друга, радовались, обижались; это была сеть недомолвок, смутных намеков; они переходили от стихов к названиям улиц, от улиц к дождю, от дождя к Шопену.

Они вышли из «Континенталя». Рая знала — нужно итти домой, говорить о чем-нибудь безразличном; а она пошла медленно в другую сторону, шла, как будто не замечала, что рядом Полонский.

— Почему вы не едете в Сочи?

— Не знаю.

— Вы думаете, что будет война?

— Нет.

— Вы были в Сочи?

— Нет, в Сухуми был.

— Хорошо?

— Мне больше всего понравилась дорога — из Одессы.

— Солнце и голубое море, правда?

— Нет, был сильный шторм. Многих укачало... Я простоял всю ночь на палубе. Страшно, но очень хорошо. Есть стихи:

> Ревет ураган,
> Поет океан...
> Мчится мгновенный век...

— А по-моему, это страшно, когда шторм... Я никогда не видела. Когда же вы поедете? В августе?

— Не знаю... Вдруг война будет...

— Вы только что сказали — не будет...

— Разве? Не знаю... Я сейчас подумал — увидимся ли мы еще?..

Они шли по пустой, темной улице. Кругом были сады. Над ними звезды. Он взял ее под руку, почувствовал, что она прижалась к нему. Ни о чем не думая, он поцеловал ее, она ответила; потом отобрала руку:

— Нет.

— Почему?

— Не знаю...

Он взял ее руку, она отдернула.

— Почему вы не хотите?..

Она молчала. Ускорила шаг; теперь они шли вниз к Крещатику. Он увидел, что у нее в глазах слезы. Они не разговаривали; только когда они подошли к дому, где жила Рая, она сказала:

— Вы не должны сердиться... Я не могу иначе, я это чувствую, а объяснить не умею ни вам, ни себе. Нет, не потому, что не хочу... Когда-то говорили «не так живи, как хочется»... Вот и бога нет, а все-таки, как хочется — нельзя...

Она была настолько взволнована происшедшим, что не подумала привести себя в порядок, так и пришла домой заплаканная. А Хана на беду не спала, увидев Раю, вскрикнула:

— Что случилось?..

— Ничего...

— Тут приходила Антонина Петровна, говорила, что немцы обязательно нападут, я уж не знаю, кто ей сказал... А ты, Раечка, что слышала?

— Я? Ничего...

Рая разделась, хотела лечь, вдруг услышала, что Хана плачет.

— Что ты?..

— Леву, наверно, убили... Чем мы прогневили бога?..

— А ты веришь в бога?

— Не знаю... Когда все хорошо, я об этом не думаю. А когда что-нибудь случается... Ты, Раечка, не сердись, у тебя книги, ты в театр ходишь... А у меня только это — вспомню, как когда-то молилась, и полегчает. Мне за Леву страшно...

— Если будет война, Осип пойдет...

— Ося крепкий. А Лева, как покойный Наум... Ося не растеряется. Я тебе скажу по правде — я Осю боюсь. Смешно — я его нянчила, а боюсь.

— Почему боишься?..

— Он молчит.

— Он, как ребенок, не умеет ничего сказать о себе. Я, кажется, сейчас его понимаю... С ним и счастья не нужно. Трудно только, ох, как трудно! Я не о нем говорю. Жить трудно. А ведь я и не жила еще, баловалась. И все-таки трудно...

Хана прижала ее к себе, как Алю:

— Знаю, все знаю... Только бы войны не было! А это уладится... Ну, вот и уладилось, вот и спишь...

Рая, измученная, уснула рядом с Ханой; во сне она чуть улыбалась; не так, как когда танцовала с Полонским; теперь ее улыбка была легкой, спокойной. Заснула и Хана. Дыхание, как часы, отмеряло время. А июньская ночь была короткой.

16

— Нужно хоть часок поспать,— сказал фельдфебель Грюн, которого звали «Тараканом», потому что он забавно топорщил свои жидкие длинные усы.

Он вскоре встал, ругаясь и позевывая:

— Не спится...

В ту ночь никому не спалось. Десять дней они стояли в этой деревне, изнывая от жары, от комаров, от неизвестности; и вот томлению пришел конец.

Молоденький солдат, с лицом по-детски припухлым, с очень светлыми изумленными глазами, сквернословил и плевался, вернее, делал вид, что плюется — во рту у него все пересохло. Это был Клеппер, сын домовладелицы в Гамбурге. Он трусил, но хотел быть храбрым: пусть Лотта знает, что он мужчина, а не школьник!.. Страх торчал где-то в нижней части живота. Клеппер размышлял вслух:

— Пауль говорил, что когда в Нидерштейне они покончили со всеми, там оставался один коммунист, он был левшой, и Пауль говорил, что его можно было раздавить одним пальцем, но они не могли его словить, и они попали

к чорту в штаны, потому что он бритвой зарезал Штрамера. Когда они окружили дом, где он спрятался, он убил двух штурмовиков, этот проклятый левша, он заставил их пропотеть всю ночь. Если в России много коммунистов, мы попадем в чортовы штаны...

— Ну, ну, мальчик, полегче,— сказал Таракан.— Твой левша был немцем, а здесь русские. Я видел одного русского, он не знал даже, как высморкаться. Они могли воевать, когда воевали с косами или вилами, а перед нашими игрушками они не успеют икнуть.

Таракан побывал в Польше, во Франции, он снисходительно разговаривал с необстрелянными сопляками.

— Это тебе, мальчик, не выборы, коммунист или нет, он не успеет опомниться. Я об одном жалею — почему мы не танкисты? Мы всегда опаздываем. У меня младший брат танкист, эти паршивцы снимают все пенки. Когда мы приезжаем, старые бутылки выпиты, а молоденькие девушки перепорчены.

Клеппер сделал над собой усилие и громко расхохотался. Он подумал, что хорошо бы сняться с какой-нибудь девчонкой и послать фотографию Лотте. Пусть знает, что он — настоящий мужчина... Но страх не проходил, теперь он ворочался под ложе́чкой. Клеппер небрежно спросил Таракана:

— А вы попадали в поганую историю?

— Я не вылезал из поганых историй. Когда мы подошли к Сомюру, наши танки были уже в Ля Рошелли. Откуда ни возьмись — они... Ты думаешь, это были французы? Чорта с два, это были черные, и они на нас лезли, как будто мы африканские козы. Пришлось поработать до вечера... Это, конечно, пакость — сенегальцы, но это умирает, как все прочее. Русские могут, если им вздумается, вымазать рожу ваксой, все равно перед нашими игрушками они не успеют побледнеть...

Ефрейтор с «железным крестом» поддержал Таракана:

— Когда у них были цари и немецкие генералы, они еще могли защищаться. Теперь они могут только агитировать. Это — колосс на глиняных ногах.

— Говорят, что там паршивые дороги.

— Ну, если мы проехали через Польшу, мы проедем и через тартарары.

Клеппер не мог успокоиться. Он снова сплюнул и сказал:

— Но фюрер объявил, что они собирались напасть на нас. Значит, у них большая армия...

— А ты, мальчик, думал, что это — Люксембург? Конечно, у них большая армия. Значит, нам придется построить большие лагеря для военнопленных.

Сорокалетний унтер Бауер, в прошлом учитель рисования, морщился: какая пакость!.. Зачем мы суемся в Россию? Неужели и русские должны стать наци?.. Хватит того, что они заставили нас маршировать по указке этих сморкачей. Во что я превратился? Таскаю у полячек кур... Ровно десять лет тому назад, нет, не в июне, в августе, я должен был поехать в Москву, я записался в «Интуристе» на Унтер ден Линден... Мы пошли туда с Фрицем. А потом Краузе пригласил меня в Герингсдорф, и я не поехал... Почему я здесь? Что мне сделали русские? Ровно ничего. А наци сделали из меня подлеца. Я, наверно, заразил ту девчонку, в Кельцах... Ее звали Янина... Противно! А эти идиоты радуются...

Клеппер решил написать Лотте; писал он витиевато, стараясь не выдать своих чувств: девушки любят презрительных сердцеедов. «Ужасная ночь последнего ожидания...» Он тщательно зачеркнул слово «ужасная» и поставил «роковая». «В Польше много красивых девушек, товарищи на них заглядывались. А мои мысли далеки. Туда, на Восток, где восходит солнце и где, может быть, зайдет моя жизнь!.. Через час — бой. Ты помнишь нашу прогулку в Обервальде? Я выполню все, что я сказал. Я тебе улыбаюсь с переднего края...» Кончив письмо, он вынул записную книжку, которую Лотта подарила ему, и записал: «21 июня. Ночь. Приказ. Никто не спит — готовимся. Ужас». Он попробовал утешить себя шоколадом, но, откусив кусок, выплюнул — тошнота подступала к горлу.

Рихтер не разговаривал, не слушал, он думал о Гильде. Сейчас она спит. А если нет... Вдруг у нее Роберт?.. На вокзале он стоял рядом с нею... Он остался в Берлине. Может быть, он у Гильды? Он приехал в девять, она

заставила его прождать полчаса в гостиной. Он смотрел книгу «Готика Германии» и нервно зевал. А она переодевалась, надела кимоно, голубое с цаплями, потерла пробочкой от духов шею, грудь, вышла, поглядела на Роберта круглыми печальными глазами: «Мой друг, вы здесь?..» Как будто она не знала, кто ее ждет! Потом вскрикнула: «О, Роберт!.. Что вы делаете?..» Сейчас она говорит: «Вдруг Курт узнает? Я не хочу его огорчать...» И Роберт жалеет: «Бедный Курт...» Нет, этого не может быть! Почему я терзаю себя дурацкими историями? Да еще в такую ночь... Нужно об этом забыть. И Рихтер заставил себя прислушаться к беседе.

— Они справились с Наполеоном,— говорил ефрейтор,— это сущая правда. Но тогда ездили на перекладных, а теперь все решают моторы, теперь расстояние не может никого испугать...

Рихтер в тоске подумал: они не знают, что такое Россия... Это не страна, это мир. Едешь, едешь — и не видно края... Человек все время ощущает свое ничтожество. Там можно и без войны потеряться — умрешь, никто не узнает... Конечно, у русских нет нашей организации. Это странные люди, на них нельзя положиться. Ты говоришь и не знаешь, что он через минуту выкинет... Они могут нас встретить с цветами, я не удивлюсь. А могут драться, как сумасшедшие. Я был там, но разве я их знаю? И полковник Вильке не знает, поэтому он говорил «полумирное проникновение». Можно понять француза, англичанина, голландца, а здесь — азиаты. Даже фюрер, наверно, не подозревает, что это за орешек...

— Конечно, их много,— говорил Таракан,— но китайцев еще больше. Война не арифметика... Я видел, как французский генерал сдался в плен, у него было на груди восемнадцать ленточек,— кажется, не сопляк, но он ревел, как теленок, потому что он видел, что перед немцами он — сопляк. Русских может быть больше, чем муравьев, это не имеет никакого значения. Я тебе говорю, мальчик, против наших игрушек нельзя пойти с вилами. Говорят, что у казаков хорошие кони, хотел бы я поглядеть на этих лошадок, когда покажутся наши танки.

Дурак,— подумал Рихтер,— он считает, что у русских нет танков. А для чего Кузнецк?.. Мы, кажется, недооцени-

ваем противника. Что значит «полумирное проникновение»? А сказать нельзя — решат, что я сею панику. Да и незачем запугивать, раз война — нужно победить, тогда все кончится. Господи, хоть бы скорее это кончилось!.. Гильда сказала: «Я буду ждать год, два года»... Но разве поймешь, что у женщины в сердце?.. Мы должны победить — у нас организация и динамизм. Такой Таракан не остановится, он лезет вперед, потому что не думает; его можно убить, переубедить его нельзя, в этом наша сила. Бесспорно, мы победим. Только далеко не все вернутся из России... Конечно, фюрер все учел. Польша, Франция, Норвегия, Фермопилы — этот человек умеет воевать... Плохо будет, если мы с ними не справимся до зимы. Русская зима — настоящее свинство. Я не был там зимой, но меня брала дрожь, когда они начинали рассказывать про свои морозы...

— Рихтер, хочешь рома? Это ямайский — из Бордо.

Рихтер выпил залпом полкружки.

— Он хорошо пахнет, но от него болит голова. Другое дело русская водка, она воняет, но это — замечательная микстура, ты можешь выпить две таких кружки, и наутро ты проснешься свеженький, как младенец.

— Я пил как-то водку в русском ресторане на Мотцштрассе.

Рихтер усмехнулся:

— Все хорошо на своем месте, я пил водку в Сибири.

Он сразу вырос — все глядели на него с уважением, даже ветераны, участники похода на Францию. Кто не знает Франции?.. А Рихтер своими глазами видел эту таинственную Россию...

Клеппер спросил:

— Ты думаешь, они будут защищаться?

— Этого я не знаю. Чем дольше их наблюдаешь, тем труднее их понять. Это люди без душевной организации. Когда они пьют водку, они морщатся, кряхтят, ругаются, можно подумать, что их заставляют глотать хинин. А я видел, как русские девушки клали кирпичи, дикое зрелище, у них были пальцы в крови, содраны ногти, и эти девчонки улыбались, как на свадьбе. Можешь ломать голову, в русских ты все равно ничего не поймешь. Но у них нет нашей организации, и мы их расколотим, это ясно

каждому. Зачем гадать — будут они защищаться или нет, это их дело, в обоих случаях мы будем в Москве, и я тебе даю слово, что я с большим удовольствием скушаю целый фунт икры.

— Это мажут на хлеб? — спросил Таракан.

— В Берлине это мажут на хлеб, а в Москве это едят ложкой.

— Ты что-то путаешь, я знаю, что это мажут на хлеб, как масло.

— Скоро увидите — я буду есть икру ложкой.

— А какие там женщины? Хуже полек?

— Разные. Ассортимент неплохой.

Таракан зашевелил усами:

— Я обниму первую москвичку в день моего рождения!

— Когда вы родились? — поспешно спросил Клеппер.

— Восьмого августа.

Клеппер подсчитал — сорок семь дней... Порядочное безобразие!

Ефрейтор сказал:

— Ты убежден, что эта музыка кончится до восьмого августа?

— Абсолютно убежден. Что икру едят ложкой, в это я не верю. А восьмого августа мы будем в Москве, если хочешь, держу пари — на первую московскую красотку. Считай сам — по тридцать километров, это немного, дней десять на перегруппировку, подтянуть тылы... Я-то изучил расписание...

— Я им покажу, что значит готовить удар в спину! — Клеппер выругался, а в его наивных глазах был ужас.— Они узнают, что такое чортовы штаны! Когда я буду в Москве, посмотрим, что станет с их девушками...

В стороне сидел Кличе, долговязый юноша в очках, студент философского факультета. Его сторонились; он стеснял и своим молчанием, и непонятными репликами. Пока другие пили, забавлялись с девушками, рассказывали непотребные анекдоты, он что-то записывал в большую тетрадь или сидел с книгой. Никогда этот человек не улыбался. Он презирал Таракана, товарищей по роте; только с Рихтером он иногда заговаривал о военных перспективах, о Ницше, об египетской архитектуре. Его прозвали «Марабу», он действительно походил на птицу —

горбоносый, с непомерно длинными руками, с голосом резким, как клекот. Отложив тетрадь, он сказал:

— Мы идем в Москву не за девушками. Вы поняли слова фюрера? У каждого из нас теперь одна невеста...— Он запнулся, потом выкрикнул: — Смерть!

Клеппер тоскливо зевнул. Таракан проворчал:

— Я предпочитаю, чтобы она целовалась с русскими, твоя невеста...

Короткая ночь умирала. Небо, которое и до того не спало, а только подремывало, начало розоветь, оживать. Вот там, за этой речкой — война, подумал Рихтер. Сколько о войне написано книг, а все-таки непонятно. Так и про любовь — пишут, пишут, а потом приходит какая-нибудь Гильда, дочь почтенного коммерсанта — знает английский язык, играет на рояле, самая что ни на есть порядочная девушка, и все оказывается ужасной игрой, будто ты едешь в горящем танке. За речкой такие же тусклые поля, так же квохчут курицы, женщины тащат ведра, белобрысые дети толпятся возле орудий... Через сорок минут все начнется... Рихтер хотел почувствовать, что это — исторические часы. Я — участник великого события, про меня будут читать правнуки. Но мысли разбегались, он видел то неубранную спальню Гильды, то огромное зеленое пространство; кружилась голова.

— Этот ром настоящая отрава.

Клеппер ответил:

— А я выхлестал целую кружку и хоть бы что... Правильное солдатское пойло. В Москве я попробую твою хваленую водку. Но эти русские узнают, что такое чортовы штаны!..

— Тише, мальчик, это тебе не кегли, это война! — Таракан вспомнил, как возле Бовэ убили такого же сопляка.

Другие весело кричали, кто о девушках, кто о Москве, кто просто горланил — светает, конец тоске, в поход. Марабу снова ушел в сторону и раскрыл тетрадь. В посветлевшем небе зеленая ракета показалась бледной, даже печальной. Рихтер вспомнил глаза Гильды и зажмурился. Перекликались деревенские петухи. Таракан зычно крикнул:

— Раз-два!

17

Вася с зимы работал в Минске. Кто же мог поверить Наташе, когда она вдруг заявила, что ее посылают на лето в Минск? «Так вышло, чистая случайность...» Чем больше она объясняла, тем становилось яснее, что она придумывает. Какие-то самолеты, которые должны опрыскивать плодовые сады от вредителей... Хорошо, но почему в Минске?.. Дмитрий Алексеевич сначала заинтересовался опрыскиванием, а потом загрохотал:

— Наташка, что ты меня за нос водишь? Я-то, дурак, слушаю... Я тебе давно сказал — он мне нравится. И тебе он нравится, нечего хвостом вертеть. Двадцать один год девке, кажется, совершеннолетняя...

Наташа рассмеялась. Вася тоже не поверит, решит — не вытерпела. Немного обидно. А, может, и не вытерпела бы... Зачем разыгрывать бесчувственную? Пусть думает, что хочет. Зато увидит ее и скажет... Из него слова не вытянешь, а нужно объясниться — да или нет. Самое смешное, что это правда, ее действительно посылают в Минск. Неслыханная удача, как в сказке... Ей предложили три места на выбор, но ведь Минска могло не быть.

Дмитрий Алексеевич говорил:

— Сияет, будто в Неаполь едет. У тебя мордочка без ставен — все видно. Ты хоть бы иногда сдерживалась, ну, скажем, когда отца разыгрываешь.

Июнь был зеленым и горячим. Вася сам понимал, что пора объясниться, ведь неспроста приехала Наташа... Здесь легче — нет ни матери, ни Дмитрия Алексеевича, никто не станет расспрашивать. Напишем и все... Но как сказать Наташе? Вася с завистью подумал: «Сергей сумел бы, он оратор...»

Два дня Вася раздумывал и решил, что нужно обойтись без громких слов. Если начать про любовь, Наташа может рассмеяться — что за опера! О любви нельзя говорить, это только в книгах. Вот Дмитрию Алексеевичу понравилось «слышу трепет крыл». А если сказать, получится глупо... Наверно, Маяковский говорил с девушкой иначе, может быть, совсем не говорил про чувства. Лучше

всего сказать: «Давай жить вместе...» Нет, это грубо. Спросить: «Хочешь со мной навсегда?» Помпезно — почему «навсегда»? Снова опера...

Так он ничего и не придумал. Вышло все без слов. Лукавые глаза Наташи посмеивались, и Вася сказал: «Ты — чертенок»... Она застеснялась, ушла в угол, он ее вытащил и вдруг обнял. Они смеялись, как сумасшедшие, целовались, взяв друг друга за руки, кружились по комнате. Потом он ее подхватил: «Легкая ты! Как перышко»... Она сказала: «Посмотрим. А вдруг у меня окажется тяжелый характер?..» И прыснула: ей стало смешно, что у нее может оказаться «тяжелый характер». Они замолкли, перепуганные полнотою счастья. Так вот это что, подумала Наташа, совсем не так, как говорили... Можно сойти с ума... Вася вспомнил появление сконфуженной Наташи и снова засмеялся: «Помнишь, ты говорила — «честное слово, опрыскивание с воздуха»... Она не дала ему договорить, поцеловала.

Они должны были провести выходной вместе, и день, который уж занимался, представлялся им продолжением этой удивительной ночи. Они друг друга стыдились; то она, то он говорили «зачем смотришь?», «отвернись», а через минуту, забыв все, целовались. Наташа вскипятила чай, изображала из себя хозяйку: «Я тебе варенья куплю. Ты думаешь, я не видела, как ты у нас по три раза накладывал...»

Он хотел показать ей «свои» дома. День был солнечным и ветреным. Галстук Васи смешно развевался; Наташа с трудом удерживала юбку.

— Ветер...

— Зато не жарко. Потом в лес поедем — хорошо?

Он говорил ей о новых домах:

— Мне эти украшения не нравятся, ничего не поделаешь — материал плохой, приходится прикрывать... Через два-три года будет хороший материал, тогда и формы будут строже...

Наташа нахмурилась, потом улыбнулась:

— Я, Вася, в этом ничего не понимаю. Но ты увидишь — через два-три года я буду все понимать. Как раз к сроку — у тебя будет солидный материал и солидная жена.

Они шли молча — переживали свое счастье. Вдруг кто-то схватил Васю за руку. Он обернулся — его сослуживец Липецкий.

— Сейчас будет выступать! Немцы уже сообщили...

Из раскрытого окна раздался голос Молотова. Потом слова сменила музыка. А Наташа и Вася все еще стояли, не могли опомниться.

Мир гудел, как огромный встревоженный улей. Дмитрий Алексеевич, красный от гнева, повторял: «Варвары! Что за варвары!» Уже шли бои в Польше, в Литве. Рихтер прикрыл орудие ветками березы, и ветки горько пахли. В Гейдельберге толстая Герта задыхалась от волнения: ее Иоганн не сегодня завтра возьмет Москву. В Берлине люди пели, кричали, ждали победных сводок. Далеко на севере Осип произносил речь: «Коварные фашисты вероломным образом...» Уткнувшись в подушку, плакала Валя. А в Париже Миле говорил Мари: «Теперь фашистам крышка. Русские придут сюда, понимаешь?..» Нивель писал: «Жребий брошен — мы или они...» Среди литовских лесов трещали мотоциклы. Горели белорусские села. Раненая девочка звала «мама!» В Москве на радиоузле кто-то кричал: «Что будет с передачами? Пускайте песни!..» И песни растекались по потрясенным городам, песни глубокого мира — о садах, о соловье, о счастье. Надрывались пушки, грохот рос, крепчал.

И маленькая Наташа, у которой все было написано на лице, только-только узнавшая, зачем живут люди, стояла, не могла двинуться: судьба свалилась и на нее, судьба людей, России, мира.

Кругом шумели:

— Негодяи!

— Я так и знал...

— Ты всегда говоришь, что знал раньше...

— Без всякого предупреждения... Гады!

— А что же немецкие коммунисты?..

— Теперь они выступят...

— Замечательно он сказал — «победа будет за нами».

— Это им не Франция!..

— Я боюсь, что они налетят...

— Ты думаешь, война будет долго?..

— При современной технике...

— Наверно, наши уже перешли границу...
— Возьмут тебя, Мишенька...
— Мама, на тебя все смотрят...
— Я боюсь, что они налетят на Минск...
— Вы не волнуйтесь, их не пустят...
— Как они не понимают, что у нас неистощимые ресурсы?..
— Мы живем в самом ужасном месте — возле электростанции...
— Иду в военкомат!..
— Ох, горе!..

Вася пошел к себе на стройку. Наташа в Университетский городок.

Расставаясь, она сказала:

— Как это странно... Именно сегодня...
— Наташа, что бы ни было, мы теперь связаны... Навсегда.

Он больше не боялся произнести это слово.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Наташу поставили дежурить на крышу. Ночью город был черным, как лес, и Наташа ежилась — темнота ее пугала. На следующий день то и дело давали тревогу — летали вражеские разведчики. Наташе это казалось забавной игрой, она думала, что фашистов не подпускают. А у диктора был такой веселый голос, когда он объявлял: «Угроза воздушного нападения миновала...» И сразу все вылезали из подвалов, из щелей.

Под вечер Наташа выбралась на часок — побежала навестить Васю. Он был угрюм, озабочен.

— В военкомате говорят «ждите». А как можно ждать? Я видел беженцев из Западной Белоруссии... Они напали исподтишка, но через несколько дней все переменится, мы подтягиваем силы. Ужасно глупо, что я в корпусной артиллерии, теперь самое важное противотанковая...

Она торопилась — дежурство. Ушла и вернулась:

— Я тебе забыла сказать... Бегу, меня ждут... Я постараюсь прийти завтра... Слушай, Вася, если не увидимся, ты помни — у тебя теперь жена.

Она поцеловала его, не обращая внимания на людей.

Когда она вернулась на крышу, ее встретили радостной вестью: сбили четыре стервятника. Ночью ей не было страшно, а грохот зениток радовал — вот какая у нас сила! Наташа чувствовала себя солдатом: и я воюю.

Во вторник утром она увидела очень много самолетов, они сверкали в ясном небе; было красиво, празднично. Наташа сказала незнакомому студенту:

— Вот они, наши!..

Вдруг все затряслось, раздался сильный взрыв, другой, третий... Студент пригнул ее к земле. Она не поняла и выпрямилась. Снова... Она схватилась руками за лицо, как будто хотела заслонить глаза. Когда она поглядела, все было в черном дыму — загорелся большой корпус. Ей стало страшно: испугал огонь. Потом поднялась злоба: негодяи, убивают безоружных жителей!.. И я ничего не могу сделать. Стою и смотрю, вот что самое ужасное...

Теперь горели дома возле заводов. Там Вася!.. Наташа больше не чувствовала страха, ничего не чувствовала, кроме ярости: стучало в висках, трудно было вздохнуть. Хоть бы сбили!.. И когда один из бомбардировщиков загорелся, Наташа в исступлении крикнула: «Сбили! Сбили!» Другие самолеты продолжали бомбить город.

— Зажигалка!

Наташа ничего не соображала, а делала все, что нужно.

Студент поздравлял ее, тряс руку. Она снова услышала грохот — как будто поезд несется прямо на нее; пригнулась, но взрыва не было. Наконец самолеты улетели.

Наташа бежала к заводам; под ногами кричали осколки стекла. Женщины тащили детей, узлы. Нельзя было пройти — воронки, камни. Некоторые дома горели. Васи она не нашла: он ушел в горком. Липецкий ее успокоил: «Я его видел после отбоя. У нас порядочно жертв...»

Вернувшись в Университетский городок, Наташа увидела возле физического корпуса неразорвавшуюся бомбу. Та самая... Стало страшно от мысли: могла бы я сейчас лежать мертвая, и ни солнца, ни Васи, ничего! Страшно, что ни-че-го!.. К зданию Медицинского института подъехала машина; начали вытаскивать трупы: женщина лет сорока, мужчина в белой рубашке с вышивкой, девочка — ноги оторваны, а лицо, как будто не мертвая, спит, похожа на поломанную куклу; старый еврей, беременная женщина... Никогда до этого Наташа не видела мертвых, и ей хотелось отвернуться, но она заставила себя смот-

реть. Так, может быть, и меня потащат — завтра или через неделю... Бояться нечего, им теперь не страшно, не больно. Вот родным... Хоть бы Васю не убили, это главное... Какая красивая девочка!.. Трупы покрыли брезентом. Потом привезли раненую старушку, она кричала от боли, ее руки были скрючены. Когда ее вынесли из машины, на песке осталась узенькая полоска крови. А кругом еще все напоминало мир: сквер, фонтан, зеленые скамейки с надписями «Варя», «7/V 1941», «Выдержала!», «Не верь Маше...»

Вечером сказали, что разрушена электростанция. Загорелся Комаровский лес, воздух стал горячим, удушливым. Всю ночь Наташа глядела на огонь и думала о Васе. Утром он пришел, и первое, что сказал:

— Мои дома!.. Ничего не осталось, мусор... Все равно, построим другие... Ужасно, что в военкомате отвечают «ждите»! Я за тебя боюсь, ты должна уехать...

— А ты?

— Я командир запаса, меня могут через час направить в часть. А ты должна уехать. У них сейчас перевес. Через несколько недель будет наоборот, но сейчас положение тяжелое...

— Как же я уеду без тебя?..

— Теперь, Наташа, все расстаются. И ты должна меня слушать, я в этом лучше разбираюсь. Тебя довезут до Борисова, а оттуда поездом в Москву... Они сейчас уезжают, нужно торопиться.

Все это было так неожиданно, что Наташа не успела осознать разлуку. Она стояла на грузовике среди других женщин; ее обступили, а она хотела еще раз взглянуть на Васю; увидела, что он пробует улыбнуться. Может быть, больше не увижу!.. Все в ней замерло. Они проезжали мимо горевших домов; женщины прижимали к себе детей, плакали и от ужаса, и от дыма; говорили об одном — удастся ли выбраться?

По шоссе двигались машины, телеги; плелись старухи с узлами; одна женщина несла на себе швейную машину; какой-то пожилой человек тащил большой тюк с книгами, все время садился на горячую пыль, говорил: «Это мои работы за тридцать лет...» Женщина потеряла ребенка, она кидалась к каждому: «Не видали девочку в розовом

платьице?..» Грузовик, на котором ехала Наташа, с трудом продвигался вперед; порой пыль закрывала все, так что не было видно людей, только раздавались вопли, детский плач, гудки.

Вдруг водитель резко затормозил.

— Беги!..

Женщины с ребятишками забрались в канаву. Наташа побежала за другими; потом посмотрела — что случилось? Рядом с ней стоял человек, прижимая к груди портфель; он глядел на небо, заслонясь рукой от солнца. Наташа увидела три самолета. Низко как!.. Почему-то ей вспомнились мечты: профессор Карцев хотел ее взять на свои опыты — они опрыскивали яблони с самолета... Она представила себе яблоню в цвету. Что-то очень громко затрещало. Она легла, не задумываясь, вероятно потому, что лег человек с портфелем. Стреляли. Она лежала плашмя, ей хотелось стать плоской, врасти в землю.

Когда все затихло, она встала, отряхнулась; весело сказала человеку с портфелем:

— Отбой! Можно двигаться...

Он не ответил. Наверно, ему дурно... Нужно расстегнуть рубашку... Она дотронулась до его груди и тотчас отдернула руку — кровь была густой, липкой. Он все еще прижимал к себе портфель. Наташа, как это делал отец, прижалась ухом к его груди; сердце не билось. Она вся измазалась в крови, закричала; никто не подошел. Она жадно вглядывалась в лицо мертвого — чем-то напоминал он отца, только моложе... С грузовика кричали, что ждать не будут. Наташа хотела взять портфель, но рука была крепко сжата.

Вскоре грузовик остановился. Впереди стреляли. Толпа неслась навстречу; кричали, будто немцы скинули воздушный десант.

— Парашютисты возле Борисова!..

Военных не было. Люди метались, уходили в лес. Некоторые говорили, что лучше вернуться домой — немцы повсюду... Рябой человек лет сорока кричал:

— Что они, волки?.. Мы не коммунисты... Вот если ты еврей, это дело другое...

Он выговаривал «яврей».

Наташа вышла из себя:

— Да как вы смеете? Вы что — фашист?

— Человек я. А ты кто, чтобы меня допрашивать?

— Я?.. Студентка. Комсомолка.

Он ухмыльнулся:

— Ну и учись, если студентка. А меня учить нечего, я ученый.

Наташа покраснела от возмущения:

— Я — жена командира, а вы — изменник!

Когда она сказала, что она — жена командира, несколько женщин взяли ее сторону. Одна из них крикнула:

— У меня два сына — командиры. А ты, гад, немцу радуешься?

Рябой скрылся в толпе.

Стреляли, нельзя было понять, в кого. Водитель выругался.

— В бой пошлют — пойду, а зачем зря погибать?..

Наташа видела — он бледный, ни кровинки, а губы дрожат. Он бросил машину, ушел.

Наташа оказалась одна; людей было много, но она никого не знала. Она прошла несколько часов не останавливаясь. Дорогу два раза обстреливали, и она шла лесом. На минуту ей показалось, что ничего не произошло, просто она гуляет — вот земляника, сладкая-сладкая... Никто ее не будет собирать. Ведь война... Человек с портфелем остался у дороги... Наверно, врач или учитель... Что с Васей?.. Сейчас в Минске все горит... Хоть бы его скорее направили в часть, там все вместе, легче... А в городе ужасно — люди разбежались, только он стоит и пробует улыбаться...

Она проспала до вечера, потом снова пошла. Лес кончился. Она попросила у крестьянки напиться. Та принесла молока, жалела, приговаривала:

— Куда идешь? У немца машины, он обгонит...

Наташе было невыразимо страшно, она не боялась смерти, страшно было от чужого страха, от чужих слез, от этой жалости. Мечутся бестолку, а немцы спокойно убивают... И дети плачут, и телеги плачут, и все завертелось, как волчок, нет ни смысла, ни выхода...

На следующий день она едва шла, измученная, душевно растерянная. Вдруг она увидела военных: это были артиллеристы. Она спросила:

— Немцев впереди нет?

Красноармеец засмеялся:

— Ты, может, думаешь, что в Москве немцы?

Другой, оглядев Наташу, дружески сказал:

— Чего смеешься? Видишь, гражданочка перепугалась. Она этому делу необученная... Вы, гражданочка, не волнуйтесь, нервы еще потребуются. Немцы, конечно, сунулись, а погодите неделю-другую, мы их шибанем...

Ей хотелось расцеловать этих людей. Они говорили, как Вася. Почему она пала духом? Стыдно!.. Женщины с детьми — понятно, что паника... Есть и трусы... А эти крепкие, смеются... Армия такая — значит, правда: неделя, ну месяц — и кончится... Тогда наши пойдут по Германии...

К концу дня ее взяли на грузовик. Они доехали до Смоленска. Здесь Наташе пришлось снова пережить бомбежку. Она проверяла себя. Не боюсь, правда, что не боюсь! Уже знаю — какие наши, какие вражеские... Бояться нельзя, нужно воевать, как Вася, как те артиллеристы, как весь народ...

Дмитрий Алексеевич ахнул, увидав Наташу: может быть, от усталости или от всего ею пережитого, но только стала она другой — взрослой.

— Да ты здорова? Смотри, теперь не время хворать. Я лечить не буду, хватит с меня раненых!.. Ладно, иди мыться, потом поешь и спать, завтра расскажешь...

Однако он не выдержал, стал расспрашивать, как она добралась. Она рассказала про все; и среди страшных видений горящего Минска прошли незамеченными (так ей по крайней мере показалось) сказанные вскользь слова: «Мы с Васей поженились».

— Как раз во-время приехала,— сказал Дмитрий Алексеевич,— маму отправляю к тете Оле в Аткарск. Ты с мамой поедешь, здесь оставаться глупо — Москву бомбить будут, это ясно. А никому вы здесь не нужны, только волнение...

Наташа покачала головой:

— Я в Аткарск не поеду. Ты не кричи, все равно не поеду. Я поеду на фронт, да, да, это не фантазия, я все обдумала, это мое твердое решение...

— Скажи, пожалуйста, а отец и мать зачем? Куда ты на фронт поедешь? Это тебе не «опрыскивание»! Вася

воюет, значит и она туда же!.. Это, милая, война, понимаешь?

— Понимаю. И Вася тут ни при чем... Я не могу остаться в тылу, я себя замучаю... Я видела, как они детей убивали. Человека убили, рядом со мной... Портфель я не взяла, дура, нужно бы семье написать... Я их ненавижу! И ты не спорь, папа, это очень серьезно. Я себя проверяла, не убегу, выдержу...

Мать стала плакать. А Дмитрий Алексеевич вдруг обнял Наташу:

— Молодец!.. Нет, эти дикари нас не возьмут, не на таких напали! Вот какой у нас народ, девчонка, стрекоза, и та — воевать!.. Эх, Наташа, маму жалко — ведь я в армию двигаюсь, скучно ей будет одной. Скучно тебе будет, Варенька, чувствую, но ты потерпи, иначе невозможно... Это Наташа правду говорит — иначе себя изгрызешь...

2

Вася говорил лейтенанту Аванесяну:

— Какой же это командир батареи? Он не знает самых элементарных вещей — «ДК», «ДБ». Неудивительно, что нас бьют!..

На самом деле все происходившее казалось Васе удивительным, непостижимым. Тщетно он искал объяснения. Несколько дней тому назад он обвинял во всем Благова: гад, посмел сказать, что с немцами мы все равно не справимся! Росли, учились, благоденствовали, а теперь поворачиваются спиной к народу, готовы лизать немецкий сапог!.. Потом пришел техник из БАО, рассказал, что возле Гродно самолеты будто были заправлены вместо горючего водой. Вася был потрясен: значит, есть изменники! Притаились, а теперь жалят... Может быть, от этого?.. Вчера Аванесян сказал, что две батареи послали вперед, а боеприпасов не дали. Этакое разгильдяйство! Есть, видимо, люди, которые воюют спустя рукава, а здесь важна каждая мелочь... Сейчас Вася возмущался невежеством старшего лейтенанта Долгопятова:

— Ясно, что такой не умеет воевать.— Помолчав, он добавил: — А разве я умею?..

Сводка снова плохая: «превосходящие силы...» Неужели их нельзя остановить? Ведь мы сильнее... Конечно, есть трусы, предатели, дураки. Но сколько их?.. Это исключения. А народ держится замечательно. И есть костяк — партия, есть Сталин. Разве можно сравнить фашиста с нашим бойцом? Почему мы отступаем? Ужасно, что никто не может объяснить!.. Вася три дня назад заговорил с капитаном Ненашиным, тот отрезал: «Паникуете?..» Аванесян смотрит добрыми печальными глазами и молчит — тоже не понимает..

В первые дни Вася думал, что плохо только на его участке.Теперь ясно — отступают повсюду. Значит, повсюду то же самое, как говорит Аванесян, «сплошная каша». Люди сражаются хорошо. Вчера ранили в живот Волкова, раненный, он кричал: «Кто подавать будет?..» Они держались под страшным огнем, потом узнали, что пехота давно отошла. По три раза в день слышишь это проклятое слово «окружение», стоит одному сказать — и все начинают нервничать, прислушиваются, откуда стреляют. А стреляют отовсюду — танки прорываются, мотоциклисты... Нельзя добиться, куда итти, что делать. Сказали, что их придают дивизии, которая прорвалась из Бреста, а дивизии не оказалось. Теперь неизвестно, кто ими командует... Приходится пробиваться самим. Подходишь к селу и думаешь: вдруг там немецкая засада?.. Сколько они прошли так? Да, наверно, двести километров, не меньше. Он был зачислен двадцать пятого, сегодня третье или четвертое, всего неделя...

— Ты понимаешь, что это за безобразие? — спросил Аванесян. Он вслух сказал то, что мучило Васю. И неожиданно для себя Вася ответил:

— Ничего нет удивительного, они два года воюют. Научимся... А пока скверно!.. Воюем по-детски, каракулями. Может быть, кадровые лучше разбираются, но и для них это дело новое... Знаешь, почему нам трудно? Мы необстрелянные. Возьми меня, мне жизнь казалась прямой, ровной дорогой. Отец и мать, те боролись: отца сослали, мать в тюрьме сидела. А я пришел на все готовое. Даже решать не приходилось. Бац!.. Я в Минске был, с девушкой шел и вдруг — война! Кажется, так птенцов учат — из гнезда выбрасывают — полетит или разобьется. Мы-то

не разобьемся, не такие... Только теперь нужно думать по-другому, как — я сам не знаю, а по-другому...

— Хоть бы добиться, какое задание! — Аванесян тоскливо зевнул.— Сплошная каша!

Их теперь было свыше сотни; с ними шли остатки саперного батальона — вырвались из окружения.

Казалось это Васе или вправду — природа в те дни была особенно красивой, приподнятой, задушевной. Глядя то на луга, расцвеченные колокольчиками, гвоздиками, львиным зевом, то на полные таинственной свежести темные леса, Вася думал: и это отдаем, самое простое, милое— ромашки, чернику, аукание, дерево, которое видело деда, нежный душистый мох — землю, вот именно землю!.. Он почувствовал, что земля — не понятие, не почва, не просто то, что под ногами,— за такую умирают, за теплую, черную или зеленую, за этот кустик, весь в белых хлопьях...

Спали в лесу. Кругом шла стрельба. Люди были измучены, казалось, хоть над ухом стреляй — не подымутся... Рассвело: все стало розовым. Четверть часа было тихо; даже дятел застучал. И вдруг где-то близко — пулемет... До большака было три километра. Несколько бойцов вызвались: «Сходим посмотрим...» Час спустя один вернулся: на большаке немцы.

— Где Горев и Ковальчук? — спросил Вася.

— Горева убили.

— А Ковальчук?

— Он, когда туда шли, говорил: «Нечего смотреть...» Говорил, что у него здесь семья неподалеку. Как увидали немцев, я лег. А он, гад, к ним пополз...

Лукачев сказал:

— Понятно...

У Лукачева лицо было искривленное от страха, как будто он выпил уксусу; говорил он с надрывом:

— Все равно не выберемся... Они Минск взяли, а мы здесь, как дураки, топчемся. Сдаваться нужно, вот что! Если кто из начальства умирать хочет...

Один боец робко спросил:

— А они Ковальчука не прикончат?..

Вася подошел к Долгопятову:

— Товарищ старший лейтенант, прикажите расстрелять.

Долгопятов молчал. Вася увидел, что глаза у него мутные, невидящие. А Лукачев продолжал выкрикивать:

— Нас они не тронут — мы по призыву!..

Тогда Вася подошел к нему, выстрелил в упор. Лукачев упал на живот, кричал, но слов нельзя было разобрать. Вася еще раз выстрелил — в голову. Боец, который ходил к большаку, выругался:

— Гад! Ах, гад!..

Вася молчал; кровь стучала в голове; то и дело он вытирал рукой мокрое лицо. Успокоившись, он сказал Аванесяну:

— Первый, кого убил — наш...

— Сплошная каша,— ответил Аванесян.

К вечеру они вышли из леса. Лаяли собаки: рядом была деревня. Они остановились — там могут быть немцы. Но людей замучил голод, даже сухарей больше не было. Охотники пошли посмотреть; немцев в деревне не оказалось. Люди накинулись на хлеб, на молоко, на сало.

Вася и Аванесян сидели в хате. Крепкая грудастая девка пекла оладьи и улыбалась. Пищал ребенок. Тикали ходики. Мед был сладким и пахучим. Мир, глубокий мир. Можно ли поверить, что неподалеку идет бой, люди падают, хрипят, умирают?..

На печи лежал человек лет тридцати. Вася не сразу его заметил. Он, свесившись, глядел на военных. Когда Вася спросил, как пройти лесом к Могилевскому шоссе, он ответил:

— Я не здешний... Все равно не уйдете,— пешие, а у него машин сколько, мотоциклы...

Вася рассердился:

— Ты что — молодой, а не в армии? Дезертир?

— Зачем дезертир? У меня одного пальца нет...

Старая хозяйка объяснила, как пройти, потом заплакала:

— Сынок у меня в армии. Ходит, как вы... Вы медку покушайте...

Человек на печи не унимался:

— У немца сила. А наши что?.. Утекают...

Тихий Аванесян рассвирепел:

— Ты посмотри, дурень, какая у нас страна! Что они, до Кавказа дойдут? Они напали исподтишка, как последний подлец, вот и получилась сплошная каша... Погоди, скоро мы порядок наведем! Одного пальца, говоришь, нет? Ничего, девять есть, можешь воевать. Вот головы у тебя нет, это хуже...

У грудастой девки глаза были, как бусы, яркие и неподвижные; нельзя было понять, что у нее на сердце. Хозяйка всхлипывала, утирая рукавом глаза. Дед затянулся махоркой, закашлялся и сказал:

— Ох, как тяжело, сынок, и не скажешь!

От этих слов Васе стало сразу легче. Народ хороший, не поддается... Только бы выбраться! Он подложил руку под голову и уснул.

До полудня они шли лесом; потом началась открытая местность. Солнце палило. Теперь не было слышно трескотни пулеметов, да и канонада стала далекой. Все успокоились. Васю мучила жажда. Он вспоминал киоск в Минске — ледяная газированная вода... Как он тогда не выпил всего, что было?.. Один глоточек! Но не было и глотка.

Когда солнце зашло, вдруг очень близко затрещал пулемет; они нарвались на противника. Сначала они не понимали, откуда стреляют; потом осмотрелись — из оврага. Там засели немцы. Овраг был перед речкой. Вася считал, что за речкой — наши. Укрыться в поле было негде. Долгопятов как будто очнулся от долгого сна; он тонко, даже визгливо крикнул «ура» и побежал вперед; тотчас он свалился — пуля попала в грудь. Они бежали, ложились за бугорками и снова бежали. Вася ничего не помнил, был сильно возбужден, ругался; бежал он с наганом; боец подал ему винтовку, взятую у раненого, и Вася побежал с винтовкой наперевес. Он убил двух немцев. Они прорвались через речку. Аванесян был ранен в руку, но радовался, как дитя:

— Ты только подумай — артиллеристы, саперы, а победили в рукопашном!.. Вот тебе и наука!.. Ты-то волновался, что Долгопятов не знает «ДБ»!.. Сплошная каша! Жалко Долгопятова, умер он замечательно! А тюкнули мы немцев здорово!..

Они прошли еще несколько часов, и снова началась стрельба. Стреляли на этот раз свои — думали, что идут немцы. К счастью, никого не убили, только легко ранили одного сапера. Зато потом долго ругались, добродушно, но свирепо. Это был полк, недавно прибывший из Могилева; бойцы еще ни разу не участвовали в бою, нервничали. Среди них было много кавказцев. Один допытывался у Аванесяна:

— Немец какой? Злой? А танков у него много?

Лейтенант накормил Васю и Аванесяна. Пришла медсестра, толстая и сонная, с ласковыми глазами. Она перевязала руку Аванесяну.

— Это моя первая перевязка на фронте... Кость не затронута, пустяки...

Они хорошо выспались. А только рассвело — немцы начали бомбить лесок. Медсестра боялась, говорила без остановки: «Ох! Ох!»,— казалось, что она пыхтит. Два бойца ее успокаивали:

— Не бойся! Тебя не заметят...

И с удовольствием они гладили ее широкую теплую спину.

Вася был счастлив; он даже не заметил, как бомбили лес. Выбрались, вот это удача!.. Ему казалось, что все страшное позади. Еще вчера он не мог думать о Наташе, она была бесконечно далеко. А сейчас он спросил лейтенанта:

— Письма получаете?..

Сегодня напишу, что вышли из окружения. Нет, лучше об этом не писать — разволнуется... Зачем им в Москве знать?.. Пусть думают, что все хорошо. Скоро будет хорошо, обязательно будет. Я всего десять дней как воюю, а кой-чему научился. Раньше все гадал — страшно или нет? Думал — вдруг струшу? А теперь знаю — до того, как начинается, очень страшно, есть не хочется, мутит. А когда бежал на них, не было страшно, тогда ничего не чувствуешь, остается одно — нужно добежать — и шум в голове... Хорошо, что мы попали в этот полк, у них все благополучно, материальная часть, кажется командиры толковые... Очевидно, здесь решили создать рубеж. Пора! Лейтенант давеча говорил, будто немцы дошли до Березины. Наверно, отдельные танки,

их можно отрезать... Наташа обрадуется письму... А вдруг она не доехала?.. Нет, этого не может быть. Они выехали двадцать пятого, тогда на шоссе все было спокойно. Конечно, могли бомбить, но от этого больше шума, чем беды... Сейчас она в Москве, думает, что со мною... Наташенька!

Так никогда он ее не называл, а сейчас сказал вслух. Аванесян переспросил:

— Ты что?

Вася не ответил, только заулыбался.

Потом они прошли в палатку к майору Балашову. Вася доложил, как они шли из Ракова — старший лейтенант Долгопятов и шесть бойцов погибли в бою, трое тяжело ранены, саперов вывел лейтенант Рубен. Майор угостил папиросами, и Вася блаженно затянулся — «Беломор»! А Балашов сказал:

— Полк наш попал в окружение. Ждем приказа. Будете выходить с нами.

3

Дни напоминают ожерелье — бусинка за бусинкой, и когда рассыпаются бусы, значит, в дом человека вошла беда. В то горячее зеленое лето рассыпалось ожерелье народа: вчерашний день стал далеким и непонятным. Давно ли Сергей спорил с Бельчевым, защищая свой проект; Нина Георгиевна восхищалась учеником, который декламирует Гюго; Лукутин сидел над описаниями нового строительного материала, как будто это строфы вдохновенной поэмы? Давно ли люди говорили о домах отдыха, о путевках, радовались, что получили квартиру, прицениваліись к удобному креслу, ревновали, волновались, что у сына двойка по арифметике, спорили о постановке «Госпожи Бовари»? Давно ли жизнь, несмотря на тысячи огорчений, обид, трудностей, казалась крепко налаженной, прочной, радостной? И кто-то разрезал шелковинку — дни, годы, жизнь распались.

Возле призывных участков молча стояли женщины; было мало слез — слишком большие чувства теснили сердце. Пиджаки, парусиновые дачные костюмы повисли

на гвоздях, как осужденные. Театры опустели; ожили вокзалы.

— Я с Киевского...

— В тринадцать ноль-ноль на Белорусский...

Ночью возле домов стояли старики, женщины, подростки — дежурили; всем это было внове, люди чувствовали гордость и тревогу. Привезли золотой песок; когда какой-нибудь малыш бежал к песочку, думая, что это для него,— у матери сердце обливалось кровью.

В жизнь вошел некто с хриплым голосом, он глядел на людей круглым лицом, у него не было ни глаз, ни ушей, только рот, изрыгавший страшные слова: «У Острова... На Днепре...» Встречаясь, люди угрюмо говорили:

— Сегодня новое направление...

Война с каждым днем приближалась к Москве. Опустели дачные места; в садах цвели левкои, лакфиоль, табак; а рядом с клумбами зенитчики рыли укрытия. Начали эвакуировать детские дома, школы.

С востока шли эшелоны; бойцы угрюмо, настороженно молчали; редко раздавались шутка, смех. Навстречу медленно двигались эвакуированные; жена командира из Каунаса была в чужом, слишком узком платье — она выбежала из дому, когда бомбили город, и не успела одеться; старая еврейка возле Белостока потеряла внучку, зачем-то она держала куклу девочки; женщины на полустанках разводили огонь, стряпали; грудные дети кричали.

В Москву привезли первую партию раненых. Сестры слушали удивительные рассказы о том, как пограничники взрывали танки, повторяли слова бойцов: «Мы их доконаем...» Репродуктор изрыгал то грозные сводки, то веселые песни, но песни не веселили. А возле памятника Пушкину ребята играли «в войну» — эти не понимали, что значит «Смоленское направление».

Глядя на них, Лукутин чувствовал ярость: он вспоминал Рихтера. Такой способен на все...

В первые дни войны Лукутин отправил жену и дочку на Волгу. Катя сначала заупрямилась:

— Пользуешься случаем, чтобы меня сплавить?.. А ты представляешь себе жизнь в Саратове?..

Он не отвечал: боялся рассердить Катю. Он не чувствовал к этой женщине с бледнозолотыми крашеными во-

лосами, с ногтями, будто обмакнутыми в кровь, ни любви, ни ненависти; чужая, по прихоти судьбы она оказалась рядом с ним. Он ее терпел; был слишком робок для того, чтобы изменить жизнь, да и не мог расстаться с Поленькой. Дочке Лукутина было четыре года, но ему казалось, что она способна его понять и утешить; полушутя, полусерьезно он говорил Поленьке: «Ты мой друг!» Он хотел, чтобы жена уехала из Москвы только потому, что боялся за Поленьку, боялся суеверно — фашисты убивают именно таких!.. Добродушные глаза Рихтера в представлении Лукутина сочетались с кровью Мадрида и Варшавы, с чем-то страшным, извращенным, жестоким. Катя недолго упрямилась; после дежурства на крыше она сказала:

— Я совершенно не гожусь для такой жизни...

В первые дни войны Лукутин, как и все вокруг, жил сводками, рассказами очевидцев, слухами; легко он переходил от надежд к отчаянию. Кто-то ему рассказал, будто наши вторглись в Восточную Пруссию, и он поверил. Несколько часов спустя он встретил товарища по службе, и тот сказал: «Сестра моя еле выбралась из Витебска...» Лукутин ничего не мог понять и томился.

Было чудесное летнее утро. После отъезда жены Лукутин редко бывал дома, ночевал на службе. Он вышел, чтобы подышать утренней свежестью. Улица была еще пустая; прошло двое рабочих, проехал грузовик с военными, кряхтела бабка — тащила большой узел. Вдруг Лукутин услышал знакомый голос: говорил Сталин. Лукутина потрясли задушевность этого голоса, тревога и в то же время уверенность, ощущение душевной силы, которая бывает у человека, сознающего свою правоту, в минуты самых страшных испытаний. Лукутину казалось, что Сталин обращается именно к нему, его называет «другом». Сколько раз в прошлом Лукутин терзался, спрашивал — не чужой ли я?.. И вот в то июльское утро он понял, как крепко связан с каждым домом, с каждым словом, с каждым встречным; он почувствовал землю под ногами, когда эта земля заколебалась.

Июль был знойным. Сводки могли извести — все новые и новые направления! Многие из сослуживцев Лукутина уже воевали. Московские переулки не походили на себя — исчезла детвора, город умолк, как лес без птиц.

В очень жаркий день по одному из помрачневших переулков Замоскворечья шагали ополченцы. Они пели:

Даешь пулеметы,
Даешь батареи
Чтобы было веселей...

Пели они нестройно; нестройно и шагали — сразу было видно, что это люди, привыкшие держать не винтовку, а перо или циркуль; были среди них пожилые, были очень толстые, и низкие, и высокие, и хилые, были астматики, больные сердцем с отечными лицами, филологи и счетоводы, ботаники и художники, театральные бутафоры, кассиры, переплетчики, библиотекари, столяры, монтеры, люди всевозможных профессий. Они старательно изучали азы военной науки; всего труднее им было стройно маршировать. Среди них был Лукутин. Он теперь успокоился; даже сводки его как-то меньше огорчали; он больше не смотрел со стороны, не гадал, что будет; он стал частью огромной военной машины.

Усталость мешала ночью уснуть; тогда он думал напряженно, поспешно, как будто хотел до первого боя додумать все не понятое им за долгие годы жизни. Он говорил себе: молодым все ясно — они защищают свои идеи, свой мир. А я?.. Сколько раз я в душе спорил с товарищами... Почему теперь исчезли все различия? Когда я слушал Сталина, я знал, что он говорит за всех. Сегодня мы проходили мимо старой церквушки. Я неверующий, она мила мне березками, детскими воспоминаниями. Напротив — школа, там был призывной участок — если мы выстоим, в этой школе будет учиться Поленька... Старик Журавлев вчера сказал, что мы защищаем Россию. Нет, мне дорога не просто Россия, а вот эта, живая, сегодняшняя. Она впитала в себя прошлое. А прошлое ничего не может впитать... Я мог критиковать, сомневаться, теперь я вижу, что мне без этого не жить...

Он засыпал, а утром начиналась учеба; и он радовался — впервые в жизни он мог не колебаться, не спорить с собой; теперь он солдат: пошлют, прикажут — он выполнит. Война представлялась ему четкой и ясной: генерал что-то отмечает на карте; командир батальона передает

приказ командиру роты, а он, Лукутин, ползет, стреляет, сидит в окопе.

Потом он усмехался, вспоминая об этих мыслях: война оказалась иной...

Они ночевали в Вязьме, в маленьком косом домике, переполненном соломенной мебелью, тюками, тряпьем. У хозяйки был флюс; она печально глядела на военных, вздыхала. Лукутин посмотрел на иконы и, задумавшись, спросил:

— Верите в бога?

Она покачала головой:

— Теперь многие поверили... Если немцы придут, так спокойней... А я хотела бы во что-нибудь верить — жить легче...

— В народ наш не верите?

Она вздохнула:

— У немцев, говорят, все на машинах... У них солдаты шоколад получают...

Лукутин был с товарищем — до войны Федосеев работал на «Шарикоподшипнике», он писал письмо жене, но, услышав разговор, оторвался, сказал хозяйке:

— Женская у вас природа... Погоди, приедем на машине — залюбуешься.

Хозяйка снова вздохнула: болел зуб и было страшно — бомбить будут, потом придут немцы...

Когда под утро Лукутин и Федосеев уходили, она всплакнула:

— Не пускайте вы немцев! Все-таки свои...

Эти слова преследовали Лукутина; он вспоминал глаза женщины, грустные и бессмысленные, такие бывают у замученной лошади... Федосеев, наверно, думает о жене... У других — жены, родители, друзья... А у него только Поленька, ей и написать нельзя. Она не понимает, куда девался папа... Ее нужно заслонить, как эту женщину с флюсом... И за всех думать. И за всех умереть...

Вдруг он струсит? Он считал себя малодушным. Разве он осмелился когда-нибудь выступить против других, раскрыть рот на собрании? Даже перед Катей он робел. Что же с ним будет в те минуты, когда и храбрые теряются?..

Ночью немцы бомбили деревню, там стояла батарея. Было светло, как днем, от ракет. Кто-то выругался:

— Гад, сколько навешал!

Лукутин лежал на животе и тупо себя спрашивал: почему я так боюсь? Даже удивительно!.. Неужели я исключение, жалкий трус?.. Все внутри обрывается... А уйти, не уйду — нельзя...

Два дня спустя он попал в пекло; все произошло как-то сразу. Может быть, генерал знал о положении; но командир роты и не подозревал, что немецкие танки прорвались. Правда, им не раз говорили, что танков бояться не нужно, есть гранаты, «бутылки», важно только не снервничать, выждать, когда танк подойдет... Когда об этом говорил батальонный комиссар, все выглядело простым и нестрашным. Люди, однако, растерялись. Лейтенант Жигач кричал:

— Бутылки где? Щеголев говорит, что утром послал...

Лукутин оказался в узенькой канаве, поросшей крапивой, рядом — Федосеев, Левин. Бутылки были из-под пива, и Федосеев пробовал шутить:

— Раков нехватает...

Левин в ответ выругался. Лукутин молчал. Он ни о чем не думал, только жадно вглядывался вдаль. Сколько они просидели? Лукутин машинально смотрел на циферблат часиков, но ничего не удерживалось в сознании. Он не увидел, а услышал приближение головного танка. Гул и лязг росли. Лукутин пригнулся еще ниже; крапива жгла лицо. Дорога на этом месте круто поворачивала. Танк замедлил ход. Лукутин увидел, как из башенного люка показался немец. Кажется, офицер... Лукутин выпрямился и швырнул бутылку. В глазах у него все помутилось, он больше ничего не видел.

Стреляли. Лукутин снова прижался к земле. Страшно не было. Страх он почувствовал только вечером, когда лейтенант Жигач сказал:

— Представлю всех троих к награждению.

Тогда Лукутин очнулся, вспомнил худое темное лицо немца. Это смерть лязгала зубами... Так можно стать фаталистом. Играть в чет и нечет с судьбой... Смешно и чертовски страшно. А прикажут завтра — и снова пойду, буду ждать в крапиве... Для человека здесь нет выигрыша... Нет, есть — войну мы выиграем... Потом будет больше пушек, хорошие пушки, а пока что бутылками... Глупо, что из-под пива...

Федосеев изумился: Лукутин, над старомодной вежливостью которого все посмеивались, стоял посредине дороги и так ругался, что даже двое ездовых раскрыли рот.

— Что с вами, Павел Сергеевич?

Лукутин сконфуженно улыбнулся.

— Ничего... Воюем.

4

— Мужское это дело,— говорила Хана.— Бедного Леву, наверно, убили. Теперь Ося пойдет. Он понимает и другим рассказать может... А ты куда?.. Не до того им, чтобы с тобою нянчиться...

Рая в ответ рассеянно улыбалась. Госпиталь она приняла вначале, как нечто неизбежное. Конечно, лучше бы в истребительный батальон. Но она и стрелять не умеет... Пусть госпиталь. Главное — попасть на фронт. Что такое фронт, она не могла себе представить, только чувствовала — сердце бьется там, а сюда кровь едва доходит, улицы холодеют, отмирают.

Отец Вали, Алексей Николаевич Стешенко, узнав, что Рая уезжает с военным госпиталем, возмутился:

— Детская романтика! Никому она не нужна... И потом, извольте видеть, жена, мать — и забывает о своем долге... Хорошо, что с Валей муж...

Незадолго перед войной родители получили от Вали короткое, но важное письмо, она сообщала, что вышла замуж за инженера Влахова и счастлива. Какая беда,— вздыхала Антонина Петровна,— теперь пошлют его на фронт, не дают людям успокоиться... Впрочем, Антонине Петровне мешали отдаваться тревоге хозяйственные заботы: она закупала муку, крупу, сахар, готовилась к трудной зиме. Все же она нашла время, чтобы забежать к Хане.

— На вашем месте я запретила бы Рае делать такие глупости.

Хана ничего не ответила. Как будто Рая ее послушается? Она говорила Науму, что глупо уезжать в Париж. Его там убили. Когда она попробовала сказать Осе, что нельзя оставлять молодую жену без присмотра, он отмахнулся. Только Аленька ее слушает. Да только

Аленька у нее и осталась. Вместе будут сидеть по вечерам, ждать, когда кончится эта проклятая война. Зачем люди воюют? Лева приезжал из Парижа, хорошо выглядел, показывал фотографию веселой жены. Значит, ему было хорошо в Париже. А Осе было хорошо здесь... Наверно, и немцам было хорошо у себя, говорят, там много товаров, чистые улицы... Зачем им Киев? Почему нужно убивать друг друга?.. Сумасшедшие! Может быть, это оттого, что люди забыли бога?.. И Хана пыталась вспомнить молитву. Но непонятные слова путались в голове. Рая рассказывала про госпиталь: «Просят — подлечите, мы с ними рассчитаемся»... Антонина Петровна вбегала с криком: «Дрова, главное дрова, топить не будут...» Пришел Полонский, чтобы проститься. Он в речной флотилии. Говорил про Коростень. «Немцы прут...» С ума они сошли, как Наум!

Рая легко и просто расцеловалась с Полонским, будто не было позади ни искушений, ни борьбы, ни лихорадочной ночи — последней ночи мира. Когда он ушел, она подумала: какое счастье, что я тогда во-время опомнилась! Теперь мне легко с ним. И Осипу написала: «Помни, что люблю, буду ждать»...

От Осипа пришло короткое письмо, писал он Рае и матери: «Завтра уезжаю в Действующую армию. Настроение у всех приподнятое. Фашистское нападение нас застало врасплох, но враг просчитался, он будет разбит...» Хана много раз перечитала письмецо, потом пошла к Стешенко:

— Ося пишет, что враг будет разбит...

Алексей Николаевич раздраженно усмехнулся:

— Читали... Вы лучше стекла оклейте, если полетят, новых не найдете.

Хана обиделась: как мог Стешенко читать то, что написал Ося? У нее умный сын, словами не бросается, если он говорит, что немцев побьют, значит, он знает...

Пришла к Хане Вера Платоновна.

— Боря в Тарнополе. Боюсь — не выбрался. А ваш где?

Хана прочитала письмо Осипа. У Веры Платоновны показались на глазах слезы:

— Хорошо написал. Это правда, что победим. Помню я немцев... Может быть, у них много пушек — сердца у них

нет... Вот ведь как он вам написал!.. Обязательно победим... И Рая — молодец!.. Были бы мы моложе...

Она поглядела по сторонам, будто не верила, что они одни, потом обняла Хану:

— Нам-то и поплакать можно. Никто на нас не обидится...

Госпиталь уезжал. Рая взяла на руки дочку и вдруг испытала острый страх, сама не могла понять почему, корила себя — теперь все расстаются. Она сдержалась и спокойно обняла Хану, говорила: «Не волнуйся, мы ведь всегда в тылу...»

Уходя, Рая снова почувствовала — страшно!.. Не помнила, как добралась до госпиталя, все было в тумане. А там сразу пришла в себя; жила одним — работой.

Было ли это детской романтикой, как говорил Стешенко? Госпиталь давно перестал быть для Раи чем-то загадочным. Она теперь знала, что госпиталь — это запах карболки, койки, гипс в бочках, тюки ваты, марля с кровью, с гноем, ночные горшки, утки, крик, хрип, задыхание, воздух, пропитанный лекарствами, испариной лихорадки, духотой агонии. Почему же хрупкая Рая, которую домашние баловали, ограждали от мелких невзгод, нашла здесь душевное успокоение?

Осип сказал бы о правильном воспитании, был бы он прав и не прав. Рая возмущалась фашистами, любила родину, жаждала победы; но ведь все ее подруги, сверстницы разделяли эти мысли и чувства, но не все попытались перейти легкую, почти неощутимую черту, которая в дни испытаний отделяет тех, кто делает историю, от тех, кто эту историю принимает как рок. Был в Рае огромный запас нерастраченных сил, жажда своего пути, тоска по живому делу. Не мог ее успокоить муж, не давала удовлетворения работа, оставались мечты, они точили сердце, как точит камень вода. Это была самая что ни на есть обыкновенная женщина, в меру кокетливая, в меру скромная, по анкете — служащая, по положению — любимая жена, мать Али, с обыкновенными поступками — пойти в театр повздыхать, а потом разжечь примус, помечтать над старым романом — как они чудесно жили, эти роковые героини, и час спустя ответить мужу, который ищет в комоде носки: «сейчас заштопаю, хотя мне пора на

работу», и про себя вскользь подумать — не те времена, я — советская, равная, у меня свое дело... Словом, таких, как Рая, было очень много, и если могла она привлечь чье-то внимание, то разве что своими непомерно длинными ресницами. Но жило в ней чувство неудовлетворенности, не раз она думала: Вале хорошо, она будет актрисой, ее полюбил какой-то необыкновенный человек, он всюду побывал... Зина увлечена работой, да и вообще с Зиной нечего тягаться, это исключительная натура. Галочка? Ну, Галочка погрустит, поплачет, а через минуту расхохочется. Только я не нашла себя... Хотела любить, как в старых романах, а вышло глупо — мешала Осипу работать. Он не плохой, он очень хороший, но он не дает себя любить... Чуть было не уступила Полонскому, а ведь это — на час или на месяц — так можно разменять сердце на мелочь...

И вот в те дни, когда земля тряслась, когда на город падали бомбы и по длинным мостам тянулись вереницы беженцев, покидавших насиженные, надышанные, любимые места, Рая почувствовала землю под ногами. Она оказалась нужной. Конечно, куда опытнее была Клавдия Ивановна или Сорокина, а раненые говорили «позови Раечку» — чем-то она их утешала, может быть, неопытностью, стеснением, изумленным видом, который придавали ей длиннущие ресницы. Старый сапер, обросший седой щетиной, просил: «Посиди, милая»; а лейтенант, похожий на школьника, глупо шептал «Рая из рая»... У него была гангрена; врач сказал, что придется отнять ногу выше колена; Рая отвернулась — в глазах у нее были слезы.

На руках у нее умер старшина Гузилов. Он глядел на Раю лихорадочными, горячими и в то же время туманными глазами, глядел так выразительно, что ей хотелось кричать, отбить смерть, спасти его. Такие глаза однажды были у Осипа. Давно... А Гузилов шевелил губами: «Маше напиши...» Он не смог договорить, и Рая знала из всей его жизни одно: где-то есть Маша. Потом он сразу похолодел, зачерствел, с трудом Рая высвободила свои руки. Никогда прежде она не видела, как умирает человек, это ее потрясло — простотой и непонятностью. Ведь только что просил пить, волновался — «Маша...» Сейчас лицо у него строгое, спокойное... Смерть помогла Рае заново

понять жизнь: все стало ближе, дороже. С нежностью она подумала о Полонском. Где он? Что с Осипом?.. Ей захотелось погладить его чересчур жесткие волосы, сказать что-то очень простое и важное. Ведь столько лет они жили рядом, а этого она ему не сказала ...Может быть, он сейчас мечется в жару, говорит: «Напиши Рае»?.. Что с Алей? Как мама? (Так Рая про себя называла Хану.) Сегодня опять плохая сводка...

Госпиталь, где работала Рая, находился возле Полтавы. Иногда по ночам налетали бомбардировщики, горели дома. Принесли раненого мальчика... Смерть стала будничной, привычной; и все ярче разгоралась в Рае любовь к жизни, к этим белым домишкам, к пестрым полотенцам, к утренней свежести, к ночам, таким черным, таким тихим, что, кажется, вот — ты, вот — звезда, перелети — никто не заметит... Прежде Рае снились сны, она их вспоминала, когда Осип, вернувшись с заседания, будил ее под утро,— то она едет в гондоле по каналам Венеции, то играет на рояле — огромный зал с колоннами, и люди плачут... А теперь она нашла кислую ягоду калины и засмеялась от счастья — живу! Хорошо живу, тяжело, грубо, как битюг, но хорошо...

— Слыхали про Киев?..

Рая схватила газету. Потом она пошла к раненым; ничего не сказала. В тот вечер умер капитан Никитенко; он мучительно умирал, хотел привстать, раскидывал руки, его рвало кровью. Рая не отходила от него до конца. Она чувствовала, как умирает вместе с ним: Киев, мой Киев!..

5

Неистощимой была сила жизни в Дмитрии Алексеевиче Крылове; его не могли обескуражить ни тяжелая работа, ни события. Госпиталь разместился в лесу. Сентябрь был особенно ярким; казалось, природа, потрясенная близостью смерти, хочет промотать свои богатства. В чересчур высоком небе размеренно перемещались треугольники птиц. Пахло травой, грибами. Солнце заботливо пригревало людей. На высоком берегу реки серые избенки говорили о мирной грусти детских игр, сватаний, свадеб,

поминок, а рябина что-то добавляла—о жаре сердца, о беспокойной молодости. И среди этого великолепия Дмитрий Алексеевич видел страшное зрелище народного бедствия. День и ночь по дорогам шли беженцы; на повозках кряхтели старухи, плакали перепуганные дети; а «юнкерсы» поливали дороги свинцом. Немцы надвигались, казалось, ничто не может перед ними устоять.

Дмитрий Алексеевич несколько раз разговаривал с ранеными немцами; пленные, они держали себя, как победители: было в них веселье молодых расшалившихся зверей; здоровые, загоревшие, сдерживая боль, они ухмылялись.

Да чорт бы их побрал, когда на них управа найдется? — вздыхал про себя Дмитрий Алексеевич. А комиссар Буков рассказывал:

— Днепропетровск оставили... Таллин оставили... Наступают с музыкой, как на плацпараде — психическая атака... Естественно, нервы не выдерживают.

— Нервы — это для дамочек,— вскипал Дмитрий Алексеевич.— Если немцы психи, нам-то зачем психовать?

— Превосходство в материальной части — танки, авиация...

Крылов не знал, что возразить. В своей области он не осрамится. Он вот вчера вытащил из печени сержанта Горбунова осколок в восемьдесят граммов — не угодно ли? Политруку Чиркесу ногу спас, танцовать этот Чиркес будет, честное слово!.. А сколько у кого танков, этого Крылов не знает.

Буков продолжал:

— Широко пользуются воздушными десантами, приземлятся и сразу устанавливают круговую оборону. Автоматчиков повсюду раскидали — наши только и говорят, что о «кукушках». На мотоциклах несутся опять-таки эффектно... Конечно, есть элемент авантюризма, но это неизбежно действует на психологию...

— Опять вы с психологией? Да я этих жеребчиков знаю. По-немецки, слава богу, изъясняюсь, разговаривал... Они и думать не умеют.

— Может быть, поэтому продвигаются...

— Нет, товарищ комиссар, увольте! Вы что хотите сказать — если он идиот, значит он сильнее? Вы хоть и комиссар, а, простите меня, психуете. Кто ваши танки

придумал? Умный или идиот? Шагать можно без головы, только недолго они так прошагают...

Привели раненого немца. Это был молоденький танкист. Когда Крылов начал осматривать рану — осколок снаряда задел бедро — немец задрожал.

— Вы, собственно, чего боитесь? — спросил Крылов.

Немец молчал. Потом он признался:

— Нам сказали, что красные кастрируют пленных. Лучше убейте!..

Крылов покраснел от возмущения, но сдержал себя, сделал перевязку.

— Ранение поверхностное. А вы...— Он махнул рукой.— Ноги будут в порядке. С головой хуже — абсолютная пустота.

Немец не понял, снова перепугался:

— Господин майор, вы психиатр?

Крылов рассмеялся:

— Вот уж нет... А если вы насчет своих мозгов беспокоитесь, психиатр вам не поможет. Разве что ветеринар... Матушка ваша о чем думала? Гитлер Гитлером, а все-таки какое-то подобие человеческого могла она вам придать...

На неделю-другую полегчало. Наши контратаковали, форсировали Десну. Расстреляли несколько паникеров, навели порядок. Крестьяне, прятавшиеся в лесу, стали возвращаться домой. Крылов сиял.— Говорил я, что недолго они прошагают!..— Он получил письма от жены из Аткарска, от Наташи из Москвы. Живы, здоровы, ну и хорошо, большего сейчас не требуется.

Потом все снова помрачнели; Буков каждый день докладывал:

— Оставили Чернигов... Ромны... Киев... Непонятно, где их остановят?..

Крылову пришлось съездить на день в Орел за медикаментами. Он вернулся приободренный, долго рассказывал раненым:

— Немцы-то брешут, послушаешь их, ничего у нас не осталось. А в Орле, как до войны — магазины, рестораны, киоски. Девушки гуляют... Трамвай, настоящий трамвай... Главная улица замечательная, сквер, чистота — прямо столица... В ресторане разливной портвейн продают, я не

попробовал, но бачок у меня был чистенький — для больных взял, это силы придает... Ну, если в Орле так, значит, в Москве замечательно. Скоро эти жеребчики назад зашагают...

Он умел всех заразить избытком жизнерадостности. Больные в нем души не чаяли. Комиссар Буков как-то сказал: «Придется мне, кажется, медицину изучить, а то выходит, что Крылов при мне комиссар»... Молодой врач Забродский, до болезненности впечатлительный, входя в палатку Крылова, говорил:

— Дмитрий Алексеевич, пришел к вам — руки опускаются...

— Я от «руки опускаются» не лечу,— ворчал Крылов,— особенно лиц, так сказать, медицинского звания. А почему это у вас руки опускаются? Если волнуетесь, что Беляев температурит, это не страшно — выскочит...

Зарядили осенние дожди. Природа, как люди, дышала грустью. В один из таких серых, безысходных дней прибежал Забродский:

— Дмитрий Алексеевич, началось!..

— Это вы о чем?

— Наступают по всему фронту. Сводка страшная... Да и читать незачем, достаточно выйти на шоссе...

Дмитрию Алексеевичу очень хотелось выругаться, но он удержался — никогда не позволял себе грубых слов, только процедил:

— Падшие твари, чтоб их!..

Увидев, что у Забродского дергается губа, он рассердился:

— Развинтились вы. Вы должны лечить, а от вас заболеть можно. Ну наступают... Значит, первое действие еще не закончилось. А в том, какое будет второе действие, можете не сомневаться. Народ наш знаете? Или, может быть, вы на луне выросли? Народ, скажу вам, особенный... Я еще в Москве был, бомбили они изрядно, у нас все стекла повылетали. Смотрю, на следующий день приходит стекольщик, аккуратно смерил, нарезал, вставил. А до войны я окно разбил, так три недели не мог стекольщика дождаться — «завтра» и «завтра»... Возле манежа бомба шлепнулась — сейчас же залатали. Народ у нас такой — он в беде раскрывается. Наступают? Ничего,

раскачаемся. Увидите, как они назад будут шлепать. А теперь пойдем к Джапаридзе — не нравится мне, что медленно срастается...

Нелегко давались Крылову бодрые слова, за сердце хватает: горе-то какое!.. Строили, строили, а теперь эти жеребчики палят. Хлеба вытоптали. Детей убивают. Что-то невиданное... Но одно Крылов твердо знал: выкарабкаемся!

Наступил роковой день: была дивизия — и нет дивизии. Молчит полевой телефон. По дороге идут командиры, бойцы из разных частей — пехотинцы, саперы, связисты. Отовсюду палят... Что-то очень нехорошее, такого еще не было...

Крылов остановил незнакомого командира:

— Товарищ капитан, вы это куда?

— Часть свою потерял...

— Я спрашиваю не что вы потеряли, а что вы делать собираетесь?

Капитан развел руками:

— Не знаю... Очевидно, мы в окружении...

Это слово в те дни было у всех на устах. Никто толком не знал, где немцы; беспорядочная стрельба, частые налеты вражеской авиации, дороги, забитые крестьянскими повозками, сгоревшими грузовиками, брошенными машинами, увеличивали смятение.

Крылов схватил капитана за руку:

— Раз вы свою часть потеряли, будьте любезны!.. Нужно госпиталь вытащить. Не оставлять же раненых этим жеребчикам. Говорит с вами военврач второго ранга Крылов. Вы бойцов соберите. Видите — идут бестолку, да еще нос повесили. Тоже, наверно, часть потеряли. А здесь нужно найти... Выход, я говорю, нужно найти...

Была такая страсть в его словах, что капитан ответил:

— Попробуем...

— Простите, не спросил, с кем имею дело...

— Капитан Зуйков.

Крылов сам стал посредине дороги, останавливая бойцов.

— Ты куда это спешишь? В одиночку все равно не выйдешь... Здесь с госпиталем беда... Лицо у тебя хорошее, сразу видно — советский человек, ты что же, раненых

товарищей бросишь?.. Поворачивай направо, командует старший, капитан...

Крылов ругал себя; забыл, как этого капитана зовут!

Удалось собрать около двухсот человек, не считая персонал госпиталя. Когда стемнело, двинулись в путь. Неподалеку горел маленький городок, и на фоне зарева четко вырисовывались повозки с ранеными. Трассирующие пули, ракеты — на минуту Крылов залюбовался: фейерверк! И тотчас спохватился — нужно глядеть в оба, чтобы не разбрелись. Этот Жуков или Сайков — мямля...

Крылов скрывал от других, что едва идет: сильный приступ ревматизма. Забродский все же заметил:

— Дмитрий Алексеевич, садитесь-ка на повозку.

Крылов рассердился:

— Повозки, милый, для раненых. А вот выйдем из этого, как вы там говорите, окружения, я такую кадриль оттанцую, что умрете от зависти...

Это было настолько неожиданно — в черном лесу между двумя бомбежками, что даже раненые заулыбались.

Они шли ночью — днем прятались в лесу, промокли, продрогли. Напали на засаду, выдержали бой; немцы засели в деревушке, расставили на крышах пулеметы. Капитан Зуйков оказался не мямлей. Деревушку взяли штурмом. Горели избы, лежали обуглившиеся трупы немцев. Крылов обнимал капитана. Пошли дальше. Когда дрогнула, побледнела четвертая ночь, под частой сеткой дождя Крылов увидел вдалеке солдат.

— Ну, капитан, командуйте...

Командовать не пришлось: это были свои. Крылов поглядел — на столе сало, мед, молоко. Чудеса!.. Но поесть не удалось, сразу свалился на широкую кровать и проспал до полудня. Потом вскочил и, на ходу приглаживая свои редкие, но непослушные волосы, побежал к раненым.

Вечером он говорил майору Швецову:

— «Окружение»... А я вас спрашиваю — разве немцы не в окружении? Их все окружает — и наши части, и жители, и леса. Безобразие, конечно, что приходится отступать... Комиссар говорит, что все дело в танках, в самолетах. Не знаю, я не стратег... По-моему, и в умении. Они ведь только эту музыку и знают, с пеленок маршируют. А мы о другом мечтали... Ничего, научимся. Они к нам

пришли упоенные, нализались французским шампанским. Разве они во Франции воевали?.. Не было там настоящего сопротивления. Мне один инженер рассказывал, он там был — народ храбрый, а раскисли. Политика... Я вот капитана нашел. Кажется, Сучков фамилия... Он свою часть потерял, конечно это плохо, а бойцов все-таки собрал, сами вышли и госпиталь вытащили, да еще два десятка немцев ухлопали... Почему? Да потому, что он — коммунист, должен соображать. Эти жеребчики идут и не думают. Хорошо, у них армия. Армия есть и у нас. А вот этого у них нет, это поглубже, это значит — и один в поле воин. Если нет рядом начальника, все равно есть у меня начальник — в голове. Я Сталина день и ночь могу слышать, если я действительно коммунист... Знаете, товарищ майор, мы четырех жеребчиков вытащили. Они думали, что я их оскоплю, этакие идиоты! А мы их спасли, не потому, что они этого стоят, коммунисты мы — это что-нибудь да значит... Ладно, если есть у вас водочка — выпьем, я с дороги еще не отогрелся.

Ночью, обойдя больных, Крылов сел на крылечко, закурил. Рядом сидела парочка; они его не заметили. Военный громким шопотом уговаривал:

— Города сдаем, мосты взрываем, а ты упираешься?

— Города назад отберете. А я счастья хочу. У меня жених в армии...

Крылов расчувствовался, еле сдержал себя, чтобы не вскочить, не расцеловать девушку: вот ведь какие!.. Он вспомнил Наташу и улыбнулся — хорошая девочка!.. Где теперь Вася?

Потом долго гудели бомбардировщики, лаяли зенитки, неподалеку разорвалась бомба. А Крылов все сидел и думал — о Наташе, о чужой девушке, о капитане (да как же его фамилия? Забыл, честное слово, забыл), смутно думал об огромном непобедимом народе.

— Воздух!

Крылов усмехнулся — экие полуночники, и вдруг запел:

> Черный ворон, что ты вьешься над моею головой?
> Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой...

Он сконфузился: опять сфальшивил! Хочется иногда спеть, а не умею, этакое безобразие...

6

Мир Ханы напоминал мир ребенка; может быть, поэтому ей было так легко с маленькой внучкой. События, о которых говорили кругом, надежды, успехи, горести народа были для нее своими, семейными делами: мелкие наблюдения, встречи заменяли ей книги. О росте страны она судила по тем построенным домам, которые сама видела, по улыбкам знакомых, по занятиям Осипа. Напав на грубого продавца или на тупого милиционера, она говорила Рае: «Ося думает, что перевоспитали, а не так это просто...» Она выросла в ином мире — грозного бога, которого не смягчишь и постами, грозного околоточного — может схватить, выслать,— в мире душных надежд и домашнего будничного отчаяния. В ее голове все путалось: слова древних молитв и фразы Осипа, как будто взятые из передовицы, старые поверья, приметы и разговоры о пятилетках, о планировании, о сознательности. Она сама не знала, верит ли она в бога. А в Осипа она верила. Вот приезжал Лева, нарядный, веселый, улыбался, а она чувствовала к нему жалость, как к покойному мужу. Рая читала книги, ходила в театр, играла на рояле, но Хана знала, что Рая ночью тихонько плачет, как плакала она, когда уехал муж. Да и другие люди казались Хане понятными в своих слабостях (она приговаривала про себя «сумасшедшие, как Наум!..»). Только Осип поражал ее своей уверенностью, выдержкой, умом. Она его побаивалась и обожала: слова Осипа были для нее истиной. Вот почему она сохраняла спокойствие, когда город метался, как тифозный больной, когда люди, пытавшиеся выбраться, возвращались с криком: «немцы у Борисполя», когда дрожали стекла от приблизившейся канонады. Она брала на колени внучку: «Не бойся, это — война...» Хана знала, что на войне стреляют, и грохот казался ей естественным.

Было яркое осеннее утро; золотились каштаны; после шума войны неожиданно наступила тишина. Хана вышла — попробую раздобыть молоко для Аленьки... И вдруг она вскрикнула — навстречу по улице Саксаганского шли немцы. Всего она ждала, только не этого. Ведь Ося писал, что их побьют... А немцы шли молодые, веселые, смеялись, что-то жевали на ходу. Она заметалась, как курица,

заслонила собой Алю. Один немец, увидав ее, рассмеялся и навел автомат; товарищи его тоже засмеялись — это показалось им забавной шуткой. Хана едва добежала до дому. Она села рядом с Алей и начала приговаривать: «Ничего... Это нарочно, чтобы их заманить... Скоро придут наши. Скоро папа придет». Она успокаивала не внучку, а себя. Аля и не боялась; услышав музыку, доносившуюся с улицы, она захлопала в ладоши.

Под вечер Хана решила пройти к Стешенко — может быть, они знают, когда наши вернутся?

Алексей Николаевич встретил ее неприветливо, она даже спросила:

— Вы не больны ли?

— Нет.

— Это хорошо. А то в такое время заболеть... Вы их-то видали?

— Видал. Порядок образцовый. Сразу видно — другая школа. Да и жили они по-другому — без этих «экспериментов»... А наши... Что тут говорить, доигрались...

Хана ничего не понимала.

— Это вы о ком, Алексей Николаевич?

— Ясно о ком, не о нас с вами, о коммунистах.

Хана прижала к себе Алю; она еле говорила от горя и от негодования.

— Как вы можете?.. Валя вместе с Раечкой в комсомоле была, приезжала — говорила: подала заявление в партию...

— По принуждению и не то делали.

Вмешалась Антонина Петровна:

— Вы про Валю напрасно говорите... Разве девочка может разобраться в политике?..

Алексей Николаевич вначале говорил нехотя, а услышав про Валю, вспылил:

— Дочь моя ни в чем неповинна. Хотите с больной головы на здоровую? Не выйдет! Мы не шли, нас гнали.

— Да кто вас гнал?

— Такие, как ваш сын. Понятно, почему евреи перепугались..

Хана встала:

— Аленька, идем.

Антонина Петровна смутилась, выбежала в переднюю:

— Теперь все нервные... Может быть, у вас с хлебом плохо? Я вам дам, припасла...

— Ноги моей здесь не будет! — крикнула Хана.

Она уложила внучку, села возле ее кроватки, глядела на детское лицо, светлое, спокойное, и тихо плакала. Вот мы одни... Две сиротки — одна и одеться сама не может, другая глядит в могилу. Кто бы мог подумать, что Стешенко погромщик? Когда-то такие приходили, били стекла, ломали мебель, пускали пух из подушек. Но ведь те были несознательные, а он — учитель, воспитывает детей... Может быть, Ося тоже фантазировал, как Наум?..

Под утро она сидя задремала и вскоре проснулась от веселого щебета Али. Сразу вспомнила: немцы, Стешенко... На улицах было тихо — наши не возвращались.

Постучали. Хана вздрогнула: уж не те ли, с ружьями?. Пришла Вера Платоновна.

— Еле добралась — четыре раза останавливали. Вот горе!..

И Хане сразу полегчало: не одни мы на свете.

Она рассказала Вере Платоновне, как немец хотел в нее выстрелить:

— Вы только подумайте — я с Аленькой шла... Какие же это солдаты, это бандиты!..

— Звери! Я сейчас шла к вам, даже рассказать страшно... Это возле театра... Три немца и наш один, уголовник... Старика схватили, бороду оторвали. Я не выдержала: «Что вы делаете?..» А уголовник отвечает: «Это еврей»... Совести у них нет. Недолго они продержатся. Наши когда уходили, мне один командир сказал: «Скоро назад ждите...» Разве могут звери над людьми стоять?

— Вера Платоновна, я у Стешенко была. Вы мне не поверите... Он кричал, что виноваты коммунисты и евреи, я прямо своим ушам не верила...

— Никогда я его не любила. Валя — хорошая девушка. А он — не прямой человек, говорит сладко, а глаза в сторону смотрят... Вы, Хана Львовна, к ним не ходите. Если вас обижать будут, берите Алечку и ко мне. Уголовник кричал, будто они будут выселять евреев из квартир, я тогда подумала — лучше вам ко мне переехать, тесно вам будет, но все-таки спокойнее.

Хана ее обняла, обещала скоро притти. Когда Вера Платоновна ушла, Хана подумала: нет, Осип правильно говорил. Стешенко — змея. Но сколько таких?.. А Вера Платоновна говорит, как Ося. А разве Валя могла бы иначе сказать? Или Боря?.. Молодые хорошие. Они воюют. Значит, скоро этих зверей выгонят.

Два дня спустя рано утром ее разбудил страшный грохот. Она выбежала на улицу. Полуодетые люди о чем-то взволнованно говорили. С Крещатика шел черный дым, густой, как туман. Хана про себя улыбалась: это наши подходят к городу. Теперь недолго терпеть. Она подняла Алю на руки и шепнула:

— Не бойся, это папа идет...

7

Вера Платоновна сидела у себя, вязала. Если Боря вернется, это ему на зиму... Как всегда, у нее в комнате было очень чисто, будто только что она прибрала к празднику. Три подушки, одна на другой, пикейная покрышка, рыжий, будто залитый солнцем пол. На стене висела большая фотография Бори в военной форме — он прислал ее из Тарнополя; рядом были развешаны старые выцветшие фотографии — покойного мужа, сестры, племянников. В углу смутно посвечивала икона: Вера Платоновна дорожила ею — «у матери висела»... Боря как-то спросил: «Зачем держишь? Ведь ты неверующая»... Она ответила не сразу, подумала: «кому она мешает?.. Не знаю, Боренька, что тебе сказать. В церковь не хожу, молиться не молюсь. А есть бог или нет, не знаю. Если есть, не в церкви, в сердце...»

Она вязала и думала: до чего тяжко! Не ждала, что до такого доживу... В ту войну они тоже приходили, но все-таки было по-другому, грабили, убивали, но людей среди белого дня не мучили. Откуда такие берутся? Гогочут, стреляют... Не люди. Нашим тяжело — сколько у этих пушек, машин, подвод... Долго воевать придется, пожалуй, я конца не увижу...

Она прислушалась. На лестнице кричали: «Ничего у меня нет... Не трогайте!..» Кто-то по-немецки ругался.

Потом застучали в ее дверь. Она поправила волосы, спокойно открыла. Вошли три немца. Один из них — старщий — говорил по-русски, плохо, но можно было понять.

— Кто проживать? Жид есть? Военный есть? Коммунист есть?

Она покачала головой:

— Одна я здесь.

— Какой национальность?

— Украинка. Село Летки...

Немцы начали выбрасывать из ящиков комода белье, тетрадки Бори, старые письма, перевязанные ленточками, рассыпали крупу.

Тот, что говорил по-русски, посмотрел на фотографию Бори.

— Кто?

— Сын.

— Коммунист?

Вера Платоновна ответила строго:

— У вас своя вера, у нас своя...

Немец не понял, но тон Веры Платоновны его рассердил. Он сорвал со стены фотографию, порвал на клочки.

— Нет сын. Капут!

— Стыдно вам,— сказала Вера Платоновна,— стыдно старуху обижать. Мать у вас есть?

— Молчать!

Немец в ярости топтал обрывки фотографии, рубашки, моток шерсти, письма. Вдруг он увидел под иконой открытку — портрет Ленина.

— Коммунист? Тогда получать.

Размахнувшись, он ударил Веру Платоновну по лицу. Она упала; разбились очки, лицо было в крови, но сознания она не потеряла. Она глядела на своего мучителя, и этот взгляд выводил его из себя. Двое других ушли, поднялись наверх. Оттуда доносились крик, звон разбитого стекла. Старший тоже собрался было уходить, вдруг злоба снова подступила к горлу. Старая ведьма! Такие взрывают дома, стреляют в спину... Не помня себя, он подбежал к Вере Платоновне, начал ее топтать, как топтал прежде белье. Потом он выволок ее на лестницу, ударял головой о ступени, уже мертвую приволок на двор. Он долго стоял

над своей жертвой и хрипло, скверно ругался. Небо было красным — горел Крещатик. А дом, охваченный ужасом, кричал до утра.

8

Когда Хана шла с Аленькой на базар (это было в воскресенье, через неделю после прихода немцев), она увидела на стене объявление. Может быть, и ходить нельзя?.. Она остановилась возле синеватого листка. На нем значилось: «Жиды г. Киева и окрестностей. В понедельник 29 сентября к семи часам утра вам надлежит явиться с вещами, документами и теплой одеждой на Дорогожицкую улицу,— возле Еврейского кладбища. За неявку — смертная казнь».

Несколько раз перечитала она приказ. Что эти звери придумали?.. Рядом стоял пожилой человек; он показался Хане благожелательным. Она спросила:

— Вы понимаете, что они придумали?..

Человек испуганно оглянулся по сторонам и отошел. А какая-то женщина сказала:

— Ясно. Будут выселять евреев...

— Куда?

— Этого я не знаю.

Хана медленно возвращалась к себе. За неделю она очень постарела, дрожала голова, ноги не шли. Куда эти звери могут послать?.. От них нельзя ждать ничего хорошего, не посмотрят, что старуха, девочка... А скоро зима... Хана с нежностью и с тоской поглядела на Алю: что станет с девочкой? Умру — и никто ее не приласкает. А такая умная, веселая. Ей бы играть, шалить... Я достаточно пожила, пора умирать. Но Аленька... Как спасти ребенка?

Она решила пойти к Вере Платоновне: попрошу ее взять девочку, пока наши не вернутся... Дверь открыла незнакомая женщина, злобно поглядела она на Хану.

— Нет ее больше. Увели... Всех коммунистов увели. Вы что, не верите? Спросите в полиции.

Хана поняла: теперь никто не спасет. Нужно подчиниться судьбе. Может быть, сошлют недалеко... Как-нибудь проживем... Наверно, и среди немцев есть порядочные, пожалеют ребенка...

И Хана стала готовиться к отъезду. У Аленьки шубка рваная, нужно обязательно зашить. Просмотреть носочки. Спеку коржики... Хозяйственные заботы отвлекли от мрачных мыслей. Аля играла, потом спокойно уснула, засыпая, сказала: «Бабушка, кукла Маша тоже поедет. Хорошо?..»

Утром Хана начала собираться, но, увидав, что улица полна людьми с узлами, подводами, ручными тележками, она поняла, что незачем торопиться — хорошо, если дойдем к вечеру...

Львовская улица была забита. Люди ехали на двуколках, шли, плелись. Было очень много старых, много детей. Хана подумала: где же молодые?.. И сразу вспомнила: молодые воюют. Здесь все, как я с Алей... Два бородатых старика несли на одеяле старуху, разбитую параличом. Человек с протезом толкал детскую коляску, в ней малютка безмятежно улыбалась. Дети теряли матерей, плакали. Старики молились; и заунывные звуки восточных песнопений сливались с женским плачем. Две девушки шли обнявшись, они надели нарядные платья и старались все время улыбаться. Аля, испуганно озираясь, прижимала к груди большую куклу.

Вдруг Хана увидела в толпе старого доктора Вайнберга, который лечил Раю, Аленьку. С трудом она добралась до него.

— Доктор, куда они нас сошлют?

Он поглядел на нее добрыми, печальными глазами и, наклонившись, шопотом ответил:

— В могилу.

Она вскрикнула, схватила Алю.

— Не может этого быть! Ребенка?..

Доктор махнул рукой, снял очки, и Хана увидела, что у него в глазах слезы.

Все труднее и труднее было продвигаться вперед: с Павловской улицы шли толпы, с Некрасовской, с Дмитровской. Никогда Хана не думала, что Львовская такая длинная. Ведь только до базара дошли... На тротуарах стояли немецкие патрули. Иногда Хана слышала отдельные фразы, доносившиеся из подворотен, подъездов, из раскрытых окон.

— Господи, сколько их!.. А куда их пошлют?..

— Говорят — на работы...
— Страшно смотреть!..
— Саша, не опоздай к обеду...
— Я только в булочную сбегаю...
— А на Крещатике до сих пор горит...

Где-то за цепью немцев продолжалась жизнь... Аля не могла больше итти, плакала. Хана взяла ее на руки, но не было сил нести. Кто-то сказал: «Посадите ребенка на подводу»... Хана поблагодарила. Старик, который ехал на подводе, не ответил — он что-то бормотал. Может быть, молился? Или потерял рассудок?.. Ведь от такого можно сойти с ума!

Может быть, доктор преувеличивает? Он всегда так... Сказал, что у Раи воспаление легких, а у нее был обыкновенный грипп...

Женщина, которая шла рядом с Ханой, сказала:

— Говорят, что нас расселят в маленьких городах...

Конечно, доктор преувеличивает. Звери, но не могут они убивать детей. Хана пыталась приободрить себя, но сердце замирало. Нет, не к жизни эта дорога! Все плачут, женщины рвут на себе платья, старики молятся, как перед смертью. Кому они молятся?.. Хана вспомнила, как когда-то сидела в синагоге — наверху. Был Судный день, старики молили бога о пощаде. А потом был погром... Если и есть бог, он не слышит, ему все равно — не его это дети...

А у немцев глаза бесстыдные, смотрят и смеются. Вот один отвернулся, хоть зверь, а ему самому страшно... Где же наши? Ося где? Конечно, наши победят, но когда?.. Эти ведь всех замучают...

Где они? Все еще Львовская... Вот в этом доме когда-то жила старшая сестра Ханы Феня, у нее был муж портной, красивая вывеска... Когда Хана познакомилась с Наумом, она пришла к сестре, заплакала, попросила, как у матери, благословения. Наум был добрый, только сумасшедший... Когда он уехал, трудно было с Осей. Она работала прачкой, потом уборщицей. Все-таки она поставила Осю на ноги. Конечно, Леве жилось легче, но у Оси ясная голова. С ним считаются, наверно он теперь — командир... И жену он нашел хорошую. Это просто сказать, что Рая капризная, все женщины капризные, но у нее золотое

сердце. И хорошо сделала, что пошла на войну, нужно всем воевать, если они такие звери... Теперь понятно, почему Стешенко ее отговаривал. Змея!.. А Вера Платоновна — настоящий друг. Что с ней сделали эти звери? Может быть, тоже сослали?..

Шоссе... Она здесь была очень давно — они ездили с Наумом на свадьбу Розы. Наум смешно танцовал. И она тогда танцовала — польку... Вот и жизнь позади... Но Аленька... Нельзя оставить Аленьку — она только начинает жить... Где они? Кажется, это улица Мельника...

Кончились дома. Кругом пустыри, то холмик, то овраг и песок, много песку. Все остановились: дальше не пускают. Некоторые закусывали. Женщины унимали детей. Старик взывал: «Ты вывел нас из Египта...»

Смеркалось, когда они подошли к немецкой заставе. Хана увидела на вытоптанной траве столы. Как в канцелярии. Наверно, записывают, куда отослать. Пропускали небольшими группами — по тридцать человек. Рядом с Ханой оказались две девушки в нарядных платьях и сумасшедший старик, тот, что посадил Алю на подводу.

Немец взял у Ханы паспорт. Она спросила:

— Вы отметите?

Но он бросил паспорт на землю, крикнул:

— Не разговаривать! Ценности!

Хана протянула обручальное кольцо и три серебряных ложки.

— Все?

Их пропустили дальше. Другой немец кричал:

— Раздеваться! Живо!

Хана стояла, не двигалась. Немец ударил ее.

— Раздеваться! Девочку раздеть!

Что они еще придумали? Звери!.. Хана стала раздевать Алю. Девочка плакала:

— Бабушка, я не хочу купаться! Бабушка, холодно...

Хана схватила ее на руки, прижала к своему высохшему телу, еще пыталась ее согреть.

Старик снял пиджак.

— Штаны снять! Живо!

Старик ответил:

— Нет.

Тогда немец ударил его по лицу, он зашатался, но не

упал; глаза его налились кровью, и гортанным, резким голосом он прокричал:

— Будь ты проклят, и семя твое, и дом твой, и путь твой!

Подбежал другой немец, автоматом размозжил голову старика. Аля плакала:

— Бабушка, я боюсь...

— Меня убейте, а ребенка оставьте! — молила Хана.

— Не разговаривать! Вперед! Живо!

Две девушки разделись. Немцы смотрели на них глазами жадными и злобными. А девушки, улыбаясь, пошли вперед и неожиданно для всех запели:

Вставай, проклятьем заклейменный...

Хана увидела: овраг. До ее сознания еще дошли слова женщины, которая шла рядом: «Это Бабий яр...» Потом немец схватил Алю и, размахнувшись, швырнул девочку в овраг. Истошно взвизгнула Хана и сразу смолкла, повернулась к немцам, высоко подняла руку, закричала:

— Ося придет! Красная Армия придет! За все заплатите, звери!..

Их пригнали к самому оврагу, дали очередь из автоматов.

Возле груды вещей немцы ссорились.

— Я тебе сказал, что эти часики мои...

— Ты сказал про другие, а эти я отложил...

Он засунул в карман несколько колец, среди них и то, что когда-то молодой мечтательный портной надел на палец взволнованной Ханы... А вот шубка Али, Хана вчера успела починить... Никто ее не берет... Белье, игрушки, дамские сумки, костыли, молитвенники, шляпа с большим пером...

9

Осень была холодной. Зарядили дожди. Глубокие окопы, похожие на колодцы, наполнились водой. Люди мерзли, чихали, ругались. День и ночь бомбы, снаряды, мины. Кажется, враг изучил каждый вершок земли.

Сколько можно проторчать в этаком аду? Осип пожимал плечами — приказ держаться.

Давно не было почты. Но вот судьба смилостивилась, ползком добрался полковой почтальон Серденко. С него текла вода. Он вытащил из-за пазухи радость людей: синеватые, желтые, серые конверты, листочки из школьных тетрадей, сложенные треугольниками, две газеты — армейскую и московскую.

— Дай «Звездочку».

Осип знал, что ему писем нет. Где Рая? Успели ли они выбраться?.. Он старался об этом не думать, боялся, как он говорил себе, «размякнуть». Ничего не сказал товарищам, они и не знали, что у комиссара семья.

Осипа побаивались: он казался чересчур рассудительным, сухим. Он сам понимал: что-то не ладится. Какой же я комиссар?.. Душой батальона был капитан Белогоров, голубоглазый, мечтательный, когда нужно смелый, когда нужно веселый. Его посвящали в личные дела, рассказывали о женах, детях, радостях, невзгодах. Да и он любил рассказать о своей Клаве — даже Осип знал, что жена Белогорова — консерваторка, поженились они перед войной, собирались в Алупку.

Читали, перечитывали письма, передавали товарищам.

Большой лист грубой бумаги. Большие неуклюжие буквы. Это пишет Горюнцеву мать-колхозница. «Добрый день или добрый вечер, дорогой мой сын! Шлю тебе чистосердечный материнский привет и сообщаю, что все мы живы и здоровы, чего тебе желаю. Шуру призвали, у Маруси родилась девочка. Хлеб убрали, а с картошкой плохо, народу нехватает, обещали из Сызрани прислать городских. Дорогой мой сын, бей гадов за раны моего материнского сердца! Шлю чистосердечный привет твоим любезным товарищам и желаю успехов в военной жизни...»

Осип, прочитав, хотел сказать что-то очень теплое, но не находил слов, в голове вертелось «передовое колхозное крестьянство», но это — для статьи, а здесь письмо матери...

Петрицкий волновался:

— Жена пишет, что эвакуируются куда-то в Узбекистан. Не знаю, как она справится? Ведь мальчонке восемь лет, а девочке пять...

— Хорошо, что эвакуируются,— ответил Осип.— Там спокойней. И тепло... Я-то не был, но мне товарищ рассказывал — дыни, виноград, кишмиш. Чего ты волнуешься? Кажется, у нас государство, а не лес с волками. Я на Печоре был, климат посложнее. И там живут — кино, молодежь танцовала, семьи, пироги пекли...

Уверенный голос Осипа действовал не только на Хану, Петрицкий успокоился; он показал Белогорову детские каракули:

— «Дорогой папа»... Это дочка пишет... И хорошо написала...

К Осипу подошел лейтенант Зарубин:

— Мы здесь сидим, мокнем. Я уж не говорю про другое... А о чем они в Пензе думают? Не хотят обеспечить мать дровами...

Это не чувства, здесь все ясно. Осип тотчас написал в горком Пензы — о советском патриотизме, об отваге лейтенанта Зарубина, о том, что зимою необходимы дрова...

Белогоров был переполнен счастьем, ему необходимо было с кем-нибудь поделиться. Осипа он считал человеком свободным от присущих другим слабостей, такой, наверно, и не влюблялся... Но Осип был рядом, и Белогоров протянул ему бледнолиловый листок бумаги. Не читая, можно было понять, что пишет молодая нарядная женщина.

«Мой любимый, единственный!

Я не знаю, доходят ли мои письма, но я так горячо, так страстно думаю о тебе, что ты должен это чувствовать. За меня не беспокойся, я стараюсь жить, хуже всего пасть духом, только ночью, когда никто не видит, реву, как дура, в подушку. Москву ты не узнал бы, она в военной форме, как ты. Я не была дома десять дней, мы рыли окопы у (цензура вычеркнула одно слово), было вначале с непривычки трудно, и бомбили, но справились. Немцы кидали там идиотские листовки, называли нас «дамочками», наверно, не представляют, что такие «дамочки», как я, могут играть на скрипке и рыть землю. Может быть, нас заставят отсюда уехать, но ты не волнуйся, теперь такое время, все должны заниматься не своим делом. Если ты можешь стрелять, почему я не могу работать в колхозе?

Главное — победить, хотя сообщения не очень веселые, я почему-то уверена, что это будет скоро. Я вспоминаю каждый день, каждую минуту, проведенную с тобой. Помнишь Московское море, и как ты упал в воду, и потом вечером... Я не могу об этом писать, ты сам все знаешь. Я тебя целую, как тогда, и если даже война будет сто лет, я буду ждать, ждать, ждать!»

Осип помрачнел: письмо напомнило ему Раю. Может быть, и она выбралась, роет окопы или работает в колхозе? А если они застряли в Киеве?.. Нет, об этом нельзя думать!

Он читает бойцам передовицу: «Отстоять Москву — первейший долг советского воина». Статья ему нравится, все толково, ясно. Он глядит — люди слушают, молчат. Почему-то он снова вспоминает Раю... Она говорила: «Ничего ты не понимаешь, ничего»... Может быть, правда, он ничего не понимает? Белогоров сказал ему в прошлый раз: «Хорошо, но суховато...» И Осип говорит:

— Жена командира пишет, что Москва теперь военная. Там, как у нас. Она музыке учится, должна беречь руки, а пошла рыть окопы... Так что нужно держаться. Москва — это не просто рубеж, это вот здесь...

Неловким жестом он показывает на сердце и думает — глупо, как в романе...

Это была короткая передышка — между двумя немецкими атаками. Девять дней как они здесь. Речка... Разве это защита? Ее и дитя перейдет. В первую же ночь бойцы вырыли глубокие окопы, узкое отверстие — едва пролезешь. Немцы атакуют по два раза в день. Кругом не осталось живого места — воронка задевает воронку. Главное, мало боеприпасов — трудно доставить. Белогоров и Осип решили подпускать немцев поближе — «режим экономии». Белогоров спросил: «А нервы у наших выдержат?» Осип даже не ответил — на то война...

Вчера Зарубин сказал Осипу:

— Неужели не страшно?

Осип рассердился:

— Ну, страшно. Почему я должен тебе об этом докладывать? Задание, кажется, понятное — держаться. Мало что человек чувствует, не про все он обязан оповещать.

Если человек наестся огурцов и его разносит, об этом романы не пишут, пишут про другое...

Он поглядел на серое, осунувшееся лицо Зарубина и неожиданно ласково добавил:

— Пройдет. Это все нервы. У меня зуб болел, положил что-то дантист, еще хуже заболело, а потом действительно прошло. Он сказал: «Это я вам нерв умертвил...» Здесь лучше без нервов. Посидим и перестанем чувствовать. А вернемся домой — там жена, нервы, все что хочешь.

Немцы решили бросить авиацию. Было это под вечер. Чуть прояснилось, край неба был грязно-красным. Осип считал: тридцать четыре... И перестал считать. Должно быть, в старину так представляли конец света: земля ходит... Сколько у этих сволочей авиации? Почему-то он вспомнил брошюру: Рур, Эссен, борьба за распределение сырья... Потом все помутилось, как будто его с размаху ударили в грудь. Он очнулся, когда Горюнцев, обхватив его, крикнул:

— Комиссара убили!

— Дай попить. Пить хочется...

Он выпил глоток и почувствовал тошноту; его вырвало. Сильно болела голова, хотел встать, но зашатался и тотчас лег. На минуту ему показалось, что он дома, болен, Рая принесла горячий чай, аспирин. Сейчас голове полегчает...

— Плохо вам?..

Это — Зарубин, как будто он далеко, далеко...

— Ничего, сейчас пройдет.

— Белогорова... Насмерть...

— Что?..

Осип вскочил.

Белогорова нельзя было узнать — так его изуродовало. Осип постоял, пошевелил губами — хотел что-то сказать, но не мог. Потом он выговорил:

— Принимаю командование батальоном.

Ночью Белогорова похоронили. Не нашлось дощечки, и Осип написал на жестянке из-под консервов: «К-н И. А. Белогоров. Пал смертью героя. 12/X 1941». Дали залп из винтовок. Немцы в ответ посадили ракеты. Осип вспомнил, как Белогоров мечтал: «Кончится война,

поеду с Клавой в Алупку...» Хорошее у него было лицо, глаза хорошие — веселые, умные... Нужно Клаве написать. «Буду ждать хоть сто лет...» И Осип обрадовался, что темно, никто на него не смотрит, по лицу, наверно, видно, до чего размяк...

— Связь порвана,— сказал Зарубин.— Теперь и ждать нечего. Нужно отходить.

— Такого приказа нет.

— Но ведь патронов в обрез. А они завтра снова полезут...

— Приказ был — держаться.

— Это что — упрямство?..

Осип улыбнулся:

— Слушай... Я упрямый, это правда. Мне и жена говорила: «Не могу с таким упрямым жить...»

Оттого, что комиссар впервые упомянул о своей семье, и Зарубину, и другим стало как-то легче. Все заулыбались. А Осип теперь заговорил серьезно:

— Ты думаешь, только у нас потери? Посмотри, что на том берегу делается. Они ночью своих утаскивают, а к речке подойти боятся. Там их штук пятьдесят по меньшей мере. Эти уж не полезут на Москву. Если отходить только потому, что они лезут, они и до твоей Пензы дойдут.

Атака — одиннадцатая или двенадцатая — Осип сбился в счете — началась рано утром, только-только рассвело. Нерадостной была земля: дождь, обломанные деревья, изрытая земля, желтая мутная речка. Но Осипу казалось, что именно здесь сердце огромной страны. Зацепились и не уйдем!..

Немцев подпустили на двести метров; потом открыли пулеметный огонь. И в одиннадцатый или в двенадцатый раз немцы отхлынули. Осип считал: еще штук сорок... Если повсюду так, не видать им Москвы.

И снова зашумело небо. Безобразие, где же наши истребители? А впрочем, много ли я знаю — может быть, у соседей еще хуже? Или наши контратакуют... Одно ясно: нужно держаться. Если мы люди, настоящие, советские люди, не побежим. А Клава ждет Белогорова... Где Рая, Аля, мама?.. Нет, не буду думать! Лучше считать, как рвутся бомбы — спокойней...

10

Келлер злобно глядел на хорошо знакомую ему картину: полосы дождя, рыжая, жирная грязь, печи сгоревших домов, искалеченные деревья, а вдали эта поганая речонка. Лейтенант Краузе вчера сказал: «Перешли через Днепр и топчемся перед какой-то лужей...» На этот раз Краузе прав, но он плохой начальник — грубоват, несправедлив, раздает «железные кресты» своим любимчикам, а только увидит мало-мальски интеллигентного человека, сейчас же придирается.

Какой злой дух придумал эту страну? Здесь и жить нельзя... С тоской Келлер припоминал берега родного Неккера, чистые домики, сады, клумбы, беседки, обвитые плющом или виноградом. А Франция... Только теперь он понял, как был счастлив во Франции. Можно, разумеется, высмеивать французов — они измельчали, не двигаются вперед, но это все-таки культурные люди. Во Франции нет того комфорта, к которому привыкли немцы, но у французов свои достоинства, они остроумны, элегантны, приятны в общении. А главное — они хорошо нас принимают. Мими, наверно, наврала, синяки у нее были от другого... За все время меня только раз плохо встретили. Но ведь Дюма — узкий специалист, ему пошел седьмой десяток, он не может понять, что на свете все переменилось. Хорошо, что я не сообщил о нем в гестапо — немец должен быть великодушен. Притом, есть профессиональная солидарность... Зачем об этом вспоминать? Как приятно было в Дижоне! А Мими... Сколько он дал бы за одну ночь с Мими! С весны он живет как монах... Хорошо бы получить отпуск и съездить к Герте. Конечно, сейчас об этом нечего мечтать, нужно взять Москву. И вот какая-то жалкая речка...

Фюрер сказал, что главные силы красных уничтожены; он знает, что говорит. Мы ведь видим только то, что у нас под носом. Одно непонятно: чем мы дальше идем, тем труднее. Во Франции было наоборот, товарищи рассказывали, что вначале французы пробовали сопротивляться, даже контратаковали. А нашему полку и воевать не пришлось... Откуда у красных столько солдат? Краузе говорит, что у них нет автоматов. От этого не легче —

строчат пулеметами... Какие-то одержимые! Ведь они понимают, что их карта бита. Зачем же сопротивляться? Отсюда рукой подать до Москвы. Ясно, что мы там будем. Они устраивают страшную бойню, только чтобы получить месяц отсрочки. Когда французы увидели, что все козыри у нас, они сдали партию, это естественно, так поступает каждый культурный игрок. Но русские действительно дикари, достаточно поглядеть на их дороги...

В первые дни русской кампании Келлер старался утихомирить товарищей, которые стреляли в окна, ломали двери, выволакивали девушек. «Мы должны им показать, что такое немецкое великодушие». Он даже раздавал детворе леденцы. Вспоминая об этом, он усмехался. Герта права: у меня неизлечимая наивность. Стоит старухе заплакать или какой-нибудь девчонке улыбнуться, как я готов сделать очередную глупость... Вчера убили Курта Крамма. Это был студент-филолог. Из него мог бы выйти мировой ученый. А его застрелил азиат, который даже не знает, что такое университет. Леденцы... Нет, здесь нужен кнут. Обуздать их, чтобы они не опомнились... Может быть, через пятьдесят лет с ними можно будет разговаривать по-человечески, не раньше.

Год тому назад Келлер жил безмятежно в Дижоне; ему казалось, что он бывалый солдат — ведь ему привелось участвовать в перестрелке. А теперь он действительно фронтовик. Курт умер у него на руках. Не один Курт — возле этой проклятой речки они потеряли треть роты. Вчера Келлер нашел на себе вошь; ему стало противно, а потом он подумал: вот она, настоящая война,— с кровью, с дермом, с ужасом! Здесь не до Мими... Может быть, товарищи были правы, когда насиловали русских девушек. Не цветы же им подносить... У войны свои законы: хочется иногда отвести душу, сжечь, снести, задушить. Герта меня не узнала бы — одичал...

В роте были разные люди — и крестьяне, которые говорили о моргенах, об удобрении, об удойности коров, и учитель музыки, и коммерсант из Галле, и студенты. Келлеру пришелся по душе унтер-офицер Вилли Вебер, юноша с нежным, почти девическим лицом и с жесткими глазами видавшего виды солдата. Вебера можно было бы назвать красавцем, не будь кадыка, который набухал,

когда Вилли волновался. В роте Вебера считали смельчаком. До войны он учился в Иене и приятно удивлял Келлера своею начитанностью, цитировал Шопенгауэра, Шатобриана, Достоевского, приводил наизусть целые страницы из Ницше, при этом не был сухим книжником — любил выпить, побалагурить, на отдыхе лучше всех устраивался — Келлер знал, пойти с Вебером, будет и курочка, и сливки, и мягкая кровать. Глядя на Вилли, Келлер думал: профессору Дюма нас не понять, вот она, новая раса — солдат с книгой, мудрец с ружьем!

— Я мечтаю о времени, когда война кончится,— признался Келлер своему юному другу.— Конечно, чтобы построить новую Европу, нужно многое разрушить. Но настанет день победы... Мы вернемся к нашим книгам, к нашим семьям...

Вебер усмехнулся:

— В вас сильны пережитки девятнадцатого века. Кто-то назвал его «глупым веком» и правильно. Свобода для неучей, культ терпимости и заодно домов терпимости, мечты о скромном достатке, овечки пацифизма, словом, вздор, гниль. Мы родились для другого, этот век будет немецким. Послушайте, Иоганн, без трагизма нет ни биографии, ни истории народа. Когда голландцы умели воевать, у них был Рембрандт. А что у них теперь? Сыр?.. Мой отец был прежде управляющим, это большое поместье, почти на границе Богемии. Там был пруд с карпами. Помню — приехал из Дрездена ихтиолог и сказал: пустите в пруд несколько щук, тогда карпы станут крупнее. От отсутствия опасности люди мельчают. Французы не хотели воевать — зажирели. Если угодно, мы их облагодетельствовали, сняли жирок, может быть эти каплуны вспомнят, что были когда-то галльскими петухами. Вы думаете, русские хотят воевать? Их принуждают. Здесь нет ни одной индивидуальности, они — как это поле, дохнешь с тоски, понятно, что мы их бьем. Война для нас не катастрофа, а высшее проявление человеческого духа.

Келлер не стал спорить. Правда, он сохранил свою скромную мечту — домик, Герта, кофе со сливками, книги; но в душе он понимал, что Вебер прав, этот мальчишка выразил сущность эпохи.

Им дали денек отдыха: в полк пришло пополнение. Мутная мокрая деревушка. Перепуганные лица старух.

Солдаты сушили шинели, жарили картошку; пели с детства знакомые песни. Было тепло, уютно. Вебер где-то раздобыл бутыль русской водки; пили мелкими глотками, чтобы растянуть наслаждение. Келлер сидя задремал. Перед ним маячила Мими. Ну и чертовка, такие могут быть только во Франции!..

Вдруг зазвенело стекло: кто-то запустил в окно камнем. Все вскочили, схватились за автоматы. Проклятая страна, приходится все время быть на-чеку! Вебер выбежал — в темноту, под дождь. Несколько минут спустя он приволок белобрысого мальчика. Тот истошно кричал. Коротко острижен, торчат уши, руки в занозах — таких много и в Гейдельберге, только там они чище...

Никто не понимал, что говорит мальчик, а он говорил не замолкая. У Вебера глаза стали еще жестче; на шее обозначился кадык. Он крепко держал мальчика и вдруг — никто этого не ожидал — с размаху ударил его головой о печь.

Келлер отвернулся. Все-таки это отвратительно! Воевать с детьми... Потом он вспомнил, как умирал Курт. А ведь камень пролетел прямо над головой Вилли... Дикари! Нельзя к ним подходить с нашими нормами. Он попросил у Вебера еще водки, выпил и сразу уснул.

Когда он проснулся, мальчика в избе не было; товарищи брились, чистили обувь, варили кофе; Вилли читал «Мысли» Марка Аврелия.

И вот снова поле, культяпки деревьев, грязь. Краузе сказал: «Если мы не форсируем эту дурацкую речку, мы станем посмешищем. Из-за нас другие не двигаются...» Вебер ответил: «Прежде это зависело не от нас, а теперь полк получил пополнение. Я уверен, что завтра мы будем на том берегу».

11

Немцев еще раз отшвырнули назад. Санитарка Варя, сокрушенно вздыхая, перевязывала руку Осипу: осколок мины попал чуть выше локтя. Осип морщился, но пробовал улыбаться.

— Боюсь, кость задета,— говорила Варя.— Необходимо вас в санбат отправить.

— Не задета... Да и левая, это неважно. А уходить нельзя, представление только начинается. Одного живьем взяли. Нахал — в речку полез... Вы не уходите — сейчас его приведут. Хорошо, что переводчик у нас застрял...

Впервые они увидят живого немца, что занимало всех. Только переводчик Зельдович, в прошлом студент пединститута, хмурился. Его прислали неделю тому назад, чтобы допросить пленных; но пленных не оказалось, а добраться до КП полка было невозможно. Зельдович забыл о своих обязанностях переводчика, сидел с винтовкой и артистически ругался, конечно, по-русски. Теперь он волновался куда больше, чем под бомбежкой. Он изучал немецкую поэзию, а в штабе дивизии его сразу ошарашили: «Как по-немецки рокадная дорога? Огневой налет? Взаимодействие?» Ясно, что таких слов он не встречал ни у Шиллера, ни у Гейне.

Вилли Вебер выглядел довольно жалко — мокрый, на лице огромный синяк (когда его схватили, он пытался вырваться). Он оглядел всех исподлобья; глаза его сохраняли жесткость, даже надменность, но в поспешности, с которой он поворачивался то к одному, то к другому, в том, как он прислушивался к непонятной речи, было что-то лихорадочное.

Осип сказал Зельдовичу:

— Спроси — какой части?

Вместо ответа Вебер выкрикнул:

— Красная Армия разбита. Ваши генералы сдаются. Я предлагаю вам сдаться. От имени фюрера... Мы никого не тронем.

Зельдович растерялся: не поверят, скажут — не знаешь языка...

— Товарищ комиссар, пленный говорит чорт знает что.

— А ты переводи.

Зельдович перевел — слово в слово. Осип строго поглядел на Вебера:

— Если он намерен оскорблять честь Красной Армии, ему недолго осталось жить.

Эти слова понравились Зельдовичу, он сказал Веберу: «Вам недолго осталось жить».

Вебер закрыл глаза. На его длинной шее зашевелился кадык. Лицо покрылось испариной. Он что-то хотел сказать, но из горла выходили только глухие скрипы. Потом он приоткрыл глаза, в ужасе поглядел на Осипа и закричал:

— Не нужно меня расстреливать! Я военнообязанный! Я выполнил приказ. Я студент. У меня мать в Иене...

Осип брезгливо поморщился.

— Скажи — никто его не собирается расстреливать. Должен вести себя прилично, здесь ему не «фюрер», а люди. Какого полка?

Вебер по-военному вытянулся; отвечал он обстоятельно — Зельдович не успевал переводить. Когда допрос кончился, к Осипу подошел Горюнцев:

— Товарищ комиссар, разрешите прикончить гада?

— Нельзя, это пленный. Не огорчайся, еще в бою с ними встретишься... А этого нужно отвести на КП. Унтер-офицер, да еще болтливый. Там его лучше допросят. Захвати переводчика и ползком... Вдвоем его и доставите. Только смотри— доставить живым. Понятно?

Добрались они до деревушки, где помещался КП полка. Зельдович пошел к себе. Адъютант сказал Горюнцеву, что майор занят, нужно подождать. Горюнцев сел на бревно, показал немцу: садись. И хотя Вебер не понимал по-русски, Горюнцев ему доказывал:

— Гад ты, настоящий гад! Чего вы к нам полезли? Ух, красномордый!.. Что, тебе дома было плохо? Паразит! Пришли, хаты жгут, людей терзают. Я тебя не трону, не бойся... Комиссар у нас понимающий. Только одно я тебе скажу — распоследняя ты сволочь!..

Горюнцев вытащил газету, кисет с махоркой, закурил. Потом дал кисет Веберу.

— Кури, паразит. Я бы вас всех перебил... А если тебе жить, значит и курить нужно. Хоть паразит, а хочется... Кури, тебе говорят.

Вебер закашлялся от непривычки едкого дыма, но сразу повеселел: он понял, что будет жить, и, ни о чем не думая, улыбался подаренной жизни.

А Осип сел писать Клаве. Он долго сидел над чистым листом, наконец написал: «Дорогой товарищ и друг Клава! Иван Алексеевич много мне говорил о вас, я знаю, какое у вас сердце. Соберитесь с силами, Клава...» Он

отложил перо — что-то не выходит. Это ведь только писатели умеют... Может быть, Зарубина попросить?..

Прибежал Петрицкий:

— Есть связь. Вызывает майор Крапивцев... А немцы снова лезут, вон какой фейерверк...

Осип схватил трубку.

— Я самый. Переводчик, наверно, рассказал... Главное — боеприпасы. Про немцев спрашиваете? Сейчас снова полезли. Не слышу... Мы?.. Мы ничего, ждем...

12

В бомбоубежище было душно. Тусклая лампочка едва освещала большой подвал с проходами, закоулками, набитый людьми. Одни спали, другие томились, судорожно позевывали, прислушивались к грохоту разрывов. Какая-то бабка страстно обнимала огромный узел. Беременная женщина плакала навзрыд. Нина Георгиевна ее успокаивала:

— Вы не бойтесь. Это не бомбы, это наши зенитки...

Кто-то свистнул:

— Ну и близко!

Женщина еще сильнее заплакала. Нина Георгиевна не сдавалась:

— Я вас уверяю, что это зенитки. Не нужно волноваться, сейчас будет отбой.

Она обняла женщину, и та притихла.

В такие минуты Нина Георгиевна чувствовала большое душевное спокойствие. Незадолго перед войной Ольга, смеясь, сказала Сергею: «Мама — как лермонтовский парус — ищет бури...» Жизнь Нины Георгиевны, за исключением ранней молодости, сложилась не так, как ей хотелось. В годы гражданской войны она была прикована к больному мужу, который, лежа в морозной комнате, писал о британском империализме. Нине Георгиевне казалось тогда, что жизнь проходит стороной. Потом было горе, красный катафалк, речи, мелочи, которые ежедневно напоминали о потере,— изгрызенный мундштук, газетные вырезки, старые письма. Ниной Георгиевной овладели заботы о детях — то ботинки Оле, то снарядить Васю

в пионерлагерь, то у Сережи продрались локти... Правда, была работа — школа, институт, партийные собрания, доклады о пятилетках, рассказы Сережи, но этого ей было мало — хотелось отдать все. И вот теперь она забыла тоску одиноких вечеров, вечные сомнения (нужна ли я кому-нибудь, старая, больная?), она жила жизнью Москвы. Она приходила в райком, как солдат на командный пункт: ждала приказа. Где бы она ни была — в убежище, на вокзале, в госпитале, повсюду она поддерживала людей, заражала их своею уверенностью.

Иногда среди ночи ей хотелось, чтобы кто-нибудь поддержал ее: от Васи не было известий с начала войны. Много раз Нина Георгиевна заставила Наташу повторить рассказ, как она рассталась с Васей в Минске. Говорят, что в лесах большие отряды... А может быть, убили?.. Теперь уехал и Сережа, редко пишет, уверяет, будто он в тылу, успокаивает... Нина Георгиевна пыталась себя образумить: почта плохо работает, везут раненых, снаряды, беженцев — не до писем. Пропадают, наверно... А Вася никогда не любил писать. Полегчает, напишет... Сережа писал в сентябре... Но всех она могла успокоить, только не себя. Ей снились страшные сны. Тонул корабль, и на борту был Вася. Сережа лежал убитый на площади какого-то чужого города. Она просыпалась в ужасе, пила воду, потом стыдила себя: распустилась, нервы... В Минске — море!.. Сережа еще в тылу — они формируются... И все-таки сердце ныло. А потом она шла к другим и забывала о своей боли.

Прежде она часто видалась с невестками. «Кто тебе больше нравится — Валя или Наташа?» — спросила как-то Ольга. Нина Георгиевна не смогла ответить. По-разному она их любила. С Валей она могла говорить об искусстве, о книгах, о мечтах. Нина Георгиевна понимала выбор Сережи: Валя тонкая, нежная, такую редко встретишь. А Наташа для нее была ребенком, она с нею нянчилась, как нянчилась прежде с Олей. Наташу это немного обижало, но она думала: старухе приятно, пусть. Первой уехала Валя — еще в августе. Наташа записалась на курсы, хотела стать санитаркой. Ее отослали в Рязань. Нина Георгиевна дала ей на дорогу шоколад, печенье, вздыхала: «Слишком ты маленькая...»

Осталась Ольга. Но, как всегда, была между ними стена непонимания. Ольга говорила о карточках, о запасах, рассказывала, что кто-то поздравил Лабазова: «прекрасная передовица...» Может быть, она говорила это, чтобы отвлечь мать от грустных мыслей; но Нина Георгиевна хмурилась: о чем Оля думает!

Нина Георгиевна не узнавала Москвы; тревога была не только на лицах — на камнях. Много зданий закамуфлировали: они покрылись зловещей сыпью; на глухих стенах зазеленели ядовитые деревья; от их вида сжималось сердце. На площадях выросли сказочные, пряничные терема. Пестрой вуалью прикрыла лицо Москва-река. Особенно остро Нина Георгиевна почувствовала трагичность этого маскарада, когда какой-то малыш весело защебетал: «Мама, на домике елка, дед-мороз придет»,— и мать в ответ заплакала.

На улицах было людно, беспокойно. Женщины тащили узлы, тюки, чемоданы. Возле вокзалов не унималась толчея. Под вечер в серое низкое небо медленно подымались аэростаты, похожие на китов; у входа в метро толпились люди. Ночи были черными и шумными: сирены, зенитки, бомбы. После нескольких теплых дней наступила ранняя зима. Ползли тревожные слухи об Орле, о Вязьме, о Мценске. Москва давно забыла спокойствие мира и еще не нашла другого, солдатского спокойствия. Повсюду говорили об эвакуации. Опустели многие дома. Уехали и соседи Нины Георгиевны.

Пришла Ольга:

— Можешь поздравить, нас эвакуируют.

Она была необычайно взволнована. Нина Георгиевна стала ее успокаивать.

— Хорошо делают, такая газета сейчас нужнее в глубоком тылу. А ты не огорчайся, Оля, Москвы они не возьмут, я в этом убеждена.

— Я тоже так считаю. Немцы передавали по радио, что двадцатого будут на Красной площади, но это типичное бахвальство. От Сережи ничего нет?

— Нет.

— Мама, а ты все-таки решила остаться? По-моему, это ребячество...

— Пока не скажут... Здесь теперь много работы.

— Я думаю, что и тебя отошлют. Знаешь, в твоем возрасте... Но тебе хорошо — вещей мало. Я прямо не знаю, что делать, жутко много вещей, взять нельзя, а оставить обидно — растащат.

И снова Нина Георгиевна почувствовала отчуждение, почти неприязнь. В такое время Оля думает о барахле!

Ольга обиделась: мама считает, что я переживаю меньше, чем она. Глупо! Как будто я не советская. А вещи бросать обидно.

Они расстались холодно, как чужие.

Два дня спустя Нине Георгиевне сказали: «Нужно эвакуировать группу детей — родители здесь останутся. Вы-то справитесь...»

В последний раз пошла Нина Георгиевна по московским улицам, она шла медленно под мокрым снегом и грустно улыбалась. Вот в этом доме она жила, когда ее арестовали. Пришел околоточный, стучал сапогами, долго рассматривал фотографию — гимназическая группа, сказал «приобщим»... Все последнее время ей вспоминались далекие годы. Она ясно видела товарищей по подполью, явки, гектограф, прокламации, тюремную камеру, рыжего ротмистра, который ее допрашивал, корчму в польском местечке, тюки с газетами... Как будто это было вчера! А все последующее застилалось туманом. Может быть, объяснялось это возрастом — старея, люди отчетливее припоминают детство и первую молодость, нежели годы зрелости. А может быть, драматизм разворачивающихся событий всколыхнул душу Нины Георгиевны, и ожила в ней мятежная девушка давних лет.

Она вспомнила сейчас, как ее принимали в большевистскую организацию. Товарищ Егор недоверчиво посмотрел (ей показалось, что он видит насквозь): «Не струсите?..» Она ответила: «Нет». В Бутырках было грустно; услышав далекое позвякивание трамвая, она вздыхала: как хорошо на воле! Там и голуби что-то празднуют... Теперь даже к Бутыркам она чувствовала нежность. Горько уезжать... Но товарищи знают... Каждый должен быть на своем месте.

И вот полутемный вокзал. Бомбежка. Длинные эшелоны. Ничего не видать... Она выкрикивала имена детей:

вдруг потеряю?.. Почему отправляют ночью? Наверно, из-за авиации.. Двадцать шесть. Старшей, Вере — четырнадцать, младшему, Васе — восемь. Все в сборе. Рядом с ней Вася.

Что с Васей? За четыре месяца ни разу не написал. Теперь и ждать нечего. Куда он напишет? Наташа тоже уехала... Только не нужно думать — горе у всех...

Рассвело. Поезд стоял на узловой станции. Нина Георгиевна вышла — покурить. Она увидала десятки эшелонов. Платформы с машинами; и машины стали беженками... В теплушках семьи, чайники, пеленки — из Курска, из Орла, из Калинина... Две недели едут... Огромный улей разворочен — куда-то уходят за городом город, заводы, школы. Здесь и крестьянские сундуки, и картины, скот, архивы, непонятные сложные приборы. Грузили под бомбами, под огнем... И валит снег... Нине Георгиевне стало страшно: как ни велика была уверенность, что-то в ней дрогнуло. Ее окликнул машинист:

— Товарищ, папиросы у вас не найдется?

Он жадно затянулся.

— Теперь полегчало. Шестьдесят часов не спал — вон какой состав...

Глаза у него были красные от усталости, но спокойные. Пожилой, мой ровесник... И Нина Георгиевна устыдилась минутной слабости: с такими людьми разве можно погибнуть?

Она быстро подружилась с ребятами, знала историю каждого. У Васи отец танкист, мама работает на Центральном. Отец Олега летчик, мать санитарка. Вася рассказывал: «Папа говорил «я буду утюжить», а мама говорила «я не понимаю»... А Варя сказала: «Папа на войне и писем не пишет...» Нина Георгиевна поспешно ответила: «Скоро напишет. Им теперь не до этого...»

На одной из станций, не разобравшись, вагон хотели отцепить.

— Нужно пропустить вагоны с ценностями.

Взволновавшись, Нина Георгиевна крикнула:

— А здесь дети! Или вы не знаете, что это золотой фонд?

Потом ей самой стало смешно: оратор!.. Но разве не правда? Рубили лес, прокладывали дороги, строили

города. И не было у нас «золотой лихорадки». Другая лихорадка—человеческая... Вот эти вырастут, построят. И не только заводы... Конечно, нужно, чтобы были дома, обувь, машины. Но этого мало, человеку хочется изумления, музыки, счастья. Кто же может это создать? Только люди. Я не увижу, теперь ясно, придется отстраивать, чинить. А эти, может быть, увидят...

Ей стало грустно, что нет рядом Сережи, некому рассказать о самом главном. Дети спали. Темный дачный вагон был наполнен ровным дыханием. Нина Георгиевна вынула из саквояжа огарок, блокнот, начала писать. Она рассказывала Сергею о последних днях в Москве, о внезапном отъезде, писала, как волнуется, что неизвестно ничего про Васю. От Вали была открытка, она устроилась хорошо — комната теплая... Потом Нина Георгиевна отдалась своим мыслям: «Сереженька, я теперь часто думаю о смерти, ты не беспокойся, я здорова, но люди всегда об этом думали, пытались как-то разрешить, наука — борьбой с болезнями, еще столько-то лет подаренной жизни, христиане — иллюзией личного воскресения из мертвых, легенда прекрасная, но сколько в ней детской ограниченности — воскреснуть для вечности с памятью о пятидесяти прожитых годах, пантеисты соглашались раствориться в анонимном хаосе. Я гляжу на детишек, и мне кажется, что бессмертие действительно существует — в людях, неважно, это твои дети или чужие, оно в продлении мыслей, чувств, в их развитии, подъеме...»

Попрежнему спокойно дышали дети, спокойно стучали колеса. Нина Георгиевна вдруг скомкала исписанные листочки. Она погасила огарок; пробовала задремать, но сон не шел; тогда она открыла глаза и, глядя в темную муть оконца, стала терпеливо ждать позднего рассвета.

13

Три месяца Сергей провел в лихорадке; не знал, пошлют ли его на фронт. Он рвался туда со всей нетерпеливой страстностью своей натуры. Нина Георгиевна говорила: «Ты меня и не слушаешь... Как лунатик...» Когда уезжала Валя, он не сказал ей ласкового слова. Она в поезде про-

плакала всю ночь: не любит он меня, знаю, что не любит... А он, очнувшись, ругал себя: как же я не простился с Валей? Теперь говоришь «до свидания» — и не веришь, что встретишься...

Наконец он получил назначение. Саперный батальон формировался в маленьком приволжском городке. Казалось, сюда еще не дошли раскаты далекой грозы. Торговали медом, яблоками, сметаной, мирно судачили. От этого спокойствия Сергею становилось еще тревожнее. После занятий он томился, не мог ни читать, ни разговаривать с товарищами. Веселый, общительный, он замкнулся в себе. Сводки были все страшнее и страшнее. Прорыв к Москве... Немцы в Одессе... в Харькове... В Донбассе... В Крыму... Сергей жадно глядел на карту, как будто ждал от нее ответа — что случилось?..

Однажды товарищ сказал:

— Ну и силища!.. Вот ты был во Франции, как там было?

Сергей ответил:

— Не знаю, я уехал оттуда до войны.

Потом он упрекал себя: до чего я малодушен!.. Хоть бы скорее отправили на фронт! Самое страшное, когда глядишь со стороны...

Ему повезло: он увидел проездом Москву. Падал мокрый снег, день был серый, туманный. Сурово стучали шаги комендантских патрулей, сурово глядели девушки в ватниках. Улицы были перерезаны баррикадами, надолбами, ежами. Сергей шел и смутно улыбался: Москвы им не взять!

На Красной площади он увидел Сталина. Стоит в шинели, в фуражке, а ведь холодно... Спокойный и спокойно сказал: «Германия должна лопнуть»...

Сергей вспомнил, как он томился, и ему стало стыдно. Франция?.. Да там все разбежались — от президента республики до командиров, по ниткам расползлось. А Сталин на месте. И парад устроили, как каждый год. Разве это не лучший ответ? Конечно, у них много танков. Но человек может подорвать танк, может сделать танк. А люди у нас.

Десятки раз он рассказывал на фронте: «Да, да, стоял на трибуне. В каждом слове чувствуется уверенность.

Москва военная, канонада, бомбят. Одно то, что там — Сталин, достаточно. Никогда не возьмут Москву, никогда!..»

Прежде он часто думал: почему я не танкист, не артиллерист, как Вася? Да и в пехоте лучше... Читать, как другие идут под огонь, таранят врага, а самому плестись позади, наводить мосты, закладывать мины... Не честолюбие говорило в нем — романтика, недаром ему поверяла душу Нина Георгиевна.

И вот он на фронте. Перед ним карта: она куда больше той, на которую он смотрел месяц назад, нет здесь ни Крыма, ни Ленинграда, главный город — Наро-Фоминск, помечен каждый бугорок, и каждый бугорок ему сейчас важнее, чем все сводки. Один только раз, глядя на карту, Сергей подумал: чорт бы их побрал, да ведь это Подмосковье, дачи, куда дошли!.. И сразу отвлекся: вот идеальная линия обороны... Есть верное средство от большого горя: детали жизни, кропотливый труд, ежедневное ежечасное напряжение. Сергей понимал, что в его деле главное — терпение; в минуту откровенности он сказал своему комиссару Зонину: «Муравьи мы, настоящие муравьи. Другие летают, едут, а мы ползаем. И прутики, и муравьиные кучи... Для войны полезно, для театра не подходит — пьесы не напишут. А для нас с тобой? Паршиво, но, что ни говори, увлекательно...» Он повеселел, в свободные часы подолгу беседовал с товарищами; стал походить на прежнего Сергея; только глаза изменились — глядели строже, спокойнее; он это заметил, когда брился — смешно, до чего постарел!..

Его письма Вале были полны нежности, но она вспоминала холод расставания, и ей казалось: чего-то в письмах нехватает — жара, может быть страсти.

Война показалась Сергею суровым, тяжелым делом. Снега было много, не пройти, а часто шли целиной. Морозы крепчали; все этому радовались — каково-то немцам! Но нелегко было ночевать в лесу; мороз, кажется, доходил до сердца, дыхание останавливалось. А полушубки, затвердев, казались броней. Слова, выходя изо рта, становились тяжелым паром, и этот пар нехотя, медленно подымался к низкому небу, похожему на слой старой ваты. Ползли по снегу, проваливались в снег. Пальцы не

хотели сгибаться. У обочин дорог валялись остовы сгоревших машин, трупы лошадей. Бойцы шли гуськом. Над ними пролетала сначала «рама», потом «юнкерсы», «мессеры», «фокки»; на обожженном снегу оставались черные пятна и крохотные воронки — кровь быстро застывала. Шли молча, не пели, мало разговаривали. Как рабочие трудного цеха, надрывались артиллеристы. Связисты под огнем устанавливали провода. Осипшие девушки неустанно повторяли нелепые слова: «резеда», «комета». Сергей зашел в санбат; хирург, весь забрызганный кровью, крикнул «нельзя»; он отпиливал ноги, вскрывал животы; несли одного за другим; только что он вытащил осколок бомбы из паха водителя, который вез консервы. Умирали разведчики, наборщики дивизионной газеты, минометчики, пекаря, летчики, медсестры. Было в этом огромное напряжение, труд предшествовал смерти и следовал за нею — трудно было и похоронить, промерзшая земля не поддавалась.

Сергей работал, как до войны, горячо, не довольствуясь положенным, что-то придумывал, записывал, чертил. Когда он заговорил с майором Фомиченко о ложных сооружениях, тот замахал руками. Сергей подумал: Бельчевы и здесь... Он не успокоился, поехал в штаб дивизии к полковнику Глухову.

— Майор Фомиченко говорил, что они не могут обнаружить артиллерии и минометов противника — у немцев снежные валы, хорошо замаскировали. Я предложил ему, но он не одобрил... Разрешите доложить? Пять-шесть ложных сооружений из снега. Вместо амбразур положим доски, снег обольем водой... Наши саперы могут это сделать за ночь...

— И что же дальше?

— Они выдадут свою артиллерию, минометы.

— Почему?..

Оказалось, полковник не слушал Сергея. Пришлось изложить все сначала. Теперь он говорил по-другому — как в академии. Полковник поглядел на него с удивлением — кажется, интеллигентный человек... Он спросил Сергея, какой институт тот закончил, где работал до войны. Узнав, что Сергей побывал в Париже, полковник сказал:

— Обедать у меня будете. Да, да!.. Расскажите-ка, что у них за Вавилон?..

Уходя, Сергей спросил:

— Товарищ полковник, разрешите приступить?

— Приступайте. Не верю я, что вы их проведете. У них каждый лейтенантик эту науку изучил. Но место вы наметили подходящее. Вреда во всяком случае не будет...

Два дня немцы вели огонь по «болванам», как говорил Сергей. Он сиял: ведь даже Фомиченко признал: «здорово»... Наша артиллерия уничтожила четыре немецких орудия.

Выпал тихий день. Говорили, что немцы хотят обойти Москву — наступают на Дмитров. Сергей играл с Зониным в шахматы, выиграл две партии. Ночью где-то постреливали.

Произошло все неожиданно. Утром привезли почту. Зонин, позевывая, сказал: «В Москве «Травиату», ставят — в филиале...» Звонили из дивизии: прислать два взвода — новый КП. И вдруг нет связи. Дорога перерезана немцами — прорвались к станции, за день прошли восемь километров.

— Сюда идут!..

Сергей сначала не поверил, но вскоре услыхал трескотню. Он поразил Зонина спокойствием — медленно, чуть ли не лениво сказал:

— Собственно говоря, назначение инженерных войск несколько другое. Но, принимая во внимание обстоятельства... Одним словом, нужно пробиться на проселок.

Он развернул карту.

Бой был короткий. Им перерезала дорогу сотня немецких автоматчиков. Отступить было невозможно: позади немцы. Сергей что-то кричал, потом он не помнил что. Потеряли они шестнадцать человек. Зонин уверял, будто немцы потеряли еще больше; а тогда было не до счета. Выбрались на проселок.

На следующий день полковник Глухов поздравил Сергея:

— Молодец, что не растерялись. Вид у вас, так сказать, гражданский, а действуете решительно...

Сергей ответил:

— Товарищ полковник, немцы прошли по шоссе левого соседа, мы там не минировали.

Бой у проселка был для него случайностью, а вот почему шоссе не заминировали — это другое дело: они как-никак саперы...

Удалось немного поспать. Потом Сергей написал Вале. На минуту в его голове пронеслось, как снежная пыль: цепь автоматчиков... Ноги вязнут... А Селезнев кричал «умираю»... Может быть, поэтому письмо не походило на другие, в нем билось живое чувство, воспоминание о весеннем вечере, смутная жажда счастья.

Прочитав это письмо, Валя шептала: «я такая счастливая, такая счастливая», а слезы текли из глаз; впервые ей стало страшно, невыносимо страшно — вдруг его убьют?..

Сергей подошел к бойцам. Один, развеселившись, пел:

Кружится, вертится Ганс на снегу,
Весь посинел и согнулся в дугу...

Сергей засмеялся:

— Откуда ты знаешь, что Ганс? А если Карл?

Подбежал Хоменко:

— Фриц, товарищ капитан, не иначе, как Фриц. И в газете напечатано...

— Пускай Фриц... Главное — в дугу.

Сергей больше не слушал слов, а мелодия была грустная, как будто вертится карусель, а за пологом дождя мелькают мутные огни... Где это было? В Париже, с Мадо. Какая длинная жизнь позади, клятвы, ошибки, любовь, туман! Кружится, вертится... Сергею было беспричинно грустно; он обрадовался, когда Зонин его окликнул:

— Идем работать.

14

Мадо теперь не разлучалась с Сергеем. Здесь сливалось все: воспоминания о коротком женском счастье, первая любовь и новые для нее мысли. Сергей разросся, стал жизнью; ей казалось, что о нем говорят все. И он оставался своим, близким, с ним целовалась под этими платанами...

Теперь на скамейке сидят немцы. У одного славное лицо, улыбается... Лучше пусть гримасничают, грозят!

Мадо вспоминала темную грозовую ночь, когда Луи спешил к паруснику. Он сразу увидел... Может быть, он крепче стоял на земле. Чем я жила? Игрой слов, огнями карусели. А карусель давно не вертится... Я и Сергея скорее чувствовала, чем понимала. Любила, это правда... Все говорят «удивительно, как русские держатся». Немцы пишут, что не ждали... Я знаю почему... Сергей мог шутить, улыбаться, мечтать, и вдруг... Профессор Дюма сказал, что они из железа, неправда, но они умеют быть железными.

Мадо жадно прислушивалась к любому слуху. События на Востоке волновали всех. Лансье вначале радовался: «Немцы теперь сбавят тон, Россия слишком большой кусок, легко поперхнуться». Но стоило немцам сообщить, что они заняли Смоленск, как Лансье завопил: «Я говорил, что с русскими они справятся еще скорее, чем с нами. Они в Смоленске! (Где находится Смоленск, он не знал, но со школьных лет запомнил это название.) Наверно, завтра загорится Москва...» Берти был сдержан, подчеркивал трудности кампании, отсутствие дорог, отвагу «красных»: «Конечно, немцы с ними справятся, но не скоро»... Профессор Дюма по три раза в день слушал лондонские передачи; он встречал Мадо новостями: «У немцев неслыханные потери!.. Я записал где-то, сколько дивизий они потеряли, только не помню где. Заглушают, а разобрать можно... Русские взрывают на себе танки, невероятно!..» Мари говорила: «Мой повеселел, выпил вчера, чокался со мной, с бутылкой чокался, сказал — бьют их, как куропаток...»

Мадо больше не избегала людей; она часто бывала у Дюма, у доктора Морило, у Леонтины; чуть ли не каждый день забегала к Самба. Он неизменно стоял перед мольбертом и ругался — плохое освещение, немцы надоели, табака нет... Недавно Мадо нашла его необычно веселым.

— Я их газет не читаю. Радио у меня нет. Может быть, вы думаете, что я от всего оторван? У меня своя информация... Вчера зашел в кафе на углу. Сидят немцы... Я стою у стойки и смотрю — упитанные. Один заказал коньяку, выпил залпом и стал плакать — буквально слезы

капали: «Посылают на убой в Россию...» Вы понимаете, Мадо, что значит довести такого кабана до слез? Только русские на это способны. Жаль, Нивеля не было. Он весной мне говорил: «Сильные личности, Зигфриды...» А его Зигфрид ревел, как теленок...

Он вынул из жестянки несколько припрятанных окурков, свернул, закурил.

— Мадо, я теперь часто думаю о вашем русском друге...

Сказал и спохватился — кажется, бестактно... Но Мадо улыбнулась:

— Я тоже...

Иногда она спрашивала себя, что с Сергеем? Ведь это страшная война... И тотчас отвечала: жив, конечно жив, я это чувствую! Его и не могут убить...

Она продолжала жить в доме человека, которого ненавидела. Некоторые усмехались: «Все-таки за деньги цепляется...» Лансье себя успокаивал: «Мало ли какие бывают размолвки? Мадо — гордая, если она не бросила Берти, значит она его обожает...» Это было летом, когда Мадо только-только очнулась. Ей не хотелось думать о своей жизни, похожей на разоренный, полуразрушенный дом. Если порой она спрашивала себя, что теперь делать, то не о переезде думала, не о том, как изменить оболочку существования, ей хотелось броситься на первого встречного немца или пойти в гестапо, сказать: «Можете меня пытать, я никого не выдам — ведь я ничего не знаю, ни с кем не связана...» Она понимала, что это ребячество, шла по улице и мечтала — вдруг встречу Жозет?.. Ей казалось, что найти Жозет — это выход, дорога к потерянной чистоте, освобождение.

Берти каждый день за обедом встречал эту женщину, отвергшую его. Он все еще не мог излечиться от своего чувства, терялся, когда она глядела на него широко раскрытыми, равнодушными глазами. Только перед ней он оправдывался, говорил, что не ждет от немцев ни обогащения, ни почестей, думает о другом: как смягчить оккупацию, спасти жизни французов. Она молча его выслушивала; иногда с отчужденностью светской женщины говорила: «Это очень интересно»,— и шла к себе. А он в ярости комкал салфетку и долго глядел на двери ее

комнаты. Он издевался над собой: муж в роли отвергнутого влюбленного, что за комедия! Пора с этим кончать!..

Доктор Морило, проверив, нет ли кого-нибудь в соседней комнате, сказал Мадо:

— Мне удалось поймать Москву. Знаете, о чем они говорили? «Презрение к смерти». Я — старый циник, но даже я растерялся...

Мадо глядела в окно; улица, отполированная дождем и солнцем, рыжие листья осенних платанов. Она видела другое: снег, кровь. Это — друзья Сергея, его народ... До чего просто и недоступно! Если она будет очень смелой, настоящей героиней, может быть, она не испугается смерти. Но презреть?.. Нет, этого она никогда не сможет...

Прошло полгода с того дня, когда, безжизненная, ко всему безразличная, она уступила Берти; а ее нельзя было узнать. Не было больше той Мадо, которая обрывала ромашки в мастерской Самба и стояла, обреченная, на Северном вокзале. В блестящих, слегка удивленных глазах появилась строгость. Теперь она отвечала не только за чувства — за поступки. Если она все же оставалась в доме Берти, выдерживала завистливые или осуждающие взгляды («жена того самого»), то в этом был повинен доктор Морило, точнее, высокий смуглый человек с провансальским выговором, которого звали «Робером». Мадо знала, что он не Робер, она знала теперь и другое — не только за морем, где Луи, здесь, рядом с нею, на узких, путаных улицах Парижа, люди сражаются, падают, умирают.

Робера спас счастливый случай. Хозяйка зеленной лавки госпожа Дюбуа подобрала раненого и, вместо того чтобы известить полицию, позвала доктора Морило, который лечил ее от ревматизма. Морило не верил, что немцев можно прогнать, считал борьбу бессмысленной. Он вообще ни во что не верил; с детства, с первой книжки, с первого поцелуя он был одержим неверием, как могут быть люди одержимы верой. Это неверие он поддерживал в себе, им жил. Когда его позвали к раненому, он сразу понял, в чем дело. Он знал, что гестаповцы не шутят, могут схватить и госпожу Дюбуа, и его. Но все-таки не подлец он! Человек может не уважать принципы, но если не уважать себя, то и жить не стоит.

Морило пришла в голову идея — спрятать раненого у Мадо. Вот уж где верное место — немцы не надышатся на Берти. А Мадо много раз говорила: «Хочу что-нибудь сделать...»

Мадо не спросила Робера, при каких обстоятельствах он был ранен. Она поняла — нельзя спрашивать. Наука тайны далась ей легко. Робер лежал в маленькой комнате, позади спальни Мадо. Об этом знала только старая горничная. Берти туда не заглядывал. По вечерам они беседовали, вспоминали мирное время, прогулки, книги, города. Мадо узнала, что Робер был студентом-естественником, увлекался ботаникой. Ее это смешило: глядя на очень широкие жесткие руки Робера, она почему-то представляла себе, как он срывает одуванчик.

Он показал ей маленькую фотографию. На скале стояла девушка в спортивном костюме; трудно было разглядеть лицо, Мадо показалось, что хорошенькая...

— Как ее зовут?

— Люси.

— Она далеко?

— Об этом не нужно спрашивать.

Мадо позавидовала: Люси с ними. Молоденькая, но ей доверяют...

— Что вы любили до войны, Мадо?

— Кажется, живопись...

Она рассказала про Самба, про холмы возле «Желинот». О Сергее она промолчала — слишком близко, да и не нужно ему знать...

— Замуж я вышла по глупости, стыдно признаться, в двадцать пять лет поступила, как девчонка. Он повсюду за мною ходил, это очень страшный человек.

— Делец.

— Да, но бешеный... Хорошо, что теперь все кончено.

Робер поправился. Доктор Морило, который часто его навещал (числилась больной Мадо), сказал: «Можете возобновлять вашу игру. Только постарайтесь играть лучше — таких, как госпожа Дюбуа, немного»...

Это был их последний вечер: они сидели в крохотной комнатке на кровати Робера. Дверь в комнату Мадо была приоткрыта, и свет падал на Робера.

— Не слыхали, как там — на Востоке?

— Кажется, лучше, — ответила Мадо.— Говорят, что под Москвой их остановили.

— Москву они не возьмут,— сказал Робер. Он нахмурился и повторил: — Ни в коем случае не возьмут!..

Мадо чувствовала — он это говорит себе.

— Робер, вы верите в русских?

Он улыбнулся:

— А во что мне верить, если не в это? Я коммунист, я вам прежде не говорил... Русские сейчас сражаются и за нас. Мы хотим им помочь, но сколько нас?.. Горстка. А другие... Я уж не говорю о Виши... Честные... Слушают лондонское радио, рассказывают на ухо анекдоты, хотят, чтобы немцев побили, конечно хотят... И выжидают. А русским, должно быть, трудно. Я был в сороковом на фронте... Почему-то все время я вижу — снег и огонь. Не могу себе представить, я никогда не видел России... Когда я убежал и дошел, то есть дополз... Прежде чем меня заметила госпожа Дюбуа... Я лежал, наверно жар был, мне казалось, что я лежу под Москвой...

— Они говорят «презрение к смерти». Я это хочу понять и не понимаю...

Он встал, закрыл дверь в комнату Мадо. Заговорил он не сразу, говорил глухо, то и дело останавливался.

— Люси взяли девятого октября. Я ее видел в последний раз в июле. Я тогда был в той зоне. Возле Перпиньяна... Ей поручили переправить трех товарищей. Мы провели вдвоем вечер, ночь, половину следующего дня. Она уехала в три часа сорок... Тогда немцы только напали на Россию, мы долго об этом говорили, говорили, что теперь нам не страшно... Поздно вечером мы купались, у нее был купальный костюм в полоску. Она дразнила меня, пошла первая в воду и брызгала в лицо... Утром она долго одевалась, сказала: «Нужно быть элегантной, ведь я по бумагам актриса...» У нее был немецкий пропуск в Нант. Она спросила, идет ли ей светлая помада для губ, я ответил — очень идет, мне хотелось ее целовать, а поезд уходил в три сорок... Она прислала письмо из тюрьмы. Я знаю, что ее пытали, она ничего не сказала... Она написала мне четыре строки: «Люблю, как тогда, целую, как тогда, живая, теплая, твоя. Такой останусь. Прощай, Ив!»

Он замолк. В комнате было темно, они друг друга не видели. Завтра он поедет в Нант или в Дижон. Потом будет ночь, шпалы, патрули. Потом его схватят. Они срывают ногти... И некому будет написать, не с кем проститься. «Такой останусь» — с этим нужно умереть...

Мадо молча вышла; ее душили слезы, но плакать она не могла.

Утром она простилась с Робером, крепко сжала руками его ручищу:

— Робер, если вам что-нибудь понадобится... Не только лично вам... Вы понимаете?.. Я очень боюсь пыток, но я вам обещаю, я ничего не скажу!..

15

Лансье с нетерпением ожидал доктора Морило — «печень замучила», на самом деле ему хотелось поговорить о мировых событиях. Морило — живая газета, притом единственная, нельзя же назвать газетами эти листки. Они дают только немецкую версию... А слушать Лондон — это трепка нервов, глушат и могут донести... Как раз перед приходом Морило Лансье прочитал в «Пари суар» корреспонденцию с Восточного фронта и огорчился.

— Видите, доктор, я был прав — они пишут, что смотрят на Москву...

— Оптика у них великолепная. А чему вы, собственно говоря, радуетесь?

Лансье обиделся:

— Я не радуюсь, просто я это предвидел. Вы думаете, это басни?

— Я думаю, что от стакана до губ далеко. Да и сами немцы сообщают о тяжелых боях.

— Знаете, дорогой друг, для нас это выгодно. В итоге русских побьют, это и англичане понимают, я поймал вчера Лондон, они говорили, как на похоронах... Но немцы оставят там и зубы, и когти. Маршал дьявольски хитер. Вы увидите, ему поставят памятник рядом с Клемансо... Другое дело Лаваль, это жулик, он хочет, чтобы французы умирали за Гитлера. К счастью, мы прежде всего любим логику, а сибирские морозы мало кого соблазняют...

Но я вам скажу откровенно — мальчишки, которые стреляют в немцев, не лучше. Мы должны ждать. Как маршал... Немцы расстреливают заложников, это отвратительно. А кто им дал повод? Коммунисты. Пусть русские убивают немцев, мы тут ни при чем.

Морило рассмеялся, громко, неприятно; Лансье утер платком лицо — ему показалось, что доктор забрызгал его слюной.

— Будь я господом богом, я сделал бы вас императором невоюющего Монако или президентом нейтральной Андорры. Как, кстати, печенка? Покажите язык... Ай, ай! Я говорил — ни капли спиртного. Летом я вас отправлю к вашему маршалу — Виши для вас спасение.

— Дело не в рюмочке коньяку. У меня крупные неприятности. Они снова раскопали участие Лео в «Рош-энэ». Я десять, двадцать раз объяснял, что Альпера давно нет, но они подводят под приказ от двадцать седьмого сентября прошлого года — акционерные общества хотя бы с одним евреем. Но ведь у меня есть документ, что «Рош-энэ» арийская фирма.

Доктор Морило был в скверном настроении, вместо того чтобы успокоить Лансье, он снова загрохотал:

— Я вам советую, Морис, отправиться прямо к Штюльпнагелю и продемонстрировать, что вы действительно ариец.

— Не понимаю, над чем вы смеетесь. Я страдаю, как все французы.

— Недавно вы мне доказывали, что вы счастливы, как все французы.

Лансье вышел из себя, он визгливо выкрикивал:

— Я живу с моим народом! Как маршал... Я не стал ни немцем, ни шотландцем, ни татарином. Я сохранил духовную независимость. Я думаю то, что хочу, говорю то, что хочу...

— Тише, дорогой друг, я вас очень прошу — тише! Громко разговаривают только в гестапо. Там даже кричат... Ни капли спиртного. Диета, моцион, спокойствие. А «духовную независимость» приберегите, может еще пригодиться...

Когда Морило ушел, Лансье задумался. Я, кажется, погорячился... Морило — старый зубоскал, ему лишь бы

сострить. Но, боюсь, они подкапываются под «Рош-энэ». Глупо было связать реноме старой французской фирмы с именем Альпера. Но кто мог подумать?.. Лео — хороший инженер, симпатичный человек. А вышло ужасно...

Лансье решил прогуляться — моцион, как говорил Морило. Был туманный ноябрьский день; пахло морем и гарью; деревья неожиданно протягивали из-под белой пелены острые, колючие руки. Печальный месяц, подумал Лансье; это сразу его успокоило. Жизнь идет своим чередом. Меняются времена года. Вот дети идут из школы, им нет дела до Гитлера, до Москвы, до «Рош-энэ», они проказничают. Так и я когда-то шалил... Мадо счастлива. Может быть, через год или два у меня будет внук. Весной эти деревья зазеленеют. Только Марселина не вернется. Бедная Марселина, она умерла в самое страшное время. Тогда казалось, что все рушится... А Париж оживает: выставки, премьеры, новые книги. Конечно, неприятно, что повсюду наталкиваешься на немцев, но лучше немцы, чем бомбы... Представляю, какой ад теперь в Москве! Интересно, что стало с господином Влаховым, жив ли он? Фанатик, это верно, но очень тонкий человек и любит искусство... Как ужасно, что люди воюют, когда можно читать стихи, беседовать с друзьями, разводить розы!

К вечеру Лансье окончательно успокоился, не думал больше ни о боях под Москвой, ни об опасности, нависшей над «Рош-энэ»... Он читал поваренную книгу и мечтал: когда снова можно будет достать все что хочешь, я приготовлю международный обед мира: русский борщ, икру — начнем с самых храбрых, потом кислая капуста с колбасой — в честь фюрера, потом английский ростбиф, лионская пулярдка с трюфелями, мороженое по-сицилиански. Это будет апофеоз кулинарии. К тому времени все успеют десять раз перессориться и, наконец, помирятся. Дюма не хочет встречаться с Нивелем, я их посажу рядом. Выпустят Лежана. Может быть, и русский приедет, если его не убьют... С такими приятными мыслями он уснул.

Решительное объяснение о «Рош-энэ» произошло на следующий день. Войдя в большой холодный кабинет, Лансье вздрогнул — на самом видном месте, за письменным столом, сидел Гастон Руа. Лансье знал, что он играет крупную роль, но не думал встретить его при таких

обстоятельствах. Руа любезно с ним поздоровался, потом обратился к другим (один, судя по акценту, был немцем):

— Мы с интересом выслушаем господина Лансье.

Лансье вынул из портфеля бумаги; преодолевая волнение, он начал излагать историю «Рош-энэ». Он выложил все цифры, данные об акционерах, рассказал о финансовых затруднениях. Его голос дрогнул, когда он воскликнул:

— Мой тесть был токарем, он пришел из Шарлевиля в Париж и создал завод. Это был настоящий самородок. А отец тестя работал как кузнец у маршала Мак-Магона...

— Очень интересно,— сказал Руа.

Человек с немецким акцентом поддержал:

— Чрезвычайно интересно. Похоже на романы Золя, не правда ли?..

Лансье вытер мокрый лоб, засунул листы в портфель и хотел встать. Руа его удержал:

— У меня есть один вопрос... Если господин Лансье утверждает, что Альпер не играл никакой роли в «Рош-энэ», то как объяснить предпочтение, оказанное советским заказам в ущерб другим, например «Электры»? Мне помнится, что я встречал в доме господина Лансье представителя большевиков... Одно из двух — или это махинация еврея Альпера, или господин Лансье находился в тесных отношениях с «красными». Я хотел бы услышать ваше объяснение...

Лансье растерялся. Тогда все торговали с русскими, даже немцы... Но при чем тут логика? Этот Руа решил меня потопить!..

— Почему вы молчите, господин Лансье?

— Я, право, не знаю... Мне нужно собраться с мыслями...

Все ушли. В кабинете остались только Руа и Лансье. Кабинет был длинным — тяжелый письменный стол с чернильницами, пресс-папье, пепельницами. Потом стол, покрытый зеленым сукном, для заседаний. На стене — портреты — Гитлер, маршал Петэн и какой-то старик в очках, может быть ученый или промышленник. Лансье сидел далеко от Руа. А Руа листал бумаги. Он очень помолодел, подумал Лансье, не удивительно — теперь его время. Почему-то он вспомнил: времена года, деревья весной за-

зеленеют... А в Аргентине теперь лето... Этому Руа повезло. Но чего он хочет от меня?.. Как будто в «Корбей» бывал только Влахов... Я позвал и Руа — на чашку кофе...

Руа, наконец-то, оторвался от бумаг.

— Мы не собираемся вас отстранить, но необходим контроль... Если вы захотите сотрудничать не только формально, мы найдем общий язык.

— Я не понимаю...

— Не нужно волноваться. У вас, наверно, повышенное давление. Помните — тогда в ресторане, какой крик вы подняли. «Немцы!.. немцы!..» В вашем возрасте это опасно...

Лансье возмутился. Пусть грабят! Но кто ему дал право издеваться?

— Я не позволю так со мной разговаривать! Я не политик, это все знают. Я обыкновенный француз. Как маршал...

Руа подошел к Лансье и, улыбаясь, сказал:

— Расскажите-ка лучше, где ваш сын?

Лансье встал и, пошатываясь, вышел. Не было видно ни прохожих, ни домов — только туман — над городом, над морем, над миром.

16

В маленьком садике уныло бродили две курицы. Молодая женщина вынесла миску: курицы оживились. Соседка через забор спросила:

— Как здоровье господина Шевалье?

— Спасибо, немного лучше. Ему, кажется, помогли банки... Но он все-таки не может встать. Я решила позвать доктора.

— Только не зовите молодого, молодые — это шарлатаны.

Шевалье сидел у крохотного приемника и записывал: «Фашисты напрягают все силы, чтобы прорваться к Москве, но наши части повсюду удерживают неприятеля. Враг должен быть остановлен и уничтожен на подступах к столице социалистической родины...»

— Марго, это для Мишо. И возьми письмо Фурье. Они могут напечатать вместе...

Фурье был веселый, рассказывал марсельские анекдоты, вырезал из картошки Боннэ с носом... Они вместе сидели — еще при Даладье... Фурье рассказывал про Москву, он туда ездил в тридцать шестом с делегацией: «Ты не можешь себе представить, что это за люди, все время они воюют — с врагами, с рутиной, с засухой, с заносами...» Это правда, русские были внутренне подготовлены, не как мы... Фурье часто говорил про жену, показывал фотографию дочки...

— Марго, где письмо Фурье? Разберут?.. Это Жак переписал...

«Моя дорогая! Моя любовь!

Через час нас расстреляют. Я хочу сказать, что был с тобою счастлив, как может быть счастлив человек. Мы встретим смерть достойно. Когда Лоло подрастет, расскажи ей все. Вы должны жить. Красная Армия победит, это твердо, как то, что через час я умру. Франция будет свободной! Прощай, Нэнэ!»

Он, кажется, наизусть знал эти строки и все же взволновался, зашагал по комнате.

— Больше ничего не нужно? Я ухожу.

Он машинально запер дверь. Как странно мы живем! Я прожил с Марго неделю в этом домике — и я даже не знаю, как ее зовут, кто она. Знаю только, что ее отца убили... И она не подозревает, кто я. А мы друг друга изучили, как будто прожили год вместе. Странно...

Постучали — два поспешных удара и после паузы третий, тихий. Вошел пожилой человек с саквояжем.

— Ты точен, Жак, как настоящий немец.

— У тебя чересчур любопытная соседка. Спрашивает «вы — доктор?» Хорошо, что Марго меня предупредила. Приемник я заберу, это — тара, доктору полагается — измеряю давление. А ночевать здесь больше нельзя. Карье тебе сделал документы?

— И какие! Санитарный инспектор, плюс рекомендация с подписью Берти, плюс немецкий пропуск в южную зону с фото. Ты помнишь, что они фабриковали месяц назад? Ребенок, и тот видел, что фальшивка. А теперь научились. Как Пепе?

— В порядке. Тебе нужен кто-нибудь?

— Мне? — нет. Но подыщи для связи вместо Марго. Она скрывает, что больна, у нее страшные припадки, она не может столько ходить.

— Ты считаешь, что с Берти удастся?

— Надеюсь. А твоя группа? Пепе?

— Я хотел тебя спросить, что ты считаешь самым важным?

— Офицера. Лучше всего гестаповца.

— Зачем на это тратить людей? Одним мерзавцем меньше...

— Это имеет огромное значение. Когда Фредо убрал того в метро «Барбес», весь Париж говорил. В Нанте наши сразу ответили на расстрел заложников, а подполковник Готц — это не пескарь... Не думай, что я гоняюсь за романтикой, но сейчас необходим жест. Они вдалбливают, что разбили русских. Я знаю, что русские ответят, но люди ничего не знают. Все подавлены. Они хотят создать видимость спокойствия, посмотри газеты: «Жизнь налаживается... Довоенная атмосфера...» Нужно что-то очень громкое, у всех на виду. Понимаешь?

— Ясно. Можно привлечь Анну...

— Только для подготовки, а рисковать нельзя — она еще понадобится...

Постучали. Хозяин поспешно лег, покрылся одеялом. Доктор открыл дверь. Пришла все та же любопытная соседка.

— Я не потревожила?.. У доктора такое симпатичное лицо, сразу внушает доверие. Меня лечил один молодой, настоящий шарлатан... Как вы нашли господина Шевалье? Я, конечно, ничего не понимаю в медицине, но покойному мужу помогал сиамский бальзам, как рукой снимало...

Ее еле выпроводили.

— Люк, ты должен уйти сейчас же. Я выйду вперед, задержу эту бабенку... Да, да, я ее выслушаю, осмотрю, честное слово! Завтра дай знать, хорошо? Связь через Марго?

— Нет, через Полину. До свиданья, Жак. Не мучай соседку...

Люк оглядел комнату. Портрет какой-то старухи в косынке, поломанные часы, на столе огрызок колбасы, лекарства, полицейский роман... Так кончается жизнь позумент-

щика Шевалье и его молодой супруги. Через несколько минут — повышение в карьере. Кажется, все помню... Санитарный инспектор Огюст Дре, родился пятого февраля тысяча восемьсот девяносто восьмого года в Морто, департамент Дуб, отца звали Анри-Жак, отец умер, мать Амели проживает в Безансоне, я вдовец, был женат на Симон, урожденной Руссэ, дочь Ивон, одиннадцати лет, живет у бабушки. Сколько еще менять имена, профессии, родителей, жен, детей? Он с гордостью погладил пышные усы, усы — настоящие — «перец с солью» — удалось отрастить; именно усы делают его неузнаваемым. Ошибаются даже товарищи, знавшие его до войны, для них он неведомый Люк. Только официант кафе чуть его не погубил, увидев на улице, крикнул: «Здравствуйте, господин Лежан, давненько я вас не видел»... Лежан искренно удивился: «Ошибаетесь — меня зовут Деламбер». Официанты опасный народ, у них профессиональная память...

Он пошел пешком. А далеко — через весь город. В метро то и дело облавы. Конечно, документы первый сорт, но зачем искушать судьбу?.. Он шел медленно, часто останавливался. До чего я расклеился. Безобразие...

За щитами, за шторами, за ставнями шла своя привычная жизнь. Переполнены кафе, рестораны. Все на своих местах — и метрдотели, и конферансье, и проститутки, и полицейские. Немец с девушкой. Другой... Он говорит ей по-французски: «Хочешь в кино или в театр?..» Научились. Да им и не много требуется — сто слов. А французы?.. Что же, они учатся забывать слова. Наверно, так человек сделан — если его выгнать из дому, раздеть, напугать, он обрадуется любому углу, заплатанным штанам, подобию покоя. Торгуют, обедают, целуются, позевывают... Нет, нужно показать, что во Франции есть люди! Можно скрыть, как умирали коммунисты в Шатобриане. Но когда Фредо выстрелил — такого не скроешь... Пепе я знаю. Его тогда еще не звали Пепе... Такой не струсит. Они могут говорить что хотят, наши выдержали экзамен. Это прежде в партию записывались, представляли рекомендации, платили взносы. Теперь не то. Теперь проверяют в гестапо... И коммунисты умеют молчать, это не фраза...

Сейчас я увижу Жозет. Невероятно!.. Сколько не видались? Она приходила на свидание в мае, потом меня

увезли. Значит, девятнадцать месяцев... Жак не знает, кто Полина, он даже не заметил, что я торопился...

Он убежал из концлагеря в сентябре. Лес, гнилые листья. Он слышал — где-то близко ругались немцы. Хорошо, что не было собак... Его переправили в Париж, он сразу окунулся в работу. Жозет была в другой зоне; только недавно он узнал, что она жива. Узнал о сыне — Поль в Лиможе. Роже говорил: «Он подобрал ребят, действуют...» Смешно — когда его взяли, Поль еще был ребенком... Наверно, Жозет очень постарела...

Он подготовил себя к встрече, и все же сердце замерло. Какая она усталая! И совсем седая... Чертовская жизнь!

Она глядела на него по-детски, почти умоляюще, боялась сказать слово, двинуться, оторваться глазами. Они стояли друг против друга в незнакомой комнате, заставленной пестрой мебелью. Статуэтки, вазочки, атласные подушки... Но они ничего не видели. Холодные руки Жозет слабо сжимали руку Лежана... Потом Жозет прижалась к нему, положила голову на грудь. Так было когда-то, в дни счастья... Жозет тогда была молодой дикаркой, страстной, смешливой... Он только тихо повторял: «Моя бедная, хорошая!..»

— Скажи правду, Анри, ты кашляешь? Я принесла теплое белье. И твое лекарство. Наверно, ни разу не принимал...

Он улыбнулся — было время, когда лечились, ездили в Бретань, слушали Равеля, решали кроссворды...

— Я не думал, Жозет, что мы встретимся. А ты?

— Я почему-то все время верила...

— Ты остаешься в Париже?

— До четверга. Завтра мы будем вместе весь день. А сейчас тебе лучше уйти. У Деле спокойнее, здесь все непроверенное...

Он тряхнул головой, как будто хотел опомниться, и вдруг другим голосом, по-деловому сказал:

— Ты видела листовку о боях за Москву? Завтра должен сделать еще две — статья «Правды» и письмо Фурье.

— Я отвезу, там отпечатаем. Удино попал в мышеловку.

— А Шарле?

— Ты разве не знаешь? Убили — в Сен-Дени. Питу выскочил. Да, представь себе, нашелся Робер!

— Кто?

— Робер. Ты его не знаешь, он был с Бертье в Шуази. Бертье и Кики взяли, а Робер убежал. Я была уверена, что его тоже схватили. Смешная история — прятала его жена Берти. Ты не в курсе светских новостей, жена Берти — это Мадо, та самая, дочка Лансье... Робер от нее в восторге, говорит, что нужно ее использовать, наверное влюбился...

— Мадо — жена Берти?.. — Он рассмеялся.— Плохо кончила... Но погоди... Ты говоришь, что она хочет помогать?.. Это чертовски важно! Жозет, ты должна с ней поговорить. Посмотри — серьезно ли это?

— Анри, ты ей доверяешь?

— Не знаю... Но мне почему-то кажется, что она порядочная. До свиданья, Жозет, до завтра!

Он снова шел по темным мокрым улицам. Туман... А там, за шторами — чужая жизнь, может быть подделка, но с лампой, с круглым столом, с детьми. Завтра он снова увидит Жозет. Они даже не поговорили... Может быть, и не увидит... Куда она пошла? Сейчас большие облавы... Он усмехнулся — все время играем в прятки со смертью, а стоило увидеться — и взволновался... Теперь не до чувств... Если посылаешь Пепе... Жалко молодых, а мы с Жозет прожили жизнь... Берти — прекрасный организатор и демагог... Непонятно, почему Мадо с ним связалась?... Сумасбродка! Но честная, это чувствуется.

Он ночевал в пустой комнате — складная кровать и манекен для шитья — туловище без головы, без рук. Засыпая, он видел — манекен шевелился, дышал, просил о пощаде. А потом ничего не было, кроме сна, глубокого, как обморок.

17

Когда Била Костера послали военным корреспондентом в Россию, он обрадовался: вот где можно стать знаменитым! Во Франции было слишком много известных корреспондентов. Да и сколько длилась Франция? Глупо тянуть события, но нельзя кончать войну в несколько

недель. А Россия большая страна. Бил успеет приучить читателей к своей подписи.

Все сложилось иначе. Он очутился в Куйбышеве. Он должен посылать каждый день тысячу слов. А чем их заполнить? Ни сенсаций, ни интервью, ни ярких картин. Редактор удивляется, шлет телеграммы, думает, что я — трус. А я готов полезть под огонь, лишь бы найти материал. Но русские отвечают: «Подождите...» Корреспонденты пьют круглые сутки (виски больше нет, перешли на водку), играют в карты, держат пари — когда придется удирать — зимой или весной.

Еще в Нью-Йорке Бил сказал своему редактору: «Я опишу агонию красных». Не нужно было быть пророком, чтобы предсказать поражение России. Джо рассказывал Билу о неудачах русских в Финляндии. А Бил был во Франции, он знает, что такое немецкая армия... Приехав в Россию, он сказал себе: все произойдет еще скорее, чем я думал... Его привели в старомодный номер; он приоткрыл дверь, думая, что там ванная, и долго чихал от пыли, не было даже умывальника — мылись все вместе где-то в конце коридора. По телефону нельзя дозвониться. Все спешат и все опаздывают, один отсылает к другому. Ясно, что против немцев они не выстоят. Русские ему понравились — славные парни, не важничают, умеют пошутить. Потом, русские почти союзники... Но это не меняет дела, их все равно побьют. Да он и приехал, чтобы описать агонию России. Только плохой журналист не знает заранее, что он напишет...

Бил Костер быстро выдвинулся; еще десять лет назад он был безвестным репортером в Атланте, и заведующий хроникой аккуратно вычеркивал его заметки о краже или о пожаре. Он сделал имя на банкротстве банка Дэвис и К°. У Била был дядя, который занимался биржевыми спекуляциями. Бил считал его бессердечным — десяти долларов не даст, но именно дядя его облагодетельствовал: «Напиши про Дэвиса, можешь мне поверить — он лопнет через месяц, это будет скандал на всю Америку». Бил напечатал «Сумерки Петера Дэвиса» и стал штатным корреспондентом большой нью-йоркской газеты. Ему и потом везло на чужой беде. Его корреспонденции из Парижа, озаглавленные «Закат Франции», имели успех. Его пере-

манила другая газета. Он хорошо зарабатывал, купил домик возле Нью-Йорка. Теперь он должен написать «Агонию красных», это будет его триумфом.

Конечно, он предпочел бы, чтобы русские побили немцев. Он прежде всего американец, а немцы науськивают японцев, топят корабли, распоряжаются повсюду, как дома... Русские симпатичные, у них нет и намека на комфорт, они бестолковы, выдумали какой-то непонятный строй. Но если им это нравится, пускай... Они не грозят Америке, как немцы. Жалко, что их скоро побьют.

Впрочем, все это политика, а он любит другое, поехать, например, с друзьями к морю, шутить, рассказывать дурацкие анекдоты. Все знают, что Бил Костер умеет повеселиться. А когда работаешь, нужно думать, как обогнать других. Вот почему он так томился в Куйбышеве, вот почему он так счастлив. Ему неслыханно повезло: его пустили на фронт. Наверно, Сэм ногти изгрыз от зависти.

Самолет летел очень низко; казалось, сейчас он заденет избушки, придавленные снегом. Бил улыбался даже избушкам. Почему меня пустили? С русскими все непонятно. Я перестал и просить, вдруг позвонили: «собирайтесь...» Даже если мне ничего не покажут, я выиграл партию. Я смогу написать: «Я был на фронте под Москвой». Через две недели буду в Тегеране. Я напишу трогательно, потрясающе — последние часы, последние минуты...

На фронте Бил пробыл три дня. Его принял генерал Шебушев, угостил обедом.

— Вы думаете еще долго продержаться? — спросил Бил.

— Уходить не думаем.

Бил прикинул — это можно описать очень ярко: трагическая обстановка, последние бои под Москвой, генерал — он, наверно, простой рабочий, хорошее, открытое лицо, наивный, но храбрый, приехал американец, и генерал говорит «умру, как подобает русскому человеку...» Это растрогает. Била самого растрогали придуманные им слова, и с неподдельной нежностью он сказал: «Я хочу выпить, господин генерал, за ваше здоровье...»

Когда он уехал, генерал долго ругался:

— Здесь и без них чорт знает что!.. Мало у меня забот!.. Нет, я тебя спрашиваю, зачем ко мне такого шута посылают?..

Адъютант почтительно вздыхал.

Билу показали и батарею в действии, и блиндаж, где отогревались угрюмые бойцы; его повели на холмик, откуда были видны позиции неприятеля. Он ничего не разглядел, кроме снега и елок, но решил — напишу, что видел немцев, когда они готовились к штурму Москвы... Впечатлений было много; он даже попал под сильную бомбежку; лежал в снегу и радовался. Сопровождавший его офицер испугался: убьют, вот будет история!.. Когда они встали, он спросил: «Вы не замерзли? Этакая неприятность...» Бил ответил: «Что вы! Это лишняя корреспонденция. Вот что значит удача...» Под конец его привезли в госпиталь к Крылову — кто-то рассказал офицеру, который ездил с Билом, что Крылов интересный человек и говорит немного по-английски.

Бил бегло оглядел палату, пощупал зачем-то простыню.

— Дерюга,— зарычал Крылов.— Если собираетесь прислать, я лично не откажусь.

Бил поспешно ответил:

— Обязательно напишу...

Он молчал, не знал, как начать разговор — этот доктор почему-то его смущал.

— Я думаю, что американцы хотят помочь, но вопрос в сроках... Трудный путь, далекий... Может прийти слишком поздно...

— Ну, летом придет, трудно, конечно, потерпим...

— Вы, значит, большой оптимист. Я до сих пор разговаривал только с военными, это узкие специалисты. Да и наши военные такие же... Я понимаю, что генерал должен верить в победу своей армии даже наперекор логике, это его профессиональный долг, как ваш профессиональный долг лечить неизлечимо больного. Возле Лилля я разговаривал с одним французским генералом, он мне сказал: «Битва за Францию только начинается». А на следующий день он сдался немцам. Вы человек другого круга, у вас нет шор. Как по-вашему, это надолго затянется?

Крылов развел руками:

— Вот уж не знаю. У меня была специальность — нос и глотка. А вам другое нужно — пифию... Нет, серьезно говоря, вначале я думал, что кончится быстро, а теперь сомневаюсь... Нужно запастись терпением, может затянуться на год, на два...

Бил отложил записную книжку, с изумлением он поглядел на Крылова:

— Вы действительно думаете, что русские будут сопротивляться после потери Москвы? Где же? На Волге?..

Дмитрий Алексеевич только сейчас понял, о чем его спрашивал журналист, он покраснел, но совладал с собой.

— Я уж не знаю, почему вы так нервничаете. Может быть, обстановка непривычная — от этого. Холод как выносите, хорошо? А то водка замечательно действует. Панике нельзя поддаваться, вы вот в газетах пишете, значит, человек с образованием... С Францией нечего сравнивать, там баловались. А у нас... Нет, вы поглядите!..

Он потащил Била мимо коек с ранеными.

На Била глядели глаза, расширенные болью, блестящие или помутневшие, темные, светлые, много глаз. Ему стало не по себе. А Крылов бормотал:

— Эти не сдавались, вроде того генерала. Был беспорядок, понятно. Немцы сколько к этому готовились... А теперь ничего, держимся. Я вас все-таки не понимаю, ваш президент замечательно выступал, вы, в некотором роде, союзник — и вдруг такое ляпаете. Хорошо, что на меня напали. Другой мог бы обидеться. Рано панихиду заказываете. Не верите, что мы их расколотим?

Они поменялись ролями: теперь нужно было отвечать Билу. Ему не хотелось кривить душой: этот доктор злил его, и вместе с тем он ему нравился своей прямотой.

— Я думаю, что в конечном счете они проиграют. Ведь Россия — это только эпизод. Были другие эпизоды — Польша, Франция. Я беру худшее — немцы после вас займут Англию. Все равно останется Америка. С нами они ничего не смогут сделать. Мы будем работать десять лет, двадцать, и в итоге мы их побьем.

Он оглядел полутемный госпиталь; его глаза снова встретились с глазами раненых, он тихо добавил:

— Мы вас выручим...

Жалко, что нельзя его обругать, подумал Крылов. Хитрая штука эта дипломатия, еще испорчу дело, пусть хоть простыни пришлют. Он протянул руку гостю:

— Мне нужно заняться больными. Желаю счастливого возвращения на родину.

Все же он не удержался:

— А кто кого выручит, это мы посмотрим.

Бил отправил из Тегерана одиннадцать длинных корреспонденций. Описал он и встречу с Крыловым: «Это самородок, русский медведь, который говорит на языке Шекспира, мужик, умеющий обращаться с ланцетом. Как все русские, он, конечно, мистик. Он понимает, что поражение неизбежно, но верит в победу. Русские верят с такой же легкостью, с какой американцы курят или пьют кофе. Разговаривая с Крыловым, я понял тайну русского фанатизма: не избалованные жизнью, эти люди спокойно встречают смерть. Доктор и его раненые могут легко умереть, потому что они тяжело жили, а может быть и просто не жили...»

После того как американец ушел, привезли почту. Крылову было письмо от жены: «Дорогой Митя! У меня все по-старому. Главные новости касаются Наташи, ты напрасно волновался, она жива, здорова и сейчас со мной. Из Рязани она попала на фронт, говорит, что оттуда два раза тебе написала, но понятно, что ты не получил — у нее был старый номер полевой почты, а ко мне письмо пропало. На фронте она была всего три недели, ее отправили, потому что она ждет ребенка, она теперь на шестом месяце. От Васи никаких известий. Нина Георгиевна пишет, что тоже ничего не знает, я запрашивала наркомат, нет ответа. Наташа внешне переживает спокойно, но я знаю, как девочка мучается, пока она была там, ей было легче. Она осунулась, но работает здесь в госпитале, вообще держится хорошо. Я организовала пункт на вокзале для обслуживания военных, работы много и все ночная. Думаем о тебе и о Москве. Будь здоров, дорогой!»

Дмитрий Алексеевич прочитал и громко высморкался. Жалко Наташу!.. Всех жалко. И кто это придумал?.. Сидят, изобретают средство от насморка. А потом не угодно ли — осколочные, фугасные, полный ассортимент... Счастья-то все хотят. Как Наташка радовалась, что едет

в Минск! И почему нужно сначала всадить в кишки железо, а потом его оттуда вытаскивать?.. Он снова высморкался и вдруг набросился на себя: это что за слюнтяйство? Можно подумать, что я неграмотный, не знаю, откуда фашисты. Побить их нужно, а не философствовать. А все из-за американца, это он меня расстроил. Ну, не воюют, смотрят, прикидывают, их дело, но, кажется, к людям попал — видит, народ обливается кровью, а такому хоть бы что, подавай ему сенсации. «Поглядите на вечную ручку — новая система...» А что он напишет своей ручкой? Низкая душонка... Пора к больным, Дмитрий Алексеевич, вот что!

18

Они залегли на опушке леса. Пятый день держатся. А сколько перед этим отходили!.. Лукутин смутно припоминал названия деревень, черный дым над дорогой, исковерканные рельсы. Шли, и не туда, куда хотелось, окапывались, стреляли и снова отходили. Мало осталось из тех, кто в летний, душный день, вместе с Лукутиным, шагал по переулкам Замоскворечья. Жаров, Слепников, Коровин, Кац. Еще Миша. Очень мало! Под Вязьмой остались, под Гжатском... Потом отвели, направили в другой полк, и направление было другое, и отступали, опять отступали. Клин. Солнечногорск. И вот зацепились.

Лукутин представил себе этот лес летом. Земляника, тень, папоротник, девушки аукают. В выходной приезжали. Какой-нибудь папаша в толстовке, расположившись поудобнее, читал старую «вечорку», мамаша собирала сыроежки, а дети обламывали орешник. Прежде Лукутин не любил людных мест, увидав пригородный лесок, где яичной скорлупы и газетных листов, кажется, больше, чем листьев и травы, он морщился; а теперь он вспомнил такой воскресный день как прекрасную феерию. Неужели не увижу?..

Я сюда часто ездил в тридцать девятом, нет, в тридцать восьмом. Здесь летом жили Снегиревы. Значит, Москва совсем близко... где кончается лес, дачи. Занятно — идешь, в саду люди пьют чай, развлекаются — жизнь, как в витрине... Но до чего это близко, страшно подумать! Еще немного — и Химки, а там Сокол. Прежде был Пет-

ровский парк, считалось, что за городом. Москва очень разрослась.

Он стал думать о Москве, и его детство переплеталось с детством Поленьки, неожиданно выплывали события, лица, слова. О таких минутах говорят «человек вспоминает», но вспоминать можно по-разному, как разные находят облака — то перистые, то вязкие, густые. Воспоминания могут походить на раскопки, на книгу, где главы, страницы, примечания; на пласты горной породы, на горсть песку. Воспоминания Лукутина были запутанным клубком. Началось со слова «Сокол». Пошли названия улиц, переулков. Он обязательно хотел вспомнить, как прежде называли, как теперь. Глинищевский — это улица Немировича-Данченко. А как теперь Мертвый?.. Не помню... Странные имена, домашние — Собачья площадка, Дорогомилово, Зацепа... Хорошо, что зацепились! Федосеев говорил: «зубами в землю вцепимся». Его похоронили возле Уварова, там камень и буква «Ф». Он работал на «Шарикоподшипнике». Это далеко от центра. Какой туда трамвай идет? Не помню... ничего не помню... Теперь строят метро до завода Сталина. Симонов монастырь... Говорили, что в том пруду утопилась карамзинская Лиза. А толстовская Наташа жила на улице Воровского, там, кажется, Союз писателей. Это когда я повел Поленьку в Зоопарк... Ей очень понравились медвежата, а когда слона увидела, крикнула «Дядя Петя». У Пети, правда, длинный нос. Он теперь в артиллерии. Артиллеристы — молодцы, сколько раз выручали! Бесстрашные... Сейчас здорово бьют, еще сильнее, чем утром. У них традиции... Забавно — как стреляли из царь-пушки? А Кремль красивый, такого нигде нет, это не Византия, не Италия, другое, свое — чистота, большая ясность. Москва старая, так и говорят «не вдруг строилась»... Сколько такому дереву лет? Отец сразу сказал бы. Наверно, много. Росло, мерзло, опадало, зеленело, а сейчас может погибнуть, как человек,— снаряд, и готово. У них все перелеты. Наши-то как бьют, и это весь день, наверно, пришли подкрепления. Здесь ничего не знают, но, кажется, зацепились всерьез. Нельзя иначе — Москва. Они листовки сбросили — пишут, что смотрят на Москву. Может быть, и видно в бинокль... У мамы был смешной бинокль — из перламутра, как

раковина. Меня взяли на балет. Что тогда шло? «Спящая красавица»? Не помню. Я не понимал, куда проваливаются в люки, спрашивал, а мама стеснялась. Я был тогда в приготовительном, очень гордился формой. Напротив гимназии был сквер. Восемь лет жизни связаны с этим сквером. Надя нашла в сирени три, а искала пять, сказала, что будет несчастная, я начал говорить, что есть счастье, и вдруг убежал. Сколько мне было тогда лет? Пятнадцать. Или шестнадцать. Да и потом бывало так же — не умел сказать о главном... Вот и стемнело. Дни стали куцые, понятно — декабрь. Не успеешь поглядеть — и темно. Так все — не успеешь достроить, долюбить, дожить... Я здесь самый старый. А Жарову девятнадцать. Когда сказали, что наши отбили Ростов, он захлопал в ладоши, как мальчик. Это большое дело — Ростов. Они обязательно хотят взять Москву, ведь как лезут... Ужасно, что так близко! Но не возьмут, теперь повсюду зацепились. Миша говорил, что в Москве идеальный порядок и следа нет паники. Взглянуть бы одним глазком! Наверно, Москва другая... Вчера Миша разговаривал с пленным. Немец спросил, где Сталин. Миша ответил — на своем КП, в Москве. Не поверил... Поглупели они, трудно себе представить — Гете, Фихте, Гегель, как-то не вяжется... Был бы Рихтер умнее, он иначе со мною говорил бы. Может быть, он где-нибудь здесь, берет Москву? Почему нет? Вот кого бы прикончить!.. Полгода назад не думал, что захочу убивать, это мне было непонятно. Может быть, я озверел? Нет, и отец взял бы ружье. Думаю, даже Толстой не выдержал бы. Ведь они не только глупы, они жестокие, убивают детей. Хорошо, что Поленька далеко... Если меня убьют, она забудет отца — слишком маленькая. А Катя ей не расскажет, это я знаю. Ага, теперь пристрелялись... Чорт знает, какой здесь ад! Интересно — потом опишет это кто-нибудь или нет? Да дело не в описаниях... Как там Поленька? Катя даже не написала, теплая ли у них комната... А счастье все-таки было, это неправда, что мелькает, и все. Одно то, что есть Поленька, это огромное счастье. Была работа. На бумаге это только чертежи, цифры, а я переживал каждый корпус. Обидно, что не удалось ничего построить в Москве. Я никогда не думал, люблю ли Москву, говорил — Ленин-

град красивее, только теперь чувствую, какая это любовь к каждой улице, к каждому дому. А дома — это люди...

Вместе с ночью лес как бы заполнился множеством людей. Они обступили Лукутина, некоторые подходили близко, разговаривали, другие шли мимо, как прохожие, или вдруг выстраивались, становились рядами непонятного шествия. Здесь были и товарищи по гимназии, и Сергей, и сотрудники наркомата, и строители, и старые ботаники — приятели отца, и Надя с веткой сирени, и рабочие. Они почему-то шли под первым снегом мимо Александровского сада, несли красные гроба. «Вы жеееертвою пааали»... Лукутин вспомнил — это после Октября... К сверканию глаз прибавились звуки, они покрывали все. Почему так громко поют? Он понял: это в нем. И люди в нем, никто их не может увести, Надя говорит, что будет счастлива, Поленька играет в серсо... Где это? Да как он не узнал — Парк культуры, направо киоск... Сергей прав, его проект интересный... И Москва уж не за шоссе, она не близко и не далеко, она в нем.

Перед тем как немцы на рассвете пошли в атаку, была короткая минута тишины, и после грохота ночи тишина показалась особенно сладкой. Лукутин улыбнулся. Лес не тот, что вчера — обломанный, обрубленный. Не верится, что здесь живые люди...

Немцы думали, что они больше не натолкнутся на сопротивление, кинулись вперед по целине. Тогда затрещали пулеметы. Миша орал: «Подавай!..» На лице Лукутина показались капли пота; а мороз был сильный, все заиндевело — и ресницы, и волосы на висках.

Атаку остановили здесь же в лесу. Передышки не было: пошел в контратаку свежий полк — только вчера их привезли. Вот почему так барабанили ночью, подумал Лукутин. Он хотел крикнуть об этом Мише, ню не успел: упал в снег лицом.

Когда санитар его заметил, он обледенел, капли крови превратились в цветные каменья — на полушубке, на руке, на снегу. Мимо шли красноармейцы из новой дивизии. Они улыбались весело и беспокойно; все знали, что немцев гонят. Увидев мертвого Лукутина, несколько бойцов постарше подошли, молча постояли — каждый думал про свое; потом они побежали догонять товарищей.

19

Ну и мороз! Мутное солнце кажется куском льда. Больно глядеть — снег чересчур белый. А тени лиловые... Останавливается дыхание, белое облако, выползая изо рта, беспомощно повисает. А дым не может подняться, разойтись — это горят села. Все думают об одном, про одно говорят: «Наступаем!» Всесильные, с танками и с шоколадом, с Фермопилами, с черепами на рукавах, с «мессерами», с португальскими сардинками, с «Новой Европой», с егерями, гренадерами, с оберфельдфебелями, с фельдмаршалами, с фюрером, они самые, непобедимые, зигфриды, полубоги поспешно отступают.

Они бросают новенькие «оппели», фанерные арки, французское шампанское, дальнобойные орудия, фривольные открытки, даже бинокли — уж не те ли, в которые Москва была, как на ладони?..

Всем весело, хотя мороз, изловчившись, залезает под овчину. Сергей не может отвязаться от засевших в голове строк:

> У русской девы первый хмель
> Одни лелеяли сугробы.
> Румяный холод и метель...

Вот прилипло! Не знаю даже откуда, и глупо — какая «дева»? А мороз, правда, горячит. Почему зиму зовут «безжизненной»? Есть в ней тайная страсть, она жжет сердце, как железо — пальцы... Немцам, должно быть, не по себе.

Потом писали о штурме Ивашкова — с этого начался путь дивизии на запад, писали о меткости артиллеристов, о натиске пехоты, о том, что командир дивизии заранее все продумал. О саперах в газете ничего не было: а начали именно саперы — немцы заминировали подступы к Ивашкову, нужно было тихонько подползти, разминировать. Ночь выпала лунная. Как Сергей проклинал эту дурацкую луну!..

Ивашково далеко позади. Теперь у саперов своя, коренная забота — дорога. Это дорога наступления; они идут, и солнце садится прямо перед ними, необщительное, скупое, солнце декабря. Все внове — брошенные машины

(«погоди — какой марки?»), немецкие указатели — не понять, что за деревня, бутылки с заграничными этикетками, коробки из-под сигарет; клочья пестрых журналов, кладбища с шеренгами крестов — вот-вот и мертвецы зашагают...

«Хватит,— говорит Хоменко,— отшагали...»

Внове трупы немцев: они похожи на восковые статуи паноптикума. Один стоит у дерева и смотрит на восток. Может быть, еще цитирует Ницше? Или прикидывает, что он привезет из Москвы к себе в Вюрцбург, где он учился (никогда не протирал штанишек), где он служил в банке (ни одной оплошности), копил пфенниги, угощал невесту желудовым кофе с яблочным тортом, во сне и то не мечтал о сибирских соболях или об александритах Урала. А потом он стал завоевателем, Чингис-хан из Вюрцбурга, Тамерлан в очках, с невестой, у которой двое детишек... Он стоит, прислонившись к березе, румяный от мороза, бодрый, но мертвый. А другие уткнулись лицом в снег, как в подушку, или лежат на спине — мечтатели, звездочеты... Сергей идет по заколдованному лесу — обломанные деревья; паутина проволоки, немецкие блиндажи, эти гроты нибелунгов с портретами кинозвезд, с замерзшим калом и кровью. А заминировали хорошо (это признание сапера), нужно все прощупать, проверить.

Подорвался на мине весельчак Хоменко. Как он пел про свою Украину! В мороз, и то мерещились черные ночи юга, белый цвет вишни, белая грудь Оксаны... Саблин, вечно небритый, с крохотными кротовыми глазами, сердито сказал:

— Правду говорят — сапер ошибается один только раз...

Они проходили мимо села, сожженного немцами. Возле розового жара стояла женщина, дети. Мороз был лютый, и только эти тлеющие угли, среди снега, твердого, как камень, поддерживали жизнь. Все, что осталось от дома,— теплая зола... Здесь эта женщина пела песни, здесь рожала, отсюда проводила мужа на войну.

— Пожгли паразиты. Замерзнем...

Бойцы молчали: для такого не было слов. Только Черных тихо ругался. Он не мог понять, зачем сожгли дом? Такая изба и у него, такая же хозяйка, дети. Можно

понять, если жгут город — война... Пушки делают, потом стреляют... Но разве изба военное дело? Сеяли коноплю, ячмень... Где же это видно, чтобы с детьми оставить в такой мороз! Что, у него головы нет?.. Бессовестный! Злоба росла в сердце, как опухоль, мешала вздохнуть. И Черных тихо, чтобы никто не слышал, ругался: «Ух гад! Паразит! Мать твою!..»

Они пошли дальше. Снова трубы вместо домов. От деревни остались только скворечни и черные пятна среди снега. Люди выползали из оврагов, из лесов, бродили вокруг пепла, жаловались. Это были длинные, нескончаемые рассказы о горе, они сливались, путались, плелись следом.

К утру поднялась сильная метель, слепило. А рассказы метались, хлестали сердце.

— ...Пришел гад... Девочку увел...

— ...Пожгли, все пожгли...

— ...Бесстыжий, девку раздел...

— ...Тетю Машу за волосы привязали...

— ...Агафонова вывели, застрелили, вот здесь...

— ...Мальчик не понимает, кричит, а он как подойдет...

Метель росла; росли, бродили, кружились сугробы. А люди шли, завязали в снегу и все-таки шли.

На четвертый или на пятый день старая женщина сказала Сергею:

— Здесь и бросили. Баловались... Забили...— И, помолчав, она вдруг стала голосить: — Оленька!..

Они откопали убитую. Одежды на девушке не было, только валенок на одной ноге. Ни раны, ни увечий. Казалось, она спит; она была прекрасна в своем сне, похожая на каменное изваяние далеких веков — короткие ноги, крепкое закругленное туловище, лицо широкое и суровое — скулы, надвинутые брови, узкие глаза.

— Прикройте.

Сергей чувствовал — что-то в нем замерзает. Из множества чувств, извилистых, как жилки листьев, из всего, чем он прежде жил, оставалось одно — до чего ненавижу! Зубами бы загрыз... Это как страсть — стучит в голове, вяжет ноги, не дает опомниться.

Навстречу вели пленных, жалких, замерзших. Но у всех сжалось сердце: вот! Вот эти... Эти ли? Трудно было поверить — до того они выглядели растерянными, испу-

ганными, ничтожными. В летних пилотках, повязанные платками — бабка с флюсом, хромые и прихрамывающие, сопливые, грязные, всхлипывающие, причитающие это заученное, ставшее заклинанием, молитвой, «капут». Неужели такие жгли, насиловали, пытали?

Один понимал по-французски. Сергей спросил:

— Зачем вы пришли?

— Я солдат, приказали...

— Но вы подчинялись с удовольствием, не правда ли? Жгли, убивали? Почему не отвечаете?

— Я военнопленный, господин капитан, я в вашей власти.

Сергею стало не по себе. Может быть, этот ничего не сделал. Немец почувствовал, что русский офицер смущен, и начал быстро говорить:

— Я ничего не делал плохого. Приказ — это приказ, а будь моя воля, я лучше остался бы в Париже. Там нам было очень хорошо, все с нами вежливые...

— Хватит!

Пленный сразу вытянулся, окаменел. А Сергей стоял задумавшись. Как всегда в минуты удивления или внутренней сосредоточенности, он откинул вверх голову, прищурился. Пленному стало страшно:

— Господин капитан, меня не убьют?

— Кто вас убьет? Глупости...

— Значит, я буду жить?

Сергей усмехнулся:

— Конечно, если не заболеете...

— Я здоров, вполне здоров...

Сергей махнул рукой — ступайте! Но немец нагнал его:

— Господин капитан, я здоров, но слабого сложения, меня нельзя посылать на тяжелые работы...

Сергей брезгливо поморщился. Они и Париж опоганили... Ему противно сейчас думать о Париже. Вчера девушка ему улыбнулась, а он отвернулся — кто ее знает, может быть, она улыбалась и немцам?.. Он спал в уцелевшем доме и задыхался: надышали, не выветрить... Лучше уж на морозе!.. Зонин дал ему зажигалку: «Спичек-то нет... А это они здорово придумали — видишь, чтобы не задувало»... Сергей машинально сунул зажигалку в карман; потом вдруг нашел ее в кармане, вспом-

нил — да ведь это немецкая! В ярости втоптал ее в снег — этакая пакость!

Еще месяц назад война для него была страшной необходимостью, столкновением двух миров, защитой родины, стратегией, тактикой, подвигом. Теперь война стала жизнью; все в нем воевало — кровь, желчь, дыхание, каждый сустав, каждое биение сердца.

Наступление как будто приостановилось. Немцы уж не просто огрызаются, они пробуют удержаться. Настоящие сооружения... Неужели мы выдохлись?.. Полковник Глухов сказал Сергею: «С недельку простоим...» Сергей думал об одном: дальше!.. Он старался образумить себя, играл в шахматы с Зониным, разговаривал с бойцами — о Москве, о далеких селах Заволжья, о детях, о простой, обыкновенной жизни. Но думал он только о немцах.

Вале он писал редко. Она отступила куда-то в прошлое, в то теплое, густое, пестрое прошлое, где можно было влюбляться, забывать, спорить о театрах (какой лучше — Вахтангова или Камерный?), мечтать среди кленов. В этом далеком мире, похожем на хорошо запомнившийся сон, Валя была рядом с Мадо. Он теперь часто вспоминал Париж, вспоминал с невеселой улыбкой — немцы шли по аллее, по которой он шел с Мадо, садились на скамейки под каштанами, вмешивались в их долгий, важный и бессмысленный разговор. «Сапер ошибается только раз...» Он не умер. Да и Мадо не умерла. У него Валя... Может быть, Мадо вышла замуж, остепенилась, счастлива? Какое ей дело до немцев, она говорила «ненавижу политику»... Он взял у пленного парижскую газету. Балет, что-то про Андре Жида, вернисаж выставки Дерена... «Корбей» продолжается. На вернисаже — Мадо. Немцы ведь ценители, меценаты, тонкие души...

Стыдно! Как можно чернить любовь? Он кругом виноват. Он бросил Мадо. Две недели, как он ничего не пишет Вале. А Валя — его жизнь. Он злится на себя и хочет запачкать Мадо. Мало ли что говорят фрицы. Тот рабочий с «Рош-энэ» — никогда не поверю, чтобы он примирился... У него был смешной чуб... Спрашивал про Сталина, про Москву, это хороший парень и настоящий француз. Такой не перекинется. Им еще тяжелее — мы все-таки вместе, а там воюй один... Проклятые фрицы!.. Он теперь говорил,

как его бойцы, «фрицы». Еще недавно он ждал, что прибегут, придут, приползут друзья Анны, честные немцы, возмущенные своею армией, скажут «мы с вами»... Не видно... А если и перебежит какой-нибудь, то сразу понимаешь — перепугался. «Катюша» — вот их угрызения!.. Нехорошо. Мы их расколотим... Теперь и Гитлер это понимает, если он может что-то соображать. Но я не смогу быть прежним. Верующие думали, что яблоко познания вкусное. А лучше без этих яблок, потом и жизнь не в жизнь. Зонин говорит: «Мы с тобой стали умнее, многому научились». Конечно. Но и разучились чему-то...

Он хотел написать Вале, ничего не вышло; написал Нине Георгиевне, рассказал о наступлении, о сожженных деревнях, о разговоре с пленным. Хотел написать об убитой девушке, но не смог и вместо этого приписал: «Ты меня, мама, вообще не узнаешь. Я теперь вижу, сколько во мне было детского, смутного, сколько нелепых фантазий. Я очень изменился, мне теперь хочется одного — перебить их всех. Я понимаю, что это смягчится, так всегда бывает — время подливает в вино воду, но это вино такое крепкое, такое злое, что понадобится много времени и много, очень много воды...»

Два дня спустя Сергея отвезли в госпиталь — осколок снаряда попал в плечо. Врач сказал: «Недели две-три — и все будет в исправности». Сергей не вытерпел, вскрикнул: «Три недели?» Врач рассмеялся: «Куда вы торопитесь? Воевать еще долго будем...»

Он не знал Сергея. Да и сам Сергей еще раз ошибся: думал, что он изменился, а изменилось время; он остался все тем же — страстным, шагающим чуть-чуть быстрее, чем надо, и, может быть, на вершок над землей.

20

Рихтер никак не мог согреться; его трясло. Он кричал старой женщине, повязанной черным платком:

— Лучше топи, понимаешь, лучше!

Женщина не понимала по-немецки; испуганно она оглядывалась на Рихтера, дула в печь, вертела кочергой. Сырые дрова дымили. Рихтер в ярости схватил табуретку,

разломал ее, кинул в печь. Огонь сразу оживился. Рихтер стал рубить топориком скамейку. Женщина громко заплакала и выбежала из избы. Таракан рассмеялся:

— Подумаешь — ценность! Рококо!

Рихтер чувствовал, как он оттаивает; он блаженно улыбался, вытирая грязным платком нос. Он сказал Марабу:

— Садись сюда — здесь почти что рай. А во что мы превратились! Похоже на сказку, но сказка, откровенно говоря, скверная.

Таракан еще сохранял и военную выправку, и некоторую бодрость.

— Что и говорить,— сказал он,— это поганая история, но весной мы отыграемся. Сколько могут продолжаться такие морозы?..

Рихтер ответил:

— Зима у них кончается в апреле, так что мы успеем сто раз замерзнуть. Но меня лично интересует другое — когда кончатся русские?

— Они кончатся,— сказал Марабу,— но это роковой поединок для нашего поколения. Мы обречены. Достаточно поглядеть на этот ландшафт, чтобы понять, как мы кончим... Трудно вообразить бо́льшую гармонию между природой и событиями.

— Ничего я не вижу особенного, кроме ворон, снега и поганых домиков,— проворчал Таракан. Он знал, что Марабу — настоящий наци и хороший солдат, но не выносил его рассуждений — хоронит заживо. Разве это подобает военному человеку?..

Марабу пожал плечами — он говорит с Рихтером.

— Посмотри — солнце, снег, пустота. Смерть абсолютно во всем — в этом бледном диске, в больничной белизне, в неподвижности...

Рихтер молчал. О чем ни заговори, Марабу сведет все к смерти. А нервы и без того истрепаны... За три дня они потеряли шестнадцать человек. Сегодня утром погиб Клеппер. Мальчишка боялся отстать, устроился на грузовике и — прямое попадание... У русских хорошая артиллерия. Рихтер вспомнил, как полковник Вильке говорил о «полумирном проникновении», и громко выругался.

Таракан тоже выругался — нашел на себе вошь. Он снял рубашку и начал давить насекомых, приговаривая: «Семь евреев... Восемь... Девять...»

Теперь все ясно,— думал Рихтер,— они будут защищаться, как сумасшедшие. Может быть, будущим летом мы с ними справимся, но сколько из нас уцелеет?.. Сказать по правде, мне сейчас все равно, кто победит. Я хочу принять ванну, надеть пижаму и лечь в теплую постель. Даже без Гильды... Сейчас я согрелся, скажут, что победа валяется возле дома, не выйду... Мало было побед? Мы взяли Брест, Минск, взяли Смоленск, Вязьму, еще что-то, не помню всех названий. Мы были возле Москвы, да и теперь не так уж она далека... Мне все надоело — побеждать, отступать, ползти под огнем, хоронить товарищей, слушать, как каркает Марабу или как Таракан хвастает, будто он переспал с тремя девками...

В первые недели войны Рихтер проявлял любознательность; ему казалось, что он — турист и совершает путешествие по экзотической стране, слов нет, опасное, но интересное. Он пополнял свои сведения о России. Прежде он видел только Москву и Кузнецк. Да и что он там видел? Гостиницы, музеи, стройку. Теперь он заходит в любой дом. Он увидел русскую деревню. Отсталый народ, они должны благословлять нас, мы можем их приобщить к цивилизации. Мы начнем с того, что устроим здесь приличные уборные. Он написал как-то Гильде: «Ты не можешь себе представить, что это за страна, я два раза был в России, и я не мог себе этого представить. Мы ночевали в крестьянском доме, вдруг я услышал странные звуки. Оказалось, в доме ночует теленок, хозяйка объяснила через переводчика, что так полагается в большие холода, иначе животное замерзнет. Не правда ли, эксцентричная картина — берлинский архитектор, увлеченный урбанизмом, который ночует с коровой...»

Порой он спорил с Бауером, который говорил: «Каждый народ живет по-своему. Им нравится чай, а я люблю кофе, но пушки ничего не решают... Теперь у них нет чая и у нас нет кофе...» Рихтер снисходительно возражал: «Нельзя подходить к мировой истории с психологией домашней хозяйки. Мы должны победить, чтобы просветить...» Бауер этого не мог понять, он был учителем рисо-

вания в школе для девочек, всю жизнь перерисовывал на фарфор анютины глазки.

Потом Рихтер перестал удивляться русским нравам: все его раздражало, особенно фанатизм, с которым русские защищались. Им не жалко своей жизни, это понятно — какую ценность представляет жизнь муравья? Но, погибая, они уничтожают цвет немецкой культуры...

Увидев пленных красноармейцев, Рихтер подошел, стал разглядывать — пришла в голову смешная мысль: вдруг среди них Лукутин?.. Пленные стояли тесной толпой. Рихтер поглядел на них и рассердился: тупые лица, смотрят, как звери, молчат... Он вспомнил, что накануне русские разведчики убили унтера Бауера, и в ярости ударил по лицу одного пленного. Потом он вытер свою руку, липкую от крови, и пошел прочь. Гадость!..

Они ждали со дня на день падения Москвы. Офицеры говорили, что это решенное дело, уже известно, какие дивизии примут участие в параде, их дивизию хотели оттереть, но полковник Шульце отстоял... А вместо парада пришлось удирать. Они стояли во втором эшелоне, Рихтер спокойно брился, когда неожиданно началась паника. Он забыл кисточку, хорошую — настоящий барсук, такой не достанешь...

Теперь и бриться неохота. Он давно не мылся, завонял, противно, особенно, когда покрываешься шинелью с головой... Чешешься, как паршивая собака. Марабу еще что-то записывает в тетрадку, храбрится. А другие — как Рихтер — лишь бы набить желудок и согреться. Единственное, что связывает Рихтера с жизнью, это письма Гильды. Она пишет через день, нумерует письма. Он хорошо знает длинные палевые конверты. А бумагу она душит, все те же парижские духи... Он прижимает к губам листок бумаги, и ему кажется, что Гильда рядом. Бог ее знает, что она делает!.. Может быть, у нее десятый любовник, я не удивлюсь. Она, как кошка, ей это нужно, а я далеко, неизвестно, когда вернусь, да и вообще неизвестно, вернусь ли... Даже ревность не могла его оживить, он ревновал вяло, нехотя, порой рисуя себе непотребные сцены, одаривая Гильду то нежными прозвищами, то площадной бранью.

Все надоело... Он почувствовал резкую боль в животе. Что я съел? Наверно, от холода... Он не мог решиться выйти на мороз, отошел в угол и, виновато озираясь, присел на корточки.

Кто-то выругался:

— Безобразие, ты здесь все-таки не один!..

Рихтер плаксиво ответил:

— Я болен, понимаешь?..

Он сам подумал: чорт знает что — как дикарь!.. А все-таки хорошо, что не вышел — потом час не согреешься. Вот что описать бы Гильде... Он вспомнил ее спальню, голубое атласное одеяло, флаконы с духами и расхохотался.

— Чего ты? — спросил Таракан.

— Я думаю, что в Берлине мы сможем заработать большие деньги — устроим хижину ветерана русской зимы и будем пускать за двадцать пфеннигов...

— Ветеран русской зимы пока что проголодался,— сказал Таракан.

Они сварили кофе, вытащили консервы. Рихтер хотел было воздержаться — опять пронесет, но потом схватил рукой сардинку и чмокнул от удовольствия.

Пришел переводчик Браун. Сразу чувствует, где можно закусить, подумал Рихтер, но благодушно сказал Брауну: «Лопай...» Браун рассказал, что в деревне остались только женщины с детьми и старики, мужчин увела полевая жандармерия.

— Как называется деревня? — лениво спросил Рихтер.

— Головлево.

— Легче взять, чем выговорить...

Рихтер наелся, закурил. Только теперь он оглядел дом — ничего интересного, таких домов он видел сотни — икона, щербатый стол, печь, а на ней тряпье, глиняные горшки, миски. Женщина в черном платке, две девочки с жидкими косичками. Не на что посмотреть... Вдруг он увидел на полке, среди горшков, книжку в засаленном переплете.

— Скажите, пожалуйста,— библиотека! Жалко, теленка нет, он бы почитал... Слушай, Браун, посмотри, что это за опус? Не могу привыкнуть к их дурацкой азбуке.

— Роман «Анна Каренина». Я видел это в кино.

— Смешно... А зачем ей книга — на растопку?..

Женщина перепугалась, не сразу ответила. Переводчик кричал:

— Книга тебе зачем?

— Дочки книга, до войны приезжала из Смоленска, она учится, студентка...

— Студентка? — Рихтер грохотал.— Скажите, пожалуйста, высшее образование! Толстой! Лучше бы она устроила теплый нужник.

— Я все-таки выйду, пока она не устроила,— сказал Таракан.— А то мы здесь задохнемся...

Он сразу прибежал назад:

— Собираться! Лейтенант сказал, что русские прорвались. Мы должны охранять штаб.

Рихтер отчаянно зевнул:

— Подлецы, не дадут отогреться!

21

— Где вы намерены встречать Новый год, господин Ширке? — спросил Берти.

— Дома. Теперь такое время, что дорожишь каждым часом, проведенным в семейной обстановке. Я ведь говорил вам, что моя жена приехала на два месяца.

— Надеюсь, госпоже Ширке понравился Париж?..

Они сидели в «Золотом каплуне». До войны это был скромный ресторан, посещаемый служащими соседнего банка. А теперь сюда нелегко было проникнуть, неофиты гастрономии — спекулянты, поставщики, мелкие журналисты, обслуживавшие немцев, актеры варьете, все приниженно умоляли оставить для них столик. Говорили, будто хозяин ресторана связан с гестапо, поэтому здесь можно получить то, чего нет нигде. Однако немцы редко заглядывали сюда, и это тоже способствовало репутации заведения: люди, работавшие с немцами, предпочитали отдыхать без них.

Берти выбрал этот ресторан, зная, что Ширке любит покушать; предстоял неприятный разговор, а вкусное блюдо и старая бутылка сглаживают шероховатости. Берти давно позабыл грубую выходку Ширке, которая

так потрясла Мадо; многое с тех пор изменилось, война на Востоке внесла ясность. Берти часто встречался с Ширке и стал его уважать: среди немцев немало людей толковых, знающих, но умом они не блещут, Ширке, пожалуй, исключение... Ширке в свою очередь высоко ставил Берти — вот вам француз, которого нелегко околпачить... Они относились друг к другу, как два игрока, один хотел перехитрить другого и восхищался хитростью партнера.

Берти спросил, любит ли Ширке устрицы — кажется, немцы не привыкли к раковинам... Ширке закивал головой.

— У вас французские вкусы. А настойчивость немецкая...

Берти хотел этим показать, что он знает, о чем будет говорить Ширке. Немцы требуют чуть ли не любви, а сами не делают ни шагу навстречу. Я скажу ему все... Но раньше нужно заняться обедом.

— Пожалуй, форель кольчиком, если вы говорите, что она нежная. Потом, конечно, каплуна. Перигорский паштет... У вас есть «мерсо»? Двадцать первый год? Великолепно. И «шатонеф» — то, что вы мне подавали в прошлый раз.

— Итак, вы начинаете понимать неприятности Наполеона? — Берти сказал это шутливо, желая тоном смягчить едкость вопроса.

Ширке тискал кусочек лимона, он ответил не сразу — проглотил устрицу, выпил глоток «мерсо», а потом засмеялся:

— Если хотите знать, да... Я вчера взял мемуары фон Цуккова, есть некоторое сходство. Из всех русских генералов я уважаю одного — генерала Мороза... Как ни сильна наша армия, но природа — это природа. Не нужно ни преуменьшать, ни преувеличивать значения заминки. Мы потеряем полгода бесспорно. Когда газеты это изображают чуть ли не как нашу победу, они переоценивают доверчивость читателей. Но смешно впадать в пессимизм. Есть такая песенка: «За декабрем приходит май...» Весной мы возобновим наступление. У нас несколько месяцев, чтобы хорошенько подготовиться. Летом партия будет доиграна.

Берти подумал: он правильно расценивает... Нужно быть дураком, чтобы говорить о победе русских. Конечно, события под Москвой произвели огромное впечатление — это первая немецкая неудача. Но в исходе можно не сомневаться, красные получили только отсрочку...

Берти все же возразил, ему хотелось подчеркнуть неудачу немцев.

— Вы так уверены в будущем лете, господин Ширке? Я не немецкий читатель и чрезмерной доверчивостью не грешу. По-моему, напрасно вы валите все на мороз. Да и Наполеона погубили не только холода, он не учел фанатизма русских мужиков. Допустим, что в декабре все решила температура, но вы и в ноябре топтались на месте...

Он думал, что Ширке рассердится, приготовился к спору. А Ширке, проглотив последнюю устрицу, сказал:

— Вы правы, большую роль играет фанатизм русских. Их соответствующе воспитали... Теперь все видят, какой угрозой была Россия. Вы думаете, большевизм грозит только нам?.. Здесь все поставлено на карту — или мы их уничтожим, или придут коммунисты. Тогда мы с вами не получим такой форели. Мы будем, господин Берти, висеть рядышком — на двух столбах...

Берти усмехнулся — Ширке ловко повернул разговор! Ясно, он будет пугать красной опасностью. И прежде чем Ширке заговорил, Берти начал атаку:

— Сейчас Германия нуждается в сотрудничестве, а между тем вы делаете все, чтобы нас оттолкнуть. Я уж не говорю о бестактности этих красных афиш с черной каемкой... Французы не понимают и никогда не поймут института заложников. Не знаю, что глупее — расстреливать детей, вроде сына Мокэ, или торжественно оповещать об этом французов? Я говорил вам, что могу обеспечить порядок на моих заводах. Ваши гестаповцы подымают историю с саботажем. Это глупо. У меня нехватает рабочих — вы их держите в лагерях для пленных. Я набираю новичков. Естественно, случаются аварии. Недавно один алжирец вывел из строя станок. Это мелочь... Зачем было подымать шум? Вы озлобляете рабочих. Я разговаривал с вашими властями, мне отвечают, что я веду себя «уклончиво». Если вам нужны грузовики, оставьте меня в

покое... Попробуйте «шатонеф», это на редкость удачный год...

Ширке пополоскал вином рот и покраснел от удовольствия.

— Исключительно удачный!.. Я вообще обожаю ронские вина, они горячат, чувствуется солнце юга... Напрасно вы сердитесь, гестапо это гестапо, все полиции мира делали, делают и будут делать глупости. А если французские промышленники не захотят с нами сотрудничать, они проиграют. Проиграют при любом исходе. Когда мы победим, мы вспомним, кто был действительно с нами и кто выжидал. Возьмем худшее — победят красные. Это будет катастрофой и для вас. Вы думаете, я не знаю, как к нам относятся французы?.. Я человек некрупный, не Абетц, не генерал, не гестаповец, и все-таки я это чувствую на себе. Меня представляют актрисе, она вдруг убегает, у нее, видите ли, нервные спазмы... Ваш знакомый, директор завода, назову его Икс, заявляет мне, что хочет уехать в деревню и разводить кроликов. Посмотрите, пожалуйста, кругом. Едят, пьют, смеются. Они счастливы благодаря нам. Попробовали бы они так пообедать в Лондоне или в Москве! Но спросите их, они скажут, что счастливы, несмотря на нас. Меня здесь не знают, и эти спекулянты довольны, что могут кушать каплуна, не видя перед собой бошей... Я достаточно пожил, умею понимать и прощать. Но подумал ли такой господин Икс, что его ждет, если германская армия дрогнет? Он мечтает о восемнадцатом годе с Клемансо и с иллюминацией в Версале. А если нас побьют, он получит казаков и диктатуру пролетариата.

Берти слушал посмеиваясь: Икс — это я, он хочет сказать, что я двурушничаю. Посмотрим, что он запоет, когда я ему напомню, что не все противники немцев — коммунисты...

— Россия обессилена, и надолго. Даже если вы потерпите поражение, большевики не будут угрозой, своих границ они не перейдут. Напрасно вы все время говорите о Востоке. Многие французы смотрят в другую сторону. Америка ввязалась в войну, а у американцев огромные ресурсы. Я не знаю, кто этот Икс, о котором вы говорили, беру его, как пример — отчего ему бояться победы американцев? Он сможет работать и жить, как до войны. Не

удивительно, если он предпочитает доллары не только рублям, но и маркам...

Ширке наслаждался паштетом с трюфелями. Слов нет. Берти сильный партнер! Он хочет сказать, что может поставить на карту союзников... Интересно, как бы он держался не в «Золотом каплуне», а на авеню Фош, если бы его допросили разок настоящие гестаповцы?.. Нельзя, приходится лавировать...

Принесли кофе, душистый и такой крепкий, что забилось сердце. Ширке сказал:

— Американцы и англичане тоже заинтересованы в разгроме красных. Они посылают русским телеграммы с соболезнованием, а сами надеются, что мы их уничтожим... Тогда можно будет поделить мир. Вы можете договориться с Мессершмиттом или с Фордом, но не с большевиками. Я не хочу, чтобы вы солидаризировались с Рейхом. Вы — француз, у вас свои интересы. Я жду от вас другого — помощи в нашей войне на Востоке. Там мы защищаем и господина Икс. Скажите прямо, не с глазу на глаз, а в печати, что главный враг Франции — коммунизм. Мы этим удовлетворимся...

Месяц назад Ширке требовал, чтобы Берти заявил о более тесном сотрудничестве, о желательности победы Германии. Теперь он был скромнее. Приходится отступать... Усмехаясь, он подумал: как под Москвой...

Берти взвешивал: принять ли такое предложение? Конечно, коммунисты — враг номер один. Это азбучная истина. Но все дело в том, когда и кому это говоришь...

— Я не поклонник коммунистов. Но я и не поклонник ваших методов. Стоит улыбнуться или кашлянуть, как вы это обращаете в декларацию. Вы чересчур увлечены пропагандой... Я мог бы заклеймить коммунизм... Но вы должны вернуться к порядкам до августа — никакого контроля! Без этого вы не получите грузовиков. А какой смысл осуждать большевизм, если я не смогу внести свою лепту в дело победы над красными?

Ну и бестия, подумал Ширке... А в общем он прав — у нас слишком много инстанций. Гестапо не хочет считаться с армией, армия с гражданскими властями, Штюльпнагель не понимает Абетца, Абетц возмущен рве-

нием Заукеля... Меня выслушивают — и поступают наоборот. Я — старый наци, а теперь я пешка...

— Хорошо, господин Берти, я передам ваши пожелания. Спасибо за приятный вечер. Не знаю, отчего у меня кружится голова — от этого арманьяка? Или... (Он громко засмеялся.) Или от находчивости господина Икс?..

Они расстались друзьями. Прощаясь, Берти попросил Ширке уладить дело с «Рош-энэ»:

— Мой тесть стопроцентный француз. Беспечен, ленив и гастроном... Это маленький завод, но он делает свое дело... Они накинулись, как вороны на падаль.

На следующий день к Берти пришел Лансье; в десятый раз начал плакаться:

— Альпер честнейший человек, но я его давно отстранил, я с ним даже не встречаюсь. А этот Руа...

Берти его оборвал:

— Я надеюсь, все разъяснится.

Он был, как всегда, сдержан, приветлив, улыбался, играл с голубком из дутого стекла, который стоял на письменном столе.

Лансье повезло: как раз позвонил Ширке.

— ...Спасибо, а вы?.. Да, я вас слушаю. Да... Как было до августа. Когда их заберут?.. Это твердо?.. Хорошо, я готов его принять — лучше всего в форме интервью... Нет, только после того, как все будет выполнено... Улажено? Благодарю вас... Надеюсь скоро вас увидеть у себя...

Берти снова взял голубка. Лансье залюбовался: какие у него тонкие руки! Вот модель для Греко — повелитель с игрушкой...

— Ширке сказал мне, что ваше дело улажено.

Лансье, захлебываясь, благодарил:

— Вы снова меня спасли!.. Я так вам обязан!.. Я счастлив, что Мадо выбрала вас... Сейчас я ей скажу, что вы...

— Ее нет дома. Она уехала на несколько дней.

— Уехала?.. Но я ее видел вчера, она ничего мне не сказала... Куда она могла уехать?..

— На зимний спорт.

Берти попрежнему улыбался. Вдруг стекло зазвенело — он слишком сильно сжал голубка. Лансье увидел на руке зятя кровь.

— Боже, вы ранили себя!.. Огюст, где вы?.. Скорее дайте иода... Господин Берти ранен...

Берти отослал лакея, завязал платком руку и вежливо выпроводил Лансье:

— У меня много работы. Эти немцы не дают ни минуты спокойствия...

22

Они ночевали у доктора Ваше — Жак, Анна, Мари. Это было спокойное место: никому не могло притти в голову, что доктор прячет у себя «террористов». Жак предупредил: «Накормят и замечательно выспимся».

Доктор Ваше, специалист по женским болезням, никогда не интересовался политикой; в газетах он читал только отчеты о сенсационных судебных разбирательствах и романы с продолжением. Он аккуратно рассылал счета своим пациенткам: были у него и негласные заработки — домик в Сюренн купил он на деньги, полученные за аборты. Жена его давно умерла, сын-инженер жил в Лилле. Доктор был одинок, развлекала его только внучка экономки, Люлю. Когда пришли немцы, он огорчился, но быстро привык к новым порядкам, принимал больных, подрезал в садике деревья, играл с Люлю в лото. Когда Ваше спрашивали, где его сын — в плену или на свободе, он отвечал: «Не знаю. Мы и до войны редко переписывались — что вы хотите, двое взрослых мужчин, все обходится без сентиментальностей...»

В начале ноября к Ваше пришел незнакомый ему человек:

— Мне нужно поговорить с вами — наедине...

Ваше решил, что речь идет об аборте.

— Погодите. Я должен сначала принять двух пациенток.

Потом он провел Жака в кабинет.

— Я вас слушаю.

Жак сразу сказал:

— Вашего сына расстреляли немцы. Он просил передать вам колечко. Он говорил, что это его матери...

Ваше не изменился в лице.

— Его расстреляли случайно?.. Или за дело?..

— Он был коммунистом. Он хорошо умер...

Жак хотел уйти, но Ваше его удержал:

— Посидите немного со мной... Мы вместе пообедаем.

Жак думал, что доктор будет расспрашивать, как боролся его сын, или отдастся воспоминаниям, но Ваше молчал. За обедом он говорил о погоде, о том, что у Люлю свинка, жаловался на затемнение — «вчера чуть не сломал ногу»... Жак заговорил о Виши, о Лавале; Ваше покачал головой.

— Я в этом ничего не понимаю... Я не знал, что Анри был коммунистом. Странно... Он прилично зарабатывал, не нуждался... Может быть, вы тоже коммунист?

Жак кивнул головой. Доктор налил ему кофе.

— У меня еще запасы довоенного... А я не пью, у меня от кофе бессонница...

На минуту его лицо дрогнуло, он сказал:

— Теперь у меня нет наследника. Для кого я работал?

Он быстро совладал с собой.

— Если вам что-либо понадобится, я сделаю... Можете располагать моим домом...— Помолчав, он добавил:— Я не знаю, был ли прав Анри. Но немцам я этого не прощу...

Жак не впервые приводил сюда друзей. Сейчас он сменил мокрые тяжелые башмаки на ночные туфли доктора, сел в глубокое кресло и потянулся:

— Приятно, хоть раз в месяц можно выспаться...

Он вытащил из кармана маленькую листовку, дал Анне:

— Ты не видала? Это советская сводка. Они прикончили под Москвой восемьдесят пять тысяч немцев.

Мари улыбнулась:

— Мне нравится, что они говорят «уничтожили», как о насекомых... Разве это люди? Меня иногда удивляет, что у них брови, усы, что они говорят, смеются...

Она вдруг замолкла, растерянно поглядела на Анну: опять я забыла!.. Анна не отвернулась; в ее больших серых глазах не было ни укора, ни смущения, только ровная, привычная тоска.

Товарищи часто забывали, что она — немка. Жак шутя называл ее «белой вороной». Но сама Анна не забывала об этом ни на минуту. Она выполняла работу трудную и

опасную: время от времени она надевала серую форменную одежду и становилась Лоттой Хюннер, состоящей на службе в воинской части. Тогда встречные французы глядели на нее с ненавистью или с презрением, а мальчишки кричали вслед «серая мышь». Анна шла в кино или в военный клуб, знакомилась с офицерами, кокетничала, улыбалась, танцовала, стараясь узнать, какие части прибыли во Францию и какие отправлены на Восточный фронт; она запоминала номера полков, имена майоров и полковников. Все это она передавала Жаку. Глядя на нее в дансинге, никто не сказал бы, что она томится: у нее был вид счастливой девушки, попавшей впервые в Париж. Когда молоденький офицер бывал слишком настойчив, она, смущаясь, ему говорила: «Милый, не нужно... У меня жених, он сейчас в России, его могут убить, я тогда не прощу себе, что ему изменила...»

Никто из товарищей не догадывался, сколько душевных сил требует эта игра. Только Люк как-то сказал: «Замечательно она работает... А, знаешь, Жак, я не хотел бы быть на ее месте...»

Ваше хорошо их накормил, Жак был прав. Доктор почти не ел («вечером стараюсь воздерживаться, тогда лучше сплю»), он подливал гостям вино и нудно излагал содержание последнего прочитанного им романа: «Стивенс не подумал, что следы пальцев на шкатулке могли быть оттого, что Ева ее переставляла, когда там не было ожерелья...» Мари зевала и, как только встали из-за стола, пошла спать.

Анна рассказывала Жаку:

— Семьдесят первую отправляют из Реймса в Россию. Я разговаривала с лейтенантом, настроение у них отвратительное, особенно после того, как объявили, что «сокращают фронт». Пятьдесят девятый полк только что прибыл в Безансон, вернее, остатки — их почти целиком уничтожили возле Ельни. Солдаты счастливы, что вырвались оттуда, им запретили рассказывать о России, боятся деморализации. Сюда должны прибыть две дивизии с Украины на переформирование, я постараюсь послезавтра узнать номера... Из Нанси отправили неполную дивизию — два полка, это триста двадцать седьмая... В Лилле генерал Дразер заболел нервным расстройством, вызывали врача,

на почве страха — боится покушений... Эсэсовцы не поддаются, говорят, что весной побьют русских. Кстати, они набирают бельгийцев для дивизии «Викинг»... Четвертую танковую должны отправить после двадцатого января... Кажется, все.

Жак записал. Потом он сказал Анне:

— Нужно убрать гестаповца. Я подумал о Шеллере... Можно другого. Узнай, где бывает — в кафе или в кино.

— Зачем узнавать? Я могу сама...

— Что?..

— Убрать.

— Нет, ты нам нужна. А здесь трудно уйти...

Анна не могла уснуть, она смутно, но напряженно думала: почему мне не позволяют? Это легче, чем с ними танцовать. И потом тогда — конец. Сколько они могут мучить? День, неделю... Какое это счастье — умереть! Уснуть и не проснуться... Не могу уснуть... Половина шестого, скоро уходить, в девять у него прием... А уснуть нельзя... И умереть нельзя, нужно лежать, ждать, танцовать...

Несколько дней спустя Анна ночевала у профессора Дюма. Она старалась как можно реже приходить к нему, боялась его подвести. Но Жак спутал адрес, она не знала, куда ей деться, и пришла к Дюма. Профессор обрадовался:

— Живу, как барсук. Если бы не радио, повеситься можно... Ну, что скажете? Этот сумасшедший ефрейтор решил во всем копировать Наполеона. Представляю, как они там зимуют!.. Летом ко мне приходил один болван, в некотором роде коллега — антрополог, науку оставил, решил города брать. Зашел он ко мне, куда-то их отсылали, и, между прочим, такого наговорил, что я его выкинул. Хорошо бы сейчас на него поглядеть, как он от Москвы шагает... Русские — молодцы! Мы провалились, да еще как, а они выдержали. Одно дело, когда народ объединен. У нас и народа нет. Петэн жмет руку их психопата, а они в это время убивают школьников. Один доносит на другого. Я даже не знаю, какие у меня соседи. Люди боятся друг с другом разговаривать. Разве это народ? Это половинка народа, а другая выдохлась...

Они сидели возле маленькой печурки. Дюма подбросил угля, закурил трубку. Анна, неожиданно для себя самой, сказала:

— Вы не понимаете, как вы счастливы! Вот у меня действительно нет народа...

Впервые за это время она сказала о том, что ее мучило.

— Может быть, вы помните — еще до войны, у Лансье был советский инженер. Тогда спорили, смогут ли русские воевать. Он меня проводил, разговорились... Он сказал, что понимает мое положение. А что он теперь думает, когда немцы — грабят, жгут, убивают?.. Вы говорите, у вас много предателей, но вы знаете — предатель, значит против народа. А где немецкий народ?.. Когда я была в Испании, я еще верила, что могут опомниться, я там видела других немцев. Сколько их было? Горсточка... А теперь каждый день я вижу этих, разговариваю с ними. Они покупают духи, ходят в театры, научились выбирать вина... Одна француженка сказала «насекомые»,— ужасно, что это правда! Я ведь думаю на их языке, там выросла... У меня не может быть другой родины. Земля есть, а народа нет...

— Глупости! Как может пропасть народ? Ошалели они, это ясно. Но никогда я не поверю, что у немцев это в крови. Я, кажется, антрополог, расистом меня не сделаете. Вы-то кто? Немка или австралийка? А я вами восхищаюсь, понимаете — восхищаюсь! Немцы опомнятся, если не через год, так через десять, обязательно опомнятся, будут работать, философствовать, музицировать. Тогда вспомнят таких, как вы... Я понимаю, вам обидно, что сейчас вас мало. Но это в начальной школе учат — можно солдат потерять, только не знамя... Я не коммунист, формация другая... Но я знаю, что вы — коммунистка, а это побольше, чем то, что вы — немка. Происхождение вы не выбирали, а это выбрали... Я в Иисуса Христа не верю, мамаша моя верила... Но когда я о мучениках читаю, это и на меня действует. Я вас спрашиваю, кто теперь способен пожертвовать собой ради идеи? Только ваши единомышленники. Смотрите, не поддавайтесь меланхолии, вы еще понадобитесь — там... А теперь Мари вам постелит, и грелку нужно в кровать, здесь собачий холод...

Дюма говорил ворчливо, пыхтел трубкой; от его сердитого, доброго голоса Анне полегчало. Она быстро уснула, а утром ей казалось, что вчера, перед тем как уснуть, она плакала. Дюма на прощание ее обнял.

— Вы поосторожнее — себя берегите...

Она забежала к Жиле, где прятала форму «серой мыши». Вечером она танцовала с эсэсовцем. На следующий день она просидела шесть часов в кино на Елисейских полях. Ей не везло. Она готова была отказаться от задачи, когда на пятый день танцев, флирта, ужинов, лихорадочных поисков ее познакомили с капитаном Колле, который числился заместителем Шеллера. У капитана были голубые трогательные глаза очень близорукого и рассеянного человека. Анна была необычно возбуждена, требовала шампанского, то смеялась, то, доверчиво сжимая руку Колле, шептала:

— Я так счастлива, что вас встретила! Я очень одинока в Париже... Я не солдат, как вы, я слабая женщина, мне здесь страшно...

— Чего вы боитесь? Бомбежек?

— Нет, террористов.

— Их нечего бояться, они поджали хвост. Еще несколько операций — и вы забудете, что они существовали. Подполковник Шеллер умеет с ними разговаривать...

— Он, наверно, герой... Я так хотела бы его увидеть! Он, кажется, немолодой?..

— Осторожно! — Колле рассмеялся.— Я ревнивый. А Шеллер еще может соблазнить любую девушку. Если мы с вами подружимся, я вам его покажу. Это ценитель красивых женщин, гаванских сигар и бургундского вина. Он каждый день обедает «У Жана» только потому, что там замечательные вина, а...

Анна сделала гримасу:

— Я тоже ревнивая — я не люблю мужчин, которые способны ради вина забывать о женщинах. Право, капитан, я предпочитаю вас...

23

— С Новым годом, господин Пепе,— торжественно произнес Ваше. Он был в черном пиджаке, крахмальный воротничок, галстук бабочкой. За столом, кроме Пепе, сидели старая экономка и Мари. Ваше был рад, что у него

в такой вечер гости, старался улыбаться, усердно наливал шампанское.

— Богатство чепуха, поверьте старому человеку. Я думаю, что и слава не слаще — сегодня забрасывают цветами, а завтра в тебя плюют. Счастье в спокойствии. Я желаю вам спокойствия, господин Пепе.

Экономка покачала головой:

— Вы забыли, что такое молодость, господин Ваше. Это вечером хочется спать, а не утром... Поглядите, какая жена у господина Пепе, вот вам счастье! Позвольте выпить за ваш прочный союз...

Мари застеснялась и, как всегда с нею бывало, от смущения начала смеяться. Она подняла стакан:

— С Новым годом, Пепе!

Да, и Мари теперь называла его Пепе. Только в редкие минуты, когда они оставались вдвоем, целуя его с лихорадочной страстью, она шептала: «Жано!.. Мой Жано!..» Почему парижского парнишку, который не уезжал дальше Фонтенебло, назвали испанским именем? Это было прошлой зимой, они только начинали работать; Жак собрал четырех товарищей, никого из них он не знал и, увидев Миле, спросил: «Ты испанец?» Все засмеялись. А Миле превратился в Пепе.

Ваше все же помнил, что такое молодость, он видел, как смотрят друг на друга Пепе и Мари, и, когда кончился ужин, не стал их удерживать.

— Мы с вами еще посидим,— сказал он экономке.— А наши гости устали. Отведите их в мою спальню. Я буду сегодня спать в кабинете...

От шампанского у Мари кружилась голова, было почему-то очень весело. Как только экономка ушла, Мари начала безудержно смеяться.

— Посмотри на кровать! Ты когда-нибудь спал на такой кровати? Посмотри — это ангел...

— Нет, это амур.

— Все равно — с крылышками... Ужасно смешно! Это не кровать, это трон, мне приснится, что я — английская королева.

— А по-моему, похоже на катафалк...

Мари перестала смеяться.

— Ты знаешь, я боюсь этого доктора. У него стеклян-

ные глаза, и он не говорит, а скрипит. Настоящий Синяя Борода...

— Его нечего бояться. Раз Жак сказал, значит, можно спокойно спать. Жак абсолютно все понимает. Наверно, он до войны работал в «Юма»... Я еще не встречал такого умного... Кроме Лежана... Какая обида, что его тогда взяли!

— Тюрьму ведь эвакуировали до немцев. Если он на юге, там все-таки легче — французы...

— Какие они французы! Раймона они выдали бошам. Я даже не знаю, кого я больше ненавижу — «милицию» или гестаповцев? Если бы мне сказали убрать Дорио, я был бы счастлив. Конечно, Шеллер это тоже хорошо... Ты знаешь, что они сделали с Антуаном? Ему удалось переслать записку... Четыре дня пытали, Шеллер его жег электрическим утюгом... Я думал — сегодня, но сегодня он — дома. У этого негодяя семья... Четыре вечера он проводит с семьей — сочельник, под Новый год, рождение его супруги и страстная пятница. Ты понимаешь, какая это свинья?.. Я боялся, что он может сегодня перепиться, завтра не придет, но Жак сказал: «У него это точно, как по часам»...

Как только они вошли в комнату, Мари скинула туфли, начала раздеваться. Теперь она сидела полураздетая на высокой огромной кровати, поджав тоненькие ноги, как ребенок... Она думала о самом страшном: что будет завтра?..

А Пепе был весел, возбужден.

— Ты понимаешь, какая это удача! Я ведь не думал, что удастся встретиться. Это Жак устроил. Он сначала спросил, не хочу ли я встречать Новый год с товарищами, а потом говорит: «Тебе лучше отдохнуть», и объяснил, что можно здесь, с тобой... Вот это повезло!.. И хорошо, что доктор отпустил... Мари, а ведь теперь можно сказать по-настоящему — с Новым годом! Погоди, не так... Дай я тебя поцелую...

Они забыли все. Вдруг, как будто издалека, он услышал голос Мари:

— Жано, ты запер дверь? Я боюсь — Синяя Борода придет...

Он рассмеялся. И снова он ее целовал.

— Мне никогда не было так хорошо!..

— Мари, зажги свет... Это рядом с тобой... Я очень тебя прошу... Я хочу тебя видеть...

Он глядел на нее и улыбался: какая она красивая! Днем не видно... А сейчас очень красивая. Глаза необыкновенные — туманные и блестят...

Они лежали рядом под бронзовыми купидонами и шопотом говорили о счастье. Они мечтали о будущем, как дети, которые придумывают счастливую развязку страшной сказки.

— Все будет хорошо,— шептал Пепе.— В этом году они кончатся, я убежден. Ты даже не понимаешь, что сделали русские!.. Жак говорил, что они прошли вперед двести километров, это как отсюда до Лилля, понимаешь? У них Сталин командует, ясно, что бошей побьют... И генералы молодые. А наши были, как этот доктор... Помнишь, я тебе рассказывал про Влахова, как он приезжал на завод? Абсолютно все понимает. Наверно, он теперь генерал... Русские отовсюду прогонят бошей, ничего нет удивительного... Вот будет радость, представляешь?

— Жано, а ты веришь, что мы будем вместе?..

— Обязательно! Мы с тобой поедем к морю. Ты ведь тоже не была у моря. Мама была в Бретани, рассказывала — это неописуемо — ничего не видно, кроме воды, а волны, как дом... Или мы поедем в Марсель, марсельцы такие веселые... Можно поехать в десять, в сто городов. Конечно, вдвоем... Летом — отпуск, утром не нужно торопиться, я тебе принесу кофе в постель, можно выпить кофе, закрыть ставни, и снова ночь, целоваться... Я мог бы с тобой целоваться целый год подряд, понимаешь?..

Вдруг Мари вспомнила, как Жано говорил «четыре дня пытали»... Она стала целовать его, сдерживая слезы, целовала, как будто прощалась с каждой его частицей...

— Жано!.. Мой Жано!..

И снова она забыла про все; лежала счастливая, улыбалась. И снова он ее целовал. Она сказала, смеясь:

— А ты говорил, что здесь можно спокойно спать...

Они проснулись поздно. Доктор Ваше куда-то ушел. Экономка дала им кофе. Они с нею простились. Мари вскрикнула:

— Я забыла гребенку...

Пепе пошел за нею, он понял — нужно проститься, чтобы никто не видел. Она его обняла, не могла оторваться.

— До свидания, Мари! Скоро мы встретимся...

Улицы были пустынные; парижане, встречавшие Новый год, еще спали. Пепе зашел к товарищу, у него подремал. Револьвер должны были передать в семь часов — ходить с игрушкой опасно...

Еще два часа... Он снова проверил свой план: добежать до угольного склада, через стенку — и он на улице Дофин, там будет народ, легко затеряться... Ему не было страшно; о предстоящем он думал, как о головоломке: обязательно нужно решить.

В начале восьмого он открыл дверь ресторана и обрадовался: действительно день выбрали хорошо — только один столик занят, в глубине, возле телефона — толстяк с двумя дамами. Наверно, актер, лицо у него смешное...

Это был маленький ресторан — восемь столиков, цинковая стойка. Трудно было поверить, что немец мог открыть такое место, ведь даже парижские знатоки кулинарии не знали «У Жана». Через несколько месяцев войдет в моду, как «Золотой каплун»... Пока что в будни здесь полно, но не тесно, а сегодня и вовсе пусто...

Шеллера не было, это не встревожило Пепе, он знал, что немец должен приехать в половине восьмого — «точно, как по часам»... Хозяин, с окурком, дрожавшим на отвисшей губе, с маленькими хитрыми глазенками, недоверчиво оглядел Пепе — это что? Такой заказывает, ест, пьет и потом не хочет платить — «слишком дорого»... Может быть, он думает, что у меня простая обжорка?.. Он подошел к Пепе, не зная, как его выпроводить. Но Пепе умел разговаривать с кабатчиками:

— Неудачно встретил Новый год — в поезде... Хочу наверстать... Шурин мне сказал: только «У Жана». Вы его, конечно, знаете, господин Дюваль из «Креди лионнэ». Не помните? Плотный, с проседью... Он у вас всегда заказывает «шамбертен»...

И хотя хозяин не мог вспомнить, кто этот плотный с проседью, он сразу смягчился.

— У меня бывают только солидные клиенты... Что же вы закажете?

— Не знаю... Что вы можете мне предложить?..

Пепе с трудом глотал куски жирного мяса, но делал вид, что ест со смаком, причмокивая пил вино, говорил хозяину: «шамбертен» действительно стоит своих денег...»

Наконец раздался шум мотора. Пепе знал, что Шеллер отпустит машину до девяти — как по часам... Высокий, худой, на левой щеке шрам — так и Жак говорил... Шеллер был с француженкой, она цеплялась за его руку, повторяла: «Мое маленькое сокровище!..» Жалко, что нельзя убрать и шлюху. Но ничего не поделаешь, мы не анархисты, дисциплина, сказали — только боша. А шлюху, конечно, следовало бы убрать. Глаз с него не сводит, сука!.. Ладно, выгоним немцев, она свое получит.

Шеллер повесил шинель, портупею. Сел он хорошо — второй столик от двери... Теперь нужно подождать, пока выйдет хозяин. Конечно, есть риск — может притти новый клиент. Но хозяин опасней — он, видно, крепко связался с бошами. Толстяк далеко. И не станет такой путаться, испугается... Жалко, я пропустил, когда он спускался в погреб за бутылкой. Но бош свою почти вылакал, сейчас закажет другую...

Пепе не промахнулся, да и трудно было промахнуться — он стрелял в упор. Когда он бежал по узкой пустой улице, в его ушах еще стоял женский визг.

Несколько минут спустя он шел по улице Дофин, не торопясь, как человек, который вышел погулять, выпить рюмочку. Теперь нужно добраться до бульвара Пастер, там живет Формиже — это самое близкое место. Днем он проверил — можно ли остаться до утра, Формиже поморщился, но согласился. Пепе пошел по улице Вожирар — дальше, зато он минует вокзал Монпарнас, а там часто облавы. Конечно, документы у него неплохие. Но с такой игрушкой...

Когда он подходил к дому, где жил Формиже, он поглядел на часы: половина десятого... Хорошо, что не слишком поздно; у него противная консьержка... А место спокойное: этот Формиже ведет себя тише воды...

Консьержка походила на старую болонку — маленькая, грязно-седые кудряшки, розовые воспаленные глаза, да и голос у нее был пискливый.

— Господина Формиже нет дома.

Он крикнул уже с лестницы:

— Хорошо, я оставлю записку...

Он не успел опомниться, как ему связали руки. Немец нащупал в его кармане револьвер. Он с размаху ударил Пепе по лицу. Кто-то сказал: «Не здесь. Могут еще притти»... Пепе поволокли вниз, втолкнули в машину. Он очнулся от холодного ветра, сплюнул кровь. Какая глупость — ушел, а попался в простую мышеловку! Все равно, Шеллера он убрал, это самое главное...

24

Февраль, как всегда, был капризным, после теплых весенних дней пошел мокрый снежок. Нивель испытывал душевное волнение. Его не беспокоили известия с Восточного фронта, он знал силу немцев и усмехался, когда Лондон сообщал об успехах русских. Смущало Нивеля другое... Вот он слушает лондонские передачи, всем известно, что он — сторонник франко-германского сближения, чиновник префектуры, словом, человек лойяльный; но стоит какому-нибудь босяку донести — и его обвинят в «голлизме»... Я понимаю, говорил себе Нивель, нужно оградить простых людей от коммунистической пропаганды. Другое дело такие, как я, мы не можем прожить на манной каше, нам нужны приправы. Я приветствовал наци, потому что они провозгласили принцип духовной иерархии. А теперь они стригут всех под одну гребенку. Что им античная культура? Они увлечены муштрой. Смесь дикости и американизма...

Столь мрачные раздумья сменялись приступами бодрости. Стоило в пригожий день выйти на Елисейские поля, чтобы увидеть, как Париж оживает. Слов нет, все стало беднее, мало машин. Девушки без шляп, с сумками через плечо, скользят на велосипедах. Они изящны, как грации... Мало еды, на всё карточки — Марфе туго, зато Магдалина поправляется. Новая книга Нивеля вышла на превосходной голландской бумаге, в «Ожурдюи» о ней была обстоятельная рецензия. Так обо мне не писали, когда было больше возможностей... Концерты, выставки, балет... Немцы грубы, смешно это отрицать, но они бережно отно-

сятся к нашей культуре. Варвар в звериной шкуре, который смотрит на розу Анжу, боясь смять ее лепестки,— вот тема новой книги.

Как прежде, Нивель каждое утро шел в префектуру. Работы было много: немцы подгоняли. То вылавливали еврея, который уклонился от регистрации, то нападали на мастерскую фальшивых документов, то приводили поляков, выдававших себя за коренных пикардцев. Нивель честно выполнял свои обязанности, но не проявлял никакого рвения. Не раз, растроганный, а может быть, просто раздосадованный слезами родных, он выгораживал арестованного. Вечером он очищался от полицейских дел стихами.

Он старался помочь культурному сближению французов с немцами. Решено было устроить в Берлине выставку современной французской живописи. Некоторые художники дали свои картины, другие отнекивались, говорили, что у них ничего нет. Нивель пошел к Самба, хотя недолюбливал его; это оригинальный, одаренный художник, дело не в личных симпатиях...

Самба угрюмо буркнул:

— Не дам.

— Но почему?..

— Достаточно я на них нагляделся... Много они в этом понимают!..

— Нужно развивать их вкус.

— Здесь не картины нужны... Скорее бомбы.

Нивель холодно простился, ушел. Самба, как многие другие, не хочет понять истории. Франция была великой державой, то время кончилось. Но искусство может быть и у побежденных, Афины даже под игом Рима оставались Афинами. Немцы нас разорили, это бесспорно. Я не могу себе позволить того, что мне было раньше доступно. Но я могу писать стихи, здесь я хозяин... Они не покушаются на мой духовный мир, это не коммунисты...

Был хороший теплый вечер. Нивель облегченно вздохнул: зима кончена. Последняя военная зима... Летом войне конец. Он шел, задумавшись, по темным набережным. Он не ждал, что встретит кого-либо, да и как опознать человека в такой темноте.

— Добрый вечер, господин Нивель!

Самба стоял, раскинув свои огромные руки, и что-то бубнил; сразу было видно, что он пьян. Нивель хотел пройти мимо, но Самба его не пускал:

— Как вы поживаете? Собрали картинки? А что с Персефоной? Зарегистрировали в префектуре?..

— Вы пьяны,— возмущенно сказал Нивель,— я не привык разговаривать с пьяными.

— Пьян,— подтвердил Самба,— надоели зигфриды, вот и напился... Вы не привыкли разговаривать с пьяными? Я тоже ко многому не привык... К зигфридам не привык, к вам, ни к чему не могу привыкнуть...

Нивель быстро зашагал по пустынной набережной. Самба нагнал его и, дыша перегаром, крикнул:

— Когда вас повесят, Персефона глазом не моргнет, честное слово!

Нивель долго не мог притти в себя. Конечно, не стоит обращать внимания на выходку пьяного... Но Самба сказал то, что они думают. Одни убежали за границу, чтобы не разделить тяжелой судьбы своей нации. Другие застряли, молчат, ждут часа. Они мечтают об одном: о мести... Я хочу спасти французскую культуру, а для этих мерзавцев я «подкуплен». Я слишком благороден, чтобы мстить. Достаточно мне сказать одно слово, и Самба не будет разгуливать по Парижу. А я молчу и смолчу — хочу сохранить для Франции прекрасного колориста. Они завидуют моему успеху. Какая низость!.. Конечно, немцы не понимают моих стихов, Ширке говорит, что ценит, но я не верю, и все-таки немцы меня защищают...

Осенью к Нивелю несколько раз обращался редактор «Эвр» — просил написать о войне на Востоке. Нивель отказывался, говоря, что он — поэт, только поэт. Редактор был приятно удивлен, когда Нивель позвонил ему: «Я напишу для вашей газеты, я чувствую, что мой долг напомнить об европейской солидарности».

Статья Нивеля, озаглавленная «Последний поединок», отличалась от других статей, помещаемых в «Эвр», только чрезмерной цветистостью и обильными ссылками на мифологию, которые извели старичка-корректора: «Кто ограждает рощи цивилизации — от элевсинских кипарисов до гиперборейских сосен, под которыми творит Кнут Гамсун? Читая газеты, где мелькают неблагозвучные

наименования «Сухиничи», «Великие Луки», я думаю о последнем поединке между Антеем и Геркулесом. Антей был чудовищным сыном Геи-Земли; чтобы выйти победителем, он припадал к земле; в этом пафос материализма. Полубог Геркулес, победитель Гидры, оторвал Антея от земли и задушил его. Как нам не узнать в скромном уроженце старого Веймара, или в веселом сыне Венеции, или в суровом лесорубе Суоми, которые сейчас, среди снегов Скифии, защищают нас от чудовища-коммунизма, бесстрашного Геркулеса?..» Разумеется, мало кто дочитал до конца эту статью; и Нивель, вклеив газетную вырезку в альбом для новых стихов, не собирался возвращаться к журналистике. А две недели спустя он получил письмо — мелкий, бисерный почерк, хорошая бумага, конечно, анонимное: «Нивель! Ты включен в список предателей. Можешь готовиться к позорной смерти. Да здравствует Сражающаяся Франция! Пуля изменнику!»

Он не мог заснуть в ту ночь. Он чувствовал себя солдатом накануне боя. С удивлением он поглядел на альбом и засунул его в ящик — не до поэзии! Они сильнее, чем он думал, и нахальнее. Битва идет не только в далекой России — здесь, и он — на переднем крае...

Сослуживцы нашли его наутро утомленным, осунувшимся, справлялись о здоровье. Он мало разговаривал, работал больше обычного. Вечером ходил по улицам, время от времени проверяя свой револьвер. Ему хотелось крикнуть: ну трусы, стреляйте!..

Постепенно он стал спокойнее, но никак не мог вернуться к поэзии, а в дневнике записал: «Я стал другим человеком, кончена эпоха чистого искусства. Нужна кровь, может быть, моя, может быть, только их...»

Три недели спустя ему подали визитную карточку: «Ивонн де Портай». Он задумался: из тумана выплыло детство. Нивель был сыном нотариуса, вырос в маленьком городке провинции Анжу. Над скромными домиками коммерсантов, ремесленников, над гостиницей и мэрией высился большой помещичий дом восемнадцатого века с парком, с беседками, с оранжереей. Когда Нивель входил в ворота, ему казалось, что он входит в рай. Владелица усадьбы, вдова Ивонн де Портай, считала нотариуса не только душеприказчиком, но другом. Сын нотариуса стал

товарищем сына помещицы. Боже, как давно это было!.. И она еще жива... Он вспомнил, что госпожа де Портай его ждет, и вышел в приемную. Он поцеловал ее руку с умилением — родители его давно умерли, впервые за долгие годы он увидел кого-то, кто связывал его с далеким детством.

— Вы меня помните?..

Перед ним была глубокая старуха, высохшая, похожая на сухой цветок между страницами книги,— глядя на нее, он смутно припоминал ее былую красоту.

— Я никогда не решилась бы обратиться к вам, но теперь такое время... И потом я знаю, что вы помните старых друзей. Вы когда-то росли с бедным Роже...

— Разве Роже?..

— Он умер в плену еще прошлой осенью. Я получила последнее письмо в июле. А потом пришло извещение. Я должна вас посвятить в семейные дела, не удивляйтесь, от этого зависит судьба Леона. А все, чем я живу, это Леон... Роже никогда меня не слушался. У него было слабое здоровье, я хотела, чтобы он занялся юриспруденцией или литературой, а он стал офицером. Он встретил женщину... Не думайте, что это ревность матери, я сразу почувствовала, что они не созданы друг для друга. Она его бросила, оставила годовалого ребенка. Мы это скрывали... Я воспитала Леона. Вот его карточка. Похож на отца. Правда? Я ему давала больше, чем когда-то сыну,— прошла молодость, ничего не отвлекало. Он — замечательный мальчик, профессора говорили, что у него большие способности. Он пишет стихи. Как вы... Это мне придало смелости обратиться к вам. Я даже принесла одно стихотворение, конечно, это еще по-детски — ему через месяц исполнится восемнадцать... И вот...

Она заплакала; слез не было, но из горла вырывались тихие, жалобные звуки, похожие на крики маленькой птички.

— Простите меня... Сейчас я все расскажу... Третьего марта пришла полиция, французы, немцев не было. Они искали какого-то Тине. Кажется, он коммунист, они ошиблись, он прятался этажом выше и убежал, так они сказали, не знаю, правда ли, консьержка ничего не видела. У нас они нашли тетрадку со стихами Леона. Он — маль-

чик, в одном стихотворении он написал глупости, начитался Гюго... Я вам даю слово, что он далек от политики. Это было минутное настроение... Они увели Леона...

Нивель улыбнулся:

— Что же он мог написать? За стихи не арестовывают. У вас есть это стихотворение?

— Нет, они забрали. Он писал, что Франция воскреснет, подражание Гюго. Есть детские строчки, будто он хочет застрелить предателей. Он никогда не держал в руках оружия... Он написал про немцев, что они... Я не помню слова, кажется, «звери»... Я потому так боюсь. Его арестовали не немцы, а вдруг стихи попадут в гестапо?.. Вы — француз, вы меня понимаете...

Снова раздались тихие жалобные звуки. Нивель налил воды из графина.

— Я постараюсь выяснить... Не волнуйтесь. Да и немцы не звери, с детьми они не воюют...

Когда госпожа де Портай ушла, Нивель не знал, что он будет делать. Первое, что пришло в голову,— нужно попросить, чтобы отпустили. Скажу — начинающий поэт, хорошо знаю семью... Может быть, из него что-нибудь выйдет, стихи наивные, но есть певучесть... Потом он вспомнил анонимное письмо. «Пулю изменнику»... Вот такие стреляют! Именно мальчишки... Ясно, кто за его спиной. Хорошо, что посадили до того, как он выстрелил. Для него лучше...

Прошло два дня. Один из сослуживцев зашел к Нивелю и, получив у него справку, сказал:

— Я ездил в Суассон к сестре. Там бандиты совершенно обнаглели. Недавно убили Барро. Коммерсант, честнейший человек. Он помог полиции напасть на след одного террориста. Они его застрелили в магазине, оставили записку «смерть предателям». Нужна твердая рука...

Нивель не мог скрыть волнения, и сослуживец, довольный произведенным эффектом, добавил:

— К сожалению, это становится бытом, люди перестают замечать...

Ему позвонил полковник фон Галленберг:

— На вас ссылается один арестованный, Леон де Портай, вернее, его бабушка...

— Госпожу де Портай я знаю. Что касается внука... Это мальчишка, он не успел ничего сделать, но, конечно, не исключено, что он был связан с террористами...

Полковник был растроган: префектура считалась гнездом масонов; о Нивеле говорили, что он двурушничает, покрывает голлистов.

— Я чрезвычайно ценю вашу откровенность. У нас общие идеалы... Вы мужественный человек и настоящий француз.

— Господин полковник...— Голос Нивеля дрогнул.— Учтите, он ничего не сделал и потом возраст — это мальчишка...

Полковник засмеялся; смех булькал в трубке телефона, как вода в кране.

— Не беспокойтесь, господин Нивель, мы не звери. И еще раз спасибо.

25

Трудно было поверить, что Галочку называли хохотушей,— давно она не смеялась. Когда она просыпалась, ей казалось, что все это — сон, стоит протереть глаза — и пройдет... Но нет, это — правда, немцы в Киеве. Вот уже шестой месяц...

Она хотела уехать. Руденко сказал: «Ты что — паникуешь?..» Он уехал, а Галочка осталась. Где теперь друзья из «Пиквикского клуба»? Рая в армии, Борис пропал без вести, Валя, наверно, в Москве. Счастливая!.. Зину Галочка потеряла из виду еще до войны. Убили Веру Платоновну, убили маму Раи. Несколько раз Галочка заходила к Стешенко. Алексей Николаевич очень изменился, стал сухим, неприветливым. Антонина Петровна вздыхала, часто вытирала глаза. Когда Галочка была у них в последний раз, Алексей Николаевич сказал: «Почему в управу не идете? Работать надо, вот что!..» Галочка удивленно спросила: «Что же вы будете делать при немцах?..» Он закричал: «Учить буду — как порядок уважать. Довольно на голове ходили! Немцы — это варяги...» Антонина Петровна расплакалась. Галочка ушла.

У нее остался только один друг — брат покойной матери, дядя Лёня. Он работал на заводе «Арсенал» и за-

стрял в Киеве — когда немцы подходили, он лежал с гнойным плевритом. Теперь он делает зажигалки и продает их на базаре. Галочка шьет, штопает, стирает белье. По вечерам они часто встречаются: хотя дяде Лёне пятьдесят шесть лет, они хорошо понимают друг друга.

Крещатика больше нет — развалины. Город опустел, одни в армии, другие эвакуировались. А сколько немцы поубивали? Говорят, в одном Бабьем яру семьдесят тысяч... Порой идешь по бульвару Шевченко, и на минуту кажется, что это — Киев, знакомые дома, деревья в легком, нежном снегу, вдалеке тявкает собачонка, гудит паровоз... А ведь Киева нет. Когда падает замертво птица, вокруг нее начинается другая, посмертная жизнь — снуют черви, жужжат глянцовитые мухи. Из щелей, из закоулков Киева выползли непонятные люди. Они и раньше жили в городе, но никто их не замечал. Один был управдомом, другой служащим госбанка, третий делопроизводителем, четвертый кладовщиком, пятый закройщиком в артели на Львовской, шестой бутафором, седьмой работал в наркомздраве... Теперь они снуют, жужжат. Они вытащили из квартир ответственных работников рухлядь, которую не взяли немцы, продают, перекупают, перепродают, передрались из-за комода Веры Платоновны, не побрезгали кроваткой Али. Они играют в железку, у них просаленные колоды, хрипло кричат: «держу банк», ссорятся: «у тебя девятка с крапом...» Они торгуют на базаре частями машин, венгерским коньяком, пиджаками повешенных, немецкими иголками; меняют сигареты на московское мыло, шоколад на сало, сало на шнапс. Они пьют водку, ром, самогонку, божатся и сквернословят. Их мало, но они заметны — другие молчат, а они суетятся, вылезают вперед. Бывший управдом—в городской управе; кладовщик открыл комиссионный магазин, торгует люстрами, мороженицами, бельем активистов; служащий госбанка стал литератором, пописывает в местной газетенке, славит фюрера; сотрудник наркомздрава продает итальянцам сульфидин, украденный у немцев, и клянется «вылечу в три часа»; бутафор выискивает евреев, а получив от немцев премию, поет «Марфуша замуж хочет»; закройщик кричит у себя во дворе, что он теперь «народный немец», а сомневающимся показывает удостоверение с печатью.

«Снятое молоко,— вздыхает дядя Лёня,— молодые в армию ушли, заводы эвакуировали. Кто остался? Женщины с детьми, инвалиды или случайно, как мы с тобой, мало таких... Вот босячье и осмелело...»

В Киеве много военных — немцы, румыны, венгры, итальянцы. Они здесь останавливаются по дороге на фронт. Они храбрятся и суеверно прячут на груди амулеты, говорят, что скоро займут всю Россию, потом пойдут в Индию, и вздрагивают, когда раздается ружейный выстрел. Немцы щелкают фотоаппаратами, снимаются на фоне развалин. Румыны стараются что-нибудь продать или купить. Итальянцы поют, плюются, норовят стащить мелочь с лотка. Дядя Лёня говорит: «Все-таки у этих какое-то подобие сохранилось, немец просто отберет, а он ждет, пока ты отвернешься, значит, стыдно...» С востока привозят раненых, эти больше не думают об Индии; они вспоминают холод, «катюши», смерть. Иногда немцы гонят пленных красноармейцев; женщины смотрят на них с тоской, стараются незаметно передать булку, яйцо, кусок сала. А немцы кричат «быстрей» и бьют пленных прикладами.

Повсюду видишь надписи «Только для немцев». Галочка как-то сказала дяде Лёне: «Проснемся мы с тобой и увидим на небе «Только для немцев». Немецкие театры, кино, клубы, рестораны. Немцы зазывают девушек на танцовальные вечера. Девушки прячутся, одеваются в лохмотья, некоторые мажут сажей лицо, а соседка Галочки побрила себе голову наголо. Кто же гуляет с немцами? Таких немного, но, опять-таки, они бросаются в глаза. Одна кичится огромной сумкой из дермантина, другая вылила на себя целый флакон духов, третья рассказывает, как ее катали, а потом напоили шампанским. Бывшая кассирша универмага Нина сказала дяде Лёне: «Они не то, что наши, деликатные, целуют ручку...» От таких отворачиваются, их прозвали «немецкими подстилками», «немецкими овчарками». Галочка слыхала, как слепой на паперти заунывно пел:

Вы прически сделали под немецких куколок,
Красками намазались, вертитесь юлой.
А вернутся соколы, не помогут локоны,
И пройдет с презрением парень молодой...

Потом говорили, что слепого увели немцы.

Часто раздаются выстрелы, стреляют для острастки, спьяна, сперепуга. Рассказывают, что по ночам стреляют в немцев, то на Липках, то в Слободке, то на улице Короленко. Если бы я знала, кто стреляет, думает Галочка. Может быть, в городе остались наши?..

Зима была долгой. Галочка становилась все грустнее и грустнее. А дядя Лёня не мог ее утешить, он сам говорил: «Тяжело умирать — надежды мало...» И вот Галочка увидела под своей дверью записку. Развернув, она вскрикнула, почему-то поглядела на потолок, как будто бумажка свалилась с неба. Она читала и перечитывала.

«Граждане г. Киева!

Не верьте лживым сообщениям немцев. Возле Москвы германские полчища разбиты. Гитлер вынужден перебрасывать все силы на Восток. Недалек час, когда американцы и англичане высадятся в Европе. Немецкие города узнали, что такое бомбежка. Во всех захваченных странах идет народная война. Советские партизаны на Украине и в Белоруссии каждый день ударяют по тылам врага. Немцы не взяли Москвы. Немцы не взяли Ленинграда. Близок час, когда Красная Армия освободит наш прекрасный Киев. Не работайте на немцев! Не верьте немцам! Будьте настоящими советскими людьми! Если у тебя есть оружие, убей немца! Если у тебя нет оружия, добудь оружие и убей немца! Помните слова поэта: «Ніколи, ніколи не буде Вкраïна рабою німецьких катів»! Передайте листовку товарищам! Да здравствует Советская Родина! Да здравствует наш Сталин, наша Партия, наш Народ!

Киевские комсомольцы».

Галочка не выдержала, побежала к дяде Лёне, начала ему читать и от волнения расплакалась. Потом она вспомнила:

— Ты знаешь, какая я глупая — мне показалось, что это с самолета бросили. А ведь я нашла под дверью...

Она рассмеялась — в первый раз, весело, как подобает «хохотуше».

Дядя Лёня долго смотрел на бледные расплывшиеся буквы.

— Это здесь оттиснули... Молодцы! Твои товарищи, Галочка... Теперь и умереть не страшно...

— Если б я могла их найти!..

Дядя Лёня был человеком добрым, слабохарактерным, нехватало ему воли: поэтому в свое время он не стал инженером, поэтому не женился, поэтому никогда в жизни не сделал ничего по-своему, не спорил, а если его обижали, моргал тусклыми, близорукими глазами и не отвечал.

Был хороший мартовский день. Солнце уже пригревало. Дядя Лёня сидел на базаре со своими зажигалками и думал: все-таки хорошо, что весна, как-то на душе светлее... Подошел молодой немец. Дяде Лёне он сразу показался опасным, но уйти было поздно. Немец взял зажигалку, покрутил, бросил и сказал на ломаном русском языке:

— Плох!.. Весь рус плох!..

Дядя Лёня заморгал, ничего не ответил. Немец сбил ногой с его головы ушанку и захохотал:

— Ти собак!.. Весь рус собак!..

Трудно объяснить, что произошло в сердце дяди Лёни: он ведь не был героем, мастерил зажигалки, пять минут назад радовался весне. А вот прорвалось, он ответил немцу словами, которые засели у него в голове:

— Москву не взяли? Ленинград не взяли? Скоро отсюда уйдете!..

Немец свистнул, подошли другие; они потащили дядю Лёню.

Когда лейтенант Бах доложил майору фон Эхтбергеру о происшествии на базаре, майор сказал: «Хорошенько потрясите»... Дядю Лёню били по лицу, по пяткам, по паху; потом подвесили за ноги.

— Господин майор, он ничего не сказал, но, по-моему, он ничего и не знает. На меня он произвел впечатление тупого, забитого существа. С другой стороны, ефрейтор Форст, который его задержал, был в нетрезвом состоянии...

Майор закурил сигару, прищурился.

— Позовите сюда лейтенанта Штрейбеля и капитана Гросса. Мне надоело читать лекции по каждому поводу, я хочу изложить некоторые общие соображения.

Когда все были в сборе, майор начал:

— Несчастье в том, что вы были во Франции, вы не понимаете, насколько отличается ситуация, даже вы, лейтенант Штрейбель, хотя вы здесь с самого начала. Во Франции мы должны были убеждать, нас останавливали из Берлина, армия была против крутых мер. Из-за одного француза подымался такой шум, что можно было заболеть. А здесь нас никто не ограничивает, вы меня понимаете — никто. Полковник Шрамм говорил с обер-президентом, господин Кох сказал, что не будет в это вмешиваться... Это не французы, здесь дети и то кусаются. Смешно в стране, где хозяйничали большевики, говорить о правовых нормах. Я не хочу сказать, что мы должны убивать без разбора. Это попросту глупо, да и не благородно, я скажу — не по-немецки... Нам нужна квартира, так выразился обер-президент, и квартира с прислугой... Я отослал в строевую часть лейтенанта Кремера, который вздумал стрелять в окна только потому, что он хорошо поужинал. Нельзя поголовно убивать. Но нельзя, как во Франции, церемониться. Нужно их запугать, а для этого придется некоторую часть уничтожить... Если человек ни в чем не провинился и никто его ни в чем не подозревает, пусть работает. Я надеюсь, вы меня поняли?

Лейтенант Бах все же решился спросить:

— Господин майор, а что делать с этим?..

Вопрос показался майору таким глупым, что он рассмеялся, подавился дымом, закашлялся, вытер платком лицо и снова стал смеяться.

— Англичане недавно писали, что гестапо — это «змеиное гнездо». А какая вы змея? Вы ягненок. Что с ним сделать? Сейчас объясню... Взять и пиф-паф, пиф-паф! Из него вырастет крохотная фиалочка, и вы ее поднесете фрейлен Ирме...

Он так смеялся, что капитан Гросс потом сказал Баху: «Майора, наверно, наградили. Я давно его не видал таким веселым...»

Только неделю спустя Галочка узнала, что дядю Лёню убили. Вот я и одна... Где Борис, Зина? И что мне делать в этом чужом городе? Здесь родилась, выросла, а теперь ни души... Она жадно вглядывалась в лица прохожих — вдруг кто-нибудь из товарищей?.. А вечером старательно переписывала на обороте старых накладных, которые по-

добрала, все ту же листовку: «Граждане г. Киева...» Когда она подсовывала бумажку под чужую дверь, ей становилось легче, как будто она говорит с неведомым другом, утешает: скоро это кончится!..

26

Хотя портниха Кулик жила в полуподвальном помещении, среди немногочисленных дамочек «нового порядка» она пользовалась хорошей репутацией. Супруги членов городской управы говорили: «У этой портнишки заграничный шик»... В комнате было чисто: на стенах висели картинки из немецких журналов, цветной портрет Гитлера. Глядя на него, Миша злился: «Ну и харя!..» Миша приходил всегда запыхавшись: «Сводка «ничего существенного». А это Степан состряпал — как грабят Украину. Бумаги хватит?..»

Когда-то Зина сердилась, что мать ее учит шитью: зачем мне это? Ненавижу тряпки... Теперь пригодилось. Ночью из-под кровати выползали райкомовский ротатор (Миша успел унести) и старая машинка, с нею Зина намучилась — не берет «р»...

Она часто выходила из дому с пакетом. Немцы глядели на нее с удивлением — откуда такая?.. Чертами смуглого лица она походила на итальянку; бывают на Украине такие девушки, с тонким носом, яркими губами, с глазами горячими и темными, как ночи юга. Немцы иногда ее останавливали, пробовали заманить к себе. Она отвечала по-немецки: «Я иду к вашему офицеру»...

Листовки она относила Шуре на Демиевку. Там иногда ее поджидал Степан.

— Слушай,— сказал он как-то,— теперь можешь подписывать «горком», есть связь... На фронтах тихо. Как они, по-твоему, настроены?

— Кого я вижу? Даже не предателей — жен, разговоры о тряпках. А фронт отсюда далеко, над ними не каплет... К некоторым немцам жены приехали. Мне переводчица рассказала: «Скоро у вас будут новые клиентки, конечно, туалеты у них есть, но даме всегда нужно переделать или освежить, а у вас вкус и говорите по-

немецки»... Степан, дай мне другую работу. Я могу застрелить какого-нибудь. Не веришь?

Он усмехнулся.

— Почему не верю? Верю. Только у каждого свое дело. Для того и организация. Кури...

— Ты ведь знаешь, что я не курю.

— А эту кури — оттуда. «Казбек»... Вчера на Львовской одного гражданского кокнули — специалист по свекловице. Не мы... Значит, в городе застряли ребята. Трудно только найти... С тобой повезло... Слушай, Зина, я давно хотел тебя спросить...Когда тебя в тридцать девятом прорабатывали, почему ты не объяснила?.. Нехорошо, не потоварищески. Я теперь к тебе присмотрелся, ты, что называется, настоящая... А дурила...

Зина задумалась, казалось, что она смотрит не на сальные обои, куда-то далеко, сквозь стенку, в свое прошлое.

— Я согласна, что нехорошо. Но ты меня пойми, я тогда на собрании искренно говорила, а они не поверили. Я знаю свой грех, это и в детстве было, мать бранила, в школе дразнили «гордячка»... Я думала,— приду — они скажут «испугалась, идет на попятную» или решат, что я беспринципная, ищу местечка потеплее... Тебя я мало знала, видела на собраниях, и только. Теперь знаю, что хороший товарищ, а тогда секретарь как секретарь... Когда немцы подходили, я до Броваров дошла, а там немцы. Оружия у меня не было. Я себя утешала — вернусь в Киев, что-нибудь придумаю, хоть одного убью. И вдруг — это в октябре — вижу Мишу. Как я обрадовалась — свои!.. Слушай, Степан, полгода скоро вы воюете, а я должна на машинке стучать и еще в придачу с подлюгами разговаривать... Дай мне другое задание...

— Погоди...

Когда Зина ушла, он подумал: хорошая девушка! Швырялись у нас подчас людьми... Теперь идет настоящая проверка. Кравченко... Его считали самым надежным. Сбежал... Про Иванчука говорили «трус», потом пришили — «шкурник». Почему? Комнату попросил... А Иванчук эшелон взорвал, герой, его посмертно наградят... Трудно было разобраться — жили спокойно, работа, учеба, у одного мамаша без комнаты, другой женится,

быт... Ясно было, а туман. Теперь уж такой туман — и все-таки ясно...

Прошло еще несколько недель. Ротатор, листовки, отвратительные дамочки, грязные улыбки немцев. Где-то идет страшная война. Партизаны закладывают мины, взрывают. Да и здесь в городе сколько было покушений... А она должна сидеть, ждать. Шитье это она придумала, Степан тогда говорил «камуфляж... боевая работа...» Сидит, как в учреждении!..

Степан ее встретил, усмехаясь:

— Бориса знаешь?

— Какого?

— Говорит, с тобой в школе учился...

Зина рассмеялась:

— Конечно, знаю. Неужели он в Киеве?

— У партизан. Оттуда связной пробрался... Этот Борис спрашивал про тебя, сказал «если в Киеве, значит, с нашими...» Ну, и сентименты, через третьи руки это неинтересно, сама можешь догадаться.

В ту ночь, закончив работу, Зина долго сидела на кровати и смутно улыбалась. Она вспоминала, как Борис пришел к ней, читал стихи, как потом они встречались, говорили — долго, страстно. Она не могла вспомнить о чем, а тогда каждое слово казалось важным... Она и тогда знала, что это счастье... Только счастья не было. Как-то не досказали они самого нужного. Он уехал в Западную Украину... Замечательно, что жив, партизанит!.. И понял, что я — в строю, не усомнился... Значит, есть счастье!.. На один час Зина забыла про немцев про войну, жила Борей, мечтой о встрече: доскажем, поймем друг друга, больше не расстанемся...

А утром пришла переводчица:

— Мария Ильинична, я к вам с приятной новостью — вас вызывает госпожа фон Эхтбергер. Она такая милая, такая щедрая! Она подарила мне духи «Шанель» и две пары чулок. Какие у нее туалеты — все из Парижа! Прямо модная картинка. Она немного пополнела, нужно выпустить — вы сами увидите. Можете меня поблагодарить, это я вас рекомендовала.

Ей удалось встретиться со Степаном только через

день. Он выслушал, помолчал. У Зины колотилось сердце: сейчас все решится... Но Степан сказал:

— Дело серьезное... Нужно с товарищами посоветоваться. Ты пока работай, выясни обстановку...— Он улыбнулся.— Смотри, не испорти ей платья, я-то не очень верю в твои портновские таланты...

Госпожа фон Эхтбергер волновалась: муж много раз предупреждал ее, что в этой стране ни на кого нельзя положиться, рубашку выстирать и то не умеют... Зина произвела на нее благоприятное впечатление, и все же было страшно доверить ей парижское платье из креп-жоржета.

— Я вас предупреждаю, если вы его испортите...

Она не сочла нужным договорить.

На следующий день Степан сказал:

— Товарищи одобрили. Слушай, Зина, нужно продумать каждую деталь... Как ты выберешься?..

Зина перешивала платье в комнате адъютанта. Рядом была кухня, где суетились две девушки и на табурете мурлыкал толстый немец-денщик. Пахло жареным луком. В комнате адъютанта было светло, пусто: фиксатуар, гильзы, альбом с видами Парижа. На стене — большая карта с наколотыми на нее немецкими флажками, один торчал под самым Ленинградом, другой немного левее Москвы. Зина вздохнула: страшно, куда они зашли! И повсюду нашим нужно держаться... Вот и там на самом верху — у Мурманска... Держатся. От Москвы отогнали. Флажки он не переставил... Денщик запел: «Ты пронзила мне сердце стрелою...» Степан ей рассказывал: «Диме загоняли булавки под ногти...» Говорят, что этот фон Эхтбергер — садист, любит сам пытать... Если посмотреть на него, не подумаешь — обыкновенный немец, толстый, скорее добродушный... Нужно работать, я ведь и половины не сделала... Мама, когда шила, приговаривала: «Данило, что ни шьет, то гнило...» Когда мама умирала, она хотела что-то сказать, не могла. Зина думала: какой ужас, она говорит самое важное, а я не понимаю... Потом мама лежала на кровати, крохотная, как кукла. Зине было страшно. Пришла старая тетка, почему-то завесила зеркало: «Нельзя, когда покойница в доме»... От этого стало еще страшнее. Странная вещь — смерть, говорят, пишут, думают, а все-таки непонятно... Зина вспомнила, как она

готовилась к диссертации. «Преодоление смерти»... Тогда все казалось сложнее и проще. Теперь смерть рядом, может быть на кухне (хоть бы он петь перестал!) или за углом — на крутой улице. Страшно? Кажется, нет. А может быть, страшно. Мутит — как будто укачивает. Она ездила раз из Одессы в Ялту, и так же мутило... Боря хорошо написал про море, жаль, что не переписала, не помню. Сейчас хочется повторять стихи... Боря понял бы... Кто знает, вдруг все обойдется?.. Она ему расскажет, как шила. И думала о нем. Да, да, я ведь думаю о Боре... Буду повторять имя: Боря... Боря...

Спальня госпожи фон Эхтбергер помещалась рядом с кабинетом, где спал майор. Платье примеряли в спальне. Зина забыла поясок, побежала в комнату адъютанта.

— Где же вы пропадали?.. Нужно кончать, скоро мой муж вернется... Боже, посмотрите — вырез теперь не на месте! Я вам говорила, что нельзя так делать...

Вырез был на месте, и, повертевшись несколько минут перед трюмо, госпожа фон Эхтбергер успокоилась.

— Можете итти... Сейчас придет Вальтер... Костюмом займетесь завтра. Погодите, я скажу денщику, чтобы вас накормили.

— Благодарю, но я себя плохо чувствую. Боюсь, что начнется припадок, лучше добегу до дому...

Когда Зина ушла, госпожа фон Эхтбергер долго стояла перед зеркалом. В общем мне идет, что я пополнела, у меня такой жанр. Да и вообще противно, когда женщина худая. Вот эта русская с мордочки недурна, а дохлая и еще какие-то припадки... Мужчины этого не любят. Платье вышло неплохо. В Париже так шьют, что даже здешние портнишки не могут испортить. Жалко, что некому в нем показаться. Полковник не устраивает ни приемов, ни танцовальных вечеров. Типичный солдафон... Единственная оказия — это день рождения фюрера — Вальтер обещал пригласить офицеров. Но до двадцатого апреля целый месяц... Я заставлю Вальтера позвать капитана Гросса и к ужину надену это платье. Капитан очень мил, он смотрит на меня так, что хочется погрозить пальцем. Когда женщине сорок, такой шалун — находка...

Зина шла в полушубке, в крестьянском платке, несла корзинку с яйцами. Немцу, который при выходе из города

проверял документы, пожаловалась: «Говорят — дорого, а разве куры теперь несутся?..» Немец ответил: «Не понимай», и Зина пошла дальше.

Снега было еще много, но был он серым, ноздреватым, обреченным. Под ногами хлюпала вода. Воздух, сырой и беспокойный кружил голову. Зина ни о чем не думала, старалась итти ровным шагом, а хотелось бежать. Ноги подгибались. Уж не накликала ли я какого-то припадка?.. Она улыбалась, шла с легкой туманной улыбкой.

Вдруг ей пришла в голову ужасная мысль: что, если не вышло?.. Степан говорил — проверенные... Но могли заметить. Она положила в вазу, туда никто не заглянет. Эта ведьма может поставить цветы... Глупости, никаких цветов теперь нет... Могли заметить, что она два раза забегала... Нет, тогда схватили бы... Могла не взорваться, хоть и «проверенная»...

Она снова перестала думать; еле шла. Когда ей показалось, что сейчас она свалится, она вспомнила: иду к Боре... И снова заулыбалась.

Солнце садилось, когда Зина услышала позади шум мотора, посторонилась, но автомобиль остановился. Зина вынула из корзинки засаленный пропуск, немцы не хотели смотреть, втолкнули ее в машину. Там сидели две девушки, плакали, говорили, что неповинны. Машина понеслась дальше; проехав еще десять или пятнадцать километров, остановились у поста. Офицер сказал: «Позвоните, что мы возвращаемся. Если нужно проверить дальше, пусть вышлют из Василькова...»

Зина, почувствовала облегчение: значит, взорвалась... Но он мог не ночевать дома... Сейчас будут пытать... Неужели не выдержу?.. Нужно все время что-то говорить— стихи или «Боря»... И вдруг она заснула, это было внезапно, как обморок. Ее разбудил солдат: «Иди!»

Их было тридцать или сорок молодых женщин. Одна кричала: она была на последнем месяце, начались схватки. Солдат тупо бил ее по спине: «Молчи!» Офицер спросил: «Сколько?» Ему ответили: «Тридцать восемь».

В длинную комнату, куда их загнали, вошла госпожа фон Эхтбергер. Увидев ее лицо, распухшее от слез, Зина чуть не вскрикнула. Вышло!.. Госпожа фон Эхтбергер, всхлипывая, говорила: «Господи, зачем вы меня мучаете?..

Это простые бабы... Вы ничего не понимаете... Я пойду к полковнику...» Она хотела уйти и вдруг увидела Зину.

— Вам лучше назвать соучастников,— сказал капитан Гросс. Он старался не глядеть на Зину. Восемь лет тому назад в Меране он встретил девушку... У этой террористки такие же глаза...

Зина молчала; только ее губы шевелились, может быть, она повторяла «Боря»...

— Кто вас послал?

Она почувствовала необычайное волнение; ее как будто приподняли, она была высоко — над этим столом, над городом, кружилась голова; а слова шли сами собой.

— Кто меня послал? Все... Решительно все...

— Бросьте декламировать, вы не на сцене! Вас повесят, понимаете?

Он поглядел на нее и крикнул:

— И нечего так смотреть, вы не медиум, не выйдет! Отвечайте!! Имена соучастников?

— Я вам сказала, я не могу назвать всех. Я мало жила, их много... Вы слыхали про Сталина? Меня послал Сталин... Я знаю, вас разбили под Москвой. Я слышала по радио... Там был генерал Рокоссовский, генерал Говоров, я не помню всех имен... Они тоже меня послали... Вы повесили Горенко и Диму Шварца. Они не знали, что я его убью. Вы их повесили раньше... Но они меня послали, это правда...

— Вы из той же группы, что Шварц и Горенко?

— Да, из той же.

— Кто еще в этой группе?

— Я вам сказала — все. Боря...

— Настоящее имя? Адрес? Где он сейчас?

— В лесу. Убивает вас. Он из той же группы, я говорю правду... Нас очень много — народ...

Гросс крикнул:

— Карл, заберите ее! С ней нужно поговорить по-другому. Эта тварь прикидывается сумасшедшей...

Была одна страшная минута, когда Зина почувствовала, что не может больше молчать. Жгли грудь... Она крикнула: «Мой!.. Мой!..» И уже не было слов, только крик.

Она лежала на липком полу, лицо было в крови. Ее облили водой. Гросс сказал: «Сделай ей маникюр»...

Теперь она молчала.

Потом капитан Гросс распекал Карла: «Я вас отправлю в штрафной батальон»... Карл понимал, что виноват; но в ту минуту он вышел из себя — эта девчонка смеет после всего улыбаться!.. Судорогу он принял за улыбку. Он ударил Зину прикладом по голове.

— Полковник нас всех отдаст под суд. Ничего не узнать!.. И потом какое же это наказание? она не успела ничего почувствовать...

Полковника побаивались, и капитан Гросс скрыл от него, что преступница умерла во время допроса. Он доложил:

— От нее ничего нельзя добиться, кроме общих фраз. Сейчас она валяется в припадке эпилепсии...

— Ее необходимо повесить,— сказал полковник,— дело не только в наказании, но в воспитательном значении подобных мер...

Гросс приказал одеть мертвую. Карл смыл с лица девушки кровь. Рот Зины был искривлен, закушена губа. Теперь и капитану Гроссу показалось, что она улыбается...

— Это безобразие! Уберите рот...

Зину, как живую, повели под руки к виселице; ее ноги еще раз коснулись милой земли.

Капитан Гросс писал своему брату в Брюссель: «Ты отдаленно не можешь себе представить нашего образа жизни. Нам приходится иметь дело с чудовищами. Террористка, которая убила майора, улыбалась чуть ли не в петле. Проклятая страна!»

27

Март был морозным, с частыми вьюгами; намело много снега. Казалось, город непробудно спит, прикрытый стеганым одеялом. Но старухи прибирали в домах к пасхе. Иногда кто-нибудь вздыхал: скоро весна... О весне думали с надеждой и с тревогой. Раненые говорили: «Весной обязательно начнется»... Кто начнет — мы или немцы, этого не знали ни жители маленького города, ни люди, приезжавшие с фронта.

По радио передавали, что идут бои, большие потери и у противника, и у нас. При слове «потери» сжималось сердце. Письмоносцы шли с драгоценной ношей по скользким обледеневшим улицам, по рыхлому снегу дворов и палисадников. Их поджидали возле калиток, выбегали навстречу. Иногда старик Федотов протягивал крохотный треугольник, и, будь то в метель, мир становился ясным, спокойным; чаще Федотов бормотал: «Напишет. Потерпи...»

«Потерпи» — это говорили шопотом, об этом писали страстные, бестолковые письма, этим жили. Осенью многим казалось, что так не может продолжаться, налетело внезапно и сразу кончится... Теперь все понимали, что война надолго, нужно с нею жить — с черной тарелкой, которая изрыгает страшные слова, с одиночеством, с вечной тревогой — вдруг письмо вернется «выбыл из части»...

В городе было много эвакуированных; они вносили в будни лихорадку узловых станций. Ленинградцы бредили Невским, говорили непонятное слово «дистрофия»... Киевляне ходили, как лунатики; им мерещились горбатые улицы, по которым ступают немцы.

Доктор Сабанеев как-то сказал Наташе: «Это — просвечивание рентгеном, теперь видно, что у человека внутри — сердце или побрякушка...» Наташа часто спрашивала себя: неужели у меня побрякушка? Нужно не думать о себе, тогда выдержу...

Всю зиму она проработала в госпитале. Она так привыкла к ранам, что они казались ей естественными; были упрямые, гноившиеся; она с ними воевала, накладывала перевязки, заставляла закрываться, срастись. Раненых она помнила не по именам, не по лицам, а по ранам. «Можно подумать, что вы этим делом двадцать лет занимаетесь»,— говорил доктор Сабанеев. Он спросил, собирается ли Наташа изучать медицину; она удивилась: «Что вы! Я тимирязевка... Это только теперь... Война...» Если бы ей сказали рыть окопы или изготовлять гильзы, она делала бы это с такой же страстью и с таким же ощущением чего-то временного, исключительного — война...

Она с изумлением глядела на свой живот: как странно, что теперь можно родить ребенка! Ведь это что-то очень

мирное, вечное... А теперь и жизни нет, война все перевернула. Только природа не хочет ни с чем считаться. Скоро весна... Это не от разума, не от сердца. Природа — как мороз или оттепель...

Никогда Наташа не заговаривала о Васе. На все запросы приходил тот же ответ: в списках убитых, раненых и пропавших без вести не значится. Сначала она удивлялась: пропал, а пишут, что нет... Когда ее спрашивали, отвечала: «Не знаю»... В глубине души она верила, что Вася жив. Может быть, он у партизан? Он не любит писать, послал три или четыре письма, а они затерялись... Бывают контузии, когда частичная потеря памяти — забыл адрес... Не могли его убить!.. Часто она писала Васе и прятала письма в сундучке под бельем.

Когда становилось невмоготу, она перечитывала письма отца. Дмитрий Алексеевич писал редко, но обстоятельно; шутя как-то приписал: «От вашего спецкора». Было в его посланиях столько бодрости, что Наташа успокаивалась. Еще в феврале отец писал: «Эти жеребчики пронеслись рысью до Медыни. Жаль, не было здесь американца, о котором я вам писал, он ведь думал, что немцы будут встречать Новый год у нас в Чистом переулке. А я убежден, что рано или поздно придется поглядеть на Унтер-ден-Линден, не то чтобы очень меня туда тянуло, но поглядеть придется. Ты, Наташа, не горюй, в лесах много окруженцев, недавно пробилась целая часть, так что еще ничего неизвестно. А жеребчикам нами не править, это ясно...»

Наташа подружилась с Клавой Медведевой, студенткой пединститута, которая работала на эвакуированном заводе. Клава походила на птичку — маленькая, зябкая, хохолок на голове и поет... Ее муж Егор был летчиком. Клава показывала Наташе письма, фотографии. Егор молодой, выглядит куда моложе Васи. Наверно, очень смелый — четыре ордена. По письмам видно, что любит Клаву... Наташа знала, как они познакомились, рассорились, потом поженились. Егор описывал бои, и Наташа спрашивала: «Что это значит — пристроился в хвост?» Клава отвечала: «Сама не знаю. Наверно, так нужно...»

Когда завод эвакуировали, пришлось разместить машины в старой каретной мастерской. Грязь была такая, что застревали сапоги... Построили бараки. На работе замерзали пальцы. Ночью не давали спать клопы. Но Клава не жаловалась: «война»... Да и все так говорили: «война»... В День Красной Армии на заводе выступали фронтовики, один сказал: «Товарищи, каждый может изготовить за день столько мин, сколько нужно, чтобы уничтожить десять тысяч фрицев...» Когда Клава рассказала об этом Наташе, та всплеснула руками: «Вот это я понимаю! Клавочка, и ты столько делаешь?..»

В Наташе оставалось много детского, но она сделалась серьезней. Это сказалось и в письмах к отцу. Дмитрий Алексеевич как-то улыбнулся: Наташка-то выросла!.. А, впрочем, что тут удивительного, у нее скоро дитя будет...

Когда Наташа родила, был один из первых весенних дней. Таяло, звенела капель. Доктор Сабанеев сказал: «Мальчонок хороший, прямо-таки довоенный». Назвали его Васей. Варваре Ильиничне хотелось, чтобы внука назвали Александром, но она быстро уступила: «Василий тоже красивое имя». Наташа рассмеялась: «Вот уж не нахожу, Олег или Валентин — это красиво. А Вася?.. Как кота... Только мне нравится...»

Она прижимала сына к груди. Ей казалось, что он улыбается. Конечно, если сказать маме, она высмеет, но все-таки он улыбается. Вася тоже так улыбается — нерешительно, это оттого, что застенчивый. Никак не мог объясниться... Теперь, наверно, другим стал, на войне все меняются. Как это странно — одну только ночь они были вместе, и будто нарочно — куцая ночь, самая короткая в году... А что, если убили?.. Скоро десять месяцев... Из глаз потекли слезы, впервые она почувствовала, что Вася не вернется. Она шептала мальчику: «Ты его и не увидишь... Васька... Василий Васильевич...»

Она снова работала в госпитале. Работа спасала от отчаяния. В ту весну война уже перестала удивлять, и она еще не стала привычной. Ожесточение охватило город. Работала рядом с Клавой старуха Агафонова, у которой были два сына в армии, работала Слуцкая (ее мужа убили под Уманью), работала десятиклассница Оля, говорила: «От отца ничего нет»... Город лихорадило, он

прислушивался к радио, ждал писем, не знал, радоваться ли солнцу, грохоту телег, первым подснежникам. Только не сомневаться, работать — там нужны мины, холст, консервы... Если работать, ты пикируешь с Егором, ты с сыновьями Агафоновой (один пошел за «языком», другой сидит у костра), ты с Дмитрием Алексеевичем, который при тусклом свете коптилки вытаскивает из плеча осколок. Работать, только работать! Город снимался с места; в мыслях, в снах, в ежечасном исступлении он летел на запад; расположенный за тысячу верст от войны, день и ночь он воевал.

Наташа писала Васе:

«Может быть, я схожу с ума, но сейчас я убеждена, что ты жив. Я хочу тебе рассказать о нашем сыне. Мама говорит, что он родился не во-время, но он родился от любви, от той ночи, Вася! Он еще не понимает, что воюют за него. У него твоя улыбка, твои глаза, а нос, кажется, мой — курносый. Представляю, каким он будет — с твоим ростом и вдруг курносенький! Я зову его Кот-васька, ты не ревнуй, это другое чувство. Как тебя, никого никогда не полюблю. Ты меня не узнаешь. Я много работаю, стала деловая, не дурю, хочется иногда, но теперь не время, когда мы встретимся, буду, наверно, более солидной, чем ты. Я много думаю о разных вещах — о войне, о смерти, о том, почему они хотят нас уничтожить, и чувствую, что даже если они начнут весной наступление, мы одолеем, то есть я не то хотела сказать, я чувствую, что весна — это наше, как праздник Первого мая, не важно, что мы в этом году не празднуем, но в сердце, и наш Васенька — это тоже весна. Я пишу бестолково, ночь не спала, тяжело раненные, и не могу ясно сформулировать, хотела сказать, что будущее с нами и за нас, это — главное. Не сердись, что я философствую. Клава не понимает, какая она счастливая, что получает письма от мужа, а я тебя только вижу во сне, перед тем, как разбудят, тогда помню, что снилось, поэтому я довольна, что почти каждую ночь будят. Во сне я тебя обнимаю и целую, все хочу доцеловать, что тогда не дали, милый ты мой, любимец, Васька-большой — можно так? Я ему говорю Васька-маленький. А ты меня обними, только покрепче, не отпускай, чтобы не было холодно, пусто...»

Она не дописала — позвали к больному. Потом она вышла на улицу. Было очень ярко — от солнца, от крупных белых облаков, от воды. Мальчишки играли в мяч. И после пережитого весна ударила в голову. Неужели еще будет счастье?..

Наташа побежала домой. Она кормила мальчика, когда пришла Клава, бледная, с мутными больными глазами.

— Простудилась?

— Нет.

— От Егора было письмо?

— Нет. Я и не жду, он предупредил, что долго не будет... Я на минуту забежала, достала полкило сахару. Не глупи, тебе теперь нужно, раз кормишь...

Это было накануне Первого мая. На следующий день Наташа увидела красные флаги, улыбнулась — вспомнила — перед самой войной... Их долго не пропускали, стояли на Пушкинской, пели, дурачились. Наташа ела «эскимо»... Потом они прошли по Красной площади, она видела Сталина — близко — она шла крайней... А когда перешли мост, там стоял танк, застрял, все удивились, какой он огромный. Никто не думал про войну...

Нужно дописать письмо Васе. Написать про Первое мая...

Варвара Ильинична взяла на руки внука.

— Наташенька, ты была у Клавы?

— Нет. А почему?..

— Разве она тебе не сказала?..

По радио передавали приказ Сталина: нужно научиться ненавидеть врага. Когда Наташа возвращалась от Клавы, у нее глаза были сухие и жесткие: ненавижу! Ох, как ненавижу! Хоть бы мины делать!.. Десять тысяч, сто...

Ночью она приписала к письму Васе: «Муж Клавы не вернулся на базу, ей вчера сообщили. Я не знаю, жив ли ты, не могу сейчас лгать, я ничего не знаю. Но победим, должны победить, иначе не простишь себе перед Егором, перед тобой! И для чего тогда Васенька?..»

28

Когда гестаповец сказал: «Вы убили Андре Леблана», Пепе не мог скрыть изумления.

— Вы собираетесь ломать комедию? Вас ждут не аплодисменты...

Под утро Пепе лежал на полу, избитый, измученный; напрягаясь, он думал: кто этот Андре Леблан? Неужели я ошибся?..

Его пытали двое суток. Он назвал свое имя: Жан Миле. Большего от него не добились. Им занялся Грейзер, слывший среди сослуживцев оригиналом: он уверял, что при допросе психология важнее и плетки и ледяной воды. Миле посадили на три дня в темный загаженный нужник. Когда его оттуда вывели, он сделал несколько шагов и свалился. Очнулся он в светлой комнате на кушетке. Грейзер предложил ему чашку бульона, приказал дать еще одну подушку. На столике стояли цветы; в окно доносился шум улицы.

— С вами плохо обращались,— сказал Грейзер.—Увы, жестокие люди имеются повсюду... Давайте поговорим, как друзья. Я немец, вы француз, каждый из нас любит свою родину. Наши народы больше не воюют. А вот вы пробовали воевать... Я понимаю — молодость, романтика. После версальского мира были и среди немцев горячие головы. Знаете, что с ними делали французы? Расстреливали. Международное право против вас. Да и Франция не с вами — вам приходится убивать своих же французов. Напрасно вы записали Андре Леблана в предатели. Его допрашивали, наверно были эксцессы... Он не хотел умирать за англичан, он рассказал все. Мы его освободили...

Миле глядел на цветы, и в голове проносились туманные видения: Медонский лес, Мари — у нее много веснушек, бронзовые амуры...

— Я хочу освободить и вас. Жемино был офицером. А вы рабочий. Мы не хотим наказывать простых людей. Я сделаю все, чтобы вас выгородить. Скажите откровенно — неужели вам не хочется жить?

— Еще как! — Миле сказал это себе, он был в полу-

забытьи — листва, губы Мари, беседка, обвитая глициниями...

— Вы будете жить. Для этого нужно одно — расскажите, кто приказал убить Андре Леблана? Я даю вам слово офицера, что я вас выгорожу...

Миле старался собраться с мыслями. Кто Жемино?.. Неужели они взяли Жака? Но он не офицер... И почему они называют Шеллера Андре Лебланом?.. Нет, они ничего не знают, они хотят меня запутать! Миле вдруг почувствовал, как злоба подступила к горлу; он поглядел исподлобья на Грейзера.

— Все это головоломка. Я не знаю никакого Андре Леблана. Но если вы о нем жалеете, значит он подлец, понимаете?

Грейзер улыбнулся:

— Не нужно волноваться, нервы вам еще пригодятся. А сейчас я вас порадую, вы увидите Марбефа.

— Я не знаю никакого Марбефа. Вам мало пыток, вы хотите, чтобы я сошел с ума?..

Может быть, это Жак, в ужасе подумал Миле, или Доре? Он обрадовался, увидев незнакомого. Это был молодой человек в изодранном спортивном костюме с рассеченной губой.

Грейзер обратился к нему:

— Как вы находите — господин Миле неплохо выглядит?

— Я его вижу в первый раз.

— Вы тоже отрекаетесь от старых друзей, господин Миле?

— Никогда я не видел этого человека.

Грейзер продолжал улыбаться.

— Упорствовать хорошо, когда можно упорствовать. Мне придется написать учебник для юных террористов. Урок первый: отрицайте все. Урок второй: если кого-нибудь из вас «раскололи», старайтесь спасти свою голову.

Привели высокую красивую девушку. Миле подумал: она похожа на ту, что приходила к Жозет, передавала поклон от русского... Рука забинтована... Неужели и ее пытали?

— Присядьте, пожалуйста, гордая Камилла, она же госпожа Ришар. Может быть, вы вспомните, как гуляли ночью с господином Миле? Это было возле Манта... Не глядите на меня с таким возмущением, я не хотел вас обидеть. Я знаю, что в ту ночь вам было не до любви...

Девушка его прервала:

— Вы показываете мне незнакомого человека и хотите, чтобы я что-то вспомнила. Лучше просто истязать...

— Я вас пальцем не тронул.— Грейзер сказал это с обидой.— У меня дочь вашего возраста. Я хочу вас спасти... Вы не узнаете господина Миле? У вас плохая память. Господин Глез много старше вас, но он запоминает все детали...

Двое солдат поддерживали человека лет сорока с болезненным, отечным лицом. Он едва говорил. Миле заметил, что у него нет зубов — наверно, долго допрашивали...

— Как ваше здоровье, господин Глез? Простите, мне пришлось вас снова потревожить... Поглядите на этого юношу... Может быть, вы вспомните, где вы с ним встречались?

— Конечно, это Бодуэнь, так по крайней мере его звал Жемино. Мы встретились в маленьком кафе, кажется, «Свидание рыболовов» — на дороге из Манта в Вернон. Это было двенадцатого сентября в шесть часов вечера, он пришел первый. Мы распределили роли. Место, куда скинут оружие, знал Жемино. Во время операции нас было пятеро — я, Жемино, Бодуэнь, Камилла, Марбеф. Расстались мы в четыре часа утра или в пять, не помню точно. Потом я больше не встречал Бодуэня.

Когда увели и Глеза и девушку, Грейзер сказал:

— Теперь вы видите, что отпираться бессмысленно. Вы рассчитывали, что не было свидетелей, пустая улица, ночь... А револьвер? Шесть тридцать пять, из него вы стреляли... Вы убили Андре Леблана в пять часов утра. Не знаю, как вы провели день, ночевать вы решили у Формиже. Вас подвела случайность. Андре Леблан не рассказал нам о Формиже, забыл или хотел его выгородить. Но в кармане убитого мы нашли письмо с адресом — девятнадцать, бульвар Пастер. Мы, немцы, педанты, я решил на всякий случай посмотреть, что собой представляет

этот Формиже. Его забрали в восемь часов, а вы не заставили себя долго ждать...

Что-то начало проясняться. Все дело в Формиже... Но какой же он коммунист! Он говорил, что не любит коммунистов, согласился приютить Миле только потому, что они приятели — вместе были в маршевой роте, когда их призвали накануне разгрома...

— С Формиже мы однополчане,— сказал Миле.— Я зашел к нему спросить, не знает ли он, кто продаст велосипед... Формиже не мог подумать, что у меня револьвер.

— Вы начинаете разговаривать, это похвально. Но я не Формиже, я знаю, что у вас был револьвер, я даже знаю, какое вы нашли ему применение. Не отпирайтесь, скажите, кто вам приказал убить Андре Леблана, и вы будете жить, а вы сами признались, что жить хочется... Поглядите, какой чудесный день, скоро весна...

Это продолжалось два с лишним месяца: истязания, отеческие наставления Грейзера, очные ставки, и снова истязания. Мало-помалу перед Миле раскрывалась картина. Марбеф назвал себя, его зовут Робер Ренан, он студент-медик. Жемино был офицером запаса, до войны состоял в организации роялистов; его убили — он отстреливался, когда за ним пришли. Какой-то человек, его звали Бодуэнь, успел скрыться. Глез уверяет, что Бодуэнь это Миле... Они себя называли «Группа непримиримых». Во главе стоял, видимо, Жемино. В сентябре они получили два ящика с автоматами — англичане сбросили на парашютах. Жемино и Глез отвезли оружие Андре Леблану — метрдотелю ресторана «Пулярд». За ними следили — Андре Леблан донес в середине октября, а их взяли второго ноября, в день Поминовения мертвых. Глез, когда его начали пытать, рассказал все, назвал Марбефа и Камиллу. Может быть, Глез от побоев рехнулся, он упорно утверждал, что Миле был в Манте и сказал: «Если мы натолкнемся на немцев, я займусь ими, а вы убегайте...» Грейзер добродушно упрекал Миле: «Вы сердитесь на бедного Глеза, а он вас выставляет в самом выгодном свете, по его словам, вы вели себя, как герой...» В ночь на Новый год убили Андре Леблана, когда он после веселого ужина возвращался домой.

Миле был подготовлен к пыткам, к смерти, но не к тому, что случилось. Когда его допрашивали в ванной (это была комната пыток), он либо молчал, либо кричал невыносимо громко. Он знал, что никого не назовет, и никого не назвал. Но когда он оставался один, начинались другие мучения. Он спрашивал себя: как я должен поступить? Конечно, эти люди тоже работали против бошей. Они — и товарищи и не товарищи... Марбеф — молодчина, хочется пожать ему руку, сказать: ты держишься, как будто ты коммунист... Девушка тоже смелая... Но кто эти люди? Чего они хотят?.. Жемино был «АФ», мечтал о короле. Как-то перед войной Миле шел с товарищами; возле метро «Итали» они встретили банду «АФ». Один в берете крикнул: «Красная сволочь!..» Миле ему съездил... Началась драка; полиция вступилась за «АФ». Может быть, среди них был Жемино?.. Да, но теперь они с нами... Плохо, что они ничего не сделали, получили два ящика с автоматами и сдали подлецу. Нашим бы эти автоматы!.. Коммунистам они не скидывают, политика... Марбеф славный парень. Это честные люди, но чужие... А умереть хочется с товарищами — или одному. Андре Леблан был предателем, таких следует убивать. Но Шеллер птица покрупнее. Грейзер вчера проговорился, что убийцу Шеллера не поймали. Если бы он знал, кто перед ним!.. Сказать?.. Они пришьют Шеллера Марбефу и Камилле. Зачем их топить? Они не наши, но они против бошей, сейчас это главное... Понятно, что Формиже с ними водился, он мне сказал: «Я не люблю ни немцев, ни русских, но русские в Москве, а немцы в Париже, значит, пока что я предпочитаю русских...» А Шеллера убрали коммунисты, это — заслуга партии... Не знаю, как быть. Если бы на одну минуту повидать Жака!.. Главное, я не могу доказать, что не связан с их группой, меня взяли у Формиже, а Глез сошел с ума, клянется, что я был в Манте. Да, если бы я подобрал эти ящики, разве они попали бы к бошам!.. Не знаю, каким был Жемино, кажется, они больше болтали, чем делали. Но топить их я не хочу. Мне все равно крышка, а если скажу про Шеллера, их всех расстреляют. Жак знает, кто убрал Шеллера, он, наверно, уже написал листовку... Свое я сделал. Значит, нужно молчать...

И Миле молчал.

К нему в камеру пришел фельдфебель.

— Меня назначили вашим защитником, трудная миссия — вы отрицаете вину, а все против вас. Я буду просить о снисхождении. Вы единственный из группы с низшим образованием, это веский довод — рядовой исполнитель...

Судьи были военные. Один, тучный и краснолицый, сидел, как статуя, не поворачивая головы; ни разу не поглядел на подсудимых. У другого судьи был насморк, казалось, он плачет. Прокурор все время вскакивал и показывал рукой на Миле.

Когда Миле спросили, признает ли он себя виновным в принадлежности к «Группе непримиримых» и в убийстве Андре Леблана, он ответил:

— Если я молчал, когда вы меня обрабатывали в ванной, стану я теперь разговаривать!

Глез подробно рассказал об операции в лесу, Формиже объяснил, что, будучи слабохарактерным, он принимал людей непорядочных; просит суд его простить. Камилла ответила: «Я не считаю ваш суд полномочным». Миле это понравилось, он дружески улыбнулся Камилле. Марбеф сказал, что боролся за Францию и ни о чем не жалеет. Миле подумал: обида, что не могу сказать!.. Я сказал бы о коммунистах, что за Пери боши еще заплатят, Шеллер — это только задаток...

Потом всех заставили встать. Тучный судья долго читал приговор, кивал головой в такт. Переводчик сказал: «Миле к расстрелу, Ренан — двадцать лет, Люси Ришар — десять лет, Глез и Формиже — пять лет». Переводчик добавил: «Исключительно мягкий приговор, можете радоваться»...

Когда Миле привели в камеру, он впервые подумал о смерти — теперь скоро, могут притти через час... Не хочется умирать... Они расстреливают на Мон-Валериан. Он хорошо знает это место — четыре года прожил в Сюренн. Там познакомился с Мари. В Сюренн жил отец Жака. Он был на съезде в Туре, когда они откололись и образовали нашу партию... Не вчера все началось! Когда Миле был маленьким, дедушка рассказывал про Коммуну — все радовались, потом пришли версальцы, убили его старшего

брата... Партия теперь крепкая, людей меньше, зато какие!.. Морис, наверно, радуется — партия здорово выросла... Интересно, когда победим, такие люди, как Марбеф, останутся с нами или будет все, как раньше?.. Противно умирать — не знаешь, чем это кончится... Он не увидит больше Мари. Она теперь вздыхает: «Жано!.. Мой Жано!..» Голос у нее трогательный, так никто не может сказать, никакая актриса. В лето перед войной четырнадцатого июля они были вместе. Сначала на демонстрации. Все кричали «Даладье к стенке». А он остался, пустил бошей в Париж... Потом танцовали на площади возле Муфтар, Мари говорила «не могу больше — жарко», пили лимонад, целовались и опять танцовали — до самого утра... Интересно, как танцуют русские? Анри говорил — замечательно... Наверно, в русских газетах напечатали про Шеллера. Конечно, русские за одну минуту убивают больше бошей, чем мы за год, но пусть видят — здесь не только Петэн или Лаваль... Сталин прочитает, как хлопнули Шеллера, и скажет: «Французы молодцы...» Только ему некогда читать — он командует... Русские здорово воюют. Они скоро освободят от немцев и Польшу, и Прагу, и нас... Хорошо будет, если они придут к 14 июля. Мари как обрадуется!.. Может, и союзники высадятся. Если мы достанем оружие, тоже ударим. Жак может командовать полком, целой дивизией, он все понимает... Как Лежан. Неужели они пытали Лежана?.. Звери! Грейзер говорит про весну, а разве он может чувствовать?.. Через десять дней Первое мая. В Медонском лесу, наверно, ландыши... Когда-то все шли с красными гвоздиками, полицейских уйма — боялись... Весело было, ребята пели: «Молодая гвардия вышла на улицу. Берегитесь, враги!..»

Миле не выдержал, запел: «Молодая гвардия вышла...» Вошел немец и ударил его по лицу.

Миле теперь жадно думал о жизни, думал день и ночь, вспоминал, старался заглянуть в будущее, обнимал Мари, прощался с друзьями. Немцы предложили ему написать прощальное письмо родным, он отказался. Ему удалось через арестанта, который приносил баланду, передать записочку заключенному, сидевшему под ним, коммунисту из Иври. Миле написал:

«Дорогая великая Партия!

Я сделал все, что должен был сделать. Встречаю смерть достойно, как твой сын. Обнимаю товарищей. Я до конца буду думать — победит Красная Армия, победят французы, ты победишь. Я счастлив, что в эти дни был с тобой. Прощай, моя Партия!

Пепе-Жан-Миле».

Его расстреляли в шесть часов утра. Солнце уже согревало мир. Он отказался от повязки, смотрел на небо Парижа. Крикнул: «Прощай...» и не кончил — раздался залп.

29

Вася сказал Кривичу:

— Теперь ты командуй...

Накануне партизанский отряд, командиром которого был Вася, ворвался в Лукишки. Возле крайней хаты на околице еще валялись трупы убитых немцев. Партизан Кривич до немцев был председателем сельсовета. Это был человек лет сорока, с руками, похожими на корни дерева, и с грустным мечтательным лицом, которое изредка освещала беглая улыбка. Немцы убили семью Кривича. Он вернулся в свое село, где больше у него не было ни дома, ни родных. Крестьянки его обступили:

— Игнат Петрович, вот не ждали!..

— Ночевать-то здесь будете?..

Они думали, что партизаны сразу уйдут, как в феврале — налетели, поубивали немцев и, не отогревшись, ушли.

— Теперь насовсем,— сказал Кривич.— Хватит! Сейчас девчата флаг принесут, подымем...

Это было накануне Первого мая. После недели боев партизаны хорошо выспались. Утром радист Кротов прибежал, запыхавшись:

— Приказ Сталина! Научиться ненавидеть врага. И к нам есть — «товарищи партизаны»... Я записал, только не все, слишком быстро передавали...

Раз десять прочитали приказ, поздравляли друг друга. Вот это настоящий праздник!.. Женщины напекли пирогов.

Днем устроили собрание. Вася был председателем, взволновался; вспомнил, как было до войны...

— Позвольте торжественное собрание по случаю Дня международной солидарности считать открытым. Предоставляю слово председателю сельсовета товарищу Кривичу.

Кривич долго молчал, потом выкрикнул:

— Восстанавливается советская власть, это ясно. Нужно в срочном порядке закончить посев. Семена добудем, на то мы партизаны. Вот наше знамя — красное, в свежей крови — за Лукишки пали геройски Иван Дудин, Захар Егоров и Наум Талькович. Дорого это оплачено... Товарищ Сталин нас поздравил, нужно выполнить, отсеяться, раз территория освобождена, а партизанам не пускать немца...

Прежде Кривич хорошо говорил, гладко, его даже посылали в Брянск на конференцию. А сейчас он чувствовал — не выходит. Надо чем-то кончить... Горло сжалось, и как будто он не на собрании, а идет в атаку, он крикнул:

— Ура!..

Вечером партизаны танцовали с девушками, пели песни. Аванесян говорил: «Сколько помню Первых маев, а такого не было, понимаешь — кипит внутри, замечательно!..»

Неделю спустя в том же селе Лукишки над картой сидели Вася, Аванесян, комиссар Дрожнин. Вася говорил:

— Не нравится мне, что-то слишком легко поддаются. Сергеев клянется, что у них свежий полк. Как бы не было западни...

— Нужно девчат послать,— сказал Аванесян.

Наташа Головинская и Варя были глазами отряда. Наташа до войны была студенткой-медичкой, к партизанам она пришла в первые дни, наотрез отказалась быть санитаркой: «У вас Прахова, одной хватит, а я воевать хочу...» Приспособили: она ходила к немцам. Вид у нее был такой кроткий, что трудно было ее заподозрить: девчонка с двумя косичками, с детскими недоумевающими глазами; была она застенчивой и казалась перепуганной, это успокаивало самых недоверчивых. А Варя пришла в отряд позже, зимой, она была местная, знала все дороги и дорожки; крупная, полногрудая, вечно сонная, проходя мимо

немцев, она прижимала к себе кринку или лукошко так, будто это все ее богатство, и полицаи посмеивались — «дурочка». Девушки часто ходили вдвоем: Варя лучше знала, как пройти, а Наташа была опытнее, умела разузнать, сколько где немцев, есть ли артиллерия и минометы, стоят ли в селе солдаты с фронта или «старички» — ландсвер.

— Нужно проверить, правда ли, что целый полк,— сказал девушкам Вася.— Что-то непохоже... А с другой стороны, есть у меня подозрения, подсохло, им теперь с дорогами легче...

Девушки ушли. Наташа оглянулась, посмотрела на Аванесяна светлыми, будто растерянными глазами и крикнула:

— До свиданья, товарищ Аванесян!

— До свиданья, Наташа! Смотрите, девчата, осторожней...

Вася понимал, что́ за этими скупыми словами. Он давно заметил, как смотрят друг на друга Аванесян и Наташа. Ничего не было между ними сказано. Аванесян был строг к себе: не время! Только иногда садился он рядом с Наташей и пел непонятные ей песни, похожие на водоворот; звуки кружились, засасывали. А Наташа всякий раз, уходя к немцам, прощалась отдельно с Аванесяном.

Вася знал теперь Аванесяна, как не знавал прежде никого: вот уже год они вместе воюют. О чем только они не говорили! Вася, кажется, видел далекий городок среди гор, похожих на огромные булыжники; там старая мама Аванесяна все еще ждет письма. Аванесян много раз гадал, добралась ли благополучно Наташа — не его, васина, до Москвы. Они подолгу обсуждали, кто был виноват в беспорядке, когда летом они блуждали по дорогам отступления и когда Аванесян говорил «сплошная каша». Вася посмеивался: «Расхлебываем и расхлебаем». Был у них друг — комиссар Шумов, он погиб в марте, подорвался на мине. А теперь настоящего комиссара нет, Дрожнин не умеет зажечь людей — и об этом часто говорил Вася с Аванесяном: «Придется нам быть за комиссара. Дрожнин честный коммунист, но такой хорош, когда все гладко, я его вижу в кабинете с телефоном. Человек растерялся — лес, немцы прут, полицаи, есть распущенные

и среди наших. Нужно сразу отрезать — так или не так, а он бежит ко мне, советуется, скажу «да», сомневается — «спрошу Аванесяна»... Аванесян, смеясь, отвечал: «Верно, не комиссар, а каша...»

Аванесян не говорил с Васей о Наташе. Только раз — в день Красной Армии не удержался. Они тогда поужинали, выпили, ночь была спокойная, и Аванесян вдруг сказал:

— Кончится война, обязательно женюсь. Знаешь на ком?

Вася рассмеялся:

— Знаю.

Вася часто вспоминал свою Наташу, вспоминал, как далекое счастливое детство. Усмехался — в двадцать пять лет я был ребенком, ломал себе голову, как ей сказать... Где она теперь? Что с мамой? С Сережей? Может быть, лучше не знать: есть надежда. Ему столько приходилось сталкиваться с горем, что оно начинало казаться неизбежным, как дождь, как белый туман над полями. Имя «Наташа», которое он то и дело слышал, бередило рану. Тень была рядом... Но трудно жить с тенью, нехватало веселых глаз, смеха, теплой детской руки с короткими пальцами, любопытной Наташки, озорной, курносенькой... Есть женщины, которых можно любить издали, годами переписываться, да и без писем беседовать с ними за тысячи верст. Наташа не такая... И одна и короткая ночь — накануне...

Да, скоро год! До чего он изменился! Он прежде не жил, учился в школе, потом в институте, читал книги — там было чужое горе, ходил в театр — показывали чужие страсти; были у него приятели, они разговаривали о том, что на самой поверхности. Никогда Вася не заглядывал в закоулки чужого сердца. И кого он встречал? Молодых архитекторов, сослуживцев, в вагоне какого-нибудь болтливого снабженца... Жизнь раскрылась перед ним на войне. Он видел кругом такую беду, столько душевного благородства, столько низости, что никто не опишет, а если описать, скажут — выдумано... Поверят ли, что к нему пришла Елена Степановна (ей шестой десяток), сказала: «Остарела, воевать не могу, буду белье стирать, весь отряд накормлю, руки еще крепкие...» Она пришла

после того, как сожгла свою хату. У нее ночевали немцы, она напекла оладий, дала бутыль самогона, они напились и уснули (она говорила: «дрыхли окаянные»). Она сожгла хату с двумя немцами. А есть и другие, как та паскуда в Навле, жила с гестаповцем, а над кроватью — портрет мужа — краснофлотец... Вася ее пристрелил. Навидался он предателей, старост, полицаев. Был один — Вася не может его забыть — молодой, только кончил учебу, он донес на девушку, что она комсомолка, ее повесили; а он сидел с самоучителем, говорил: «Научусь по-немецки, в Берлин уеду, не с вами, хамьем, жить...» А из сел приходили женщины, инвалиды, подростки: «Воевать хотим»... Грише тринадцать лет... Сколько отваги у народа, чистоты, и не расскажешь!.. Давыдов понимал, что на смерть идет (депо поджег), вечером он сел рядом с Васей, молча курили, потом он сказал: «Товарищ командир, вы мой тезка, тоже Василий, приятно...» И пошел... Вася говорил себе: я встретился с народом... Говорят — школа, вуз, а выходит, что настоящий университет здесь, учишься не только, как одолеть врага, как понять человека...

Десятого мая вернулась Варя. Вася сразу понял: что-то случилось. Аванесян сидел у стола, не сводил глаз с Вари. Она по-военному доложила:

— Два полка. Триста шестнадцатый прибыл с фронта, стоял напротив Думиничей, другой особого назначения с минометами, но без артиллерии — из Германии. Говорят — приказ очистить район. Суета, сразу видно, что готовятся...

Варя села на скамью и расплакалась; плакала она, как ребенок,— громко, рукавом утирала лицо.

— Наташу взяли. Она пошла в Дятлино, говорила — там у нее староста знакомый, расскажет... Я два дня пряталась, ждала. Потом пришел Федотов, он у них вахтером, говорит: «Уходи. Замучили ее насмерть, глядеть страшно...»

Аванесян встал, снова сел, хотел что-то сказать и не сказал, вышел из избы. Через час он вернулся с картой:

— Дрожнина позови. Я думаю, нужно пробираться на тот берег...

После короткого боя оставили Лукишки. Кривич шел угрюмый, с немецким автоматом. Его догнала соседка:

— Игнат Петрович!..— Она заплакала.— Только отсеялись... В лес уйду, не останусь я с паразитами...

На следующий день пришлось бросить любимицу всех — сорокапятимиллиметровую пушку. Ее прозвали «Берточкой». Пять месяцев прослужила... Они шли через болото. Связной из отряда Кудрявцева передал: «Разбились на мелкие группы. Немцы наступают со всех сторон».

Люди шли мрачные. Аванесян ругался: «Ну и комары, хуже немцев...» А думал он — кажется, не выберемся... Утром «стрекоза» прилетала, потом бомбардировщики. Значит, проследили...

Пришлось тащить на себе раненых. Не было продовольствия, люди шли голодные. Кротов передал по рации: «Идем на Хвостовичи. Положение тяжелое...» Потом слушали Москву. Вася наклонил набок голову, так всегда делал, когда боялся пропустить слово.

«Говорит Москва. Московское время двадцать два часа тридцать минут. Передаем последние известия...»

Почему-то мелькнула довоенная Москва, большие круглые фонари, выходят из театров, он с Наташей, они были в Большом, Жизель умирала...

«Вечернее сообщение... Нами оставлен город Керчь...»

Значит, и там трудно... В марте все думали, что не сегодня завтра соединятся с Красной Армией. По ночам слышен был далекий грохот. Он звучал, как приветствие: держитесь, идем на выручку!.. Партизаны начали наступление; перебили небольшие вражеские гарнизоны. Росла территория, где они восстановили советскую власть. В апреле я проехал девяносто километров по нашей земле,— вспоминал Вася.— Весело было в освобожденных селах, легко на душе. Может быть поэтому так трудно сейчас... Слишком рано радовались. Никогда еще люди не были так подавлены...

Под утро наткнулись на немцев. Бой был коротким. Партизаны прорвались; потеряли одиннадцать человек убитыми и тяжело раненными. Раненых унесли. Унесли и Аванесяна — пуля попала в живот, немного ниже сердца. Он умер днем, не приходя в сознание.

Вася глядел на мертвого друга. Вместе они пережили самое страшное, когда малодушные расходились, переодевались, все избы были с «зятьками»... Немцы день и

ночь гнали пленных. Они сколотили отряд из окруженцев, местных жителей, потом пришли брянские, орловские. По ночам Аванесян рассказывал о далекой земле, обожженной солнцем — хрусталь озер, звонкое эхо, стройные, смуглые девушки. А полюбил орловскую — с льняными косичками. Вот и обоих нет... Никогда еще не знавал Вася такого чувства — горе стояло в горле, не давало вздохнуть, проглотить кусок.

Подошел Дрожнин:

— Настроение плохое, все обескуражены...

— А ты приподыми — на то комиссар.

Дрожнин нахмурился: не умеет он этого. Доклад подготовить может, а вот так сказать — нет...

— Утром справился. А говорить я не умею.

Вырыли могилу. Кругом было много желтых цветов, ярких-ярких... Вася подумал: дуралеи, зачем расцвели, все равно истопчут — война... Какая чушь в голову лезет! Нужно с людьми по-настоящему поговорить. Дрожнин не сможет. А настроение действительно поганое. Зыков говорит «хоть стреляйся»...

Опустили в могилу Аванесяна. Вася сказал:

— Смертью храбрых пал любимый наш командир Ваграм Аванесян. Недавно он молча встретил весть о смерти своей невесты, с двойной ненавистью пошел в бой. Бывают раны в голову, в грудь, в ноги. У каждого из нас рана в сердце. С ней мы пойдем в бой. Враг еще силен, лето будет тяжелым. На Большой земле наши товарищи отражают удары врага. Мы должны им помочь. Вспомним командира Аванесяна, вспомним Шарапова, Наташу Головинскую, Остапенко, Алиева, Журавлева, Фрида, вспомним всех погибших. Партизаны, мы сейчас клянемся, что пока жив в этих лесах хоть один большевик, не будет захватчикам покоя! Клянемся тебе, друг Аванесян, клянемся Сталину, клянемся народу!..

Кругом шумели деревья, шумели порывами, что-то пришептывали, рыдали, грозились; в тот вечер и деревья клялись. А закат был яркокрасный — к сильному ветру.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Бывают времена, когда люди, прикованные к мелочам существования, приподымаются, видят жизнь в ее широте. Так было и с Ольгой, которая потрясала Нину Георгиевну своими заботами о мебели и гардеробе Семена Ивановича. Ольга оставалась практичной, заботилась об уюте, хотя бы относительном, небольшой комнаты в деревянном доме, где разместилась редакция эвакуированной газеты; но она понимала, что теперь — война, и хотела участвовать в общем деле. Была у нее добродетель, признаваемая даже взыскательной матерью,— честность в работе. Ольга и до войны удивляла сослуживцев своим трудолюбием, первой приходила в редакцию, последней оттуда уходила. В новых трудных условиях одной честности было мало, и спокойная, флегматичная Ольга теперь работала с настоящей страстью. Когда она забыла отоварить карточки, потому что просидела весь день в типографии, она поняла, что перемены произошли не только в огромном мире, но и в ней самой.

— Я так зашилась, Сеня, что забыла про карточки. А газета вышла во-время...— Улыбаясь, она добавила:— Ничего не поделаешь — война...

Семен Иванович томительно зевнул.

— Зачем лезть вперед? Теперь и центральные газеты сильно запаздывают...

Ему показалось, что Ольга поглядела на него пренебрежительно; он рассердился: эта девчонка слишком много о себе думает! Какая-то беспокойная... А ведь он женился именно потому, что нашел в ней спокойствие, необходимое для семейной жизни. Распустилась! Ну, ничего, кончится война, все войдет в колею...

Война изменила жизнь и больших государств и детей, которых воспитывала Нина Георгиевна, но даже война оказалась бессильной перед натурой Семена Ивановича. Он попрежнему думал, что самое важное — во-время вставить словечко, когда нужно — промолчать; попрежнему любил пить чай с вареньем и закидывать удочку под тенистым деревом. А все стало неудобным, зыбким. Почти не осталось старых сотрудников; помещение отвратительное; типография не приспособлена для газеты. Скверные бытовые условия, маленькая комната. Ольга фокусничает, выпить стакан чаю — и то проблема, работаешь круглые сутки, за весь июль только два раза удалось съездить на дачу к председателю горсовета и половить пескарей. Все это еще полбеды; угнетало его другое — нельзя позвонить Сидорову и спросить, как подать, что фабрика имени Коммуны отстает, да и стоит ли вообще об этом писать? Сидоров на фронте, вместо него Королев, и Королев сказал: «Вы мне по поводу такой ерунды не звоните. Я вас не спрашиваю, как поднять производительность... На то вы ответственный редактор, чтобы решать...» Разговаривая с подчиненными или с посетителями, Лабазов любил подчеркивать, что он — ответственный редактор, да и Ольге часто об этом напоминал, слово «ответственный» произнося полушопотом. Но после разговора с Королевым Семен Иванович как-то обмяк, маленькие глаза исчезли, зеленоватое обрюзгшее лицо стало похожим на маску; он вдруг понял, что должен за все отвечать. «На фронте и то спокойней»,— сказал он жене. Ольга усмехнулась. Он чувствовал, что она выходит из повиновения. Сотрудники над ним посмеиваются; даже старик Замков, расхрабрившись, сказал на летучке: «Теперь ввиду международного положения нужно проявлять инициативу» (по привычке Замков все называл «международным положением»)...

Лабазов не мог понять, что происходит. Покойный Петя Дроздов как-то сострил: «У редактора большая пере-

дача — промочит ноги осенью, а чихнет в мае». Прошлой осенью Лабазов был поглощен эвакуацией, устройством на новом месте; он не успел задуматься над событиями. А когда немцев отогнали от Москвы, он всем говорил: «Кто-кто, а я это предвидел». Теперь он растерялся — в «районе Воронежа»... Ведь это в самом сердце, оттуда, как в театре говорят, три года скачи, до границы не доскачешь. Он доходил до мыслей, которые ему самому казались сомнительными, он бормотал: «Э, э! Как бы немцы сюда не пришли? Очень просто — от Воронежа сюда вдвое ближе, чем от границы до Воронежа. Что же тогда делать? Нельзя вечно эвакуироваться...» Скажи ему Королев «за такие мысли с работы снимают»,— он привел бы себя в порядок, но Королеву было не до самочувствия Семена Ивановича.

Ольга замечала, что ее муж, как она говорила, «скис». Ей приходилось работать за двоих. Она и прежде не отмахивалась от работы, а теперь находила в ней удовлетворение, помогавшее примириться с неудобной и грустной жизнью — война, пропал Вася, Сережа каждый день подвергается опасности, мама в тяжелых условиях, муж оказался не только грубым, но ничтожным, неизвестно, когда можно будет вернуться в Москву, да и там что она найдет, квартиру могут занять,— словом, все сложилось нехорошо... Вот только за работой как-то успокаиваешься — и я нужна... Аккуратно два раза в месяц она писала матери. Нина Георгиевна отвечала то коротко, то, забываясь, беседовала с дочерью, как с Сережей. Иногда, желая утешить Ольгу, а может быть, и себя, она писала, что много говорят про партизан: «Вася там, это мне сердце подсказывает...»

Недавно Нина Георгиевна написала: «Я в тебя верю, Оля, знаю, что ты не падаешь духом, ты всегда была крепкая. Газетные новости ужасные, но больше чем когда-либо я убеждена в нашей победе, и, ты знаешь, я стала крепче. Прошлой осенью, бывало, услышишь плохую сводку, все из рук валится, а теперь, наоборот,— плохая сводка, значит нужно им назло вдвое работать; я и в госпиталь сбегаю — почитаю раненым, и поштопаю гимнастерки, и на собрании выступлю, не хочу умереть раньше смерти...» Когда Ольга прочитала это письмо, ей

захотелось прижаться головой к коленям матери, как она делала в детстве. Все-таки мама меня понимает, ссорились из-за пустяков, а теперь не такое время...

Ольга чувствовала себя очень одинокой. Семен Иванович по целым дням с нею не разговаривал, потом вдруг начинал грубить: «Зазнавшаяся девчонка!..» Он требовал, чтобы она за ним ухаживала: «Опять ты забыла пришить пуговицу. Что у тебя в голове?..» Порой он приходил в хорошее настроение, ему казалось, что они в Москве, ничего не произошло, и, после трех стаканов чаю, вытерев лицо, он обнимал Ольгу. Она отбивалась: «Я хочу читать»...

В редакцию прислали обращение группы бойцов к тыловикам. Обращение должно было пойти в газете. Семен Иванович долго колебался, хмыкал, два раза брал телефонную трубку и тотчас клал ее на место — нельзя, Королев обругает... Ольга сказала:

— Обязательно нужно дать, подстегивает отстающих...

— А ты понимаешь, что здесь написано? Как бы меня не подстегнули... «Положение исключительно грозное... Решается судьба...» Э, э! Необоснованно. Сгущены краски. Типичное паникерство. Я тебя спрашиваю, почему «исключительно»? Откуда они это взяли?

— Посмотри «Правду»,— ответила Ольга,— там еще резче.

— Ничего подобного, я все номера просмотрел, «грозное», а «исключительного» нет и «судьбы» нет. Им-то все равно — они на фронте, а расплачиваться придется мне.

Когда Лабазов прежде что-либо вычеркивал, он делал это с удовольствием, жирной красной струей захлестывая набор. Теперь неуверенно, тонкой черточкой он перечеркнул «обращение». Ольга пожала плечами и пошла в типографию.

На следующее утро Семен Иванович, проснувшись, удивился: постель, на которой спала Ольга, была отгорожена занавеской, сделанной из простыни.

— Что это за театр? — спросил Семен Иванович.

— Никакой не театр, просто приходится считаться с условиями. Газету я не хочу бросать, а уехать — это значит бросить газету. Комнату найти почти что невозможно. Вот и все...

— То есть как все? При чем тут эта тряпка?

— Сам можешь понять. Не жена я тебе. Сделала глупость, лучше поздно опомниться, чем тянуть... И не будем об этом больше разговаривать, мне нервы нужны для другого...

Семен Иванович вышел из себя:

— Для какого это другого?..

Она спокойно улыбнулась.

— Другого у меня пока что нет. Я об этом даже не думаю — столько работы. Да потом, какие сейчас здесь мужчины? Вроде тебя... Кончится война, может быть найду... А пока что прошу меня рассматривать как секретаря редакции.

Несколько дней спустя Ольга написала матери о перемене в своей жизни: «С Семеном Ивановичем я фактически развелась. Теперь такие обстоятельства, что видишь лучше человека, он мне не подходит. Пиши по прежнему адресу — комнату достать трудно, даже полкомнаты, или очень дорого, а я откладываю на платье, старое совсем изодралось, нельзя даже в театр пойти...»

Нашла дочь, говорила себе Нина Георгиевна, вот именно нашла. Как я ошибалась, принимала слова за душу, не хотела понять, что она молодая, что говорят они по-другому!.. Нину Георгиевну не обидели даже наставления Ольги: «Ты должна потребовать, чтобы тебя прикрепили к хорошему распределителю, потому что без сахара и без жиров ты долго не продержишься...» Глупенькая, ей самой тяжело, а заботится обо мне...

2

Сергей усмехнулся: год назад томился — сапер, придется плестись в хвосте, другие дерутся, а ты строй мосты... Правда, что в хвосте, третью неделю пропускаем танки, артиллерию, свою дивизию, а сами рвем, рвем — мосты, пути. Воронов вчера сказал: «Этот мост я строил в тридцать восьмом...» Рвем, что сами строили. А немцы догоняют, хотят перерезать путь. Два раза приходилось завязывать бой, чтобы выиграть полчаса. Нельзя же им мост оставить! Сколько так может продолжаться? Тихие города с яблонями, с белыми домиками. Весной никто из

здешних не думал, что война примчится к ним... Степь. Не хочется даже глядеть — слишком она длинная... Скоро Дон. Неужели их пустят дальше?..

Кто пережил большое горе, тяжелую болезнь близкого человека, потерю друга, тот знает, что самое страшное — возврат болезни, вторая потеря. После зимней радости, после больших надежд все случившееся казалось нестерпимым. Прошлым летом было смятение, люди не успевали опомниться, призадуматься; теперь все знали, что такое отступление. При слове «немец» сжималось горло, кровь приливала к голове. Еще недавно мечтали — подсохнет, и двинемся на запад. Вышло иначе: как река, прорвавшая плотину, немецкая армия затопила нивы, сады, бахчи, ровную бескрайную степь.

Старая женщина сказала Сергею: «Говорили, говорили, а теперь утекаете...» Он ничего не ответил. Приходится отворачиваться от женщин, от стариков, от детей — не сумели защитить. Отдаем немцам хлеб, землю, счастье. Жара, над дорогой плотная пыль, во рту сухо, болят глаза. Не хочется глядеть...

«Оставили Ростов». Приказ. Суровые и простые слова: нужно опомниться! Ведь все оставляем (бойцы угрюмо говорят «драпаем»). Авиации стало больше, ПТО хорошие. Тыл крепкий — работают... А воевать не научились.

Сергей по природе был скорее беспорядочным; до войны он часто корил себя — рассеянный, засунул письмо, а куда — не помню, либо приду за час, либо опоздаю... Теперь он возненавидел беспорядочность. Вчера полковник сказал: «С мостом погодите. Здесь их задержат. Танки пройдут в шестнадцать ноль-ноль». Сказал «ноль-ноль», а прошли в семь... И тот же полковник жалуется: «Если прошу авиацию, всегда опоздают...» Связь плохая, полковник откровенно говорит: «Откуда я знаю, где теперь левый сосед?..» Комдив любит говорить про Суворова, покрикивает «завтра их шибанем», а когда доходит до дела, ни на что не может решиться, тянет... Майор Паршин расположился: «Здесь КП, отсюда уж не уйдем, нужно поудобней обставить...» Поставил на комод фотографию жены, три часа хлопотал — устанавливали электричество, словом — полный уют, а вечером пронесся дальше. Горбунов сидит и проверяет график концертов, а

в городе немецкие танки... Да и я хорош — возле Миллерова положился на Гринько, не заминировали. За одно это меня следует отдать под суд.

Растет зной. Пыль стоит, не двигается. Сергей спрашивает Воронова:

— Николай, как ты думаешь, долго так будет?..

— Вчера в разведотделе допрашивали двух фрицев, они в мае из Франции, говорят, что там никого не осталось. Гитлер решил нанести такой удар, чтобы кончить до зимы. Нахальные, хоть и хныкали, один уверял, что идут на Индию. Совсем спятили!

— Индия — это бред. Они пьют слишком много пива, вот им и снятся скверные сны...

— А что же союзники? Теперь самое время ударить. Из Франции они повытряхали все, последние танки перебрасывают... Где же второй фронт?

— Не торопятся. Не любят торопиться. Я в Париже познакомился с одним англичанином, инженер, симпатичный. Мы как-то вышли с ним из торгпредства, он говорит «я очень спешу», как раз его автобус подходит. Ну, чуть побеги, и успел бы, нет, даже не прибавил шагу... Это я смеюсь, французы говорят — лучше смеяться... Дело не в темпераменте. Они не любят немцев. Боюсь, что они и нас не очень любят...

— Сергей, ты Францию знаешь, как, по-твоему, французы борются всерьез или это больше разговоры?

— Там все перепуталось. Я встретил в Париже одного поэта, он очень изысканный, если не задумываться над содержанием слов, может очаровать, даже поразить. А переведи его слова на обыкновенный язык, тот же фриц — не глубже, да и не лучше. Есть беспечные говоруны, торжественные обжоры, великая партия «и нашим и вашим». И потом есть народ. Но что они могут сделать? Ты говоришь, там мало немцев. Да, мало, чтобы отразить десант, но достаточно, чтобы держать в повиновении безоружных.

Воронов стал лучшим другом Сергея. Это был синеглазый великан с улыбкой застенчивого ребенка, седой в тридцать два года, энергичный и мягкий. Сын архангельского лесоруба, он провел детство в глухой деревне на берегу широчайшей реки, сохранил любовь к лесу, к

шороху листьев, к запаху смолы, к простой и загадочной жизни природы. В школе он обратил на себя внимание своими способностями, говорили: «из тебя выйдет толк». Воронов действительно стал хорошим инженером-строителем. В Ленинграде он познакомился с молоденькой студенткой Ниной, смешливой и ласковой. У Нины были такие крохотные руки, что Воронов боялся их сжать, а она смеялась: «Ты белый медведь, мишка...» Может быть, поэтому они назвали Мишкой сына. Они обожали ребенка. Уезжая в командировку, Воронов вызывал Ленинград и с волнением спрашивал жену: «Как Мишка?..» Семья осталась в Ленинграде. Он все ждал писем, а когда, наконец, пришло письмо от жены, никому не сказал. Две недели спустя вдруг поглядел на Сергея и растерянно улыбнулся: «Мишка мой... умер. От блокады... Кажется, горло бы перегрыз! Ладно, давай о другом говорить, об этом все равно не скажешь...»

Сергей часто получал письма от матери, от Вали; жадно их прочитывал, а отвечал коротко, неаккуратно. Он не мог связать того, что происходило, с прежней своей жизнью. Как странно, что мама повторяет старые, довоенные слова, наверно, мечтает, взволновавшись, быстро закуривает... Только бы не расхворалась! Валя не жалуется, но чувствуется, что очень скучает. Пишет, была в театре, глядела «Три сестры». Мама написала, что Оля развелась, это хорошо, он противный... Разводятся. Должно быть, и женятся... До чего это все далеко! Как на другой планете. И только одно вязалось со степью, с горячей пылью и гарью, с разодранными мостами, с тоской — неизменные приписки Нины Георгиевны: «От Васи ничего нет»... Война! Теперь Сергей был ею охвачен, как трава в степи, когда начался пожар.

Один офицер рассказывал: бои в самом Воронеже. Из Ростова двинулись на юг. Сальск, Котельниково... Прорыв с каждым днем ширится. Немецкие танки прорываются в тыл. Кое-где идут жестокие бои, в других местах отходят. Горят хутора, плачут женщины, горький запах полыни мутит сердце.

Мир, кажется, не видел такого столпотворения. Аккуратные вюртембергские бухгалтеры с гиканием носятся по половецким степям. Кого здесь только нет? Толстомор-

дые, отъевшиеся на Украине фельдфебели и генералы с высохшими лицами, с пустыми глазами, знающие одно — «клещи» и «обхваты», гейдельбергские студенты с рубцами дуэльных рапир, тупые померанские скотоводы, лихие эсэсовцы и крякающие сорокалетние бюргеры, у которых сбережения на книжке, герани и геморой, они должны заполучить сказочные богатства Колхиды. Здесь же итальянцы, певцы и пропойцы, вечные горемыки и шулера, душки-тенора с пулеметами, похитители сердец, поглощенные похищением яичек, карманщики в роли цезарей. Здесь же румынские холопы, у которых ни кола, ни двора, пасынки судьбы, и офицеры из Бухареста, которые уверяют, что на Волге живали их предки, что они — пуп мира — у них парижская грация и рука в Берлине. Здесь же мадьяры, разгоряченные кровью, понуканием и тоской: кто-то их разобидел, значит, стреляй... Все это мечется по степи, ест, пьет, испражняется, грабит, душит, орет: дальше, дальше!

Ночевали на хуторе. Старик, усмехаясь, сказал Сергею:

— Ваши говорили про бога...

— Что говорили?..

— Рассердился: «Что ж это такое? Русские меня отменили, а теперь, подлецы, снова на меня надеются»...

— Не смешно,—ответил Сергей.—На другое надеемся.

— На союзников?

— На себя.

Что за прилипчивый запах! Полынь. Говорят — горькая, как полынь... Старик угостил вином, вино тоже пахнет степью, погоревшей травой.

— Донское,— объяснил старик,— с букетом...

Сергей вспомнил, как Мадо говорила о сладком вине, которое оставляет привкус горечи. Неужели это действительно было — лето мира, Мадо, мастерская, заваленная холстами?.. Теперь там фрицы. Привкус горечи? Нет, погорче... И вдруг он рассмеялся:

— Про бога смешно. Хорошо, что придумывают анекдоты, значит, не повесили нос...

Еще дни, версты, пыль, полынь. И вот Дон...

— Мост на вашу ответственность,— сказал полковник.

Воронов отстаивал свой план:

— Взорвем с ними. Я возьму двадцать человек. Укрытие хорошее. Пока они наведут, успеем выбраться...

Зонин не сразу согласился: слишком рискованно. Воронов настаивал:

— Абсолютно точно...

Осмотрели укрытие. Сергей сказал:

— Когда назад пойдем, придется наводить мост...

Воронов деловито ответил:

— Не здесь, на триста метров ниже...

Было розовое утро, розовое, как может быть только в степи. Старший сержант Шуляпов сказал: «Товарищ лейтенант, уходите, мы сами управимся». Воронов улыбнулся: «Присмотреть хочется, дело важное...»

На мост сначала поднялись четыре немца; постояли, почему-то поглядели вниз и вернулись назад. Воронов увидел в бинокль: два офицера оживленно разговаривали, потом один поднял руку. Когда пять машин были на мосту, Шуляпов повернул ключ подрывной машинки. Раздался взрыв. Все кругом засыпало. Воронов отряхнулся. Хорошо!.. Саперы ползли среди травы. Застучали пулеметы. Воронов крикнул Шуляпову: «Не отвечать. Ползком...»

На следующий день старший сержант Шуляпов докладывал Сергею:

— Потеряли лейтенанта Воронова и красноармейца Охрименко. Остальные все прибыли. Охрименко убили. Лейтенант был ранен в голову. Мы его оттащили в ложбинку. Немцы начали переправляться в двадцать три часа, нас не обнаружили. Хотели унести лейтенанта, он был без сознания. Я поглядел — кончается... Ждать нельзя, нужно было дойти до того как светает... Немцев больше сотни погибло. Взрыв страшный, не понимаю, как нас не засыпало...

Шуляпов дал Сергею документы Воронова и две фотографии: молодая женщина в берете, веселая — смеется, и малыш. Наверно, Мишка... Николай никогда не показывал... Вот и Воронова нет!.. «Будем наводить на триста метров ниже»... Он-то не будет... А погиб замечательно — сто немцев и почти целый день выиграли... День — какая это мелочь, скоро месяц они несутся без остановки. Да и что значит сотня фрицев? Здесь чуть ли не вся Европа...

Шуляпов видел, что командиру не по себе.

— Товарищ капитан, за лейтенанта мы еще с ним посчитаемся, так тряхнем, что он свою фрау забудет...

Сергей откинул голову назад, удивленно поглядел на сержанта и как-то задумчиво, будто с собой говорит, ответил:

— Конечно, тряхнем. Лейтенанта жалко. Какой был человек!.. Да о чем тут говорить!.. Нужно проселок заминировать, они сдуру могут поехать проселком — по-культурному...

3

Келлер взял на колени девочку лет трех или четырех, она ему чем-то напомнила дочку. Гретхен, наверно, большая, два года он ее не видел, теперь ей пять лет, а Рудди ходит в школу...

— Как тебя зовут?

Девочка расплакалась, убежала, спряталась за юбку матери. Келлер был в чудесном настроении: во-первых, он с сегодняшнего дня унтер-офицер, потом только что он съел большую тарелку творога со сметаной и, наконец, новости такие, что к зиме, видно, все кончится. Это замечательно, второй русской зимы никто не пережил бы... Он вспомнил — холод, вши, распухшие ноги, мерзость... Теперь, пожалуй, слишком жарко, на то лето, да еще чуть ли не в Азии... Глупая девочка, боится, как будто я ее укушу. Дикие здесь люди, боятся чужих...

Келлер увидел рыжего щенка, дворняжку на кривых лапах. Он подозвал собачку, хотел приласкать, но она, поджав хвост, метнулась прочь. Даже собаки у них дикие... Все-таки чертовски интересно, настоящая экзотика, еще немного — и другая часть света! Вчера они видели верблюда... Никогда Келлер не думал, что забредет в такие края. Он был кабинетным ученым; до войны куда можно было поехать — в Берлин, в Париж, в Швейцарию. Туризм... А здесь видишь то, что не снилось. Войну можно отрицать, это благородно, убивать неэтично и нелогично, но отрицать войну так же глупо, как отрицать любовь, в любви тоже нет ни логики, ни морали...

Это не нищие деревушки, как прошлым летом, здесь и поросята, и фрукты, неплохое вино вроде рислинга.

Недавно они напали на бочонок... Только Мими здесь нет, да и не может быть. Смешно обижаться на русских, примитивные люди не изучали антропологию, зачем требовать от дикарки сложных чувств?.. Вчера он, наконец-то, провел приятную ночь. Правда, девушка все время плакала, но в этом своя прелесть. Рано мы многое хоронили, хвастали новыми формами, а есть вечные инстинкты, мужчине приятно, когда женщина его боится — чувствуешь свою силу...

Келлер оставался отменным семьянином; писал часто Герте, недавно послал ей с одним отпускником мед, сало, меховые сапожки, которые нашел в русском доме. Лейтенант Краузе сказал: «Даже если война не кончится до рождества, к елке вы будете с вашими, ваш отпуск выпадал на октябрь, я его перенес, чтобы вы провели праздники дома». В общем лейтенант Краузе не так плох, он разговаривает с Келлером, как с человеком науки, это приятно. Герта обрадуется... Но теперь он возьмет реванш — она должна чувствовать, что он — господин... Конечно, Герта — мать его детей, но есть минуты, когда она только женщина, как Мими, как Лотта, как рыженькая, которую он нашел в Харькове.

Я говорил бедняге Веберу, что мечтаю снова засесть за книги, он надо мной издевался, может быть он был прав... Смешно отрицать науку, но есть поколения, созданные для другого. Разве я тот Келлер, который боялся, не обругает ли его Клитч?.. Фюрер творит историю, его имя будет значиться на всех памятниках. Даже в России... А для нас война — не история, это жуткая и увлекательная игра. Сесть за работу? Говоря откровенно, скучно. Может быть, потом, когда состарюсь... Сейчас мне нравится другое. Я не знаю, как называется эта деревня, у них все «хутор», не знаю, что со мной будет завтра, могут убить. Но я теперь не карта, я игрок и «пас» не скажу... Вчера юнец из «ПК» говорил: «Нас создал не бог, а фюрер»... Это звучит немного по-мальчишески, но есть в этом правда. Конечно, меня не создал фюрер, я был и до него, читал, работал, но война меня переплавила — другой человек...

С Келлером ночевал Вилли, любимчик лейтенанта Краузе. Келлер был мил со всеми товарищами, он и Вилли

приласкал. Это неплохой мальчишка, типичный для нового поколения, смелый, веселый и хвастун. Он рассказал Келлеру, что у него во Франкфурте какая-то Ирма, которая с ума сходит без него, а час спустя признался, что Ирма не подпускала его к себе. С русскими он чересчур груб — не потому, что злой, усвоил такой тон. Келлер несколько раз его останавливал. Вот и сейчас — стащил курицу у хозяйки. Женщина плачет, как будто ее режут. Глупо — ведь они здесь пробудут еще два дня.

— Слушай, Вилли, у меня правило: ничего не брать там, где я ночую. Найдешь в другом доме... Нужно поддерживать с местными жителями приличные отношения...

Келлер отобрал у Вилли добычу, отдал хозяйке. Та убежала, прижимая к груди свое богатство. Келлер рассмеялся: мечется, как наседка, честное слово...

Вилли принес вскоре другую курицу, они зажарили ее на углях, и Келлер, облизываясь, сказал:

— Пулярдка, как в дижонском ресторане «Клош», нехватает только бутылочки бургундского.

Вилли раздобыл бутылку рома. Келлер вдруг вспомнил:

— Сегодня мой день рождения. Хорошо, что на отдыхе... Мне исполнилось тридцать четыре года. Данте в моем возрасте написал, что он прошел половину жизненного пути. Давай считать, что мы прошли полпути в столицу Великого Могола...

Они долго и громко смеялись. Заплаканная хозяйка со двора робко заглядывала в окно.

Келлер выпил немного больше, чем следовало, но хмель был легким, он кричал, пел, пошел по деревне, хотя было очень жарко. Он наслаждался жизнью. Жалко, что той русской нет... Старухи или девчонки. Молодые, наверно, прячутся. Лейтенант Краузе утром гулял с барышней, одетой по-городскому. Он все берет себе...

После обеда все отдыхали, но Келлеру не хотелось спать. Он пробовал почитать. Роман попался скучный: какой-то неврастеник, студент, сын помещика, девушка, хромая, но красивая, разговоры о наследстве и о постоянстве в любви; девяносто страниц, а ничего еще не произошло... Он оставил книгу и стал пугать девочку — делал вид, будто стреляет, а потом кидал ей бисквиты. Глупая,

боится взять... До чего запуганный народ! Если бы я был прежним, я занялся бы обследованием типа, у красных можно найти все расы... А в общем это скучно, приятней петь:

У меня одна забота:
Где ты, Лотта, Лотта, Лотта?..

Нет ни Лотты, ни хотя бы той, вчерашней... Он снова подозвал щенка, пусть подберет бисквиты, наверно, голодный. Щенок куда-то забился и отвратительно тявкал. Мешает уснуть... Келлер все-таки задремал. Разбудил его шум под окном. Шесть часов... Значит, два часа проспал, здорово!.. Чего они раскричались? Неужели тревога? Лейтенант Краузе обещал, что будем отдыхать три дня.

Прибежал взволнованный Вилли.

— Ты что — спал? Поймали русскую шпионку, лейтенант Краузе ее допрашивал. Сейчас будут вешать, сразу — по-военному... Я ничего не знал, играл в карты с Штраусом, вдруг кричат, что Феглер поймал русскую, у нее нашли две ручных гранаты, вот фурия!.. А потом лейтенант Краузе вышел, говорит: «Сейчас повесим». Штраусу приказали написать на дощечке, что повешена бандитка, лейтенант Краузе ему дал образец — все буквы русские, он здорово пишет, как художник... Идем смотреть!..

Вилли побежал вперед — ему не терпелось — и сразу вернулся:

— Забыл зарядить, а я вчера всю катушку заснял. Это будет такая картина...

Девушка была в сером платье, изорванном на груди: руки были связаны. Молоденькая, лет семнадцать или восемнадцать, не похожа на террористку, глаза добрые, высокий лоб, волосы гладко зачесаны, с пробором, наверно городская — подослали... Келлер не сводил глаз с куска смуглого тела.

Унтер-офицер Штельбрехт подошел к лейтенанту Краузе:

— Может быть, лучше отправить в полевую полицию?

— Зачем? Она сама мне сказала, что собиралась бросить гранаты в машину с горючим. Мы вовсе не обязаны заниматься полицейскими делами. Эти господа боятся

показаться на передовой... Я — офицер рейхсвера, а не гестаповец и не полицейский...— Он помолчал и потом добавил: — По-моему, не следует зря мучить, это только усиливает сопротивление. Я ее даже не ударил, платье разодрали Мюллер и Феглер, когда она пробовала убежать...

Вешать поручили ефрейтору Вергау. Это был молодой паренек, сын владельца сыроварни, один из главарей «гитлерюгенд» в Голштинии. Он в Миллерове нашел двух коммунисток, старого еврея и сам их повесил. Келлер испытывал к нему двойное чувство: презирал за грубость и завидовал — новое поколение, без наших предрассудков, им все легче...

Вергау поставил девушку на табурет, а веревку прикрепил к толстой ветке, проверил, выдержит ли, обхватил ветку и повис — крепкая...

Вилли сунул аппарат Келлеру:

— Сними, как будто я вешаю, я все наставил, нажми только эту кнопку...

Девушка что-то крикнула. За год Келлер научился немного говорить по-русски; но что крикнула девушка, не понял, разобрал только два слова: «умираю» и «Сталин». Вергау ловко выбил из-под ног русской табурет. Девушка несколько раз дернулась.

Шмидт, немолодой и суеверный крестьянин (у него на груди десяток ладанок и амулетов), тоскливо вздохнул:

— Не нравится мне это...

Феглер ругался:

— Дали бы ее прежде нам! Лейтенанту наплевать, он свою запер в доме...

Вилли был очень возбужден, сказал Келлеру:

— Здорово!.. Я боюсь, что недодержка, света мало... Обязательно пошлю фото Ирме. Когда приеду в отпуск, сама прибежит...

Келлер прислушался, кругом все говорили о девушке, говорили без злобы и без жалости, скорее мечтательно и так же мечтательно сквернословили.

Келлер пошел в свой дом, написал коротенькое письмо Герте: «Сегодня мой день рождения, здесь нет ни домашнего пирога, ни твоих объятий. Мы на краю света, расскажи Рудди, что верблюды здесь не в зоопарке, а на сво-

боде, как лошади. Целую дорогих детишек и тебя, моя ненаглядная куколка! Твой навеки Иоганн». Он подумал: хорошо, что не написал, как вешали, не нужно разжигать такие инстинкты... Мы — другое дело, мы — солдаты... Завтра меня могут убить...

— Слушай, Вилли, как называется город, куда мы едем?

— Сталинград.

Девушка кричала «Сталин»... Какие они наивные и сумасшедшие, эти русские, обязательно им хочется или убить, или умереть! Они не созданы для мирного развития, придется надеть крепкий намордник... В том, что вешают, есть смысл, расстрелять хуже, на войне все стреляют... А она как-то особенно дергалась...

Стемнело. При этой коптилке и почитать нельзя... Келлеру стало неуютно. Хорошо бы сейчас очутиться на ярко освещенной улице довоенного Гейдельберга, заглянуть в кафе — оркестр, клетчатые скатертки, кельнерши в кружевных передничках... Что это за пакость? У русских всегда что-нибудь мешает спать — или клопы, или грудной младенец, или коты бесятся... Паршивый щенок! Приличная собака лежит смирно. Цыц!.. Келлер вдруг усмехнулся:

— Вилли, у тебя, кажется, есть бечевка?.. Давай повесим щенка, он нам спать не даст...

Засыпая, Келлер подумал: бурный день рождения... А какой будет год?..

4

Днем невыносимо жарко; выжженная степь, пыль, желтая и едкая, как сера; першит в горле; мучает жажда. А ночи уже свежие. Не приходит в голову, что это от погоды, что вообще есть погода, осень. Погода в одном — в безоблачном небе: значит, сейчас прилетят... Не скажешь, что ноги не идут или что слипаются глаза; ноги идут сами собой, глаза — это не зависит от тебя, это как буханка хлеба, как бачок с горючим, о котором хлопочет Наливайко, как пулеметные ленты, как истрепанная карта с красными и синими кружками, овалами, зигзагами. Есть одно — битва; о ней знают все, но ее не видят ни Осип, ни

капитан Минаев, ни полковник Игнатов. Кажется, нужно подняться в стратосферу или перенестись в другой век, чтобы она открылась взгляду человека. Она идет не первый день, то затихая на несколько часов, то снова разгораясь, доводя людей до отупения, до потери памяти, до столбняка, однако при бодрствовании и глаз и рук, с присутствием воли, которая уже кажется чужой и которая помогает бронебойщику Шаповалову подпустить танк на сто шагов, артиллеристу Чадушкину засечь суету вторых эшелонов противника, старшине Наливайко во-время доставить боеприпасы, а крохотной Лине Горелик, отряхнувшись после очередной бомбежки, перевязывать расщепленные ноги, распоротые туловища. Это больше, чем выдержка или упорство, это присутствует в человеке, даже когда он ни о чем не думает, ничего не помнит, и это заставляет врага, который уже видит цель и, разгоряченный рвется к Волге, как к финишу, топтаться на месте, подтягивать резервы, кидать в бой новые танки, заполнять небеса «юнкерсами», «мессерами», «фокками».

Опять загудели. Пикируют... Грохот, как будто все межпланетные экспрессы, взяв разгон, несутся на бугорок, давно развороченный, распотрошенный, где две сотни людей пытаются задержать дивизию, свежую или потрепанную, триста семьдесят шестую или неизвестную, остановить танки, на которых изображены взбесившийся слон, задравший к небу хобот, или загадочный единорог, или череп. А черепов хоть отбавляй — в шлемах, в пилотках, в фуражках, скалят зубы, усмехаются, грозятся. Позавчера Минаев увидел одни ноги — без туловища, без головы, ноги в немецких башмаках, в обмотках. Чьи и зачем пришли сюда?

Этот холмик — песчинка, едва заметный кружок на штабной карте, таких тысячи — и в степи и ниже — среди песков, и выше — около города, у самых заводов. Все вместе — это битва; она продумана, как шахматная задача, сложна, как часовой механизм; гигантское хозяйство — если не будет у Наливайко горючего, если саперы Сергея не восстановят переправы, если один пулемет преждевременно замолкнет, может лопнуть рессора, распасться человеческая стена; в битве все логично и все непредвиденно, как в жизни. А для Осипа, для Минаева,

для Зарубина существует только этот курган, глубокие щели, позади лощина или, как здесь говорят, балка, батарея Чадушкина, провод, соединяющий бугорок с блиндажом полковника Игнатова, стальная нитка, хрупкая, готовая вот-вот порваться, как жизнь каждого из них. Оцепенение, смертельная усталость, лопается барабанная перепонка, глаза лезут на лоб, ничего больше не соображаешь и все-таки держишься: это нечто органическое, вне мыслей: выдержать. Ничего неизвестно, кроме самого простого: прилетела с первым визитом «рама», значит, загудят «штуки», потом начнет бить артиллерия, двинутся танки. Шаповалов с Чижиком прилипнут к ружью. Чадушкин, обливаясь потом, будет бить по тяжелым; и если танки остановят, будет передышка — можно открыть банку консервов, спросить, какая сводка, написать письмо, скрутить папиросу, затянуться, а первая затяжка после отбитой атаки — это возвращение к жизни.

Удивительна быстрота этого возвращения. Сначала минута пустоты; глаза глядят и ничего не видят; люди вытирают мокрые лица, молчат. Как-то не верится, что ты жив... В одну из таких минут Осип припомнил, как давным-давно уверял Зарубина, что страх, с непривычки, «притупится». Правда, пока они бьют, притупляется, просто тупеешь; но вот сейчас тихо и вдруг стало страшно — от прошлого. О чем тут говорить, здорово страшно, только глупо об этом думать... И Осип начал бриться; ножик тупой, порезался: хорошо, что Зарубин запасливый, у него новенькие, немецкие...

Не поверить, что час назад земля ходила под ногами — они шутят, переругиваются, спорят, говорят о войне, не о той, что под носом,— о далекой. Зарубин принес армейскую газету «Боевое знамя».

— Ничего мы здесь не знаем,— кричит Минаев.— На Вязьму ударили, на Ржев. Если прорвутся, немцам крышка.

Зарубин жует жесткую колбасу; это, кажется, самый медлительный человек на свете, недаром Минаев прозвал его «мистером». Он рассказывает:

— Кранц из седьмого отдела вчера поймал немецкую передачу, они сообщают, что союзники высадились... Я за-

писал...— Он долго изучает записную книжку.— Нашел! Высадились возле города Дьепп.

— Что же ты сразу не сказал? Ну и мистер!.. Это второй фронт — понимаешь?..

Минаев — чудной, кажется, нет злее на язык, всех передразнит, все высмеет, и вместе с тем восторженный. Осип ему не раз говорил: «Ты, как ракета...» Сейчас Минаев даже есть не может, машет руками, кричит:

— Нет, друзья, это вы недооцениваете! Второй фронт!.. Значит, фрицам крышка — они все сюда бросили... Обида какая, карты нет!.. Осип, ты не помнишь, где этот Дьепп, далеко от Парижа?

— Почему далеко? Там все близко...

— И ты это спокойно говоришь?

— Погоди, какой нетерпеливый... В газете ничего нет, может быть, немцы выдумали или небольшой рейд. Не хочется разочаровываться...

Минаев нахмурился, как это делал Осип, постучал карандашом по жестянке:

— На данном отрезке очарования это сорняки, с которыми нужно бороться.— Вытянув свою длинную шею, он фальцетом запел «Разочарованному чужды...»

— Жалко, патефона нет,— сказал Зарубин.

— Сейчас мы исполним дуэт. Ну, «доктор Геббельс», прошу вас.

Минаев жалобно запел, и маленькая собачонка, черная с рыжими подпалинами, тотчас завыла, казалось, она передразнивает Минаева. Осип засмеялся.

— Здорово! Это ты научил?

— Где же, нет времени для серьезной учебы. Это фрицы его научили. Я только открываю скрытые познания. «Доктор Геббельс», прошу вас по случаю второго фронта красивый пируэт...

Минаев до войны был студентом юридического института. Когда его спрашивали, кем он собирается стать — прокурором или защитником, он отвечал: «Руководителем художественной самодеятельности в небольшом областном центре». Он удивлял Осипа разнообразием своих увлечений — был чемпионом по плаванию, обожал шахматы, хорошо знал литературу, прекрасно рассказывал; Осип долго ему не верил — все придумывает, но когда Минаев

рассказал полковнику Игнатову, как вместе с комиссаром поймал диверсанта, Осип развел руками — абсолютно точно, только куда интересней, чем было на самом деле...

— У меня брат в Париже. Не знаю, жив ли... В общем авантюрист, а славный парень. Он мне рассказывал свои похождения. Как в романе. Ты бы послушал, книгу мог бы написать...

— С меня моих похождений хватит. Кончится война, напишу про этот сволочной курган, про тебя, про «доктора Геббельса». Гонорар получу, увидишь...

Казалось, Минаев ни о чем не может говорить серьезно. Осип ему завидовал: молод и характер такой... Осип никому не рассказывал о своем горе; может быть, поэтому горе было еще тяжелее. Он говорил себе: глупо надеяться, прошел год, ясно, что застряли... Мрачнел, когда товарищи заговаривали о письмах, об аттестатах, школьных отметках, найденных или потерянных комнатах, о разлуке, ветрености, верности. Никто не решался поделиться с другими своими опасениями, говорили отвлеченно: «Стихи в газете: «Жду тебя». А интересно, как на самом деле?..» Зарубин равнодушно отвечал: «Есть крепкие, есть и трясогузки», и сердце обмирало — вдруг его Мащенька окажется трясогузкой?

Минаев посмеивался:

— За свою не боишься? Вот и хорошо. Я тоже не боюсь, но я в исключительном положении. Была у меня девушка, дружили... Мамуля гнала в загс, а мы все откладывали — такие чувства, что не до формальностей... Поехал я в Ленинград на две недели, это перед самой войной, возвращаюсь, а девушка говорит: «Не сердись, не моя вина», одним словом, ария из «Кармен» и приглашение на чужую свадьбу. Так что теперь я застрахован от каких бы то ни было неприятностей.

Даже о матери Минаев говорил шутливо: «Мамуля у меня замечательная, пишет «сама пошла бы воевать»... Представляю ее на этом курганчике! Она думает — стоит Гитлер, подойду да как трахну... Шестьдесят три года, а еще крепкая, дрова рубит...» Минаев не говорил, что письма с бодрыми словами трудно прочитать — буквы расплылись от слез, мать сидит и плачет: «Как мой Митенька?..»

А ее Митенька стал хорошим командиром, умел выбрать место для обороны, быстро разбирался в обстановке, с полуслова схватывал план полковника Игнатова. Осип ругал его за одно: «Зря себя подставляешь. Ребячество...» Минаев не спорил, но поступал по-своему, чувствовал, что нужно поддержать людей, слишком все страшно, пусть знают — одна судьба у всех.

Среди бойцов были и степенные и мальчишки, вежливые узбеки, бойкие ярославцы, рыбаки, лесорубы, строители, люди разных возрастов и разных профессий. С одними Минаев говорил деловито, с другими балагурил, над некоторыми подшучивал. Доставалось от него Любимову, в гражданке парикмахеру, а теперь разведчику, который несколько раз ходил за «языком». Все у Любимова было «историческим», скажет ему Зарубин пробраться на КП полковника, отвечает — «задание историческое», рассказывает, как перед войной пошел расписаться со своей Любочкой — «принял историческое решение». Минаев его дразнил, насыплет махорки: «Держи — это тебе на историческую цыгарку». Любимов удивлялся: «Никогда я так не говорю, товарищ капитан»...

В тот вечер Любимов вызвался — пойду за «языком», что-то фрицы притихли, наверно, готовятся... Послал его Минаев, комиссара не было — вызвал полковник.

В блиндаже Игнатова было так накурено, что Осип не сразу разглядел чужого майора. Полковник сидел над картой, шевеля локтями, как крыльями.

— Тихо? У Романовского тоже тихо, и у Бабченко. Новую дивизию он притащил, это точно, какую — еще не знаю. Романовский обещал выяснить. Поняли, что так просто не пройдут, подтягивают... Нам обещали завтра пополнение. Как люди? Измотались?..

Потом Игнатов повернулся к майору:

— Вот вам батальонный комиссар Альпер, надеюсь, что тот...

— Вы киевлянин? — спросил майор.

— Да.

— Жену как зовут — Раиса Михайловна?

— Точно.

— Он самый. Слушайте, товарищ комиссар, жена-то вас ищет. Я случайно напал, полковник при мне гово-

рит «батальонный комиссар Альпер», фамилия не очень распространенная, я и попросил, чтобы передали... Я сюда прибыл восемнадцатого, прямо с Западного, там теперь тоже жарко...

Майор стал рассказывать о наступлении на Ржев, неплохо началось, но его полк чуть зарвался, а правый сосед не поддержал, создалась тяжелая обстановка... Он увлекся и забыл про жену комиссара. А Осип не решался его перебить. Наконец майор спохватился:

— Вам ведь про жену интересно. Воюет, в нашей тридцатой... Снайпер.

Осип даже вскочил: Рая — снайпер? Не может этого быть!..

— А не ошибка, товарищ майор?

— Какая же ошибка? Она нас замучила — то в наркомат пиши, то в Пур. Говорю вам — Раиса Михайловна Альпер, киевлянка, муж политработник — чего вам еще?.. Тридцать фрицев у нее на счету. «Красная Звезда», медаль «За отвагу». Кажется, ясно...

Игнатов угостил колбасой с жареной картошкой, дал водки. Осип сидел и улыбался — не мог скрыть своих чувств. Он даже не слушал майора и очнулся, только когда тот сказал:

— Говорят, второй фронт открыли?

Полковник усмехнулся:

— Какой там второй фронт!.. уже убрались. Не знаю — разведка или так — для отписки... Нужно нам на себя рассчитывать, это ясно. Спасать никто не спасет, еще нас попросят — спасайте...

Ночью Осип рассказывал:

— Жену нашел, понимаете? Снайпер... На рояле играла, мать не давала рубашку постирать — «слабенькая». Тридцать фрицев! «Красная Звезда»... Ну, что вы скажете?.. Прямо как в романе!..

Минаев рассмеялся:

— Я тебе говорил — сидит писатель, выдумывает, деньги ему за это платят, а хитрее, чем на самом деле, не выдумает... Ну, комиссар, поздравляю. Про дочку тоже рассказал?..

— Нет, не знает. Наверно, с бабушкой. Я думаю, Рая их в тыл послала...

— Про второй фронт полковник ничего не слыхал?

— Ерунда, никакого второго фронта. Демонстрация...

Минаев рассердился:

— Чорт знает что!.. Некрасиво. А нам телеграммы шлют, восхищаются... Очень некрасиво. Я сказал бы — не по-джентльменски. Значит, высадились и погрузились?..

Минаев неожиданно рассмеялся.

— Что ты?

— Смешные стишки вспомнил:

Британский лорд
Свободой горд,
Упрям и тверд,
Как патриот.
Он любит честь,
Он любит есть,
И после сесть
На пароход...

— Это ты придумал?

— Полежаев. Еще когда Пушкин жил...

Любимов отличился — приволок немца.

— Вот вам, товарищ капитан, дурак за водой ходил, вдвоем они пошли, другого я прикончил...

— Что это у тебя гимнастерка в крови?

— Ножом, паразит... Хорошо, нож соскользнул. Хотел я его стукнуть, сдержался — пусть поговорит... Это, товарищ капитан, не просто фриц...

Минаев улыбнулся:

— Хочешь сказать, что фриц «исторический»?

— Какой он исторический, это не просто фриц, это первейшая сволочь! Я его осторожно взял, как птичку, на себе тащу, он, сукин сын, ножом...

И Любимов начал ругаться; даже непонятно, откуда у парикмахера, который всю жизнь учился вежливости, был такой неисчерпаемый запас ругательств — казалось, все в нем кипит, он не мог остановиться, никто его и не останавливал — пусть отведет душу...

Когда Любимов замолк, Осип сказал:

— Пойди к Лине, она перевяжет.

Любимов поглядел на Осипа и смутился, обратился к Минаеву:

— Товарищ капитан, я его пальцем не тронул, а он, подлец, исподтишка... Когда кончите допрашивать, разрешите разок съездить. Ножом ковырнул...

Немец стоял навытяжку, называл Минаева «господин полковник». Он рассказал, что его дивизия еще не участвовала в больших боях; их привезли две недели назад из Нанси.

— Нам говорили, что приказ не позднее двадцать шестого выйти на Волгу. Позавчера у нас объявили, что Сталинград взят.

— Это кто объявил? Геббельс?.. А ну-ка, «доктор Геббельс», поддержи...

Собачонка залаяла. Фельдфебель ничего не понял, но, видя, что русские смеются, на всякий случай почтительно улыбнулся.

— А что вам офицеры говорили — почему здесь топчетесь?

— Офицеры говорили, что повсюду хорошо, только здесь задержка, потому что здесь...

— Что здесь?

— Господин полковник, я простой солдат, я исполнял приказ...

— Я тебя спрашиваю, что офицеры говорили?

— Они говорили, что здесь против нас сумасшедшие...

Только рассвело, начали бомбить. Кажется, такого еще не было. А может быть, это только кажется, пять дней тому назад, когда убили Магарадзе, тоже казалось, что такого еще не было. Хочется кричать... Когда улетели, выползла Лина, перевязала руку младшего лейтенанта Баранова: расщеплена кость. Вчера Минаев, глядя, как Баранов подшивает воротничок, сказал: «Золотые у тебя руки»... Сколько убитых?.. Игнатов обещал пополнение... Двинулись танки. Бронебойщик Шаповалов прицелился, осколком снаряда его ранило в руку; он все-таки тремя выстрелами остановил танк. Чадушкин бил по тяжелым; один из них подошел к холмику. Чадушкин не умолкал. Два снаряда легли на бугор, ранило Загвоздева, третий попал в цель — расползлась гусеница. Немецкие автоматчики полезли было дальше, но их остановили пулеметы. Как всегда, трудно было что-либо понять, но все делали именно то, что нужно; не было

в этом ни порыва страсти, ни задора, только то ожесточение большой усталости и большой воли, которое поддерживало батальон с первого дня битвы. У Минаева было злое, жесткое лицо; небритый, он казался постаревшим на двадцать лет; он вытирал рукавом лицо и кричал в телефон: «Шестнадцать танков... «Мессеры» над правым хозяйством...» Осип ни о чем не думал — ни о Рае, ни о Сталинграде. Он потом не помнил, как лег за пулемет, когда убили Завьялова, как кричал сержанту Королеву: «Коммунисты, вперед!..»

Наступила тишина, долгожданная и тягостная тишина первых минут, когда люди, земля, воздух опоминаются. Осип пошел к Шаповалову.

— Что с рукой?

— Он, гад, сошки разбил. Я вижу — идет, перетащил ружье...

Осип говорил Минаеву:

— Я его про руку — кость разбило, а он про сошки. Нужно снова подписать, оба подпишем,— почему они тянут с награждением? Кто-кто, а Шаповалов заслужил...

Минаев вдруг улыбнулся.

— Ты про руку, а он про сошки... Знаешь, фрицы не такие уж дураки, наверно мы действительно сумасшедшие. И не только мы — у Романовского, повсюду... Похоже, что Сталинграда им не взять.

— Если так дальше будет, через неделю откатятся...

Им казалось, что это — конец, еще несколько таких дней, и наступит развязка. А битва только разгоралась.

5

Рая перечитывала письмо Осипа и всякий раз, доходя до слов «обязательно пришли фото», растерянно улыбалась. Не узнает... Она посмотрела в зеркальце, как будто хотела проверить, похожа ли на прежнюю. Нет, не киевская, другая — ржевская...

Она нашла Осипа. Какое это счастье!.. Она шла по лесу и улыбалась, а лес был разукрашен — красный, золотой. Вдруг она остановилась — вспомнила все, что давным-давно запретила себе вспоминать: Киев, за

шкафом громко вздыхает мама, Аля в зеленом платьице, с куклой Машей, с верблюжонком — «мой велблюд»... Рая еще улыбалась, а в глазах были слезы, первые за весь этот год. «Сержант Раиса Альпер, участник слета снайперов»... Ей хотелось сейчас же увидеть Осипа, прижаться головой к его груди, ничего не говорить, только долго, долго плакать.

Она снова перечитала коротенькое письмо. Осип не написал, где он,— нельзя, но она знала, что майор Калюжный поехал к Сталинграду. «Сейчас здесь такая обстановка, что трудно сосредоточиться». Может быть, пока шло письмо, его убили? Найти, чтобы сразу потерять... Малодушие! Как будто если у Сталинграда, значит обязательно убьют. Он не такой, чтобы пасть духом. Мама говорила: «Ося не Лева, Ося крепкий...» Бедная мама, что они с нею сделали?.. Осип пишет, что понимает все, только не может себе представить меня с винтовкой. А разве я могла себе представить?.. Читала «Прощай, оружие» и ревела, говорила Вале: «Мужчины сумасшедшие, стрелять в людей...»

Когда Рая мечтала попасть в истребительный батальон, она не понимала, что это значит, она только чувствовала, что жизнь перемещается с еще шумного Крещатика на поля, в леса, в другой, неведомый мир, который Полонский называл «театром военных действий». Попав в госпиталь, Рая отдалась работе, радовалась: вот и я пригодилась... Тогда она думала: скоро победим, встречусь с Осипом, все будет по-другому, он меня поймет, смогу больше дать Але — повзрослела, увидала жизнь... Она думала о завтрашнем дне, как о празднике, от слов «когда кончится война» сильнее билось сердце, мерещились Днепр, аллея с каштанами, тихая музыка, покой.

И вот настал тот страшный день: «Наши войска оставили г. Киев». Она делала все, как прежде, накладывала перевязки, утешала раненых, была исполнительной, приветливой; никто не догадывался, что за улыбкой, за лаской, за глазами, прикрытыми длинными ресницами, нет ничего, кроме холода и смерти.

Они стояли под Ростовом. Ветер швырял в лицо жесткий снег. Привезли раненых. Рая в первый раз

увидела немцев. Неужели я должна за ними ухаживать?.. Неделю назад пришла женщина из Киева, рассказывала: «Убивали в Бабьем яру... И детей...» Может быть, этот убил Алю?..

— Вы были в Киеве? Не понимаете? В Киеве?

Немец кивнул головой.

В тот вечер Рая прошла к Лыжкову:

— Товарищ комиссар, разрешите подать рапорт...

Лыжков прочитал и насмешливо спросил:

— Ищете, где повеселее?

— Нет. У меня дочка осталась в Киеве. И мать мужа...

— Вы и здесь делаете полезное дело.

— Да, но я не могу... Я должна убивать.

Она так это сказала, что Лыжков отвернулся.

Она научилась стрелять; говорили, что у нее хороший глаз, крепкая рука. Но она ни в кого не стреляла. Зачем я здесь? Уж лучше ходить за ранеными... Молодая женщина, она жила среди мужчин; нелегко было ко многому привыкнуть. Пробовали за ней ухаживать, она отрезала: «Брось! Не такая...» Один лейтенант говорил: «Разве это девушка? Это камень!..»

Косиков был широкоплечим угрюмым сибиряком. Увидав впервые Раю, он недоверчиво оглядел ее: пигалица... А потом с гордостью Косиков говорил: «Это я ее выучил...»

Она не забудет, как убила первого немца. Был светлый весенний день; едва зазеленевшие деревья казались кружевными. Косиков спросил: «Видишь?..» Рая увидела рогульки стереотрубы. Она ждала; вся ее жизнь была сейчас в глазах — не пропустить. Часа два или три спустя немец приподнялся, видимо пришла смена. Рая не пропустила. Косиков говорил: «Ты только не зазнавайся, это тебе повезло. С первого раза...» Рая почувствовала необычайную легкость, камень свалился с души.

Когда-то она любила Шопена, вздыхала над «Вешними водами», огорчалась — Осип не заметил, что у меня новая прическа... И вот о ней говорят: «Глазомер исключительный, знает, какой ветер, и спокойная — выждет. Двадцать восемь на счету...» А она живет одним — не прозевать двадцать девятого. Две жизни. Да и две женщины... А может быть, сердце все то же — кончится

война (разве она может кончиться?), и сержант Раиса Альпер снова станет Раей, будет играть ноктюрны, плакать над романом, шептать Осипу: «Милый, не уезжай»?.. Нет, никогда этого не будет, не может быть! Убить двадцать девятого... Али нет. И меня нет... Осип написал другой, прежней... Почему я думаю о себе? Осип у Сталинграда...

Степь, юг, далекий, незнакомый город. Говорят, он очень длинный и белый. Теперь, наверно, почернел... Там решается все. Удивительно, что и название такое — Сталинград. Это не может быть случайно... Туда их нельзя пустить. Как они этого не понимают?..

Рая увидела вдалеке рябь реки. Волга... До чего она длинная! Здесь лес, болота, пройти трудно — засасывает. Вчера сел грузовик, так и не вытащили. А где Осип — степь... Если кинуть веточку, доплывет...

Уже больше месяца как они наступают на Ржев; заняли аэродром; а Военный городок еще у немцев; перед глазами торчат два корпуса, один чуть повыше, их прозвали «полковник» и «подполковник». Направо — Ржев; издали он кажется нетронутым, но многие дома сожжены, остались только фасады. Немцы живут в блиндажах. Перед самым городом лесок, часть его наша, часть немецкая. Ползут разведчики в пестрых маскхалатах, похожих на картины футуристов. В батальоне капитана Горохова много узбеков; стройные, смуглые, в маскхалатах, они кажутся героями восточных сказок. А не похоже это на сказку, глубокие, темные блиндажи, окопы, где грязь чавкает под ногами; прострелен каждый вершок; день и ночь огонь; железо, очень много железа — подбитые танки, чащи проволоки, шлемы. Земля густо нафарширована осколками снарядов, полусгнившими людьми, минами, частями машин, конскими черепами, калом. На крохотном участке живут и умирают десятки тысяч людей. Иногда слышно, как немцы разговаривают или поют. Когда пролетают «илы», наши жмурятся: как бы не спутали... По ночам «огородник» скидывает на город бомбы, и все, что еще может гореть, горит. Люди говорят о махорке, о связистке Мане, которая переехала в блиндаж капитана, о военторге, о том, что нужно бы пожаловаться в газету — пропадают письма. Потом начинается

атака: взять два квартала. Кварталов давно нет, есть только квадраты на карте, мусор, битое стекло, грязь. Нужно продвинуться на сто шагов. Батареи ищут одна другую. Минометы ищут людей; когда минометы на минуту смолкают, слышна пулеметная дробь. Липнет к лицу грязь. Потом рука липнет: кровь. Считают убитых и трофеи. Член Военного Совета проверяет материал к награждению. При коптилке ищут «автоматчиков» — так называют насекомых. Идут длинные споры: когда начнут выдавать сто граммов — в октябре или ноябре? Усач-старшина говорит: «Сегодня, наконец, выспимся»... Полчаса спустя он лежит мертвый возле ППС — одинокий, как будто заблудившийся снаряд разорвался рядом. Величайшее однообразие слов, картин, действий. «Развесил, сейчас начнет»... «Пикирует, паразит»... «Ока, здесь Гвоздика»... «Да не мешайте вы, чорт бы вас взял»... «Дайте обстановку»... «В девятнадцать ноль-ноль, квадрат сорок шесть»... «Сестричка, попить»... А за всем этим ожесточение второго года, ярость, у которой больше нет слов.

Стороннего могли озадачить эти бесплодные попытки овладеть остовами сожженных домов. Генерал Седельников повторял: «Оттянуть силы от Сталинграда». И это знал не только молчаливый генерал, с одутловатым лицом, с жесткими седыми волосами, стриженными бобриком, которому ординарец напрасно приготовлял на ночь узкую детскую кроватку и который засыпал, сидя у стола над картой, одинокий, стареющий человек, без жены, без детей, всю жизнь отдавший армии. Это знал и красавец Мирза Алимов, у которого осталась красавица Эстер в гранатовом саду. Это знали все. Над воронками, над грязью окопов, над проклятыми дорогами, устланными деревьями, по которым ползли грузовики, над «хозяйством» Седельникова, над громом разрывов, над стонами агонизирующих было одно — Сталинград.

Рая больше ни о чем не помнила. Если вспомнить, промахнусь... А нужно обязательно снять пулеметчика — он мешает... Теперь она не думала: «он убил Алю» или «он немец», она думала — «он мешает». Война теперь была в ней.

Рая зашла в блиндаж погреться; до рассвета еще четыре часа, а ночи холодные. Трудно было дышать — от дыхания людей, от мокрой и разогретой одежды. У коптилки сидел лейтенант Милецкий; он поздравил Раю: «С двадцать девятым. Теперь юбилейного — тридцатого...» Милецкий бессмысленно глядел на карту, которую знал до последней черточки, до бывшего здания Промкооперации на углу двух бывших улиц в квадрате сорок девять. А может быть, он просто спал с открытыми глазами. Рая вдруг вспомнила: жив Осип!.. Что, если война кончится, они уцелеют, встретятся?.. Глупо мечтать... Она вынула из сумки письмо, которое вчера написала, к нему она приложила фотографию, вырезанную из армейской газеты. Фотограф заставил ее задрать вверх голову и лихо улыбаться. Вылитый Зайцев... (Зайцев был белобрысым пареньком, запевалой и гармонистом.) Рая поглядела на мелкие буквы письма. Зачем я это написала? Не нужно ему знать, что мама и Аля остались. Он у Сталинграда... И без того тяжело. Она порвала письмо, а на фотографии написала: «Дорогой мой! Я не могу писать, слишком большое счастье, что ты нашелся. Я тебе скоро напишу, а сейчас посылаю эту фотографию, только не думай, что я такая, это фотограф постарался. А для тебя я все та же — киевская».

6

Рихтер просиял, когда полковник Габлер прислал за ним своего ординарца. Шесть лет тому назад Рихтер построил загородный дом для Габлера; полковник был доволен: «Прекрасное сочетание старонемецкого духа с современным комфортом». После этого Габлер время от времени приглашал к себе архитектора. На прошлой неделе Рихтер письменно поздравил полковника с «рыцарским крестом»; он не рассчитывал, что Габлер в ответ позовет его к себе.

Батальон Рихтера пятый день был на отдыхе. Пора, у всех истрепаны нервы... Говорят, что на юге теперь куда лучше — русские удирают, наши на Кавказе, через несколько дней закончится очищение Сталинграда.

А здесь —ад. Никогда он не забудет этого проклятого Ржева... Он уже прошлой осенью слышал про русские пушки, которые изрыгают сразу много снарядов. Отвратительное изобретение! Теперь он испытал на себе эту музыку. Можно сойти с ума... Один пленный «иван» сказал: «Катюши»... Непонятные люди, окрестить такую пакость нежным женским именем... Ничего они не сделают даже со своими «катюшами». Хорошо, что здесь полковник Габлер, это не выскочка, а старый, опытный командир. Для меня большая честь — полковник зовет к себе унтер-офицера. Представляю, как завидует мне лейтенант Газе. У Таракана усы запрыгали, когда пришел ординарец...

Полковник Габлер помещался в двухэтажном деревянном доме; здесь при красных была школа; все заново покрасили. Рихтер улыбнулся: вот что значит немецкий гений — беседочка из березовых стволов, такие же скамейки, ворота, все белое, северное, входит в ландшафт и вместе с тем напоминает «бидермайер» — старую бюргерскую Германию.

Внутри было светло, чисто, крашеный натертый пол, цветы в горшках, на дощатых стенах карты; пахло одеколоном и сигарами. Полковник постарел за эти шесть лет — немудрено — три кампании. Ему, наверно, шестьдесят. Рихтер поздоровался с ним как подчиненный, но Габлер протянул руку.

— Садитесь и забудьте сейчас о званиях, мне приятно встретить старого знакомого. Все время видишь только офицеров, хочется отвести душу, поговорить с культурным человеком, с художником. Вам, наверно, скучно,— когда смотришь на русские хибарки, забываешь, что есть архитектура. Впрочем, в Смоленске я видел забавные церкви...

— Да, там имеются кое-какие памятники. Русская старина лишена размаха, чувствуется ограниченность землепашца или пастуха, но по-своему это мило...

Габлер улыбнулся, и его суровое лицо стало сразу приветливым — вместо солдата сидел добрый дедушка.

— Старина, господин Рихтер, вообще привлекательна, только старые люди, вроде меня, слишком рано

становятся памятниками — молодым хочется поскорее занять их место...

Они разговаривали о молодости, о легкомыслии французов, о красоте старинных немецких городов, о внуке полковника, который отличился в воздушных боях на юге, о Гильде (Габлер не забыл о ней осведомиться), о том, как трудно жить без хорошей музыки, грубеешь с каждым днем. О войне полковник не заговаривал, только спросил: «Тяжело на вашем участке?», и когда Рихтер откровенно признался, что тяжело, Габлер задумчиво сказал: «У нас невыгодное положение, ничего не поделаешь, фюрер не может ослабить нажим на юге. Приходится обороняться... Жалко, что мы губим здесь цвет армии, участников зимней кампании...»

Рихтеру очень хотелось спросить, как дела на юге, кончится ли война до зимы, но он не решался. А Габлер снова перевел разговор на искусство.

— Я не люблю Вагнера, наверно, я слишком стар, я предпочитаю музыку, которая позволяет забыть о действительности. Мне нравится Шуберт, Шуман... Вы — художник, я не скрою перед вами, что мне нравится и Мендельсон, хотя теперь его отвергают из-за политики. Он выражает немецкую нежность.

Рихтер обрадовался, что когда-то ходил с Гильдой на концерты — глупо было бы показать себя профаном. А насчет Мендельсона полковник прав — наци хорошо воюют, но, вырывая крапиву, они заодно вырывают и цветы... Это сравнение настолько понравилось Рихтеру, что он осмелился сказать Габлеру:

— Молодые люди часто вместе с крапивой уничтожают розы.

Полковник снова печально улыбнулся.

— Бывает, что они принимают розы за крапиву.

Загудел полевой телефон. Рихтер вскочил, хотел выйти из комнаты, но Габлер показал рукой — оставайтесь.

— Какая же это дивизия!.. В триста сорок седьмом осталось шестьдесят человек. Если не отведут, чтобы пополнить, привести в порядок, я не отвечаю... Да, именно так можете передать — не отвечаю...

Полковник предложил Рихтеру сигару, закурил, помолчал и вдруг рассердился.

— Пора понять, что это не прошлый год, русские многому научились. На юге положение сложное. Я абсолютно убежден в превосходстве нашей армии, но плохо, что каждый мальчишка сует свой нос... Командовать боевой единицей, по меньшей мере так же трудно, как управлять оркестром. Я очень люблю музыку, но я вас уверяю, господин Рихтер, мне не придет в голову встать за пюпитр и помахивать палочкой. Нужно уметь во-время оценить противника, правильно распределить свои силы. Проигрывает тот, кто разбрасывается. Я не сомневаюсь в нашей победе, но можно было обойтись без таких жертв... Конечно, молодость — великая сила, только есть чему поучиться и у старших...

Рихтер подумал: я тоже не из «гитлерюгенд», и почтительно улыбнулся.

Габлер отошел; он вспомнил, как Рихтер рассказывал о поездке в Сибирь.

— Вы ведь здесь не впервые. Вы говорите по-русски?

— Немного научился за год. Когда я здесь бывал до войны, я объяснялся по-немецки.

— Значит, только с интеллигентами, но их здесь немного... Как вам кажется — русские действительно настроены против нас или это нечто другое — принуждение, тупость, массовый психоз?

— Я боюсь вам ответить. Я сам себя спрашиваю... Мне кажется, что их настроили против нас и они верят своим главарям. Мы для них представляем не только враждебную идею, но и чужой мир. Я разговаривал с бедными людьми, уверяю вас, что им жилось при большевиках плохо, я им говорил: «Теперь имеют место отдельные эксцессы — на то война, а когда мы победим, мы пришлем вам мануфактуру, утварь». Один пожилой человек, не коммунист — обыватель — мне ответил: «Не нужно нам вашего»... Он побоялся договорить, но я понял — он хотел сказать, что предпочитает свой режим. Это доходит у них до пароксизма.

— Вы совершенно правы, я сам так думаю. Мне хотелось услышать мнение человека другого поколения, дру-

гой среды. Обо всем этом нужно было подумать заранее... Теперь у Германии одна надежда — наша солдатская честь, искусство нашей армии. И я убежден, что мы поставим на колени русских, нужно только это сделать до того, как начнется на Западе... Те не готовы, да и не торопятся, у них свои планы, в хитрости им нельзя отказать. Я думаю, что они ничего не имеют против разгрома России, конечно, при условии, что это ослабит и нас. Мы не можем допустить войну на два фронта. Я это говорил еще прошлой осенью. У нас теперь в моде древний Рим, перед вашим приходом я прочел в «Беобахтере», что мы — «жрецы Марса». Почему бы этим «классикам» не вспомнить другого бога — Януса? Римляне в годы мира закрывали его храмы, но когда они воевали, они чтили именно Януса — у него два лица, он смотрит вперед и назад, на восток и на запад... Жалко, что не оказалось у нас Януса ни летом сорокового после Компьена, ни весной сорок первого,— он сказал это улыбаясь, потом лицо его стало строгим.— А теперь, господин Рихтер, осень сорок второго. Как говорят французы, вино разлито, нужно его выпить. И наши гренадеры не дрогнут...

Габлер сказал, что рад был встретить Рихтера, и разговор на этом кончился.

Когда Рихтер вернулся в свою часть, его обступили; никто не решался спросить, как было у полковника. А Рихтер молчал: не знал, что сказать. Таракан не выдержал:

— Он тебе не сказал — скоро кончат на юге?

— Скоро.

— Я так и думал. А если на юге кончат, русские здесь скиснут. Только бы кончилось до зимы!..

Все глядели на Рихтера, как на именинника; один Марабу сидел в стороне, не участвовал в общем разговоре. Вечером, улучив минуту, когда Рихтер остался один, Марабу спросил:

— Как вы нашли Габлера?

— В хорошей форме. (Рихтер побаивался Марабу и, говоря с ним, взвешивал каждое слово.)

— Странно... Это военный старой формации. Они считают, что победят теории Клаузевица и Мольтке. А победит исторический фатализм фюрера. Если даже под

Сталинградом ляжет половина Германии, Сталинград будет наш.

Рихтер не стал возражать; Марабу, как всегда, расстроил его своими мрачными предсказаниями. А на сон хотелось вспомнить что-нибудь приятное. Полковник сказал, что союзники хитрят. Для нас это выгодно... Возможно, что фюрер это предвидел? Тогда он перехитрит всех хитрецов. Вначале все говорили, что он фанатик. А после Мюнхена даже скептики признали, что это замечательный стратег. Габлер, наверно, недолюбливает наци, как и все старые военные. Может быть, он их недооценивает?.. А у фюрера, как у Януса, одно лицо обращено на восток, другое на запад... Во всяком случае, приятно, что я побывал у полковника. Он может помочь с отпуском... Я ничего не напишу Гильде, нагряну — нужно решиться, проверить... Как сказал Марабу? Исторический фатализм...

7

Луи шел по Стренду. Был теплый день с легким туманом. Лондон казался бледным и светлым, как выздоравливающий больной. Люди позабыли о бомбежках, и развалины перестали пугать, сделались частью пейзажа. Говорили о мелких невзгодах; курильщики сигарет завидовали курильщикам трубок: табак повсюду, а сигареты трудно достать. Газеты были заняты далекой войной в России. Лондонцы накалывали флажки на карты, восхищались Красной Армией, говорили: «Только русские на это способны»; здесь все мешалось — восторг и ужас, жалость и преклонение. На банкете пожарных дружинников один профессор, предложив выпить за союзную Россию, сказал: «Битва под Сталинградом — это сочетание современной техники с первобытным хаосом, роман Уэлса в интерпретации толстовского Платона Каратаева»... Порой лондонцы вспоминали страшный год, когда они в метро, в щелях ждали смерти, когда школьники тушили зажигалки, а пожилые клерки маршировали, готовые сразиться с врагом. Мы выстояли, говорили себе лондонцы, теперь не наш черед... И все же, читая телеграммы о битве под Сталинградом, многие недоумевали: чего мы ждем?..

Чего они ждут? — думал Луи. Прошло больше двух лет с того дня, когда рыбацкий парусник причалил к берегу Англии. Первый год был таким, что Луи не успел призадуматься: чуть ли не каждый вечер вылет; он сбил три вражеских самолета; полгода провалялся в госпитале — раненую ногу починили; жил одним — защитой Лондона. Искалеченный город, который кричал сиренами, казался ему родным. Он был счастлив, что уехал из Франции, ее он увез в себе, за нее сражался над Лондоном.

Как давно это было! Война куда-то ушла. Люди об этом говорят с облегчением. А Луи терзается: боши попрежнему в Париже, и он должен сидеть, ждать неизвестно чего.

Когда он приехал, перед его глазами была могила матери с завядшими розами. Он вспоминал костры беженцев, трупы детей, заплаканные лица женщин. Он простился с Мадо темным вечером, она обнимала, не могла отпустить. Что с ней? Что с Францией?

Прошел год. Луи как-то достал пачку парижских газет; читал и не мог понять. Театры, имена знакомых актеров, объявления о книгах, сдаются квартиры, антиквар продает ковры, какая-то дама потеряла пуделя... Вдруг он увидел в рубрике «Светская хроника»: «Известный деятель промышленности, инженер и офицер Почетного легиона г. Жозеф Берти сочетался браком с мадемуазель Маделен Лансье. Ввиду событий на церемонии присутствовали только родственники и ближайшие друзья новобрачных». Он скомкал газету. Какая гадость! Конечно, Берти порядочный человек. Но при немцах справлять свадьбу!.. Неужели все французы рассуждают, как отец?.. Этого не может быть! Оттуда пробираются смельчаки, рассказывают — французы не подчинились, ночью убивают бошей, спускают с откосов поезда. Может быть, все это — и театры, и книги, и свадьбы—камуфляж? Мадо не способна на низость. Если она связала свою судьбу с Берти в такое страшное время, значит, Берти — патриот, участник сопротивления, рискует каждый день жизнью. Отсюда ничего нельзя понять. Если бы они высадились!.. Туда, гнать бошей!..

До войны Луи считал, что политика — это скучная и неопрятная профессия. Сначала люди кричат на собра-

ниях, каждый обещает земной рай, ругает противников; потом депутаты собираются в Бурбонском дворце, одни составляют правительство, другие его опрокидывают; коммунисты говорят, что левые республиканцы замешаны в аферах, нечисты на руку, левые республиканцы называют коммунистов «подкупленными агентами». Все это противно... Отец мечтал, что Луи станет адвокатом... А Луи ненавидел красноречие: если человек хорошо говорит, значит, жулик... Он был красив — высокий, смуглый, с узким лицом — походил на испанца. Девушкам он нравился, но не было у него ни легких интриг, ни настоящей любви. Он вырос среди разговоров об искусстве и той легкости, которую обожал Лансье; он возненавидел стихи («зачем говорить в рифму?»); тянулся к опасности; поэтому и стал летчиком. Война его многому научила; он пережил разгром, понял, что жизнь — не спортивное состязание. Летом сорокового с любовью и отчаянием он глядел на каждый домик, на каждый тополь. Это — Франция, его Франция, и он ее отдает!.. Когда отец начал защищать Петэна, Луи понял: политика отравила всех. Они готовы отказаться от родины, лишь бы уцелел карман... Ему сказали, что есть генерал, который созывает военных. Луи нашел место на паруснике. В Лондоне, наконец-то, он увидел де Голля. Луи удивляло, что англичане говорят о «Свободной Франции» дружески, но как-то покровительственно. Почему?.. Трудно было сосредоточиться: шла большая воздушная битва.

Он задумался, когда наступило затишье. Говорили только о русских. Прошлой осенью думали, что русские разбиты, потом начали говорить, что русские расколотят немцев, теперь снова уверяют, что русским конец. А Луи должен сидеть и курить сигареты, благо военным выдают... Неужели и здесь политика? На предвыборные собрания можно было не ходить. Теперь другое... Ты говоришь: «Я готов отдать свою жизнь», а твоей жизнью распоряжаются политики, как раньше они распоряжались налогами или пенсиями... Почему не открывают второго фронта? Он часто об этом спрашивал приятелей-англичан. Они отвечали: «Мы еще не подготовлены. Не хотим нового Дюнкерка...» Он не спорил, но в душе возмущался: что им Франция? Они рады, что их больше не бомбят... Он

стал подозрительным, ему казалось, что англичане смотрят на него свысока — они отстояли свой Лондон, а французы сдали Париж... Франция для них не государство, а театр предполагаемых военных действий: «Когда хорошенько подготовимся, высадимся...» Никто не замечает рослого генерала; он затерялся в чужом большом городе.

Недавно Луи разговорился с майором Девисом. До войны Девис проводил каникулы в Бретани, любил французов. Луи спросил:

— Почему не открывают второй фронт?

— Сейчас это связано с риском. Конечно, немцы перекинули в Россию много дивизий, но побережье они укрепили, оставили гарнизоны. Немцы достаточно зарекомендовали себя. Если мы теперь высадимся, нас могут скинуть в море. Разумнее подождать. Зачем лишние жертвы?

— А вы не боитесь просчитаться? Когда немцы брали Варшаву, мы сидели сложа руки. Вы знаете, чем это кончилось...

— Сравнение неудачное, поляки не могли ослабить Германию, другое дело Красная Армия. Немцы уже прошлой осенью жаловались, что победы им стоят чересчур дорого.

— Вы уверены, что русские с ними справятся?

— Нет. По всей видимости, Сталинград доживает последние часы. Значит, русские будут отрезаны от нефти. Сопротивление в России не прекратится, но оно станет дезорганизованным. Гитлер еще раз победит, только это будет пиррова победа. Мы нанесем ему последний удар...

Луи не знал, как возразить: Девис — кадровый офицер, разбирается в стратегии, есть в его словах логика. И все же...

— Может быть, вы правы,— сказал Луи,— но у летчиков закон — когда атакуют одного, другие спешат на выручку. По-моему, это обязательно не только в воздушном бою...

Майор улыбнулся, и его красно-кирпичное, обветренное лицо стало наивным.

— Я вас понимаю, лично я испытываю неловкость, когда думаю о русских... Что вы хотите — мы люди... Вы больше всего любите Францию, русские Россию, я Англию. Жизнь английского парнишки мне дороже жизни

русского. Это звучит не гуманно, но война вообще не гуманное занятие. Я — военный и не очень интересуюсь политикой, а есть люди, которые над этим думают. Мой тесть — депутат, он мне объяснил, что немецкое наступление для нас плюс. Если большевиков разобьют, мы поможем русским создать государство с другим, более близким нам строем. А если большевикам удастся к моменту крушения Германии сохранить часть территории, они будут настолько обессилены, что не смогут нам перечить. Конечно, это — политика, я не знаю, насколько мой тесть компетентен... Я возражаю против преждевременной высадки с военной точки зрения. Ничто мне не помешает восхищаться защитниками Сталинграда, будь они архикоммунисты.

После этого разговора Луи помрачнел. Есть могила мамы, есть Франция и есть эта проклятая политика... Из Франции приходят страшные вести. Лаваль служит немцам не за страх, а за совесть. Увозят насильно людей в Германию. Генерал Штюльпнагель расстреливает заложников. А эти не хотят спасти Францию, потому что тесть Девиса боится большевиков, как в тридцать шестом отец боялся Лежана!..

К Луи прибежал его товарищ Андре, не здороваясь, сказал:

— Отправляют эскадрилью в Россию. Мишель уже записался...

Луи не понял — кто посылает, кого. Андре объяснил:

— Наши представители договорились в Москве. Это замечательно — там настоящая война, можно бить бошей. Мне сказали, что берут только хороших. Боюсь, меня не возьмут. А у тебя три сбитых...

— Идем,— сказал Луи.— Возьмут и тебя. Здесь нам нечего делать. Я разговаривал с Девисом, этот антракт надолго — до последнего действия. Политика — консерваторы, коммунизм, чего-то боятся, да ну их!.. Главное теперь бить бошей.

Они пошли записываться. Луи купил вечернюю газету. Они жадно прочитали телеграмму из Стокгольма от собственного корреспондента: «Немецкие газеты пишут о фанатизме, проявляемом русскими в Сталинграде. По словам немецких газет, в этом городе продолжаются страш-

ные бои. Русские гибнут, переправляясь через Волгу, от артиллерии и «штукас»...

Луи сказал:

— К отцу перед войной приходил большевик. Кажется, инженер. Начали спорить — будут ли русские воевать. Он сказал, если придется, будут воевать так, что страшно подумать. А ведь правда — они так воюют, что не только боши, тесть Девиса — и тот перепугался... Ты не знаешь, когда отправят эскадрилью? Хорошо бы поскорее — попасть в Сталинград...

8

Когда-то Сергей с завистью смотрел на фотографии нью-йоркских мостов — вот бы построить!.. Сейчас ему вспомнились стихи Маяковского:

> Если придет окончание света —
> Планету хаос разделает влоск,
> И только один останется этот
> Над пылью гибели вздыбленный мост...

Этот — не вздыбленный, плоский, бревенчатый. А все остальное есть: и окончание света, и хаос, и гибель... Наверно, Бруклинский было легче построить, чем этот... Немцы бомбят, бьют из пушек, из шестиствольных минометов. Ночью Волга вскипает; на берегу горит город. Люди гибнут, и это так же естественно, как то, что другие еще живут, едят кашу, ругаются, перевязывают раны, закуривают, пишут письма. Что это — агония, безразличие или изнанка битвы, будни войны?

Говорят, что человека отличает от животных способность смеяться. Все же поразителен веселый смех здесь, когда, кажется, можно только кричать. А Зонин заразительно смеется. Рассмешил его Сергей:

— Знаешь, французы не понимают, как можно есть кашу. Один француз сказал: «У нас это только скот ест». Там в посольстве был курьер, он обиделся: «Вы вот лягушек едите, а у нас даже скот этого не станет есть»...

— Неужели лягушек едят? — спросил с недоверием Зонин.

— Конечно. И я ел. Вкусно. Я и кашу люблю и от лягушек не откажусь...

«Днем если убьют, это значит — в точку, а ночью — простая случайность»,— говорит Рашевский (он любит философствовать). Ночью немцы стреляют вслепую. Люди привыкли. Едят, вспоминают:

— Я пельмени ни на что не променяю. С уксусом... Пропустить двести граммов...

— Чего скромничаешь? Скажи пол-литра...

— А я холодец страсть люблю...

— Наловить стерлядок, уха-то какая!..

— Рыбы у нас много, река Костромка, озеро. Весной заливает, из дому не выберешься, у каждого лодка...

— По Волхову катались — баян, песни... Напротив — сосновая роща, пионерлагерь был. Девушка с ними приезжала, пела «Любимый город»...

— Маленькая речка, зовут Батбах, по-русски значит болото. Было большое болото, говорили жить нельзя. А там колхоз-богатырь, помидоры, арбузы...

— Одним глазком взглянуть!..

— Размечтался!..

Мечты обрываются. Обрывается и жизнь сибиряка Кустодиева. Сержант Кацель тяжело ранен. Его уносят две санитарки; он хрипит (кажется, что хрипят доски). А мост целый...

Зонин спрашивает Сергея:

— Что ты будешь делать, когда кончится война?

— Не знаю, не могу себе представить.

— А я знаю — буду три дня подряд спать, жену поставлю, пусть говорит, как про генерала, «отдыхает».

Сергей не думает о будущем, он редко вспоминает прошлое, и эти воспоминания мучительны, как будто он заглядывает в пропасть — кружится голова. Он никак не может связать прошлое с войной. Другие в мыслях живут с женами, с детьми, ощущают их будни, как будто нет разрыва — просто уехали. Зонин — театрал, он и теперь волнуется, какие новые постановки в Москве. Сержанта Кацеля вчера ранило, а перед этим он ходил и всем рассказывал, что его Соня — отличница, а у Монички уже прорезались зубки. Сергей в ужасе спрашивает себя: что со мной? Как будто окаменел... Стараюсь вспомнить лицо

Вали и не могу. А потом вдруг — она, как будто рядом, идет, улыбается, и от этого невыносимо, потому что она в другой жизни. Он однажды вспомнил вечер с Мадо и не поверил, что это было с ним, с Сергеем, капитаном инженерных войск — как будто он прочитал книгу, которую нельзя ни удержать в памяти, ни забыть. Он никогда не умел жить в нескольких планах, отдаваться нескольким страстям. Нина Георгиевна говорила: «Ты хоть бы в театр пошел, сидишь над книгами, как одержимый...» Три недели как он не писал Вале. Она может подумать, что он ее разлюбил, а он не в силах выговорить это слово «Валя» — так больно и так далеко! Голова пустая, соображаешь только самое необходимое, и вместе с тем все время о чем-то мучительно думаешь. Может быть, и о прошлом, и о будущем. Разлука? Нет, больше чем разлука — война...

На реке людно, шумно. Выгружают противотанковые пушки, ящики с минами, с патронами, с консервами; тащат кули, канаты, сухари, почту. Несут на носилках раненых. Пыхтят буксиры. Проходят солдаты — новая дивизия. Некоторые — в слишком длинных шинелях — кажутся подростками; они подпрыгивают, кричат; другие осторожно ступают, как будто проверяют землю ногами — правый берег, Сталинград... Здесь уральцы, волжане, москвичи, казахи, учитель географии, бригадир колхоза имени Тельмана, студент текстильного института, хлопковод. На мгновение из ночи выплывает давно небритое, измученное лицо. А потом лица нет, только шаги. Завтра они будут ползти по окопам, как кроты рыть землю, забираться в подвалы, штурмовать уцелевший фасад маленького домика, лезть с гранатами под танк, тянуть провод, закладывать мины, брать на мушку фрица или только его тень, тащить щи под ураганным огнем и умирать — не от старости, не от болезней — днем, если верить Рашевскому, потому что «в точку», а ночью «случайно». Если не станет этих, придут другие. Будут снова ночь, баржа, Сталинград. Не день и не месяц, годы. Как в стихах?.. «Окончание света»... И останется мост — не над гибелью, над Волгой, над той Волгой, о которой пели песни, по которой шли нарядные пароходы с туристами. Вода сейчас, как химические чернила... У греков была Лета, река забвения. Перевозчик Харон, ему почему-то платили... Хочется

спать, зевота раздирает рот. Опять бьет... Только бы не в мост... Рубили, пилили, сколачивали...

Какое число? Кажется, четырнадцатое. Или пятнадцатое. Сорок дней. Сегодня не слушал радио, Здесь держатся, переправа работает — это главное. Он усмехнулся: почему главное?.. Сидишь и всегда главное то, что перед тобой. Наверно, в Париже и не знают, что такое Сталинград... А все-таки не возьмут! Люди стали другими — не уходят. Привыкли? Нет, нельзя сказать, что привыкли, много новых, только что пришли, еще ничего не понимают, ужас берет и все-таки не уходят. Научились... Не они, да и не я, все вместе, народ. Кажется, что — кавардак, ничего не поймешь, а теперь каждый знает, что есть план. Наверно, лет через десять все станет ясным, в военных академиях разберут по ходам, как шахматную партию. Может быть, и теперь, если хорошенько выспаться, поймешь... Не в этом дело, главное — переправа. Скорее Бруклинский исчезнет, чем этот... Из Нью-Йорка во Францию шли огромные теплоходы, в журнале видел, кажется «Нормандия», настоящий небоскреб. Не знаю, ходят ли теперь... А баржу потопят, будет другая, третья. Сейчас Волгу труднее переплыть, чем океан. Переплывают...

— Товарищ капитан, второй и третий шалят...

Старший сержант Шуляпов боится — не поврежден ли трос. Он прыгает в воду.

— Ну и холодная!..

Нужно торопиться — скоро начнет светать. Работают все; и есть в работе нечто мирное, успокаивающее, даже когда рядом рвутся мины,— повторность знакомых движений, напряжение мускулов, вскрики «раз! еще раз!».

Проступают остров, низкий берег, разбитая баржа — рассвет.

Майор Шилейко передает: шесть танков. Бьем прямой наводкой.

Днем умер казах, который рассказывал о Батбахе — его ранил осколок мины; не успели отправить в санбат, он бредил: «У меня насморк...»

Когда стемнело, Сергей прошел к майору Шилейко. Его КП помещается в землянке, которую называют «пещерой». Так накурили, что ничего не видно.

— Как у вас? — спрашивает майор.

— В порядке. Радио слушал?

— Да. Ничего особенного. Здесь они пробовали нажать на Балашкина, два дома заняли, но Алеша говорил, что один отбили. Слыхал, как «катюши» усердствовали? Белов сегодня двух фрицев уложил, я ему сказал, приведи живого, не вышло, бутылку рома принес и зажигалку. Садись, ром дрянь, но пить можно. Лекарство — я вот простыл... Сейчас патефон заведу... Чорт, пластинка треснула, гудит!..

Майор в сотый раз слушает Лещенко, наклонив набок голову, и в сотый раз спрашивает:

— Почему он такой грустный?

Сергей отвечает:

— Не был на переправе, поэтому...

От тепла, от рома, от говорливого хлопотуна Шилейко еще сильнее хочется спать.

Немцы решили покончить с переправой. Кажется, все железо Рура, Бискайи, Лапландии, Лотарингии, расплавленное и накаленное, несется на узкую полоску земли, на землянки, на окопчики, на обыкновенных людей, у которых грудные клетки, легкие, аорты, глазные яблоки, тончайшие хрупкие органы.

Сергей знает, что он должен быть здесь, и это уничтожает страх. Как-то он пошел к артиллеристам на левый берег. Рай — люди живут чуть ли не как в Москве, пьют чай, стаканы в подстаканниках, спят раздевшись. И вдруг пикировщики. Сергею стало страшно: зачем я пришел?.. Здесь — переправа, работа. Потому и не страшно...

Саперы потеряли четверых. Осколок задел руку Сергея. Врач Левин хотел отправить его на левый берег; Сергей отказался: не время.

— Запустите — и срастется не так...

— Ничего, потом выправят. Только вы на меня не кричите, я знаю, у вас это полагается, в Москве я встречался с доктором, добряк, а кричал так, что стекла дрожали. У нас в дивизии был военврач Никритин, тоже кричал...

Левин удивился:

— Я никогда не кричу. Я хирург — режу. Они кричат, а мне не полагается. Крикливые это невропатологи.— Он помолчал.— У меня сына позавчера убили — на Тракторном, в «эрэс» был. Девятнадцать лет. Стихи писал: «Ты,

как горе, глубока, ты не море, ты река»... Глупо, а меня почему-то трогает...

— И не глупо, я это понимаю... Пойду — как будто снова по переправе...

Болела рука. Он старался не морщиться. Зонин сказал: «Тебе письмо». Сергей поглядел — от Вали, обрадовался и почему-то испугался. Нет, не могу, прочту потом...

Черная река от пожаров, от ракет то и дело вспыхивала, становилась красной, кирпичной, темнолиловой.

— Два плота нужно сменить.

Шла будничная работа.

9

Берти сразу узнал почерк Мадо, поспешно разорвал конверт. Мадо писала: «Мне нужно вас увидеть. За это время я много пережила и передумала. Не хочу ни с кем встретиться. Приезжайте в пятницу вечером в семь часов — «Белль отесс», где мы с вами были прошлым летом. Не говорите ничего отцу. М.»

Он усмехнулся: теперь, когда ее бросил какой-то пижон, она вспомнила про мужа. Но вместо того чтобы сказать откровенно, громкие слова — «передумала»... В папашу. Та же страсть к трехкопеечной романтике — ночные свидания за городом, как будто он лицеист... Он бросил письмо на пол, потом подобрал. Глупо будет, если поеду...

Он не видел Мадо с того самого дня, когда она заявила: «Я ухожу, не могу поступить иначе». Он скрыл от всех, что его жена сбежала; говорил: «она в южной зоне». Только с Лансье он как-то не сдержался: «Вы можете гордиться воспитанием, которое вы дали вашей дочери, она ведет себя, как уличная девка...» Лансье вспылил: «Вы не смеете так говорить о Мадо! Кто вам позволил оскорблять память бедной Марселины? Вы считаете, что теперь вам все позволено? Я — француз, господин Берти, обыкновенный несчастный француз, а вы — правая рука Ширке»... Накануне Лансье попросил Берти похлопотать, чтобы немцы дали «Рош-энэ» уголь. Берти махнул рукой: Лансье обожает свою дочь, притом он дурак, с такими не спорят.

Где же она пропадала? Почти год... Истеричка, такую мог соблазнить любой авантюрист. Не удивлюсь, если она жила с гестаповцем, у которого на ночном столике плетка и томик Ницше. Могла увлечься и террористом из поклонников де Голля — игра в конспирацию, английские деньги, кокаин. А может быть, все проще — жокей, комми-вояжер, мелкий шулер...

Ясно, что она попытается снова разыгрывать комедию, изводить меня своими фантазиями — жена и не жена. Больше это не пройдет! Или — или... Значит, я готов простить ей все? Какая пакость! Это вроде болезни — сидит в тебе. Неопрятно, перестаешь уважать себя.

Берти был одержим чистоплотностью, десять раз в день мыл руки, где бы он ни был, утром и вечером принимал ванну, брился тоже дважды в день. Он подошел к зеркалу, ему показалось, что он плохо побрился. Постарел — виски совсем белые, под глазами мешки... Морило прав — нужно отдохнуть. Но если я хоть на день оставлю работу, свалюсь...

Доктор Морило недавно сказал Берти: «Боюсь, что Гитлер переживет вас. Правда, у него снова неприятности, но он уверяет, что это мелочь — несколько русских засиделись в Сталинграде. Поживем — увидим. А вот ваши неприятности можно вполне точно определить: давление двадцать три».

Берти не стал посвящать доктора в характер своих «неприятностей». Морило болтун и флюгер, такой, наверно, знается с голлистами. Дело ведь не только в Мадо. Приходится вести войну с невидимыми врагами. Ему самому смешно, что прошлым летом он пытался сохранить нейтралитет. Как будто в такой войне можно остаться нейтральным! Он не побежал к немцам за подачками, он прежде всего думал о Франции, не он начал войну — коммунисты.

Зачем было добиваться устранения немецкого контроля? Он поставил себя в дурацкое положение. Рабочие боятся, как бы их не отослали в Германию, не бегают в уборную покурить, не разговаривают друг с другом, дисциплина образцовая. А немцы правы: продукция падает. Это началось с марта: то болт в сцепке, то короткое замыкание, то вывинтят гайку, то подсыплют песок в масленку.

Повредили компрессор. Берти назначил награду за поимку злоумышленников. Пришел Дормуа, заявил, что станок поломал Оливье. Берти передал дело полиции; Оливье избили до полусмерти. А несколько дней спустя позвонили из немецкой комендатуры: Оливье ни в чем не повинен, это честный человек, член ППФ, за него поручился Дорио. Берти вызвал Дормуа, а тот исчез.

Еще в июле Ширке сказал: «Начальство поговаривает о демонтаже ваших заводов. Ничего не поделаешь — рабочие или лодыри, или заражены. А оборудование прекрасное, сразу видно, что вы — новатор».

Второе августа было для Берти черным днем. Он ломал себе голову, как могли бандиты добраться до трансформатора? Барри? Но Барри работает на заводе восемнадцать лет, предан Берти, ненавидит коммунистов. Немцы настаивали: кто взорвал трансформатор? Берти указал на Жильбера. Правда, у него не было данных, что Жильбер причастен к этому делу, но в тридцать шестом Жильбер подбивал других, составлял требования... Такие не меняются. Немцы потом рассказывали, что Жильбер отрицал все: обычный прием. Его расстреляли. А вслед за этим неизвестный застрелил главного инженера Лампьера. Хотя убийство произошло не на территории завода, Берти сам пригласил гестаповцев: «Может быть, вы будете счастливее меня»... Он понимал, что капитулирует, но ничего не поделаешь — еще месяц, и немцы приступят к демонтажу. За гестаповцами последовали немецкие инженеры: они заняли комнату рядом с кабинетом Берти.

Недели две назад пришел Ширке, говорил о победах на Востоке.

— Грозный, потом Баку.

— А что со Сталинградом?

— Уничтожаем последние очаги сопротивления. Громадные трофеи...

Берти почувствовал в голосе Ширке затаенное беспокойство.

— Победы вам не идут впрок. Зимой после отступления вы выглядели бодрее.

Ширке заговорил о необходимости повысить производство:

— Битва за Сталинград пожрала много материала.

Нам нужны моторы... Я вас защищаю, как могу, но начальство не считается с личными оценками...

Несколько раз Берти находил у себя на столе коммунистические листовки. В его кабинет могли забраться только Ивонн или старый вахтер Дельмас. Трудно их заподозрить. Ивонн — исправная секретарша, но дура, ее занимают сентиментальные фильмы и прически. А Дельмас — верующий, каждое воскресенье ходит в церковь.

Берти снова увидел на столе листовку: «Список № 1 изменников, осужденных Народным трибуналом франтиреров и партизан». Он усмехнулся: руки коротки... Посмотрим, кто им особенно мешает... Разумеется, Лаваль, Деа, Дорио, Дарлан, все это понятно. Дальше мелочь — «актер Гитри, литератор Дрие ля Рошель, министр Абель Боннар, литератор Селин, промышленник Жозеф Берти»... Он не стал читать дальше, скомкал листок и бросил его в корзину. Только под вечер он вспомнил про список и задумался. Он не испытывал страха, не был возмущен; листовка его успокоила: теперь я могу с ними не церемониться. Изменники — они, продались, кто русским, кто англо-саксам, на Францию им наплевать. Я борюсь за Францию, я, промышленник Жозеф Берти! Я пробовал быть гуманным, не хотел озлоблять, щадил. Вот их ответ...

Берти решил передать немцам список лиц, которые в тридцать шестом образовали «стачечный комитет». Тридцать два имени; из них четырнадцать продолжают работать на заводах Берти. Он позвал Ивонн, хотел продиктовать ей. Поглядел — ну и прическа!.. А все-таки в кабинет могла пройти только она или старик... Может быть, оба... Коммунисты часто пользуются услугами таких дураков. Он отослал Ивонн; выписал имена четырнадцати подозреваемых: один инженер, четыре мастера, остальные рабочие. Почерк у него был мелкий, но очень четкий, буквы казались печатными. Он отложил перо, задумался. Кто же забирался в его кабинет? Пусть немцы допросят... Он приписал: «№ 15 Тома Ивонн—машинистка, № 16 Дельмас Жан — вахтер».

Последнее время Берти страдал бессонницей. Впервые он уснул без гарденала: он испытывал огромное облегчение — я сделал все, теперь никто не сможет меня упрекнуть...

Берти не интересовался ходом следствия. Он только заметил, что прекратились и акты саботажа и появление листовок на его столе. Потом немец-инженер ему рассказал: «Никто не признался. Их ликвидировали. Говорят, что ваша секретарша вела себя, как фурия, укусила майора. А старик-вахтер умер во время допроса...»

Берти успокоился. Письмо Мадо его снова вывело из себя: открылась старая рана. Он стойко борется против скрытых убийц. Почему он бессилен перед этой сумасбродкой? Вздорная страстишка, прихоть стареющего мужчины! Стоит ему захотеть, и в его постели окажется любая красавица. Зачем ему Мадо?

В пятницу утром Берти твердо решил, что он не поедет. Если поеду, перестану уважать себя. Он спокойно позавтракал, долго беседовал с немцами о новой модели штабной машины. Под вечер поехал домой, принял ванну, побрился и, поглядев на часы, улыбнулся: половина седьмого — сейчас она едет в Жуарр или уже там, глядит на часы, ждет... Может ждать, сколько ей вздумается... Он поедет обедать через час — с маленьким Рене...

Было начало восьмого, когда он вдруг выбежал, вскочил в машину и, ни о чем не думая, понесся в Жуарр. Еще тридцать километров. Она, наверно, не дождется, уедет... Несколько раз его останавливали немцы, он показывал на переднее стекло — есть пропуск, но он так нервничал, что один простодушный солдатик позвал унтера: уж не террорист ли?..

«Белль отесс» была небольшой гостиницей, сюда до войны приезжали влюбленные парочки, рыболовы и гастрономы, которым нравилась кухня усатой госпожи Лягранж. Теперь редко кто сюда заглядывал. Берти увидел пустой, тускло освещенный зал. По столикам, прикрытым грязными бумажными скатертями, бродил тощий кот. Берти не сразу заметил Мадо; она сидела в углу. Он взглянул и сразу понял — ничего не изменилось, ни она, ни ее власть над ним. Она казалась бледнее обычного; на ней был дождевик, голова повязана синим шелковым платочком. Берти пробормотал:

— Простите, что я вас заставил ждать. Я был занят...

— Ничего, у меня есть время.

Они оба молчали. Берти подошел к госпоже Лягранж, которая сидела за конторкой.

— Давно вас не было видно, господин Берти.

— Много работы, нет времени для загородных прогулок...

— Как поживает госпожа Берти? (Госпожа Лягранж не узнала Мадо, которую видела только один раз, и, думая, что господин Берти встретился с любовницей, говорила шопотом.)

— Спасибо, она в южной зоне... Я перешел на холостяцкое положение. Вы что-нибудь нам приготовите?

— Конечно, господин Берти, теперь не те времена, но для вас всегда что-нибудь найдется. Я помню, что вы любите омлет с трюфелями. Через полчаса все будет готово. Ночевать вы будете здесь?

— Не знаю. Я скажу после обеда...

Вернувшись к Мадо, Берти сказал:

— Обед будет через полчаса. Если вы не возражаете, мы можем немного прогуляться. Здесь не очень удобно разговаривать — госпожа Лягранж отличается чрезмерным любопытством. Напрасно вы не приехали домой...

Они вышли. Из гостиницы, которая стояла на шоссе, шла узкая дорога к речке. Ночь была лунная, очень ясная, с той звонкой тишиной, которая бывает только поздней осенью. Голые деревья на зеленом небе казались нарисованными тушью. Берти нервничал; закурил и тотчас бросил сигарету; ждал, что скажет Мадо.

— Вам не холодно? — спросил он.— Ночи уже холодные.

— Нет.

— А мне холодно.

Он поднял воротник пальто. Они подошли к речке, остановились. Берти, наконец-то, заговорил:

— Что же вы пережили за это время — любовь конюха или измену шулера?

— Многое...

Ему показалось, что она ищет носовой платок, не может найти. Наверно, плачет... Он слишком долго с нею церемонился!

— Среди многого казнь шестнадцати,— сказала Мадо.

Он не успел осознать этих слов — упал навзничь. Выстрел был слышен далеко, и госпожа Лягранж, накрывая стол, вздохнула: неужели немцы снова в деревне и перепились?..

Мадо поглядела, вспомнила первую ночь — спящего Берти, окно, рассвет, клятву далекому Сергею. Потом она прыгнула в лодочку, переправилась на другой берег, быстро зашагала по тропинке, прикрытой кустарником. Вскоре она увидела Жерара.

— Почему так долго? Я волновался.

— Он опоздал.

— Как?..

Она кивнула головой. Они молча пошли дальше, свернули на другую дорожку.

— Еще два километра. Ты не устала?

— Нет... Очень устала, но это неважно...

Жерар долго колотил ногой в дверь.

— Она глухая...

Наконец открыли. Седенькая старушка суетилась, раздувала камин, кипятила воду. Жерар сказал Мадо:

— Она с внуком жила. Он теперь в плену. Здесь спокойно...

Он крикнул в ухо старушке:

— Сюда никто не придет?

Она не расслышала, вздохнула:

— С пасхи не писал...

Мадо сидела возле огня в плаще. Ее лихорадило. Жерар увидел, что в глазах у нее слезы.

— Неужели тебе его жалко?..

— Нет, не его... Себя, тебя, Люка, старушку... Ведь могло быть иначе... Но о чем говорить!.. Люк, наверно, волнуется...

— Утром узнает. А ты ложись, это от усталости, на тебе лица нет...

10

Весной Лансье был на краю гибели. Вернувшись домой после трагического разговора с Берти, он лег и не мог больше встать; ночью с ним сделалась рвота, как это было однажды до войны, когда он узнал о происхождении

денег Руа. Морило его долго осматривал, наконец сказал: «Дорогой друг, у вас истощение нервной системы. Это не опасно, но неприятно. Может быть, вы попытаетесь отвлечься. Почему вы забросили ваши коллекции?» Лансье печально улыбнулся: «Мне теперь все неинтересно. Вы даже не представляете, до чего я дошел,— я не замечаю, что ем, какая на дворе погода...»

Судьба над ним сжалилась. У вдовы Амон не было детей, и в ее сердце оставался запас нерастраченной нежности. Лансье с ней познакомился на благотворительном концерте, устроенном в пользу сирот, детей пожарных — муж Марты Амон был начальником пожарного депо; он умер в зиму войны от воспаления легких, но Марта считала, что он погиб, как солдат,— на поле боя. Она не была красива, но покорила Лансье мягкостью, женственностью. Она скрывала от него свой возраст, и только когда Лансье сделал ей предложение, обливаясь слезами, сказала: «Морис, мне сорок четыре года»...

Лансье спрашивал себя, не изменяет ли он памяти Марселины? Он знал, что никогда не сможет полюбить Марту, как любил покойную жену. Но он так несчастен, так одинок!.. Марселина первая сказала бы: «ты не можешь жить в таком запустении»... Марта, когда он упоминал о Марселине, говорила: «Вы знали настоящее счастье, Морис. У вас была необыкновенная жена, я это чувствую по тому, как вы о ней говорите... Нас обоих обобрала война. Мы два обломка в бурном море... А время страшное...» Лансье нравилось, как Марта рассуждает о событиях: она не любит немцев, но понимает, что нужно с ними жить. Настоящая честная француженка! Конечно, это не Марселина, нет в ней ни тонкости, ни приподнятости чувств. Нивель сказал бы «мещанка». Но если бы у нас все были такими мещанками, может быть, мы не проиграли бы войны.

Решительному объяснению предшествовал разговор о детях Лансье. Он рассказал ей всю правду:

— Луи очень смелый и безрассудный, не знаю, в кого он пошел. Он уехал в Англию. Боюсь, что погиб, такой не станет сидеть сложа руки... Марселина его очень любила. А мне ближе Мадо... Она, как я, ненавидит политику. Все говорили, что из нее выйдет хорошая художница. Я был

так счастлив, что она полюбила Берти. Но он непонятный человек, это смесь высоких идеалов с дьявольской логикой. Он способен и спасти и погубить. Я не знаю, как сложилась их жизнь. Может быть, он ее оскорбил, завел любовницу, одним словом она его бросила... Он посмел сказать про нее ужасные слова... Это непростительно, хотя я понимаю, как он страдает...

Лансье увидел, что растроганная Марта плачет, и сказал:

— Милая моя, я вам предлагаю стать моей женой. Наш союз будет крепче. Мы оба вышли из возраста, когда людей привлекает опасность. Мы хотим покоя среди этого сумасшествия, мы будем помогать друг другу...

Марта обняла его и, краснея, как девушка, зашептала:

— Под Новый год сестра мне сказала: «Ты еще найдешь свое счастье». Я ей не поверила... А с вами... С тобой я нашла...

Свадьбу отпраздновали очень скромно. Лансье пригласил только сестру Марты и своих близких друзей; с каждым он предварительно поговорил, объяснил: «память Марселины священна и для меня и для Марты». Все одобрили его решение; только Морило позволил себе шутку дурного тона: «Чего вы оправдываетесь, Морис? Вам пятьдесят семь лет, возраст еще терпимый. А немцы нас приучили и не к таким эрзацам...»

Еще летом Лансье удалось помирить Самба и Нивеля. Он все же опасался, как бы они снова не поссорились, и долго упрашивал каждого из них: «Я вас умоляю—на один день забудьте про политику. Для меня это, может быть, единственная минута радости среди страшных событий...»

Обед прошел благополучно. Самба был меланхоличен, молчал — все время он вспоминал Мадо, годы не освободили его от несчастной привязанности. Нивель был на редкость приветлив, со всеми соглашался, вспоминал то, что могло объединить всех — довоенные обеды в «Корбей». Марта держалась скромно, приговаривала: «Почему вы так мало кушаете?..» Лансье сиял, подливал шампанского. Дюма захмелел. Он вдруг зарычал:

— Предлагаю выпить за Лео Альпера. Я его недавно встретил, ему налепили на грудь желтую звезду. Выпьем за звезду Лео Альпера!

Он чокнулся со всеми. Нивель закусил губу, но протянул свой бокал.

— Не с вами, господин Нивель. Нужно соблюдать известную стыдливость...

Самба не выдержал и зааплодировал.

Нивель тихо ответил:

— Вы пьяны... И я не хочу омрачать семейное торжество...

Простившись с Лансье и Мартой, он вышел. Лансье упрекнул Дюма: «Зачем вы начали?»... Но Дюма не хотел ничего слышать: «Начали они. И я должен с ними пить?..» Он ушел и увлек с собою Морило. Самба на прощание обнял Лансье, шопотом спросил:

— Где Мадо?

— Вы думаете, я знаю? С Берти она разошлась... Может быть, она там, где Луи? Ничего нельзя понять, все перепуталось...

Марта, когда гости ушли, сказала Лансье:

— Обидно, что они поругались. Профессор прав — нельзя мучить порядочного человека только за то, что он еврей. У покойного Шарля служили евреи, но он никогда этого не подчеркивал... Я не понимаю одного — почему профессор обрушился на господина Нивеля?

— Ты никогда этого не поймешь, это политика. Нивель считает, что нужно работать с немцами.

— Что тут плохого? Если они здесь, приходится с ними работать. Как будто это от нас зависит?.. Все с ними работают, и, по-моему, никто их не любит. Только глупо об этом кричать, как профессор, можно нарваться на крупные неприятности...

Лансье подумал: она рассуждает, как я. Как маршал. Как все французы... Дюма всегда был грубоват. А Нивель перегибает палку...

Теперь Лансье горячо интересовался тем, что прежде казалось ему скучным. Встречая Морило, он первым делом спрашивал: «Как в Сталинграде?..» Он понимал, что где-то очень далеко происходит огромная битва, от исхода которой зависит многое, может быть, и судьба «Рош-энэ». Он выполнял немецкие заказы, осуждал, вполне искренно, террористов, возмущался тем, что англичане бомбят Гавр и Руан; но все же его радовало, что у немцев осложнения.

Конечно, русские погибнут, это фанатики, самоубийцы, но немцам там, видимо, нелегко... Рейд в Дьепп был маленькой разведкой, только Дюма мог поверить, что это настоящая высадка. Зачем им торопиться? Ведь пока что русские воюют... А через два-три года союзники смогут действительно высадиться. Что бы ни писали немецкие газеты, Америка это сила...

Он забывал о военной буре, когда завтракал вдвоем с Мартой. Как странно, говорил он себе, среди такой катастрофы я нашел простое счастье...

Однажды за завтраком он развернул газету и вскрикнул: на него глядел зять. Лансье прочитал, что Берти убит возле Жуарр; преступление, видимо, совершено на почве ревности, так как ни бумажник, ни часы не похищены; владелица «Белль отесс» видела убитого за полчаса до преступления с молодой женщиной, высокой, красивой, одетой в серое непромокаемое пальто...

— Мне его жалко, я не злопамятный, но я тебе скажу правду, Марта, он этого заслужил. Нельзя так говорить о женщине... Он имел, наверно, дюжину любовниц. Вот и результаты.

Лансье стал читать дальше: «Полиция занята изучением интимной жизни г. Жозефа Берти и обстоятельств, при которых г-жа Берти в январе уехала из Парижа на юг»... Он долго сидел молча, потом вдруг подбежал к Марте и начал шептать:

— А что, если его убила Мадо? Какой ужас!..

— Бог с тобой, Морис... Никто ее и не подозревает... Как ты можешь такое говорить?..

— Ты не знаешь Мадо, она в покойную Марселину... Когда такие женщины любят, они способны на все. А она его любила до сумасшествия, уехала и не сказала мне ни слова...

Вскоре он успокоился:

— Морило прав — это нервы, сижу и придумываю... Ты знаешь, я пойду на похороны, хотя он меня оскорбил. Нужно заказать венок, я думаю, что лучше всего из хризантем...

На похоронах Лансье всплакнул: вспомнил, как Берти вместе с ним и с Мадо хоронил Марселину. Я все-таки очень любил Жозефа... Приятно, что похороны пышные.

У него было много политических врагов, но никто не может отрицать, что это крупная фигура. Вот венок от министра, от рабочих, от общества фабрикантов, от Ширке... Немцы умеют быть деликатными — военные пришли не в форме...

Лансье успел позабыть о зяте, когда газета поднесла ему новую сенсацию: «Следствие установило, что женщина, убившая г. Жозефа Берти, принадлежала к банде, именующей себя «франтирерами и партизанами». Германские власти, с которыми разговаривал наш сотрудник, подчеркивают, что в то время как огромное большинство французской нации сохраняет прекрасные отношения с оккупационными властями, кучка преступников, среди которых видное место занимают евреи и чужестранцы, совершает террористические акты не только против германских военнослужащих, но и против представителей французской общественности. Назначена крупная награда за поимку неизвестной преступницы, приметы которой неоднократно приводились».

Лансье был ошеломлен. Это все-таки неслыханно! Коммунисты сошли с ума! Можно было не соглашаться с Берти, я сам погорячился, сказал, что он — правая рука Ширке, но одно дело поспорить, другое убить честнейшего человека. Я подозревал, что такие люди, как Лежан, до этого докатятся... Но почему немцы сулят большие деньги?.. Значит, Берти был им очень нужен. А Мадо его бросила... Они могут придраться ко мне, спросить: почему ваша дочь ушла от такого замечательного человека? Как объяснить этим солдафонам, что у сердца свои права, что Мадо в Марселину?.. Они могут обрушиться на меня, тем паче, что за «Рош-энэ» тень злосчастного Альпера. Зачем я с ним связался? Я совершил в жизни множество опрометчивых поступков, и на старости лет приходится за все расплачиваться...

— Почему ты ничего не кушаешь? — заботливо спросила Марта.

Он вышел из себя, швырнул салфетку.

— Тебе бы только кушать! Ты не понимаешь, что мне грозит...

Он ничего больше ей не сказал, это не Марселина... Ему не с кем посоветоваться. Нивель ответит: «Ясно, что

вы сторонник евреев и террористов, в вашем доме пьют за Альпера». А Дюма скажет: «Очень хорошо, что его убили»... Все потеряли последние крохи здравого смысла, минутами не верится, что это — Франция...

Когда немецкий автомобиль остановился неподалеку от «Корбей», Лансье, который стоял у окна, прошептал:

— Марта!..

Она кинулась к нему:

— Что с тобой?

Немцы проехали дальше, и Лансье ответил:

— Ничего... Тебе показалось...

Он мучительно думал, что ему делать, и решил написать некролог Берти. Он давно ничего не писал, кроме писем, и вначале затея показалась ему мучительной; но потом он увлекся. Он остался доволен особенно концом:

«Для меня это был не только зять и друг, но великий гражданин. Да будет окружена презрением преступница, которая подняла руку на прекрасного человека! Может быть, она мечтала о славе Шарлотты Корде? Но ее лучше сравнить с Медеей, в уста которой Овидий вложил слова: «Я вижу добро, и я делаю зло». Она видела Францию, маршала, она видела доблестного Жозефа Берти и, подосланная чужестранцами, сделала злое дело».

Лансье прочитал свое произведение Марте.

— Это очень красиво, но кому ты пошлешь? Разве остались родственники?

— Я пошлю в газету.

— Зачем? Лучше не вмешиваться... Они могут на тебя рассердиться...

Лансье закричал:

— Никто не посмеет запретить французу оплакивать другого француза! К тому же это мой зять...

Он отослал некролог в газету. А вечером позвонил доктору Морило: попросил его срочно притти.

Когда доктор хотел его осмотреть, он сказал:

— Я вас позвал за другим. Только я вас умоляю — не смейтесь, это очень серьезно, дело идет о моей жизни. Я написал некролог Берти. Это не мои мысли, но что я мог сделать? Немцы очень держались за него, а Мадо его бросила. У меня вообще шаткое положение, Руа может каждую минуту вытащить Альпера. Мне пришлось это

сделать. У вас, наверно, есть знакомства в другом лагере, вы слушаете Лондон, скажите им, что я был вынужден...

Морило противно захохотал:

— Если я слушаю Лондон, то это не значит, что Лондон слушает меня. Кому вы хотите, чтобы я рассказал? Мадо? Но она исчезла с горизонта...

— Вы опять смеетесь!

— Все это нервы... Свежий воздух, моцион.

— Вы слышали радио? Что нового? Как у Сталинграда?

— Попрежнему. Это плохо для немцев. Такие дела или решаются сразу, или решаются совсем не так, как они задуманы...

От утверждения, что немцам будто бы плохо, Лансье стало не по себе. Теперь и я с ними связан. А Морило радуется, ему лишь бы помучить человека. Лансье схватил «Пари суар» и визгливо закричал:

— Вздор! Сталинград взят, можете прочитать. Я не понимаю, зачем вы слушаете всякие глупости?

— Тише, дорогой!.. Написали, покричали. А все это вегетативная система...

11

Где только не приходилось ему ночевать! Люк, смеясь, говорил: «Жаль, что нет в сопротивлении Бальзака — сто готовых романов...» Сегодня он оказался у набивальщика чучел. Отовсюду на него глядели яркие любопытные глаза, барс щурился, готовясь к прыжку, медвежонок простодушно удивлялся, совы философствовали, а шпиц, любимец госпожи Дюфи (заказала чучело и не взяла из-за событий), охранял Люка, ибо должен был кого-нибудь охранять.

Когда Мадо пришла, ей стало не по себе. Люк улыбнулся:

— Не бойся, Франс, они не кусаются. Вот если набить чучело гестаповца, это действительно страшно...

Как другие, Люк теперь называл Мадо Франс. Да и она забыла, что Люк когда-то был инженером Лежаном. Скоро год, как она работает в группе Люка. Убийство

Берти — один из эпизодов длинной кампании: нужно дезорганизовать военное производство. Среди шестнадцати казненных по доносу Берти было пять товарищей, работавших с Люком. Пришлось на несколько недель все приостановить. Но теперь затишье кончилось. Жюль и Нико хорошие ребята. И главное — нет Берти.

— Ты видала газеты? Они прочитали нашу листовку. Кончились разговоры о ревности. Впечатление огромное — чувствуют, что мы — сила. Тебе, Франс, нужно уехать. Хозяйка гостиницы тебя видала. Они поставят всех на ноги. Завтра Жак тебя отправит.

— Куда?

— В ту зону. Может быть, увидишь Жозет или Поля.

Ей стало грустно: кончается Париж. Вся ее жизнь связана с этим городом: детство, Сергей, одиночество, подполье... Но теперь она умела владеть собой, и Люк ничего не заметил.

— Как там?

Он понял по интонации, что значит «там».

— Держатся. Разве это не поразительно? Ты только представь себе — цвет германской армии, итальянцы, румыны, наверно, четверть миллиона, не меньше, все заводы Европы... И на крохотном клочке земли — советские... Вот это запомнится навсегда. Не огромная Россия, а маленькая полоска земли... Два месяца! Немцы вчера передавали по радио: «Ужасающий танец смерти». Дотанцовались... Сегодня я на улице слышал, два француза, не рабочие, чиновники, может быть, рантье, поздоровались и один сразу говорит: «Сталинград-то держится...» Чтобы до таких дошло! Весь мир смотрит... Анна говорит, что немцев не узнать. Скоро будут большие перемены, это чувствуется...

Настоящая дружба связала за год Мадо и Лежана. Эта дружба могла показаться непонятной людям, видевшим в Лежане сухого догматика, для которого в жизни есть только два цвета — красный и черный, два слова — «да» и «нет». А Лежан знал все слова, все оттенки, только он жил в эпоху, когда приходилось жить одним, ведь война началась задолго до войны, и чем крупнее был человек, тем настоятельнее была в нем потребность внутреннего самоограничения. Может быть, потому, что он знал

Франс, когда она еще была своенравной девочкой, выросшей в оранжерее «Корбей», он понимал ее с полуслова. Все товарищи ее ценили — хорошая, толковая, смелая. Люк знал и другое: нелегко ей это далось, жизнь ее както сразу истоптала, она сохранила только достоинство, уже отрешенное и от личной жизни, и от надежд на позднее счастье. После доноса Берти, суда и казни шестнадцати встал вопрос о наказании «немецкого прихвостня» (так говорили товарищи). Люк добавлял: «Его важно устранить и потому, что он не прихвостень, а вдохновитель». Франс вызвалась убить Берти. Люк, оставшись с нею наедине, начал отговаривать: «Не нужно. У нас есть боевые парни, они сделают». Может быть, он опасался, что Франс не сумеет уйти, может быть, его останавливало другое: все же Мадо была его женой... Но она настаивала: «Зачем другим рисковать? Мне это легче сделать. И я хочу это сделать. У него была секретарша Ивонн, наивная девчонка с кудряшками, брала у меня модные журналы, мечтала познакомиться с Габеном или с другим киноактером. Он и ее припутал... Я тебя уверяю, Люк, что я это сделаю. Это мое право...»

Скоро они расстанутся. Люк будет ночевать здесь. А Франс уйдет к Ваше, там ее завтра найдет Жак. Потом — юг... Сейчас им грустно. Что может крепче связать людей, чем такой год?

— Ты думаешь, после войны все будет иначе? — спрашивает Франс. Ей хочется заглянуть в будущее, понять, увидят ли другие счастье. Миле расстреляли. Робер никогда не забудет свою любовь. Но молодые, совсем молодые — сын Люка Поль?.. Нет, Поль уже в подполье... Дочка Люка Мими, ей сейчас девять лет...

Лежан долго молчит, курит. Блестят глаза филинов, рысей и готовится прыгнуть на обидчика верный шпиц.

— Во вторник у меня была встреча с одним из «AS». Инженер, до войны был в «Боевых крестах». Я с ним разговаривал насчет автоматов. У них много оружия — союзники подбрасывают. Они должны прятать оружие до дня «Уи» — до высадки. Обидно... Может быть, дадут нам два десятка. Когда ты заговорила о будущем, я его вспомнил. Мы с ним встретились, как друзья. Я знаю — его

могут завтра взять, он не предаст, видно сразу — крепкий. А три года назад, когда меня посадили, такой, наверно, возмущался: «Почему коммунистов не расстреливают?..» Как знать, что с ним станет через три года?.. Теперь они говорят, что нужно переделать Францию, все сгнило, коммунисты — молодцы. Восхищаются Сталинградом. Этот инженер мне сказал: «В Сталинграде воюют и за нас...» А потом, после победы?.. Человек может родиться заново. Но чтобы класс заново родился?.. Нет, такого не бывает! Он всё время мне говорил «Франция» — дом у него есть, а семьи нет — нет народа...

— Знаешь, Люк, я недавно была в одном доме, это в Бильянкуре, их разбомбили, хотели куда-то переселить, а они остались. В общем дома нет, только фасад, живут внизу, окна забили фанерой, течет, холодно, одна женщина мне сказала: «все-таки это свое, насиженное»... Иногда подумаю о будущем — и страшно. Сейчас — буря, сорвало крышу, повылетали стекла, люди, как на улице. Говорят: «После победы будем строить»... Может быть, и не будут, залатают, найдут кусок фанеры, заткнут щели, бедно, темно, зато привычное...

— А ты думаешь, Франс, человек сразу меняется? Будет революция, если не теперь, потом. Но и после революции не сразу все переменится, особенно люди. Это утописты думали, что можно все сделать в двадцать четыре часа, для них ведь начало было таким же далеким, как конец. Ты знаешь, когда тяжелее всего подъем? Не тогда, когда смотришь снизу на верхушку, и не в начале—посредине, тогда ты в точности знаешь, что такое каждая петля. Спускаться можно бегом, а вверх идешь, идешь... Страшная это дорога — в камнях, в грязи, в крови! И все-таки — дорога...

— Я не о себе думаю. Но дети... Твоя Мими, она увидит?..

— Я помню, Франс, как ты пришла, играла с Мими в прятки. Мими нет. Умерла. В апреле. Жозет не знает, ты не говори... Когда Жозет пришлось скрываться, она оставила Мими у своей приятельницы. А ее забрали, девочка осталась буквально на улице, потом подобрал один лесничий. Поздно, истощение — и умерла... А Жозет я сказал, что она в Швейцарии, был такой проект еще в начале

войны отправить ее в Лозанну, там у Жозет двоюродная тетка. Не могу я ей сказать, она и так измучена. Мими для нее все, в каждом письме спрашивает. Я сам все время думаю... Я ей вчера написал, что есть известия, что Мими очень выросла...

Он встал, подошел к Мадо. И среди зеленых, янтарных, оранжевых глаз она увидела еще одни — человеческие.

— Франс, тебе пора итти, до Ваше далеко...

Она обняла его и вышла на улицу. Ничего не видать — первый зимний туман. Может быть, так лучше — нет ни немцев, ни той обычной и в то же время чудовищной жизни, которая идет своим ходом изо дня в день. Иногда Мадо кажется, что корабль разбился, они на досках, а кругом море. Нет, это не так. Есть товарищи — сейчас печатают листовки, взрывают поезда, молчат, когда их пытают. Есть Ленинград. Люди переживают одно и то же, никогда они не были так близки. И каждый в этом общем одинок, окружен плотным туманом. Кто знал, что Люк думает все время о Мими?..

Вот и конец парижской жизни! Будут новые города, новые люди. Загадывать нечего, теперь все живут по-солдатски. Если бы я сейчас встретила Сергея, вот за этим углом, наверно, мы бы поняли друг друга. Не стали бы говорить о чувствах, спорить. Я бы его спросила: «Как сегодня у вас?..» Позавчера Жак рассказывал, что в Сталинграде идут бои за каждый дом...

Может быть, вставят не фанеру, а стекла, может быть, построят новый дом. А Мими не будет...

Ваше скрипучим голосом говорил: «В такую погоду очень легко простудиться. Я стараюсь как можно меньше выходить, у меня наклонность к ревматическим болям...»

В ту ночь были произведены большие аресты. Жаку удалось убежать через чердачное оконце. Взяли Ника, Соважа, Робера. Лежан всю ночь беспокойно ворочался, ему снились странные сны — то Мими кидала мяч, и он искал мяч, не мог найти, то прибегали звери с яркокрасными глазами, нюхали его ботинки, подымали вверх длинные морды и выли, выли...

12

Накануне Анна была с офицером, приехавшим из Бреста. Он рассказал ей, что двести восемнадцатый стрелковый полк неожиданно отправили в Россию. Лейтенант Шеллинг, узнав, что ему предстоит брать Сталинград, застрелился. Майор собрал солдат и сказал, что лейтенант Шеллинг покончил с собой, так как был болен неизлечимой болезнью. Однако все знали об истинных мотивах самоубийства, и солдаты при погрузке говорили: «Едем лечиться от неизлечимой болезни»... Анна подумала: нужно рассказать Жаку, он может об этом написать в «Франс д'абор»... А офицер говорил: «Я еще не встречал такой немки, у вас настоящий парижский шик»... Когда ночью Анна возвращалась к Жиле, какой-то пьяный француз ей крикнул: «Мышь, куда спешишь?»

В десять часов утра она должна была встретиться с Жаком. Подходя к дому, она не заметила ничего подозрительного; медленно поднялась по винтовой лестнице на седьмой этаж; возле двери прислушалась, ей показалось, что Жак с кем-то разговаривает. Она постучала, как было условлено, четыре раза. Когда ее схватили полицейские, она подумала: мышь попала в мышеловку, и улыбнулась.

— Погоди, скоро заплачешь,— сказал полицейский.

Анна слишком долго ждала этого часа, чтобы растеряться. Она довела до бешенства гестаповцев. В самом начале допроса Зиллер, удивленный выговором Анны, вскрикнул:

— Ты врешь, что ты эльзаска, ты немка!

— Я была когда-то немкой,— ответила Анна.— Буду немкой — после смерти, когда и вас не будет. А сейчас я француженка, я русская, я испанка, все, что угодно, только не немка.

— Неслыханно,— говорил Зиллер полковнику,— такой ведьмы я еще не встречал. Ангельское лицо, в сумке любовные записки и говорит по-немецки, как я. Это не пешка, это крупная разведчица.

Ее допрашивали ночью, слепили глаза, опускали в ледяную воду, прижигали груди. Зиллер, теряя терпение, кричал:

— Ты хочешь, чтобы тебе отрубили голову?

— Хочу,— отвечала Анна.

Она не назвала себя: может быть, отец жив... В мышеловку вместе с нею попали Соваж (испанец Хосе Гомес), Ник — парижский рабочий, и студент Робер, который привлек Мадо к работе. Зиллер устраивал очные ставки. Никто ничего не сказал. Когда Анну пытали, она то молчала, то начинала несвязно рассказывать, как сражалась в Испании, то говорила, что ненавидит наци; а когда ей казалось, что силы ее оставляют, она, скандируя, выкрикивала: «Сталин-град! Сталин-град!»

Наконец ее оставили в покое: полковник запросил Берлин — отправить ли задержанную немку в Германию или провести дело в обычном порядке.

Когда она начала приходить в себя, мысли о случившемся (проследили или кто-нибудь выдал? успел ли уйти Жак?) смешивались с воспоминаниями детства. Это был калейдоскоп лет и лиц. Может быть, потому, что все время она помнила — нельзя сказать, кто она — замучают отца, ожили далекие годы: мать в косынке с корзиной красной смородины, отец, который среди проповеди торжественно сморкается, а из фулярового платка сыплется табак... От родителей мысли переходили к товарищам. Я не успела узнать про танки, а Жак очень просил. Что, если взяли Жака? На нем все держится... Он с лета страшно похудел — язва, а при такой жизни нельзя соблюдать диету... Они узнали имя Соважа, могут передать в Испанию, у него там семья. Он показывал фотографию — чудный мальчишка... И снова Анна видела маленький город, где родилась. На площади старый фонтан — гном плюется серебряной водой, две липы; палатка — летом там продавали черешни, сливы, крыжовник; писчебумажный магазин, девочкой Анна могла часами разглядывать витрину с цветными открытками, кожаными бюварами, резными пеналами. Кругом города зеленые холмы; на одном кондитерская и подзорная труба — оттуда виден Рейн, виноградники, развалины старинного замка.

Она пошла на тот холм с Генрихом. Он был очень близорук; казался уверенным, а когда снимал очки, было в лице что-то детское. Он долго глядел на далекую реку. Она родилась в тот самый год, когда началась война, и

о том, что произошло, знала только из школьных книг, из рассказов родителей. Отец часто говорил: «Тогда мы проиграли, придется воевать снова»... Она с тревогой спросила Генриха: «Неужели и вам придется воевать?» Он ответил: «Конечно. Не с французами, а с наци»... Она не поняла, но кивнула головой — больше всего боялась, что Генрих сочтет ее за глупую девочку. Ей было восемнадцать лет... А Генрих снял очки и вдруг сказал: «Вы любите Гейне? У него есть стихи о старой истории, которая всегда новая... Я думал, что скоро уеду, а сижу здесь и каждый день думаю — встречу я вас или нет...»

Два месяца спустя они обвенчались. Год прожили вместе. Потом пришли наци... На площади вокруг фонтана с гномом молодые люди всю ночь пели песни, горланили. Среди них были и товарищи детских лет Анны, с которыми она вместе играла. Она их не видела, она была в Гамбурге. Генрих сказал: «Придется уйти в подполье». Она тогда еще не понимала многого из того, что он говорил, но это она поняла: счастье кончилось.

Хотя отец был пастором, Анне казалось, что он не верит в бога. Когда однажды она ему это сказала, он ответил: «Библия книга, по которой мы должны жить». Бог для него был замечательным законодателем, который давно умер, но оставил людям правильные наставления. Может быть, поэтому отец одобрил решение матери спрятать Генриха, хотя считал, что коммунисты против Германии, а евреев пренебрежительно называл «полузаконниками».

Тридцать пятый... Только теперь я поняла, что пришлось пережить Генриху. Тогда мне казалось, что я понимаю, но это нужно почувствовать на себе. Вот мы с ним снова встретились, как когда-то в любви...

Анна часто упрекала себя: до чего я сентиментальна, настоящая немка! Она боялась, что чувства могут ей помешать бороться. Теперь она была уверена в себе; она даже заплакала и в ту минуту не вспоминала ни Генриха, ни своего детства, не думала о близкой смерти, только отдалась большой нежности, которую подавляла в себе все эти годы.

Вдруг перед ней встала Испания, розовые и рыжие горы без зелени, летний зной, яркожелтая река — Эбро.

Это было перед развязкой; в последний раз полумертвая Испания попыталась встать, вырваться из кольца. День и ночь фашисты били по переправе. Люди держались, хотя знали, что надежды нет. Анна помнит, как пришел крестьянин, потребовал, чтобы его взяли в армию. Никто не понимал, почему, просидев у себя два года, он пришел теперь, когда война проиграна. Он объяснил: «В моей деревне всем заправляет священник, никто не пошел воевать. А теперь говорят, что фашисты берут верх. Пусть они знают, что и в моей деревне есть люди...» Его убили там же, на Эбро...

Когда она была в Испании, отец передал ей, что он жив, любит попрежнему дочь. Потом она ничего о нем не слыхала, мог умереть, мог стать наци — там все обезумели...

Судили четверых: Хосе Гомеса («Соваж»), Ива Менье («Робер»), Жана Валена («Ник») и «женщину, называющую себя уроженкой города Кольмара Марией Нильгауз». Еще до того, как вошли в зал судьи, Ник успел передать товарищам: «Жак ушел. С воли новости хорошие — Сталинград держится»... От его быстрого делового шопота Анне стало спокойно. Вот они снова вместе... Прежде они редко разговаривали: не было времени. С Соважем она иногда вспоминала Испанию. Его трогало, что она помнит испанские слова, он говорил: «Неужели я туда не попаду?..» Она отвечала: «Обязательно попадешь. Я тоже. Мы пойдем на Пуэрта дель Соль, будет очень жарко, очень шумно и весело...» Робер ей однажды сказал: «Я для себя ничего не жду. Была Люси. Ее взяли...» Ник признался, что ему всего девятнадцать лет; он любил говорить о пустяках, рассказывал, как дразнил полицейских, как ловил рыбу: «линь — вот какой»... Они мало знали друг друга: их объединяло нечто большее, чем радости и горести отдельного человека. И вот они вместе. Они знают, что ничто их не сломило. Они смотрят на судей сурово и отчужденно, как победители.

Равнодушно они выслушали приговор: знали его заранее. Ник шепнул Соважу: «Важничают. Хотел бы я посмотреть на них через год»... Когда их уводили, Робер на минуту очутился рядом с Анной. Она приподняла скованные руки.

— Прощай, Робер! Я не могу тебя обнять...

— Слушай, Анна... Я тебе хочу сказать, как француз, как коммунист,— хорошо, что ты с нами. И Соваж. И русские в Сталинграде. Прощай, Анна!

Она слышала эти слова в темной камере, слышала и потом, когда за нею пришли. Эти слова осветили ее последние минуты. Она думала: говорили «интернационал», но и это нужно почувствовать на себе... От Волги и до меня... Отец любил рассказывать о библейском рае; зеленый, густой сад. Но тот потерян, а этот я нашла...

Она отказалась от повязки; ей все же завязали глаза — офицеру показалось, что она смотрит на него с вызовом. А она смотрела на размытую дождем площадку, на высокое костистое дерево, на найденный рай.

13

Христина Штаубе до войны вышивала на дому для магазина художественных изделий и ухаживала за отцом, отставным чиновником, которого разбил паралич. Ей было тридцать шесть лет, и она больше не помышляла о замужестве, хотя нельзя было назвать ее уродливой. Лет десять назад за нею ухаживал бухгалтер Циммер, водил в кино, в кондитерские. Отец, узнав, кто претендент, стал кричать, что Христина забывает о своем долге, девушка должна все взвесить, прежде чем сделать роковой шаг, он не может ей помешать — болен и стар, но он не даст за ней ни пфеннига. Христина пришла на свидание заплаканная, сказала: «Густав, я готова на все. Хоть сейчас... Но папа против. Дом записан на его имя. Я прилично зарабатываю, а помимо этого у меня ничего нет...» Густав ответил: «Я не материалист, я тебя люблю и без приданого...» Потом он заторопился: у него сверхурочная работа. Больше Христина его не видала. Ее сердце черствело, как надрезанный и нетронутый хлеб. Порой она плакала — когда папочка умрет, я останусь одна; порой ею овладевали смутные мечты — умрет, продам дом и выйду замуж, даже сорокалетние находят женихов...

Отец в конце концов умер; но случилось это в марте сорок второго: дом нельзя было продать — после налета

английской авиации привокзальный квартал опустел; мечтать о замужестве не приходилось — даже двадцатилетние красотки остались без кавалеров; никто больше не покупал пеньюаров с цаплями или скатерток с ирисами. Христина стала смотрительницей барака в лагере, где содержались женщины, вывезенные из России. Господин Кирхгоф ей объяснил: «Это не преступницы, мы их держим взаперти только потому, что обычаи русских не похожи на наши. Будьте строги, но справедливы, помните, что русские это дети...»

Христина не была по природе злой, и, ударив впервые по щеке голубоглазую Варю, она испугалась: может быть, это дурно? Подумав, она успокоилась: господин Кирхгоф сказал, что русские — дети, а детей необходимо наказывать; когда я таскала за хвост котенка или что-нибудь ломала, папочка не жалел шлепков... Христина не замечала, что чаще всего она наказывает молодых и привлекательных девушек. Лагерный врач Фуснер сказал о шестнадцатилетней Шурочке: «Прямо с картины Мурильо»... Христина обыскала Шурочку и нашла два куска мыла. «Откуда?» Шурочка молчала. Христина обвинила ее в воровстве и отхлестала по щекам. Дети!.. Христине казалось, что она полюбила своих русских, они не такие страшные, как пишут в газетах, и потом, боже мой, до чего они сладко поют!..

Голодные, измученные девушки, чтоб отвести душу, иногда по вечерам пели; была в тех песнях тоска по родной хате, по маме, по любимому человеку. Христина знала, что стоит ей войти в барак, и песня оборвется. Как вор, крадучись, она забиралась под окно и слушала. Она видела себя в темной, затхлой комнате — лекарства, выцветшие фотографии тетушек, больной старик в кресле, а где-то далеко среди жасмина красавец Густав обнимает другую... Христина бурно вздыхала: боже мой, как я несчастна!..

Лучше всех пела Галочка. Когда-то друзья из «Пиквикского клуба» говорили: «Ну, хохотуша, спой»... Тогда ей было весело, а пела она про несчастную любовь. Здесь она предпочитала задорные песни. Христина возмущалась: почему эта девчонка радуется?.. У нее приятный голос, а репертуар пошлый, нет ничего возвышенного. И все же

Христина слушала, она даже притопывала, как будто сейчас пойдет танцовать «шимми» с Густавом.

Галочке не удалось в Киеве разыскать своих комсомольцев. Она надеялась — потеплеет и придут наши. Но настало страшное лето: немцы дошли до Волги. Стешенко, встретив на улице Галочку, насмешливо прищурился: «Все еще гуляете? Скоро Валю увидим — больше трех месяцев красные не протянут...» Город онемел; рыскали гестаповцы, полицейские; человека, сказавшего неосторожное слово, уводили, и он исчезал навеки. Повсюду пестрели афиши, зазывающие молодых в Германию — там удобные квартиры, много еды, красивая одежда. Весной немцам удалось заманить несколько сотен. Ксана, с которой Галочка была в десятилетке, записалась: «Хочу поглядеть заграницу». Галочка отговаривала: «Какая заграница? Это, как на каторгу... А если тебя заставят делать оружие? Твой брат в армии, значит, ты его убьешь?..» — «Мудришь,— ответила Ксана,— а за границу я все-таки поеду, приоденусь...» Когда немцы увидели, что охотников мало, они начали забирать насильно. Попалась и Галочка.

Унтер-офицер, говоривший немного по-русски, поглядел на плачущих женщин и сказал: «Немец добрый. Немец не убьет». Галочка неожиданно рассмеялась, скороговоркой спросила: «Бабушка, почему у тебя зубы длинные?» Унтер-офицер не понял, но смех ему не понравился, он выругался и отошел от вагона. Девушки, стоявшие вокруг Галочки, засмеялись: Галочка их заразила своим весельем. Они не догадывались, что это веселье напускное. А Галочка твердо знала: теперь нужно быть веселой — нашим легче, да и немцев это бесит... Так воскресла «хохотуша».

Рано утром их вели через город на завод. Город был небольшой и чистый. Блестели медные тарелки над парикмахерскими. Сверкали в витринах фаянсовые умывальники и кухонная утварь. Детишки были аккуратно одеты, не бегали, а степенно шли в школу. У входа в колбасную или в мясную чинно сидели, привязанные к особым крюкам, черные и коричневые таксы — поджидали хозяек. На базаре продавали цветы — последние астры осени. Галочка вспоминала развалины Крещатика, дядю Лёню, повешенных. Теперь она видит детские коляски, косички

с бантиками, магазины игрушек, газоны... Как странно, что у таких есть жены, дети, что жена гестаповца ходит на базар, выбирает груши или яблоки, вытирает нос своему младенцу... Уж лучше бы кусались!..

Галочка в школе учила немецкий; она быстро начала понимать и наставления Христины, и окрики мастеров на заводе, и разговоры горожан, когда девушки возвращались с работы: «Какие они оборванные!.. Карл пишет, что русские хуже негров... Курносые... Сильные, хорошо, что в лагере... Я никогда не пустила бы такую к себе... А у фрау Иенике русская, и она очень довольна...» Тогда Галочка со смехом говорила Варе: «Погляди на ту — нос, рот, подбородок, все вкривь, как их буквы...» И Варя тоже смеялась.

Их кормили супом с брюквой; всегда мучил голод. Работа была тяжелая: таскали железные бруски, мешки с цементом, чистили печи. Христина, желая хорошо воспитать доверенных ей детей, каждый день кого-нибудь наказывала — оставляла без еды, посылала в наряд — после работы нужно было рыть щели, била. Только Галочку она не трогала; может быть, из любви к ее голосу — «это мой соловей», говорила она доктору Фуснеру; а может быть, боялась — когда она наказывала других, Галочка глядела на нее такими злыми глазами, что Христина думала: этот соловей может глаза выклевать...

Христина давала женщинам газету, которую немцы издавали на русском языке. Читая ее, нельзя было ничего понять: как будто немцы повсюду победили, а война не кончается... Были среди девушек крепкие, как Галочка, которые не верили ни одному слову, считали, что зимой немцев побьют, а они вернутся на родину; были и слабые — глядя на спокойную жизнь далекого от фронта города, на витрины с товарами, на сытых, ухмыляющихся немок, такие говорили: «нет, наши с ними не справятся!..» Тогда Галочка начинала фантазировать: их побили возле Ростова, союзники во Франции, говорят, что Гитлера убили... Галочка понимала: нельзя дать волю тоске.

На заводе вместе с ними работали французы — военнопленные. Сначала девушки держались особняком: неизвестно, что думают эти французы, может быть, тоже задаются, да и не поговоришь — языка нет... Французы

приветливо улыбались, говорили по-немецки, что они «товарищи» (это все поняли), давали девушкам хлеб, сыр, шоколад — получали посылки от родных.

Галочка подружилась с молодым, веселым французом. Он рассказал ей, что он сын врача, студент, изучал физику. Они разговаривали на необычайном языке, в него входили немецкие, русские и французские слова; разговаривали урывками; и все же узнали много друг про друга. Галочка видела Париж, как будто она там была,— большая площадь, улицы расходятся лучами, на улицах столы — можно пить кофе, каштаны, как в Киеве; Пьер только что сдал экзамены, он идет с товарищами посредине улицы, поют, кричат — это очень весело, называется «моном»... А Пьер знал, что Киев зеленый и горбатый, когда смотришь с Владимирской горки на Днепр, «можно умереть — такая красота»; Галочка часто ходила в оперу, она любит «Пиковую даму» и «Кармен»... Галочка обрадовалась, когда выяснилось, что Пьер читал «Записки Пиквикского клуба». Вот только не могла объяснить, что ее звали хохотушей... Зато рассказала про Валю, про Раю, про Борю. «У нас много партизан, даже в Киеве убивали фрицев». Пьер говорил, что во Франции тоже партизаны и они хорошо сражаются, прежде было много изменников, Париж сдали, линию Мажино сдали — он попал в плен вместе со всеми. Он спрашивал про Красную Армию, и Галочка с гордостью отвечала: «Армия замечательная! Немцы не взяли ни Москвы, ни Ленинграда, скоро освободят Киев...» Она повторяла старые слова листовки, хотя после этого было горькое лето,— когда она глядела на Пьера, все в мире менялось, и она верила, что русские наступают... Пьер помогал ей, как мог, тихонько передавал хлеб, колбасу, конфеты. Он так глядел на нее, что ей становилось весело — по-настоящему, не для вида, и тогда она не смеялась, она делалась очень серьезной, краснела, отворачивалась. Бывает, на заводском дворе среди мусора, шлака зазеленеет травинка. Такой была их любовь в темную осень сорок второго. Ни разу они не заговорили о своем чувстве, но о чем бы они ни разговаривали, был в коротких простых словах иной, только им понятный смысл.

Однажды Пьер сказал Галочке:

— Роже работает у немца, он слушал радио, когда все ушли, поймал Лондон. У немцев большие неудачи — не могут взять ваш город...

— Какой?

— Сталинград.

Вечером Галочка рассказала девушкам:

— Немцам плохо. Сталинград они не взяли...

— В газете было, что взяли,— возразила Маруся. Она свято верила всему печатному, не хотела понять, что газету издают немцы. Спросила Галочку: — Откуда ты это взяла?..

— Французы сказали.

Маруся усмехнулась:

— Мало ли что болтают! Особенно французы... Они хорошие, только несерьезные, я ни слову не верю, когда они говорят... В газете было, что Сталинград давно взяли — еще в августе...

В это время вошла Христина. Галочка подошла к ней и вежливо сказала:

— Хочу поздравить, что вы взяли Сталинград...

Галочка улыбалась. Христина вышла из себя, с размаху ударила Галочку, еще, еще... Трудно было представить, что рука, вышивавшая бабочек на шелку, может быть такой тяжелой. Галочка упала. А Христина, позабыв, зачем она пришла, выбежала из барака.

Христина быстро разделась, легла, но не могла уснуть — перед ее глазами стояла улыбающаяся Галочка. Какое нахальство! Я еще ей мало дала... Подумать, что кончится война, такая дрянь выйдет замуж! Что в ней хорошего? Только что поет, но и песни у нее грубые... А меня никто не возьмет, даже если удастся продать дом. Да и не кончится никогда эта война, взяли всю Европу и не кончается; призвали Отто, а ему сорок девять... Вот уже третий месяц, как в газетах одно: «Сталинград». Почему его не могут взять? Эта распущенная девчонка смеется... Отто рассказывал, что Кельн совершенно разрушен. Могут снова прилететь сюда, сожгут дом... Счастья не будет. Христина громко заплакала. Рядом жила смотрительница другого барака, Эмма, к ней приехал муж. Стенки были тонкие. Пока из комнаты Эммы доносились шопот, стоны, вскрики, Христина могла спокойно плакать. Но потом

соседи затихли, а она все еще всхлипывала. Раздался стук. Это муж Эммы сердится, что я не даю спать, он прав — три года воюет, приехал к жене... А ко мне никто не приедет... Христине хотелось заплакать еще громче, но она сразу притихла.

Вокруг Галочки толпились перепуганные девушки.

— Как тебе? — спросила Варя.

— Ничего. Немного болит... Ты не смотри, что худущая, кулак у нее железный...

Вдруг Галочка засмеялась:

— Маруся, теперь ты видишь, что Сталинграда они не взяли. Оттого она и взбесилась... Видимо, им там здорово досталось...

Ей снилась победа. Все тихо, тихо; поют птицы; утро. Она в большом городе, на домах красные флаги. Только это не Киев... Может быть, Москва?.. Площадь, как звезда... Идут красноармейцы. Вот Боря, он офицер, много орденов... А рядом с Галочкой Пьер. Он улыбается, хочет сказать «Галочка», но не выходит, говорит «Гальошка», и ей смешно, так смешно... Проснувшись, Варя увидела: Галочка крепко спит, лицо распухло, а улыбается. И Варя вздохнула: хоть бы мне что-нибудь приснилось!..

14

Это было обыкновенное местечко — село, которое обзавелось несколькими двухэтажными домами и стало районным центром, или городок с тремя колхозами, с курами, которые клохтали на Шевченковской улице, летом с серебряной пылью, весной и поздней осенью с непролазной грязью. Было в местечке все, что полагалось: райсовет, где Стефа переписывала данные о посевной и где выступали приезжие артисты; секретарь райкома Грицко, который говорил, что скоро местечко станет крупнейшим центром, потому что здесь устроят опытную плодовую станцию, школа и учительница Клавдия Васильевна, которая читала «Историю философии» и все ждала одного заветного письма из Киева; белые хаты с запахом кислого молока, изукрашенные бумажными ручниками, где ели тыквенную кашу, вспоминали семейные события и толковали о миро-

вой политике; были и пионеры в красных галстуках, и пестрый базар, где гогочущие гуси возмущались судьбой, а волы покорно причмокивали, где можно было найти всякую всячину, вплоть до пепельниц из пластмассы; была слесарная мастерская, артель гончаров; несколько евреев и среди них глубокий старик Шнеерсон, который свыше полувека обшивал людей; был тракторист Остап, не надевавший в стужу тулупа, чтобы все видели на груди его медаль, и бабушка Остапа, которая приговаривала «бог дал, бог взял».

Пришли немцы — и все переменилось. Секретарь райкома ушел в лес к партизанам. Остап был в армии, как и многие другие. В некоторых хатах приютились окруженцы, их выдавали за родственников. Евреев немцы услали в город и там убили. Услали и Клавдию Васильевну — она разозлила немецкого офицера, сказав, что читала Гегеля. Люди притаились. Даже куры боялись выглянуть на Шевченковскую улицу. Говорили, что в соседних лесах бродят партизаны, но никогда они не подходили близко к местечку. Немцы все же оставили здесь тридцать человек с фельдфебелем Рекманом, окружили местечко колючей проволокой, построили укрепления. Вначале немцам жилось сытно и весело: они пожирали огромные глазуньи, кур, ловили коммунистов. Потом приехал зондерфюрер, объяснил, что нельзя ничего отбирать у крестьян, ибо Германия нуждается в продовольствии; да и крестьяне научились прятать добро. Ловить больше было некого. Рассказывали, что партизаны обнаглели, нападают на машины. Ночью немцы постреливали — хотели припугнуть жителей и приободрить себя. Фельдфебель Рекман говорил солдатам, что война скоро кончится — нужно только очистить Сталинград от красных и занять Баку.

Осень стояла мягкая. Был хороший воскресный день. Рекман громко зевал от скуки. Никогда он не знал, что ему делать с досугами. До войны, кончив работу, он шел в пивную и там до хрипоты спорил — есть ли на Марсе люди и где пиво лучше — у Гейнца или у Вольфа. Иногда он направлялся в кино с худосочной Гертой, глядел внимательно на экран и одновременно щипал девушку. Иногда заходил в пассаж, где были различные аттракционы, измерял свою силу, кидал мячи в морды кукол.

А когда не хотелось выходить или было жалко денег, он, отчаянно зевая, стриг когти котенку и, разыскав старый номер «Иллюстрирте», пририсовывал красавицам большущие усы. Что делать в этом паршивом местечке?.. Меланхолично он вспомнил те времена, когда с утра съедал пяток яиц и тарелку сметаны. Даже покушать всласть нельзя... Вечером он попробует зайти к Лизе. Как все русские, она дикая, не хочет с ним разговаривать. А недурна!.. Но до вечера далеко, впереди длинный скучный день...

Ему повезло. Предприимчивый Глезер, заинтересовавшись, куда крестьяне прячут картошку, нашел под брошенным домом возле школы портного Шнеерсона и его жену. По паспорту Шнеерсону было восемьдесят шесть лет, но был он еще крепок — высокий, костистый, с длинной белой бородой. Жена его, маленькая, с прядями жидких волос на голове, казалась мумией. Немцы не могли понять, кто спрятал этих стариков и кто их кормил больше года. Два внука портного еще до прихода немцев ушли в армию. Рекман попробовал допросить старика, но тот отвечал невпопад — ясно, рехнулся... Не отправлять же таких в город! И фельдфебель решил внести некоторое разнообразие в унылую гарнизонную жизнь. Да и жителям местечка полезно — есть среди них подлецы, которые подкармливали евреев, пусть видят...

Когда солдаты пригнали всех на площадь, Рекман сказал:

— Сейчас увидите, как мы очищаем вашу землю от паразитов.

Шнеерсон вел жену за руку. Она глядела детскими непонимающими глазами — все давно помутилось в ее голове.

— Добрые люди, я выхожу замуж, почему вы не танцуете?..

Люди угрюмо молчали; некоторые женщины плакали. А Шнеерсон уговаривал жену:

— Идем, Рахиль, скоро все кончится...

Рекман сперва застрелил старуху. Когда он снова прицелился, Шнеерсон остановил его: погодите! Это понравилось фельдфебелю — старик будет просить пощады, я заставлю его кукарекать, как того, рыжего... Шнеерсон нагнулся, закрыл глаза мертвой жене, снова выпрямился

и начал повторять непонятные слова; это была заупокойная молитва. Кончив молиться, он расстегнул на груди рубаху и показал: сюда! Рекман рассердился и решил помучить строптивого старика — выстрелил в плечо. Шнеерсон упал, но приподнялся и снова показал рукой на грудь. Рекман выстрелил в ноги. Старик упал; немец подошел к нему, наступил ногой на грудь. Люди кричали: «Зачем мучаешь?..» Бабушка Остапа подбежала к Рекману, сунула ему десяток яиц:

— Ирод, убей ты его, не мучай!

Рекман взял яйца и застрелил Шнеерсона. Он наелся доотвала. А потом пошел к Лизе и, отрыгивая, начал ее обнимать. Она вырывалась: «Гад!..» Он говорил: «Не хочешь? В Германию отошлю...» Лиза исцарапала его лицо. Он ругался: «Дрянь, когти я тебе остригу...» И вдруг раздался крик Глезера: «Бандиты!»

Шесть немцев, которые сидели в дзоте, открыли пулеметный огонь; но было поздно — партизаны ворвались в деревню с юга. Фельдфебель Рекман долго отстреливался; он убил одного партизана. А потом упал — пуля попала ему в живот. Бой длился полчаса. Из тридцати немцев только двум удалось убежать; они потом рассказывали, что партизан было триста человек и что командовал ими «монгол с диким лицом». На самом деле партизан было восемьдесят, командовал ими Стрижев, а тот, кого они приняли за «монгола с диким лицом», был киевлянин, основатель «Пиквикского клуба», Борис. Он убил Рекмана; и Лиза его целовала: «Спас! От гада спас!»

Староста валялся в ногах: «Да разве я?.. Заставили...» Партизаны пробыли в местечке несколько часов; их кормили, поили; надавали им припрятанную от немцев снедь. Бабушка Остапа все допрашивала: «Внука не встречали? Он у меня танкист...» Некоторые женщины стояли, подперев голову рукой, говорили: «Переловят вас... У них войска много...»

Лиза умоляла взять ее с собой. Стрижев усмехнулся:

— Заплачешь...

— Никогда я не плачу.

— А что делать будешь? У нас ансамбля нет...

— Воевать буду. Не веришь? Я ворошиловский стрелок.

Стрижев сказал «не похоже», но все-таки взял Лизу.

Это был удачный день: четырех потеряли, зато уничтожили двадцать восемь фрицев, забрали много оружия; да и с продовольствием будет легче, а впереди тяжелая зима.

Борис шел и думал о Киеве: старушка в местечке напомнила ему мать. Где мама? Сашка был в Киеве, рассказывал про Зину, а маму не нашел, наверно, эвакуировалась... Как ей одной? Одна старая... Зина — молодец — с нашими... Где Рая, Валя, Галочка?.. Только теперь понимаешь, как легко мы жили. Я думал, что трагедия — Тося отвергла... Вероятно, так устроен человек, когда тихо, придумывает бурю. А налетит — и как будто ничего не было: убить фрица, достать автомат, запастись картошкой... Нет, не в этом дело: что-то прибавилось, не умею только определить.

У Стрижева была карта, выдранная из школьного атласа; на нее часто глядели и хмурились — далеко до Волги!..

— Захар, ты сводку принял? — спросил Стрижев.

— Принял. «В районе Сталинграда и северо-восточнее Туапсе». А немцы про Сталинград молчат.

— Там большие бои,— сказал Борис,— может быть, все решается...

Он хотел себе представить Сталинград, но не мог. Никогда он не участвовал в большом бою. В первые дни войны его часть окружили. Он ушел в лес, разыскал там других... Скоро полтора года, как ходят по лесам, охотятся на отдельных фрицев. Три недели готовились к последней операции. Тридцать немцев, какая мелочь!.. А в Сталинграде настоящая битва, там решается судьба — и наша, и Ленинграда, и всей Европы...

Он поглядел на карту. До чего большая страна — не умещается на карте. Он подумал это без гордости, скорее с изумлением. Очень большая... А самое удивительное другое: вот мы, кучка людей в лесу, и там, далеко — Сталинград, гигантское сражение, но думаем мы, чувствуем, как они... Скажи Стрижеву, Грушко, мне, все равно кому — нужно сейчас умереть, чтобы отстоять один дом в Сталинграде, полдома — пойдем, не задумываясь.

Наверно, это и есть — родина, на карте не умещается, а уместилась в сердце...

Стрижев улыбнулся:

— Ты что, Борис, задумался? Сочиняешь?

Борис теперь не скрывал, что пишет стихи; иногда читал товарищам. Стрижев говорил: «Ерунда! А ты еще почитай...» Однажды он даже произнес целую речь против поэзии: «Кто это придумал, чтобы не говорить, а барабанить? Написал «солдаты», потом «автоматы», а если у них никаких автоматов нет, если у них винтовки?.. Дай-ка я потом сам почитаю»... Он переписал несколько стихотворений, но от Бориса это скрыл, проворчал: «Красиво, а смысла особенного нет. Воюешь хорошо, только романтик, это факт...»

Грушко, тот откровенно признавался: «мне нравится». Он и Лизе сказал:

— Говорят, что природа слепая. Неправда. Я в Ровно видел павлина, разодет, богаче не придумаешь, а закричал, на что у меня уши грубые, и я не выдержал. А возьми соловья... Разве ты его заметишь? Жалкая пичуга. У Бориса физиономия, можно сказать, страшенная, вот ему и отпущено... Как начинает декламировать, девушка забывает про фасад...

— Я не нахожу, что у него страшное лицо,— возразила Лиза.— Напротив... Глаза у него необыкновенные...

Грушко улыбнулся:

— Готово, и тебя взял...

Лиза сказала Борису:

— Говорят, что ты романтик, это правда?

Боря руками замахал:

— Глупости. Посмотри, как я толчонку уписываю... Нет, серьезно, какой же я романтик? Романтики хотели, чтобы у них все было особенное. А разве я этого хочу?.. Жизнь вышла особенная, это правда, так не только у меня, у тебя, у Стрижева, у всех. Я совсем о другом мечтал, если хочешь знать, проще, куда прозаичнее. Никогда я не думал, что придется взрывать поезда. У меня была знакомая в Киеве, серьезная, изучала эпос, а теперь рассказывают, сидит, спрятавшись, и листовки печатает. При чем тут романтика?.. В луну я не влюблен, на дуэли не дрался, в тигра не стрелял. Разве что в фельдфебеля... Дело не в

этом, обидно, что мы так мало можем сделать. Сейчас нужно жить одним, как в Сталинграде... Я все время думаю, какие там бои!.. Ты знаешь, Сталинград это оправдывает не только страну или эпоху, человека оправдывает... Пойду спрошу Грушко, что передает Москва...

Неделю спустя они пошли в засаду: когда вышли из леса, натолкнулись на немецкий отряд. Немцев было не меньше сотни. Борис крикнул:

— Уходите! Я их задержу...

Он продолжал стрелять и после того, как его ранили. А когда, наконец, немцы решились подойти к нему, он не дышал; толкнув ногой его голову, немец сказал:

— Живучий был... Как изрешетили!.. И вот такой бандит погубил шесть наших!..

Когда Стрижев узнал, что Борис убит, он ничего не сказал, насупился, ушел в землянку. Пришел Грушко. Стрижев поспешно сунул в карман записную книжку — он перечитывал стихи Бориса.

— Ты что делаешь? — спросил Грушко.

— Ничего... Нужно позвать Сашу — голенище новое пришить, сапог сгнил, факт...

А Лиза, не стыдясь, плакала, ей можно — девушка...

15

Еще летом доктор Пашков писал Дмитрию Алексеевичу: «Я задержался в Аткарске на день, был, конечно, у твоих. Варвара Ильинична волнуется, но выглядит неплохо. Наташу я не узнал — была девочка, а увидел, как говорится, писаную красавицу, несчастье ее не сломило, вот что значит молодость».

Говоря о Наташе, доктор Пашков не солгал, она действительно очень похорошела; и если до войны она казалась всем, кроме Васи, обыкновенной миловидной девушкой, то теперь она притягивала к себе взоры встречных, не могла пройти незамеченной. Она похудела, и от этого казалось, что она выросла; глаза приобрели новое выражение — скорби и приподнятости.

А про Варвару Ильиничну доктор Пашков написал неправду — боялся огорчить Крылова. С весны Варвара

Ильинична начала хворать, жаловалась на острые боли в желудке, почти ничего не ела, сильно исхудала. Врачи не ставили диагноза, но по их лицам Наташа понимала, что мать серьезно больна. Варвара Ильинична не хотела лечь в больницу, и ходила за нею Наташа.

Тяжелое для всех лето было особенно тяжелым для Наташи. Маленький Васька болел дизентерией; несколько дней боялись за его жизнь. Работы было много — то и дело привозили раненых с Донского фронта. Варвара Ильинична не жаловалась, говорила: «Мне сегодня лучше», но Наташа видела, что мать с каждым днем слабеет. В июне пришло письмо от Нины Георгиевны, она писала: «Сюда приезжал с фронта фотокорреспондент Ромов, он уверял, будто видел в апреле Васю, говорил, что не мог ошибиться, так как они часто встречались до войны в Минске. Не знаю, можно ли верить, я очень взволновалась. Если это правда, почему Вася не написал ни мне, ни тебе? Ромов оставил мне свой номер полевой почты, вот он на всякий случай — «18114 К».

Наташа не сказала матери про письмо Нины Георгиевны, не подала виду, что произошло нечто очень важное. А это было трудно — хотелось крикнуть: «Вася нашелся!» Она понимала, как и Нина Георгиевна, что Ромов мог ошибиться,— слишком все неправдоподобно. Почему Вася не написал?.. Но если он вышел из окружения только в апреле, письмо могло не дойти: всего два месяца, да еще пока перешлют из Москвы...

Она написала Ромову, умоляла его описать подробнее встречу с Васей. Минутами она верила, что Вася жив, скоро она его увидит, милого неуклюжего, такого, каким он был в Минске. Она говорила сыну: «Васька-большой нашелся. Скоро приедет. Понимаешь?..» Потом начинала упрекать себя: как можно поверить в какой-то слух; из письма видно, что Нина Георгиевна не поверила... В такой лихорадке прошел весь июль. Стояли душные дни. Каждый день в сводках появлялись новые названия; фронт приближался к Волге. Город насторожился; люди видели, как рухнуло их хрупкое тыловое спокойствие. Одни метались, проклинали судьбу, другие угрюмо говорили: «Остановят, как под Москвой. Нужно работать...» Ране-

ные рассказывали о немецких танках, о минометах, об отступлении.

Наконец пришел ответ от Ромова: «Васю я видел в штабной машине, он проехал с майором, я его окликнул, но он не слышал. Если это был не он, то сходство поразительное, конечно сказать с уверенностью я не могу, так как машина проехала быстро. Матери Васи я сказал, что убежден — хотел ее обнадежить, она плохо выглядит, очень волнуется...» Прочитав письмо, Наташа ушла к себе и долго сидела в оцепенении. Ей казалось, что она во второй раз потеряла Васю. Потом она собралась с силами и пошла в госпиталь. Там ей рассказали, что пал Ростов. Немецкое наступление продолжалось.

С того дня прошло больше трех месяцев. Привезли раненых из Сталинграда. Они говорили о боях в городе: «Держат дом Павлова»... Летнего смятения не было в помине. Все стало суровым, жестким, как будто люди окаменели. Шла страшная битва, и ей не было видно конца.

Дмитрий Алексеевич был где-то на Дону; его письма становились все короче и короче, как будто он разучился писать: «Я здоров. Все благополучно. Обнимаю тебя и маму». Не до писем ему, говорила себе Наташа.

Прежде она считала, что должна верить в возвращение Васи, так и газеты писали — нужно ждать, были об этом рассказы, стихи. Теперь ей казалось малодушием поддерживать в себе надежду. Кругом было столько женщин, потерявших, кто мужа, кто сына, что потеря Васи становилась естественной. До войны, когда она судила о жизни по книгам, она думала, что горе легче вынести, если оно общее. Теперь она знала, что чужое горе не облегчает, от него еще тяжелее.

Она научилась скрывать свои чувства. Где та Наташа, о которой Дмитрий Алексеевич говорил, что у нее все «на мордочке написано»? Устроили концерт, чтобы развлечь раненых. Выступала московская актриса, пела забавные песенки. Наташа смеялась со всеми, и, глядя на эту красивую веселую женщину, трудно было догадаться, что она все отдала бы, лишь бы убежать к себе, поплакать — ведь актриса пела ту самую песенку, кото-

рую напевал Вася, когда они шли утром смотреть его дома...

Привезли новых раненых. Сабанеев делал трудную операцию: остался осколок, задет желчный пузырь. Потом Наташа сидела возле сержанта Куцына, у которого отняли руку. Он рассказывал: «Фрицы были в доме напротив. Как тихо, слышно, что-то говорят, говорят... Непонятно только что... А мы и говорить не говорили. Обед принесли, не дотронулись... Трое нас осталось... Девять дней держались...» Наташа его успокаивала: «Тебе нельзя утомляться, завтра расскажешь...» Он на минуту замолкал и снова говорил: «Из миномета начал бить... Егоров кричит, а я не слышу... Он кричал, что заело... Немцы полезли, я схватил лимонку...»

Наташа вышла на улицу. Шел дождь пополам с мелким снегом. Было хмуро, неприветливо. На фасаде она увидела полотнище: «XXV». Скоро праздники... Как странно — такая дата и не во-время... Трудно праздновать. В Сталинграде люди умирают за дом, за кусочек дома... Сил нет, чтобы себе это представить... Такой сержант, ведь это герой, и никто не знает... Нет, нужно обязательно праздновать — назло немцам. Двадцать пять лет, потом будет пятьдесят, сто... Устроим вечер для раненых... А тяжело, очень тяжело...

Варвара Ильинична сказала: «Наташенька, покрой меня — что-то холодно...» Наташа взяла руку матери, будто хотела погладить, начала считать пульс — частый, слабый и перебои... Может быть, позвать Петра Васильевича? Страшно ее оставить...

— Мама, тебе хуже сегодня?

— Нет, Наташенька... Было холодно, теперь согрелась...

— Может быть, выпьешь чаю? Или скушаешь пюре?..

Варвара Ильинична покачала головой. Потом она как будто задремала. Наташа пощупала пульс: лучше... И дыхание ровное. Все-таки сбегаю за Петром Васильевичем...

Когда она вернулась, Варвара Ильинична была мертва. Ее голова свесилась вниз, одеяло было на полу — видимо, она попыталась приподняться.

Потом Наташа упрекала себя, что ушла. Ей все казалось — чего-то она не сделала... Врач говорил: «Ничего нельзя было сделать. Пробовали все. Есть случаи, когда и медицина бессильна...»

Наташа советовалась всегда с отцом: Дмитрий Алексеевич был другом, наставником, судьей мыслей, чувств, поступков. Теперь она знала, что связь ее с матерью была другой — темной, вязкой, необъяснимой. Как будто и я умерла... Она все время видела маму, мамочку, мамулю детства, вечную хлопотунью, заботливую, тихую. Хотела уберечь папу, меня, а себя не уберегла, сгорела...

Нужно написать папе. Но как ему это сказать?.. Она чувствовала свою ответственность — отец, полный жизни, бодрости, сейчас ей казался ребенком. Может быть, лучше постепенно подготовить?.. Но он будет волноваться — от письма до письма... Скрыть? Нет, это она не вправе. Разве бы она простила, если бы скрыли смерть Васи!.. Нужно написать правду. Но как?..

Она снова погружалась в воспоминания. В Москве остался большой портрет мамы. Она была очень красивая; рассказывала, сконфуженно улыбаясь: «До того, как я познакомилась с папой, за мной часто ухаживали...» Наташа помнит, как мама болела тифом. Наташе было шесть лет. Отец стоял возле постели на коленях, целовал руку мамы, говорил: «Варенька, мой друг!..» Мама тогда прощалась с Наташей... Когда она приехала в Аткарск, мама сказала: «Не огорчайся, здесь тоже можно быть полезной...» Бегала каждый вечер на вокзал, поила чаем раненых, подшивала воротнички, выслушивала длинные истории. Больная уже была, а все-таки не хотела пропустить... Никто даже не знает, какая она была... Настоящая...

«Дорогой мой папочка!

У нас несчастье. Я знаю, какая в тебе сила, поэтому пишу прямо, не смею скрыть, нет больше мамы. Она мне запретила написать тебе, что она больна. Заболела она весной, вначале думали, что гастрит в тяжелой форме. Только в августе профессор Щеглов установил рак желудка. После радиоскопии было облегчение, но мы знали, что это временное. Профессор Щеглов и Сабанеев реши-

тельно возражали против операции, говорили, что это бесцельные мучения, сердце в таком состоянии, что не выдержит. Мамочка вела себя очень мужественно, когда ей стало легче, снова работала на станции. Я ее удерживала, но для нее это было таким счастьем, что пришлось уступить. Папочка, профессор Щеглов тебе напишет, а сейчас я только передаю от него, что сделано было все. Мамочка до последнего дня была живой, интересовалась всем, ждала твоих писем, расспрашивала меня, что говорят раненые. Последний месяц она лежала, очень ослабла, просила меня каждый день читать ей все из «Правды» и «Звезды» про Сталинград и накануне смерти сказала: «Кажется, теперь будет по-другому, не сглазить бы...» Она умерла второго ноября в одиннадцать часов вечера. Вчера мы ее похоронили. Возле могилы дерево, береза, весной посажу цветы. Я стояла там и чувствовала, папочка, что ты рядом. Я тебя умоляю, крепись, время ужасное! Обо мне не беспокойся. Я работаю, бодра, твердо верю, что будет скоро победа, ты вернешься. Твой внук здоров, растет, еще не понимает, какое теперь время, скоро начнет все понимать, и ты, папочка, помни, что ты нужен и мне и Васеньке. Я тебя целую, обнимаю, я с тобой сейчас все время, каждую минуту! До свидания, родной, дорогой!

Твоя Наташа».

В госпитале она сказала Сабанееву:

— Нужно постараться, чтобы вечер вышел праздничным. Двадцать пять лет!.. Я пойду в горком, поговорю о передвижке. Если бы показать фильм «Разгром под Москвой» и потом что-нибудь веселое...

Сабенеев говорил медсестре Коршевой:

— Я знал, что женщины у нас удивительные, можно сказать, этим всегда держались... И все-таки гляжу на нее и не понимаю — откуда такая сила?..

Только с Васькой-маленьким Наташа могла говорить откровенно:

— Сироты мы с тобой, Васька. Ужасно!.. А жить нужно, обязательно... Большой будешь, поймешь... Сейчас хорошо, что не понимаешь... Лежишь тихо, а мама твоя плачет...

16

В долгие бессонные ночи Валя много передумала. Она посмеивалась над собой: хочу понять все. На самом деле, она начала понимать себя. Глядя на прежнюю Валю, она видела, что жила не так, как хотелось, мечты о кино были детскими и случайными — она тянулась к искусству, потому что у нее не было личной жизни; чувства, не нашедшие выражения, уводили ее в мир вымысла. А когда она встретила Сергея, все переменилось; она остыла к своей давней мечте, могла бы сидеть в учреждении, как Рая или Галочка, и быть счастливой. Она не успела переделать свою жизнь — ведь женой Сергея она стала за два месяца до войны, не успела даже сказать Сереже, как ей хочется ребенка.

Почему она пошла на литерный завод? Конечно, она понимала, что время грозное, самолеты важнее кино; но одного сознания было мало, чтобы Валя, которую мать называла «сонной», привыкшая жить в призрачном мире, очутилась у токарного станка. Сергей не удивился, он был настолько поглощен войной, что это показалось ему естественным. Его удивило бы, если бы он узнал, что Валя может целую неделю не читать газет, не слушать радио. Она то по сто раз повторяла себе слова сводки, то, желая понять сущность войны, переставала за нею следить, не знала, где проходит линия фронта, не представляла себе, что такое «артподготовка» или «пикировщики», о которых ей писал Сергей.

Валя, как и другие, была потрясена общим несчастьем; но, думая о происходящем, она неизменно возвращалась к своей личной судьбе: она нашла жизнь как раз перед тем, как жизнь у всех отняли... Работу на заводе она выбрала как самое далекое от того, чем жила прежде,— хотела оттолкнуться от прошлого. Работа была трудной, и она этому радовалась: физическая усталость мешала думать (Валя себе говорила: так лучше не распускаешься).

После расставания с Сергеем она не жила, а ждала жизни, вначале горестно и вдохновенно, потом, почти год, терпеливо, а последнее время с отчаяньем. Это не сказывалось на работе; товарищи не замечали проис-

шедшей в ней перемены. А Валя уже не могла сосредоточиться, вспомнить связно прошлое, написать Сергею нежное, но спокойное письмо.

Валя прежде не видела жизни, не различала людей, жила среди выдуманных ею персонажей. Когда она читала о подвигах партизан, ей казалось, что это написано про отца. Может быть, и он взрывает поезда?.. Она ничего не знала о судьбе своих киевских друзей; но когда заговаривали о Киеве, ей становилось невыразимо грустно, мерещились печальные сады, крутые подъемы, внезапно раскрывающаяся туманная даль, зеленый, смуглый, смутный город.

Наташа написала, что у нее сын, от Васи попрежнему нет известий. Валя проплакала ночь — жалко было Васю, Наташу и страшно — что с Сережей?.. Нина Георгиевна звала Валю к себе: «Работать сможешь и здесь, а вдвоем легче...» Валя не поехала, боялась, что с матерью Сережи будет еще тяжелее — даст волю тоске. Здесь она была одинока, хотя и было у нее много знакомств: как всегда, она была приветлива, помогала товарищам, слыла отзывчивой. Она затаилась, стала суеверной, загадывала — если увижу девушку в зеленом берете, будет письмо, если завтра в смене окажется Шумов, кончится благополучно... Она сердилась на себя: как старая бабка, так легко сойти с ума!.. Но страх перед судьбою был сильнее. Она пробовала читать, брала книгу и вскоре ее откладывала: сложные коллизии романа казались ей ничтожными по сравнению с действительностью.

Только письма Сергея ее поддерживали. А он писал нерегулярно: то пишет три дня подряд, то пропускает несколько недель, вдруг прорвется в одной строке любовь, и Валя оживает, приподымается, а потом — сухой рассказ о военных буднях или три слова: «Здоров. Пиши. Целую».

Перечитывая одно из последних писем, Валя вдруг догадалась, где Сергей. Она долго стояла возле забора, на котором был наклеен старый, разодранный номер «Красной звезды»,— там она увидала корреспонденцию из Сталинграда. Когда Валя прочитала: «мир, сколько он стоит, не знал таких боев, как эти», она поняла — там ад, настоящий ад, нельзя пробыть и минуту... А Сережа там...

В ней смешивались восторг перед мужеством Сергея и ужас, тот темный ужас, от которого хочется кричать.

То, что переживала Валя, было уделом многих; но у других были лекарства — увлечение работой, заботы о домочадцах, разговоры о мировых событиях, о приезде в Москву Черчилля, о втором фронте, о борьбе партизан Югославии, трудности повседневного существования — появление или исчезновение молока, экспедиции за мешком картошки, поиски дров перед надвигающейся зимой, доклад о военном положении или премьера пьесы «Русские люди». Валя относилась безразлично к быту, не замечала, что дают в столовке, не мечтала об обновках; когда изредка шла в театр, с трудом заставляла себя сосредоточиться и следить за действием. Все ее мысли, все чувства были заняты одним: что с Сережей? Неуравновешенная натура, богатое воображение, обостренная чувствительность, которые прежде приводили ее к искусству, теперь увеличивали терзания. Слыша рассказы про фронт, про поле с воронками от снарядов или про минометный обстрел, она представляла себе безжизненный пейзаж луны, с кратерами и озерами, гигантские леса из проволоки, мир, изъеденный кислотой, покрашенный медянкой, молнии, которые поражают онемевших, оглохших, бесчувственных людей. Кошмары, мучавшие по ночам матерей, жен, невест, преследовали ее и наяву. Она носила на себе маленькую фотографию Сергея, снятую с удостоверения, чтобы выдуманный облик позеленевшего и мертвого не заслонил бы живого — минутами она не могла вспомнить лицо Сергея.

С середины октября на заводе стали готовиться к торжественному вечеру. Товарищи знали, что Валя училась в киноинституте, между собой называли ее «актрисой» — иногда ласково, иногда пренебрежительно. Парторг Жолтяков сказал ей: «Ты нас выручи, из театра приедут, но сказали, чтоб и свои выступили...» Валя долго отказывалась: «Я это давно бросила... Не смогу...» Суеверно она боялась, хотя бы на час, вернуться к прошлому. Но Жолтяков настаивал, и пришлось согласиться.

В большом бараке, где помещалась столовая, было туманно, лампы расплывались. Люди стояли в проходах, в раскрытых дверях, забрались на эстраду. Валя должна

была прочитать три стихотворения, все про войну, боялась — вдруг забуду? — как будто она и не зналась с искусством.

Читала она хорошо, и волнение, несколько раз прерывавшее ритм стиха, усиливало впечатление: сказались тоска, страх за Сергея, те ужасные картины, которые стояли перед глазами; она вкладывала в слова другое, только ей понятное содержание. Особенно хорошо прочитала она:

И между сабель, шпор, сапог,
До пояса не доставая,
Внизу, как тихий василек,
Бродила девочка чужая...

Это были стихи о ребенке среди непонятной, страшной битвы. Читая их, Валя растерянно улыбнулась, и как всегда, когда она улыбалась, лицо ее стало необъяснимо привлекательным. Все вдруг увидели ту самую девочку с голубыми глазами на поле боя... Когда она кончила, долго не смолкали аплодисменты. А она стояла, очень бледная, с той же смутной улыбкой.

К ней протискался военный:

— Разрешите фронтовику пожать руку. Выразили... За душу хватает...

Актер Орловский, который должен был выступить вслед за Валей, засмеялся:

— Убили, после вас нельзя выступать... Нет, я это серьезно говорю, настоящий талант, необходимо учиться...

Орловский не кривил душой: Валя действительно его тронула. Он любил искусство, как может его любить одинокий актер, измученный халтурой, знающий, что есть игра, которая заставляет сухих людей плакать, ломать руки, вспоминать обеты верности, итти на смерть. Валя ничего ему не ответила. А Жолтяков с гордостью сказал:

— Она у нас актриса, до войны уже училась...

И Жолтяков, поздравив Валю, добавил:

— Орловскому понравилось...

Будь это прежде, Валя расцвела бы: значит, что-то во мне есть, буду актрисой... А теперь, глядя на Орловского, она подумала: какие у него грустные глаза, наверно, тоже мучается, как все...

Пела певица. Люди шумели. Падал первый снег. А Валя шла домой как завороженная — перед нею снова было зеленое лунное поле, ночь, смерть. Она тихо сказала: «Сережа»... Никто не отозвался. Его нет, он в Сталинграде...

17

Это был обыкновенный день, так же, как накануне и как неделю назад, били минометы, так же пошли восемь немецких танков на артиллеристов Шилейко, так же Левин оперировал раненых и так же с левого берега на правый шли тяжелые баржи. Зонин, ругаясь, брился, зеркала не было, и он все время водил рукой по щекам, проверял, где колется; ему хотелось выглядеть понаряднее. Первый он поздравил Сергея и сам усмехнулся:

— Похоже на все, что хочешь, только не на праздник...

Зонин стал вслух припоминать, как встречал он праздник в сороковом — перед войной. Это была длинная история, где все смешивалось: парад, два билета в театр, Козловский, ужин у брата и Маруся. Сергей плохо слушал — хотелось спать. Хоть бы раз как следует выспаться!.. В Париже было запрещено ночью сигналить, Лансье объяснял, что гудки вредно действуют на нервную систему, сокращают продолжительность жизни. Оказывается, можно жить и здесь... Это никогда не кончится: правее мы не можем перейти на правый берег, левее немцы не могут нас скинуть на левый, десять метров возьмут, потом мы отберем... Метров мало, много жертв. Полковник обещал пополнение...

Принесли армейскую газету, красные цифры — XXV. Ему было семь лет... Он помнит, как дребезжали тарелки на буфете, мама не позволяла подойти к окну, а очень хотелось. Пришел отец, у него была красная повязка на рукаве, сказал: «Нина, поздравляю, юнкера сдались...» До августовской бомбежки здесь было много детей. Что они вспомнят через четверть века?.. Наверно, все покажется другим, нас приоденут, наваксят сапоги, заставят говорить историческими фразами. Не приводить же в школьных книгах ругань саперов!.. Двадцать пять лет,

это полжизни человека... За границей думали — два года, ну пять, и перебесятся. Может быть, они и теперь считают, что долго не протянем. А мы протянем. Самое страшное было в августе... Выспаться, тогда можно все начать сначала... Скоро на Волге покажется лед... Говорят, что человек — это нечто очень хрупкое. Вертер умер из-за несчастной любви. А приведи сюда бегемота, он не выдержит и дня... Зонин говорит, а я не слушаю, он рассердится...

— Маруся любит МХАТ, а мне нравится, когда в театре не как в жизни...

Разве Зонин не хрупкий? Все хрупкие, а немцы ничего не могут поделать. Может быть, это действительно войдет в историю, как Царицын?.. Я слышал Сталина в тридцать восьмом, он говорил спокойно, не торопился, шутил.. Сегодня он выступит, нет, он уже выступал вчера, сегодня узнаем — нельзя было слушать — били по переправе... Наверно, говорил спокойно, это наше счастье, что он умеет быть спокойным...

— Слушай, Сергей,— говорит Зонин,— когда ты давеча уходил, здесь один связист нарвался на фрицев, троих убил, еле выбрался. Стоит, жутко ругается. Я подошел, спрашиваю, в чем дело, он мне объясняет: «Щипцы оставил...» А что на немцев нарвался, не говорит...

Сергей смеется:

— Я только что думал, как будут разговаривать люди Сталинграда через двадцать лет в каком-нибудь классическом романе. «Волга... Богатыри... На нас смотрит история...» А вот тебе настоящая историческая фраза: «Щипцы оставил...»

Это не Нивель... Почему у нас так боятся громких слов? Даже я. Люблю, когда французы впадают в пафос — каждый — Гюго, и вдруг неловко, хочется дернуть за рукав... Мадо про себя сказала: «Я тоже немая Джульетта...» Что с Мадо? Она не успокоилась — у нее волнение не от того, что кругом, от себя...

Почему мы не перешли той черты, которая отделяет мечту от жизни? Не хотели — ни она, ни я. Как два подростка... Понимали, что нельзя... Мадо сказала, что у каждого будет своя жизнь.

— «Жизель»,— вспоминает вслух Зарубин,— танцовала Уланова. Марусе не понравилось, а, по-моему, хорошо. Как сон...

Я никогда не забуду Мадо, думает Сергей. Жить этим нельзя, но это нужно, чтобы жить...

Зонин зевает.

— Спать хочется...

— Ты думаешь, мне не хочется?

— Смешно — с одной стороны вся Европа, с другой клочок земли. И держимся...

— Почему «вся Европа»?

— Ну, почти вся... Вот посмотри, я подобрал в землянке... Заглавие я разобрал — Анатоль Франс, роман. Какой-то фриц почитывал... Я тебе говорю — Европа!

— Если посол подымает флаг над домом, значит там его государство, так полагается... Европа теперь здесь, можем поднять флаг над этой землянкой. Или ты думаешь, что Анатоль Франс с фрицами?..

— Я его не читал. Маруся, наверно, читала. В театры я довольно часто ходил, а читал мало. Сидишь над чертежами — голова пухнет, хочется куда-нибудь выйти... Я балет особенно люблю... Маруся много читала, смеялась, что мне нравится все фантастическое. Ей самой нравится, только скрывает, почему-то решила, что если учится на врача, не годится... А ты погляди, какая она веселая...

Зонин показывает фотографию: Маруся снята с котенком, у нее лицо озорной девчонки, чуть раскосая.

— Это — перед войной в Луге... Последнее письмо от третьего октября, больше месяца.

Сергей сел писать Вале; хотел передать страсть, тоску, нежность, но не вышло; он в ужасе подумал — еще месяц-другой, разучусь говорить...

Зонин раздирающе зевал.

— Ты поспи,— сказал Сергей.— А я пойду к майору — они, наверно, приняли доклад.

Зонин сидел на бревне. Он спал с открытыми глазами. Все путалось: Маруся, баржа, флаг Европы, Жизель, щипцы... Потом Маруся пригнула его голову, начала целовать. Было тихо — полчаса, может быть дольше.

Снаряд разорвался возле землянки. Зонин очнулся в санбате, начал вспоминать: что случилось?.. Кажется, я спал. Сергей ушел к майору...

— Сталин говорил?

— Тебе нельзя разговаривать,— ответил Сергей.

— Что он сказал?

— Что будет праздник и на нашей улице...

Но Зонин не слышал: снова погрузился в забытье.

Медсестра Катя выписала в книжечку все дни до нового года; каждый вечер она вычеркивала одну цифру; сейчас, вынув книжку, она с удовольствием зачеркнула «7».

— Пятьдесят четыре дня осталось.

— До чего?

— До конца года.

Левин грустно улыбнулся:

— А потом напишешь триста шестьдесят пять новых?..

— Может быть, и не напишу,— ответила Катя.— Как он...— Она показала рукой на Зонина.

Сергей сидел и молча глядел на друга. Снова тихо... Если бы я не пошел к майору... Глупая игра!.. А фрицы выдыхаются, не то что месяц назад... Сталин знает общее положение, если он сказал, значит будет... Но когда? Для Зонина слишком поздно... А может быть, нет, Левин говорит, что есть надежда... Его жена, кажется, в Ярославле. Им хуже, чем нам. Это, наверно, ужасно — представить себе такое...

Он хотел написать Вале другое письмо, но позвали на переправу. Больше он не думал ни о жене, ни о Зонине, ни об исходе сражения — работал.

18

— Я вас умоляю, дорогой друг, оставьте мою нервную систему в покое и подумайте о судьбе «Рош-энэ»! Руа может каждую минуту вытащить Альпера... А после смерти Жозефа у меня нет там руки. Мне нужен человек, который хорош с немцами...

— С ними все хороши,— ответил Морило.— Особенно Руа...

Лансье упрекнул себя: зачем я говорю об этом Морило? Ему лишь бы посмеяться...

А Морило его выручил: свел с Жеромом Пино.

В Пино не было ни блистательности Берти, ни размаха. Он не вносил в дела азарта. Лет десять назад, когда еще все было спокойно, он говорил: «Хочется застраховать себя даже от землетрясения, хотя мы не в Японии...» Жил он скромно, редко принимал гостей, не швырялся деньгами. Старшую дочь Полину он выдал за лионского коммерсанта, господина Пенсона, младшую — Анриет — за молодого, но подававшего надежды адвоката Вэрней. Пино понимал, что политика связана с налогами, с заказами, с биржевыми курсами, и внимательно следил за парламентскими комбинациями, коммунистов он ненавидел, социалистов звал «дурачками», а про крайне правых говорил: «Эти хирурги заодно с отростком вырежут все кишки».

Когда началась война, Пино быстро пошел в гору; здесь не было ничего удивительного: естественно, что завод, изготовлявший радиаторы, может изготовлять минометы, и столь же естественно, что, когда на дворе война, минометы расхватывают, «как плюшки» (любимое определение Пино); сначала покупали французы, потом немцы. Разумеется, Пино был потрясен событиями сорокового года, даже похудел, костюмы на нем висели. Но дела оставались делами; и, увидев, что дела идут хорошо, он забыл про гражданские огорчения. Никогда прежде он так не зарабатывал. С немцами он был сдержан; на них производила благоприятное впечатление его осанка — было в нем нечто торжественное и скорбное, он разговаривал громким шопотом и сморкался, как на похоронах.

Пино увлекся биржевыми операциями; стал владельцем большой типографии, купил за бесценок дом, принадлежавший одному еврею. Он говорил жене: «Время, конечно, тяжелое, но грех роптать, живем, да и дети устроены, и Полина и Анриет сделали хорошую партию...» Вэрней изменял Анриет, это знали все, кроме нее, но с нею он был нежен, ни в чем ей не отказывал. «Такой не пропадет»,— говорил Пино. Три года назад Вэрнея считали чуть ли не «красным», а теперь он был на пре-

красном счету у немцев, писал в газетах, не брезгал коммерческим посредничеством. Муж Полины, Пенсон, когда началась война, продал свои склады и купил гостиницу в Женеве; за несколько недель до разгрома он уехал с женой и с ребенком в Швейцарию. Говорили, что он придерживается английской ориентации. Пино как-то представил себе встречу Пенсона с Вэрней — вот была бы драка!.. А Пино был далек от крайностей, работал с немцами, но ничего не имел против победы союзников.

Когда Морило рассказал об угрозе, нависшей над «Рош-энэ», Пино не удивился:

— С немцами можно работать, но таких шакалов, как Руа, я не люблю. Теперь в финансовом и промышленном мире слишком много выскочек... Что же, я готов встретиться с Лансье...

Пино предложил Лансье свою помощь. Лансье понимал, что Пино может спасти «Рош-энэ»,— немцы не посмеют его тронуть... Притом Пино хочет вложить в дело капитал. Но Лансье не хотелось связываться с чужим — достаточно он пострадал и на Лео и на Руа...

Начались переговоры. Пино относился к Лансье покровительственно: считал, что для делового человека не подходит ни обстановка «Корбей», ни легкомысленные манеры; но, посмеиваясь про себя над «чудаком», Пино щадил его самолюбие; говорил с ним так, как будто Лансье создал «Рош-энэ».

Лансье пригласил Пино с супругой на обед. Переговоры продвигались вперед; шутя Морис сказал Марте: «Сегодня почти помолвка. Может быть, скоро будет свадьба...» Он позвал и Морило, назвав его «сватом». Был ноябрьский мутный день, с утра в доме горело электричество. Все чихали, кашляли. Марта понравилась чете Пино простотой, домовитостью; они оживленно беседовали, вспоминали довоенное время. А Лансье волновался: куда пропал Морило? Ведь барашек пережарится, это не шутка...

Они сели за стол, не дождавшись доктора. Лансье сердился. Пино его успокаивал:

— Вы ведь знаете, какой характер у Морило. Наверно, побежал через весь город к какому-нибудь больному. Да еще бесплатно... Вот кому бы поставить памят-

ник. У нас не умели ценить честных тружеников, был культ аферистов, интриганов. Это одна из причин разгрома...

— Немцы нас многому научили,— ответил Лансье.— Но все-таки тяжело зависеть от чужих... Как вы думаете, господин Пино, это когда-нибудь кончится?..

Марта с укором посмотрела на Мориса: зачем говорить такие вещи?.. Конечно, Пино производит благоприятное впечатление, но за кого теперь можно поручиться?.. Лансье понял, что значит взгляд жены, однако не пожалел о сказанном: ему предстоит работать с Пино, лучше знать заранее все, чтобы не было сюрпризов...

— В конце концов немцы уйдут,— ответил Пино.— Я не могу на них пожаловаться, они ведут себя корректно, но я француз, и я вас понимаю... Вэрней мне говорил, что немцы после победы очистят всю Францию, да и другие страны... Они только поставят правительства, приемлемые для них...

— Пока маршал жив, никто не посмеет его спихнуть.

— Маршал это декорация. Немцы предпочитают Деа Лавалю, а Лаваля Дарлану. Здесь есть свои оттенки. Я лично думаю, что на двадцать — тридцать лет Европа будет немецкой...

Вошел, запыхавшись, доктор Морило. Марта начала ему ласково выговаривать:

— Вы сами себя наказали, придется кушать разогретое...

Доктор Морило долго молчал, ел суп и лукаво посматривал то на Лансье, то на Пино; потом, вытерев рот салфеткой, он по своему обыкновению очень громко рассмеялся:

— Вэрней сегодня не будет спать. Я могу ему прописать веронал... Вы не знаете? Американцы и англичане высадились в Алжире.

Пино не мог скрыть волнения. Конечно, этого можно было ждать, но мало ли чего ждешь, а потом это кажется неожиданным?.. Он часто говорил себе, что если одержат верх союзники, он первый будет их приветствовать. Кто посмеет бросить в него камень? Где эти чистоплюи? Пенсону легко быть непримиримым — он в Женеве. Но тот же Пенсон признает, что его тесть честный француз... И все-таки Пино стало неуютно. Начнутсся расследования:

откуда типография, как он купил дом, почему завод при немцах работал в три смены? Завистники найдутся. Повылезают коммунисты, как в тридцать шестом... Невесело!

— Вы, кажется, огорчены, господин Пино? — спросил доктор.

Чего только не позволял себе этот старый циник! Марта поняла неделикатность вопроса и, прежде чем Пино успел ответить, сказала:

— Я не понимаю, почему нужно за обедом обязательно говорить о политике?

Пино решил, что она права, и занялся сочной грушей.

А Лансье улыбался. Высадились!.. Может быть, вернется довоенное счастье? Марселину никто не воскресит, но он поедет с Мартой в «Желинот»... Да, я написал некролог Берти, немного погорячился, так и скажу — погорячился, не взвесил слов... Что из того? Берти, как-никак, был моим зятем. При чем тут политика? Я не Пино, меня немцы преследовали. Луи уехал в Англию, наверно, и Мадо там. Вот какое воспитание я дал детям!.. Интересно, скоро ли союзники высадятся в Марселе? От Алжира недалеко... В Марселе их встретит маршал. Представляю, как он сейчас радуется!.. И Лансье продолжал улыбаться. Он понимал, что при Пино не стоит откровенничать,— Марта будет недовольна, и попытался объяснить свою улыбку:

— Давно я не ел такой ароматной груши...

Морило весь забрызгался и соком, и слюной — он все еще смеялся, довольный произведенным эффектом. Потом он сказал:

— Ну и высадились. Ничего в этом нет потрясающего. Забирают наши колонии... Если бы они хотели воевать с немцами по-настоящему, они выбрали бы другое место...

Когда гости ушли, Лансье задумался над событиями и решил, что не стоит связываться с Пино. Война приближается к развязке. Пино себя скомпрометировал с немцами. Теперь у меня неприятности оттого, что Лео — еврей. А выгонят немцев и начнут мучить: почему с вами Пино? Кстати, он захватил дом одного еврея... Лучше без компаньонов, отвечаешь только за себя... Лансье сказал Марте:

— Ты знаешь, как я был предан Марселине. Судьба меня сделала вдовцом. И судьба мне послала тебя. Я благословляю судьбу: приятно связать свое сердце с другим... В делах не так — счастливы одинокие. Пино — порядочный человек, он не лезет вперед, как покойный Берти. Я надеюсь, что после нашей победы у него не будет никаких неприятностей. Но все же лучше с ним не связываться...

Два дня спустя Лансье узнал, что немцы перешли демаркационную линию, заняли Лион, Марсель. Значит, они думают всерьез защищаться, укрепляют юг, как побережье океана. А Морило правильно говорил: союзники не торопятся. Рано мыши хоронили кота. Может быть, англо-саксы когда-нибудь победят, но до этого Руа успеет отслужить по мне панихиду.

Несколько дней Лансье терзался и, наконец, решил принять предложение Пино.

— Ты понимаешь, Марта, я тогда погорячился. Немцы — огромная сила. Морило доволен тем, что сотня русских запряталась в погребах Сталинграда. Но это мелочь... Между Алжиром и Марселем море. Приходится считаться с фактами. Пино сумеет отстоять «Рош-энэ». Тем более, что его зять, Вэрней, редкий прохвост, мне говорили, что он запросто бывает у Абетца...

Когда Пино и Лансье закончили деловую часть разговора, они начали беседовать о политике. За десять дней все изменилось — в Алжире союзники, в Марселе немцы.

— Я никогда не думал, что Дарлан предаст маршала,— сказал Лансье.

— Я не осуждаю Дарлана. Что ему было делать?.. Он спас много жизней. Вы убеждены, что маршал не послал его туда с этой целью?..

Лансье растерялся: Пино рассуждает, как я... Ну да, Пино — француз, как я, как маршал...

— Дорогой господин Пино, события такие сложные, что теряешь голову. Я доверяю маршалу...

— Маршал это декорация. А люди, его окружающие, хотят спасти Францию от анархии. Самое страшное — коммунизм. Можно быть против «сотрудничества», но приветствовать отправку «легионеров» на Восточный

фронт. Борьба против большевиков — долг каждого француза. Здесь я абсолютно согласен с Лавалем.

— Лаваль поехал в Мюнхен к Гитлеру. Вы не думаете, что это чересчур?..

— Ничуть. Это его долг. Как долг Дарлана договориться с американцами... Мы должны предвидеть все возможности. Есть наша, французская политика... Я очень рад, что американцы взяли Дарлана и Жиро. Коммунисты теперь увидят, что им нечего ждать от победы союзников...

Лансье был потрясен. Он считал Пино торгашом. Оказывается, это философ, он ведет игру, и крупную...

В тот же вечер Лансье пошел к Морило: хотел поделиться своим открытием. Морило сидел грустный в темной комнате. Жены его не было дома. Лансье был так поглощен своими мыслями, что не заметил, в каком состоянии доктор. Он сразу закричал:

— Оказывается, Пино не только делец, это политик, патриот. Он сформулировал так: нужно все предвидеть...

— Еще бы! У него даже дочки работают в двух направлениях. Можете быть спокойны, Морис, с ним вы не пропадете. Это выдержанный подлец. Конечно, он не Дарлан, но на «Рош-энэ» его хватит.

— Вы считаете, что Дарлан подлец?

— Зависит от того, что называется подлостью. В общем лакей не обязан быть верным хозяину. Дарлан переменил место... Все они друг друга стоят — Лаваль, Дарлан, маршал...

Только сейчас Лансье заметил, что Морило сам не свой — ни разу не засмеялся...

— Вы себя плохо чувствуете? — спросил Лансье.

— Я?.. Какое это имеет значение в нашем возрасте? Тянем — и то хорошо. Молодые гибнут... Пино или Дарлан гадают — на кого поставить: на американского покровителя или на немецкого вышибалу? А молодые тем временем гибнут...

— Вы знаете, где Рене?

— Был на юге... Может быть, немцы его уже взяли...

Лансье знал, что старший сын доктора, Рене, не поладил с немцами — после студенческой демонстрации убежал в «свободную зону».

— Я вас понимаю, дорогой друг. Я сам мучаюсь: что с Луи? Может быть, он в Алжире, а может быть, погиб. Не знаю, где Мадо... Пожалуй, лучше всего вашему Пьеру — противно быть в плену, зато он вне игры. Кончится война, и он вернется...

— Не знаю... Вчера у меня был товарищ Пьера, они вместе были в «сталаге», этого немцы отпустили — туберкулез в последней стадии. Он мне рассказывал, как они живут — суп из картофельных очисток, нетопленый барак, тяжелая работа. И они еще в лучших условиях, чем русские. Там рядом с ними — русские девушки умирают от голода, от дизентерии, надзирательницы их бьют, чорт знает что, варварство!.. Этот юноша мне рассказал, что Пьер подружился с одной русской, они друг другу помогают, она веселая, старается его утешить. Пьер слаб, с трудом подымает тяжести... Я боюсь, что не дотянет, у него ведь слабые легкие...

Лансье впервые увидел в глазах Морило слезы. Доктор отвернулся и сказал:

— Вы видите, что я был прав насчет Сталинграда? Это вам не дипломатия. Читали «Пари суар»? Немцы пишут: «Германская армия готова ко всем неожиданностям...» Странный язык для победителей... Знаете, Морис, я вряд ли дотяну до развязки, да я и не очень мечтаю дотянуть. У меня нет иллюзий. Чем больше все меняется, тем больше все остается попрежнему. Но сейчас мне приятно, что русские их остановили. Приятно, что Пино боится, что Дарлан ищет американцев, что американцы ищут Дарлана...

«Ужасный характер,— подумал Лансье,— ему приятно, что у других неприятности. А молодых жалко, это правда — и Луи, и Рене, и Пьера. Что с Мадо?..»

19

Вот уже месяц, как Мадо кочует; она приезжает в город, разыскивает улицу, дом, человека, говорит нелепые слова «у вашей тети грипп» или «я продаю канарейку», передает инструкции, узнает, выпустили ли листовки, как обстоит дело с динамитом, и уезжает. Она — связная. Ее

вид не вызывает подозрений. Она может мгновенно превратиться в деревенскую дурочку, в девицу легкого поведения или в барышню, занятую нарядами; она быстро меняет и одежду, и манеры, и словарь; умеет быть светской, жеманной, простодушной, плакать, говоря, что ее отец умирает, болтать о модных прическах, найтись в любой обстановке, затеряться в толпе. Товарищи говорят: «Нужно послать Франс — она проберется...»

Мелькают города, Лион с его туманами, с темными закоулками, проходными дворами, тайниками улиц и тайниками сердец, неизменно пестрый, крикливый Марсель, где старые портовые проститутки оказываются героинями и где философы-гуманисты торгуют, чем придется,— кофе, поддельными шедеврами, головами патриотов, длинный, закопченный Сент-Этьен, старая кокетка Ницца. В окно вагона бьет осенний дождь; проносятся поля с неподвижными коровами; убирают виноград; на речке женщины полощут белье; горы, надорвавшись, отвесными скалами спускаются к морю.

Иногда Франс идет по шоссе, обсаженному тополями, сворачивает на маленькую дорогу, морщинистую, как лицо старухи, по тропинке подымается в гору, заходит в крестьянский дом, где лает собака, коптит лампа, сушится лук. На ногах то рыжая тяжелая глина, то серебряная пыль. Она ночует и утром уезжает.

Кругом идет своя жизнь. Виноделы говорят, что сорок второй будет «большим годом». Деревенские парни покупают фальшивые документы, чтобы избавиться от отправки в Германию. Молодожены запасаются ордерами на шкаф, на кровать. В школах дети слушают, как дедушка Петэн спас Францию. Люди продают немцам вино, колбасу, апельсины, старинные миниатюры, духи, непристойные фотографии, покупают у немцев сигареты, ножики для бритья, аспирин. Все торгуют, прицениваются, перепродают. Многие богатеют, украшают картинами дома, устраивают званые обеды. Франс видит невест в подвенечных платьях, мамаш, разодетых по-воскресному, со своими выводками, подвыпивших мечтателей, влюбленных, стариков, играющих в трик-трак. И она думает: до чего мы одиноки! Сколько нас? Десять тысяч, может быть, сто, не знаю... А остальные приспособились.

Конечно, они недовольны, говорят о далекой войне — союзники в Африке, Сталинград еще держится... Но до чего это далеко — и Сталинград, и Алжир! А немецкая комендатура в двух шагах. Можно заработать, хорошо пообедать и, если ты уж такой непримиримый, послушать, что рассказывает Лондон. А скажешь лишнее слово, отошлют в Германию или замучают в гестапо... «Только сумасшедшие могут с ними бороться»,— сказал Франс один адвокат, который согласился приютить ее на ночь, и добавил: «Я тоже сумасшедший»,— он чувствовал себя героем. Говорят шопотом, и это шушуканье преследует Мадо, как осенний непрестанный дождь. Боятся не только немцев, боятся друг друга, соседей, сослуживцев, болтунов, провокаторов, подосланных, подкупленных, добровольных шпионов, перекрасившихся левых, людей с двойными документами и с двойной совестью. Где та Франция, что кричала на перекрестках, кичилась своим темпераментом, своими баррикадами, своими куплетистами? Пройдет немец, и сейчас же кто-нибудь угодливо улыбнется...

Даже Тулон ничего не изменил. На минуту все замерло, как будто далекий взрыв оглушил страну. А потом?.. О самоубийце можно писать стихи, можно над ним плакать, нельзя ему подражать.

Рауль был старым коммунистом. Франс считала, что он понимает больше других; она его спросила: «Мы пишем про Тулон, а почему они взорвали корабли, не попробовали уйти, дать бой?..» Рауль усмехнулся: «Командовали вишисты. Хорошо, что не передали корабли немцам...»

В Париже Мадо многого не замечала: она жила в подполье. Здесь каждый день она сталкивалась с безразличными людьми. «Мы разведка, — говорил летом Люк,—армия далеко позади...» Подоспеет ли эта армия?.. Еще недавно Франс радовалась, когда люди в кафе или в вагоне заговаривали о Сталинграде. Теперь от таких разговоров ей становилось еще тяжелее. Там умирают, а молодой, рослый парень, продав бочонок вина и спрыснув сделку, шепчет: «Русские молодцы»... Они думают, что их кто-то освободит — большевики, дикторы Лондона, американцы, высадившиеся в Алжире, хитрый

Дарлан, все равно кто. Даже самые смелые, те, что прячут ее на ночь, качают головой: «Зачем торопиться? Вы убьете боша, а они в ответ расстреляют сто. Идут большие бои в России. Союзники высадятся, если не теперь, так весной. Нужно ждать...» Это повторяют все: ждать, обязательно ждать!

Мадо обрадовалась, увидав Жозет. Это было в беленой комнате, похожей на келью: распятие, запах лаванды, щербатый стол. Жозет знала, что Мадо спешит, и сразу заговорила о деле:

— Скажи Раулю, что копями займемся. Сейчас подготовляем операцию на линии. Необходимо оружие. Смешно сказать, у нас десяток револьверов, это все. Каждый день можем нарваться... Когда ты увидишь Рауля?

— Завтра вечером. Если не опоздаю на поезд...

— Значит, в четверг или в пятницу будешь здесь. Тогда поговорим обо всем. Один только вопрос: ты видала Анри?

— Накануне отъезда из Парижа. Значит, месяц назад, немного больше... Он здоров, очень бодрый, говорил со мной так, что я приободрилась.

Уходя, Мадо сказала скороговоркой:

— Он говорил, что с Мими все хорошо...

Когда Франс сказала Раулю насчет автоматов, он засмеялся:

— Ты думаешь, что мы богаты? Четыре немецких — трофеи. Англичане сбрасывают только AS, а те не дают...

Он помолчал, потом снова засмеялся:

— Попробуй с ними поговорить, может быть у тебя что-нибудь получится. Здесь есть один профессор литературы... Я плохой дипломат, потом меня знают, как непримиримого. А ты — парижанка, да и вид у тебя кроткий... С ними ничего нельзя знать — зависит от настроения.

Преподаватель литературы в местном лицее Жорж Рамель, с которым Франс должна была встретиться, до войны не интересовался политикой. Ему было двадцать девять лет, он женился перед самой войной и обожал свою жену. После капитуляции он помрачнел, избегал встреч с друзьями, не разговаривал даже с женой.

Однажды она ему сказала: «Неужели для тебя всего важнее престиж государства? Есть жизнь помимо этого...» Он ответил: «Ты не понимаешь. Мне безразлично, где границы, кто победит, это дело военных или политиков... Сейчас другое: немцы в Париже. Можно жить богато или бедно, но так жить не стоит...» Когда школьный товарищ предложил Рамелю вступить в организацию сопротивления, Рамель ни минуты не колебался. В группе «Жанна д'Арк» были разные люди: портной, который прежде шил костюмы Рамелю, два студента, журналист из католической газеты, молодая вдова офицера, погибшего в сороковом году, владелец текстильной фабрики, старый токарь, врач, нотариус. Рамель дважды участвовал в операциях: они принимали оружие, которое англичане сбрасывали на парашютах. Теперь жизнь казалась ему достойной.

Он встретился с Франс у зубного врача, который помогал группе «Жанна д'Арк». Рамель пришел с подвязанной щекой: после недавних арестов им было предложено соблюдать конспирацию. Франс изложила суть дела. Он сразу почувствовал к ней симпатию: что нас разделяет? Они делают то же, что мы. Теперь не выборы, люди умирают не по партийным спискам... Когда Франс замолкла, он сказал:

— Я поговорю с товарищами. Приходите завтра. Доктор принимает много больных, так что это безопасно... Здесь снова никого не будет.

В тот же вечер Рамель рассказал Надо о просьбе коммунистов.

— Это исключено,— ответил Надо.— У нас определенные директивы — не давать им оружия. Мы можем обмениваться информацией, сообщать о провокаторах, помогать прятаться, и только...

— Я не понимаю, зачем нам столько ручных пулеметов.

— Мы расходимся с ними в основном. Они занимаются мелкими операциями, убивают бошей, портят пути, недавно взорвали водокачку. Это только усиливает репрессии. Для коммунистов самое главное пропаганда. А мы смотрим на это с национальной точки зрения. Мы должны создать в подполье настоящую армию.

Когда союзники высадятся, у нас окажутся боевые единицы, хорошо вооруженные, с кадровыми офицерами.

Встретившись снова с Франс, Рамель сказал:

— К сожалению, это невозможно. Мы против преждевременных операций. Так думает наше руководство.

— Что же, по мнению вашего руководства, нужно делать?

— Накапливать силы, ждать.

Сколько раз Мадо слышала это «ждать»! Но тогда говорили малодушные люди, привязанные к сберегательной книжке, к зеркальному шкафу, к стакану аперитива. А этот... Ведь его могут сегодня взять, замучить в гестапо...

— Ждать чего?

— Высадки.

— Странная игра! Союзники ждут, пока русские не ослабят немцев, вы ждете, пока союзники не окажутся во Франции, обыкновенные люди ждут, пока вы не решитесь выступить. В итоге какой-нибудь Дюран из Виши, который вас не пускает на порог, окажется победителем...

Она нервничала, комкала перчатку. Рамель забыл о директивах; ему было неприятно, что этой женщине он должен казаться трусом.

— Если вы хотите знать мое мнение, я с ними не согласен. Сейчас легче стрелять, чем прятать оружие... Но не мне объяснять вам, что такое дисциплина. Когда был советско-германский пакт, я считал, как многие другие, что коммунисты изменники. Я был неправ, признаю. У вас была своя тактика. Есть своя тактика и у людей, которые приказывают нам ждать. Один из моих коллег — коммунист, в начале войны ему предложили отречься. Я знал, что он во многом расходится с позицией ваших депутатов, но он мне сказал: «В бою не философствуют, а дерутся...» Его арестовали, не знаю, что с ним стало. Он тогда показался мне фанатиком. Я и в этом был неправ. Теперь я воюю и не хочу размышлять — правы те в Лондоне или не правы. Вы лучше меня понимаете, что такое верность...

Прощаясь, Мадо сказала:

— Обидно, что я не достала оружия. И за вас мне обидно...

Он крепко пожал ее руку:

— Желаю вам удачи.

Когда Франс рассказала Раулю о разговоре с Рамелем, он засмеялся:

— Значит, говорит о верности? Они верны себе, это правда... Боятся нас. Рамель не разбирается. Я тебя послал к нему, потому что он самый порядочный. У них есть один тип, Надо, бывший протеже Фландена. Тот прямо говорит: «К моменту победы мы должны быть сильнее коммунистов...» Скажи Полине, чтобы достали автоматы у немцев — это наши единственные оружейники. И узнай, продвигается ли с вольфрамом?..

Жозет, увидев ее, взволновалась:

— Сегодня ночью операция. Могут начать проверять... Я тебя отошлю к одной старушке, это над городом. Утром спустишься в Левалле, минуя все посты. В семь возле Левалле тебя будет ждать связная — я передам для Рауля результаты...

— Когда операция?

— В четыре.

— Рауль спрашивал о копях...

Франс едва плелась — далеко, крутой подъем, две ночи она не спала. Вечер был холодный, один из первых зимних вечеров. В маленьком доме старая крестьянка кипятила воду и что-то приговаривала, потом она накормила Франс и внучку, все говорила, говорила. Франс не понимала, что она говорит. Может быть, выжила из ума?

Франс пробовала уснуть и не могла; то и дело чиркала спичками, глядела на часы. Без четверти четыре она вышла из дому. Ночь была темная, где-то лаяла собака. Из долины донесся шум приближавшегося поезда, как будто рядом дышал простуженный человек. Потом раздался грохот. Старуха выбежала из дому, сказала: «Слава пресвятой Марии». Мадо улыбнулась: старуха все понимает... Неправда, что мы одни! Даже такая с нами... И Мадо стало сразу спокойно. Она, сидя, дремала: боялась, что проспит. А старуха разводила огонь и снова что-то бормотала.

Было еще темно, когда Франс начала спускаться. Не доходя перекрестка Левалле, она увидела девочку, иззябшую, с ленточкой в косичке. Девочка повторила пароль: «Я куплю на базаре ведро». Мадо не удержалась, погладила ее по голове. Девочка деловито сказала:

— Сто восемьдесят шесть бошей — эшелон отпускников. Все наши целы. Насчет вольфрама будет выполнено в начале декабря.

Она держала книжку, тетрадки — шла в школу. Из-за горы поднялось солнце, розовое и туманное, как в театре.

Мадо снова ехала. Мелькали голые деревья, лица пассажиров, названия станций. Она о чем-то думала и, усталая, не могла понять, о чем. Кажется, о судьбе...

Рауль сказал:

— Сто восемьдесят шесть? Здорово! А ты знаешь, немцы здесь засуетились, была облава, взяли Рамеля. Выспись, завтра придется поехать в Лион...

20

Огонь был такой, что Осип открыл рот, вытаращил глаза. Минаев, поглядев на него, хотел засмеяться, но не засмеялся. Потом Минаев говорил: «Да, это была музыка!.. Когда-нибудь скажут — концерт, симфония, Бетховен, все равно не забуду...» Но в ту минуту и Минаев ни о чем не думал. Даже порывы холодного ветра не доходили до сознания людей. Они жили томительным, раздирающим нутро ожиданием. А когда Минаев взбирался на крутой холм, была в нем такая воля, будто всю жизнь, с детских игр, с первой книги он только и ждал этой минуты. Слишком много было перед тем сухого горя, убитых друзей, черных сводок. Они и полюбили и возненавидели эту степь. Осип говорил: «Буду всю жизнь помнить», а однажды подумал — только бы потом не приснилось!.. Они не могли больше ни молчать, ни ругаться, ни надеяться. Сто с лишним дней... И вот пришло то, о чем они не смели мечтать, к чему готовились деловито, буднично, как к севу, к пуску домны, к трудным экзаменам. Было морозное утро, и только на

верхушке кургана, вытерев рукавом лицо, Минаев почувствовал, что холодно, попросту холодно — не ему (ему, пожалуй, жарко), а вообще холодно — зима... Какая чепуха лезет в голову! При чем тут зима? Это наступление...

К этой минуте готовились миллионы людей. В тылу солдаты на занятиях каждый день штурмовали высоту, пересекали поле, залезали в ложбину. На заводах день и ночь исступленно работали женщины, измученные лишениями и одиночеством, бледные, как будто война выжала из них жизнь. Обессиленные машинисты под бомбами вели тяжелые составы. Были саперы, которые в тысячный раз репетировали те же жесты: перерезать проволоку, разминировать проходы. Подвозили бревна для будущих переправ. Обучали кудрявых регулировщиц для дорог, по которым еще спокойно ездили немцы. Подсчитывали ящики консервов, койки для раненых, цистерны с горючим. Еще не было снега, а уже выгружали валенки. Были тысячи карт; командующий фронтом, генерал, полковник Игнатов, Осип, все глядели на карты, где были отмечены дивизии, полки противника. Знали, кто на какой вышке — где итальянцы, румыны, немцы; знали, какие немцы — крепкие или потрепанные, эсэсовцы или запасные. Знали, что в итальянской дивизии «Равенна» солдаты говорят друг другу «Зачем мы сюда пришли?» и что семьдесят первая немецкая дивизия прибыла из Реймса. В разведотделе выписывали имена генералов рейхсвера, отмечали вторые эшелоны немцев, читали письма с кривыми готическими буквами, где лейтенант Шмидт сообщал своей супруге, что отпуска отменены. Редакции газет, фронтовых, армейских, дивизионных, готовили номера с призывами к «решающему удару». Поэты писали стихи, и наборщики в землянках или в грузовиках набирали все то же слово «н-а-с-т-у-п-л-е-н-и-е». Политработники читали бойцам дневники немецких палачей, говорили о ранах родины, проверяли сердца, как механик проверяет мотор. План был составлен, разобран на детали и снова собран. Высокий генерал с больной печенью, скрывая от других, что у него припадок, объезжал позиции. Полковник Игнатов говорил Осипу: «В шесть ноль-ноль». Сталин зрачками, рас-

ширенными бессонницей, впивался в карту, и перед ним вставали степь, курганы, балки — он знал эту землю наизусть. Нужно было предвидеть и то, чего нельзя было предвидеть,— что наши танкисты найдут в Тацинской вражеские самолеты и что эти самолеты придется потом сжечь, что одни немецкие генералы будут за своевременный отход, а другие против, что у Манштейна окажется много танков, но в последнюю минуту он проявит себя педантом; нужно было предвидеть и мастерство противника и возможность с его стороны ошибок, все, вплоть до поздних дождей, до раннего ледостава, до влияния луны, оплошности, случая.

Пока шла эта упорная, долгая подготовка, батальон, которым теперь командовал Осип, стоял под ураганным огнем, отбивал атаки немцев, пытался контратаковать, чтобы не попятиться, истекал кровью — немного осталось из тех, кто в знойный августовский день впервые с тоской взглянул на эти безрадостные места. Здесь похоронен старший лейтенант Зарубин, которого Минаев прозвал «мистером» за медлительность, Зарубин погиб при контратаке. Здесь могилы бронебойщика Шаповалова, Загвоздева, Магарадзе, Бутенко, Бродского, многих других. «Проклятый курган», повторяет Минаев.

Все было готово, и все началось именно тогда, когда должно было начаться. А для бойцов батальона это началось с первого дзота, в котором бурно ругался бывший парикмахер сочинского санатория, разведчик Любимов, убив прикладом двух немцев. Когда Минаев потом сказал — на этот раз серьезно: «Действительно историческая минута», Любимов махнул рукой и отвернулся — легко поминать историю, когда она далеко, а здесь не до нее.

Полковник Игнатов считал Осипа превосходным командиром. Ему нравилось, что майор Альпер не горячится, не вешает нос, всегда ровный. Полковник как-то подумал: жить с таким скука, повесишься, а воюет хорошо... Осип воевал, как прежде работал,— сухо и страстно,— тот же завод, только обидно, что приходится разрушать... То, что порой называют «романтикой войны» — азарт игры, увлечение опасностью, непривычное существование — переходы, костры, палатки в лесу,

жизнь без жены, без женщин, с постоянной, как зуд несносной, тоской по женщине, с трогательными письмами и грубыми словечками, все это было чуждо Осипу. Он мечтал о дне, когда война кончится, можно будет работать, строить, налаживать; тосковал о семейной жизни; восторгался Раей, но, глядя на фотографию, которую она прислала, вздыхал — и такая воюет, вот что наделали немцы: думал о том, как трудно маме с Аленькой в эвакуации (Рая написала, что они в Узбекистане); ненавидел немцев и за то, что они омрачили детскую жизнь — оставили Алю на год, может быть на годы без матери. В его сознании война была отвратительной болезнью, которую организм народа должен победить. Может быть, именно поэтому Осип так подружился с бойцами, которые, как он, тосковали по семьям, ненавидели немцев за сожженные дома, за убитых ни в чем неповинных людей, за развороченную жизнь. Бойцы говорили о командире: «понимает»... В первые месяцы войны Осип спрашивал себя: доходчиво ли я говорю, может быть, «по-газетному» (Рая смеялась), вдруг нехватает чувства?.. А ведь тогда он еще был комиссаром... Теперь он об этом не думал, он чувствовал то же, что все.

Наступать тяжело; говорят, что правее легче — там румыны. А здесь немцы, и немцы отчаянно сопротивляются. Наступают медленно. Много жертв. Люди усталые, угрюмые. Но где-то внутри копошится надежда: кажется, теперь всерьез... Минаев то ворчит «три хутора взяли и радуемся, а у них без малого вся Европа», то впадает в раж — «теперь покатятся, самое трудное толкнуть»...

Минаев — все тот же, уверяет, будто «немцы румын нарочно бросили — им не до музыки», смеется над сообщениями о войне в Африке — у алжирского бея давно шишка». Потом появляется неизменный «доктор Геббельс». Собачонка уцелела, не отходит ни на шаг от Минаева — под огнем ползет, Минаев важно говорит — «по-пластунски»...

— Ну, что, доктор Геббельс, ваши желания исполнились — наступаем, только в другую сторону...

«Доктор Геббельс» лает.

Через несколько дней стало легче: румыны. Минаев раздавал записочки: столько-то скрипачей направляются в плен — не посылать же с ними бойцов! Румыны бодро шагали в тыл, и Минаев восхищался:

— Ты посмотри — веселые, спешат, как на свадьбу...

Но вот сорок немцев во главе с лейтенантом подняли руки. Нечто новое... Впрочем, нет времени задумываться над поведением фрицев. В седьмом отделе займутся, там обожают психоанализ...

Станция. Сотни вагонов — немецкие, французские, бельгийские, польские, чешские — бледные львы, короны, трехцветные кокарды и черный новенький орел. Вся Европа прикатила в эту неприветную степь... Машины разных марок; водители облепили их, как муравьи,— раскулачивают. Из армейской газеты примчались за бумагой и пока что раскопали два ящика с французским вином. Солдаты едят сардинки, спаржу, шоколад, меняются зажигалками, трубками. Расплющенные танки. Пушка — хотела выстрелить и не успела. А мертвый немец смотрит одним уцелевшим глазом на длинную дорогу, и глаз слезится.

— Чорт знает что! Поехал на КП, а Игнатова уже нет...

Осип усмехается, сколько раз он говорил это летом. Но тогда удирали... А теперь хорошо. Даже беспорядок радует: все двинулось с места, зашагало, завертелось...

Почты долго не будет...

Минаев перечитывает давнее письмо матери, говорит Осипу:

— Мамуля все время что-то изобретает. Теперь у нее пышный проект: посадить Гитлера в клетку и возить по всем странам. Представляю, какой был бы эффект, если напечатать в Англии. Сейчас же учредят «Общество покровительства Гитлеру». А мамуля у меня энергичная...

Осип успел написать Рае: «У нас все замечательно, скоро узнаешь из газет... Я здоров, как никогда, только волнуюсь, что у тебя? Раечка, я никогда не умел тебе сказать о самом главном, абсолютно неспособен сформулировать, но ты поверь без слов, я тебя не забываю ни на минуту, даже когда думаю совсем о другом. Тревожно,

как маме и Аленьке, говорят, что там для непривычных тяжелый климат, и не знаю, как они обеспечены продовольствием? Перешли мне письма мамы. Я тебя горячо обнимаю, дорогой мой сержант!»

Осипа вызвал Игнатов:

— Нужно получше закрепиться. Фрицы попробуют выбраться, ничего другого им не остается...

Он сказал ординарцу, чтобы тот принес шампанское.

— Трофейное, из Франции... Никогда еще не пил, попробуем... Есть за что выпить... Генерал сказал, что сегодня передадут в «Последний час». Обстановка интересная...

Он начал показывать на карте: «Вот тебе и подкова...»

Когда Осип вернулся в батальон, Минаев ахнул:

— Где ты водку достал?

— Какую водку? Шампанское, стакан, да это, как лимонад... Но ты понимаешь, что случилось? Окружили!

— Я тебе говорю, что ты пьян. Что ты несешь? Какое «окружили», когда они вчера на семь километров отошли?..

— Ничего ты не понимаешь. Их окружили. Погоди, не этих — всех, всю сталинградскую группировку. Абсолютно точно. Я опомниться не могу...

Обычно спокойный, суховатый, он порывисто обнял Минаева. А Минаев смеялся от счастья и говорил:

— В общем мамуля права, мы его посадим в клетку...

21

Последние недели казались Луи яркими и бессвязными, как обрывки сна, когда просыпаешься среди ночи: парад на аэродроме, иранский генерал, жирный и пышный, который говорил «я обожаю Фоли-бержер», красавицы, похожие на миниатюры в «Корбей», горы, потом море с льдинами, русский офицер в меховой шапке... Странно подумать, что еще недавно он был в Лондоне...

Накануне отъезда майор Девис сказал ему:

— Сталинград доживает последние дни. Но я не пессимист, зима помешает немцам развить успех. Вчерашние

сообщения меняют все. Ясно, что мы не ограничимся Северной Африкой. Весной начнутся операции, может быть, на Балканах... Жалко, что вы уезжаете. Но, конечно, Россия сейчас притягивает, я понимаю...

На Луи смотрели с двойным чувством — восхищения и жалости: он уезжал навстречу смерти. А Лондон еще переживал радость возвращенной жизни; был особенно приятен послеобеденный чай, особенно милы скромные семейные праздники. Только понаехавшие американцы, у которых было много денег, сигарет, шоколада и еще больше бурной жизнерадостности, которые ходили под ручку с бледными пастелевыми англичанками, напоминали о том, что война не кончена, впереди много горя. Луи без сожаления расстался с городом, который был ему дорог в зиму воздушных боев,— теперь он чувствовал себя здесь чужим.

В Раяке ему сразу выложили новости: американцы договорились с Дарланом. Чорт знает что! Опять проклятая политика. Они воюют, как будто это покер, ничего нельзя понять. А если придется умереть, хочется умереть за что-то простое, постоянное. Рассказывают, что в Алжире люди, которых арестовали при Петэне, попрежнему сидят. Пожалуй, скоро мы окажемся дезертирами, а в герои произведут полицейских!

Встреча с новыми товарищами, лихорадочные сборы, леопарды Нормандии на груди, споры о том, какие истребители лучше — советские или американские,— все это заслонило и Дарлана, и мысли о будущем.

Неподалеку от французского аэродрома находилась американская база. Летчики пригласили на ужин американцев. Возле Луи сидел гигант с наивными молочными глазами младенца, лейтенант Джеффер. Вначале он стеснял Луи своими манерами: облокотившись, чуть ли не лег на стол, пускал дым прямо в глаза соседям, каждую фразу перебивал восклицанием «о!». Потом Луи подумал: «Зато говорит, что думает, ведь из англичан слова не вытянешь...» К концу вечера все подвыпили: стало шумно.

— Среди французов много очень храбрых,— говорил Джеффер.— Понятно — у вас были Наполеон и Лаффайет. Но признайте, что вы отстали. Нельзя на «девуатине»

сбить «мессера». Англичане были лучше подготовлены, но они тоже отстали. Жалко, что вы не были в Америке,— это действительно Новый Свет.

Луи рассердился:

— Когда началась война, у англичан ничего не было. Они взялись за дело после нашего разгрома. А вы вообще еще не воевали... Я не понимаю — чем вы хвастаете? Если англичане умнее нас на Ламанш, то вы — на целый океан...

Джеффер не понял, Луи повторил, тогда Джеффер очень громко засмеялся:

— О! У вас чисто американский юмор.

Его смех еще больше разозлил Луи.

— А то, что вы сторговались с Дарланом, это тоже американский юмор?

— Я в этом мало что понимаю,— ответил Джеффер.— Это политика, а меня до войны интересовали моя работа, кино и бокс. Но что тут плохого? Майор говорил, что это соглашение спасло жизнь многим американцам. Мы не русские, у нас никто не хочет зря умирать...

— А русские, по-вашему, хотят?

— О! Русские — герои, это все знают. Но у нас другое отношение к жизни... Я читал в газете, что один русский летчик врезался в немецкий бомбардировщик. Это эффектно для фильма. Но я этого не понимаю...

— Должно быть, не знаете, что такое беда. Французам теперь легче понять русских, чем вас...

— Я видел одного русского. Он просидел у нас два дня — погода была нелетная. Очень симпатичный, я ему хотел подарить зажигалку, но он не курил...

— Вы думаете, ему не хочется жить, как вам? Хорошо, доллар выше и рубля и франка. А жизнь русского или француза?..

Луи увидел, что Джеффер его не слушает. Американец сказал:

— О! Вы очень красиво говорите. Все французы красиво говорят... Вы увидите, что американцы скоро освободят Францию... Я хочу вам подарить зажигалку, это последняя система...

Луи кажется, что все это было очень давно. Он идет по улице русского города. Падает снег; белые птицы но-

сятся над миром, задумчивые и тихие, опускаются на голову, на плечи, на ресницы. Здесь лица другие — горестные. Наверно, родные на фронте... Странный город: большой дом, а рядом деревянная лачуга, мало магазинов, нет кафе, люди часто идут по мостовой...

— Луи, ты понимаешь их буквы?

— Нет. И когда говорят, ничего не понимаю. Но чувствуется, что они воюют... Интересно, попадем ли мы в Сталинград? Чтобы освоить машины, нужно несколько месяцев... Здесь все непохожее. Сигареты с картоном, водку пьют не после обеда, а до... Я уже записал двадцать слов, буду учиться... Рене, мы неделю без газет, ничего не знаем...

Вечером они стояли у репродуктора. Понятно только одно слово «Сталинград».

Луи спрашивает переводчика:

— Держится?

Переводчик объясняет:

— Передавали «В последний час»: результаты наступления. Убили девяносто пять тысяч и семьдесят две тысячи взяли в плен. Окружили немецкую армию...

— Где?

— В Сталинграде.

Луи бежит к Рене:

— Слыхал? Бошей окружили! Рене, это начало... За Париж, за Тулон, за все...

Он стоит и смеется. Кажется, что я вижу клочок синего неба, солнце над Францией. Они думают, что я пьян... Я не пил водки, но я пьян... Скоро и мы будем в бою... Они дают нам «яки». Майор сказал, что это замечательные машины... Только бы поскорее!.. Жалко, что нельзя послать несколько телеграмм. Майору Девису в Лондон: «Сталинград повернулся иначе...» Конечно, он знает, но хотелось бы под этим подписаться... Я там не был, но я француз. Франция, могила мамы, большой ясень с редкими листьями на синем небе. И боши... Написать Джефферу: спасибо за зажигалку, сигареты с картоном мне не нравятся, зато здесь воюют, и знаете, Джеффер, русские умеют не только умирать, они умеют бить бошей... И еще — какой-нибудь незнакомой девушке в Париж или в Тур, или в маленькую деревню, в Бекон-сюр-Брюер:

милая, мы вернемся отсюда, из холодной России, с победой... Я, кажется, действительно пьян, но я ничего не пил. Окружили бошей!.. Не все же им окружать... Как хорошо, что я здесь!..

Несколько дней спустя французские летчики были в цирке; они аплодировали и эквилибристу, и усталой худой наезднице, и невеселому клоуну. В антракте их обступили, спрашивали: «англичане?» Они отвечали: «франсуз».

К Луи подошла немолодая женщина и протянула ему платочек. Он растерялся, не знал, что делать. Его выручил переводчик. Женщина сказала:

— Я читала Золя... У меня сын — летчик. Как вы... Возьмите это на память...

Луи хотелось ее поцеловать, но он не посмел. Он только держал на своей широкой ладони маленький платочек, как бабочку, боясь смять, и повторял «спасибо». Она похожа на маму...

— Рене, здесь очень холодно, но, знаешь, я еще не чувствовал такого тепла...

Они шли по пустой, темной улице, а тихий снег все падал и падал.

22

Келлер мылил кисточкой щеки и думал: никто меня не узнал бы, ни Герта, ни Мими. За три месяца я постарел на двадцать лет. Когда мне исполнилось тридцать четыре года, я сказал Вилли, что это — половина жизни, я не думал тогда, что конец так близко... Нужно оглянуться назад, осознать прошлое...

Но Келлер не мог сосредоточиться. Он давно не брился, порезал подбородок, почему-то подумал: хорошо бы заполучить осколок снаряда в зад... И сразу вспомнил: это не спасет, они в котле, раньше раненых вывозили на «юнкерсах», а теперь эвакуируют только старших офицеров. Значит, конец... Последние годы были пестрыми, шумными: война, Мими, Лотта, та рыженькая в Харькове, попойки, шалости с мальчишками вроде Вилли — щенка зачем-то повесил... Время задуматься... Но он снова отвлекся: унтер-офицер Штельбрехт получил хлеб на

Круммера и Грюна, а их утром убили. Штельбрехт спрятал хлеб в сумку. Сейчас он пошел к обер-лейтенанту... Никогда в жизни я не воровал, даже ребенком не брал в буфете конфеты. Но чертовски хочется жрать! Ведь это несправедливо — почему четыреста пятьдесят граммов Штельбрехту? Я слабее его... Пусть подозревает, доказать все равно не сможет. Келлер пошарил в мешке, хлеба не оказалось. Подлец сразу съел. Келлер вдруг рассмеялся — вот тема для рассказа: антрополог, о котором профессор Боргардт сказал: «это одна из надежд нашей науки», совершает неудачную попытку кражи, соблазненный кусочком хлеба... Когда я должен был попросить взаймы у шурина триста марок, я неделю высчитывал, смогу ли отдать в срок. Вся наша цивилизация — это лак, мигом слезает... Мне так хочется есть, что я готов задушить человека, лишь бы достать кусок хлеба.

Два месяца они мучаются в этом проклятом котле. Сначала никто не знал; может быть, генералы знали, но обер-лейтенант Краузе не был осведомлен, он отправил Феглера в отпуск, тот вернулся с криком: «Поздравляю! Оказывается, мы в настоящем котле». Многие ему не поверили: мы окружили русских, при чем тут котел?.. Но Феглер оказался прав.

Обер-лейтенант Краузе, говоря с Келлером, подчеркивал, что перед ним не просто унтер-офицер, а доцент Гейдельбергского университета. Келлер не был болтлив, и Краузе иногда говорил ему то, чего не сказал бы другим. Еще в начале декабря обер-лейтенант рассказал Келлеру, что «командир дивизии настаивает на отходе к Ростову»; многие генералы придерживаются того же мнения; но имеются среди офицеров сторонники «защиты Сталинграда во что бы то ни стало» (Краузе добавил: «это партийные фанатики, люди в военном отношении неграмотные»). Келлер растерялся; сильнее всего на него подействовала откровенность обер-лейтенанта, который не побоялся осудить «партийных фанатиков». Так выражались скептики в тридцать третьем; а потом, если даже приходили в голову подобные мысли, ими делились только с женой, да и то шопотом... Ясно, что дела плохи, если у такого Краузе развязался язык... С августа мы штурмовали Сталинград; недавно был приказ — уничтожить

последние очаги сопротивления. И вдруг перемена декораций: оказывается, мы — «защитники Сталинграда». Ничего не понимаю...

Мало что изменилось в повседневной жизни. Тот же несносный грохот артиллерии, те же бои за дом или за окоп, те же детские непристойности Вилли, бахвальство Вергау, причитания Шмидта. Кормили плохо, но все-таки кормили. Феглер рассказал, что румынские кавалеристы стали пехотинцами — лошади пошли на солдатское довольствие. Гуляш из конины пользовался успехом. Вергау лопал и кричал: «Я бы румын перебил! Когда организовываешь свинью или гуся, они тут как тут, а нужно отбить «ивана», их не найдешь...»

Краузе объявил: есть приказ фюрера — держаться наперекор всему. Огромная армия с танками под командой фон Манштейна спешит на выручку осажденного гарнизона.

Прошло еще две недели. Феглера убил русский снайпер. Наступили холода. Снова уменьшили хлебный рацион. Люди слабели, замерзали. Обер-лейтенант Краузе повторял: «Скоро придет помощь». А оставшись наедине с Келлером, он сказал: «Танки фон Манштейна застряли. Мы должны были выйти навстречу, но получилась неувязка... Есть новоиспеченные авторитеты, которые умеют только кричать... Теперь остается одно: держаться. На карту поставлена немецкая честь. А сочельник у нас невеселый...»

По случаю рождества выдали фунт хлеба, консервы, немного рома. Келлеру было очень грустно; он настолько ослаб, что захмелел от первого глотка. Хотелось уюта, ласки. А русские били именно по их кварталу. Негодяи — не считаются с праздником!.. Келлер вспомнил елку, обсыпанную блестками, Рудди прижимает к груди деревянный карабин... Герта задолго готовилась к этому дню, выбирала гуся пожирнее, пекла пирог с миндалем и цукатами... Ему казалось, что он сыт, а он не может спокойно думать о еде... Неужели человек просто животное?.. Даже в такой вечер я не могу приподняться!.. Он заставил себя вспомнить Герту; почему-то она предстала перед ним такой, какой была, когда они познакомились — слабой и доверчивой. Она вздыхала, когда он ее

обнимал. Он спрашивал: «Я тебя чем-нибудь обидел?» Она отвечала: «Нет. Это от счастья...» Милая Герта, больше он ее не увидит!.. И Келлер высморкался — слезы пошли через нос. Он не мог уснуть — так остро, так напряженно жалел себя.

Все раскисли, утешал себя Келлер. Это от плохого питания. Разве можно держать взрослого мужчину на рационе воробья? Вергау считался в роте самым стойким, выносил легко переходы, не трусил, не жаловался на холод. Его уважали, хотя некоторых он смущал своей грубостью. Кажется, не было города, где он кого-нибудь не убил бы, не только евреев или коммунистов, это понятно, а обыкновенных жителей... В Харькове он повесил на балконе женщину, кричал «это бандитка», потом признался: «Она спрятала под половицей золотые часики, я из-за нее вспотел». Теперь Вергау не узнать, он все время хнычет: «Почему я должен так страдать? Что я сделал плохого? У меня, кажется, все кишки переворачиваются»... Шмидт всем показывает истлевшую бумажку: «7 января 1678 года ко мне грешному явилась пресвятая Доротея и сказала, что того, кто сие перепишет, трижды повторит «Отче наш» и подаст милостыню страннику, всемогущий Спаситель оградит от огня, холода, голода и сотрясения внутренностей»... Келлер назвал Шмидта «ослом», но на всякий случай переписал заклинание, прочитал трижды «Отче наш» и подумал: от милостыни я бы сам теперь не отказался... Шмидт вздыхает: «Зачем мы сюда пришли?..» Все говорят, что второго такого дурака не найти даже в Баварии (он в роте единственный баварец). И все-таки Келлер спрашивает себя, как Шмидт: зачем я здесь?..

Пошли слухи, что русские предъявили ультиматум, обещали всем, кто сдастся, пощаду. Келлер осмелился спросить обер-лейтенанта, правда ли это. Краузе ответил:

— Я тоже слышал... Не думайте, что меня посвящают в тайны богов.

— И вы считаете, что есть шансы?..

— Нет. Перед нами не французы, не англичане. Русским нельзя сдаться. Было слишком много...— Он задумался, подыскивая выражение.— Я хочу сказать, что война приняла слишком резкий характер.

Ночью Вилли шептал Келлеру:

— Я больше не могу. Будь я смелее, высунулся бы — пусть «иван» убьет. Генералу легко умереть, он свое пожил. Да он и не страдает, еды у него достаточно, блиндаж — никакой снаряд не пробьет... А я даже не пожил. Мне девятнадцать лет... Почему я должен умереть?.. Говорят, что русские предложили сдаться...

— Ничего из этого не выйдет. Обещают, а потом убьют...

— Почему?

— Азиаты. Это у них в крови... Потом, они очень озлоблены. Я сейчас вспомнил, как Вергау в Миллерове повесил троих...

— Я никого не вешал,— поспешно сказал Вилли.— Я только два раза снялся возле виселицы, но это просто шутка...

— Передо мной нечего оправдываться, я не «иван»...

Келлер подумал: как хорошо было в Дижоне! Впрочем, кто знает, что сделали бы с нами французы, попади мы к ним в лапы?.. Мими отлупили только за то, что она встречалась со мной. А профессор Дюма?.. Злой старикашка, такой может зарезать... Может быть, есть доля нашей вины. Как-никак, мы к ним пришли, это всегда неприятно... Порой наши бывали грубоваты. Я ничего плохого не делал, раз-другой поскандалил после выпивки, но это не в счет... Они нас не любят. Нас вообще не любят — завидуют и боятся... Однако я не поручусь, что Вергау вел себя хорошо во Франции, не знаю, он не был в нашем полку. А в России он взял чересчур высокую ноту... Я лично не убил ни одного гражданского. Приходилось быть резким, русским не скажешь «пожалуйста» или «простите», это не в нравах... Правда, та девушка не хотела итти, я ее приволок. Но разве это преступление? Когда мужчина долго лишен женского общества, он не считается с правилами светского тона. Я ей, кстати, ничего плохого не сделал, она плакала потому, что все русские с придурью, достаточно прочитать Достоевского... Другое дело Вергау или Феглер, эти перегибали... Но нельзя их винить... Обер-лейтенант скорее мягкий человек, не фанатик, но даже он повесил несколько бандитов, одну девушку... Русские нас сразу восстановили против

себя — не хотят примириться с положением... А в общем Краузе прав — теперь нужно держаться, другого выхода нет».

Утром они узнали, что Вергау ночью перебежал к русским. Обер-лейтенант сказал: «Он мне всегда казался палачом, а не солдатом...» Вилли ругался: «Этот подлец перехитрил всех...»

Почему мы так раскисли, думал Келлер. Два месяца назад русские были в ужасном положении, они удержались. Только сумасшедший скажет, что русские храбрее. Трусы есть повсюду, дело не в этом... Русские были у себя, они защищали свой город. Фюрер нас называет «защитниками Сталинграда». А по-моему, это не звучит. Зачем мне защищать развалины русского города? Шмидт прав, голова кружится, когда подумаешь, куда мы зашли. Летом это меня радовало: чуть ли не Азия, верблюды, экзотика. А теперь мне страшно. Умереть всюду страшно, а особенно когда ты далеко от дома...

Это было ровно десять лет назад, в январе тридцать третьего. Келлер шел с Мюллерсом из университета. Было очень холодно. Они говорили о лекции профессора Боргардта. Потом Мюллерс вдруг остановился и тихо сказал: «Вы не думаете, что Гитлер сумасшедший? Я слышал его речь, типичный параноик...» Келлер ответил: «Не знаю... Но вы этого никому не говорите...» Да, тогда, я тоже сомневался. Правда, я никогда не говорил так резко, как Мюллерс, но все-таки я сомневался. Потом я поверил, что фюрер — гений. Все поверили. Да и как было не верить: он вел нас от победы к победе. А может быть, прав Мюллерс?.. Пригнать всю молодежь Германии в этот ад и бросить... Ужасно, что я начинаю рассуждать, как в большевистских листовках. Может быть, через час меня не будет, я изменяю перед смертью. Это отвратительно!.. Но за что я должен умереть? Не знаю... Ничего не знаю.

Пришел унтер-офицер Штельбрехт с хлебом. Он протянул ломоть Келлеру, сказал:

— Обер-лейтенанта Краузе убили. Он высунулся из траншеи...

Келлер не ответил; он выхватил кусок из руки Штельбрехта, и было столько звериного в его глазах, в скрю-

ченных пальцах, что Штельбрехт выругался: «Бешеная крыса!..» А Келлер, проглотив хлеб, закрыл глаза и снова стал думать — пусть крыса, мне все равно, но за что я умираю?..

23

Сергей обрадовался, узнав, что ордена вручать будет генерал-майор Петряков. Несколько раз Сергей видел генерала на переправе, но время было горячее, и он не успел разглядеть человека, о котором много слышал; запомнилось только, что генерал небольшого роста и прихрамывает.

О смелости и спокойствии Петрякова рассказывали удивительные истории. Майор Шилейко однажды докладывал генералу. Разорвалась мина, Петрякова засыпало, он встал, отряхнулся и сказал майору: «Работать мешают...» Шилейко потом рассказывал: «У меня в глазах все вертится, а он говорит — засечь батарею...»

Генерал Петряков походил на пожилого агронома или сельского врача; добродушное, несколько расплывчатое лицо; плохо пригнанные очки неизменно сползают на мясистый кончик носа; тихий, ровный голос. Полковник Румянцев спросил его: «Илья Васильевич, как это вы никогда не сердитесь? Я вот ни разу не слышал, чтобы накричали...» Петряков улыбнулся: «Дома, бывало, выйду из себя... А здесь нельзя — и без того шумно, не перекричишь. Если тихо сказать, лучше действует...»

Петряков был сыном столяра-краснодеревца; в детстве он мечтал стать скульптором, а когда началась гражданская война, пошел бить Деникина и остался в армии. Он учился долго, упорно, к науке относился благоговейно. Его жене, учительнице, страсть мужа к военному делу оставалась непонятной. Еще в первый год совместной жизни она его спросила: «Неужели ты любишь войну?» Он поправил очки и с тем стесненным видом, который у него бывал, когда он думал о чем-нибудь важном, ответил: «Нет, Танюша, не люблю, с трудом представляю, что человек может это любить... Но чем наша армия сильнее, тем меньше риска войны. Люди у нас крепкие, а знаний нехватает, я это на себе чувствую...»

Для того чтобы попасть к генералу, Сергею пришлось дважды перейти Волгу. Он смутно думал о пережитом; там, подо льдом — ночи октября, затонувшие баржи, друзья, оборона... Неужели все это позади?.. Он как-то не успел осознать перемену. Еще недавно они гадали — продержатся ли до завтра, ползли немецкие танки, нельзя было высунуться. А теперь немцы зарылись, прячутся. Фронт ушел далеко на запад. Фрицы повсюду, их много, но их уже нет. И в словах «правый берег» больше нет того смысла, который сто дней определял жизнь Сергея. Все стало другим.

Генерал Петряков улыбнулся:

— Наградили капитана Влахова, а орден вручаю майору. Полагаю, не ошибка, а логика событий.

Сергей получил «Красное Знамя», лейтенант Василенко «Ленина». Генерал их поздравил. Они дошли до КП. Был морозный солнечный день. Снег сердобольно прикрыл истерзанную землю. Петряков сказал:

— Вы здесь с начала? Какой был город!.. Придется все строить заново. У вас какая специальность, товарищ майор?

— Мосты.

— Будет работа... Наверно, ни одного моста не осталось. Я на Немане начал войну. Сколько я повидал этих мостов!.. Строили, строили, а потом... Слушайте, вы понимаете, что стало с немцами? Я вот не понимаю. Вчера привели пленного,— майор, человек начитанный, а рассуждает, как дикарь. Какие у них были университеты, библиотеки!.. Пришли к нам, все уничтожили, а теперь залезли под землю и гложут лошадиные кости. Троглодиты!..

Василенко до войны был учителем; он сказал:

— Это, товарищ генерал, вопрос воспитания...

— Правильно. Мы, военные, только учимся воевать. Да и роль наша ограниченная: чтобы сделать хорошего солдата, нужен человек, а человека не мы делаем, это с раннего детства... В начале войны мы воевали плохо, не секрет... Если удержались, это потому, что солдат соображал... Я говорю о самом трудном: о сознании...

Петряков снова посмотрел на развалины домов, и Сергей увидел, что у генерала добрые грустные глаза.

Эти глаза Сергей вспоминал потом, возвращаясь к себе. Удивительно — военный, а говорил о том, что будет после войны. Вряд ли немецкий генерал может так рассуждать. Два мира... Впервые в жизни Сергею захотелось писать. Об этом в письме или в статье не расскажешь, эпопея, роман... Он рассмеялся — нашелся писатель! Да я не умею и маме как следует описать... В армейской газете, наверно, есть писатели, рассказывали, что приезжал Симонов, Гроссман писал в «Красной Звезде», я его видел на переправе. Может быть, напишут... Только трудно — нужно большое спокойствие. А будет ли это спокойствие?.. Страшно, что могут забыть, одно заслонит другое, я уж сам многого не помню... Как мы пришли с Зониным. В августе... Зонин говорил: «Попали мы с тобой в историю...» Да, это печальная история, кто ее пережил, у того глаза, как у Петрякова. Трескотни из этого не сделаешь... Прекрасная история! Если описать, будут зачитываться и через сто лет — как сын пастуха сидел на школьной скамье, открывал звезды, корни, числа, потом строил мост через Дон или работал на «Красном Октябре», потом защищал этот новый мир, хрупкий и вечный, защищал здесь — на пятачке земли — и умер, и лежит где-то под развалинами...

Петряков рассказал Сергею про ультиматум. Немцы не сдавались, приходилось их выбивать. Пришел Рашевский:

— Какая глупость — Левина убило... Балашкин фрицев прижал, вот они и бьют из минометов... Дурацкая случайность! Жалко — хороший врач был, он мне ногу спас...

Сергей помрачнел — ему нравился Левин. И потом действительно глупо — выжить все эти месяцы и погибнуть в самом конце... А может быть, это только кажется, что глупо? Сын Левина погиб давно, когда немцы еще лезли. Почему тогда не глупо?.. Левин читал стихи сына про Волгу, что река, как горе. Река стала. А Левин умер. Умрет кто-нибудь и в самую последнюю минуту... Левин как будто чувствовал, когда я был у него, говорил: «Дела идут замечательно. Я думаю, это поворотный пункт», помолчал и добавил: «Сын здесь погиб, брат при отступлении, жену немцы, наверно, убили, она осталась в Днепропетровске, не понимаю — как это я уцелел?..»

Последние дни были очень громкими: немцев выкуривали из развалин, подрывали подвалы, разворачивали траншеи. Не умолкали «катюши», минометы. Над заснеженными обломками домов стоял черный дым. Грохот был такой, что Шуляпов говорил: «Чорт чорта матом кроет...»

И вдруг наступила тишина; была она такой непривычной, что Сергей растерялся. Конечно, выпадали и прежде тихие часы, все же тогда раздавались ружейные выстрелы, где-то вдалеке стучал пулемет, ветер доносил раскаты орудий. А теперь тишина была плотной, густой. Сталинград сразу оказался глубоким тылом. Тишина оглушала, весила, не давала уснуть.

Сергей шел по улице. Ни одного целого дома... Здесь было «хозяйство» Балашкина. Два месяца дрались за эту улицу... Трупы, шлемы, фляжки, щебень, проволока...

Он встретил много немцев; некоторых вели под конвоем, другие бродили, не зная, где согреться. Они вылезали из-под земли, шли, пошатываясь — от голода, от острого холодного воздуха, который после духоты ударял в голову, от страха. Город казался заселенным серо-зелеными тенями.

Сергей глядел на них без ненависти и без жалости. Еще немцы стояли в глуби России, еще они правили Европой, но сейчас, среди внезапной тишины в Сталинграде, который, мертвый, победил, они уже казались не людьми, а призраками.

— Ты мог себе представить, что будет так тихо? — спросил Сергей майора Шилейко.

Майор любил поспорить; когда говорили, что такого обстрела или такой бомбежки еще не было, он обязательно отвечал: «Я почище видел...» На этот раз он не стал спорить, ответил:

— Просто неслыханно...

Он сидел в своей «пещере» и улыбался; даже патефон молчал. У телефона, как всегда, дежурила маленькая связистка Варя. Шилейко показал на нее пальцем и снова улыбнулся — Варя спала. Впервые она уснула спокойно: телефон перестал быть судьбой — загудит, и покажутся немецкие танки или полезут автоматчики... Варя была щуплой, бледной, с умными грустными глазами. Майор

как-то рассказал Сергею, что она студентка, родители и младший брат умерли в Ленинграде от голода. Сергей посмотрел на спящую девушку и тоже улыбнулся:

— Пускай выспится...

Сергей написал Вале: «Ты должна знать, как я тебя люблю! Не ревнуй ни к прошлому, ни к тому, что может померещиться тебе или мне. Я неверный в снах, а в жизни иначе. Мы все теперь живем ужасно просто и тяжело. Так бы любить — просто и тяжело! У нас сегодня большой день, и первое, что мне захотелось,— написать тебе о том, как будет, когда кончится война. Две недели назад я впервые над этим задумался, вернее на эти мысли меня навел генерал. Я стараюсь себе представить, как повсюду наступит тишина. Помнишь, я писал тебе про Воронова? Он говорил перед тем, как погиб, что придется снова строить мост через Дон, предвидел наступление. Я сейчас думаю о мостах, которые мы будем строить потом. Может быть, рано размечтался, война далеко не кончена. Думаю и о нашей встрече. Твоя любовь — это мне мост к новой, второй жизни. Прости, что пишу путано, тебе покажется странным, но я одурел от тишины. Будь здорова и обо мне не беспокойся — теперь все пойдет легче».

У костра сидели бойцы. Шуляпов, запинаясь, читал: «Пущено третьего января. Добрый день или добрый вечер, дорогой Ванюша! Сообщаю тебе первым делом, что я жива и здорова и того желаю тебе, а Митя геройски погиб. Когда пришло извещение, отец ничего не сказал, я убивалась, а он молчал и вечером слег, говорит, не могу двинуться...»

Шуляпов закашлялся от дыма, отошел в сторону.

К огню протягивали застывшие ноги, руки. Стемнело. Какой-то стрелок рассказывал:

— Я видел, как генералы вылезли. Держат руки вверх. Смирные... Переводчик потом рассказывал, что один генерал сердитый, как топнет ногой, кричит — бритву у него забрали, боялись — зарежется, а он побриться желает. Зачем ему резаться? Он довольный...

Все добродушно засмеялись.

— Гад! — выругался Шуляпов.— Теперь он довольный. А сколько он людей загубил?

Потом все замолкли, наслаждались тишиной, объедались ею — сколько ни слушай, не наслушаешься...

К Сергею подошел Шуляпов, сказал:

— Так что, товарищ майор, победа...

Непривычное слово потрясло Сергея. Да, это не успех, не удача, именно — победа!

Он вспомнил статую в Лувре. Каждый раз, когда он бывал в музее, он шел к ней. Ему казалось, что Победа летит прямо на него... Голова отбита, нет лица, нет рук, только крылья... Это было очень давно: тогда был мир, Мадо, скамейка под каштаном... Или, может быть, ничего этого не было, сон, старый роман в желтой обложке?..

Почему люди думали, что Победа летает? Неправда. У нее ноги натерты до крови, она ползет по грязи, по снегу, забирается в щели. Она израненная, усталая, замерзшая... Наверно, она похожа на маленькую связистку у майора Шилейко. Кажется, Варя... Именно такая — ненарядная и все-таки Победа. Вот она пришла к саперам, села возле костра. Ей холодно. А костер догорел, немного розового жара, бедного человеческого тепла...

24

Весь день Келлер томился — не мог решиться выйти к русским. Он знал, что сопротивление закончилось, все сдаются; но ему было страшно подойти к русскому и сказать: «Капут!..» Своих товарищей по роте он потерял еще вчера, когда красные подошли к их траншее. Штельбрехт стрелял из автомата. Шмидт лежал с пулей в голове. Келлеру удалось убежать. Он спрятался в разрушенном доме. Сутки он ничего не ел. Он взял немного снега, твердого, как камень, и стал сосать. Заболел сильно зуб. Он приготовил множество обращений к русским; он скажет: «я никого не убивал», или «я не наци, меня заставили воевать», или «я ученый, антрополог». Но ни одна из этих формул не казалась ему убедительной. Он вдруг вспомнил, как в Могилеве поймал старуху, которая пряталась на чердаке. Он сразу увидел, что это еврейка. Он ее не убил, только вытащил на улицу, убил Вергау... Но он скажет: «Я никого не убивал», а русский ответит: «Ты был в

Могилеве?..» Глупости, никто не может этого знать! В Могилеве — немцы... Но все-таки страшно... Начнут допрашивать, узнают, что он был на хорошем счету, унтер-офицер, не поверят, что Клитч нашел в его книге ошибки... Боже, что он сделал плохого? Почему он должен умереть, как собака под забором?.. Разве его вина, что теперь такая эпоха? В девятнадцатом веке из него вышел бы хороший ученый... Его призвали. Им пришлось воевать, потому что был версальский диктат, а потом марксисты объединились с плутократами. Но если сказать это красным, его растерзают... До чего холодно! Глаза болят, а ног как будто нет. Не сгибаются пальцы, он не может расстегнуть штаны... Это все-таки неслыханная катастрофа — наши у Ленинграда, в Африке, а сюда не пришли, бросили!.. Может быть, придут, но слишком поздно... Я сейчас замерзну... Но я не хочу умирать!..

Он встал, через брешь вышел на улицу, упал в воронку, поднялся, наступил на мертвого и, больше ничего не соображая, открыл дверь землянки. Он почувствовал необычайное тепло. Он хотел объяснить, что он никого не убивал и замерзает, но все заранее обдуманные фразы пропали. Он только громко дышал, как будто ему сжали горло. Возле коптилки сидела с книгой маленькая женщина в военной форме. Увидев немца, она вскрикнула, потом кинулась на него. Она его выталкивала, он упирался. Но девушка была сильнее, она его выбросила на снег и закрыла дверь.

Келлер не попытался встать; он понимал, что умирает. Мысли путались. Он шевелил губами — ругался, ругал девушку, которая его выгнала, ругал русских, Штельбрехта, наци. Если бы встать, собраться с силами и повесить эту девчонку!.. Чтобы дергалась... Зачем меня послали в Россию?.. Умирает крупный ученый... Путались и воспоминания. Он увидел Мими, но она была в Гейдельберге и почему-то молола кофе, а Рудди целился в нее из игрушечного ружья. Бедный Рудди, он останется сиротой... Кто это все придумал? Фюрер кричит «подымись», нет, это не фюрер, а обер-лейтенант Краузе, и Келлер судорожно шевелит отяжелевшими ногами. Но Краузе убили... Келлер потрогал рукой снег, ему показалось, что рядом Герта, толстая и теплая; она шепчет: «Озорник, что

ты делал с Мими? С рыженькой в Харькове?..» Толстуха ужасно ревнива. Выругать? Но она может уйти, а с нею так тепло... Он уже не чувствует мороза. Чего она хочет? Целоваться? Дудки! Он очень устал, он прошел от Гейдельберга до верблюдов, ему хочется спать, только спать. Кто это скулит?.. Собака? Ветер? Проклятые русские, никогда не дадут уснуть!.. А я все-таки усну...

Варя, выгнав немца, снова взяла книгу. Она подобрала в блиндаже томик Тургенева. Последние страницы были вырваны. Она мучительно гадала: догнал ли герой Асю? Они должны быть счастливы, наверно, он на ней женился, Гагин ничего не понимал... Розовский тоже не произнес «одного слова», но Варя все знала и без слов...

Вдруг ей стало не по себе; она накинула полушубок и вышла. Ночь была морозная, светлая. Возле землянки лежал мертвый немец; она сразу узнала: это тот, что приходил... Замерз. Чорт с ним!.. Но почему я его выгнала?..

Она легла на койку и начала плакать. Ни разу в Сталинграде она не плакала, даже когда узнала о смерти родителей и семилетнего Пети. Тетка написала ей всю правду: Петя умер от желудочного заболевания, наверно, съел что-то с голодухи, в феврале умер отец, у мамы не было сил, чтобы его похоронить, а соседи эвакуировались, отец пролежал мертвый четыре дня в квартире; когда пришла тетка, мама уж не могла встать.

Варя плакала оттого, что все близкие погибли. Лейтенанта Розовского убили в ноябре. Ей некуда поехать, некому написать... И оттого плакала Варя, что стало вдруг необычайно тихо, кончился Сталинград, и оттого, что, кажется, война никогда не кончится, и оттого, что она выгнала из землянки этого поганого фрица.

А когда пришла Маруся и спросила: «Ты что ревешь?» — она не смогла объяснить, не сказала ни о родных, ни о Розовском, ни о страшном одиночестве.

— Здесь фриц приходил, я его выкинула. А он замерз... Лежит прямо у землянки. Ты его, наверно, видела...

— Ну, и что же? Надеюсь, тебе его не жалко?

— Его? Нет. У него морда отвратительная, таких рисуют на плакатах... Мне себя жалко... Негодяи, до чего они меня довели!.. Ну почему я его не пустила?.. Ненавижу их! Они не только убивают, хуже... Как ты могла

подумать, что мне его жалко? Ничего я к нему не чувствую, ровно ничего, это самое страшное...

Она ждала, что Маруся будет над ней смеяться. Маруся веселая, никто из ее близких не погиб, здесь она познакомилась с одним артиллеристом, и они, кажется, счастливы. Она красивая, здоровая, никогда не хандрит. Пускай смеется, все равно... Но Маруся не смеялась, она села рядом с Варей и заплакала, сама не знала почему,— наверно оттого, что Варя плачет.

— Хватит,— сказала Варя.— А то кто-нибудь придет... Главное, Маруся, здесь кончилось... Теперь скорей бы в Берлин!..

25

Последнее письмо от сына Мария Михайловна Минаева получила в середине января. Он поздравлял мать с Новым годом, писал, что год будет действительно новым, о нем пусть не тревожится, он «вообще позади, а теперь будет совсем хорошо». Может быть, товарищи, прочитав письма Минаева своей «мамуле», удивились бы — откуда у этого насмешливого человека столько сердечной теплоты? Мария Михайловна не удивлялась, она знала сердце Митеньки; но она не верила ни одному его слову — умирать будет, а мне напишет «живу спокойно, как на даче» (так он написал, когда его батальон защищал от немцев курган).

Вся жизнь Марии Михайловны была посвящена сыну. Замуж она вышла поздно; муж ее был закройщиком. сносно зарабатывал. Они обрадовались дочке, нянчились с нею, а Настенька умерла от скарлатины. Когда Мария Михайловна вторично забеременела, ей было тридцать девять лет. Она боялась шелохнуться — как бы не повредить ребенку... Митя родился в восемнадцатом году; время было трудное, неспокойное. Мать жила в вечной тревоге — простудится, схватит какую-нибудь болезнь. Муж умер, когда мальчику было восемь лет. Мария Михайловна работала в пошивочной артели. Она поставила сына на ноги, и когда Митенька сказал: «Профессор Никодимов хорошо отозвался о моей работе»,— она поняла, что недаром прожила жизнь.

И вот началась война. Митенька уехал шестого июля. Сколько слез пролила Мария Михайловна в своей комнатушке!.. Она понимала, что нельзя жаловаться — тяжело всем: на людях держалась спокойно, писала сыну бодрые письма. Ей хотелось работать, помогать фронту, но мешали года. Она все же придумала: брала шитье на дом, шила солдатские рубашки. Спасибо Митеньке — он перед войной настоял, чтобы она пошла в больницу, ей прописали хорошие очки. Она могла работать и ночью при слабой лампочке. Она чувствовала, что помогает Митеньке, и это ее утешало. Когда управдом однажды сказал про нее «иждивенка», она обиделась: «Я теперь надомница, работаю для фронта». У нее была швейная машина, такая древняя, что Митя называл ее «музейной». Мария Михайловна, улыбаясь, думала: старушка, а на что-то пригодилась, как я...

Мария Михайловна жила в коммунальной квартире, которую Митя после очередного наводнения (каждую весну текло с потолка) прозвал «ковчегом». Жили в тесноте, как в переполненном поезде, только шел этот поезд не дни, а годы. Рядом с Минаевой помещалась семья Паршиных; их комната была заперта — муж воевал, а жена с детишками уехала в Барнаул. По другую сторону жили Кацманы — отец, мать и озорник Гриша. Он кончил десятилетку в сорок первом, осенью его взяли в армию, а в апреле он погиб на Брянском фронте. Кацман жил теперь один, его жену эвакуировали со школой. Он был корректором, работал в газете. Было ему на десять лет меньше, чем Марии Михайловне, но он казался стариком. Когда он получил извещение о смерти сына, он ничего не сказал ни соседям, ни сослуживцам; пошел на работу и пропустил грубую опечатку; секретарь редакции его ругал, но и ему Кацман не объяснил, почему он допустил оплошность. А несколько недель спустя, когда Мария Михайловна спросила, что пишет Гриша, он нагнулся и шепнул: «Нет больше Гриши...» Рядом с комнатой Кацмана жили Ковалевы; в сорок первом они эвакуировались, летом вернулись, Ирина Петровна служила в госбанке, дочь, Наташа, еще училась, а сын, Вася, был моряком. Ирина Петровна рассказывала, как его наградили за потопление немецкого транспорта. Когда при ней говорили

«флот», она настораживалась. В крайней комнате жила молоденькая работница с «Шарикоподшипника», Шурочка Волкова. Она вышла замуж перед самой войной; ее муж был танкистом, и Шурочка со смешанным чувством восхищения и ужаса говорила: «Он три машины переменил — танки не выдержали, а он живой, только в последний раз легкое ранение...»

До войны в квартире приключались шумные ссоры. Паршины кричали, что Шурочка повсюду пачкает, Ирина Петровна возмущалась тем, что Кацман приходит из газеты под утро, а у нее чуткий сон, жена Паршина говорила, что Кацманы не умеют воспитать своего сына, он «сорванец». Теперь никто не ссорился, хотя нервы были у всех издерганы, жили трудно — холодно, ничего нельзя купить на рынке. Жизнь всех была связана с «тарелкой» в коридоре, и когда диктор говорил «от Советского Информбюро», квартира замирала. Радовались, когда кто-нибудь получал письмо. И Кацман, которому нечего было ждать, оживал оттого, что Шурочка вчера получила письмо от мужа, что Митя жив и здоров, что сына Ковалевой вторично наградили. Плакали, горевали, убивались у себя, а когда встречались, повторяли слова надежды или утешения.

Кацман третью ночь не вышел на работу: врач сказал, что у него сильный бронхит. Он очень громко кашлял, а стенки были тонкими. Будь это прежде, кто-нибудь про себя выругался бы: не дает спать... А теперь, слушая его хриплый кашель, все вспоминали, как он журил чубастого Гришу за то, что тот подрался с мальчишками и потерял учебник... Мария Михайловна вынула из шкафчика мелко наколотые кусочки сахара, наложила побольше в чашку, налила чаю и отнесла Кацману: «Выпейте, Давид Григорьевич, сладенький, сразу полегчает...»

Она спала, когда среди ночи «тарелка» неожиданно захрипела. Накинув шубенку, Мария Михайловна выбежала в коридор. Все были в сборе, даже больной Кацман вылез.

«В последний час... Полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск... Историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск...»

Мария Михайловна напряженно слушала, боясь пропустить слово; она не замечала, что из ее глаз текут слезы. Господи, неужели правда?.. Победили! Потом она подошла к Кацману:

— Давид Григорьевич, можно, я вас поцелую? Такая минута!..

А Шурочка, как маленькая, хлопала в ладоши и повторяла:

— Двадцать четыре генерала — две дюжины!..

Из соседних квартир доносились радостные возгласы. Кто-то зааплодировал. Наташа Ковалева выбежала на улицу и вернулась сияющая:

— Народу сколько! Все друг друга поздравляют... Целуются...

И Мария Михайловна подумала — как на пасху...

Рано утром она уже сидела за машинкой, строчила. Забежала Наташа Ковалева:

— Мария Михайловна, хоть бы ради такого дня отдохнули...

Мария Михайловна покачала головой:

— Разве они там отдыхают? Митенька, верно, дальше пошел... Потом отдохну, когда все кончится...

— Теперь скоро кончится.

— Скоро только сказка сказывается. А им еще далеко итти — до Бéрлина (Мария Михайловна, говоря «Берлин», упорно делала ударение на первом слоге, а когда ее сын как-то поправил, ответила: «Так у меня выходит»).

Она написала сыну: «Митенька, слушала вчера «В последний час», радуюсь, что душегубы сдались, но не могу я им простить, что столько безвинных перебили. Давид Григорьевич слушал сообщение и плакал. Гришу ему никто не воскресит. Скажи мне, когда с этих негодяев спросят ответ за наши стариковские слезы?»

26

За два года Поль много перевидал, побывал и в Лиможе, и в Бриве, и в Тулузе. Прежде он работал в группе «Жорес»; оружия у них не было, печатали листовки, подожгли склад с мукой. Их выдала жена одного из членов группы: обезумела от ревности. Полю удалось скрыться.

Он попал в группу «Габриель Пери»; отвинчивал гайки, закладывал мины, лежа в узкой канаве, подстерегал эшелоны; смеясь, он говорил: «Кончится война, стану железнодорожником». Теперь ему поручили организовать новую группу. Поль ждал товарища из центра — нужно дать отчет и получить инструкции.

Лежан не узнал бы сына — накануне войны Поль был застенчивым и от этого грубоватым подростком, говорил то визгливо, то басом, увлекался всем сразу — велосипедными гонками, Испанией, стихами, рассуждал о происках империалистов и не мог расстаться с детскими страстями — собирал почтовые марки, тратил деньги на перочинные ножики, мечтал о жизни в палатке; краснел, когда видел хорошенькую девушку, но уверял товарищей, что «увлечься женщиной может только идиот». И отец и Жозет считали его ребенком. Катастрофа застала Поля в последнем класса коллежа. Он попал на ферму, ходил за коровами. Потом один товарищ устроил его в Лиможе; днем он помогал жене аптекаря отпускать лекарства, ночью разносил листовки.

Он быстро сформировался, определились вкусы, черты характера. В нем не было строгости отца — Лежан и в юности поражал своим упорством. Поль был мягок, отличался чувствительностью, которую скрывал под иронией. Его прозвали «поэтом», хотя он никогда не писал стихов, иногда только декламировал. Он мог даже в те страшные минуты, когда убегал от полицейских, залюбоваться деревом на бледнозеленом небе или сонной речкой с кувшинками; повторял стихи, потому что не умел выразить свои чувства. Он тщательно скрывал от товарищей, что влюблен в некую Жаннет, которая предпочитает всем поэтам и партизанам хорошего танцора. Когда он очень тосковал по Жаннет, он начинал бубнить:

И розы вдоль всего пути
Опровергали ветер смерти...

— Что за ерунда? — спрашивал Граммон.

— Стихи Арагона. Коммунист, и пишет стихи, ничего нет удивительного.

— Предпочитаю романы,— отвечал Граммон.

— Теперь время такое... Романы — это хорошо, когда мягкая мебель и спокойные вечера. А стихи вяжутся с бомбами...

— Почему же ты сам не пишешь?

— Вероятно потому, что бомбы не вяжутся со стихами. Занят, как ты, немецкими эшелонами.

Товарищ из центра, Калло, рабочий-металлист, лет пятидесяти, недоверчиво оглядел Поля.

— Справляешься? Что-то ты молод для такой роли... Сколько тебе лет?

— Справляюсь, хоть и моложе Петэна,— ответил с улыбкой Поль. (Сказать, что ему месяц назад исполнилось двадцать, он счел излишним.)

Он подробно рассказал, что они сделали с ноября: возле Бютт спустили с откоса эшелон; два локомотива выведены из строя; подожгли склад с военной обувью; похитили хлебные карточки для всей подпольной организации; убили двух немецких офицеров и одного полицейского; казнили предателя Дюмэ.

— Что же, для начала неплохо. Слушай, немцы говорят, что террористические акты — это дело «озлобленных одиночек». Нужно впредь придавать операциям более массивный характер. Что у тебя намечено?

— Кафе «Рояль», там собираются немецкие офицеры.

— Неплохо. Но ты не забывай про транспорт. Сейчас это очень важно.

Калло обрисовал положение. Декрет о трудовой мобилизации, который опубликован на прошлой неделе, увеличит число партизан. Через месяц-другой можно будет создать маќи. Пока в горах имеются небольшие группы, но к весне развернем...

— Как твоя группа называется? «Марсельеза»?

— Нет, «Марсельеза» — это где Дюфи, мы с ними вместе провели операцию, когда похитили карточки.

— А твоя?

— «Сталинград».

— Название обязывающее...

Вспомнив в поезде о разговоре с Полем, Калло подумал: хороший мальчик. Вся жизнь Калло была посвящена партийной работе. Он не знал теперь, где его семья, и старался об этом не думать. Поль напомнил ему сына: моему

восемнадцать... Может быть, тоже воюет?.. Те говорят «ждать»... А как ждать? Отдавать таких немцам?.. Здесь, если хочешь все сохранить, обязательно потеряешь. Русские не пожалели Сталинграда и выиграли битву, можно сказать, выиграли войну... А мальчик хороший...

Поль восторженно рассказывал Граммону:

— «Рояль» одобрил. Не запускать транспорта... Через месяц-другой — макѝ...

Макѝ — это слово ему казалось чудесным: оно как будто пахло вереском, шиповником, югом. До войны в корсиканском макѝ, среди частого колючего кустарника, прятались последние разбойники. Настоящие бандиты сидели в спокойных кабинетах, и о макѝ никто не думал. А теперь это слово воскресло. Макѝ здесь, в сердце Франции...

— Макѝ притянет десятки тысяч, увидишь. Никто не хочет ехать в Германию. А в городах прятаться трудно. И потом — это настоящая война. Макѝ...

Граммон рассмеялся:

— Ты думаешь, все такие романтики? Макѝ — это грязь, дождь, снег...

— Ты забыл — это мозоли на ногах и вши ..

— Это зима в лесу...

— И это победа летом...

Кафе «Рояль» помещалось на главной торговой улице; с утра до вечера здесь была толчея. В пять часов дня кафе было переполнено немецкими офицерами. Французы туда не ходили. План операции разрабатывали Поль, Граммон и Биби, которого Поль, шутя, называл «начальником штаба» — Биби в сороковом был на фронте. Они долго спорили, кто бросит в кафе ручные гранаты. Поль настаивал, это должен сделать он («я аккуратно сделаю»). Однако приняли план Биби. Он был превосходным велосипедистом; решили, что он бросит гранату в застекленную веранду, проехав мимо на велосипеде. Воспользовавшись паникой, Граммон и Жозеф, в свою очередь, бросят по гранате. Поль и семь других членов группы будут прикрывать отход, стреляя в немцев, если они попробуют преследовать товарищей. Командовать будет Поль, он всех расставит, даст сигнал Биби — подымет газету. Граммон и Жозеф будут ждать в маленьком кафе

напротив кафе «Рояль». Поль займет место на углу улицы, где остановка трамвая. Луиза будет связной.

Биби промчался мимо кафе. Поль стоял на углу, читал газету (Жозеф и Граммон замешкались). Проехав два километра, Биби повернул назад, объехал кругом и десять минут спустя снова показался перед «Рояль». Поль поднял газету. Биби бросил гранату и понесся дальше; казалось, он лежит на руле. Он слышал взрывы, выстрелы. Он ни о чем не думал, думали его ноги. Очнулся он в мастерской седельщика, там он должен был остаться до утра. Он не мог закрыть глаза: что с Граммоном и Жозефом? Кто стрелял? Все ли ушли? Седельщик лежал у себя больной, не знал о случившемся. А Луиза должна была притти только утром. Увидев ее, он закричал:

— Ушли?

Она покачала головой:

— Хорош конспиратор! Все ушли. Только Поль ранен, но он успел отдать револьвер Жаку... Восемь бошей убиты в кафе, три ранены. Шарло застрелил двух немцев и полицейского. Поль не то убил, не то ранил боша, когда они погнались за Граммоном.

— Где Поль?

— В госпитале. Оружия на нем не было, документы хорошие. Туда отвезли еще двоих — прохожие... Клер была в госпитале, сказала, что она невеста. Главный врач был очень любезен, не подозревает или сочувствующий... Они заявили, что он ранен случайно, вышел из магазина... Рана серьезная, но врач сказал, что надежда есть...

Поля оперировали утром. Около полудня он очнулся. Он стрелял в немца, который хотел завести машину, это он твердо помнит... Потом он смутно вспоминает — подбежал Жак, взял револьвер... Поль взволновался: ушли ли другие?.. Пришла Клер, говорила глупости, что очень его любит, что скоро свадьба и, нагнувшись, шепнула: «Все ушли. Четырнадцать бошей и полицейский. Врач очень порядочный, он не выдаст...»

Ушли!.. Поль сразу почувствовал облегчение. Начала сильно болеть рана (прежде он этой боли не чувствовал). Сестра поправила одеяло и тихо сказала: «Рядом с вами немец. Он тоже ранен вчера...» Поль не видел лица немца.

С соседней койки раздавались равномерные стоны. Поль забыл про немца. Перед ним мелькала Жаннет, у нее на груди был букетик бледных пармских фиалок, и она пела сентиментальную песенку:

Я хочу среди бури
Хоть немного лазури,
Хоть немного любви...

Потом мама играла на рояле Баха. Шумел лес верхушками деревьев. Это — макú. А летом победа. Отец командует макизарами. Странно — кровать плывет по реке, как лодка, качается... Много речных лилий... И Офелия... Жаннет, не уходи!..

Рассвело. Он испугался, увидев койки, больных. Потом вспомнил: он в госпитале. Сестра дала градусник. Доктор говорил: «Только не волноваться»... Он вдруг понял, что будет жить. Рана болела, но голова была ясная. Он даже пожалел на минуту о том состоянии полузабытья, в котором был две ночи и день,— он больше не мог мечтать, думал — долго ли проваляется, справится ли Граммон с работой...

Повернув голову, он увидел немца. Их глаза встретились. У немца глаза были голубые и мягкие. Немец вскрикнул, видимо начались боли. К нему подбежала сестра. Поль задремал. Он слышал сквозь сон, как к немцу пришли посетители — двое. Они быстро ушли. Поль открыл глаза, ждал Клер, она обещала обязательно притти.

В палату ворвались немцы, они схватили Поля, потащили вниз. Сестра кричала:

— Господи, что вы делаете?..

— Гайнц узнал этого молодчика...

Главный врач пробовал уговорить немцев:

— Поставьте стражу... Мы его сначала вылечим...

Немец его оттолкнул и сказал, посмеиваясь:

— Лечением займемся теперь мы. А вы лечите Гайнца.

Поль снова погрузился в полузабытье; смутно чувствовал — его тащат, куда-то кладут, выносят. Он потерял много крови. Кажется, его пробовали допрашивать, но слова до него не доходили. Он был спокоен, и только

строчки стихов бились в голове, как мошки летней ночью вокруг лампы:

И розы вдоль всего пути
Опровергали ветер смерти...

Было много роз на изгородях, на беседках, розы вплетались в годы, в волосы Жаннет, залезали в квартиру, стояли на рояле мамы, осыпались и снова цвели — дорога роз, лимонные, чайные, бледнорозовые, пунцовые, темные, как запекшаяся кровь. Он умер среди роз, не приходя в сознание, на захарканном каменном полу.

Жаннет говорила Граммону: «Я сойду с ума! Он мне не верил, думал, что я люблю только развлечения, а я не могу жить без него. Я хочу отомстить, дайте мне револьвер...» Граммон отвечал: «Хорошо. Погодите...» Три недели спустя Жаннет танцовала с молодым бразильским инженером и говорила ему: «Мне так хочется жить, опротивела война. Я все отдала бы за один вечер в Рио-де-Жанейро!..»

Граммон написал листовку, которую ребята раскидали по городу:

«Четырнадцать бошей и полицейский казнены. Война разгорается. Отныне ни один бош не будет спокойно ходить по французской земле. Мы клянемся честью города, имя которого взяла наша группа. Мы клянемся памятью славного товарища Поля, погибшего при атаке «Рояль». Смерть бошам! Да здравствует свобода!

Ф.-Т. П. Группа «Сталинград».

27

Мари сияла — профессор Дюма был неузнаваем, он с аппетитом съел две тарелки лукового супа, сказав «исключительно вкусно», потом надел пальто и отправился гулять. Прежде, как Мари ни уговаривала его подышать свежим воздухом, он отказывался, говоря: «Никакого свежего воздуха больше нет — все ими провоняло...» А сегодня сам сказал Мари:

— Пойду посмотрю, что в городе делается. Теперь даже приятно на них посмотреть. Пусть ходят... Скоро их всех закопают.

Хотя Дюма по меньшей мере десять раз объяснял Мари, что произошло у Сталинграда, перемену в его состоянии она приписала своим молитвам. Ее очень огорчало, что профессор не выходит, почти не кушает, все время курит, а доктор Морило сказал: «У него сердце того...» Каждое воскресенье Мари молилась, чтобы богородица спасла профессора. Конечно, Мари не рассказывала об этом Дюма — знала, что он ее засмеет. Ничего смешного тут нет, хоть он и ученый, а этого не понимает...

Дюма понравилось все: и свежий прозрачный день, и детишки, прыгавшие на мостовой, и старик, который прогуливал плешивую собачонку. Проходя мимо церкви, где по воскресеньям молилась за него Мари, он увидел много народу — немецкие офицеры, полицейские, какие-то господа в черном, «серые мыши», француженки. Наверно, хоронят важного немца... Нельзя отказать покойнику в находчивости: он не стал дожидаться исторического возмездия... На паперти толпились зеваки. Дюма спросил:

— Кого это хоронят?

Кто-то ответил:

— Панихида по европейским защитникам Сталинграда.

Дюма не читал газет, о событиях знал по радиопередачам из Лондона и Москвы; поэтому слова «европейские защитники» показались ему чрезвычайно забавными. Он еле сдержался, чтобы не рассмеяться.

— Положим, не по европейским, а по немецким,— сказал он добродушно.— Я, например, тоже до некоторой степени европеец, генерал Рокоссовский тоже не азиат и не американец...

Он пошел дальше, весело пыхтел трубкой. Хотел бы я сейчас поглядеть на того, с позволения сказать, коллегу! Говорил я ему, что это плохо кончится... Они еще будут просить, чтобы мы заступились: «Наука... цивилизация... гуманизм...» Как человек развивается, это много раз описывали, интересно описать другое — как он молниеносно глупеет...

Это был первый выход Дюма после двух месяцев болезни и хандры. Он решил проведать Лео. Консьержка его остановила:

— Они уехали... За господином Альпером пришли. Позавчера снова справлялись, не знаю ли я, где он...

— Чорт знает что! — зарычал Дюма.— Панихиды по себе служат, а еще хотят погубить порядочного человека. Упыри!..

Консьержка затряслась:

— Ради бога, тише!.. Здесь живут и такие, что лучше, если бы они не жили...

От недавнего благодушия не осталось следа. Дюма был в ярости; хотелось схватить первого встречного немца и, не дожидаясь, как история рассудит, швырнуть его в Сену.

С набережной он свернул в узкую старую улицу и вдруг увидел на стене «Сталинград» — кто-то написал мелом. Дюма засмеялся: все видят, что им крышка... Лео во-время уехал — эти господа хлопнут дверью... Давно не приходила Анна, уж не случилось ли чего-нибудь?.. Хоть бы скорее высадились! Очень хорошо, что они взяли Триполи, но о Париже тоже стоит подумать... После Сталинграда немцы не подымутся, это была генеральная репетиция... Красивый дом, триста лет такому, не меньше. Здесь скептик в парике читал последнюю книжную новинку — «Кандида». Якобинцы клялись: «Свобода или смерть». И такой город наци хотели превратить в кафешантан для своей солдатни!.. Дюма снова увидел на заборе «Сталинград». Кто-то покрыл все фасады домов, все заборы надписями. Мане, такел, фарес — взвешено, подсчитано, разделено...

Профессор вернулся домой веселый, рассказал про все Мари. Она не знала, можно ли высмеивать церковную службу, но Дюма так заразительно смеялся, что и она улыбнулась.

А Дюма сел в кресло, покрылся одеялом (угля не было) и решил перечитать «Остров пингвинов». Читая, он громко смеялся, и Мари, которая в соседней комнате вязала, всякий раз вздрагивала. Профессор выздоравливает, подумала она и, счастливая, уснула.

Позвонили. Дюма удивленно поглядел на часы: половина двенадцатого... Он открыл дверь. Вошли два немца — лейтенант и фельдфебель, между ними юлил юркий полицейский в бежевом, не по сезону легком пальтишке. Полицейский спросил:

— Здесь живет господин Дюма?
— Я самый...
Начался обыск. Мари плакала. Дюма спокойно курил трубку, как будто происходящее не имеет к нему никакого отношения. Лейтенант наблюдал; трудились фельдфебель и полицейский. Перед полками с книгами они растерялись — не пересмотришь и за неделю...
— У вас слишком много печатного хлама,— раздраженно сказал полицейский.
Дюма пожал плечами:
— Такая профессия. Как это вам ни странно, но я не сыщик, а профессор.
Фельдфебель удивленно поглядел на Дюма и начал его именовать «господин профессор». Это разозлило лейтенанта, он сказал:
— Такие профессора у нас чистят нужники.
Дюма зевнул и стал глядеть, как короткий толстый фельдфебель, который взлез на табуретку, скидывает книги с верхних полок. Пыль щекотала нос.
Профессор чем-то раздражал лейтенанта. Старый шут!.. Таким именно лейтенант представлял себе карикатурного француза — неряшлив, обсыпан пеплом, все высмеивает, воображает, что он ученый, и осмеливается выступать против страны, которая дала миру Лейбница, Канта.
Стаскивая огромные тома старой энциклопедии, фельдфебель потерял равновесие, упал. Дюма засмеялся.
— Скоро вы заплачете,— сказал лейтенант.— У вас будет достаточно времени, чтобы подумать о своем ничтожестве и о мощи Германии.
— Я об этом достаточно думал,— ответил Дюма. И неожиданно для самого себя спросил: — Скажите, вы на панихиде по себе не были?..
— Не понимаю.
— Сегодня ваши служили панихиду по так называемым «европейцам», вот я и спрашиваю...
Лейтенант закричал:
— Вебер, уведите его! Обыск закончит Ришар...
Мари вцепилась в полицейского (немцев она боялась):
— Что вы делаете? Профессор болен, он сегодня в первый раз вышел... У него слабое сердце, можете спросить доктора Морило...

Дюма улыбнулся.

— Соберите мне немного белья, Мари. Может быть, и не понадобится, это на всякий случай. И не огорчайтесь. Если бы меня забрали осенью, я сам огорчался бы. А теперь я совершенно спокоен...

— Куда вы его ведете? Он болен! — кричала Мари.

Дюма ее обнял:

— Все будет хорошо. Только не огорчайтесь...

Когда Дюма увели, в квартире остался полицейский — ему поручили закончить обыск. Мари его спросила:

— Вы что — марселец?

Он нехотя ответил:

— Нет, тулузец.

— И вам не стыдно? Где ваша мама вас родила — в Тулузе или в Берлине?

— Помалкивай! А то я тебя тоже посажу под замок.

Мари обливалась слезами. Вдруг она вспомнила, как профессор ей рассказывал про Сталинград: там перебили столько бошей, что трудно сосчитать, то есть профессор знает, сколько, он говорил, но она забыла, во всяком случае, очень много. И хорошо сделали. Нужно их всех перебить. Особенно этого офицерика. Как он смел кричать на профессора?.. Мари начала молиться. Никогда она так не молилась, понимала, что это грех, и все-таки повторяла: «Господи, сделай, чтобы они все сдохли! Господи, сделай, чтобы этого негодяя завтра убили! Господи, сделай, чтобы в Париже было, как в Сталинграде!»

Дюма думал, что его будут допрашивать, приготовился к ответам. Может быть, сообщили, что он против преследования евреев — услышали на лестнице в доме Лео или донес Нивель? Он скажет: «Не отрицаю. Я антрополог, а ваши теории — бред. Мне сейчас обидно, что я не еврей — вы сделали из желтой звезды настоящий орден мученичества». А может быть, донесли, что он болтал сегодня на паперти? В таком случае он ответит: «Генрих Четвертый говорил, что Париж стоит молебна, очевидно, Гитлер считает, что Сталинград стоил панихиды...»

Заспанный фельдфебель спросил: имя, возраст, место рождения, профессия? Девушка с локонами стучала на машинке, крикнула: «Фамилию — по буквам...» У Дюма

отобрали ручку, часы, лекарство от головной боли; трубку ему оставили, но табак немец взял себе. Потом его отправили в тюрьму Френ. Камера была темной, Дюма ее обследовал. С трудом он разобрал выцарапанные булавкой или ногтем надписи: «Умираю за Францию. Жан Мутье. 19 ноября 1942», «Остерегайтесь Шартье — предатель», «Передайте госпоже Дорьяк в Блуа, что ее сын вел себя, как нужно, и обнимает ее перед смертью». Дюма почувствовал, что он не один, с ним погибшие. Шартье? Да ну его!.. А вот Мутье или Дорьяк — это настоящие люди. Если есть такие, не страшно умереть...

На следующее утро Дюма прислушался к смутному гулу. Постепенно он начал разбирать слова. Заключенные переговаривались друг с другом через форточки. Это было запрещено, но люди, которые ждали смерти, не останавливались перед наказаниями. Дюма внимательно слушал. Малыш говорил с Рене, Пьер с Чижиком, Серж окликал Бондаря, а тот не отвечал... Какие у них странные прозвища!.. Они рассказывали о допросах — Малыша снова пытали; вспоминали прошлое: «Чижик, помнишь, как мы заблудились в лесу»; передавали важные известия — Виктора расстреляли, нужно остерегаться Диди... Дюма понял, что все эти люди связаны общей работой. Он почувствовал себя посторонним, загрустил. Потом он услышал:

— Эй, новичок!.. Как ты назвал себя на допросе?

— Профессор Дюма.

— Где тебя взяли?

— Дома. Я сидел и читал, пришли два боша, полицейский, раскидали все книги.

В ответ наступило молчание. Дюма обиделся: если я не из их организации, значит, со мной и говорить нельзя? Должны понять, что я не сволочь, раз я здесь...

— Профессор! Какие новости на воле?

Дюма оживился, подробно рассказал про Сталинград. Немцы служили панихиду. Он загрохотал:

— Называют себя «европейцами», этакие кретины!..

— Тише, не нужно кричать... А это действительно смешно — панихида...

Вдали гудело: «Сталинград» — сосед передавал соседу рассказ профессора.

Потом все замолкли. В камеру Дюма вошел немец, крикнул: «Встать!» и ударил профессора по лицу. Когда немец ушел, Дюма прикрыл глаза рукой, подумал: вот и пришли дни испытаний... Он стар, тело может не выдержать. Зато есть у него преимущество: хорошо изучил себя, знает, что не станет на колени, не попросит пощады. Наци для него огромные насекомые. Такой может умертвить, унизить такой не может...

— Профессор!..

Он подошел к окну, напряг слух.

— Профессор, передает Жорж, он — студент, слушал ваши лекции. Он передает, что его приговорили к расстрелу. Передает привет... Погодите, он продолжает... Он передает, что гордится тем, что вы здесь...

Хорошо, что сейчас нет поганого немца, подумал Дюма, он решил бы, что это он меня довел до слез... Я, наверно, никогда не узнаю, кто этот Жорж. Сидел в аудитории среди других... Его приговорили к расстрелу, а он передает привет, хочет меня приободрить... Здесь кончаются возможности палачей: они не могут приговорить ни к низости, ни к бесчестью...

Все-таки хороший народ!.. Говорят, что Франция протухла... Есть в этом правда. Меньше единства, меньше силы, многие разжирели... «Мы, Филипп Петэн»... Нивель пишет про Персефону... Шартье или Диди предатели... Но сколько таких?.. Есть у французов одно достоинство — человечность. Да, да, мы человечны и в геройстве, и в слабости, и за едой, и с женщинами, и на баррикадах. Я работал с англичанами, норвежцами, с Гомесом. Они, может быть, чище, сильнее, благороднее. А человечней, пожалуй, мы. Что бы фашисты ни писали, есть человеческое достоинство. Именно поэтому Жорж спокойно ждет смерти. Да и я здесь поэтому. Могла быть вместо меня Мари... Тот, кто написал на стене «Сталинград», думал не о мести, не о реванше, не о славе, не о тех конференциях, где после войны будут торговаться и блефовать, он думал о достоинстве, о том, что человека нельзя раздавить железом. Тело можно раздавить, а сущность нет.

И Дюма улыбался такой улыбкой счастья, что немец, который поглядел на него в волчок, уныло подумал: старик от страха рехнулся...

28

Когда майор Шеффер месяц назад сказал Ширке: «Вы преувеличиваете значение сталинградских боев»,— Ширке ответил: «Я не люблю играть в прятки. В тридцать втором году католики и социал-демократы уверяли, что не следует преувеличивать значения победы наци. В тридцать восьмом парижские газеты писали, что Судетская область ничто по сравнению с мощью объединенных Франции и Великобритании. Нужно глядеть правде в глаза. Я верю в гений фюрера. Наступают месяцы проверки, до сих пор мы завоевывали, теперь мы должны воевать...»

Февральское сообщение ошеломило многих, но не Ширке — он был к нему подготовлен. Он считал, что многие командиры рейхсвера, обладая и знаниями, и опытом, лишены того, что он называл «нервом войны». Для некоторых генералов фюрер — выскочка, случайная фигура, они живут в прошлом, поклоняются уставу, идут в поход с грузом академических формул. Такие люди думают, что теперь, как в девятнадцатом веке, происходит поединок двух армий, что будут победители и побежденные, мирные переговоры, компромисс. Вздор! Немецкий народ все поставил на карту — он или будет господином, или попадет в рабство. Мы воспитали молодежь, динамичную, смелую, свободную от предрассудков, эта молодежь и теперь, после сталинградской катастрофы, способна победить. Нужно только убрать из армии старых интриганов, мягкотелых и двуличных!

Нелегко было Ширке работать во Франции; он понимал, что нужно маневрировать, любезничал с покойным Берти, льстил Нивелю, не скупился на комплименты и улыбки. Рассказывали, что у него на письменном столе стоит бронзовая статуэтка Жанны д'Арк. В душе он ненавидел французов. Они говорят с дрожью в голосе «дорогой господин Ширке», а сами мечтают — как бы вздернуть этого боша на фонаре... Он не обольщался иллюзорным спокойствием. Франция косит — один глаз смотрит на запад, другой на восток. Они готовы перегрызть друг другу горло, одно их объединяет — вражда к Германии. Когда Шеффер с возмущением рассказал, что «французики распустились» — на доме, где он живет, написали «Сталин-

град», Ширке усмехнулся: «Надеюсь, это не помешало вам спать?» Такой Шеффер наверно трясется. Меня не удивит, если в трудную минуту он попробует перестраховаться...

Ширке знал, что он не изменит фюреру. Его жизнь до того, как он примкнул к движению, была тусклой и неинтересной. С фюрером он узнал вкус победы, пригубил вино власти. Ширке презирал человеческие взаимоотношения, основанные на недомолвках, на дружбе, на зыбком песке увлечений или отталкиваний. Человек должен или приказывать, или повиноваться. Полковник Байер приказывает Ширке, Ширке приказывает Иенчу или Форсту.

Он считал себя идеалистом. Однажды жена спросила его, правда ли, что в Польше убивают всех евреев, даже детей. Он ответил: «Подробностей я не знаю, этим занимается другое ведомство, но мне говорили, что на Востоке есть города, уже очищенные от евреев. Я понимаю, как тяжело ликвидировать детей, но это необходимо — нужно уметь корчевать до того, как сеять. Через двадцать лет человечество будет благословлять тех, кого либералы теперь называют палачами...» Госпожа Ширке сказала: «Ты прав». Она всегда соглашалась с мужем, когда речь шла о вещах, которые ее не затрагивали. Зато она была непримирима в денежных делах. Ширке ни в чем ей не отказывал, но она изводила мужа упреками, что он живет слишком широко и ничего не откладывает на черный день. Напрасно он пытался ей объяснить, что, если действительно настанет черный день, им не помогут никакие сбережения. Она отвечала: «Нельзя быть таким эгоистом, ты должен подумать обо мне, о Гансе». Госпожа Ширке сделала все, чтобы удержать сына от политики, воспитывала его, как девочку, а потом знакомила с хорошенькими дочками солидных людей, надеясь, что они сделают то, чего не сумела сделать мать. Но эпоха оказалась сильнее госпожи Ширке, и Ганс, восприняв идеи своего времени, попал в эсэсовскую дивизию.

В начале февраля Ширке получил письмо от жены, она писала: «Часть, в которой находится Ганс, отправляют к тебе, говорят, что на их долю выпадет отразить десант союзников. Это ужасно. Ведь все это дети, как Ганс! Я готова наложить на себя руки». Ширке сам не раз в ужасе думал: Ганса скоро отправят на фронт. Получив

письмо жены, он обрадовался — хорошо, что не в Россию... Неизвестно, когда союзники высадятся. Да и война здесь не будет такой беспощадной... Мальчику повезло. Жене Ширке написал: «Я удивляюсь твоим жалобам, все немецкие матери в равном положении. Если бы наш Ганс оказался среди защитников Сталинграда, мы могли бы гордиться, что дали родине и фюреру героя».

Он надеялся повидать вскоре сына. Все сложилось иначе. Был ветреный февральский день. Ширке завтракал с Пино. Он пожалел, что Берти умер, с тем было интересно и поспорить... А Пино не возражал, сухо говорил, что «промышленники вполне удовлетворены, осуждают террористов»... Так они все говорят. Но что у него в голове?.. Ширке заговорил о Сталинграде:

— Это тяжелый удар. Для нас и для всей Европы.

Пино соболезнующе вздыхал, не высказывая своего мнения. Когда Ширке поставил вопрос в упор, Пино ответил:

— Вы сами понимаете, что я не могу сочувствовать коммунистам. Для этого я прежде всего недостаточно обездолен жизнью...

А когда они пили кофе, Пино сказал:

— Действительно тяжелый удар — двадцать ваших дивизий, не считая румын, это серьезные убытки, не знаю, как вы выйдете из положения...

Слово «убытки» разозлило Ширке — торгаш! Но он не подал виду, улыбнулся:

— Такую цифру дают красные. Я вижу, что вы слушаете Лондон... Удар, как я вам сказал, тяжелый. Но летом мы должны отыграться... Нужно во что бы то ни стало остановить большевиков. Иначе они придут не только на Шпрее, но и на Сену...

— Мы надеемся на вашу армию,— поспешно сказал Пино (он упрекал себя за неосторожность).

После завтрака Ширке отправился на службу. Майор Шеффер ему сказал:

— Вас вызывал полковник.

Шеффер догадывался, в чем дело, и соболезнующе глядел на Ширке.

Выйдя из кабинета полковника, Ширке был спокоен, но озабочен.

— Меня посылают на Восток.

Шеффер вздохнул:

— Да, это тяжело... Все-таки вы не юноша...

— Напротив, я очень рад. Здесь теперь нечего делать. Французы способны только пачкать стены мелом... А в десант я не верю, они повернут на Балканы или в Италию... Другое дело Россия, там положение действительно трудное.

— Полковник сказал вам, какое назначение?

— Он сам не знает. Сейчас перебрасывают туда все, что можно перебросить... Я должен направиться в Минск в распоряжение генерального комиссара Кубе.

Оставшись один, Ширке подумал: жаль, что не увижу Ганса. Может быть, никогда не увижу... Он — солдат. А я еду в Россию, там фронт повсюду...

Ширке вышел на балкон и, хотя было холодно, долго глядел на Париж, задернутый легким туманом, серый, старый, печальный. Ширке глядел на город, в котором прожил много лет, как на номер гостиницы. Его мысли были далеко — в заснеженной России. Красные идут от Курска дальше. Но полковник говорил, что фон Манштейн собрал сильный кулак... Трудно, очень трудно победить. Но мы — немцы и своего добьемся...

На балкон выбежал Шеффер:

— Сейчас позвонили, что на авеню Ваграм возле вашей квартиры террористы застрелили лейтенанта-отпускника. Средь бела дня!.. А вы говорили, что они способны только пачкать стены...

— Это они меня провожают,— усмехнулся Ширке.

Он отнесся безразлично к выстрелу на авеню Ваграм: это больше его не касается. И что значит один лейтенант после Сталинграда?.. Он сказал Шефферу:

— Если вы не возражаете, я поеду домой, мне нужно приготовиться к отъезду.

Он еще раз взглянул на Париж, который медленно погружался в темнолиловые сумерки. Меня здесь не любили, и я их не любил. Так лучше. Мы должны освободиться от всяких чувств, тогда победим...

29

Новый год Герта встретила неплохо: был брат Фридрих, приехавший из Норвегии в отпуск (он привез теплый свитер, перчатки Рудди, анчоусы, шоколад), были Френцели. Альфреда Френцеля снова признали негодным — у него нехватало на правой руке трех пальцев. Прежде Герта жалела Марту; все-таки некрасиво, когда муж, здороваясь, подает левую руку. А Марта оказалась в выигрыше — она не должна беспрерывно волноваться. Герта давно не получала писем от Иоганна. Если она все же сохраняла спокойствие, а под Новый год даже выпила и развеселилась, то не потому, что Иоганн ее предупредил «с письмами будут перебои», и не потому, что Фридрих говорил «на войне не до супружеских обязанностей»,— Герта верила в счастливую звезду Иоганна. Прошлой зимой он участвовал в страшных боях за Москву и даже не отморозил ног... А в одном из последних писем Иоганн успокаивал жену: «Я почти в Азии, но это — юг и здесь куда теплее, чем было прошлой зимой...»

Френцель предложил витиеватый тост: «Выпьем за оружие фюрера и стремление Гёте к свету, за великодушие победителей». Потом поднял стакан Фридрих, сказал просто, по-солдатски: «Пью за то, чтобы всю сволочь стереть в порошок». Рудди это понравилось, он крикнул: Siegheil. По случаю праздника и ему дали немного шампанского. Фридрих показывал фотографии каких-то норвежских красоток. Марта говорила, что жаждет путешествий и любви. Френцель, подымая уродливую руку, повторял: «Необходимо великодушие», Фридрих назвал его «пастором». А Герта была в мыслях далеко, как писал Иоганн, «почти в Азии»...

Герта оставалась верной мужу и в помыслах; ни разу, глядя на другого мужчину, она не испытала волнения. Она осуждала подруг, которые вели себя чересчур свободно. Стоило приехать в отпуск какому-нибудь мальчишке, все дамы зазывали его к себе, кормили, поили, расспрашивали про жизнь на фронте, вздыхали «я не могу уснуть, думаю о нем», а расспросы, как выразилась супруга доцента Вирта, «заканчиваются в постели — жизнь берет свое»... Были дела и похуже. Жена садовника

Краусса, которая до войны работала поденно у Келлеров, угодила в тюрьму за сожительство с военнопленным французом. Герта, красная от возмущения, говорила: «Я бы ей отрубила голову. Как может немецкая женщина допустить близко французика? Они воняют чесноком и все зараженные...»

Герта работала в «Зимней помощи», организовала детскую столовую. Трудно было прошлой зимой — приходилось оставлять маленькую Гретхен у соседки. Летом Герте удалось получить русскую прислугу, девушку лет восемнадцати. Герта была ею довольна—невзыскательная, работящая и тихая, пожалуй даже чересчур, можно сказать пришибленная — днем работает, а вечером сидит на кухне и плачет. Когда приехал Фридрих, Герта показала ему Ольгу (так звали прислугу): «Можешь посмотреть... Иоганн писал, что они все запуганы большевиками, но я это поняла, только когда ее увидела...» Френцель говорил: «Все русские обожают страдания, достаточно почитать Достоевского»... Герта мало интересовалась психологией Ольги, она была довольна, что у нее прислуга, до войны об этом не приходилось мечтать.

Вскоре после Нового года без всякого предупреждения ввалилась Ирма. Герта обрадовалась сестре, но сразу поняла, что случилось несчастье. Они давно не виделись. Ирма вышла замуж за инженера, жила в Дортмунде. Ее мужа недавно призвали.

— Почему ты плачешь? — спросила Герта.— Что-нибудь с Вилли?..

Ирма не могла ответить. По щекам текли черные капли — сошла краска с ресниц. Наконец она заговорила:

— Это такой ужас!.. Вы здесь ничего не пережили.. В Дортмунде гораздо хуже, чем в Сталинграде... Можешь себе представить, я пошла в кино, хотела немного развлечься, я с ума схожу после того, как Вилли уехал... Какая-то дурацкая картина «Последние тени». Вдруг среди сеанса «воздушная тревога!» Мы не успели сойти вниз, грохот, я этого не могу описать... Я кричала, как сумасшедшая: «Мама!..» Бедная мама, в Штуттгарте тоже ужас... Одним словом, когда мы вышли из кино, Шиллерштрассе просто не было. Я совершенно не помню, как дошла домой... Макс сказал мне, чтобы я уехала... Дай мне

воды, я приму валерьянки, я схожу с ума, не удивляйся, и сойду, это вполне естественно...

Ирма поселилась у Герты, сразу внесла в маленькую квартиру запах сладких духов и беспорядок. На книгах Иоганна валялись порванные чулки. Ирма кричала, что Ольга настоящая свинарка, что Рудди плохо воспитан, рявкает и не умеет шаркнуть ножкой; обкормила Гретхен конфетами, которые брат привез из Норвегии (Герта их спрятала — может быть, Иоганн приедет). Каждый вечер Ирма устраивала истерику, кричала, что Дортмунд срыт с лица земли, что могут убить маму, что Вилли не вернется из России.

Герта сама приуныла: прошел еще месяц, а от Иоганна не было известий. Обливаясь слезами, Ирма повторяла: «Иоганн в Сталинграде, Вилли тоже в Сталинграде, все в Сталинграде». Герта понимала, что сестра говорит глупости: Вилли где-то под Новгородом. А вот Иоганн, может быть, действительно в Сталинграде...

Объявили траур на три дня, закрыли театры, кино. По радио передавали грустную музыку. Пришел Френцель, желая утешить Герту, сказал: «Может быть, Иоганн не там, а на Кавказе»... Значит, и Френцель думает, что Иоганн в Сталинграде... Герта пошла на кухню за стаканами. Ольга сидела возле окна и улыбалась. Герта забыла про стаканы, убежала к себе, расплакалась. Ирма вдруг успокоилась, накапала валерьянки, Френцель повторял: «Мне почему-то кажется, что Иоганн на Кавказе...» А Герта плакала от злобы. В своем доме приютила змею! Она ни разу ее не ударила, подарила ей старую юбку... А теперь эта дрянь радуется, что столько честных немцев погибло. Может быть, и Иоганн... Действительно, русские не люди, Иоганн был прав, когда писал, что хочется их пожалеть и нельзя...

— Эта мерзавка рада,— сказала Герта Френцелю.

Он задумался, потом засунул руку за борт пиджака, сказал:

— Всеобщее ожесточение. Колесница человечества натолкнулась на преграду. Но я убежден, что Гитлер — это стихия света, Феб... Мне только страшно, что люди перегрызут друг другу горло...

Когда он ушел, Ирма сказала:

— У него не только с пальцами плохо. По-моему, он сумасшедший... Теперь на почве событий много душевных заболеваний. В Дортмунде один банковский служащий решил, что настал конец света, и после отбоя вышел на улицу абсолютно голый... Слушай, Герта, ты должна на ночь запирать твою свинарку, с русскими нельзя шутить.

Герта слышала, как по радио говорил майор; он до двадцатого января был в Сталинграде; рассказывал, что там стояли ужасные холода, нечего было кушать, немцы защищали город, как античные герои, но осаждавших было больше, и защитники изнемогли в неравной борьбе.

С ненавистью Герта глядела на Ольгу: у этой девки четыре брата и три сестры. Их слишком много, русских! И они хотят нас уничтожить. У нас культура, университеты, идеи, а у них только грубая сила. Достаточно поглядеть, как Ольга подымает куль с углем...

Пришло письмо от матери: «Дорогая Герта! Я все время думаю о тебе. Что с Иоганном? У нас много горя, я пережила такую ночь, что думала, это последняя. Вокзала нет. Госпожу Цигель засыпало в подвале. Я не могу понять, за что мы так страдаем?..»

За что я так страдаю? — спрашивала себя Герта. Никто не мог ей ответить. Фридрих давно уехал в Норвегию. Ирма вдруг перестала плакать и завела шашни с мальчишкой из противовоздушной обороны. Пришли Френцели. Марта плакала:

— Говорят, что Альфреда призовут. Как он может стрелять, если у него нет пальцев? Это неслыханно!..

Френцель говорил:

— Мы должны противопоставить темным совам свет Гёте и добрую волю фюрера...

Наконец пришло извещение: унтер-офицер Иоганн Келлер погиб за фюрера и за Германию.

Герта пролежала весь день в темной комнате с мокрым полотенцем на голове. Ирма отнесла траурное объявление в газету, спорола с черного платья сестры розовые оборки. А Герта не двигалась; она видела снег, очень много снега, на снегу Иоганн, и его клюют огромные русские вороны...

Утром она сделала усилие и встала. Нужно одеть Гретхен, отправить в школу Рудди. Она пошла на кухню. Ольга поила кофе мальчика. Он учил ее немецкому языку; он спросил, как «зайфе» по-русски, она ответила «мыло»; он не мог выговорить, и оба смеялись.

Ольга за последнее время повеселела, одна русская, которая работала в аптеке, сказала ей: «Немцев поколотили. Скоро домой поедем...» Ольга поверила, что скоро увидит мать и сестер. Мишу убили немцы в самом начале войны, а что с отцом и с другими братьями, она не знала.

— Как ты говоришь? «Милё?» — Рудди продолжал смеяться.

Герта, не помня себя, схватила половую щетку и ударила Ольгу. Рудди испугался, залез под стол. А Герта, выронив щетку, стояла и плакала: Иоганн все равно не вернется...

30

Крылов повсюду видел ту же цифру 13 — на немецких картах дорога из Воронежа в Курск значилась тринадцатой. Наверно, суеверные думали, что от этого... Пытаясь убежать, немцы побросали все — и орудия, и штабные бумаги. Тысячи машин, зенитки, чемоданы с наклейками всех европейских гостиниц, валенки из соломы, губные гармоники, мины, пишущие машинки, французский коньяк, бинокли, искромсанное железо, искрошенные тела. Из-под снега торчит голова, пенсне на носу, и рядом, как диковинное растение — розовые пятки. Обгоревший снег. Машина ползет по твердым окаменевшим трупам. И цифра 13 — над сугробами, над мертвыми, над конской головой. Какой-то дьявольский универмаг... Нужно же было в Иене шлифовать линзы, нефшательскому часовщику выверять хронометр, голландским сыроварам строить плотины, осушать море, лелеять коров!.. Говорят, что в Полинезии живут дикари... А эти — с их оптикой, со звукоуловителями, с «лейками» — как их назвать? Грустно от нашествия диковинных вещей на курские поля. Крестовый поход шестиствольных минометов и туалетной бумаги...

Устал я,— подумал Крылов,— вот и лезет в голову чепуха. Главное, что их гонят. Шутка сказать, третью неделю на марше! Скоро Курск...

К вечеру снова поднялась метель. Столбы снега кружились среди поля. Никогда, кажется, не было такого метельного февраля. А мороз крепкий. Немцы, пытавшиеся было спрятаться, выползают из лесочков, скребутся в двери изб, замерзают у обочин. Все движется на запад: машины, пехота, тягачи, госпитали, минеры с собаками, которые звонко лают, грузовики с мебелью — столовая военного совета, журналисты, курская милиция. Сугробы, и сугробы тоже куда-то спешат.

Крылов запел (конечно, фальшиво) «Когда я на почте служил ямщиком...» Почему и он, и другие так часто поют про ямщика, про тройку? Дорога, вот что тянет. И не отнять у дороги тоски, даже если дорога веселая, если она на запад...

Все последние недели Крылов заново переживал свое горе. Письмо от Наташи пришло в шумные дни: прорывали оборону врага. Потом был притихший Воронеж, ночь; он проехал метров триста, и начали взрываться дома... Все ходило под ногами. Несли раненых — наши, мадьяры, немцы. Еще никто не осознавал победы; одуревали от небывалого напряжения. И в этой смертельной сутолоке, среди марли, пропитанной кровью, среди стонов, хрипов, икоты агонизирующих, среди таких разрывов, что подпрыгивали склянки, инструменты, среди декабрьских боев горе Крылова притаилось. Он тогда не сознавал всей тяжести потери. Только когда они двинулись на запад, когда дошли до Касторного и перед глазами развернулась панорама немецкого разгрома — долина, исполосованная танками, расклеванная штурмовиками, только тогда Крылов понял, что нет Вари, некому написать про победу, не с кем жить.

Конечно у него Наташа, но девочке всего не скажешь...

Сколько он с Варей пережил, ругались когда-то, спорили, страдали в разлуке! Как горная река, которая вначале грохочет, кипит, а потом становится медленной, их любовь от огня первых лет перешла к такой человеческой близости, что Дмитрий Алексеевич теперь чувствовал себя душевно разоренным.

Никто из товарищей не подозревал, как он терзается; знали, что жена Крылова умерла, но эта мирная кончина пожилой женщины, среди происходящего, не могла поразить воображение. А Крылов, не умевший скрыть радость, изумление или гнев, горе прятал, как никто; пожалуй, только стал тише, реже смеялся. Ему говорили: «Устали вы, Дмитрий Алексеевич, чувствуется»... Он сам в это поверил, и когда становилось чересчур тоскливо, ворчал на себя: все устали, естественно...

Все труднее и труднее было пробираться. Расчищенные дороги два часа спустя обрастали сугробами. Снежный океан разбушевался; в кипящих волнах исчезали машины, люди, салазки. Но ни на час не приостанавливалось движение на запад. Что-то толкало людей, несмотря на холод, на смертельную усталость. Немцы кое-где пытались удержаться. Не помогали и минометы — наши шли под огонь. Давно ли эта армия поспешно отходила, люди прислушивались к слухам, разбегались, когда показывались немецкие танки, каждый уныло думал о силе врага, о том, что снова и снова отступать? В несколько дней победа всех переделала; воскресла уверенность в себе; знали, что пройдут и пойдут дальше; теперь уже ничто не остановит.

Ночью Крылов попал в маленький городок. Деревянные домишки, прошлый век, кажется, все пятилетки старательно обходили это захолустье. Крылов постучался. В комнате, куда его привели, жила молодая женщина с маленьким мальчиком. Дмитрий Алексеевич примостился на коротком диванчике, поджал ноги.

— Вы на кровать легли бы... Замучаетесь.

— Ничего... Так даже уютнее.

Мальчик проснулся, раскапризничался: «Мама, я хочу варенья...» Крылов, засыпая, подумал: откуда у них варенье?..

Еще было темно, когда мальчик его разбудил. Хозяйка приготовила завтрак. Варенье оказалось не сказкой: немцы, уходя, подожгли склады, население ринулось, вытаскивали из огня ящики с консервами.

Крылов спросил молодую женщину:

— Рады?

— Опомниться не могу... Вот только мужа бы найти. Он в авиации. Не знаю, жив ли...

У нее были глаза красивые и печальные.

— Немцы обижали? — спросил Крылов.

— Когда только пришли, грабили, у меня самовар унесли, будильник. А потом они сюда не заглядывали...

В разговор вдруг вмешался мальчик:

— Мама, Отто каждый вечер приходил.

— Что ты врешь!

Мальчик захныкал:

— Я не вру... Отто со мной играл, с тобой играл...

Женщина отвернулась. Крылов густо покраснел и вышел.

Старушка затащила его к себе:

— Посиди ты, милый. Дай на себя посмотреть... Наш ведь родной...

Она плакала и, плача, потчевала Крылова то жесткой колбасой, то немецким медом, от которого Дмитрий Алексеевич морщился, показала фотографию:

— Сынок в армии, а Милочку немцы угнали...

Подняли красный флаг над домом, где еще вчера помещалась немецкая комендатура. Валялись папки с делами, газеты, портрет Гитлера в красках — под ним значилось «освободитель». Дмитрий Алексеевич вышел из себя, стал, как ребенок, топтать портрет: «Жеребчик проклятый!..»

Женщина рассказывала:

— Когда уходить начали, прибежал Лосинов, он у них бургомистром был, кричит: «Меня возьмите»,— а немец отвечает: «Пойди ты к матери, не до тебя, склады оставляем, а еще таскать этакое...» — все слова по-русски знал. Лосинов ко мне пришел: «Напиши, что я твоего Игнатку от петли спас, я тебе корову дам...» А к вечеру красные пришли...

Крылов переспросил:

— Красные?..

Женщина сконфуженно улыбнулась:

— Всего у них набрались...

— Именно всего,— рявкнул Дмитрий Алексеевич,— и в голове пакость, и венериков, чорт бы их побрал, полно, и завшивели!..

А потом он увидел доктора Галкину. У нее была перешиблена рука: немец ее избил — Галкина спрятала в городской больнице двух красноармейцев, переправила их к партизанам.

Чем-то она напомнила Крылову его покойную жену — седая прядь среди темных волос, лиловые жилки на лице, задыхается, как только начинает волноваться... Дмитрий Алексеевич выслушал ее сухой рассказ о пережитом и загрохотал:

— Герой вы! Вы уж позвольте мне вас поцеловать. Знаете, дряни здесь порядочно, воздух нечистый, приятно родного человека встретить, я говорю, советского человека...

Она тихо ответила:

— Ничего особенного я не сделала. Мучили всех...

Она хотела что-то добавить, но, видно, не нашла слов.

Курск. Почему-то все время лезло в голову: где же соловьи?.. Устанешь, и дурацкие мысли... Сколько домов взорвали, этакие варвары! А город красивый, речка, крутая улица идет наверх... Повсюду надписи: «Только для немцев». Земля, чорт бы их побрал, тоже для них! Кого, я спрашиваю, хоронят?.. Все разворотили. Людей замучили, замызгали. Трудно будет потом, не только дома придется строить, придется людей отхаживать. Впервые Крылов задумался над будущим. Он не мог себе представить, как все кончится. Началось сразу. Он хорошо помнит то воскресное утро... Может быть, и не тогда началось, раньше — с Польши, с Мадрида, еще раньше, когда выскочил этот жеребчик... Может быть, и не кончится сразу? А хочется, чтобы кончилось, чтобы люди сто лет не слышали этой пакостной музыки. Наслушаешься минометов и об одном жалеешь — почему до войны соловьев не слушал? А где же курские? Вздор, теперь зима...

Весь день Крылов работал, пришлось сделать одиннадцать операций. Вечером принесли сержанта Кукушкина. Санитарка рассказала, что сержант одним из первых проник в город, снимал немецких автоматчиков, которые стреляли с крыш: «Снайпер, второго такого у нас нет...» Крылов осмотрел — рана серьезная. Сестра смерила температуру — тридцать девять и восемь. Ясно — газовая гангрена.

— Ампутировать будете? — спросила сестра.

Он заворчал:

— Вам бы только резать...

Он рассек опухоль, удалил осколки кости, наложил гипсовую повязку. Кажется, выскочит. Снайпер... А без ноги все-таки плохо. Молодой, наверно — жена или девушка, одним словом, не то, что я, двадцать три года, в самом разгаре...

Ночью он рассказал члену военного совета, полковнику Тищенко о Галкиной:

— Такие, знаете, не валяются. Кость переломана, а она говорит «ничего в этом особенного»... Здесь этакий клубок, что не сразу распутаешь — и гадость и геройство, и дважды два четыре, и никто не поверит... Пятнадцать месяцев под немцами, не шутка! Представляю себе, что они в Париже понаделали или в Варшаве...

Полковник нагнулся над картой, ткнул толстым коротким пальцем куда-то в Днепр:

— Теперь быстро пойдет.

— Вам виднее, товарищ полковник. А мне почему-то кажется, что эта музыка надолго. Я на немецкий ум не рассчитываю, скорее мы до Берлина дойдем, чем эти жеребчики опомнятся. Еще год можем провоевать, если не больше...

Он пошел в санбат.

— Как этот?.. Не помню фамилии, сами знаете. Курочкин?..

— Кукушкин? Спит...

Выскочит. А вот Вася, видно, погиб... Нужно Наташе написать...

Дмитрий Алексеевич вышел, поглядел — метет, и с неба снег и с земли, дорогу опять занесло. Он запел:

И замолк мой ямщик, а дорога
Предо мной далека, далека...

— Далеко еще итти. И жить нужно. А Вари нет... Устал я, естественно... Ничего, справлюсь. Интересно бы на внука поглядеть, Наташка пишет — крикун, каких мало, значит, в меня...

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1

Штаб помещался в березовом лесу. Кругом пели птицы, цвели лиловые колокольчики. Блиндажи были комфортабельно обставлены: у полковника Габлера стояли даже письменный стол и этажерка для книг.

Полковник был в плохом настроении. Когда Рихтер передал ему пакет, он не сказал ни слова. Рихтер, щелкнув каблуками, пошел к выходу.

— Погодите,— остановил его Габлер.— Как поживает ваша супруга?

— Благодарю, господин полковник, все благополучно. Я вчера получил письмо.

— Лучше отправьте ее из Берлина. Моя семья вовремя уехала. Дома, который вы построили, больше нет — прямое попадание...

Рихтер не знал, уместно ли высказать полковнику соболезнование. Он сказал:

— Какой ужас эти варварские налеты!.. Если вы разрешите, после победы я построю для вас новый дом. У меня есть некоторые архитектурные идеи...

Когда Рихтер ушел, полковник усмехнулся: «После победы...» Они не отдают себе отчета в положении. Габлер был мрачен не оттого, что бомба разрушила дом, который он строил и обставлял, вкладывая душу в каждую

мелочь. Сейчас он был поглощен мыслями о предстоящем наступлении. Конечно, на этот раз мы лучше подготовились. Да и замысел скромнее... И все-таки я сомневаюсь в успехе. Слишком много глупостей понаделано за два года... Даже такой культурный человек, как Рихтер, верит в магию календаря; они считают, что мы поделили год: зиму — красным, лето — нам. Приходится поддерживать эту иллюзию — у людей опускаются руки: из дому пишут о бомбежках, каждый спрашивает себя, что предпримут союзники, все устали—скоро четыре года... Прежде мы определяли ход войны, теперь мы несемся по течению.

Вечером полковник долго разговаривал с майором Гиллебрандом из разведки. Габлер спросил в упор:

— Как вы расцениваете план операции?

— План серьезный. Наше наступление, по-моему, может отсрочить наше отступление.

Полковник знал майора с юношеских лет — они вместе учились, он не стал лицемерить:

— Трудно рассчитывать даже на это. Не те люди... Лучших мы потеряли. А главное, не тот дух. Последняя зима была роковой. Я сам себя спрашиваю, как армия с такими традициями могла наделать столько ошибок? Я знаю, вы мне ответите, что армия ни при чем, вмешиваются дилетанты. Это правда. Все-таки вина падает и на нас. Разведка, например, работала отвратительно.

— Вы думаете, что мы не знали о русских резервах? Я вам говорил о плане красных еще в Старом Осколе, когда нас только перебросили... Мы знали, что у русских кулак и на востоке и на севере. Я начал докладывать генералу Гримму и сразу понял, что напрасно говорю... Конечно, приятнее, если бы у русских не было этих дивизий... Генерал Гримм решил, что не стоит огорчать генерал-лейтенанта фон Зальмута. Я говорю вам не о праздных догадках, генерал Гримм прямо мне сказал: «Командующий армией не переваривает таких донесений...» Я убежден, что генерал фон Зальмут боится рассердить фюрера — доложит, что у красных крупное скопление, и вместо Рыцарского креста получит нагоняй. А потом его имя будет вызывать у фюрера неприятные ассоциации... Мы обманываем друг друга, естественно, что русские этим пользуются. Вы заговорили о предстоя-

щей операции... Вчера меня вызвал генерал Гримм. Я докладываю. Он меня прерывает: «Это неважно, нас поддержит справа дивизия СС...» Я ему говорил о самоходках красных, это моя прямая обязанность, про дивизию СС он знает и без меня. Так и не дал мне досказать. Вы знаете, почему мы начинаем проигрывать? Мы слишком легко выигрывали. Мораль стара, как свет...

— На этот раз перевес как будто у нас. Генерал говорил, что с Запада сняли все...

— Да, у нас есть сведения, что во Франции этим летом ничего не произойдет...

— И все-таки это рискованно... Мы не сможем воевать на два фронта... Нельзя было доверять дипломатию такому ничтожеству, как Риббентроп... Понятно, что с красными теперь трудно договориться, мы взяли такой курс, что озлобили даже детей. Но будь у нас другие дипломаты, мы могли бы добиться соглашения на Западе... Конечно, освободившись от некоторых наиболее одиозных фигур...

— Что же, по-вашему, делать? — спросил майор Гиллебранд.

— То, что делаем... У нас нет выбора. Приходится, Горст, расплачиваться за чужие грехи... Я верю в армию, это самое постоянное, что есть в Германии. Мы должны попробовать, если не победить, то удержаться, спасти страну от нашествия. Может быть, предстоящую операцию историки назовут не сражением за Курск, а сражением за Германию...

Рихтер не мог догадаться о мрачных мыслях Габлера, он только заметил, что полковник в плохом настроении, и приписал это известию о доме. В батальон Рихтер вернулся невеселый. Несколько раз он писал Гильде, чтобы она уехала к двоюродной сестре Иоганне в Гарц. Гильда ответила, что разговоры о налетах преувеличены: «Я там сойду с ума — я так за тебя тревожусь, а здесь каждая мелочь напоминает мне тебя, и я чувствую себя спокойнее...» Получив это письмо, Рихтер умилился; но сейчас ему пришло в голову, что Гильда его обманывает. Налеты, видно, были серьезными. Если она не хочет эвакуироваться, то, наверно, потому, что завела в Берлине любовника. Эта женщина способна целоваться даже под

бомбежкой... Рихтер решил написать резко: она должна немедленно уехать в Гарц. Только он сел за письмо, как пришел Таракан:

— Ты не разговаривал с полковником?..

— Несколько слов... Он сказал, что его дом разрушен, это в Галензее...

Таракан выругался:

— Негодяи! Убивают беспомощное население... Моя старуха едва выбралась из Гамбурга. Это дьявольская война... Ясно, что здесь начнется, если не сегодня, то завтра. Полковник не намекал?

— Нет. Он был чем-то занят...

— Ясно чем... Я думаю, что начнем мы. Красные тоже готовятся... Хоть бы удалось! Если мы теперь с ними не справимся, зимой мы снова попадем в поганую историю...

Рихтер поглядел на Таракана и задумался — даже Таракан приуныл! Он больше не хвастает, как взял в плен сорок русских возле Бреста, не занят девушками, часто вспоминает жену, называя ее «старухой», ворчит, что надоело воевать, «влезли в поганую историю». Постарел — ему двадцать девять лет, а выглядит сорокалетним...

— Если бы мне дали парней, с которыми я начал воевать,— сказал Таракан,— я был бы спокоен... Но ты знаешь, что за дермо прислали? У одного астма, другой ни черта не видит, третий — трус, сидел, окопавшись, в Вене... Я полагаюсь только на «тигры». Это действительно машина! Говорят, что их не берут никакие снаряды... Может быть, «тигры» выручат... В конечном счете мы слишком культурный народ, чтобы любить драку, это занятие для «ивана». Мы можем побить их только техникой. Вопрос в том, сколько у нас «тигров».

Рихтеру стало жалко Таракана, и он ответил:

— Полковник сказал, что много.

Таракан не успокоился. Никогда прежде он не думал, что его могут убить, считал мысли о смерти трусостью. А сейчас он подумал: «Кажется, я отсюда не выберусь...» Кругом был лес, золотой от заходящего солнца. Таракан вспомнил лесок возле города, где он вырос,— сосны, хвоя, большие рыжие улитки, зеленые скамейки. Им овладела невыразимая грусть; он сел, чтобы написать письмо своей «старухе»; но сразу отложил перо, задумался,

почему я должен умереть? Неужели людям так тесно на земле, что нужно обязательно убивать друг друга?.. Он написал: «Прошу переслать деньги и часы моей супруге, госпоже Анне Грюн, проживающей в Леймертвитце, и написать ей, что я умер, как верующий христианин. Прошу мою дорогую супругу воспитать наших детей в уважении к религии и к памяти их несчастного отца». Таракан лет десять не заглядывал в церковь; он сам не понимал, почему сейчас решил, что он верующий. Может быть, ему захотелось сделать приятное «старухе», которая, по его же словам, «провоняла ладаном»? А может быть, он растерялся — если приходится умирать ни за что ни про что, значит действительно есть бог... На конверте он надписал: «Вскрыть после моей смерти».

Рихтер написал Гильде, умолял уехать из Берлина, грозил: «если ты с кем-нибудь спуталась, не рассчитывай, что меня убьют, я в глубоком тылу и скоро получу отпуск», клялся в любви, «я не могу уснуть, мне кажется, что этой ночью будет налет на Берлин...»

— Какое сегодня число? — спросил он Марабу, чтобы поставить дату.

— Четвертое. Ровно год назад началось наше наступление на юге. Я сейчас посмотрел в дневнике — пятого июля. Мы тогда стояли у Гжатска. Я верил, что это решающая битва... Наши прошли, не останавливаясь, от Харькова до Кавказа...

Рихтер усмехнулся:

— Потом, не останавливаясь, от Кавказа до Харькова. Неужели тебе не надоела эта кадриль?..

— Рихтер, такими вещами не шутят.

— Я и не шучу. Я потерял в этой «кадрили» брата...

— Мы потеряли слишком много, Рихтер. Иногда мне кажется, что Германия — легион теней. Остались трусливые, двуличные. Полковник Габлер духовный кастрат, он воюет только потому, что это — его профессия.

Рихтер рассердился...

— Интересно, почему ты воюешь?

— Я?.. Я верю в фюрера. Прошлая зима была расплатой, мы увлеклись трофеями, девушками, размякли, осели, начали водиться с красными. Я помню, как ты сидел в Ржеве у русских, играл с их детьми...

— А что тут плохого? Бандитов нужно вешать, но мы не воюем против мирного населения.

— Мирного населения нет, это отжившее понятие...

Марабу сорвал цветок.

— Что это, по-твоему?

— Ну, ромашка...

— Она растет где попало, ею может любоваться и коровница. Фюрер не случайно любит эдельвейс. Чтобы его сорвать, нужно подняться на гору...

Рихтер громко зевнул:

— Ты мне надоел, Марабу, с твоей поэзией. Я не хочу ни ромашек, ни твоего эдельвейса. Я хочу принять ванну, надеть халат и лежать на диване, чтобы не было ни русской артиллерии, ни исторической миссии, ни тебя. Понимаешь?..

Вечером Таракан прочитал приказ. Он был неузнаваем, исчезла меланхолия; ворочая усами, он бодро говорил:

— Теперь мы действительно подготовились. Русские почувствуют, что значит наша техника. Решат дело «тигры».

На следующее утро все началось. Снаряды, мины рвали березовый лес. Сначала пошли танки. На несколько часов и Рихтер приободрился: все напоминало лихорадку победы. Они прошли четыре километра. Кто мог подумать, что в этой траншее еще держатся русские?.. Рихтер потом вспоминал о коротком бое, как о самом страшном из всего, что он видел на войне. А ведь он пережил и первую зиму, и бегство от Касторной, и артиллерию «ивана». Особенно ужасной была одна минута: Рихтер увидел, как русский замахнулся автоматом на Марабу. Рихтер кинулся прочь; он не понимает, как он уцелел.

Когда они начали считать свои потери, всем стало не по себе: слишком дорого оплачен этот кусок земли... Таракан пытался приободрить и себя и товарищей: «Трудно только начало... Дальше у красных нет таких укреплений...»

Рихтер думал о Марабу. Ужасно, что я его обидел накануне смерти... Конечно, он бывал несносен, но он верил в идею. Потом, это старый товарищ, с ним мы начали войну... Рихтер вспоминал разговоры о философии, о

поэзии, об архитектуре. У Марабу были интересные идеи, он говорил, что немцы, завоевав Европу, будут жить, как рыцари в укрепленных замках, и архитекторы создадут новый стиль, который выразит идею господства над окружающей природой. И вот он погиб оттого, что какой-то полуграмотный фанатик размахнулся... Трагическое столкновение мысли с грубой силой!..

На следующий день они прошли еще три километра. На третий день они пробовали дважды атаковать, доходили до холмика, потом их отбрасывали назад. Таракан все еще надеялся на «тигры». Он усомнился только на четвертый день, увидав «тигр» с пробитой броней. Таракан бормотал: «У этих подлецов термитные снаряды...»

Еще земля тряслась, но все чувствовали, что битва затихает; и такая была у всех усталость, что люди думали: чорт с ним, с этим Курском!.. Блиндаж казался уютным гнездом. Паузы, начинавшие проступать между двумя артиллерийскими налетами, умиляли. И когда во время одной из таких пауз до Таракана донеслось кукование воистину сумасшедшей кукушки, не улетевшей из этого разбитого леса, он начал считать, сколько ему осталось жить. А кукушка не замолкала.

Рихтер вдруг захохотал.

— Что с тобой? — спросил Таракан.

— Слушай, перед войной мне один полковник сказал, что мы войдем в Россию без настоящих боев, «полумирное проникновение»... Смешно?

Таракан никогда не позволял себе смеяться над старшим, он ответил сдержанно:

— Трудно было предвидеть... Все-таки хорошо, что мы забрались в глубь России. Ты представляешь, что стало бы с Германией, если бы война происходила там?.. Я читал вчера в газете, что мы захватили столько территории, чтобы обеспечить Германию от нашествия. Это разумно. Вот мы Курска не взяли, а свое сделали — «иван» уж не двинется, мы расстроили его планы...

Все же Таракан, как и другие, ждал: а вдруг русские начнут контрнаступление? Действительно, одиннадцатого июля с раннего утра красные открыли неистовый огонь. Все приготовились к атаке русских, провели несколько скверных часов. Потом красные притихли.

Таракан поздравлял Рихтера, говорил:

— Сунулись, а им дали. Видимо, это лето будет спокойным. Русские ждут, что предпримут союзники. А мы приготовились к сюрпризам — и здесь и там...

Полковник Габлер, несколько успокоенный после отвратительной недели, раскладывал пасьянс. Он думал: кажется, они не счастливее нас. Теперь наступило равновесие...

На рассвете русские снова открыли ураганный огонь. Почти три часа не замолкали их орудия. Потом Таракан увидел вдалеке русские танки. Почему так слабо работает противотанковая артиллерия? В небе только красные, не видно наших... Был в происходящем непорядок, и это смущало Таракана. Он приказал автоматчикам забраться в норы — если красные залезут в траншею, пусть стреляют в ноги...

А полчаса спустя Таракан кричал: «Сматывайтесь!..»

Полковник Габлер говорил по телефону генералу Гримму:

— Как я могу удержаться, когда в ротах осталось по три-четыре человека!..

Прошел теплый летний дождь. Потом снова показалось солнце. Капли блестели среди листвы. Рихтер вспомнил, как Гильда плакала на вокзале. У женщин есть нюх, они чувствуют беду, как кошки.

2

Сильные дожди, когда мир становился темносиним, сменялись ослепительно яркими часами. Кажется, никогда Минаев не видал столько цветов — колокольчики, львиный зев, ромашки, гвоздики, иван-да-марья. Он подумал — вот рай; и самому стало смешно — хорош рай, вчера чуть не подстрелил автоматчик, ночью чорт знает что было, фрицы попробовали забрать назад эту проклятую деревушку, пустили два «тигра»... А цветам хоть бы что, цветут...

— Где комбат?

Тропинка уперлась в чащу; сержант руками раздирал ветки.

Вчера, наконец-то, они заняли эту деревушку. Операция была сложной, Минаев шутя говорил: «Канны полкового значения». Когда наши танки прорвались к проселку, батальон, которым командовал Осип, начал штурмовать деревню, расположенную на высоком берегу речки. Немцы ее хорошо укрепили. Подполковник Медведев бросил батальон Минаева в обход — они должны были лесом добраться до проселка и отрезать путь немцам. В деревню они ворвались с юга: немцы до полудня сопротивлялись— засели на чердаках. Капитана и сотню солдат взяли в плен; нашли труп майора.

Увидев Осипа, Минаев рассмеялся:

— Я глядел перед войной американский фильм, там был беглый каторжник — абсолютно ты...

Осип был густо припудрен пылью; выросла борода; глаза горели от усталости; он хрипел, как с перепоя — все эти дни приходилось кричать, такой стоял грохот. Он провел рукой по щеке:

— Удивительно, почему борода растет быстрее, когда что-нибудь случается?

— Могу дать научное объяснение — когда что-нибудь случается, ты перестаешь бриться. Сейчас приведут капитана, тоже здорово оброс, но у него физиономия скорее неурожайная, а у тебя растительность тропическая, еще два-три узла сопротивления, и ты из каторжника превратишься в патриарха.

Боец привел пленного капитана. Это был кадровый офицер лет сорока, с орденами за французскую кампанию, за осень сорок первого. Пленение не отразилось на его выправке. Он отвечал вежливо, но сдержанно. Когда допрос был закончен, он обратился к Осипу:

— Господин майор, могу я задать вам вопрос?

— Можете,— ответил Осип.

— Мне не приходилось разговаривать с русскими офицерами. Я считаю, что вы очень умело провели это наступление, меня интересует, где вы получили военное образование?

Осип усмехнулся:

— У Сталинграда...

Когда пленного увели, Минаев стал смеяться:

— Он глядит на тебя — каторжник, а в плен, между

прочим, его взяли. Вот он и думает, что ты кончил военную академию, красный военачальник. Знаешь, что удивительно: наши — настоящие солдаты. Устали, ругаются, все им осточертело, а воюют замечательно. Сегодня восемь фрицев приволокли, такой треск подняли, что фрицы решили— по меньшей мере батальон. А моих трое было — Шарапов, колхозник, не тракторист, не бригадир, самый что ни на есть обыкновенный, Клочко, будто бы повар, в столовке работал, готовить не умеет, зато ест хорошо, а кто третий я еще как следует не понял, он заика, а у меня нет времени дослушать. Им фельдфебель сдался, ты бы на него посмотрел — десять лет в армии, четыре ордена, волосы бобриком, не говорит, а рявкает, как будто он — фон Паулюс... Откровенно говоря, фрицы выдыхаются.

Осип вспомнил эти леса в холодную, темную осень сорок первого. Он пробирался тогда от Брянска; люди разбегались. Подошли к Болхову, а там немцы. Говорили, будто немцы и в Туле. Никто ничего не знал. На дороге стоял генерал, ругался матом, и хоть бы что — люди даже не останавливались...

Деремся за Орел, это в центре России, триста километров от Москвы, а впечатление такое, будто подходим к границе. Глупо, конечно, потому что потери у нас большие, Орла еще не взяли, и все-таки впечатление, что вопрос решен, остается доиграть партию. Минаев говорит: «Фрицы выдыхаются». Чорта с два! Дерутся отчаянно, цепляются за каждый бугорок. Дело не в немцах, мы переменились. Год назад воевали как в чаду, а теперь спокойно, аккуратно...

— Аккуратно воюем, в этом все дело,— сказал Осип Минаеву.

Они вместе поехали к командиру полка. Снова прошел сильный дождь. Давно не было такого дождливого лета. Нестройно покрикивая, бойцы вытаскивали застрявший в грязи грузовик.

Показалась «рама».

— Скорей! Сейчас прилетят...

Все были мокрые от дождя и от пота. Немцы скинули десяток бомб на лесок. Минаев сказал, как будто их разговор случайно прервался на полуслове:

— При чем тут аккуратность? Я тебе говорю, что они выдохлись... Помнишь первое лето? За каждой машиной гонялись. Чуть что, пикировали... Теперь он и в небесах спотыкается... Гляди — наши!..

Девять бомбардировщиков, окруженные «яками», шли на юг.

— Красиво,— сказал Осип.

— «Тигр» хочешь посмотреть? Это близко — километр в сторону. Синельников подбил...

«Тигр» выглядел мизерно: груда железа. «В бензобак попал»,— сказал Минаев. Никого кругом не было, цветы, много цветов, идиллия...

Осип и Минаев пошли на КП. Среди орешника сидел на ящике подполковник Медведев и очень громко храпел. Потом он приоткрыл глаза и стал отряхиваться, как будто вылез из речки.

— На шоссе нужно пробиться. Генерал Игнатов звонил — немцы вывозят все из Орла на Карачев...

Они долго разглядывали карту. Красные стрелы обволакивали Орел; одна снизу рвалась к Кромам, другая шла от Мценска, третья от Болхова; была и такая, что загибала от Станового Колодезя к северу; еще одна, прямая, впивалась в шоссе.

— Нужно к Хотынцу выйти,— говорил Медведев.— Конечно, дело нелегкое — лес кончается, открытая местность, сильно укрепили... Сосед хорошо пошел...

— Гуров?

— Нет, я говорю о Петрякове.

Полчаса спустя приехал сапер из хозяйства Петрякова. Это был Сергей. Он сказал, что саперы могут обеспечить проход и для Медведева.

Сергей сидел над картой, водил поломанным карандашом:

— Вот здесь... И здесь... Покурить бы!..

Папирос ни у кого не было. Медведев дал табаку; крутили газету... Потом Медведев накормил тушонкой. Осип и Сергей разговорились; выяснилось, что в феврале оба были у Катаржи.

— Ну и бомбил он эту Катаржу!..

Если бы Осип назвал себя, может быть Сергей вспомнил бы, как Валя ему рассказывала про своих киевских

друзей, про «Пиквикский клуб», про капризную Раю, у которой длинные ресницы и скучный муж. Но Осип себя не назвал, и они дружески улыбались друг другу только потому, что оба были в Русском Броду, а потом в Катарже и вот встретились возле Хотынца...

Сергей уехал к Петрякову. Три часа спустя его саперы ползли, прижимаясь к мокрой земле,— немцы вели минометный огонь. Саперы работали щупами и ножницами; слышно было, как потрескивает проволока. Сергей волновался и поэтому казался особенно спокойным, даже невозмутимым. Он две ночи перед этим не спал, а спать не хотелось, только горело лицо и ладони были горячими. Когда саперы благополучно вернулись, он грустно зевнул и лег на мокрую траву. Неподалеку была батарея, но он сейчас же уснул и проспал начало атаки.

Когда Сергей уехал, Осип сказал Минаеву:

— Майор, кажется, толковый... Теперь от саперов многое зависит. Вчера у Одинца подорвались два танка — плохо разминировали...

— Вид у него только невоенный.— Минаев улыбнулся, вспомнив Сергея, который стоял в промокшей гимнастерке, откинув назад голову.— Похож на Пушкина — читает стихи Державину. Есть такая картина...

— У тебя все на кого-то похожи,— ответил Осип.— Я — каторжник, этот майор — Пушкин. Ты-то на кого похож?

— Я?.. Вероятно, на Ленского, во-первых, вчера фриц меня чуть не подстрелил, промазал — сразу чувствуется, что не Онегин, во-вторых, я не танцую, а в-третьих, давно установлено, что ты лед, а я пламень...

О том, что связистку, которая последнее время сильно занимала Минаева, зовут Ольгой, он, разумеется, не сказал. Оля была смелой, но выражение лица у нее было всегда чуть испуганное. Если бы не этот сумасшедший июль, Минаев наверно сказал бы Оле, что и на войне всякое случается. Но здесь не до лирики... Его чувства выражались только в том, что часто он кричал: «Сейчас же идите спать, я сам буду у аппарата»... Он вспомнил ее бледное детское личико, обсыпанное золотом веснушек, и подумал: насчет Ленского я зря брякнул — чересчур прозрачно...

Два часа спустя началась атака. Они добежали до ложбинки и залегли — немцы открыли сильный огонь. Батальон Осипа должен был справа занять небольшой холмик, поросший кустарником. День был трудным. Немцы подвели свежий полк, контратаковали, дошли до леса. Ночью батальон Осипа оказался отрезанным. На рассвете Минаев снова пошел вперед, Осип ударил с высоты. В одиннадцать утра немцы отошли на вторую линию.

— Медленно, но аккуратно,— говорил Осип. (Это слово ему полюбилось.)

Минаев его дразнил:

— У тебя все «аккуратно». Офрицился, честное слово...

3

Сергей стал сдержаннее; живя с другими в той душевной оголенности, которая происходит от близости смерти, он научился лучше понимать людей. Однако он ошибался, думая, что не похож на прежнего Сергея,— под внешним спокойствием скрывались страстность, нетерпение, быстрые переходы от надежд к горечи.

Ему показалось, что наступление выдыхается; топчемся на месте... Не повторится ли февраль? Тогда тоже говорили про Орел...

Генерал Петряков сказал Сергею:

— Подходит ваше время — реки...

Сергей не понял. Какие же здесь реки? Речонки вроде Вытебети или Рассветы...

Петряков, усмехаясь, добавил:

— Десна, Днепр. А там и Висла...

Сергей улыбнулся — может быть, правда?.. Я ведь сужу только по тому, что вижу — одна армия, даже меньше, в хозяйстве Рыкачева я, например, не был... Генералу виднее. Мама пишет, что в Москве настроение замечательное. Смешно — мы чувствуем войну, знаем, как она пахнет, а чтобы ее увидеть, нужно отойти. Конечно, в тылу трудно понять, что такое последние десять минут перед атакой, зато они видят масштабы, движение, перспективы.

Сергей возвращался с КП армии: батальон решили перебросить. Ехал он в «виллисе», промок — дождь не

затихал с утра. Кругом были развалины, опрокинутые машины, поваленные столбы, проволока, обыкновенный пейзаж прифронтовой полосы, к которому трудно привыкнуть; пока воюешь, не смотришь, или, вернее, смотришь, но не задумываешься; а стоит поглядеть со стороны, берет тоска. Сергей ни о чем не думал, было грустно, казалось, никогда не кончится ни эта разбитая дорога, ни война.

Машина остановилась.

— Нет масла,— сказал водитель.

Сергей посмотрел:

— У тебя кольца пропускают...

Вдруг он услышал французскую речь. Он оглянулся — рядом стояли летчики. Две недели назад кто-то говорил, что «Нормандия» принимает участие в боях за Орел. Тогда прорывали немецкую оборону. Сергею было не до воспоминаний. А сейчас перед ним встал Париж; на этой злосчастной дороге он увидел фонари площади Конкорд, обелиск, щебечущих девушек, фонтан, продавца газет; все ожило — от языка, интонаций, лиц.

Водитель сказал:

— Товарищ майор, вы у них попросите масла, да и горючего лучше взять, боюсь, не доедем...

Летчики повели Сергея в лесок; один обязательно хотел говорить по-русски, смешно коверкал слова; Сергей вспомнил, как Мадо говорила «к чёрту пошлет»...

Летчики, смеясь, рассказывали, как на аэродром прилетел бош и обезумел, увидев французов, как русский генерал прислал им в подарок французское шампанское, захваченное у немцев, как они праздновали Четырнадцатое июля. Их удивляло, откуда русский майор так хорошо говорит по-французски?.. А Сергей стоял и улыбался: вот такой он вспоминал Францию, смелой, веселой и печальной — была горечь в смехе, в шутках летчиков — накануне они потеряли двух товарищей.

— Вы меня не узнаете? — спросил Сергея высокий черноглазый лейтенант.— Вы были у моего отца. В «Корбей»...

Сергей растерялся. Ему хотелось обнять Луи, и было стыдно, что он не может скрыть волнения.

— Я, наверно, ошибся,— сказал Луи.

— Нет, нет!.. Вы меня простите. Я не ждал...

— Мы здесь с начала июня. Сбили тридцать бошей... Я очень рад, что я вас встретил — первый парижский знакомый за все это время.

Луи спросил, где воевал Сергей, и, узнав, что в Сталинграде, сказал:

— Я мечтал туда попасть. Мы читали в Лондоне про Сталинград, не могли спокойно сидеть... А приехали слишком поздно — в ноябре... Но здесь дела идут неплохо, каждый день сопровождаем штурмовики (последнее слово он сказал по-русски, получилось «стормовик»).

Потом Сергей спросил, как Луи очутился в России. Луи нахмурился: вспомнил разгром, Бордо, объяснение с отцом.

— Во время «забавной войны» нас держали на швейцарской границе. Я уехал из Франции сразу после капитуляции. Был в Лондоне. Сначала воевал — почти каждый день боши бомбили... А последний год мы ничего не делали. Для нас, французов, это было тяжело...

— Как теперь во Франции? Ведь не все примирились...

— Никто не примирился. Кучка предателей... Один из наших летчиков удрал оттуда прошлой осенью, он говорит, что каждый день убивают бошей. И сопротивление растет. Он говорит, что французов нельзя узнать...

Луи начал рассказывать про действия партизан: сам того не замечая, он преувеличивал, рисовал Францию такой, какой ему хотелось, чтобы она была.

— Товарищ майор, я заправился. Бензин замечательный!

Пора в путь... А Сергей еще не спросил о самом важном. Неужели Луи не расскажет, что с Мадо?.. Но Луи говорил о франтирерах Савойи, о «мессере», который «юркнул в облако», о штурмовиках — «вчера раскромсали колонну бошей на дороге Орел — Карачев»... И Сергей, наконец, решился:

— У вас есть известия о ваших?

— Мама умерла, когда я еще был во Франции. Она видела катастрофу и не выдержала... Отец... Вы его знаете, ему трудно разобраться...

— А ваша сестра?

— Мадо вышла замуж, я об этом узнал случайно. Они в Париже, участвуют в сопротивлении...

Сергей не мог собраться с мыслями. Он не слышал, как водитель долго бормотал: «Я сам знаю, что кольца надо сменить, а как их сменишь, когда вы каждый день гоняете?..» Потом стемнело. Сергей хотел подумать о Мадо и не мог, только был с нею, как будто ее он встретил в лесу. А когда начал думать, запутался, все нахлынуло сразу — воспоминания, боль, радость, обида, и если бы его спросили в ту минуту, счастлив ли он, огорчен ли, он не сумел бы ответить. Мадо когда-то пела:

Солдат, ты счастье свое отыскал,
Солдат, ты счастье свое потерял...

Сам не знаю — потерял я Мадо или нашел?.. Конечно, нашел! Она не только жива, она с нами. Трудно себе это представить — Мадо в подполье. Значит, война повсюду такая же страшная... Почему я сомневался в Мадо? Считал ее неженкой. Минутами она мне казалась чужой. А она была ближе ко мне, чем я думал. Дело не только в том, что она изменилась или что такое время, я сам прежде был другим, многого не понимал, судил по оболочке. А на войне нет ни позолоты, ни шелухи, все обнаженное... Я не понял Мадо. Любил и не знал, кого люблю... Если бы мы встретились теперь, все было бы иначе, нашли бы нужные слова. Да и без слов поняли бы друг друга... Вот мы и встретились в том лесочке, после всего — после разлуки, взаимных подозрений, после ужасного испытания войной... Когда мы в первый раз шли вместе, были тоже деревья и дождь...

Значит, Мадо вышла замуж. Забыла меня... Нет, я схожу с ума, я ей сказал, что мы никогда не сможем быть вместе, женился и теперь ревную... Хорошо, что она нашла любовь, жизнь. Почему я не спросил, кто ее муж? Может быть, художник, как она?.. Сейчас они воюют... Им куда труднее — кругом иллюзия мирной жизни, безразличие, измена. Хорошо, что в такое время Мадо не одна. Я говорю «хорошо», а что чувствую? Это глупо, хуже того — отвратительно — ревную... Нет, не хочу!.. У меня своя жизнь, Валя. То — прошлое... Нужно жить тем, что есть, что будет...

Теперь он пытался освободиться от Мадо и не мог. Фары освещали мокрые деревья, и Сергей чувствовал, что

Мадо рядом. Он подумал: ужасно, что все непоправимо! Никогда я не понимал, как можно жалеть о прошлом. Теперь понимаю — жалеешь не о том, что сделал, а о том, чего не сделал. Почему так получилось? Ведь не потому, что было мало чувств. Кажется, больше любить нельзя... Мадо, когда мы расставались, сказала: «Никогда такого не будет...» Это было больше, чем любовь, а чего-то не было — вязкого и простого. Мадо говорила, что у каждого из нас будет своя жизнь, а это не пройдет. Она все понимала... Это правда. Вот я узнал, что у нее муж, и мне не больно. У меня Валя. Но это — другое, ни я не изменил Мадо, ни она мне. Такому нельзя изменить... Сейчас в Париже ночь, дождь. Может быть, Мадо идет по узкой уличке, как в лесу. А за нею крадется немец... Но все-таки почему мы тогда расстались? Было непонятное притяжение и такое же непонятное отталкивание. Майор Шилейко говорил «не судьба»... Но ведь судьба зависит от человека. Это фатализм... А может быть, нет?..

Машина остановилась.

— Масла нет,— меланхолично объявил водитель.— А что кольца надо сменить, это я сам знаю...

Сергей взволновался: поздно. К счастью, вскоре показался грузовик, он его остановил. Несколько минут спустя он оживленно беседовал с бойцами; это были артиллеристы; они рассказывали, что бои идут на окраине Орла.

Вскоре небо порозовело от зарева. Все кричали — такой стоял грохот. Сергей вспомнил про встречу с Луи, и ему показалось, что это было не четыре часа назад, а бесконечно давно. Только ветки с каплями дождя, изредка сверкавшие под фарами, напоминали о Мадо.

Значит, Орел действительно возьмем... Сергей думал сейчас не о Мадо, но о тех широких реках, которые впереди,— Десна, Днепр, Висла...

4

Когда Сергей уехал, Луи подумал: почему я ему сказал, что Мадо и Берти участвуют в сопротивлении? Ведь это пришло мне в голову, когда я прочитал про свадьбу, глупая попытка оправдать, и только... Рене рассказывал,

что такие люди, как Берти, приспособились, говорил, будто встречал имя Берти в газетах... Тогда я ничего не понимаю. Отец мог поверить Петэну, он всегда рассуждал, как ребенок. Но никогда я не поверю, что Мадо связала свою судьбу с предателем!.. Может быть, они там считают, что нужно как-то прожить, один покрывает другого?.. Все это страшная загадка...

Луи и Рене часто вспоминали прошлое, то любовно, то со злобой; о чем бы они ни говорили — о школьных проказах, о «забавной войне» или об обидах, пережитых после разгрома, они возвращались к одному: что случилось с Францией? Хотели понять и не могли. Луи как-то сказал: «А вдруг вернемся — и тоже ничего не поймем, будем иностранцами?..»

Мог ли он сказать Сергею о своих сомнениях? Конечно, Влахов — друг, чувствуется, что он полюбил Францию, и все-таки он чужой... Может быть, когда он говорил про Сталинград, он думал: а вы сразу сдались... Пусть знает, что есть настоящие французы и здесь и во Франции! А предатели (неужели Берти? не верю, Рене напутал!) — это наше горе, чужому об этом не скажешь...

Луи улыбнулся: как мы изменились! Никогда раньше мне не пришло бы такое в голову... Когда русские говорят о своей стране, чувствуется гордость. Влахов сразу поставил Нивеля на место... Наверно, они и между собой над этим не шутят... А разве прежде мы гордились тем, что мы французы? Никто об этом не думал. Вышучивали Францию в куплетах, балагурили. Когда мама меня спросила, неужели я серьезно хочу уехать на Таити, я ответил, что всюду интереснее, чем во Франции. Только в Лондоне я понял, что потерял...

Русские держатся с нами лучше, чем англичане, у русских у самих много горя, им легче нас понять... В Англии были люди, которые смотрели на нас, как на наемников. А здесь все подчеркивают, что «Нормандия» — отдельная часть союзной армии. Может быть, и это политика, не знаю, но я лично чувствую дружбу. Мы им не нужны, это каждый понимает. Что значат два десятка летчиков, будь они ассы, при таких боях? Но они приняли нас, как товарищей, дали «яки», сказали: можете драться в нашем небе за ваш Париж.

Когда во время «забавной войны» мы ждали — пошлют нас в бой или не пошлют, никто не понимал, за что мы должны драться. А ведь тогда мы были во Франции... Теперь Франция так далеко, что трудно ее представить, но каждый знает, что деремся именно за Париж. Когда-то авиация мне казалась увлекательным спортом — поставить рекорд, а если будет война, прославиться. Теперь и слава не соблазняет, дерусь за самое простое — дом, рядом дерево — вяз или ольха, на окнах зеленые жалюзи, маленькие пунцовые розы, жужжит шмель... Здесь все другое — и деревья, и дома, даже небо здесь другое — бледное. Сколько я не видел до́ма с черепичной крышей, серой каменной стены, обвитой глициниями, террасы маленького кафе, голубых сифонов, школьников в фартучках, женщин в черных чепчиках?..

Прежде Луи боялся показаться сентиментальным, война его изменила, он не постыдился показать Рене горсть земли, которую взял на могиле матери, провез через Лондон, Сирию, Иваново, сюда, под Орел. Горсточка обыкновенной земли, но, глядя на нее, Луи вспоминал холмы, маленький мирт, который пахнул смертью, густое, синее небо юга.

Да, здесь мы деремся за Париж. Неужели и теперь они не высадятся?.. Еще год прошел, бошей разбили у Сталинграда, третью неделю идет здесь большое сражение. Почему же они топчутся в Сицилии?.. Русские говорят, что они хотят притти к шапочному разбору. Я понимаю чувства русских — ведь каждый день гибнут тысячи людей... Франция тоже заждалась — три года там боши... Хорошо, что я уехал: здесь я ближе к Франции — сражаюсь...

Обычно веселый и шумливый, Луи сегодня был так грустен, что боялся встретить товарищей, даже Рене. Встреча с Сергеем растравила рану: встало прошлое — мать, Мадо, Париж. Нужно пообедать — в восемнадцать часов, сказали, быть у машин... Он пошел в столовую. Под деревьями стояли свежесколоченные столы, они пахли смолой. Луи обрадовался — никого не было, опоздал... Клава его пожурила:

— Скоро ужинать...

— Не сердитесь, Клава, я на полчаса опоздал, а союзники опоздали со вторым фронтом уже на год.

— Вам лишь бы шутить...

Клава не выдержала, улыбнулась. Это была пухлая девушка, безбровая, с веснушками, с ласковыми серыми глазами. Она принесла суп, потом жаркое.

— Почему не кушаете?

Он ответил виновато, как ребенок:

— Не хочется.

Луи лучше других говорил по-русски. Товарищи ему завидовали: он мог без переводчика рассказать русскому летчику о том, как погнался за «мессером». Другие объяснялись главным образом жестами и теми словами, которые были понятны русским: «пике», «вираж». А Луи мог выговорить даже «хвост», это потрясало всех французов. Он часто беседовал с Клавой, расспрашивал ее про русскую жизнь, рассказывал про Францию. Ему нравилось, что Клава его внимательно слушает, удивленно восклицает: «Да что вы!» или «Неужели?»

Вначале Клава не понимала, что за люди французы. В сочельник они устроили ужин, выпили и стали хором петь что-то торжественное — как в церкви. Клава спросила переводчика: «Это они молятся?» Он рассмеялся: «Поют веселые песни, например:

Бабушка дала мне деньги на подтяжки,
Деньги пригодятся для моей милашки...

Клава вспыхнула от возмущения, она решила, что французы очень грубые. А потом увидела: неправда — говорят все, что придет в голову, а рукам воли не дают, если ухаживают, то деликатно, не на что обидеться. Французы ей нравились — веселые, одеты аккуратно — следят за собой, смелые — наш полковник говорил, что хорошо дерутся, только безрассудные... Непонятно, почему их во Франции так быстро побили?.. Вчера один не вернулся... Его звали Пьер, это все равно, что Петр, он сказал Клаве, что по-русски он Петр Гастонович. Утром он шутил, рассказывал, что во Франции милиционеров зовут «коровами», и начал так натурально мычать, что Лена прибежала с криком: «Корова откуда?..» И не вернулся... Клава ночью не могла уснуть, думала о Пьере.

Луи, пожалуй, нравился Клаве больше всех: глаза у него выразительные, а смеется так, что даже если не

понимаешь почему, все равно рассмеешься, и по-русски говорит... Сегодня он почему-то грустный. Клава вздохнула:

— Кушать нужно, а то сил не будет...

— Не хочется, Клава.

Она села рядом и, глядя в его черные яркие глаза, спросила:

— У вас есть во Франции жена?

— Нет.

— А невеста?

Он не понял, она объяснила:

— Девушка?

— Нет. Была мама, умерла. Теперь никого нет. Только Франция...

Он подумал о том, какое счастье умереть, когда под тобой земля Франции, ее холмы, виноградники, аспидные или черепичные крыши!.. Его глаза стали еще печальнее.

— Не нужно грустить,— сказала Клава,— кончится война, поедете домой, девушку там найдете...

Луи не был избалован женской лаской. Он казался самоуверенным, даже резким, а на самом деле был болезненно застенчивым. Когда ему нравилась девушка, он начинал доказывать себе, что она чересчур глупая или чересчур умная — боялся остаться с нею вдвоем и показаться смешным. Восхищенно он поглядел на Клаву — сколько в ней женственности, нежности!.. Он почувствовал признательность, взял широкую, жесткую руку, поцеловал. Клава вся покраснела:

— Что вы!..

В это время прибежал Рене:

— Майор приказал... Мы с тобой будем сопровождать штурмовики...

Луи считался одним из лучших летчиков; на его счету были за короткий срок три боша. Майор только упрекал его в чрезмерной нервности и сейчас сказал: «Помните — задание не гоняться за бошами, а прикрывать штурмовики».

Луи загадал еще утром: если в столовой будет Клава, а не Лена, все сойдет хорошо. Он усмехнулся: с каждым днем становлюсь суевернее — считаю, сколько елок у дороги, боюсь сказать «завтра» перед вылетом, чтобы не сглазить, кажется, и во сне хватаюсь за дерево. Вот

и с Клавой... Милая девушка... Как могло быть хорошо на свете — и все наоборот...

Луи и его напарник прикрывали четыре «ила». Штурмовали скопление немецких машин на Брянском шоссе. Луи видел, как боши метались. В воздухе никого не было, и он позволил себе удовольствие: тоже поштурмовал. Вдруг из-за облаков показались истребители — шесть «мессеров», два «фокке». Луи тотчас сообщил штурмовикам: силы неравные, нужно возвращаться на базу. «Илы» шли в середине; Луи и Рене не вступали в бой — боялись оставить «илы» без прикрытия. Для Луи это было самое трудное: он не мог похвастать хладнокровием. Три «мессера» его окружили. Он нажал гашетки, увидел, как один «мессер», загоревшись, резко заштопорил вниз. Второй «мессер» ушел, третий оказался в хвосте Луи. Рене развернулся, отогнал его. Потом два «мессера» и два «фокке» снова атаковали Луи. Его самолет затрясся. Он почувствовал страшную боль. Все исчезло. Он напряг силы: нужно довести машину... Нет, не дотяну... Нужно дотянуть... Ему показалось, что под ним черепицы, виноградники, Франция.

Рене сбил одного «фокке», благополучно вернулся. Он доложил майору:

— Лансье сбил боша, потом его окружили, он набрал высоту, боши за ним. Я думаю, он где-нибудь сел...

Майор приказал подготовить площадку для ночной посадки. Рене ждал всю ночь. Луи не было. На следующее утро сообщили, что в десяти километрах от аэродрома танкисты обнаружили разбившийся «як» с трехцветной французской кокардой.

Хоронили Луи в том самом лесочке, где он встретился с Сергеем. Там было много берез, белых и тонких, может быть чересчур белых и тонких для таких лет... Русский полковник сказал: «Спи, боевой товарищ»,— и от слова «товарищ» всем стало еще грустнее — столько было в нем сердечности. Летчики стояли вокруг могилы, и каждый думал о далекой земле, на которой они выросли, играли, любили. Мерещились французские кладбища с кипарисами, с миртами, с розами, рощи, где серебро олив, тополя или смоковницы. Один летчик, показав на березы, шепнул: «Как у нас в Солони...» Рене подошел последним к могиле

и бросил на тело друга горсть земли, которую Луи привез из Франции. Раздался прощальный залп.

Клава принесла на могилу большой букет полевых цветов. Вечером у себя в землянке она долго плакала. Почему мне его так жалко? Кажется, больше, чем своих... Может быть, потому, что страшно умереть далеко от родного дома?.. Он говорил, что у него нет ни жены, ни невесты, только Франция. И Францию не увидел...

5

Говорят, что размеренность существования, строгие каноны быта, спокойствие окружающих помогают человеку перенести самое тяжкое горе. Наташу поддерживало другое — трагичность происходящего, общее ожесточение сорок первого и сорок второго, жизнь, не похожая на жизнь. Месяц назад она пережила возврат тревоги: когда сводки сообщили о начале немецкого наступления, все насторожились. В марте немцы захватили Харьков. Неужели им снова удастся?.. Наташа знала, что Дмитрий Алексеевич где-то у Курска. Тревога не была длительной, неделю спустя никто больше не говорил о Курске, ждали, чем кончится наступление на Орел. Дмитрий Алексеевич писал Наташе: «Видел я их «тигра», представляю, сколько времени и денег нужно, чтобы изготовить такую штуковину, а подбил его Горохов, он до войны работал на птицеферме, я его вчера оперировал — апендицит...»

Наташа вернулась в Москву весной. Город постепенно приобретал мирный облик; открылись многие театры; на улицах стало больше машин. Некоторые люди, поуспокоившись, занялись своими делами: пошли разговоры о квартирах — выселяли одних, въезжали другие; после двухлетней паузы возобновились ссоры на кухне; расцвели рынки, ожили комиссионные магазины. А рядом люди, связанные с фронтом совестью, сердцем, кровью, продолжали свой нечеловеческий труд; и нельзя было понять наступления на Орел, не заглянув в дома Москвы. На заводах женщины, надрываясь, поднимали тяжести; дети в перекурку играли с тачками — они были детьми и не могли не играть; старики обучали безногих и безруких. Москва обливалась

седьмым потом войны. Недосыпала соседка Наташи, Мария Николаевна, работавшая на номерном заводе, недосыпала и Наташа; встречаясь, они глядели одна на другую мутными воспаленными глазами, в которых воля боролась с невыносимой усталостью.

Возвращение в родной город, где Наташа выросла, жила с мамой, играла на Гоголевском бульваре в песочек, потом училась, в город, где она встретила Васю, заставило ее с новой силой пережить свое горе. Она больше ни на что не надеялась, и когда отец писал про партизанские отряды, думала: хочет утешить... Она знала, что Вася погиб, но любовь ее не гасла, а разгоралась, и порой она себя спрашивала: можно ли так любить того, кого нет?..

Она нашла в своей комнате записочки Васи, его блокнот с чертежами — забыл зимой, когда уехал в Минск. Каждая мелочь напоминала о потере: коробка от шоколадных конфет (Вася принес в день рождения и не решился дать, подсунул под книги, она даже не сразу догадалась, кто принес, а потом долго его дразнила), поломанная вазочка (Вася увлекся — спорили, возможен ли «идеологический балет», и он опрокинул этажерку)...

Какими детьми мы были, думала Наташа, вспоминая длинные беседы с Васей. Однажды они заговорили о смерти. Наташа считала — нельзя жить, если поймешь, что смерть неминуема, а Вася ей возражал: «ученые борются со смертью». В другой раз Наташа сказала, что она боится горя, «легко стать пессимистом»... Они много читали, думали над книгами, а жизни не представляли...

Знакомые часто ей говорили, что она очень похорошела, нельзя узнать. Изменилась она не только внешне. Приехал с фронта Горев. До войны он бывал у Крыловых, и тогда Наташа казалась ему девочкой, теперь он в нее влюбился, спрашивал себя — как я прежде не замечал, что у нее необыкновенный характер, да и вся она необыкновенная?.. Это был филолог, майор-артиллерист, человек умный и своеобразный, на войне показавший себя смелым, но робкий в сердечных делах. Только накануне отъезда он решился заговорить о своих чувствах. Наташа взяла его за руку и нежно, но настойчиво сказала: «Не нужно». Он густо покраснел, решил, что Наташа сочла его бесчестным. А она на прощанье его обняла: «Вы на меня не сердитесь,

я не могу иначе. Вы — хороший друг, поэтому говорю...» Она знала, что у нее больше не может быть счастья, не потому, что она добродетельна, верна памяти мужа, а потому, что такое не повторится — все, что могло быть, уже было с Васей.

Наташа теперь понимала, что горе не убивает, с ним можно жить, оно пробуждает новые возможности, дает душе высокую настроенность. Врачи, сестры, раненые считали Наташу веселой, говорили, что она, как никто, умеет согреть и утешить. Мария Николаевна, когда долго не было писем от мужа, приходила к Наташе, и Наташа ей доказывала, что завтра или послезавтра придет письмо, что ничего, решительно ничего не грозит Петру Ивановичу. А когда Мария Николаевна, успокоенная, уходила, Наташа начинала думать о самом непонятном — о смерти. Значит, примириться?.. Или утешать себя, как когда-то Вася, надеждой, что ученые откроют бессмертие?.. Прежде все было просто — бабушка, та верила в загробную жизнь... А может быть, нет отдельной, обособленной судьбы? Умереть страшно, когда ты живешь в себе, для себя. Если лес живой, дерево, умирая, не умирает... Я радуюсь, что Мария Николаевна получила вчера письмо, радуюсь ее счастью, потому что оно и мое... Отбили немцев у Курска... Растет Васька...

Наташа сама не осознавала, какой поддержкой был для нее маленький Васька. Она считала, что у нее больше нет личной жизни, а когда она брала сына на руки, стихия счастья ее поглощала, и она улыбалась той смутной, растерянной улыбкой, которую однажды видел Вася. Наташа часто вспоминала, как Вася сказал ей в горящем Минске: «Мы с тобой навсегда...» Июньская ночь жила наперекор всему — и в сердце Наташи, и в каждом движении Васьки. Наташа подолгу с ним разговаривала, и когда он улыбался, ей казалось, что он все понимает, осознает свое право на эту улыбку, на дыхание, на жизнь. Как он будет жить?.. Не может быть, чтобы через двадцать лет снова были фашисты, бомбы, темная, страшная злоба!..

Работа в госпитале попрежнему брала много времени, много душевных сил. Изменилась военная обстановка, немцы теперь не грозили Москве, но, как раньше, снаряды, мины, бомбы кромсали и калечили людей. Надевая халат,

Наташа вступала в мир, который стал для нее привычным; здесь война была не стратегией, не азартом боя, не тяжелой работой, а только непрестанными человеческими страданиями.

Привезли летчика Рязанцева. Он был ранен в голову. Другой раненый рассказал Наташе, что Рязанцев сопровождал бомбардировщики в районе Брянска; снаряд попал в машину, летчику удалось посадить горящий самолет на нашей территории. Рязанцеву сделали трепанацию черепа; врачи говорили, что выживет. Он бредил: «Я стал в вираж... Малыш, прикрой меня!.. Яшка болтается. Пристраивайся...» Потом кричал: «Машенька, отгони пчелу, сейчас она тебя ужалит! Это они цветы чувствуют... Откуда столько левкоев?..» И не было ни Малыша, ни Машеньки, ни левкоев, только белые больничные стены и Наташа, которая через силу улыбалась Рязанцеву — ей чудилось, что перед ней Вася... До утра она просидела над его койкой; утром он умер.

Залпы салюта застали Наташу врасплох, она не слышала приказа. Мария Николаевна крикнула: «За Орел... Вы поглядите, какая красота!..» Васька проснулся от грохота, закричал, Наташа взяла его на руки, он успокоился. Было вправду очень красиво: зеленые и красные ракеты взвивались, потом гасли, и всегда одна, будто блуждающая звезда, медлила, не хотела умирать. Наташа даже захлопала в ладоши. Васька засмеялся. Потом Наташа вспомнила фронт — там ракеты другие и пушки там не так грохочут — так и не так... Сейчас кто-нибудь умирает... Зеленая ракета светилась над домами. Наташа вспомнила лихорадочные глаза Рязанцева. Еще залп, еще ракеты... Взяли Орел, как это замечательно! И Наташа повторяла вслух: «замечательно...»

Потом стало темно, тихо; кажется, до салюта не было ни такой тишины, ни такой огромной черной ночи. На минуту сердце Наташи сжалось — счастья не будет... Но она быстро совладала с тоской, пошла к соседке, весело сказала:

— Очень красиво, даже Васька понял... Теперь, Мария Николаевна, все быстро кончится, увидите. Это не только Орел взяли, это значит, что немцы кончаются... Скоро Петр Иванович вернется, я в этом убеждена...

На следующее утро она написала Дмитрию Алексеевичу: «Папочка, салютовали и тебе. Я стояла с Васькой у окна, глядела, было очень красиво, как-то выразили все, что каждый чувствует. Когда сердце бьется, это не слышно, а здесь сказали сразу за всех. Вот мы и дожили, папочка, до счастья!..»

6

Осип улыбался, все его радовало — и белые хаты, и черные ночи, и украинские «г» в речи, и то, что с каждым днем ближе Киев. Немцы тщетно пытались задержать наступление. Иногда они убегали столь поспешно, что не успевали сжечь дома и угнать людей. Бойцы видели живые села с лукавыми и нежными девушками, с гостеприимными хозяйками, которые потчевали гостей самогоном, сметаной, тыквенной кашей и рассказывали, как заносчивые немцы начали вздыхать, молиться богу.

Одна старушка крестила проходившие мимо танки, орудия, машины, говорила: «Стою с утра, они все идут та идут, а немой гуторил, что у русских нема солдат...» Вчерашние «зятьки» выдавали себя за партизан. Из лесов выходили настоящие партизаны, и Осип, глядя на них, чувствовал, что у него туманятся глаза от нахлынувшего счастья.

Потом началась пустыня: немецкие «факельщики» не оставляли ничего. Ночью далеко окрест горели села. Трудно было дышать от гари. На полях валялись застреленные немцами коровы с огромными вздувшимися животами. Кое-где население возвращалось в сожженные деревни; женщины рассказывали: «Видим, немцы мечутся, мы — по конопляникам, спрятались от паразитов...» В одном селе Осип нашел деда, который сидел на кладбище; немцы все сожгли, людей угнали, остался только старик с тяжелыми веками вия, который не хотел больше глядеть на белый свет. В другом селе Осип увидел срубленные яблони, на них еще дрожали не успевшие потемнеть листья, а большие восковые яблоки как бы дозревали на солнце августа. Эти аккуратно срубленные деревья были страшнее пепелищ; Осип отвернулся, подавленный слепотой человеческой злобы.

Раненый сержант Селицкий не хотел итти в санбат, он сказал Осипу: «Прогнать их хочется...» Этим жили все — прогнать. Забыли и об усталости и о тоске; людей трепала лихорадка веселья, гнева, нетерпения.

Думали, что немцы попытаются задержаться на Десне — река широкая, правый берег крутой. Говорили, будто здесь проходит «Восточный вал», о котором немцы не раз писали в своих листовках. Подполковника Медведева забрали в штаб армии; полком теперь командовал Осип. Он поехал в батальон Минаева посмотреть, где лучше форсировать реку. После долгих поисков нашли подходящее место: на правом берегу был обрыв, под холмом шла узкая песчаная полоса; решили там устроить причал. Саперы тащили телефонные столбы, бревна, сколачивали наспех плоты. Десну перешли так быстро, что немцы растерялись, и бой был коротким.

Минаев сидел на скамейке — внизу Десна, кругом развалины Чернигова. Немцы уничтожили этот город еще в сорок первом, и камни, поросшие травой, цветами, мелким кустарником, казались древними руинами. Рим... Только заржавевшие вывески порой напоминали, что этот город еще недавно жил, здесь была библиотека, а там торговали вином и фруктами... Был теплый день ранней осени. Золотилась листва каштанов. Минаев улыбался — куда приятнее глядеть на Десну, когда она позади... Он впервые видел Украину, и пейзаж пленял его, непривычными глазу северянина, богатством красок, законченностью контуров.

Потом Минаев пошел по бульвару. Он увидел Олю. Она сидела одна и тоже любовалась панорамой. Он хотел пошутить и не смог. Удивительно, подумал он, считаюсь первым насмешником, Осип вчера сказал «армейский Щедрин», а, между прочим, с Олей наш Щедрин ведет себя, как обыкновенный теленок...

Он сел рядом, начал сухим прутиком что-то изображать на песке, вытер платком лицо, изумляясь — прохладно, а мне почему-то жарко... Наконец он сказал:

— Красивый вид...

Оля ответила «да» и насторожилась: уж не хочет ли капитан посмеяться над ней? Все побаивались Минаева —

он был слишком остер на язык, а больше всех его боялась Оля, потому что капитан, как она себе признавалась, ей «жутко нравился». Оле было девятнадцать лет; до войны она то и дело влюблялась — в учителя истории, в актера Вахтанговского театра, в одного задорного студента; вернее, ей казалось, что она влюбляется; она записывала в дневнике: «На этот раз у меня роковая встреча» или «Он танцовал весь вечер с Варей, но я гордая и этого ему не прощу»; а месяц спустя отмечала на полях тетрадки: «Все это ребячество, минутное увлечение и только...» Да, до войны ей хотелось влюбиться по-настоящему, ведь любовь в книгах была чем-то возвышенным и непонятным. На фронте было не до мечтаний; и то, что она увидела, заставило ее охладеть к любви: связистка Люда жила с майором Кошкаревым, потом с лейтенантом Нестеровым. Капитан Золотухин сошелся с медсестрой Абрамцевой, говорил, что у него в Ярославле семья, к которой он вернется после победы, а медсестра — это «фронтовая подруга». Таких жен — на месяц или на год — называли «ППЖ», над ними обидно посмеивались. Мама написала Оле, что жена Ковригина обзавелась новым мужем, говорит: «Того могут убить, а этот в тылу и обеспечен»... Противно! Если любовь такая, лучше без любви... Капитан Минаев тем хорош, что не обращает внимания на женщин. Он вообще умница, майор Альпер правильно сказал: «Это самый культурный офицер в полку...» Одно плохо: капитан умеет так пошутить, что человек потом ходит, как ошпаренный. А он через минуту и не помнит, что сказал...

Минаев не догадывался, что покорил сердце Оли; он сидел рядом и растерянно молчал. Ему хотелось сказать, что он не мальчишка и не фразер, а вот Оля ему действительно нравится; но он не знал, как это выразить. Приходили в голову романтические истории, анекдоты, стихи Лермонтова и Гейне, но все это не подходило. Он боялся обидеть Олю. Не раз они оставались наедине в блиндаже или в землянке, Минаеву хотелось сказать что-нибудь ласковое, но он не решался. «Армейский Щедрин» был застенчив, и балагурил он, может быть, именно от душевной стыдливости. И вот сейчас не то оттого, что Десна позади, не то от красоты раскрывавшегося перед ним ландшафта, он сказал, неожиданно и для Оли и для самого себя:

— Знаете что, Оленька, когда кончится война, если меня не убьют и если вы не будете возражать, мы с вами возьмем и поженимся. А?..

Она покраснела: так она и знала! Капитан догадывается об ее чувствах и решил над ней посмеяться. Она встала.

— Товарищ капитан, разрешите быть свободной?

Дурак, говорил себе потом Минаев, почему я решил, что она согласится? Замечательная девушка. У нее, наверно, десять поклонников. А что я собой представляю? Сейчас в масштабе батальона я — еще персона, но кончится война, и товарищ Минаев будет чем-то средним между недоучившимся юристом и затейником из провинциального «парка культуры». Притом нос, как у индюка, и абсолютно не умею танцовать, ясно, что девушка обиделась. И сказал по-дурацки, вроде как «кончится война, пойдем в кино»... А жаль... Кажется, второй такой не найду, то есть девушек много, но чтобы понравилась — этого можно всю жизнь прождать... Делать нечего, вернемся к текущим делам, предстоит пока что дойти до Берлина. Потом можно будет предаться раздумьям о тщете холостяцкой жизни.

Минаев подтрунивал над собой, а ему было невесело. Чернигов как-то сразу помрачнел, его развалины теперь казались трагичными. Ни одного города, мерзавцы, не оставили! Пишут «отомстим»... Как будто мне легче от того, что сожгут какой-нибудь немецкий город!..

Неделю спустя он сидел в хате, читал газету. Оля дежурила у телефона. Впервые после злосчастного объяснения они остались вдвоем. Минаев сказал:

— Смешно — немцы выкрали Муссолини. Италию они потеряли, хотят сохранить хотя бы дуче...— Вдруг другим голосом он спросил: — Оля, скажите мне правду, вы на меня сердитесь?

Оля покраснела, а когда она краснела, это бывало очень заметно; в школе ее дразнили «врать не умеешь», она возмущенно отвечала: «Я и не вру, у меня кожа такая...» Она еле сдержалась, чтобы не выбежать из хаты. А Минаев не сводил с нее глаз. Наконец она прошептала:

— Зачем вы меня дразните?

Он подошел к ней.

— Я вас не дразню, Оля. Это меня счастье дразнит...

Потом они не могли вспомнить, как все случилось. Кажется, Минаев погладил руку Оли. А может быть, она первая, желая скрыть волнение, уткнулась лицом в его плечо.

— Кончится война, и вы меня бросите,— вдруг сказала Оля.

— Поглядите на меня, Оленька. Разве такие бросают? Таких бросают, это правда... А мы с вами будем чудаками — не бросим друг друга, во-первых, высокие чувства, одним словом, понятно, во-вторых, мы с вами вместе провоевали целый год. Может быть, еще придется... Я думаю, что ты можешь мне говорить «ты» и вообще незачем ждать, пока Гитлер крикнет: «Гитлер капут!..»

Когда Минаев ехал на КП к Осипу, он волновался — сказать, что женюсь, или лучше скрыть?

Осип был необычайно возбужден:

— Нашу армию передают Первому Украинскому. Понимаешь, что это значит? Будем участвовать в наступлении на Киев, вот что! Теперь направление Пакуль — Пасека. А там — Днепр... Перелом определенный, у фрицев не те настроения. Да и у наших... Сегодня один боец говорит «тороплюсь», я его спрашиваю — куда, он отвечает: «Пора кончать»... Фрицы надеются на Днепре перезимовать, думаю, не дадим. Пахнет концом...

— Определенно,— сказал Минаев.— Я тебе приведу еще одно доказательство, совсем из другой области — я решил жениться. Ты что, не веришь? Совершенно точно, и ты ее знаешь — на Ольге.

Осип не мог опомниться. Ну да, есть такая Ольга, кажется, рыженькая... Но при чем тут «жениться»?..

Минаев как будто разгадал его мысли:

— Лучшая иллюстрация к твоим словам. Разве мог я об этом подумать год назад — на том проклятом курганчике?.. Да если бы мне сказали, что я через год сделаю предложение по всем правилам, я бы к чорту послал... Я тогда думал скорее о похоронах, чем о свадьбе. Ты сам сказал «перелом»... Выбор одобряешь?

— Почему бы нет? Она, кажется, серьезная... А вообще удивительно... Всех насмех подымал, хвастал, что у тебя

никого, и вдруг бац... Между Десной и Днепром... Как в романе...

Когда Минаев ушел, Осип впервые подумал о том, что война обязательно кончится, он вернется в Киев, приедут Рая, мама с Аленькой. Может быть, мама умерла? Рая не отвечает, когда я спрашиваю, как мама. Конечно, маме тяжело пережить такое — исход, жизнь в эвакуации. Шестьдесят четыре года, возраст не тот... Вдруг Осипу стало страшно, что Рая на фронте. До сегодняшнего дня это казалось ему естественным, а сейчас он в тоске подумал: понятно, что я воюю, но почему Рая?.. Ему захотелось обыкновенного счастья — знать, что, когда кончится война, найдешь жену, дом. Без этого и воевать трудно... Может быть, его взволновали слова Минаева — женщина, ласка, уют вошли в мир войны. А может быть, растравила сердце близость Киева? Командующий вчера сказал: «Теперь скоро...» Да, Киев совсем близко... Конечно, мы идем севернее, на Чернобыль, но все-таки близко... Он начал мерять пальцами двухкилометровку. А сердце не унималось. Все напоминало ему родной город — деревья, говор, звезды. Он видел горбатую улицу, по которой подымался с Раей. Неужели они снова пойдут вместе в сад?.. Рая шевелила длинными ресницами, говорила: «Ну, при чем тут Ященко? Разве я могу ему сказать, как я тебя люблю? Ты ничего, ничего не понимаешь!..» А ведь это правда — он тогда многого не понимал, все было, как по плану. На самом деле куда сложнее... Возле Сталинграда он понял за три месяца больше, чем перед этим за тридцать лет... Только бы с Раей ничего не случилось! Никогда мы не расстанемся... Если такое пережить, нельзя потом расстаться даже на день...

А Минаев сидел и, чуть наклонив голову набок, писал:

«Дорогая мамуля!

Можешь меня поздравить — мы отмахали за неделю сто километров. Столько же, следовательно, проделали и немцы, но их поздравлять не приходится. Вчера я спросил одного пленного фрица, что он думает о будущем, он мне ответил, что не может думать, потому что натер себе пузыри на ногах. А я вот не только думаю о будущем, но даже женился. Не думай, что это глупое фронтовое похождение, Ольга самая строгая девушка из всех, каких я

встречал на свете, почти академик, ей нехватает только диссертации и очков. Она кончила десятилетку и собиралась в педагогический институт, но по воле судьбы и Гитлера стала связисткой. Она тебе, наверно, понравится, она нравится всем, и потом она сегодня сказала, что я прикидываюсь веселым, это твое любимое определение. Мамуля дорогая, скоро мы оба ввалимся к тебе! Я приму все меры, чтобы фюрера не стянули, как дуче, в худшем случае, придется его убить. Дорогая мамуля, жди в ближайшем будущем твоего глупого Митю и его весьма неглупую половину!»

Он вышел и спросил старого крестьянина:

— Сколько километров до Пакуля?

Рядом стоял веселый танкист, он вытянулся, поднес руку к пилотке и серьезно сказал:

— Товарищ капитан, вот мы с дедушкой обсуждали, сколько отсюда километров до Берлина?..

7

В среду восьмого сентября с недельным запозданием начался учебный год. Директор школы Алексей Николаевич Стешенко произнес речь: «Приобщенные ныне к европейской культуре, мы постараемся оправдать доверие фюрера и вырастить жнецов для нивы просвещения, которая вспахана доблестным германским оружием...» Речь он написал заранее и все же от волнения заикался. Слава богу, отговорил, подумал он, выходя из школы. На углу бульвара к нему подошел зубной врач Левшин:

— Знаете новости?.. Только это под величайшим секретом... Мне рассказал комендант вокзала, я ему поставил коронку... Они начали эвакуацию...

С этой минуты Алексей Николаевич лишился покоя. Ему казалось, что кто-то сжимает ему горло, он не мог проглотить слюну, не мог вздохнуть. В десятый раз он перечел сводку: «Борьба с обеих сторон достигла неслыханного ожесточения... Несмотря на численное превосходство как в людях, так и в технике, Советам нигде не удалось прорвать германский фронт... Там, где были предприняты движения для уклонения от боевых действий, они прово-

дились в полном порядке, после разрушения всех важных объектов... Полностью разрушенные шахты Донецкого бассейна планомерно оставлены нашими войсками... Особенно отличился третий батальон 70-го гренадерского полка под командованием обер-лейтенанта Кехта»... Так все пишут, когда плохо... Немцев бьют, это ясно... Вчера Ющенко сказал, что большевики в Конотопе, я не поверил, а, видно, это правда, раз немцы начали эвакуироваться... Может быть, красные уже в Бахмаче, кто знает... Такому обер-лейтенанту Кехту хорошо, удерет и еще получит орден... А что будет со мной?.. Не с кем посоветоваться. Одни побегут в гестапо, скажут, что я подымаю панику. Другие... Другие ждут красных, они ответят: «Ничего нет страшного, оставайтесь», а потом повесят... И Тони нет...

Антонина Петровна умерла в мае. Утром она приготовила завтрак, отгладила парусиновый пиджак мужа, как всегда вздыхала, что не увидит Вали, потом легла на кушетку, сказала: «Леша, дай мне воды — мутит...» Когда он принес стакан с водой, она уже была без памяти, умерла до того, как приехал доктор. Алексей Николаевич понимал, что от огорчений не умирают, у Тони был порок сердца, и все же он думал, что жена «изгрызла себя», не будь этой «заварушки» (так Алексей Николаевич называл про себя войну), она прожила бы еще двадцать лет.

Алексей Николаевич относился к жене снисходительно; что она понимает в политике? А теперь он говорил себе: Тоня была права, немцы меня околпачили...

Он никогда не любил большевиков. Но кто об этом знал? Только жена. Даже при Вале он не говорил ничего лишнего, самое большее, что позволял себе, это посмеяться над стихами Маяковского или над акцентом Осипа. Антонина Петровна, конечно, знала, как относится ее муж к советским порядкам, но и она не одобряла «новшеств». Как же случилось, что супруги, прожившие вместе тридцать лет, душевно разошлись именно тогда, когда всего нужнее было согласие? Это началось с первых недель войны. Антонина Петровна сказала, что нужно эвакуироваться, найти Валю. Алексей Николаевич кричал: «Валяться на соломе? Покорно благодарю! Большевистская песенка спета. Пусть они удирают, нам с тобой

ничто не грозит...» Антонина Петровна повторяла одно: «В такое время нужно быть с Валей...» Муж отвечал: «Глупости. К зиме война кончится...»

Пришли немцы. Алексей Николаевич был потрясен количеством танков и машин, элегантностью офицеров, веселым смехом солдат: настоящие победители. Он задумался над своей жизнью и понял, что жил не так, как ему хотелось. Мечтал стать профессором, а что он? Учитель, влачит жалкое существование. Какой-нибудь Альпер имеет больше веса, чем он... Да и надоело — собрания, тезисы, марксизм, вычеты... Хорошо, что все это кончилось!

Когда Хана крикнула, уходя: «Ноги моей здесь не будет!»,— Антонина Петровна сказала мужу: «Зачем ты ее обидел? Чем она виновата?» Алексей Николаевич ответил: «Хотя бы тем, что родила большевика...» Потом они узнали про Бабий Яр. Антонина Петровна плакала, повторяла: «За это нас бог накажет...» Ее слова сердили Алексея Николаевича. При чем тут бог? Никогда Тоня не ходила в церковь... И главное — при чем тут мы? Меня-то в Бабьем Яру не было...

На одну минуту он заколебался — вспомнил молодость, когда в Киеве то и дело менялись власти — был гетман, потом пришли петлюровцы, потом большевики, потом деникинцы и снова большевики... Опасно поставить на немецкую карту — кто знает, как все повернется?.. Но фронт быстро отодвинулся от Киева, немцы подошли к Москве, окружили Ленинград, и Алексей Николаевич твердо уверовал в торжество Гитлера. Он работал в городской управе, был директором школы, произносил речи, начал писать в местной газете под псевдонимом «Мазеповец». Когда прошлым летом немцы дошли до Кавказа, торжествуя, он говорил жене: «Кто был прав?..» Она в ответ плакала: «Где теперь Валя?..»

Антонина Петровна молчала, но муж чувствовал ее неодобрение. А однажды, прочитав его статью, озаглавленную «Танец смерти Красной Армии», Антонина Петровна сказала: «Нехорошо это, Леша... Какие ни на есть, а все-таки свои...» Алексей Николаевич вспылил, кричал, что не потерпит в своем доме «чекистских разговоров».

Это было прошлой осенью, за полгода до смерти Антонины Петровны.

Тоня умерла во-время,— думал теперь Алексей Николаевич.— Конечно, она ничего не понимала в политике, но у женщин какое-то особенное чутье. Напрасно я ее не послушал. Мог эвакуироваться. Мог остаться здесь и сидеть тихо. Левшину красные ничего не сделают. А он жил при немцах припеваючи, лечил зубы гестаповцам, хапал направо и налево, взял рояль доктора Менделевича. Но он не высказывался... Почему я полез?.. Задним умом крепок... Хотел бы я поглядеть на людей, которые летом сорок второго сомневались в победе немцев! Были, конечно, фанатики, которые и тогда раскидывали листовки, даже стреляли. Но это — политики, они идут на виселицу так же естественно, как я иду в школу. А обыкновенные люди, как я, старались завязать знакомства с немцами, получить квартиру бывшего ответственного работника, перехватить еврейскую мебель. Стоило мне сказать Роппу, что я страдал при большевиках, и все завертелось — назначили директором, пригласили на торжественное заседание, поставили подпись под благодарственной телеграммой... А теперь красные меня повесят. Что я могу сказать в свое оправдание? Они не поверят, что я ненавижу немцев. А это правда. Немцы глядели на нас свысока, грубили, можно было подумать, что они у себя дома. Уедут, а нас бросят на произвол судьбы... Их занимает какой-то обер-лейтенант — на меня им наплевать...

Вечером пришел Ющенко, сказал, что красных остановили, Киев ни в коем случае не сдадут — по Днепру проходит «Восточный вал», вчера к одному немецкому специалисту приехала семья, так что разговоры об эвакуации вранье... Алексей Николаевич приободрился. Он взял на сон газету, прочитал о трудовой мобилизации: «Нашим юношам и девушкам предоставлена возможность увидеть лучшую страну в мире — Великую Германию»... Призывают родившихся в 1927 году. Алексей Николаевич усмехнулся: отправят дочку Левшина, пусть не радуется, что всех перехитрил. Особенно успокоила Алексея Николаевича рецензия на немецкий фильм «Белая сирень». Заняты любовью, как ни в чем не бывало... Нет, Германия — это сила, никогда большевикам с ними не справиться!

Десять дней прошли в лихорадке. Алексей Николаевич то глядел, куда едут немцы — на вокзал или с вокзала, то, успокоившись, ходил по комиссионным магазинам — искал шапку из приличного меха. Ошарашил его все тот же Ющенко:

— Большевики в Нежине...

Алексей Николаевич перед этим шел по бульвару, думал, какая стоит изумительная осень. Сразу все померкло. Ясно, что Ющенко прав — достаточно поглядеть на немецкие грузовики. Удирают...

Он отправился в комендатуру, там у него был знакомый — лейтенант Ропп.

— Дайте мне пропуск в Германию...

Лейтенант Ропп ответил:

— Сейчас это, к сожалению, невозможно...

— Но ведь вы эвакуируете город.

— Я от вас этого не ожидал, господин Стешенко. Вы распространяете панические слухи...

Алексей Николаевич потерял самообладание:

— Значит, бросите? Как выжатый лимон...

Лейтенант Ропп пожал плечами:

— Я знаю, что вы порядочный человек, поэтому я не придаю значения вашим словам...

Уехали немки. Вывозили архивы, картины, старинные книги, продовольствие. Потом начали исчезать служащие «Викадо», зондерфюреры, представители торговых фирм. Закрылись комиссионные магазины, кафе. Теперь незачем было спрашивать, где красные — они стояли напротив, в Дарнице. Алексей Николаевич очутился на фронте. Он не боялся снарядов или бомб. Придут большевики — ни о чем другом он не мог думать. Как в тот первый день тревоги, когда Левшин рассказал ему об эвакуации, спазма сжимала горло.

Левшин объявил, что остается в Киеве: «Будь что будет, неохота трепаться по свету...» Ющенко уехал в Житомир, Алексей Николаевич сказал ему на прощание: «Вы думаете, в Житомире нет деревьев? Висеть все равно где...»

Глупо уезжать в Житомир или даже в Ровно. Если большевики перейдут Днепр, они могут дойти до границы. Вот Дудник молодец — уехал в Германию. Туда большеви-

кам не добраться... Но Дудник еще в сорок втором достал удостоверение, что он — немец, в этом все дело. Если бы достать такую бумажонку!..

Алексей Николаевич действовал с той энергией, которую придает отчаяние, ходил каждый день в комендатуру, добился, что его принял майор Рист. Майор был любезен, но предложил Алексею Николаевичу уехать в Житомир. Спасение пришло, когда Алексей Николаевич больше его не ждал: бутафор Коваленко сказал, что некто Циндерс дает справки о немецкой национальности, «ассигнаций он не берет, но если у вас есть ценности»... Алексей Николаевич хранил медальон жены — бирюза с жемчугом, этот медальон Антонина Петровна получила к свадьбе от матери. Тоня с того света меня спасла, думал Алексей Николаевич, разглядывая заветную справку. Он должен был уехать в Ровно. Коваленко сказал, что оттуда с таким удостоверением легко пробраться в Германию.

С трудом он протискался в дачный вагон: удалось сесть, он закрыл глаза и почувствовал страшную усталость; безучастно прислушивался к грохоту артиллерии, к женскому плачу, к крикам солдат. Потом в вагон вошли немцы:

— Сходите!..

Алексей Николаевич замешкался. Один немец его ударил:

— Старая кляча, живее!..

Фельдфебель сказал:

— Этот состав для военных. Вы уедете завтра...

Алексей Николаевич поплелся к себе. С удивлением он оглядел комнату, где прожил шестнадцать лет, сел на край стула, как будто он в гостях. Придется подождать до завтра... А что будет завтра? По бумаге я теперь немец, а я и говорить как следует не научился. Кому я там нужен? Сдохну с голоду... Немцам наплевать... Может быть, стать на углу и просить милостыню? Это в пятьдесят семь лет!.. Я мог стать профессором. Даже у большевиков я был учителем, наградили грамотой...

На столике стояла большая фотография Вали, в раме. Валя улыбалась и была так красива, что Алексей Николаевич вздохнул. У меня дочь студентка, может стать известной актрисой, а немцам все равно — пьянчужка-старо-

ста или педагог с тридцатилетним стажем... Валя от меня отступится, это ясно, комсомолка, муж партийный... А Тоня умерла. На кровати углубление — это от ее тела... Ничего не осталось — ни близких, ни дома... И куда ехать? Зачем?

Он вспомнил, как солдат его ударил, вынул из бумажника удостоверение, добытое с таким трудом, и спокойно его порвал. Он прилег. Устал, до чего я устал! Бегал за этой бумажонкой... Глупо... Да и все глупо... Он пролежал полночи с открытыми глазами. Начало светать. Он встал, выкурил две папиросы, жадно затягиваясь; в шкафу среди старых вещей Антонины Петровны нашел веревку, деловито и вместе с тем машинально, уже ничего не чувствуя, ни о чем не думая, сделал петлю, подвинул столик к окошку, проверил, крепко ли держится крюк, на котором висели гардины. Потом все так же деловито надел петлю на шею и, собравшись с силами, ногой оттолкнул столик. Зазвенело стекло — это упал на пол портрет Вали. Громыхали орудия. Но Алексей Николаевич уже ничего не слышал.

8

Услышав по радио слова «киевское направление», Валя взволновалась: значит, скоро освободят мамочку и папу! Если только немцы их не убили... Много раз она старалась представить себе немцев в Киеве и не могла: она видела то довоенный город, люди улыбаются, на Крещатике продают цветы, а небо плотное, как бирюза, то развалины в дыму и ни души... В газете она прочитала, что немцы угоняют население. Но в Харькове жители встречали наших.. Значит, угоняют не всех. Может быть, папа спрячется? А маму не возьмут — она больная... И Валя написала Сереже: «Если ты окажешься в К., постарайся узнать, что с родителями».

Сергей писал неаккуратно, но письма были веселые и столько было в них нежности, что Валя боялась их читать при других. Ей казалось, что она выбирается из темного густого леса.

Даже в поезде дальнего следования создается быт, пассажиры начинают понимать друг друга с полуслова, вагон

кажется уютным, обжитым. Люди прожили в эвакуации два года, и хотя жизнь была тяжелой — работали не по силам, недоедали,— она выглядела устоявшейся, постоянной. Только Валя не могла к ней привыкнуть: было попрежнему что-то смутное и в ее улыбке, и в ее судьбе. О ней говорили: «Чудная, а работает хорошо...» Инженер Козлов ставил ее в пример другим. Приезжал фотокорреспондент, снял он и Валю, говорил: «А ну-ка посерьезней. Не поверят, что вы стахановка»... Валя смеялась: «Я сама не верю...»

Она пошла на завод, чтобы оторваться от прошлого, чтобы меньше думать — слишком тяжелой была разлука. Теперь она работала уверенно, спокойно: стоя у станка, она чувствовала себя ближе к Сереже. Правда, он не стреляет из пулемета, он строит мосты, но другие стреляют, значит пулемет для него нечто родное, близкое. Война их разъединила, ничего не поделаешь, нужно отдаться войне, тогда они встретятся. Когда Валя работала, другие не замечали напряжения,— она все делала как будто шутя, а вечером, смертельно усталая, валилась на постель.

У нее была крохотная комната, похожая на камеру, в которую она не внесла ничего своего, кроме фотографии Сергея над койкой. Иногда Валя просыпалась среди ночи и долго, напряженно глядела на фотографию; это бывало после страшных снов — Сережу обступили немцы или он тонет в озере. Что бы Валя ни делала, она думала о нем: Сережа бы засмеялся, этого Сережа не любит... Боль разлуки не притуплялась; когда он написал, что прошел больше тридцати километров, она вдруг почувствовала, что не может дойти с завода домой — ноги подгибаются...

Наверно, если бы Сергей оказался рядом, она нашла бы то спокойствие, которое почудилось ей в предвоенную весну, единственную весну ее жизни. Тогда она решила, что навеки освободилась от тщетной мечты стать актрисой. Так думала она и год назад, когда даже похвалы Орловского не смогли ее растревожить. Теперь и сводки, и письма Сергея прочили близкую встречу, хотелось счастья, а его не было: и в Вале проснулось то, что она считала побежденным, вычеркнутым из ее жизни — тоска по искусству. Она упорно боролась с искушением, но вдруг

выплывали строфы поэм, монологи героев, жесты, реплики, короткие, звонкие слова...

Был воскресный день, прозрачный и теплый — стояло бабье лето. Лида с мужем позвали Валю за город; она не поехала, сидела в своей маленькой комнате и о чем-то сосредоточенно думала, а если бы ее спросили, о чем, не смогла бы ответить — все переплеталось: Сережа, война, Киев, театр... Она не девочка, давно пора определиться, а все мечется... Почему нет Сережи?..

Потом Валя ни о чем не думала, посредине комнаты стояла с книжкой.

Не верь дневному свету,
Не верь звезде ночей,
Не верь, что правда где-то,
Но верь любви моей.

. . . .

Вот ромашка. Я было хотела дать вам фиалок, но...
они завяли, когда умер мой отец. Говорят, у него
был легкий конец.

. . . .

Неужто он не придет?
Неужто он не придет?

. . . .

И, как была, с копной цветных трофеев
Она в поток обрушилась...

— Ты с ума спятила?

Валя не заметила, как в комнату вошла Лида. А увидав подругу, вскрикнула, уронила книгу. Лида подняла.

— «Гамлет принц датский»... Ты что, хочешь на сцену?

Валя покраснела, как будто ее уличили в чем-то нехорошем, едва выговорила:

— Просто попалась книжка, читала вслух...

Лида недоверчиво улыбнулась.

— А в лесу замечательно. И грибов набрали — видишь?..

Когда Лида ушла, Валя задумалась. Почему это на меня находит?.. Все давно решено — актрисой я не буду. До Сережи могла цепляться за глупую мечту, не находила места в жизни... А теперь все иначе, скоро кончится война, вернется Сережа... Это и есть настоящее...

Недели две назад Валя получила письмо от Нины Георгиевны, которая вернулась в Москву, звала туда Валю.

Нина Георгиевна писала: «Твой институт реэвакуировался. На твоем месте я ни за что этого не забросила бы. Ты напрасно пишешь, что у тебя нет таланта, тот или другой профессор мог ошибиться, я помню, как перед отъездом ты читала нам стихи Блока, это было необычайно. Валя, дорогая, поверь, главное — призвание, если тебя к этому влечет, ты не должна считаться с неудачами. Ты сможешь жить у меня, пока не вернется Сережа, вдвоем нам будет веселее. Новости очень хорошие, я надеюсь, что если не зимой, то будущим летом все кончится». Валя ответила, что не хочет возвращаться в киноинститут; пока война, будет работать здесь, а потом найдет себе другую работу. Письмо вышло спокойное. А отправив его, Валя полночи проплакала.

И вот, Лида застала ее за «Гамлетом»... Почему меня к этому тянет, как пьяницу к рюмке?.. Сережа думает, что я изменилась, несколько раз писал, что восхищается моей волей, тем, что залезла в глушь, работаю на заводе. А я его обманываю, ни разу не написала, что мечтаю о сцене. Мне хочется, чтобы он меня видел другой — сильной. А Сережа понял бы... Он мне сказал: «Никогда я не любил женщину до тебя». А когда я спросила: «Кого же ты любил», он ответил: «Мечту... Не здесь, в Париже...» Может быть, его мечта была женщиной, наверно так, все равно, сейчас я не ревную, чувствую, что он меня любит... Но если он, большой, крепкий, мог увлечься мечтой, почему мне так стыдно?.. Ему это не помешало работать, строить мосты, воевать, а мне кажется, что если я не освобожусь от своих фантазий, я потеряю все — и себя и Сережу...

Захрипело радио. Шесть часов. Скоро на работу... «Наши части вели упорные бои за станцию Бобрик...» Какая я глупая, идет война, «упорные бои», может быть там Сережа, в него стреляют, а я придумываю какие-то воображаемые мучения... Бобрик, да это совсем близко от Киева. Когда я в последний раз ехала, не могла оторваться от окна — Бобрик, потом Бровары, а дальше лес и песок — Дарница. И мост — Днепр, лавра, такая красота... Как быстро наши продвигаются!.. Может быть, через несколько дней освободят Киев. Сейчас папа слушает — наверно, уже слышно, как стреляют. И мамочка

ждет, плачет... А я думаю о глупостях — театр, Офелия, «цветные трофеи...»

Инженер Козлов говорил: «Если бы все в цехе так работали, как Влахова...» Валя не слушала, рассеянно улыбалась. А может быть, слушала, только думала о другом. Вернувшись с работы, превозмогая усталость, она написала Сергею:

«Ты не знаешь, какая я счастливая! Каждый день ты все дальше, значит ближе, скоро конец, я терпеливо жду, а если лезут в голову разные глупости, ты все поймешь, когда расскажу, не будешь сердиться. Знаешь, когда я тебя в первый раз увидела у Крыловых, я почему-то подумала, что ты поэт, ты так глядел — рассеянно и вдохновенно, поверх меня, у меня сердце захолонуло. Сереженька, если бы ты знал, как я тебя люблю, как живу тобой, твоим трудом, болью, тем, что ты наверно до смерти устал воевать, и мосты твои вижу, и победу, и тебя, как ты снят на даче — в плаще и в кепке, моя судьба, моя любовь, мое все!»

9

Рихтер поглядел на зарево и выругался. Опять удираем... Полковник Габлер предал военному суду одиннадцать человек. Ничто не помогает — бегут без оглядки. Стояли на Десне, говорили «здесь Восточный вал», а когда сотня русских перебралась на правый берег, вся дивизия побежала. Пережить такой триумф и так низко пасть! Ведь еще недавно мы были на вершинах Кавказа... Да и я не лучше, стоит мне услышать «иван», как бегу во все лопатки.

Простачок из пополнения вчера спросил: «Где проходит Восточный вал?» Рихтер ответил: «Вал удирает вместе с нами». Все засмеялись. А откровенно говоря, не смешно.

Получив письмо от жены, Рихтер подумал: кажется, я напрасно ее уговаривал перебраться в Гарц... Гильда писала: «Здесь спокойно, не было ни одной бомбежки, но люди отвратительно настроены, в каждой семье траур, не видно мужчин, потом это эгоисты, они недовольны, что приехали такие, как я, жалуются, что тесно и растут цены. Меня хотели взять на работы, но Роберт меня от-

стоял. На Берлин был снова террористический налет, сильнее прежних, тетя Маргарита уехала, к счастью, в Потсдам на конфирмацию Клерхен, а когда она вернулась, то не только не нашла своего дома, но не узнала улицу, потому что остались одни развалины. Дорогой Курт, объясни мне, что происходит? Я больше ничего не понимаю! Италия нас предала, а с русскими ничего не выходит, у них слишком много народа. Я все время думаю, как ты должен мучиться в этой ужасной стране! Здесь теперь итальянцы, я не совсем понимаю, кто они — пленные или союзники, но они на свободе и работают. Иоганна говорит, что они виноваты, потому что савойская династия и коммунисты нанесли нам удар в спину, и они не послушались дуче и не хотят искупить вину. Ты знаешь, я ничего не понимаю в политике, но один итальянец очень милый, он иногда бывает у Иоганны, он говорит, что презирает Бадолио, до войны он был театральным критиком. Когда он рассказывает, мы с Иоганной смеемся доупаду. Вот и все новости. Я немного похудела, говорят, что это мне идет. Здесь почти деревня, не хочется даже приодеться, я сделала миленькое зеленое платьице из крепжоржета, когда ты приедешь в отпуск, надену его...» Ясно, что она спуталась с макаронщиком. Мало ей было Роберта... Воевать итальянцы не воюют, а юбку такой не пропустит... Подлец! Да и все подлецы... Главное — никаких надежд на скорый отпуск — русские не дают передышки.

Полковник приказал жечь амбары, хлеб, инвентарь. Рихтер как-то задумался: почему я, культурный человек, архитектор, радуюсь, когда поджигают домишко? Русские пишут в листовке, что это преступно и бесчеловечно. Вздор! На войне нечего разыгрывать юристов. А разрушать человеку так же свойственно, как строить. У каждого из нас накипело на сердце... Сколько обманутых надежд, потерянных друзей! Потом люди мстят за развалины Гамбурга или Кельна. Когда пылает село, мне кажется, что я вижу глаза Гильды — яркие, печальные и бесстыдные. Сейчас она обнимает своего итальянца.

Одна русская женщина вчера плакала, умоляла пощадить ее хибарку. Рихтер рассердился — разрушены прекрасные дома на Унтер-ден-Линден, погиб дом, который

я построил для полковника Габлера. А эта идиотка плачет над своим хлевом! Рихтер не только сжег дом, он застрелил корову, перебил кур, кричал: «Чтобы живой души не осталось!» (Женщину убил не он, а рыжий Карл.)

Все время жрем мясо, от этого чорт знает что с желудком, то и дело солдаты отбегают в сторону. Слов нет, величественное зрелище! Еще хорошо, что лето... Не могу себе представить, что с нами будет зимой?

Здесь больше нет белых мазанок, как на Украине. Деревянные лачуги, смешные колодцы с шестами, мы такие видели, когда наступали в первое лето... Как тогда было весело! Говорят, в этом селе люди связаны с партизанами. Обер-лейтенант сказал, чтобы женщин не трогали. Рыжий Карл все-таки прикончил старуху и двух девчонок. Одна девочка просила: «Дяденька, не убивай, гони лучше в Германию...» Мы их восстанавливаем против себя. А что будет потом?.. Мужчин расстреляли. Долго искали скот — бандиты куда-то спрятали. Таракан обнаружил стадо в овраге. Сначала забавлялись — стреляли в цель, Рихтер убил трех коров. Потом обер-лейтенант сказал, что нужно торопиться; дали несколько очередей.

Обер-лейтенант объявил, что мы закрепимся на Соже. Есть приказ фюрера. Если пустим русских на правый берег, полковник отдаст всех под суд. Дай бог, чтобы удержались!..

Болят ноги. Болит живот. Болит сердце — никогда еще не было такого паршивого настроения. Все это могло быть нашим — нивы, стада, деревни. Почему мы теряем Россию? Говорят — были военные ошибки. Но ошибки бывают у всех. Как будто русские мало ошибались!.. Оберлейтенант уверяет, что нас подвели итальянцы. А капитан Хейбинг рассказывал, что в Италии не так много наших войск. Почему же мы отступаем? Надоело, вот что. Нельзя пятый год воевать. Пока мы наступали, в этом был какой-то смысл. Я мог про себя критиковать некоторые эксцессы, но я понимал, что фюрер выражает динамизм немецкой души. А теперь война никого больше не интересует. Каждый день слышишь: «Когда это кончится?» Незаметно для себя стали пацифистами. Если мы удержимся на Соже, то только потому, что военный суд — это не шутка...

Они заночевали в селе. Можно как следует выспаться — позади третий батальон. Обер-лейтенант разместился в двухэтажном здании школы. Рихтер выбрал самую чистую лачугу. Пришел Таракан, принес бутылку венгерского коньяку. Они закусили, выпили. Рихтер думал о Гильде. Она пишет нежно, может быть слишком нежно... Ужасно не знать, что будет завтра! Чем все это кончится?.. Может быть, хуже, чем в восемнадцатом, тогда против нас были цивилизованные противники. Можно разговаривать с Ллойд-Джорджем, но не с большевиками. Какой-нибудь Лукутин — это одержимый... Притом мы их озлобили. Как я мог объяснить той дуре, что ее хибарка не стоит коробки спичек? Она считала, что у нее отняли дворец. Рыжий Карл ее застрелил. Но у нее — муж или брат... Вдруг эти дикари ворвутся в Германию? Нет, этого не может быть — есть фюрер, есть немецкая наука, есть армия!

Рихтер спросил Таракана:

— Ты веришь, что мы удержимся на Соже?

Может быть, Таракан выпил слишком много коньяку, но он бессмысленно рассмеялся, его жидкие длинные усы долго подпрыгивали.

— Я больше ни во что не верю. Мне показалось, что я верю в господа бога, как моя старуха. Но это пропаганда. И то, что я фельдфебель, это тоже пропаганда. Смешно!..

Он действительно продолжал смеяться. А Рихтеру стало страшно: уж если Таракан несет такое, значит крышка... Рихтер допил бутылку и постарался скорее уснуть, чтобы ни о чем больше не думать.

Он проснулся от стрельбы, Таракан подтянул штаны, схватил автомат. Ночь была темной, моросил дождик; нельзя было понять, кто стреляет. Таракан и Рихтер побежали к школе.

— Позади третий батальон, не может быть, чтобы русские нас догнали,— сказал Рихтер.

Таракан не слышал, бежал впереди. Он снова превратился в исправного фельдфебеля.

Кто-то крикнул: «Да это бандиты!..»

Таракан с девятой ротой прикрывал отход батальона.

Когда рассвело, не досчитались фельдфебеля Грюна и четырнадцати солдат. Рыжий Карл видел, как партизан застрелил Таракана.

Рихтер считал Таракана набитым дураком; но теперь он жалел о нем, как не жалел никогда ни об одном друге. Таракан — это все наше прошлое, веселое лето, зима с ее ужасами, ржевский ад, выпивки, девушки, страх, тоска, письма... А убил его бандит, такому все равно, что Таракан побывал в Париже, сражался против сенегальцев, одним из первых вошел в Белосток... Бедный Таракан, он как будто предчувствовал, что погибнет, смеялся, говорил, что ни во что не верит, а умер замечательно, как старый гренадер...

Та деревня была осиным гнездом, жаль, что не сожгли. Но позади третий батальон — это парни почище наших, они ничего не оставят...

Увидев деревушку в стороне от дороги, Рихтер крикнул:

— Нужно сжечь!..

Он даже позабыл об опасности, так хотелось ему огня, воплей, смерти.

10

В минуты нежности Рихтер называл жену «кошечкой», а сердясь или ревнуя, думал — мартовская кошка! В Гильде было нечто кошачье — круглые зеленые глаза, мягкость движений, та отчужденность, которая сводила с ума Рихтера: он чувствовал, что жена живет своей отдельной жизнью, чем она послушней, тем строптивей.

Весной Рихтер приезжал в отпуск. Он неуверенно прошел по своей берлинской квартире, брал в руки безделки и улыбался, как ребенок, потом вдруг бросил вазочку на пол, выругался. Гильда перепугалась. Он сказал: «А ты понимаешь, что такое Ржев?»... Она приготовила ему ванну, налила хвойный экстракт. Он начал бессвязно рассказывать про какой-то сосновый лес, где погибли Шеффер и Вальтер. Гильда не знала, о ком он говорит, не понимала ни военных терминов, ни солдатской ругани. Желая отвлечь Курта от страшных воспоминаний, она щебетала, рассказывала про платья, про мелкие домаш-

ние заботы, про сердечные дела подруг. Рихтер прерывал ее: «Мне это неинтересно, понимаешь?..» Он думал, что она не хочет понять его страданий. Бездушная кукла, пока он валялся в окопах, она развлекалась с десятком тыловиков! Он говорил ей «потаскуха», потом просил прощения, гладил ее курчавую голову, шептал «кошечка».

Больно сжав ее руку, он спросил: «Кто любовник?» Она ответила: «Ты». Курт ей казался теперь не мужем, а любовником, чужим и привлекательным. Она прощала ему грубость, чувствуя за ней дыхание войны. Когда Курт сказал, что подозревает Роберта, она рассмеялась: «Боже мой, он влюблен в меня девять лет, объяснился еще до тебя!.. И ты хочешь, чтобы я вдруг стала его любовницей? Это было бы противоестественно...» Она называла Роберта «адъютантом» и, когда он доставал кофе или шелковые чулки, говорила: «Можете меня поцеловать в щечку, как папа»...

Она оставалась верной мужу, хотя могла с гордостью сказать, что, несмотря на тотальную мобилизацию, вокруг нее всегда было несколько поклонников. Она с ними кокетничала — она кокетничала со всеми, даже с кузиной Иоганной. Недавно Гильде исполнилось тридцать лет, она с ужасом подумала: старею. Но люди, которые ей говорили, что она хорошеет, не лгали. В ней оставался задор любопытной девчонки, а глаза выражали зрелую неуспокоенную страсть. «Ты — белая негритянка,— говорил ей Курт,— тебе нужны пальмы и плетка...»

Гильда не хотела уезжать из Берлина, хотя боялась бомбежек: квартира, где она прожила с мужем шесть лет, казалась ей тихой пристанью. Оказавшись в маленьком городке, с глупой и злой Иоганной, которая считала губную помаду символом распутства, Гильда приуныла. Заплаканные женщины, сплетни, разговоры о продовольствии — госпожа Мюллер получила третью посылку из Дании, у Клары два «пакета фюрера», Эльза умеет приготовлять картофельный салат без масла... Забрали почти всех мужчин, из молодых остался только доктор Ланге, но у него искусственный глаз, когда он говорит комплименты, становится страшно. Молодые женщины разгуливают в брюках, говорят о том, как ухаживать за коровами и как наказывать полек. Боятся какого-то русского, который

убежал из лагеря в лес и будто бы нападает на проезжих. Еще больше боятся воздушных налетов — рядом с городом химический завод.

Немного развлекал Гильду итальянец. Конечно, Луиджи приходил не к Иоганне, а к ней. Он не раз пытался перейти от страстных деклараций к поцелуям, но Гильда его останавливала. Ей нравилось, что он, как актер, декламирует: «О мой кумир! Моя звезда!» Она позволяла ему целовать ее руки, но не больше — «вы с ума сошли — у меня муж!..» Когда итальянец проходил наверх в мезонин, где жила Гильда, Иоганна поджимала свои бледные губы и думала: напрасно фюрер поверил этим проходимцам, лучше было бы сговориться с англичанами...

Иоганна ненавидела не только итальянца, но и немцев, застрявших в тылу, даже доктора Ланге («можно воевать с одним глазом»). Ей были отвратительны женщины, мужья которых уцелели — ее муж погиб на Волхове в начале сорок второго. До войны она постоянно ссорилась с мужем — он был юбочником и транжирой, а теперь она развесила повсюду его фотографии, и посетители должны были молча простаивать несколько минут перед фотографией покойного Карла. Она изводила Гильду комплиментами: «Кузиночка, вы сегодня слишком хорошо выглядите» или: «Вы такая нарядная, что забываешь про ужасы войны»...

Гильда написала мужу, что ее пугают газетные известия — думала, что так нужно написать. На самом деле она путала русские названия, ее не трогало, что красные захватили Орел или Харьков. Курт рассказывал, что русские города — это большие деревни, к тому же наполовину разрушенные. Она спросила мужа, что происходит в России, из вежливости. А получив его ответ, она долго плакала. Конечно, Курт и прежде упоминал о трудностях, но в каждом письме Гильда находила несколько бодрых слов. Когда он приезжал в отпуск, он говорил, что русские дерутся отчаянно, в лесах много бандитов, климат ужасный, есть какие-то особенные пушки, от которых «можно сойти с ума». Но когда Гильда спросила, чем все кончится, он ответил: «Достаточно поговорить с полковником Габлером, чтобы понять, насколько наша стратегия выше русской. В итоге мы победим, как бы дорого это нам

ни обошлось». И вот теперь Курт пишет: «Дело не только в том, что мы отсюда не выберемся, я начинаю думать, что эти дикари доберутся до вас...» Если Курт так говорит, значит плохо — он оптимист. Увидев заплаканное лицо Гильды, Иоганна обрадовалась: «Вы получили плохие известия? Что с вашим мужем?» — «С мужем все благополучно,— ответила Гильда,— плохо с Германией...» Она попробовала утешить себя: может быть, Курт изнервничался? Когда в Берлине бывала бомбежка, я ходила, как помешанная, а на фронте бомбят все время, и еще какие-то особенные пушки, понятно, что Курт потерял голову... Но ей было тревожно: она вдруг почувствовала, что и она втянута в проклятую войну.

Несколько дней спустя она получила телеграмму от брата, он сообщил, что приедет на неделю с товарищем-отпускником. Гильда всегда радовалась встрече с Артуром, а теперь он был ей особенно нужен — после здешних плакальщиц, после ужасного письма...

Артур хорошо выглядел, приехал веселый, все время напевал:

Мой милый друг, не унывай —
За декабрем приходит май...

Он привез Гильде три кило сахару, большой кусок мыла. Его товарищ, лейтенант Гебинг, оказался красивым юношей с шрамом на виске и двумя крестами. Артур болтал безумолку, а лейтенант Гебинг молча улыбался и так глядел на Гильду, что она спросила:

— Вы, может быть, гипнотизер? Меня пробовали усыпить, но я не поддаюсь...

— Что вы! — воскликнул лейтенант.— Мне просто приятно после России сидеть в уютном немецком доме и видеть перед собой красивую женщину...

Он держал себя почтительно, а если Гильда с ним кокетничала, то в этом не было ничего удивительного — она не умела не кокетничать. Она приготовила хороший ужин — ветчина с горошком, мозельское вино, коньяк. Артур много пил, дурачился, показал, как русские танцуют — вприсядку. Лейтенант не сводил глаз с Гильды. Она спросила:

— Где вы теперь воюете?

— На юге, в Крыму.

— Там, наверно, очень жарко?

— Еще бы! —Артур захохотал.

— Курт в центре. Он пишет, что у них дела плохи...

— Лучше об этом не думать,— сказал Артур.— Коньяк у тебя чудесный.

Он завел патефон. Лейтенант подхватил Гильду. Они долго танцовали. У Гильды кружилась голова — от вина, от тревоги, от удовольствия.

Артур продолжал шутить:

— Ты знаешь, на что похож фронт? На кино. Спереди все мелькает, а лучшие места позади...

Гильда улыбнулась:

— Мы здесь в самых задних рядах, и все-таки спокойствия нет.

Лейтенант кивнул головой.

— Вы правы, госпожа Рихтер, теперь у всех одна судьба...

Она поглядела на него, на брата, потом на кусок бурого уродливого мыла, и в ее глазах показались слезы.

— Артур, я вспомнила, как ты приехал из Франции, привез духи Герлена, говорил, что скоро высадитесь в Англии...

— Мы еще высадимся,— ответил Артур.

— Разве можно столько воевать?

— Фридрих Великий воевал семь лет и выиграл. Осталось еще три года.

— Не нужно думать — это главное,— сказал лейтенант.

Она удивленно взглянула на него и тотчас отвернулась — у лейтенанта глаза были ласковые и сумасшедшие.

— Я не знаю, побеждали ли вы русских солдат, а русских девушек наверно...

Она уложила брата и лейтенанта Гебинга в столовой, потом поднялась к себе. Она улыбалась, а из глаз текли слезы. Значит, Курт писал правду... Пускай им отдадут Польшу или Богемию, но нельзя их пустить сюда... Почему мужчины не понимают таких простых вещей?.. Артур хочет воевать еще три года... Но тогда никого не останется — ни на фронте, ни здесь... Они все сошли с ума!.. А лейтенант милый...

Весь следующий день Артур отдыхал — валялся на кушетке с полицейским романом. Гильда и лейтенант Гебинг пошли в кафе «Мария-Луиза» — оттуда был красивый вид на долину. Лейтенант рассказывал про войну, и Гильда нашла, что он рассказывает интереснее, чем Курт. Он говорил: «Мне жалко всех, особенно детей... Я поймал русскую шпионку, это была красавица, она укусила мне палец, а потом попросила револьвер, чтобы застрелиться... Когда жгут город, это потрясающе красиво, я думаю, что если бы это видел Бетховен, Девятая симфония была бы еще сильнее. Мы все обречены, но жизнь вдвойне прекрасна...» Вечером они снова пили коньяк, смеялись, танцовали.

Гильда погасила свет, но не успела заснуть — услышала шаги на лестнице. Она подумала — Артур... Потом зажгла лампочку и увидела лейтенанта. Она вскрикнула:

— Вы сошли с ума!

Он положил ей руку на рот, шепнул:

— Не делайте глупостей, Артур спит...

Он погасил свет, и она больше не кричала. Когда полчаса спустя он ушел, она лежала на спине и не могла понять, что произошло. Она никогда себе этого не простит... Какое нахальство — притти без спроса к замужней женщине!.. И еще к сестре товарища... Они стали дикарями... Наверно, и Курт такой... Он не сказал ей ни одного ласкового слова... И все-таки ей хорошо, это самое страшное... Грех?.. Глупости, завтра прилетят и скинут бомбы или сюда придут русские... Нужно жить, пока живешь...

Каждую ночь лейтенант подымался к Гильде; она его ждала. Днем, оставаясь одни, они говорили о пустяках. А ночью они не разговаривали. Потом Артур и лейтенант уехали. На вокзале Гильда расплакалась, сказала брату:

— Не пускайте сюда русских!

Он улыбнулся:

— Хорошо, не пустим.

А лейтенант помахал ей фуражкой.

Иоганна сказала Гильде: «На вас лица нет. Вот что значит любить нашу храбрую армию...» Гильда поняла, что Иоганна слышала, как лейтенант подымался наверх. Пускай... Она ответила: «Мне тридцать лет, Иоганна, в гувернантках я не нуждаюсь»...

Она не могла забыть лейтенанта. Все стало еще грустнее. В газетах продолжали писать, что у русских большие резервы. Неделю не было писем от Курта. Гильда волновалась, плакала. Потом пришла открытка, Гильда рассеянно ее прочитала, ответила коротким ласковым письмом. Пришел Луиджи, очень печальный, сказал, что их отправляют в Магдебург. Он пришел проститься, поцеловал ее руку. Тогда она неожиданно его обняла и сказала: «Кузины нет дома»...

Улыбаясь, она глядела на себя в зеркало. Я еще хороша. Но нужно жить. Умирают теперь не от старости... Прежде Гильда писала мужу неаккуратно, пропускала по нескольку дней, теперь она писала каждый день, и ее письма были все нежнее и нежнее — она ждет Курта, верна ему до гроба...

В холодную лунную ночь зазвенели оконные стекла, потом завыла сирена. Гильда лежала в ночной рубашке на земляном полу убежища. Ее бил озноб от холода и страха. Здесь куда страшнее, чем в Берлине... Она давала обеты: господи, если я выживу, никогда не изменю Курту! Никогда, ни с кем!..

Утром она увидела разрушенные дома. Иоганна сказала, что свыше ста убитых. Гильда написала Курту: «За меня не беспокойся, здесь все благополучно. Я тебя жду, жду, жду...»

Прошло еще несколько дней. У нее болела грудь — наверно, простудилась в убежище. Она позвала доктора Ланге, он ее выслушал, прописал микстуру, потом сказал: «Вы хорошеете наперекор всему». Она старалась на него не смотреть — у него левый глаз бессмысленный и холодный, как судьба... Закрыв глаза, она шептала: «Вы с ума сошли!.. Какой вы глупый, доктор!.. Мы все глупые...»

11

— Товарищ майор, новые кольца, а пропускают...

Сергей выругался — опять эти кольца! До Днепра дошли, а с кольцами не могут справиться... Здесь дорога каждая минута. Все спешат — еще один квадратик карты — и Днепр... Машины вязнут в белом песке; при

свете фар он кажется снегом. Лоза предупреждает: гаси фары — скоро река!

Гулко от песка. Разговаривают вполголоса. Не курят. Саперы тащат бревна. Идут связисты — катушки с кабелем, зеленые коробки полевых телефонов. Полевые пушки. В лесочке приютились танки. Вот и генерал Петряков...

Старик рассказывает, что рыбаки на мелком месте потопили восемь лодочек — спрятали от немцев. Вытаскивают лодки. Приволокли ворота. Вяжут плоты. Набивают камышом или соломой плащ-палатки.

Сергей в лесу. Здесь настоящая лесопилка. Понтоны будут завтра: на дорогах большие пробки.

Ноги едва идут. В сапогах песок. На душе смутно и радостно. Нетерпение овладело всеми, как будто за рекой — конец войне, родной дом, девушка у калитки, глубокое счастье. А за рекой немцы. Они стреляют вслепую — наших прикрывает лесок. Один снаряд попал в кучу отдыхавших бойцов. Подошли к Днепру и его не увидели...

Вот и река! Люди умываются, черпают пригоршнями воду и пьют — ведь это Днепр. С ним прощались в сорок первом — одни у Киева, другие в Могилеве, третьи в Смоленске. Он снился; о нем боялись думать; о нем пели «Ой Днипро, Днипро, ты течешь вдали, и вода твоя, как слеза», пели, потому что хотелось не петь, а плакать или ругаться. Была река, как многие другие, но пришло горе, и Днепр пересек судьбу каждого, будь то волжанин или сибиряк. От Днепра ушли, проклиная себя, а вернулись к нему иными, да и не все вернулись; люди ступают тяжелее — память о потерянных, как свинец; пришли с Дона, с Волги; а того, кто побывал у Сталинграда, можно сразу узнать по глазам, по усмешке, по тихому и глухому «дошли».

Почему все города на том берегу? Немцам везет. Впрочем, теперь им ничего не поможет. Разве можно остановить такое?.. Здесь больше, чем несколько дивизий,— вся страна пришла к Днепру, ее тоска, обида, голод, узелки беженцев, растерзанная жизнь, сожженные города. Одна мысль: скорее! Хотим жить! Жена пишет, мать... До Днепра еще можно было не думать, подчиниться размеренному ритму атак, контратак, переходов, отгонять

искушение. Здесь каждый чувствует: доигрываем, доламываем.

А му́ка му́кой, смерть смертью. И на нежном светлом песке кровь. Санитары уносят двух автоматчиков; один стонет, другой улыбается; может быть, это не улыбка — судорога.

Дни стоят теплые, прозрачные. А ночью холодно. Вода ледяная. Сколько до того берега? Сергей говорит «четыреста восемьдесят». Поднялся ветер. Большая волна.

— Да разве это лодка? — тихо ворчит сержант Садофьев.— Ведро где?..

Он обмотал весла тряпкой: на том берегу немцы...

Немцы знали, что у русских еще нет понтонов — воздушная разведка успокоила генерала Зиберта. Он все же приказал вести для острастки огонь по реке.

— Стерва, воду глотает,— шептал Садофьев.

Две другие лодки отнесло далеко вниз. Немцы бьют по реке. Вода вскипает. В лодке пулемет и два бойца. Три часа гребут, кровь на руках. Кустарник. Где-то поблизости немцы.

А небо все в звездах — Украина верна себе: ей и в такую ночь нужны звезды...

Потом?.. Стучит пулемет. Подоспели другие лодочки. Пускают плоты из столбов, из бочек от горючего.

Потом подходят понтоны. Щедренко переплыл реку, протянул канат. В паром попала мина. Саперы затыкают пробоины гимнастерками. Рабинович лезет на дно — нужно спасти пулемет. Немцы наседают на пристань.

Садофьев теперь может отвести душу и выругаться. Майор сказал четыреста метров, а когда плывешь — все четыре километра... И о чем Старицын думал? Хорошо бы мы выглядели, если бы все лодки разбрелись! А фрицы сразу полезли.

Потом?.. Потом поздравляют Садофьева. Сергей диктует донесение. На узле связи Шу́ра Баранова передает длинную телеграмму. Корреспондент «Красной звезды» мечется — какой он с виду, этот Садофьев? Дать бы одну живую черточку... В Москве составляют сводку. Завтра о сержанте Садофьеве узнает мир.

Сталин на минуту оторвался от карты. Он видит огромный фронт, линию Днепра, колонны на дорогах, располо-

жение противника и среди всего этого — молодого сержанта с глазами печальными и лукавыми. Садофьев... Кажется, со мной был Садофьев в Царицыне. Может быть, отец этого?.. И Сталин переплывает Днепр с Садофьевым, как он сидел на кургане у Сталинграда с Осипом и Минаевым, как в метель шагал от Дона до Днепра. Молодец Садофьев, с ним перейдем и Вислу, и Одер!..

Полковник Габлер жует огрызок погасшей сигары. Он возмущен русскими. Переправиться через такую реку без понтонов! Дикари, в этом их преимущество... Перед полковником карта: он думает о контратаке, необходимо сбросить русских, выиграть хотя бы две недели. И вдруг среди номеров дивизий, среди названий сел, островов, отмелей показывается скуластый паренек в пилотке. Садофьев взбирается на цоколь и сбрасывает зеленого медного орла.

В Париже у приемника сидит Лежан; он очень мрачен — только недавно ему рассказали, как погиб Поль, от Жозет второй месяц нет известий, позавчера арестовали Андре и Гаро, нужно послать группу в Руан, и нет оружия. Позывные — «говорит Москва». И как будто Днепр где-то рядом — возле Сены, спешат товарищи, друзья, те, с кем он связал свою судьбу, среди них Садофьев. Он похож на Миле, только волосы светлее...

Генерал Петряков говорит Садофьеву: «Герой! О чем тут толковать — герой!..» Садофьев бубнит: «Я как выскочил из лодочки — за лопату...» Что здесь особенного,— думает Садофьев.— Конечно, лодочка дермовая, но доплыл. Главное, что во-время окопался...

Крылов улыбается: вот он, первый урожай! Интересно, где тот американец с вечной ручкой? Не верил... А вот каких мы вырастили! Наверно, он теперь думает, что у нас нет понтонов. А иногда нужно и на бревнышке. Этого им не понять, они два года только и делают, что готовятся. Пожалуй, мы скорее до Берлина дойдем... А я ведь знал Садофьева, тот уже немолодой, интендант третьего ранга, когда мы выбирались из Россоши, двух немцев застрелил. Тоже не дурак... Садофьевых много, ничего удивительного. А что героев много — это вот удивительно!..

И каждый Садофьев с радостным волнением отвечает: «Может быть, родственник, не знаю...»

В Костроме между ткацкой фабрикой и старым монастырем тихая болезненная женщина, уложив детей, думает о своем первенце: Саша прославился... Только бы живой вернулся!..

Маленький неглубокий окоп среди белого песка — с этого все началось. Удалось переправить полковые орудия. Немцы били с крутого холма. Но наши держались. Сергей вспомнил Сталинград; там говорили «держимся», здесь этого не скажешь, здесь говорят «держим».

Немцы бросили авиацию, гонялись за каждой лодочкой, быстро засекали переправы. На третий день затопили тяжелый паром. Нужно было спасти уцелевшие понтоны. Взяли противогазы, приделали к ним трубочки. Осипенко и Зайчик полезли под воду. Три часа они работали на дне, разобрали паром, вытащили целые понтоны. Осипенко, узнав, что генерал представил его к «Ленину», вздохнул: если бы жена знала, может не ушла бы...

А потом генерал Петряков сказал:

— Армия большая, значит нужен большой мост.

— Я все подготовил,— ответил Сергей.— До острова деревянный на сваях, а дальше наплавный...

Он откинул голову назад, рассеянно улыбнулся.

В Сталинграде Сергей воевал напряженно, угрюмо; там было не до фантазий, иногда даже мыслей не было — только упорство. А теперь в его глазах было то горение, которое Нина Георгиевна знала с детских лет Сережи, когда думала, что ее сын будет поэтом.

Забивали сваи, стоя в ледяной воде. Немцы били из орудий, бомбили. Работали ночью; но немецкие ракеты освещали Днепр. Санитары то и дело уносили раненых. Течение валило сваи. Один сапер опускался на дно и ставил сваю, другой бил по ней сверху. Люди не спали по трое суток. Сергей не отходил от моста. Сержант Широков провел в воде четырнадцать часов. Сергей спросил: «Как?..» Широков ответил: «Сделано».

Потом, когда мост был готов и по нему пошли сотни машин, когда Сергей снова разговаривал, смеялся, майор Шилейко спросил его:

— Сколько нужно дерева, чтобы он выдержал?..

— По учебнику полагается один кубометр на триста килограммов груза.

Сергей вспомнил, как замерзший сержант Широков ответил «сделано».

— С древесиной это просто подсчитать. Труднее с человеком...

— Ты, собственно, про кого? — спросил Шилейко.

— Про всех. Я говорю, что трудно подсчитать, сколько человек может выдержать...

На правом берегу шла большая битва; говорили, что такого не было с Орла. Генералу Петрякову удалось продвинуться на двенадцать километров; но немцы подтянули крупные силы. Генерал говорил: «Стратегические резервы пустили в ход, не иначе...»

Бойцы ругались: «Фрицы напоследок бесятся...» Положение было тяжелым — назад не переправишься. Командующий армией обещал подкинуть свежую дивизию. И вот тогда приключилась беда — немцы бросили на мост авиацию — два прямых попадания. Важен каждый час...

Увидев, что Рашевский растерялся, Сергей прыгнул в воду, начал показывать, что делать. В это время десяток немецких пикировщиков атаковал саперов. Рядом с Сергеем был Рашевский. Когда-то в Сталинграде Рашевский говорил, «если ночью убьют, это чистая случайность»... Он умер на руках у Сергея. Мост починили. Подкрепление пришло во-время.

Нет больше Рашевского. Нет тех, с кем он был в страшное лето сорок второго. Зонин погиб в Сталинграде... Говорил про театр, про Марусю, а потом лежал на столе, маленький, как ребенок. А Воронов мечтал, как будем наводить мост на Дону, когда пойдем назад. Вот и Днепр. Но нет Воронова. Кажется, не было у Сергея такого друга. Воронову он говорил все — горькое было лето... Рассказал и про Париж. Про Валю... С ним легко было разговаривать, он чуть улыбался, кивал огромной головой... Никого нет из старых... Как уцелел Сергей?.. Он недоверчиво улыбался осени, пышной и приподнятой.

Неделю спустя Сергей поехал на КП. Генерал Петряков жил в чистой белой хате. Хозяйка стояла, подперши рукой щеку, вздыхала о своем Грицко и восхищалась генеральскими погонами. Петряков был в хорошем настроении.

— Ничего у них не получилось. Барсуков только что передал, убираются из Киева — машины в четыре ряда...

Потом генерал стал журить Сергея:

— Что вы себя подставляете? Нельзя так... Теперь не сорок первый... Устали — от этого.

— Все устали.

— Я не про всех, я про вас... Это всегда так — устанет человек, и тормоза не действуют. Вдруг ничего ему не страшно...

Сергей покачал головой:

— Мне теперь страшно. В Сталинграде я не боялся, так как-то безразлично было. А сейчас, когда ближе к концу, очень не хочется умирать...

Перед ним был седой человек в очках, который добродушно попыхивал папиросой. А Сергей видел Валю, весну в Москве, фонари на мосту. И вдруг невпопад он сказал:

— Самое хрупкое на свете это мост...

Он думал в ту минуту не о мосте, который построил через Днепр, не о Крымском мосте, где стоял с Валей накануне отъезда, и не о старых мостах Сены, о другом — о жизни.

12

Дом стоял на крутом склоне холма, далеко от деревни, среди дубов и ольхи. Вдова ЛяграНж шила возле окна, дочь ее, Мари, раздувала угли. Смеркалось. Вдруг кто-то постучал в дверь. Вдова ЛяграНж посмотрела: немец. Страшно открыть, а не откроешь, взломает дверь или выстрелит. Зачем он пришел? Неужели они проследили Мики или Деде?.. Вдова ЛяграНж спросила:

— Что вам нужно?

— Хлеба.

Ясно, что гестаповец. Когда они взяли Мортье, они сказали, что хотят напиться... Машина, наверно, внизу на дороге...

Открыв дверь, вдова ЛяграНж обомлела: какой он оборванный! Может быть, дезертир?.. Она дала ему хлеба. Он ел с жадностью. Наверно, дезертир... Она успокоилась; ей даже стало жалко огромного тощего человека, который по-детски улыбался.

— Погодите, сейчас Мари подогреет тарелку супу. Сегодня холодно...

Немец поблагодарил. Вдова Лягранж подумала: есть и среди них порядочные... Почему он удрал? Надоело воевать! Или нагрубил своему начальству? Если удрал, значит порядочный!.. А Мари ни разу не поглядела на пришельца: в июле немцы расстреляли ее жениха. Сколько же он бродил по лесу? — спрашивала себя вдова Лягранж.— Шинель чужая, великан, а шинель на нем, как курточка... Наконец она решилась спросить:

— Вы, может быть, заблудились?

Он кивнул головой.

— Вы хотите попасть в Сен-Жан или вы оттуда идете?

Он с трудом составил фразу из немецких и французских слов:

— Я ушел с рудников, иду в горы.

— Куда именно?

— Туда, где нет немцев.

Может быть, он убил другого немца? Что ж, это хорошо... Только что он делал в рудниках? Там гестаповцы... Вдову Лягранж разбирало любопытство, но она не знала, как спросить немца, порядочный он или проходимец. Она накормила его супом. А немец молчал... На улице темно, холодно. Куда он пойдет ночью? Но не оставлять же у себя боша! Может быть, это гестаповец из охраны?.. Как будто угадывая ее мысли, он сказал:

— Мадам, я не немец.

Вдова Лягранж рассердилась: впустила, дала поесть, пожалела, а он надо мной смеется!

— Вы, может быть, скажете, что вы француз?..

Он засмеялся, и она снова подумала: какая у него хорошая улыбка!

— Мадам, я убежал. Я русский.

Тогда Мари, которая, отвернувшись, все время прислушивалась к разговору, вскрикнула:

— Я сразу подумала, что это русский пленный!

Он сидел за круглым столом. Мари принесла атлас; красным карандашом была обозначена линия фронта.

— Русские перешли Днепр...

Он закрыл глаза, а на лице оставалась улыбка счастья. Потом он показал на Дон.

— Вот где меня взяли. Я был ранен — в грудь...

Помолчав, он тихо сказал:

— Я ищу, где партизаны...

Вдова Лягранж и Мари переглянулись, ничего не ответили. Они уложили русского. Он с испугом поглядел на подушку, на белую простыню и сразу уснул — двое суток он пробродил по лесу.

— Утром я пойду к Мики,— сказала Мари матери,— спрошу, что с ним делать.

А русский спал. Ему снилась большая бледная река. Вдруг взлетает мост, и черно-синий дым... А потом очень тихо, за круглым столом он сидит в люстриновом пиджаке и рядом старая француженка, у нее на коленях Мишка... Почему он меня не узнает?.. Мишка!..

— Он что-то говорит со сна,— сказала вдова Лягранж.

Мари прислушалась.

— «Мишка»... Что это значит?.. Знаешь, мама, я именно так представляла себе русских. Лицо у него доброе, но я понимаю, что немцам в России страшно — такой может задушить...

Мари ушла на рассвете, вышла она тихо, чтобы не разбудить гостя. Ставни были плотно закрыты; и русский проснулся только, когда в комнату вошел молодой человек несколько необычно одетый — фланелевые штаны, китель, снятый с немецкого офицера, французское кепи. Это был Мики. Он спросил:

— Ты кто?

— Русский.

— Какой русский?

— Военнопленный. Старший лейтенант инженерных войск Николай Воронов.

Он хотел рассказать, как он очутился во Франции, но нехватало слов.

— Ладно, идем к нашим,— сказал Мики.— Деде понимает по-немецки.

В другое время похождения Воронова могли бы изумить людей, но сто́лько было тогда удивительного и неправдоподобного, что партизаны отряда «Ги Мокэ» отнеслись к появлению русского офицера, как к чему-то вполне естественному. Только Мари сидела над атласом и

вздыхала — как далеко от Дона до Брив!.. А Деде тем временем уже советовался с Вороновым о предстоящей операции: нужно взорвать железнодорожный мост на линии Брив — Тулуза. Деде потом сказал товарищам: «Это находка! Он взрывал мосты почище...»

Воронов сразу прижился. Его хлопали по плечу, желая высказать свои чувства, говорили: «Ты — русский, это хорошо». «Фрицам капут». «Мы — коммунисты»... Воронова прозвали Медведем; его это обрадовало: Нина ему часто говорила, что он похож на белого медведя.

Как он выжил с простреленным легким, когда вокруг, в голодном лагере, каждый день умирали молодые здоровые люди? Выручило его богатырское сложение. Когда потом его спрашивали, как он уцелел, он сконфуженно улыбался, вспоминал своего деда, который в семьдесят лет рубил лес, приговаривая: «Народ мы архангельский, а характер у нас дьявольский»... Они лежали, измученные жаждой; немцы принесли ведро, смеялись: «Кто подойдет, получит премию»... Ему так хотелось пить, что он пополз к ведру, хотя перед тем немцы застрелили четырех товарищей... Потом был Кельн, телеги с трупами; каждое утро бросали в яму умерших — иногда сотню. Бросали и живых, которые не могли встать на ноги. Миша Головлев сочинил стихи:

Когда мы в кельнской яме сидели,
Когда нас хлебом манили с оврага,
Когда в подлецы вербовать нас хотели,
Партийцы шептали: «Ни шагу! Ни шагу!»
Читайте надпись над нашей могилой.
Да будем достойны посмертной славы!
А если кто больше терпеть не в силах —
Партком разрешает самоубийство слабым...

Миша крикнул эсэсовцу: «Скоро мы вас повесим!» Эсэсовец его застрелил. Воронов вспомнил стихи — Миша не выдержал...

Еще недавно Воронов был в рудниках. Это кажется страшным сном, который давит сердце после того, как проснешься, но этот сон уже смутен, недоступен осознанию. Он четко помнит летний день в степи и мрачного Шуляпова. А потом сразу выступает другой день —

побега. Немец был рыжий, в веснушках. Воронов ударил его по голове камнем... Лес и домик вдовы Лягранж...

Он вернулся к жизни. Он спрашивал: «Как там?..» Ведь много месяцев он был без газет, без радио. Только теперь он узнал, что блокаду Ленинграда прорвали, но город еще под огнем немецких орудий. Жива ли Нина?.. Взяли Смоленск, идут бои за Киев. Порой его охватывала тоска: он так далеко, от всего отрезан! Он сидел тогда мрачный. Приходил Деде: «Русские взяли еще один город, я только забыл название...» И хотя Воронову было очень важно, какой это город, глядя на сияющего Деде, он улыбался: не одинок я — эти люди с нами, значит и я сражаюсь за Киев, как Сергей, как Зонин, как все из батальона...

Среди партизан были пришлые и местные, рабочие, шахтеры, виноделы, пастухи, учитель, ветеринар, два испанца, чех, девушки. Командовал отрядом Деде, сельский учитель; он воевал в Испании. Все восторженно прислушивались к каждому слову Воронова: он был человеком из того мира, о котором они мечтали в темные партизанские ночи. «Медведь сказал» — это звучало, как приговор, не подлежащий апелляции.

Чеха все так и звали: Чех. Это был пожилой, аккуратный часовщик, привыкший к загадочному и точному вращению мельчайших колесиков, который, рассвирепев, зарезал ножом фельдфебеля. Увидев Воронова, Чех так взволновался, что ничего не мог сказать.

— Вы понимаете по-русски? — спросил Воронов.

Тогда Чех заговорил безумолку; впервые за шесть лет он говорил на родном языке. Воронов скорее догадывался, о чем говорит Чех, чем понимал слова. Он отвечал:

— Да... Конечно...

Партизаны были поражены этой встречей. Деде сказал:

— Чех, ты и русский понимаешь?

— Все славяне понимают русский,— ответил Чех.

Он хотел сказать, что дело не в грамматике, но только улыбнулся и вытер платком добрые близорукие глаза.

Барселонский каменщик Хосе сказал Воронову:

— Я видел на Эбро русского, его звали Иванович. Он теперь командует полком или целой дивизией?

— Я не знаю Ивановича.

Хосе стал таким грустным, что Воронов улыбнулся:

— Вспомнил. Он командует дивизией.

— Я так и думал. Знаешь, Медведь, когда мне сказали, что фашисты напали на Россию, я огорчился и обрадовался. Я знаю, какое горе война, у меня дочка погибла в Барселоне от бомбы. Но я обрадовался, потому что я видел русского на Эбро, я сразу понял, что фашистам конец...

Мики попросил Воронова в свободные минуты учить его русскому языку. Мики был сварщиком на заводе Рено, называл себя «старым комсомольцем». Он зубрил русские склонения.

— Почему не «стол», а «стола»? Это сумасшедший язык!.. Но я все-таки научусь! Если меня не убьют, когда кончится война, я поеду в Россию, хоть на неделю... Как ты говоришь? «За столом?» Нет, никогда я этого не одолею... Поглядеть бы одним глазком на Москву...

Старик Дезире был виноделом; в жизни он признавал две вещи: коммунистическую партию и хорошее вино. До войны он голосовал за радикалов; но когда пришли немцы, мэр-радикал повесил у себя портрет Петэна и начал угощать немецкого лейтенанта старым вином. Старик Дезире ругался. А потом коммунисты застрелили двух немцев и предателя. Хорошее вино старик Дезире любил, как поэт любит стихи; он различал в вине все оттенки, мог узнать безошибочно, откуда это вино — с участка Мишо возле кладбища или с участка отца Бэле рядом с мельницей. Когда столкнулись в нем две страсти, он недолго колебался и ушел к партизанам. Он говорил: «Сорок второй был страшным годом — немцы убили Мишо и Жозефа, а для вина это был замечательный год...» Он пришел в отряд за месяц до сбора винограда, вздыхал: «В этом году вино тоже хорошее. Не знаю, что с моим виноградником, наверно боши все вытоптали». Однажды старик Дезире спросил Воронова:

— Скажи, под Москвой вино лучше, чем у нас?

— На Кавказе хорошее вино. А под Москвой нет виноградников — климат слишком суровый...

В глазах старика Дезире отразилось душевное смятение: он не мог себе представить хорошую жизнь без

хорошего вина. Но через минуту он хлопнул Воронова по спине:

— Ничего, Медведь, кончится эта проклятая война, еще одна или две пятилетки, и ты увидишь, под Москвой будут виноградники, у вас вино будет лучше, чем здесь...

Воронов понимал, как эти люди верят в его страну. Он испытывал гордость и смятение: для них я — представитель Советского Союза, а я обыкновенный, средний человек, могу сплоховать, ошибиться...

Он не сплоховал — ни при операции с взрывом моста, ни при нападении на немецкий эшелон. Он и Деде тщательно подготовили все. Тридцать партизан, вооруженных немецкими автоматами, залегли в овраге неподалеку от насыпи. Мину заложил Воронов. Он оставил пятнадцать партизан во главе с Деде на холме среди леса, они должны были прикрыть отход в случае неудачи. Немцы спали, когда раздался грохот, многие из них не сразу очухались. Воронов подбежал к насыпи, с которой сбегали немцы, и уже не отрывался от автомата. Это была первая крупная операция отряда. Они подобрали сотню автоматов, много боеприпасов, взяли в плен немецкого лейтенанта, который настолько перепугался, что заплетающимся языком говорил: «Господа-террористы, не нужно меня убивать — я самый мирный человек на свете...» Партизаны потеряли двоих — Робера и старика Дезире. Робер умер сразу, а старика Дезире донесли до лесу; Жаннет его перевязала; он очень мучился. Когда Воронов подошел к нему, он попытался улыбнуться, сказал:

— Плохо мне...

— Поправишься. Я вот выжил...

— Нет, Медведь, я не выживу. Это ничего, я свое пожил... Я тебя попрошу об одном — когда кончится война, ты, наверно, увидишь Сталина, скажи ему, что старик Дезире бросил свой виноградник, воевал, потом умер и шлет Сталину привет, так и скажи — привет от старика Дезире...

В ночь, когда умер старик Дезире, из соседних деревень пришли восемнадцать крестьян, говорили: «Не

можем больше ждать...» Шел длинный осенний дождь. Лес пахнул смертью. Воронов сидел у приемника, старался поймать Москву. А Мики вполголоса пел:

Свободу не подарят,
Свободу надо взять.
Свисти скорей, товарищ,
Нам время воевать.
Умрем с тобой мы рано,
Задолго до зари,
На то мы партизаны,
И первые в цепи.
Нас горю не состарить,
Любви не отозвать.
Свисти скорей, товарищ,
Нам время воевать.

13

Когда толстяк, который сидел в углу купе, снял пальто и вытер лоб, Мадо испугалась: неужели здесь жарко? Она никак не могла согреться, ее трясло — простудилась ночью, когда шла из Сен-Реми под проливным дождем. Какой ужас, если свалюсь!.. Ей казалось самым важным попасть в отряд и рассказать, что вопрос о пулеметах поставлен перед ВОА.

Она кружилась — из городов в горы, с гор в города. Она рассказывала хозяину маленькой гостиницы, что приехала проведать больную тетку, расспрашивала крестьянок, где бы раздобыть мешок картошки, разговаривала с нотариусом о мнимом наследстве. Потом она подымалась по крутой, узкой дороге — в зимнюю стужу, в зной августа, под дождем, доходила до одинокой фермы или до пастушеской хижины и, высушив одежду у очага или выпив стакан воды, шла дальше. Эти разговоры с неизвестными — с товарищами, с врагами, с равнодушными, лихорадочная суета вокзалов, горные тропинки, адреса, планы, нарисованные на клочках папиросной бумаги, напускное веселье или тщательно разученная деловитость, ощущение постоянной опасности казались ей естественными, как будто не было и не может быть ничего другого. Она редко вспоминала прошлое, не задумывалась над будущим, удивлялась,

когда кто-либо из товарищей говорил: «Вот после победы...» Ее дни были заполнены мелкими заботами — как обмануть полицейского и миновать очередную заставу. А когда она оставалась одна — ждала связного на дороге или стояла в коридоре вагона у мутного стекла, она думала о людях, с которыми ее свела работа. Они жили тем же, что она — перевозили оружие, взрывали поезда, прятались в подполье, бродили по редким, чересчур прозрачным лесам, печатали листовки, жгли склады, ползли с револьвером или с ручной гранатой. Почти каждый день она узнавала о смерти человека, с которым встретилась за неделю или за полгода до того; одни гибли в стычках, других забирали гестаповцы или жандармы. Мадо знала, что они делали, но не знала, как они жили прежде, о чем тосковали, кого любили. Она вспоминала лица, слова и те мелочи, которые могут удержаться только в памяти женщины — платок, обмолвку, фотографию на стенке. По этим мелочам она старалась представить себе жизнь человека. Ее поддерживало чувство связи, нежность к другим; никогда она не оставалась одинокой — с нею ехали, с нею шли люди, как бы случайно, на минуту пересекшие ее жизнь и оставшиеся глубоко в сердце.

Сейчас она думала о Морисе. Она видела его всего два раза. О нем говорят, что он «отчаянный». А Мадо он показался мечтателем. Они говорили об операции; он поглядел на окна, освещенные закатом, и вдруг сказал: «Как пожар...» Мадо заметила, что у него нет пуговки на воротничке; он поймал на себе ее взгляд и зачем-то стал оправдываться: «Не было иголки»... Люси рассказывала, что до войны Морис занимался историей искусств. Ему под пятьдесят. Как он выдерживает?..

Мадо взглянула на человека, сидевшего в углу — против толстяка. Он спал, чуть приоткрыв рот. Похож на Люка... Где теперь Люк? Жозет говорила, что не имела известий с начала сентября. Жозет едва держится — ее не узнать после смерти Поля... Главное, не остановиться ни на минуту... Когда я шла ночью, было хорошо, а стоит посидеть спокойно—и лезет в голову... Ужасно болит голова...

В коридоре кто-то запел. «Не нужно петь, все ясно и без песен»... Ночь возле Сакр-Кер. Сергей рассказывал

про свою мать. Я тогда поняла, что он уедет и не возьмет меня... Почему так холодно? Я, кажется, заболеваю. Совсем не во-время... Поезд приходит в Лимож четверть двенадцатого. Еще три часа... Там нужно добраться до квартиры Люси. Адрес помню. А вдруг Люси не окажется? Глупости, условились, что я у нее переночую, а Мориса увижу завтра утром в сквере Журдан. Почему они назначают явки в скверах? Это нехорошо, особенно утром, вечером можно сойти за влюбленных... Но до чего холодно!

Мадо подняла воротник пальто. Она заметила, что сосед все время за ней наблюдает. Это был высокий человек лет сорока с маленькими усами и томным взглядом. Знакомое лицо... Где я могла его видеть? Нет, просто он похож на киноактера, такие они все, когда конец фильма несчастный... Но почему он на меня смотрит? Может быть, видно, что меня трясет? Решит, что нервничаю... Она быстро продумала: я еду к двоюродной сестре, она живет на улице Расина, у нее мастерская шляп. Может быть, это шпик? Не похож. Но ведь шпики бывают разные... Пересесть нельзя. Если он негодяй, может позвать полицию — подумает, что я кого-нибудь убила... Сказать, что у меня грипп? Боюсь, не смогу разговаривать, я действительно больна, путаются мысли... Может быть, я просто ему понравилась, ищет дорожного приключения? Мы живем в подполье и думаем, что все этим заняты... А им безразлично, они зарабатывают, целуются, болеют гриппом — теплая кровать, чай с ромом, тишина... Голова разрывается. Попробую уснуть...

Мадо крепко сжала веки, задремала. Ее задержали, спрашивают, а она путается... Она проснулась оттого, что не могла узнать двоюродную сестру и немец смеялся: «До чего глупо вы все придумали...» Ей стало очень жарко; на висках и у створок рта выступили крупные капли пота.

— Вы плохо себя чувствуете? — у соседа был ласковый голос.

Она кивнула головой.

— У меня с собой аспирин. Сейчас я принесу стакан воды...

Когда она приняла лекарство, он спросил:

— Вы едете в Париж?

— Нет, в Лимож.

— Я тоже. Мы поздно приедем, поезд запаздывает на час. Вас будут встречать?

— Нет. Я хотела доставить сюрприз двоюродной сестре.

— Если вы разрешите, я помогу вам добраться до дома вашей кузины...

— Благодарю, но я дойду одна. У меня только маленький саквояж — я еду на неделю...

Она отвечала приветливо, но сдержанно. А ей казалось, что она растеряна, выдает себя. После аспирина хотелось спать. Засыпая, она почувствовала, что сосед не сводит с нее глаз. Наверно, я ему очень нравлюсь — она себя успокаивала, потому что не могла больше думать. Она уснула настолько крепко, что сосед с трудом ее разбудил.

— Через десять минут Лимож.

Она поспешно вынула из сумки зеркальце, причесалась, напудрилась. В первую минуту ей показалось, что она выздоровела, но когда она встала, ноги подгибались. Выйдя из вагона, она снова начала дрожать. Шел холодный дождь. Нужно дойти до Люси... Она побежала по длинной улице Теодор-Бак. Когда она дошла до площади Сади-Карно, она оглянулась и увидала человека, с которым ехала. Теперь ясно, что это шпик... Вместо того чтобы свернуть на улицу Гранж-Гаро, она побежала налево. Она боялась оглянуться. Ей казалось, что кто-то ее нагоняет. Она лихорадочно думала: что делать? К Люси нельзя итти, может быть тот увязался... Она остановилась. Никого нет... Но он мог спрятаться?.. Дождь, ничего не видно... Она прошла еще несколько улиц. Позади шел старик в кепке. Наверно, передал меня другому... На улице до утра я не выдержу... Лучше всего пойти в гостиницу. Если проследили, возьмут только меня... Голова пустая, не соображаю — кто я, откуда приехала...

Дверь открыл заспанный коридорный. Пока она заполняла листок для приезжающих, он чесал щеку и что-то бормотал. Кажется, подозревает... Больше года этим

занимаюсь, а никогда такого не было... Все оттого, что жар...

Коридорный провел ее в маленькую, грязную комнату. Высокая кровать с периной. На обоях раздавленные клопы, куски засохшей мыльной пены. Мадо быстро разделась и легла. Простыня ей показалась ледяной. Она не могла согреться под периной. В соседней комнате ночевала парочка, женский голос восторженно повторял «подлец», мужской недовольно хрипел: «ну, цыпочка». Не дают уснуть... Хорошо бы поспать хоть час — до того, как придут... Она вскочила, вытряхнула все из сумочки — документы, губная помада, деньги, пудреница: она знала, что ничего другого там нет, и все же проверила. Внизу позвонили, кто-то подымается. Наверно, за мной... Нет, скрипнула дверь... Сейчас два, а они любят приходить в четыре... Здесь, наверно, очень жарко, я вся мокрая. Голова... Как будто молотком по затылку... Она скинула перину. И вдруг почувствовала облегчение. Лежала на спине, боялась шелохнуться. Положили мешок со льдом на голову. Это мама...

Сергей, ты теперь понимаешь?.. Я просто глупая девчонка, но не дрянь. Погоди, почему ты не даешь мне сказать?.. Может быть, я тебя за это и люблю — никогда не даешь сказать, думаешь о своем и ничего, ничего не видишь... Вот откинул голову, прищурился. Милый!.. К чорту пошлет? Давно послал... А все-таки встретились...

Когда Мадо проснулась, было восемь часов утра. Она чувствовала себя лучше, головная боль стала тупой, постоянной, но мысли больше не путались. Слабость... Наверно, ночью был сильный жар. Мне показалось, что тот человек шпик, а он просто шел домой — ведь с вокзала до центра только одна улица... Шел быстро, не хотел промокнуть...

Мадо оделась, не торопясь,— Морис придет в десять. Она пробродила час по пустым улицам — проверяла, не идет ли кто-нибудь за ней. Нет, все это померещилось... Плохо, что едва держусь на ногах, а Морис, наверно, скажет, чтобы завтра вернулась в отряд...

Мадо остановилась возле цветочного магазина. Дверь была открыта. Толстая усатая торговка ела суп и грела пальцы о глиняную мисочку. В темном металлическом

кувшине стояли блеклые астры, темнолиловые и ржавые. На грифельной дощечке, где пишут имя святого, чтобы знать, кто сегодня именинник или именинница, кому отнести букет, было выписано «Всех мертвых». Сегодня День поминовения, это цветы для кладбищ... Подошел человек в черном пальто, потрогал рукой астры.

— Они у вас несвежие...

— Теперь, сударь, берешь не то, что хочется, а то, что находишь...

Кто-то сказал:

— Для покойников это не представляет существенной разницы...

Мадо оглянулась, никого не было.

Десять часов. Она прошла по всему скверу. Мокрые скамейки, на рыжем песке небольшие лужицы. Дама с белым шпицем. Старуха, мальчуган. Мориса нет. Четверть одиннадцатого. Люси говорила, что он очень точен. Двадцать пять минут... Подожду до половины, если не придет, в шесть буду у Люси, она к шести возвращается...

Мадо пошла к выходу и вдруг увидела товарища, который был с Люси, когда они распределяли газеты. Его зовут Жако, Люси говорила, что он в группе недавно — с конца августа. Мадо он почему-то не понравился, и она потом себя упрекала: как отец — сужу о людях по внешнему впечатлению... Мадо прошла мимо Жако: должен был притти Морис, может быть Жако здесь случайно, а здороваться на улице нельзя. Жако сам к ней подошел:

— Здравствуй, Франс.

— Здравствуй, Жако. У тебя дело?..

— Я пришел вместо Мориса.

— А где Морис?

Жако не ответил, отошел в сторону. Мадо не успела опомниться, как полицейские ее схватили, повели к тюремной карете.

Ее ввели в светлый кабинет. На письменном столе стояли фарфоровые пастушки и фотография молодой женщины в старинной бронзовой раме. Майор Краусгрелль был любезен, и лицо у него было приветливое, располагавшее к себе. Он усадил Мадо в кресло, спросил, не курит ли она; терпеливо, с едва различимой

улыбкой, выслушал ее длинный рассказ — откуда и зачем она приехала; говорил: «Хорошо, мы все проверим, к вечеру вы будете гулять по городу...» Мадо смущало одно: она назвалась Антуанеттой Ларю, а майор упорно называл ее «госпожа Франс». Неужели Жако выдал?.. Она не могла задуматься, улыбалась обиженно и доверчиво.

— Я все-таки не понимаю, почему вы меня задержали, господин майор?

— Я сам этого не понимаю. Но я готов благословить глупость моих подчиненных, благодаря ей я имею счастье беседовать с очаровательной женщиной...

Вдруг из соседней комнаты донесся крик, такой страшный, что Мадо вскочила. Майор улыбнулся.

— Всегда так... Мешают спокойно работать...

Он медленно раскрыл большие створчатые двери. На мраморном столе лежал Морис. Немецкий солдат бил его по животу плеткой. Морис кричал:

— О-о! Жако подлец!.. И ты подлец!.. О!..

Майор сказал:

— А ну-ка, Альфред, остановитесь... Вы мешаете мне разговаривать с дамой.

Мадо не могла отвести глаз от Мориса. У него лицо в крови. Лежит, как мертвый... Майор закрыл двери.

— Простите, это зрелище не для нервов молодой женщины. Да и вообще у нас неприятная обстановка...

Мадо теперь знала: конец! Жако всех выдал. Она собралась с силами и сказала:

— Почему вы меня держите? Я теряю время...

— Да, это всегда обидно. Чем вы занимаетесь, госпожа Франс? Я говорю о ваших мирных занятиях...

— Я делаю рисунки для лиможской фаянсовой фабрики...

— Очаровательно. Наверно, цветы?.. Я купил жене сервиз — с альпийскими фиалками. Может быть, это по вашему рисунку?.. Жако мы не сделали ничего плохого, через два-три дня он будет на свободе, остались пустые формальности...

— Вы меня отпустите?

— Не знаю. Я могу вас отпустить... А могу... Как бы вам сказать?.. Все это очень неприятно, тем паче, что

вы прелестное создание, вас хочется не пытать, а ласкать... Вот программа, которую я вам предлагаю. Сначала вы мне исповедуетесь — список террористов, адреса, что вы делали и другие мелочи. Потом мы ложимся, я прикрываю вас кружевным одеялом и отпускаю вам все ваши грехи. Потом свобода и альпийские фиалки... Право, это куда приятнее, чем соседняя комната, хотя Альфред ее называет «кондитерской».

Он подошел к Мадо, ласково потрепал ее по щеке и тотчас отдернул руку:

— Гадюка!.. Альфред, проучить ее.

14

Увидев немецкого лейтенанта, Хосе схватился за автомат. Все рассмеялись:

— Да ты не видишь, что это Мики?

Еще эффектнее выглядел Чех — серое габардиновое пальто, фетровая шляпа, огромный портфель из свиной кожи. Четыре партизана надели форму немецких солдат. Чех прекрасно говорит по-немецки; с ним пойдут Мики и переодетые партизаны. Деде с пулеметчиками останется у ворот: если охрана успеет вызвать немцев из города, они откроют огонь. Воронов, Шарло и Хосе попробуют снять часового с вышки.

Когда все были в сборе, Деде сказал:

— До тюрьмы сто двадцать километров. Мы должны к трем часам ночи все закончить. Если опоздаем, завтра их расстреляют...

Это была отчаянная езда — в темную дождливую ночь по петлистым дорогам. Водители торопились — завтра тех расстреляют!.. Объезжая посты, ехали по проселкам. Все жадно вглядывались в темь, иссеченную тонкими черточками дождя.

Чех постучал в ворота.

— Откройте!

— Кто здесь?

— Гестапо. Мы приехали за осужденными...

Охрана была французская. Два гестаповца следили за порядком, сейчас они мирно спали на клеенчатом

диване в кабинете начальника. Часовой не открывал двери: приказ никого не впускать. Чех кричал:

— Идиоты, я вас всех отправлю в Германию!..

Часовой еще раз посмотрел в оконце: гестапо... Этот с портфелем уже приходил. Чорт бы их побрал: один дает приказ, другой отменяет, а мы должны расплачиваться! Такой разозлится и в два счета отправит на работы... Чех колотил в ворота, ругался. И часовой, вздохнув, открыл боковую дверцу.

Во двор выбежали, разбуженные шумом, гестаповцы. Один из них крикнул:

— Огонь!

Застрочил пулемет, оба немца упали почти одновременно: Воронов успел оглушить часового на вышке. Теперь двор был под огнем его пулемета. Тюремщика, который вздумал сопротивляться, постигла судьба гестаповцев.

— Открывай камеры,— приказал Мики.

Смертники решили, что это немцы. Ведут на расстрел... Никто не поверил Мики, который кричал: «Да мы из маки́...»

— Товарищи, умрем достойно!..

Они запели «Марсельезу». Тогда Мики обозвал их «коллекцией идиотов», «колбасой», «гусями» и многими другими, еще более образными эпитетами; чем крепче он выражался, тем веселее становились смертники: так ругаться может только свой... Вдруг один из смертников кинулся к Мики:

— Рене!..

Мики его обнял, потом сказал:

— Во-первых, я не Рене, а Мики, во-вторых, речи и цветочные подношения откладываются на вечер. Сейчас поживее! Грузовики внизу, места, кстати, ненумерованные.

Одну из одиночек не могли открыть. Тюремщик клялся:

— Ключ сломан.

— Ключ — ерунда,— сказал Мики.— Вот я тебе голову сломаю, это будет похуже...

Тюремщик покряхтел и открыл дверь. На полу лежал Морис, он не мог двинуться; его вынесли на руках.

В дежурке Мадо увидела Жако.

— Ты что здесь делал?

Он ответил, не глядя на Мадо:

— Меня должны были утром выпустить. Немцы сказали, чтобы я ждал здесь.

Мадо разыскала Деде; она с ним встречалась, когда он был в отряде «Габриэль Пери».

— Деде, здесь есть предатель, он выдал Мориса.

Деде ответил:

— Возьмем и предателя.

Они освободили двадцать семь заключенных: почти всех должны были расстрелять на следующее утро. Шарло нашел своего брата. Мики не мог успокоиться: «Нет, ты подумай — вдруг вижу — Пьер, а мы с ним в одном цехе работали...»

Грузовики понеслись наверх в гору. Рассвело. Кругом был лес, голый и мокрый. Деде остановил машину, Он сказал Жако:

— Противно тратить пулю на предателя, но мы не сволочь, мы партизаны. Держи папиросу. Можешь выкурить. Все.

Он застрелил Жако. Они поехали дальше. Вот и маки́!..

Нет машины, на которой ехали Хосе, Шарло и Медведь. За посадкой смотрел Мики. Деде кричит:

— Как же ты их оставил?

— Медведь сказал: «Поезжай, мы догоним...» А сам понимаешь, если говорит Медведь...

— Кто это Медведь? — спрашивает Мадо.

— Разве ты его не видела? Высокий... Это русский офицер, не белый — настоящий, оттуда. Он убежал с рудников...

Все рассказывают про Медведя. Только Деде сидит насупившись: что с Медведем?

Пока Мики обходил камеры, один из тюремщиков рассказывал Шарло о местных нравах: «Хуже всех эсэсовец... Он здесь живет, полкилометра от тюрьмы, ему домик отвели. Приезжает к вечеру, начинает допрашивать. Его немцы называют «первым мастером». Подвешивает за ноги...» Воронов предложил: «Что если заехать к этому мастеру?..» Шарло и Хосе согласились.

Все прошло гладко: эсэсовец не успел даже схватиться за револьвер. Воронов достал из шкафа папки, взял с собой. Когда они отъехали, было еще темно. Они столкнулись с жандармами. Водитель разогнал машину, маленький «ситроен» петлял, как заяц. Выскочили...

Девушки постарались, приготовили замечательный обед: как раз накануне Ив, которого звали «главным интендантом», приволок четырех баранов и бочку вина. Пили, пели, обнимали друг друга. Пьер, старый приятель Мики, в сотый раз говорил:

— Вот так история!.. Ведь мы были уверены, что нас утром расстреляют... А вместо этого сижу с ребятами и пью вино...

Морис лежал в шалаше. Он спросил: «Где Жако?» — «С ним кончено»,— ответил Деде. Морис сказал: «Это хорошо. А то меня мучило, что он уйдет...»

Мадо, наконец-то, увидела Медведя. Великан, а глаза у него детские... Она доверчиво сказала:

— У меня был русский друг. Давно. В другой жизни...

Старалась припомнить все русские слова, какие знала. И вдруг грустно улыбнулась:

— К чёрту пошлет...

Воронов засмеялся:

— Ты зачем это выучила?

— Так у вас гадают.

— Плохо тебе гадали... — Он дружески ее обнял.— К сердцу прижмет — вот это по-русски... Завтра у нас большой праздник — годовщина Революции...

Деде встал:

— Выпьем за русских. Только, Медведь, ты не так сказал: это и наш праздник...

Воронов думал о большой битве: скоро возьмут Киев. Его трудно взять — широкая река, крутой берег. Наверно, пошли в обход... Обязательно возьмут... Он вспоминал другое лето — степь, запах полыни, Дон... Он идет рядом с Сергеем. Оба молчат — слишком горько... Там все изменилось. Где Сергей? Может быть, на Днепре?..

Мадо еще не могла опомниться. Болела спина, ноги — ее избили плеткой после того, как она укусила немца. Она успела приготовиться к смерти. Вчера она думала об одном — в отряде «Сэмпе», наверно, ждут...

Смерть казалась ей избавлением от пыток и только, дальше она не заглядывала, ни о чем не вспоминала. И вдруг в камеру вошел Деде...

Пахнет гнилыми листьями, дымит костер. Мики поет:

Мы жить с тобой бы рады,
Но наш удел таков.
Что умереть нам надо
До первых петухов...

Девушка ласково смотрит на него.

Этого русского зовут Медведь. Он оттуда... Нет, Сергей не прижмет меня к сердцу, да и не нужно, все это позади... В глазах слезы, ничего — слезы от дыма. Как смешно горят еловые шишки!.. Значит, я буду жить?.. И жизнь снова ее охватывала, милая, беспокойная, непонятная, как огонь костра.

15

Лежан сидел в просторном кабинете адвоката Гарси и поджидал человека, которого называют Шатле. Смешно — представители ВОА влюбились в метро, у них что делегат, то название станции. Но почему этот Шатле опаздывает? Ночевка у меня на другом конце города, в метро не поедешь — облавы...

Стены кабинета были увешаны фотографиями хозяина дома в черной мантии —он подымал вверх руки, грозил кулаком, плакал крупными отчетливыми слезами и самодовольно улыбался. В сорок первом Гарси говорил, что «Петэн это Жанна д'Арк», а теперь ветер дует с другой стороны, и он завел знакомства с AS, когда выгонят немцев, окажется, что выгнал их не кто иной, как Гарси. Лежан зевнул. Есть возраст, когда человеческая комедия начинает приедаться... А Шатле все нет...

Наконец он пришел. Это был худощавый высокий человек с военной выправкой и с умными проницательными глазами. Лежан сразу понял, что перед ним не пешка.

Шатле заговорил о бомбежках французских городов: немецкое радио пытается восстановить население против союзников.

— Наша задача объяснить французам, что эти несчастья приближают час освобождения.

— Бесспорно,— ответил Лежан.— Но здесь встает вопрос об оружии. Я не берусь судить летчиков. Я говорю об этом с нашей, французской точки зрения. Понятно, что нужно уничтожить железнодорожный мост. Они бомбили семь раз. Городок почти целиком разрушен, а мост целый... За последние полгода мы взорвали двадцать восемь мостов. Мы могли бы сделать гораздо больше, все упирается в одно — нехватает оружия...

— Переброска дело сложное, но теперь, я надеюсь, будет лучше...

— Хорошо, оставим вопрос о переброске. Почему нам не дают того оружия, которое уже здесь? Зачем устраивать коллекции?

— Для дня высадки.

— Которая произойдет?..

— Тогда, когда произойдет. Не мы это решаем...

— В июне сорок второго мне передали, что незачем нападать на немцев, через несколько недель произойдет высадка. Этим летом, после убийства генерала Шаумбурга, ваш коллега говорил: «Зачем распылять силы? В августе они высадятся...» Теперь ноябрь... Говорят, что зимой десанту мешают туманы, весной и осенью — на Ламанше бури, а летом чересчур ясно. Я надеюсь на одно — когда русские подойдут к немецкой границе, эти господа перестанут изучать барометр...

Шатле улыбнулся.

— Русские хорошо воюют, это бесспорно. Я военный, господин Люк, и я могу оценить стратегию Красной Армии. Но мы должны считаться не с русским темпераментом, а с планами Америки и Англии. Говорят, что в Лондоне большие разногласия, генерал Арнольд, например, считает, что можно ограничиться бомбежками немецких городов. Имеются сторонники южного варианта. Много сил поглощает Италия...

— Значит сидеть у моря и ждать погоды?

— Никто не предлагает ждать...

— А как вы понимаете «аттантизм»?

— Это термин, придуманный вашими друзьями.

— Может быть, термин наш, сущность ваша... Я хочу сказать, что ВОА обрекает внутренние силы на бездействие.

— ВОА сбрасывает оружие в пределах возможности.

— И это оружие зарывают в землю...

— Его прячут от немцев. Я не понимаю, что вас возмущает, господин Люк?..

Лежан встал, прошел по длинному кабинету и, глядя в упор на Шатле, сказал:

— Может быть, так будут разговаривать после победы — в парламенте или на мирной конференции, но сейчас это дико... Каждый из нас может сегодня вечером оказаться в гестапо... Зачем нам лицемерить?

Шатле ответил спокойно; его волнение сказалось только в том, с какой яростью он погасил окурок сигареты.

— Хорошо, я буду говорить с вами не как представитель ВОА, а как обыкновенный француз. Я — католик, вы — коммунист. Мы сидим в кабинете Гарси. Нас могут сейчас арестовать. Нас будут пытать те же гестаповцы и расстреляют на том же пустыре. Вы абсолютно правы: нас объединяют немцы.

— Боюсь, что нас объединяет только это... Да и то не совсем... Многие из ваших ничему не научились. Они боятся нам дать оружие.

— И это правда. Год назад было иначе, тогда все восхищались героизмом коммунистов. Я тогда думал, что произошло чудо, и нация нашла единство. Но чудес не бывает... Положение улучшилось. На Востоке немцев бьют. Несмотря на ваш скептицизм, рано или поздно союзники высадятся. Италия кончается. В Германии настроение отвратительное. И вот показались первые трещины. Вас это удивляет? Меня ничуть... Возьмите мировые дела — там то же самое. Пока шли бои на Волге, не могло быть мысли о соперничестве, все аплодировали большевикам, а сейчас англо-саксы начинают подумывать о дележе, хотя медведь далеко не убит. Что вы хотите, еще Теренций сказал: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо»...

Лежан вдруг почувствовал, до чего он устал. Зачем он разговаривает с этим человеком? Ведь в каждом

слове Шатле чувствуется ненависть... И Лежан резко сказал:

— Хватит философии! Мы получим оружие?

— Как вы хотите, чтобы я вам ответил — как представитель ВОА или как обыкновенный француз?

Лежан не выдержал, улыбнулся.

— Прежде всего, как делегат ВОА.

— По мере возможности. Вероятно, после организации новых пунктов для переброски. В декабре или в январе...

— А теперь, как француз?

— Нет.

Когда Лежан уходил, в переднюю выбежал адвокат Гарси. Он схватил двумя руками руку Лежана и с дрожью в голосе повторял. «Герои! Наши герои!..» Лежан усмехнулся: еще одна фотография на стенку...

Грустный, он шел через город. Конечно, он знал заранее, что ничего они не получат, на свидание пошел только потому, что настаивали товарищи, но от разговора с Шатле осталась горечь — сам того не желая, Лежан заглянул в будущее. Наивные думают — кончится война, не будет фашистов и наступит рай... А впереди борьба, жесткая, суровая, может быть тяжелее этой... Разве вчерашние кагуляры примирятся с нами?.. Теперь мы им нужны: наши люди умеют умирать, в сорок третьем это еще ценится... А как они будут с нами разговаривать в сорок восьмом? Мавр сделал свое дело... Но мавр не уйдет. Как это горько! Хочется хотя бы помечтать о счастье...

Он ночевал у незнакомых на окраине города. Хозяйка, впустив его, ушла к соседке. Лежан посмотрел на часы — восемь. Мари должна притти в девять. Можно отдохнуть... Он сидел на продавленной кровати. В пустой комнате было холодно, он не снял пальто. Его захватила печаль, глубокая и плотная. К мыслям о будущем примешалось личное горе. Четыре года назад он был счастлив. Это было весной, он хорошо помнит, он пришел с работы. Мими шалила, вылила из его ручки чернила на ковер. Поль готовился к экзаменам, говорил: «Самое страшное тригонометрия»... Жозет играла ноктюрн Шопена... Ничего не осталось... Где сейчас Жозет?

Может быть, сидит в такой же холодной чужой комнате, ждет, когда за нею придут гестаповцы? Или в маки?.. Или погибла?.. Давно не было писем, плохая связь... Нет Поля. Нет Мими. Война может кончиться, а они не вернутся... Я и Жозет — два дерева с обрубленными ветками. Такие не зазеленеют.

Постучали. Это пришла Мари, принесла сына, маленького Жано.

— С ним спокойней — полицейские не придираются. Да и оставить не на кого. Люк, ты его еще не видел, похож на Пепе, правда?

Лежан улыбнулся — ему показалось смешным, что этот малыш может походить на Пепе. Разглядев его, он подумал — правда, что-то от Миле, глаза, движения, как тянется к матери и машет ручками, улыбка...

— Беспокойный,— сказала Мари,— настоящий сын Пепе.

— Сколько ему? Два?

— Что ты! Год и два месяца.

Лежан вспомнил Миле, и снова печаль его затянула, как водоворот. Миле всему радовался, чубастый, восторженный, была у него Мари, он только начинал жить. И убили. Как Поля...

Мари сказала:

— Анри предлагает взять в Венсенн двадцать автоматов. Им нужно шесть человек. Опытных...

— Когда?

— Девятого.

— Хорошо, завтра подберу. Казармы?

— Нет. «Солдатский дом».

— Я тоже пойду...

У Мари ребенок, а она работает, носит листовки, оружие... Могут расстрелять. Или пошлют в Равенсбрук, еще хуже... А если даже выживет... Он вспомнил жесткие глаза Шатле... Снова война... Счастья, обыкновенного счастья не будет...

— Люк, а ведь Жано будет легче, чем нам, правда?

Он поспешно ответил:

— Правда.

И задумался. Правда ли?.. Все книги, которым он верил, говорили одно — мучительно, но неизменно человек

продвигается вперед, иногда путь его извилист, иногда напоминает спираль, малодушным кажется, что нет ни смысла, ни цели в этом вечном вращении; а человек все-таки движется. Конечно, гестаповец хуже дикаря — зло тоже совершенствуется. Отчаявшийся скажет: праведники были и раньше. Были. Но раньше они действовали по наитию. Теперь есть сознание. Вот в чем залог счастья! Сознание победит. Неважно, если у Анри Лежана не будет того, что люди называют личной жизнью. Жизнь шире... Часто слышишь «чужое счастье». Но разве счастье сына Миле для меня чужое? Или счастье русских?.. Значит правда. Нужно только преодолеть горе. Я устал... А будет хорошо, если не через десять лет, через сто...

Он взял на руки Жано и стал петь песенку, которую любила Мими, когда была маленькой:

Наш козел искусник,
Он развел капустник...

Лежан не думал больше о будущем. Он не ощущал ни одиночества, ни тревоги, ни той войны, которая длиннее, чем война, ни холода чужой комнаты, ни тоски стареющего человека. К нему пришла жизнь — маленькая, шумливая, непоседливая; и суровый Люк, о котором Шатле рассказывал «увидел настоящего фанатика», Люк, который перед этим участвовал в нападении на эшелон и должен был через три дня швырнуть гранату в часового, сейчас ласково улыбался Жано. А Жано бил в ладоши.

16

Лео помнит февральский солнечный день. На улице продавали мимозу. Он купил веточку Леонтине. Он не мог избавиться от легкомыслия. Каждый день он говорил жене, что не сегодня завтра придет спасение. Еще вчера Леонтина его умоляла: «Ты должен спрятаться, забирают всех евреев...» Он отвечал: «После Сталинграда они не посмеют...» Он шел домой с мимозой, веселый, полный звучания предвесенней улицы. Леонтина караулила его на углу: «За тобой приходили... Счастье, что тебя не было!»

Он отослал жену к Соже: они сказали, что могут приютить Леонтину, приютили бы и господина Альпера, но это слишком рискованно, у них дети... А Лео пошел к Лансье. Ни разу после катастрофы он не был в «Корбей», не хотел компрометировать Мориса. Но теперь у него нет выхода, а Лансье говорил, что, когда понадобится, он сделает все для старого друга. Увидев Лео, Лансье так перепугался, что ничего не мог вымолвить. Какой ужас! Могли заметить, что к нему ходит еврей... «Здравствуй, Морис,— сказал Лео, не замечая, что происходит с Лансье,— как живешь? Говорят, ты женился?» Лансье не мог сдержать себя, крикнул: «Что тебе нужно?» Лео посмотрел на него и засмеялся: «Что мне нужно? Духовная пища. Твое мнение о дневниках Андре Жида. Рецепт пулярки по-перигурдински. Прощай, Морис! Не сердись, что я тебя потревожил, я стал ужасно рассеянным — ошибся дверью». Лансье побежал за ним, шептал в передней: «Если тебе нужны деньги, я могу немного дать...» Лео молча вышел. Лансье скрыл от жены это посещение — Марта чересчур впечатлительная, она расстроится... Когда она спросила, кто приходил, Лансье ответил: «Ошиблись, не тот номер дома...»

Три недели Лео прожил в мастерской Самба. Было жарко; полуголый Лео лежал на диване — Самба запретил ему выходить на улицу. Лео что-то насвистывал; а Самба писал натюрморт и рассуждал: «В общем люди сволочь. Я верил в искусство, но его делают люди и для людей. Значит, и это пакость. Нивель пишет стихи, знатокам нравится, а он сидит у немцев в префектуре, проверяет подозрительных. Я не жил в те времена, когда придумали Персефону. Боюсь, и тогда было гестапо, кого-то чествовали, кого-то четвертовали. Неинтересно...» Потом консьержке сказали, что у Самба прячется парашютист, и Лео пришлось убраться.

Он искал подпольщиков и напал на журналиста Бюиссона, который сказал, что может переправить Лео через Испанию в Лондон. Нужны только деньги... Леонтине удалось кое-что унести из квартиры. Бюиссон каждый день требовал еще тысчонку — «документы стоят дорого»... Когда все было продано, Бюиссон выгнал Лео.

Два месяца Лео прожил у крестьянина возле Мелена, работал на ферме. Потом крестьянин сказал: «Хватит!.. Я уже доказал, что я хороший француз, а вчера жандарм меня спросил, правда ли, что я прячу пшеницу...»

Доктор Морило устроил Лео у одного из своих пациентов, Левассера. Лео ночевал в комнате для прислуги — на седьмом этаже. Это его спасло: за Левассером пришла полиция, оказалось, он связан с какой-то подпольной организацией (Морило об этом не знал). Консьержка не сказала про комнату для прислуги. Узнав о том, как Лео спасся, Морило сказал: «Я еще не видал такого везучего человека...»

Лео сохранил жизнерадостность. Он утешал Самба, говоря, что искусство не пакость, да и люди не звери; в один из самых мрачных дней, когда он бродил без пристанища, как затравленный, он, улыбаясь, сказал доктору Морило: «Не хочется умереть до того, как напротив Академии изящных искусств не повесят нашего друга Ниveля»; он умел развеселить даже скупого скучного фермера. Встречаясь изредка с Леонтиной, он говорил ей о любви, нежно, вдохновенно, без горечи, без надрыва, и, слушая его, она на минуту забывала страшную действительность.

Он часто думал о своей прежней жизни; она ему казалась ничтожной и вместе с тем прекрасной; он говорил себе: благословляю и ее ничтожество! Он не отрекался от прошлого, но хотел достойно закончить эту пеструю вздорную и все же восхитительную жизнь. Он жадно искал людей, которые воюют с немцами. Этому общительному человеку хотелось и умереть не одному. Но среди его знакомых не было ни одного, связанного с организацией сопротивления. Он в горечи думал: я водился не с теми людьми... Вспоминая поездку в Киев, он завидовал брату: Ося жил не для виллы в Бидаре и не для ужинов в «Корбей», теперь он, наверно, воюет... В общем, русские оказались правы. Есть здесь справедливость... Я слишком легко жил... Глубокая печаль лежала, как ил, на дне его души, и он не всегда о ней догадывался.

Пришла осень. Его прятала старушка в темном, душном чулане. Он не выдержал — вышел под вечер, хотя

знал, что это неблагоразумно: в городе большие облавы. Восторженно вдыхал он свежий воздух. Были сумерки, и мир казался серо-лиловым. Он думал о Леонтине, о горе — он так и не увидел своего сына. Его звали Робером... Кто-то положил руку на плечо Лео. Поглощенный своими мыслями, он подумал, что это приятель. «Вы еврей?» — спросил полицейский. Лео вышел из себя: «Я француз, сударь, а вы немецкая корова...» Лео жестоко избили, потом отвезли в Дранси, который был пересыльным пунктом для евреев, отправляемых в Польшу.

И в Дранси Лео сохранял бодрость. Кругом плакали; было много женщин с детьми. Лео их успокаивал:

— В Польше лучше, чем здесь. Русские туда придут раньше, чем сюда придут союзники...

Он решил, что удерет, как только его привезут в Польшу. Он знает русский язык, сможет объясниться с поляками, доберется до фронта. Он скажет русским: «Во Франции я воевал и неплохо, не моя вина, что война там была плохая...» Его возьмут в Красную Армию. Кто знает, может быть, он еще увидит Осю, маму?..

Две тысячи человек ожидали отправки в Польшу. Некоторые убивались, говорили, что в лагерях дают непосильную работу, долго никто не выдерживает. Кто-то сказал, будто отсылают в Люблин или Аушвитц, а там убивают; но это показалось неправдоподобным даже пессимистам — зачем же тратить топливо и занимать вагоны?.. Многие были настроены бодро, как Лео; говорили: «Если бы нас собирались убить, все выглядело бы иначе...» Кормили в Дранси сносно; врачи тщательно осматривали всех; детям в пять часов давали хлеб с повидлом; устраивали даже театральные представления.

Старый бородатый еврей, уроженец Кракова, говорил:

— Вы понимаете, почему они с нами нянчатся? Они хотят нас убить под музыку. Я их знаю — это сумасшедшие палачи...

Лео улыбался:

— Они просто поджали хвост. Вы спрашиваете, почему они дают детям варенье? Очень просто — потому что Красная Армия перешла через Днепр. Я не знаю, кто раньше окажется в Польше — мы или русские?

Посадка была поспешной, и Лео по ошибке втолкнули в вагон для семейных. Из вагонов не выпускали. Было тесно. В углу стояла параша. Дети плакали. Один старик умер в дороге. Люди утешались одним: скоро приедем.

— Мне сказали, что нас везут на фабрику пуговиц,— говорила молодая красивая женщина, у которой была трехлетняя дочка. Что же, буду делать пуговицы, только бы оставили со мной Люлю...

А Лео мечтал о побеге. Если нельзя будет добраться до фронта, он разыщет в лесу партизан. Его возьмут — он хорошо стреляет. В Польше большие леса... Он вспоминал, как возвращался из Киева через Польшу. Тогда все гадали: будет ли война... А теперь мучаются, когда эта война кончится. Зачем людям столько горя? Непонятно. Могли бы петь, улыбаться, делать швейные машины, ходить в кино... Отец погиб на войне, бежал, пел — и пуля в грудь... Может быть, Осю тоже убили?.. Какое безобразие — живут, строят дома, рожают детей и каждые двадцать пять лет начинают разрушать дома, убивать людей! Кажется, это греки придумали — Сизиф катит камень на гору, и камень потом скатывается... Неужели нельзя иначе устроить жизнь? Ося уверял, что можно... Не знаю, может быть русские правы. Лучше было жить хуже, но сохранить порядочность. Для меня Франция — родная страна, я приехал мальчишкой, привык, полюбил. Если мне скажут — выбирай рай или Францию, выберу Францию. Но я убежден, что у русских нет Петэна, не может этого у них быть. Для того, чтобы был Петэн, нужно много таких людей, как Морис. Разве Морис плохой? Нет. Я его не осуждаю. Он никакой. Он играет в жизнь, а не живет. Кажется, и я играл... А может быть, нет... С Леонтиной было настоящее... Воевал я честно. Хотел и потом драться, только не нашел подходящих людей... Найду там...

Была ночь. Поезд стоял на какой-то станции. Лео припал к щели — старался вдохнуть немного холодного чистого воздуха. У вагона стояли немецкие солдаты, разговаривали. Лео понимал немецкий язык, прислушался — может быть, они скажут, куда их везут. Но немцы говорили о своих делах.

— Гюнтера вчера отправили на призывной пункт. У него грыжа, теперь это не считается. Ты был у Марихен?

— Да, она получила два письма от мужа и посылку.

— Где ее муж?

— В Италии.

— Это еще хорошо. Я хотел бы, чтобы меня послали в Италию, там по крайней мере тепло. А в России должно быть отвратительно. Ты читал, что мы оставили Киев?..

Лео больше не слушал. Он восторженно улыбался, шептал каждому: «Русские взяли Киев...» Измученные люди слушали равнодушно; что им Киев, их везут на каторгу...

— Я там родился,— сказал Лео молодой женщине, которая говорила, что будет работать на фабрике пуговиц.— Это удивительный город, он не построен, как все города, он выдуман, честное слово! Идешь и задыхаешься, не только от того, что там крутые улицы, от красоты... Но я не то хотел сказать... Самое главное, что русские колотят этих арийцев. У вас чудная девочка, я смотрю на нее и думаю, что она увидит хорошую жизнь. Не плачьте, я теперь твердо знаю, что нас освободят русские. У меня был сын. Я его не увидел, я был в армии, а он умер от бомбежки, когда жена ушла из Парижа... Горя было много, это правда, но теперь самое страшное позади...

— Почему вы думаете, что самое страшное позади? — спросила молодая женщина, вытирая крохотным намокшим платочком глаза.

Лео пожал плечами.

— Понятно, почему. Я вам говорю, что русские взяли Киев. Через месяц-два они придут в Польшу.

Еще день, и ночь, и снова день. Они приехали в Аушвитц вечером. Немцы закричали:

— Выходи!

Солдаты. Офицер с плеткой. Какие-то люди в полосатых костюмах, похожие на каторжников в американских фильмах. Грязь, жирная густая грязь. Холодно. Старушка не успела надеть ботинки, ее вытащили босой из вагона. Она просит:

— Господин офицер, разрешите мне обуться, на дворе очень холодно...

— Вы скоро согреетесь, мадам,— отвечает офицер.

Молодая женщина прижимает к себе девочку и поспешно приводит себя в порядок, вынула из сумочки зеркальце, пудреницу, губную помаду. Все чувствуют облегчение: приехали! Только зачем у офицера плетка? И люди одеты, как каторжники...

— Стройся!

Один из каторжников оказался рядом с Лео. Он сказал по-польски:

— Дайте сигареты.

Лео дал ему сигарету и спросил:

— Где мы?

— Это Аушвитц, то есть Освенцим... Дайте все сигареты, вам они не нужны, вас все равно сейчас убьют...

Лео не понял: каторжник слишком быстро говорил по-польски.

Офицер оглядывал каждого и говорил «налево» или «направо». Налево он отсылал молодых и крепких. Остальные выстраивались направо — больные, старые, дети. Лео подумал: очевидно, сразу распределяют, на какую работу — тяжелее или легче. Когда дошла очередь до него, офицер заколебался. Лео за последнее время очень постарел. До войны он походил на круглолицего, цветущего ребенка; теперь повисла кожа, погасли глаза.

— Сколько тебе лет? — спросил офицер.

— Сорок три.

Офицер усмехнулся:

— Меня не обманешь. Направо.

Лео оказался среди стариков и немощных; подумал: придется подметать бараки... Все равно убегу...

Как хорошо на свежем воздухе! Холодно, но в этом своя прелесть: осенью особенно хочется жить, что-то делать, бороться... Ветер разогнал облака, и показалась большая оранжевая луна, похожая на тыкву. Вот в такую холодную ветреную ночь убегу...

Старики плакали, стонали, молились. Их тоска невольно заражала Лео, и, чтобы поддержать себя, он запел свою любимую песенку:

Когда весна вернется,
Фортуна улыбнется...

— Куда нас ведут? — спросил он немца.

— В баню. Такие грязные свиньи должны прежде всего хорошенько помыться.

И солдат засмеялся.

Им приказали раздеться; потом, голых, выгнали из барака. Люди теперь громко кричали, все чуяли недоброе. Лео больше не пел. Тоска охватила его, как будто кто-то сжал сердце. Он вдруг понял: сейчас убьют. Он бросился на немца, ударил его кулаком по голове. Другой немец подбежал и втолкнул Лео в помещение, которое называли «баней». За ним захлопнулась дверь, обитая железом.

Гудел мотор. Наверху, как грозовые тучи, шли темные волны газа. Люди метались, истошно кричали. Лео знал, что умирает. Клочья жизни проносились перед его глазами. Он был с Леонтиной, говорил: «Мой друг, мы в раю...» Цвели лиловые глицинии на глухой серой стене. Во всем было огромное невыразимое спокойствие, спадал зной летнего дня, едва слышно звенел шмель. Леонтина положила голову на его плечо, ее волнистые волосы чуть шевелились. Она говорила: «Лео, позови Роба... Ты с ума сошел, как ты его не видишь? Ему три года. Он кидает оранжевый мяч»... И мяч над ними. Нет, это луна... А мама шепчет: «Лева, ты очень вырос, я тебя не узнала...»

Клубы газа опускались. Люди корчились, падали на пол. Лео чувствовал невыносимую боль, как будто в него засунули крюк и раздирают тело... Он упал лицом вниз и долго шевелил руками, словно плыл. Немец поглядел в круглое стеклянное оконце, повернул рукоятку; тела мертвых и полумертвых людей посыпались вниз.

В канцелярии сидел писарь Гейзлинг; его бледное лицо казалось маской из гипса. Он вытер перо тряпочкой и раскрыл большую книгу, похожую на все конторские книги мира. Гейзлинг тщательно написал:

Прибыло из Дранси 11/XI	1018	
ликвидировано		972
оставлено		46

Он недовольно подумал: почему «оставлено» двухзначная цифра? Нарушает порядок. Выше все трехзначные. Он снова проверил:

Прибыло из Вестербурга 21/X	1388	
ликвидировано		1041
оставлено		347
Прибыло из Вены 22/X	772	
ликвидировано		447
оставлено		325
Прибыло из Терезина 23/X	3862	
ликвидировано		3700
оставлено		162
Прибыло из Позена 28/X	406	
ликвидировано		212
оставлено		194
Прибыло из Лемберга 30/X	819	
ликвидировано		687
оставлено		132

Страница была заполнена. Гейзлинг взял линейку, аккуратно провел черту и стал подсчитывать. Внизу страницы он поставил:

Итого		
Прибыло	8265	
ликвидировано		7059
оставлено		1206

Потом Гейзлинг вынул из ящика «Берлинер иллюстрирте» и долго разглядывал фотографии киноактрис. В Берлине хорошо — девушки, вообще что-то происходит, а я должен сидеть в этом вонючем Аушвитце!..

Луна зашла. Небо было красным от зарева: в огромных печах до утра жгли трупы людей, привезенных из Дранси. Над Освенцимом стоял плотный черный дым. Этот дым проникал в бараки, в горло, в уши, в кровь; траурной пылью он садился на землю, на строения, на зеленоватое мутное лицо писаря Гейзлинга.

17

Никогда еще Минаев не видал Осипа таким веселым. Они праздновали Октябрьскую годовщину и взятие Киева. В хате было шумно — приехал редактор дивизионной газеты Чалый, майор Полищук, капитан Леонидзе. Было много тостов, песен, смеха. Чалый рассказал анекдот:

«Один американец спрашивает другого: «Почему русские хорошо воюют?», а тот отвечает: «Им это просто — они не боятся большевиков». Потом начали танцовать, и всех забил капитан Леонидзе. Полищук пел украинские песни. Осип вспоминал Киев, видел его улицы, сады. Рая с подругами у киоска, пьют фруктовую воду, смеются. Мама в саду с Алей, «сорока-ворона»... Была глубокая осень, а Киев почему-то представлялся Осипу летним, с темнозелеными деревьями, с пятнами солнца среди листвы. Он выпил полстакана водки и вдруг стал рассказывать Минаеву:

— Я когда познакомился с женой, еще ничего не намечалось, она предлагает «пойдем на концерт». Сидим, оркестр играет, она ко мне наклонилась, спрашивает: «Узнаете?» Я в этом ничего не понимаю, а признаться неловко, говорю «да». В антракте она спрашивает: «Что же, по-вашему, исполняли?» А играли они подъемное, не то «Кто с песней по жизни шагает», не то «Кармен», говорю: «Кармен». Она поглядела на меня, как будто в первый раз видит: «Ну и уши у вас»... Оказалось — Бетховен, какая-то симфония. Откуда мне это знать? А я расстроился, пришел домой, вдруг увидел себя в зеркале — уши никуда не годятся — я перед этим стригся, они и торчат. Конечно, я понимал, что Рая не про то говорила, но думаю — она и на уши намекнула, спрашиваю мать — уши у меня обыкновенные или нет? Мама говорит «как у отца», а я отца не помню — он уехал, когда я был маленьким... Потом — мы уж поженились,— я рассказал Рае про уши, она меня лет пять дразнила... Пишет она редко. Понятно, и я себя не могу заставить, а мне легче, Рая — сержант, другая обстановка... Соскучился по своим... Мне бы на Киев взглянуть! Близко... Моих там нет — эвакуировались. Но какой это город! Жалко, что ты не был. Летом там замечательно.

Перед Осипом сверкали солнечные блики, лавра, белое платье Раи, но описать это он не мог.

Минаев потом говорил Оле:

— Чудесный он человек! Я его не сразу разгадал. Вначале он мне действовал на нервы — скажешь что-нибудь, он в ответ обязательно процитирует, я про капусту, а он про диалектику. Только он не сухарь, совсем нет. Натура такая... Я, например, возьму и разведу телячьи нежности,

а он стесняется. Знаешь, почему у черепахи броня? Потому что она чувствительная...

Оля робко, но с какой-то внутренней уверенностью сказала:

— По-моему, он хороший, только несчастный.

— Несчастный? Почему?

— Не знаю. Так мне кажется...

— А ты видала, какой он был вчера веселый? Он, когда с тобой танцовал, мне ногу отдавил...

Она улыбнулась и упрямо сказала:

— Очень веселый... И все-таки несчастный...

Дней через десять мечта Осипа исполнилась: дивизию перекинули на Житомирское шоссе, и он увидел Киев. Когда он вышел на Крещатик, он растерялся — того Киева, о котором он столько думал, не было. Под холодным дождем чернели развалины. Осип видел много разрушенных городов, но с ними у него связывалось одно — война; а Киев ему представлялся мирным, таким, каким он его оставил. И вот он на Крещатике. Перед ним не Киев, а все та же война...

Он пошел на Саксаганскую — хотел поглядеть, уцелел ли дом, где они жили, и обрадовался, увидев, что дом на месте; постучался к соседям Яковенко; он их почти не знал, но сейчас они показались ему родными, ведь они жили рядом — давно, в годы счастья... Яковенко был в армии, младшую дочь, Ниночку, немцы отослали на работы, остались Мария Никифоровна и хроменькая Глаша. Увидев офицера, Мария Никифоровна засуетилась; она не узнала Альпера, но каждый военный напоминал ей мужа.

— Садитесь в креслице. Угостить вас нечем, обнищали мы под немцами...

Когда Осип назвал себя, Мария Никифоровна начала плакать.

— Что с вами? — спросил Осип.

— Вашу маму вспомнила, как она, бедненькая, пришла, говорит: «Высылают нас, не знаю, выживу ли, вы уж присмотрите за вещами, пока мои не вернутся...» Мы тогда не знали, что эти звери задумали. А потом пришла Ниночка, говорит: «Всех растерзали, и детей...» Я не поверила, а оказалось, правда... Как услышу про Бабий Яр, не могу удержаться, плачу... В вашей комнате они подлеца

поселили, он выискивал, кого в Германию отослать, Ниночку это он загубил...

Мария Никифоровна что-то рассказывала. Осип не слышал. Он сидел, не двигаясь; лицо его, обычно жесткое, замкнутое, выражало такое горе, что, взглянув на него, Мария Никифоровна сразу замолкла, а Глаша убежала на кухню и там разрыдалась. Осип, наконец, поднялся, тихо сказал:

— До свидания, Мария Никифоровна.

Она испугалась:

— Куда же вы?.. Посидели бы со мной...

— Нет, я пойду...

Когда он спускался по лестнице, ему пришло в голову: вдруг она спутала? Ведь Рая писала, что эвакуировались... Он постучал к Куликовым. Дверь открыла старая женщина.

— Я Альпер,— сказал Осип.— Вы были здесь, когда пришли немцы?

— Все время была, намучилась я...

— Мою мать видели?

Он спросил это с отчаянием, его голос дрожал. Куликовой показалось, что он в чем-то ее обвиняет. Она стала поспешно приговаривать:

— Мы-то ничего не могли сделать... Разве они нас спрашивали?.. Они и меня в комендатуру таскали, еле выбралась... Все сундуки перерыли...

— Я вас об одном прошу, скажите, вы видели мою мать и дочку?

— Вечером видела, а когда они уходили, я перепугалась, из дому не выходила...

Он пошел к Бабьему Яру. Пристально глядел он на дома, на деревья, на изрытую снарядами мостовую, как будто хотел запечатлеть в памяти каждую веху того пути, по которому прошли его мать и дочь. Он ни о чем не думал, не осознавал еще всей тяжести потери; только с трудом дышал; ничего не слышал; все шел, шел. Одна мысль пронеслась в его голове: какая длинная Львовская!.. Он не знал, что об этом подумала Хана, когда шла с Аленькой на смерть.

Никого кругом. Вдруг из лачуги выполз человек с мутными глазами пропойцы. Осип его окликнул:

— Где Бабий Яр?

— Рядышком, поверните направо и сразу увидите. Наверно, родственники у вас? Здесь уж приходили военные, спрашивали... Только ничего вы там не найдете. Когда немцы поняли, что придется им убраться, пригнали пленных, приказали всех повыкопать, чтобы следа не осталось. День и ночь жгли, дышать было нечем... Товарищ дорогой, покурить у вас не найдется?

Вот и Бабий Яр. Местами нет больше яра — засыпали. Песок, смешанный с золой. Маленькие обугленные кости. Мама приходила с кошелкой: «Ося, я тебе малины купила, ты ведь любишь малину... Какой дом построили напротив театра!..» Он обещал Але привезти из Москвы медвежонка, и Аля спрашивала: «Он кусается?..» Друзья, знакомые, с ними рос, жил... Осип стал на колени и приник к мокрому холодному песку.

Давно стемнело, а он все не мог уйти. Теперь он думал о Рае, о силе любви, которая подсказала ей ложь — всю мýку взяла на себя, хотела его оградить...

Я столько с ней прожил и не понимал, какой это человек. Удивлялся, что она пошла на фронт, не побоялась ни солдатской жизни, ни смерти. А она больше выдержала — писала мне про Алю. Каково было ей, матери?.. Я ее мучил, писал: хорошо, что эвакуировались, там всех убили, спрашивал, как Аля, выросла ли...

И в ту минуту, когда на песке Бабьего Яра он подумал о Рае, победила жизнь. Можно убить беззащитного, в страхе перед расплатой сжечь тело, развеять пепел, убрать свидетелей, но нельзя уничтожить в человеке самого высокого — любви. Рая оказалась сильнее убийц.

Осип не умел ни писать, ни говорить, не знал, как выразить то, что у него на душе; давно, еще под Сталинградом, он подумал: почему я такой бессловесный, вроде собачки Минаева, она, наверно, тоже что-то чувствует, только не может сказать... Два дня спустя он написал письмо Рае:

«Рая, моя дорогая Рая, прости, что мучил тебя вопросами. Теперь я все знаю. Я был в Бабьем Яру. Ты, конечно, и без моего письма знаешь, какое горе случилось. Слушай, Рая, мы должны с тобою это пережить, слова не

помогут ни мне, ни тебе, но я хочу взять тебя за руку и сказать — вот мы с тобой одни, случилось ужасное, и мы с тобой будем жить, не забудем ничего, с этим будем жить. Я теперь знаю силу твоего характера. Сегодня вечером мы уходим на передовую. Не знаю, сколько они убили в Киеве, говорят семьдесят тысяч, цифры ничего не передают, убили живых людей. Этого нельзя простить. Дорогая моя, крепись! После того, что я пережил в Бабьем Яру, я не боюсь слов, хочу сказать, что мы с тобой навеки и это крепче смерти.

Осип».

Увидев Осипа, Минаев сразу догадался — что-то случилось; но он не решался спросить, а Осип молчал. Только несколько дней спустя, когда они осматривали участок Минаева (немцы подвезли свежую дивизию, видимо к чему-то готовились), Осип сказал:

— И маму и Алю... В Бабьем Яру...

Минаев молча сжал его руку. Больше они об этом не говорили.

Последующие недели были такими, что Осип не мог задуматься над случившимся: развернулись тяжелые бои. Казалось, немцы воспрянули духом, вспомнили сорок первый и сорок второй. Конечно, трудно было воодушевить солдат, почти без остановки отступавших от Белгорода и Донбасса; немецкое командование отвело назад наиболее потрепанные части; вместо них поставили дивизии, привезенные с Запада. Как и при курской битве, немецкие солдаты свято верили в «тигры» и «фердинанды». Все были приподняты заданием: вернуть Киев, показать миру, что успехи красных были случайными.

Немецкое контрнаступление началось удачно; после ожесточенных боев немцы ворвались в Житомир, двинулись дальше к Киеву. Командир дивизии генерал Зыков поручил Осипу оборону участка, по которому проходили шоссе и магистраль. Генерал сказал: «Главное, лопата...»

Штаб полка помещался в неглубоких, наспех вырытых окопах на склоне маленького бугра.

— Дай мне Леонидзе,— сказал Осип адъютанту.

Но с Леонидзе связи не было. Минаев ответил, что у него спокойно, если не считать, что «долбят, как на

кургане, с ума сошли»... с Полищуком тоже связь порвалась, но оттуда приполз связной, сказал, что немцы подошли к окопам и отхлынули, третий батальон держится хорошо. Все это было в девять часов утра, а в четверть одиннадцатого семь «тигров» подошли к бугорку, где был штаб. Кругом рвались снаряды. Каждый раз приподымаясь, Осип глядел — все ли на месте. Его вызвал к телефону командир дивизии.

— Как у тебя? — кричал Зыков.

— Держимся. Двадцать шесть танков. Прошли через Леонидзе. Семь «тигров» здесь за линией. Попросите, чтобы «катюшами»...

Два «тигра» подбили, остальные повернули направо — на Полищука, третий батальон отошел. Вслед за танками двинулась немецкая пехота; она смяла Минаева. К концу дня штаб полка с двумя ротами оказались окруженными. Осип усмехнулся: как в сорок первом — придется вместо полка командовать двумя ротами. Они продержались сутки. Осип был контужен, разрывалась от боли голова, тошнило. Атаку танков отбили бутылками. К концу дня прорвались к штабу дивизион самоходок, который послал генерал, и батальон Минаева. Осип тотчас поехал к Леонидзе, подбодрил людей. Утром батальон контратаковал, вернул деревушку. День был относительно тихим. Генерал Зыков вызвал Осипа к себе. Осип доложил о положении: все восстановлено, только Полищуку нужно забрать назад хутор — он на возвышении, хорошая позиция... Но у Полищука потери большие. Если бы резервный батальон...

— Что с тобой? — спросил Зыков.— Выглядишь неважно...

— Контужен. Мелочь.

— Ты бы поспал часок.

— Нет, я поеду к Полищуку.

— Погоди, поешь раньше.

Генерал налил водки на донышко больших фаянсовых стаканов и вдруг увидел, что Осип спит. Чорт знает, как люди истрепались!.. Зыков старался есть потише. А Осипа, кажется, не разбудили бы и снаряды, три ночи перед тем он не ложился. Потом он вскочил, помотал головой и уехал к Полищуку.

— Минаев? Слушай, как у тебя?

— Ничего. Оказывается, война продолжается...

Еще четыре дня шли ожесточенные бои: атака, контратака. Потом стало тише: немцы перестали думать о Киеве. Осип проспал шесть часов, помылся ледяной водой — ударили морозы — и взволновался: почему нет писем от Раи? Написал ей: жив, здоров, ждет писем — «в тебе теперь вся моя жизнь»...

18

— Бандиты совершенно распустились,— сказал полковник Шуммер.— За две недели — четыре воинских эшелона... Не знаю, что их вдохновило — убийство генерального комиссара или наступление красных, но с осени от них нет житья...

— Виноваты и наши,— ответил Ширке.— Я здесь десять месяцев и слышу одно — «с русскими нечего церемониться». Вы понимаете, что речь идет не о церемониях. Конечно, во Франции все гораздо легче, но маневрировать нужно и здесь. Русская душа темна, через этот лес можно пройти, можно в нем и заблудиться. Если вы разрешите, господин полковник, я вас ознакомлю...

Он вынул из портфеля листок, исписанный мелким почерком, стал излагать свой проект. Шуммер слушал рассеянно, он думал: а кто, собственно говоря, этот Ширке? По званию — майор, а дальше?.. Ему покровительствовал Кубе. Беднягу Гайнца перевели в строевую часть, как только он назвал майора «самозванцем». Сам Ширке скромничает, говорит, что он «рядовой работник», даже назвал себя «прислугой за все». Наверно, связан с Гиммлером... Во всяком случае, не стоит его озлоблять. И когда Ширке замолк, полковник сказал:

— По-моему, это чересчур тонко для здешнего населения, чувствуется, что вы долго работали во Франции. Но попробуйте... Знаете что, господин майор, я восхищаюсь вашей энергией...

Ширке действительно много работал. Обстановка его угнетала. Вспоминая завтраки с Берти, он усмехался: теперь приходится пугать дикарей. Скрипкой забивают гвозди... Но он не роптал. Положение серьезное, крас-

ные наступают; именно здесь, в России, решится судьба национал-социализма. Пусть маменькин сынок Губерт или сибарит Шуммер думают о своей шкуре; такие готовы в любую минуту договориться с англо-саксами. А я буду жить, только если будет жить Третий райх!..

В этом наблюдательном и умном человеке была внутренняя ограниченность; его тонкость сказывалась лишь в сложности приемов и в остроте реплик, душа оставалась твердой и грубой, как камень. Слова фюрера для него были не выражением человеческой мысли, а заповедями. В Париже, для того чтобы утвердить господство Германии, он посещал изысканные рестораны, разговаривал с Нивелем о поэзии, держался непринужденно, почти легкомысленно. Здесь он спал в деревянном доме, полном клопов, ел картошку с салом, ходил по городу, не боясь, что его подстрелят, молился в костеле, хотя по паспорту был протестантом и в бога не верил. Он хотел навести порядок; ему мешали дураки и бездельники.

После разговора с полковником он приободрился. Давно уже он настаивал на присылке из Литвы отряда полицейских. Только теперь он смог это осуществить. На листочке, который он держал, разговаривая с Шуммером, значилось «громоотвод». Ширке выбрал молодого полицейского с тупым лицом.

— Как тебе нравятся здешние девчонки? — спросил Ширке.

— Я их не трогал,— ответил перепуганный полицейский.

— И глупо делал. Сегодня же выбери девушку получше и тащи к себе...

— Лучше я подожду...

— В таком случае я тебе приказываю — сегодня вечером ты возьмешь девчонку. Ясно?

Население города могло убедиться, что немцы охраняют справедливость: полицейского, обидевшего девушку, повесили на базарной площади. В разговоре с бургомистром Ширке подчеркнул: «Все эксцессы, на которые здесь жалуются, совершены полицейскими — немцы тут ни при чем»...

Ширке раздобыл в Минске некоторое количество галантереи и канцелярских принадлежностей; в местных

лавчонках появились кое-какие товары. Полевая жандармерия арестовала двух обозников, которые отобрали у крестьянки гуся. Ширке вызубрил десяток фраз по-белорусски и прочитал в управе речь: обещал жителям спокойствие, а в дальнейшем и ширпотреб.

Потом он занялся главным — Налибокской пущей. В лесах, кроме красных партизан, скрывались поляки, связанные с лондонским правительством. Ширке давно утверждал, что с ними нужно договориться, но Губерт трусил. Теперь полковник развязал Ширке руки. В домике лесничего он встретился с представителями «лондонцев» (так называл их Ширке).

— Вы нас не любите,— сказал Ширке,— это довольно естественно. Я не собираюсь вам объясняться в любви. Зачем друг друга обманывать? Но я знаю, что вы не любите также русских. Я предлагаю вам деловое соглашение — временно мы воздержимся от враждебных действий. Вы сможете очистить район от красных.

Через полчаса было подписано соглашение. Полякам предоставлялось право приходить в город за покупками, но только днем и мелкими группами, не свыше десяти человек. Обе стороны обязались вести действия против красных. Ширке считал это первой победой.

Из местных жителей Ширке доверял только заместителю бургомистра Василенко. Это был человек лет тридцати, одинокий и болезненный. При поляках он держал мелочную лавочку, занимался контрабандой и сочинял стихи на любовные темы. Когда установили советскую власть, он написал пьесу о легендах Белоруссии и послал ее на конкурс. Как только пришли немцы, он явился в комендатуру. «Вас репрессировали красные?» — спросил его немецкий офицер. Василенко ответил: «Физически нет, но духовно они меня угнетали, я — идеалист».

Ширке сказал Василенко:

— Мне нужен человек с незапятнанной репутацией, чтобы заслать к партизанам...

Поразмыслив, Василенко назвал помлекаря Пашу Кутаса, силача, но человека очень кроткого, о котором, смеясь, говорили, что он снимает шапку перед овчаркой полковника Шуммера. Кутаса ночью арестовали и жестоко избили плеткой. Утром его привели к Ширке.

— Я ни в чем неповинен,— сказал Кутас.

— Возможно. Вас арестовали гестаповцы, я к этому не имею никакого отношения. Я хочу вам предложить выход... Вы отправитесь в Налибокскую пущу, разыщете партизан, скажете, что больше не могли терпеть насилий. Нам нужно установить примерную численность отрядов и сигналы самолетам. Десять тысяч рублей и спокойное существование...

— Они меня убьют,— сказал Кутас.

— Они вас встретят с распростертыми объятиями — у вас самое хорошее удостоверение — вы снимете рубашку и покажете, что с вами сделали гестаповцы. Притом, мы вас не выпустим, вы убежите, мы дадим объявление в «Минскер цейтунг», обещаем награду за поимку...

Кутас хныкал. Ширке подумал: какого дурака мне подсунул Василенко! Я еще не видал у человека таких глаз — овца... Наконец Кутас согласился.

— Не думайте только всерьез перейти к красным,— сказал ему Ширке.— У меня ваша расписка. Если вы окажетесь нечестным, я ее перешлю в НКВД...

Прошла неделя, Ширке ждал вестей от Кутаса. «Лондонцы» сообщили, что произошла стычка с красными: шесть красных убиты. Для начала неплохо, говорил себе Ширке. Но настроение у него было скверное. Контрнаступление на Киев выдохлось. Красные зашевелились возле Витебска. Да и на юге трудно. Ганс пишет из Ангулема, что французы обнаглели, ждут десанта, повсюду террористы. Наступают дни испытаний...

Недалеко от города партизаны напали на колонну. Удалось поймать одного бандита. Гестаповцы долго его допрашивали, ничего не узнали. Полковник сказал Ширке:

— Придется повесить. Я его видел. Молодой, говорит, что студент, лицо обыкновенное, пожалуй, даже симпатичное...

— Если вы не возражаете,— сказал Ширке,— я с ним поговорю. Допрашивать не берусь, уж раз гестаповцы не добились... Мне хочется разобраться в психике этих бандитов.

Шуммер ответил «пожалуйста», а потом, смеясь, сказал Губерту: «Ширке мечтает о литературной карьере.

Начал с пуговиц, а кончит психологическим романом. Почти Достоевский...»

Человек, которого привели к Ширке, был действительно студентом педагогического института. Назвать себя он отказался, в бумаге гестапо стояло «Иван». Он поразил Ширке своим взглядом — глядел уверенно, даже вызывающе.

— Садитесь. Если хотите курить, курите. Если считаете, что не можете брать папиросы у врага, не курите. Я вас не собираюсь допрашивать. Я хочу с вами поговорить на общие темы. Кто знает — может быть, я сам колеблюсь в правоте нашего дела?.. Если мои вопросы покажутся вам трудными для ответа, не отвечайте. Я хочу спросить вас, почему вы нас ненавидите?

— Трудно для ответа? — Арестованный усмехнулся.— Каждый ребенок вам ответит. Потому что вы к нам пришли...

— Когда война, всегда кто-нибудь к кому-нибудь приходит.

— Вы начали...

— Мы считаем, что начали вы, а мы вас только опередили. Если вы победите, вы будете утверждать, что начали мы, если мы победим, мы вас заставим признать, что начали вы. Это неинтересно... Я думаю сейчас о другом. Мы пришли в вашу страну как представители более высокой культуры, это бесспорно, достаточно понять, что чувствуют наши солдаты в ваших домах, лишенных примитивного комфорта. Вы можете отрицать расовую теорию, но не факты,— мы действительно выше вас. Почему вы молчите?

— О чем мне с вами разговаривать? Ваши соотечественники вчера меня жгли каленым железом. Вот ваши высоты!

— Вы заносчивы от ощущения своей неполноценности. Вы поглощены одним — ненавистью.

— Не только...

— Чем же еще?..

Глядя в упор на Ширке, человек, который называл себя Иваном, ответил:

— Презрением.

— Забавно!.. К чему? К методам гестапо?

— Не только. К вашей философии, к вашему комфорту, лично к вам...

— Вы наглец, но я понимаю — терять вам нечего. Есть нечто низкое в вашем стремлении принизить врага. Вот перед вами я, немец. Вы сказали, что вы меня презираете. А разве вы понимаете, почему я воюю?

— Может быть от тупости — выполняете приказ, хотя вид у вас скорее подлеца, чем тупицы, может быть от жадности — продавали у себя подтяжки, а здесь вы царь и бог, в лучшем случае вы воюете потому, что вы уверены, что ваша Германия выше всего.

— Как будто вы не уверены в том, что ваша советская Россия выше других стран?

— Я ошибся, когда сказал, что вы скорее подлец, чем тупица, вы и то и другое. Как вы можете сравнивать самопожертвование с самодовольством? Наша идея шире нашей страны, хотя вы могли заметить, что страна у нас не маленькая...

— В чем же широта вашей идеи? В размахе вашего нахальства?

— Это очень просто. Кто здесь с вами? Мошенники, пропойцы, неудачники. Вы сами это чувствуете, вам даже неловко их показывать на официальных церемониях. А с нами Тельман, я думаю, что это самый порядочный немец. Его я не презираю, нет, я его уважаю, меня не смущает, что он немец. И вас я презираю не за то, что вы немец, а за то, что вы фашист.

Ширке махнул рукой — можно увести... Он утомился от разговора. Да, такого не переубедишь... Это борьба насмерть — мы или они. Он сказал полковнику Шиммеру:

— Жалко, что при этом разговоре не было наших «бисмарковцев», они ведь до сих пор считают, что с большевиками можно договориться... Вы его повесите?

— Придется...

— Пожалуй, такого я расстрелял бы...

Сам того не осознавая, Ширке был потрясен человеком, с которым только что разговаривал. Но когда полковник переспросил: «Значит, по-вашему, лучше расстрелять?»,— Ширке опомнился и ответил: «Нет, все-таки лучше повесить — доходчивее для населения»...

Ночью он плохо спал: думал о будущем, думал угрюмо, настойчиво и вместе с тем бессвязно, эти мысли походили на невралгическую боль, он чувствовал, что на Германию надвигается буря.

Партизана, который называл себя Иваном, повесили девятнадцатого декабря. Несколько дней спустя, а именно двадцать четвертого, Ширке ужинал у полковника Шуммера. Елку украсили ватой и бумажными флажками. Денщик прекрасно зажарил гуся. Губерт принес патефон. Услышав старую песенку о девушке под липой, Ширке почувствовал, как комок подступил к горлу: эту песню пела когда-то его мать. Ширке был сентиментален, рассказ о несчастной любви, засушенный в книге цветок, звуки шарманки, зрелище заката доводили его почти до слез. Сейчас он был подготовлен к грусти и вином, и музыкой, и воспоминаниями. Он закрыл глаза, ни о чем не думал...

Взрыв был страшным. Полковнику Шуммеру оторвало руку. Губерта убило. Ширке отделался царапинами. На улице стреляли. Когда Ширке выбежал на площадь, он увидел труп часового. Он начал кричать; подбежал солдат, который ничего не соображал от страха, только повторял: «Бандиты, бандиты»... Казармы были на окраине; там солдаты справляли сочельник. Прошло не меньше часа, прежде чем Ширке удалось выяснить, что именно произошло. Из Налибокской пущи пробрались партизаны. Они перебили посты, потом бросили ручную гранату в дом, где жил полковник. На следующее утро Ширке узнал, что с партизанами ушел заместитель бургомистра Василенко. От Паши Кутаса не было никаких известий.

Ширке написал сыну: «Здесь теперь трудно, но я, как прежде, уверен в нашей победе. Ганс, будь готов умереть за фюрера и за Германию!»

19

Отряд не потерял ни одного человека, перебили около двадцати немцев, взорвали дом полковника, взяли много оружия и продовольствия. Выпив коньяку, Василенко размечтался:

— Кончится война, напишу пьесу — про партизан и про немца. Поглядели бы вы на этого Ширке!.. Обязательно напишу и пошлю на конкурс.

Вася улыбнулся:

— Ты потребуй, чтобы меня включили в жюри — первая премия обеспечена...

Гранату в дом полковника бросил Вася — настоял, что должен бросить именно он — за Ивана. И потом волновался: вдруг там никого не было? Конечно, Василенко видел, как к полковнику пришли гости, но могли в последнюю минуту куда-нибудь уйти...

Два дня спустя отправили в город Настю; она вернулась с хорошими вестями — капитан Губерт убит, полковник Шуммер тяжело ранен. Василенко огорчался, что не убили Ширке: «Я его знаю — это главный гад...» А Вася успокоился: немного их проучили...

Он не мог забыть Ивана: вместе провоевали год — Иван убежал из лагеря в Тростянце. Часто по ночам они беседовали. Иван, будучи студентом, изучал мировую литературу, помнил наизусть множество стихов, пересказывал прочитанные им романы. Вася называл его «живой библиотекой». А Вася говорил об архитектуре — о пирамидах и о московских особняках, о куполе Софии, который «держится, как на ниточке», и о небоскребах. Порой говорили они о своих сердечных делах. Иван был влюблен в одну студентку, которой нравился другой, усмехаясь, он повторял:

Эта старая история
Вечно новой остается...

Вася не знал, как рассказать о своем счастье, которое длилось всего одну ночь, но которое казалось ему длинным, сложным и непонятным; он иногда только выговаривал вслух милое имя.

В обычное время люди растут, взрослеют, стареют, подчиняясь ритму годов, и как о странностях говорят об одном, что в нем сохранилось много детского, о другом, что он до срока постарел. Душевный опыт, который отличает зрелого человека от юноши, приобретается медленно. Иначе складывается душевная жизнь в годы испытаний: люди тогда и теряют и приобретают необычайно быстро; исче-

зает понятие возраста, сердце одновременно и черствеет и становится особенно восприимчивым; мир сужается — холм для солдата, лес для партизана, и этот мир ширится, потому, что от обнаженности чувств, от ощущения кровной связи с другими человек начинает жить не одной, а многими жизнями.

Нине Георгиевне Вася казался чересчур простым. До войны он скорее приглядывался к жизни, чем жил. Разумеется, ему были знакомы трудности, лишения, но он не знал опасностей, искушений, того духовного лабиринта, в котором блуждали многие юноши Запада, обеспеченные и, казалось бы, счастливые. То, что представлялось матери простотой, было отрочеством, еще свободным от настоящих испытаний. Кажется, только Наташа чувствовала, что за внешней простотой Васи скрываются глубокий ум и большое сердце, но Наташа тогда была девочкой, и, чувствуя душевное богатство Васи, она его не осознавала. Теперь он часто думал: если увижу Наташу, она меня не узнает. Минутами он думал об этом со страхом: вдруг они окажутся друг другу чужими? Но сердце подсказывало: этого не может быть, они живут одним, поймут друг друга с полуслова. Он несколько раз писал ей, давал письма товарищам, которые пробирались на Большую землю, но не знал, дошли ли эти письма. С самолета дважды им сбросили оружие, табак, газеты, а почты не было. Он никогда не спрашивал себя: ждет ли его Наташа; знал, что после ночи в Минске не может быть ни у него, ни у нее ничего другого. В партизанском отряде были девушки, вокруг Васи разворачивались романические истории — влюблялись, ревновали, расходились. Близость смерти развязывала былые клятвы, стирала воспоминания. А Вася не мог себе представить другую женщину, кроме Наташи. Не раз он задумывался над силой своего чувства, пробовал над собой подшучивать, но стоило ему подумать — милая моя, курносенькая, как ирония пропадала.

Он стал прекрасным командиром, тщательно подготовлял операции, заражал бойцов своей храбростью. А в тихие вечера он продолжал думать о мирной жизни, возвращался в мыслях к своей работе, видел светлые ясные дома, вычерчивал на клочках старых газет, перед тем как их раскурить, планы будущих городов. Накануне войны

его прельщали небоскребы. Теперь у него были сомнения: идея небоскреба родилась от желания преодолеть пространство. Чем больше машин, чем гуще сеть метро, тем наивнее нагромождение этажей — преодоление пространства останавливает прыжок камней вверх. Вася думал о городах, похожих на сады, о стиле эпохи, которая все еще ищет своего выражения — ведь не только заводы у нас и не только бетон!.. Архитектура прежде казалась ему индустриальным строительством, теперь все чаще и чаще он тосковал об искусстве. Развитие техники, думал он, идет такими темпами, что нет раздельных периодов, все переплетается. Чертовски увлекательно... И все-таки это иллюзия,— чем выше техника, тем выше и материальные потребности. Мы здесь страдаем от отсутствия электричества, партизаны двенадцатого года этих страданий не знали. Можно страдать от отсутствия охлажденного воздуха, оттого, что у тебя машина с шестью цилиндрами, а не с двенадцатью. Два года назад у немцев было больше техники, чем у нас. Почему же они не взяли Москвы? Теперь они придумали «тигры», и наши их лупят почем зря... Они пишут в своих газетах, что готовят какое-то «секретное оружие». Ничего это не изменит. У американцев тоже техника очень высокая, наверно и они что-то изобрели. Все это поражает, слушаешь в первый раз и раскрываешь рот. А решает дело другое — человек. Жалко, что нельзя дать анализ души. Вот Иван, или Аванесян, или Смирнов — наши советские люди, не выдающиеся, если угодно обыкновенные, никто о них не знает, кроме друзей, могли бы попасть в газету, это случайность, и я убежден, что душевно они несравненно выше наших противников...

Однажды они с Иваном заговорили о том, чтó лучше у нас и за границей. «Социальный строй у нас самый высокий,— сказал Вася,— следовательно в ряде областей мы впереди — в разрешении национального вопроса, в демократичности образования и так далее. А вот что у немцев лучше?..» — «У немцев,— Иван сказал это кисло, не хотелось ничего за ними признать, но условились — будут разбирать беспристрастно.— У немцев, судя по журналам, дома устроены удобнее».— «Ну, это деталь. А тебе, кстати, нравится их архитектура?» — «Не знаю. Я мало видел фотографий, и потом это твоя специальность».— «С инду-

стриальной точки зрения, я предпочитаю Америку, а с художественной... Кажется, Акрополь еще никто не переплюнул...» — «У американцев автомобили лучше...»—«А у нас музыка...» — «Это уж от внутренней сущности...» — «Вот именно». Вася оживился: «Я тебе скажу коротко, что у нас лучше — человек; по-моему, это главное, человек может сделать машину, а нет машины, которая сделала бы человека...»

Этот разговор произошел незадолго до гибели Ивана. А сейчас Вася подумал: почти никого не осталось из старых товарищей, Смирнов, Лунц, Рудный и я — четверо... Я в партизанах два с половиной года. И почему-то все мы, как только начинаем говорить по душам, говорим о мирной жизни. Может быть, людям в тихом тылу кажется, что мы заняты одним — войной, что ничто больше нас не интересует, что мы превратились в героев Майн-Рида или Купера. А все проще и сложнее. Без напускной романтики... Иван, когда шел на операцию, говорил про свою Милочку, потом вспомнил, как смотрел «Три сестры», и сказал: «Чехова трудно понять в ранней молодости...» Это были его последние слова. Пришли газеты, все накинулись, обрадовались, что в Москве продолжают строить метро, спрашивали, что идет в театрах. Вероятно, в этом наша сила: деремся отчаянно, а остались мирными людьми...

Теперь как будто ждать недолго — наши наступают... И тотчас Вася отогнал от себя эту мысль. Слишком часто увлекался, думал — через месяц придут наши... Лучше об этом не думать, придут, когда должны притти. Мы теперь далеко, здесь до тридцать девятого была Польша... И все-таки он улыбался при мысли — Витебское направление...

В ночь на двадцать девятое декабря они произвели новую операцию. Васе сообщили, что в поезде едут какие-то важные немцы. Специалистом по минам считался Лунц. Нужно было замести следы на свежем снегу — немцы были настороже. Примерно в шестистах метрах от колеи залег Вася с товарищами. Когда раздался взрыв, немцы из задних вагонов бросились врассыпную. Застрочили пулеметы партизан. Ходил на операцию и новичок — Паша Кутас.

— Страшно? — спросил его потом Вася.

— Страшно,— ответил Паша.

— Ничего, так полагается. Потом привыкнешь... Мне и теперь каждый раз страшно, только привык...

— Как же страшно, если привык?..

— Вот именно так — привык к тому, что страшно...

Новый год встретили торжественно. Слушали речь Калинина и улыбались: хорошо! Сейчас и в Москве слушают... Часы бьют... Пили сначала за Сталина, потом за Красную Армию. Потом пили за каждого: Лосев (его называли «наш АХУ») припрятал три ящика с немецким ромом.

Встал Смирнов:

— Выпьем за жену нашего командира и за всех жен.

Вася заулыбался широкой улыбкой — за эту улыбку Наташа его прозвала «кот-мурлыка». С Новым годом, Наташа! Знаешь ли ты, что я жив? Бьется сердце, это так странно... В апреле осколок мины попал в руку, часики сломались. А сердце бьется... Та ночь продолжается, она была самой короткой в году, и она самая длинная, длиннее жизни. Милая моя, курносенькая!..

20

Дивизия, в которой служила Рая, перебазировалась, и письмо Осипа пролежало на полевой почте два месяца. Рая давно была готова к страшной вести; а накануне Нового года приехал военный корреспондент, побывавший в Киеве, он рассказал про Бабий Яр. И все же Рая еще надеялась. Сколько раз она говорила себе, не на что рассчитывать, но где-то таилась надежда — вдруг ушли в село или кто-нибудь их спрятал... Только прочитав письмо Осипа, она поняла, что Али нет.

Сержант Кузнецов, один из лучших снайперов дивизии, огромный молчаливый сибиряк, до войны был охотником. Он сам походил на лесного зверя, только глаза у него были ласковые и наивные. Однажды он сказал Рае: «Не знаю, как немца назвать? Если сказать «зверь», медведь обидится. Медведь, когда сытый, разве он пойдет на человека? Никогда. А немцу лишь бы терзать...» Он

трогал Раю своей непосредственностью, душевной чистотой. Никто в роте не узнал, что младший лейтенант Раиса Альпер получила дурные вести; а Кузнецову Рая сказала:

— Муж написал... Мать его убили и нашу дочку, Алю. В Киеве...

Голос ее не дрогнул; спросила Кузнецова, как у них в роте — все ли благополучно, и ушла. А Кузнецов долго думал — откуда у нее столько спокойствия?

Когда-то Рая могла заплакать от резкого слова Осипа, могла всплакнуть и без причины, объясняла Вале «на меня находит»... Да, тогда было всего вдоволь: и сна, и хлеба, и слез. Говорят, что горе сушит сердце, как засуха землю. Сердце Раи оставалось живым, отзывчивым, только теперь у нее не было ни слез, ни жалоб, ни той внешней печали, которая помогает человеку перейти от острого отчаяния к налаженным будням жизни. Разве, по тому, как бились ее ресницы, как глуше становились слова, можно было догадаться, что она переживает. Ее личное несчастье казалось ей самой и безмерным и маленьким; если для других жестокие дни боев перемежались мечтами, иногда фронтовой идиллией, иногда веселым смехом вокруг костра, то Раю не покидало ощущение общего горя, оно стояло над ней, как стоял красно-черный туман над горевшими селами Смоленщины. Она вспоминала, как в санбате умирал ее бывший напарник Костя Белов. Он был на пять лет моложе Раи, казался ей мальчиком. Умирая, он все говорил о какой-то девушке, улыбался ей сухими, темными губами, кричал: «Танечка, я сейчас, сию минуту...» Она вспоминала, как они нашли ров, а в нем лежали грудные дети с почерневшими сморщенными личиками. Вспоминала и другой день: пахали, женщина шла за старой, очень худой коровой; корова не выдержала, упала на борозду, натянулись постромки, в ее больших глазах были слезы, а женщина стояла рядом и тоже плакала...

Когда при Рае говорили «мы им отплатим тем же», она качала головой: нельзя отплатить тем же. Никогда немецкая мать не переживет того, что пережила она, когда узнала про Бабий Яр... «Мстишь?» — спросил ее как-то Белов. Она ответила: «Нет. Воюю». Она воевала, потому что не могла жить, пока не повергнуто то страшное, что

газеты называют «фашизмом». И это ощущение необходимости, разумности войны ее поддерживало: люди дивились—хрупкая женщина, она выносила все тяготы окопной жизни лучше многих рослых и сильных. Два месяца она пролежала в госпитале — осколок мины попал в ногу, кость не была задета, но рана медленно срасталась. Она скрыла от Осипа, что была ранена. Когда она вышла из госпиталя, полковник предложил ей отправиться на курсы. Она отказалась, снова взяла снайперскую винтовку: «Нужно наверстать...» На ее счету теперь было пятьдесят три немца.

Наступление, которое началось в горячие дни июля, не прекращалось. То один, то другой фронт, прорывая вражескую плотину, устремлялся на запад; и когда бои затихали на юге, они вспыхивали на севере; они перекидывались с Днепра к Ильменю, из Новгорода в Ровно. Двинулся весь огромный фронт, но двигался он как бы порывами; враг не знал, где завтра разразится очередной удар. На участке, где стояла дивизия Раи, уже два месяца не было серьезных боев. Каждый день шумела артиллерия, бомбардировщики аккуратно скидывали свой груз, разведчики шарили по блиндажам противника. Создался свой распорядок: знали тихие часы, спокойные дороги — изучили привычки противника. Напарник Раи, Чубарев, говорил: «Наш сезон — снайперский...»

Был морозный ветреный день. Рая подумала: сегодня должен быть пятьдесят четвертый... Она сидела в теплой землянке, поджидала Чубарева. Вынула письмо Осипа и снова его перечитала. Вчера, получив письмо, она не могла думать ни о чем, кроме Али. Сейчас она чуть не вскрикнула: Осип!.. Она поняла все, что он пережил в Киеве; до нее дошли его горе, его любовь — невнятная, незаметная — и она ее не замечала,— большая, как жизнь. Рая почувствовала теплоту его дыхания, силу и вместе с тем детскую беспомощность его широкой костистой руки. Что ж это такое, ничего я не видела, думала — сухой, а каждое слово жжет... Искала любовь в книгах, а любовь была рядом. Как странно устроены люди, нужно столько страданий, чтобы понять самое простое!.. Ей стало бесконечно жалко Осипа — так может жалеть только любящая женщина большого и сильного человека, которого никому

в голову не придет пожалеть. Вечером напишу, все напишу, чтобы он знал, что мы действительно вместе, может быть, не будет былой легкости, но будем с ним жить по-настоящему...

В землянку зашел капитан Цыганков из седьмого отдела. Он замерз, бил обледеневшими руками по груди, тяжело дышал; потом его полушубок сдался, запотел, и капитан блаженно улыбнулся. Он рассказал, что прислали передвижку — будут передавать фрицам обращение «Свободной Германии», ну и музыку,— чтобы слушали.

— Я летом был на таком вещании — на Калининском фронте. Фрицы обожают музыку... Там был один лейтенант — переводчик, он себя называл крысоловом, песенку сочинил, как он играет на дудочке, а фрицы выползают из блиндажей. Смешно...

До немецких окопов сто метров. Ночи теперь светлые — молодая луна, много снега...

Было тихо, и вдруг раздались сладкие, пожалуй, чересчур сладкие звуки. Это вальс Штрауса. Рая его играла... Она на минуту забылась — вспомнила Киев, счастье. Снег был зеленоватым. Вот бугорок и елочка — там у них НП... Еще один вальс, такой он грустный, что непонятно, как под него могли танцовать, под него бы плакать — у камина, с уютом, с носовым платочком...

Немцы открыли сильный огонь. Капитан Цыганков ругался:

— Не дали передать обращения...

Больше не было ни вальсов, ни тишины. Рая жадно вглядывалась вдаль.

— Пятьдесят четвертый. Пятьдесят пятый.

Пальцы отмирали. Длинные ресницы поседели от холода.

Капитан Цыганков не мог успокоиться:

— Фрицы здесь дикие. Даже Штраус не действует. Обращения не передали...

Кузнецов усмехнулся:

— Ну и не передали. Обойдутся без обращения.

— Нужно их переубеждать.

— Переубедишь ты таких разговорами... Вот она двоих переубедила, это точно.

Рая согрелась в землянке. Горело лицо; клонило ко сну. Прибежал вестовой, рявкнул:

— Товарищ младший лейтенант, вас полковник требует.

Тихо он добавил:

— Поздравить хочет. Вы можете лесочком пройти, в это время он никогда не стреляет...

Рая шла среди елок. Повалил неожиданно крупный снег, а ветер улегся. В голове Раи звенел вальс, грустный и глупый. Она не думала ни об убитых немцах, ни о предстоящей беседе с полковником. Ей казалось, что она идет с Осипом по святошинскому лесу — когда они только поженились, поехали в дом отдыха, там встречали Новый год... Осип держит ее за талию и ничего не говорит. А снег кружится, и кружатся в голове звуки. И тихо, так тихо, как еще никогда не было на свете.

Снаряд обломал несколько елок. Когда вестовой, который шел далеко позади, подбежал к Рае, она больше не дышала.

— Что за дурацкая случайность,— кричал полковник.

Потом он сам на себя рассердился: почему дурацкая? Все здесь глупо и все логично — война... Вот девушку жаль. Хорошая была девушка.

Когда Раю хоронили, ее винтовку торжественно вручили снайперу Кузнецову. Он начал говорить твердо:

— Обязуюсь бить ненавистного врага...

Сорвался голос. Кузнецов заморгал и глухо, как будто говорил сам с собой, закончил:

— Большое горе у нее было — дите замучили. Никогда я этого не забуду...

Он поднял винтовку над головой, потом поднес ее к губам и бережно поцеловал.

21

Христине казалось, что она тяжело больна: двоилось в глазах, мучили то сердцебиение, то рвота. Лагерный врач Фуснер сказал:

— Ничего серьезного, возрастные явления и нервы, то есть критический возраст женщины плюс критическое положение Германии...

Он слишком много позволяет себе! Недавно он заявил Христине:

— Дантисты собираются удалять зубы через нос.

Она не поняла. Он объяснил:

— Никто не смеет раскрыть рот...

Несколько дней тому назад Христина была у своей старой подруги Энхен — праздновали выздоровление брата Энхен, Рихарда, который был ранен на Восточном фронте. Пришли родственники Энхен — чета Галле, недавно приехавшие из Берлина. Госпожа Галле, полная астматическая блондинка, кудахтала:

— Это такой ужас! Фриц заболел, его лечат синим светом, ничего нет удивительного — он подымался, а дом начал гореть, лифт застрял между этажами, Фрицу сказали, чтобы он спрыгнул, но у него отнялись ноги. Разве это не кошмар? Я купила ему ко дню рождения севрскую вазу, теперь невозможно найти в магазинах что-нибудь приличное, а это была замечательная ваза, ее привез один отпускник из Франции, он хотел пятьсот марок, отдал за полтораста, наверно она стоила тысячу. Доктор Винтер сказал, что она музейная, и, можете себе представить, ваза тоже пошла прахом!..

— Я не понимаю, почему допускают эти террористические налеты,— сказала Христина.— Наверно, есть конвенция... Господин Кирхгоф вчера сказал мне, что его шурина засыпало в подвале.

Рихард глупо рассмеялся:

— Засыпало? Бывает... Что касается меня, я предпочитаю все бомбежки мира русской артиллерии.

Заговорили о военных перспективах. Господин Галле сказал:

— Новости скорее грустные, но не нужно падать духом... Фюрер сказал, что его нервы выдержат, это главное.

Госпожа Галле поднесла платочек к глазам:

— Мои нервы уже не выдержали...

Рихард снова глупо рассмеялся:

— Фюрер сказал — быть иль не быть. «Вот в чем вопрос»... Я перед войной видел «Гамлета», мне не понравилось. Но, конечно, интересно, как все это кончится?..

— Кончится хорошо,— ответил господин Галле.— Русские напрасно рассчитывают на второй фронт. Союзники

и в этом году не высадятся, полгода, как они топчутся между Неаполем и Римом.

Доктор Фуснер, который до этого молча уписывал свинину с кислой капустой, вытер рукой усы и ухмыльнулся:

— Вы думаете, что русским теперь нужен второй фронт? Ничего подобного... А вот один здешний коммерсант недавно мне преподнес: «Хоть бы они скорее высадились — пока нет красных...»

— Какой позор! — воскликнул господин Галле.

Рихард загоготал. Христина почувствовала, что ее душат слезы, и выбежала в переднюю.

Полтора года, как она служит в лагере. Ей опротивели и русские лица и русские песни. Будь ее воля, она всех бы убила... Некоторые из этих дикарок прикидываются послушными, одна даже заявила Христине, что хочет после войны остаться в Германии. Христина ей не поверила. Она не верит ни одной русской — все они хотят, чтобы немцев разбили. Достаточно поглядеть, как они радуются бомбежкам!.. Христина пробовала все — и била их по щекам и ласково разговаривала. Ничего не помогает: они ее ненавидят. И Христине страшно: если красные ворвутся в Германию, эти девки ее задушат.

Особенно возненавидела Христина Галочку. Эта певунья — зачинщица, ее слушаются, она подбивает других. Девушка в таком положении должна быть грустной, а Галочка вдруг начинает смеяться. И ко всему, она нравится мужчинам... Однажды Христина пришла на завод — господин Кирхгоф попросил послать к нему на постирушку рыжую Олю. Был перерыв. На ящике сидела Галочка, а рядом с нею француз. Христина невольно им залюбовалась: как нарисованный — тонкий овал лица, орлиный нос, черные блестящие глаза... Молодые люди были увлечены разговором и не заметили Христины. Она не понимала, о чем говорит француз, но говорил он так восторженно, так необычайно, что она замерла. Наверно, объясняется в любви... Ох, эти французы, они действительно сумасшедшие! Разве может немец так разговаривать? Густав, даже когда мы считались женихом и невестой, говорил обстоятельно, спокойно... Этой девчонке везет. Ну что в ней хорошего? Нос, как пуговица... Христина раздраженно крикнула:

— Что вы здесь делаете?

— Сейчас перерыв,— спокойно ответила Галочка.

Христине хотелось ее ударить, но она сдержалась: достаточно, что ее ненавидят русские, зачем обращать на себя внимание французов?..

Галочка часто себя спрашивала с целомудрием и взыскательностью девушки: что у нее с Пьером — дружба или больше?.. Никогда они об этом не заговаривали; встречались только на людях; порой Пьер украдкой гладил руку Галочки, шептал «милая». Она его называла Петей. Он научился говорить по-русски, коверкал слова, но говорил бойко. Иногда в воскресенье им удавалось встретиться на берегу чахлой мутной речки, радужной от масла. Не было там ни деревьев, ни птиц — только шлак, каменные стены, копоть, но эти прогулки казались им восхитительными; с понедельника они начинали гадать, удастся ли встретиться в следующее воскресенье.

Пьер знал, что полюбил Галочку. Знал и другое: он недолго протянет. Врач-француз откровенно сказал ему: «Одно легкое кончено. А при этих условиях...» Смерть в лагере многим казалась избавлением; но Пьеру было трудно умирать — только теперь он узнал, что такое жизнь.

До войны Пьер мало задумывался над окружающим: он брал слегка иронический тон, когда при нем говорили, что нужно переделать общество. «Чем больше все меняется, тем больше все остается попрежнему»,— повторял он любимую поговорку отца. Доктору Морило удалось внушить сыновьям, что скептицизм — признак зрелости; порядочный человек презирает существующие порядки и вместе с тем понимает, что лучше не будет. Старший брат Рене иногда спорил с отцом. А Пьер не успел ни в чем разобраться — когда разразилась война, он был мечтательным и смешливым подростком. Да и война вначале показалась ему нелепой игрой; одни уверяли, что Даладье защищает человеческие ценности, другие возражали — все это комедия, дело в рынках, в сырье.

Школой жизни для Пьера стал плен. Это была тяжелая школа. Люди в лагере постепенно опускались, проступало все худшее, что было в них заложено. Были циники, они говорили: «Лишь бы выжить. А Петэн или

республика — это все равно». Были подлецы, готовые в любую минуту предать товарищей. Были мечтатели, в голодные и холодные ночи они вспоминали идиллию довоенной Франции — беседки на Марне, где рыболовы срывали жасмин, а влюбленные ели жареных пескарей. Были легкомысленные, готовые утешиться домашней колбасой, пересланной через «Красный Крест», или поспешными ласками немецкой солдатки. Почти никто из пленных не участвовал в боях; из войны они узнали одно — колючую проволоку лагеря.

Для Пьера Галочка стала источником жизни; его поддерживало глубокое душевное веселье этой девушки, гордой и скромной. Когда она рассказала, как переписывала старую листовку в Киеве, он задумался: «Да, так стоит жить...» Она часто его просила: «Расскажи что-нибудь. Ты столько знаешь...» Он много читал, помнил прочитанное, увлекательно пересказывал содержание романов, говорил о различных странах, как будто побывал там. Порой ей казалось, что она студентка, а Пьер профессор, хотя она была на пять лет старше его. Однажды она сказала:

— Ты куда больше знаешь, чем я.

Он ответил:

— Может быть... Но ты знаешь большее.

Они шли вдоль черной речки. Дул зимний резкий ветер. Пьер был грустный, кашлял. Галочке хотелось его утешить, она сказала: «Мне с тобой хорошо, Петя». И покраснела. Он ответил: «Мне тоже...»

А в понедельник он не пришел на завод. Он скрывал от Галочки свою болезнь. Она иногда спрашивала, что с ним — он кашлял, стоило ему поднять что-нибудь тяжелое, как он покрывался потом. Он отвечал: «Ничего. Затяжной бронхит...» Он не пришел и на следующий день. Только теперь Галочка поняла, как к нему привязалась. Что с ним? Болен? Или немцы перевели его в другой лагерь?..

Несколько дней спустя товарищ Пьера Роже сказал:

— Пьер в лазарете, я его видел, он просил передать тебе, чтобы ты не волновалась...

У Роже был озабоченный вид, и Галочка поняла, что Пьеру плохо. Жизнь сразу помрачнела. Ночью, убедившись, что все спят, Галочка уткнулась лицом в подушку

и долго плакала. Она не могла показать свое горе, знала, что должна быть бодрой: если и хохотуша раскиснет, что станет с другими?..

Два года неволи сделали свое дело; все чаще и чаще можно было увидеть в бараке заплаканные лица. Напрасно Галочка доказывала, что терпеть недолго. Прежде многие получали от родителей открытки, теперь, когда Красная Армия освободила почти всю Украину, оборвалась последняя связь, родной дом казался еще дальше.

Через день в барак приходила фрейлейн Штроссенройтер, рижская немка, с огромным угреватым носом. Она рассказывала, что на Украине не осталось ни одного дома, говорила: «Большевики кончаются».

До болезни Пьера Галочка регулярно сообщала девушкам новости: французский врач слушал лондонские передачи. Теперь все стало сложнее: Роже работал в другом цехе, и он никак не мог запомнить названия русских городов. Галочка ему строго сказала:

— Узнай все в точности. Если ты друг Пьера...

Христина последние дни стала несносной. Она подарила девушкам какие-то пуговицы из пластмассы, плакала, говорила, что их любит. И в тот же вечер накинулась на Варю, обвинила ее в краже пудреницы, избила. Пудреницу она нашла потом в своей комнате и, чтобы сгладить впечатление от тяжелой сцены, сказала Галочке:

— Почему бы вам не устроить в свободный вечер маленький концерт? Позовите девушек из других бараков, я не возражаю. Можете спеть или подекламировать. Выберите день рождения какой-нибудь девушки и скромно отпразднуйте.

Галочка сразу ответила:

— Хорошо.

Она предложила девушкам отпраздновать День Красной Армии.

— Христина взбесится,— сказала Варя.

— Она не поймет, да мы и не будем ничего говорить, просто отметим дату...

Убрали барак. Спели несколько песен. Христина сидела, одобрительно кивала головой. Песни были печаль-

ные, они вязались с настроением Христины: она думала — убьют, и никто меня не пожалеет...

Галочка хотела рассказать девушкам из других бараков про наступление Красной Армии — Роже на этот раз не подвел. Она стала читать стишки:

Есть карта, на ней значатся
Новгород, Пушкин, Луга, Гатчина.
Город Гдов на Чудском озере,
Именинница в Кировограде и в Мозыре,
В Сарнах, в Смеле, в Ровно, в Луцке,
Скоро в Одессе дождутся,
А сейчас именинница
Возле самой Винницы...

Девушки смеялись. Одна, не выдержав, вскрикнула:

— Маму освободили!..

Христина ничего не понимала; глядя на веселые лица девушек, она сердилась. Чего им радоваться? Такое страшное время, брат Энхен, мужчина, солдат, и тот не выдержал — на вокзале заплакал... Опять эта Галочка их рассмешила. Нахальная тварь!..

— Что вы читали?

— Поздравляла именинницу.

— А кто у вас именинница?

Некоторые девушки прыснули. Галочка серьезно ответила:

— Я.

Христина сдержалась, и вечер закончился благополучно. Всю ночь Христина не спала. Эти мерзавки празднуют наше несчастье!.. И я должна с ними жить. Какой ужас!.. Все клокотало в ее сердце. Гроза разразилась два дня спустя. Неожиданно Христина обрушилась на маленькую Настю. Эта Настя была хромой, ходила с палкой; непонятно было, зачем ее привезли в Германию. Она всегда ковыляла позади. Христина крикнула ей: «Живее!» Настя тихо ответила: «Не могу». Тогда Христина выхватила из ее рук палку, начала избивать девушку. Галочка, не помня себя, подбежала к Христине и ударила ее по лицу.

Галочку отвезли в тюрьму. Она сидела в темной камере и мечтала: Пьер поправится, придет Красная Армия,

они поедут вместе в Киев... Она не знала, что ее ждет: начальник лагеря кричал, что ее расстреляют, а надзирательница сказала с усмешкой: «Ты еще пожалеешь, что тебя здесь не прикончили...» В тюрьме она просидела недолго. Когда ее увозили, в сборной она увидела Роже, на руках у него были наручники. Он успел сказать:

— Меня арестовали — я обругал их офицера... Пьер умер двадцать шестого. Накануне я у него был. Он сказал, когда увижу тебя, передать — он о тебе думает, желает вернуться на родину, и потом он сказал, что русские взяли еще один большой город, я забыл какой...

Галочка не узнала, что, умирая, Пьер повторял ее имя; он так и не научился его выговаривать, шептал: «Гальошка... Гальошка...»

22

— Я определил бы наци, как двусловников,— говорил голландцу Костеру профессор Дюма. «Heil Hitler», «Juden schiessen», «England kaput»,«Verrückten Franzosen», «Sieg-heil»... Вот вам новая раса, для ее создания не потребовалось и десяти лет. Держит в руке резиновую дубинку, ест, испражняется, считает себя полубогом и все свои полубожественные мысли выражает в двух словах.

Костер торговал в Утрехте сигарами; его взяли за то, что он прятал у себя еврея. Он глядел на Дюма с восхищением: это профессор Сорбонны, и он шутит, когда хочется кричать от смертельного ужаса...

Узнав, что Дюма отправили в немецкий концлагерь, Лансье пошел к Нивелю:

— Он не коммунист и не еврей. И потом, дорогой друг, шестьдесят восемь лет это не возраст для таких экспериментов! Вспомните былое время. Я вас прошу от имени покойной Марселины...

— Я здесь бессилен,— ответил Нивель.— Дюма вел себя слишком неосторожно. Когда он оскорбил меня, я постарался об этом забыть. Но не все так широки... Впрочем, ничего ему не угрожает, насколько я знаю, его отправили в Веймар. Это город Гёте, пожалуй, самый идиллический уголок Германии...

Лансье с облегчением рассказал Марте:

— Оказывается, с Дюма не так плохо, доктор Морило любит сгущать краски. Я боюсь, что Лео попал в худшие условия. Бедный Лео, если разобраться, он не заслужил такого, но факты это факты, для них он прежде всего не ариец...

Над длинными бараками, над большим двором, где людей пороли и вешали, высились трубы крематория; они изрыгали черный удушливый дым. Этот лагерь называли «лагерем медленной смерти». Здесь не душили газами. Люди здесь умирали от работы в шахтах или в подземельях, где находились военные заводы, от голода и от жажды, от зноя или холода, от дизентерии, от чахотки, от дистрофии, от белокровия, от резиновой дубинки или от кожаной плети. Их привозили из Минска, из Праги, из Белграда, из Парижа, из Осло, из Варшавы, из всех городов, захваченных немцами,— привозили партизан и растерянных обывателей, коммунистов и священников, молчаливых подпольщиков и любителей невинных анекдотов, динамитчиков и ротозеев, привозили провинившихся немцев — отчаянных противников режима и отчаявшихся его адептов. Людям выдавали полосатую одежду каторжников. Они работали до изнеможения. Их сторожили молодые эсэсовцы и злые, хорошо выдрессированные овчарки. Когда человек падал замертво, его волокли в крематорий; и над идиллическими дубами, над соснами, о которых когда-то, по заказу Ширке, писал Нивель, стояло облако дыма — горела человечина.

Хорошо, что Мари не могла увидеть старого профессора, когда он хлебал из ржавой миски жижу с очистками картошки, вил веревки или чистил нужники. Непонятно было, как он еще держится. Помогало крепкое сложение. В роду Дюма все жили долго, а дед профессора, чеканщик, прославился — родившись при Наполеоне, он встретил двадцатый век с бокалом шампанского и заявил репортеру, который вздумал его интервьюировать: «Я слишком стар, чтобы понравиться девушке, но недостаточно стар, чтобы про меня писали в газете». Дюма напоминал кряжистое старое дерево Франции. И все же он давно свалился бы, если бы его не поддерживало страстное желание дожить до конца; он говорил людям, находившимся в одном бараке с ним: «Умереть сейчас это

попросту глупо, это все равно, что капитулировать. Мы должны пересидеть двусловников...»

Несмотря на усталость, он мало спал. Среди ночи, когда лаяли овчарки, он вспоминал далекое прошлое, девятнадцатый век, легкомысленный и героический, Париж с «проклятыми поэтами», с анархистами, с коммунарами, вернувшимися из Кайены, с фиакрами и с дрейфусарами, вспоминал лекции Пастера, пламенные речи Жореса, Золя, который, поправив пенсне, сказал студенту Дюма, вздумавшему было написать натуралистический роман: «Молодой человек, литература это прежде всего служение истине...» Дюма жил заветами людей, которых помнил — Кюри и Бертело, Мечникова и Реклю; всю свою жизнь он твердо верил в торжество познания. И вот за энциклопедистами пришли двусловники. Думали о продлении человеческой жизни и додумались до лагеря медленной смерти... Дюма хотел дождаться освобождения: иначе жизнь покажется незаконченной, как книга, из которой вырвали последние страницы.

Каждый день, каждый час Дюма боролся со смертью. Он знал, что самое важное не уступить ни в чем: он вежливо со всеми разговаривал, старался тщательно мыться, хотя это было почти невозможно, продолжал думать о своей работе. Не было книг; он от этого страдал и вспоминал давно прочитанное. Часто он повторял слова Паскаля: «Человек только тростник, самое хрупкое из всего существующего, но это мыслящий тростник. Капля воды может его убить. Но даже если вся вселенная ополчится на него, он все же будет выше своих убийц, ибо он может осознать смерть, а слепые силы лишены сознания. Итак, все наше достоинство в мысли...» Он поддерживал товарищей по несчастью, он знал, что Костера нужно развеселить, и рассказывал ему марсельские анекдоты, чеха Франца он посвящал в проблемы современной антропологии, с парижанином Дюкре вспоминал названия всех станций метро от Итали до Этуаль. Жадно впитывал он все, что напоминало о разноликой и сложной жизни. В бараке находился русский офицер Евстигнеев, пытавшийся дважды убежать из лагеря для военнопленных. Дюма с ним подружился, стал изучать русский язык, расспрашивал Евстигнеева о системе трудодней, о нравах ненцев,

о московском балете. Все интересовало старого профессора. Делар до войны разводил возле Тулузы кроликов, и Дюма охотно слушал, какими именно болезнями болеют кролики. Он мог заинтересоваться даже рассказами Костера о светлых табачных листах, получаемых с Суматры, хотя никогда в жизни не курил сигар. Он поддерживал других своим внутренним весельем. Ристич говорил: «На одном конце лагеря — крематорий, на другом — Дюма: профессор здесь представляет жизнь».

Был беспокойный день ранней весны, солнце уже пригревало, но с гор дул холодный ветер. Дюма и Костеру приказали перенести трупы умерших из бараков в крематорий. Дюма глядел на лица мертвых, из которых медленно выкачали радость, кровь, жизнь; были среди этих мертвецов и французы, и русские, и сербы, и поляки, были смуглые лица и белые, почти все молодые... Дюма вдруг почувствовал смертельную усталость, замирало сердце, лицо покрылось потом. В это время к нему подошел десятник, немецкий коммунист Эрих, которого посадили еще в сорок первом, и тихо сказал:

— Русские вступили в Румынию...

Дюма снова почувствовал, что он жив. Если они прошли от Волги до Прута, они скоро будут здесь. Нужно дождаться!..

Он как-то рассказал Эриху про Анну — хотел подчеркнуть, что встречал хороших немцев. Эрих вздохнул:

— Нас очень мало.

Дюма стал его утешать, как утешал когда-то Анну:

— Потом будет больше. Важно другое — вы все-таки существуете... Теперь не может быть таких границ, чтобы в одной стране царил двадцатый век, а в другой десятый. Война многое изменит. Эти двусловники уже провалились. Значит, немцы снова научатся думать...

Дюма усмехнулся — русские их сейчас учат и основательно, но об этом он не сказал Эриху; его трогал тщедушный и упрямый немец: он говорил себе: конечно, их мало, но один такой дороже, чем тысяча таких, которые спокойно суют бюллетень в урну, а потом идут обедать. Есть у коммунистов внутренняя сила, можно не спрашивать — коммунист он или нет, сразу видно; они хорошо держатся, помогают товарищам, не поддаются отчаянью.

Наверно, так вели себя первые христиане, когда нужно было не ставить свечку, а итти на арену, где тигры... Русские показали миру, на что способен человек, если у него сознание своей правоты.

Эсэсовец Гаген был в отвратительном настроении: утром он узнал, что обершарфюрер Клосс собирается его отправить во Францию. Конечно, Франция не такое уж паршивое место, но все говорят, что этим летом там начнется война... И Гаген почувствовал ненависть к французам: подлецы, четыре года ждали, а теперь, наверно, хорохорятся...

Была перекличка. Лагерники нерабочего барака выстроились; крайним в первом ряду стоял профессор Дюма. Гаген подошел к нему и, не говоря ни слова, ударил его дубинкой. Дюма не изменился в лице. Гаген еще раз ударил Дюма и крикнул:

— Чего ты молчишь? Можно подумать, что ты не замечаешь, когда тебя колотят?

— Я стараюсь этого не замечать,— спокойно ответил Дюма.— Я слишком долго жил и думал, чтобы придавать этому значение.

Гаген быстро отошел в сторону: ему показалось, что старик рехнулся, а Гаген с детства боялся сумасшедших.

Вечером Костер спросил профессора:

— Как вы могли удержаться, не крикнуть?

— Он мог бы ударить меня сто раз, я не крикнул бы — я не хотел кричать. Слушайте, это уж триста лет назад Паскаль понял: убить они могут, но если я мыслю, они передо мною бессильны...

23

Стояли чудесные дни; глядя на цветущие каштаны, на бледную детскую зелень сада, Лансье готов был забыть о нависшей угрозе. Но газеты, радио, знакомые быстро возвращали его к действительности. Не сегодня завтра союзники высадятся. Немцы тогда заберут всех мужчин в лагеря. Бомбить будут круглые сутки... Даже обычно спокойная Марта начинала то и дело плакать. Лансье храбрился, вспоминал Верден, говорил, что война страш-

нее, когда о ней думаешь, чем когда ты на фронте. Но он не мог успокоиться. Вдруг меня занесли в черный список? Руа может напоследок меня погубить — скажет, что Луи в Англии, Мадо куда-то исчезла, спуталась с террористами, бывший компаньон — еврей, я принимал у себя коммунистов, даже русских... Достаточно, чтобы получить пулю в лоб. А час спустя Лансье мучил себя другим: немцев прогонят, придут молодчики с револьверами, станут спрашивать: «Присвоили акции Лео Альпера? Раз. Написали некролог Берти? Два. Работали с Пино на немцев? Три. Хватит!» И пристрелят... Можно не верить речам Анрио, но каждый понимает, что добрая половина макизаров попросту бандиты. А другая половина — фанатики... И Лансье в ужасе думал: хоть бы скорее все началось! Самое страшное — томление. Цветут каштаны, идет весна, а я не знаю, сколько мне осталось жить?..

К Пино он привык. Мало ли к чему может привыкнуть человек?.. Откровенно говоря, все привыкли даже к немцам. Конечно, Пино не Руа, это честный человек, но до чего он примитивен! Довоенные годы, вечера в «Корбей», шутки Лео, разговоры о премьерах и вернисажах казались Лансье потерянным раем. Разве Пино способен почувствовать стихи Валери? Он, наверно, и не слыхал, что есть такой поэт... Для меня немецкая оккупация — сложная драма, достаточно вспомнить, как я переживал отъезд Луи, а Пино все берет грубо материально: «С немцами можно работать»... И вот меня могут убить именно за связь с Пино, хотя нас с ним ничего не связывает, кроме денег...

Как раз таким раздумьям предался Лансье, когда пришел Пино; пришел он в неурочное время, и Лансье сразу понял, что компаньон хочет сообщить ему нечто важное. А Пино не торопился, пересказывал слухи о предстоящем десанте, жаловался на боли в пояснице, хвалил погоду. Лансье злился: почему он тянет?..

Они работали вместе больше года, работали без всяких трений. Пино попрежнему считал Лансье легкомысленным, в его голосе часто звучали покровительственные нотки. Лансье обижался, он быстро забывал обиды. Они редко встречались помимо работы, и Лансье растерялся, когда Пино неожиданно заговорил о дружбе:

— Я думаю, что через несколько месяцев все изменится, но мы с вами не расстанемся, ведь мы пережили вместе самое страшное время...

— Вы убеждены, что через несколько месяцев все кончится?

— Убежден.

— Вам сказал Вэрней?

— Нет. Я вообще теперь редко встречаюсь с Вэрней. Если хотите, наши дороги разошлись...

Лансье не верил своим ушам. С каких пор Пино отрекается от своего зятя?.. Нет, это действительно сенсация! Очевидно, дела немцев из рук вон плохи...

А Пино продолжал:

— Вы знаете, что я рассматривал оккупацию как неизбежное зло. Одно дело терпеть дьявола, другое служить ему не за страх, а за совесть. Вэрней мальчишка, он играл и зарвался...

Лансье не выдержал:

— Но что будет с нами? Мы в ужасном положении... Они нам не простят, что мы работали с немцами.

— Кто не простит?..

— Террористы... Я употребляю выражение немцев, но вы сами понимаете, кто, маки́, или, как они себя называют, патриоты.

Пино снисходительно улыбнулся:

— Не нужно их брать всерьез. Я вижу, что и на вас подействовали речи Анрио. Вы знаете, коммунистов я не терплю. В лучшем случае это опасные утописты. Но кто им позволит наводить свои порядки? Мы, к счастью, не Польша, сюда русские не придут. Придут американцы, а это такие же нормальные люди, как мы с вами. Я не знаю, что думает де Голль, но в его окружении много вполне серьезных людей. Нас с вами рассматривают как честных французов — я это установил... Я не называю имен — немцы пока что в Париже... Я пришел к вам, чтобы вас успокоить. И предостеречь. Теперь не сорок второй... Хорошо будет, если вы воздержитесь от некоторых знакомств.

— Но я...

— Я знаю, что вы не занимаетесь политикой, но я встречал у вас Нивеля. Это одиозный персонаж, вроде

Вэрней. Лучше будет, если вы воздержитесь от встреч с ним. Конечно, сделайте это осторожно... Такие господа напоследок еще могут наделать много плохого... Дорогой господин Лансье, вы чересчур доверчивы, я это говорю вам как друг. А время злое... Мы будем держаться друг за друга — и мы выживем...

Когда Пино ушел, Лансье подумал: я был к нему несправедлив. Вся беда в том, что я эстет, я отравлен искусством, сужу о людях по внешнему впечатлению. Ясно, что у Пино оболочка сухого дельца, а сердце у него настоящего француза...

Лансье пришел в хорошее настроение и решил позвать старых друзей — доктора Морило и Самба; причем каждому из них сказал, подчеркивая значимость слов: «Нивеля не будет...» Самба сразу согласился. А Морило заставил себя упрашивать. Доктор стал последнее время нелюдим; его доконали тяжелые вести — Пьер умер в лагере для военнопленных, а Рене схватили и, не узнав, к счастью, что он живет по фальшивому документу, отправили в Восточную Пруссию. О смерти Пьера пришло извещение; потом приехал освобожденный по болезни военнопленный, рассказал, что Пьера тоже собирались отправить домой, но список где-то пролежал полгода. Когда этот военнопленный сказал, что Пьер перед смертью дружил с русской девушкой, доктор отвернулся и вытер глаза большим коричневым платком.

Лансье приготовил скромный ужин, который должны были украсить несколько бутылок старого бордо. Лансье теперь предпочитал бордо, говорил: «Бургундское для молодых — это вино бурных приключений и здоровой печени. А бордо согревает людей, когда им пошел шестой десяток...»

— Выпьем за лето, которое идет, оно будет грозовым,— многозначительно сказал Лансье.

Все чокнулись. Лансье был умилен: вот и встретились старые друзья!.. Нет бедной Марселины, ей все равно, кто победит, она уже не вернется. Неизвестно, что с детьми. Может быть, они погибли? Нет Дюма. Что с ним? Трудно доверять Нивелю, он действительно служит немцам не за страх, а за совесть... Может быть, Лео не выдержал испытаний? Вот его место в углу под лампой...

— Вспомним ушедших,— тихо сказал Лансье.— Мы остались, как на ковчеге среди потопа — трое...

Морило, который до того молчал, оживился:

— Ко мне приходила Мари, она все не хочет помириться с тем, что Дюма отправили в концлагерь, бегает в комендатуру, требует, чтобы приняли передачу... А кто знает, жив ли Дюма?..

— Нивель уверяет, что ему ничего не грозит, но я не верю Нивелю, он играл и зарвался.— Марта посмотрела на мужа с удивлением, и, почувствовав на себе ее взгляд, Лансье покраснел.— Да, я ему верил, считал его порядочным человеком. Меня обманывает искусство. Самба, вы это понимаете?..

— Нет. Нивель — это жалкая подделка. И потом я ненавижу искусство.

— По-моему, вы им живете...

— Да. Но я его ненавижу. Даже настоящее... Мы выдаем себя за пророков. А что мы делаем? Поем. Ноты пишут другие...

Лансье решил, что Самба выпил чересчур много бордо; да и не хотелось спорить — все располагало к сладкой меланхолии. И Лансье мягко ответил:

— Ваши пейзажи в этой комнате помогли мне выдержать часы отчаяния. И вот этот кувшин с полевыми цветами Мадо. Где она?.. Может быть, ее нет...— В голосе Лансье послышались слезы.— А посмотрите, какая тонкость цвета! Нет, мой друг, искусство — это самое высокое на свете. Когда я говорил, что искусство меня часто обманывало, я думал о другом... Я сужу о многом внешне, это моя слабость. Я верил Нивелю только потому, что он — поэт, тонкий человек, умеет подать мысль сжато, как парадокс. Теперь я вижу, что король гол... А вот Пино мне казался бесчувственным только потому, что он внешне груб, у него вид скототорговца. Потом я увидел, что он умен, ведет свою игру, но я не подозревал, что у него благородное сердце. Теперь я вижу, что он — настоящий француз, он ждет освобождения, как мы. Я его не позвал сегодня только потому, что хотел встретиться со старыми друзьями в интимной обстановке.

— Хорошо сделали, что не позвали,— сказал Самба.

А Морило захохотал:

— Пино — честный француз? Бог ты мой, кто же тогда подлец? Он на немцах заработал больше, чем за всю свою жизнь.

— Что вы хотите — мы все попали в переделку... Но Пино их ненавидит, он мне это прямо сказал.

— Еще бы, на то у нас май сорок четвертого. Два года назад он иначе разговаривал. А теперь герр Шмидт складывает чемоданы, нужно проветрить комнату, переменить постельное белье — скоро приедет мистер Смитс. Так или не так?

— Вы ставите на одну доску освободителей с угнетателями?

— Я? Нет... Пино ставит... Ему все равно, какого цвета кредитки. И знаете, что самое противное? Я его лечу. У него что-то с почками. Скажите мне, Самба, почему я должен лечить людей, которых я ненавижу? Выслушиваю, выстукиваю, пишу рецепты, радуюсь, когда они выздоравливают. Да, да, мне хочется, чтобы выздоровел даже этот подлец...

Самба улыбнулся:

— А вы его не лечите. Врачей много...

— Кого же мне тогда лечить? Пьера? Он умер... Скверно быть старым человеком и ни во что не верить... У вас чудесные нарциссы, госпожа Лансье...

И доктор Морило засунул в букет свое большое волосатое лицо.

24

Весна была ненастной, и мир казался недоделанным, таким он мог выглядеть при своем зарождении, когда твердь еще не отделилась от хляби. Грязь становилась стихией, готовой пожрать неугомонных людей. Тащили на себе полковые пушки, ящики с боеприпасами. Немецкий капитан не успел опомниться, как оказался в плену. Он сказал Минаеву:

— Как вы можете наступать при таких дорогах?..

Минаев улыбнулся:

— А разве вы не знаете, что мы обожаем бездорожье? Когда сухо, мы не можем передвигаться, уж такие мы оригиналы...

Рассказав Осипу, как поймали немецкого капитана, который застрял в грязи, Минаев, смеясь, добавил:

— Я ему говорю «почиститесь», не хочет, говорит: «За год не отчистить...» Слов нет, любят воевать с комфортом: мотопехота несется по автостраде, направо стрелка — «В Индию», потом снова стрелка — «Полная победа. Прекрасный вид на завоеванные пространства. Буфет с музыкой».

Шли не останавливаясь, потому что осточертело итти, потому что за грязью, за осинами, за мазанками, за серым занавесом дождя мерещился Берлин, потому что в письмах из дому все чаще проступала тоска—скоро три года... Шли под проливным дождем; вдруг подымался холодный ветер; промокшие люди зябли, шли и думали — может быть, теперь подсохнет; и снова лил дождь; капли пота смешивались с дождевыми каплями — вытаскивали застрявшее орудие; и снова шли: не было ни задора, ни упоения, скорее суровая сосредоточенность и то душевное облегчение, которое бывает у человека, когда он начинает понимать, что тяжелое, длительное испытание близится к концу.

Казалось, мало что изменилось за год. Так же Осип осматривал бугорки, ложбины, перелески, болотце, выискивая брешь в обороне противника. Так же саперы Сергея волокли бревна, строили мостики. Так же нараспев, подобно спиритке, вызывающей духов, Оля часами повторяла: «Розетка,— я Резеда». Так же корпел над стихами сотрудник дивизионной газеты Пичугин. Так же Крылов вытаскивал из недр человеческого тела куски железа. Так же генерал Зыков перед исчерченной цветными карандашами картой ругался: «Забрали Чадушкина, а хотят, чтобы я взял Сельцы...» Так же продвигалась вперед огромная армия: и казалось, что это — переселение народов, города, зажившее таборной жизнью, страна, шагающая по дорогам и без дорог.

Но многое изменилось с прошлого лета; тогда наступление представлялось порывом, броском; каждый смутно думал — вдруг выдохнется?.. Теперь наступление стало чем-то постоянным, буднями, жизнью. Все знали — не остановимся, пока не дойдем; а итти было трудно, почти невозможно. Ноги вязли в грязи; слипались глаза от уста-

лости. Генерал Зыков, шагая рядом с бойцами, вдруг подумал: бессонные мы, вот уж воистину бессонные!.. И, думая так, шел дальше, месил грязь.

Сержанта Губенкова ранило; он пошел на перевязку, потом вернулся в часть. Минаев сказал:

— Иди в санбат. Теперь не сорок первый...

Губенков был известен своим пристрастием к исчислениям. Он откуда-то вычитывал и записывал в книжечку самые поразительные цифры — сколько пшеничных зерен помещается в литровой бутылке, каково расстояние между Венерой и Юпитером; причем сержант не терпел ничего приблизительного, если при нем говорили, что до города километров десять, он тотчас вставлял: «Одиннадцать с половиной». Минаев его как-то спросил: «Сколько у тебя, кстати, волос?» Губенков невозмутимо ответил: «Это, товарищ капитан, еще не подсчитано».

— Чего ты в санбат не идешь? — рассердился Минаев.

— Никак невозможно, товарищ капитан.

Он помолчал и объяснил:

— Пройдено нашей доблестной Орловской дивизией от Сталинграда до этого, с позволения сказать, болота тысяча четыреста двадцать два километра, а до города Берлина остается семьсот восемьдесят.

Немцы то поспешно отступали, то неожиданно начинали оказывать такое яростное сопротивление, что, казалось, именно здесь они попытаются остановиться; а после недели отчаянных боев они столь же внезапно отходили. Пленные говорили о больших потерях, о тупости офицеров, о растущем недовольстве солдат; но сражались немцы стойко. И Минаев, выслушав офицера из седьмого отдела, который долго рассуждал о «пробуждении сознания» в немецкой армии, усмехнулся:

— Знаете, я чего боюсь, товарищ лейтенант? Как бы мы не оказались в Берлине прежде, чем их сознание пробудится... Получится у вас неувязка.

Сельцы немцы решили не отдавать; возможно, им нужно было выиграть время, или они рассчитывали на усталость противника. Местечко было расположено на высоте; немцы оттуда просматривали всю равнину.

Генерал Зыков нервничал; командующий армией то и дело звонил ему, не здороваясь, кричал: «Сельцы как?..»

Взять местечко поручили Осипу. Он облюбовал правый склон холма: сухо, можно протащить пушки. Налево от холма было болото, поросшее кустарником. Туда послали Минаева: он должен был отвлечь внимание немцев от главного удара. Три батальона с утра начали штурмовать подступы к Сельцам. Немцы ждали атаки справа — знали, что только там можно пройти. Едва наша пехота поднялась, как перед ней выросла завеса огня; четыре раза пытались взобраться наверх и откатывались. Батальон Минаева тем временем залег в болоте. Людей не было видно среди частого кустарника, и немцы считали, что там не более роты. Около полудня Минаев понял, что у Леонидзе и Полищука дело срывается. Связи с Осипом не было. Послать человека? Потеряешь три-четыре часа. И Минаев принял решение: попробуем взобраться отсюда... Люди походили на чудовищ — с головы до ног они были покрыты рыжей липкой грязью. Минаев полз по отвесному скользкому склону вместе с бойцами. Через час начался бой в самом местечке.

Генерал Зыков был на КП у Осипа. Едва стихла ружейная стрельба, он пошел в Сельцы — «виллис» застрял. Увидев Минаева, генерал не выдержал, рассмеялся. Минаев был страшен: рыжее лицо; грязь на гимнастерке успела высохнуть, казалось, это растрескавшаяся шкура бегемота. Зыков протянул руку.

— Что вы, товарищ генерал,— вскрикнул Минаев,— у меня не руки — огород...

Но генерал схватил его грязную руку и завопил:

— А вы понимаете, что вы эти проклятые Сельцы взяли?.. Мне еще ночью командующий звонил — кто отличится, представлю, а не возьмете...

Месяц спустя отпраздновали событие: Минаев получил орден Ленина. Мир был наполнен духом цветения, кружились, как снежинки, лепестки. Ужинали на свежем воздухе. Перед этим выпало несколько спокойных дней — подвозили артиллерию, боеприпасы: готовились к лету. Настроение у всех было приподнятое, радовались и награждению товарища, и хорошему вечеру, и близости развязки. Глядя на Минаева, Осип вспоминал курган в степи. Не думал я тогда, что будем сидеть где-то возле Польши, ужинать, смеяться... Мало кто из тех уцелел...

Принесли французское вино — забрали у фрицев. Минаев, попробовав, сказал:

— Впечатление лестное, но поверхностное...

Полищук, тот сразу попросил, чтобы ему дали водки:

— Этот квас не про нас...

Осипу и Леонидзе вино понравилось. Шариков отказывался, наконец заявил:

— Я вообще ничего не пью, но раз такой случай... И залпом выпил стакан водки.

Осип, Минаев, Леонидзе, Полищук, Шариков, Оля, редактор Чалый... Все они друг друга знают, живут дружно; выпили и размечтались. Говорили о том, что будет после войны. Будущая жизнь казалась им светлой, похожей на этот апрельский вечер. Полищук видел, как он вернется к любимому делу — он был учителем математики в Нежине. Чалый часто подумывал — хорошо бы после войны написать большую книгу — роман или мемуары, он только боялся, что не окажется таланта, да и другие опередят, но сейчас он верил, что напишет чудесно, люди, читая, будут плакать и смеяться. Леонидзе тосковал по молодой жене, по огням Тбилиси, которые реют внизу, как светлячки, по книгам — когда началась война, он был студентом второго курса.

Минаев сказал:

— Представляю себе, как мамуля обрадуется. Но она у меня строгая, напишет — ты не задирай носа, взобрался на холм, а слететь вниз куда проще...

Он думал о том, как обнимет свою мамулю, покажет ей Оленьку, мамуля скажет «внуков давайте»...

Шариков в «гражданке» был инженером, дело свое он любил, но сейчас почему-то он представлял себе первое послевоенное утро не среди грохота станков, а на речке, когда тихо-тихо, слышно, как шуршит камыш, как звенит муха. Никогда он не читал стихов, а пришло в голову самое что ни на есть поэтичное: хорошо бы послушать тишину, кажется, неделю слушал бы не отрываясь...

Осип ласково улыбался, шутил, переносился в мыслях от школы Полищука к слезам мамули. Сам он ни о чем не мечтал. Вот уж месяц, как он получил письмо от командира полка о смерти Раи. Ни с кем он об этом не говорил, даже Минаеву не сказал — хотел сказать, но не смог —

слова остановились в горле. Он потерял Раю тогда, когда нашел ее, когда впервые понял, чем она была в его жизни. Он даже не знал, получила ли она его письмо после Киева. Они должны были встретиться; сказать друг другу самое важное, и вмешалась смерть. Оставаясь один, Осип глядел на фотографию, которую Рая прислала ему из Ржева. «А для тебя я все та же — киевская...» Иногда ему начинало казаться, что свалившееся на него горе — наказание. Он не понимал, что такое счастье, не видел Раи, был сух. Даже мать его побаивалась... Но ведь это — война, Рая погибла, как солдат, майор написал «геройски воевала»... А война — длинная, она началась до войны, вот и не было времени... Только недавно он разобрался в своем сердце. Может быть, именно потому, что до войны он слишком мало жил своей жизнью, прошлым летом, когда они двинулись на запад, ему так захотелось счастья, тепла, Раи... И вот ничего у него нет — песок Бабьего Яра, могила на Смоленщине... Всю нежность он перенес теперь на товарищей. Полк — его семья. Мамуля Минаева ему кажется похожей на Хану, а когда Оля краснеет оттого, что Минаев ее дразнит, Осип вспоминает Раю. Кончится война, не станет и этого... Но не менее страстно, чем другие, Осип мечтал о конце — тоска, усталость, надежды других требовали: хоть бы скорее кончилось!..

— Пожалуй, это лето будет последним,— сказал Широков.

— Предпоследним,— ответил Полищук. (Он был убежден, что все кончится к зиме, но не хотел этого сказать из суеверия.)

Осип вдруг засмеялся.

— Помнишь, Митя, как ты поверил, что второй фронт открыли? Паршивое было время. Степь... Драпали...

— Я поверил в значение слов,— ответил Минаев,— решил, что они действительно джентльмены... Теперь-то они откроют, теперь им опасно не открыть — могут опоздать. Это, как мамуля говорит, «после ужина горчица»...

— С ними или без них, а скоро будем кончать,— сказал Осип.— За это есть смысл выпить, кто — отечественной, а я уж «кваску».

Утром Осип шел по селу; возле хаты он увидел сержанта Никитенко с молодой красивой женщиной. Осип улыбнулся:

— Знакомство завел?

— Что вы, товарищ майор!.. Жену нашел — она как раз перед войной к сестре поехала с дочкой. Не поверила... Я ее по имени называю, стоит, смотрит, как с того света пришел...

Женщина глядела на сержанта горячими глазами, и на длинных ресницах дрожали слезы. Она сказала:

— Зайдите в хату, товарищ командир, дочку посмотрите.

Девочке было лет пять. Она играла с пустыми гильзами. Осип взял ее на руки и покружил, как делал он с Алей. Он стал рассказывать сказку — спутал, все позабыл, но девочка слушала его, как завороженная, чуть раскрыв рот; потом она начала перебирать ордена и медали на его груди, улыбаясь, щебетала:

— Солнышко... Звездочка...

Он шел один по горячей пыльной улице села и улыбался; он почувствовал счастье, как никогда прежде его не чувствовал; и может быть оттого, что это счастье было чужим, еще светлее была его улыбка, чище мягкие теплые глаза.

Вечером генерал Зыков ему сказал:

— Нас перебрасывают на Третий Белорусский... Теперь так ударим, что больше они не опомнятся...

25

Весной особенной жизнью зажил этот лес, как все леса Франции; не только куковали кукушки и на сотни голосов свистели, верещали различные пичуги — леса наполнились человеческими голосами. К тем героям, которые пришли сюда в темные годы, теперь каждый день прибавлялись сотни и тысячи новых. В городах было уж по-летнему жарко, шумели грозы, люди шушукались о близком десанте, о том, как немцы будут расправляться с мирным населением. Маленькие листовки на заборах казались

приказами о мобилизации. И по тропинкам, которые вели в маки́, подымались рабочие и лавочники, врачи и землемеры, виноделы и студенты.

Отряд, которым командовал Деде, с апреля готовился к решительным дням: из центра передали, что после сигнала о начале высадки нужно парализовать транспорт немцев. Деде и Медведь наметили около тридцати наиболее уязвимых пунктов. Взвесив все, Воронов сказал: «Скорее чем за неделю фрицы этого не восстановят».

Партизаны весь май наступали, они освободили в Лимузэне сотню населенных пунктов. Как прежде, задержка была в одном: мало оружия.

Николь вернулась с новостями и хорошими и дурными:

— Высадка будет в ближайшие дни. Гюстав дал мне условленный сигнал. Передадут по радио из Лондона. Мы должны попытаться помешать переброске войск. С оружием плохо... Гюстав сказал, что так повсюду. Военный комитет обратился к населению — прямо говорят, что лондонцы не дают оружия партизанам. Гюстав считает, что это на самом верху... Представитель американской разведки Чарли заявил Вобану: «Вам дадим, но не ФТП — у них слишком много коммунистов»...

Деде усмехнулся:

— Вобана я знаю, учитель в коллеже, социалист. Все более или менее ясно. Очевидно, боши доживают последние дни, раз эти господа разоткровенничались... Так или иначе, мы должны сделать все. AS их не выручат, даже если американцы им подарят сотню танков...

Мадо хорошо помнит тот вечер. Пока Деде разговаривал с Медведем, она сидела на маленькой поляне, ела первую землянику, бледную и кислую. Потом пришел Медведь. Они давно подружились. Медведь теперь бойко говорил по-французски. Мадо его часто расспрашивала про Россию, он рассказывал с увлечением, чувствовал, что она не пропускает ни слова. Может быть, потому, что наступала развязка, он вспомнил сейчас самое трудное — лето сорок второго, Дон, разговор с Сергеем — где наведут мост, когда пойдут назад... Много раз до того он рассказывал Франс про отступление, но теперь впервые упомя-

нул о Сергее, сказал «капитан Влахов». Мадо сдержалась, не вскрикнула, только спросила:

— Как его зовут?

— Сергей.

Волнуясь, она теребила травинку.

— Какой он с виду?

Воронов рассмеялся:

— Не знаю, как ответить. Женский вопрос... Красивый, высокий, волосы у него светлые... А почему ты спрашиваешь?..

— Погоди... Ты мне сначала ответь — он или не он? Он, когда волнуется, откидывает голову и смотрит вот так — видишь?..

— Точно. Значит, ты его знаешь? Удивительно!..

— Ничего нет удивительного, он ведь приезжал в Париж. Познакомились...

— Он про Париж восторженно говорил, город ему понравился.

— Какой он теперь? Постарел?

— Смешная ты, Франс. Как же я могу на это ответить? Ведь я его до войны не знал. Молодой, моложе меня... Жена у него, это он говорил, а детей нет... Прекрасный командир и товарищ хороший...

Медведь так и не понял, почему Мадо вдруг стала необычно веселой, смеялась, дурачилась, прикрепила ромашку к его пилотке, говорила:

— Медведь с цветочком!..

Его позвал Деде: они поехали в группу Артура, которой было поручено взорвать железнодорожный мост.

Мадо продолжала улыбаться. Чудо, настоящее чудо! Я чувствовала, что он жив... (Ей не приходило в голову, что его могли убить после того, как с ним расстался Медведь, что были Сталинград, Курская дуга, наступление. Нет, ей казалось, что не позже чем вчера он послал ей телеграмму.) Нежно улыбаясь, она думала о нем. Другая у него жизнь. Он далеко, очень далеко. Но до чего он близкий, родной! Ближе, чем когда они сидели на скамейке под каштаном... Она не испытывала ни ревности, ни боли от этого слова «женился». На минуту задумалась — какая у него жена? Наверно, хорошая... И тотчас ее мысли вернулись к Сергею. Он вспоминал Париж в горькое

время, когда шел с Медведем по степи. И она, Мадо, для него стала частью далекого города — как старая уличка в Ситэ, или как карусель ярмарки, или как мальчишки, которые пускают в Люксембургском саду игрушечные кораблики. Удивительно, до чего бессильно время! Да и пространство... Вот разлучили, наверно никогда не встретимся, я и не знаю, нужно ли нам встретиться, наверное нет, но я с ним сейчас встретилась, обнимаю его, веду по лесу, говорю: это не каштаны — дубы, и не то лето, и не та Мадо. Меня зовут Франс. Я давно не видела кистей и мольберта. Я стреляю. Говорят, что я неплохо воюю... Но все это неважно. Я — Мадо. И неважно, что я тогда была художницей. Важно, что мы встретились, открыли друг друга. Это больше, чем открыть звезды или остров. Сергей, того, что было, не вычеркнешь. Ты меня спас. Может быть, не ты — ты уехал, любовь к тебе, но это то же самое... Ты меня привел в этот лес... Никогда я от этого не отрекусь, это — чудо, как чудо, что Медведь вдруг заговорил о тебе, он мог ничего не сказать, ведь он ничего не говорил полгода. Он мог попасть в другой отряд... Чудо! Чудо, что ты есть, милый! И ромашки твои, все ромашки. Я больше не гадаю, знаю все без гадания. Если рассуждать грубо, по-житейски, счастья не будет, а на самом деле оно было, есть, будет всегда, самое большое, горькое, тяжелое, чистое... Сергей!..

Деде и Медведь вернулись, когда уже начало темнеть. Радистка поджидала Деде:

— Передали: «В зеленом саду большое дерево».

Деде распорядился:

— Передать на все пункты — взорвать пути и мосты. Начать с Артура. Объявить всем, чтобы были готовы...

Он прилег на траву, сказал Медведю:

— Завтра высадятся... В общем пора...

В отряде все уже знали о боевой тревоге. Мадо улыбалась: день чудес!.. Какое сегодня число? Кажется, пятое. Нужно запомнить...

Мики послали к Артуру. И Мики, уходя, пел в черном лесу:

Мы жить с тобой бы рады,
Но наш удел таков,
Что умереть нам надо
До первых петухов.

Другие встретят солнце
И будут петь и пить
И, может быть, не вспомнят,
Как нам хотелось жить...

Снизу из долины, еще прикрытой плотным предрассветным туманом, донесся слабый грохот, как будто где-то далеко гроза: это взлетел мост на линии Тулуза — Париж.

Утром пришел Артур. Он один выбрался — их окружили немцы.

— Мики застрелил троих. Потом его убили... А моста нет.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

1

Ганс Ширке на террасе монтабанского кафе пил горько-сладкий вермут, когда прибежал унтершарфюрер Зайдель.

— Началось,— крикнул он.— Можешь попрощаться с дачной жизнью — нас отправляют в Шербур.

Ганс Ширке провел во Франции почти полтора года; вначале жизнь была действительно дачной — он гулял под аркадами Ля Рошелли, купался в море; было много винограда, морской рыбы, коньяку. Ганс загорел, возмужал; он писал отцу, что «готов вступить в поединок с судьбой». В идиллию вмешалось неприятное происшествие. Как-то вечером Ганс шел темной уличкой и увидел девушку, он посветил фонариком, убедился, что девушка недурна собой, и сказал: «Мадемуазель, я хочу вас проводить, нехорошо гулять так поздно одной». Он вежливо взял девушку под руку; та вырвалась и с криком убежала. Неизвестно откуда повысыпали люди. Расталкивая всех, Ганс пошел дальше. К нему подошла девушка, сказала: «Не обращай внимания на эту дуру. Ты слишком хорош для нее». Ганс снова посветил фонариком и увидел, что он в выигрыше. Девушка привела его к себе в жалкую хибарку. Ганс, впрочем, не глядел на обстановку: его пленила красотка. Уходя, он хотел ей заплатить, она отказалась: «Я сама хо-

тела бы тебе сделать подарок...» Он засмеялся: «Что ты можешь мне подарить, разве что французское королевство...» Потом он долго бродил по узким улицам старого города: хотел найти гадюку, она его вправду одарила — месяц он провалялся в лазарете. А сразу после этого полк «Фюрер» отправили в гористую Дордонь: там появились банды террористов. Когда под рождество убили Вальтера, Ганс Ширке поклялся отомстить «лягушатникам» — так называл он французов. Ворвавшись в один дом, он пристрелил всех и среди трупов оставил грудного ребенка — пусть гаденыш попищит — не скоро сюда заглянут...

Всю зиму и весну эсэсовцы воевали с партизанами. Хороша дачная жизнь!.. Но, конечно, в Нормандии будет пожарче. Здесь по крайней мере можно было посидеть в кафе, выпить, посмеяться...

Оберштурмфюрер Швабе думал, что они будут в Лиможе к вечеру, а они потеряли два дня — террористы окончательно разнуздались: возле Крессенака напали на колонну, пришлось выдержать настоящий бой. Мост у Гролейрака оказался взорванным. Третья задержка приключилась в Руффиньяке — около сотни эсэсовцев были убиты или ранены. Ганс вспоминал письма отца. Да, но в России это понятно—там люди привыкли жить в лесах, как дикари. А эти «лягушатники» способны только изготовлять духи и быть метрдотелями. Откуда они набрались прыти?.. И в лад его мыслям унтершарфюрер Зайдель говорил:

— Я был в Сербии, там что ни человек, то бандит, мы это знали заранее, жгли все деревни. Я был в России, возле Ленинграда. Там одна девчонка убила двух наших. Мы ее повесили за ноги. Мы там жгли деревни с людьми, так и говорили — ни домов, ни клопов, все, и детей туда же... А здесь мы сами виноваты, четыре года с ними нянчились. Когда я в Тулузе стукнул одну стерву, меня посадили на гауптвахту. Вот и результаты... Нет, с ними нужно разговаривать по-другому. В Тюлле наши повесили полтораста французиков, и правильно... Если мы хотим сбросить американцев, нам нужен крепкий тыл.

На следующее утро их снова обстреляли, смертельно ранили унтершарфюрера Зайделя, участника балканской и русской кампаний. Все были подавлены. Оберштурмфюрер Швабе сказал, что поговорит с начальником: нужны

решительные меры. Не гоняться же за террористами по лесам — это бесполезная трата и людей и времени...

Был хороший летний день. Маленький городок Орадур-сюр-Глан казался преисполненным глубокого мира. Зеленели вокруг луга, и с древним спокойствием пятнистые коровы окунали свои морды в яркий изумруд. У маленькой речки Глан сидели терпеливые рыболовы. Клонились к воде ивы, а тополя стояли задумчиво, как одинокие мечтатели. Городок этот был оазисом — вокруг не было ни лесов с партизанами, ни заводов, которые могли бы вызвать бомбежки. Здесь приютились беженцы из Парижа, из далекой Лотарингии, из Бордо; нашли работу испанские семьи, покинувшие родину после разгрома республики. Местные жители скрывали нескольких евреев — здесь спасались от печей Освенцима уроженка Калиша Сарра Якубович, парикмахер из Будапешта по фамилии Канцлер, Маргарита Симон из Парижа. Несмотря на то, что в Нормандии уже пятый день шли большие бои, люди здесь сохраняли спокойствие. Был субботний день, и некоторое оживление объяснялось отнюдь не военными причинами: в школах должен был состояться медицинский осмотр, из окрестных деревень приехали крестьяне — было объявлено, что по июньским карточкам будут выдавать табак; приехали и жители Лиможа, чтобы провести на свежем воздухе воскресный отдых, а заодно раздобыть фунт масла или немного зелени.

Был обеденный перерыв. Госпожа Авриль, старая хозяйка харчевни, шопотом говорила своим пансионерам, среди которых были и парижанка с детьми, и отставной военный ветеринар из Реймса, и служащий мэрии: «Сегодня я приготовила утку с репой...» Ветеринар рассказывал последние новости: «Десант не скинули...» В гостинице «Милорд» столовались две молоденькие учительницы, присланные на практику, они волновались, что опаздывают в школу, ушли, не кончив обеда. А в кафе «Глоб» старые крестьяне пили кислое легкое вино и рассказывали: «Говорят, что партизаны завалили туннель...»

Часы на церкви показывали два часа десять минут. На колокольне, как на всех колокольнях Франции, красовался маленький петушок. В небе плыли легкие облака. Парикмахер Брюяр мылил щеки краснолицего фермера.

Аптекарь Паско объяснял старухе, что лекарство нужно принимать не до еды, а после. Приехавшая из Лиможа молоденькая машинистка Кутюрье, забыв о том, что хотела достать масло, сидела под деревом и мечтала о счастье. В школах верещали разыгравшиеся дети, и госпожа Руссо говорила: «Тише, ребята, вы так и не поняли правила процентов...» Нотариус Монтазо читал газету. Доктор Дезурто, осмотрев новорожденного, бормотал: «Хорош!..» Тогда подъехала к городу первая машина с немцами; в ней сидел Ганс Ширке. Прочитав надпись «Орадур-сюр-Глан», он подумал: слишком длинное название для такого маленького города...— Он зевнул: мы чертовски устали за эти четыре дня, а впереди вместо отдыха Нормандия...

Немцы приказали всем жителям города собраться на базарной площади. Один старик ответил Гансу:

— Я болен, я не могу встать, я три года лежу...

Ганс засмеялся:

— А может быть, я доктор?..

Он сбросил старика с кровати и разбил ему голову прикладом.

На площади было много народу. Женщины прижимали к себе детей. Дети плакали. Привели несколько стариков и старух: их поддерживали внуки. Здесь были башмачник Совья, швея Зеллер, студентка Рузо, кузнец Ренoден, булочник Рено, перчаточница Мерсье, ткач Леблан, колесник Лепара, священник Лорик, плотник Дютре, землекоп Дуар, трубочист Ито, токарь Джианино, кондитер Бюиссон, учительница Кути, портной Бишо, почтальон Буисьер, мельник Пусса, каменщик Лашо, механик Бобрей, водитель Путаро, санитарка Эбра, упаковщик Жуо, счетовод Тессо, маляр Бертелеми, полировщик Тессо, здесь была крестьянская семья Тома, состоявшая из четырнадцати душ. Здесь было все население Орадура. Пришли и дети из двух школ; они смеялись, шалили — немцы сказали им, что на площади будут всех фотографировать. Но, увидев злые лица немцев, дети притихли.

Немцы тем временем оцепили городок; они рыскали по окрестным полям, проверяли, не спрятался ли кто-нибудь в траве. Часы показывали три. Все были в сборе. Эсэсовцы отделили женщин и детей; повели их в церковь.

Мужчин небольшими группами отводили в сараи и в гаражи. Потом немцы приступили к работе: поджигали сараи и гаражи. Всех, кто пытался вырваться из горящих построек, они убивали. Женщин и детей заперли в церкви. Кругом стояли эсэсовцы с пулеметами. Когда подожгли церковь, какая-то женщина, обезумев, выбросила из узкого оконца ребенка. Ширке не прозевал: он подобрал младенца и швырнул его в огонь.

Покончив с людьми, немцы начали выносить из домов все ценное, нашли шелк, ящики с вином, столовое серебро, продовольствие; все это они погрузили на машины. Потом они облили дома горючим и сожгли город. Ротенфюрер Клоц сказал:

— В России лучше горело, там много дерева...

Оберштурмфюрер Швабе посмотрел на часы:

— Без пяти десять, а мы приехали в два. Восемь часов это совсем недолго — все-таки целый город...

Орадура-сюр-Глан больше не было. Из города удалось уйти восемнадцати жителям. Все остальные погибли.

Вино, вывезенное из Орадура, эсэсовцы распили в соседних деревнях; они смеялись, пели солдатские песни, и крестьяне думали, что они справляют победу над союзниками. Ганс Ширке испытывал душевное облегчение: наконец-то он рассчитался с этими «лягушатниками»!.. Вспоминая, как кричала женщина, когда он бросил ребенка в огонь, Ширке ухмылялся: это им за Вальтера, за взорванный мост, за все мои мытарства...

На следующий день Ганс послал отцу письмо, он писал:

«Дорогой отец!

Все последние дни я душою особенно остро ощущаю твою близость. Террористы хотят нанести нам удар в спину, но это не удается. Вчера мы уничтожили настоящее осиное гнездо. Ты можешь быть спокоен — твой сын не сдастся и не раскиснет. От мамы я получил два письма, она, естественно, волнуется и за меня и за тебя. С нетерпением жду известий о войне на Востоке, впечатление, что вам удалось повсюду остановить красных. Целую тебя крепко. Гейль Гитлер!

Твой сын Ганс».

Старика, которого убил Ганс Ширке, звали Арманд Клаво, ему было восемьдесят два года, он помнил франко-прусскую войну. Ганс Ширке бросил в огонь Мишель Алиоти, ей еще не было двух месяцев — она родилась четырнадцатого апреля.

Полк «Фюрер» двигался на Пуатье. Ганс Ширке пел свою любимую песню:

Простая фиалка
Цветет на пути,
Сорвать ее жалко
И жалко уйти...

Дорога петлила среди дубового леса. Вдруг затрещали пулеметы; видимо, террористы были на верхушке горы. Эсэсовцы остановились, открыли огонь из орудий. Оберштурмфюрер Швабе сказал:

— Неслыханная наглость, но я думаю...

Никто не узнал, что именно он думал: на дороге разорвался снаряд, осколком был убит оберштурмфюрер. Партизаны теперь стреляли из немецкой противотанковой пушки. Бой длился четыре часа. Потом эсэсовцы повернули назад к Эймутье: надвигалась ночь, ехать лесом было бы неразумно.

На грузовик положили убитых; клали их второпях, и голова Ганса Ширке свешивалась вниз; его рот был приоткрыт; когда грузовик на ухабах подпрыгивал, голова Ганса Ширке тряслась, казалось, что он возмущен и кого-то проклинает.

Деде сказал:

— Вышло как будто неплохо. Что ты думаешь, Медведь?

Воронов рассмеялся:

— Совсем неплохо. Если их будут так встречать дальше, они могут опоздать к представлению...

Воронов думал о каменщике Хосе, который погиб в этом бою. Вчера он сказал Воронову: «Скажи, Медведь, я увижу мою Барселону?..» И еще Воронов подумал: может быть, вернусь в Ленинград и никого не найду из старых друзей?.. А может быть, проще — не вернусь?..

Поднялся ветер: и всю ночь шумели дубы, шумели торжественно, как будто они понимали, что чувствуют люди, как будто эти старые деревья знали, что для таких чувств у людей нет и не может быть слов.

2

«Ты чересчур логичен»,— сказал Осипу Лео, когда они встретились в Киеве и поспорили о счастье; Осип тогда удивился: «Как можно быть чересчур логичным?» С детства он любил ясность; может быть, поэтому так трудно далась ему наука сердца, где вместо теорем — головоломки и где исключения опровергают правила. Он и на войне старался соблюсти точность, порядок («аккуратно» дразнил его Минаев). Кадровые командиры пришли на фронт с готовыми представлениями о военных операциях, вначале они терялись от несоответствия между курсами, академией и тем, что увидели. Осип начал войну, плохо разбираясь в военном деле; хаотичность первых месяцев показалась ему естественной. Он научился воевать, воюя; как в каждом самоучке, в нем жило двойственное чувство — гордости тяжело доставшимся умением и благоговения перед наукой. Он восхищался мастерством, смелостью замыслов командования, говорил себе: чувствуется почерк Сталина... Однако еще год назад случайность, непредвиденная мелочь часто мешали проведению операции. Теперь выполнение было достойно идеи.

Такой артиллерийской подготовки Осип еще не видел. Он усмехался: газеты писали, что немцы изобрели самолет-снаряд — пускают на Лондон. Верны себе — ищут психологического эффекта, как будто весь мир это дамочка, готовая упасть в обморок. Наша артиллерия вернее: знают, куда кладут... С восторгом Осип глядел на развороченные доты. Чистая работа! Каждый снаряд спас много наших. Поэтому и наступать легко...

Они шли лесом, болотами; шли по тридцать, по сорок километров в день; душевный подъем помогал преодолевать усталость. Все понимали, что нужно перерезать немцам путь. Впереди шли танки. Их было много. Танкисты, проезжая, шутили. И солдаты думали: теперь фрицы

увидят, что это такое, когда у тебя танк позади и танк впереди... Генерал Зыков, смеясь, сказал Осипу:

— Прошу авиацию, а Семушкин отвечает: «Не поспеваем за пехотой — аэродромы отстают...»

Генерал Семушкин прибеднялся: авиация работала замечательно. С первых дней сражения «илы» уничтожили радиостанции противника. Немцы лишились связи, и двенадцать дивизий превратились в множество растерянных офицеров и солдат, которые блуждали по лесам, тщетно разыскивая лазейку.

Шли вперед, не задумываясь над судьбой немцев, оставшихся позади. Ощущение своей силы меняло людей — падая от усталости, они тотчас вскакивали; громче разговаривали, резче стали движения.

Пленный капитан сказал Осипу:

— Я здесь начал войну — возле Минска. Тогда мы шли вперед, как будто вас не было. А теперь произошло ужасное — вы идете вперед и не обращаете на нас внимания. Можно сказать, что мы поменялись ролями.

Осип усмехнулся:

— Роли у нас разные. Вы пришли как завоеватели, а мы освобождаем. Даже когда мы придем к вам, мы останемся освободителями — освободим ваших подчиненных от вас, и вас освободим от вашей тупости.

Солдаты называли окруженных немцев «бродячими фрицами». Бродили целые дивизии, с танками, с артиллерией, бродили и небольшие группы. Некоторые офицеры переодевались в гражданское платье. Рассказывали, что один немецкий генерал ходит по лесу с минометом, что фрицы, обезумев от голода, напали на хлебный завод возле Минска, что редактор армейской газеты вдруг увидел возле своего дома немцев с пулеметами, и дружными действиями сотрудников, включая поэта, корректора и наборщиков, немцы были отброшены. Пленных приводили обозники, крестьянки, даже дети; двенадцатилетний Алеша Сверчук приволок дюжину потных измученных немцев. Один из них рассказал, что они не знали, где проходит линия фронта, думали — стоит перейти дорогу, и окажутся у своих, а выглянув из леса, увидели нечто невероятное — шел поезд с русским машинистом. Этот немец, верный немецким обычаям, записал в своем походном дневничке:

«Русские теперь восстанавливают железные дороги быстрее, чем мы отступаем».

Редактор дивизионной газеты Чалый достал немецкую бумагу, ленты для пишущей машинки, бутылку коньяку. Он написал статью «На этот раз мы не выдавливаем противника, мы его уничтожаем», подумал — пожалуй, чересчур глубокомысленно, лучше пошлю в центральную печать «от собкора». И стал сочинять раешник, который подписывал «Антон Толковый»: «Стою, братцы, и дивлюсь я — не уйти немцу из Белоруссии...»

А в Минске было столько цветов, столько слез радости, что Осип растерялся. Может быть, потому, что он слишком поздно понял язык сердца, он теперь был особенно чувствителен ко всему; и когда маленькая девочка с жидкой косицей, сунув ему букет васильков, скороговоркой сказала: «Привет Красной Армии» («р» она не выговаривала), он закусил губу, хотел ее расцеловать, а вместо этого махнул рукой и пошел дальше.

Раздался грохот. Осип поглядел — конец улицы был покрыт густым дымом. Немцы и в этом остались верны себе: бросили госпиталь с ранеными, но не позабыли заминировать новые дома. Глядя на развалины, солдаты ругались: враг не давал сердцу отойти ни на час.

Два дня спустя Осип снова увидел Минск — их повернули назад на Могилевское шоссе: большая группа окруженных немцев прорывалась на запад. Город был мрачный — как раз перед этим немецкая авиация бомбила уцелевшие кварталы. Из-под обломков вытащили мертвую девочку. Уж не та ли, что мне дала цветы? — подумал Осип.— Гады, издыхают, а еще жалят!..

Был знойный день. Они оказались в месте, хорошо известном минчанам. Военные не знали, что значит «Тростянец»; они только увидели то, что человеку трудно увидеть, даже если он провоевал три года, видел и смерть товарищей, и Сталинград, даже если накануне он видел Толочин, эту мешанину растерзанных туловищ, расплющенного железа, оторванных конечностей, искромсанного оружия... На пустыре лежали трупы, сложенные штабелями, как дрова; немцы, которые складывали трупы, соблюдали порядок — высокий, пониже, еще пониже,— дети лежали

в конце каждого ряда. Трупы были обуглены: немцы подожгли и убежали. А рядом было поле обугленных костей. Каждый день из Минска сюда приходили герметически закрытые фургоны — людей душили газом в пути; дно фургона опускалось; немцы складывали удушенных штабелями и сжигали. Это продолжалось два года... И когда бойцы увидели Тростянец, стало так тихо, что слышно было, как в соседнем лесу кричала кукушка. Рядом с Осипом стоял ефрейтор Кудреватых, немолодой, спокойный человек; он вытер рукавом глаза.

Час спустя немцы, засевшие в лесу, открыли огонь: они хотели пройти через Тростянец. Ефрейтор Кудреватых вдруг крикнул:

— Что же вы стоите, ребята?.. А ну-ка, большевики!..

К вечеру все было кончено. Война на минуту встала в своей первоначальной простоте: здесь не было ни стратегии, ни расчета — только гнев, бой и смерть.

Мертвые немцы на солнце быстро почернели, съежились, заполнили все зловонием.

Ночевали в лесу. Под утро было свежо, даже холодно. Осип проспал три часа; проверил по карте маршрут; потом пошел к Минаеву; тот не спал, сидел на корточках и что-то внимательно разглядывал.

— Ты что нашел? — спросил Осип.

Минаев смутился:

— Ничего... Подъем?..

Было утро раннего лета, когда деревья, еще не узнав изнуряющей страсти августа, яркозеленые, шепчутся о своих лесных делах, и этот шопот кажется таинственным совещанием. Над ними светлое, очень далекое небо, под ними копошение жучков, букашек, бабочек. И только непоседливые пичуги, кружась среди частой листвы, вставляют в мудрое шушукание леса то нежные, то сварливые реплики.

Осип потянулся, сказал:

— Нас на север поворачивают — к Неману. Если так пойдет, скоро граница... Помнишь, ты в сорок втором говорил — кончится война, напишешь роман. Тогда и писать не о чем было — сидели на одном месте, а они

долбали. Вот теперь материал, что ни день, то глава романа...

Минаев улыбнулся:

— Нет, Осип, роман кончен — на том кургане. Теперь множество событий, это правда. Каждый день берем новый город. Вчера Леонидзе генерала поймал, ничего, ручной, взял «Казбек» и расчувствовался. Мне какие-то итальянцы попались, говорят, что были на Додеканезских островах, не хотели больше воевать, ну немцы их и приволокли к Минску — пусть землю роют. Полная экзотика, не считая, что возле Березины я словил одного французика из «легиона», причем это не двенадцатый год — я думал, он маршал Ней, а он оказался владельцем ресторана «Цветок лилии», говорил: «Приезжайте, хорошо накормлю». Видишь, какая чепуха...

— Ну, а почему это для романа не годится?

Минаев задумался.

— Не знаю, как тебе объяснить... На курганчике все решалось. Там действие происходило внутри: кто выстоит — мы или они?.. А сейчас происходит классическая операция, будут разбирать во всех военных академиях. Приговор в общем уже вынесен, остается привести его в исполнение. Мы это сделаем, ясно... А я теперь часто думаю о том, что будет после победы. Может быть, это преждевременно, фрицы еще здорово дерутся, и я вовсе не убежден, что доживу до победы,— дело случая... И все-таки я думаю именно об этом — как будем жить, отстраивать города, что изменится, как все сложится и в мире и дома... Видишь, муравейник какой... Я нечаянно немного разорил — и вот, когда ты пришел, я глядел — удивительно, они сразу заметались, тащат прутики, трудятся, одни туда, другие сюда, озабочены, этакие черти!.. Может быть, я и не напишу романа про войну, а проживу еще лет тридцать или сорок и напишу интереснейший роман...

— Про что?

— Ни про что. Про обыкновенную жизнь...

Он встал, отряхнулся, спросил:

— Значит, к Неману? Экзотика! Наверно, сегодня мы освободим австралийца, который сражался на Соломоновых островах, на меньшее я не согласен.

3

Сколько раз Ширке думал об этих лесах, но он никогда не представлял себе, каковы они изнутри. Он был подавлен глубиной и тишиной: это, как море, когда ныряешь. Ширке знавал только немецкие леса, прибранные, уютные, с хорошими дорожками, с зелеными скамейками, с надписями—«цветочная поляна», «охотничий павильон». Те леса были продолжением знакомой организованной жизни. А это хаос... Теперь он понимал, откуда появились такие люди, как «Иван»; русские могут, сколько угодно, ссылаться на книги, это первобытные создания, их сила в близости к природе...

В первый день Ширке, несмотря на трагизм положения, восхищался пущей, сравнивал ее с готическими соборами, вспоминал стихи романтиков. Всю жизнь в Ширке боролись две страсти: жажда организовывать, любовь к порядку и презрение к толпе, культ одиночества. «Великая Германия» для него была такой же абстракцией, как эта пуща, пока он сюда не попал. Он не любил людей, считал, что за редким исключением они мелки и глупы, а ко всему дурно пахнут (на собраниях его всегда поташнивало). Он понимал фюрера, который построил дом в Берхтесгадене среди гор... Этот лес казался ему вышедшим из тьмы времен; по таким лесам бродили германцы, когда не было ни торгашей, ни глупых теорий равенства, ни близорукой науки.

Ночью ему стало страшно. Он не был малодушным, но одно дело видеть перед собой врага, другое — очутиться среди чуждой стихии. Ночь в лесной чаще была необычайно темной; напряженная тишина казалась обманчивой — хруст ветки, вскрик ночной птицы заставляли сердце учащенно биться. За каждым деревом могли оказаться партизаны. Кто-кто, а Ширке знает, что в этом лесу их много, именно отсюда они пришли в город...

С Ширке было около тридцати человек — четверо из комендатуры, остальные солдаты. Майор Ширке был старшим; он старался подбодрить других, говорил, что они скоро доберутся до немецких частей. Но уже в ту первую ночь он понял, что умрет. Эта мысль его не испугала. Он обращался к дубам, шумевшим некогда над ры-

царями, вспоминал стихи Уланда. И вдруг он побелел от ужаса — ему показалось, что перед ним бандит; это был лейтенант Вернер. К счастью, никто в темноте не увидел, что пережил майор.

Все произошло неимоверно быстро. Давно ли он снисходительно объяснял бургомистру, что союзники завязли на нормандском побережье, а красные радуются и ни за что не придут им на помощь... Они едва выбрались из города. Рассказывали, что на дороге между Минском и Раковом произошла настоящая катастрофа — танки красных уничтожили немецкую колонну... Все это непонятно, говорил себе Ширке, или слишком понятно... Фюрер жил среди орлов и не замечал человеческой низости. Он не растоптал во-время гадюк. А люди — это люди; пока фюрер вел их от одной победы к другой, они кричали «heil», сейчас они молчат, завтра они умоют руки. Сколько среди тех, что со мной, предателей? Вчера один ефрейтор заявил, что он воевал «по принуждению». Если он говорит такое при мне, что он запоет, когда окажется у красных?.. Риббентроп не сумел разъединить наших врагов. Мы начали хорошо. А потом... Не знаю, в чем ошибка — в том, что после Франции не добили англичан, или в том, что поторопились на Востоке?.. Да и здесь мы делали много глупостей; коменданты думали больше о своих удобствах или о посылках семьям, чем о родине. Я не увижу моей мечты — Германия правит миром, фюрер стоит у руля человечества.

Один человек должен диктовать свою волю всем, в этом смысл эпохи — мы перечеркнули девятнадцатый век. Кайзеру приходилось считаться с настроениями какого-нибудь седельщика. Бюллетени — вот убожество духа! Как будто можно определить арифметикой превосходство Гёте над свинаркой! А раз есть человек-фюрер, должен быть и народ-фюрер. Кому же направлять человечество, как не нам?.. Даже если нас теперь разобьют, мы это осуществим — через двадцать, через тридцать лет, Ганс увидит...

Бедный мальчик, где он? Наверно, в Нормандии, там очень тяжелые бои, союзники хотят подавить нас техникой... Он не подготовлен к таким испытаниям, мать его слишком баловала. Да как было его не баловать?.. Он

в детстве походил на херувима, локоны, голубые глазенки, наивная улыбка...

Ширке расчувствовался и громко вздохнул...

Сколько они блуждают в этом проклятом лесу? Кажется, четвертый день... Мучает голод. Они давно съели все, что захватили с собой. Теперь едят ягоды. Когда Ширке в первый день сорвал чернику, он умилился: вспомнил, как мать готовила черничный пирог, а он таскал ягоды, и мать говорила «покажи язык». Сейчас ему опротивела черника, хочется съесть кусок горячего мяса... Их теперь всего девять человек, остальные разбрелись — трусы — пошли навстречу красным. Остались лейтенант Вальтер, фельдфебель Глезер и семь рядовых. Но и на этих трудно положиться; фельдфебель утром сказал: «Лучше выбраться из леса, если мы попадем на русских солдат, это полбеды, лишь бы не встретиться с бандитами...» Напрасно Ширке ему сказал, что одна смерть не краше другой, фельдфебель упорно повторял: «Лучше выйти на дорогу»... Сейчас я для него не майор, а такой же бродяга, как он. Наслышались про равенство, и вот этот остолоп убежден, что его шкура столь же драгоценна, как жизнь фюрера. Прав был Диоген, когда среди белого дня с фонарем искал человека.

Они вышли на дорогу не потому, что в споре победил фельдфебель Глезер. Шли они по компасу; у Ширке была карта; но на ней не значилась та дорога, на которую они вышли: ее проложили партизаны для танков красных.

Завидев русских, Ширке приказал лечь и открыть огонь. Русские тотчас ответили, одного солдата убили, Ширке был легко ранен в левую руку. Он схватил автомат убитого, приготовился к бою, и здесь произошло нечто непонятное — он сам потом не мог объяснить себе своего поведения: когда лейтенант Вальтер поднял руки, Ширке, как завороженный, отбросил автомат и тоже поднял правую руку.

На сборном пункте для военнопленных Ширке сидел один, ни с кем не разговаривал. Лицо его выражало страдание. Все думали, что боль причиняет ему рана. На самом деле он терзался: почему я поднял руки?.. Неужели в решительную минуту я, старый наци, предал фюрера, как примазавшийся мальчишка?.. Он просидел так

несколько часов, и вдруг ему пришло в голову, что он должен жить ради фюрера. Если нас разобьют, кто передаст молодым историю великих лет? Я должен жить, чтобы сказать детям Ганса: мы были в Париже, были в России, были там и будем... Нужно передать эстафету следующему поколению... Ширке успокоился, даже повеселел. Он начал думать о другом: накормят ли нас сегодня? Русские — дикари, от них нельзя ждать ничего хорошего... Опасения его не оправдались: им дали хлеба и консервов. Он жадно ел и улыбался.

Потом его повели на перевязку. Перевязывал его руку молодой врач. А рядом сидел другой врач, лет пятидесяти; он с любопытством разглядывал Ширке. Пожилой врач говорил по-немецки, это и обрадовало и смутило Ширке: наверно, разведчик с погонами врача...

Был это Дмитрий Алексеевич Крылов, который приехал из Иванца за медикаментами — ему рассказали, будто немцы оставили здесь четыре ящика.

— Ну, как себя чувствуете в плену? — спросил Крылов майора.— Убедились, что мы из вас битков не готовим? А то шляетесь бестолку по лесу — и вам плохо и нам беспокойство — в Германию пора, а здесь лови таких шатунов...

Крылов сказал это ворчливо, но добродушно; угостил майора папиросой. Ширке отказался, хотя ему очень хотелось курить — позавчера он выкурил последнюю сигарету: ему было противно брать что-либо от врага. Он ответил:

— Мы — солдаты и выполняем наш долг. Если это вас задерживает хотя бы на час, значит наше поведение оправдано. Вы же не упрекаете русских офицеров, которые попали в окружение три года назад и не сдались, а тоже бродили по лесам?..

Крылов воскликнул:

— Интересно!.. Кажется, вы что-то соображаете. А то я из ваших видел только жеребчиков... Занятно поговорить с умным фашистом... Ну хорошо, но ведь наши ходили на своей земле, а вы здесь до некоторой степени в гостях, причем никто вас не звал. Это другая музыка...

— А если бы ваши солдаты попали в окружение в Германии, что они должны были, по-вашему, сдаться?..

— Нет... А вы, между прочим, сдались...

— Я был ранен...

— Это вы, батенька, оставьте, я-то врач... С такой раной вы еще могли убить и других и себя. А вы вот не застрелились...

Ширке промолчал: как мог он объяснить этому большевику, что его долг жить и поддерживать в других огонь фюрера?..

Крылов сказал:

— Хорошо, оставим это, сдались и сдались, тем лучше... Но вы мне объясните, если вы действительно не жеребчик, в чем смысл всего вашего предприятия? Я это сто раз спрашивал и никогда не слыхал вразумительного ответа.

— Мне трудно это объяснить вам, потому что вы, наверно, заражены материализмом... Все же постараюсь, чтобы вы не подумали, что я малодушно уклоняюсь от ответа. На старшего в семье ложатся известные обязанности. Он должен воспитывать младших. Если отец наказывает малолетнего, смешно говорить о насилии, и сына, который запрещает старику-отцу пить вино, никто не назовет угнетателем.

— Кто же, по-вашему, детки и дряхлый папаша?

— Дряхлые члены европейской семьи это французы и англичане. Я долго жил во Франции, готов признать многие качества французов, но они больны старческим склерозом. Мы во-время спасли их от опасных прихотей... А дети... Простите меня, дети это вы.

— Очень интересно. Исключительно глупо, но интересно. А вы, значит, домовладелец с отмычкой в кармане?

— Мы — народ в фазе зрелости. У немцев есть миссия, об этом писали еще Гегель и Фихте. Мы должны дать Европе новый порядок, основанный на признании иррационального. Если это не удастся, Европа станет яслями с одного края, богадельней с другого... Мы пришли как носители культуры...

— Вот именно,— загрохотал Крылов.— Я вчера заезжал в Тростянец, вы там сто тысяч человек задушили, изобрели душегубки «газен-ваген» — ясно, что носители культуры... Значит, вы, что называется, настоящий?..

Ширке вздрогнул, исподлобья поглядел на Крылова. Наверно, из НКВД...

— Я никогда не состоял ни в какой партии. Я вам излагал не мою точку зрения, а наци — вы сами просили... Что касается меня, я человек немолодой, воспитан на умеренно либеральных идеях...

Теперь ничего больше не мешало ему закурить. Перед ним лежал раскрытый портсигар Крылова. Ширке сказал «разрешите?» и поспешно затянулся.

— Отошлите-ка его,— сказал Крылов молодому врачу.— Я заговорил — думал не жеребчик. А он знаете кто? Мерин. Хитрый... Они все хитрые, те, что попроще, кричат «капут», а этот — «умеренно либеральные идеи». Махровый...

Ширке увели. Крылов теперь говорил с молодым врачом:

— Вы поняли, что он прославлял? «Иррациональное начало»... Метафизика плюс чего его левая нога хочет. Страшное дело они задумали — хотят отгородить мир от света. Знаете, почему мы их колотим? Говорят, потому, что у нас техники больше. Ясно. Но откуда мы эту технику взяли? У меня брат инженер, на Урале работает, он мне писал — чертовски трудно, люди с ног валятся, а все-таки делают. В голове у них это... Нашей дивизией теперь командует генерал Аблеухов. Так он, с позволения сказать, мальчишкой гусей пас. Я приехал к нему — это до наступления, он сидит с книжкой, я посмотрел — «Фауст». Вот отчего мы их бьем... Советский строй это не то, что вывеску переменили, люди у нас другие, понимаете?

Ширке ждал, что после чересчур откровенного разговора с подозрительным врачом его расстреляют. Он ночью не спал: думал о вечности, о фюрере, о Гансе. Утром молодой врач осмотрел его рану и добродушно улыбнулся; потом принесли завтрак. Ширке успокоился и стал требовать, чтобы его побрили — безобразие, больше недели не брился, майор, а похож на бродягу!..

Он задумался. Говорят, что красные возле Вильно. Может быть, мы и проиграем эту войну... Все равно — Ганс увидит то, о чем я мечтал. Мы были на Кавказе, и мы туда вернемся... Я напрасно вчера разоткровенничался — нужно быть мудрым, как змея, придется молчать год, пять лет. А потом начну все сначала...

Подошел пленный капитан-артиллерист. Они начали обсуждать, куда их пошлют, потом говорили о том, что у русских приличные консервы, капитан был недоволен врачом... Ширке вдруг почувствовал, что предстоящий обед его интересует куда больше, чем судьба Вильно. Значит, и он превратится в обыкновенного пленного, в тупого и ничтожного человечка? Нет, он должен думать о великой Германии!..

У ворот стоял часовой, белобрысый веселый парнишка... Он улыбался, может быть, потому, что недалеко до Германии, значит, кончится скоро война, может быть, потому, что было светлое серебряное утро. Ширке поглядел на него со злобой: наверно, у такого жена или невеста, думает о бабе, крестьянин, или, как они здесь говорят, колхозник... Я умел перехитрить Берти, с Нивелем я играл, как с попугаем... А он стоит и смеется — радуется, что поймал меня... Разве такой поймет, что значит жить по ту сторону добра и зла?

4

Хотя Сергей жаловался, что саперам больше нечего делать — немцы, отступая, не успевают взрывать мосты,— он был весел; стремительность наступления его вдохновляла; война теперь соответствовала его натуре.

Он сидел в избе и читал газету. Таня украдкой им любовалась. Даже в военной форме Сергей продолжал выделяться среди других: порывистость движений, огонь нежных и как бы рассеянных глаз, вспыхивающий и тотчас погасающий, внезапность улыбки, которая порой отвечала только образам, смутно проходившим перед ним, все это привлекало к нему внимание. Таня пришла утром из партизанского отряда, чтобы установить связь с наступающими частями армии, и, хотя она провоевала два года в дремучих лесах, где война была полна неожиданностей, майор инженерных войск, читавший газету, показался ей необычным. До войны она изучала в Минске литературу и, стараясь понять, почему ей так нравится майор, она по-школьному отвечала себе: в нем много советской романтики...

Сергей ждал офицера связи Плещеева. Саперный батальон решили придать дивизии, которая шла на Вильнюс. Сергей подумал: колесим и все с юга на север, думал о Висле, а предстоит, видимо, Неман. Еще лучше — ближе к логову... Где же Плещеев?..

Он вышел на улицу и удивленно прищурился: что за театр?.. Суровая военная дорога, по которой день и ночь двигались колонны, превратилась в парижскую улицу. По дороге шли иностранцы, веселые, шумные; было среди них несколько девушек; один высокий в берете жевал бутерброд, другой на ходу что-то записывал. Это были английские и американские корреспонденты. Увидев русского майора, высокий в берете сказал по-русски:

— Поздравляю с замечательной победой.

Он повторял это всем русским, которых встречал: он действительно был поражен картиной наступления, и он не забывал о работе — нужно написать по меньшей мере пять очерков, а разговор на дороге это несколько сочных штрихов... Он был англичанином, в отличие от большинства своих соотечественников он громко разговаривал, жестикулировал, как южанин. Он стал рассказывать Сергею, как взял в плен двух немцев:

— Они прятались в поле возле самой дороги — боялись выйти к вашим. Может быть, они услышали, что мы говорим по-английски, или узнали по виду, что мы не русские, но они вскочили, подняли руки, начали кричать: «Сдаемся!»

Сергей засмеялся:

— Дураки... Наши бы их не тронули. В бою дело другое, в бою наш солдат сердитый. А час спустя... Вот вы говорите по-русски, наверно вы давно в России, сами подметили, что наши люди отходчивые... Я вам расскажу, что здесь приключилось вчера. Немцы засели вон в том лесочке направо — видите?.. Они хотели пересечь дорогу, мы предложили им сдаться, они начали стрелять, убили двух моих саперов. Мы их уничтожили, десяток взяли в плен. Я допрашиваю одного, а солдаты шумят: «Что с ним разговаривать? Раньше они не хотели сдаваться... Убили Захарченко и Шустова, подлюги...» Я спрашиваю немца: «Почему не хотели сдаться?» Молчит. Я говорю: «Неужели вы еще думаете, что Германия победит?» Он отве-

чает: «Я не могу ни о чем думать — мне хочется пить...» Вчера очень жарко было — перед грозой... Я приказал, чтобы ему дали напиться. Принесли воду, он поглядел, говорит: «Грязная кружка». Стал ополаскивать края, пролил полкружки, потом выпил и поморщился: «Теплая...» Я помню, как в сорок втором мы шли по степи, кажется, я тогда из лужи бы напился... Откровенно говоря, мне этот немец опротивел. А мои саперы говорят: «Товарищ майор, они, наверно, голодные, разрешите их накормить...» Я вам это рассказал, чтобы вы лучше поняли наших солдат...

Англичанин в берете поспешно записывал.

Другие волновались, требовали от девушки «переводите слово в слово», она не поспевала. Когда Сергей замолк, маленький толстый американец, блистая золотыми зубами, громко захохотал, а потом обратился к переводчице:

— Скажите господину майору...

— Вы, может быть, говорите по-французски? — спросил его Сергей.

— О да, немного говорю. А вы знаете французский язык? О, вы, значит, образованный человек!.. Из вашего рассказа вытекает, что вы намерены после войны восстановить сильную Германию.

Сергей пожал плечами.

— Вам, наверно, плохо перевели. Я рассказал о том, как мои саперы пожалели пленных, и только...

— Это очень интересно для тех из моих коллег, которые дают живописные картины войны, но я лично посылаю корреспонденции более серьезного характера. Меня интересует политическая сторона вашей истории, и вот я делаю довольно логичный вывод, что Советский Союз намерен, опираясь на тех пленных, которых вы кормите, восстановить сильную Германию.

— Я думаю, у нас больше причин ненавидеть немцев, чем у американцев. Вы, наверно, заметили, что от Гжатска до Минска не осталось ни одного дома. Да и не в домах дело... Есть в моем батальоне сержант — белорус. Пришли мы в его деревню, называется Волоки. Нет деревни — бурьян и братская могила, немцы убили всех, понимаете, всех, даже грудных детей. Убили жену сержанта,

старуху-мать, трех дочурок. Вот вам наш счет... А солдат Кацель вчера сказал мне: «Погиб мой род, замучили гады двадцать восемь человек, я один остался...»

— Очень яркие подробности,— сказал толстый с золотыми зубами,— но меня интересует политическая сторона. Как быть вообще с немцами?

— Германию мы разобьем, это бесспорно. Мы разбили бы ее и без вас, с вами, надеюсь, пойдет скорее. Поздравляю вас, кстати, с Шербуром, очень приятно, что вы приехали, когда можно, наконец, вас с чем-то поздравить. Значит...

Его перебил американец в черных очках, который все время жевал резинку и тупо разглядывал Сергея; он сказал девушке:

— Я не говорю по-французски... Так что переведите... Меня интересует, знает ли этот майор, что Америка помогала им с самого начала? Он мог нас поздравить и раньше — русские победы наполовину наши.

Сергей рассердился:

— Знаю, что помогали. Ел вашу тушонку, говорил по вашему полевому телефону. Вот идут ваши «студебеккеры». Хорошие машины, мы очень вам благодарны. Но техники у вас больше, чем скромности. Неужели вы думаете, что можно на одну чашу весов положить тушонку, а на другую реки человеческой крови? Да, вы нам прислали «студебеккеры». Мы это знаем. А я был в Сталинграде, и я знаю, что мы вас спасли.

Американец с золотыми зубами нетерпеливо ждал, пока Сергей кончит:

— Очень эффектный конец статьи... Но вы мне не ответили на основной вопрос — что делать с немцами?

— Германию мы разобьем, преступников накажем, а немцы все-таки останутся. Я не думал над этим, я военный инженер, не дипломат и не педагог. Придется немцев перевоспитать, приобщить к знанию, к настоящему прогрессу, к основам морали...

Американец в черных очках схватил за руку переводчицу:

— Переведите ему... Я с ним абсолютно согласен — Германию необходимо сохранить. Я был четыре года корреспондентом в Берлине, хорошо знаю немцев. Германия —

страна западной христианской цивилизации. У нас никто не хочет вмешиваться во внутренние дела России, но скажите ему, что многие американцы встревожены — не собираются ли русские завести в Германии свои порядки? Я говорю это дружески, мы союзники, долг корреспондента устранить неясность. Спросите-ка этого офицера, что они собираются делать в Германии?

— Что мы собираемся делать в Германии? Прежде всего взять Берлин и повесить фашистов. Я только боюсь, что господин корреспондент не позволит нам войти в Германию без американской визы...

Корреспонденты засмеялись, начали предлагать сигареты, шоколад. Один подошел к Сергею и тихо сказал на своеобразном языке, составленном из французских, русских и английских слов:

— У вас американский юмор. Наши читатели это очень ценят. Вы не могли бы мне отдельно сказать что-нибудь такое же остроумное? А то Юнайтед пресс передаст скорее, чем я...

Сергей сидел мрачный. Может быть, если бы при разговоре с журналистами присутствовал Плещеев или другой офицер, впервые увидевший иностранцев, он не придал бы значения словам человека в черных очках, подумал бы: зачем посылают таких дураков?.. Но Сергей помнил довоенный Париж, злобность учтивого Нивеля, усики Руа, ничтожество Лансье, жадность и слепоту людей, с которыми сталкивался в деловых кабинетах или в светских салонах. Кто знает, что с ними теперь? Может быть, благоденствуют? А может быть, немцы так их прижали, что они нам аплодируют... Грош цена их восторгам! Этот в черных очках тоже поздравлял с победой, а глядел на меня, как фриц, которого выволокли из леса. Не любят они нас, это ясно. Не простят нам наших побед...

Сергей впервые понял, что мир не будет голубым и тихим, каким он представлялся ему на сталинградской переправе. Он заглянул в будущее, и глаза его потемнели, стали жесткими.

Таня не слышала разговора с иностранцами. Сейчас она поглядела на Сергея, и ей стало не по себе: оказывается, он злой... Она тихонько ушла в соседний дом к связистам.

— Отдыхали, товарищ майор? — спросил Плещеев.

Сергей вздрогнул, как будто он и вправду дремал. Поговорили о делах. Плещеев хотел уезжать.

— Переночуйте лучше здесь,— сказал Сергей,— ночью эти бродячие пошаливают...

Плещеев обнаружил в избе старую школьную тетрадку с уравнениями и расцвел — до войны он был преподавателем в Кирове. Он разглядывал тетрадку, как будто перед ним книга с прекрасными иллюстрациями.

— Кончится война, буду снова ребятишек мучить...

Он долго рассказывал, какая у него замечательная работа, и вдруг заметил, что Сергей его не слушает.

— Может быть, спать хотите, товарищ майор? — спросил Плещеев.

— Нет, что вы... Да, это очень хорошо — учить. Мать у меня этим занимается. И нужно будет много школ, много, очень много книг, и кирпича, и мостов, и тракторов, больше, чем прежде,— не те мы теперь, и друзей у нас будет больше и врагов. Раз много дано, много и взыщется...

— А вы что после войны собираетесь делать, товарищ майор?

Сергей не ответил. Он стоял у маленького оконца. По дороге все шли и шли колонны. Наконец он сказал:

— Вы правы — пора спать.

5

Майор Шильтес возмущенно сказал: «Я могу вести переговоры с представителями регулярной армии, но не с бандитами...» Два часа спустя он стоял, вытянувшись, перед Васей и рапортовал:

— Господин начальник, я всегда относился с уважением к русским, которые сражались против нас, даже если они были...— Он запнулся — чуть было не сказал «бандитами», но, во-время опомнившись, еще громче отчеканил: — Даже если они были в цивильном платье.

Вася поглядел на серо-розовое лицо майора, испещренное черными бугорками, как кожа общипанной птицы, на его выпуклые неподвижные глаза и отвернулся. Он

часто прежде думал, до чего жестоки эти люди, теперь он почувствовал, что они к тому же невыразимо скучны. А день был слишком веселым, чтобы думать о фрицах. Вася глядел на сборы партизан, на кроны деревьев, на небо, обрамленное листвой, которое казалось особенно синим.

Он ехал впереди на гнедом коне майора Шильтеса. Позади построили пленных. Вася усмехнулся: пожалуй, их вдвое больше, чем наших...

Прощайте, шалаши и землянки! Прощайте, могилы друзей! Прощайте, осины, березы, ели, ольха! Прощай, пуща! Три года я прожил с вами... Когда немцы стояли на подмосковных дачах, когда дошли до Кавказа, когда в Минске они снимали участки и подписывали контракты на двадцать лет, здесь, в лесах, был клочок советской земли...

Со всех сторон двигались к освобожденному городу партизаны. Здесь были прославленные отряды, двести восьмой имени Сталина и «Железняк», бригада чапаевцев, отряд имени Кутузова, четыреста шестой, «Мстители», отряд имени Пархоменко, бригада Фрунзе. Пестрым и шумным было это шествие. Ржали немецкие кони. На одном сидел красивый юноша с мягкими льняными кудрями в кителе венгерского офицера. Громыхал немецкий танк, и на нем, как на карнавальной колеснице, улыбались три девушки с автоматами. Везли взятую у немцев артиллерию. На телегах ехали семьи партизан, ушедшие из деревень, где свирепствовали каратели, или из гетто. Командир одного отряда был в немецкой шинели, другой командир — в разодранном люстриновом пиджаке. Шли окруженцы, хлебнувшие горя в сорок первом, солдаты, убежавшие из немецких лагерей, крестьяне и студентки, секретари райкомов и учителя, кавказцы в довоенных гимнастерках, евреи, выбравшиеся из гетто; шел сутулый седобородый партизан, которого звали «Старый кузнец», он проломил череп зондерфюреру, шел смешливый одиннадцатилетний Петрусь, он заложил бомбу в немецкое кино; шел степенный Смирнов, который называл тол «махоркой»; шел агроном Челищев, прозванный «Миша-лютый»; шел Лунц, спустивший под откос восемнадцать эшелонов; шли поляк Броневский, добравшийся к партизанам из Белостока, чех Франтишек, венгерский еврей

Лейзер из «трудового батальона», который должен был расчищать минные поля, парижский рабочий Карне из организации «Тодта». Сверкали на солнце трофейные итальянские аккордеоны; костромской колхозник тискал гармошку, и она, жалуясь, торжествовала, что выпал такой день, а, торжествуя, жаловалась, что все дни проходят,— была она старой и мудрой гармошкой. Вихлястый паренек, который подобрал в немецком штабе ящик с новенькими нерозданными «железными крестами», проезжая мимо деревень, кричал редким уцелевшим собакам, лаявшим на обоз: «Тихо, Жучка, вот тебе подарок от фюрера...» Глядя на озорника, старые крестьянки и смеялись и плакали от счастья, приговаривали: «Счастливо, сынок...»

Шел лейтенант Сазонов; он попал в окружение на четвертый день войны. Он был тяжело ранен и выжил только потому, что говорил себе: я не могу умереть до того, как увижу наших... Их было тогда тридцать человек, они метались в кольце. Потом отряд вырос. На прошлой неделе они провели танки тацинцев через Налибокскую пущу.

Шел Иван Шелега. Он не забыл, как немцы пришли в его деревню. У Ивана Шелеги была четырехлетняя дочка Маруся с глазами зелеными и нежными. Немцы держали пари: кто попадет в девочку, когда она побежит по улице. Иван Шелега поседел в двадцать семь лет. Он шагал суровый и гордый: он рассчитался с убийцами.

Шла с тяжелой винтовкой маленькая Лия Коган. В гетто немцы повесили ее отца, в Тростянце сожгли мать и маленьких братьев. Лие было девятнадцать лет. Она застрелила семь немцев. Она возвращалась в город, где у нее больше не было ни семьи, ни близких, ни дома, но она знала, что победила палачей, и легкая улыбка освещала ее худое измученное лицо.

На большой площади перед ипподромом было шумно, празднично.

— Партизанский привет товарищу Сталину!

Вася сам смутился от того, как крикнул «ура». Так отчаянно, неистово кричал он, когда был мальчишкой, и Нина Георгиевна говорила: «Смотри, раздерешь рот...»

Вася родился в Москве, но искалеченный, истерзанный Минск, со слепыми фасадами сожженных домов,

с улицами, заваленными мусором, показался ему родным. Здесь он начал работать. Вот его дома... На обломках стен зеленеют трава, кустики.

Когда Вася приехал сюда впервые, город его смутил — большие дома, а рядом хибарки, кривые узкие улицы, нет своего характера. Душа Минска была скрытной и страстной, как леса Белоруссии. Постепенно Вася привязался к этому городу; приехав в Москву, рассказывал: «Минск как расцвел, удивительно!..» Двадцать первого июня он сидел над проектом новой школы.

Счастье, что я попал именно в Минск,— думал он теперь.— Здесь я узнал самое большое... Минск — да ведь это Наташа. Хотя она пробыла здесь недолго, все здесь связано с нею — улицы, по которым бродили, сад, эта скамейка, уцелевшая среди бурь, площадь — там мы расстались... Приехала, рассказывала, как опрыскивают яблони, спрашивала: «Почему не веришь?..» Милая!..

Когда кончился парад, он побежал на ту улицу; и дома не оказалось — немцы, убегая, взорвали. Суеверный ужас вдруг сжал сердце Васи: что с Наташей?.. Почему он все время думал: если выживу, встретимся... Она тогда уехала по страшной дороге, и он ничего больше не знает... День сразу переменился; песни казались Васе печальными, пели про корабль, который уходит в море и, наверно, не вернется, про синий платочек — больше его не увидать, про пожарище Одессы... Развалины домов выросли, заслонили мир. Вася разговаривал, даже шутил, но он, не переставая, томительно думал: что с Наташей?..

Когда читаешь роман, порой кажется — автор поленился, чтобы распутать клубок, ничего не придумал, кроме неправдоподобной встречи. А жизнь и не то выкидывает... Это Вася подумал потом, а услышав знакомый бас Дмитрия Алексеевича, он только обнял Крылова и очень тихо спросил:

— Наташа?..

— Здравствует. Сын у тебя, вот какие новости. Я-то его не видел, Наташка расписывает чудеса, ему в марте два года исполнилось, а она уверяет, будто он чуть ли не монологи произносит. Васей зовут, как тебя. Одним словом...

Крылов сказал это быстро, даже сердито, стараясь скрыть волнение, и все-таки не выдержал — сорвался голос, он высморкался и заговорил почти шопотом:

— Чудо!.. Я ведь больше не верил, Наташе писал, что верю, а не верил...

— Сергей?.. Мама?..

— Все в порядке. Наташа писала, что Сергей майор, орденов у него я уже не помню сколько. Нина Георгиевна в Москве, они с Наташей каждый день встречаются. Варвара Ильинична умерла в сорок втором... Ну хорошо, ты о себе расскажи.

Но Вася не мог рассказывать. Он глядел на фотографию Наташи с сыном, глядел и улыбался; ничего он при этом не думал, а потом ему казалось, что думал он много, только не может вспомнить, о чем. А Крылов снова ворчал:

— В каждом письме что-нибудь о тебе, она ведь прямо не скажет, но прорывается, не такая уж она хитрая. Чудо, прямо-таки чудо!.. Да ты все-таки скажи, как это случилось?

Вася оторвался от густого, горячего счастья, хотел ответить и не мог. Три года куда-то отошли, он помнил сейчас одно — большой зеленый лес.

— Не знаю... Партизанил с того самого июля... А вы?.. Дмитрий Алексеевич, я уж не знаю, как мне вам говорить, по-моему, я вам «вы» говорил...

— Внук у меня, твой сын, понятно? А ты с этикетом... Хорош партизан!

Крылов увел Васю в санбат, накормил, строго сказал:

— Спать здесь будешь, и баня есть, подштанники чистые дам, все как полагается. Ты слыхал, что подошли к Вильно? Теперь уж недолго... Я вчера с одним пленным говорил, фашист в кубе, только могила переделает, даже такой сдался... Ты что делать собираешься?

— То есть как — что делать? Воевать.

— В Москву не съездишь?

— Сейчас нельзя — время горячее. Сказали, что пошлют в часть. Я ведь артиллерист. У нас последний год была артиллерия, правда, немецкая, но ничего — били их по-нашему...

Крылов пошел к больным. А Вася все читал и перечитывал последнее письмо Наташи к отцу, и всякий раз,

доходя до слов «порой во мне оживает надежда наперекор всему», улыбался.

Крылов вернулся, поглядел искоса на Васю, подумал: ни чуточки не изменился, разве что похудел... Наташку он любит, это чувствуется. Потом они разговорились, и Крылову показалось, что перед ним другой человек. Изменился, ужасно изменился!.. Страшные вещи рассказывает, а смотрит спокойно...

— Когда ты перелом почувствовал? — спросил Крылов.— В конце сорок второго?

— Нет, лично я в октябре сорок первого.

— Я тогда из Карачева выбирался. Безобразие было полное. Хорошо, я одного капитана нашел... Погоди, как же ты тогда перелом почувствовал?

— Пришли мы в один полк — за Десной. Разгромили. Положение ужасное — кто убежал, кто переоделся... Осталось нас человек сорок. Аванесян был со мной, замечательный человек... Сводки отвратительные: сдали Орел и так далее... После большого окружения попали в маленькое. Лесочек — кружевной, кажется, насквозь видно. Кругом немцы. Ясно, что не пробиться. Решили — попробуем, все равно погибать, а ждать — половина людей уйдет. Невесело было, сижу, ко мне подходит один связист, Буланов его звали, говорит: «Прошу принять меня в партию». Ему было лет сорок, туляк. Провели собрание. Стрельба, чорт знает что, а все-таки речи говорили, лейтенант представил Буланова. Ты понимаешь, Дмитрий Алексеевич, что я почувствовал? Немцы орут «конец советской России». Мы отрезаны. Один ручной пулемет и винтовки, все. И вот в такую минуту человек просит, чтобы его приняли в партию. Я тогда Аванесяну сказал: «Ясно, что выстоим...»

— Буланов где? — сердито спросил Дмитрий Алексеевич.

— Убили. Тогда же... Вышло нас оттуда четырнадцать человек. Мы с Аванесяном потом отряд собрали. Он погиб весной сорок второго...

Вася вспомнил любовь Аванесяна, вспомнил, как ушла его Наташа в разведку и не вернулась; и Васю окутала печаль, теплая, как летний туман. Он вскоре уснул, и когда засыпал, все путалось. Минск, песни партизан, глухой надсаженный голос Буланова и Аванесян, который

говорит «сплошная каша», лес, очень много леса — из него не выйти, две Наташи — живая и мертвая...

На соседней койке лежал Крылов. Он не разделся — ему показалось, что он засыпает, не было сил встать. А он лежал с открытыми глазами. Он вдруг почувствовал смертельную слабость. Сердце то часто билось, то замирало, болело левое плечо, рука, трудно было дышать. Вот и Вася нашелся. Теперь Наташе будет хорошо... К Вильно пришли, значит скоро конец... Крылова поддерживало непрерывное напряжение. Теперь, когда виднелась развязка, когда сняли с него тревогу за Наташу, он мог хотя бы на одну ночь отдаться изнеможению, болезни, нестройному биению сердца, похожему на ход старой машины. В августе будет пятьдесят шесть... Доигрываем партию, Дмитрий Алексеевич... Он сам не понимал, о какой партии думает — о войне или о своей жизни.

6

Валю трудно было узнать, она очень исхудала, глаза лихорадочно блестели, движения стали порывистыми и в то же время неуверенными. О смерти родителей она узнала еще в январе, соседка Кудрявцева ей написала: «Твои старики умерли при оккупации». Валя долго плакала. Она потом вспоминала эти слезы, как легчайшие...

В марте к ней пришел старый школьный товарищ, Миша Золотаренко. Когда-то Миша был влюблен в Зину, хотел стать «пиквикцем», но девушки его не жаловали — он увлекался только спортом и был грубоват. Валя ему обрадовалась — он напомнил ей прошлое, а когда Миша сказал, что побывал в Киеве, она закидала его вопросами. Миша пытался разыскать старых товарищей, но никого не нашел.

— Зина оказалась прямо-таки героиней. Про нее статья была, я вырезал. Видишь?.. Кто мог бы подумать!..

Из глаз Вали потекли слезы.

— Она мне раз сказала: «Не знаю, сумею ли выразить то, что во мне...» Я тогда думала, что она собирается писать, а она в жизни выразила... Ты ее плохо знал, Миша, если удивляешься. Для каждого из нас это было

бы непонятным, а для нее это естественно. Я с ней несколько раз говорила о смерти...

Миша рассказал и о других:

— Боря был у партизан, не знаю, что с ним. Мать его немцы убили в самом начале. Рая на фронте. Ее дочку и свекровь убили в Бабьем Яру. Галочку увезли в Германию...

— Хохотушу?

Как странно прозвучало это веселое слово. Из глаз Вали все текли слезы.

— Путаная там была жизнь,— сказал Миша,— трудно разобраться. Я так и не понял, почему твой отец попался на их удочку...

Он сказал это, думая, что Валя все знает, ведь в самом начале разговора он спросил, знает ли она, что с ее родителями, и она кивнула головой. Валя вскрикнула:

— Ты что говоришь?

— Ничего... Разве ты не знаешь?..

— Сейчас же объясни!..

— Я, Валя, не знаю толком... Очевидно, не выдержал характера, пошел к ним на службу, а потом повесился. Кудрявцева говорила, что твоя мать очень мучилась...

Валя больше не плакала. Она глядела на Мишу, но тот видел, что она его не замечает. Он посидел немного и ушел.

Валя сейчас же написала Кудрявцевой. Больше месяца она ждала ответа; в ней еще теплилась надежда — вдруг Миша напутал?.. Потом пришел ответ. Валя всегда удивляла подруг тем, что воспринимала чувства и поступки людей как огромные явления (Боря говорил: «Валя думает большими категориями»); особенно это было поразительно потому, что она сама казалась скорее слабовольной, неясно очерченной, как говорила покойная мать, «сонной». Когда кто-нибудь в нее мимолетно влюблялся, она страдала от глубины и сложности любви. В давние времена, когда Зина была еще своевольной и восторженной девочкой, Валя видела в ней героиню. Вероятно, происходило это оттого, что в представлении Вали не было границ между романами, которые она читала, и окружающей жизнью. В поведении ее отца другие могли увидеть признаки слабости, Кудрявцева так и написала: «Он

оказался тряпкой». Но для Вали отец стал олицетворением измены. Она перебирала детские воспоминания, хотела найти объяснение; добродушный учитель в чесучовом пиджаке, который ходил по садику с лейкой или сетовал, что молодые люди стали чересчур напористыми, не вязался с образом злодея. Значит, я была слепая, думала Валя, жила рядом и ничего не видела...

Ей казалось, что и она причастна к чему-то низкому. Она испугала директора завода — пришла очень бледная, спокойная и, глядя на него в упор яркими неподвижными глазами, тихо сказала:

— Я хочу вас спросить — можете ли вы держать меня на номерном заводе? Мой отец оказался предателем.

Директор долго ее успокаивал, говорил, что все ее ценят — и парторг и начальник цеха. Валя молчала, думала о своем: если я не замечала в отце низости, значит и я такая...

— Лида, почему ты мне доверяешь? Может быть, я тоже способна на предательство?

Лида рассердилась:

— Перестань говорить глупости. Не трогают тебя, значит никому это в голову не приходит. Мало тебе настоящего горя, ты еще что-то придумываешь...

Только Сергею Валя поверила: когда он написал, что любит ее еще больше прежнего, впервые после прихода Миши Золотаренко она заплакала. Это было в мае. Медленно она возвращалась к жизни. Она не была прежней: что-то в ней надломилось, знала — от этого не избавится, но после письма Сергея она поняла, что будет жить. Ее любовь к нему стала еще сильнее, еще напряженнее.

Возвращаясь к жизни, она невольно задумывалась над своей судьбой. Рая когда-то говорила, что у нее ничего нет, Валя будет актрисой, а она не сможет найти себе места в жизни. Теперь Рая воюет, как Боря, как Сережа. Конечно, я работаю, но разве можно сравнить?.. Да и работаю я случайно, пусть исправно, но случайно. Для Лиды это нечто постоянное, свое, а я здесь в гостях. Что я буду делать, когда кончится война? Почему отреклась от искусства? Может быть, я не такая бездарная?

Она старалась отогнать искушение, кричала на себя: дурь, будет ребенок и перестану беситься! Дважды при-

велось ей участвовать в спектаклях самодеятельности. Режиссер городского театра, актеры, зрители — все поздравляли ее: «Настоящий талант». И Валя тогда забывала зарок: мечта была сильнее...

Был горячий июльский день. Валя, как прежде, работала хорошо. Усталая, она пришла вечером к себе. На столике в кружке стояла пышная роза — Лида принесла. Лепестки опадали, и не было в этом ничего грустного — изнеможение, может быть даже полнота счастья, избыток совершенства. В голове Вали мелькали образы, строки, звуки. Она села писать Сергею — она теперь писала ему почти каждый день.

«Сережа, сейчас кругом говорят о конце войны, строят планы на будущее. Я суеверная и боюсь об этом думать, но все-таки думаю. Ты знаешь, что вся моя жизнь — это ты, но я не хочу тебя обманывать: минутами во мне просыпается старая мечта, вероятно это во мне заложено, я тебе говорила, что я неудачная актерка. Может быть, это оттого, что я не умею иначе выразить себя? Не знаю. Если это дурь, побрани меня, и я тебе обещаю — брошу думать, я ведь верю каждому твоему слову. Мне так хотелось бы сыграть Джульетту, сказать то, что иначе никогда не скажу даже тебе:

> Искусственность и сила вечно врозь.
> Любовь моя так страшно разрослась,
> Что мне не охватить и половины...

Все это ребячество. Главное, Сережа, чтобы с тобой было хорошо, сводки замечательные, каждая, как письмо от тебя — скоро конец, приедешь. Будь здоров, мой любимый! Пусть тебя хранит моя любовь, а любить больше, кажется, нельзя...»

Пока она писала, роза осыпалась, лепестки краснели на столе.

7

Война гримировалась, меняла костюмы и все же оставалась войной. Возле города были живописные холмы, зеленые долины, извилистые речки. А город чем-то напоминал Сергею старые города Франции. Были здесь и

узкие старинные улички, и нежные барочные костелы с мучениками, которые чересчур театрально страдают, с порхающими херувимами, был замок на пригорке, и цветистые вывески питейных заведений, и сады, с крупными розами, пунцовыми, чайными, бледножелтыми, было много задумчивых деревьев — кленов, дубов, лип.

Не умолкая грохотали орудия, стучали пулеметы. На тротуарах лежали трупы убитых — солдаты и горожане, случайно застигнутые огнем. А возле Остробрамских ворот стояла на коленях старая женщина в косынке и о чем-то молила красивую равнодушную богородицу.

Сергей заглянул в пустой дом. На стенах висели цветные фотографии Ниццы с нестерпимо синим морем и с пальмами, распятие из желтой кости, портрет дамы в платье с рюшами. На зеленом бархатном кресле сидел позабытый хозяевами старый фокстеррьер, не лаял, не выл, только, скорбно склонив набок голову, думал о происходящем. Сергей взял книгу, она была раскрыта, кто-то ее читал, может быть за час до боя. Это был томик стихов.

Я потревожил розы сон глубокий...

Внизу, в темном погребе, среди пустых бочек, сидели женщины с детьми и старик в пестром турецком халате; когда поблизости разрывался снаряд, они восклицали: «О пан-Иисус!..»

КП дивизии помещался в подвале брошенного дома. И там было то же, что и на КП в степной балке или в землянке у Днепра. Так же над исчерченной картой сидел начальник штаба, болезненный полковник, с умными, усталыми глазами, только теперь эта карта была планом города: бои шли за узкие улицы, за дома, за глубокие полутемные дворы. И так же, как под Орлом или у Чернобыля, угрюмый генерал говорил связистке: «Дайте Ерушкина», и связистка долго повторяла: «Дайте Ландыш», а потом генерал кричал в трубку: «Почему мямлите? Не перебивайте, я разговариваю! Вы меня слышите? Почему мямлите?» И так же пять минут спустя он объяснял командующему армией, что Ерушкин не виноват: танки не прошли, крепкие стены... И на улицах, как в поле, солдаты, пригибаясь, перебегали двадцать или тридцать шагов,

которые отделяют одну позицию от другой и жизнь от смерти. И так же санитарки подбирали раненых; а кругом рвались снаряды и мины.

Генерал сказал Сергею:

— Вас требует командующий — КП у них при въезде в город напротив кладбища Рос.

Сергей невольно улыбнулся:

— Поэтическое название. Здесь, правда, много роз.

Генерал тоже улыбнулся, и его суровое неприветливое лицо, как будто высеченное из очень твердого серого камня, неожиданно стало мечтательным.

— Розы чудесные... Только кладбище не Роз, а Рос. Не знаю, почему так назвали, может быть роса там особенная...

И снова его лицо затвердело, он крикнул: «Дайте Ерушкина».

Командующий армией был занят — приехал член Военного Совета фронта. Сергею сказали, что генерал освободится через час.

Был теплый день с частым мелким дождем. На кладбище доцветали розы. Воздух был наполнен запахами цветов и мокрой травы. Сергей рассматривал надгробные памятники, манерные и грациозные, с печальными ангелами, с нежными двустишиями, с венками из бессмертников. Иным памятникам было больше ста лет; имена на плитах стерлись; от сентенций и клятв остались разрозненные слова: «разлука... лью слезы... навеки...»

На кладбище устроили сборный пункт для военнопленных. Среди мрамора и роз бродили унылые небритые немцы. Один из них обратился к Сергею:

— Может быть, господин майор говорит по-немецки, или по-французски, или по-английски?

— Говорю по-французски. Что нужно?

— Я хотел спросить господина майора, что с нами сделают? Лейтенант нам сказал, что красные не признают женевской конвенции и убивают пленных.

— Вы до сих пор не поняли, что ваши офицеры вас морочат?

— Лейтенанту трудно меня морочить — у него незаконченное среднее образование, а я доцент Марбургского университета. Но моя специальность не международное

право, а санскрит. Откуда мне знать, как поступают русские с пленными? Я здесь всего второй месяц.

— Где же вы раньше были?

— Повсюду. В Нарвике, там дома на сваях, копченая оленина. Я был в Греции, видел Пропилеи, а вино там скверное, воняет смолой, не похоже на нектар. Я был в Египте. В России был мой младший брат, студент, он писал, что Крым неожиданно напоминает Ривьеру...

Сергей с отвращением поглядел на развязного немца.

— Ну, а зачем вы шлялись из страны в страну?

Пленный обиженно ответил:

— Мы воевали, господин майор, и неплохо... Вот только здесь приключилась беда — генерал Штаэль объявил, что к нам идут сто танков, а они почему-то не пришли...

Сергей отошел от болтливого немца; глядел на куст роз, который осыпался под сеткой дождя. А немец, успокоенный словами русского майора, сел на могильную плиту, вытащил бутерброд, завернутый в восковую бумагу, и стал сосредоточенно жевать.

Командующий сказал Сергею:

— Вот узлы — тюрьма, район церквей и эта рощица. Пехота топчется... Нужно сделать проходы для танков. Понятно?

Осмотрев местность, Сергей решил перебросить группу саперов с шашками на параллельную улицу. Можно пробраться через дом — залезть в окно второго этажа. Во дворе немцы... Если выйти на ту улицу, можно подорвать корпус и разобрать баррикаду. Сергей поручил дело лейтенанту Гусарову, опытному подрывнику, смешливому зеленоглазому студенту строительного института, которого все звали Яшей.

— Ты, Яша, осторожнее...

Сергей взобрался на четвертый этаж, чтобы следить за операцией. Он стоял у окна, прикрытого мешками с песком; утром здесь еще были немцы. Сергей видел, как поползли саперы, как погиб лейтенант Гусаров — его застрелил автоматчик. Потом забил гейзер из огня, дыма и камня. В конце улицы показались наши танки.

Сергей оглянулся. Глобус, какие-то пробирки, на стене под стеклом тусклые выцветшие бабочки и рядом мертвый немец — лежит, раскинув руки.

Сергей не слышал, как сержант Горский говорил:

— Товарищ майор, лучше уйти — пристрелялись...

Все зашаталось — сержант, глобус, бабочки. Сержант вывел раненого Сергея на темную винтовую лестницу. Носились с криком кошки. Внизу кто-то плакал: «О пан-Иисус!..» Сергей почувствовал, что не может стоять, сел на ступеньку; сильно болело плечо, а в глазах все шаталось, как будто дом падает. Потом пришли санитары.

Немцы начали сдаваться. Теперь они держались только в роще на западной окраине города. В центре уже трещали «виллисы». Стояли вереницы брошенных немецких машин; площадь перед большим зданием, где помещался немецкий штаб, была завалена автоматами, касками, книгами, ящиками с гранатами, с сигаретами, с мылом, с орденами. Шел проливной дождь. Какой-то солдатик озабоченно осматривал раскиданное барахло, горевал, что под дождем пропало курево; потом он подобрал баночку с затейливой этикеткой, повертел, понюхал и спросил переводчика, что это такое; тот перевел: «Французский крем от загара»; солдатик бросил банку на землю и так выругался, что, кажется, дрогнули все жеманные святые. Подполковник Ерушкин вытирал рукавом лицо и жадно пил воду из ковша. Командующий докладывал начальнику штаба фронта: «Рощу ликвидировали. Захвачено — орудий сто пятьдесят шесть...» И в Москве диктор, вбирая побольше воздуха, репетировал: «Штурмом овладели столицей Литовской советской республики городом Вильнюс».

Сергей лежал в санбате, рана теперь не болела; он только попрежнему чувствовал слабость. Санитарка принесла букет, с грустью сказала:

— Чересчур распустились, рвешь, а они осыпаются...

Дождь прошел. Просветлело, и деревья на холме были особенно зелеными.

Хирург дивился:

— Это у вас счастливая звезда. Ведь на полсантиметра правее, и была бы совсем другая картина. А вы через месяц воевать сможете...

Сергей прочитал письмо Вали — ему дал сержант Горский, когда они шли в город. Валя писала: «Пусть тебя хранит моя любовь...» Он задумчиво улыбнулся. Через месяц смогу воевать... А еще придется повоевать, ничего они не поняли, как тот болван на кладбище... Яшу жалко... Непонятно, как я выкарабкался? Действительно, звезда... Четвертое ранение, и каждый раз мелочь...

Стемнело. Над холмом, над деревьями показались звезды, отчетливые, крупные, похожие на иллюминацию далекого города или на светляков, которые заполняют черные ночи юга. Что такое звезда? — думал в полузабытьи Сергей.— Любовь Вали? Звездочка на пилотке? Или эти — далекие, но такие близкие, что сейчас встану и поймаю одну — пусть светит в землянке...

8

Это был маленький город среди гор; хотя окрестности его отличались живописностью, туристы здесь не задерживались — рядом с городом были угольные шахты, и черная пыль забиралась в нос раздосадованного путешественника, густым слоем она садилась на мэрию, на траву сквера, на лачуги рабочих. Немцы, стоявшие в городе, проклинали судьбу, они готовы были примириться с мрачным ландшафтом, но здесь и зимой было неспокойно, а теперь «чумазые» (так называл горняков лейтенант Шмидт) окончательно распустились.

Капитан фон Герлах утешал себя одним — где-нибудь на Немане еще хуже. В беседах с друзьями фон Герлах подчеркивал, что он — «эпикуреец»; он любил шелковое белье, сухое шампанское и досуги. Ему повезло: он не попал на фронт. Прошлым летом, совершенно случайно, когда они искали припрятанное оружие, фон Герлах обнаружил очаровательную картину Буше. Он часто мечтал: кончится война, он продаст картину, купит домик в Швальбахе и женится на спокойной, домовитой девушке — хватит с него и войны и холостяцкой жизни. Лишь бы выбраться отсюда живым!..

Горняки забастовали четырнадцатого июля. До войны в этот день люди танцовали. На подмостках сидели пот-

ные музыканты и дули в трубы. Девушки разносили пиво, лимонад. Среди темной листвы платанов загадочно мерцали бумажные фонарики. Танцовали до утра, и площадь перед мэрией казалась огромным бальным залом. Кто тогда вспоминал, что Четырнадцатое июля не только начало летних каникул, танцы и бенгальский огонь?.. Теперь горняки собрались возле памятника Жоресу. Горный ветер приподымал тяжелый трехцветный флаг. На подмостках стояла Полина; издали она казалась статуей; ее лицо освещали лампы рудокопов. Слабый, но чистый голос повторял слова древней клятвы; «Свобода или смерть!» И тысячи голосов отвечали: «Свобода или смерть!..» И эхо разносило далеко окрест: «Смерть!»

Жозет, или, как ее звали теперь, Полина, работала в этом районе с прошлой осени. Она выросла далеко отсюда — на севере Франции, но все здесь напоминало ей детство — тяжелый труд горняков, их угрюмые шутки, суровая доброта. Здесь ее понимали с полуслова, ей верили, говорили друг другу: «Полина сказала...»

Забастовка быстро охватила весь район. Рассказывали, что в некоторых поселках произошли стычки с немцами.

Лейтенант Шмидт, сам не свой, вбежал в кабинет фон Герлаха:

— Нужно сейчас же их разогнать!..

Капитан лежал на диване. Ставни были наглухо закрыты. С улицы доносились крики, звуки «Марсельезы».

— Не говорите так громко,— сказал капитан.— Когда у меня бывает припадок, мне нужен абсолютный покой. Интересно, как вы думаете их разогнать? У нас шестьдесят человек, а шахтеров три тысячи.

— Но у этих чумазых нет оружия.

— Напрасно вы так думаете. Капитан французской жандармерии говорил мне, что у террористов триста или четыреста американских автоматов. Вам бы только воевать... А кто будет отвечать за жизнь моих подчиненных?..

— Но, господин капитан...

— Послушайте, я вам сказал, что у меня припадок. Уйдите и прикажите, чтобы меня не тревожили. А на крикунов не следует обращать внимания. Я, слава богу, три года во Франции. Покричат и разойдутся...

Фельдфебель Краус поджидал Шмидта:

— Что приказал капитан?

— Что он приказал? Чтобы его не беспокоили, у него припадок...

— Может быть, позвать врача?

Лейтенант Шмидт засмеялся:

— Врачи от этого не лечат... Говорят, что генералы умирают в своей кровати, капитан фон Герлах твердо решил стать генералом...

Немцы, находившиеся в соседних поселках, струсив, убежали в город. На улицах шахтеры громко пели «Марсельезу» и «Интернационал». Связная сообщила Жозет, что партизанский отряд, находившийся в соседних горах, решил штурмовать город. Пятнадцатого июля вечером лейтенант Шмидт доложил фон Герлаху:

— Все говорят, что террористы решили прорваться в город. Если мы их пропустим сюда, произойдет катастрофа — они могут вооружить чумазых. Неужели мы должны ждать, пока нас не растерзают?..

Капитан попробовал улыбнуться.

— Мальчику обязательно хочется повоевать? Хорошо, я не возражаю... Жалко, что я не смогу посмотреть, как вы командуете,— я сегодня себя чувствую еще хуже...

Бой длился с полудня до темноты. Немцы потеряли тридцать человек. Были потери и у партизан. Под вечер лейтенант Шмидт приказал отступить в город. Немцы забаррикадировались в казармах.

Триста партизан выстроились на площади. Шахтеры их обнимали, говорили: «Дайте нам оружие, мы пойдем с вами на Альби...» У многих партизан были в городе семьи; они разбрелись по домам. Ночь была горячей, темной и шумной — пели, кричали, поздравляли друг друга.

В мэрии командир отряда Ноэль и Полина обсуждали, как овладеть казармами.

— Сколько у тебя винтовок? — спросила Полина.

— Двадцать восемь, два автомата, сорок три револьвера, тридцать шесть ручных гранат. У большинства партизан нет ничего, кроме ножей. Здесь что-нибудь имеется?

— У AS целый арсенал. Мы устроили координационное собрание, но они не хотят и слышать. А у нас мой автомат и семнадцать револьверов. Все.

В одиннадцать часов вечера фельдфебель Краус подал капитану фон Герлаху запечатанный пакет. Капитан прочитал:

«Как вам известно, город и весь район находятся под нашим контролем. Завтра к нам присоединяется партизанский полк майора Леже с артиллерией и отряд «Либертэ». Во избежание бесцельного кровопролития настоящим предлагаю вам капитулировать. Все немецкие офицеры и солдаты будут содержаться согласно правилам международных конвенций. Ответ должен быть дан не позднее 6 часов утра 17 июля 1944 года.

Капитан Ноэль».

Фон Герлах вскочил с дивана; он даже забыл о том, что болен... Какой ужас, война кончается, а я здесь погибну! Почему я не в Нормандии? Там все куда проще... Если бы здесь были американцы, я не задумываясь сдался бы... Но нельзя сдаться террористам, они начнут сводить счеты... Я хотел жить в мире с французами, а они даже меня заставляют воевать...

В полночь партизаны, охранявшие мэрию, задержали немецкого солдата. Его провели в кабинет мэра. Полина сидела в кресле. Ноэль спал, подложив под голову свод законов. Немец сразу сказал:

— Я австриец.

Ноэль вскочил и, ничего не соображая со сна, крикнул:

— Автомат есть?

— Нет.

— Чего же ты прилез, если у тебя нет автомата?

— Я вам сказал, что я австриец. Я не хочу больше воевать. Все это зашло слишком далеко, теперь ясно, что немцев расколотят. А я австриец. Там еще есть один поляк, он тоже решил дезертировать. Вы только не думайте, что они сдадутся. Капитан фон Герлах вызывал коменданта Альби. А сейчас лейтенант Шмидт объявил, что мы должны держаться, так как на заре прибудет отряд из Альби с танками...

Ноэль раздраженно сказал:

— Ладно. Убирайся и достань автомат, без этого ты нам не нужен.

Когда немец ушел, Ноэль сказал Полине:

— Дело дрянь. В Альби у них много войск. Придется уйти, не то мы окажемся в ловушке.

— Я попробую еще раз поговорить с Легланом,— сказала Жозет.— У них две сотни автоматов и несколько пулеметов, я это твердо знаю — один из наших был на площадке, когда они принимали...

До войны стоило заглянуть в кафе «Коммерс», чтобы обязательно увидеть там нотариуса Леглана. Он никогда не играл в карты, как другие завсегдатаи кафе, он рассуждал — о прошедших кантональных выборах или о предстоящих парламентских, критиковал кабинет, предсказывал кризис, возмущался то Ватиканом, то Москвой; был он социалистом, потом радикалом, потом снова социалистом, говоря о политике, именовал своего собеседника, будь то старый приятель, не иначе как «гражданином», хватал его за пуговицу пиджака и обдавал брызгами слюны. В сороковом году он вдруг заявил: «Политика мне опротивела, у меня семья, я не авантюрист и не мальчишка». Он тогда сильно трусил, чуть было не выступил с прославлением Петэна, удержала его жена: «Зачем тебе снова путаться в эти грязные дела?..» Теперь Леглан говорил, что уже в сороковом он выполнял какие-то таинственные поручения генерала де Голля. Хотя никто не относился к нему серьезно, он стал руководителем местных AS, даже делегатом лондонского BCRA; все понимали, что без Леглана не обойтись, ведь до войны он был заместителем мэра, председателем городского отделения «Лиги прав человека» и душой «Союза ревнителей светского образования департамента Тарн».

Жозет долго звонила. Было два часа ночи. Госпожа Леглан решила: это немцы пришли за мужем. Увидев Полину, она так обрадовалась, что чуть ее не расцеловала. Леглан был в плаще, который он надел поверх полосатой пижамы.

— Они вызвали отряд из Альби,— сказала Жозет,— если нам не удастся вооружить хотя бы всех партизан, мы пропали...

Леглан зевнул, но сделал вид, что вздыхает:

— Я вас предупреждал, гражданка Полина, что это бессмысленная авантюра...

— Все может измениться, если вы предоставите нам оружие...

— Я вам удивляюсь, вы общественный деятель, представительница FTP, а рассуждаете, как ребенок. Я могу вам предоставить мой дом, мой револьвер, мою жизнь. Нас спаяла совместная работа, опасность... Но оружие — это не моя собственность, это собственность республики. Нам его дали не для мальчишеских авантюр, а для «дня J».

— Всю весну вы говорили, что «день J» это высадка союзников. Прошло шесть недель...

— Вы меня не так поняли, «день J» может растянуться на несколько месяцев. Мы выступим, когда из Лондона объявят о всеобщем восстании.

— Но восстание началось.

— Преждевременно. Восстание будет происходить по зонам в зависимости от приближения союзных войск. Вы руководствуетесь интересами одной партии, одного класса, а мы думаем о нации. Наша цель — облегчить союзным войскам освобождение Франции. А союзные войска еще в Нормандии, значит от них до нас свыше тысячи километров.

Жозет встала.

— Я не понимаю — кто вы? Французы? Или, может быть, представители «Интеллидженс сервис», квартирмейстеры американцев?

Самообладание покинуло Леглана, он подбежал к Жозет и, обрызгав ее слюной, выкрикнул:

— Мы — французы со дня рождения, а вы стали французами по приказу — двадцать второго июня сорок первого. Ясно?

Жозет задумчиво, тихо, как будто говорила сама с собой, ответила:

— Я это уже слышала — в тридцать девятом, когда вы сажали нас в тюрьмы и готовились к капитуляции. Вы и теперь боитесь не немцев, а рабочих. До свидания, господин Леглан, простите, что я напрасно вас потревожила.

Было еще темно, когда партизаны оставили город. С ними ушло много шахтеров. Ушли и семьи руководителей забастовки. Ноэль приказал разбиться на небольшие группы. Они должны были встретиться возле перевала: туда немцы не сунутся. Жозет вела группу семейных шахтеров. Возле Катр-рут они увидели немцев. Немцы закричали: «Стой!» Это было в долине, покрытой большими камнями и серой колючей травой. Увидев, что несколько человек исчезли за камнями, немцы начали стрелять. Жозет крикнула:

— Уходите!

Она легла у камня и дала очередь. Два немца упали; остальные залегли и открыли огонь. Шахтеры, женщины, дети были уже в безопасности: они успели доползти до склона горы с узкими, глубокими расселинами.

Немцы двинулись дальше: спешили в город. Когда шахтеры подбежали к Жозет, она лежала, обхватив камень руками. Лицо ее выражало напряжение, не ослабленное смертью, казалось, она все еще стреляет. Шахтеры понесли тело Жозет наверх. Ее похоронили возле перевала под широким вязом. Никто не знал, как ее настоящее имя, знали только, что она родилась в Пикардии в семье горняка. И товарищи написали на ее могиле: «Полина. Дочь шахтера, дочь народа. 17 июля 1944».

Лейтенант Шмидт восторженно размахивал руками:

— Террористы убрались во-свояси!..

— Я не понимаю, чему вы радуетесь,— сказал фон Герлах.— Сегодня ушли, завтра они снова появятся...

И капитан фон Герлах подумал: вот если б я мог отсюда уйти, взять Буше и уйти в Швальбах. Нет, кажется, я не выберусь... Хорошо быть таким идиотом, как Шмидт,— он воображает, что теперь сороковой год... И фон Герлах свалился в изнеможении на диван...

— Скажите, чтобы меня больше не беспокоили.

Старый вяз стоял, как часовой, над могилой Жозет. В этих местах мало лесов; деревья живут одиноко и сосредоточенно; их хорошо знают все жители окрестных деревень, говорят: «я отдохнул под ясенем мельницы», «мы встретились с Мари там, где старый клен», «приходите к платану у ручья». Партизаны обсуждали новый поход на город, и товарищ, приехавший из Альби, пере-

дал Ноэлю: «Встретимся под старым вязом». Ноэль ждал его и вспоминал Полину: сколько силы было у этой маленькой женщины!..» Потом Ноэль прислушался к несмолкаемому шелесту листвы, подумал: шумит, а о чем, непонятно... Язык дерева был прост и загадочен, как та музыка, которую любила Жозет.

9

Мамуля — молодец, какие она письма пишет,— говорил себе с укором Минаев, когда на него находила тоска четвертого года войны. А Мария Михайловна за последнее время начала сдавать; конечно, ни за что не написала бы она об этом Мите. Днем она еще крепилась, но стоило прилечь, как все начинало болеть. Она и прежде любила спать, подложив под голову несколько подушек; а теперь среди ночи подымалась, сидела в темноте с раскрытыми глазами и думала — о Мите, о соседях, о войне: мысли от усталости путались, но сон не шел.

Многое переменилось в жизни коммунальной квартиры, которую Минаев называл «ковчегом». В комнату Паршиных въехала чета Казаковых: потом вернулись из Барнаула Паршины; Казаковы не хотели выезжать; райжилотдел говорил, что Паршины не внесли во-время квартирной платы, райпрокурор взял их сторону; тяжба длилась четыре месяца, наконец Паршины въехали. Мужа Шурочки тяжело ранили прошлой осенью возле Гомеля; он приехал без ноги, стучал костылями, говорил Шурочке: «Я тебе обуза», она отвечала: «Неправда, люблю больше прежнего, и брось думать, как-нибудь проживем...» Сын Ирины Петровны Ковалевой снова отличился; весной он приезжал в отпуск, получил орден в Кремле; он заполнил квартиру топотом, матросскими словечками, рассказами о далеком северном море. Дочь Ирины Петровны, Наташа, вышла замуж. Из Алма-Аты возвратилась жена Кацмана и, войдя в квартиру, громко расплакалась: все здесь напоминало ей Гришу. Война давно ушла от подмосковных дач в Польшу, на Карпаты, к границам Германии. Людям стало легче, и может быть от этого им стало тяжелее. Ирина Петровна прежде не

замечала житейских трудностей; теперь она огорчалась, что не отоварили карточки или что выключили свет. За три года все переработались, изнервничались. Вдруг Ирина Петровна поссорилась с Паршиной из-за какой-то кастрюльки, и ей самой стало стыдно: как будто война кончилась... Глядя на улицы Москвы, можно было забыть про войну — много машин, народу, кажется, больше, чем до войны; говорят о билетах в театр, о комнатах, о пайках, абонементах. Этот облик был обманчивым. Конечно, к войне привыкли: привыкаешь ко всему, привыкли к победам, говорили: «Сегодня два салюта, один за Псков, второй я пропустила...» Привыкли к разлуке. Но за этим внешним спокойствием таились тревога, горе о потерянных, надежда на близкую встречу.

Когда Кацман глядел вечером на небо, расцвеченное зелеными и красными огнями, он особенно остро чувствовал, что никогда уж не вбежит в комнату Гриша с криком: «Папа, выиграли динамовцы со счетом три — один...» И когда диктор повторял «вечная слава героям», Давид Григорьевич вспоминал первый год войны. Тогда не было ни ракет, ни торжественных залпов...

Мария Михайловна теперь больше прежнего боялась за Митю. Женился, тут бы им тихо пожить, а они оба воюют... Ночью она прислушивалась: то стучали костыли Волкова, то из комнаты Кацманов доносился приглушенный плач — Анна Борисовна плакала только по ночам, когда муж уходил в газету. И Марии Михайловне становилось страшно, она вынимала из комода письма Мити, фото своей новой невестки, карточку сына, снятую с удостоверения, глядела на них, подносила к губам, сжимала в руке, будто хотела защитить от смерти хрупкое счастье.

Был горячий июльский день. Мария Михайловна шила, когда ее окликнул Кацман:

— Посмотрите в окно...

По Садовой вели пленных немцев. Постучался Волков — попросил разрешения поглядеть — его окно выходило на двор.

Внизу на тротуаре толпились люди; не было ни криков, ни смеха. На немцев глядели молча: это молчание было тяжелым; и некоторые немцы не выдерживали взглядов женщин — отворачивались.

Никогда Мария Михайловна не могла себе представить, как выглядят люди, которые причинили всем столько зла, убили Гришу, искалечили Волкова. Она глядела на немцев, стараясь понять что-то очень важное.

Впереди шли генералы; и, взглянув на одного, Мария Михайловна покачала головой; старый человек — и не стыдно такому?.. Потом показались офицеры. Среди них было тоже много пожилых. Колонна остановилась. Глаза Марии Михайловны встретились с глазами одного офицера; все в ней похолодело — столько злобы было в его взгляде. Она тихо сказала:

— Настоящие убийцы...

Волков проворчал:

— Нагляделся я на них...

Он ушел к себе. А Кацман больше не глядел в окно, он сел на кровать, и был у него такой удрученный вид, что Мария Михайловна села рядом.

— Поймали их, пусть города строят, окаянные, людей им не воскресить...

Кацман сказал:

— Вам показалось — убийцы, а я даже этого не почувствовал. Идут самые обыкновенные, если их переодеть, никогда не скажешь... Жуют что-то, разговаривают, смеются. А они живых детей закапывали... Вот это самое страшное — из людей можно сделать все. Ведь и эти были маленькими... А Гриша...

Он не договорил. Мария Михайловна его обняла:

— Рождаются все одинаковые, это правда, а вот что вдохнуть в человека... Я о душе говорю... Давид Григорьевич, вы вот о чем подумайте — победил Гриша...

Среди пленных шагал и Ширке. Он с любопытством разглядывал город, людей. Большие дома, как в Берлине, и рядом избушки. Слишком много народу... Ширке ждал, что русские будут ругаться, может быть кидать камни, но русские молчали, и он с отвращением подумал: Восток... Нельзя было поручать Риббентропу переговоры с Англией. Лучше было бы тогда уступить англичанам, расположить к себе американцев и раздавить этих... Вряд ли мы теперь выиграем войну. Придется отложить все на двадцать лет... Интересно, будут ли нам регулярно выдавать папиросы?.. Держался он осторожно,

обдумывал — стоит ли присоединиться к тем офицерам, которые выступают против фюрера? Если считать, что мы проиграем, нужно присоединиться — сохранить себя для будущего. Рано или поздно американцы и англичане подерутся с красными, тогда придет наш час... Какие невыразительные лица у русских! Вот в окне старик и старуха, тупо глазеют, не чувствуется даже злобы...

Рядом с Ширке шел какой-то капитан. Он сказал:

— Это ужасно!.. Они на нас смотрят, как будто мы не люди... Лучше бы ругались...

Ширке пожал плечами. Вот из-за таких мы гибнем — капитан, а раскис... Вокруг фюрера много трусов, двурушников. Говорят, что красные уже недалеко от границы... Все равно, свое мы возьмем. Ганс пройдет по улицам Москвы не так, как я, он пройдет победителем...

Вдруг какой-то малыш показал на Ширке пальцем и крикнул:

— Мама, фриц какой страшный!..

Мать улыбнулась:

— Глупый, чего ты боишься, он теперь в наморднике...

Вечером Мария Михайловна написала сыну:

«Дорогой Митенька!

Сегодня провели убийц по Москве, потом мыли мостовую, а я все думала, легче камень отмыть, чем таких, как их ни мой, добела все равно не отмоешь. Мы потом долго разговаривали с Давидом Григорьевичем, он правду сказал, что можно из человека все сделать, я только не могу понять, как они понаделали столько подлецов? Один шел, я даже не понимаю, как удалось его поймать — настоящий рецидивист. Письма твои веселые, но я ведь знаю, что ты смеешься, когда у тебя кошки скребут на сердце. Напиши, как здоровье, и про Оленьку напиши побольше. Теперь скоро все кончится, когда вели, я изумилась — может быть, сто тысяч было, не знаю. А за меня не волнуйся — здорова, работаю и терпеливо жду, когда вы приедете, мои дорогие».

Она долго сидела, не раздеваясь, из глаз тихо текли слезы. Потом она вздрогнула: чего я расплакалась? И сама себе ответила: людей жалко...

10

Генерал фон Зальмут сказал: «Полковник Габлер трус, такого следует разжаловать». А несколько дней спустя генерал поздравлял Габлера: «Вы во-время выскользнули из петли. Это блистательный маневр...» Габлер усмехнулся: вот до чего докатились — отступление уже представляется победой...

Дивизия, которой командовал Габлер, избежала участи других частей, входивших в девятую армию. Трудно сказать, что спасло Габлера — его хладнокровие или паника, овладевшая солдатами, вероятно, и то и другое — видя, как настроены люди, Габлер, наперекор приказу, поспешно отвел дивизию назад.

Об опасности, которая грозила их дивизии, Рихтер узнал от полковника. Правда, и раньше он слышал страшные рассказы о Минске, о бобруйском котле, но он давно понял, что ничему нельзя верить — один говорит, что американцев скинули в море, другой рассказывает, что красные ворвались в Восточную Пруссию, третий уверяет, что «фау» уничтожили начисто Лондон, и потом все это оказывается баснями. В газете ничего не найдешь — заклинания с восклицательными знаками или мелкие боевые эпизоды. Говорят, будто у фюрера припрятано новое секретное оружие, которое решит все; может быть, и это выдумки...

Хорошо, что нам дали передохнуть, помылись, выспались, появилось нечто человеческое. Я, например, вспомнил, что есть Гильда. Это интереснее, чем «фау»... Только, кто ее знает, что она теперь делает? Наверно, нежничает со своим итальянцем... Во всяком случае, приятно, что я снова могу об этом думать...

Никогда Рихтер не видел полковника Габлера в таком возбужденном состоянии. Он грыз погасшую сигару, стучал ладонью о стол. Рихтер подумал: уж не попали ли мы в новый котел?

Габлер сам заговорил о катастрофе:

— Может быть, это менее эффективно, чем Сталинград. Траура не объявили... Но для нас удар еще страшнее. От Центральной группы остались клочья. И это не на Волге... Вы знаете, где мы с вами? В Польше.

Рихтер сказал:

— Я был в этой деревушке перед самой войной. Отсюда мы начали...

— Не могу вас поздравить с таким возвращением. Я знаю, что вы не виноваты. Наши солдаты сражались замечательно. Но что вы хотите... Если до сорок второго мы побеждали, то не благодаря этим крикунам, а вопреки им, они и тогда ставили палки в колеса. Теперь, когда Германия накануне гибели, они сводят свои счеты с армией...

Рихтер решил, что у Габлера неприятности по службе — фельдфебель Энгель рассказывал: полковника обвиняют в малодушии. И Рихтер осмелился сказать:

— Когда дело дойдет до фюрера, он поймет, что вы спасли нашу дивизию.

Габлер невесело улыбнулся, показав длинные редкие зубы. Раздался телефонный звонок. Полковник взял трубку и тотчас в раздражении ее отбросил. Он крикнул Рихтеру:

— Можете итти! — И, опомнившись, протянул руку: — Простите, но я очень занят...

Рихтер ушел в смятении: тревога полковника передалась ему. Он хотел рассказать своему новому приятелю, фельдфебелю Энгелю, что у полковника, видимо, много недоброжелателей, но Энгель не дал ему раскрыть рот:

— Что ты скажешь? Как, полковник тебе не сказал? Два часа назад объявили... В фюрера бросили бомбу, но он невредим.

Это было настолько неожиданно, что Рихтер спросил:

— Кто бросил? Англичане?

Энгель фыркнул:

— При чем тут англичане! Немецкий офицер. Замешан генерал-полковник Бек...

— Ничего не понимаю...

— Никто ничего не понимает. Но спрашивать не советую — можно взорваться без всякой бомбы...

Вот почему Габлер был в таком состоянии. Возмутительно — красные подходят к границам Германии, а какие-то подлецы сводят свои счеты с фюрером! Хотят повторить восемнадцатый год... Неужели генерал-полковник мог спутаться с коммунистами? Непонятно...

Рихтер вскоре отвлекся от высокой политики: пришла почта. Гильда писала, что в Вернигроде «ужасное на-

строение», но она старается не поддаваться пессимизму, играет в теннис с «одним скромным архитектором» и ждет приезда Курта. Рихтер ругался: что она называет «теннисом»? Хотел бы я поглядеть на наглую морду этого скромного архитектора! Лучше уж итальянец, или банкир, или землекоп. Должна быть примитивная порядочность: жена архитектора не смеет изменять мужу с архитектором...

Они долго оставались в этой нищей деревушке. Рихтер невольно вспоминал прошлое, июньскую ночь, наивные глаза Клеппера, силуэт Марабу. Никого не осталось из прежних. Клеппер погиб, когда они удирали из-под Москвы. Было холодно и паршиво на душе — никто еще не представлял себе, что такое настоящее поражение. Клеппер был хвастунишкой, но не плохим парнем. Он мечтал жениться на какой-то девчонке, показывал фотографию. У него был в Гамбурге хороший дом. Наверно, и дома теперь нет... В ту зиму убили унтера Бауэра. Это был тихий, скромный человек, Марабу уверял, что Бауэр скрытый предатель — он слишком мягко разговаривал с русскими. А убил его русский... Где же тут логика! Бедняга Марабу, он много читал, но он думал абстрактно, такой человек не создан для жизни. Он погиб, когда мы наступали на Курск, верил, что мы пройдем... Это был ужасный бой в траншее. Русские рассвирепели. Странный народ русский — в общем добряки, а если его разозлить, он ничего больше не помнит... Переводчик Браун говорил, что Эдип когда-то решал загадку: кто победит, русский или чорт, и Эдип ответил: «Зависит от того, какой чорт — русский или прусский, если русский, то может победить чорт»... Брауна убили в Ржеве, он сидел и писал докладную записку «О моральном состоянии русских», а тут разорвалась мина... Когда удирали от Десны, погиб Таракан. Вспоминаешь и как будто идешь по кладбищу.... Рыжий Карл еще недавно кричал, что осин хватит для всех красных и вот нет Карла, он пропал при последнем отступлении вместе с обер-лейтенантом Газе.

Рихтер предавался печальным воспоминаниям, когда прибежал фельдфебель Энгель, чрезвычайно возбужденный:

— Полковника Габлера арестовали. Из штаба прибыл генерал Гельвитц и принял командование дивизией...

Энгель был единственным человеком, которому Рихтер доверял, он сказал:

— Но ведь это ужасно! Полковник нас вывел из котла. За Ржев он получил благодарность от фюрера. Скажи, ты что-нибудь понимаешь?..

Энгель поглядел на Рихтера маленькими хитрыми глазками:

— Здесь можно или ничего не понимать, или понимать слишком много, а это опасно...

— Но все-таки... Ты допускаешь, что полковник замешан?..

— Сейчас я тебе все объясню, как будто я работаю три года в РК. Старые военные это реакционеры. Они считают, что положение критическое, и хотят договориться с плутократами. Ведь не с большевиками им разговаривать... Ну, а для таких переговоров нужна соответствующая обстановка. Вот они и решили убрать неподходящих. Ясно, что это предатели, и Габлер предатель...

Рихтер понимал, что Энгель в душе сочувствует полковнику, но боится признаться. Дело не в Энгеле... Значит, Габлер был с заговорщиками, вот почему он так волновался... Это хороший военный, типичный представитель старой Германии. Он был прав — американцы могут разговаривать с военными, с духовенством, с Брюнингом, но не с наци... А положение отвратительное, даже из газет видно. Американцы заняли Бретань, наверно, они пойдут на Париж, а красные у Вислы. И этот сумасшедший вешает немецких генералов. Рихтер вздрогнул оттого, что в мыслях назвал фюрера сумасшедшим; но тотчас поддержал себя: я так думал уже в тридцать восьмом. Тогда мальчишки восторгались, а я говорил Гильде, что это плохо кончится. Слава богу, я не наци. Меня заставили воевать... А я хотел мирно жить, строить дома и только... Позавчера сообщили, что в заговоре замешан полковник Вильке. Естественно — разведчики знают больше других. Впрочем, Вильке ничего не знал, накануне войны он говорил о «полумирном проникновении». Война это игра в кости... Теперь самое главное уцелеть, было бы слишком глупо погибнуть за пропащее дело.

С этого дня Рихтер стал мучительно думать об одном: как выбраться из пекла. Рождались самые странные планы: нечаянно ранить себя в присутствии офицера, чтобы не могли обвинить, заявить, что у него важные данные об измене Габлера, но он может их раскрыть только в Берлине, разыскав там старый дневник, дезертировать и упросить какую-нибудь польку, чтобы она его спрятала до конца войны. Он понимал, что все это вздор. Энгель, который был до войны владельцем обувного магазина в Шарлотенбурге, как-то сказал:

— В общем, мы недалеко от дома...

И Рихтер размечтался: вдруг все кончится благополучно — будем отступать, отступать, и неожиданно я увижу Гильду. Пусть целуется с тем архитектором, наплевать, лишь бы до нее добраться...

11

Они шли от речки к полю; и все цветы обыкновенного русского поля — скромная кашка, белая душистая медуница, колокольчики, синеглазый барвинок, ромашки, дикая гвоздика, куролеп, мать-и-мачеха, много других, золотых, розовых, лиловых, встречали Сергея и Валю тем запахом лета, который на исходе горячего дня сводит с ума людей и пчел. Счастье Вали было таким полным, что она не спрашивала, не рассказывала, иногда только брала руку Сергея, будто желала убедиться, что он рядом, и тотчас ее отпускала. У особенно светлых дней нет ни глаз, ни памяти. Валя сорвала одуванчик, подула на него.

— Нет, не весь облетел...

— А ты что загадала?

Она смущенно улыбнулась: загадала, но сама не знала что.

До приезда Сергея Валя часто спрашивала себя: как мы встретимся? Может быть, и разговаривать не сможем. Ведь он три года жил совсем другой жизнью. Да и сколько мы были вместе?.. А когда Сергей вошел и обнял ее, все было уже сказано — одним порывом, тем, как они кинулись друг к другу.

Дни счастья казались и медленными — в них не было ни событий, ни значительных слов — и чересчур быстрыми. Неужели я здесь уже четыре дня,— подумал Сергей,— слишком хорошо... Любовь была ревнивой, она знала, что впереди снова разлука, и любовь не давала им опомниться; она шла с ними в лес, пригибала высокую пахучую траву, щелкала и свистала на все птичьи лады, приносила в комнатку Вали охапку цветов, нетерпеливо задувала маленькую лампу.

Сергей начал рассказывать о пережитом только на шестой или на седьмой день; улыбнулся: «Знаешь, почему я вспоминаю?.. Скоро туда...» Он боялся, что Валя не поймет его сбивчивых слов; но была в ней такая обнаженность чувств, такая жажда пережить все, пережитое Сергеем, что она видела и поле, изрытое снарядами, и землянку, где сидел майор Шилейко, и маленькую лодочку на Днепре. События жизни и людей она всегда воспринимала по-своему; как-то давно она сказала Сергею: «У меня беда, я не чувствую пропорций, гляжу будто в бинокль — то все очень близко и большое, то наоборот — далекая панорама». А теперь, слушая Сергея, она почувствовала трудные будни войны; глядела на него с изумлением: кажется, я его знаю и ничего не знаю... Откуда в нем такая сила, спокойствие?..

Он рассказывал:

— Это было в Сталинграде в августе или в сентябре. Их было шесть человек в доме. Немцы лезли. Воды нет, жара. Пять дней держались, под конец оставалось только двое — Шустов и Ваня, так его все звали. Майор Шилейко потом спросил: «Как выдержали?» Ваня ответил: «А как же? Коммунисты...» Ты думаешь, дело в смелости? Я видел смелых немцев. Но что они могут ответить? «Я немец» и только. В этом все отличие, поэтому они теперь растерялись. «Я коммунист» — с этим можно пойти и на виселицу. А что такое «Я немец»? Пока они завоевывали, это еще как-то звучало, а теперь им самим смешно... Это не такая война, как были прежде. Ты знаешь, как я люблю Францию. Париж не забыл и не забуду. Камни. Людей... Наверно, много чудес и в других странах — в Испании, в Мексике, в Индии, повсюду. Разве в том дело, что немцы низшая раса или что раз

это наше, значит обязательно лучше? Слушай, Валя, это в Орле было... Валялись на дороге немецкие книги, дрянь — фашистская пропаганда, полицейские романы. У меня в батальоне был один казах, он увидел книги, осторожно подбирает — не знал, что в них, но у него уважение к мысли, к знанию. Этим мы выше... Мы выше тем, что первые вышли в путь... Разведка самое трудное, а мы — разведка. Поэтому нас так ненавидят. Да и любят за это... Я встретил возле Минска иностранных журналистов... Нет, не хочу об этом сейчас говорить — слишком низко... Лучше вспомнить француза-рабочего на заводе «Рош-энэ»... Может быть, в Америке заводы лучше, но разве рабочие могут защищать заводы Форда, как сталинградцы защищали «Красный Октябрь»? Мать ни за что не отдаст ребенка, а у каждого из нас в сердце ребенок — будущее, не только мое, даже не только наше — всего мира. Самое прекрасное — это мост перекинуть туда, в другой век...— Он вдруг засмеялся: — Видишь, до чего я дошел — мостовик вот и хвалю мосты...

Сказал он это потому, что ему стало неловко от своих слов. А Валя его обняла:

— Не нужно смеяться... Это — правда...

Спектакль в клубе был назначен давно, до того, как Валя получила телеграмму от Сергея. Теперь она не хотела играть, но Лида сказала: «Нельзя так, всех подводишь». Тогда Валя стала просить Сергея: «Ты не ходи. Я не могу перед тобой... Да и пьеса дурацкая. Вообще не стоит... Мне будет стыдно...» Но Сергей не уступал: обязательно пойдет.

Валя так волновалась, что не могла даже загримироваться. Лида всплеснула руками:

— Погоди у тебя рот съехал в сторону!..

Ставили пьесу никому неизвестного драматурга «Девушка из Старицы». Это было наивное сочинение с нагромождением невероятных происшествий и патетических монологов. Немцы ходили по сцене, как на параде, все они были с плетками. Бородатые партизаны в шелковых рубашках то и дело стреляли. Советский офицер разгонял немцев и говорил: «Понюхай, гад, русского пороха...» Сергей сидел в первом ряду рядом с секретарем горкома и с режиссером местного театра; все трое тихо посмеива-

лись. Были в пьесе трогательные слова — поэзия человека, мало причастного к литературе; однако любители произносили их с такой подчеркнутой бытовой интонацией, что пафос становился юмористикой.

За кулисами томилась Валя. Кажется, не смогу раскрыть рот, ведь в зале Сережа... Зачем я согласилась? Он меня запрезирает...

Когда она вышла, Сергей забыл все несуразности пьесы. Она говорила с такой душевной приподнятостью, с таким волнением, что зал замер. Голос менял значение слов. Ее допрашивал толстый немец, и она отвечала:

— Кто я? Не знаю, как меня зовут. Девушка из Старицы. Вы спрашиваете, кто меня надоумил взорвать железнодорожный мост? Я говорила с черемухой и с жимолостью. Я была на кладбище, там могила моей матери. Я слышала, как утром полевая птица кричала у моего окна. Меня разбудил первый летний дождь, он стучал о крышу. И вот я встала, пошла... Вы можете меня убить, это просто. Это легче, чем взорвать мост. Но завтра придет другая, и она вам скажет: «Я девушка из Старицы».

Она стояла на сцене, гневная и нежная. Зал исступленно аплодировал. Режиссер говорил: «Нужно ее переманить к нам...» А Сергей ничего не слышал: он еще жил в мире чистого голоса: «птица... жимолость... я пошла...»

Ночью он сказал Вале:

— Валя, мама права — ты должна ехать в Москву. Ты скажешь, что я пристрастен, но ты видела, как ты подействовала на всех... Почему не хочешь?

— Я боюсь, что я тогда покажусь тебе далекой...

Он взял ее руки, долго целовал их.

— Валя, мы с тобой встретились дважды — когда я приехал, и сегодня, когда ты вышла на сцену. Ты ничего не понимаешь... Я буду говорить глупости, как в той пьесе, не сердись. После того, как меня ранили, я лежал в санбате. Было очень много звезд. Мне вдруг показалось, что я могу поймать одну в кулак, как светлячка... Разве ты знаешь, что далекое и что близкое? Ты сама мне говорила до войны, что можно повернуть бинокль... Скажи мне те слова, которые ты написала...

— Я не помню...

— «Любовь моя так страшно разрослась...»

— ...«что мне не охватить и половины». Сереженька, не охватить...

12

Отряд Деде получил оружие еще в середине июля. Гюстав тогда рассказал: «Спустили на парашюте английского майора. Он сразу мне выложил, что у союзников в Нормандии заминка, и они поэтому пересмотрели свое отношение к партизанам — возлагают на нас надежды. Я ему прямо сказал — надежды нас не устраивают, необходимо оружие. Он говорит: «Не знаю, как в других местах, а здесь мы решили вооружить не только AS, но и FTP». И действительно получили. Нет худа без добра — они топчутся, зато мы можем двинуться...»

За месяц сделали много: освободили от немцев весь округ. Немцы держат только Лимож: забаррикадировали улицы, укрепили здания. Гарнизон у них крепкий, много эсэсовцев. Гюстав сказал: «Пора взять Лимож. Не ждать же союзников!..»

Майор Деде выстроил отряд. Вот Шарль, седоусый крестьянин, который любит рассказывать, как во время испанской войны он написал Блюму: «Я был шестнадцать лет социалистом и мне стыдно, когда я читаю о судьбе Мадрида...» Вот девятнадцатилетний коммунист Живе, веселый парижский рабочий, он застрелил в Бриве немецкого офицера. Вот горняк Андре, в сорок третьем он достал динамит из шахт. Вот барселонский шофер Маноло, изучивший сначала все концлагери Франции, а потом все ее макú. Вот Чех, Пьер, Шарло, Медведь, Мадо... В отряде шестьсот человек.

Они проходят мимо деревень. Крестьяне их приветствуют:

— Это макú...

И Шарль отвечает:

— С макú кончено. Мы идем на Лимож.

По другим дорогам подходят к городу другие отряды — Фернанда, Бернара, Жоржа. Лимож окружен.

Немцы пытаются прорваться к северу; бои идут на парижском шоссе. В Лиможе застряли эсэсовцы из дивизии «Адольф Гитлер». Одного Маноло поймал, нашел на нем фото — русская изба, снег, полураздетая девушка плачет. «Ты снимал?» спросил Маноло. Эсэсовец кивнул головой. Маноло отнес фотографию Медведю. Воронов поглядел и нахмурился. Маноло сказал: «Ты не огорчайся, он свое получил...»

У Шарля жила в Орадуре сестра. Ее немцы сожгли вместе с детьми. И Шарль говорит: «Может быть, американцы не знают, с кем они воюют, я знаю...»

Кольцо вокруг города сжимается. Последняя вылазка отбита возле Экса.

«Завтра будем штурмовать»,— говорят партизаны, узнав, что Деде вызвали в штаб.

Деде считался одним из лучших партизанских командиров. Это был коренастый человек лет сорока, с живыми острыми глазами и с выпяченной нижней губой, которая придавала его лицу выражение возмущения. До войны он никогда не думал о войне, сидел над ученическими тетрадками и с гордостью говорил, что его школа «самая передовая в департаменте». Эта школа была недалеко от Лиможа, но он редко о ней вспоминал: голова была занята немецкими эшелонами, толом, автоматами.

Деде думал, что Гюстав его вызвал на оперативное совещание. Но Гюстав сказал:

— Поедешь с другими как парламентер. Генерал Глейницер хочет обсудить условия капитуляции.

— Какие условия? Пусть подымают руки, точка...

Гюстав объяснил, что положение сложное: у немцев артиллерия. Представитель союзного командования, все тот же английский майор, поедет с парламентерами:

— Боши не хотят сдаться нам, требуют, чтобы с ними разговаривали союзники. Пожалуйста, мы им выставим этого майора, больше они ничего не получат, пусть сдаются, и все тут. Разговаривать будет майор, но ты присматривай, чтобы он не увлекся,— решит вдруг, что заседает на мирной конференции, они это любят...

Поехали в город; по дороге англичанин говорил Деде:

— Мы встретимся с немцами на нейтральной почве — у швейцарского консула. Текст они получили, а я не

отступлю ни на иоту... Вы курите?.. Приятно, что генерал-лейтенанту рейхсвера придется разговаривать с настоящим французским партизаном. Вы, наверно, крайне левый, правда? Я лично никогда не интересовался политикой, но у нас в Англии тоже много левых, только умеренных...

Генерал Глейницер разговаривал с майором; французов он старался не замечать, а взглянув на Деде, покраснел от гнева — подумать, что он преспокойно сидит и нельзя его отправить в гестапо!..

— Я настаиваю, чтобы гестаповцы подпали под акт о капитуляции,— сказал генерал.

Англичанин кивнул головой. Генерал в десятый раз прочитал текст.

— Кто примет пленных? Я предпочел бы AS...

Англичанин вздохнул:

— Вот этого мы не можем вам обеспечить, теперь отряды общие, так называемые «внутренние силы»... А партизан здесь вдвое больше...

Деде тихо сказал англичанину:

— Жалко, что вы не захватили для него несколько сот ваших «умеренно левых». Видите, бедняга даже вспотел...

Генерал вытер шелковым платочком лицо, затылок, еще раз перечитал короткий ультиматум.

— Хорошо, я принимаю ваши предложения.

Английский майор прочувствованно произнес:

— Благодарю вас, господин генерал.

Деде не выдержал:

— Собственно говоря, благодарить нужно партизан...

Когда они возвращались, майор стал оправдываться:

— Вы напрасно меня упрекнули, это этикет. А мы знаем, чем мы вам обязаны. И американцы это знают. Генерал Эйзенхауэр недавно сказал, что «внутренние силы» стоят по меньшей мере пятнадцати союзных дивизий. А «внутренние силы» это прежде всего вы...

— Сейчас мы вам нужны,— ответил Деде.— Летом сорок второго да и сорок третьего вы нам не давали оружия. Боюсь, что, когда мы прогоним немцев, вы к нам снова охладеете. А в любви ценится постоянство, не правда ли, господин майор?

Англичанин улыбнулся: французы не могут обойтись без фривольных намеков...

Вся площадь была заполнена людьми. Деде взобрался на цоколь. Он говорил о трудных годах, о мужестве народа, о маки́.

— Мы вспоминаем сейчас наших героев, машиниста Поля, который погиб в сорок первом, Дево, Николя Фуже — мы его звали Мики, испанца Хосе, Дезире из Дордони, всех павших за свободу. Мы вспоминаем героев Сталинграда — они спасли и нас...

Деде обнял Воронова.

— Слушай, эту площадь мы назовем площадью Сталинграда...

Какая-то девушка целует Воронова; он чувствует на своей щеке ее слезы. Он вспоминает Ленинград, маленького Мишку, руки Нины; и все туманится в глазах — Деде, Лимож, облака.

Мадо говорит:

— Медведь, если ты встретишь когда-нибудь Сергея, расскажи ему про этот день — как говорил Деде, как тебя обнимали француженки. Ты помнишь, Мики пел:

Мы жить с тобой бы рады,
Но наш удел таков,
Что умереть нам надо
До первых петухов...

— Медведь, скажи еще Сергею, что рядом с тобой шла Мадо...

Цветы, очень много цветов, как будто не было ни Орадура, ни танков, ни горя — розы, левкои, пионы, георгины, лакфиоль. В руках Мадо охапка красных роз. Она ни о чем не думает, ничего не вспоминает, не старается заглянуть в будущее. Бывают в жизни редкие часы, когда счастье разлито в воздухе, и человек, освобожденный от памяти, от мыслей, от всего, чем он силен и слаб, просто смотрит, дышит, улыбается.

— Ты увидишь Барселону, Маноло,— говорит Мадо.

Деде вернется в свою школу. Чех будет чинить часы. Медведь уедет в Ленинград. Вот и тот час, когда садятся в поезд, кивают рукой, прижимают к губам цветы... И Мадо подносит к лицу розы. Она вспомнила вокзал,

окно вагона, Сергея... Нет, не нужно думать! К ней подбегает Живе:

— Франс, только что передавали по радио... В Париже восстание. Почти весь город освобожден...

Мадо обнимает Живе. Париж, милый Париж, баррикады, бои, каштаны, та скамейка!..

13

Лансье был несносен: он то рыдал, то говорил, что никогда в жизни не был так счастлив, вдруг в пустой комнате начинал произносить патетические речи, падал на диван — у него сердечный припадок, пусть сейчас же приедет Морило, не то он умрет, а час спустя куда-то мчался.

Марта не выдержала, расплакалась. Ее слезы удивили Лансье — ему казалось, что жена не отдает себе отчета в происходящем; потом он растрогался, стал ее успокаивать.

— Может быть, все кончится благополучно. А если нет, мы умрем вместе...

— Ты думаешь, я боюсь бомбардировок или пушек? Мне за тебя страшно, минутами мне кажется, что ты сходишь с ума.

— Не я схожу с ума — мир. Я картезианец, я люблю логику. А здесь нет никакого смысла, это бред!..

Третьего дня пришел Пино; бодро покрякивая, он рассказал:

— Эррио в Париже, это абсолютно точно. Его вызвал Лаваль. Идут разговоры о новом кабинете. К Петэну дважды приезжал представитель Америки. Сейчас составляют кабинет. Американцы выдвигают Блюма, или Эррио, или Шотана. Среди немцев есть сумасшедшие, которые хотят удержать Париж во что бы то ни стало. Но Абетц рассуждает здраво... Я смотрю оптимистически — американцы тоже заинтересованы в том, чтобы не пустить на порог коммунистов, значит есть почва для контакта. Лаваль сказал Эррио: «Я нравился немцам, вы нравитесь американцам, теперь произошли перемены на

театре военных действий, следовательно, нам нужно поменяться местами...» Неглупо? А?

С весны Лансье жил в постоянном страхе. Правда, Пино не раз говорил, что Алжир понимает положение промышленников, которые были вынуждены работать с немцами. Но при чем тут Алжир? Алжир далеко, а под боком сидят коммунисты с их «черными списками». Для них я предатель. Это фанатики, они не рассуждают, достаточно вспомнить Лежана. С ними можно разговаривать, когда все спокойно и полиция на месте, когда у этих азиатов нет под рукой революьвера. Я пожалел Лежана. Не знаю, что с ним, но он меня не пожалеет, это я твердо знаю...

После визита Пино Лансье просиял. Конечно, Лаваль жулик, но он знает правила парламентской игры. А маршал честный француз, я всегда так думал. Американцы прежде всего деловые люди, им нужен порядок. Какое счастье, что между нами и русскими Германия! Представляю, что было бы, если бы сюда пришли красные казаки... Немцы передадут Париж американцам, это будет настоящий праздник. И Лансье закричал:

— Марта, иди сюда!.. Я тебе расскажу нечто очень важное. Только это нельзя говорить громко. Какое у нас число? Шестнадцатое? До первого сентября придут американцы и с ними Луи, понимаешь?..

А сегодня утром явился Морило, сказал:

— Эррио арестовали. Лаваль удрал в Бельфор. Газет больше нет — все эти писаки улепетывают. А немцы решили драться. Так что приготовьтесь к хорошенькому фейерверку.

Лансье взвизгнул:

— Чего вы смеетесь? Это трагедия!..

— Я не знал, Морис, что вы так боитесь трескотни.

— Я ничего не боюсь, я был в Вердене. Но вы понимаете, что будет, если на улицу выйдут коммунисты?.. Полиция бастует... Начнется ужасная резня...

— Боюсь, что в последнюю минуту немцы договорятся с американцами. Вы говорите — коммунисты выйдут на улицу? Хорошо бы. Такая грязь на этих улицах, что только кровью можно смыть,— июнь сорокового, четыре года с немцами, улыбочки, доходы, кукиш в кармане...

Лансье так поглядел на Морило, что тот попятился.

— Успокойтесь, Морис!..

Но Лансье его не слышал.

— Вам нужна моя кровь? Хорошо, режьте меня, но скажите прямо, что вы коммунист!

Морило вытащил из кармана какое-то лекарство:

— Возьмите, Морис, это сразу успокаивает...

— Я не хочу успокоиться, я француз, я страдаю за Францию!..

Он все же принял таблетку, прилег на диван и задремал.

Он проснулся с тяжелой головой. В комнате было темно — нет тока. Нет радио. Может быть, американцы уже подходят к Парижу? А может быть, началась резня? Ничего неизвестно... Он протомился вечер, ночь. Утром он решил пойти посмотреть, что делается в городе. Ему показалось, что он еще спит. Или правду сказала Марта — он рехнулся?.. Несутся немецкие грузовики — на них навалены мебель, сундуки, какие-то машины, ящики. И вдруг на фасаде дома американский флаг, а рядом советский — серп и молот... Здесь же старая афиша: «Празднество по случаю третьей годовщины объявления Европой войны большевизму». Не прошло и двух месяцев... Интересно, что делает сейчас Нивель? Наверно, залез под кровать... От этой мысли Лансье неожиданно развеселился. Все-таки приятно, что боши убираются к чорту! Они меня достаточно измучили, то — почему я работал с Лео, то — где Луи? Наверно, Луи придет вместе с союзниками. Может быть, и Мадо там?.. Ужасно, что Марселина не дожила до такого счастья, она всегда ненавидела бошей. Когда придут американцы, я поговорю с этим Руа... Вот французский флаг над мэрией. И немцы не стреляют, удивительно... Кажется, рай возвращается... Лансье шел, чуть подпрыгивая, в его походке сказывалось необычайное веселье. Вдруг он увидел на стене воззвание, подошел.

«Мы, представители Парижа... призываем народ столицы и предместий к восстанию... англо-советско-американский боевой союз... наш великий Париж... Марсель Кашен, Морис Торез, Жак Дюкло...» Лансье отошел и прикрыл ладонью глаза. Какие там американцы... Это

коммунисты, вот что! Чему я радовался? Немцы меня раздражали, а эти меня зарежут...

Он начал себя успокаивать: слова, кто им придает значение? Вон танк, это немецкий, они называют такие «пантерами». У американцев тоже хорошие танки. А что у коммунистов? Листовки и только. Меня они не запугают.

Был несносно жаркий день. Когда-то в эту пору Париж пустовал: все уезжали к морю, в деревню. Лансье гулял по парку «Желинот»... Ну и жара, асфальт расползается под ногами! Он снял шляпу, долго вытирал мокрый лоб. Хотелось пить, он сел на террасе маленького кафе, заказал минеральную воду; вспоминал Луару, Марселину, пейзажи Мадо. Перед кафе остановился немецкий грузовик. Три солдата возились с колесом. Откуда-то появились молодые люди. Лансье не успел опомниться, как немцы лежали на мостовой. Кровь на солнце казалась неестественной, жирной, как масляная краска. Молодые люди вскарабкались на грузовик, начали скидывать оттуда автоматы. Среди них была молодая женщина; ее золотистые волосы приподымал ветер. Знакомое лицо, подумал Лансье. Он как-то не осознавал ни того, что перед ним война, ни того, кто эта женщина. Потом он бросился к ней, но не догнал — она исчезла за углом с другими. Кто мог бы подумать, что Леонтина способна стрелять из автомата? Она любила танцы, дурачилась, как Лео, никогда не занималась политикой. Да, но у нее есть причины... Она всегда любила Лео, Марселина говорила: «У нее большое сердце...» Я понимаю, что она воюет, это даже благородно. У нее вдохновенный вид, прямо картина Делакруа. Есть красота и в таком безумии. Только художников больше нет — другая эпоха, все стало грубее... Ужасно обидно, что я не догнал ее, не пожал руки... В общем я нехорошо поступил с Лео. Ведь я обещал ему помочь. Глупо было обещать — что я мог сделать? Как будто боши со мной считались! Разве Лео было бы легче оттого, что и меня послали бы куда-нибудь к чорту? Вот Дюма кричал и докричался. Бессмысленно... Другое дело эти люди — они убили немцев, забрали оружие. Наверно, они связаны с союзниками, смешно подумать, что Леонтина может стать коммунисткой.

Снова раздались выстрелы. Прохожие побежали, по-

бежал и Лансье. На этот раз стреляли немцы. Лансье пробежал несколько улиц, потом остановился, ему стало страшно — он вспомнил свежую кровь на серо-голубом асфальте. Могли и меня убить, очень просто. Ветер, который на несколько минут освежил город, улегся. Жара стала еще тяжелее. Лансье едва доплелся до дому. Он сказал Марте:

— Ничего нельзя понять. Коммунисты призывают к восстанию. А я видел Леонтину — это жена Альпера — с автоматом. Американские флаги... Я думаю, что коммунисты хотят примазаться — набрать голоса для будущих выборов, но это ребячество. Боши убираются, спешки не чувствуется, наверно есть соглашение — они уйдут, когда американцы успеют добраться до Парижа...

Вечером забежал Морило. Лансье рассказал про Леонтину. Морило не удивился:

— Я знал, что она в Париже, я ее лечил весной... Ну, Морис, теперь действительно началось. Парижский Комитет Освобождения объявил восстание. Меня мобилизовали как врача — буду перевязывать...

— Кто вас мобилизовал? Американцы?

— Полковник Роль. Француз. Рабочий-котельщик. Он, между прочим, проработал два года у Берти.

— Он... коммунист?

— Конечно.

Морило кашлял, смеялся, потирал руки.

— Потом все поставят на место. Но вы понимаете, Морис, хорошо хоть раз в жизни увидеть на улице порядочных людей; которые занимаются порядочным делом!..

У Лансье не было сил спорить; он только попросил у Морило «того самого лекарства». Он быстро уснул, но сон был тяжелый. Он закричал во сне. Марта еле его разбудила. Она стояла над ним раздетая, трясла его и сама тряслась от страха.

— Боже, как ты ужасно закричал!

— Мне снилось...

Он не мог рассказать Марте, что ему снилась Леонтина. Она стояла с растрепанными волосами, медленно подняла автомат и прицелилась в него. А кругом никого не было — только серо-синее каменное поле, залитое яркой кровью.

14

Ночью над городом прошла гроза, но она не освежила воздуха. Воскресенье было таким знойным, что повстанцы, заходившие в полутемную прачечную, где помещался КП майора Люка, облегченно вздыхали: хоть несколько минут прохлады.

В западных кварталах это был обычный воскресный день. Рано утром горничные прогуливали собачек. Потом показались дамы в черных платьях с молитвенниками. Продавали на улицах анютины глазки, левкои. Скользили бесшумно велосипедистки, потрясая фланеров эксцентричными прическами и голыми икрами, на которых были нарисованы швы чулок. Никто не убирал мусорных ящиков возле подъездов, и зловоние портило воскресную прогулку; к тому же ходили слухи, будто коммунисты захватывают мэрии и убивают людей, которых называют предателями. Почтенные люди вздыхали: хоть бы скорее пришли американцы!

А на берегу Сены сидели невозмутимые рыболовы все с той же несбыточной мечтой поймать пескаря; это были философы, и они хотели многое передумать за длинный воскресный день.

Иначе выглядели бедные кварталы. Дома были изукрашены флагами. На стенах пестрели воззвания различных комитетов. Владельцы кафе позакрывали свои заведения: боялись стрельбы. Показывались и потом исчезали группы партизан; у некоторых были автоматы или винтовки. Иногда проезжал немецкий броневик. То и дело раздавались выстрелы.

Прачечная была в глубоком дворе, ее окна выходили на две улицы, в случае нападения легко было уйти. Лежан выслушивал приходивших, говорил:

— Занять мэрию... Роже нужны пулеметы, иначе они не справятся... Посадить снайперов возле вокзала — там проходят грузовики... Сколько у тебя бутылок?..

У повстанцев теперь было довольно много автоматов, были и пулеметы; вчера они захватили два грузовика с оружием. Но что делать с танками?.. Необходимо побольше бутылок. Еще вчера Лежан послал связного к Фернанду: «Горючее есть, подкинь серной кислоты...»

Бутылки партизаны называли «русским коктейлем» — все знали, что это оружие с успехом применялось на Восточном фронте.

— Я сняла двух бошей,— сказала Леонтина.

Лансье был прав — ее лицо выражало вдохновение. Впервые она могла сказать все, что передумала, перестрадала, сказать языком огня,— других слов для таких чувств не было. Она помнила тот осенний прозрачный день, когда в последний раз они встретились с Лео́. Он говорил: «Меня обещали свести с партизанами. Я хочу стрелять. И знаешь почему?.. Потому что я знал счастье. Знал его с тобой...» Лео куда-то увезли. Он был слишком доверчив... Всю зиму и весну Леонтина искала людей, которых не нашел ее муж. В конце мая доктор Морило свел ее с одним студентом. Она таскала листовки. И вот она дождалась часа: она судит тех, кто разбил ее счастье... Роб, маленький Роб, он задохся от дыма, она его баюкает... «Мадам, его нужно похоронить...» — «Валери-валера...» — «Это ваш муж? Он неариец...» Париж восстал, и стихия восстания, древняя, как улицы этого города, приподымала маленькую мастерицу, которую Лео шутя называл «цветком парижской мостовой».

Командующий германским гарнизоном генерал фон Шольтиц был подавлен событиями. Ему приказали обеспечить свободный проход через Париж Седьмой армии. У генерала фон Шольтица двадцать тысяч солдат, среди них много эсэсовцев, восемьдесят танков, авиация. С парижской чернью он справится... Но в дело вмешивается политика. Трудно понять, чего хочет начальство. Генерал фон Шольтиц привык воевать и выполнять приказы, а не заниматься дипломатией. Он старался, как мог, остановить американцев — он командовал корпусом, не его вина, что в Сен-Ло немцев разбили... А фюрер рассердился и отправил его расхлебывать кашу в Париж. «Я только маленький генерал,— говорит фон Шольтиц, когда его спрашивают, намеревается ли он разрушить город,— я выполняю приказы». Он болен, у него грудная жаба. Он мог бы прожить с такой болезнью еще двадцать лет, не случись этой проклятой войны...

«Париж уютный город,— говорит генерал французам,— но у вас много босячья и террористов...» Еще

несколько дней назад все было ясно: мы не будем защищать Париж, американцы не будут его штурмовать — есть договоренность: мы уйдем, когда американцы подойдут к предместьям города. Кому наруку междуцарствие? Да только коммунистам... Почему же фюрер хочет, чтобы я взорвал мосты и защищал город во что бы то ни стало?.. Хотят прислать полтораста танков «Великой Германии». Они попросту сошли с ума! Теперь не сорок второй, и я не намерен разыгрывать роль фон Паулюса. Достаточно было глупостей!.. Мы должны выиграть время...

Вот почему генерал фон Шольтиц ведет переговоры с господином Нордлингом. Это порядочный человек, он консул Швеции и председатель акционерного общества «Подшипники СКФ». Конечно, генерал чувствует, что швед любит союзников, это нехорошо — северный человек должен любить Германию. Но шведы вообще играли на двух лошадок, а теперь положение такое, что не приходится привередничать — лучше господин Нордлинг, чем коммунисты... У Германии осталась одна надежда: союзники увидят, какую опасность представляют собой большевики, и не пустят красных в Германию. Нельзя разрушить Париж, это сделает невозможным соглашение...

Господин Нордлинг предлагает перемирие. Конечно, это унизительно, но это лучше, чем открыть в Париже новый фронт. Тем паче, что главное — обеспечить свободный отход Седьмой армии. Генерал фон Шольтиц спрашивает:

— Но с кем вы хотите, чтобы я заключил соглашение? Не могу же я разговаривать с босячьем, с террористами, с коммунистами...

Слово «коммунисты» генерал произносит, растягивая слога — выражает свое пренебрежение. Господин Нордлинг его успокаивает:

— Это не коммунисты, это представители алжирского правительства, вполне порядочные люди. Если бы вы, господин генерал, были французом, вы примкнули бы к де Голлю...

Фон Шольтиц не возражает, он думает о своем — нужно выиграть хотя бы неделю.

Леонтина с товарищами была на улице, когда проехал громкоговоритель, украшенный французским флагом:

«Временное правительство Французской Республики и Национальный Совет сопротивления предлагают вам прекратить все враждебные действия против оккупантов до полной эвакуации города».

Леонтина спрашивает:

— Значит, нельзя больше стрелять?

— Кто это подписал?.. Ах, подлецы!..

— Мюнхенцы!..

— Все равно мы будем бить бошей.

— Пойдем к Люку. Пока он не скажет...

Они не нашли Люка — он был в штабе.

Проехали немцы, они улыбаются. На одном грузовике пулеметы, на другом пианино, статуэтки, пуховое одеяло. А парижане смотрят, шутят. В кафе много народу. Все обошлось — теперь нужно ждать американцев...

Успокоенный Лансье гуляет с Мартой, он жалуется на жару, но он счастлив: все-таки французы это французы, недаром у нас Декарт, мы любим логику!..

В это время на заседании Комитета Национального фронта Лежан говорит:

— Их цель понятна: отстранить народ. Но теперь не сороковой... Мы не можем пропустить три немецких дивизии через Париж. Если союзники готовы предать нас, мы не предадим союзников. Я предлагаю...

Председатель читает проект резолюции:

— «...Клеймим соглашение о перемирии, как нож в спину Парижа, который двое суток героически сражается против захватчиков...»

На улице стреляют: не всех убедили громкоговорители.

Лежан в типографии. Нужно быстро обеспечить обращение партии: «Мы выступаем против перемирия — это капитуляция Парижа... Вперед, Париж! Смерть бошам!..»

На следующий день собрание. Здесь авторы перемирия. Один из них — французский генерал, говорит:

— Мы заключили с фон Шольтицем джентльменское соглашение...

Лежан прерывает его:

— Может быть, вы не помните, с кем англичане заключили в свое время джентльменское соглашение? С Муссолини... Если вы намерены соблюдать перемирие,

FTP будут воевать одни. На количестве повстанцев это, кстати, мало отразится...

Генерал фон Шольтиц с удивлением прислушивается: стреляют. Босячье, как бы их ни называл господин Нордлинг...

Полковник Роль приказал покрыть город баррикадами. Девушки несут мешки с песком; на набережных и на бульварах рубят каштаны, чинары; из домов вытаскивают железные кровати и чугунные печки; валят решетки скверов; выкапывают булыжники. Есть у каждого города свое заветное слово: Париж ожил — он услышал свое слово: «баррикады». Как блузники в июне сорок восьмого, как федераты в дни Коммуны, рабочие Рено и актрисы из «Комеди франсез», школьники и ветераны первой войны, подпольщики и наивные модистки, студенты и старухи — все с неистовством строят баррикады. Может быть, и не выстоят эти препятствия перед артиллерией, может быть, их слишком много и не все разумно сооружены, они сейчас нужны Парижу, как глаза, как голос — они выражают все, чем жив этот старый город,— его страсть, гнев, тоску.

Это было на бульваре Сен-Жермен возле Сен-Мишеля. Танк медленно продвигался вперед; не будь грохота, Леонтина решила бы, что он стоит. За ним шел другой танк, поменьше. Леонтина стояла в подворотне. Она выбрала это место, потому что здесь была баррикада, танк наверно приостановится. Ей казалось, что она здесь много часов. Сердце колотилось, а в ушах, покрывая грохот, звенел аккордеон маленькой танцульки, где она танцовала с Лео, когда они познакомились:

Любовь моя, ты ее не тронь,
Прорвется к небу огонь...

Танк остановился. Из башенного люка высунулся рассерженный немец. Леонтина швырнула бутылку. Кто-то с верхнего этажа кричал: «Горит!..» Стреляли. Второй танк прошел дальше. Леонтина опустилась на тротуар; казалось, что она сидит, прислонившись к стене дома; голова была опущена, волосы чуть шевелились.

Из дому выбежали люди. В карманчике Леонтины нашли только маленькую записку, которую Лео переслал ей из Дранси (она ее носила на груди, как талисман):

«Леонтина, любовь моя, жил и умру с твоим именем». Кто-то написал углем на стене дома: «Здесь погибла Леонтина, которая сожгла немецкий танк». Потом санитары унесли Леонтину. Один говорил, что она жива, другой молчал.

Доктор Морило подбежал к ней и сразу отошел. Он давно привык к смерти, а в эти дни он видел и расстрелянных девушек и убитых детей; но в нем жило какое-то особое чувство к Леонтине — пересмешнице и наивной девчонке; не раз он думал: могла быть моей дочкой... Все эти дни Морило был поглощен работой, приходилось бегать под огнем, забираться на чердаки, спускаться в подвалы. Раненых было много — и повстанцев и зевак; Морило не знал того иллюзорного перемирия, которое встревожило одних и успокоило других: все равно стреляли и немцы и партизаны. Он не думал ни о своей жизни, ни о том, что будет, когда немцев выгонят, он радовался возвращенной молодости Парижа. А вот сейчас, когда принесли Леонтину, с глазами, уже тронутыми мутью, с ненужным золотом волос, Морило почувствовал острую тоску — то ли он вспомнил о смерти Пьера (наверно, и Рене погиб), то ли ему стало страшно от мысли, что уходят лучшие, останутся подлецы. Нахмурившись, он перевязывал старушку, которая причитала: «При чем тут я, господин доктор? Я шла в булочную...»

На бульваре Сен-Жермен снова стреляли. А возле дома, где погибла Леонтина, лежали георгины — кто-то, прочитав надпись, положил цветы. Георгины быстро потемнели — день был сухим и горячим.

15

Самба перед войной сказал Лежану: «Когда будет драка, посмотрим...» Зимой ему предложили войти в подпольную группу, он отказался: «Какой же я конспиратор? Я болтун... И потом вы говорите — «организовывать», я этого не умею. Начнется — пожалуйста...» Когда он услышал первый выстрел, он отчужденно оглядел свою мастерскую, почему-то ногой опрокинул табуретку и ушел к повстанцам.

Он хорошо стрелял; ему дали винтовку; он забирался на чердаки, на крыши и подстерегал немцев. Он был счастлив; впервые за долгие годы он освободился от сомнений, от раздвоенности. Большой, веселый, он чувствовал себя в родной стихии среди людей, которые хорошо ругались, вкусно жевали хлеб, выбивали немцев из домов, шутили, кидались с бутылками на танки, пели сентиментальные романсы и выбегали на площадь, залитую кровью, как на лужайку. Да и Самба нравился товарищам; его прозвали «Гиппо» — одна девчонка сказала: «Ты похож на гиппопотама»; всех забавляло, как ловко ходит по покатым крышам неуклюжий Гиппо.

Услышав сообщение о перемирии, Самба равнодушно сказал «дудки» и прицелился в шофера грузовика.

Смешно,— думал он,— Нивель называл немцев зигфридами. Хорошо, пусть зигфриды. А сейчас мы их колотим — слесаря, белошвейки, художник Самба, он же Гиппо... Есть в народе большая сила, можно прожить всю жизнь и не заметить ее; это как вулкан, который объявлен потухшим, устроили фуникулер, ресторан для туристов с подзорной трубой и удобными креслами; а потом бац... Жалко, что нельзя пристрелить Нивеля, наверно клоп залез в щель...

Немцы держались теперь в пяти или шести местах; это были острова, и от одного острова до другого уходил в бурный рейс танк. А улицы попрежнему были заполнены народом. Велосипедисты развозили газеты: «Юманите», «Се суар», «Либерасион». Иногда немцы пытались перейти в наступление, штурмовали мэрию или министерство, занятое партизанами. Самба три часа дрался на площади Сен-Мишель, потом у мэрии пятого округа. «Видная мишень»,— посмеивался он, показывая на себя...

Пятый день идут уличные бои. По Елисейским полям продвигается большая немецкая колонна. Ее обстреливают. Танки открывают огонь из орудий. Один танк загорелся... Дерутся и в Бельвилле, и возле вокзала Аустерлиц, и на узких старых улицах квартала дю Биси. Дерутся и ночью. В горячей темноте раздаются оклики:

— Кто идет?

— FFI.

«Чернь вышла на улицу»,— шепчут перепуганные обитатели Пасси и Отейля; они жгут портреты Петэна, немецкие пропуска, записные книжки. Да и среди участников сопротивления люди, которые высказывались за перемирие, встревожены; одни сокрушаются, что немцы могут уничтожить памятники старины, другие откровенно говорят: «Нельзя допустить, чтобы коммунисты завладели Парижем...»

— Где же американцы? — в сотый раз спрашивает Лансье Марту.

— Где же американцы? — раздраженно восклицает генерал фон Шольтиц.

Господин Нордлинг говорит генералу:

— Если вы дадите мне пропуск, я поеду с графом Сен-Фалом в штаб Эйзенхауэра.

Слово «граф» успокаивает фон Шольтица; граф не может быть коммунистом.

— Хорошо, вы получите пропуск...

Двадцать четвертого августа вечером радио сообщило: «Французские танки входят в Париж». Сотни тысяч парижан стояли на улицах и улыбались, хотя никто не мог разглядеть в темноте их улыбок.

Лежан не улыбался:

— Немцы атакуют мэрию одиннадцатого округа. Сейчас же пришлите двести человек с пулеметами...

Самба ворвался в дом и вытащил немецкого капитана. Тот шел, положив руки на макушку головы. Самба внимательно посмотрел на него: капитан был высоким, худым, с длинным острым лицом изувера; Самба вдруг подумал: Греко бы его хорошо написал... А потом Самба ни о чем не думал, кричал до хрипоты, обнимал девушек, стариков, партизан с колючими щеками и радовался; так может радоваться немолодой человек, когда он сбросил с себя груз годов.

— Капитулировали!..

— Да здравствует свобода!..

Гастон Руа подошел к маленькому окошку, выходившему на бульвар Пор-Рояль, и прислушался. Громкоговоритель кричал:

«Соглашение о капитуляции, заключенное между полковником Ролем, командующим FFI Иль-де-Франс, и

дивизионным генералом Леклерком, командующим Второй легкой бригадой с одной стороны, и генералом фон Шольтицем, командующим германскими силами парижского округа...»

Руа застрял в Париже: его подвел полковник фон Шлиффер — сказал, что опасности нет. Фон Шлиффер уехал неделю назад. Руа метался по городу. Он не решался пойти домой: может быть, там уже хозяйничают коммунисты. Он скрывался в чердачной комнате для прислуги. У него были документы на имя электромонтера Гастона Дюкена. Но он думал об одном: о смерти. В первые дни восстания он еще надеялся: у немцев много танков, в Бурже по меньшей мере пятьдесят самолетов; стоит побомбить, пустить танки — и весь этот сброд разбежится... Но фон Шольтиц оказался мямлей. Вероятно, немцы доживают последние дни, если они вступают в соглашение с партизанами. Сдаться какому-то проходимцу! Ведь ясно, что этот полковник Роль не полковник и не Роль... Теперь надеяться не на что... Его может узнать на улице любой прохожий, он ведь выступал на собраниях. Руа посмотрел в маленькое зеркальце, которое висело над комодом, и бледное невыразительное лицо с усиками показалось ему единственным, не похожим на другие лица. Нет, спрятаться нельзя...

Он вытащил револьвер. Нужно застрелиться, это самое простое... Другие оказались умнее. Они могут вывесить флаги и спокойно спать, хотя они работали с немцами, нажились куда больше, чем я... Наверно, Пино сейчас приветствует полковника Роля. Пока дознаются, что он через меня купил за гроши еврейский дом, пройдет два-три месяца, может быть полгода, страсти улягутся. Пино докажет, что он пожертвовал на сопротивление четыре су или спрятал на ночь какого-нибудь перепуганного болтуна, словом, вылезет. А я должен гибнуть неизвестно за что. Как будто меня интересует их проклятая политика! Я занимался делами и только. Если мне пришлось прославлять фюрера или ругать евреев, то только потому, что я работал в немецкой организации...

Он снова поглядел в окно. Внизу люди ликовали. Он с отвращением подумал: им хорошо... Его мутило от криков, от песен, от флагов. Вдруг раздались выстрелы; люди

бросились врассыпную. Руа видел, как подобрали двух — женщину и молодого человека с повязкой на руке. Он лег на кровать, курил сигарету за сигаретой. Потом он вернулся к окну. Он теперь походил на лунатика — он действовал в полузабытьи, но с необычайной точностью. Он не промахнулся. Девушка, которая кричала под окном, упала навзничь. Снова все разбежались. Руа стоял у двери и слушал. Какие-то люди подымались по лестнице. Он вышел на площадку и убил одного; хотел снова выстрелить, но не успел, его голова свесилась в пролет лестницы, изо рта капала кровь.

А праздник на улице не прекращался. Жгли портреты Гитлера, целовались, били в ладоши. Девушки, бывшие в одном отряде с Самба, схватили его под руки и, скандируя, кричали:

— Наш Гип-по! Наш Гип-по!..

Он заканчивал:

— По-там! По-там! — И его зычный голос заставлял всех оборачиваться.

Доктор Морило забежал на минуту к Лансье.

— Поздравляю вас, Морис!

Лансье обнял его и прослезился:

— Ужасно, что Марселина не дожила... В вашем квартале много стреляли?

— Кажется, нет... Я почти не был дома. Перевязывал раненых... Убили Леонтину...

Лансье вспомнил, как Леонтина бежала к грузовику и на ветру развевались ее волосы. Ему стало грустно, он понял, что никогда не сможет сказать ей: я хотел помочь Лео, виноваты боши... Он начал вслух утешать себя:

— Ужасно!.. Но какая прекрасная смерть!.. Как в Вердене. Я не думал, что молодые на это способны... Лео может ею гордиться... Как вы думаете, Лео вернется?

— Откуда? С того света?

— Почему вы обязательно сгущаете краски? Конечно, он человек не первой молодости, но у него крепкий организм, я убежден, что он выдержит...

Морило вместо ответа махнул рукой. А Лансье думал о Луи.

— Вы были, когда вступили наши? Летчиков вы не видели?..

— Нет, только танкисты...

— Я слышал речь де Голля, он красиво говорил — об объединении всех французов. Я теперь вижу, что во многом ошибался... Что вы хотите, немцы нас обманывали. Оказывается, коммунисты играют скорее второстепенную роль...

Морило грустно улыбнулся:

— Я видел плакат Колена — два повстанца, они стреляют в разные стороны и под ними даты: 1789, 1830, 1848, 1871, 1944. Цензура запретила... Можете успокоиться, Морис, народ победил, но эту победу ему дадут ровно на один день — попеть, покричать. А потом...— Он помолчал.— Вы всегда сердитесь, Морис, что я смеюсь. Знаете что? Я, кажется, отсмеялся...

Самба поднялся в свою мастерскую. Удивленно взглянул он на холсты, на мольберт, как будто попал в чужую, незнакомую комнату. Здесь все напоминало ему о той тоске, которую люди в книгах называют «творческими муками». Мастерская была большой, но он почувствовал, как здесь тесно: ему было тесно в своей жизни.

Он подошел к окну. Он жил высоко; перед ним были улицы, дома, черепичные крыши — вот с таких он стрелял. Трубы от печей на крышах казались сборищем гномов, ведущих беседу. Солнце садилось. Сколько раз Самба видел эту картину, но сейчас, после боев, крови, смерти, после минут бездумного торжества, Париж его потряс. Это и не город, это каменный лес. Другие города строили по плану, прокладывали прямые улицы, ясные и голые, как теоремы. А здесь дома вырастали подобно деревьям, дом, лепился к дому; каждый век, каждое поколение оставляли на этих камнях свой след. Камни, пропитанные дымом, изъеденные морской сыростью, выдержавшие бури веков. Статью легко написать — что для этого нужно? — голова, мысли, перо. А роман не напишешь по плану, роман нужно пережить. Вот так и Париж — это длинный запутанный роман...

Самба долго стоял среди серо-сиреневых сумерек и повторял: «Париж!.. Мой Париж!..»

16

Нивель начал охладевать к немцам давно; он сам не отдавал себе отчета в том, насколько его рассуждения зависели от военных сводок. Уже год тому назад он записал в своем дневнике: «Нет ничего общего между духовной иерархией и произволом солдатни»,— это было после разгрома немцев у Курска. Когда сдалась Италия, Нивель отметил: «Еще один шаг к развязке. Я сейчас думаю о том, что чистое дело требует чистых рук. Диктатура духа это не «новый порядок».

Он хотел выйти из игры, говорил себе: я наделал много оплошностей, глупо было писать в газетах, я не политик, а поэт. Я защищаю идею. Как я могу отвечать за воплощение этой идеи немецкими интендантами или гестаповцами?

Были среди чиновников префектуры люди, связанные с голлистами, Нивель об этом догадывался; но напрасно он пытался войти в их доверие; как только он начинал критиковать действия оккупационных властей, собеседник замолкал или брал сторону немцев.

Весной Нивель встретил Лансье, предложил ему зайти в кафе. Лансье явно тяготился разговором. Нивель ругал немцев, а Лансье оглядывался по сторонам — боялся, что его увидят с Нивелем.

— Я очень рад, что среди промышленников замечается поворот в сторону национального начала,— говорил Нивель.— Мне передавали, что Пино...

Лансье неожиданно его прервал, с детским прямодушием спросил:

— А вы не боитесь прихода союзников?

Нивель возмутился:

— Я не понимаю, о чем вы говорите? Может быть, вам не нравится, что я служу в префектуре? Но у меня нет ни завода, ни «Корбей». А поэзия не кормит.

— Но вы...

— В сорок первом я приветствовал войну против большевизма. Это правда. Но это и тогда не означало, что я приветствую войну Рейха против западных держав. Я не журналист, я поэт и только поэт... Я не могу отвечать за политическое использование различными шарлатанами

моих образов. Вы помните наш разговор три года назад о дневниках Андре Жида в «NRF»? Разве кто-нибудь посмеет его упрекнуть в том, что он восхищался мудростью Гитлера? Андре Жид теперь в Алжире, и голлисты им гордятся. Это естественно — музы пользуются правами экстерриториальности. Я не боюсь событий, я их ожидаю...

Лансье встал и, сказав, что у него болит печень, поспешно ушел. Нивель задумался: даже Лансье считает, что я связан с немцами... Я играл слишком малую роль, именно поэтому они жаждут со мной расправиться. Пино или другие промышленники выйдут из воды сухими. Им нужны стрелочники... Они предадут поэта...

Нивелю повезло. Его выручил старый знакомый, полковник фон Галленберг: дал разрешение на выезд в Швейцарию. Это было второго июня — за несколько дней до высадки союзников. Переехав границу, Нивель подумал: хоть один раз богиня разума спасла жреца безумия!..

Он очутился в маленькой деревушке над Женевским озером. Здесь он подыскал скромный пансион. Он отказывал себе во всем, даже бросил курить — французские франки, которые ему удалось вывезти, стоили здесь гроши. Через два-три месяца я окажусь на улице...

Женевский журналист Сэно, узнав о приезде Нивеля, решил, что за этим скрыт политический маневр. Нивель его дружески принял, но сразу сказал:

— Я поэт и только поэт. Я счастлив, что нахожусь в стране, которая всегда оказывала приют анахоретам и мечтателям. Я работаю сейчас над книгой стихов «Октаэдр моей души»...

Журналист спросил:

— Вы выступали в защиту «авторитарного режима», не правда ли?

— Никогда. Я выступал в защиту авторитетов. Вы не должны забывать о том трагическом положении, в котором очутилась моя страна после разгрома. Один из моих духовных наставников в то страшное время мужественно заявил: «Найти соглашение со вчерашним врагом это не трусость, а мудрость...» Я был обманут призывом защищать западную цивилизацию от большевизма. Я остался противником красных, но если вы будете писать о моей скромной персоне, не забудьте подчерк-

нуть — я прежде всего француз. Вы, наверно, знаете, что лицо судьи на порталах готических соборов всегда обращено к западу. У меня тоже есть судья — моя совесть, и она спокойно смотрит на зеленые воды Атлантики...

Нивель томился: мысли о каждом сантиме, скучные мещанские разговоры за табльдотом, жалкие журнальчики — у него взяли только два стихотворения... Он говорил себе: нужно продержаться два-три года. Столкновение между Западом и коммунизмом неизбежно. Внутренние дела Франции это только одна карта в игре, может быть некрупная... Конечно, все порядочные французы с восторгом встретят де Голля: он угадал будущих победителей. Петэн видит в нем достойного преемника. Но де Голль должен до поры до времени терпеть коммунистов, как союзники терпят Москву... Если бы у меня были деньги, я дождался бы своего часа. Но, кажется, поэту придется броситься со скалы в ущелье...

Во время меланхолической прогулки по берегу озера он случайно познакомился с американкой Мэри Лоу. Мэри провела два года в Париже, где ее застала война. Она не успела во-время уехать на родину — была больна, и нашла приют в роскошной гостинице на берегу Лемана. Дочь крупного плантатора, она выросла на дельте Миссисипи, среди хлопка, негров и патриархальной скуки. Отец ее рано овдовел и обожал свою единственную дочь, прощал ей все сумасбродства. Его огорчало, что Мэри не выходит замуж, он говорил себе: виноват я — плохо ее воспитал, но что я мог сделать в этакой глуши?.. Мэри уехала в Нью-Йорк, потом в Европу. В Париже она увлекалась сюрреалистами и ателье мод, читала Джойса, лечилась психоанализом, а замуж не вышла. Может быть, не нашлось охотников — красотой она не отличалась. Нивель, увидев ее, подумал: ну и уродка! У нее были рыжие волосы, высоко взбитые и похожие на колтун, большая челюсть. Она одевалась очень пестро, по-французски говорила бойко, но с таким акцентом, что Нивель не всегда ее понимал, употребляла очень грубые слова, не зная, что они означают.

Нивель был настолько одинок, что обрадовался этому знакомству; притом Мэри сразу сказала ему, что обожает французскую поэзию. Правда, он нашел, что у нее

дурной вкус, но как хорошо, что можно говорить о стихах, а не об этой проклятой политике!..

Он прочитал ей несколько стихотворений из своей новой книги: он отходил от классицизма, искал в поэзии «ритма и воздуха». Она восхищенно восклицала: «О, это замечательно!»

Он посвятил ей поэму, которая начиналась стихами:

Желтая дельта. Белый хлопок.
Черное небо в звездной сыпи.
Слышишь ты сердца грозный ропот,
Рыжая роза Миссисипи?..

Когда он произнес слова «рыжая роза Миссисипи», она вскрикнула и положила его руку на свою грудь:

— Вы слышите, как оно бьется?..

Неделю спустя он переехал в чудесный номер гостиницы с большой ванной комнатой, похожей на танцовальный зал.

Он записал в своем дневнике: «Начинается второй искус. Третьего не будет. Прошу мою любимицу Прозерпину, узнавшую муки подземного царства, дать мне силы». Он старался себя утешить: привыкну, не так уж она уродлива, нужно только научить ее скромнее одеваться. Притом у нее доброе сердце...

Мэри оказалась женщиной с тяжелым характером: об этом мог бы рассказать ее отец. Она требовала любви, в тридцать девять лет она хотела наверстать потерянное. Нивель говорил: «Спокойной ночи, дорогая», она отвечала: «Я вовсе не хочут спать. Почитай мне стихи. Начни с того, что ты мне подарил...» Он глядел на ее жесткие огненные волосы и покорно повторял: «Рыжая роза Миссисипи...» Он понимал, что раньше чем через два-три года положение во Франции не прояснится. А Мэри сказала: «Как только кончится война, мы поедем в Америку. Мы навестим для приличия папу, а жить будем в Нью-Йорке — там настоящая художественная атмосфера...»

О парижских событиях Нивель узнал, раскрыв «Журналь де Женев». Он не мог скрыть своей радости: мне повезло!.. Все началось с префектуры... Если бы я был там, меня бы растерзали...

Мэри по-своему истолковала его радость, шептала:

— Я тебя поздравляю, дорогой!.. Поцелуй меня крепче...

Она заказала роскошный ужин с шампанским. От вина ее лицо покрылось красными пятнами, глаза потускнели. Она вдруг начала торопить Нивеля:

— Дорогой, пойдем в номер, я очень устала...

Когда они вошли в комнату, она начала поспешно его целовать, говорила:

— Ты должен написать поэму об освобождении Парижа, все вместе — партизаны, американцы, Монпарнас и наша любовь...

Он тоже опьянел, не слушал, что она щебечет, думал об одном: хорошо, что я сейчас не в Париже...

Она его теребила:

— Скажи скорее, кто я?

Он знал, что нужно ответить «рыжая роза Миссисипи». Но вдруг все в нем возмутилось — сколько можно терпеть такое издевательство?.. Он вскочил, натянул брюки, зажег свет и показал ей язык. Он думал, что она его ударит или заплачет — что-нибудь произойдет... Но она, улыбаясь, сказала:

— О, это замечательно! Так могут любить только французы...

17

Нина Георгиевна решила отметить два события: приезд Сережи и день рождения Васи. Правда, Васи не было, но Нина Георгиевна сказала Наташе и Ольге: «Отпразднуем его день рождения, с Сережей посидим — он ведь завтра уезжает». На столе стояла фотография Васи (недавно прислал, снялся в Вильнюсе) и рядом букет астр. Наташе казалось, что Вася сидит возле нее, несколько раз она мысленно с ним чокалась. Прошло уже больше месяца, как она получила от него первое письмо, но все еще не могла привыкнуть к своему счастью, при слове «Вася» каждый раз улыбалась. Нашелся, пишет почти каждый день!.. Вчера она снова получила длинное письмо — они идут в «логово», он мечтает о дне, когда увидит ее и сына; а потом в письме было столько ласко-

вых слов, что, вспоминая их, Наташа краснела, ей даже стало страшно от мысли, что письмо читал военный цензор, еле себя успокоила: я его не знаю, никогда не увижу, да они и не обращают внимания, наверно, тысячи таких писем. Васька-маленький, который сразу разбил фужер к конфузу Наташи и при одобрительном смехе Сергея, достойно представлял отца-артиллериста, кричал «бум! бум!» — в тот вечер был салют, «большой», как говорила Ольга,— взяли Бухарест. Нина Георгиевна влюбленными глазами глядела на своего внука.

Это был необычайный вечер: Ольга подумала — репетиция праздника победы, хотя не было ничего исключительного — собралась за столом семья, ужинали, ели пирог, мастерски приготовленный Ниной Георгиевной, нестройно рассказывали о пережитом, перебивали друг друга и неожиданно замолкали — слишком хорошо было на душе.

Как раз в то утро Ольга получила письмо от лейтенанта Синякова. Он где-то в Румынии, пишет, что все замечательно, скоро увидятся... Ольга познакомилась с ним в Куйбышеве зимой, когда после ранения он приехал к матери в отпуск. Это был высокий, застенчивый человек, до войны агрономом. Хотя ему было под тридцать, Ольга заботилась о нем, как о ребенке. Они тогда же поженились. Нина Георгиевна просияла, увидев, что дочь, говоря о новом муже, краснеет: не так, как с Лабазовым... Она и Сереже сказала: «По-моему, у Оли на этот раз настоящее чувство, правда?..» Он рассеянно улыбнулся: «Ты говоришь — агроном, лейтенант? Ясно, что настоящее...»

Весь день Нина Георгиевна и Сережа провели вместе. Нина Георгиевна ждала его, как своего единственного друга, с ним сможет поговорить обо всем, что ее мучило три года. Она пронесла через войну юношеский жар сердца. Ольга, улыбаясь, говорила ей: «Ты наш комсорг». Сначала Нине Георгиевне показалось, что Сережа очень переменился; она испугалась — не отошел ли он от нее? Поразила ее в сыне сдержанность, а после какой-то горькой реплики она вся сжалась: может быть, он ожесточился?.. Потом она увидела, что Сережа все тот же — порывистый, горячий, как она говорила себе —

«вдохновенный», только внешне он стал спокойнее, чувствуется — много пережил... В разговоре они переходили с одного на другое. Нина Георгиевна спрашивала про немцев («откровенно они с тобой разговаривали?»), потом начинала размышлять о смерти, потом бродила с Сережей по улицам восставшего Парижа, мечтала, как будет все после войны, рассказывала про свою работу, жаловалась на тупость какого-то Мглякова и восхищалась энергией Щеголевой, гадала, какие книги напишут об осенних ночах сорок первого. Сергей подумал: а ведь она мне ближе, чем многие сверстники, не чувствую, что другое поколение...

— Сережа, ты знаешь, куда тебя посылают? — спросила Ольга.

— На юг. Повезло — может быть, попаду на Балканы... Мне один пленный немец говорил, что когда они забирали страну за страной, одно ему отравляло удовольствие — входят в город, закрыты ставни, спущены шторы, люди от них шарахаются... А как нас встречают! Знаешь, мама, я прежде думал, что слезы радости это только в книгах. А я их видел. В каждом освобожденном городе... Пожалуй, это самая высокая награда.

— Я представляю, Сережа, что делалось в Париже, когда немцы сдались. Я ведь знаю их характер. Когда я прочитала в газете про баррикады...

Ольга улыбнулась:

— Мама, баррикады это из Гюго, теперь решают все танки. Вот когда пришли американские части...

— Пришли, кстати, французы,— сказал Сергей.— Но дело не в этом... Партизаны сыграли большую роль, особенно психологическую... А главное — не в Париже решилось все...

— В Нормандии? — спросила Ольга.

— На Волге. Там один связист был, попал к немцам, троих убил, потом вернулся и убивался, что щипцы потерял. Я не умею об этом рассказывать — не писатель... Но вот такой освободил Париж.

Наташа сказала:

— Я читала, как одна девушка в Париже взорвала танк, кажется, это было в «Комсомолке»...

Сергей откинул голову назад, задумался. Его вывел из этого состояния Васька, который взлез на письменный стол и перевернул чернила. Сергей рассмеялся:

— Вылитый Вася! Я ведь помню Васю маленьким... Когда я прочитал про его партизанский отряд, никак не мог себе представить... Нам было легче — командарм, план операции, тылы. А чтобы, как он — три года в лесах... Выпьем за Васю!

Когда Наташа, чокаясь, поглядела на него, он зажмурился — такой свет исходил из ее больших яркосиних глаз.

Наташе было приятно, что Васька похож на отца; ей казалось, что и в этом запечатлелась ее связь с мужем. Вот только характер другой... Вася спокойный, а этот... Ну зачем он на стол полез? Нельзя ни на минуту отвернуться... Характер у него дедушкин, такой же неистовый... Наташа вспомнила, как Дмитрий Алексеевич вздумал чинить стенные часы, все развинтил, говорил: «Через четверть часа будут ходить, как в обсерватории»,— потом вдруг закричал так, что соседи пришли: «Ну и дурак я, забыл, куда эту шпоньку всадить, а она, проклятая, самая важная, ничего не выходит»... И Наташа молча улыбалась.

— Я пью за Валю,— сказала Нина Георгиевна.

Сергей, как только он приехал, рассказал матери: «Убедил Валю, поступает в театральную студию. С завода обещали отпустить. Ты ее поддержи, мама...» Нина Георгиевна обрадовалась. Попрежнему она была поглощена своей работой; но минутами ее угнетало одиночество. С дочерью у нее были все те же сложные отношения, нежные и в то же время настороженные. Наташу Нина Георгиевна полюбила, гордилась ею (вот какую нашел Вася), но настоящей близости между ними не было. В начале войны Наташа казалась Нине Георгиевне девочкой, она разговаривала с нею, как с маленькой. А когда они снова встретились, Нина Георгиевна изумилась: Наташа не только изменилась внешне — из подростка превратилась в красивую женщину, она и душевно созрела. Почему мне трудно с ней говорить? — спрашивала себя Нина Георгиевна. Она знала, что ее отделяет от Ольги: практическая сноровка дочери, здравый смысл, трезвен-

ность сердца. Но Наташа не такая... Нина Георгиевна не понимала, почему она теряется, разговаривая с Наташей. Может быть, ее пугала цельность натуры, крепость характера — плод этих лет. Нина Георгиевна чувствовала, что Наташа крепко стоит на земле и земля под ней не бутафорская, а твердая, настоящая... Наташа научилась молчать, скрывать свои чувства, и Нина Георгиевна порой думала, что есть в этом спокойствии осуждение: рядом с нею я какая-то невыдержанная, даже стыдно... Если бы Наташа хоть раз раскрылась, показала ту ребяческую нежность, которая уживалась в ней рядом с печальной серьезностью, даже с суровостью, если бы Нина Георгиевна прочитала хоть одно письмо Наташи к Васе или узнала про детское смущение от мысли о цензоре, она почувствовала бы близкую душу. А сейчас она восхищалась Наташей со стороны и мечтала о приезде Вали. Валя писала ей письма, то порывистые, то раздирающе грустные. Стихия искусства, в которой она жила, была миром Нины Георгиевны, хотя она никогда не писала стихов, не играла на рояле, не мечтала о сцене. Письма Вали казались ей полными глубокого смысла, не нашедшего выражения в словах: это было очарование голоса, магия образов. Она видела в Вале свои мечты и не раз удивлялась: как Сережа нашел именно то, что отвечает его сердцу — в маленькой неприметной женщине, которую красит только улыбка, в студентке, у которой профессора не обнаружили таланта? Нетерпеливый, а заметил, понял...

Нина Георгиевна сказала:

— Сейчас так шумно — и на войне стреляют и здесь — от радости... Я часто думаю, что будет, когда вернется на землю тишина? Мне кажется, будет много сосредоточенности, большое искусство. Я в среду занималась с детишками, это пятый класс, удивительные дети, и вдруг подумала — вот таким был Пушкин во время отечественной войны...

Наташа оживилась:

— Наверно, последний год пропускаю. Я вчера встретила одного профессора из Тимирязевки. Он работает над продвижением на север плодовых деревьев — сады в Заполярье. Один гибрид потрясающий...

Нина Георгиевна сидела над внуком, который уснул в глубоком кресле. Она думала о детях: выводим самые необычайные растения — людей, людей завтрашнего дня, которым не будут страшны ни огонь, ни ложь, ни слепая природа.

— Сереженька, а ты часто заглядываешь в будущее или не до этого?

— Кажется, не до этого... Я встретил возле Минска иностранных корреспондентов. Не знаю, хорошие они журналисты или нет, но у меня осталось ужасное впечатление. Один говорил со мной, как фашист, допрашивал, что мы собираемся делать в Германии — «американцы встревожены...»

— Ничего не понимаю,— сказала Ольга,— ведь они союзники...

— А я когда с ними говорил, понял. В сорок втором они считали, что мы на краю пропасти, немцы нас столкнут, но сами на этом сломают ногу. Тогда-то приедет барин и все рассудит. А вышло иначе... Почему ты хочешь, чтобы Форд любил горьковских рабочих? Это было бы противоестественно. Слушай, Оля, кроме газет, есть книги... В сороковом у нас газеты не употребляли слова «фашист» — соблюдали вежливость. Но фашисты оставались фашистами. Может быть, ты думаешь, что какой-нибудь французский буржуа нас полюбил за то, что мы его спасли от немцев? Он нам не простит, что мы его спасли. Он даст сто франков на памятник Сталинграду и сто тысяч франков на борьбу против коммунизма... Я это понял, когда говорил с теми американцами, вспомнил Париж, споры, миссии, которые они посылали для камуфляжа...

— Но ведь это ужасно, Сережа,— вскрикнула Нина Георгиевна.— Неужели не будет людям покоя?..

Она как будто заслонила собой маленького Ваську от далекой тучи.

А Сергей улыбнулся:

— После Сталинграда не страшно... Они могут ругаться, а вот чтобы укусить — сомневаюсь. Да и ругаются они потому, что видят силу. Мы показали: сильное государство, сильный народ, сильные люди. И еще показали — с нами лучшие... Я не знаю, что было в Париже —

газеты мало писали. Но я видел, когда был там, коммунистов, помню инженера, молодого рабочего, да и других. Я убежден, что на улицу вышли они, а не те, кто нас ругает...

Когда они прощались, Нина Георгиевна вдруг стала маленькой, как девочка, прижалась к Сергею, потом быстро отвернулась, чтобы он не увидел слез, закурила и закашлялась. Ольга осталась ночевать у матери. Сергей проводил Наташу. По дороге она вдруг сказала:

— Ты хорошо сказал, что мы не одни. Я читала в Аткарске статью, какой-то старый журнал попался — насчет изменения климата Лабрадора. Один ученый предлагал изменить ход Гольфстрема, тогда там будут даже цитрусы. Наверно, это утопия... А вот мы за три года переменили климат мира. Ты спросишь, откуда я знаю. Я мало знаю, читаю телеграммы ТАСС, вот и все. Но к нам в госпиталь привезли раненую партизанку из Югославии. Я с ней долго разговаривала, тогда и подумала... И в Париже, наверно, есть такие. Как девушка, что сожгла танк...

Потом Сергей шел один по затемненной Москве. Ночь была теплая, летняя, но уже по-осеннему черная. Он запутался в лабиринте переулков между Кропоткинской и Арбатом. Он был счастлив от любви Вали, от встречи с матерью, оттого, что нашелся Вася, оттого, что снова увидел Москву, огромную, нестройную, строящуюся, очень старую и до удивления молодую. Еще он думал о парижской девушке, которая подорвала танк, и где-то в сонме дорогих теней по аллее, усыпанной листьями, шла ему навстречу Мадо.

18

Фронт отодвинулся далеко от Парижа; но Лансье не мог насладиться миром. Напрасно он искал Луи. Никто не мог ему сказать, где он, отвечали — нужно обождать, пока не прибудут сюда министерства. Все казалось зыбким. По улицам ходили вооруженные FFI. На стенах висели грозные призывы разных комитетов. Газеты требовали чистки. Цены росли, и в очередях можно было услышать: «Хуже, чем при немцах...» Американцы заняли

все лучшие гостиницы; они пьянствовали, и молодые женщины боялись вечером выйти из дому. Лансье жил в лихорадке; даже Марта не знала, что его возмутит и что обрадует. Они шли как-то по бульвару (было это вскоре после освобождения города) и увидели полураздетую женщину, окруженную подростками, на груди у нее висела дощечка: «Я спала с бошами». Марта воскликнула:

— Отвратительно!.. Как это позволяют власти?..

Она была убеждена, что муж разделяет ее чувства. Но Лансье сказал:

— Не понимаю, почему тебе жалко какую-то потаскуху? Подумать, что были женщины, которые любезничали с бошами, когда их мужья или братья умирали за Францию!

Морило рассказал Лансье, что FFI арестовали промышленника Буасси.

— Буасси? — закричал Лансье.— Но за что?..

— Он сотрудничал с немцами.

— Что значит «сотрудничал»? Он работал при немцах. Как все. Вы не спрашивали пациентов, какой они ориентации — немецкой или английской, вы лечили и получали гонорар. Мало среди рабочих Буасси коммунистов? Они тоже зарабатывали при немцах и неплохо. Почему их не арестовывают? Вы знаете, как это называется? Террор!

Лансье жадно прислушивался к зловещим слухам. Рассказывали, что на юге нет полиции, коммунисты судят порядочных людей за измену и расстреливают. Да и в Париже немногим лучше, хотя здесь правительство, американцы. В Дранси томятся тысячи невинных вроде Буасси. Почему до сих пор не разоружили FFI? Хорошо, они герои, освободили Париж, это все знают. Но теперь немцев здесь нет... Они готовят нам новую Коммуну, вот что! О чем думает де Голль? Американцы пьют и скандалят, лучше бы они навели порядок...

— Вы слышали, дорогой друг, что делается? — спросил Ланьсе Пино.— Мы накануне катастрофы...

Пино высморкался, как всегда торжественно и печально.

— Не нужно преувеличивать. Народ это ребенок, он должен насладиться мелодрамой «апофеоз справедли-

вости». К счастью, здесь больше шума, чем убытков. Через месяц-другой все войдет в норму.

Марта часто попрекала мужа за его несдержанность: «Ты ставишь людей в щекотливое положение». Он отвечал: «Что делать, дорогая, такой у меня характер...» Лансье и на этот раз отличился, в упор спросил Пино:

— Хорошо, потом войдет в норму, а вы не боитесь, что вас до этого схватят?

— Меня?.. За что?

— За то, что «сотрудничали» — это их любимое выражение. Как будто им много нужно! Кто-нибудь скажет, что вы обедали с Ширке или с Гаузером. Могут вытащить историю с домом Леви...

Обычно сдержанный, рассудительный Пино вышел из себя: ему вдруг показалось, что Лансье хочет его потопить. Он встал и медленно, с достоинством ответил:

— Правительству известно, что я поддерживал сопротивление еще в сорок втором с риском для жизни. А панегирики предателям писал не я...

Пино потом усмехался: как я мог принять Лансье всерьез?.. Болтает и только. А Лансье говорил Марте:

— Я напрасно обидел Пино, погорячился. Но я больше ничего не понимаю. Оказывается, он в сорок втором был связан с Лондоном. Но я ведь помню, как он лебезил перед Ширке... Он тогда зарабатывал за неделю больше, чем я заработал за всю мою жизнь. Ты думаешь, я завидую? Нет, я никогда не завидовал богатству. Пино умеет зарабатывать деньги, он не умеет их тратить, это делец. Но я тебя спрашиваю, почему он вытащил этот проклятый некролог?..

Марта вздохнула:

— Я говорила, что не нужно печатать...

— Женщины всегда так рассуждают (Ланьсе визжал). Человек может умирать, а женщина будет ему говорить, что он напрасно сел у открытого окна или выпил рюмку. Ты могла бы по крайней мере меня пожалеть. Я погиб...

— Морис, тебя никто не трогает. Они даже не приходили сюда...

— А ты хочешь, чтобы они пришли? Тогда будет поздно жалеть. Я обречен... Американцам нет до нас

дела, они мчатся в своих «джипах» и давят прохожих. А де Голль радуется, что он ростом с Эйфелеву башню, торчит и думает о славе, ему все равно, что изверги убивают невинных. Может быть, мне осталось жить всего несколько дней...

Марта хотела позвать доктора, но Лансье не позволил:

— Дай мне спокойно умереть! Морило не лечит, он издевается...

Пино вовсе не собирался ссориться со своим компаньоном. Он пришел два дня спустя и начал с пословицы (он любил пословицы, говорил «здравый народный смысл»):

— Старая дружба не ржавеет. Не стоит обращать внимания на глупости. Теперь все нервничают, время такое...

Они потолковали о делах. Потом Пино сказал:

— Министр говорил, что он встречался с вами до войны. Он очень сердечно о вас отозвался...

Лансье сразу пришел в чудесное настроение. Нужно принимать седоброль, Марта права — у меня разгулялись нервы. Зачем придавать значение каким-то мелочам? Главное, что прогнали бошей, Франция снова Франция. И Лансье говорил всем знакомым: «Вы не можете себе представить, как я счастлив! У меня скрытная натура, но я, может быть, мучился эти четыре года больше всех. Нет, нет, мы все мучились, как рыба, выхваченная из воды. Что вы хотите, французы не могут жить без свободы...»

Был чудесный день, стояло бабье лето. Лансье шел по улицам, умиротворенный прозрачностью воздуха и мыслями о свободе. Он решил проверить, не пришел ли ответ насчет Луи. Его провели в просторный кабинет. Все здесь напоминало о недавних событиях — треснувшие стекла, заклеенные бумагой, стульчик из будуара рядом с массивным письменным столом, папки и здесь же американские консервы. Полковник Дежен был высоким, седым и настолько благообразным, что, казалось, он создан для раздачи орденов и открытия памятников. Голос у него был тоже мягкий, преисполненный благородства.

— Я должен сообщить вам, господин Лансье, прискорбную весть. Ваш сын, лейтенант Луи Лансье, герои-

чески погиб за Францию. Он кавалер «Почетного легиона» и награжден советским орденом «Отечественная война»...

Лансье тискал в руках шляпу, из его глаз текли слезы.

— Вы можете гордиться таким сыном, господин Лансье...

Лансье не помнил, как он простился с полковником, как дошел до дому. Он сказал Марте «Луи», и она сразу все поняла.

Он сидел в полутемной комнате и глядел на фотографию сына. Марта входила на цыпочках, приносила лекарство, гладила мужа по голове. За два года совместной жизни она привыкла к тому, что Морис без причины впадает в отчаяние. Теперь впервые она понимала горе мужа, и от этого он ей стал ближе.

Вначале Лансье не мог ни о чем думать, он только вспоминал детство сына, болезни, тревогу Марселины, шалости мальчика, веселый его смех, последнюю встречу в Бордо. Потом Лансье начал упрекать себя: я недостаточно ценил Луи, Мадо в моих глазах его заслоняла. Я думал, что он резок, шумлив, не понимает оттенков чувств. А он все понимал... Он действительно любил Францию. Мало любоваться вязами «Желинот», нужно уметь за них отдать жизнь. Как странно — Луи повторил где-то в России эпопею любого защитника Вердена... Он был воистину моим сыном... Я понимаю, почему он поехал туда — он искал опасности. Он ненавидел политику, как я... Не все ли равно, какое правительство в России? Воевали они замечательно, даже немцы об этом писали. Я предпочитаю у нас американцев, но это не мешает мне признать, что без Сталинграда в Париже сидели бы немцы... Я, кажется, ошибался насчет русских, немецкие газеты нас сбивали с толку. Они вели свою отечественную войну, даже название ордена это показывает... Я могу осуждать наших коммунистов, но я преклоняюсь перед патриотизмом русских. Луи это понял до меня. Полковник прав — таким сыном можно гордиться. У него было большое сердце, как у Марселины. Может быть, и я вложил в него все лучшее, что у меня было — память о Вердене... Но как ужасно, что я его потерял!..

Когда пришел Морило, Лансье сказал:

— Вот и Луи нет... Знаете, мы можем гордиться нашими сыновьями. Я часто думал: что я оставлю после себя, кроме дурацких коллекций и «Рош-энэ»? Теперь я знаю, что кто-то вспоминает с благодарностью подвиг Луи. Это очень много, ведь до сих пор Францию освещают огни Вердена...

Морило сказал:

— У вас Мадо...

— Не знаю. Может быть, ее тоже убили — в России или в Африке...

Это было в начале октября, а вскоре после этого в комнату Лансье вошла Мадо.

Она была в Париже уже несколько недель и не могла решиться прийти к отцу. Еще в Лиможе кто-то при ней сказал: «Я работал на «Рош-энэ», Лансье ходил перед немцами на задних лапках...» Мадо знала отца и легко представила себе все. Ей хотелось увидеть дом, где прошло ее детство, убедиться, что отец не заброшен,— Морило рассказал ей про женитьбу Лансье и похвалил Марту. Но все в ней восставало при мысли о встрече с отцом. И пришла она только после того, как Морило сказал: «Он очень убит смертью Луи...»

Лансье вскрикнул и ничего не мог сказать, слезы его душили. Она нежно обняла его, взяла со стола фотографию Луи, долго ее разглядывала. Лансье говорил:

— Ты знаешь, где он погиб? В России... Он искал опасности... Оставим политику, нужно признать, что русские воевали лучше всех, я понимаю, почему Луи выбрал именно Россию. Ты помнишь инженера, который бывал у нас до войны, он уже тогда говорил, что русские будут замечательно воевать... Нивель ему не верил... Он оказался большим негодяем, этот Нивель, мне рассказали, что он удрал в Германию. Бедный Лео, его послали в лагерь, никаких известий... Мы хотели его спасти, но немцы были сильнее. Дюма арестовали... А Леонтина погибла замечательно. Как Луи. Но зачем я это все говорю! Я очень постарел, Мадо, у меня мысли путаются... Главное, что ты нашлась. Где ты была все эти годы?..

Мадо, вместо того чтобы ответить, стала расспрашивать отца про Луи; потом они вспомнили далекие годы,

Марселину, «Желинот». И все же Лансье повторил свой вопрос:

— Где ты была, Мадо?

(Ему хотелось спросить, почему она ушла от мужа, но он боялся выговорить слово «Берти» — вдруг она знает про некролог?..)

— В маки́. А до маки́ здесь, в подполье...

— Почему же ты не пришла сюда?

— Не могла. Я воевала...

Лансье про себя улыбнулся: теперь все говорят, что они «воевали». Ну какой же солдат Мадо!.. Наверно, влюбилась в какого-нибудь террориста, писала его портреты... Он ласково поглядел на нее, и вдруг ему стало не по себе. Не Мадо это, ее подменили... Какие у нее строгие глаза! И сумасшедшие... Это характер Марселины. Но Марселина вложила себя в любовь, ушла от отца ко мне. А Мадо ушла от мужа в маки́...

— Что значит «воевала», Мадо? Ведь не стреляла же ты в людей...

Она печально улыбнулась.

— Я делала то, что все.

Он понял, что ничего больше от нее не добьется, робко спросил:

— Ты останешься здесь, правда? Мы приготовили тебе комнату.

— Нет. И не проси — это невозможно.

— Но почему?

— У меня теперь другая жизнь.

Она замолкла; глядела на отца приветливо и отчужденно. Он в ужасе подумал: может быть, она стала коммунисткой?.. Он боялся спросить — боялся, что она ответит «да». Вдруг он увидел на руке Мадо выше локтя лиловую полоску и, забыв про все, словно Мадо еще маленькая, спросил:

— Где ты так расшиблась?..

— Это вздор. В гестапо...

Он растерялся, ничего не мог больше сказать. Мадо поговорила с Мартой; потом встала. Он ее обнял, с детской улыбкой попросил:

— Приходи ко мне, хорошо?

Она тоже улыбнулась, ответила «хорошо». Он понял: не придет. Он хотел проводить Мадо, но почувствовал слабость, прилег на диван. А Марта вышла с Мадо в сад. Они сразу понравились друг другу. Мадо радовалась, что рядом с отцом есть любящая душа. А Марта, которая до прихода Мадо боялась, не осудит ли Мадо отца за вторичный брак, почувствовала к ней доверие.

— Морис — дитя,— сказала Марта.

Мадо кивнула головой.

— Вы были в партизанском отряде?

— Да.

Марта ее порывисто обняла. Потом она сказала мужу:

— У тебя необыкновенная дочь...

— Да, Мадо удивительно похорошела, хотя она плохо выглядит...

— Я не об этом говорю. Она меня поразила, чувствуется большая душа...

— Она в Марселину,— тихо ответил Лансье,— только теперь другие времена. Тогда любили, а теперь все сошли с ума и воюют...

Он долго сидел в темноте и печально думал о старости, о своем одиночестве, о Мадо — ему казалось, что она воевала не против немцев, а против него, поэтому и не хотела рассказывать...

Несколько дней спустя Лансье завтракал с Пино и адвокатом Гарси. Они решили отпраздновать освобождение Парижа. Лансье был занят меню, долго расспрашивал хозяина ресторана — действительно ли у него рагу из зайца, а не из какого-нибудь протухшего кролика — ведь охота запрещена...

Адвокат Гарси, который должен был стать юрисконсультом Пино, вспоминал годы оккупации. Несколько раз он предоставлял свою квартиру знакомым AS, у него однажды Шатле встретился с Лежаном. В рассказах Гарси все выглядело романтично:

— У меня происходили совещания организации. Я сидел с револьвером, готов был застрелиться, если придут боши, чтобы не попасть живым в гестапо...

Пино подумал: он стоит своих денег, сумеет заговорить зубы в любом трибунале. И Пино сказал:

— Мы показали миру, что во Франции есть герои. Я лично уже вышел из возраста. Но я помогал, как мог и чем мог... А мой зять Пенсон в Швейцарии переправлял макизаров... Это целая эпопея...

Он замолк и навалился на зайца.

Лансье молча улыбнулся; он заговорил, когда подали груши и орехи.

— Я недооценивал нашу эпоху, молодые показали себя героями. Я не боюсь крайностей — молодость не признает умеренного климата. Луи не отсиживался в лондонских клубах, как некоторые другие, он спешил в самое пекло — в Россию. Я далеко не коммунист, но я преклоняюсь перед этим жестом. А Мадо ушла в маки́, она действительно воевала... Она не побоялась даже гестапо. Когда смотришь на эту хрупкую женщину, не понимаешь, откуда она взяла силы. Может быть, здесь есть и моя доля, я всегда хотел передать детям дух Вердена. С июня сорокового я жил одним — бурей. Я не стану рассказывать, что именно я делал — сейчас лучше быть скромным: слишком много лжегероев, хвастунов. Возможно, что больше всего сделали те, кто меньше всего делал. Есть у старика Вийона чудесные стихи:

> Лишь лжец нам истину несет,
> Лишь праведник глядит лукаво,
> Осел достойней всех поет.
> И лишь влюбленный мыслит здраво...

— У вас потрясающая память,— сказал Гарси.

Пино подумал: ну как может солидный человек развлекаться такими глупостями? Если бы он был адвокатом, дело другое... Но обед был вкусным, а будущее радужным — утром Пенсон рассказал тестю, что начали разоружать FFI, и Пино охотно поднял бокал, когда Гарси предложить выпить «за героев и героинь сопротивления».

19

Когда Мадо была в «Корбей», она постояла у того окна, где впервые говорила с Сергеем. Он тогда сказал: «Я полюбил Париж», и для Мадо эти слова теперь зву-

чали как признание. Все последнее время она часто думала о Сергее, может быть потому, что произошел резкий перелом в ее жизни. Франс снова стала Мадо, нужно было найти в новом будничном существовании продолжение того порыва, который поддерживал ее последние годы. Она была у Самба, и живопись, которая еще недавно ей казалась смутным, далеким прошлым, вдруг ожила. Самба требовал, чтобы она рассказывала ему про жизнь в маки́, а она глядела на его холсты и волновалась: какая простота, скупость красок, строгость! Река и деревья, деревья и река, кажется ничего нет — серое, бледнозеленое, иногда чуть синее... Почему дерево на картине так потрясает меня, я ведь жила среди деревьев? Мадо не знала, вернется ли она к любимому делу, не знала, как свяжет искусство с жизнью, с борьбой, с тем, что она говорила Лежану: «Нельзя допустить, чтобы развалины залатали и объявили хоромами...» Она еще ничего не знала о своем завтрашнем дне. В мастерской Самба она вспомнила встречу с Сергеем, ромашки, кофейник в кухне, его удивленные глаза. Нет, от этого никогда не уйти!

Медведь сказал, что его отправляют в Марсель, а оттуда морем в Одессу. И Мадо решила написать Сергею; решение пришло внезапно; она сидела в комнате под вечер и вдруг начала лихорадочно писать — боялась, что не успеет кончить до того, как стемнеет (тока не было, не было у нее и свечи), а тогда уже не напишет... Она писала у раскрытого окна — так было светлее. Шел холодный осенний дождь. Несколько капель забрызгали бумагу; Мадо испугалась — не попали ли они на чернила, нет, не попали. Он мог подумать, что я плакала...

«Сергей, я хочу рассказать, как я узнала о тебе. Это было в лесу, пятого июня, никогда не забуду ту ночь, нам сообщили про высадку. Про тебя мне рассказал Медведь — случайно. Я шла по лесу, и ты был рядом. Потом наши начали взрывать мосты. В ту ночь погиб Мики, он ушел и пел свою любимую песенку, она у меня в ушах и сейчас: «Другие встретят солнце и будут петь и пить и, может быть, не вспомнят, как нам хотелось жить». Медведь расскажет тебе, как мы воевали, я не умею рассказывать, ты, наверно, помнишь — всегда путаю. Эти годы

я много думала о тебе, поняла все, что ты мне говорил в Париже, и то, чего ты не говорил — не хотел или не мог сказать. Мне почему-то казалось, что ты в Сталинграде, я понимаю, что это глупо — фронт длинный, неважно, где именно ты был, для нас «Сталинград» это Россия. Мы были с вами все время, это правда, никогда я не посмела бы тебе это сказать, если бы не помнила товарищей, которые умерли — в бою или в гестапо. Сергей, помнишь, я тебе говорила, что у каждого из нас, наверно, будет своя жизнь. Так и вышло. Я знаю, что ты женился, и радуюсь, у меня тоже есть семья, я счастлива. А того я не забыла и не могу забыть, и хотя я не знаю, как ты, но мне кажется, что и ты не забыл. Мы, наверно, были тогда очень глупыми, зачем-то ссорились, мирились, но все-таки мы с тобой в то лето открыли очень большое, и это большое помогло мне жить, подняться наверх, когда я была на самом дне. Может быть, когда-нибудь мы встретимся, не теперь, теперь и не нужно, когда будем оба старыми. Я знаю, что и старая я посмотрю на тебя прежними глазами, ты говорил о них, что они «живут отдельно». Так я глядела только на тебя. Я думала прежде, что ты мне дал мечту, а когда жизнь рассыпалась, то, что казалось мечтой, стало настоящей жизнью. Я пишу сумбурно, поверь — живу я понятнее и проще. Если ты спросишь Медведя, он тебе расскажет, что я вела себя спокойно, сумасбродки в отряде не было. Сумасбродка осталась на той скамейке под каштаном. Я пошла, поглядела — скамейка стоит, и аллея та же, и город. Конечно, все другое — здесь теперь очень печально, другое и то же. Будь счастлив, Сергей, этого хочет Мадо! Я научилась немного говорить по-русски — Медведь выучил, он добрый и терпеливый, хотела написать тебе на твоем языке, но испугалась, что не смогу. Только вот это пишу...»

И тщательно печатными буквами она написала по-русски:

«Прощай, моя любовь!

Твоя Мадо».

Она отложила перо и заплакала. Потом схватила листок — хотела прочитать и подумала: не нужно, если прочитаю, не отправлю.

Она не прочитала письма и отдала его Медведю, когда он пришел, чтобы проститься.

Воронов растерянно улыбался: он знал партизанку Франс, а перед ним сидела Мадо в городском платье. Но его смущение быстро исчезло — Мадо вспомнила отряд, товарищей, шутки Мики, мечтания Хосе.

— Когда ты будешь дома? Скоро?

— Не знаю, говорят, что придется в Марселе долго ждать парохода.

— Это веселый город, только ты помни, что они преувеличивают все в сто раз.

Воронов засмеялся:

— У нас тоже есть... Одесса.

— Ты рад, что едешь домой?

Воронов мог и не отвечать — ответила его широкая добрая улыбка.

— Медведь, вспомни там наш отряд. Ты знаешь, как мы вас любим, скажи об этом... Не забудь передать привет старика Дезире. Помнишь, он говорил перед смертью?.. Он мечтал, что под Москвой будет виноград. Наверно, будет... Тогда ты выпей глоток того вина за лес в Лимузэне. Ты видел у нас много плохого, да и сейчас невесело. Люк вчера мне сказал, что у наших отобрали оружие. А трусы ходят и кричат, что они герои... Но пусть русские знают, что есть Люк, Деде, таких не сломить, их много, Медведь, поверь мне, я ездила из города в город, ходила по деревням, я видела наш народ... На дорогу дают цветы, они быстро вянут, если бы я могла, я дала бы тебе на дорогу любовь Франции...

Когда Воронов был уже на лестнице, Мадо его догнала, быстро и шопотом сказала:

— Если ты найдешь Влахова, скажи ему... Я забыла об этом написать... Скажи, что два раза русские меня спасли от смерти. Один раз он знает, а второй, когда ты пришел в тюрьму. Прощай, Медведь!..

Воронов не выдержал — неуклюже, как настоящий медведь, на темной винтовой лестнице он обнял Мадо.

Она стояла у окна, глядела, как он шел по улице, как потом исчез в сизой дали, и повторяла: «Прощай, Сергей! Прощай, любовь!..» Ей казалось, что она встретилась с Сергеем и снова рассталась, теперь навсегда. Она научи-

лась владеть своим сердцем, больше не мечтала о счастье. Она была готова к новым боям, к суровой, трудной жизни. Лежан, который ее видел накануне, был поражен ее спокойствием, выдержкой, верой. И все же сумасбродка Мадо не осталась где-то на довоенной скамейке под каштаном, она стояла сейчас у окна и широкими блестящими глазами глядела — через дали, через года — на того, кого она любила еще сильнее прежнего.

20

— Вот бы где вас заснять, товарищ майор, и послать в «Огонек»,— сказал лейтенант Бабушкин.

Сергей засмеялся — картина, наверно, дикая: «виллис» завален розами, астрами, пионами, не видно даже, что это машина, а среди цветов майор инженерных войск, густо припудренный дорожной пылью.

Они подъезжали к первому болгарскому городу. Вдоль шоссе стояли люди; были здесь черноглазые девушки с высокими выпуклыми лбами, нежные и строгие, гимназисты в форме, старые седоусые крестьяне (такими изображали запорожцев), молодые смуглые попы, как будто сошедшие с древних фресок, партизанки, вооруженные немецкими автоматами, учителя и фельдшеры в чесучовых пиджаках, босые, но нарядные крестьянки, голосистые дети. Все они бросали цветы в машины, под машины и повторяли: «На добр час!..» И на деревянной арке, построенной за ночь, было написано: «Добре дошли!» Потом Сергея понесли на руках, он, растерянный, улыбался. Какой-то старик говорил, что он — ополченец, сражался на Шипке, и обнимал Сергея. Женщина в черном платке показала Сергею фотографию красавицы, это была ее дочка Леляна, расстрелянная немцами; женщина говорила: «Много ми ей тежко... Другарь!.. Русия... Победата...» И снова были цветы, лиловые и белые ирисы, покрытый мутью неги синий виноград, огромные восковые яблоки, пахучая айва.

Беленькие домики, веранды; сушится красный перец. Петлистые дороги. Высокие дубы, чинары, смоковницы,

кедры. Долины с виноградниками. На склонах гор отары, как облака.

Радость людей казалась рекой, которая вышла из берегов и затопила мир. А по дорогам шла большая сильная армия; она теперь знала, что никто перед ней не устоит. Громыхали сотни танков. Длинношеие орудия поворачивались на запад. По вязкой глине, по теплой пыли, по камням шагали гвардейские дивизии. И люди, которые шли, так же радовались, как те, что стояли вдоль дорог: на несколько дней война скрылась за оградой из роз и девушек (их здесь называли «момичета»). И то, что вывески были написаны русскими буквами, и то, что чужой непонятный язык вдруг становился понятным, звучал, как родной, приподымало людей, которые прошли через реки, через битвы, через большую беду. «У Сталинграда был, а вон куда пришел»,— рассказывал болгарам немолодой красноармеец, и его сажали на почетное место, угощали вином, прохладным и ароматным, как ранняя осень.

— Вот мы и в Югославии,— сказал Бабушкин.

Сергей улыбнулся. Сколько раз, читая в газетах про партизан Югославии, он старался представить себе эту загадочную страну; ему казалось, что в горах Боснии или Черногории война еще не вырядилась в маскхалат, не научилась сухому языку железа...

Люди карабкались на скалы. Танки ползли по крутым узким дорогам. Бурлили желтые быстрые реки. Вдруг под носом темнело ущелье.

Немцы теперь пытались задержать наступление. Шли бои.

Генерал Бельский сказал Сергею:

— Нужно обязательно ночью переправить танки. Наровчатов попал в дурацкое положение — там у немцев штук тридцать самоходок, а у него ни черта...

Когда Сергей навел чудесный шестидесятитонный мост, немцы взорвали шлюзы; вода быстро начала прибывать, сорвала пристань. Саперы исступленно работали — нужно до утра пропустить танки...

— Крепи за деревья! — кричал Сергей.

Он сам таскал канат. Ночь была холодной, а он то и дело вытирал лоб.

Давно он перестал воспринимать луну как нечто отвлечённое, скорее приятное: луна была врагом. Темные ночи он с нежностью называл «саперными». А та ночь была светлой, враждебной. Немцы вели огонь по переправе. Луна зашла часа в два ночи, мост был уже готов. Сергей проспал до рассвета. Утром он с упоением оглядел мост. Он даже забыл в ту минуту об окрестных горах, о золотых ветвистых деревьях, о том, что он в Югославии. Мост для него был прежде всего мостом, как краски для художника или тюльпаны для садовода.

А потом понесся дальше неуемный грубиян «виллис»...

С югославскими партизанами Сергей встретился в дождливую холодную ночь осени. Он сидел у генерала Бельского, когда адъютант доложил, что прибыли представители югославской армии.

В дом вошли трое: капитан Лукович, бывший студент-первокурсник Белградского университета, высокий, очень худой крестьянин Мирко и красивая смуглая девушка, которую звали Вида. Лукович подошел к генералу, волнуясь, сказал:

— Друже...

Их послал полковник Иованович. Капитан докладывал. Иногда Бельский обрывал переводчика: «Понятно...» Это маленький сербский город, сорок километров на юг. Дороги туда нет — мост взорван... Партизаны освободили городок еще в сентябре, но сегодня утром пришли немцы с танками... У полковника Иовановича всего четыре пушки...

— Сколько у них танков? — спросил Бельский.

— Восемь или девять, два больших...

— Жителей жалко,— сказал Мирко,— они и детей замучают. Полковник Иованович говорит: «Если только близко Красная Армия...» Слова «Црвна Армия» он произнес шопотом.

Бельский сказал:

— Не знаю, что придумать... Нам как раз в другую сторону — на северо-запад. Нельзя задерживаться. Но раз такое дело... Десяток танков, пожалуй, я могу выделить. А вот как их переправить, это пускай майор прикинет...

Генерал усадил югославов за стол:

— Два часа у меня времени. Поужинаем... Вы ведь здесь первые: до некоторой степени праздник...

Сергей то думал о новом мосте, который нужно построить, то прислушивался к рассказам партизан. Все трое воюют с весны сорок второго. Они вспоминали четвертое и пятое наступление немцев; горные перевалы, снег выше колена, нет сапог... «Данко отморозил ногу, началась гангрена, инструментов не было, он попросил, чтобы отрубили топором...» Рассказывали — сражались против немцев, итальянцев, венгров, усташей; слушали в трудную осень радио: «Сталинград се иош држи...» «Не переводи,— крикнул генерал переводчику,— понятно и так...» (Генерал взволновался — он был у Сталинграда.) Никогда партизаны не сомневались в победе русских. Мирко выпил водки и рассказал про себя: он поцеловал дверь дома, взял жену и сына, ушел к партизанам. Сына убили, а жена там — воюет... Капитан Лукович сказал: «Два раза отбили танки... Вида один взорвала...» Сергей откинул голову и так напряженно взглянул на девушку, что та покраснела. Вот не подумал бы!.. Ее страшно представить рядом с танком... Он вспомнил — Наташа говорила, что в Париже девушка подорвала танк... Раньше он обо всем этом смутно думал, а теперь видит — правда! Вот они, наши друзья! Когда я был на переправе и ночью кипела Волга, они сражались в этих горах, говорили друг другу: «Сталинград держится...»

Сергей не вытерпел, вскочил, прошелся по комнате. Ему казалось, что он видит, как свобода летит над Европой, она пронеслась над Болгарией, сейчас торопится к зеленой Адриатике, она обойдет мир...

— Надо им помочь, товарищ майор,— сказал Бельский.— Я-то не могу задерживаться, следуем дальше в одиннадцать ноль-ноль. Что можно оставить? Десяток машин с майором Приходько, вас лично и роту саперов... А вы обмозгуйте...

Капитан Лукович и Сергей сидели над картой. Мирко шептал Виде: «Русский... Понимаешь?» Она сердито отвечала: «Мешаешь работать». Она любовалась Сергеем — это был первый советский офицер, которого она видела. Он казался ей необычайно привлекательным: сразу

видно, что он сильный, а лицо мягкое и по лицу бродит тихая улыбка, как зайчик по стене...

Мост построили в два часа, хороший, крепкий мост на клеточных опорах. Мирко восторгался. Сергей сказал: «Это не Дунай...» Он торопил саперов: немцы хозяйничают в городе уже сутки, а Лукович говорит, что это эсэсовцы из Греции...

В штабе полковника Иовановича царило приподнятое настроение. На Сергея все глядели такими влюбленными глазами, что ему стало неловко; он говорил: «Мост это ерунда... Вот танкистам здесь будет работа...»

Среди партизан было много девушек. Сергей подумал: может быть, и Мадо так воюет — с винтовкой среди зубастых гор?.. Как все переменилось! Трудно поверить, что это может кончиться, Мадо займется живописью, Лукович будет сдавать зачеты, а я начну снова спорить с Бельчевым о стандартных мостах... Был мир, и мы не могли себе представить войну, а сейчас я не представляю мира, хочу и не могу представить. Почему-то мне кажется, что в первую минуту будет очень тихо, как в Сталинграде после капитуляции, день будет мягкий, безветреный, может быть серый московский денек, когда накрапывает мелкий дождь. И все будут улыбаться... Может быть, когда кончится война, я узнаю, что с Мадо, жива ли она?..

Елагин со взводом саперов разминировали шоссе. Здесь произошел танковый бой. Наши потеряли три «Т-34»; был ранен майор Приходько. Вывели из строя два «тигра» и две маленьких машины. Немецкие танки повернули к западу. Начался штурм города. На окраине была старинная крепость, построенная турками. Сергей решил пустить в ход подрывников. Около полудня майор Лессинг, который сидел в подземельях крепости, приказал поднять белый флаг. Огонь прекратили; все считали, что на этом дело закончится; послали к немцам, сидевшим в центре города, парламентера, который сообщил им, что майор Лессинг приказал прекратить сопротивление. Но немцы оказались эсэсовцами из другой части и капитулировать отказались. Бой длился день, ночь, половину следующего дня; управляли им полковник Иованович и Сергей. В четыре часа дня пришли артиллеристы-югославы и

сказали, что последние немцы вылезли с поднятыми руками.

До этого город казался пустым. А сейчас все улицы были полны народа. Начался праздник, обнимали русских, танцовали коло, и огромный хоровод то разворачивался на площади среди кленов и лип, то, как длинная змея, полз по улицам и снова сплетался на зеленой лужайке неподалеку от крепости. Солнце еще озаряло слабым розовым светом зубцы нависших над городом гор, а на узких улицах уже синели сумерки.

Сергей шел с Мирко по одной из таких улиц. Сзади шли восторженной толпой девушки, дети; они кричали «Мос-ква! Бел-град!» Вдруг раздалась очередь. Сергей понял: из того подвала... Мирко стоял, окаменев. Сергей выхватил у него гранату, вцепился в нее зубами, швырнул в подвал. В то же самое мгновение он упал навзничь.

Его отнесли в городской госпиталь. Город замер, как замирает дом, когда в нем тяжело больной; не было больше ни песен, ни криков. Возле госпиталя толпились девушки, спрашивали, как русский, не нужно ли ему перелить кровь.

Бред Сергея был бурным, ярким и поспешным, как его жизнь. Он то перелетал из Москвы в Париж, а внизу все горело; то карабкался на скалу и там была Валя с венком на голове, как Офелия; она говорила «добре дошел» и падала в ущелье. Воронов строил очень длинный мост, и когда Сергей спрашивал, что это за река, Воронов смеялся: это не река... Но что это? Он едет по бесконечному мосту и не может понять, кто рядом в «виллисе» — Вида или Мадо?.. Наверно, Мадо, она поет: «Солдат воевал десять лет»... Сколько я воевал? Сейчас снова бой... А потом все стало утихать, как море, когда спадает ветер. Над ним сидела Нина Георгиевна, говорила: «Сереженька, это совсем не страшно», и он отвечал: «Я не боюсь, мама. Мне очень хорошо. Вот я и приехал домой. Правда, что я в России?..» И омытое дождем подмосковное поле с бесхитростными цветами было последним, что прошло в его сознании. Мертвый, он походил на живого — не было на его лице ни печати страданий, ни холода смерти; он как будто продолжал итти по полю, заросшему травой и ромашками.

Потом подполковник Вершинин говорил Бельскому:

— Лучший сапер в корпусе... А погиб ни за что...

Бельский рассердился:

— То есть как «ни за что»? Вам рассказывали, как его хоронили? Не только весь город, из деревень пришли. Полковник-югослав речь произнес: «Советский офицер погиб, защищая наших жен и детей...» Мы им многим обязаны. Я не говорю о военной помощи. Как они могли нам помочь, когда на нас навалилась вся немецкая армия с приложениями? А они за три тысячи верст, и даже ружей у них не было... Я говорю о другом — кто в сорок первом честно дрался? Только мы и они. Неважно, что их было мало, важно, что они себя не щадили... Я майора Влахова очень высоко ценил, для корпуса это большая потеря, но погиб он так, что остается только преклониться...

Сергея похоронили на площади под старым кленом. Могила была покрыта последними цветами осени — яркими георгинами и настурцией. А вечером женщины зажигали свечи, и маленькие огни, все время колыхавшиеся, как будто выражали страсть остановившегося сердца.

Хотя здесь сражались и танкисты и солдаты полковника Иовановича, люди говорили о майоре инженерных войск: «Он спас город». О нем вспоминали девушки, встречаясь под кленами и каштанами со своими возлюбленными; его вспоминали и старики в накуренных темных корчмах; учительницы о нем рассказывали детям; и матери погибших партизан не забывали, как только спускались сумерки, зажечь тоненькие свечи на его могиле. Всем казалось, что он своими быстрыми большими шагами идет по улицам, высокий, задумчивый, с головой, откинутой назад. Когда товарищи спрашивали Виду, о чем говорил с ней русский майор, она молчала; хотя Сергей говорил с ней только о дороге и о плане города, ей казалось, что он рассказал ей что-то очень важное, и, засыпая, она видела его тень на высоких скалах, которые преграждали путь от речки к городу. И старая сиделка, вспоминая, как умирал русский, говорила: «Он кого-то звал, но я не расслышала кого...»

21

Новый год Крылов встретил у командира дивизии. Пили шампанское, полковник Елизаров играл на разбитом пианино старые вальсы. Молодая полька принесла дымящееся блюдо и что-то скороговоркой сказала — очень вежливое и не совсем понятное — слышалось все время «пшш». «Чтобы хороший год был»,— сказал генерал. Крылов чокнулся с ним: «Как говорится, хорошенького понемножку. Одним словом, желаю и вам и себе, чтобы следующий Новый год мы встретили врозь». Генерал засмеялся: «Ручаюсь. Скоро начнется...»

И вскоре действительно началось. Хотя Дмитрий Алексеевич был на фронте с самого начала войны, такого он еще не видел. Война, которая три года назад казалась ему разрозненной, состоящей из тысячи больших или маленьких эпизодов, едва связанных между собой хрупкими проводами, теперь напоминала огромный завод. Крылов посмеивался: прежде говорили «точно», «точно», а ничего точного не было, сейчас словечко выходит из моды, но уж такая точность, что даже жеребчики обалдели; один обер-лейтенант вчера вздыхал: «Мы до войны гордились, что поезда у нас ходят по минутной стрелке, а теперь так ходят ваши танки...» Артиллерии было столько, что Крылов ворчал — как перепонки не лопаются? И били артиллеристы не наугад, а действительно точно, как будто всю жизнь изучали эти доты. Еще не начали стрелять, а уже пристрелялись, говорил себе Крылов. Потом неслись в ночь танки со слепящими фарами, забирались в глубокие тылы врага, били по штабам, по складам, по эшелонам, по офицерскому клубу, где ветераны Нарвика играли в карты, а молокососы танцовали с любвеобильными женушками и вдовушками; по редакциям газет, где еще час назад редактор писал передовицу о гибели Лондона, снесенного с лица земли «орудием возмездия», и о величии фюрера; по домам, откуда выбегали подполковники и обершарфюреры в полосатых пижамах, не понимая, кто может стрелять в ста километрах от передовой.

Нечто невообразимое представляли собой дороги с тележками, раздавленными танками, с комодами, крес-

лами, бальными платьями, птичьими клетками, с толпами обезумевших немок в штанах, с недоеными бешеными коровами, с брошенными таксами, которые на коротеньких лапках пытались уйти от человеческого безумия, с метелью — пух из перин; метель эта не утихала в бледный солнечный день зимы, похожей на засидевшуюся осень или на неудачный черновик весны.

Вначале Крылов видел разбитые пустые города: все население убежало на запад. Он заходил в брошенные дома: кисточка с мылом — не успел побриться, накрытый стол и миска — не успели поужинать. А в ратуше на столе бургомистра бумаги — не успел подписать. Дмитрий Алексеевич внимательно разглядывал все мелочи чужой ему жизни. Удобно устроились, ничего не скажешь, хорошие ванные, на кухне порядок. Крестьянский дом, а от такой кровати я не откажусь... Но какое духовное убожество! Книжный шкаф, переплеты — красота, а раскроешь книгу, и хочется вымыть руки — такая пакость. «Расовая гигиена», «Геополитика», «Майн кампф», детективный роман. На стене обязательно портрет главного психа. Сладенькие олеографии, копилочки, вазочки, кошечки, пупсики. Сентенции в рифму: «Соблюдай порядок, и сон будет сладок», «Кто аккуратен, тот и приятен», «Кто любит бога, у того денег много». На столе Дмитрий Алексеевич заметил пепельницу в виде унитаза с надписью: «только для пепла». Он рассвирепел, разбил пепельницу: ему казалось, что его обидели. Вот откуда они пришли, эти жеребчики! Гоготал, клал пфенниги в копилку, любовался пупсиками, острил — пепельница одна чего стоит, поэтизировал «сон будет сладок» (это после Гейне!), а потом полез за чужой нефтью, кстати прихвачу супруге шубенку, загадил весь мир, плевал с высоты Эйфелевой башни, испражнялся на Акрополе, хотел приобщить нас к своей «культуре» — десять он повесит, а одиннадцатый будет ему лизать сапоги.

Потом Крылов увидел города, где было много жителей. Они робко выглядывали из окон, неуверенно выползали из подворотен, приниженно кланялись, чистили дороги, вытаскивали застрявшие машины, скороговоркой повторяли: «Мы ни при чем... Это эсэсовцы... А мы маленькие люди»...

Возле советской комендатуры толпились немцы, читали что-то. Крылов спросил коменданта:

— Что они читают?

— Приказ. Мы вчера, как пришли, расклеили...

— А что в приказе?

Капитан смутился:

— Да я его не читал, пришли вечером усталые, я приказал расклеить и завалился...

А немцы уже знали назубок все параграфы — что можно, чего нельзя.

Крылов пытался заговаривать с жителями, но они отвечали, так угодливо, что он краснел и махал рукой: хватит!..

Он ждал прежде, сам того не сознавая, что найдет в Германии ключ к трагедии, разгадку Освенцима и Майданека. А видел он только чистенькие занавесочки, пришибленных, перепуганных обывателей, развалины, мусор, пух — мутное утро после дебоша с блевотиной и побитой посудой.

В одном городе к нему обратился заведующий больницей:

— Разрешите представиться, господин майор, доктор Эппен. Прошу вашего содействия — у больных нет хлеба. Я не наци, я врач, и я всегда осуждал крайности...

Крылов раздобыл хлеба для больных. Доктор Эппен сказал:

— Спасибо. Наука стоит над политическими раздорами... Мы тут ни при чем...

— Это я уже тысячу раз слышал. Можете вы со мной по-человечески говорить или нет? Я вас не арестую, это не мое дело, понятно?.. Вы говорите, что наука стоит над политикой. Очень благородно. А вот ваши немецкие врачи разводили на евреях тифозных вшей. Это как понять — тоже «над политикой»?

— Я об этом ничего не слышал, господин майор, но традиции нашей науки...

— Традиции? Я на прошлой войне тоже врачом был — прямо из университета. Помню, как после войны прочитал я одну книгу — профессора Юргенса, прислали из Берлина. Он рассказывал, что проверял на русских военнопленных, действительно ли вши единственный провод-

ник сыпняка. Во-первых,— неуч, я еще студентом был, когда французский эпидемиолог Николль опубликовал данные — он производил опыты над морскими свинками. А во-вторых, скотина — предвосхитил ваших гестаповцев. Вот вы, врач, как вы относитесь к таким «ученым»?..

— Я, право, не знаю, что вам ответить... Я не эпидемиолог, а рядовой терапевт. Я только восхищаюсь вашей эрудицией. Если все русские врачи таковы, ваша наука далеко шагнет...

— Я от вас не комплиментов жду. Бросьте вилять! Я вас спрашиваю, как вы относитесь к тому, что берут человека, все равно, кто он — еврей или русский, пленный или негр, и мучают его, как морскую свинку?

— Господин майор, я всегда был далек от политики. Смею только вас уверить, что медицина в нашей стране находится на очень высоком уровне. Мы лечим тела, не задумываясь над идеями пациента. Я лечил наци, но меня не интересует их программа. Я думаю, что с русскими нас разделяли только политические концепции. Но меня удивляет, господин майор, как вы можете ставить на одну доску представителей арийской расы, евреев и негров? Ведь и медицине приходится считаться с некоторыми особенностями...

— Хватит,— закричал Крылов,— дальнейшее понятно. Вы говорите, что вы терапевт? Ничего подобного. Вы ветеринар. Лечили жеребчиков и сами стали коновалом...

Крылов снова и снова спрашивал себя: как случилось, что большой цивилизованный народ, с университетами, с замечательными амбулаториями, с красивыми памятниками, так опустился? К немцам, с которыми он сталкивался, он чувствовал и злобу, и жалость. Может быть, тот «терапевт» и не делал ничего плохого, а сказать, что он чист, нельзя,— чуть разговорились, и стал выкладывать расистские теории. Значит, мог бы истязать пленных, случай, что не пришлось... Заразили они всех. А спросить не с кого... Не стану же я кричать на этого старика: почему твои внуки жгли в Тростянце детишек? Старика скорее жалко. Особенно жалко детей... Вот они снова плетутся по дороге. Убегают неизвестно куда. Боюсь, что поплатятся стрелочники. Настоящие виновники спрячутся. Не Гитлер и не Геринг, таким трудно

скрыться, но есть миллион сознательных негодяев, именно эти замаскируются — один прикинется коммунистом, другой демократом, третий богомольцем, четвертый вегетарианцем... Кто больше всех страдает? Действительно, мелкие люди, многосемейные, старики, ребята...

Крылов видел, как вошли в Германию солдаты, которые не могли говорить от ненависти — у каждого было свое горе — убит брат, забрали дочь, сожгли дом; все видали Тростянец, Понары... Кричали: «Отомстим!» Писали на столбах: «Здесь начинается проклятое логово!» А когда увидали мечущихся беженцев, опустились руки. Дмитрий Алексеевич вспомнил солдатика — он нашел на площади манекен — куклу с розовым улыбающимся лицом, которая стояла в витрине модной лавки; солдатик колол ее штыком; кукла улыбалась, а он чуть не плакал от злобы.

— Ты что глупости делаешь? — спросил его Крылов.

Солдатик тихо ответил:

— Я из Белоруссии... Всех поубивали, гады...

На жителей города у него не поднялась рука, он отводил душу на манекене из пластмассы. Дмитрий Алексеевич вздохнул: по-человечески это — нелепо и понятно.

Армия все стремительнее двигалась на запад. Теперь и немцы понимали, что развязка близка. Еще ниже они кланялись, доносили друг на друга: «У Мюллера была русская девушка, он ее наказывал», «У Герница два сына эсэсовцы», «Не верьте Шмидту, он с тридцать второго в партии...» Стоял в ушах противный шопот. Дул холодный северный ветер, а снега не было. Дмитрий Алексеевич чихал, ругался и безостановочно работал: в раненых не было недостатка. Немцы знали, что их дело проиграно, но, выполняя приказ, сопротивлялись.

Чем ближе был Берлин, тем напряженнее Крылов думал о значении пережитого. Дмитрию Алексеевичу недавно исполнилось пятьдесят пять лет, он провоевал без передышки три с половиной года, здоровье пошатнулось; говорил себе: пыхчу, как допотопный «газик», их кстати из Москвы повыгоняли — портили ансамбль... От переутомления он страдал бессонницей: засыпал и час спустя просыпался, лежал и все думал, думал. Развалины от Воронежа до Кенигсберга, вот вам первый результат.

Дальше я не видел, но легко представить — развалины от Кенигсберга до Гавра. Людей убили и покалечили столько, что ум не воспринимает цифр. Женщины носили, рожали, выращивали. А потом эти жеребчики решили, что они — сверхчеловеки... Может быть, они молодого Пушкина убили, Ньютона прикончили в колыбели своими «фау», сожгли в Майданеке трехлетнего Маркса. О справедливости говорить нечего: за такое и наказать нельзя... Кошмар кончается, наверно летом сдадутся. Значит, сказать, как говорила матушка: «Ветер возвращается на круги свои»? Нет, есть в этом смысл... Два мира столкнулись: разум и суеверие, идея братства и жеребчики — чистота породы (тот болван в больнице поверил), их строй и наш. Причем, дополним — у них прекрасные микроскопы, даже пипифакс такой, что можно взять вместо блокнота, вещей множество, и вещи у них умные, люди глупые, не потому, что они немцы, а оглупели. И пошли воевать. Это должно было случиться, к этому все шло. Фашистов не только жадность толкнула — злоба, страх — боялись, что мы поприличнее оденемся, настроим дома, даже пипифакс заведем, тогда окажется, что у нас и люди, и штаны. Им это не подходит, ведь у них вместо людей жеребчики в штанах. То, что мы выиграем войну, решит все. Историк так и напишет: «До 1942 года в мире преобладало недоверие к тому, что тогда определяли как величайший эксперимент века». Помню, приезжал в начале войны американец, показывал вечную ручку, говорил: «Россия — эпизод. У нас высокая техника, значит — победим мы...» Интересно, что он теперь думает? Впрочем, такой не может думать — жеребчик, только другой масти. Наверно, есть у них люди, которые думают. Может быть, они болтают вздор — для публики; а понимать понимают. Кто победил, понимают, и почему... Вот в чем значение этой войны: мы отстояли не только деревню Козьи Выселки от какого-нибудь зондерфюрера, мы отстояли новый век — и наш, и французский, и американский.

Крылову рассказали, что в тюрьме нашли двух немецких коммунистов, пожилые люди, измучены, еле держатся на ногах: их отвезли в больницу. Крылов загорелся.

Пусть всего двое, важно, что нашлись порядочные люди. Легче на душе...

Один был прежде наборщиком; в сорок восемь лет он выглядел стариком. Он рассказал Крылову, что просидел в тюрьме семь лет, сына его замучили в Дахау.

— Я, наверно, умру,— сказал он,— не могу ничего есть — начинается рвота. Но я рад, что увидел серп и молот... Меня взяли за то, что я говорил: кричите, сколько вам вздумается, а победят коммунисты.

— Ничего вы не умрете, и не думайте,— заревел Крылов.— Сейчас я вас лечить буду. А прежде всего позвольте пожать вашу руку. Вы думаете, мне важно, что вы немец? Да будьте вы чортом, все равно, важно, что вы порядочный человек...

Другой немец — учитель — сказал:

— Теперь очень тяжело быть немцем. Я ненавижу наци, я просидел в тюрьме с тридцать седьмого, ни прямо, ни косвенно не участвовал в том, что они делали. И все-таки я чувствую свою ответственность. Это будет висеть над нами...

Крылов задумался, потом тихо ответил:

— Это правда — вам тяжелее... Но если глядеть вперед, там и ваше счастье. Мы с вами люди немолодые, но мы коммунисты, значит, должны глядеть вперед.

Вернувшись в госпиталь, Крылов прошел к капитану Соловейчику. Пять дней Крылов боролся за него, спас руку — начиналась гангрена, а капитан заболел воспалением легких. Он то впадал в забытье, то лихорадочно говорил — о жене, о Гомеле, о том, что ему нужно работать — древесина, спички, какая-то обмазка, нужно поставить на ноги Павлика... Почему-то он сразу расположил к себе Крылова. Дмитрий Алексеевич волновался: выскочит или нет? Капитан умер среди ночи.

Крылов вышел в сад. Была холодная ночь. Он глядел на звезды и вяло думал; повсюду они одинаковые... На свежем воздухе, а задыхаюсь, плечо болит, мотор явно отказывает... Потом он вспомнил, как возле Минска увидел старика, который сколачивал бревна — ставил избу. Крылов спросил его: «Дом себе строишь?» Дед ответил: «Нет. У меня старуха, никого больше нет. Сколько нам жить осталось? Поживем у чужих. Здесь солдатка одна

с детьми, ей строю...» Вари нет. У Наташи Вася. А жить все-таки нужно — бревна сколачивать... Люди, народ... Еще поскрипим, Дмитрий Алексеевич!..

Ревели орудия. Небо вдалеке было мутно-красным. Наступление продолжалось.

22

Фельдфебель Гельмут Рейнер находился в отпуску; трагедия застала его дома. Еще три дня назад он верил, что красных остановят. Ведь это не пограничный город. В прошлую войну русские тоже забрались к нам, но Гинденбург их расколотил. Рейнеру тогда было шестнадцать лет, он мечтал попасть на фронт. Теперь ему сорок семь, в таком возрасте хорошо сидеть у огня и рассказывать детям о своей молодости. А Рейнера год назад призвали, отправили в Барановичи, там он охранял пути от бандитов. Приходилось участвовать в стычках с партизанами. Один раз он бежал, не останавливаясь, шесть километров, это не занятие, когда человеку под пятьдесят. Он едва выбрался из Барановичей. Наконец ему повезло: он заболел тифом, провалялся полтора месяца в госпитале и получил отпуск. Увидев родной городок, он умилился: здесь он вырос, женился, прожил всю свою жизнь; он знал всех людей, все липы парка, все вывески. Его табачный магазин на главной площади, напротив ратуши, когда-то считался лучшим во всем округе; Рейнер понимал толк в сигарах, не гнался за красивой упаковкой и товар получал непосредственно из Гамбурга и Бремена. У него были постоянные покупатели: бургомистр, господин Зейдель, владелец лесопилки и большого поместья, директор музея, Шмидке — фюрер местной организации, словом, все уважаемые лица города. Городок был невредим — ни разу не бомбили, но Рейнер его не узнал: все потеряли голову. Раньше сюда понаехало много народу из Западной Германии: искали тихое место, где нет бомбежек. Беженцы первые поддались панике, кричали, что лучше бомбы, чем русские, осаждали поезда, которые приходили переполненные из пограничных районов. Потом заметались и коренные жители города. Шмидке не

хотел выпускать мужчин, требовал, чтобы они шли в «фольксштурм». Бургомистр говорил, что «чудо Танненберга повторится», а сам уехал ночью на машине. Рейнер растерялся. Потом он думал, что погубила его радость встречи с семьей; все его домашние были живы и здоровы — рыхлая немолодая жена Эмма, четыре дочери, старшей, Анне, недавно исполнилось шестнадцать лет, а младшая, Грета, родилась в тот день, когда объявили траур после Сталинграда. А может быть, Рейнер не удрал во-время потому, что, находясь в отпуску, чувствовал себя освобожденным от суровых забот солдата, усмехался: что за паника, здесь не Барановичи!.. Так или иначе он застрял, а когда позавчера он решил уехать или хотя бы уйти, было слишком поздно — Генрих сказал, что все дороги перерезаны русскими.

Два дня Рейнер метался: то верил в чудо, то молчал, охваченный ужасом. Сегодня утром он понял: надеяться не на что. В городе осталась сотня эсэсовцев; они забрали ром в погребке под ратушей и перепились, кричали, что не сдадутся. На площади возле табачного магазина разорвался снаряд.

— Что нам делать? — спросил Рейнер Генриха.

— Ждать... Я их не боюсь, до тридцать второго я был социал-демократом...

Хотя Рейнер понимал, что Генрих тоже боится русских, он ему позавидовал. Генрих не в партии... А меня повесят. Я записался в тридцать пятом, тогда все записывались... Потом я был в России, нас посылали усмирять деревни, где прятались бандиты... Мы там основательно похозяйничали. Придется расплачиваться... В газетах было, что русские творят ужасы, Шмидке говорил: «Такого еще не знала история...» Повесят меня, обесчестят Анну, могут убить Эмму. А если и не убьют, все равно детей она не прокормит. Магазин пропал... Все пропало...

— Нам нужно покончить с собой,— сказал Рейнер Эмме,— ничего другого не остается...

Эмма закричала:

— Господи, ты понимаешь, что ты говоришь? Как мы можем оставить маленьких детей?..

— С детьми...

Эмма заплакала:

— Ты сошел с ума!.. Я тебя боюсь!

Он погладил ее жидкие седые волосы:

— Я пошутил.

Эмма приготовила хороший обед: хотела немного развлечь мужа, побаловать детей, да и не стоит беречь продукты — наверно, русские все отберут. Она приготовила свинину, капусту с тмином и пудинг — не пожалела на него ни яиц, ни варенья. У нее была припрятана бутылка кюммеля. Рейнер развеселился, покраснел, дразнил Анну: «За тобой ухаживает Отто, он заика и не сможет никогда объясниться...» Эмма радовалась: Гельмут опомнился...

Под вечер город заняли русские.

Осип вошел в большой кабинет владельца лесопильни Зейделя, повесил шапку на оленьи рога и выругался. Вот уж не думал, что придется стать комендантом немецкого города! Напрасно он доказывал члену Военного Совета, что лучше назначить другого... Одно утешение — обещали через неделю освободить. Пока его полк во втором эшелоне...

С отвращением поглядел он на стены. Чей это портрет? Самодовольная морда, торчат усы, высокий воротничок подпирает щеки. Гербы с единорогами. Вообще дрянь... Осипу все здесь было противно, он тосковал по Киеву. Хоть бы скорее домой!.. И всегда в такие минуты сжималось сердце: нет у меня дома...

Осип оказался, вопреки тому, что он говорил члену Военного Совета, хорошим комендантом; были у него и организаторские способности и опыт — чем только не приходится заниматься экономисту-плановику, когда он попадает на стройку... Осип приказал расчистить улицы; поставил патрули (здесь не его полк, могут напиться), Генриху, который явился с билетом социалистической партии, Осип сказал:

— Ладно... Сейчас не выборы. Вот коров здесь много бесхозяйных, бродят вокруг города. Пошлите ваших девушек, пусть соберут и ухаживают... Часть коров выделим для населения, чтобы у детей было молоко. Понятно? Где директор музея?

— Уехал. Он реакционер, и когда я выступил в защиту Веймарской конституции...

— Ясно. А что в музее — Рембрандты или наусники фюрера?

— О, там много экспонатов, коллекции бабочек, знамена, фото Танненберга, я лично там не был, все время поглощали собрания антифашистских организаций...

Осип еле его вытолкал.

Потом пришел младший лейтенант Воробьев и привел маленькую девочку:

— Вы послушайте, товарищ майор, что это за племя!.. Девочку видите?.. Зашли мы в один дом возле ратуши. Лежат мертвые — девчата, женщина, какой-то военный. А эта ревет благим матом... Спрашиваем жителей, оказывается, немец жену застрелил, родных детей. Вот подлец!.. Не знаю, как эта уцелела. Пожалел или просто промахнулся... Не люди они, вот что!.. С девочкой что прикажете делать?

— Надо в немецкую семью отдать... Погоди, она, наверно, голодная, я Насте скажу, чтобы покормила. Пусть пока здесь останется, Настя за ней присмотрит — дом-то большой, комнат двадцать у мерзавца было...

Когда Воробьев ушел, Осип отвел девочку к Насте, потом вернулся в кабинет, влез на письменный стол, снял портрет и приставил его лицом к стенке.

Весь день он работал, ходил по городу, осмотрел ратушу, музей, нашел архивы гестапо, допрашивал эсэсовцев, которые успели переодеться в цивильное. Вечером, когда он ужинал, пришла девочка. Напрягаясь, он вспоминал немецкие слова:

— Как тебя зовут?

— Грета...

Девочка вначале стеснялась, но, увидев, что Осип улыбается, доверчиво взобралась на его колени. Он играл с нею в «ладушки»... Она что-то говорила, он не мог понять что. Ему было хорошо и нестерпимо больно — все время он думал об Але. Вот такой она была, когда он уехал из Киева... Может быть, ее убил отец Греты?.. Нежно и печально Осип глядел на сонную девочку; потом отнес ее Насте.

На посту коменданта Осип пробыл десять дней. Его уже хорошо знали все жители города, почтительно кланялись, улыбались: «Добрый день, господин комендант».

Он глядел на них без злобы и без сочувствия: не мог убедить себя, что перед ним люди; не верил ни их улыбкам, ни смирению, ни Генриху, который клялся, что город был «почти красным». Он никому и ничему здесь не верил. Только когда он глядел на Грету, глаза его становились мягкими и грустными.

Полк двинулся дальше. Осип сидел в деревенском доме у полевого телефона. Немцы пытались удержаться в старом замке над городом. Осип кричал:

— Захарченко? Ты меня слышишь? Подбавь огоньку...

Еще один город — чистый и чужой... Февраль месяц, а весна — Осип увидел в садике подснежник. Какая чудесная весна в Киеве, другой такой нет! Рая любила фиалки... Теперь скоро фрицам конец — месяц-другой, больше не протянут... А что я буду делать, когда кончится? Ведь никого у меня нет... Как никого нет?.. Сто восемьдесят миллионов... Буду работать, это у меня осталось. Позову в гости Минаева с Ольгой, пусть посмотрят, какой красивый Киев. Поведу их в сад. Они будут гулять, как гулял я с Раей... В саду всегда много детей. Верещат, щебечут... Послушаю и пойду работать...

23

— Сон немцев и немок потревожен надолго,— сказал Минаев Оле.— Покрываться им нечем, поскольку пух из перин разлетелся прахом, а простынь, по-моему, тоже не останется — изрезали на флаги...

Немцы продолжали отчаянно сопротивляться; каждый город приходилось штурмовать. Порой и жители стреляли из окон. Но когда советские части доходили до центра города, все менялось, как в сказке. Жители, даже те, что час назад стреляли, превращались в мучеников, пострадавших от Гитлера. Город лихорадочно резал простыни. Белые полотнища болтались на всех фасадах, выползали из окон; обрезками немцы перевязывали рукава.

Отовсюду выходили люди, томившиеся в неволе: украинские девушки, которых хлестала по щекам Христина Штаубе или другая своенравная немка, рабыни, пропла-

кавшие свои глаза на подземных заводах или в хлевах красномордых скотоводов; французские военнопленные, пять лет протомившиеся в шахтах Силезии, англичане и американцы, которые были аристократией немецкой каторги, завсегдатаи варшавских цукерен, превращенные в землекопов, и пражские доценты, чистившие солдатские нужники. Кого только не встречал Минаев! Здесь были и голландский актер, арестованный немцами за то, что зрители прервали аплодисментами монолог шекспировского героя, и норвежский пастор, не отслуживший вовремя панихиды по солдатам фон Паулюса, и миланский адвокат, рассорившийся, хотя поздновато, но шумно, со своим дуче. Минаев рассказывал:

— Даже австралийцев видел. Идут и радуются, как будто они не антиподы, а откуда-нибудь из Пензы...

Минаев шутил, а в душе он был взволнован невиданным зрелищем: ничего не возразишь, действительно освобождаем!.. Думал ли я, когда мы сидели на проклятом курганчике, что дойду до Германии и какой-то долговязый американец из штата Мичиган будет мне кричать «тенкью»?.. С этим американцем Минаев разговорился — он был сыном чешского эмигранта и понимал по-русски.

— Здорово, что вы сюда пришли! — восклицал американец.— Я-то ждал, что нас освободит Паттон а вижу — русские... Главное, что мы с вами встретились, правда?

— Правда,— ответил Минаев. Он задумался, потом улыбнулся.— Знаете, когда мне очень хотелось с вами встретиться? В сентябре сорок второго. Я тогда прогуливался по одной степи, было жарко и скорее невесело... Вот тогда мне пришло в голову, что хорошо бы встретиться с американцами. Я ведь знал, что это веселые парни, любят джаз. Я его тоже люблю... Думал — пошутим вместе, позабавимся. Но та встреча не состоялась... Я очень рад, что мы вас освободили и что мы встретились теперь в Бранденбурге. Лучше поздно, чем никогда. Вот женщины этого не понимают, одна мне прямо сказала, что лучше никогда, чем поздно...

Американец загрохотал:

— Ну и весельчак! А у нас говорили, что красные никогда не смеются...

Снова шли вперед солдаты Минаева. Завязывался короткий, но жестокий бой. Появлялись обрывки простынь. Солдаты пили шнапс и ругались. Всеми овладело нетерпение последних часов перед развязкой.

А по дорогам двигались освобожденные. Американцы и англичане шли налегке. Американцы шумели, старались хлопнуть по плечу каждого русского, отпускали комплименты девушкам, восторгались советскими танками и требовали от встречных лейтенантов, чтобы им немедленно предоставили помещение с душем, а потом отправили в Оклахому или в Небраску. Англичане были высокомерны и спокойны, сдержанно радовались свободе и сдержанно тосковали о пятичасовом чае. Больше всех было французов. Многие из них катили на немецких велосипедах, прихватив кто гуся, кто теплый джемпер на первую послевоенную зиму, кто аккордеон. Они быстро разобрались в обстановке, поняли, что русским не до них, самостоятельно передвигались на восток и мгновенно превращали бродячую свинью или барана в такое замысловатое рагу, что русские, которых они угощали своей стряпней, говорили: «Ну и народ — все у них повара...»

Однажды на такую трапезу попал Минаев. Его полк стоял неделю на месте: говорили, что подтягивают артиллерию. Минаев вдруг увидал на немецком домике широковещательную вывеску: «Ресторан Чортова кухня для Союзных войск». Оказалось, это дурачатся освобожденные французы. Один из них говорил немного по-русски: два года проработал на заводе с советскими. Минаева угостили каким-то диковинным блюдом и ромом. Потом французы очень громко и очень нестройно пели, слова были непристойные, а мотивы напоминали заупокойное богослужение. Когда все поели, попили, погорланили, француз, говоривший по-русски, сел рядом с Минаевым и начал расспрашивать про Россию. Минаев был поражен: француз знал и про Днепрогэс, и про московское метро, и про стихи Маяковского; несколько раз он перебивал Минаева — подсказывал.

— Где вы все это узнали? От наших в плену?

— Нет, во Франции. Я был студентом, но у нас даже среди студентов были люди, которые искали правду о

Советском Союзе, я говорю «даже» потому, что студенчество у нас не впереди... Когда началась война, я вошел в подпольную организацию. Потом мне пришлось уехать из Парижа в Марсель. Там я участвовал в операциях: напали на немецкий клуб, освободили арестованных товарищей. Когда немецкие войска вошли в Марсель, мы жили одним — Сталинградом. Мой товарищ Нико убил немецкого лейтенанта и приколол к его груди записку «в честь Сталинграда»...

— Не знали мы этого, когда сидели там... Я ведь у Сталинграда все время проторчал — на одном отвратительном холмике...

Француз взволновался, что-то сказал товарищам; все подошли, стали разглядывать Минаева: русский, который был в Сталинграде! Минаев засмеялся:

— Ну, что тут удивительного? Вот немца, который был у Сталинграда, вы здесь вряд ли встретите. А наших сколько угодно... Мне нравится, что ваш Нико в честь Сталинграда застрелил фрица. Это лучше, чем посылать телеграммы...

— Телеграммы посылали не мы. Нико расстреляли — его взяли месяц спустя. Он еще до войны был коммунистом. А я с сорок первого.

Минаев теперь в свою очередь с удивлением оглядел собеседника:

— Никогда еще я не разговаривал с потусторонним коммунистом. А много во Франции людей, которые думают, как вы?

— Примерно треть, другая треть думает наоборот, почти как немцы...

— Погодите, где же у вас третья треть?

— Те вообще не думают.

— А как вы пришли к этому?..

— От обратного... Я очень люблю моего отца, он честнейший человек, но профессиональный скептик, кажется таких людей можно встретить только во Франции. С детства я от него слышал: «Люди — подлецы. Среди собак еще попадаются порядочные, которые не отнимают кости у маленькой собачонки и не гордятся тем, что они породистые сен-бернары. А среди людей я таких не встречал». Говорил: «Во Франции было три с половиной

революции» (за половинку он считал восемьсот тридцатый). А каковы итоги? При Людовиках герцог был выше маркиза, а маркиз выше графа. Теперь другая котировка: «Рио-Тинто», «Роял-Детч», «Мексикан Игл»... Отец думал меня этим отпугнуть от политики, а он первый мне раскрыл глаза... Несчастье Франции, что у нас из неверия сделали веру, есть настоящие фанатики неверия. Мой отец доктор, он возится с больными, а рассуждает так: «Я его вылечу от воспаления легких, потом он умрет от воспаления почек. Когда-то умирали от чумы. Обрадовались «уничтожен бич человечества» и начали прилежно умирать от рака. Когда победят рак, появится какая-нибудь новая пакость...» Я тоже француз, люблю посмеяться, знаю, что и на солнце пятна, но я не хочу удовлетвориться иронией. Мы слишком долго перелицовывали, пора кроить. На моих руках умирали товарищи и во Франции, и здесь в лагере. Я простился с одной девушкой в Марселе, мы условились, что назавтра пойдем купаться, ее взяли гестаповцы и замучили. Неужели она умерла за то, чтобы снова Даладье валил Рейно или Рейно валил Блюма? Нет, теперь многое должно перемениться...

Прощаясь с Минаевым, он сказал:

— Если попадете в Париж, я вас угощу лучше, чем сегодня, покажу вам хороших товарищей. Я сейчас запишу адрес... Зовут меня Рене Морило.

Минаев написал своей мамуле:

«Вчера я ужинал у французов. Они меня накормили чем-то сверхъестественным, говорили, будто это вульгарная утка, которой надоело крякать на немецком пруду, но я тихо подозреваю, что это загадочная помесь вола и лягушки. Впрочем, дело не в ужине. Ты мне писала в самое поганое время, что не нужно унывать потому, что у нас очень большая страна, это бесспорно, но вчера я установил, что наша страна куда больше нашей страны. Когда приеду, изложу тебе это в виде небольшого доклада о международном положении. Хотя мы довольно близко от Берлина, придется еще повоевать — немцы соображают исключительно медленно, а нам ждать неохота, у каждого свои причины торопиться. Я, например, хочу поскорее тебя обнять. Оля кланяется, просит сказать, что здорова и счастлива, в последнем я сомневаюсь — ее извели и немки,

которые ее величают не иначе, как «фюрерин», и твой неисправимый Митька».

Ночь пахла сыростью, морем, весной — тревожная мартовская ночь. Минаев долго думал о судьбе своего поколения и, засыпая, решил, что придется жить беспокойно, но этого беспокойства он уже не променяет ни на что.

24

Все последнее время Билу Костеру не везло. Он приехал во Францию зимой. Армия топталась на месте. Он спрашивал себя: чем заполнить тысячу слов? Разумеется, происходит много интересного. Если описать, как Монтгомери хочет перехитрить Брэдли, читатели пальчики оближут. Нельзя — не пропускает цензура. Солдаты пьянствуют, ругают французов «грязные, воняют чесноком, хвастунишки», потом кричат: «Зачем нас сюда прислали? Если уж драться, так лучше с япошками...» Тоже не тема...

Настала весна; начались боевые действия. Понаехало множество корреспондентов. Приходится петь хором, а он не хорист; так можно испортить свое реноме. Ко всему, Била преследовал злой рок: он никак не мог угадать, где произойдет очередная сенсация — прозевал и Кельн и Ремагенский мост. Пришлось списывать с чужих слов, не было живых красок, анекдотов, сочности.

Бил решил съездить в Париж — может быть, удастся что либо разнюхать — говорят, немцы зондируют почву в Ватикане. На худой конец опишу любовь актрисы Ксавье и американского летчика, который потерял ногу. Читатели это любят. А из Германии нельзя дать ничего трогательного: цензура задерживает — приказ не брататься с населением. Я ругал в Куйбышеве русских, а наши военные не лучше. Один мне преподнес, что я не должен сообщать о занятии города до того, как об этом сообщит главная квартира. Что же тогда делать уважающему себя журналисту?

В Париже он провел приятную ночь с одной девицей, как он потом говорил, «суперпикантной». Та ему сказала:

— Я теперь дружу только с американцами. Ничего не поделаешь — англичане скупердяги, а у наших нет ни шиша. Скверная история...

Бил захотел ее утешить:

— Ничего, скоро будет лучше.

— Не думаю. Слишком много коммунистов, рабочие ни черта не делают — занимаются политикой. Понятно, что хозяева закрывают предприятия. Торговцы прячут товары, никто не верит, что будет лучше. Наоборот... Кики нашла хорошего американца, он обещал взять ее в Нью-Йорк. А я попадаю на таких прощелыг, как ты...

Она зевнула. Бил хотел возразить, но увидел, что она уже спит. А ему не спалось. Он думал о картине, нарисованной девушкой. И вдруг вскочил: идея! Тотчас он составил телеграмму редактору: «На фронте остался Грэффит. Предлагаю ряд сенсационных корреспонденций. Общий заголовок: «Красная петля на шее Франции» — террор черни, экономический маразм, интервью — что думают деловые круги, политики, полиция, человек с улицы». Девушке он дал, сверх того, что ей палагалось, пять долларов и «картон» сигарет — он любил в делах честность. Два дня спустя он получил поздравление от редактора.

Адвокат Гарси рассказал Билу, как FFI произвели обыск в квартире почтенного коммерсанта. Бил описал это ярко: ночью врывается в дом банда коммунистов, стаскивают одеяло с молодой женщины, глумятся над нею, разбивают фаянсовую статуэтку богоматери, уверяя, что внутри спрятаны доллары, уносят семейные драгоценности. Бил закончил статью словами: «Для того ли отдали свою жизнь герои из Огайо или Техаса?» Гарси рассказал ему о массовых арестах:

— В чем обвиняют тысячи людей? Не в криминальном акте, а в простой принадлежности к милиции или PPF. Это полное попрание законности. Со времени Робеспьера Франция не знала ничего подобного...

Бил рассказал своим читателям, как бледная девушка прощается с жизнью через тюремную решетку только потому, что ответила коммунисту: «Я никогда не пойду с вами. Мой идеал не произвол, а справедливость и свобода, которые царят в великой заатлантической республике».

Гарси познакомил Била с Пино: это был кладезь информации. Бил доказал сухими цифрами, как падает производительность из-за растлевающего влияния коммунистов. Он умеет заниматься и скучными делами, если от этого зависит спасение Европы, следовательно, благосостояние Америки. Теперь нужно дать что-нибудь живописное... Бил попросил Пино познакомить его с «забавным французом». Пино задумался: может быть, свести его с Лансье? Такой болтун для журналистов находка...

Несмотря на то, что с освобождения Парижа прошло полгода, Лансье не успокоился. Он даже понял, что никогда не успокоится — Марселина умерла во-время: того, что было, не воскресить.

Выпадали тихие дни, когда Лансье вспоминал о своих коллекциях, улыбался табакеркам и негритянским божкам; однажды он сказал Марте:

— Ты знаешь, чего недостает «Корбей»? Суданского козла. Я понимаю, что теперь нельзя достать нового. Может быть, завести простую козочку? Они очень грациозны...

Минуты успокоения сменялись вспышками тревоги. До войны Лансье не выносил, когда при нем говорили о политике, а теперь он сам затевал споры, начинал вдруг кричать: «Необходимо отложить муниципальные выборы...» Марта его упрекала: «Чего ты волнуешься? Это не твое дело...» Он отвечал: «Ты меня не видела в счастливые времена. Говорят, что плохие деньги вытесняют хорошие. В моей голове политика вытесняет высокие мысли».

Завод работал три дня в неделю: не было ни сырья, ни топлива. Лансье роптал: почему жизнь не налаживается? Ему казалось, что война давно кончилась, бошей разбили. Не все ли равно, какой немецкий город взяли вчера американцы? Это может интересовать только военных. А вот здесь, в Париже, все идет из рук вон плохо. Люди не понимают, как они пережили зиму. Стояли сильные холода, угля не было. Теперь тепло, но повсюду очереди, женщины жалуются — не достать самого необходимого. На черном рынке цены растут. Рабочие говорят, что нужно положить этому конец. Ясно, что на муниципальных выборах выиг-

рают коммунисты. Стоило ли героически сражаться против бошей, чтобы попасть под иго своих собственных азиатов?..

Когда Пино рассказал Лансье, что с ним хочет познакомиться видный американский журналист, Лансье покапризничал:

— Зачем? У них газеты еще глупее, чем наши. Будь это писатель — другое дело...

— В Америке печать играет большую роль, а мы заинтересованы, чтобы американцы знали о наших трудностях — только они могут нам помочь. Костеру рассказали, что в деловом мире нет человека более тонкого, чем вы, и он загорелся желанием с вами побеседовать. Примите его на час...

— На час? Ничего подобного! Я убежден, что он дикарь, как все его соотечественники. Я приглашу его к ужину, пусть он видит, что такое французская культура. Завтра к Марте приезжает младшая сестра Клер из Пуатье. Мы отметим это скромное семейное событие. Я рассчитываю, дорогой друг, на вас и на госпожу Пино...

Лансье начал составлять меню. Теперь это не так просто: все время приходится спрашивать Марту: «Можно достать?..» Впрочем, большой художник создает картину из ничего... Лансье остановился на рыбных кнелях и на фаршированной курице.

Он убрал стол цветами и скрещенными флажками: американский и французский. Клер вскрикнула:

— Как красиво! Можно забыть, что теперь такое ужасное время...

Это была хорошенькая веселая девушка, которая пять лет ждала счастья. Ее жених был в плену. Она служила в конторе и по ночам плакала. Бил сразу ее оценил, подумал — не будь работы, я занялся бы красоткой. Но я здесь не для забавы... Бил стал разглядывать хозяина: действительно колоритная фигура...

Лансье вдруг с грустью оглядел стол: вспомнил довоенные вечера. Разве можно сравнить Пино с Дюма или с Нивелем? Конечно, Нивель плохо кончил, но это все-таки не Пино, который способен только говорить о делах и проникновенно сморкаться. А этот американец... Я был прав, сказав, что они дикари. Пришел и сразу положил ноги на

курительный столик. Выпил вино до еды, а кнели запивает ледяной водой. Ест и курит, это отбивает вкус... Зачем ему давать изысканные блюда? Он привык к своим консервам. А как он бесцеремонно хохочет! Невежда... Тот русский, что приходил перед войной, был куда тоньше, скромно себя вел, оценил мои миниатюры. А этот, когда я ему показал Рекамье, сказал: «Таких много в Нью-Йорке у антикваров, теперь они упали в цене — привозят из Франции, можно купить за пятьдесят долларов...» Варвар! Лансье, однако, не забывал о законах гостеприимства, был обходителен, подливал Билу вина, охотно отвечал на все вопросы.

— Мне сказали, что ваш сын погиб на фронте. Он был в армии Леклерка?

— Нет, он погиб в России. Я им горжусь...

— В России? Что же, он был коммунистом?

— Никогда. Он, как я, ненавидел политику. Он хотел освободить Францию от бошей. В Россию он уехал задолго до высадки. Я понимаю этот жест... И потом нельзя смешивать Советскую Россию и наших коммунистов. У русских свои национальные цели...

— Я был в России,— сказал Бил,— но тогда там никаких французов не было. Я видел русских, когда они защищали Москву. Это фанатики, которые любят свою землю, свой ужасный строй и какого-то князя, забыл имя, кажется Дмитрий Невский. Тогда многие думали, что русским крышка, но я написал, что русские ни в коем случае не сдадут Москвы. Вы говорите, что у них свои национальные цели? Согласен. Но, может быть, их национальные цели — захватить всю Европу? В Америке многие считают, что есть русская опасность... В штабе Брэдли мне говорили, что Монтгомери хочет обогнать русских и первым попасть в Берлин. Конечно, это несправедливо — англичане любят собирать плоды с чужого дерева. В Берлин должен войти Паттон или Ходжес. Но лучше — Монти, чем русские...

— Я думаю, что русские опередят всех,— сказал Лансье.— Может быть, у них ужасный строй, но воюют они артистически. Во время оккупации мы привыкли радоваться их победам.

— Понятно,— сказал Бил.— Мы тоже радовались. А вам было туго под немцами, а?

— Ужасно...

Лансье это произнес с глубоким чувством. Ему казалось теперь, что никогда он не страдал так, как в годы оккупации. Бил что-то записал, проглотил машинально кусок курицы, взял бутылку коньяку, которая была приготовлена к кофе, выпил большую рюмку и вдруг сказал:

— Наверно, вы делали дела с немцами. Здесь все делали дела...

Лансье обиделся:

— Я хотел бы посмотреть на американцев, если бы по Пятой авеню прошли немецкие колонны. Да, вначале я поверил Петэну. Вы ему тоже верили, ваш посол просидел в Виши два с половиной года. Я и теперь считаю, что Петэн честный француз. Я сражался под его командованием в Вердене. Он ошибся... Мы все сопротивлялись, как могли. Посмотрите на господина Пино. Это не юноша и не романтик, а он участвовал в сопротивлении с сорок второго, рисковал своей жизнью... И после этого вы нам кидаете в лицо такой укор!..

Бил дружелюбно ответил:

— Не нужно обижаться. Журналист это провокатор. Я говорю не то, что думаю,— я пересказываю глупости, распространенные в Америке, чтобы услышать ваше опровержение. Лично я очень люблю Францию, это, кажется, самая изящная страна, которую только можно себе представить... Я не понимаю одного, господин Лансье, как вы уживались в сопротивлении с коммунистами?

Ответил Пино:

— Союзников не выбирают, вы это знаете не хуже нас. Я могу вас спросить в свою очередь, как вы уживаетесь с большевиками? Напрасно в Америке думают, что коммунисты играли первую роль. Они мастера на рекламу. Достаточно вспомнить, что в сороковом году они сидели тихо, а начали кричать только после нападения Гитлера на Россию...

Бил записывал. Лансье хотел ему сказать, чтобы он попробовал козий сыр, который Марта достала с большим трудом. Но вдруг Лансье забыл обо всем: он начал ругать коммунистов. Он сам не давал себе отчета, почему он их так ненавидит, и приписывал это своим гражданским чув-

ствам. Только однажды, когда Марта спросила его, боится ли он, что коммунисты отнимут у него завод, он тихо ответил: «Что завод? Они отняли у меня Мадо...»

Сейчас он кричал:

— Я видел этих «патриотов» в тридцать девятом, когда началась война! Они защищали русских. Я сказал тогда Лежану: «Вы не француз, вы татарин». Может быть, потом такой Лежан проповедовал войну против бошей, но я ему не прощу измены... Они хотят нажиться на крови мучеников, использовать развалины Орадура, чтобы набрать побольше голосов. Это одержимые, они рассекли надвое Францию, рассекли каждую семью. У меня сердце обливается кровью...

Пино рассказал Билу, что дочь Лансье — коммунистка, именно поэтому Бил так настаивал на встрече: это будет сенсационная корреспонденция — трагедия отца, убеленного сединами. Правда, Била несколько разочаровал внешний облик Лансье, но он быстро прикинул — в этом есть своя экзотика — жуир, который скрывает за улыбкой отцовские слезы... Пино запретил Билу ссылаться на него, если речь зайдет о дочери Лансье. Бил понял, что спросить нужно именно теперь, и сказал:

— Я видел в одной левой газете фото молодой красивой женщины с подписью «Маделен Лансье». Это не ваша родственница?

— Это моя дочь, господин Костер... (В голосе Лансье послышались слезы. Марта возмущенно поглядела на американца. Пино закашлялся. Клер сказала «здесь накурили» и встала, чтобы открыть окно.) Да, это моя дочь... Никого я так не любил. Кроме покойной Марселины. Она могла бы стать прекрасной художницей. Вот на стене ее первые работы... Марке сказал, что у нее талант... И ее отняли у меня коммунисты! Я не сомневаюсь в ее честности. Но между нами теперь пропасть. Когда она пришла сюда, я собрался с силами и прямо сказал: «Кто тебе дороже: отец или эти безумцы?..»

Лансье вытер глаза салфеткой. Бил писал без остановки.

После ужина надели пальто, вышли в сад. Вечер был уже весенний. Цвели первые каштаны. Бил и Клер пошли вперед. Старшие остались возле дома. Лансье сказал Пино:

— Они больше дикари, чем я думал. Никакого представления о такте!.. И потом зачем было готовить для него фаршированную курицу? Марта возилась целый день... Их нужно кормить овсянкой и кукурузой...

Клер вернулась одна; потом пришел Бил и сразу стал прощаться.

Когда гости уехали, Марта прошла к сестре; а Лансье горестно думал о мире: из войны вышли победителями два колосса — Америка и коммунизм. Я даже не знаю, кто из них страшнее... Пришла Марта; обычно спокойная, она была возбуждена:

— Морис, ты не должен звать таких людей в семейный дом...

Он испугался:

— Что он сделал?

— Он обидел Клер. Ты заметил, какая она чувствительная... Он стал к ней приставать, она решила, что он слишком много выпил, пробовала обратить все в шутку. А он дал ей визитную карточку и сказал: «Если вы придете ко мне завтра вечером, вы получите сорок долларов...» Это неслыханно! В семейном доме...

Марта потом жалела, что сказала это Морису. Всю ночь он не спал, бегал из комнаты в комнату, что-то бормотал. Утром он сказал жене:

— Как ты думаешь, может быть, бросить все и уехать в «Желинот»? Будем скромно жить, заведем коз, кроликов, кур. Сколько нам с тобой надо? Мы уж немолодые. Там по крайней мере не будет ни американцев, ни коммунистов, ни Пино. Я задыхаюсь от грубости жизни... Только теперь я понимаю, какое счастье сельская жизнь! Выйдет замуж Клер, привезет к нам своего маленького, мы будем с ним нянчиться, как с внуком... Может быть, и Мадо меня пожалеет, приедет на несколько дней. Мы не будем говорить о проклятой политике... Вспомним с ней Марселину...

О «Желинот» Лансье мечтал недолго; его позвал завтракать Гарси, и он снова завертелся в колесе парижской жизни.

Бил назвал очередную корреспонденцию: «Я видел слезы короля Лира».

25

Когда год назад Герта неожиданно для всех вышла замуж за хромого Гюнтера Шпейера, мнения разделились. Ирма не одобрила выбора сестры. Заведующий продовольственным отделом — с такими людьми встречаются в карточном бюро, а не в спальне. Гюнтер громко сморкается, отрыгивает за столом, а большего урода я не видела. Конечно, трудно жить без мужчины, но Герта всего на два года старше меня, стоит ей приодеться и подмазаться, как она становится привлекательной, притом у нее есть койкакие сбережения. Зачем ей было торопиться? Брат Фридрих (он тогда стоял в Биаррице) возмутился: прошел всего год со дня исчезновения Келлера, а Герта уже нашла заместителя. Вдруг Иоганн жив? Правда, пришло извещение о смерти, но кто знает, что стало с защитниками Сталинграда? Все-таки женщины дрянь, воюешь за них, а они подносят такие сюрпризы!.. Мать, получив письмо Герты, всплакнула — вспомнила Иоганна. Но Герта поступила разумно — ей тридцать один год, на руках двое детей, а женихи теперь редкость. Госпожа Френцель позавидовала подруге: выбрала мужа по сезону. Продовольственный отдел это поважнее, чем университетская кафедра. Достаточно у них поужинать, чтобы понять резоны Герты. У других любовь в глазах, а у нее на столе... Френцель про себя вздохнул: Келлер был ученым, а что такое Шпейер? Вор. Не знаю, может быть, он не крадет, но они все воры... Герте Френцель сказал: «Я приветствую ваше решение, Шпейер через вас унаследует тот свет, который горел в черепной коробке Иоганна». Он не понял, почему, услышав слова «черепная коробка», Герта побелела и схватилась за косяк двери.

Герта жила с Гюнтером мирно. Правда, два раза, напившись, он ее избил, кричал, что она «распутная баба», вышла замуж «при живом муже»; но Герта не была девочкой, она знала, что у мужчин нет логики — им нужно или воевать, или срывать злобу на женщине, и Герта простила Гюнтеру несколько синяков. Она относилась к нему, как к чему-то необходимому: нельзя жить с детьми без мужа.

Теперь, вспоминая год совместной жизни, она думала: в общем я могла бы быть счастлива. Гюнтер хорошо относится к детям, он обещал мне, что, когда кончится война, у нас будет ребенок. Снова вмешалась в дело проклятая война... Я уж не говорю о бомбежках. Мама не выдержала, уехала к тете в Бреслау. Тогда говорили, что на востоке гораздо спокойнее. Она попала в самое пекло. Там во сто раз страшнее — туда пришли русские... Хорошо, что я вовремя отослала Ольгу, такая ведьма могла бы меня убить. Осенью, еще до того, как русские ворвались в Германию, она уже настолько обнаглела, что сказала мне: «Вы заплатите за все...» Гюнтер тогда говорил, что я напрасно ударила ее ключом по лицу, лучше было бы отстегать. Он сентиментален. А может быть, эта девка ему нравилась... Хорошо, если она останется на всю жизнь с переломанным носом. Но сейчас мне от этого не легче. Какой-то сплошной ужас! Когда слушаешь радио, голова разрывается. Русские недалеко от Берлина. Говорят, что американские танки возле Майнца. Люди, встречаясь, не здороваются, сразу спрашивают: «Где они?»

Ирма сказала сестре:

— Ты не могла придумать большей глупости, чем выйти замуж за наци?

Марта Френцель выразилась туманнее:

— Мой муж не в партии... Иоганн, кажется тоже не был записан...

Прежде Герту мало интересовали воззрения Гюнтера; взвесив все, она сказала себе: у него хорошее положение и короткая нога, значит, на фронт его не пошлют. А теперь она спросила мужа:

— Почему ты в партии?

— Как почему? Меня никто не исключил...

— Я тебя спрашиваю, почему ты записался?

Гюнтер рассердился:

— Все вы задним умом крепки. Как будто я один записался... Я был простым бухгалтером, а при наци я стал влиятельным человеком. Не тебе это рассказывать — вдова доцента университета запросилась в мою постель... А теперь она спрашивает «почему»! Кто мог думать, что это так кончится? Фюрер больше понимает, чем я, но и он не думал, что все так повернется.

— А ты не боишься, что тебя убьют?

— Почему? Я не партийный руководитель, я специалист. При американцах тоже будут выдавать карточки и подсчитывать запасы муки...

Ирма боялась, что ее пошлют рыть окопы. Она лежала в постели, уговорила доктора написать удостоверение, что у нее малярия. Она настолько вошла в роль, что ее действительно трясла лихорадка.

Гюнтер, вернувшись домой, сказал:

— Я благословляю тот день, когда приехал в Гейдельберг.

Герта не поняла: чему он радуется? Все говорят, что скоро начнут стрелять из пушек по городу.

— Где ты напился?

Он покачал головой.

— Я счастлив, что я здесь. Ты ведь знаешь, что до войны я жил в Дрездене, а туда обязательно придут русские. Хотел бы я сейчас посмотреть на старого Карла Хинерта, как он кудахчет над своей кубышкой...

Гюнтер скрипуче засмеялся.

Пришел Френцель, бормотал:

— Нечто необъяснимое... Где фюрер? Его орлиный глаз должен видеть эту трагедию... Виноваты ужи мещанства и скорпионы Гиммлера...

Гюнтер ему сказал:

— Бросьте хныкать! О фюрере перестали думать даже кошки, не говоря о собаках. Сейчас всех интересует другое: кто сюда придет? Я в хорошем настроении, потому что я убежден, что сюда придут американцы. Я уже не говорю о Берлине или о Дрездене, там кошмар, хуже красных нельзя ничего придумать. Но я не променяю этой квартиры на самый роскошный дом в Штуттгарте.

— Почему? — спросила Герта.

— Потому что в Штуттгарт придут французы. Это лучше русских, но это тоже противная музыка. В Америке нас не было, а во Франции мы просидели четыре года. Это, так сказать, ответный визит. Да и вообще французы дегенераты, недаром они любят негров. Американцы славные парни и настоящие арийцы...

На следующий день Гюнтер пришел с сенсационными новостями:

— Выехали навстречу!
— Кто выехал?
— Восемь наших офицеров. Нацепили на машину «Красный крест»...
— Ничего не понимаю — к кому выехали?
— К кому? Конечно, не к фюреру. К американцам. Нужно, чтобы они скорее заняли город. Не пускать же сюда французов... Да и здесь много сброда — русские, поляки, французы, эта публика непрочь устроить резню. Наши парламентеры гарантируют, что не будет никакого сопротивления. Дорог каждый час...

Герта, перерыв шкаф, нашла рваную детскую простынку и повесила ее на перила балкона.

Американцы понравились Герте. А Ирма сразу выздоровела, она стояла у окна и улыбалась.

— Герта, посмотри на этого офицера. Он напоминает киноактера... Забыла фамилию... Какая у него милая улыбка!

На следующий день Ирма заговорила с одним американцем. Тот усмехнулся и ответил:

— У тебя славная мордочка, но платить шестьдесят пять долларов за девчонку мне не по карману...

Ирма заплакала: он меня принял за продажную тварь. Она немного успокоилась вечером, когда Гюнтер рассказал, что американцам запрещено общаться с населением, провинившиеся должны платить штраф. Ирма сказала:

— Вот почему он мне так ответил... Но это глупо. Я понимаю, что они не хотят разговаривать с фюрером. Но при чем тут я? Мне они очень нравятся. Я всегда мечтала поехать в Голливуд или в Миами...

Несколько дней спустя кабинет Иоганна реквизировали: там поселился молодой лейтенант Харпер. В первый же вечер он подарил Герте коробку консервов, а Ирме плитку шоколада. Герта его спросила:

— Скоро кончится эта проклятая война?

— Теперь скоро. Наши танки несутся, куда хотят. Я даже не знаю, где они теперь. Может быть, в Австрии. А русские здорово дерутся. Теперь нам хорошо. Зимой было паршиво. Я уж не говорю об Италии, там был насто-

ящий ад, я думал, что оттуда не выберусь. А у меня жена, маленький ребенок...

Герта умилилась, вытерла глаза:

— Все-таки мужчины сумасшедшие... Почему они воюют?

— Воевать начали вы. То есть немцы... Так по крайней мере у нас писали... Вы думаете, я понимаю, зачем мы воюем?.. Говорят, что вы грозили Америке. Если бы меня спросили, я не объявил бы войны... У меня в Чикаго квартира куда лучше этой. Но у вас здесь уютно, отдыхаешь после французской грязи. Вообще нам немцы нравятся. Офицеры говорят: «Наконец-то мы попали в культурную страну». А солдатам все равно, это хорошие ребята и дерутся они хорошо, но им наплевать на международную политику, они хотят домой...

Харпер развалился в кресле и стал любоваться Ирмой. Ночью она была вознаграждена за недавнюю обиду. На следующее утро она решила освежить в памяти школьные познания, выписывала в тетрадку английские слова и рьяно их зубрила.

Гюнтера оставили на месте. Правда, ему сказали, что всех наци потом будут проверять, но он поглядел на веселого американца и успокоился.

Два дня спустя пришел Френцель, начал бубнить:

— Светоч Америки это свет Гёте. Вашингтон и Эйзенхауэр выразили все то, о чем мечтали лучшие умы Германии...

Герта раздраженно его прервала:

— Что вы будете делать? Вашу «Силу через радость», наверно, закрыли...

— Я устраиваю «Лигу христианского и демократического оздоровления». Американцы обещали нам полное содействие.

Маленькая Гретхен пришла сияющая: американец дал ей вкусную конфету. Только Рудди не сдавался, говорил: «Когда я буду большим, мы их поколотим».

Ночью Герта спросила мужа:

— Гюнтер, ты очень несчастен?

— Как все... Конечно, это катастрофа. Но я был прав — лично нам повезло. Отчаиваться не стоит. Лет пять будет трудно. Гитлер оказался шарлатаном, он плохо подсчи-

тал... Нужно уметь подчиниться событиям. Кто знает, может быть, через двадцать лет Рудди увидит, как Германия их раздавит...

Герта заплакала:

— Ты хочешь, чтобы и он погиб, как Иоганн! Сумасшедшие!..

Гюнтер уснул, уютно похрапывая. За стеной раздавался неясный шопот — это Ирма пополняла свои знания английского языка. Под окном кричали американцы. Герта лежала и думала о случившемся. Для меня война кончена, можно подвести итоги. Я была женой доцента, нас принимал профессор Боргардт. В Париже мы были у знаменитого ученого. Иоганн был наивен, но он умел думать, писал книги. А Гюнтер ничтожество. Сегодня американцы его держат, завтра выкинут. Марки теперь ничего не стоят, мы нищие, придется шить платья или сидеть в конторе. Город разорен, да и вся страна... Как было хорошо, когда Иоганн приезжал из Франции! Все нас уважали. А теперь мы как зачумленные. Разве не страшно, что Ирма спит сейчас с американцем? Ведь ее Вилли на фронте, он еще сражается, если не убит. Да и я хороша — улыбаюсь американцу, беру подарки... Иоганну лучше, чем мне, он этого не видит. Как говорил Френцель? «Черепная коробка»... Ужасно! Может быть, сейчас в России стаял снег и среди поля лежит череп. Зубы Иоганна, глазные впадины, все, что осталось — от него, от нашего счастья, от Германии...

26

О смерти брата Вася узнал зимой; он долго не мог оправиться от этого удара. В детстве Вася ревновал мать к Сереже; никогда он не поверял старшему брату своих затаенных мыслей; боялся — если скажу, он поймет, что я глупый... Потом они дружили, но всегда между ними было какое-то расстояние. Вася любил Сергея, как можно любить очень красивую и недоступную женщину; говорил себе «Сергей это знает» или «Сергей нашелся бы», говорил без зависти, с восхищением — гордился братом.Он не мог свыкнуться с мыслью, что Сергея убили. Могли бы убить меня, как убили Аванесяна, Нестерова, Гришу. Но не Сергея...

Нина Георгиевна прислала такое спокойное, сдержанное письмо, что Вася, читая его, чуть не заплакал. Он понимал, что происходит с матерью: она ведь жила Сережей... Нина Георгиевна писала: «Я тебе посылаю вырезку из газеты, мне написал о том, как погиб Сережа, генерал Бельский, написал просто, по-человечески. У него тоже погиб сын еще в сорок третьем. Потом я получила письмо от двух женщин из Югославии. Они говорят, что Сережа спас их город. Я все время об этом думаю, это меня поддерживает. Страшно, что он умер, но я могу сказать, что он умер своей смертью — именно так он должен был умереть. Со мной Валя, мы ухаживаем друг за другом, мне с ней легче. Незачем тебе писать, как она убита, молодой женщине тяжело пережить такое, а она была Сереже предана до самой глубины. Хорошо, что у нее есть искусство, сцена, какая-то своя жизнь, ей легче будет приподняться. Васенька, пиши мне часто, я не скрою, что тревожусь, когда нет от тебя долго писем. Наташа меня успокаивает, говорит, что ты не любишь писать, но я немного сдала после смерти Сережи. Желаю тебе счастья и чтобы поскорее все кончилось, теперь уж недолго...»

Сергея нет, говорил себе Вася с болью и каким-то изумлением. Убивают лучших... Маме очень трудно. Нужно скорее кончать: весь народ измучился, не знаю даже, кто больше — мы или они, в тылу...

Он быстро сдружился с новыми товарищами — артиллеристами; понял, что не случайно его тянуло в артиллерию. Полковника Никитина считали холодным человеком, неспособным на живое чувство. А Вася как-то провел с ним вечер, говорили о тех ошибках, которых много в жизни каждого, о друзьях, об одиночестве. Вася понял, что Никитин страстный человек, но страсть у него скрытая, он проверяет самые темные уголки своего сердца разумом. Именно это нравилось Васе в артиллеристах: сочетание исступленных чувств с расчетом, с математикой, с привычкой не верить догадкам, предположениям, сердечным приметам. Кажется, и я такой... А может быть, нет — возомнил. Ладно, кончится война, спрошу Наташу — ей со стороны виднее...

Когда же все начнется? (Это звучало в душе иначе: когда же все кончится?)

Может быть, они уж не так долго простояли в этом маленьком немецком городке, но Васе казалось, что они здесь нестерпимо долго. Он даже подумал — по фрицам вижу, что мы здесь целую вечность, можно не заглядывать в календарь... Он встречал на улице каждый день толстого немца в зеленой фетровой шляпе. В первые дни этот немец так боялся русских, что Вася сказал лейтенанту Шебуеву: «Его силуэт можно нарисовать только, если рука будет дрожать, посмотри, какой он смутный — трясется». А теперь тот же немец глядел уверенно, его контуры были точно обрисованы, он здоровался с Васей, как со старым знакомым. Сколько же можно здесь торчать и глядеть на указку: «Берлин — 64 км»?

Наташа неотступно была с Васей — не призрак, как в белорусских лесах, — живая, теплая: он видел, как она дует на горячий чай, забавно выставив вперед губы, как рисует тычинки растений, наклонив голову набок, как идет по улице Горького в маленьком синем берете, глаза смеются, а любопытный нос задран кверху. Когда же он ее обнимет? Терпеливо он ждал почти четыре года, а теперь терпению пришел конец. Он поймал себя на машинальном жесте — то и дело он смотрел на циферблат часов, как будто боялся опоздать на свидание.

И вот началось... Вася прочитал приказ. Когда он дошел до слов «с именем Сталина вперед на Берлин», его голос дрогнул, он остановился и почти шопотом кончил: «Смерть немецким оккупантам!» Он и раньше не раз повторял «на Берлин», но тогда это было лозунгом, мечтой, клятвой; теперь это справка: идем именно в Берлин... Сколько он ждал этого часа, говорил о нем с Иваном, когда за ними гнались эсэсовцы! Ивана повесили, он не дожил...

Есть у сердца своя хронология; и в тот последний час ночи (Вася поглядел на часы — половина пятого), когда затряслась земля, вспыхнуло небо, перед Васей встал сияющий летний день. Минск, ветер, рядом с ним идет Наташа, и мертвый ребенок на земле, как поломанная кукла, а женщина, захлебываясь, плачет: «Пе-е-ее-тя!..»

«Начинается» — это было сказано так громко, что далеко от Кюстрина, в своей берлинской квартире, Гильда проснулась, протирая глаза, крикнула Вальтеру: «Господи,

снова бомбят!..» Рихтер потом ей рассказывал: «Мы стояли в Карлсхорсте. Со сна мне показалось — гроза. Все растерялись. Лейтенант Шеммер говорил: «У русских какое-то секретное оружие...»

Полковник Никитин, вспоминая первое лето войны, говорил: «Немцы были очень сильны, но у них и тогда не было точного плана операции. Была точность в выполнении мелких приказов. Был план: взять Москву и прогуляться по Красной площади. А точного плана наступления не было. Они импровизировали: выйдет — хорошо, не выйдет — повернем налево или направо. Они играли в железку, девятки у них тогда были, а голова в этом деле не участвовала. Сейчас мы наступаем, как разыгрывают шахматную партию — ни случайности, ни азарта. Пускай переводят «авось» на немецкий язык, Берлин возьмем, а знаменитое «авось» им подарим — за ненадобностью...»

Подготовлялись к наступлению долго, методично. На западный берег Одера каждую ночь перекидывали дивизии, артиллерию, танки, боеприпасы. Саперы, среди которых было немало сталинградцев, товарищей Сергея, быстро восстанавливали мосты, поврежденные бомбами и снарядами. Осип каждый вечер посылал разведчиков за «языком», на его карте значились немецкие полки, батальоны, роты; он с усмешкой говорил: «Третья только называется ротой — семнадцать человек и все «тотальщики»... Увидев план Берлина, на который были нанесены узлы сопротивления, правительственные здания, превращенные в крепости, баррикады, Минаев пришел в восторг: «Вот это здорово! Перефрицили фрицев...»

Генерал Гельвитц, сменивший в прошлом году полковника Габлера, объявил офицерам и солдатам своей дивизии: «Фюрер убежден в неприступности Берлина. У нас здесь сосредоточены очень крупные силы, много техники. С фаустпатронами нам не страшны русские танки. Против красных командование применит «фау». Если большевики могли несколько месяцев удерживать Сталинград, когда у них позади была река, то мы легко удержим Берлин — центр всех коммуникаций Германии. У нас есть все объективные данные для победы. Я требую от каждого из вас самоотверженности». Фельдфебель Энгель сказал Рихтеру:

«Лейтенант Шеммер тоже говорит, что солдат здесь много — двести тысяч». Рихтер внимательно на него посмотрел: «Ты думаешь, мы удержим Берлин?» Энгель ухмыльнулся: «Я думаю, что они хотят удержать Берлин. Лейтенант сказал мне по секрету, что если мы удержим город до июня или до июля, будет сепаратный мир. Он только не знал с кем — с русскими или с англо-саксами. Но как ты хочешь, чтобы мы удержали Берлин? Будь это в начале войны, дело другое... Со стороны генерала было бестактно напоминать про Сталинград... Возьми меня — разве я фельдфебель? В лучшем случае я теперь восьмушка фельдфебеля».

Потом говорили, что в прорыве вражеской обороны участвовали двадцать две тысячи орудий. Тогда Васе было не до цифр; он только вопил «огонь» и видел, что никто его не слышит — такой стоял грохот.

Ночь разодрали мощные прожекторы; они слепили немцев, и от них всем стало веселее — казалось, легко пройти по этой ярко освещенной дороге. А пройти было трудно: немцы хорошо укрепили весь район; видимо, задолго до катастрофы они предвидели возможность боев под Берлином.

— Огонь! — кричал Вася.

Немцы прямой наводкой били по батарее. Убит Жбанов. Санитары унесли Гречко и Лунца. Меняют запасные части; тащат снаряды. На лице крупный темный пот. Люди не слышат, не видят, не помнят; но они великолепно слышат команду, видят огневые точки врага. И они все помнят. Даже в этом аду Чернов знает, что его ждет жена и Генька, он о них не думает, он сейчас вообще ни о чем не думает — он тверд, суров, накален, как ствол орудия; но жена и Генька с ним, Чернов знает, что они близко, вон там за Берлином... У каждого своя память, своя тоска, своя цель: голодный год Ленинграда, Маша возле калитки, младенец, который сосал палец растерзанной женщины на харьковском Тракторном, сто дней в Сталинграде, тысяча дней в пекле, диссертация о масляных фильтрах, прерванная на полуслове, Ванюша, который родился после того, как призвали, женщины, города, реки, родина. Вася кричит «огонь», и перед ним среди дыма и

пламени, в серо-розовом рассвете (как будто к туману подмешали кровь) Наташа, милая, курносенькая...

Я все-таки глупо сделала, что приехала в Берлин, — подумала Гильда. — Курт был прав, когда называл меня «мартовской кошкой». Приехала в феврале... Почему? Да, конечно, не потому, что поссорилась с Иоганной. Какое мне до нее дело? Приехала потому, что здесь Вальтер. Как можно влюбиться в такую дубину? Я из-за него приехала, бомбят чуть ли не каждую ночь, а он даже не хочет меня успокоить... Гильда прижалась к Вальтеру. Он пробурчал: «Еще рано... Я хочу спать...»

В восемь часов Вальтер ушел на службу. Гильда стояла возле ворот. Женщины гадали — что было ночью? Госпожа Мюллер (ее муж в ПВО) говорила: «Это наша артиллерия на Одере. Русские пробовали прорваться, но Ганс сказал, что они никогда не пройдут». К Гильде подошел пятнадцатилетний Пауль Вик, сын домовладелицы; у него торчали уши, а воспаленные глаза были обведены синью. Это было на темной лестнице. Он сказал: «Я ухожу на фронт. Гильда, вы меня поцелуете?» Она рассеянно чмокнула его в щеку. Он откинул ее голову и поцеловал в губы: «Чорт возьми, солдат я теперь или не солдат!..» Когда он ушел, Гильда всполошилась: если посылают на фронт таких желторотых, значит очень плохо... Она купила «Морген-пост»; она никогда не читала газет и поэтому долго искала, где напечатано самое важное. Но в газете ничего не было о наступлении русских. Писали, что немцы успешно контратакуют в районе Эльбы. Гильда увидела статью «Зверства красных»; она не могла дочитать — слишком страшно... Курт рассказывал, что русские — азиаты, корова спит в доме, нет приличной уборной. Наши там расправлялись с населением, Курт говорил — вешали женщин. Они обозлили русских, а теперь русские пришли сюда...

Гильда говорила себе: я не трусиха, привыкла к бомбежкам. Все на месте — и развалины, и уцелевшие дома с цветами на балконах, и магазины, и трамваи. На стенах плакаты: «Победа или большевистский хаос». Почему же мне так страшно?.. Она решила купить коробочку пудры. Владелица парфюмерного магазина аккуратно завернула

коробочку, отсчитала сдачу и заплакала: «Я хотела уехать в Магдебург, а машина сломалась...» Гильда подумала: может быть вернуться к Иоганне?

На вокзале сидели или лежали беженцы — трудно было пройти. Кто-то вопил: «Украли чемодан...» Женщина плакала: «Еле выбрались из Штеттина, там уже русские...» Железнодорожник удивленно поглядел на Гильду и сказал: «Голова у вас есть? Как вы хотите туда проехать? Там американцы...»

Гильда пошла назад. На стене ее дома мальчуган из «фольксштурма» тщательно выводил: «Берлин остается немецким». Пришел Вальтер. Гильда обняла его: «Господи, что же это делается? Я так боялась за тебя...» Он сказал: «Дай мне поесть. И вообще теперь не до нежностей». Она возмутилась: «Я порядочная женщина, у меня муж, как ты смеешь так со мной разговаривать? Я рискую из-за тебя жизнью. Я могла бы сейчас быть у Иоганны, там американцы... Грубое животное!» Она готовила омлет из яичного порошка, и слезы капали на сковородку.

С трудом полк майора Минаева продвигался к восточным предместьям Берлина. Немецкие фортификации были прекрасно оборудованы. Сопротивление напоминало малярию; подымалось, падало, снова подымалось. Немцы то отчаянно сопротивлялись, держались в маленьких пригородных домиках, переходили в контратаки, то неслись на запад, как осенние листья, подхваченные порывом ветра. Минаев злился: нельзя понять, что они выкинут через час... Особенно трудно дался один холмик. Минаеву казалось, что все это уже было — и горевший дом направо, и труп молодого сапера в паутине проволоки, и густой удушливый дым. Так же, как в донской степи или потом у Чернобыля, Шибанов просил «подкинуть», а генерал Лучицкий кричал в телефон «чего отстали?», и так же немцы, когда все думали, что их больше нет, открывали пулеметный огонь, и вдруг, в самую важную минуту, замолкала батарея Кожевникова. Считали километры, а эти три сто̀ят сотни... Всю ночь продолжался бой; когда начало светать, Минаев с верхушки холма увидел серую печальную даль; туман, смешиваясь с дымом, не хотел сдаваться солнцу.

Уж двое суток, как генерал Лучицкий не ложился. Он прилег на слишком короткую кушетку, поджал длинные

ноги. Теперь пустили вперед Кашкина. Хорошо, что пошли танки, фрицы заминировали далеко не все, а саперы молодцы... Можно, пожалуй, часок поспать. Но сон не шел. Вот и Берлин... Он об этом не думал, но это было в нем, как вся его прошлая жизнь, как Москва, как добрые глаза Жени, окруженные тонкими морщинками. Восемь лет назад Лучицкий (тогда он был скромным комбатом) шел по раскаленной улице Мадрида. Он уехал добровольцем в Испанию, говорил себе: повезло, все туда рвутся... Он знал, что фашисты — «враги прогресса»; знал это из книг, из газет. А на узкой, грязной уличке квартала Куатро-Каминос играли дети. Сколько в Испании детишек, подумал он (это было на второй день после его приезда). Вдруг раздался грохот. И Лучицкий увидел, как по краю мостовой тонкой струйкой текла кровь. С тех пор он многое увидел, но он не забыл того знойного дня. Двадцать второго июня он был в Бресте. Женщина в разорванном платье с ребенком на руках кричала: «Спасите!» Он посадил ее в машину. Ребенок был мертвый. Лучицкий отступал от Оскола до Воронежа. В Воронеже убили его старшего сына, студента-первокурсника. Подчиненные говорили: «Хороший командир, только суховат». А в груди его была рана, и она не заживала. Теперь он закрыл глаза и улыбался: Берлин!..

Минаев размечтался: с детства он любил сирень. Есть цветы как цветы, а в сирени что-то особенное. Может быть, потому, что цветет она весной и с нею связаны те мечты, которые находят на человека, когда тишина и размеренность длинной северной зимы сменяется грохотом, свистками паровозов, девичьим смехом, желанием кого-то полюбить, или уехать куда-нибудь подальше, словом сделать необычайное... «Вот пятерка, — сказал Минаев Оле, та улыбнулась и проглотила крохотный цветок. — Можешь не беспокоиться — счастье будет и без этого... С Мюнхебергом кончили, значит «нах Берлин», как выражаются изысканные фрицы».

Обедали в кокетливой вилле; ели консервы на саксонском фарфоре, пили воду из хрустальных фужеров. Заместитель по политчасти Терешкович говорил: «Интересно, чей это дом? Наверно, банкира. А сейчас сидит здесь Петр Терешкович, сын потомственного ярославского плотника...»

Потом он задумался и сказал Минаеву: «Как это ты в Ярославле не был? Самый красивый город... Один бульвар над Волгой чего стоит. Живешь в Москве, можно сказать рядом, и не поглядел. Это покрасивее, чем... — Он запнулся: — Мюнхаузен?.. Ну пускай Мюнхеберг... С Таней познакомишься, научный работник — марксизм — ленинизм, и вообще она замечательная. Маечке четыре года. Я ее с начала войны не видел, в мае родилась — за месяц... Таня тогда уверяла, что она уже улыбается, а она, по правде говоря, пузыри пускала... Обязательно приезжай, глупо — пол-Европы обошли, а ты Ярославля не видал. Теперь скоро эта музыка кончится...» Ольга вскочила: «Генерал тебя спрашивает». Лучицкий сказал: «Танки прошли вперед. Можете итти. А то берлинцы ждут не дождутся...» Минаев почувствовал, как суровый генерал улыбается в телефонную трубку, и ответил: «Будет выполнено, товарищ генерал. А берлинцы денек-другой подождут, мы ведь четыре года ждали...»

Снаряд разорвался недалеко от дома, где жила Гильда. Зазвенело стекло в кухне. С Гильдой сделалась истерика. Она не боялась бомбежек, соседки и Вальтер удивлялись ее храбрости. Когда она вернулась в Берлин, она знала, на что идет... Но сейчас нервы не выдержали. Она выглянула в окно, было совсем темно, и ей показалось, что в темноте грохочут русские танки. Сейчас большевики ворвутся в дом. Хорошо, если они кинут гранату, могут начать мучить... Она выпила стакан воды, прикусила нижнюю губу, поглядела в зеркальце. Вальтер дурак. Конечно, я плохо выгляжу, ничего нет удивительного после таких ночей, и все-таки я еще недурна... Она вспомнила, как мальчишка Пауль Вик прибежал под вечер, запыхавшись сказал: «Мне дали «фаустпатрон», тяжелый, но ничего — держу. Я не пропущу ни одного танка. Гильда, поцелуйте меня, как мужчину». Она его поцеловала, и он зашатался.

На следующий день Гильду заставили таскать мешки с песком. Она возмутилась: молодая женщина не может этого делать, у меня внутри все оборвется... Кто-то пел солдатскую песню:

Красная заря, ты встала слишком рано.
На груди моей зияет рана...

Гильда подумала: вдруг Курта убили? Не может быть! Я очень люблю Курта, больше всех, это первая любовь, значит самая настоящая, столько лет я была ему верна... Я должна ему помочь, если эти мешки его спасут, я согласна надорваться. Она вспомнила школьную хрестоматию: наш Рейн, Германия, старые дубы, гренадеры Фридриха... Рядом работал пожилой человек с лиловыми жилками на лице и с короткими седыми усами. Он все время ворчал: «У меня ишиас. Мне шестьдесят два года. Я не могу подымать тяжести. Пусть эти мальчишки сами расхлебывают...» На углу Будапештерштрассе и Кенигретцерштрассе разорвался снаряд. Гильда упала на тротуар и распластала руки, как будто плывет. Когда она встала, человек с ишиасом вытер платком штаны, потом лицо и сказал: «Доигрались! Я вас спрашиваю, сударыня, кому нужны эти баррикады? Если русских не остановили на Одере, почему их остановят на этой улице? И кто их остановит? Сопляки из «фольксштурма»? Я? Пусть Геббельс таскает мешки, он это заслужил...» Гильда подумала: у всех развязались языки. Конечно, он прав. Вальтер не хочет понять, но он туп, и потом он служит в полицайамте, он боится рассуждать. Я еще в сороковом говорила Курту, что это плохо кончится. Зачем было брать Париж, когда даже я понимала, что придется его отдать? А сколько народу погибло? Еще можно понять, что они полезли в Париж, это приманка, я всегда мечтала туда поехать. Но зачем было соваться в Россию? Курт еще до войны говорил, что это страшная страна — леса и большевики. Что они там нашли хорошего? Ночевали в одной комнате с коровой... А русские теперь пришли сюда, меня убьют, и я не знаю за что... Я еще могу кому-нибудь понравиться. Да и Курт вернется... Умирать из-за каких-то сумасшедших! Курт до войны уверял, что все обойдется, бояться нечего, потому что «мы — буря». Это вздор, я не буря, я обыкновенная женщина, я хочу спокойствия... Она таскала мешки, а из глаз текли слезы.

Вальтер не пришел; она напрасно прождала его всю ночь. Утром она пошла в полицайамт. Ей сказали, что Вальтер охраняет Силезский вокзал; но туда нельзя пройти — стреляют. Она все же добралась, пришлось несколько раз ползти по тротуару. Она сказала Вальтеру:

«Я тебе принесла бутерброды, шоколад — не успела отослать Курту — и одеколон. Зачем ты здесь? Это безумие...» Она привстала на цыпочки и, взмахнув золотыми кудряшками, поцеловала его. Он выругался: «Самка! Ты понимаешь, что происходит?..» Потом он опомнился: «Это нервы... Скорей уходи отсюда...» А когда она ушла, он еще раз выругался. Вот за таких шлюх мы должны умирать!.. Два раза русские танки уже показывались на Франкфурteралле. По ним стреляли из зениток. Вальтер думал: пусть убьют или отпустят, только чтобы скорее кончилось. Я больше не могу ждать...

В экипаже головного танка, который продвигался от Лихтенберга к Силезскому вокзалу, был младший лейтенант Миша Золотаренко, который, сам того не зная, рассказал Вале страшную правду о судьбе ее отца. Золотаренко тогда долго себя укорял: и как меня угораздило?.. Хотя в былое время Зина, да и другие девушки из «Пиквикского клуба» считали его грубым, у него было нежное, отзывчивое сердце. Он казался грубым потому, что был застенчив; ему хотелось спрятать свои широкие руки, похожие на ласты, и поэтому, он ими размахивал; стыдясь сказать что-либо о себе, он громко и поспешно рассказывал о последнем футбольном матче или о новой марке автомобилей. Зина его когда-то отвергла, а он ее не забыл. Когда он узнал о ее гибели, он испытал такое чувство, как будто из его жизни ушло самое светлое и необходимое; а он до войны два года ее не видел. Сейчас в карманчике его гимнастерки была фотография Зины и вырезка из газеты, которую он показывал Вале. Он подумал: вот и Зина пришла в Берлин... Без любопытства он глядел на темные однообразные дома. Все здесь ему было противно, все, кроме одного — дошли!.. Это уже пятая машина... Два раза Золотаренко был ранен — на Кубани и под Харьковом... В машине было очень жарко. Золотаренко поглядел на Кругликова — как из-под душа — течет... Он почувствовал сильный толчок, хотел крикнуть и не крикнул. Потом из люка вынесли тело Миши Золотаренко. Товарищи хмуро молчали, никто ничего не сказал, все думали об одном: за пять минут до конца...

А танки продвигались вперед. Перед ними была баррикада: желтый вагон трамвая с цифрой 69, опрокинутые

машины. За баррикадой лежал Вальтер. Когда танки были совсем близко, он вдруг оставил свой фаустпатрон и пополз к тротуару. Он думал: какая широкая улица, не доползу... Он дополз, залез в подворотню и быстро взобрался на верхний этаж. Сильно билось сердце: от лестницы и от страха. Неужели я жив?.. Он сорвал нарукавную повязку «фольксштурма». Довольно глупостей! Пусть фюрер играет в такие игры. Я обыкновенный человек, я хочу жить.

Возле Силезского вокзала в блоке рабочих домов засели эсэсовцы. Вася приказал открыть огонь. Какой-то старик дополз до русских; путая польские и немецкие слова, сказал: «Ради бога!.. Там женщины, дети...» Вася приказал прекратить огонь: «Даем десять минут гражданскому населению — пусть выходят...» Из домов начали выбегать люди, тащили детей, узлы, чемоданы. «Вот черти»,— сердито сказал младший лейтенант Горбатенков — ему стало жалко детишек. А эсэсовцы продолжали поливать пулеметным огнем площадь и две улицы; теперь они стреляли в людей, выбегавших из домов. Потом Вася скомандовал:

— Огонь!

Генерал Лучицкий сказал Минаеву: «Вчера вечером передавали приказ об окружении Берлина. Остался только центр»... Он задумался и сказал: «Провели операцию хорошо. А план... О чем говорить—та же рука, что в Сталинграде...»

Крылов был на вокзале Румельсбург. Толпа кинулась к составам. Самые предприимчивые рубили топорами стенки вагонов, тащили консервы, сахар, табак, мешки с горохом; другие их отдирали. Дети сыпали сахарный песок в фартучки, набирали в картузики мед. Дмитрий Алексеевич сказал медсестре Шевелевой: «Посмотрите на этих рубак! Разошлись, забыли, что они у себя в Берлине. А еще говорили, что честные, только у нас стали мазуриками. Нет, вы посмотрите — ребенка раздавили...» Крылов бросился к толпе: «Стой! Стрелять буду! Подлецы, своих детей не жалеете...» Он поднял девочку лет семи или восьми: «Отнесите к нам... Руку переломили...»

Генерал Гельтвитц сидел в подвале пятиэтажного

дома. Адъютант доложил: «Русские на Кайзер-Вильгельмштрассе». Генерал не ответил. Он — командир дивизии, он воевал, пока можно было воевать. А это не война, это сумасшествие. Я не знаю, что они думают в штабе? Может быть, командует не Кейтель, а какой-нибудь неуч вроде Геббельса или самого фюрера? Этот сумасшедший погубил лучшую армию мира... Генерал Гельвитц вспомнил своего предшественника полковника Габлера. Он знал его с первой молодости: они вместе учились военному делу. Полковника Габлера наци расстреляли. Тогда генерал Гельвитц говорил: «Мне его жалко — это хороший командир, но он понес заслуженную кару — мы не имеем права вмешиваться в политику». Сейчас генерал, вспомнив эти слова, усмехнулся: наци только и делали, что вмешивались в военные операции. Заговорщики были правы. Жалко, что Шауфенберг промахнулся... Летом сорок четвертого мы могли бы еще выторговать мир вничью. А теперь нас поставили на колени. С такими людьми, как генерал-полковник Бек или фон Шулленбург, союзники, наверно, сговорились бы... Адъютант сказал: «Господин генерал, майор Рамм запрашивает, когда он получит боеприпасы, у него на исходе, он держит квадраты сорок один, сорок два». Генерал Гельвитц подумал: этот майор Рамм очень скоро получит одну пулю — в грудь или в задницу — не знаю, какой у него темперамент... Он раздраженно ответил адъютанту: «Дайте мне лучше стакан воды и лекарство — оно в кармане шинели».

Рихтер подумал: сегодня, кажется, двадцать девятое, значит уже неделя... Отсюда до моего дома не больше двух километров. А я был под Москвой... Нечего сказать, триумфальное возвращение! Лейтенант Шеммер требует, чтобы мы защищали «сердце Берлина». А кто в этом сердце? Может быть, фюрер? Но почему я должен его защищать? Он исковеркал мою жизнь. Он уничтожил Берлин. Даже если у нас будет новое правительство, за двадцать лет город не отстроится. Идиоты написали на развалинах «Берлин остается немецким». А Берлина вообще нет — ни немецкого, ни русского, ни перуанского... Рихтер подошел к лейтенанту Шеммеру и спросил: «Значит, мы должны умереть под этими развалинами». Шеммер пожал плечами: «Я запросил майора Рамма, но он не

может связаться с генералом Гельвитцем». Рихтер не удовлетворился: «Значит мы...» Лейтенант его перебил: «Пока приказ не отменен, он остается в силе». Они сидели в большом доме «Дрезденского банка». Русские стреляли по зданию из четырех орудий. Одного угла дома уже не было. Фельдфебель Энгель говорил: «Защищаем жизненное пространство. Я удивляюсь, что ты не кричишь «Sieg-heil»... А пять минут спустя Энгель ничего не говорил, он лежал с раскрытым ртом, окруженный банковскими книгами. Рихтер понял: нужно уходить. Он спустился по пожарной лестнице вниз. Если русские на нашей улице, я погиб... Он пролежал до ночи в подворотне пустого дома. Когда смолкали на минуту пушки, ему казалось, что он слышит русскую речь. Наконец он выполз и побежал, прижимаясь к стенам домов. Никто его не останавливал.

Когда Гильда увидела мужа, она не могла даже вскрикнуть, у нее не было сил его обнять. Она плакала, и ни тогда, ни потом она не могла понять, от горя или от радости. Наконец она сказала: «Ты... жив?..» Он крикнул: «Брось говорить глупости! Достань скорее костюм, я должен переодеться...» Она не поняла: «Но почему?..» Он рассердился: «Если тебе нравится подыхать, пожалуйста, я тебе могу дать адрес — в Тиргартене ты получишь игрушечное ружье и благословение фюрера. А с меня хватит. Что ты стоишь? Дай мне скорее костюм!..» Гильда выкинула все из сундука: дамские рубашки, свои бальные туфли, платья, наконец она нашла старый костюм Курта с короткими широкими штанами. Она сказала: «Этот неудобно надеть...» Но он уже натягивал на себя штаны: «Сейчас все удобно...» Она прильнула к нему, поглядела на него своими круглыми кошачьими глазами: «Курт, это ты?.. Какое счастье!.. Но происходит что-то ужасное... Неужели русские сейчас придут сюда?» Он кивнул головой и отвернулся. Тогда она схватила белую шелковую рубашонку, которая валялась на полу, и, распахнув окно, вывесила ее вместо флага. Она увидела, что на всех домах белые тряпки. Курт осмотрел комнату, заваленную хламом из шкафа, из сундука, и хмыкнул: «Можно подумать, что они уже побывали в нашей квартире...»

В Тиргартене сидела кучка «фольксштурмистов», среди них был и Пауль Вик, которому нравилась зеленоглазая Гильда. Он думал сейчас о ней и о фюрере. С детских лет он слышал одно: за фюрера нужно умереть. Сейчас многие немцы предают фюрера, ругаются, сдаются русским. Пауль не таков, ему пятнадцать лет, но он настоящий немецкий солдат. Когда он отстоит Берлин, он придет к Гильде, и она не сможет перед ним устоять. Она Изольда,— подумал он,— а я Тристан... Вместо фаустпатрона, о котором он мечтал, у него была обыкновенная винтовка. Стемнело, Пауль вдруг увидел, что их осталось всего трое — остальные разбежались. Студент из «гитлерюгенд» все время кричал: «А ну-ка, ребята, поддайте им жару!» Пожилой человек говорил: «Мне наплевать на таких сопляков, как ты. Но я терпеть не могу поляков и русских. Я лучше сдохну, чем сдамся этим азиатам». Пауль стрелял в темноту. Пожилой человек сказал ему: «Побереги патроны». Но Пауль не мог не стрелять. А студентик кричал: «Правильно, поддай им жару!» Иногда шлепалась мина, ломала деревья. Пожилой человек свалился, он долго, однообразно стонал. Пауль видел в тумане глаза Гильды. Фюрер подымал руку к черно-красному небу. Когда рассвело, Пауль увидел на аллее русских. Он выстрелил, а потом схватился за живот и упал.

Полк Минаева сражался в самом центре города: брали Потсдамерплатц. Немцы засели в метро. Их выбивали ручными гранатами, захваченными фаустпатронами. «Сегодня Первое мая,— сказал Терешкович Минаеву,— с праздником...» На окраинах Берлина праздник был заметен: флаги, портреты Сталина, веселые песни. А здесь еще шла война, страшная в своем исступлении. Когда наступило несколько минут затишья, Терешкович размечтался: как празднует Таня? Наверно, там весело, знают, что последние часы войны, удачно выпало — именно весна, май... КП был на пятом этаже. Терешкович увидел, что солдаты застряли перед разбитой артиллерией баррикадой, подумал — устали люди, нужно их подбодрить. Солдаты рванулись вперед. А Терешкович пошатнулся и упал на бок. Его унесли в соседний дом. Прибежал Минаев. Терешкович громко хрипел, никого не узнавал. Минаев молча постоял и ушел — прочесывали окрестные улицы. Только

вечером он смог подумать о Терешковиче. Минаев потерял на войне много друзей. Смерть давно перестала его удивлять. Но никогда он не испытывал такой щемящей тоски, как в этот праздничный майский вечер. Вот и не приеду к нему в Ярославль... Наверно жена уже пиджак для него отутюжила — ждет не сегодня завтра... И это, может быть, в последний день... Смерть Терешковича казалась ему непонятной, а от этого нестерпимой. Подошел сержант Королев, сказал: «Какой человек был!.. Во всю мелочь входил...» Помолчав, он добавил: «Я тоже ярославский...»

У Крылова было много работы. Он перевязывал и наших, и немцев, и горожан, случайно попавших под огонь. Он задумался: почему они не могут так драться за Берлин, как дрались наши за Сталинград? Ведь это их город, столица... Скажут: мы теперь сильнее. Сильнее, правда. Но в августе сорок второго немцы были сильнее нас. Полковник сказал: «У нас теперь в сорок раз больше артиллерии, чем у них». Наверно так, и все-таки это еще не объяснение. У них в сорок раз меньше сердца вот что. Не знают, за что воевали, поэтому и не хотят теперь умирать. Сколько они кричали: «Народ, Deitschtum». А народа не сколотили. Были миллионы обывателей, и правил ими миллион жеребчиков. Пока шло хорошо, держалось, а сейчас расползлось по ниткам. Кланяются нам, доносят друг на друга, готовы благодарить за то, что их расколотили. Глупо.

Крылова подозвал раненый старшина Гусев. Он говорил с трудом, Крылов его несколько раз прерывал: «Нельзя вам разговаривать». Но старшина умолял выслушать его: «Умру, чувствую, что умру... В октябре сорок первого я служил в сто тридцать втором отдельном саперном батальоне. Потом его расформировали. Там со мной был Никита Васютин. Вдвоем пошли. Он большой подвиг совершил — на себе подорвал танк... Я ранен был, потом докладывал, говорят — части той нет, а дело прошлое... Он говорил — у него старики в Вологодской области... Умру, и никто об его подвиге не узнает. Я думал — кончится война, напишу Сталину. Пускай стариков порадуют... Он, как показались танки, сказал «дай завернуть», скрутил и пополз...» Старшина не мог больше говорить. На лице проступил пот; он забылся. Вечером он умер. А Крылов раз-

волновался. Напишу Сталину... Какие у нас люди!.. Умирает, а о товарище думает — стариков порадовать... И почему он умер?.. Крылов вышел в сад. Пахло лекарствами, трупами (под развалинами соседнего дома погибли эсэсовцы), белой акацией, гарью.

— Войной пахнет,— проворчал Крылов,— а война ведь кончается...

Гильда в ужасе глядела на русских: они проходили внизу по улице. Потом пришли двое, спросили, нет ли оружия. Она подумала: сейчас убьют... Но русские ушли. Все время она вспоминала рассказы Курта. Ей казалось, что войдет азиат с раскосыми глазами и приведет в спальню корову... На третий день она осмелела и вышла с госпожой Мюллер на улицу; они стояли у самого подъезда, чтобы можно было убежать. Один русский офицер остановился, спросил: «Тиргартен где?» Гильда показала направо. Он улыбнулся. Она тоже улыбнулась. Ее зеленые глаза сразу просветлели. Курт лежал мрачный, повернувшись к стенке лицом. А она прибирала квартиру и думала: никакой коровы не приведут, глупости, они даже привлекательные, в такого можно влюбиться — у него глаза серые, как небо в бурю, с огоньком, чувствуется темперамент...

Пушки Васи били по угрюмому корпусу. На фасаде огромные валькирии бесстыдно распластали свои каменные тела. Потом немцы начали выходить с поднятыми руками. Вася и младший лейтенант Горбатенков осматривали здание рейхстага. Залы были завалены камнями, мебелью, брошенным оружием. Бойцы расписывались на продырявленных стенах. Горбатенков вынул из кармана гимнастерки портрет Сталина: «Товарищ капитан, это я в сорок втором из «Огонька» вырезал. Так он со мной и прошагал — от Россоши до Калача и обратно до Берлина. Плохо было, со мною шел, хорошо было, шел. Все время я его хранил. А сейчас, повешу на стену — дошел...» Он прикрепил маленький портрет к стене.

Минаев провожал на КП армии немецкого генерала. «Осторожно,— сказал Минаев,— здесь яма». Генерал ответил: «Я ничего не слышу, оглох от вашей артиллерии». В штабе Минаеву сказали: «Пошли за машинисткой — сейчас генерал Вейдлинг продиктует приказ о капитуляции». Немецкий полковник, который сопровождал Вейд-

линга, выпустил из глаза монокль и тотчас его подхватил.

Потом Минаев хорошенько помылся, выпил стакан французского вина и написал матери. «Твой Митька сейчас сидит в кабинете какого-то солидного немца. Владелец этого дома собирал игрушечных солдатиков — ничего не скажешь, они обожали войну. Теперь только слегка разочаровались. Кругом меня тысячи оловянных солдатиков всех эпох и всех стран. Имеется и наш, он скромно стоит позади различных уланов. Но между прочим он дошел до Берлина, и сегодня я видел, как немцы явились с повинной. Ты мне когда-то говорила, что над чужим горем нельзя смеяться, это правда, если речь идет о людях. А вот что ты скажешь о немецком полковнике, который, когда подписывали капитуляцию, то и дело поправлял свой пробор и вставлял в глаз монокль? Страшно подумать, что из-за таких оловянных солдатищ погибли миллионы хороших людей. Третьего дня мы похоронили капитана Терешковича. Смотрю на Берлин и все время вспоминаю курганчик под Сталинградом, о котором я тебе писал. Теперь, дорогая мамуля, очень скоро кончится. Жалею, что не выполнил твоего приказа и не поймал Гитлера живьем, немцы уверяют, будто он отравился. Оля тебя целует, немки таращат на нее глаза, наверно, думают что это и есть та страшная большевичка, которая, по словам Геббельса, закусывает водку немецкими младенчиками. А все-таки дураки они, мамуля, я уж не говорю о другом, но круглые дураки...»

В тот вечер над Москвой прошумели долгожданные слова: «Полностью овладели столицей Германии городом Берлин — центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии». По небу текли струи ракет, а у окна стояла Мария Михайловна Минаева и плакала. Потом она пошла к Кацману, сказала: «Давид Григорьевич, и мы с вами дошли... И Гриша дошел... Ведь вот какое дело — победили...»

27

Где-то еще шли бои; а в Берлине было тихо; и эта тишина угнетала Рихтера. Ему казалось, что сейчас кто-то придет и отправит его в Сибирь.

Запыхавшись, Гильда сказала:

— Реквизируют!.. Русский офицер!..

Рихтер подумал: значит крышка, сейчас меня заберут... Он спросил Гильду:

— Какой он?

— Я его не видела. Приходил ординарец — высокий, довольно красивый...

— У тебя одно на уме...

Гильда приготовила для русского лучшую комнату, которая до войны служила Рихтеру кабинетом. Пришла госпожа Мюллер, рассказала:

— Ко мне въехал русский, обер-лейтенант, очень приличный... Теперь я гарантирована от различных визитов...

Рихтер подумал: может быть, и меня спасет русский офицер? Если он только не захочет меня погубить...

Он сказал Гильде:

— Не говори ему ни в коем случае, что я был на Восточном фронте. Я был во Франции, а потом в Берлине — меня демобилизовали по болезни.

Увидев Васю, Гильда подумала: удивительно милый и нестрашный. Никогда не поверю, что такой держит у себя в комнате корову или сажает девушек на кол. Зачем Курт это рассказывает? Достаточно нас обманывал Геббельс... Она начала ухаживать за Васей, постелила ему лучшую простыню, положила свою подушку из гагачьего пуха; спросила, что приготовить на завтрак, но Вася не понял.

— Поговори с ним по-русски,— просила Гильда Рихтера.

— Ты сошла с ума! Тогда он поймет, где я воевал? Ты, вероятно, хочешь от меня отвязаться...

— Курт, не говори глупости. Нам будет куда спокойней, если мы расположим к себе этого офицера... Но что я могу сделать, когда он меня не понимает? Ты был в России очень давно, еще до нашей женитьбы, тогда немцы дружили с русскими, ты мог тогда научиться русскому языку. Это только расположит его в твою пользу...

Курт начал перебирать старые бумаги, чихал, злился и, наконец, разыскал фотографию: он был снят с группой

русских архитекторов в Кузнецке. Когда он постучался в комнату Васи, он ничего не соображал, как будто идет в атаку. Он сказал, показывая на Гильду:

— Моя жена спрашивает, к которому часу вам приготовить завтрак?

— Спасибо. Не нужно. У нас своя столовая.

Гильда ушла, а Рихтер стоял, как осужденный. Пусть уже скорее спросит!.. Но Вася молчал.

— Вас удивляет, откуда я знаю русский язык?

Вася улыбнулся:

— Ничуть.

— Вы, может быть, думаете, что я воевал на Восточном фронте? Я был во Франции — гарнизонная служба. А русский язык я изучил давно. Я ездил в Кузнецк — тринадцать лет назад, снялся там с вашими архитекторами.

Он сунул Васе фотографию, тот для приличия взял и тотчас вернул.

— То-то я вижу чертежи, книги... Значит, вы архитектор?

— Да.

— Я тоже...

Оба долго молчали. Вася не знал, о чем говорить с этим немцем. А Рихтеру казалось, что он не сказал русскому самого важного. Он спросил, не мешают ли господину капитану его книги.

— У меня была и марксистская литература, но при наци пришлось сжечь. Остались только специальные издания и классики. Когда я ездил в Кузнецк, я был очень близок к коммунизму...

— Интересно,— ответил Вася.

Рихтер понял, что русский ему не поверил, откланялся и ушел.

А Гильда то и дело заходила в комнату Васи — принесла пепельницу, проверила затемнение. Она глядела на русского нежно и лукаво, надеялась, что он ее поймет и без слов. Но Вася был вежлив и безразличен. Что ж это такое? Он меня просто не замечает... Неужели я так подурнела? Она долго вертелась перед зеркалом, подмазалась, надела зеленое платьице, которое ей особенно шло, и постучалась к Васе. Он сидел, как будто ее нет в комнате. Она убежала

к себе и расплакалась. Курт прав — это ужасные люди!.. Даже не поглядел на меня... Она проходила грустная весь следующий день. Только поздно вечером Рихтер увидел ее веселой, возбужденной. Она сказала мужу:

— Ты знаешь, ординарец очень симпатичный. Он немного говорит по-немецки...

Рихтер сразу понял, что скрывается за ее словами. Он обругал ее нехотя — для приличия. В ужасе он подумал: я даже рад, что она подружилась с русским солдатом... Что со мной стало? Ревновать и то не могу...

Несколько дней спустя Вася вернулся домой в приподнятом состоянии. Рихтер с ним столкнулся в передней, и Вася ему улыбнулся. Рихтер расцвел. Капитан сегодня веселый, нужно с ним поговорить... Он посмотрел в щелку — Вася писал. Рихтер сказал Гильде: «Тише, он работает...»

Увидав, что русский стоит у раскрытого окна, Рихтер постучался.

— Вы забыли про затемнение, господин капитан.

Вася оторвался от вечерней прохлады — день был уже по-летнему знойным.

— Кончено затемнение. Не понимаете? Война кончена. Ваши сегодня подписали безоговорочную капитуляцию.

Ничего не изменилось в лице Рихтера, он так же улыбался — почтительно и уныло. Помолчав, он сказал:

— Я вас поздравляю, господин капитан.

Васе стало не по себе: побили их, а он меня поздравляет...

— Садитесь,— сказал Вася.— Курить хотите? Ну, вот и кончено... Теперь сможете работать. Строить... Достаточно здесь развалин...

— Ваши города тоже очень пострадали. Я видел Смоленск, Минск... (Рихтер побледнел — выдал себя!) Я видел это в кино...

Вася усмехнулся:

— Неважно где, важно, что видели, знаете, как ваши поступали.

— Это ужасная вещь — война. Я не из «гитлерюгенд», я был воспитан в другом духе, я помню роман Ремарка, постановки Пискатора, речи Тельмана. Мы

мечтали о мире. Я хорошо знал полковника Габлера — я построил для него дом. Он был замешан в заговоре, наци его расстреляли. Я только недавно узнал, что заговорщики уже год назад требовали мира... Да что вам говорить, господин капитан, когда немецкие солдаты были на Кавказе, я не радовался, я знал, что это плохо кончится. Война это хаос, никто ничего не понимает.

— Напрасно вы так думаете. Я три года был в партизанском отряде, ваши называли нас «бандитами». Сорок второй. Ваши на Кавказе. Мы в лесу, за нами гонится ваш полицейский полк... Вы думаете, что я сомневался? Ничего подобного. Я и тогда твердо знал, что приду в Берлин. Конечно, меня могли убить, но пришел бы другой, и сел бы в это кресло...

Рихтер еще раз почтительно улыбнулся, пожелал Васе спокойной ночи и ушел к себе. Никогда не сказал бы, что этот капитан был бандитом, вежливый, хорошо воспитан. Конечно, сегодня он наговорил много бестактностей, но трудно что-либо возразить — наци действительно обанкротились... Почему я не сказал ему, что сражался в России? Ведь теперь мир... Есть что-то унизительное в моем поведении, я такой же архитектор, как он, а держусь приниженно, не сел, хотя он сказал «садитесь»... Во что я превратился?.. Он говорит, что я буду строить. Что строить? И для кого? Люди со вкусом разорились или удрали. Придется перебиваться — латать дома, латать жизнь. Неинтересно...

Прибежала Гильда:

— Курт, подписали!.. Госпожа Мюллер мне только что рассказала...

Она с восторгом сорвала штору из черной бумаги. Рихтер ответил:

— Я знаю, мне рассказал русский...

— Почему же ты мне не сказал?..

— Неинтересно.

— Курт, ты сошел с ума! Как неинтересно? Кончилась война, это самое главное. Почти шесть лет мы мучились...

— Положим, ты не мучилась, а развлекалась. Мучения для нас только начинаются...

— Мне все равно, если не будет чулок или сахара. Я хочу спокойствия. Ты меня уверял когда-то, что мы —

буря. Это — пропаганда. Как у Геббельса... Я не хочу быть бурей, я хочу быть обыкновенной женщиной.

Она ушла на кухню, которая сделалась ее любимым местом. А Рихтер сидел, закрыв лицо рукой. Гильда права — насчет бури было глупо... Мы только исполняли роль бури, а когда буря налетела, мы не выдержали. Что же дальше? Вместо города развалины. Да и я развалина. Будут расчищать — свезут прочь... Неинтересно...

Когда Рихтер ушел, Вася вернулся к окну. Какой этот немец паршивый! Слизь... Наверно, порезвился у нас и скис... Лучше о нем не думать — слишком хороший вечер... Вася пошел в столовую. Он вспоминал Налибокскую пущу, язык деревьев, любовь Аванесяна, Сережу, который погиб за тридевять земель на чужой и родной земле. Столько было в Васе чувств — и грусти, и восторга, и гордости,— что никогда не смог бы он их выразить словами; только блестели среди ночи, темной и теплой, его синие глаза, которые часто снились Наташе.

В столовой ждала его вторая негаданная радость: полковник Никитин ему сказал:

— Завтра полетите со мной в Москву.

Вася улыбнулся и оторвался от окружающих — он уже летел к Наташе.

28

Минаев и Оля шли по длинной аллее сада. Персидская сирень изнемогала от избытка счастья. Минаев держал Олю за руку. Скоро два года, как они поженились, а они походили на влюбленных, которые только что признались друг другу в своих чувствах. Эти два года были шумными и трудными, слова любви умирали прежде, чем их можно было выговорить. Еще неделю назад Ольга сидела в подвале полуразрушенного берлинского дома и повторяла: «Я — сорока, дай Оку». Теперь это кончилось...

— Теперь ты — Оля. Да, да, не спорь. Ты была розой и розеткой, луной, Полтавой, липой, иголкой, Двиной, ласточкой. «Роза» вызывала на курганчике «серну». А роз

там не было — только сухая трава и мины. Ты была «зарей», ты вызвала Чегодаева, а его убил снаряд, а ты сказала: «Чегодаев передает, что у него все в порядке, то есть Чегодаева убили, а передает капитан Бабушкин». Ты была на Потсдамерплатц «сорокой», и Терешкович смеялся: «А ведь правда, трещит, как сорока». Это было за час до того, как он выбежал на улицу. Говорят, что Кейтель вчера не знал, куда ему положить свой жезл, пока он подписывал, а один американский фотограф мечтал выменять этот жезл на сигареты. Фрицы кончились, Оля. Ты понимаешь, что это значит? Ты не сорока и не Двина. Если я теперь назову тебя ласточкой, то уж никак не по телефону, а только на ухо, чтобы никто не слышал. Потому что война кончилась, и ты теперь не розетка, а Оля, моя Оля!..

Он упивался звучанием ее имени, как будто впервые его произносил.

— Когда я тебя увидала в первый раз, я испугалась. Это было пятого августа возле Клетской. Порвалась связь. А ты вызывал полковника. Ты, наверно, очень рассердился, сказал: «А вы вообще умеете разговаривать по телефону? Может быть, вы думаете, что это не телефон, а стиральная машина?» Ну, почему ты тогда сказал «стиральная машина» и еще улыбнулся? Если бы ты выругался, я не обиделась бы, я уже знала, что на войне все ругаются. А когда я услышала «стиральная машина», я чуть не расплакалась..

— А я тогда подумал — милая девушка...

— Милая и вдруг стиральная машина!.. Митя, ты знаешь, я уже тогда поняла, что не могу спокойно на тебя глядеть... Когда мы наступали, помнишь, в конце февраля — неудачное наступление на Орел, ты пришел замерзший, пил кипяток. Я хотела за тобой поухаживать, а ты мне сказал: «Осторожно. У меня жена ревнивая».

— Это потому, что мне очень хотелось взять твою руку... А ты поверила?

— Я поверила, что ты решил меня задразнить, ведь ты мне до этого несколько раз говорил, что не женат.

— Я не решался сказать. Только в Чернигове...

— Почему там?

— Река была, каштаны... Погляди, какая сирень!..
— Она уж доцветает. Помнишь, возле Думиничей — перед Орлом — я наломала букет и принесла тебе?
— Там сильно бомбили. Ранили Бабаджана... А из тех, кто был на курганчике, почти никого не осталось. Жалко, что Осип не с нами.
— Где он?
— Они пошли южнее — на Потсдам. Ты знаешь, Оля, он хороший человек, только не умеет сказать то, что чувствует. Как я... Впрочем, кто умеет? Разве что поэты, а они, наверно, ничего не чувствуют. Я, когда не умею, дурачусь, а Осип скрипит...
— Митя, ты думал на том кургане, что ты выживешь?
— Думал, что не выживу, а казалось мне, что обязательно выживу. По-моему, всем так казалось: убивают, а я выживу... Терешкович недавно звал в Ярославль. Помнишь?..
— Да... Таня и Маечка...
— На курганчике был Зарубин. Помнишь «мистера»? Он так медленно говорил, что можно было уснуть между двумя словами. А погиб, когда контратаковали, побежал впереди всех. Магарадзе танцовал... Бродский рассказывал, как он сидел в обсерватории — глядел на звезды. А ты тогда, наверно, кричала: «Луна, я Венера»... Он взорвался на мине. А Лину помнишь — какая она была маленькая и тащила Шаповалова... Никогда я их не забуду. Ты мне говорила, что я тебя брошу. А мы никогда не сможем друг друга бросить — мы вместе были на курганчике...
— Ты мне сказал прошлым летом — до Орши, что хочешь на Амур, помнишь? Я спросила — почему? Ты сказал: «Там тигры». Я думала, что ты про танки...
— Нет, про живых — с пятнами. Мы поедем туда и поедем на Кавказ — нельзя только по Лермонтову, хочется самому взобраться. Мы будем много ездить, много работать, много смеяться, много любить. Хорошо?..
Он подозвал собачонку: она все та же, плетется возле его ног; только год назад Минаев ее переименовал, сказал: «Отныне «доктор Геббельс» будет называться Гепка — я уважаю его седины, нельзя оскорблять честного

и доброго пса». Гепка действительно поседел, стал тише, неохотно показывает фокусы.

— Гепка, ты рад, что попал к себе на родину? Отрекаешься?.. А я рад, что я на твоей родине, рад, что приехал, и еще больше обрадуюсь, когда уеду. Гепка, тебе предстоит увидеть Москву. Одно условие — не облаивать ни милиционеров, ни мамулю. Слушай, Оля, мы приедем, наверно, в июне или в июле, будет очень жарко. Ты конечно, первым делом потребуешь мороженого. Мы приедем с Белорусского. Потом — улица Горького. Дом, тот самый, что у Пушкина — симпатичные львы. Потом башенка с Лепешинской. Направо Пушкин. На бульваре дети верещат, а мамаши сонные от жары... Потом по Метростроевской. Откровенно говоря нужно бы раньше свернуть — по Садовым, но мы должны с тобой представиться Пушкину. Я именно возле памятника Пушкину мечтал: «Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мирры и вина». Мне тогда было тринадцать лет, и чтобы поцеловать кого-нибудь... это я презирал, не иначе как лобзания... А потом живо к мамуле. Ты увидишь, какая у меня мамуля!..

Лицо Оли выражало глубокое и радостное изумление миром. (Именно это изумление люди, плохо ее знавшие, принимали за испуг.) Вот она идет навстречу миру с Митей...

Они еще долго ходили по золотым дорожкам среди сирени. Они больше не разговаривали — слова казались ненужными, так сходны были их мысли и чувства. Только когда они возвращались к дому, где их ждал лейтенант Корушкин, Минаев остановился и на ухо сказал Оле:

— Я забыл тебе сказать... Мы победили — это абсолютно точно.

29

Галочка лежала на земле и ждала, когда придет эсэсовец Пауль. Она больше не может работать, значит сейчас придет Пауль с огромной овчаркой и собака кинется на Галочку. Так убили Веру, француженку Клод, венгерскую еврейку Мирру. Эсэсовец долго не приходил.

Галочка забылась. Когда она опомнилась, было много машин. Зина кричала: «Американцы!» Галочку подняли, отнесли в лазарет. Она пролежала три дня, думала: неужели не увижу наших? Когда она вышла на свежий воздух, у нее кружилась голова, и она рукой держалась за стенку. На машине был флаг Красного Креста. Веселый американец фотографировал девушек и кричал: «Карашау! Карашау!» Зина сказала: «Это правда, что хорошо...» Подбежал водитель-негр, очень черный, с яркими зубами, он дал Галочке плитку шоколада и ткнул себе рукой в грудь — это от сердца. Был ветреный день, шел дождь, потом прояснилось... А когда Галочка увидела первого красноармейца, снова шел косой дождь, на солнце сверкали тонкие серебряные нити. Галочка обняла красноармейца и заплакала. Это был высокий немолодой солдат с седой щетиной на давно не бритых щеках. Он смутился и вдруг крикнул:

— Да это наши девчата!..

— Что случилось? — спрашивает Галочка.

Ей отвечают:

— Немцы сдались... Победа...

И солдаты ее спрашивают:

— Девушка, ты откуда?

У Галочки нет сил, но она говорит, она не может молчать.

— Я из штрафного лагеря. Нет, я из Киева. Я жила на бульваре Шевченко. Нас вывезли очень давно — до Сталинграда. Мы работали на заводе. Там была злая немка Христина. Она била по лицу. Там были французы. Пьер верил, что Красная Армия победит. Он рассказал нам, что освободили Киев. Он умер. Я, наверно, стала старухой, я была молодая... Меня послали в штрафной лагерь. Там были девушки из всех стран, много наших советских. Я разучилась там говорить... Вы знаете, как мы говорили? «Я не поднялась на аппель, и полицайка меня избила». «Ауфицеринка выколола у Янины глаз». «Штубовая донесла, что Надя не может работать, и ее сгазировали». Когда не могли больше работать, Пауль звал собаку, она загрызала, или тащили в фургон с газом, мы говорили «газировали». У Нади был жених — танкист, его зовут Егор Никитенко, если кто-нибудь его встретит, скажите,

что когда Надю тащили к фургону, она вспоминала родину и Егора. Мне было легче — у меня никого нет, был дядя Лёня, его убили немцы... Товарищи дорогие!.. Не могу я говорить и замолчать не могу... Ведь вы — первые... Мы знали, что вы близко, пришла ауфицеринка, сказала: «Не радуйтесь, мы вас всех перебьем». Француженка Колет говорила, что советские возле Берлина, не знаю, кто ей рассказал, но Пауль пришел бешеный и выпустил собаку на Машу Удальцову. Машу привезли из Крыма, она хорошо пела. Нельзя было петь, а она пела про моряков:

Одиннадцать месяцев, взяты в кольцо,
Боролись с тобою, как львы, мы,
Но пал Севастополь, и наше лицо
Приняли морские глубины...

У нас была парторганизация. Мы работали с француженками, с чешками. В Октябрьскую годовщину присягали, что останемся верными. Тогда сгазировали Шуру Виноградову. А Зина подожгла лесопилку... Товарищи, неужели я вас вижу? Откуда вы?

— Я из Киева, — ответил один красноармеец, — на Печерске жил...

— Из Киева?.. На Печерске?.. Какое счастье!..

Она сидела на траве, бледная и такая измученная, что люди отворачивались, вздыхали, сжимали кулаки: до чего довели девушку! А глаза Галочки блестели, они были туманными и в то же время яркими, они скользили, по пушистым розовым облакам, по лужайке, заросшей одуванчиками, по лицам солдат. И вдруг Галочка засмеялась.

— Чего смеешься, девушка? — спросил пожилой солдат, которого Галочка поцеловала, когда вышла из машины.

— Не знаю... Я очень давно не смеялась, забыла даже, как смеются... А в Киеве я часто смеялась ни с того, ни с сего. Служила в Главхлопроме, ходила в театр, разговаривала с Раей или с Валей и вдруг начинала смеяться. А когда спрашивали, почему, не знала, что ответить... Вы говорите, что немцы сдались? Ну, вот видите... А вы из Киева, жили на Печерске... Я там часто бывала, там жил дядя Лёня... Они нас очень мучили, хотели, чтобы мы им

кланялись. А я им не кланялась, я всегда помнила, что я — советская. Я могу теперь смеяться... Я вам сказала, что меня зовут Галина, Галочка. А в Киеве меня прозвали хохотушей... Вот и воскресла хохотуша, милые вы мои товарищи...

Ее повезли в санбат. Она сидела в открытой машине, очень бледная, и улыбалась; потом она оглянулась назад — хотела еще раз проститься с солдатами, и ее лицо закат залил румянцем, а ветер приподымал русые волосы.

30

Американцы должны были приехать восьмого мая в полдень: устанавливали пункты для приема освобожденных граждан различных стран. Осип решил угостить гостей. Домик прибрали, поставили на стол огромный букет. Повар, багровый от жары и рвения, в сотый раз спрашивал: «А что, поросенка они кушают?..»

Майор Смидл был высоким, смуглым, с легкой проседью. Он не знал, как разговаривать с красными, и вежливо улыбался. Капитан Маккорн, напротив, держал себя непринужденно, громко смеялся, размахивал руками, высоко закидывал ногу на ногу и повторял: «Я люблю все русское».

Американцы приехали с переводчиком, который сказал Осипу:

— Мой папа родился в Вильне, он уехал из России еще при царях. Его фамилия Гирштейн, по-американски это Гайрстон. Когда я перевожу, это десятая вода на киселе...

Сержант Гайрстон прибеднялся: он понимал все и добросовестно переводил; его губила только страсть к образным оборотам; он говорил «слово не курица», «ни к улице, ни к городу», «Эйзенхауэр большой туз стратегии, но и Паттон не кушает из лаптя».

Повар напрасно волновался: гости хорошо ели, еще лучше они пили. Ординарец потом рассказывал: «Налили водку в большие стаканы, сидят и прихлебывают, смотрю — снова стаканы полные, я уж убрал все со стола, принес чай, а они еще тянут — как сироп, глядеть и то страшно...»

Маккорн спросил Осипа, как в Москве празднуют победу. Осип ответил, что праздновать, наверно, будут завтра, после того, как подпишут все в Берлине. Маккорн засмеялся:

— А в Америке уже празднуют. Мы, американцы, всегда торопимся.

Осип вспомнил лето сорок второго, степь, мечты Минаева. Тогда они не торопились...

Маккорн покраснел от водки; он вопил:

— Англичане это улитки, пока они выползут из своей скорлупы, можно сто раз уснуть. А мы не любим терять время. Мы — молодой народ, как вы. Скажите, господин майор, откуда у вас столько орденов? Вы, наверно, кадровый офицер?

— Нет, до войны я был экономистом-плановиком.

— Браво! Это превосходная профессия. С такой профессией, если только иметь голову, в Америке можно зарабатывать двадцать тысяч долларов. Сколько долларов зарабатывает средний плановик в России?

— Право, не знаю, как вам ответить, — не знаю, сколько стоит доллар, да и система оплаты у нас другая...

— Ну, ничего, вы еще станете на ноги, у вас тоже будут доллары. Вы ведь очень большая страна. Как Америка. Мы вам помогали во время войны, я думаю, что мы будем вам помогать и потом. Мы хотим, чтобы повсюду был порядок. Надоело — каждые двадцать пять лет нам приходится сначала освобождать Европу, а потом ее кормить. Я люблю все русское. Мне нравится, как вы воевали. Мне нравится, как вы танцуете — на корточках, я видел в одном кабаре. И водка мне нравится. Я знаю, что у вас совсем особый режим. Американцы не могли бы так жить. Но в общем это ваше дело... У вас, например, только одна политическая партия, пожалуй это бедно для такого большого государства. Мы проторчали в Англии полгода, у них там три партии: одна более передовая, другая более осторожная, а зачем им третья, я не знаю, но это их дело. В Америке две партии и обе передовые — демократы стоят за республику, а республиканцы за демократию. Вы скажете, что они похожи

одна на другую, зато у нас есть выбор. Майор курит сигареты «Честерфильд», а я предпочитаю «Кемел», говорят, что в темноте нельзя отличить — тот же вкус, но мне нравится, что я могу выбирать, и я курю только «Кемел»... Некоторые офицеры считают, что мы поссоримся с русскими, потому что русские — коммунисты. Я рад, что побывал у вас, я вернусь и расскажу, что русские коммунисты это совсем другое, чем американские коммунисты. Вы, наверно, тоже коммунист? Ну вот видите... А вы майор. Скоро вы снова будете экономистом-плановиком. Значит, вы такой же человек, как я. А в Америке коммунист это или сумасшедший, или разбойник. Возьмите меня, я начал с десяти центов, а теперь у меня приличная мастерская непромокаемых пальто. Я нашел смесь, которая не пропускает дождя и в то же время позволяет телу свободно дышать. Это идея на сто тысяч долларов. Если коммунисты у меня отберут мастерскую, это будет разбой — я ее нажил честным трудом...

Сержант едва успевал переводить, он покрылся потом. А когда капитан на минуту замолк, переводчик от себя добавил:

— Не стоит слушать все, что он говорит. Он много пьет, и у него плохо подвесили язык.

Маккорн не мог сидеть на месте, он вскакивал, размахивал руками. Сокрушенно улыбнувшись, майор Смидл сказал Осипу:

— Не удивляйтесь словам капитана Маккорна, он типичный северянин. А я с Юга. Хорошо будет, если вы к нам приедете, это красивый край. У нас еще сохранился патриархальный быт, мы любим помечтать, умеем принимать гостей. Конечно, дух севера проникает и к нам — строят заводы, начинается лихорадка, разговоры о долларе. Но все-таки Нью-Орлеан это не Нью-Йорк — у нас больше задушевности. Я думаю, что мы можем легче понять русских, чем северяне. Я знаю, что у вас был большой писатель Толстой. Я видел в кино картину по его роману, там была удивительно поэтичная сцена — преступник мчался за город в ночной бар на тройке. Потом они сняли с лошади колокольчик и пили из него водку.

— Жаль, что у меня колокольчика нет, — сказал Осип, — разрешите, я вам налью в обыкновенный стакан.

Майор поблагодарил и выпил в шестой или в седьмой раз за победу. А Маккорн пил без приглашения. Он говорил, не умолкая:

— Пожалуйста, господин майор, распишитесь на этом долларе. У меня будет исторический доллар — встреча на Эльбе в день победы. Вы замечательно воевали! Когда мы читали про Сталинград, мы все говорили, что это рекорд сопротивления. У меня есть кузен, он адвокат и ненавидит русских за то, что они красные, но даже он говорил «абсолютный рекорд героизма». У нас тогда собирали в пользу русских очень много долларов. Мне особенно приятно, что я в такой день встретился с вами, я расскажу об этом жене и всем знакомым. Вы можете мне поверить: Джим Маккорн не дипломат, он прямой человек, и если он говорит, что любит русских, значит он их действительно любит. В общем мне все равно, что у вас какой-то особенный строй. Для меня вы не коммунист, а хороший солдат. Наверно, вы хороший плановик. Это есть и в Америке, это прекрасная профессия. Разве я спрашиваю клиента, какие у него идеи? Я продаю и католику и коммунисту, я продаю даже негру. Майор южанин, у них много предрассудков, мы на севере куда шире. Конечно, я не стану якшаться с черными, но мне все равно, кому я продаю — белому или черному. Без обмена продукцией нет прогресса, а мы самая передовая страна на свете. У нас некоторые офицеры говорят, что вы даете доллары американским коммунистам. Я в это не верю. Вы деловые люди, и вы, наверно, хотите получить доллары. А тогда вам все равно, кто вам даст эти доллары — демократы или республиканцы. Коммунисты вам ничего не могут дать, потому что они голодранцы. Я хочу вам задать один вопрос... Я говорю с вами откровенно, по-солдатски. Я глядел на карту, у вас огромная страна, если мы вам дадим доллары, вы построите много новых городов. Я не понимаю, господин майор, зачем вам чужие города?..

— Какие города?.. Вы не понимаете, зачем мы взяли Берлин?..

— Нет. Берлин это замечательно. Я уже пил за Берлин, но я выпью сейчас еще... Я говорю про другие города.

Я читал, что вы забрали Ригу и Белград без нашего согласия...

Осипу очень хотелось выпроводить развязного гостя, но он сдержался:

— Вы, очевидно, не знаете того, о чем говорите. Рига — советский город. А Белград — столица Югославии, мы только помогли ее освободить...

Переводчик потерял терпение. Он сказал Осипу:

— Не обращайте внимания на капитана, он выпил, и потом это неумный человек, он читает дурацкие газеты и верит тому, что написано. Как говорится — такого дурака может улучшить только гроб.

Осип устал от крика, смеха, от той неприязни, которая чувствовалась и в тирадах болтливого капитана и в настороженном молчании майора. Они вернулись к вопросу о репатриации. Майор Смидл сказал:

— У нас среди водителей много цветных. Надеюсь, что ваших солдат это не обидит.

Осип удивился:

— А почему это может обидеть?..

— Наши солдаты ни за что не останутся вместе с цветными... Вам трудно это понять — в вашей стране живут люди одной расы.

— В нашей стране живут люди разных рас, но вы правы — нам трудно это понять.

Тон русского показался майору Смидлу оскорбительным. Все знают, что у русских нет свободы. Я был вежлив, не сказал ему, что думаю об его стране. Я только осторожно упомянул, что американцы иначе относятся к польской проблеме... Почему же этот красный не хочет понять, что американцам грозит опасность, если они не сумеют оградить себя от общения с цветными?.. И майор Смидл сказал:

— У вас есть дочь, господин майор?

— Была...

Смидл вздохнул, желая выразить соболезнование, но не отказался от того вопроса, который ему приходилось часто ставить в Европе:

— Если бы вы сохранили дочь, господин майор, согласились бы вы, чтобы она вышла замуж за человека низшей расы?

— Господин майор, мою дочь убили люди, которые рассуждали, как вы...

Гости, наконец, ушли. Сержант Гайрстон сказал на прощание Осипу:

— Майор тоже глупый человек, не знаю, кто хуже, наверно оба. Папа уехал из России еще при царях, но он мне рассказывал: «Когда я увидел небоскребы, я подумал, что в Вильно маленькие дома, но люди там с большим сердцем...» Не сердитесь на меня, господин майор, за то, что я должен был переводить все их глупости — я ведь только сержант. Но я сейчас очень горжусь, что мой папа родился в Вильно...

Вечером к Осипу приехали старые боевые друзья: Леонидзе, Полищук, Чалый, Шариков... Праздновали победу. Повар радовался: не только для американцев старался, пусть наши покушают...

— Интересно, когда Москва объявит? Сегодня вечером или завтра?..

— Нужно все время слушать...

— Наверно, Сталин выступит...

Леонидзе спросил:

— Как американцы?.. Договорились?..

Осипу не хотелось говорить о тяжелой встрече: зачем портить праздник? Расскажет потом... И он ответил:

— Договорились.

Весь день он думал о разговоре с американцами. Конечно, они чужие, никто иначе не представлял себе... Но я думал, что они умнее, думал — война их чему-то научила... А опять все то же... Майор сказал, что «немцы хорошие организаторы». Ясно, что именно ему понравилось в Германии. Чем он отличается от немецких фашистов?.. А капитан выболтал все, что они пишут: клевета, ложь, злоба... Один рабовладелец, другой торгаш. Переводчик прав: «оба хуже»... Обидно, что именно сегодня судьба поднесла мне такой подарок...

Полищук, выпив за полк, сказал:

— Главное, что теперь все кончилось. Поеду к себе в Нежин. Достаточно я фрицев учил — железом. На Украине наши хлопчики ждут, детей учить надо...

Шариков с упоением говорил про свой завод: получил письмо — зовут, новые цехи строят. Леонидзе волновался: смогу ли нагнать пропущенное, как-то странно сесть после всего за учебу, а хочется учиться... Чалый носился с литературными планами: он обязательно напишет книгу в двадцать печатных листов. Говорили о родных, Полищук рассказывал: «Шалун у меня Костя невозможный...» Леонидзе вспоминал мать, домик у подножья горы, виноградники...

На минуту перед глазами Осипа встал белый песок Бабьего Яра. Он поднялся, сказал, что идет за папиросами, остановился в соседней комнате у окна. Ничего не было видно — ни звезд, ни огней. Перед Осипом стояла Рая, бились большие ресницы, она шептала: «Не понимаешь, как люблю, ничего не понимаешь...»

Товарищи знали горе Осипа. За три года они его поняли и полюбили. Леонидзе ему сказал:

— Приедешь ко мне, райское место, таким вином угощу...

— В Нежине вина нет, разве что огурцы, — засмеялся Полищук, — но ты обязательно приезжай. От Киева близко... Поговорим, будет что вспомнить. Ты что делать собираешься, когда демобилизуют? В Киев?..

Осип нехотя ответил:

— Не знаю... Что скажут.

— Ну, а если скажут — выбирай?

— Останусь в армии.

Осип нахмурился: подумают — нет у него ни семьи, ни дома, вот и зацепился... А это не так. Работать я всюду смогу. В Киеве. На Печоре. И дом мой повсюду — я его отвоевал... Полищук говорит: «Хорошо, что все кончилось». Не знаю... Я вот послушал этих двоих, и стало смутно. Конечно, мы хотим, чтобы все кончилось. Но могут отыскаться люди, которые захотят начать с начала...

Леонидзе сказал:

— Хорошо, если в армии останешься. Прекрасный командир ты, дай я тебя обниму...

Они вышли на веранду. Был тихий сельский вечер. Где-то вдалеке лаяла собака. Они наслаждались непривычной тишиной. Осип сказал:

— Какое счастье, что победили! Ведь сегодня в первый раз там уснут спокойно, не будут волноваться, что с мужем, с сыном, с отцом. Значит, не зря прошли от Волги до Эльбы — вернули людям покой...

31

Дюма освободили одиннадцатого апреля. Среди американских офицеров оказался доцент Гарвардского университета, который знал имя французского ученого, и старого профессора отправили на самолете в Париж. Он был очень слаб, не мог ходить, с трудом разговаривал. Доктор Морило, осмотрев его, сказал: «Настоящее чудо! Я не понимаю, как он выжил...»

Дюма лежал у себя. Мари стряпала, приносила ландыши, бегала в церковь — ставила свечи за профессора. Он медленно возвращался к жизни. О пережитом он не рассказывал, говорил: «Предпочитаю не вспоминать...» Только один раз он сказал Морило: «Пока на фронтах шла большая война, шла и у меня маленькая... Там был один эсэсовец, его звали Губерт. Конечно, ему ничего не стоило меня замучить, сжечь в крематории, но ему этого было мало — он хотел, чтобы я перед ним унизился — донес на кого-нибудь или попросил о поблажке...» — «И как это кончилось?»—спросил Морило. Дюма ответил: «Вы же видите... Он проиграл».

За последние дни состояние профессора заметно улучшилось. Он читал газеты, шутил с Мари. Восьмого мая утром пришел Морило с последними новостями:

— В Реймсе состоялась генеральная репетиция. Сегодня в Берлине представление-гала...

Дюма улыбнулся:

— Хорошо, что дожил... Я говорил одному дураку, он сюда приходил, антрополог, города брал... Я ему еще тогда сказал, как это кончится...

Дюма набил табачной трухой черную полусожженную трубку. Морило покачал головой:

— Лучше вам не курить...

— Бросьте! Если я выдержал дым крематория... Расскажите лучше, как здесь, в Париже? Ведь мы с вами еще ни о чем не поговорили...

— Как здесь? Паршиво. В августе, когда выгнали немцев, было замечательно, даже я поддался общему настроению. Люди верили, что все изменится. На то они люди... Потом пришла зима. Отвратительная... Я говорю не только о том, что было голодно и холодно. Все поняли, что ничего не изменилось и не изменится...

В раскрытое окно доходил с улицы радостный рокот толпы. Морило продолжал:

— Конечно, сегодня они веселятся — праздник. Но теперь каждый понимает — это не та победа, о которой мечтали. Не мы себя освободили, пришли освободители. Говорят, что угольщик у себя дома хозяин, а у нас нет угля, и мы даже не угольщики — хозяйничают у нас чужие... Мы теперь выглядим, примерно как Италия после той войны. Или, если хотите более возвышенно, как царь Давид в старости, когда его водили под руки... Американцы говорят де Голлю: «Ну-ка, генерал, убавьте росту, не то мы возьмем Блюма», а Блюму они говорят: «Учитесь, молодой человек, в люди выйдете...»

Морило громко засмеялся.

— А как народ? — спросил Дюма.

— В своей обычной роли — спящая красавица, которую целуют не для того, чтобы она проснулась, а для того, чтобы она уснула лет на сто. Постреляли, покричали, потом на них цыкнули «хватит». Даже не проветрили как следует — воняет предателями. Если судят, так стрелочников. Впрочем, некоторым промышленникам, которые нажили с немцами десятки миллионов, вынесли нечто вроде порицания, миллионы им, конечно, оставили. Сейчас сажают партизан — за «незаконные аресты». Я видал афишу — Пино выступает как представитель сопротивления: новая Жанна д'Арк. У Лансье можно увидеть самое пестрое общество: американцы, Пино, Гарси, какие-то католики... Кстати, Лансье тоже стал богомольцем, честное слово! Всю жизнь кричал, что его тошнит от ладана, а теперь ходит в церковь и неделю назад преподнес мне, что его абсолютно устраивает догмат непорочного зачатия. Я подумал, что он боится за свою печенку, но он обиделся — оказывается, «только церковь может спасти Францию от коммунизма». Они вытащили все: трехсаженного генерала, доллары, кадильницы, даже большевиков, которые

обрубили всем французам пальцы в погоне за кольцами. Оказывается, немцев победили не русские, а лурдская богоматерь и американское сгущенное молоко. Словом, трагедия закончена, можно перейти к текущим помоям... Я надеюсь вас скоро поставить на ноги. Только никаких волнений...

Дюма улыбнулся:

— Мне нужно прожить еще два-три года — хочу закончить работу. Теперь очень важно развеять их вздор о расовых особенностях. Они ведь заразили весь мир своими суевериями. А волнения будут, ничего не поделаешь — время такое... Я вас сейчас удивлю — вчера я отправил заявление: прошу принять меня в коммунистическую партию. Одобряете?

— Нет, не одобряю. И по соображениям вашего здоровья и по моим представлениям о человеческой свободе. Рене тоже коммунист, мы с ним спорим чуть ли не каждый вечер. Я согласен — сейчас коммунисты приятнее других, хотя бы потому, что они не у власти. Я ничего не имею против того, чтобы у Пино отобрали миллионы. Но люди останутся людьми, вы устраните одну несправедливость, появится другая. Вы сами не раз говорили, что от коммунистов вас отталкивает их сектантство...

— Для меня эти годы не прошли даром. Я там не только воевал с эсэсовцем, я думал... Мне и теперь не все нравится в коммунистах, но какое значение имеют эти детали? Речь идет о судьбе культуры. А вы мне говорите: хорошо, но у человека, который ее спасет, на щеке бородавка. Самба жалуется: они предпочитают Сезанну цветные открытки. А мне сейчас не до бородавок, даже не до живописи. Я был в Бухенвальде, доктор... Я думаю о самом главном. Вы понимаете, почему русские выиграли? Ведь вы не станете отрицать, что войну выиграли именно русские? По сравнению со Сталинградом вся Африка это маленькая диверсия, а высадились они только после того, как русские доконали немцев. Почему же русские выиграли? У них не просто государство, у них государство плюс идея. Я просидел в этом проклятом лагере два с половиной года, там были разные люди. Я видел стойких католиков, роялистов, кого хотите. А вот коммунисты держались лучше всех. Почему? Да потому же — у них не

просто сильный характер, у них сильный характер плюс идея. Вы критикуете все и всех, это самое легкое, это у нас в крови. Скептицизм когда-то был стимулом, он давно стал снотворным...

Под окнами пели «Марсельезу», «Интернационал». Дюма подтянул припев:

С Интернационалом
Воспрянет род людской...

— Слушайте, Морило, нам придется пережить трудное время. Немцы кричали, что они «народ господ», выше всех. В ответ каждый народ стал превозносить себя, это естественно — закон самозащиты. Но отсюда недалеко до национализма, до тупости, до слепоты. Кто сможет этому противостоять? Да только коммунисты. В лагере были французы, русские, поляки, чехи, немцы, и коммунисты нашли там общий язык... Вот вам еще одна причина, почему я стал коммунистом: я люблю Францию, о чем тут говорить, но я люблю также человечество...

Морило не стал спорить: хватит с него Рене. Вот и Дюма зацепился. Одни идут в церковь, другие к коммунистам, все меньше и меньше людей, которые предпочитают горькую истину... И Морило сказал:

— Я вас прошу об одном — ограждайте себя от лишних волнений. Вы слишком много пережили. Главное, это сердце...

Дюма улыбнулся:

— Когда речь идет о медицине, вы понимаете, что существует нечто главное, не спрашивайте — зачем я буду лечить сердце Дюма, если завтра он может простудиться или испортить желудок... Знаете, Морило, и вы туда же придете. Только смотрите — не опоздайте, в каждом деле есть свой Сталинград и своя Нормандия...

Когда Морило ушел, Дюма долго глядел на солнечный зайчик, который прыгал по потолку. Потом он оделся. Мари всполошилась:

— Куда вы, господин Дюма? Доктор сказал, что вам нужно лежать.

— Доктор так должен говорить, для него сердце это мышца. А есть и другое сердце, оно докторов не интере-

сует... Как я буду лежать у себя, когда на улице праздник?..

Он вышел, опираясь на палку. Было солнечно и шумно. Непрекращающимся потоком шли люди, смеялись, пели, несли яркие флаги. Профессор медленно шагал по мостовой. Он улыбался Парижу, победе, жизни. Какая-то женщина сказала малышу: «Осторожно, Жано, ты толкаешь дедушку...» Дюма удивленно оглянулся — он как-то забыл, что он стар, это его назвали «дедушкой»... Он глядел на малыша, который размахивал маленьким бумажным флажком. Это был сын Пепе-Миле. Дюма не знал Мари, не слыхал о подвиге Пепе. Перед ним был веселый мальчуган с непокорным чубом, который держал красный флажок. И Дюма сказал ему:

— Ну, знаменосец, проходи вперед. А я за тобой. Так и пойдем вместе... Согласен?

32

Как всегда в толпе, Самба чувствовал себя счастливым; он любил людей и легко заражался их весельем. Весь день он ходил по улицам, пел и на сотни ладов повторял еще не привычное слово «победа». И как всегда, поднявшись к себе, среди холстов и духоты мастерской он стал суровым, даже мрачным. Он чувствовал: что-то кончилось. Завтра нужно жить по-другому. Нельзя больше оправдываться перед собой тем, что война. А долгий тяжелый день не хотел уходить, заселял сумерки еще близкими тенями.

Здесь прятался Лео, большой ребенок, которого гроза застала врасплох. Приходила Леонтина; они говорили друг с другом о счастье, и простые слова раздирали сердце. Самба не мог выдержать — отворачивался. В августе Леонтина договорила все: танк вспыхнул, а она упала возле дома. Жозет приходила в первую зиму, глядела на картины, говорила о Поле. Его расстреляли, она погибла где-то на юге. Вот этот портрет Самба писал перед самой войной и не кончил. Смуглая девушка в канареечном платье: вишневый рот чуть приоткрыт. Ее звали Марго. Гестаповцы ее спрашивали, где Бертран, она не

сказала. Ее убили... Неужели все это уйдет, как теплый весенний туман?..

О чем бы Самба ни думал, он всегда возвращался к искусству. Он и сейчас спорил, может быть, с эпохой, может быть, с собой. Конечно, найдутся охотники, которые намалюют Леонтину, сжигающую танк. Да и почему бы, когда делают мед из опилок, не быть суррогату искусства, сделанному из героической действительности и дурной живописи. Я не знаю, можно ли передать в обыкновенном пейзаже (дорога, деревья, ветер) тот август, когда я лежал с винтовкой на крыше?.. Может быть, нужен иной подход. Я не верю людям, которые говорят, что им безразличны события. Я верю Гойе. Он работал много лет хорошо и ничтожно, был светским портретистом английской школы. А потом над Испанией пронеслась буря. Только тогда он действительно родился. Ему было в ту пору пятьдесят пять лет. Он пережил войну, он написал расстрел повстанцев, сделал офорты, которые мне мерещились в годы оккупации. Я знал, как погибнет Леонтина, я был знаком с палачами Лео — их показал мне Гойя... Я не хочу быть драпировщиком в доме Пино и не хочу подавать партизан в духе батальных полотен Версаля — чем больше, чем роскошнее, тем лучше платят... Я хочу сказать о человеке языком живописи. Но как выразить правду, не изменив искусству?

В конце апреля к Самба пришла Мадо. Он глядел на нее и думал: люблю, еще сильнее, чем прежде, никогда не разлюблю и никогда не скажу ей о своем чувстве... Мадо смотрела пейзажи, говорила, что они ей нравятся. Потом ее глаза стали пустыми, она как будто спала с раскрытыми глазами. Может быть, она вспомнила, как встретилась здесь с Сергеем?.. Она сказала Самба печально, но спокойно: «Какими мы были детьми до войны»... И Самба подумал: вот и я повзрослел, я больше не думаю о счастье. Я хочу другого: выразить то, ради чего люди умирали, то, ради чего родилось на земле искусство.

Когда-то Самба казалось, что художник должен уметь видеть, потом он понял, что необходимо осмыслить зримый мир, а теперь он знал — и этого мало, главное — пережить в себе и на себе. Война сейчас ушла с полей, из лесов, она

стучится в мастерскую, она напоминает: ты это пережил, ты знал Марго, ты был при том, когда Лео прощался с Леонтиной... Люди на улице радуются, потому что кончилась война. А для художника она не кончилась — она в нем, он либо создаст нечто равное Гойе, либо задохнется.

Как просто было в августе: стреляй! Но есть обет, от которого нельзя отказаться. Думают, что искусство — это самое легкое: научился писать и пиши. А здесь мало и умных мыслей, и доброй воли, и мастерства. Здесь мало видеть и понимать. На этом нужно сгореть. Искусство не только смотрит назад, у него не только хорошая память, у него и предвидение...

Он стоял у окна. Ему казалось, что его обступают тени; зовут, требуют, обличают. А внизу люди все еще шли, кричали, пели. И вдруг донеслась до мастерской песенка, которую любили партизаны Лимузэна:

Другие встретят солнце
И будут петь и пить
И, может быть, не вспомнят,
Как нам хотелось жить...

Так вот чего они требуют — сказать, как хотелось жить людям, которые отдали свою жизнь, — Полю, Марго, сталинградцам, летчикам, партизанам... Но как это выразить? Самба жадно вглядывался в ночь, как будто хотел разглядеть то, чего не видно. Он долго простоял у окна. Давно замолк город. Наконец ночь дрогнула; все стало неточным, смутным, томило глаза и сердце. А потом на очень бледном небе обозначились черты Парижа: далекие башни, деревья, крыши, трубы. На черепицах лежал человек с ружьем. Он глядел мертвыми стеклянными глазами, а кровь казалась давно нарисованной — пожухла. Тогда Самба, не раздеваясь, лег и тотчас уснул в мастерской, полной яркого дневного света.

33

На одной из братских могил поставили памятник; сегодня, в день победы, его откроют. Мадо и Лежан идут по длинной улице. Старые каштаны. Тюрьма, здесь сидел в сороковом Лежан. А наискосок маленькое кафе; как-то

шел сильный дождь, сюда забежали Сергей и Мадо; Сергей рассказывал, как ехал на телеге по степи; и Мадо, закрыв глаза, старалась себе представить, что такое степь. В тюрьму приходила Жозет, на ней был темносиний костюм... Мадо и Лежан молчат; каждый вспоминает свое.

Потом Лежан говорит:

— Какой Париж теперь бедный!

— И грустный, — отвечает Мадо, — и милый...

Листья деревьев еще нежнозеленые — ведь только начало мая; в этом тоне есть нечто трогательное, доверчивое. А у встречных глаза темные, жесткие: люди все знают, ведь после августа была зима... Кругом Париж; его дома поседели, покрылись морщинами. Многие из этих домов помнят, как санкюлоты клялись отстоять братство; а потом пришли щеголи и франтихи Директории, «божественные» и «несравненные», стали сюсюкать, картавить; конюх превратился в маркиза с лорнеткой, торговец свиной щетиной оброс дворянскими гербами. Старые пепельные дома видели сорок восьмой, деревья свободы и генерала Кавеньяка, который залил кровью блузников узкие улицы предместий. Мартовский вечер Коммуны прошел по чердакам, по винтовым лестницам, залез в подвалы, разворотил мостовые; и среди нежной зелени мая, на валах фортификаций подростки пытались камнями отбить версальцев. Можно ли столько знать, столько помнить? И как дома не выболтали всего прошлым летом, когда снова вскипела душа Парижа и баррикады перерезали улицы? Сколько прошло с августа? Да всего восемь месяцев. А уже (без шума, без пушек) наследники Тьера прибрали Париж к рукам. Вчера Лежан слышал, как один добродетельный негоциант, с розеткой Почетного легиона, рассуждал: «Боши причинили нам много убытков. Одно полезное дело они сделали... Да и то не доделали — еще много осталось этих коммунистов...»

Лежан очень изменился за эти годы; пожалуй, его не узнал бы и тот памятливый официант, который чуть было не погубил Люка. Смерть Жозет Лежан пережил мучительно: конец его личной жизни совпал с концом подполья. Когда все ликовали, когда люди вспомнили о доме,

о своих близких, о прогулке, детских игрушках, ласковых словах, Лежан оказался одиноким. Порой он шел, задумавшись, по улице; из окон вырывались звуки рояля, и тогда ему казалось, что он идет домой, Жозет его ждет, он, кажется, опоздал... Он зашел недавно в мастерскую Самба, хотел взглянуть на портрет сына: Самба написал Поля давно, когда тот еще был мальчиком. «Возьми портрет»,— сказал Самба. Лежан покачал головой: «Мне его некуда повесить. Дома нет, наверно и не будет, приходится много ездить, живу как на станции...» Встречаясь с Мадо, Лежан чувствовал облегчение; перед нею он не скрывал своей боли: Мадо бывала у них, знала Жозет, играла с Мими...

Сейчас он искоса поглядел на нее. Она очень осунулась. Не хочет отдохнуть... На исхудавшем лице большие глаза казались еще больше, они отделялись от лица, светились, летели, жгли.

Телеграмму от Воронова Мадо получила в феврале. Она никому не рассказала о смерти Сергея, даже Лежану — несколько раз порывалась сказать и не могла. Много ночей она проплакала в своей комнатушке, плакала, не думая, горячими простыми слезами, плакала не потому, что потеряла Сергея — потеряла она его давно, а потому, что он умер, — не могла себе этого представить. Все эти годы она держала сердце на замке, порой сердилась на себя: любовь казалась ей посягательством — у него своя жизнь, я не имею права вторгаться даже мыслями... А теперь она говорила себе: люблю и не разлюблю никогда, ведь этого больше не будет, все ему отдала. Видела его всегда живым. Почему-то ей казалось, что горы Югославии похожи на Лимузэн, так же поросли буком, ольхой. А по склону горы идет Сергей с ружьем. И Мики поет: «Мы жить с тобой бы рады, но наш удел таков...» И она говорит Сергею: «Это правда. Мы жить с тобой бы рады, но ты понимаешь — таков удел... Все, что я тебе написала, неправда. Нет у меня никакой семьи, я твоя, как раньше. Хорошо, что ты не получил того письма, я ведь прежде никогда тебе не лгала, и не буду лгать. Ты — моя любовь. Помнишь, как кружилась карусель на площади Итали, было много, много огней? А теперь Париж очень темный. Я ничего не вижу...» Мадо казалось, что Сергей идет с ней

рядом по горам Лимузэна — Медведь, Деде, Мики. Большой мост... Засыпая, она вдруг вскрикивала. Она в тюрьме. «Сергей!..» И Сергей отвечает: «Не верь, что меня убили, я иду, сейчас приду...» Он ее выводит из тюрьмы, стоит перед ней, откинул голову назад и чуть прищурился. Милый!..

Она сейчас проверила — в сумке ли голубой листок (телеграмма от Воронова), она с ним не расставалась.

Лежан говорит:

— Я думаю, будет много народа. Хорошо, что совпало с днем Победы... Нужно показать, что они нас не запугают. Мадо, помнишь, в сорок втором мы гадали, как будет после победы. Я, кажется, не грешил излишним оптимизмом. И все же я не думал, что будет так... Они удивительно быстро забыли... Я не говорю про вишистов — эти ходят героями. Но и другие... Я встретил вчера Гарси, я его видел в сорок третьем, он был связан с AS. Он мне сказал: «Коммунисты хотят вызвать раскол, я надеюсь, что нация поддержит де Голля...» Я даже не думал, что он способен на такие сильные чувства — к немцам он относился куда спокойней. Они нас ненавидят. Понятно — мы вышли из войны победителями, если кто-нибудь спас честь Франции, то FTP... Народ это знает. Я был недавно в Орадуре, там мало осталось живых, а все, кто остался, — стали коммунистами, иначе и не может быть — у крови свои права...

Могильная плита; простая надпись: «Герои FTP». Много цветов — ландыши, фиалки, пестрые анемоны, белые и золотые звезды нарциссов, сирень, тюльпаны, первые левкои. Кругом тысячи и тысячи людей: седые рабочие в помятых кепках, солдаты, вернувшиеся из немецкого плена, партизаны, раненые, сражавшиеся на Рейне, узники немецких лагерей, сморщенные старухи, подростки, рыболовы и любители велосипедных гонок, мечтатели и забияки, литейщики, каменщики, токаря, грузчики, механики, кожевники, печатники, шоферы, плотники, повара, пекари, землекопы, девушки, школьники, ветераны, люди с мозолями на руках и с цветами, старый, вечно юный Париж.

Говорит Мадо:

— Я хочу сказать о тех, кого я знала. У товарища Лежана был сын. Я знала Поля мальчиком. Он только входил в жизнь, он был как этот весенний день. Свою группу он назвал «Сталинград». Это было в темное время, Франция еще молчала... Они напали на немцев. Поля ранили, пытали, он никого не назвал. Коммунисты никого не называли. Я видела гестапо, немцы там пытали Мориса. Он никого не назвал... Палачи говорили друг другу: «Мы напрасно ждем, он ничего не скажет — он коммунист...» Я хочу сказать о Миле, его звали в сопротивлении Пепе. Он застрелил в сорок первом гестаповца. Перед казнью он написал письмо — не жене, не другу — партии. Партия — его любовь, наша любовь, наша партия!.. На нас клевещут, могильщики Франции кричат: «Коммунисты плохие французы...» Кто может больше любить эту землю, чем любил ее Жано Миле? Он вырос в Сюренн, он полюбил в Сюренн, там его расстреляли... Франция, милая Франция — не чернилами написаны эти слова — кровью партизан, кровью коммунистов! Пусть скажут мертвые, за что они умерли. Не за то, чтобы Францией снова правили предатели, поставщики немцев, люди, которые во-время обменяли немецкие марки на доллары. Я хочу сказать, что мы не одни, с нами герои Югославии, партизаны Норвегии, бельгийские партизаны — пусть их сейчас травят, они не уйдут со своей земли, горняки Боринажа, сталевары Льежа. Есть у нас великий друг, он нас выручил, он нас не предаст, это народ Сталинграда. Его имя я называю на могиле французских героев. Палачи Парижа были разбиты у Волги. В моем отряде сражался русский офицер. Его взяли немцы, когда он лежал с простреленной грудью в степи. Он пришел к партизанам, мы его прозвали: Медведь. Он одним из первых вошел в Лимож. Я хочу сказать о тех, кого я знала. Я знала русского. Он сражался в Сталинграде. Он любил Париж. Он погиб в горах Югославии: с собой он принес свободу. Он жил, как Поль Лежан, как Жозет, как Ги Моке, как Семпе, как Мики, жил одним: нашей правдой, нашей страстью, нашей верой. Можно изменить слову, другу, мужу или жене. Нельзя изменить мертвым. Вот могила, над ней мы клянемся: дальше, в гору, пусть камни, пусть зной, пусть кровь, идем и дойдем! Клянемся!

И, как горное эхо, пронеслось по пустырям, по улицам пригорода, по Парижу: «Клянемся!»

Садится солнце. Еще звенят слова. Еще несут тяжелые венки, и цветы к концу дня особенно сладко пахнут. В стороне возле дерева стоит молодая женщина в сером платье. Она внимательно смотрит на длинную улицу, ее глаза широко раскрыты. Но она не видит ни людей, ни серых домов, ни большого венка — темная зелень и красные розы. Она ждет. Навстречу идет Сергей. Это не улица, это аллея; прошел дождь, и все пахнет мокрыми листьями. Мадо говорит: «Я не сказала того, что хотела...» Сергей спрашивает: «Что?..» И она отвечает: «То, что я сейчас сказала...»

34

Ни товарищи, ни профессора, ни соседи не догадывались о том, что переживает Валя: за годы войны эта маленькая, на вид слабая женщина научилась глубоко хоронить свои чувства. Одна из соседок сказала своему мужу: «Вот и пойми... Казалось, уж кто-кто, а она верная, волнуется, ждет писем, а убили — даже не поплакала...» Только Нина Георгиевна знала, что происходит с Валей, хотя и перед ней Валя ни разу не заплакала.

Нина Георгиевна скрыла от Васи, что была тяжело больна: вскоре после того как пришло известие о смерти Сергея, она схватила плеврит. Видимо, она ослабла в эвакуации, врач чуть ли не каждый день устанавливал новую болезнь. А она ни на что не жаловалась, только каждый раз, когда пыталась встать, покрывалась потом и, виновато улыбаясь, говорила Вале: «Придется еще полежать...» Все свободное время Валя проводила с нею; они часто говорили о Сергее, говорили внешне спокойно, как будто он уехал далеко и только. Сдержанность Вали передавалась Нине Георгиевне. Она много рассказывала Вале о детстве, о ранней молодости Сергея; Валя жадно слушала — ей казалось, что она заново находит Сережу. Она редко что-либо говорила: ей нечего было рассказать о Сергее. Минутами ей казалось, что он ей не открылся; смутные разрозненные образы скользят, как песок, между пальцами. Но потом, собравшись с мыслями, она говорила

себе: неправда, Сережа во мне — не даты его жизни, не поступки (я мало знаю, как он жил до нашей встречи, как воевал), он мне дал самое важное — свою страсть, тревогу, сердце. Вот почему мне все понятно в его жизни — до мелочей, ошибки, увлечения, тот порыв, который привел его в горы Сербии, все, все.

По ночам она лежала неподвижно на спине с раскрытыми глазами. Нужна была огромная сила характера, чтобы после таких ночей итти в студию, разговаривать с людьми, улыбаться, играть веселых колхозниц или коварных герцогинь, ухаживать за Ниной Георгиевной, внося в ее мир тихую спокойную печаль. Лежа ночью, Валя ни о чем не думала: ощущение потери было острым, как физическая боль. Слишком живой была память о Сергее, об его руках, губах, о том, как накануне отъезда, усталый, он уснул, положив свою тяжелую теплую голову на ее грудь.

Эта, казалось, безысходная боль помогла ей удержаться в жизни: чувство было таким сильным и вязким, так захватывало ее всю, что невольно (никогда Валя об этом не думала) оно находило выход в искусстве. Про нее теперь говорили: «чувствуется недюжинный талант»; и чем ей было тяжелее, тем чаще раздавались такие похвалы. Никто из восторгавшихся ее одаренностью не подозревал, какой ценой оплачены этот вибрирующий голос, сосредоточенные и вместе с тем далекие глаза, повелительный и беспомощный жест, как бы говоривший: не спрашивай, я все вижу...

С апреля Нина Георгиевна начала выходить; и сразу, несмотря на запреты врача, на уговоры Вали, она вернулась к своей работе, говорила: «Запустила детишек, нельзя мне больше болеть». Она возвращалась вечером усталая, плохо спала. Врач прописал снотворное. Она говорила: «С ним засыпать страшно — как будто проваливаюсь, зато крепко сплю...»

Восьмого мая вечером вся Москва ждала развязки; люди звонили друг другу: «Слушаете?»... Ждала у приемника и Нина Георгиевна, но не дождалась — чувствовала себя разбитой; приняла люминал, легла и быстро уснула.

Легла и Валя; но она не спала — лежала с раскры-

тыми глазами. Она сразу услышала, когда «тарелка», висевшая в передней, заговорила.

Конечно, Валя, как все, ждала этого сообщения, и все же она взволновалась, тихо оделась, чтобы не разбудить Нину Георгиевну, вышла на улицу. Светало. Из других домов выглядывали люди. Какая-то старушка кинулась к Вале, стала ее целовать. Валя, не думая о том, куда идет, пошла к Красной площади. Там уже были люди. Они шли, растерянные от радости. Не слышно было ни песен, ни криков, стояла большая торжественная тишина.

Валя последние минуты не шла, а бежала, как четыре года назад бежала, подходя к дому, где жил Сергей. Все смутное и тяжелое, накопившееся за последние месяцы, вдруг разрешилось в глубокой радости этого раннего часа. Валя вдруг поняла: победил Сережа, довоевал, дожил, дошел, он жив, радуется, смотрит на свой родной город... И в этом была связь Вали с другими: с офицером без руки, с пожилой женщиной, закусившей губу, с двумя солдатами, еще не успевшими помыться и побриться, с молоденькой девушкой в берете, которая заглядывала всем в лицо, как будто кого-то искала. Поздравляли Валю, и она поздравляла, расцеловала военного без руки. Все больше было народу. Валя глядела на Кремль, горящий в свете встающего солнца, древний и беспокойно молодой. На ее лице появилась та улыбка, которая всегда ее меняла, улыбка, которую столько раз вспоминал Сергей. Валя стояла лицом к кремлевской стене и улыбалась. Какой-то фоторепортер снял ее; она растерянно спросила: «Меня почему?..» Фотограф не ответил. А заплаканная женщина сказала Вале: «Дайте я вас поцелую...»

Нина Георгиевна еще спала. Валя сказала ей: «Победили...» Они обнялись, и обе, впервые за все это время, уж не стыдясь ничего, расплакались. Потом Нина Георгиевна упрекала: «Почему не разбудила?..» Валя не знала, что ответить: ей казалось, что она бегала украдкой на свидание с Сережей, но рассказать об этом она не могла.

Нина Георгиевна пошла на Красную площадь. Не было ни демонстрации, ни колонн — но люди шли именно туда. Здесь были товарищи Сергея, саперы, помнившие

Волгу, партизаны из брянских лесов, из Налибокской пущи. Прошла девушка с медалью — это была та самая Таня, которая прошлым летом в избе возле Минска любовалась майором инженерных войск. Прошел лейтенант Сазонов из партизанского отряда «Мстители». У него была рука на перевязи. Когда его начали качать, он говорил: «Меня за что? Ничего я этого не сделал...» Мария Михайловна Минаева строго его допрашивала: «Гитлера поймали?..» Она приоделась ради праздника, рассказывала чужим: «Митенька мой в Бе́рлине» (с ударением на первом слоге). Прошел слепой солдат, его вела за руку девушка; он глядел невидящими глазами и улыбался: видел победу. Прошла старая женщина, она держала в руке большую фотографию, говорила: «Пусть и Ваня увидит», — ее сын погиб у Будапешта. И было столько глубокого целомудренного веселья, столько тихих слез, столько молчаливого торжества, что исчезали лица, слова, судьбы. Нина Георгиевна подумала: Сталин хорошо сказал про народ — ведь, правда, бессмертен...

Как это порой бывает у немолодых людей, перед нею прошла вся ее жизнь в образах несвязных, но связанных между собой непостижимой уму нитью: студенческие годы, «Что делать?», явки, тюрьма, разговор с молодым французом о счастье, муж и скамейка в парке Монсури, выстрелы, флаги Октября, школа, стихи Гюго, темная осенняя ночь сорок первого, поезд, спящие дети и Сережа — где-то очень далеко на высокой горе со своей рассеянной ласковой улыбкой. Нина Георгиевна поняла, что сегодняшний день связан со всей ее жизнью, с любовью, с борьбой, с работой. Завтра она снова пойдет в школу, увидит детишек... Наверно, скоро приедет Вася. У него жена, сын. Олечка счастлива — Синяков вчера прислал телеграмму — в июле рассчитывает вернуться. Олечка ждет ребенка... Валя справилась. Она будет большой актрисой, может быть, она выразит то, что было в Сереже... А я?.. У меня школа, память, народ... И Нина Георгиевна глядела вокруг молодыми глазами курсистки, как на фотографии, которую бережно хранил Сергей. А сердце колотилось — слишком много было в нем и горя, и счастья. Она обняла маленькую девочку, стоявшую рядом, — только ей, ничего не понимающей, могла она рассказать и про свою

молодость, и про Сережу, и про народ; она выразила все в одном слове, которое, как ветер, облетало большую площадь: «Победили»...

35

Наташа тоже ходила с Васькой на Красную площадь; потом они были у Нины Георгиевны. Все было таким необычайным, что Наташа думала: будто во сне... А когда она вернулась домой, ее ожидало письмо от отца. Соседка сказала: «Летчик принес».

Дмитрий Алексеевич писал:

«Дорогая моя Наташа!

Только что мне сказали, что в Реймсе немцы подмахнули черновик, завтра прилетят сюда. Значит, все кончено, и первое, что я делаю, пишу тебе. Милая ты моя, любимая дочка, поздравляю тебя, знаю, что ты пережила за эти годы, была храброй, работала, как же не сказать, что это наша общая победа! Вспоминаю сейчас, как приехала ты из Минска и сразу сказала, что хочешь на фронт, и это неважно, что ты была на фронте недолго, в эту войну воевали все. Больно мне, что мама не увидела, ведь можно жизнь прожить и не узнать такого счастья. Ты подумай, что случилось, — победили! Я живу в домике под Берлином, жил здесь какой-то жеребчик, у него ванна фисташкового цвета и полное собрание сочинений доктора Геббельса. Нет, не хочется о них сейчас думать, хочется думать о нашем народе, добром, смелом, верном своему сердцу, своей судьбе.

Наверное, скоро Вася приедет к тебе. Мне говорили, что он в Берлине, я его не разыскал, здесь столпотворение, но его видели после капитуляции, так что все в порядке. Три года, когда я думал о тебе, замирало сердце, хотя ты ничего не писала, я понимал, что у тебя внутри. А теперь мне за тебя спокойно. Я с Васей много разговаривал, он — настоящий человек, ты, хотя была девчонкой, не ошиблась. Он, может быть, не сразу бросается в глаза, но чем лучше его знаешь, тем больше ценишь. Не зря мы пережили эти страшные годы, с ним ты будешь счастлива. Очень мне хочется поглядеть на внука. Пожалуйста, не

упрекай его, что крикун, — покричать иногда надо, особенно если он с характером. Откуда ты знаешь, он, может быть, горы перевернет, придумает, что вам не снится.

Обо мне ты напрасно тревожишься. Годы это условность, в сорок первом мне, наверно, было под семьдесят — от всего безобразия, а теперь танцовать могу, забью твоих кавалеров. Не в Кисловодск же мне ехать, как ты предлагаешь. Работы будет много, солдаты свое отвоевали, а для нашего брата начинается страда, я уж не говорю, что нужно раненых поставить на ноги, теперь расхвораются здоровяки — всегда так бывает после напряжения. Ничего, еще поработаю, сил хватит.

Представляю, что будет в Москве завтра или послезавтра. Вот этого я не увижу, жалко. Как Берлин брали, видел, и сегодня еще где-то стреляли — в последний раз. Сейчас здесь послевоенная тишина. А в Москве, наверно, шумно. Надоели мне немцы, соскучился по Москве, хочется пройти по Гоголевскому бульвару и чтобы какой-нибудь пискун, вроде твоего Васьки, устроил кошачий концерт. Ты его поцелуй и всех поцелуй. Пойди за меня на Красную площадь и, если увидишь Сталина, погляди на него хорошенько, это большой человек. Ну, и просто поклонись всем домам и домишкам.

Наташка, ведь дожили!»

У Наташи глаза были сегодня на мокром месте — от Нины Георгиевны, от всего, что она видела на улице, в госпитале. Прочитав письмо отца, она заплакала: вспомнила, как мама незадолго перед смертью сказала: «Кажется, скоро все переменится» — это было перед Сталинградом... Потом Наташа вспомнила, как Нина Георгиевна сегодня говорила о счастье, сказала «Сережа» и не кончила фразы... Папа, наверно, болен — чувствуется, он ведь никогда не скажет, будет до конца таким же неуемным. И Наташа задумалась над жизнью отца; он встал перед ней — большой, шумный и живой, такого живого она не видела... Он говорит, что Васька, может быть, горы перевернет, а он сам горы ворочает без изобретений, просто люди вокруг меняются, он всех заражает... Я хотела бы так жить, иногда мне кажется, что он моложе меня, вот что значит сила сердца...

Наташа накормила Ваську, попробовала его уложить, но не тут-то было: он объяснил, что не будет спать — сегодня салют «тысяча пушек», и вдруг уснул одетый — устал. Когда Наташа его раздевала, он не проснулся. Она подумала: ну и тяжелый, скоро я его поднять не смогу...

Когда Вася летел, он считал, сколько это длилось — почти четыре года, а дней больше тысячи — он сбился со счета. Но самыми длинными показались ему те минуты, когда он ехал с аэродрома на Кропоткинскую. Машина продвигалась медленно — все улицы были заполнены народом. Вася глядел и не видел — не различал ни домов, ни улиц. Как мальчишка, взбежал он наверх, а когда вошел в комнату и увидел Наташу, не мог ничего сказать, не мог даже к ней подойти, стоял возле двери. Она подбежала к нему, вскрикнула «Вася» и тоже замерла. Они долго стояли обнявшись. Потом Наташа поняла — не нужно ни о чем говорить; она принялась хозяйничать, повела Васю в ванную, сливала воду, потом поставила на газ чайник; все это она делала машинально, а из глаз текли слезы.

— Вася, ты не думай, что я плакса. Это только сегодня... А когда от тебя ничего не было, я не плакала. Днем было трудно, а ночью ты мне снился...

— И ты мне снилась, когда в лесу были, Наташа...

Он не мог говорить, но он должен был повторять это слово «Наташа». Он целовал ее и не мог оторваться; и гремели пушки, лились по небу огни, а он все целовал ее лицо, руки и повторял «Наташа».

Вдруг проснулся Васька. Он вскочил и сначала крикнул «бум» в лад салюту, а потом испуганно спросил:

— Мама, дядя?..

Вася хотел взять его на руки, но он убежал; стоял в своей длинной рубашонке, протирал глаза и смущенно улыбался.

— Глупенький, это — папа, Васька-большой.

Васька недоверчиво сказал:

— Это папа? Нет... Папа такой...

Он показал рукой — папа больше и толстый. А когда Вася засмеялся, он взобрался к нему на колени и стал деловито отдирать погоны.

— А у Лени папа генерал. Он толстый. Ты сегодня стрелял из пушки? Мы были на Красной площади. Одного дядю кидали наверх, он тоже чей-нибудь папа. А тебя кидали наверх?

Он уснул на коленях у отца. Потом Наташа его уложила.

Прожекторы бегали по небу, как зайчики. Где-то очень высоко вдруг показался красный флаг — за облаками... А внизу люди шумели.

Вася целовал Наташу, вдруг оторвался, подумал — как в Минске... Что же было между двумя ночами?..

Он поглядел на Наташу. Какая она стала красивая! И другая... Может быть, мы сошли с ума, хотим оживить прошлое?.. Ведь прошло четыре года. Она жила другой жизнью. Я для нее чужой...

И о том же рядом думала Наташа: о силе времени, о разрыве. Вася ее смущал — не тот он, суровый... Может быть, они и поймут друг друга, только для этого нужно много, много дней...

Прошел час. Еще было темно. А они уже знали, что не нужно им ни долгих объяснений, ни проверки чувств — они друг друга нашли, узнали и губы, и родинку, и улыбку, и мысли.

— Знаешь, Наташа, почему так легко? Мы все время были вместе, я теперь это знаю...

— А почему не рассказываешь? Боишься, что не пойму?

— Нет, я знаю, что поймешь. Расскажу... Потом... Что-то сегодня кончилось. Я об этом подумал в самолете... Завтра будет десятое мая, обыкновенный день, может быть, ничего в жизни не изменится. А изменится все. Ты думаешь, я могу забыть эти годы? Никогда. Ни людей, ни лес, ни тоску. Но сейчас я думаю о другом: что будет завтра?.. Не знаю, может быть, будет очень трудно, знаю одно — мы будем вместе. У тебя будут твои деревья или колосья, у меня дома. Может быть, со стороны покажется, что ничего не изменилось. А все изменилось. Разве я тебя так целовал в Минске? Я и не знал, что можно так целовать... Мы оба стали другими. У Лермонтова есть стихи: любили, умерли, встретились на том свете и не узнали друг друга. Мы сейчас встретились с тобой в другой

жизни; той, прошлой, больше нет, но мы друг друга узнали...

— Я писала тебе, когда ты был в окружении, разговаривала с тобой.

— Я это чувствовал. Вот почему мы друг друга узнали. Расстались — были детьми. А теперь у нас сын... Я не тот, и ты другая... А люблю больше прежнего...

— Вася!.. Васенька!..

— Говорят, большой огонь ветер раздувает...

— Любовь?

— Все. И любовь. И жизнь. И народ... Я, когда летел, думал — что стало с народом, какой он теперь большой. И горе его, и гордость, и путь...

Они подошли к окну. Рассвело. Улицы были пустыми. Розовели дома. И было очень тихо, только в соседнем садике чирикали воробьи. Необычайной была эта тишина — после бури, после залпов, криков, слез. Они не могли говорить. Они теперь и не глядели друг на друга; стояли рядом: Вася держал в своей большой горячей руке руку Наташи. Они глядели на розовеющие дома, на чересчур светлое, большое небо, а может быть, и не глядели, только внимательно слушали тишину глубокого утра. И вдруг оба вздрогнули: кто-то засмеялся — это проснулся Васька-маленький.

Январь 1946 — июнь 1947

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оформление художника
А. Коджака

Редактор А. Воинов
Художеств. редактор Н. Мухин
Технический редактор Г. Каунина
Корректор А. Типольт

*

Подписано к печати 15/II 1952 г. А01026.
Бумага 84×108 1/32=13,19 бум. л.—
43,26 печ. л. Уч.-изд. л. 43,55.
Тираж 75 000. Цена 12 р. Заказ № 359.

Набрано и отматрицировано
в 1-ой Образцовой типографии
им. А. А. Жданова Главполиграфиздата
при Совете Министров СССР,
Москва, Валовая, 28.

Отпечатано с готовых матриц
во 2-ой типографии «Печатный Двор»
им. А. М. Горького Главполиграфиздата
при Совете Министров СССР.
Ленинград, Гатчинская, 26.

12 р.

ГОСПОЛИТИЗДАТ
1953